НИЛ СТИВЕНСОН



СМЕШЕНЬЕ

FANZON

Смешенье
Нил Таун Стивенсон

Аннотация
Нил Стивенсон. Смешенье
От автора
Книга 4. Бонанца
Берберийское побережье. Октябрь 1689
Рассказ Эль Десампарадо
Книга 5. Альянс
Дандолк, Ирландия. 6 сентября 1689
Дюнкеркская резиденция маркиза и маркизы д’Озуар
Книга 4. Бонанца
Тронная зала паши в алжирской касбе. Октябрь 1689
Книга 5. Альянс
Дворец Жювизи. 10 декабря 1689
Дюнкеркская резиденция д’Озуаров. 13 декабря 1689
Мыс Гри-Не, Франция. 15 декабря 1689
Письмо Даниеля Уотерхауза Элизе. Январь-февраль 1690
Письмо Элизы Даниелю. Апрель 1690
Ла-Дюнетт. Середина июля 1690

Книга 4. Бонанца
Кадисский залив. 5 августа 1690
Мальта и далее. Конец августа 1690
Книга 5. Альянс
Элиза – Лейбницу. Конец сентября 1690
Лейбниц – Элизе. Начало октября 1690
Замок Вольфенбюттель, Нижняя Саксония. Декабрь 1690
Ирландия. 1690–1691
Стог сена, Сен-Мало, Франция. 9 апреля 1692
Дворец д'Аркашонов, Сен-Мало, Франция. 11 апреля 1692
Элиза – Лотару фон Хакльгеберу. 12 апреля 1692
Элиза – королю Вильгельму III Английскому. 12 апреля 1692
Элиза – шевалье д'Эрки. 13 апреля 1692
Кофейня Исфахнянов, рю де л'Оранжери. 26 апреля 1692
Даниель Уотерхауз – Элизе. 19 апреля 1692
Роджер Комсток, маркиз Равенскар – Элизе. 20 апреля 1692
Лейбниц – Элизе. 21 апреля 1692
Элиза – Самуилу де ла Вега. 5 мая 1692
Элиза – маркизу Равенскару. 15 мая 1692
Элиза – Самюэлю Бернару. 18 мая 1692
Самюэль Бернар – Элизе. 23 мая 1692

Каюта «Метеора», близ Шербура, Франция. 2 июня 1692
Лондон. 4 июня по ст. стилю (25 мая по нов. стилю) 1692
Грешем-колледж. 10 (20) июня 1692
Книга 4. Бонанца
Ахмадабад, Могольская империя. Сентябрь 1693
Дорога Сурат-Бхаруч, Индия. Месяцем позже (октябрь 1693)
Книга 5. Альянс
Кофейня миссис Блай, Лондон. Сентябрь 1693
Бонавантюр Россиньоль – Элизе. Март 1694
Элиза – Россиньолю. Март 1694
Элиза – Поншартрену. Март 1694
Россиньоль – Элизе. Апрель 1694
Прецш, Саксония. Апрель 1694
Поншартрен – Элизе. Апрель 1694
Элиза – Поншартрену. Май 1694
Вдовий дом в Прецше. Апрель и май 1694
Жан Бар – Элизе. Май 1694
Лейпциг. Май 1694
Элиза – Жану Бару. 4 май 1694
Книга 4. Бонанца
Южные окраины Могольской империи. Конец 1696

Малабар. Конец 1696 – начало 1697
Книга 5. Альянс
Темза. Февраль 1696
Дюнкерк. Март 1696
Заброшенная церковь во Франции. Март 1696
Зимние квартиры Собственного его величества Блекторрентского гвардейского полка под Намюром. Март 1696
Дорога в Прецш. Апрель 1696
Дом над Маасом. Апрель 1696
Дворец Герренхаузен в Ганновере. Август 1697
Книга 4. Бонанца
Япония. Май 1700
Книга 5. Альянс
Берлин. Январь 1700
Книга 4. Бонанца
Тихий океан. Конец 1700 – начало 1701
Книга 5. Альянс
Дворец Шарлоттенбург, Берлин. Июль 1701
Книга 4. Бонанца
Мехико, Новая Испания. Суккот 1701
Мехико. Декабрь 1701
Йглм. Август 1702
Книга 5. Альянс
Особняк Аркашонов. Октябрь 1702
Книга 4. Бонанца

Париж – Лондон. Октябрь 1702

Аннотация

Премии «Локус», «Портал», «Мраморный фавн».

Второй роман «Барочного цикла», масштабной эпопеи, которая включает в себя историю, приключения, науку, изобретения, пиратство и алхимию.

1689 год.

Открытое море.

Джек Шафто, известный также как Король Бродяг, стал рабом на берберских галерах. Но у него есть дерзкий и опасный план. Шафто вернет свободу, а заодно и разбогатеет. Так начинается его великая погоня за легендарными сокровищами.

Европа.

Элиза, графиня де ля Зёр, оказывается втянута в международные политические интриги, а тех, кто хочет заполучить ее, либо только ее голову, становится все больше.

Даниель Уотерхауз стремится спасти мир от безумия, в которое его погружает незримая война между адептами алхимии и сторонниками естественных наук…

Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой.

«Многоплановая, великолепная и захватывающая книга». – Publishers Weekly

«Точный историко-фантастически-эпически-пиратски-комедийно-панк-любовный роман. Нелегкий подвиг». – Entertainment Weekly

«Скрупулезная подача информации и научная стилистика идеально сочетается с захватывающим сюжетом и богатой обстановкой мира Барочного цикла». – Bookmarks Magazine

«Действие цикла происходит в один из самых захватывающих периодов истории, с 1600 по 1750 годы, и он блестяще передает интеллектуальное волнение и культурную революцию той эпохи. Благодаря реальным персонажам, таким как Исаак Ньютон и Вильгельм Лейбниц, в романе так ловко сочетаются факты и вымысел, что практически невозможно отделить одно от другого». – Booklist

«Идея о деньгах и расчетах становится увлекательной благодаря тому, как автор показывает их в своем повествовании. Большой

масштаб – богатая детализация. Это странное, удивительное столкновение научного и художественного повествований не имеет аналогов». – Time Out

«Бурный, захватывающий роман с большой буквы “Р”. Пропитанное кровью и наполненное серебром изображение жизни 17-го века, с достаточным количеством амбициозных, головокружительных, сбивающих с ног заговоров, чтобы впечатлить читателей с самыми разными вкусами». – Ink

«Автору прекрасно удается сочетать научный слог с буйным развитием событий. Когда он описывает битву или дуэль, его проза приобретает захватывающий пафос». – Guardian

Нил Стивенсон
Смешенье

Морин

Neal Stephenson
THE CONFUSION

Copyright © 2004 by Neal Stephenson



Перевод *Екатерины Доброхотовой-Майковой*

В оформлении использованы фрагменты «Новой карты Средиземного моря» работы *Иоганна Лутса* (1705)

© Е. Доброхотова-Майкова, перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. «Издательство «Эксмо», 2025

Очень многих следует поблагодарить за помощь в создании Барочного цикла. Эта книга, «Смешенье», его второй том, так что *см.* Благодарности в «Ртути», первом томе Барочного цикла.

От автора

Этот том состоит из двух романов, «Бонанца» и «Альянс». Действие обоих происходит в 1689–1702 гг. Вместо того чтобы расположить их последовательно, вынуждая читателя посредине тома прыгать из 1702-го обратно в 1689-й, я перемежаю главы одного главами другого, в надежде, что такое *смешенье* поможет читателю избежать *замешательства*.

Когда сперва я в руки взял перо
И стал писать, на ум мне не пришло,
Что книжечку смогу я написать
Подобную; нет, я хотел создать
Другую; и, почти закончив ту,
Я эту начал, перейдя черту.

Джон Беньян, «Путь паломника», Оправдание автором своей книги [1]

---

[1] Примечания: 1
Здесь и далее перев. Т. Поповой.

Книга 4
Бонанца

Природа человеческая столь превосходна, искры небесного огня пылают в ней столь ярко, что заслуживают всяческого порицания те, кто по малодушию, выдаваемому за осторожность, по лени, величаемой умеренностью, либо из скаредности, притворно именуемой бережливостью, так или иначе воздерживается от великих и благородных деяний.

Джованни Франческо Джемелли Карери, «Путешествие вокруг света»

Берберийское побережье
Октябрь 1689

Не просто пробуждение, а взрывное окончание невероятно долгого и однообразного сна. Сейчас он не мог уже толком вспомнить, что, собственно, ему снилось; вроде бы он всё время грёб или что-то шкрябал. Короче, он не обиделся, что его разбудили, а если б и обиделся, то сообразил бы придержать язык и скрыть досаду под маской неунывающего бродяги. Ибо сновидения прервал нечеловеческой силы грохот, богоподобная сила, на которую не след орать или жаловаться, по крайней мере прямо сейчас.

Палили пушки. Чёрт-те сколько чёрт-те каких. Целые батареи осадных орудий и береговой артиллерии стреляли без остановки.

Он выкатился из-под облепленного ракушками корабельного корпуса, под которым, видимо, прикорнул, и его тут же вдавило в песок волной знойного воздуха. На этом этапе человеку умному, сведущему в делах военных, следовало по-пластунски ползти в укрытие, однако по всему берегу в песок плотно упирались обутые в

сандалии волосатые ноги, и никто не торопился падать ничком.

Лёжа на спине, он смотрел сквозь мокрый, испачканный в песке подол дерюжной рубахи, окутавшей своего обладателя мягким золотистым сиянием, прямо в незрячее око чужого уда, странным образом видоизменённого. Эту конкретную игру в гляделки он проиграл и, перекатившись обратно, возмущённо встал на ноги, однако позабыл про нависающее корабельное днище и вмазался башкой в ракушки. Завопил благим матом, но никто его не услышал. Даже он сам. Попытался заткнуть уши и крикнуть, но всё равно не услышал ничего, кроме грома пушек.

Время осмотреться и сообразить, что к чему. Корабельное днище закрывало обзор. С другой стороны в сверкающий залив уходила каменная дамба. Под любопытными взглядами человека с грибообразным удом он зашёл в воду по колено, обернулся и увидел такое, что аж сел.

Залив был усеян крохотными островками. На одном из них возвышалась приземистая круглая крепость, которую возвели (если он что-нибудь смыслил в архитектуре) ценою немалых затрат испанцы, подгоняемые смертельным страхом за свою жизнь. Боялись они, надо полагать, не зря,

потому как сейчас над крепостью развевались зелёные знамёна с серебряным полумесяцем. Крепость опоясывали три яруса пушек (вернее сказать, крепость *состояла* из трёх ярусов пушек), судя по виду и грохоту — шестидесятифунтовых, то есть способных забросить на несколько миль ядро с дыню размером. Из окутавшего форт порохового дыма там и тут вырывалось пламя, создавая впечатление грозовой тучи, умятой и загнанной в бочонок.

Белая каменная дамба соединяла укрепление с берегом — сплошной каменной стеной, которая уходила отвесно вверх от самой кромки воды и тоже щетинилась пушками. Все они палили с такой частотой, с какой их успевали банить и заряжать порохом.

За стеной раскинулся белый городок. Стоя у подножия высокой стены, обычно мало что увидишь, разве что церковный шпиль-другой. Однако этот город старательно прилепился к отвесному склону, начинавшемуся от самого моря. Впечатление было такое, словно некое чистоплотное божество поставило на попа клинышек Парижа, чтобы оттуда наконец вытекло всё дерьмо. С самого верха, на месте ломика или рычага, которым должно было орудовать гипоте-

тическое божество, торчала ещё одна, на сей раз мавританского вида, восьмиугольная фортеция, утыканная ещё более колоссальными пушками, а также мортирами для навесной стрельбы по морю. Все они тоже палили — как и орудия на различных дополнительных фортах, бастионах и пушечных платформах вдоль городской стены.

В редкие промежутки между громовыми раскатами шестидесятифунтовок он различал подголосок ружейного и пистолетного огня и теперь (перенеся внимание на более мелкие детали) увидел на стене нечто вроде дымной лужайки, только вместо травы на ней росли люди. Некоторые были в белом, другие — в чёрном, но преобладали яркие одежды: белые шаровары, подпоясанные разноцветными шёлковыми кушаками, пёстро расшитые жилеты (часто один на другом), на голове — фески или тюрбаны. Почти все одетые таким образом люди держали в каждой руке по пистолю и либо палили в воздух, либо перезаряжали.

Обладатель экзотической залупы — смуглый, в скуфейке поверх курчавых, чуднó выстриженных волос — подобрал рубаху и заплескал по воде взглянуть, не случилось ли чего с товарищем. Тот по-прежнему двумя руками сжимал голову,

отчасти чтобы остановить кровотечение из рассечённой о корабельное днище кожи, отчасти чтобы черепушку не снесло грохотом. Чернявый наклонился, посмотрел ему в глаза и зашевелил губами. Лицо оставалось серьёзным и в то же время чуточку насмешливым.

Он ухватился за протянутую руку и встал. Костяшки пальцев у обоих были содраны в кровь, а ладони — такие мозолистые, что почти могли бы ловить на лету пули.

Интересно, куда палят все эти пушки и есть ли шанс уцелеть? В заливе собрался флот из трёх-четырёх десятков кораблей, и, ясное дело, они тоже палили. Однако те, что походили на голландские фрегаты, не стреляли по восточного вида галерам, и наоборот; равным образом ни одно судно не осыпало ядрами белый город. Все корабли, даже европейской постройки, несли на мачтах зелёный флаг с полумесяцем.

Наконец его взгляд остановился на судне, примечательном тем, что оно одно, в отличие от всего вокруг, не плевалось дымом и пламенем. То была магометанского вида галера, исключительно красивая, во всяком случае на взгляд тех, кому по вкусу чрезмерная роскошь: её нефункциональные части полностью состояли из золочёных

финтифлюшек, сверкавших на солнце даже сквозь пелену дыма. Латинский парус был убран, и галера величаво скользила на вёслах.

Он поймал себя на том, что чересчур пристально изучает движения вёсел и восхищается их слаженностью куда больше, чем пристало вменяемому бродяге. Напрашивался вопрос: по-прежнему ли он бродяга и в своём ли уме? Смутно помнилось, что какую-то часть своей жизни и он мыкался по христианскому миру, постепенно теряя рассудок от французской болезни, но сейчас голова казалась вполне ясной, только из неё куда-то выветрилось, кто он, как сюда попал и что вообще в последнее время происходило. Да и непонятно, какой смысл вкладывать в понятие «последнее время», учитывая длину бороды, доходившей до пояса.

Канонада стала ещё громче, если такое возможно, и достигла наивысшей точки в тот миг, когда золочёная галера подошла к выдающейся в залив пристани. И тут внезапно всё смолкло.

— Что, чёрт меня дери… — начал он, но конец фразы заглушил звук, восполнявший пронзительностью то, что проигрывал канонаде в громкости.

В изумлении прислушавшись, он различил

некое сходство между *этим* и музыкой. Ритм присутствовал, правда, исключительно бурливый и сложный, и мелодия тоже; не похожая ни на какой цивилизованный строй, она отдавала дикими ирландскими песнопениями. Гармония, нежность, напевность и другие качества, обычно ассоциируемые с музыкой, отсутствовали начисто. Ибо турки, или кто там они были, не признавали флейт, скрипок, лютней и других благозвучных инструментов. Их оркестр состоял из барабанов, тарелок и исполинских боевых гобоев, выкованных из меди и снабжённых скрипучими, скрежещущими язычками — такими звуками мог бы сопровождаться вооружённый штурм заселённой скворцами колокольни.

— Смиренно приношу извинения всем шотландцам, с какими сталкивался в жизни, — прокричал он. — Их музыка всё-таки не самая отвратная в мире.

Его товарищ поднёс ладонь к уху, но мало что услышал, а понял и того меньше.

Надо сказать, почти весь город прятался за стеной, каких не видывал христианский мир. Однако по эту сторону имелось множество пирсов, волноломов, орудийных платформ, полосок илистого берега — и всё, способное выдержать

вес человека или лошади, было заполнено людьми в диковинном обмундировании. Короче, происходило некое подобие военного смотра. И впрямь, после того как по рядам несколько раз прокатился многоголосый рёв, отзвучала адская музыка и очередные залпы, разные важные турки (в нём крепла уверенность, что это именно турки) начали проезжать через ворота в могучей стене и исчезать в городе. Первым ехал невероятно грозный и величественный всадник на вороном жеребце. По бокам от него выступали два барабанщика. От барабанного боя накатило необъяснимое желание схватиться за вёсла.

— Это, Джек, ага янычар, — сказал обрезанный.

Имя «Джек» показалось знакомым или по крайней мере сподручным. Значит, он Джек.

За барабанщиками ехал седобородый старик, почти такой же великолепный, как ага янычар, но не столь тяжело вооружённый. «Премьер-министр», — сказал Джеку его спутник. Потом на своих двоих проследовали десятка два более или менее пышно разодетых офицеров («ага-баши»), за ними целая толпа в роскошных тюрбанах, украшенных первоклассными страусовыми перьями («булюк-баши», — последовал комментарий).

Становилось ясно, что этот тип из тех, кто не упустит случая блеснуть познаниями и просветить недоумков. Джек собрался уже сказать, что не нуждается в просвещении, но что-то его остановило. Отчасти смутное ощущение, что они с этим малым знакомы, причём давно, а значит, тот всего лишь пытается поддержать разговор. Отчасти — некая языковая закавыка. Откуда-то Джек знал, что булюк-баши соответствуют капитанам, ага-баши на ранг выше и что ага янычар — генерал. Однако он не мог взять в толк, с какой стати понимает всю эту тарабарщину. Поэтому Джек молчал, покуда в хвост процессии пристраивались многочисленные одабаши (лейтенанты) и векиль-харджи (урядники). Различные ходжи — например, соляной ходжа, таможенный ходжа, ходжа мер и весов — следовали за главным ходжой; далее выступали чауши в длинных изумрудных одеяниях, подпоясанных алыми кушаками, и белых кожаных шапках; их фантастически закрученные усы лихо завивались вверх, алые подбитые башмаки грозно стучали по каменной пристани. Следом промаршировали кадии, имамы и муфтии. И, наконец, с золочёной галеры на причал спустилась рота великолепных янычар. За ними появился чело-

век в ярдах кипенно-белой ткани, собранной при помощи множества массивных золотых брошей в наряд, который наверняка бы рассыпался, если бы человек шёл, а не ехал на белом красноглазом коне, обвешанном драгоценной сбруей в том количестве, какое только может нести лошадь, не спотыкаясь обо все эти роскошества.

— Новый паша — прямиком из Константинополя.

— Гром меня разрази — из-за него-то и палили все пушки?

— Нового пашу принято встречать полутора тысячами выстрелов.

— Где принято?

— Здесь.

— А здесь — это где?

— Прости, я запамятовал, что ты был не в себе. Город, высящийся вон на той горе — Несокрушимый бастион ислама, Бич христианского мира, Узда Италии и Гроза Испании, Форпост священной войны, покоривший все моря своему закону и сбирающий со всех народов законную дань.

— Враз не выговоришь.

— Англичане называют его Алжир.

— Что ж, в христианском мире я видел, как на целые войны тратилось меньше пороха, чем в

Алжире на то, чтобы поздоровкаться с пашой; так что, может быть, твои слова — не пустая похвальба. Кстати, на каком языке мы говорим?

— Его называют «лингва франка» или «сабир». Часть слов в нём из провансальского, испанского или итальянского, часть — из арабского и турецкого. В твоём сабире, Джек, больше французского, в моём — испанского.

— Уж точно ты не испанец!

Собеседник поклонился (правда, шапочку не снял); пейсы, соскользнув с плеч, закачались в воздухе.

— Мойше де ла Крус к вашим услугам.

— Моисей Креста?! Что за имечко такое еврейское?

Мойше, похоже, не находил своё имя особенно комичным.

— История долгая — даже по *твоим* меркам, Джек. Довольно сказать, что нелегко быть иудеем на Пиренейском полуострове.

— Как ты здесь очутился? — начал Джек, но его перебил рослый турок с «бычьим хером» в руке, который замахал на Джека и Мойше, приказывая им выйти из прибрежной полосы и возвращаться к работе: *сиеста* была *фини,* и теперь, когда паша проехал через *баб* в *ситэ*, наступило время

трабахо [2].

Трабахо заключалась в том, чтобы отскребать ракушки от ближайшей галеры, вытащенной на берег и перевёрнутой килем кверху. Джек, Мойше и ещё десяток невольников (ибо никуда было не деться от факта, что все они здесь невольники) принялись скоблить днище галеры различными грубыми металлическими орудиями. Турок расхаживал взад-вперёд, помахивая «бычьим хером». Высоко над ними слышалось подобие канонады — это процессия двигалась по улицам города. По счастью, бой барабанов, завывание осадных гобоев и штурмовых фаготов приглушала высокая стена.

— Сдаётся мне, ты и впрямь выздоровел.

— Что бы ни плели тебе алхимики и врачи, французская хворь не лечится. У меня короткое просветление, вот и всё.

— Отнюдь нет. Некоторые видные арабские и еврейские целители утверждают, что упомянутая хворь выходит из организма полностью и навсегда, если у больного несколько дней кряду держится исключительно высокий жар.

---

[2] Примечания: 2

Окончена (*фр.*), ворота (*арабск.*), город (*фр.*), работа (*исп.*). (*Здесь и далее примечания переводчика помечены арабскими цифрами, примечания автора — звёздочками.)*

— Не то чтобы я очень хорошо себя чувствовал, но жара у меня нет.

— Однако несколько дней назад ты и ещё несколько человек слегли с сильнейшей *suette anglaise* [3].

— Никогда про такую не слыхивал, даром что сам англичанин.

Мойше де ла Крус пожал плечами, насколько такое возможно, когда сковыриваешь ракушки ржавой зазубренной киркой.

— Здесь она хорошо известна — прошлой весной выкашивала целые селения.

— Может, тамошние жители просто слишком долго слушали местную музыку?

Мойше снова пожал плечами:

— Болезнь вполне реальная — может, не столь страшная, как Антонов огонь, носовертица или письма-из-Венеции…

— Отставить!

— Так или иначе, Джек, ты с нею слёг, и жар у тебя был такой, что другие *тутсаки* в баньёле две недели жарили кебабы у тебя на лбу. Наконец как-то утром тебя объявили мёртвым, вынесли из баньёла и бросили на телегу. Наш хозяин

---

[3] Примечания: 3
Английская потовая лихорадка (*фр.*).

отправился в казначейство уведомить *ходжу-эл-пенджика*, чтобы в твоей купчей проставили отметку о смерти — это необходимо для выплаты страхового возмещения. Однако *ходжа-эл-пенджик*, памятуя о скором приезде нового паши, желал самолично убедиться в правильности записи; за любые огрехи, выявленные при ревизии, его ждёт по меньшей мере битьё по пяткам.

— Можно ли из этого сделать вывод, что рабовладельцы часто мухлюют со страховкой?

— На некоторых из них клейма негде ставить, — сообщил Мойше. — Поэтому мне велели сопровождать *ходжу-эл-пенджика* в баньёл и показать ему твоё тело, но прежде я долгие часы дожидался во дворе, покуда *ходжа-эл-пенджик* проводил сиесту в тени лаймового дерева. Потом мы отправились в баньёл, однако к тому времени тебя уже увезли на янычарское кладбище.

— Куда-куда? Я такой же янычар, как и ты!

— Тс-с-с! Так я и заключил за те несколько лет, что был прикован рядом с тобой и выслушивал твой автобиографический бред. Поначалу рассказы казались невероятными, затем — даже занимательными, но после сотого и тысячного повторения…

— Хватит! Не сомневаюсь, Мойше де ла Крус,

что у тебя хватает собственных занудных качеств, даже если я, в отличие от тебя, их не помню. Сейчас я хочу знать одно: почему меня приняли за янычара?

— Во-первых, когда тебя взяли в плен, при тебе была янычарская сабля.

— Военный трофей.

— Во-вторых, ты бился с таким ожесточением, что недостаток мастерства остался незамеченным.

— Я намеревался пасть в бою, иначе проявил бы меньше первого и больше второго.

— В-третьих — неестественное состояние твоего члена сочли знаком строгого воздержания.

— Вынужденного!

— И заключили, что ты сам себя укоротил.

— Ха! Всё было совсем не так…

— Стоп! — Мойше закрылся двумя руками.

— Я забыл, что ты всё слышал.

— В-четвёртых: у тебя на руке выжжена арабская цифра «7».

— Я тебе скажу, что это буква V и означает «вагабонд».

— Сбоку похожа на семёрку.

— И почему это делает из меня янычара?

— Когда новобранец принимает присягу и

становится *ёни-ёлдаш* — это низший чин, — у него на руке выжигают номер казармы, чтобы знать, к какой *сеффаре* он принадлежит и какой *баш-ёлдаш* за него отвечает.

— Ясно. Сочли, что я из седьмой казармы некоего османского гарнизона.

— Совершенно верно. А поскольку ты был явно не в себе и никуда, кроме как на галеры, не годился, тебя решили оставить *тутсаком*, невольником, пока не умрёшь или не придёшь в рассудок. В первом случае тебя бы похоронили как янычара.

— А во втором?

— Это ещё предстоит узнать. Тогда мы считали, что имеет место первый случай. Поэтому мы отправились за городскую стену на кладбище *оджака*.

— Можно ещё разок?

– *Оджак*, или, по-нашему, очаг — турецкий янычарский орден, созданный по подобию мальтийского.

— Вот этот малый, который идёт, чтобы огреть нас «бычьим хером», принадлежит к очагу?

— Нет. Он служит у корсара, владельца нашей галеры. Корсары — ещё одно совершенно отдельное и сложное сообщество.

После того, как турок несколько раз вытянул Мойше и Джека «бычьим хером» и отправился вразумлять других невольников, Джек попросил Мойше продолжить рассказ.

— Мы с *ходжой-эл-пенджиком* отправились на кладбище. Мрачное это место, Джек: бесчисленные гробницы, по большей части в форме перевёрнутых скорлупок, призванные напоминать становища юрт в Трансоксианской степи — прародине, по которой до сих пор тоскуют все турки, хотя, если она и впрямь так выглядит, я их не понимаю. Тем не менее мы час бродили среди каменных юрт, ища твоё тело, и уже собирались поворачивать вспять, когда услышали глухой голос, выкликающий какие-то не то заклятия, не то пророчества на неведомом языке. Так вот, *ходжа-эл-пенджик* и без того был на взводе — бесконечная прогулка по кладбищу навела его на мысли о демонах, ифритах и прочей нечисти. Когда он услышал твой голос, несущийся, как мы скоро поняли, из мавзолея убиенного аги, он едва не припустил к городским воротам. Однако под рукой был не просто невольник, а и еврей в придачу, поэтому меня отправили в гробницу — посмотреть, что будет.

— И что же?

— Я нашёл тебя, Джек. Ты стоял в жутком, но восхитительно-прохладном склепе, молотил по крышке саркофага, в котором покоится ага, и повторял какие-то английские слова. Смысла их я не понял, но звучали они примерно так: «Эй, любезный, принеси-ка мне кружечку твоего лучшего портера!»

— Я точно был не в своём уме, — пробормотал Джек, — ибо в таком климате куда лучше светлое пльзеньское.

— Ты был по-прежнему шалый, но я заметил в тебе искру, какой не видел уже год или два — уж точно с тех самых пор, как нас продали в Алжир. Я подумал, что жар лихорадки вкупе с палящим солнцем, на котором ты пролежал несколько часов, выгнал французскую хворь из твоего тела. И впрямь с тех пор ты день ото дня становишься всё вменяемее.

— И как всё это воспринял *ходжа-эл-пенджик?*

— Ты вышел голый и красный от солнечных ожогов, как варёный рак, и тебя приняли за некую разновидность ифрита. Надо сказать, что турки страшно суеверны и особенно боятся евреев. Считается, будто мы обладаем некими оккультными способностями, и каббалисты в последнее время немало потрудились для укрепления этой веры.

Тем не менее скоро всё прояснилось. Наш хозяин получил сто ударов по пяткам палкою толщиной с мой большой палец, а затем его раны полили уксусом.

— Н-да, я бы предпочёл «бычий хер»!

— Надеются, что через месяц-другой хозяин сможет стоять. А тем временем мы пережидаем равноденственные шторма и приводим в порядок нашу галеру, как ты и сам видишь.

По ходу рассказа Джек косился на других галерников и видел невероятное смешение рас. Здесь были негры, европейцы, евреи, индусы, азиаты и множество других, незнакомых ему народностей, однако никого из команды «Ран Господних».

— А что с Евгением и мистером Футом? Выражаясь поэтически: получено ли за них страховое вознаграждение?

— Они на левом весле. Евгений гребёт за двоих, мистер Фут не гребёт вовсе, поэтому в контексте хорошо управляемой галеры они практически неразделимы.

— Так они живы?

— Живы и здравствуют — ты увидишь их позже.

— Почему они не отскабливают ракушки вместе со всеми? — обиженно поинтересовался

Джек.

— Зимними месяцами в Алжире, когда галеры не выходят в море, гребцам дозволяется — нет, горячо рекомендуется — заниматься отхожим промыслом. Хозяин получает долю от заработанного. Те, кто ничего не умеют, отскабливают ракушки.

Новость эта Джека не обрадовала, и он накинулся на ракушки с такой злостью, что едва не врубился в корпус галеры. Немедля последовал нагоняй — не от надсмотрщика-турка, а от приземистого рыжего невольника, работавшего рядом.

— Мне плевать, ты правда тронутый или только прикидываешься, но обшивку изволь беречь, не то нам всем крышка! — гаркнул тот на английском пополам с голландским.

Джек был на голову его выше и собрался уже воспользоваться своим преимуществом, но рассудил, что надсмотрщик, который лупит за простой разговор, вряд ли одобрит потасовку. Кроме того, за спиной у рыжего голландца стоял довольно крупный детина и поглядывал на Джека с той же брезгливой недоверчивостью. Детина смахивал на китайца, хотя не выглядел ни щуплым, ни забитым. И он, и голландец казались мучительно

знакомыми.

— Эй, малый, потрави-ка немного! Ты не хозяин, не капитан. Что нам за дело до какой-то царапины — лишь бы на плаву держалась!

Голландец недоверчиво помотал головой и вернулся к ракушке, которую отсекал от галеры с тщательностью эскулапа, удаляющего мочевой камень эрцгерцогу.

— Спасибо, что не устроил сцену, — сказал Мойше. — Нам, на правом весле, важно поддерживать мир.

— Эти двое гребут вместе с нами?!

— Да, а пятый в городе, занят собственным промыслом.

— Так на кой нам хорошие с ними отношения?

— Помимо того, что мы восемь месяцев в году сидим на одной скамье?

— Да.

— Мы должны грести слаженно, чтобы сохранять паритет с левым веслом.

— А если мы не будем грести слаженно?

— Галера начнёт…

— Кружить на месте, понятно. А нам-то что?

— Помимо того, что нам спустят шкуру «бычьим хером»?

— Я так понимаю, это само собой.

— Гребцы подобраны друг к другу. Покуда мы гребём наравне с левым веслом, мы составляем комплект из десяти невольников. В таком качестве нас продали нынешнему хозяину. Однако если Евгений и его товарищи по скамье начнут грести сильнее, нас разделят — твои друзья окажутся на разных галерах, либо даже в разных городах.

— И поделом им.

— Извини, не понял.

— Нет, это ты меня извини, — сказал Джек, — но мы ишачим здесь, на этом вонючем берегу. Ладно я — чокнутый бродяга, но ты, судя по всему, образованный еврей, голландец — явно корабельный офицер, и бог его знает этого китайца…

— Вообще-то он японец, но воспитанный иезуитами.

— Отлично: всё к одному.

— К чему же?

— Чем Евгений и мистер Фут лучше?

— Они создали своего рода предприятие, в котором Евгений — рабочая сила, мистер Фут — руководство. Чем именно они занимаются, объяснить трудно. Позже сам увидишь. А пока важно, чтобы вся десятка оставалась вместе!

— За каким лешим тебе это надо?

— Просидев несколько лет на галерной скамье, я втайне составил план, который принесёт нам десятерым богатство и свободу, хотя не обязательно в такой последовательности, — сказал Мойше де ла Крус.

— Предусмотрен ли планом вооружённый мятеж? Поскольку…

Мойше закатил глаза.

— Я просто силюсь вообразить, какая роль может быть отведена мне в плане — если, разумеется, он составлен не сумасшедшим.

— Этот вопрос я до сегодняшнего дня сам частенько себе задавал. Признаюсь, в ранних версиях плана предполагалось как можно раньше выбросить тебя за борт. Однако сегодня, когда с трёхъярусных батарей Пеньона и грозных башен касбы прогремели полторы тысячи выстрелов, сдаётся, в твоей голове расчистились последние заторы, и ты окончательно пришёл в рассудок — или, во всяком случае, почти пришёл. Теперь, Джек, у тебя есть своя роль в плане.

— И мне её откроют?

— Ты будешь нашим янычаром.

— Я не…

— Погоди! Видишь того малого, который отскребает ракушки?

— Которого? Их тут добрая сотня.

— Высокий, похож на араба с примесью негритянской крови — то есть египтянина.

— Вижу.

— Это Ниязи с правого весла.

— Он — янычар?

— Нет, но довольно среди них прожил и покажет, как себя вести. Даппа — чёрный, вон там — научит тебя нескольким турецким словам. А Габриель — японский иезуит — отменный фехтовальщик. Он быстро тебя поднатаскает.

— А зачем по плану нужен лжеянычар?

— Вообще-то нужен настоящий, — вздохнул Мойше, — однако выбирать не приходится.

— Я так и не получил ответа на свой вопрос.

— Позже — когда соберёмся все вместе.

— Ты говоришь, как придворный, сладкими эвфемизмами. Что значит «соберёмся»? Когда нас прикуют за ошейники где-нибудь в тёмных подземельях касбы?

— Ощупай рукой шею, Джек, и скажи, носил ли ты в последнее время ошейник?

— Э… сдаётся, что нет.

— Скоро конец работы — мы пойдём в город и встретимся с остальными.

— Ха! Так-таки прямо и пойдём? Будто свобод-

ные?

Джек ещё некоторое время продолжал в том же ключе, однако через час с высоких башен, понатыканных по всему городу, послышались странные завывания, и в касбе выстрелила одна-единственная пушка. Тут же все невольники положили орудия и парами-тройками побрели к городу. Семеро участников плана задержались подождать голландца, ван Крюйка, который не хотел уходить, не доведя работу до конца.

Мойше приметил оброненный топорик, нахмурился, поднял его, очистил от мокрого песка и принялся стрелять глазами по сторонам, ища, куда бы его пристроить. При этом он в задумчивости подбрасывал топорик. Поскольку весь вес заключался в обухе, рукоять беспорядочно крутилась в воздухе. Тем не менее Мойше всякий раз ловко её ловил. Наконец взгляд его остановился на сухом бревне, вбитом в песок и подпиравшем корпус галеры. Мойше снова подкинул топорик раз, другой, потом резко отвёл его за голову, высунул язык, мгновение помедлил и метнул. Топорик один раз медленно повернулся в полёте и замер, вонзившись углом лезвия в сухое бревно.

Семеро галерников поднялись к подножию колоссальной стены и зашагали к городским

воротам. Джек шёл вместе со всеми, невольно втягивая голову в ожидании удара бичом. Однако удара не последовало. Ближе к городу он расправил плечи и пошёл свободнее. Вся команда примкнула к нему и к Мойше: вспыльчивый голландец, японец-иезуит, негр с волосами, свитыми в упругие жгуты, египтянин по имени Ниязи и пожилой испанец, страдающий чем-то вроде нервного тика. Когда они проходили в ворота, он громко обратился к стоящим на страже янычарам. Джек понял не все испанские слова, хотя общий смысл разобрал: «Слушайте меня, нехристи поганые, содомиты вонючие, мы составили тайный заговор!» Джек не стал бы такого сейчас говорить, но Мойше и остальные только весело перемигнулись с янычарами и вошли в город: Притон разбойников, Осиное Гнездо, Бич Христианского мира, Цитадель Веры.

Главная, необычайно широкая улица Алжира была заполнена турками, которые сидели, скрестив ноги, и потягивали дым из огромных кальянов. Джек, Мойше и остальные шли по ней недолго. Мойше юркнул в стрельчатую арку, такую узкую, что в неё пришлось проходить боком, и устремился вперёд по открытому сверху каменному коридору немногим шире арки. Идти

приходилось вереницей и вжиматься в стену всякий раз, как кто-нибудь шёл навстречу. Ощущение было такое, словно находишься в глубине древнего здания, только всякий раз, поднимая глаза, Джек видел щёлочку неба между глухими стенами, встающими ярдов на десять-двадцать. Террасы и садики на кровлях соединялись мостками и деревянными лестницами. Временами по ним с крыши на крышу порхали одетые в чёрное фигуры, тёмные и неуловимые, как летучие мыши, Разглядеть их толком не удавалось; Джек видел только, что все они одеты как Элиза под Веной, и по походке угадывал женщин.

Внизу, на улице — если допустимо назвать улицей столь узкий проход — женщин не было. Зато мужчины пестрели разнообразием. Отличить янычар не составляло труда. Среди них попадались греки и славяне, но преобладали раскосые азиаты. Наряд их (весьма роскошный) составляли широкие плиссированные шаровары, подпоясанные кушаком, за который были заткнуты всевозможные пистоли, кинжалы и ятаганы; здесь же болтались кошели, кисеты, трубки и даже часы. Сверху — свободная рубаха и несколько жилетов, каждый — выставка галуна, золотых булавок, богатой вышивки. На голове

— тюрбан, на ногах — остроносые туфли, иногда поверх всего — длинная епанча. Однако преобладали мавры или берберы, жившие здесь до того, как пришли со своими порядками турки. На этих были широкие хламиды или просто длинные куски материи, обёрнутые вокруг тела и удерживаемые хитроумными кушаками или булавками. Изредка попадались евреи, всегда в чёрном, и считаные европейцы в том, что носили у себя на родине, пока не обасурманились.

Некоторые были в одежде того же фасона, что и юные франты, осаждавшие Элизу в амстердамской «Деве», но порою Джек замечал стариков в плоёном воротнике, испанской шляпе и с бородой клинышком.

— Тьфу ты, Господи! — вскричал Джек при виде одного из таких. — Почему мы — невольники, а вон тот старый хрыч, ковыляющий по лестнице, — уважаемый гражданин?

Вопрос привёл в недоумение всех, кроме негра со жгутами на голове, который только рассмеялся и покачал головой.

— Некоторые вопросы задавать очень опасно, — сказал он. — Знаю по опыту.

— Так кто ты такой и почему говоришь по-английски лучше меня?

— Меня зовут Даппа. Я полиглот.

— Я не понимаю, что это значит, — сказал Джек, — но поскольку мы всего лишь кучка рабов, затерянных в чужой крепости, думаю, не будет вреда выслушать твои объяснения.

— Вообще-то мы не затеряны, а идём самой прямой дорогой, — заметил Даппа, — но моя история коротка, в отличие от твоей, Джек, и я успею её изложить. Так вот, в каждом невольничьем порту должен быть человек, знающий множество языков. Как иначе чёрные работорговцы, добывающие товар во внутренних частях материка, договорятся с капитаном, чей корабль бросил якорь у берега? Работорговцы происходят из разных племён и говорят на разных наречиях; точно так же и капитан может оказаться англичанином, голландцем, французом, португальцем, испанцем, арабом или кем угодно. Всё зависит от исхода различных европейских войн, о которых мы в Африке ничего не знаем, покуда над фортом в устье реки не сменится флаг.

— Можешь не продолжать — я участвовал в нескольких таких войнах.

— Джек, я из города на реке, которую белые называют Нигер. Жизнь там привольная — еда растёт на деревьях. Я мог бы бесконечно петь

дифирамбы родному краю, но довольно сказать, что это рай. Если забыть про институт рабства, который был у нас всегда. Сколько помнят наши жрецы и старейшины, арабы поднимались по реке и выменивали рабов на ткани, золото и другой товар.

— А откуда брались рабы?

— Хороший вопрос. Раньше их пригоняли из местностей выше по реке — длинными колоннами, с деревянными колодками на шее. А некоторых жителей нашего города обращали в рабство за долги или за преступления.

— Так у вас есть приставы? Судьи?

— В моём городе священнослужители обладают огромной властью и делают многое из того, что в твоей стране делают приставы и судьи.

— Под священнослужителями ты вряд ли разумеешь таких, в смешных нахлобучках, бормочущих на латыни…

Даппа рассмеялся:

— Когда арабы или католики пытаются обратить нас в свою веру, мы их выслушиваем, а потом просим сесть в лодки и возвратиться, откуда приплыли. Нет, мы в моём городе придерживаемся традиционной религии, деталями которой я не стану тебя утомлять. Скажу лишь,

что у нас есть чтимый оракул. Это…

— Знаю. Слыхал о них в пьесах.

— Отлично. Тогда довольно будет сказать, что паломники со всей округи стекаются к жрецам аро — оракулам нашего города. Так вот: примерно в то же время, когда одни португальцы начали подниматься по реке, чтобы нас обратить, другие начали прибывать за невольниками. Ничего особенного — арабы занимались этим спокон веков. Однако постепенно — настолько постепенно, что на протяжении своей жизни человек не замечал изменений, — покупатели стали появляться чаще, а стоимость рабов выросла. Голландцам, англичанам и другим белым требовалось всё больше невольников. Мой город разбогател на этом промысле. Храмы жрецов аро украсились золотом и серебром, невольничьи караваны с верховьев реки стали многочисленнее и приходили чаще. И всё равно спрос превышал предложение. Жрецы, исполнявшие роль судей, обращали в рабство всё больше людей за всё меньшие провинности. Они разбогатели и заважничали, по улицам теперь разъезжали не иначе, как в золочёных паланкинах. Впрочем, некоторая категория африканцев лишь больше их зауважала, видя в этой роскоши знак, что жре-

цы — могущественные колдуны и предсказатели. Посему с ростом работорговли росли и толпы паломников со всей дельты Нигера, приходивших получить исцеление от болезни или посоветоваться с оракулом.

— Пока я не вижу ничего нового по сравнению с христианским миром, — заметил Джек.

— Разница в том, что со временем у жрецов иссякли и преступники, и рабы.

— То есть как это «иссякли преступники»?

— В рабство обращали за самую пустяковую провинность, а живого товара по-прежнему не хватало. Тогда жрецы постановили, что любой, кто предстанет перед оракулом и задаст глупый вопрос, будет немедленно схвачен и продан в неволю.

— М-м… Если глупые вопросы в Африке задают так же часто, как у меня на родине, то решение должно было породить целый поток несчастных…

— Да. И всё же паломники продолжали стекаться в наш город.

— Ты был одним из них?

— Нет. Мне посчастливилось родиться в семье жреца. В детстве я говорил без умолку, и меня решили сделать полиглотом. Поэтому, когда в

городе оказывался белый или араб, я селился с ним и старался выучить язык. А когда появлялись миссионеры, я с той же самой целью выказывал интерес к их вере.

— Как же ты стал рабом?

— Однажды я отправился вниз по реке в Бонни, невольничий форт в устье Нигера. По пути я посетил множество городов и понял, что мой — лишь один из множества невольничьих рынков на реке. Испанец-миссионер, с которым я путешествовал, сообщил, что такие центры работорговли, как Бонни, расположены по всему африканскому побережью. Впервые я осознал размах невольничьего промысла — и весь его ужас. Поскольку ты сам раб, Джек, и не раз выражал недовольство своим нынешним положением, я не стану развивать эту тему и вернусь к своему рассказу. Я спросил миссионера, как европейская религия, основанная на любви, оправдывает такую жестокость. Испанец ответил, что в церкви по этому поводу существуют большие разногласия, но, в конечном счёте, для работорговли есть только одно оправдание: негров, которых белые работорговцы покупают у чёрных, немедленно крестят, и польза, приносимая этим бессмертной душе, искупает страдания, что предстоит до

конца дней терпеть смертному телу. «Ты хочешь сказать, — вскричал я, — что против законов Божьих обращать в рабство негра, если он уже христианин?» — «Да, верно», — отвечал миссионер. И тут я преисполнился тем, что вы называете рвением. Мне очень нравится это слово. В своём рвении я вскочил на первую же шлюпку, шедшую вверх по реке. Тот был баркас Королевской африканской компании, который вёз куски ситца в обмен на невольников. Добравшись до родного города, я отправился прямиком в храм и, как бы вы сказали, «пролез по блату» к высшему из верховных жрецов аро. Я знал его с детства — он доводился мне кем-то вроде дяди, и мы не раз ели из одной миски. Он восседал на золотом троне, в львиной шкуре, обвешанный бусами из раковин каури. Я в волнении произнёс: «Знаешь ли ты, что есть способ наконец покончить со злом? Закон христианской церкви гласит, что крещёного нельзя обратить в рабство!» — «К чему ты клонишь? — спросил предсказатель. — Точнее, в чём твой вопрос?» — «Очень просто, — отвечал я. — Почему бы нам не крестить весь город (католики — настоящие специалисты по массовым крещениям) и всех паломников, которые входят в городские ворота?»

— И что ответил оракул?

— После мгновенного колебания он обернулся к стоящим рядом стражам и легонько повёл мухобойкой. Стражи выскочили вперёд и принялись связывать мне руки за спиной. «Что это значит? Что со мной делают, дядя?» — вскричал я. Он ответил: «Это уже два… нет, три глупых вопроса, и я обратил бы тебя в рабство трижды, будь такое возможно». — «Боже мой, — сказал я, начиная осознавать весь ужас происходящего, — разве ты не видишь чудовищности того, что творишь? В Бонни и других невольничьи портах наши братья умирают от болезней и отчаяния ещё до того, как их погрузят на каторжные невольничьи корабли. Сотни лет спустя дети их детей будут жить на чужбине изгоями, ожесточённые мыслями об участи предков! Как можешь ты — достойный с виду человек, любящий своих жён и детей, — соучаствовать в таком неописуемом преступлении?» — «А вот это дельный вопрос!» — ответил оракул и новым движением мухобойки отправил меня в невольничью яму. В Бонни я вернулся на том же английском баркасе, что доставил меня вверх по реке, а мой дядя украсил свой дом ещё одним куском ситца.

Даппа расхохотался, сверкая красивыми бе-

лыми зубами в быстро сгущающихся сумерках алжирского проулка.

Джек выдавил вежливый смешок. Хотя остальные невольники, вероятно, ещё не слышали историю Даппы на английском, они узнали ритм и заулыбались в положенном месте. Дёрганый испанец рассмеялся от души и сказал: «Надо быть безмозглым негритосом, чтобы находить это смешным!», но Даппа оставил его слова без внимания.

— Рассказ неплох, — заметил Джек, — однако не объясняет, как ты попал сюда.

Вместо ответа Даппа оттянул ворот драной рубахи и показал правую грудь. В сумерках Джек еле-еле различил рисунок шрамов.

— Я не знаю букв, — сказал Джек.

— Тогда я научу тебя двум. — Прежде, чем Джек успел отдёрнуть руку, Даппа поймал его указательный палец. — Это «D», — сказал он, водя Джековым пальцем по шраму. — Оно означает «дюк», то есть «герцог». А это «Y», Йорк. Герцог Йоркский. Его клеймо выжгли мне в Бонни.

— Не хочется сыпать тебе соль на раны, Даппа, но теперь этот самый малый — король Англии.

— Уже нет, — вставил Мойше. — Его сбросил Вильгельм Оранский.

— Ну вот, первая хорошая новость, — пробормотал Джек.

— Дальше в моей истории нет ничего примечательного, — продолжал Даппа. — Меня продавали из одного форта в другой. Невольники из Бонни ценились дёшево, поскольку мы, выросшие в раю, непривычны к сельскохозяйственному труду. Иначе меня отправили бы прямиком в Бразилию или на Карибские острова. Я оказался в трюме португальского корабля, идущего на Мадейру, и его захватил тот же рабатский корсар, что прежде взял на абордаж твоё судно.

— Надо поторапливаться, — сказал Мойше, запрокидывая голову.

Внизу давно была ночь, но футах в пятидесяти над ними угол стены заливал алый закатный свет. Маленькая колонна невольников прибавила шаг и, миновав несколько поворотов, оказалась на относительно широкой улице (то есть Джек уже не мог одновременно коснуться противоположных стен). Судя по луковой шелухе и отбросам под ногами, здесь располагался базар, хотя сейчас прилавки были пусты и лавки закрыты. На углу их дожидался темноволосый, странно знакомый молодой человек. Он говорил на сабире с акцентом, в котором Джек по парижским

воспоминаниям узнал армянский.

Однако не успел Джек удивиться или задуматься, как они вышли на открытое место, вроде площади, с общественным фонтаном для питья посередине и несколькими большими, ничем не примечательными зданиями по сторонам. В одно из них, ярко освещённое, пыталось разом пробиться множество людей. Здесь были и невольники, и янычары, а также обычная алжирская доля берберов, евреев и христиан. Приблизившись к толпе, Мойше посторонился, пропуская вперёд испанца, который тут же принялся расчищать дорогу в здание: выкрикивать самые страшные оскорбления, какие только Джек слышал, а также некоторые сымпровизированные на месте, толкать вооружённых турок под рёбра и наступать на загнутые носы их туфель. Джек ждал, что ему снесут голову саблей просто за компанию с грубияном, однако жертвы пинков и оскорблений, узнав испанца, разражались хохотом, после чего принимались с весельем наблюдать за тем, как достаётся стоящим впереди. Мойше и другие, не теряя времени, протискивались за его спиной, так что добрались до входа быстро и, очевидно, вовремя. Ещё немного, и было бы поздно — турки-стражники что-то сердито закричали, указывая

на западную часть неба, потемневшую до почти невидимой сини, словно пламя свечи силилось пробиться сквозь фарфоровое блюдечко. Один из стражников вытянул плетью Даппу и японца-иезуита; Джек успел увернуться.

Мойше упомянул, что они живут в месте, которое называется «*баньёл*». Джек заключил, что это оно и есть: двор, окружённый несколькими ярусами галерей, разделённых на множество конурок. Галереи напомнили Джеку старинные лондонские театры на Мейд-лейн между саутваркским болотом и Темзой — «Розу», «Надежду» и «Лебедь». С одним отличием: там вооружённые люди старались не пустить Джека внутрь, здесь — наказать за то, что он задержался.

Разумеется, это был не театр, а невольничье жильё. И всё же на галереях, на плоской крыше баньёла и во дворе (по крайней мере, сейчас) толпились свободные алжирцы. Часть двора сбоку от центрального резервуара с водой была отгорожена верёвками наподобие сцены или борцовского ринга; по периметру её стояли факелы — так часто, что пламя их сливалось в огненную раму, ярко озарявшую пустой участок посередине.

Все турки, набившиеся во двор, были очень возбуждены. Нигде, кроме как в становище

бродяг, Джек не видел столь буйной толпы. Те, кто не ругался из-за места и не заключал какие-то сложные пари, внимательно следили за приготовлениями в углу ринга. Джек понимал, что лишь два вида зрелищ могут так сильно распалить молодых мужчин, а поскольку секс янычарам запрещён, оставалось предположить какого-то рода насилие.

Пробившись вслед за Мойше в один из углов бурлящей площади, Джек был сражён наповал — хотя и не слишком удивлён — видом Евгения, совершенно голого, если не считать кожаной набедренной повязки, и обильно смазанного маслом, а также мистера Фута в великолепном алом наряде, потряхивающего туго набитым кошелём. Однако не успел Джек пробиться поближе с расспросами, как Евгений опустился на одно колено. Само по себе ничего особенного — но на толпу это подействовало, как взрыв гранаты. Все вокруг попятились, оставив Евгения посреди пустого пространства, галереи замолкли и тут же разразились криками: «Рус! Рус! Рус!»

Евгений развёл руки на весь их трёхаршинный размах, потом хлопнул в ладоши так, что с земли поднялась пыль, снова раскинул руки и ещё дважды повторил хлопок. Затем он опустил

правую руку к земле, ладонью кверху, поднял её к лицу, поцеловал пальцы и коснулся ими лба. Во время всей церемонии крики «Рус! Рус! Рус!» звучали приглушённо, но как только Евгений вскочил на ноги и выбежал на ринг, поднялся такой ор, что у Джека зазвенело в ушах, как от салюта полутора тысяч пушек. Евгений принял странную вызывающую позу — левый локоть упёрт в ладонь правой руки, подбородок на левой ладони — и застыл.

Несколько минут ничего не происходило, только пылали факелы и с темнеющих небес неслись громкие крики. Наконец другой основательно умасленный человек в кожаном набедреннике выполнил ту же последовательность движений и встал напротив Евгения в той же позе. Это был очень чёрный негр, не такой высокий, как Евгений, но более грузный. Гомон усилился. Мистер Фут, добавивший к своему наряду недешёвого вида плащ, вышел на ринг и принялся выкрикивать какое-то объявление; он поворачивался, так что каждый зритель увидел его гланды, хотя услышать, разумеется, ничего не мог. Покончив с этим, мистер Фут торопливо отступил за верёвку. Евгений и негр повернулись лицом друг к другу, свели ладони, словно играющие дети, потом

отвели головы назад и что есть силы сшиблись физиономиями. Джек опешил; когда они снова запрокинули головы и сшиблись снова, у него захватило дух; когда то же самое произошло в третий раз, он подумал было, что так оно и будет продолжаться, пока один не потеряет сознание. Тут как раз они разняли руки и разошлись, пошатываясь. Кровь бежала по лицам из разбитых бровей.

И вот началась собственно борцовская схватка. Она мало отличалась от тех, что Джек повидал на своём веку, только была гораздо грязнее. Немедленно у обоих противников руки оказались в масле, так что им пришлось расцепиться и втереть в ладони пыль. Как только они сцепились вновь, пыль эта перешла на их тела. Через несколько минут Евгений и негр оказались с ног до головы в каше из пота, крови, масла и алжирской пыли. У Евгения стойка была шире, но негр держал центр тяжести низко, и ни одному не удавалось повалить другого. Поворотный миг настал через несколько минут после начала схватки, когда негр изловчился схватить Евгения за яйца и крепко их сжать, что было умно, одновременно выжидательно глядя тому в глаза, что было куда глупее. Ибо Евгений, превозмогая боль с выдерж-

кой, от которой у Джека всё внутри похолодело, со всей силы ударил противника головой в лицо. Раздался оглушительный треск, брызнула кровь. Африканец разжал хватку и схватился за расквашенную физиономию. Евгений легко бросил его в пыль, чем поединок и закончился.

— Рус! Рус! Ру-у-с! — ревели янычары.

Евгений с философическим видом прошёлся вдоль верёвки. Мистер Фут шагал за ним с раскрытым кошелём, куда турки бросали монеты — по большей части целые пиастры. Джеку зрелище нравилось — пока весь кошель не перекочевал к дородному турку, который сидел возле ринга в чём-то вроде носилок, возложив на оттоманку замотанные бинтами ступни.

— В России я принадлежал к тайному обществу, в котором мы воспитывали друг у друга нечувствительность к пыткам, — спокойно поведал Евгений некоторое время спустя.

Все потрясённо замолчали, и Джек воспользовался затишьем, чтобы мысленно обрисовать ситуацию.

После долгой череды боёв факелы загасили, турки и свободные алжирцы разошлись, а в баньёле остались одни невольники. Оба весла в полном составе собрались на крыше выкурить

по трубочке. Тонюсенький месяц висел где-то далеко-далеко — над Сахарой, подумалось Джеку. Небо было черным-черно, а звёзд — куда больше, чем ему доводилось видеть. Алжирская касба мерцала редкими огоньками, но в основном ночь полностью принадлежала десятерым невольникам.

Левое весло

Евгений-раскольник, он же Рус

МИСТЕР ФУТ, бывший владелец «Ядра и картечи» в Дюнкерке, ныне предприниматель без портфеля

ДАППА, негр-полиглот

ИЕРОНИМО, злобный, но высокородный испанец

НИЯЗИ, погонщик верблюдов с Верхнего Нила

Правое весло

ДЖЕК «КУЦЫЙ ХЕР» ШАФТО, Эммердёр, король бродяг

МОЙШЕ ДЕ ЛА КРУС, еврей, у которого есть План

ГАБРИЕЛЬ ГОТО, японец-иезуит

ОТТО ВАН КРЮЙК, голландский моряк

ВРЕЖ ИСФАХНЯН, младший из парижских Исфахнянов, ибо армянин, которого они встретили

на базаре, оказался именно им[4].

— Нас удерживает в этом городе неумолимая воля рынка, — начал Мойше де ла Крус.

Джек заподозрил вступление к хорошо отрепетированной и очень длинной речи, поэтому торопливо перебил:

— Ха! О каком рынке речь?

Однако, судя по лицам остальных, никто, кроме него, скептицизма не проявлял.

— Ну как же! О рынке фьючерсов на выкуп *тутсаков*, расположенном всего за три двери отсюда вон по тому проулку, — сказал Мойше. — Там каждый, у кого есть деньги, может приобрести долю в купчей *тутсака*, то есть военнопленного, в расчёте, что того выкупят, и каждый пайщик получит свою часть за вычетом пошлин, налогов и сборов, установленных пашой. Это главная доходная статья городского бюджета.

— Ладно, извини, я решил, будто ты притягиваешь за уши какое-то сложное сравнение…

— Сегодня, наблюдая за Евгением во время боя, — продолжал Мойше, — я подумал, что упо-

---

[4] Примечания: 4

«Ничего себе совпаденьице!» — воскликнул Джек, живший в Париже у Исфахнянов; однако остальные закатили глаза и, кажется, прикусили язык, давая понять, что совпадениями тут и не пахнет — по крайней мере в том, что касается армянской стороны.

мянутый рынок — своего рода Невидимая рука, держащая нас за яйца.

— Погоди, погоди! Это что, пошли какие-то каббалистические суеверия?

— Нет, Джек, вот *теперь* я прибег к сравнению. Невидимой руки нет — но она всё равно что есть.

— Отлично. Продолжай.

— Законы рынка требуют, чтобы с *тутсаком*, которого скорее всего выкупят, обращались хорошо…

— А такие, как мы, оказываются на галерах, — закончил Джек. — Мне понятно, почему я низко котируюсь на этом рынке и мои яйца Невидимая рука сжимает особенно крепко. Мистер Фут — банкрот, Евгений принадлежит к секте, члены которой друг друга истязают, Даппа — персона нон грата во всех землях южнее Сахары, семья Врежа Исфахняна хронически на мели. Сеньор Иеронимо если и обладает какими-то достоинствами, которых я до сих пор не разглядел, явно не из тех, кого близким захочется выкупать. Историю Ниязи я не знаю, но могу вообразить. Габриеля занесло не на ту сторону земного шарика. Всё более или менее ясно. Однако ван Крюйк — корабельный офицер, а ты, судя по всему, голо-

вастый еврей. Почему не выкупили вас?

— Мои родители умерли от чумы, охватившей Амстердам после того, как Кромвель перекрыл нам иностранную торговлю, и многие честные голландцы вынуждены были, покинув дома, ночевать в антисанитарной обстановке, — начал ван Крюйк с явной обидой в голосе.

— Отставить, капитан! Похож я на круглоголового? Я тут ни при чём.

— Меня выкормили казённые кормилицы в приюте. Священник-реформат, спасибо ему, научил читать и считать, но я вырос трудным подростком…

— Представляю себе! Чего ещё ждать от рыжего, голландского, малорослого приютского забияки? — воскликнул Джек. — И всё-таки, думаю, какой-нибудь корсар нашёл бы тебе работу получше, чем отскребать ракушки.

— Когда мне было восемнадцать, каналы замёрзли, и солдаты короля Людовика вторглись на коньках, насилуя всё, что движется, и сжигая остальное. Голландская республика готовилась погрузиться на корабли и отплыть в Азию. Требовалось много моряков. Меня прямо из тюрьмы

взяли в VOC[5]. Вместе с беженцами я попал на Тексел, где получил сундучок с одеждой, трубку, табак, Библию и книгу под названием «Благочестивый мореходец». Двадцать четыре часа спустя я на военном корабле подносил канонирам мешки с порохом, уворачиваясь от английской картечи. Через год беготни с порохом и работы на помпе я стал из юнги матросом. Совершив три рейса в Индию и обратно, сделался офицером.

— Отлично! Так почему ты не офицер здесь?

— Десять лет я жил в постоянном страхе перед пиратами. Наконец мои кошмары сбылись, и у меня отняли корабль — иногда его можно увидеть в заливе и, вслушавшись, различить стоны пленников в его трюме.

— Кажется, до меня начинает доходить, что ты не жалуешь пиратов и их промысел, — сказал Джек, — как и пристало всякому благонамеренному голландцу.

— Ван Крюйк не захотел обасурманиться и теперь гребёт вместе с нами, — добавил Мойше.

— А ты сам? Принято считать, что евреи своих в беде не бросают.

— Я криптоиудей, — отвечал Мойше, — и даже

---

[5] Примечания: 5

Vereenigde Oostindische Compagnie, то есть Голландская Ост-Индская компания.

больше крипто, чем иудей. Я вырос на экваторе. У побережья Африки есть остров Сан-Томе, суверенное владение той европейской державы, которая последняя отправит флот его обстрелять. Однако много лет только португальцы знали, где он находится, и потому остров был португальским. Так вот, мои предки были испанские евреи. Двести лет назад, когда из Испании окончательно изгнали мавров и открыли Америку, королева Изабелла велела всем евреям убираться вон. Те, кто, как теперь понятно, были поумнее, «натянули чулки Вилладиего», то есть драпанули во все лопатки до самого Амстердама. Мои предки всего лишь перебрались через границу в Португалию. Однако инквизиция была и там. Когда Альваро де Каминья отправился губернатором на Сан-Томе, он взял с собой две тысячи еврейских детей, вырванных инквизицией из лона семьи. Сан-Томе владел монополией на работорговлю в той части мира — Альваро де Каминья крестил этих детей и заставил их работать на себя. Однако они тайно хранили свою веру, совершали взаперти полузабытые обряды и молились на ломаном древнееврейском, даже преклоняя колени перед золочёным алтарём с телом и кровью Христа. То были мои предки. Почти пятьдесят лет

назад Сан-Томе захватили голландцы. Вероятно, это спасло жизнь родителям моего отца, ибо на испанских и португальских землях инквизиция начала свирепствовать с новой силой. Вместо того, чтобы сгореть на португальском аутодафе, мой дед вместе с бабкой перебрался в Новый Амстердам, где занялся единственным известным ему ремеслом — работорговлей на службе Голландской Вест-Индской компании. Потом город захватил флот герцога Йоркского. К тому времени мой отец успел вырасти и жениться на девушке-манхатто…

— Это ещё кто такие? — спросил Джек.

— Местное индейское племя, — объяснил Мойше.

— То-то я заметил в форме твоих глаз и носа чегой-то этакое.

Лицо Мойше, озарённое лишь алым отсветом трубки, приняло ностальгическое выражение, от которого Джеку инстинктивно стало не по себе. Расстегнув верхнюю пуговицу на драной рубахе, Мойше вытащил что-то, болтавшееся у него на шее на кожаном шнурке — какое-то туземное изделие.

— В потёмках трудно разглядеть эту цацку, — сказал он, — но третья бусина справа в четвёртом

ряду — грязновато-белая — одна из тех, за которые голландец Петер Минуит купил у манхатто их остров, когда мама была ещё совсем крошкой в вигваме своего отца.

— Господи, да ты должен её беречь! — воскликнул Джек.

— Я её и берегу, — отвечал Мойше с лёгкой ноткой раздражения, — как легко может видеть любой дурак.

— Ты хоть представляешь, сколько она стоит?

— Практически ничего — но для меня она бесценна, как память о матушке. Так или иначе, возвращаясь к рассказу — мои родители натянули чулки Вилладиего и рванули в Кюрасао, где я и родился. Матушка умерла от оспы, батюшка — от жёлтой лихорадки. Я, не зная, куда податься, прибился к тамошней общине криптоиудеев. Мы решили перебираться в Амстердам, как нашим предкам следовало поступить с самого начала. Сообща мы оплатили проезд на невольничьем корабле, везущем в Европу сахар. Его захватил рабатский корсар, и все мы оказались на галере, где гребли под «Хаву Нагилу», которая, по причине своей привязчивости, оказалась единственной известной нам еврейской песней.

— Отлично, — сказал Джек. — Теперь я пове-

рил, что Невидимая рука держит нас за яйца, как борец-нубиец держал Евгения. Далее, как я понимаю, все мы должны, уподобившись русскому, превозмочь боль и явить пример твёрдости духа и тому подобной херни. Впрочем, я готов слушать — всё лучше, чем лежать в баньёле под хоровой кашель тысячи чахоточных галерников.

— План, несомненно, покажется тебе несбыточным, пока Иеронимо не ознакомит нас с некоторыми поразительными фактами, — произнёс Мойше, поворачиваясь к дёрганому испанцу, который тут же встал и отвесил ему учтивый поклон.

Рассказ Эль Десампарадо

Тщеславие, состоящее в выдумывании или предположении заведомо отсутствующих у нас способностей, присуще большей частью молодым людям и питается историями и вымыслами светских щёголей; оно часто исправляется с возрастом и под влиянием деловой жизни.

Гоббс, «Левиафан» [6]

— Меня зовут превосходительнейший дон Иеронимо Алехандро Пеньяско де Альконес Квинто, маркиз де Асуага и де Орначос, граф де Льерена, Баркаротта и де Херес-де-лос-Кабальеорос, виконт де Льера, Энтрин Альто-и-Бахо и де Кабеса-дель-Буэй, барон де Барракс, Баса, Нерва, Хадраке, Брасатортас, Гаргантиэль и де Валь-де-лас-Муэртас, сеньор де Аталая, бенефициарий рыцарского ордена Калатравы де ла Фреснеда.

Как вы догадались по моему имени, я происхожу из древнего рода кабальеро, могучих воителей христианского мира, истреблявших мавров ещё во времена «Песни о Роланде», но

---

[6] Примечания: 6

Здесь и далее перев. А. Гутермана.

это другая история, куда более славная, нежели моя. Воспоминания о месте рождения отрывочны и затуманены слезами. То был замок на высоком уступе Сьерра-де-Мачадо, выстроенный на земле, вся ценность которой заключалась в том, что мои предки отвоевали её у мавров, пядь за пядью, мечом и кинжалом. Когда я только начинал говорить, меня вывезли оттуда в наглухо заколоченном экипаже на брег Гвадалквивира и вручили неким монахиням, а те посадили на борт галеона в Севилье. Далее воспоследовало долгое и опасное путешествие к Новой Испании, о котором я мало помню, а скажу и того менее. Корабль доставил меня, монахинь и множество других испанцев в Портобело. Как вам, возможно, известно, город сей стоит на карибском берегу Панамского перешейка, в самой узкой его части, прямо напротив Панамы, что на Тихоокеанском побережье. Всё серебро из прославленных рудников Перу (за исключением того, что контрабандой вывозят через Анды и по Рио-де-ла-Плата в Аргентину) доставляют в Панаму и оттуда на мулах в Портобело, где грузят на галеоны и отправляют в Испанию. Когда в Портобело ожидают галеоны вроде того, на котором я прибыл, серебро валяется на улицах грудами, словно дрова. Таким образом,

едва я вместе с монахинями сошёл на берег, как ступил на серебро — знак того, что должно было произойти со мной позже, и, надеюсь, предзнаменование ещё более великих приключений, ожидающих нас десятерых.

— Думаю, могу смело сказать за всех, что мы слушаем тебя в высшей степени внимательно, превосходительнейший, — дружески начал Джек, но испанец оборвал его грозным:

— Заткнись, не то я отрежу остатки твоего гнилого хера и заколочу их в твою протестантскую глотку моим собственным девятидюймовым крепышом!

Прежде чем Джек нашёлся с ответом, Иеронимо как ни в чём не бывало продолжил:

— Я недолго оставался в этом Эльдорадо, ибо на пристани меня ждал фургон. Правили им монахини того же ордена, только все они были индианки. Мы двинулись извилистой дорогой через джунгли и горы Дарьена и, наконец, прибыли в монастырь, в котором, как я понял, мне предстояло теперь жить. Моё горе от разлуки с близкими усугубилось сходством между уединённой обителью и отчим домом. Она тоже являла собой замок на головокружительной круче; ветры, дующие через перешеек, скорбно стенали в

узких крестообразных амбразурах.

То были почти единственные звуки, достигавшие моих ушей, ибо здешние монахини приносили обет безмолвия, к тому же, как я скоро узнал, происходили из горной долины, где близкородственные браки ещё более часты, чем у Габсбургов, отчего все поголовно страдают глухотой. Я слышал лишь речь погонщиков, доставлявших в горы провизию, да других призреваемых в той же монашеской обители. Ибо в странноприимном доме монастыря постоянно находилось не менее полудюжины насельников обоего пола. Все они выглядели здоровыми и, судя по осанке и платью, были из благородных и даже знатных семейств, но вели себя странно: некоторые говорили бессвязно или пребывали в молчании, подобно монахиням, других постоянно терзали адские видения, третьи не помнили того, что произошло пять минут назад. Мужчины, которых лошадь лягнула в голову, женщины со зрачками разного размера… Некоторых постоянно держали под замком либо даже привязывали к кровати. Однако я мог свободно бродить, где пожелаю.

В должное время я обучился грамоте и начал обмениваться письмами с любезной матушкой в

Испании. В одном из них я спросил, почему меня воспитывают в этом монастыре. Письмо спустилось с гор в телеге, запряжённой ослом, пересекло океан в трюме галеона, и примерно через восемь месяцев пришёл ответ. Матушка писала, что при рождении Господь наградил меня редким даром, коим оделяет немногих: я бесстрашно говорю всё, что у меня на сердце, и высказываю то, что другие малодушно таят в душе. Дар сей, продолжала матушка, более свойственен ангелам, нежели простым смертным, и великое чудо, что я его получил, но в нашей скорбной юдоли много заблудших, ненавидящих всё ангельское, и они бы стали чинить мне обиды. Посему она с горькими слезами оторвала меня от своей груди и отдала на воспитание женщинам, которые ближе к Богу, чем кто-либо в Испании, а к тому же не способны меня слышать.

Письмо это прогнало моё недоумение, но не моё горе. Я принялся с усердием упражнять разум и душу: разум — чтением древних книг, что присылала матушка из библиотеки старого замка в Эстремадуре, повествующих о войнах моих предков с сарацинами во времена Крестовых походов и Реконкисты; душу — изучением катехизиса и, по настоянию монахинь, ежедневной часовой

молитвой святому, изображённому на витраже в боковой капелле монастырской церкви. То был святой Этьенн де ля Туретт. Символы его таковы: в правой руке парусная игла и шпагат, посредством коих некий барон зашил ему рот, в левой — клещи, коими, по другому поводу, епископ Мецкий, позже канонизированный под именем святого Авессалома Благостного, вырвал ему язык. Впрочем, тогда значение сих предметов оставалось для меня туманным.

Однако тело моё не укреплялось, пока, примерно о ту пору, когда у меня начал ломаться голос, в монастыре не появился новый жилец: высокий и красивый кабальеро с дырой посредине лба наподобие третьего глаза. То был Карлос Оланчо Мачо-и-Мачо, великий капитан, прославленный по всей Новой Испании подвигами в борьбе с буканьерами, этой чумой Карибского моря. Что бы ни думали англичане, для нас оно — гнездо гадюк, подстерегающих наши галеоны, неминуемый шквал огня, свинца и абордажных сабель на пути в Испанию. Множество пиратов сразил Карлос Оланчо Мачо-и-Мачо, или Эль Торбелино, то есть смерч, как называли его в менее официальной обстановке; двум дюжинам галеонов не вместить всё серебро, что вырвал он из проте-

стантских когтей. Однако в битве с пиратской армадою Моргана у архипелага Де-лас-Колорадос он получил пулю в лоб и с тех пор стал настолько гневлив, что все вокруг — особливо же старшие офицеры — постоянно дрожали за свою жизнь. Кроме того, Эль Торбелино потерял способность выражать мысли иначе как записывая их задом наперёд левой рукой при помощи зеркала, что в пылу боя оказалось до опасного непрактично. Посему с великою неохотою он согласился отправиться на покой в монастырь. Каждый день он вместе со мною преклонял колени в боковой капелле и молился святому Николаю Фризскому, изображаемому с варяжским топором в голове; рана сия принесла ему чудесную способность понимать язык болотных крачек.

Теперь я одним предложением охвачу сразу несколько лет. Эль Торбелино обучил меня всем приёмам воинского искусства, какие знал, а также, полагаю, нескольким, изобретённым прямо на месте. Таким образом, романтика старых заплесневелых книг стала мне близка и понятна. Близка, но недоступна: ибо при всех моих умениях обращаться с мушкетом, рапирой, кинжалом и палашом я по-прежнему прозябал в дарьенском монастыре. Достигнув полноты лет, я начал

составлять план, как сбежать на побережье и, возможно, собрав команду моряков, отправиться в Карибское море, дабы, стяжав славу охотой на буканьеров, предложить свои услуги королю Карлу Второму в качестве приватира. Король постоянно занимал моё воображение: мы с Эль Торбелино преклоняли колени перед статуей святого Лемюэля, чей символ — корзина, в которой его носили, — и молились о здравии нашего монарха.

Однако случилось так, что прежде, нежели я успел отправиться на поиски пиратов, они сами ко мне явились.

Даже такие глупцы и невежды, как вы, наверняка знают, что некоторое время назад капитан Морган отплыл от Ямайки с армадой, разорил и сжёг Портобело, потом во главе армии вышел к Тихому океану и разорил Панаму. Во время этих бесчинств мы с Эль Торбелино были в долгой охотничьей экспедиции в горах. Мы надеялись разыскать и убить одного их тех ягуаров-оборотней, о которых с такой убеждённостью рассказывают индейцы.

— И что, убили? — не сдержался Джек.

— Это другая история, — проговорил Иеронимо с явным сожалением и нехарактерной для него

сдержанностью. — Мы ушли далеко в горы и возвращались долго из-за *los parasitos,* о которых чем меньше рассказывать, тем лучше. В наше отсутствие Морган захватил Портобело, а передовые отряды его армии отправились на поиски места, где можно перевалить через хребет. Один, состоявший из примерно двух десятков морских разбойников, напал на монастырь и принялся его грабить. Когда мы с Эль Торбелино приблизились, то различили звон разбиваемых витражей и крики насилуемых монахинь — первый звук, который я когда-либо от них слышал.

Мы были вооружены всем, что потребно двум кабальеро в долгом походе за ягуарами-оборотнями в губительных джунглях Дарьена, и обладали преимуществом внезапности. Более того, мы желали сразиться за Божье дело и были очень-очень злы. Однако все эти преимущества могли обернуться ничем, по крайней мере, в моём случае, ибо я ещё не нюхал пороху. Общеизвестно, что многие молодые люди, вскружившие себе голову романтическими легендами, мечтают отличиться в бою, а попав в настоящую схватку, оказываются парализованы замешательством либо бросают оружие и бегут.

Как выяснилось, я не принадлежал к их числу.

Мы с Эль Торбелино напали на пьяных буканьеров, как два бешеных ягуара-оборотня на овчарню. Бой был упоителен. Разумеется, Эль Торбелино сразил больше врагов, нежели я, однако многим англичанам пришлось в тот день отведать моей стали, и, суммируя вкратце самую малоаппетитную часть рассказа, уцелевшие монахини ещё долго вывозили требуху в джунгли на корм кондорам.

Мы знали, что это лишь авангард, посему принялись укреплять монастырь и учить монахинь обращению с фитильными ружьями. Когда подошло основное войско — несколько сотен накачанных ромом морских бродяг Моргана, — мы встретили их с испанским радушием и украсили двор сотней мёртвых тел, прежде чем остальные сумели прорваться внутрь. Эль Торбелино пал, сражённый тринадцатью клинками, в дверях лазарета, я продолжал сражаться даже после того, как получил удар прикладом в челюсть. Командир отряда приказал своим людям отступить и перегруппироваться. Следующую атаку я вряд ли пережил бы. И тут пришло известие от Моргана, что найден другой, более удобный перевал. Видя, что куда безопаснее и несравненно выгоднее грабить богатый город, защищаемый трусами,

нежели смиренную обитель, которую обороняет человек, не боящийся пасть со славой, пираты отступили от наших стен.

Итак, Панама и Портобело были разграблены. Несмотря на это — а может быть, именно поэтому — история о том, как мы с Эль Торбелино отстояли монастырь, вызвала сенсацию в Лиме и Мехико. Меня провозгласили великим героем — быть может, единственным героем во всём этом эпизоде, ибо о поведении тех, кто призван был оборонять Панаму, в приличном обществе даже упоминать негоже.

Я, разумеется, ничего этого не знал, ибо слёг от ран и различных тропических болезней, подхваченных во время охоты на ягуаров-оборотней и теперь проявившихся во всей красе. Я лежал без чувств, несмотря на многочисленные кровопускания и вулканические клистиры, коими ежедневно потчевали меня лекари, прибывшие в монастырь после описанного сражения, и в сознание пришёл уже на борту галеона, следующего вдоль берега Байя-де-Кампече в Веракрус. Даже такие недоумки, как вы, должны сообразить, что это ближайший к Мехико морской порт. Я не мог раскрыть рот. Лекарь-иезуит объяснил, что удар раздробил мне челюсть, и чтобы кости

срослись, её плотно прибинтовали. Также мне вырвали левый передний зуб и через получившееся отверстие с помощью чего-то вроде мехов трижды в день закачивали кашицу из молока и растёртого маиса.

В должный срок мы прошли западным проливом Веракрус и бросили якорь под стенами замка, переждали песчаную бурю, затем другую и сошли на берег, пробиваясь через тучи москитов и держа наготове мушкеты на случай появления аллигаторов. Мы побеседовали с толпой негров и мулатов, составляющих местное население, и договорились, что это ворьё доставит нас в город. Проезжая по улицам, я не видел ничего, кроме заколоченных деревянных лачуг. Мне объяснили, что это собственность белых людей, которые съезжаются сюда к погрузке галеонов, а остальное время проводят в куда более роскошных гасиендах. Во всём Веракрусе цивилизованной можно назвать только центральную площадь, где стоят собор и губернаторский дом, в котором размещена рота солдат. Когда дежурного офицера уведомили о моём прибытии, он велел артиллеристам дать салют и охотно выписал мне пропуск для проезда в столицу. Потом мы выехали в ворота, которые стояли открытыми из-за того, что на

них намело дюну, и двинулись на запад.

Чем меньше рассказывать об этом путешествии, тем лучше.

Мехико блистает красотой, величием и порядком, коих недостаёт Веракрусу. Он стоит на озере и соединён с берегом пятью дамбами; у каждой — свои собственные ворота. Вся земля принадлежит церкви, и посему это самый благочестивый город мира — если ты не духовное лицо, тебе попросту негде жить. Есть два десятка женских монастырей и ещё больше мужских, все очень богатые, а кроме того, множество голодранцев-креолов, которые спят на улицах и всячески безобразничают. Собор ошеломляет — его причт насчитывает триста-четыреста человек во главе с архиепископом, получающим шесть тысяч пиастров в год. Я упоминаю об этом, только чтобы передать, насколько был потрясён; не будь моя челюсть перевязана бесчисленными бинтами, она бы отвисла до земли.

Несколько дней меня возили по городу, где разные знатные особы давали в мою честь званые обеды, в том числе и вице-король с супругой — весьма высокородной особой, смахивающей на лошадь, которой оттянули губу, чтобы осмотреть зубы. Разумеется, я не мог отведать роскошных

яств, коими нас потчевали, зато научился тянуть вино через соломинку. Точно так же не мог я обратиться к хозяевам, однако писал послеобеденные речи в героическом стиле, почерпнутом из семейных хроник. Речи эти имели самый большой успех.

Теперь я подхожу к той части рассказа, в которой придётся кратко изложить события сразу нескольких лет. Вероятно, вы догадываетесь, что произошло далее: со временем повязку сняли, и после торжественной мессы в соборе вице-король посвятил меня в рыцари.

Когда церемония закончилась, вышел архиепископ и вознёс хвалы мне, вице-королю и его супруге, всячески превознося её добродетель и красоту.

На это я ответил, что впервые слышу такую наглую и подобострастную ложь, ибо при взгляде на супругу вице-короля всякий раз гадаю: отыметь ли её в задницу, на что она так явно напрашивается, или вскочить ей на спину и проскакать галопом по площади, паля из пистолетов.

Вице-король велел заковать меня в кандалы и бросить в нехорошее место, где я, вероятно, и гнил бы до конца дней.

Письма отправились по королевскому тракту в

Веракрус, далее в трюмах галеонов в Гавану и, наконец, в Мадрид, другие письма пришли в ответ, очевидно, с какого-то рода разъяснениями. Некоторое время спустя меня перевезли на квартиру, а когда моё здоровье поправилось — в Веракрус, где мне отдали под командование трёхмачтовый корабль с тридцатью двумя пушками и отличной командой, велев до новых указаний убивать пиратов и как можно реже ступать на берег.

Здесь я мог бы привести статистку касательно суммарного водоизмещения потопленных кораблей, а также количества пиастров, возвращённых церкви и королю, но для меня наибольшая честь, что среди пиратов я прослыл воскресшим Эль Торбелино и получил прозванье Десампарадо. Сейчас я объясню вам, что, собственно, оно значит. «Десампарадо» — священное слово для всех нас, кто исповедует истинную религию, ибо его последним произнёс на Кресте наш Господь…

— Что же оно значит, — спросил Джек, — и зачем его прилепили тебе, у кого и прежде имён было хоть отбавляй?

— Оно значит «Тот, кого Бог оставил». Молва о моей борьбе и моём заключении в казематах Мехико летела впереди меня, и даже ты, Джек, ущербный и спереди, и сзади, поймёшь, отчего

меня так назвали. Знай же, что всякий раз, когда я подходил к Гаване, меня приветствовали пушечным салютом, но никогда не приглашали сойти на берег. Затем, два года назад, флот, везущий сокровища в Испанию, после выхода из Гаваны разметало ураганом. Меня отправили во Флоридский залив собрать отбившиеся корабли.

— Постой, Десампарадо. Уж не собираешься ли ты пудрить нам мозги историей про затонувший галеон, координаты которого ведомы тебе одному? Поскольку…

— Нет, нет, всё гораздо лучше! — вскричал испанец. — Прочёсывая море в течение нескольких дней, мы обнаружили бриг водоизмещением семьдесят пять тонн, угодивший в ловушку среди песчаных банок у островов Муэртос, что между Гаваной и Флоридой. Шторм загнал его в некое подобие бассейна, откуда моряки не могли теперь выбраться из опасения сесть на мель. Мы бросили якорь в более глубоком месте и отправили шлюпку промерять дно. Таким образом мы обнаружили проход в песчаной банке, которым бриг мог бы пройти, если предварительно уменьшить осадку, сняв часть груза. Шкипер со странной неохотой выслушал моё предложение, но в конце концов мне удалось его убедить, что иного выхо-

да нет. Мы подвели шлюпку к бригу и отправили всю команду облегчать его вес. Как скажет вам любой моряк, чтобы быстро уменьшить осадку судна, надо снять с него самое тяжёлое и громоздкое — как правило, вооружение. Итак, навесив на реи тали и блоки, мы одну за другой подняли пушки с орудийной палубы, погрузили в шлюпки и доставили на мой корабль. Тем временем другие матросы вытаскивали из трюма боеприпасы. Вот тут-то и выяснилось, что бриг вооружён не свинцом и железом, а серебром. Отсеки, предназначенные для хранения ядер, были до отказа забиты чушками.

— Чушками?! — хором воскликнули несколько слушателей, но тут пришёл черёд Джека блеснуть познаниями.

— Десампарадо говорит не о визжащих животных с пятачком и закрученным хвостиком, а о серебряных брусках, которые получают, отливая недоочищенное серебро в глиняную форму.

Он готов был и дальше распинаться о добыче серебра в Гарце, где алхимик Енох Роот некогда объяснил ему весь процесс. Однако выяснилось, что остальные много раз слышали все подробности из его уст, и Джек перешёл к тому, что счёл главным в рассказе Иеронимо:

— Чушки — промежуточный продукт, сделанный для того, чтобы доставить серебро туда, где его вновь расплавят, очистят и отольют в слитки, на которые пробирщик поставит клеймо. На этой-то стадии король обычно и забирает свою долю…

— В Новой Испании — десять процентов королю и один — пробирщикам и прочей чиновничьей братии, — вставил Иеронимо.

— А значит, присутствие чушек на борту непреложно доказывает, что серебро везли в Испанию контрабандой.

— В кои-то веки бродяга изрёк истину, — проговорил Иеронимо. — И вы ни за что не догадаетесь, кого я обнаружил в лучшей каюте брига — супругу вице-короля, которая ещё меня не забыла. Она отправлялась в Мадрид за булавками.

— И что ты ей сказал?

— Лучше не вспоминать. Зная, что она сообщит обо всём супругу в Мехико, я без промедления написал вице-королю письмо, в котором обрисовал последние события — иносказательно, на случай, если послание перехватят, — и заверил, что его тайна в надёжных руках, ибо я кабальеро, человек чести, и он может положиться на моё молчание.

На крыше баньёла наступила долгая мучительная тишина.

— Несколько месяцев спустя мне пришло послание от вице-короля с приглашением при следующем заходе в Веракрус посетить резиденцию губернатора и забрать ожидающий меня дар.

— Очаровательные новёхонькие кандалы?

— Пулю для украшения затылка?

— Церемониальную шпагу, вручаемую остриём вперёд?

— Не знаю, — с лёгким раздражением отвечал Иеронимо, — поскольку так и не добрался до губернаторской резиденции. В Веракрус мы зашли, чтобы получить груз ручного огнестрельного оружия от знакомого торговца, который умеет распределять королевское вооружение до того, как оно дойдёт до королевских солдат. Вместе с несколькими моими людьми я заехал за оружием на двух фургонах, после чего велел погонщикам доставить нас в губернаторский дворец самой прямой дорогой, ибо мы опаздывали даже по меркам Новой Испании. Я был в лучшем своём наряде.

Мы выбрались на центральную площадь Веракруса с той стороны, откуда нас никто не ждал,

ибо вместо того, чтобы проехать по главной улице с заколоченными домами, показались со стороны окраин в другой части города. Первым намёком на отклонение от привычного хода вещей стали струйки дыма, поднимающиеся из-за различных укрытий по периметру площади.

— Фитильные ружья! — воскликнул Джек.

— Разумеется, на въезде в город мы, зная нравы Веракруса, зарядили пистоли. Сейчас, при виде дымков, мы достали мушкеты и сорвали крышки с нескольких ящиков гранат. Фузилёры открыли огонь, впрочем, редкий и беспорядочный. Мы бросились на них с абордажными саблями, намереваясь перебить всех, пока они не перезарядили ружья. Это нам удалось, и тут мы с изумлением узнали в убитых испанских солдат местного гарнизона! Немедленно нас принялись обстреливать отовсюду — из окон губернаторского дворца, а также из всех церквей и монастырей на площади.

— Солдаты заняли *все* эти здания? — вскричал мистер Фут, чья способность возмущаться не знала границ.

— Так мы сперва и предположили, но когда стали в ответ стрелять из ружей и бросать гранаты, из окон посыпались разорванные и обгорелые

тела монахов и мелких правительственных чиновников. Тем не менее мы имели глупость совершить ещё одну ошибку: направили фургоны на главную улицу города. Тут же от окон и дверей заколоченных лачуг начали отлетать доски, и завязался настоящий бой. Ибо здесь-то, на этой улице, и планировалась засада. Мы перевернули оба фургона и укрылись за ними, перестреляли лошадей и навалили их в качестве бруствера. Кроме того, мы отправили гонца на корабль, и моя команда принялась обстреливать город из пушек. В ответ из замка открыли огонь по кораблю. Мы бы не выдержали такого натиска, но от ядер некоторые дома воспламенились, и ветер разнёс огонь по улицам, словно ряды деревянных домов были пороховыми дорожками. Много тел осталось лежать на улицах Веракруса в тот день. Бóльшая часть города сгорела. Мой корабль потонул у меня на глазах. Я с двумя товарищами выбрался из города, и мы двинулись вдоль побережья. Одного из моих спутников съел аллигатор, другой умер от лихорадки. Наконец я добрался до небольшого порта и договорился, что меня доставят на Ямайку, в это гнездо английских разбойников, где я только и мог теперь рассчитывать на убежище. Там я узнал, что через несколько

недель после сражения то, что осталось от Веракруса, разграбил и сжёг пират Лоренуйо де Петигуавас. Город, который захватчик сровнял с землёй, пришлось отстраивать заново.

Что до меня, я решил отправиться в Испанию и добраться до родного замка в Эстремадуре. Однако, когда Гибралтар был уже виден, корабль захватили берберийские корсары, и так далее и тому подобное.

— Захватывающий рассказ, — подытожил Джек после недолгого молчания, — но самая лучшая история — ещё не план.

— Это уж предоставь мне, — сказал Мойше де ла Крус. — План почти завершён. Правда, остаются ещё одна-две дыры, которые ты, возможно, сумеешь заткнуть.

Книга 5
Альянс

Мировая торговля, особливо в нынешнем своём состоянии, являет собой бескрайний океан Коммерции, неизведанный, как те моря, по которым пролегают её пути; проследить за негоциантом в перипетиях его дел не легче, чем пройти лабиринт, не имея ключа к разгадке.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

Дандолк, Ирландия
6 сентября 1689

Элизе, графине де ля Зёр
От сержанта Боба Шафто
Дандолк, Ирландия
6 сентября 1689 г.

Сударыня!

Я диктую эти слова писарю-пресвитерианину, который следовал за нашим полком от самого места высадки под Белфастом, а сейчас прибил свою вывеску над лачугой возле лагеря близ Дандолка. Из этого можете делать какие Вам будет угодно заключения о том, что я буду говорить прямо, а что опущу.

Очередь солдат начинается за моей спиной, доходит до двери и продолжается на улице. Я в ней старший по званию, и потому волен занимать писаря хоть до конца дня, однако постараюсь быстро изложить всё самое важное, чтобы и другие смогли отправить весточку матери или подруге в Англию.

Ваше письмо от 15 июля пришло перед самой отправкой в Белфаст, и капеллан прочёл мне его

уже на корабле. Хорошо, что в Гааге я успел близко с Вами познакомиться, не то бы счёл содержимое письма пустой женской болтовнёй. Ваша манера изъясняться куда утончённее, чем то, что обычно слышишь на палубе военного транспорта. Все, присутствовавшие при чтении, были потрясены, что столь изысканные слова обращены ко мне. Теперь меня считают человеком выдающимся, с многочисленными связями в высшем свете.

Слушая некоторые предложения по третьему-четвёртому разу, я понял, что Вы повздорили с французским придворным по фамилии д'Аво, который разузнал о Вас нечто опасное. Из-за революции в Англии д'Аво срочно отозвали во Францию. Позже несчастного графа отправили в Брест, самую западную часть Франции, и погрузили на корабль в обществе мистера Джеймса Стюарта, который прежде звался Яков II, милостью Божьей король Англии и прочая.

Вместе они отплыли в славный град Бантри, что в Ирландии. Позже Вы получили известие, что они собрали армию из французов, ирландских католиков и якобитов (как мы теперь называем сторонников Якова в доброй старой Англии) и обосновались в Дублине.

Вы слишком утончённы, сударыня, чтобы вы-

сказываться напрямик, посему основной смысл Вашего письма как был для меня неясен, так и остался. Полк мой располагался в Лондоне, и письмо Вы направили туда, следовательно, не могли знать, что оно догонит меня на пути в Ирландию. А может, Вы так умны и наслышаны, что именно это и предвидели. И, уж разумеется, письмо Ваше не было просьбой о помощи? Ибо чем бы я мог помочь Вам в таком деле?

Братец Джек прижил двух сыновей с ирландской красоткой Марией-Долорес Партри, о чём наверняка Вам рассказывал. Она умерла, оставив мальчиков на воспитание родичам. Я постарался их разыскать и в меру возможностей поддержать — например, завербовать нескольких дядьёв и двоюродных братьев в наш полк. За солдатским житьём путного дяди из меня не вышло. Однако мальчишки, унаследовавшие отцовскую страсть к дурацким порывам и вдобавок воспитанные ирландцами, уважают меня тем больше, чем меньше я о них пекусь.

В прошлом году Джим Стюарт, тогда ещё король, проникся злостным недоверием к собственным английским полкам и призвал несколько ирландских, дабы подавить революцию (которую именовал мятежом). Воображение рядовых

англичан рисовало крестоносцев девяти футов ростом, с французскими багинетами, обагрёнными английской кровью, ведомых иезуитами и направляемых непосредственно из Рима, но при том необузданных, как любые ирландцы.

Мой писарь-пресвитерианин взглядом укоряет меня за легкомыслие — им тут в Ольстере такие ужасы постоянно мерещатся за каждым углом… извольте, любезный, записать в точности, как я сказал.

Ирландцам в Англии стало ещё хуже, чем обычно, и родня Марии-Долорес, включая Джековых мальцов, села на первый же корабль в Ирландию. Они приплыли в Дублин, на противоположный, казалось бы, край острова, поскольку Партри искони обитали в Коннахте. Однако Дублин неожиданно пришёлся им по душе. За два поколения в Лондоне они привыкли к городской жизни, да тем временем и Дублин успел вырасти.

Не успели они осмотреться на новом месте, как явился Яков со своим разношёрстным двором, и французские генералы начали предлагать золотые монеты всякому, кто вступит в якобитское войско. Рыская по острову, они завербовали толпу голых дикарей и назвали её армией. Вообразите, как обрадовали их новобранцы, служившие

в гвардейском полку, обученные стрельбе из мушкета и участвовавшие в сражениях! Мою ирландскую шатию-братию приняли на ура, тут же произвели в сержанты и расквартировали в домах дублинской протестантской знати, которая к тому времени давно отчалила в Англию или Америку.

Итак, мы с Партри оказались по разные стороны фронта, пока дремлющего. Если и я, и они уцелеем, я приглашён посидеть за кружечкой тёмного пива и выслушать волнующие истории о Дублине при якобитах и о том, как одна коннахтская семья пережила это время.

Прошлым летом сборная франко-ирландская армия осадила ольстерские города Дерри и Эннискиллен. Желание Якова одерживать победы во имя римского папы заметно превышает его умственные способности. Дважды он со всей свитой срывался из Дублина в надежде пробиться к северу от Ольстера и укрепить крестоносный флаг на развалинах пресвитерианской церкви-другой. Ужасающее качество мостов и отсутствие дорог сдерживали его продвижение, которое так и так замедлялось стойким нежеланием шотландцев капитулировать.

Мой писарь, который сейчас лучится от гор-

дости и прочувствованно шмыгает носом, возможно, добавит несколько строк, превозносящих мужество своих единоверцев.

Когда д'Аво, вынужденный сопровождать Якова в этих прогулках, вернулся, то услышал малоприятное известие. Некие предприимчивые дублинцы (описанные свидетелями как двое нечёсаных юнцов) залезли по водосточной трубе в его дом и выкрали всё ценное, а также кое-что, представляющее интерес только для самого графа.

Предоставляю Вам, сударыня, догадываться, связаны ли эти события с письмом, которое я несколькими неделями раньше отправил в Дублин моей ирландской шатии-братии — письмом, в котором я описывал д'Аво и упоминал, что он поселился через площадь от дома, где расквартирована их рота.

Вскорости мне среди ночи передали бумаги, написанные, насколько я могу судить, на французском языке человеком весьма образованным. Я, даром что неграмотный, узнал некоторые слова и, сдаётся, увидел в некоторых бумагах Ваше имя. Прилагаю их к моему письму.

Во время нашей памятной встречи в Гааге Вы выразили сочувствие к моей беде, а именно к

тому, что моя любезная, мисс Абигайль Фромм, продана в рабство графу Апнорскому. Вы не вполне поверили, что я смогу быть Вам полезен. Возможно, пришло время подбить новый итог.

Я пытался самостоятельно поправить дело в день Революции, но не преуспел — если пожелаете, сможете узнать подробности из уст самого милорда Апнора.

На сём письмо заканчиваю. Коли пожелаете ответить, пишите мне в Дандолк. Я здесь со сборной солянкой из англичан, голландцев, гугенотов, ольстерцев, датчан и бранденбуржцев, сдобренной примесью твердолобых фанатиков, чьи отцы пришли сюда с Кромвелем и завоевали остров, за что получили в награду ирландскую землю. Теперь ирландцы забрали её обратно, и нонконформисты никак не могут решить: присоединяться к нам и отвоёвывать Ирландию либо плыть в Америку и покорять её. У них есть на раздумье месяцев восемь-девять, поскольку маршал Шомберг, которого король Вильгельм поставил во главе армии, нерешителен и намерен провести в Дандолке всю зиму.

Так что здесь меня можно будет разыскать, если я прежде не околею от чумы, голода или скуки.

Ваш смиренный и покорный слуга

Боб Шафто

Дюнкеркская резиденция маркиза и маркизы д’Озуар

21 ОКТЯБРЯ 1689

Эксцентричностью Бонавантюр Россиньоль выделялся даже среди криптологов, однако более всего изумляла его манера в последнюю минуту влетать на взмыленном коне в качестве негаданного спасителя. Тринадцать месяцев назад он вот так же примчался в расположение французских войск, зная (как знал всё), что Элиза попала в беду на берегах Мёза. О силе тогдашних Элизиных чувств свидетельствовал четырёхмесячный младенец у неё на руках. Теперь Россиньоль появился вновь, растрёпанный ветром, грязный, пропахший лошадиным по́том до неприличия, и всё же Элиза внезапно почувствовала себя так, будто только что села в лужу тёплого мёда. Она закрыла глаза, задержала дыхание, медленно выдохнула и сгрузила ему на руки свою ношу.

— Мадемуазель, до сего мгновения я полагал, будто ваше последнее письмо было самым изощрённым кокетством, какое в силах измыслить человеческий мозг, — проговорил Россиньоль, —

но теперь вижу в нём всего лишь прелюдию к изысканной пытке тремя предметами.

Слова эти заставили её резко повернуть голову, на что и были рассчитаны, ибо содержали в себе некую загадку.

Глаза у Россиньоля были чёрные, как уголья. Придворные дамы по большей части находили его непривлекательным. Высокий и тощий как жердь, он нелепо смотрелся в придворном платье, однако сейчас, в дорожном плаще, раскрасневшийся от морского ветра, вполне удовлетворял Элизиным вкусам. Россиньоль скользнул взглядом по свёртку, который она ему сунула, затем — по столику, где лежал перевязанный шпагатом подмокший холщовый пакет. Два маленьких, обтянутых тканью предмета. Наконец он встретился глазами с Элизой, смотревшей на него через плечо, и медленно двинулся взглядом по её спине к обрисованной платьем округлости, где и остановился.

— Последний раз, когда ты примчался меня спасать, разбираться предстояло всего с одним предметом: простое дело, с которым ты мужественно справился. — Она перевела взгляд на первый свёрток, который срыгнул Россиньолю на рукав и ударился в плач. — С годами число

предметов растёт, вынуждая нас становиться жонглёрами.

Россиньоль с натурфилософским бесстрастием наблюдал, как створоженное грудное молоко затекает в складку рукава. Сын зашёлся криком; отец поморщился и отвернулся.

Дверь в другом конце комнаты распахнулась, и вбежала женщина, издали голосом успокаивая ребёнка. Увидев незнакомца, она остановилась и взглянула на Элизу. «Прошу, мадемуазель, входите без церемоний», — сказал Россиньоль, протягивая руки. Женщину эту он видел впервые и понятия не имел, кто она такая, однако не надо было обладать талантом королевского криптоаналитика, чтобы догадаться: Элиза, оказавшись в Дюнкерке под арестом и без гроша, сумела не только переехать в пустующий дворец, но и сохранить при себе по меньшей мере одну надёжную и расторопную служанку.

Николь — так звали женщину — не шелохнулась. Только когда Элиза кивнула, она сделала шаг вперёд и забрала ребёнка, сердито глянув на Россиньоля, который ответил ей церемонным поклоном. К тому времени, как Николь дошла до двери, младенец замолк, а через несколько мгновений уже весело гулил в коридоре.

Россиньоль тут же про него позабыл. Число предметов свелось к двум. Впрочем, ему хватило воспитания не уставиться сразу на холщовый пакет, хоть там и лежала краденая дипломатическая корреспонденция. Всё его внимание было пока обращено на Элизу.

Она привыкла, что на неё смотрят, и не имела ничего против, однако сейчас несколько напряглась. Россиньоль не проявил к ребёнку никаких чувств, не выказал ни малейшего желания быть его отцом. Не то чтобы это сильно её удивило; в каком-то смысле так было даже проще. Его влекло в ней то, что располагалось на концах её позвоночника — сложно сказать, которая часть больше, — но никак не душевные качества. И уж точно не её отпрыск.

Людовик XIV счёл нужным объявить Элизу графиней. Помимо других привилегий, это дало ей возможность бывать в версальском салоне Дианы, где придворные играли в карты. Здесь она приметила одинокого скучающего человека, который внимательно за ней наблюдал. Сама она тоже изнывала от скуки. Как выяснилось, скучали они по одной причине: и он, и она знали, какова вероятность выигрыша, и не видели смысла в азарте. Однако *обсуждать* вероят-

ность выигрыша и систему, позволявшую всё время оставаться в барыше, было увлекательно. Казалось неразумным или по крайней мере невежливым вести эти разговоры рядом с карточными столами, поэтому Элиза и Россиньоль вышли прогуляться в сад. Очень скоро беседа с карточных игр перешла на Лейбница, Ньютона, Гюйгенса и других натурфилософов. Разумеется, сплетники наблюдали за ними в окно, однако глупые придворные барышни, путающие моду со вкусом, не находили Россиньоля привлекательным и не догадывались, что он гений, не признанный учёными мужами Европы.

В то же самое время — хотя Элиза поняла это лишь много позже — Россиньоль внимательно оценивал свою собеседницу. Многие её письма к Лейбницу, а также от Лейбница к ней проходили через его стол, ибо он состоял членом Чёрного кабинета, призванного вскрывать и читать всю заграничную корреспонденцию. Россиньоль заметил, что письма эти на удивление длинны и наполнены пустой болтовнёй о причёсках и моде. Прогуливаясь с Элизой по садам Версаля, он пытался определить, и впрямь ли она так пуста, как представляется по письмам. Ответ был явно отрицательный: Элиза обнаружила недю-

жинные познания в математике, метафизике и натурфилософии. Россиньолю этого хватило, чтобы отправиться в фамильный замок Жювизи и разгадать стеганографический шифр, которым Элиза переписывалась с Лейбницем. Теперь он мог бы её уничтожить или, по крайней мере, очень сильно ей повредить, однако не пожелал. Между ними возникло взаимное влечение, которое перешло в роман лишь тринадцать месяцев назад.

Если бы он проникся любовью к ребёнку и предложил ей бежать в чужую страну!.. Только теперь Элиза осознала всю бесплодность таких мечтаний. Что ж (подумала она), будь мир населён исключительно людьми, которые любят и желают друг друга симметрично, в нём было бы больше счастья, но меньше занимательности. И, разумеется, в таком мире не нашлось бы места Элизе. За несколько недель в Дюнкерке она лучше прежнего научилась приноравливаться к тому, что посылает судьба. Не будет любящего отца — ну и ладно. Николь, бывшая шлюха, подобранная в дюнкеркском портовом борделе, уже подарила ребёнку больше любви, чем он получит от Бонавантюра Россиньоля за всю жизнь.

— Вот и вы наконец! — промолвила Элиза по-

сле недолгого молчания.

— У криптоаналитика на службе его величества короля Франции много обязанностей, — сказал Россиньоль. Он не важничал, просто сообщал факт. — Последний раз, когда вы угодили в беду год назад…

— Поправка, мсье: последний раз, когда *вам* стало об этом известно.

– *C'est juste* [7]. Тогда на Рейне начиналась война, и у меня был предлог отправиться в ту сторону. Отыскав вас, мадемуазель, я постарался вам помочь.

— Обрюхатив меня?

— Я сделал это, движимый страстью, как и вы, мадемуазель, ибо наше влечение было взаимным. И всё же упомянутое обстоятельство в какой-то мере вам помогло, возможно, даже спасло вам жизнь. На следующий же день вы соблазнили Этьенна д'Аркашона…

— Внушив ему уверенность, что это он меня соблазнил.

— Как я и советовал. Когда вы объявились в Гааге, беременная, все, включая короля и Этьенна, решили, что ребёнок от д'Аркашона. Когда же вы

---

[7] Примечания: 7
Справедливо (*фр.*).

разрешились здоровым младенцем, все сочли, что вы — редчайшая особь, способная сочетаться с представителем рода де Лавардаков и не передать ребёнку пресловутые наследственные изъяны. Я, как мог, распространил этот миф по другим каналам.

— Вы о том, что выкрали мой дневник, расшифровали и отдали королю?

— Неверно по всем пунктам. Дневник выкрал д'Аво — или выкрал бы, не прискачи я в Гаагу и не возьми дело в свои руки. Я не столько расшифровал ваши заметки, сколько сфабриковал беллетризованную версию. А поскольку и я, и все мои труды принадлежим монарху, я не столько отдал их его величеству, сколько привлёк к ним его величества внимание.

— Вы не могли привлечь внимание его величества к чему-нибудь иному?

— Мадемуазель, многие знатные люди видели вас разъезжающей с явно шпионской миссией. Д'Аво и его приспешники делают всё, что в их силах — а сил у них много, — дабы втоптать вас в грязь. Если бы я привлёк внимание его величества к чему-то иному, вам бы это не помогло. Я же представил его величеству отчёт о ваших действиях, весьма смягчённый по сравнению с тем,

что мог сообщить д'Аво, и одновременно укрепил убеждённость в том, что отец ребёнка — Этьенн де Лавардак д'Аркашон. Я пытался не обелить вас — это было невозможно — а лишь минимизировать ущерб. Я боялся, что кого-нибудь пошлют вас убить либо выкрасть и доставить назад во Францию…

Он осёкся, поняв, что допустил оплошность.

— Э…

— Да, мсье?

– *Такого* развития событий я не предвидел.

— И потому так нескоро сюда добрались?

— Как я уже говорил, у королевского криптоаналитика много обязанностей, и ни одна не требует моего присутствия в Дюнкерке. Я приехал, как только смог.

— Вы приехали, как только я разбудила вашу ревность лестными отзывами о лейтенанте Баре.

— Так вы признаёте свою уловку!

— Я ничего не признаю, ибо он и впрямь достоин любых похвал, и всякий здравомыслящий мужчина не может не чувствовать к нему ревность.

— Затрудняюсь вас понять, — сказал Россиньоль.

— Бедный Бонбон!

— Прошу вас не иронизировать. И не называть меня этим нелепым именем.

— Так что же затрудняется понять величайший криптоаналитик мира?

— Сперва вы описываете его как буканьера, корсара, который овладел вами силой…

— Не мной, а кораблём, на котором я плыла, — выбирайте выражения, мсье!

— Потом, когда вам понадобилось разжечь мою ревность, он превратился в учтивейшего рыцаря морей.

— В таком случае, я всё объясню, ибо никакого противоречия нет. Однако прежде снимите плащ и давайте устроимся поуютнее.

— Второй смысл отмечен, но прежде, нежели мне станет *до опасного* уютно, скажите, как вы оказались в резиденции маркиза и маркизы д'Озуар? Ибо это их дом, если судить по гербу на воротах.

— Вы правильно расшифровали герб, — сказала Элиза. — Не бойтесь. Д'Озуаров здесь нет, только я и моя прислуга.

— Но мне казалось, что вы под арестом, на корабле, без прислуги… или вы писали это затем лишь, чтобы я приехал быстрее?

Элиза схватила Россиньоля за руку и втащила

в дверь. Они разговаривали в прихожей, которая примыкала к конюшням. Сейчас Элиза провела гостя по коридору в небольшую гостиную, оттуда в другую, более просторную, с большими, выходящими на гавань окнами.

На определённом историческом этапе этому месту, вероятно, очень подходило название Дюнкерк, означающее «Церковь на дюне». Легко представить, что несколько веков назад здесь и впрямь была церковь на дюне, в дюнах и среди дюн, и больше ничего, кроме вялой речушки, которая впадает в море именно тут не столько под действием силы тяжести, сколько в результате тыканья наобум. Скудный пейзаж из дюны, ручья и церкви со временем дополнился зданиями, доками и верфями скромного рыбацко-контрабандистского порта. В последнее время он приобрёл стратегическую ценность и некоторое время переходил от Англии к Франции и обратно, как мяч, затем Людовик XIV окончательно прибрал его к рукам и начал превращать в военно-морскую базу. Выглядело это так, как если бы рыбачье судёнышко снабдили пушками и бронёй. Для всякого, кто приближался к нему со стороны Англии, Дюнкерк представал довольно устрашающим: массивный вал для защиты от

пушечных ядер, укрепления и батареи повсюду, где песок мог выдержать их вес. Однако изнутри — как видели его сейчас Элиза и Россиньоль — городок выглядел безобидным маленьким портом, запертым в крепость или тюрьму.

Короче, место было не такое, где вельможе захочется выстроить дворец или знатной даме — разбить благоуханные сады; и хотя дюны ощетинились сторожевыми башнями и батареями, ни одному военачальнику не пришла бы фантазия превратить их в грозную цитадель.

Маркизу и маркизе д'Озуар хватило ума это понять. Они удовольствовались тем, что приобрели дом в центре города, у гавани, и надстроили его больше вверх, чем вширь. Внешне усадьба оставалась фахверковой постройкой в старом норманнском стиле, но немногие бы догадались об этом по внутреннему убранству, выполненному в барочном духе — насколько к нему можно приблизиться, не используя камня. Много дерева, краски и времени ушло на пилястры и колонны, стенные панели и балюстрады, казавшиеся мраморными, пока не подойдёшь и не постучишь по ним пальцем. Россиньоль как человек воспитанный по колоннам не стучал, а смотрел туда, куда показывала Элиза, то есть в окно.

Отсюда была видна почти вся гавань, искусственно углублённая и застроенная молами, дамбами, волноломами и тому подобным. Дальше обзор закрывал прямоугольный выступ крепостной стены. Элиза могла не объяснять, какая часть гавани по-прежнему служит исконным обитателям Дюнкерка, а какая отведена военному флоту, — всё было и так очевидно при взгляде на корабли.

Элиза дала гостю время сделать приведённые выше умозаключения, затем начала:

— Как я сюда попала? Ну, как только я оправилась от родов… — Она оборвала себя и улыбнулась. — Какое смешное выражение! Теперь я понимаю, что не оправлюсь от них до смертного часа.

Россиньоль оставил замечание без ответа, и Элиза, слегка покраснев, вернулась к основной теме.

— Я начала закрывать все мои короткие позиции на амстердамском рынке — невозможно было бы управлять ими из-за моря во время войны. В итоге у меня оказалась изрядная куча золотых монет, неоправленных драгоценных камней и вульгарных украшений, а также переводных векселей, подлежащих оплате в Лондоне,

и ещё несколько, подлежащих оплате в Лейпциге.

— А-а… — протянул Россиньоль, что-то мысленно сопоставив, — их-то вы и отдали принцессе Элеоноре[8].

— Как обычно, вы знаете всё.

— Когда она объявилась в Берлине с деньгами, пошли разговоры. Судя по ним, вы были очень щедры.

— Я оплатила каюту на голландском корабле, который должен был доставить меня и нескольких других пассажиров из Хук-ван-Холланда в Лондон. Это было в начале сентября. Сильные северо-восточные ветра помешали нам направиться прямиком к Англии и неудержимо гнали корабль на юг, к Дуврскому проливу. Если свести длинную и скучную морскую историю к двум словам, нас захватил вблизи Дюнкерка вот он!

Элиза указала на красивейшее судно в гавани, военный корабль с великолепной кормовой галереей, щедро отделанной позолотой.

— Лейтенант Жан Бар, — пробормотал Россиньоль.

---

[8] Примечания: 8

Принцесса Элеонора Саксен-Эйзенахская, обедневшая вдова и мать шестилетней принцессы Вильгельмины-Каролины БранденбургАнсбахской. Элиза свела с ними дружбу в Гааге.

— Наш капитан сдался без боя. Люди Бара заняли корабль и забрали всё ценное. Я потеряла всё. Сам корабль перешёл к Бару — вы можете его видеть, если пожелаете, хотя смотреть, собственно, не на что.

— Мягко сказано, — заметил Россиньоль, отыскав шхуну среди военных кораблей. — С какой стати Бар разрешил ей пришвартоваться так близко от себя? Всё равно что поставить осла в одно стойло с кровным жеребцом!

— Ответ: из врождённой галантности лейтенанта Бара.

— Как одно из другого следует?

— До самого прибытия сюда один из унтер-офицеров Бара постоянно оставался на шхуне. Я заметила, что он ведёт долгие разговоры с неким пассажиром, и встревожилась. Пассажир этот, бельгиец, сел на шхуну в последнюю минуту и всю дорогу уделял мне особое внимание. Не то, каким обычно удостаивают меня мужчины…

— Он шпионил для д'Аво, — произнёс Россиньоль, то ли высказывая догадку, то ли сообщая факт, почерпнутый из переписки агента.

— Я так и заключила, хотя не сильно обеспокоилась, так как рассчитывала оказаться в Лондоне, где он не мог бы причинить мне вреда. Одна-

ко теперь мы направлялись в Дюнкерк, откуда пассажирам предстояло выбираться самостоятельно. Я не знала, чего мне ждать. И впрямь, в Дюнкерке всем пассажирам разрешили сойти на берег, меня же задержали на несколько часов. За это время шлюпка совершила пару рейсов между шхуной и флагманом лейтенанта Бара.

Ты, возможно, знаешь, Бонбон, что каждый пират и капер в душе — бухгалтер. Хотя многие скажут наоборот: каждый бухгалтер в душе пират. Они живут грабежом, а дело это поспешное и беспорядочное. Один может выудить сушёную кроличью лапку из кармана у джентльмена, другой — изумруд размером с перепелиное яйцо из дамского декольте. Единственный способ избежать поножовщины — собрать всю добычу, тщательно рассортировать, оценить, счесть и распределить по строго установленной схеме. Вот почему о человеке, подавшемся в пираты, говорят «попал в реестр».

В моём случае это означало, что каждый из людей Бара хотя бы в общих чертах представлял, сколько награблено и у кого. Они знали, что золото из моего сундука и снятые с меня драгоценности стоят больше, чем имущество остальных пассажиров, собранное вместе и по-

множенное на десять. Бонбон, не хочу хвастаться, но дальнейшее будет просто непонятно, если не сказать, что я потеряла состояние, на которое можно было купить графство.

Россиньоль поморщился, из чего Элиза заключила, что он уже видел точные цифры.

— Не стану на этом задерживаться, — продолжала она, — поскольку благородной даме не пристало думать о столь вульгарной материи, как деньги. Что до драгоценностей — когда люди Бара их забрали, во мне ничто не дрогнуло. Однако по мере того как шли дни, я всё больше и больше думала об утраченном богатстве. От безумия меня спасло голубоглазое сокровище, которое я прижимала к груди.

Она нарочно не сказала «наш ребёнок», ибо такого рода замечания собеседника явно раздражали.

— Наконец меня посадили в шлюпку и доставили на флагман. Лейтенант Бар вышел из каюты и учтиво меня приветствовал. Думаю, он ожидал увидеть почтенную вдовицу и при виде меня оторопел.

— Это не оторопь, — возразил Россиньоль, — а нечто совершенно иное. Вы наблюдали такое состояние тысячу раз, но сойдёте в могилу, так и

не поняв, в чём оно состоит.

— Ладно. Едва лейтенант Бар оправился от загадочного состояния, о котором вы говорите, он проводил меня в свою каюту — высоко на корме, вон там — и велел подать кофе. Он был…

— Умоляю воздержаться от дальнейших восхвалений, — сказал Россиньоль, — ибо в письме я прочёл их столько, что по пути сюда загнал пять лошадей.

— Как вам будет угодно, — отвечала Элиза. — И всё же им двигала отнюдь не грубая похоть.

— Уверен, именно такое впечатление он и хотел на вас произвести.

— Ладно. Позвольте мне перескочить вперёд и вкратце обрисовать мою ситуацию. Во Франции я считаюсь графиней потому лишь, что так захотел король: однажды на церемонии утреннего туалета он объявил, будто я — графиня де ля Зёр; этим смешным словом французы называют мой родной остров.

— Не знаю, известно ли вам, — заметил Россиньоль, — что таким образом наш монарх косвенным образом заявил древние претензии Бурбонов на Йглм, которые его законоведы выкопали невесть откуда. Его величество строит военно-морскую базу здесь, по одну сторону

Англии, и хотел бы создать другую на Йглме, с противоположной стороны. Ваше возведение в графское достоинство, при всей его для вас неожиданности, было частью более обширного плана.

— Нимало не сомневаюсь, — сказала Элиза. — Однако чем бы ни руководствовался король, я отплатила ему за милость шпионажем в пользу Вильгельма Оранского. Посему у его величества есть причины для лёгкого недовольства.

Россиньоль фыркнул.

— Однако я действовала, — продолжала Элиза, — под эгидой невестки Людовика, чью родную страну он захватил и до сих пор разоряет.

— Не разоряет, мадемуазель, а умиротворяет.

— Виновата. Далее. Вильгельм Оранский тайно произвёл меня в герцогини. Но это что-то вроде переводного векселя, выписанного голландским банкирским домом на лондонский.

Коммерческая метафора осталась для Россиньоля непонятной и даже несколько его раздосадовала.

— Во Франции он не котируется, — пояснила Элиза, — ибо Франция считает Якова Стюарта законным королём Англии и не признаёт за Вильгельмом Оранским права раздавать титу-

лы. А если бы и признавала, то оспаривала бы его суверенитет над Йглмом. Так или иначе, лейтенанту Бару перечисленные факты были неизвестны. Мне потребовалось время, чтобы дипломатично их изложить. Когда лейтенант всё выслушал и обдумал, то заговорил с величайшей осторожностью, точно лоцман, ведущий корабль среди дрейфующих брандеров. Между каждыми несколькими словами он делал паузу, словно промеряя глубину или следя за изменениями ветра.

— А может, он на поверку оказался не столь и сообразителен, — предположил Россиньоль.

— Предоставлю тебе судить самому — ты его скоро увидишь, — сказала Элиза. — Для меня это ничего не меняло. Живя так близко к Амстердаму и так редко имея дело с наличностью, я совершенно упустила из виду, как велика потребность в золоте по обе стороны Ла-Манша. Ты знаешь, Бонбон, что Людовик Четырнадцатый недавно отправил в переплавку всё серебряное убранство Больших апартаментов, а вырученные полтора миллиона турских ливров пустил на создание армии. В своё время, услышав об этом, я решила, что его величество просто решил сменить обстановку, однако позже задумалась. За последнее время

французская аристократия накопила огромные запасы драгоценных металлов — возможно, в надежде после смерти Людовика Четырнадцатого вернуть утраченную власть.

Россиньоль кивнул:

— Отправив в переплавку золотую мебель, король показал знати пример. Только мало кто ему последовал.

— Так вот, моё состояние, в золотой монете, принимаемой в любой точке мира, захватил Жан Бар, капер, имеющий лицензию на грабёж голландских и английских судов в пользу французской короны. Будь я англичанкой или голландкой, мой капитал уже поступил бы в распоряжение генерального контролёра финансов графа де Поншартрена. Однако поскольку я считаюсь французской графиней, деньги просто арестовали.

— Боялись, что вы заявите протест: «На каком основании французский капер грабит французскую графиню?» — сказал Россиньоль. — Ваш двусмысленный статус осложнил бы рассмотрение дела. Письма, летавшие взад-вперёд, были весьма забавны.

— Рада, что ты позабавился, Бонбон. Тем не менее передо мной встал вопрос: не заявить ли о

своих правах и не потребовать ли деньги назад?

— Хорошо, что вы сами об этом заговорили, мадемуазель, ибо я, как и половина Версаля, гадал, почему вы не обжалуете арест вашего капитала.

— Ответ: потому что в этих деньгах нуждались. Настолько, что если бы я попыталась их отстоять, меня могли бы объявить иностранной шпионкой, лишить прав, бросить в Бастилию, а деньги передать в казну. Пущенные на войну, они могут спасти тысячи французских солдат — что в сравнении с этим какая-то лжеграфиня?

— Хм-м… Теперь я вижу, что лейтенант Бар предоставил вам возможность совершить некий умный ход.

— Он не сказал прямо, но дал понять, что у меня есть выбор. Этот маленький Геракл, который без колебаний отправил бы на дно морское целый корабль живых людей, будь они враги Франции, не хотел, чтобы меня в цепях отвезли в Бастилию.

— И вы решились.

— «Деньги, разумеется, предназначены для Франции! — сказала я. — Затем-то я с такими трудами и вывозила их из Амстердама. Как могла я поступить иначе, если сам король переплавил свою мебель, дабы сберечь жизнь французских солдат и отстоять права Франции!»

— Вероятно, ваши слова его обрадовали.

— Несказанно! Жан Бар был в таком смятении чувств, что мне пришлось подставить ему щёку для поцелуя, который он и запечатлел на ней весьма пылко, оставив по себе стойкий запах одеколона.

Россиньоль резко отвернулся, чтобы Элиза не видела его выражения.

— У меня ещё теплилась отчаянная надежда, что через несколько часов я буду плыть на корабле в сторону Дувра, нищая, но свободная, — продолжала Элиза. — Однако, разумеется, всё было гораздо сложнее. Я по-прежнему не могла покинуть Дюнкерк, ибо, как с явным огорчением сообщил мне Жан Бар, меня задержали по подозрению в шпионаже в пользу Вильгельма Оранского.

— Д'Аво нанёс удар.

— Так я поняла по намёкам лейтенанта Бара. Мой обвинитель, сказал он, весьма значительное лицо, находящееся сейчас в Дублине. Лицо это приказало задержать меня по подозрению в шпионаже до его прибытия в Дюнкерк.

— Как скоро он собирался прибыть?

— Через две недели.

— Значит, д'Аво будет здесь с минуты на мину-

ту! — воскликнул Россиньоль.

— Посмотрите на этот корабль. — Элиза указала на французское военное судно. — Оно обошло мол тогда же, когда вы показались в конце улицы.

— В таком случае д'Аво только что прибыл, — сказал Россиньоль. — Итак, у меня мало времени. Пожалуйста, объясните вкратце, как вы очутились в этом доме, если, по собственным словам, не имели права покинуть корабль.

— Я так и так жила в одной из кают — не было смысла её покидать. Жан Бар велел поставить шхуну там, где ты её сейчас видишь — дабы уберечь меня от распущенных французских моряков и одновременно проследить, чтобы я не сбежала. Он отправил на камбуз нескольких женщин, собранных по кабакам и борделям — кипятить воду и всё такое. За две недели я успела понять, кто из них годится в служанки, а кто — нет. Тех, кто не годился, я уволила. Лучше всех оказалась Николь, которую ты видел минуту назад. И ещё я послала в Гаагу за моей фрейлиной, Бригиттой. Из Версаля начали приходить письма.

— Знаю.

— Поскольку ты их уже читал, не стану пересказывать содержание. Может быть, ты помнишь письмо маркизы д'Озуар с предложением — нет,

настоятельным требованием — поселиться здесь, в её дюнкеркской резиденции.

— Пожалуйста, напомните мне, что связывает вас с д'Озуарами?

— До того, как получить дворянство, я нуждалась в каком-то предлоге, чтобы попасть в Версаль. Д'Аво, которому принадлежала вся эта затея, устроил меня гувернанткой к дочери д'Озуаров. Я вместе с ними ездила из Версаля в Дюнкерк и обратно, что позволяло мне путешествовать в Голландию, когда того требовали дела.

— Немного смахивает на фарс.

— Разумеется. И д'Озуары это знали. Однако я была добра к их дочери, и между нами возникло некое подобие дружбы. Потому я и переехала в их дом.

— Другие слуги?

— Бригитта привезла с собой ещё одну доверенную служанку.

— Я видел мужчин.

— Чтобы меня «охранять», Жан Бар выделил двух матросов, которые уже староваты, чтобы идти на абордаж.

— Да, в них угадывается что-то такое… Позвольте задать нескромный вопрос: как вы платите

слугам, если, по собственным уверениям, остались без гроша?

— Вопрос разумен. Ответ в моём статусе графини и услуге, которую я оказала французской казне. По этой причине лейтенант Жан Бар охотно раскрыл кошель и ссудил меня деньгами.

— Ясно. Это неподобающе, но у вас, очевидно, не было иного выхода. Постараемся отчасти исправить дело. Теперь, чтобы помочь вам, я должен разобраться ещё в одном. Что за письма из Ирландии?

— Покуда я жила на корабле, меня начала нагонять моя почта, в том числе зашитый в парусину пакет из Белфаста — корреспонденция, украденная из письменного стола графа д'Аво в Дублине. Многие письма и документы содержат государственные тайны.

— И вы, зная, что д'Аво едет сюда с намерением обвинить вас в шпионаже, оставили письма у себя в качестве предмета для торга.

— Совершенно верно.

— Отлично. Есть здесь место, где я мог бы разложить их и проглядеть?

И тут, хотя Элиза никогда бы в этом не созналась, её пронзила внезапная нежность к Россиньолю. В мире, где столько мужчин мечта-

ют ею овладеть, нашёлся человек, который, имея такую возможность, предпочёл большую стопку краденых писем.

— Попроси Бригитту — это рослая голландка — проводить тебя в библиотеку. Я буду посматривать на гавань. Полагаю, что вон в той шлюпке, которая сейчас огибает пирс, может быть д'Аво.

— Направляется сюда?

— К флагману лейтенанта Бара.

— Отлично. Мне нужно хоть немного времени.

Элиза поднялась на верхний этаж, где на треноге перед окном стояла подзорная труба, и стала наблюдать, как лейтенант Бар принимает д'Аво в каюте флагмана. Каюта тянулась вдоль всей кормы, и ряд её окон закручивался вокруг юта как огромный золотой свиток, образуя два эркера, из которых Жан Бар мог смотреть вперёд вдоль правого и левого борта. Небо было чистое, и в окна светило послеполуденное солнце.

Встреча происходила следующим образом: во-первых, церемонные приветствия и обмен любезностями. Во-вторых, мгновенная заминка из-за того, как расположиться. (После недавнего подвига Жан Бар до сих пор не мог сидеть, не испытывая всех мук ада, и д'Аво со всегдашней учтивостью отказывался сесть в кресло.)

В-третьих, долгий и (Элиза не сомневалась) увлекательный рассказ Бара, сопровождаемый обильной жестикуляцией. В позе д'Аво начало сказываться растущее нетерпение. В-четвёртых, расспросы со стороны д'Аво, вынудившие Бара достать гроссбух и отметить несколько пунктов (надо думать, перечень кошелей, драгоценностей и прочего отнятого у Элизы добра). В-пятых, д'Аво резко выпрямился, побагровел и несколько минут энергично двигал челюстью; Бар сперва вздрогнул, затем на мгновение немного обмяк, но тут же вновь подобрался и застыл в позе оскорблённого достоинства. В-шестых, оба подошли к окну и посмотрели на Элизу (во всяком случае, так ей казалось в подзорную трубу; на самом деле, разумеется, видеть они её не могли). В-седьмых, призвали адъютантов и надели шляпы. Для Элизы это был знак собрать свою немногочисленную женскую прислугу и начать туалет. Она позаимствовала платье из гардероба маркизы д'Озуар — прошлогоднее, однако графу, пробывшему весь этот год в Дублине, оно должно было показаться новым. Лишнюю ширину прихватили сзади при помощи булавок и нескольких быстрых стежков, которые скорее всего продержатся, если не вставать с кресла. А вставать ради

д’Аво Элиза не собиралась. Она села в большом салоне и шёпотом посовещалась с Бонавантюром Россиньолем. Бар и д’Аво добрались с флагмана за несколько минут и теперь ждали в соседней комнате — настолько близко, что можно было отчётливо слышать, как расхаживает из угла в угол Бар и шмыгает носом простудившийся в морском путешествии д’Аво.

Россиньоль уже успел разобрать краденые письма. Некоторые он вручил Элизе, и она разложила их на коленях, как будто читает. Остальные он забрал себе, по крайней мере на время, и удалился в другую часть дома, не желая попадаться графу на глаза.

Через несколько мгновений Элиза распорядилась впустить посетителя. Мебель расставили так, чтобы солнце светило графу в лицо. Элиза сидела спиной к окну.

— Его величество призывает меня в Версаль доложить о ходе кампании, которую его величество король Англии ведёт, дабы вырвать остров из когтей узурпатора, — начал д’Аво, когда вступительные формальности остались позади. — Принц Оранский отправил против нас герцога Шомберга, который либо трусит, либо впал в спячку, и вряд ли что-нибудь предпримет

в этом году.

— Вы охрипли, — заметила Элиза. — Это простуда или вы много кричали?

— Я не боюсь повышать голос на тех, кто *ниже* меня. В *вашем* обществе, мадемуазель, я буду вести себя сообразно приличиям.

— Значит ли это, что вы оставили намерение подвесить меня над углями в мешке с кошками? — Элиза перевернула письмо, в котором д'Аво писал кому-то, что именно так следует поступать со шпионами.

— Мадемуазель, я несказанно шокирован, что вы поручили ирландцам ограбить мой дом. Я многое готов вам простить. Однако, нарушив неприкосновенность дипломатической резиденции — дворянского дома, — вы заставляете меня думать, что я вас переоценил. Ибо я считал, что вы можете сойти за благородную, а так поступают лишь люди подлого звания.

— Различие, которое вы проводите между подлым и благородным, представляется мне настолько же произвольным и бессмысленным, как вам — обычаи индусов, — отвечала Элиза.

— Вся тонкость как раз и заключена в произвольности, — указал д'Аво. — Будь обычаи благородного сословия логичны, всякий мог

бы их вывести и стать благородным. Однако поскольку они бессмысленны и к тому же постоянно меняются, усвоить их можно, только впитав кожей. Такую монету практически не подделать.

— Как золото?

— Истинная правда, мадемуазель. Золото — везде золото, однородное и безличное. Однако, когда монетчик оттискивает на нём некие напыщенные слова и портрет монарха, оно обретает достоинство. Достоинство это существует постольку, поскольку люди в него верят. Вы попали ко мне в руки чистым золотым диском…

— И вы, сударь, попытались оттиснуть на мне дворянское достоинство — повысить мою стоимость.

— Но кража в моём доме, — граф указал на письма, — разоблачает вашу фальшь.

— Что в вашем представлении хуже? Шпионить для принца Оранского или выдавать себя за графиню?

— Безусловно второе, мадемуазель. Шпионаж распространён повсеместно. Верность своему сословию — то есть семье — куда важнее, чем верность конкретному государству.

— Думаю, по другую сторону пролива многие придерживаются противоположных взглядов.

— Однако вы по эту сторону, мадемуазель, и останетесь здесь надолго.

— В каком качестве?

— Зависит от вас. Если вы решите и впредь вести себя как простолюдинка, вас ждёт соответствующая участь. Я не могу отправить вас на галеры, как бы мне ни хотелось, но в силах обеспечить вам не менее жалкую участь в стенах работного дома. Полагаю, девять-двадцать лет за чисткой рыбы вернут вам уважение к благородному образу жизни. Или, если вы немного оступились, быть может, под влиянием родов, я могу отправить вас в Версаль примерно в том же качестве, что и раньше. Когда вы исчезли из Сен-Клу, все решили, что вы в интересном положении и намерены, тайно родив, определить ребёнка на воспитание; теперь, спустя год, всё позади, и вас ждут обратно.

— Вынуждена поправить вас, мсье. Нельзя сказать, что всё позади: я никому не отдала ребёнка.

— Вы взяли на воспитание сироту из еретического Пфальца, — с грозным спокойствием произнёс д'Аво, — чтобы увидеть, как его воспитают в истинной вере.

— Увидеть? Так мне отведена роль простой наблюдательницы?

— Поскольку вы — не мать ребёнка, на какую ещё роль вы вправе рассчитывать? В мире не счесть сирот, и церковь в попечении о них выстроила немало приютов — иные расположены в дальних областях Альп, иные — в минутах ходьбы от Версаля.

Таким образом, граф давал ей понять, какова ставка в игре. Она может оказаться в работном доме или графиней в Версале; ребёнок может воспитываться в тысяче миль от неё или в тысяче ярдов.

По крайней мере так д'Аво пытался её уверить. Однако Элиза, хоть и не играла сама, разбиралась в азартных играх. Она знала, что блефуют порою, чтобы скрыть слабый расклад.

Человек начитанный и много путешествовавший по свету, Бонавантюр Россиньоль знал, что в мире есть страны — и даже в его стране отдельные группы и слои общества, — в которых не принято постоянно носить при себе длинные колюще-режущие предметы с тем, чтобы в любую минуту их выхватить и немедля пустить в ход. Всё это он понимал теоретически, но полностью осознать не мог. Взять для примера нынешнюю ситуацию: два человека, между собой не знакомых, в том же доме, что и Элиза, ни один не

ведает, где находится другой и каковы его намерения, — крайне неустойчивое состояние дел. Некоторые могли бы возразить, что неразумно добавлять острую сталь в и без того гремучую смесь, однако Россиньоль находил это весьма уместным способом вскрыть противоречия, которые в иных странах и сословиях вызревали бы подспудно. Россиньоль — тщетно было бы отрицать — крался по дому, желая избежать встречи с д'Аво. Петли и круги привели его в сумрачный коридор, избежавший переустройства — деревянные панели ещё не выкрасили под мрамор. Многочисленные портреты и другие предметы искусства из коллекции д'Озуаров часть висели по стенам или просто стояли, прислонённые где попало. Ибо если украсить своё жилище картинами — признак хорошего вкуса и родовитости, то сколь же аристократичнее приткнуть бездомные сокровища к стенам, затолкать их за кресла! Так или иначе, добравшись до этой галереи, Россиньоль уловил запах одеколона и, положив левую ладонь на ножны рапиры (оружие это давно вышло из моды, но именно рапирой научил его владеть отец, прежний королевский дешифровщик Антуан Россиньоль, и чёрта с два он стал бы выставлять себя на посмешище, учась фехтовать

шпагой), выдвинул её на дюйм-два, просто чтобы убедиться, что она не застрянет в самый неподходящий момент. Одновременно он пошёл быстрее, дабы шаги звучали более уверенно. Ступать крадучись значит расписаться в дурных намерениях и нарваться на упреждающее возмездие.

Продвигаясь по галерее, он примечал расположение кресел, складок на ковре и прочих помех, чтобы не споткнуться о них, коли завяжется стычка. Впереди слева от первой галереи отходила вторая: человек, благоухающий одеколоном, находился в ней. Россиньоль замедлил шаг, повернулся влево и выдвинулся за угол правым плечом вперёд. Теперь, если бы пришлось выхватить рапиру, его торс остался бы под защитой стены. Увы, незнакомец в боковой галерее предвосхитил этот манёвр — он стоял у противоположной стены спиной к Россиньолю, притворяясь, будто разглядывает висящий на ней пейзаж; так угол ему не мешал, а правое плечо оказалось развёрнуто к противнику. Лёгкий поворот головы давал ему возможность краем глаза наблюдать за Россиньолем. Незнакомец расположил правую руку диагонально к туловищу, поддерживая левой её локоть; правая ладонь находилась очень близко от эфеса висящей на

боку абордажной сабли. Поза была искусственная и напряжённая, но очень хорошо продуманная: незнакомец мог в любой миг выхватить саблю, развернуться и нанести удар. Таким образом, возник пат.

Хотя, если рассудить, всё это немного отдавало фарсом. Россиньоль много лет никого не убивал. Жан Бар (а незнакомец мог быть только им), вероятно, убивал куда чаще, но никогда — в домах богатых людей. Дойди у них до стычки, ему бы хватило воспитания вызвать противника на улицу. С другой стороны, они друг друга не знали. Не вредно было проявить осторожность, тем более такую умеренную — занять определённые позиции и сохранять определённое расстояние. Меры эти не требовали даже сознательного усилия: Россиньоль размышлял о чём-то, вычитанном в одном из писем д'Аво, Бар (надо думать) — о том, как переспать с Элизой. Оба совершили описанные манёвры практически машинально.

На Жане Баре был наряд флотского офицера, не сильно отличающийся от обычного дворянского: панталоны, камзол, парик и треуголка. Цвет платья (по преимуществу синий), отделка (нашивки, эполеты, канты, обшлага) и подбор перьев указывали, что он служит лейтенантом

во французском военном флоте. Бар был невысок ростом и, как запоздало заметил Россиньоль, не отличался стройностью (покрой камзола поначалу это скрыл). Лицо его в этой части страны сочли бы чересчур смуглым. По слухам, он происходил из низов — его предки спокон веков промышляли рыбной ловлей и, вероятно, морским разбоем в окрестностях Дюнкерка. Коли так, в его жилах могла течь смесь самых разных кровей. Как многие, кто не вышел ростом и фигурой, как многие, чьё происхождение сомнительно, лейтенант Бар крайне внимательно относился к своей внешности. Он носил огромный парик а-ля Король-Солнце (отставший от моды, но не более, чем рапира Россиньоля) и смешные усики, словно две запятые, вмурованные в верхнюю губу, — на их укладку каждый день, уж верно, уходило не менее часа. В наряде, на взгляд Россиньоля, наблюдался некоторый избыток кружев и металлической галантереи (пряжек и пуговиц), однако по меркам Версаля Бара нельзя было бы даже отнести к щёголям. Россиньоль усилием воли заставил себя не обращать внимания на платье и одеколон, а сосредоточился на том, что стоящий перед ним человек недавно сбежал из английской тюрьмы, украл шлюпку и в одиночку

добрался на вёслах до Франции.

Бар полуобернулся на каблуках, чтобы посмотреть Россиньолю в лицо. Его правая рука оставалась в прежнем положении. Взгляд скользнул по левому бедру Россиньоля, отметил рапиру и задержался на левой руке, проверяя, не собирается ли противник выхватить кинжал.

Будь Россиньоль в придворном наряде, всё могло бы пройти иначе, однако сейчас он выглядел не лучше разбойника с большой дороги, потому заговорил первым:

— Лейтенант, прошу извинить меня за вторжение.

Он благоразумно остановился на таком расстоянии, чтобы его нельзя было рубануть саблей, но сейчас в качестве мирного жеста сделал ещё шаг назад, чтобы и лейтенант был вне досягаемости для выпада рапирой. Бар в ответ развернулся к нему лицом, так что стала видна правая кисть, затем поднял её и скрестил руки на мощном торсе.

— Я не имею удовольствия быть вам знакомым, и вы вправе полюбопытствовать, кто я и что делаю в этом доме. Как гость в вашем городе, лейтенант, прошу дозволения представиться: Бонавантюр Россиньоль. Я приехал сюда из своего замка Жювизи в надежде быть полезным графине

де ля Зёр, и она любезно пригласила меня в дом. Другими словами, я имею честь быть её гостем, что она сама вам подтвердит, если вы пойдёте и спросите. Однако я просил бы вас дождаться отъезда графа д'Аво, поскольку дело…

— Тонкое, — подхватил Жан Бар. — Тонкое и опасное, как сама графиня.

Он развёл руки, заставив собеседника вздрогнуть, однако двигались они вперёд, прочь от сабли. Россиньоль так же отодвинул пальцы от рукоятей, эфесов и прочего и даже предоставил Бару возможность мельком увидеть свои ладони.

— Я лейтенант Жан Бар.

Бар сделал шаг к Россиньолю — на расстояние выпада. В ответ Россиньоль ещё чуть приподнял руки, демонстрируя ладони полностью, и шагнул на расстояние сабельного удара. Словно пробираясь ощупью в дыму, они заключили рукопожатие — для вящей безопасности двойное.

— Я безусловно расстроен, — сказал Бар, — хоть и ничуть не удивлён, что галантный кавалер прискакал на выручку даме; я даже гадал, когда же появится кто-нибудь в таком роде.

Лейтенант одним ударом обозначил свой интерес к Элизе, нехотя признал первенство

Россиньоля и попенял тому за промедление. Россиньоль ломал голову, как обезвредить эту маленькую гранату; тем временем оба продолжали держаться за руки.

— Я выслушал нечто в подобном роде от упомянутой дамы, — сухо проговорил он.

— Ха-ха! Нимало не сомневаюсь!

— Я сделаю для неё всё, что в моих силах, — сказал Россиньоль, — а если не преуспею, мне останется лишь уповать на её снисхождение.

— Рад знакомству! — воскликнул Бар, по всей видимости, искренне, и выпустил руки Россиньоля.

Оба тут же отпрянули назад, но на оружие больше не косились.

— Теперь будем ждать, да? — сказал лейтенант. — Вы — её, я — графа. Вам повезло больше.

— Если вас это подбодрит, то граф вряд ли надолго задержится в Дюнкерке.

— Здорово, наверное, столько всего знать, — заметил Бар, показывая, что наслышан о Россиньоле.

— Боюсь, многие сведения очень скучны.

— Зато какую власть даёт знание! Возьмите эту картину. — Бар короткопалой пятернёй ткнул в пейзаж, который якобы разглядывал минуту на-

зад: вид из сельского сада на церковь, деревушку и пологие холмы. На переднем плане дети играли с собакой. — Кто они? Как очутились *там?* — Он указал на другой пейзаж, запечатлевший мрачную гористую местность. — И какое отношение имеют к д'Озуарам все эти осады и битвы?

Не считая нескольких пасторальных пейзажей, картины тяготели к изображению кровопролитий, мученической смерти на ниве как светской, так и духовной, и тщательно спланированных сражений.

— Простите, лейтенант, но учитывая значение маркиза д'Озуара для флота, вам странно не знать историю его семьи.

— Ах, мсье, дело в том, что вы — придворный, а я — моряк. Впрочем, графиня де ля Зёр посоветовала мне уделять больше внимания подобным вопросам, если я хочу подняться выше лейтенантского чина.

— Раз уж мы оба вынуждены здесь прохлаждаться в ожидании, когда до нас снизойдут, — сказал Россиньоль, — давайте я постараюсь ей угодить и поведаю, что связывает эти картины, медальоны и бюсты.

— Буду весьма признателен, мсье!

— Не стоит благодарности. Итак: даже если вы

и впрямь далеки от света, вам наверняка известно, что маркиз д'Озуар — побочный сын герцога д'Аркашона.

— Это никогда не было тайной, — признал Бар.

— Поскольку маркиз не мог унаследовать имя и состояние отца, методом исключения выводим, что все картины и прочее из семьи…

— Маркизы д'Озуар! — закончил Бар. — И вот здесь-то я уже нуждаюсь в наставлениях, потому как ничего не знаю о её предках.

— Два семейства, очень разные, слившиеся в одно.

— А! Первое, как я догадываюсь, обитало на севере, — сказал Бар, указывая на сельский пейзаж.

— Де Крепи. Мелкопоместные дворяне. Не особо заметные, но плодовитые.

— Коли так, второе семейство, надо думать, обитало в Альпах. — Бар повернулся к более мрачному пейзажу.

— Де Жексы. Бедный иссякающий род. Несгибаемые католики, обитающие в окрестностях Женевы, где преобладают гугеноты.

— И впрямь весьма несхожие семейства. Как они слились?

— Род де Крепи был связан — сперва соседством,

затем вассальной верностью, а там и узами брака с графами де Гизами, — пояснил Россиньоль.

— Э… мне смутно помнится, что де Гизы были очень влиятельны и что-то не поделили с Бурбонами, но если бы вы освежили мою память, мсье…

— С удовольствием, лейтенант. Полтора столетия назад граф де Гиз так отличился в бою, что король пожаловал его герцогством. Среди адъютантов, пажей, любовниц, соратников и прихлебателей де Гиза было довольно много де Крепи. Некоторые из них почувствовали вкус к приключениям и начали строить честолюбивые планы, выходящие за пределы родной деревеньки. Они, так сказать, привязали себя к мачте дома де Гизов, и поначалу события вроде бы подтверждали правильность их выбора. До тех пор, пока сто один год назад Генриха де Гиза и его брата Людовика, кардинала Лотарингского, не умертвили по приказанию короля. Ибо они забрали больше власти, чем сам король.

Оба помолчали, разглядывая следующее полотно с изображением кровавой сцены.

— Как это случилось, мсье? Как мог конкурирующий род приобрести столь непомерную власть?

— Сейчас, когда король силён, в такое верится с трудом. Возможно, вы лучше поймёте, как всё произошло, если узнаете, что бóльшая часть ненавистной королю мощи заключалась в Католической лиге. Она создавалась в противовес реформации, в городах, где дворяне и духовенство, оказавшись в окружении гугенотов, решили объединиться для борьбы с ересью.

— И тут в историю вступает семейство де Жексов, да?

— Я как раз к этому подхожу. Вы правы. Де Жексы были как раз из тех, кто тогда создавал местные отделения Католической лиги. Дом Гизов сплотил разрозненные группы в общенациональное движение. После убийства Генриха и Людовика де Гизов обезглавленная лига восстала против короля. Вскоре и тот пал от руки убийцы; на долгие годы в стране воцарился хаос. Новый король, гугенот Генрих Четвёртый, перешёл в католичество и восстановил порядок, по большей части к выгоде гугенотов. По крайней мере, так казалось многим рьяным католикам, в частности, тому, что убил Генриха в тысяча шестьсот десятом. За это время звезда де Крепи закатилась. Одни погибли, другие вернулись в родную глухомань, третьи бежали за границу. Некоторых

забросило в ту часть Франции, которая граничит с Женевским озером. Лучше — а может быть, хуже места, чтобы сражаться за католическую веру, тогда было не сыскать. Де Крепи обосновались на берегу озера прямо напротив Женевы. Она виделась им муравейником, из которого гугеноты расползаются на проповедь по всем французским приходам. Соответственно, католики в тех краях были фанатичнее, чем где-либо ещё, — первыми начали создавать отделения Католической лиги, первыми присягнули на верность де Гизам и после их убийства с наибольшим жаром взялись за оружие. Короля убили не они, но лишь потому, что не сумели его разыскать. Предводитель местной знати, некий Луи де Жекс, сколотил небольшую, но весьма воинственную клику из тех, кого превратности судьбы забросили в тот отдалённый край.

— Полагаю, среди них были и де Крепи.

— Совершенно верно. Вот ответ на ваш вопрос, как они попали оттуда вот сюда. — Россиньоль указал на два пейзажа. — Пришельцы были богаты и плодовиты, де Жексы — бедны и малочисленны.

— Полагаю, те из местных жителей, кто умел зарабатывать деньги, стали гугенотами, — задум-

чиво проговорил Бар.

Россиньоль строго одёрнул его взглядом.

— Лейтенант, теперь я понимаю, почему графиня де ля Зёр считает, что вам надо учиться светскости.

Бар пожал плечами:

— Истинная правда, мсье. Все дюнкеркские купцы были гугенотами, и после тысяча шестьсот восемьдесят пятого года…

— Именно потому, что это правда, вам и следовало промолчать.

— Прекрасно, мсье, клянусь до конца разговора не произносить и слова правды! Будьте добры, продолжайте!

Справившись с мгновенным замешательством, Россиньоль шагнул к стопке портретов у стены и начал их перебирать: изображения мужчин, женщин, детей и целых семейств в нарядах, которые носили три поколения назад.

— Когда религиозные войны закончились, обоим семействам осталось только продолжать род. Через поколение их дети переженились. Здесь я могу спутать какие-нибудь детали, но, кажется, дело было так: отпрыск рода де Жексов, Франсис, около тысяча шестьсот сорокового сочетался браком с Маргаритой-Дианой де Крепи. Один за

другим родились несколько детей, затем, после двенадцатилетнего перерыва, Маргарита снова понесла. Она умерла, разрешившись мальчиком, Эдуардом. Отец счёл первое жертвой Всевышнему, второе — Его даром и, рассудив, что не сумеет на склоне лет воспитать сына, отдал Эдуарда в лионскую школу иезуитов. Тот с первых дней делал поразительные успехи и очень рано вступил в Общество Иисуса. Сейчас Эдуард де Жекс — духовник мадам де Ментенон.

Россиньоль нашёл портрет худого юноши в наряде иезуита, который смотрел так, будто впрямь видит лейтенанта с криптоаналитиком и не одобряет обоих.

— О нём я слышал, — сказал Бар, отступая из-под его взгляда.

Россиньоль отыскал более старый портрет, изображавший пухлую даму в голубом платье.

— Сестра Франсиса де Жекса, Луиза-Анна. Вышла замуж за Александра-Луи де Крепи и родила ему двух мальчиков, которые умерли от оспы, и двух девочек, которые выжили.

Он вытащил из стопки гуашь, запечатлевшую двух половозрелых девиц; старшая была крупнее и красивее, младшая робко выглядывала из-за её плеча.

— Старшая, Анна-Мария, переболела оспой без всякого вреда для своей внешности и вышла замуж за престарелого графа д'Уайонна. То был второй или третий его брак. Сей д'Уайонна был поначалу просто захудалым дворянином и еле-еле сводил концы с концами. Его земли лежат на самой границе Франш-Конте.

— Об этом даже я знаю!

— Странно, лейтенант, ведь они окружены сушей.

Шутка едва не ускользнула от Бара, ибо острословие никогда не было сильной стороной Россиньоля. Однако через несколько мгновений лейтенант всё же её понял и отметил вежливой улыбкой.

— Это ведь та местность, за обладание которой французские короли издавна борются с Габсбургом словно два врага в одной шлюпке за единственный кинжал.

— Аналогия, хоть и морская, очень точна, — отвечал Россиньоль. — В царствование Людовика Тринадцатого, коему мой батюшка имел честь служить в должности королевского криптоаналитика, д'Уайонна предоставил свои земли в качестве плацдарма для вторжения во Франш-Конте, за что и получил графский титул. Уже

в качестве графа он сочетался браком с юной Анной-Марией де Крепи. Чуть позже он оказал сходную услугу войскам Людовика Четырнадцатого, и тот, присоединив Франш-Конте к Франции, возвёл его в герцогское достоинство. Новоиспечённый герцог с молодой супругой переехал в Версаль, где та его вскорости отравила.

— Мсье! И вы обвиняли меня в недостатке светского обхождения!

Россиньоль пожал плечами:

— Слова резкие, знаю, но правдивые. Тогда все этим занимались — по крайней мере, все сатанисты.

— Теперь я уверен, что вы надо мной насмехаетесь.

— Хотите верьте, хотите — нет, — сказал Россиньоль. — Порою мне самому с трудом верится. Безобразиям положила конец мадам де Ментенон с помощью отца де Жекса, который, возможно, не подозревал, что в число зачинщиц входит его сестра.

— Довольно об этом! А что младшая дочь?

— Шарлотта-Аделаида де Крепи после оспы осталась рябой, хотя всячески скрывает это при помощи париков, мушек и тому подобного. Выдать её замуж оказалось куда труднее; потому-то

и сама история значительно интереснее.

— Отлично! Расскажите её! А то, сдаётся мне, господин граф и госпожа графиня никогда не закончат разговор.

— Вы наверняка слышали о Лавардаках и знаете, что это вроде как младшая ветвь Бурбонов. Если вы имели несчастье видеть кого-нибудь из них на портретах, то догадались, что на протяжении столетий они немало путались с Габсбургами. Земли Лавардаков лежат на юге, и тактические браки со знатными семействами по ту сторону Пиренеев в роду не редкость. Во время беспорядков, связанных с Гизами, Лавардаки стойко хранили верность Бурбонам.

— В таком случае они должны были всякий раз менять религию вместе с королём! — попытался сострить Бар.

Россиньоль лишь вновь укорил его взглядом.

— Для Лавардаков это отнюдь не смешная тема, ибо многие из них были убиты или пострадали. Как вам известно лучше, чем мне, в этом семействе по наследству передаётся связь с флотом. Нынешний герцог, Луи-Франсуа де Лавардак, герцог д'Аркашон, сменил отца на посту верховного адмирала Франции. В этой должности он и состоял, когда Кольбер превратил французский

флот из жалкой флотилии трухлявых посудин в нынешнюю мощную силу.

— Сто сорок линейных кораблей! — объявил Бар. — И ещё бог весть сколько фрегатов и галер.

— Герцог много приобрёл, и в смысле материального богатства, и в смысле влияния. Его сын и наследник, естественно, Этьенн де Лавардак д'Аркашон.

Россиньолю не было нужды добавлять то, в чём Бара, как и всех остальных, давно уверили: «Это он заделал Элизе ребёночка».

— Я видел Этьенна мельком, — сказал Бар, — и заметил, что он гораздо моложе незаконного брата.

Лейтенант указал на относительно свежий портрет, изображавший хозяев дома, маркиза и маркизу д'Озуар.

— Герцог был совсем юн, когда наградил этим малым одну из служанок. Её фамилия была Оз, и бастарда назвали Клод Оз. Он отправился в Индию на поиски богатства, потом сколотил на работорговле достаточный капитал, чтобы — заняв недостающее у отца — приобрести титул в тысяча шестьсот семьдесят четвёртом, когда их выставили на продажу для финансирования голландской войны. Так он стал маркизом д'Озу-

ар. Всего за год до покупки титула он женился на Шарлотте-Аделаиде де Крепи, младшей сестре маркизы д'Уайонна.

— Хотя мог бы найти кого-нибудь познатнее, — предположил Бар.

— Разумеется! — отвечал Россиньоль. — Однако вы упустили из виду некое обстоятельство.

— Какое, мсье?

— Он и впрямь её любит.

— Боже мой, я понятия не имел.

— А если и не любит, то осознаёт, что они составляют мощный тандем, и не хочет его разрушать. У них есть дочь. Наша общая знакомая одно время была её гувернанткой.

— Полагаю, до того, как король проснулся однажды утром и вспомнил, что она — графиня.

— Будем надеяться, — сказал Россиньоль, — что графиней она и останется, несмотря на все усилия д'Аво.

— Какая жалость, — начала Элиза, — что ирландцы забрались к вам в дом, похитили ваши бумаги и пустили их в открытую продажу. До чего, наверное, неловко, когда вашими личными письмами и черновиками государственных договоров шлюхи расплачиваются за эль в питейных заведениях Дюнкерка!

— Что?! Об этом мне не говорили! — Д'Аво побагровел с такой скоростью, будто ему в лицо выплеснули стакан крови.

— Вы две недели пробыли на корабле и не могли ничего слышать. Я говорю вам сейчас.

— Я имел все резоны полагать, что бумаги в вашем распоряжении, мадемуазель, и ответственность лежит на вас!

— Не важно, что́ вы имели резоны полагать. Существенно лишь реальное положение дел. Позвольте вас с ним ознакомить. Воры, похитившие ваши бумаги, отправили их в Дюнкерк, это правда. Возможно, они даже вообразили, что найдут в моём лице покупательницу. Я отказалась марать руки столь гнусной сделкой.

— Тогда, возможно, вы объясните, мадемуазель, как эти самые бумаги оказались у вас на коленях!

— Как говорится, нет честности между ворами. Когда негодяи увидели, что я решительно отказываюсь иметь с ними дело, они начали искать других покупателей. Пакет разбили на отдельные лоты и выставили на продажу по разным каналам. Ситуация осложнилась тем, что у воров, по всей видимости, вышла размолвка. Сказать по правде, я не знаю, что именно произошло. Когда

стало видно, что бумаги разлетаются по четырём ветрам, я постаралась выкупить, что удалось. Письма у меня на коленях — всё, что я сумела пока собрать.

Д'Аво, не находя приличных слов, только тряс головой и что-то бормотал себе под нос.

— Вы, вероятно, рассержены, и потому неблагодарны, но я рада, что смогла хоть в малой степени вернуть вам долг, собрав эти бумаги…

— И возвратив их мне?

— Как только смогу. — Элиза пожала плечами. — На то, чтобы разыскать все, уйдут не дни, не недели и даже не месяцы.

— …

— Итак, — продолжала Элиза, — минуту назад вы строили различные предположения касательно моего будущего. Иные ваши фантазии весьма причудливы, даже барочны. Иные настолько отвратительны для ушей благородной особы, что я сделаю вид, будто ничего не слышала. Я вижу, мсье, что утратила ваше доверие. Поступайте, как велит честь: отправляйтесь в Версаль. Мне, обременённой младенцем, домочадцами и заботой о возвращении ваших писем, за вами не угнаться. Изложите ваше дело королю. Скажите, что я не дворянка, а уличная девка, не заслуживающая

хорошего обращения. Его величество удивится, ибо считал меня настоящей графиней. Я состою в близкой дружбе с его невесткой и, более того, недавно ссудила ему свыше миллиона турских ливров из своего личного капитала. Однако вы владеете несравненным даром убеждения, который ярко продемонстрировали, будучи послом в Гааге, где столь успешно обуздывали честолюбивые устремления этого фанфарона Вильгельма Оранского.

Удар был воистину ниже пояса. Д'Аво задохнулся — не столько от боли, сколько от оторопи и невольного восхищения.

Элиза продолжала:

— Вы сумеете убедить короля во всём, тем более обладая столь веской уликой. Кстати, напомните, что это — дневник?

— Да, мадемуазель. *Ваш* дневник.

— И у кого эта тетрадь?

— Это не тетрадь, как вам прекрасно известно, а вышитый чехол на подушку. — Здесь д'Аво вновь начал наливаться краской.

— На… подушку?

— Да.

— Обычно мы называем их наволочками. Скажите, замешано ли в скандале какое-нибудь ещё

постельное бельё?

— Насколько мне известно, нет.

— Занавески? Коврики? Кухонные полотенца?

— Нет, мадемуазель.

— У кого находится эта… наволочка?

— У вас, мадемуазель.

— Некоторые предметы домашнего обихода быстро устаревают. Покидая Гаагу, я распродала мебель, а всё остальное — включая наволочки — сожгла.

— Однако, мадемуазель, писарь посольства в Гааге снял с неё копию, каковую передал мсье Россиньолю.

— Упомянутый писарь умер от оспы. — Ложь эту Элиза сочинила на месте, однако д'Аво потребовался бы месяц, чтобы её проверить

— Зато мсье Россиньоль жив, здоров и пользуется неограниченным доверием короля.

— А вы, мсье? Доверяет ли король вам?

— Простите?

— Мсье Россиньоль отправил копию рапорта королю, а не вам. Отсюда мой вопрос. А что монах?

— Какой?

— Йглмский монах в Дублине, которому мсье Россиньоль послал для перевода расшифрован-

ный текст.

— Вы весьма хорошо осведомлены, мадемуазель…

— Не думаю, что я так уж хорошо или плохо осведомлена, мсье, я лишь пытаюсь вам помочь.

— Каким образом?

— В Версале вас ждёт непростой разговор. Вы предстанете перед королём. В его казне — о которой он неустанно печётся — лежит состояние в наличных деньгах, переданное мной. Вы будете убеждать его, что я — изменница и самозванка, основываясь на рапорте, которого в глаза не видели, про наволочку, которой больше нет, содержащую шифрованный йглмский текст, не читанный никем, кроме трёхпалого монаха в Ирландии.

— Посмотрим, — сказал д'Аво. — Разговор с отцом Эдуардом де Жексом будет несравненно проще.

— А при чём здесь Эдуард де Жекс?

— О, мадемуазель, из всех версальских иезуитов он самый влиятельный, поскольку состоит духовником при мадам де Ментенон. Когда *кто-нибудь*, — при этих словах д'Аво выразительно поднял бровь, — в Версале дурно себя ведёт, мадам де Ментенон жалуется отцу де Жек-

су. Де Жекс идёт к духовнику виновной, и та, придя в следующий раз на исповедь, узнаёт о неудовольствии королевы. Можете улыбаться, мадемуазель, — многие улыбаются, — однако это даёт ему огромную власть. Дело в том, что когда придворная дама входит в исповедальню и слышит порицание, она не знает, кого прогневала: короля, королеву или отца де Жекса.

— Так вы будете исповедоваться де Жексу? — спросила Элиза. — В нечистых помыслах касательно графини де ля Зёр?

— Я встречусь с ним не в исповедальне, а в салоне, — сказал д'Аво, — и разговор пойдёт вот о чём: где будет воспитываться сиротка. Кстати, как его окрестили?

— Я называю его Жан.

— Это имя, данное ему при крещении? Ведь он, разумеется, крещён?

— Мне было недосуг, — сказала Элиза. — Крестины через несколько дней, здесь, в церкви Сен-Элуа.

— Через сколько именно? Полагаю, для ваших дарований это не слишком сложный подсчёт?

— Через три дня.

— Отца де Жекса, я уверен, порадует такое проявление благочестия. Крестить будет иезуит?

— Мсье, мне бы и в голову не пришло доверить это янсенисту!

— Превосходно. Я буду счастлив свести знакомство с новокрещённым, когда вы привезёте его в Версаль.

— Вы уверены, что меня там охотно примут?

– *Pourquoi non?* [9] Хотел бы я сказать то же о себе.

– *Pourquoi non*, мсье?

— Из моего дома в Дублине пропали некие ценные бумаги.

— Они нужны вам немедленно?

— Нет. Но раньше или позже…

— Определённо позже. Дублин далеко. Расследование ползёт черепашьим шагом. — Таким образом Элиза давала понять, что не вернёт бумаги, если он не представит о ней в Версале самый лучший отчёт.

— Прошу прощения, что обременяю вас такими пустяками. Для людей подлого звания такие вещи чрезвычайно важны. Для нас же они ничто!

— В таком случае пусть ничто не нарушает нашего согласия, — сказала Элиза.

Как и предсказывал Бонавантюр Россиньоль,

---

[9] Примечания: 9
Почему бы и нет? (*фр.*)

д'Аво не стал мешкать в Дюнкерке, а на следующее же утро до первых петухов выехал в Париж.

Россиньоль задержался ещё на две ночи, потом как-то утром встал и выехал из города так же тихо, как туда въехал. Должно быть, где-то на дороге он разминулся с экипажем маркиза д'Озуара. Как раз когда часы собирались бить полдень, Элиза, одевавшаяся наверху, чтобы пойти в церковь, подошла к окну и увидела, что во двор въехала карета, запряжённая четвернёй.

Герб на дверце был тот же, что и над воротами. По крайней мере так Элиза предположила. Чтобы удостовериться наверняка, потребовались бы лупа, помощь герольдмейстера и куда больше времени и терпения, чем было у неё сейчас. В первой и четвёртой четвертях располагались гербы де Жексов и де Крепи — вклад Шарлотты-Аделаиды. Чтобы составить герб д'Озуаров, во вторую и третью четверть поместили щит рода де Лавардак д'Аркашон, в свою очередь разделённый на четвертушки с левой перевязью — знаком незаконного рождения — поверх многочисленных королевских лилий и чёрных голов в ошейниках. Так или иначе, это означало, что вернулся хозяин дома. Как раз когда он выходил из экипажа, колокола на старой отдельно

стоящей колокольне начали отбивать полдень. Элиза опаздывала в церковь, что сегодня было особенно нехорошо, поскольку церемония не могла начаться без неё и младенца. Она послала вниз служанку с извинениями, а сама вместе с Николь, Бригиттой и малышом выскочила через чёрную дверь, как раз когда Клод Оз входил в парадную. Маркиз поступил в высшей степени учтиво, то есть немедленно велел кучеру поворачивать и ехать за Элизой. Однако в Дюнкерке всё так близко, что экипаж нагнал её уже возле паперти. Элиза бы ничего и не заметила, если бы вошла сразу, а не остановилась в задумчивости.

Церковь Сен-Элуа ей нравилась. Позднеготическое здание могло бы сойти за древнее, хотя было построено недавно. Предыдущее несколько десятилетий назад сровняли с землёй испанцы в ходе спора о том, кто должен владеть Фландрией. Если судить по архитектуре уцелевшей колокольни, они значительно улучшили вид города. У новой церкви было большое круглое окно с изысканным каменным переплётом, словно розетка на лютне, и Элиза, проходя мимо, всегда ему радовалась. Сейчас, прижимая к груди младенца, она снова залюбовалась витражом. Перед глазами встала совершенно иная картина: она бок о бок

с Россиньолем, они собираются обвенчаться и бежать в Амстердам или Лондон, чтобы вместе растить на чужбине общее дитя.

Мечтание прервал грохот экипажа, столь же непрошеный, как ружейная пальба в любовном уединении. Чтобы не увязнуть в обмене любезностями, Элиза торопливо вошла в церковь.

Свод удерживали колонны, полукругом стоящие у алтаря. Элизе они напомнили прутья исполинской клетки, в которую её загнали не только скрип и громыхание кареты, но и другие события. Улететь было невозможно. Оставалось вспорхнуть на новую жёрдочку, оправить пёрышки и оглядеться.

Маркиз вошёл и сел на семейную скамью. Элиза посмотрела на него, он — на неё.

Жан Бар наблюдал за этим обменом взглядами. Вместе со слугами и знакомыми, пришедшими на крестины, они вставали, садились, опускались на колени, бормотали и совершали другие телодвижения, требуемые мессой. Жан-Жак оказался из тех младенцев, которые переносят окунание без истошного ора, с ошеломлённым любопытством, что наполнило крёстного гордостью, а мать — виде́нием длинной череды безмятежных лет. Иезуит миром начертал ему на лобике крест

и сказал, что он — священник и пророк, а имя ему — Жан-Жак: Жан в честь Жана Бара, крёстного отца, Жак — в честь другого Элизиного знакомца, который на церемонии не присутствовал, поскольку не то умер, не то сошёл с ума, не то грёб где-то на галерах. Об отце ребёнка не вспоминали. О матери тоже почти не говорили: считалось, что Жан-Жак — сирота, подобранный во время резни в Пфальце.

После ликующего колокольного трезвона маркиз — который, как вспомнила теперь Элиза, был высок, прекрасно сложён и до неприличия хорош собой, — настоял, чтобы празднование состоялось у него дома. Небольшому кругу избранных гостей предложили широкий ассортимент продукции местных виноделен. Через несколько часов можно было наблюдать, как Жан Бар направляется к порту галсами, словно судно, идущее круто к ветру.

Графиня де ля Зёр и маркиз д'Озуар смотрели на лейтенанта из окон той самой комнаты, в которой Элиза три дня назад принимала д'Аво. Они с маркизом отлично поладили, отчего у Элизы, помнящей его прошлую связь с работорговлей, то и дело пробегали мурашки. Маркиз проникся живым интересом к Жан-Жаку, что было неуди-

вительно, учитывая сходные обстоятельства их рождения[10].

Разговор произошёл после того, как Жан Бар ушёл, а слуг отослали. Если бы маркиз и Элиза получили свои титулы по наследству, беседа развивалась бы совсем иначе, а так оба не обольщались на свой счёт и могли говорить открыто. Впрочем, уже через несколько минут Элиза об этом пожалела.

— Мы с вами похожи! — сказал маркиз, полагая, что говорит ей комплимент.

Он продолжал:

— Мы получили титулы, потому что нужны королю. Будь я законным наследником де Лавардаков, мне бы оставалось только до самой смерти отираться в Версале. Как незаконнорождённый я побывал в Индии, Африке, Балтике и России и везде занимался торговлей. Торговлей! Однако это не уронило меня ни в чьих глазах.

Он объяснил, чем Элиза нужна королю. По его словам, всё замешано на финансах и её зарубежных связях, которые маркиз описал со знанием дела, необычным для французского дворянина.

---

[10] Примечания: 10

Маркиз считал отцом ребёнка своего единокровного брата Этьенна; в таком случае оба были бы незаконными отпрысками рода де Лавардаков.

Те немногие, кто и впрямь понимал, что творится на бирже и почему это важно, притворялись невеждами из страха уронить своё достоинство. Для них Элиза была загадкой, дельфийским оракулом. Маркиз, напротив, силился казаться осведомлённей, чем есть, и считал Элизу обычной коммерсанткой. Во всяком случае, так можно было заключить из его следующей фразы:

— Достаньте мне лес, пожалуйста.

— Простите, мсье?

— Лес.

— Зачем вам лес?

— Известно ли вам, мадемуазель, что сейчас мы воюем практически со всем миром? — насмешливо поинтересовался маркиз.

— Спросите генерального контролёра финансов, известно ли это графине де ля Зёр!

– *Touché* [11]. Скажите мне, сударыня, что вы видите в окно?

— Новёхонькие укрепления, с виду очень недешёвые.

— Ближе.

— Воду.

— Ещё ближе.

---

[11] Примечания: 11

Возглас в фехтовании — признание, что укол соперника достиг цели *(фр.).*

— Корабли.

— Ещё ближе.

— Лес на берегу, сложенный наподобие крепостных стен.

— Вы, разумеется, знаете о связях моего семейства с флотом.

— Всем известно, что ваш отец — верховный адмирал Франции и что при нём флот достиг своей нынешней мощи.

— За то время, когда он в великолепном мундире присутствовал при спуске на воду кораблей, принимал пушечные салюты и закатывал великолепные празднества. Верно. Однако всем известно и другое: флот выстроил Кольбер. До тысяча шестьсот шестьдесят девятого отец был не только верховным адмиралом, но и министром флота. Должность эту он продал Кольберу за огромную сумму. Желал ли он продавать должность? Нуждался ли в деньгах? Нет. Однако он узнал, что нужную сумму передал Кольберу — простолюдину! — сам король, и потому не смел ему отказать.

— Его турнули с должности.

— Самым учтивым и доходным образом. Кольбер стал его начальником: верховный адмирал подотчётен министру флота!

— Такая формулировка наводит на мысль, что для вашего отца выдалось нелёгкое время.

— Хорошо, что я тогда бродяжничал в Индии. Его вопли почти что долетали до Шахджаханабада, — проговорил маркиз. — Так или иначе, ему щедро заплатили за унижение. Вскоре он сделал капитал на строительстве флота, которое затеял Кольбер. Когда столько денег течёт из казны к военным, для всех, кто с этим связан, существуют бесчисленные способы обогатиться. Мне ли не знать, мадемуазель.

Маркиз обвёл взглядом залу. Как сам Дюнкерк, она была маленькой, однако всё в ней блистало великолепием.

— Вы получили титул в семьдесят четвёртом, — вспомнила Элиза, — и приняли участие в строительстве флота.

— Я всегда стремился услужить королю.

— Да хранит Господь его величество, — подхватила Элиза. — Я, конечно, разделяю ваше рвение. Говорите, вам нужен лес?

— Ах да, разумеется. Идёт война. До сих пор морских сражений было совсем мало — стычка в заливе Бантри-бей при высадке наших войск в Ирландии, ну и само собой, подвиги вашего знакомца Жана Бара. Однако впереди великие

битвы. Нужны новые корабли. Нужен лес.

— Франция изобилует густыми лесами, — заметила Элиза.

— Неужто, сударыня? — Взгляд маркиза устремился к дюнам, которые там и тут уступали место прямоугольным земляным валам, скрывающим батареи мортир. — Я не вижу поблизости ни одного дерева.

— Да, окрестности Дюнкерка напоминают Ирландию или Голландию. Однако дальше в глубь страны, как вам наверняка известно, начинаются леса, которые не проехать меньше чем за две недели.

— Так раздобудьте мне лес, если желаете послужить королю.

— Устроит ли короля, если лес доставят в Гавр или Нант? В Дюнкерке нет большой реки, по которой легче сплавлять брёвна.

— Можно и туда. Там тоже есть верфи.

Сейчас Элизе следовало бы задаться вопросом: зачем в Дюнкерке, учитывая его расположение, вообще построили верфь; однако после долгих недель томительного бездействия она так обрадовалась хоть какому-то делу, что не заметила парадокса.

— Лес стоит денег, — напомнила она, — а свои

я отдала.

Маркиз рассмеялся.

— Французской казне, мадемуазель! А лес вы будете закупать от имени короля. Я отправлю письмо на Меняльную площадь. Все будут знать, что вашу кредитоспособность обеспечивает генеральный контролёр финансов. Обратитесь к мсье Кастану — он занимается делами тех, кто имеет честь ссужать деньги или поставлять товары королю Франции.

— Вы предлагаете мне ехать в Лион?

— Это дело государственной важности, сударыня. Моя карета в вашем распоряжении. Вам явно необходимо проветриться. Мне безразлично, доставят лес в Нант, Гавр или даже сюда, но с вами, мадемуазель, я хотел бы встретиться здесь через шесть недель.

Книга 4
Бонанца

Тронная зала паши в алжирской касбе
Октябрь 1689

Обитая на побережье и будучи от природы алчны, жестоки, необузданны, склонны к деспотии и неспособны ни к какому ремеслу, они должны были сделаться грабителями с той же неизбежностью, с какой лень делает людей попрошайками. Они отвергли любой труд, но, приученные к разбою и не имея более возможности опустошать плодородные долины Валенсии, Гранады и Андалусии, занялись пиратством. Они строят корабли, вернее, захватывают чужие, и грабят берега, обрушиваясь по ночам на спящие селенья и угоняя жителей в рабство.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

— О благороднейший Пол, вознёсшийся превыше всех прочих полов, нет, даже потолков и кровель обычного жилья, ты удостоил меня чести припасть к тебе устами, — сказал Мойше де ла Крус странно приглушённым голосом, поскольку

не шутил насчёт уст.

Алжирскому паше, а также различным агам и ходжам пришлось податься вперёд и сдвинуть набок тюрбаны, чтобы расслышать его сабир. По крайней мере, так заключил Джек по шуршанию шёлка и волнам благовоний. Видел он, разумеется, лишь несколько дюймов инкрустированного мраморного пола.

Мойше продолжал:

— Хотя ты уже оказал мне несказанную милость, дозволив простереться на тебе ниц, не откажи и ещё в одном: когда туфель великого паши в следующий раз удостоит тебя своим прикосновением, смиренно умоли означенный туфель передать паше следующее… — И Мойше изложил часть рассказа Иеронимо.

Нет надобности говорить, что самого Десампарадо на аудиенцию не взяли. Даппа и Вреж Исфахнян были где-то рядом и тоже прижимались лицом к полу.

Когда Мойше закончил, голос над ними заговорил на турецком, который тут же переводили на сабир:

— Подошва нашего туфеля, скажи полу, что мы прекрасно осведомлены о существовании испанских галеонов и захватили бы их все, имей мы

средства атаковать десятки тяжело вооружённых судов на просторах океана.

Можно было почувствовать, как съёжился турок — хозяин Мойше, Джека и остальных, простёртый рядом с ними в позе, не только приличествующей человеку его ранга, но и предпочтительной для того, у кого кожа на ступнях ещё не успела как следует зажить. Не дослушав перевод, он что-то заблеял по-турецки, однако Вреж Исфахнян решительно его перебил:

— О преславный пол, молю, передай туфелю великого паши, что по сообщению гаванских армян, с которыми я недавно списался, упомянутый вице-король дослуживает свой срок и следующей весною, как позволит погода, отбывает через Атлантику на бриге.

— Трюмы которого, можно смело полагать, будут наполнены не ядрами, а серебряными чушками и прочим неправедным добром, — подхватил Мойше.

— Туфель, — сказал паша, — напомни полу, что корабль вице-короля в окружении испанского флота подобен лакомому куску в разверстых челюстях крокодила.

Мойше набрал в грудь воздуха:

— О пол долготерпеливый и многомилостивый,

за всечасной заботой о том, чтобы ковры великого паши не свалились в погреб, тебе недосуг было интересоваться столь низменной и скучной материей, как долговременные тенденции в изменении подводного рельефа устья Гвадалквивира. Однако у галерника-полукровки из индейских иудеев довольно свободного времени, чтобы размышлять о подобных предметах, посему удели мне ещё чуточку твоего бесценного времени и позволь сообщить, что на выходе Гвадалквивира в Кадисский залив есть подводный песчаный вал. Долгие годы он вынуждал галеоны дожидаться прилива, дабы войти в Гвадалквивир и бросить якорь у Санлукар-де-Баррамеда или Бонанцы либо подняться ещё на пятьдесят миль по реке к Севилье. Города эти издавна служили портом прибытия галеонов, и в Бонанце-то при вступлении в должность нынешний вице-король заложил дворец для приёма того, что добудет разбоем, взятками и казнокрадством. С тех самых пор дворец достраивался и теперь завершён. Однако за это время галеоны стали ещё больше, Аллах же в своей премудрости повелел, чтобы упомянутый вал вырос и приблизился к поверхности. Посему вот уже третий год галеоны оканчивают свой путь не в устье Гвадалквивира, а у Кадиса, в

нескольких милях дальше вдоль побережья.

— Туфель, скажи полу, что теперь мы понимаем: когда на следующее лето испанский флот подойдёт к Кадису, бриг мерзостного вице-короля, да будет трижды проклято его имя, вынужден будет направиться к Бонанце без сопровождения. Однако не забудь напомнить полу, что посылать наши галеры через Кадисский залив в стеснённое песчаными отмелями устье Гвадалквивира столь же опрометчиво, как атаковать галеоны в открытом море.

— О, пол, отполированный до блеска и всё выносящий в своём терпении, столь близкий ко всему святому и столь далёкий от всякой скверны, тебе ни к чему обременять себя обрывками знаний, которые я ношу в голове, например, что если *боевые* галеры Дар аль-Ислама в Кадисском заливе — крайне нежеланные гости, торговые галеры правоверных там не в диковинку. Ибо если первые от носа до кормы наполнены вооружёнными янычарами, на вторых нет почти никого, кроме скованных цепями жалких невольников, и они не внушают гяурам опасений.

— Туфель, потому-то они и бесполезны в качестве оружия нападения.

— Беспорочный пол, потому-то они и смогут

продвигаться меж других судов, не вызывая тревоги, и если галерников в нужный момент расковать, и если они окажутся отчаянной шайкой проштрафившихся янычар, ищущих случая смыть позор кровью, иезуитов-самураев, непобедимых гарпунщиков, бесстрашных кабальеро и так далее, и если один из них самолично знает бриг, на который планируется совершить нападение, то, уверяю тебя, пол, захватить сокровища вице-короля будет не так и сложно.

— И что дальше, туфель? Ибо если мы верно поняли, добыча будет состоять из серебряных чушек, каковые, подобно своим четвероногим собратьям, нечисты и в приличном обществе нежеланны. Монета этого государства, как и всего мира, пиастры.

— Пол, туфли многих путешественников ступали по тебе, и уста многих учёных мужей тебя лобызали; от иных из них ты, возможно, узнал, что хотя серебро для всего мира добывают в Новой Испании, потребность в нём более всего на Востоке. Согласно легенде, всё оно оседает при дворе Великого Могола в Шахджаханабаде и в Запретном Городе Пекина. И подобно тому, как все корабли в море гонит обычный ветер, так и все торговые компании Европы и Оттоманской

империи приводит в движение непрестанный ток серебра в Индию и Китай. Соответственно, менять серебро на товары следует как можно восточнее, минуя посредников. Судно наше, полугалера или галиот, не может обогнуть Африку и достичь Индии, посему самая восточная точка, до которой мы в силах добраться, это Каир.

Последовал долгий разговор на турецком между их хозяином и пашою. Наконец возобновился перевод на сабир:

— Туфель, до нас дошли слухи, будто кучка галерников намерена схватиться с испанцами в устье Гвадалквивира возле Бонанцы — предприятие, самая отчаянность которого наводит на мысль о том, что иезуиты назвали бы *quid pro quo* [12].

— О пол, выше твоего достоинства было бы выслушивать утомительные расчёты, проделанные мной и моим товарищем-армянином, однако в итоге, когда галиот вернётся из Каира, нагруженный кофе и другими сокровищами Востока, прибыли за вычетом различных налогов, пошлин, бакшишей, взяток и магарычей хватит, чтобы выплатить до смешного малый выкуп за

---

[12] Примечания: 12
Услуга за услугу (*лат.*).

десятерых галерников.

— Туфель! В Коране записано, что грешно удерживать заложников, и мы несказанно скорбим, что в силу обстоятельств, не нами созданных, десять тысяч их благоденствует сейчас в наших баньёлах. Таким образом, описанный план не лишён определённых достоинств. Однако человек слаб и нестоек пред искушениями, а христиане, сдаётся, в особенности; что, если невольники, освобождённые от оков, перебьют надсмотрщиков и направят галиот — вместе с серебром — к свободе?

— О, пол, столь жёсткий и хладный, воистину глупо было бы так доверять шайке галерников! Правда, если они направятся на юг, к Гибралтарскому проливу, их настигнут галеры этого славного города, так что расплатой будут пленение и крюк. Если прямо к берегу — их схватят испанцы. Но что, вправе поинтересоваться разумный пол, если они возьмут курс на север, обогнут Пиренейский полуостров и попытаются достичь Франции или Англии? Сие могло бы составлять прискорбное упущение в плане! Однако, благодарение Аллаху, ещё один невольник, прижавший сейчас к тебе губы, узнал в своих злоключениях нечто, о чём сейчас поведает.

Джек, гадавший, что за «крюк» упомянул Мойше, едва не пропустил свою реплику. Однако Даппа ткнул его в бок, и он затараторил заранее вызубренную речь с некоторыми импровизированными добавлениями:

— Взываю даже не к полу, но к грязи в его щели, ибо не вправе обращаться к полу непосредственно, покуда не возвращу себе честь и достоинство янычара. И всё же надеюсь, что некоторые из моих мыслей проникнут в уши какой-нибудь кушетки, или софы, или кто тут принимает решения.

По ходу вступления Даппа несколько раз тыкал его в бок, а Мойше предостерегающе покашливал, мешая разогнаться как следует.

— Я постыдно дал взять себя в плен под Веной и некоторое время скитался по христианскому миру — долгая история, не имеющая внятного начала, середины или конца. О, предивная грязь в трещинках пола, дозволь рассказать, что я проведал, прежде чем окончательно утратить рассудок и докатиться до нынешнего жалкого состояния. Есть во Франции герцог, осквернивший морские просторы множеством военных кораблей, новёхоньких и отлично вооружённых; герцог сей вкушает наинечистейшую пищу, какую толь-

ко можно вообразить, и владеет несколькими снежно-белыми красноокими конями, столь любезными высокородным ценителям. Он отчасти ведом корсарам сего города, а возможно, даже имеет долю в некоторых из здешних галер. Сказанный герцог, если заранее известить его о нашем плане, отправит свой флот в Бискайский залив с приказом следить за побережьем, вдоль которого наш галиот ввиду отсутствия навигационных приборов вынужден будет следовать.

Долгое обсуждение на турецком, затем:

— Туфель, если встретишь грязь на полу, что мы находим крайне маловероятным, учитывая безукоризненную чистоту наших покоев, скажи, что я знаю об этом герцоге. Не такой он человек, чтобы принять участие в плане из чистого бескорыстия.

— Грязь в полу — или, возможно, соринка, которую я занёс на реснице! Без упомянутого герцога нам так и так практически не обойтись, ибо галиоту по пути в Каир потребуется эскорт для защиты от пиратов Сардинии, Сицилии, Мальты, Калабрии и Родоса. Грозная армада сего преславного города занята другими делами, французский же флот всё равно бороздит эти воды, сопровождая купеческие галеры из Марселя в Смирну и

Александрию…

Однако тут паша, очевидно, решил, что выслушал вполне достаточно: он хлопнул в ладоши и что-то сказал по-турецки. Невольников и хозяина немедленно выставили из аудиенц-залы в восьмиугольный двор касбы. Джек думал, что это провал, пока не увидел улыбку на лице хозяина, несомого в паланкине двумя рабами-нубийцами.

Джек, Даппа, Вреж и Мойше побрели через ворота в город и остановились под огромными железными крюками, торчащими из стены ярдах в двух ниже парапета. На некоторых были насажены огромные бесформенные куски чего-то непонятного, остальные были пусты. Над одним из крюков сидел на парапете человек, окружённый группой янычар.

— Что сказал паша под конец? — спросил Джек у Даппы.

— Если сильно сократить, он сказал: «Приступайте».

Даппа, будучи гребцом на турецких галерах, в совершенстве выучил язык, потому его и взяли на аудиенцию.

Лицо Мойше де ла Круса приняло торжественное выражение, как будто он творит молитву.

— Тогда с наступлением лета мы отплываем

к Бонанце.

Над ними янычары внезапно столкнули сидящего человека со стены. Он немного пролетел, набирая скорость, и напоролся на крюк. Человек заорал и задёргался, но соскочить не мог — крюк вошёл ему глубоко во внутренности. Янычары развернулись и пошли прочь.

Однако не только этот эпизод смущал Джека по пути в нижний город. Паша несколько раз долго говорил по-турецки. А сейчас Даппа бросал на Джека такие особенные взгляды, какими, бывало, награждали его люди вроде Элизы или сэра Уинстона Черчилля. Как правило, они не сулили ничего доброго.

— Ладно, — сказал наконец Джек. — Выкладывай.

Даппа пожал плечами:

— По большей части паша обсуждал со своими советниками вопросы практические: не «делать ли», а «как делать».

— Приятно слышать. А теперь объясни, почему ты нехорошо на меня косишься.

— Когда ты помянул окаянного герцога, паша сразу понял, о ком речь, и мимоходом заметил, что этот самый герцог с недавних пор одолевает его просьбами узнать о местонахождении некое-

го Али Зайбака — беглого англичанина.

— Имечко не английское.

— Это иносказательная отсылка к персонажу «Тысячи и одной ночи», прославленному каирскому вору. Снова и снова стража пыталась его схватить, но он всякий раз ускользал, точно капелька ртути, когда хочешь прижать её пальцем. «Зайбак» по-арабски «ртуть», вот вора и прозвали Али Зайбак.

— Занятная сказочка. Однако от Каира до Англии далеко.

— Сейчас ты прикидываешься дурачком, Джек, что в некоторых юридических системах равносильно письменному признанию.

Даппа поднял глаза к стене, где корчился на крюке человек.

— Может быть, насчёт Джека ты и прав, но я искренне ничего не понимаю, — сказал Мойше.

— В Париже о Джеке шла слава, — вставил Вреж Исфахнян. — Некий герцог невзлюбил его с тех пор, как Джек испортил праздник, удавил одного из гостей, отрубил руку герцогскому сыну и устроил цирк перед Королём-Солнце.

— Может быть, этот герцог узнал о Джековых несчастьях на море и стал наводить справки, — предположил Даппа.

— Что ж, я как бывший янычар, оправляющийся после тяжёлой головной травмы, слыхом про такое не слыхивал, — сказал Джек, — однако если это поможет делу, пустите слух, что местонахождение Али Зайбака удастся выяснить — если только герцог д'Аркашон согласится участвовать в нашем плане.

Книга 5
Альянс

Дворец Жювизи
10 декабря 1689

После того как кардинал Ришелье распознал, а Людовик XIII вознаградил дарования мсье Антуана Россиньоля, тот выстроил себе небольшой дворец. Позже он пригласил самого Ленотра разбить вокруг сад. Поместье находилось в Жювизи, под Парижем, где король тогда держал двор.

Когда сын Людовика XIII перевёл двор в Версаль, сын Антуана Россиньоля, унаследовавший его дворец, познания в криптоанализе и должность, внезапно очутился в глуши. Переместился не он, а центр власти; Жювизи стал чем-то вроде отдалённой заставы. Другой продал бы дворец за бесценок и выстроил новый поближе к Версалю. Бонавантюр Россиньоль не тронулся с места. Ему не надо было постоянно торчать при дворе. Удалённость и связанные с нею тишина и покой только способствовали работе. Король, очевидно, одобрил решение младшего Россиньоля и время от времени навещал его в Жювизи. Крохотный уединённый дворец, окружённый регулярным парком и высокой стеной, казался Элизе идеаль-

ным маленьким королевством тайн, в котором Бонбон — король, а она сама — королева или по крайней мере фаворитка.

Парк был совсем в ином стиле, чем Ленотр выбрал для Версаля, гораздо миниатюрней, с меньшим количеством статуй. Однако, как и королевские сады, он великолепно смотрелся из верхних окон дворца, откуда и глядела сейчас Элиза. Спальня Бонбона располагалась на последнем этаже, в центре здания, так что когда Элиза вылезла из постели, сделала три шага по холодному полу и посмотрела через окно вниз, ей предстала дорожка, образующая ось парка. Разумеется, листва давно завяла и почернела, но завитки партеров по-прежнему манили взгляд. Во всяком случае, Элизе было на что смотреть, отвечая на вопрос Бонбона.

По сути он хотел знать, какого чёрта она здесь. Почему-то вопрос слегка её раздосадовал.

Элиза приехала вчера вечером, грязная и вымотанная, с единственной мыслью — уложить Жан-Жака, потом рухнуть самой и проспать несколько десятилетий. Вместо этого она полночи предавалась страсти с Бонбоном и тем не менее чувствовала себя гораздо более отдохнувшей, чем если бы проспала всё это время мёртвым

сном. А может, то, что она до вчерашнего вечера считала усталостью, было чем-то совсем другим.

Ему достало учтивости не спрашивать, что происходит. Он благородно и даже с юмором воспринял появление Элизы и её домочадцев у своих ворот. Это пришлось ей по душе, как и то, что произошло позже. Однако теперь, когда солнце встало, а любовный голод был утолён, наступило время тягостных объяснений. Некоторые части мозга предстояло разбудить, а Элизе это не улыбалось. Она смотрела на мёртвый парк, скользя взглядом по извивам партеров, и старалась побороть раздражение.

— В письме вы упомянули, что собираетесь посетить Лион, — напомнил Россиньоль. — Это было шесть недель назад.

— Да, — сказала Элиза. — Дорога в Лион заняла десять дней.

— Десять дней?! Вы шли пешком?

— Одна я добралась бы скорее, но со мной был пятимесячный младенец. Караван состоял из двух карет, грузовой телеги, а также конных сопровождающих, которых одолжили мне лейтенант Бар и маркиз д'Озуар.

Россиньоль поморщился.

— Громоздко.

— Труднее всего, как ты знаешь, первые двадцать миль.

— Дюнкерк практически не сообщается с остальной Францией, — признал Россиньоль.

— Ты бывал в Лионе?

— Проездом по дороге в Марсель.

— И он показался тебе унылым и скучным в сравнении с Парижем?

— Мадемуазель, он показался мне унылым и скучным даже в сравнении с Гаагой!

Элиза не рассмеялась над остротой, только на мгновение отвернулась от окна и взглянула на Россиньоля. Он сидел, опершись спиной о гору подушек, голый по пояс на пронизывающем сквозняке. Этот человек жёг пищу, как кокс, не толстея, и, кажется, никогда не мёрз.

— Просто у тебя нет вкуса к коммерции. Я нашла Лион в высшей степени занимательным.

— Ах да. Знаю. Великий перекрёсток дорог, где средиземноморский торговый путь встречается с северным. Звучит и впрямь занимательно. А приедешь и видишь одни склады, шёлковые мануфактуры да пустыри.

— Конечно, Лион скучен, если смотреть на него такими глазами, — сказала Элиза. — Интересно принимать участие в том, что творится в этих

скучных складах.

Взгляд Россиньоля невольно устремился к бумагам, разложенным на туалетном столике. Криптоаналитик уже жалел, что начал разговор, и надеялся, что Элизин рассказ не затянется надолго.

Элиза подошла к столику и смахнула бумаги на пол. Потом встала коленом на кровать и, добравшись до Россиньоля, крепко уселась на него верхом.

— Ты задал вопрос, и у меня есть ответ, который ты выслушаешь и, более того, когда я закончу, скажешь, что тебе было интересно.

— Я весь внимание, мадемуазель.

— Лион… Наверное, лет двести назад там устраивали большие сельские ярмарки. Как ты знаешь, его основали флорентийцы в надежде разбогатеть на торговле с дикой северной страной — Францией. Ярмарки по-прежнему устраивают четыре раза в год, но ничего сельского в Лионе нет. Скорее он похож на Лейпциг.

— Мне это ничего не говорит.

— Люди стоят во дворах торговых домов и орут друг на друга, покупая и продавая товары, которых реально там нет.

— А склады?..

— Глупенький, товаров нет в *торговых домах*. Однако они должны быть не особенно далеко, ведь их надо проверить до и забрать после сделки. Основное движение на улицах создают торговцы, направляющиеся на тот или иной склад осмотреть партию шёлка, селёдки, инжира или чего там ещё.

— Теперь я уяснил, что́ в этом городе кажется дворянину таким непонятным.

— Не подумаешь, что в Лионе заключается больше сделок, чем даже в Париже. С улицы город кажется вымершим. Здесь можно умереть от одиночества или от голода. Только попав в дома, ты узнаёшь его внутреннюю жизнь. Бонбон, все эти люди, приехавшие в Лион торговать, создали за окованными железом дверьми и ставнями микрокосмы оставленных позади Генуи, Антверпена, Брюгге, Женевы, Исфахана, Аугсбурга, Стокгольма, Неаполя или откуда там они родом. Когда ты в таком доме, ты словно в одном из этих городов. Так что думай о Лионе как о столице мировой торговли. Улицы вокруг Меняльной площади — дипломатический квартал, где евреи, армяне, голландцы, англичане, генуэзцы и другие великие торговые нации учредили свои посольства, — островки чужой земли в далёком краю.

— И что же вы там делали, мадемуазель?

— Закупала лес для маркиза д'Озуара. Мне требовалась помощь знающих людей. Через неделю ко мне присоединились мои голландские знакомцы, Самуил и Авраам де ла Вега, а также их двоюродный брат. Я написала им из Дюнкерка, зная, что они в Лондоне. Письмо нагнало их в Грейвзенде. Они поменяли планы и направились прямиком в Дюнкерк, куда добрались через пять дней после моего отъезда. По дороге они прихватили в Париже двоюродного брата, некоего Якоба Голда, и, приехав в Лион, обосновались в доме своего знакомого, который торгует воском из Речи Посполитой.

— Теперь я понимаю, почему поездка заняла шесть недель. Десять дней, чтобы доползти до Лиона, неделя, чтобы дождаться всех этих евреев…

— Задержка меня не огорчила. Ровно столько потребовалось мне и моим домашним, чтобы отдохнуть с дороги и обжиться на новом месте. Спасибо маркизу д'Озуару — он написал какому-то своему лионскому протеже, и тот разместил нас у себя. Как только мы устроились, я начала заводить знакомства на Меняльной площади. Я знала, что братья де ла Вега тщательно изучат рынок и найдут лучший лес на лучших услови-

ях. Однако, чтобы их усилия не пропали втуне, следовало договориться о выписке векселей и переводе условленных сумм из королевской казны продавцу. Также надо было решить вопросы доставки, страховки и тому подобного. Так что даже если бы де ла Вега прибыли одновременно со мной, им бы несколько дней нечего было делать. А необходимость кормить Жан-Жака создавала множество нелепейших осложнений.

Напрасно она это сказала: взгляд Россиньоля немедленно переместился с её лица на левую грудь. Вставая с кровати, Элиза завернулась в простыню, но пока боролась с Россиньолем, ткань соскользнула.

— Де ла Вега пригласили меня в восковой амбар, в котором остановились.

Россиньоль фыркнул и закатил глаза.

— До приезда в Лион приглашение бы меня удивило, но место оказалось чудесное. Дом стоит в лугах над Роной в восточной части торговых кварталов. Земли более чем достаточно, и часть её отдали под виноградник. Зимой он не так хорош, как летом, зато погода стояла прекрасная, мы сидели на увитой лозами террасе каменного дома, полного воском, и пили русский чай с литовским мёдом. Дочери воскового магната играли

с Жан-Жаком и пели ему колыбельные на идиш. В разговоре с братьями де ла Вега я заметила, что Лион показался мне очень странным.

— Я бы сказал вам то же самое, мадемуазель, — заметил Россиньоль.

— Мы с тобою находим его странным по разным причинам, Бонбон, — возразила Элиза. — Подожди, дай мне объяснить.

— А что твои евреи? Они как думали?

— Думали так же, но держали свои мысли при себе. Моей задачей, Бонбон, было их разговорить.

— И поддались ли евреи на вашу игру, мадемуазель? — спросил Россиньоль.

— Ты совершенно несносен! — воскликнула Элиза.

Двадцатичетырёхлетний Самуил де ла Вега был здесь старшим — патриархи клана занимались делами поважнее. Он пожал плечами и сказал:

— Мы здесь, чтобы учиться. Прошу, говорите дальше.

— Я думала, вы здесь, чтобы делать деньги, — заметила Элиза.

— Это, как всегда, конечная цель. Заработаем ли мы на истории с лесом, ещё предстоит увидеть; но мы слышали о Лионе и хотели бы знать

о его странностях.

Элиза рассмеялась.

— Зачем мне говорить больше, если вы сказали достаточно? Вы не уверены, что сможете заработать, о Лионе знаете понаслышке, что отнюдь не говорит о его значимости, и относитесь к нему, как к чему-то диковинному. Стали бы вы отзываться так об Антверпене?

— Позвольте объяснить, — сказал Самуил. — В нашей семье мы не считаем прибыль полученной — не заносим её в учётные книги, пока не получим переводные векселя, подлежащие оплате в Амстердаме или (теперь) в Лондоне, выписанные на банкирский дом, имеющий надёжное представительство в каком-нибудь из этих городов либо в них обоих.

— Короче — живые деньги.

— Если хотите. Так вот, Якоб Голд по дороге объяснил нам, как устроена система в Лионе.

Якоб Голд так смутился, что Элиза сочла своим долгом подбодрить его шуткой.

— Если бы только я вас подслушала! — воскликнула она. — Только вчера за обедом в доме мсье Кастана мне объясняли эту же самую систему — да в таких восторженных выражениях, что я спросила, почему она не применяется повсе-

местно.

Слушатели заулыбались.

— И что ответил мсье Кастан? — спросил Якоб Голд.

— Что в других местах люди недоверчивы и не так хорошо знакомы между собой, как в Лионе, не создали такой же сети давних, проверенных отношений. Что они одержимы мелочной, буквальной страстью к деньгам и не верят, что сделка совершена, пока реальные монеты не перейдут из рук в руки.

На лицах собеседников проступило облегчение — они поняли, что не придётся огорошивать Элизу этой новостью.

— Так вы знаете, что в Лионе все расчёты производятся через книги. Человек сидит за конторкой, пишет: «Синьор Каппони должен мне десять тысяч экю с солнцем» — к слову, это платёжное средство имеет хождение лишь в Лионе — и считает, что ссыпал монеты к себе в сундук. На следующей ярмарке у него возникает необходимость перечислить синьору Каппони пятнадцать тысяч экю. Он вычёркивает строку в книге, а синьор Каппони записывает у себя, что этот малый должен ему пять тысяч экю, и так далее.

— Но должны же какие-то деньги переходить из

рук в руки! — воскликнул четырнадцатилетний Авраам, у которого такая дикость не укладывалась в голове.

— Да, очень немного, — сказал Яков Голд, — причём лишь после того, как исчерпаны все способы рассчитаться на бумаге путём многосторонних трансферов между разными банковскими домами.

— А не проще ли рассчитываться деньгами? — упорствовал Авраам.

— Возможно — если бы у них были деньги! — Элиза сказала это в шутку, но слушатели на мгновение застыли.

— Почему у них нет денег? — спросил Авраам.

— Разные люди отвечают по-разному. Большинство — что деньги не нужны, потому что система работает идеально. Другие объясняют, что звонкую монету, как только она появляется, вывозят в Женеву.

— Зачем?

— В Женеве есть банк, который в обмен на звонкую монету выпишет вам переводной вексель, подлежащий оплате в Амстердаме.

Глаза у Авраама сверкнули.

— Так мы не одни гадаем, как обратить в деньги полученную в Лионе прибыль!

— Ещё бы! Этот вопрос заботит всех иностранных коммерсантов в Лионе, не готовых поверить, будто запись в книге ничем не хуже чистогана, — сказал Самуил.

— Да кто ж вообще в такое поверит? — спросил Авраам.

Якоб Голд ответил:

— Тот, кто здесь давно и кого эта система исправно кормит.

Элиза сказала:

— Она работает лишь потому, что эти люди прекрасно друг друга знают. Их такое устраивает. Мы, чужаки, не можем войти в Депозит, как зовётся здешняя система расчётов.

Яков Голд добавил:

— Она устраивает тех, у кого здесь дома, земли, слуги. Они проворачивают огромные сделки и живут, ни о чём не заботясь. Недостаток денег сказывается, только когда возникает потребность извлечь капитал и переехать в другое место. Однако, если такая потребность у вас возникла…

— Значит, вы не живёте в Лионе и не входите в Депозит, — подхватила Элиза.

— Мы можем кружить на месте весь день, как уроборос, — сказал Самуил, хлопая в ладоши, — но факт в том, что мы здесь и хотим закупить

лес для короля. У нас нет денег, зато есть кредит у мсье Кастана, у которого, в свою очередь, есть кредит, потому что он живёт здесь и входит в Депозит.

— Спасибо, Самуил, — проговорила Элиза. — Вы правы: мсье Кастану верят. Если другой член Депозита запишет в книге: «Мсье Кастан должен мне столько-то экю», для него это всё равно что золото. А нам нужно обратить «золото» в поставку леса в Нант.

— Благодаря господину Вахсманну, — сказал Яков Голд, имея в виду хозяина дома, — мы в основном представляем, куда идти и кого спрашивать о потенциальных продавцах леса; но как перевести им деньги из королевской казны?

— Нужен член Депозита, готовый записать в своей книге, что король должен ему эти деньги, — сказала Элиза.

— Однако деньги не попадут в руки того, кто продаёт нам лес, если только он не входит в Депозит, а я не думаю, что лесорубов туда принимают, — подытожил Самуил.

— А мы не получаем прибыли, — напомнил бдительный Авраам.

Элиза ущипнула его за нос, чтобы помолчал, и сказала:

— Верно, однако воск, шёлк и другие товары продаются здесь в огромных количествах, так что должны существовать какие-то ходы. И кому-то удаётся получить прибыль в звонкой монете, раз её тайком вывозят в Женеву.

Призвали господина Вахсманна — уроженца Померании, плотного, седого, лет шестидесяти с лишком. Собравшиеся изложили ему свои затруднения и спросили, как же он продаёт товар, если не входит в Депозит. Вахсманн ответил, что имеет договорённость с крупным лионским дельцом, у которого держит текущий счёт. Когда баланс этого счёта положительный, господин Вахсманн может приобрести, что ему нужно. То же самое, заверил он гостей, должно относиться к любому серьёзному лесоторговцу.

— План начинает вырисовываться, — сказал Самуил. — Мы находим лесоторговца, уславливаемся о цене в экю с солнцем, не заботясь о том, что это чисто воображаемая валюта, потом передаём дело участникам Депозита, и пусть они проводят взаиморасчёты по книгам. Мы получаем лес. Но как нам при этом извлечь прибыль?

Господин Вахсманн пожал плечами, будто не задумывается о таких пустяках; однако по обстановке дома было видно, что доходы он получает,

и немалые.

— Если хотите, можете перевести прибыль на мой счёт, мы вложим её в последующие операции с Депозитом, и со временем она обратится во что-нибудь материальное, скажем, в бочонки с мёдом, которые вы сможете продать за золото в Амстердаме.

— Вот так люди приезжают в Лион и остаются здесь навсегда, — пробормотал Яков Голд, соединив в одной реплике сомнения амстердамца в разумности лионской системы с презрением парижанина к провинции.

Господин Вахсманн снова пожал плечами и обвёл взглядом свои хоромы.

— Бывает и хуже. Знаете, какая погода в Штеттине в это время года?

— Что, если получить прибыль в звонкой монете и обменять её в Женеве на переводные векселя? — спросил Авраам. — Куда быстрее, да и легче доставить в Амстердам, чем бочонки с мёдом.

— Металлических денег очень мало, а спрос на них очень велик, так что вам придётся уступить большой процент, — предупредил Вахсманн. — Если вас это не останавливает, то такими операциями занимается дом Хакльгеберов. Их

представительство под вывеской Золотого Меркурия, наискосок через Меняльную площадь.

— Знакомая фамилия, — проговорила Элиза. — Я была в их лейпцигской фактории, и сам Лотар на меня пялился.

— Никогда о таком не слышал, — заметил Самуил, — но если на вас пялился, значит, не совсем дурак.

— Он занимается драгоценными металлами, — сказал Якоб Голд, — вот всё, что я о нём знаю.

— Когда здешние генуэзцы разорились, — начал господин Вахсманн, — это случилось потому, что испанские рудники затопили Севилью серебром. Женевские банкиры приехали в Лион, дабы заполнить пустоту, оставшуюся после генуэзцев. Банкиры эти были связаны с серебряными рудниками в Гарце и Рудных горах, процветавшими некоторое время, пока на рынок вновь не хлынуло испанское серебро. В общем, у одного из женевских семейств было представительство в Лейпциге. Те, кого отправили им руководить, породнились с семейством фон Хакльгеберов. Сами Хакльгеберы издавна связаны с Фуггерами. Говорят, что их род восходит ко дням римлян.

Авраам фыркнул.

— А наш — ко дням Адама.

— Да, но они чрезвычайно этим гордятся, — заметил господин Вахсманн. — И, кстати, теперь, когда ты справил бар-мицву, тебе стоит меньше корпеть над Торой и больше учиться светскому лоску. Так или иначе, судьба благоволила лейпцигской ветви, и вскоре хакльгеберовский хвост уже вилял женевской собакой. Дом этот невелик, но Хакльгеберы слывут очень ушлыми. Их представительства есть в Лионе, Кадисе, Пьяченце — везде, где перемещается большое количество денег.

— И что они делают? — полюбопытствовал Авраам.

— Ссужают в долг, совершают операции с деньгами, как остальные банки. Однако специализируются они на манёврах вроде того, о котором мы говорим: доставка драгоценных металлов в Женеву. Помните, я предупреждал, что вы потеряете большой процент на переводе прибыли в звонкую монету? Вы могли бы задуматься, куда деваются недостающие деньги. Ответ: они оседают в сундуках Лотара фон Хакльгебера.

Господин Вахсманн встал и раза два прошёлся по террасе, прежде чем продолжить:

— Я торгую воском. Я знаю, откуда он берётся и где на него есть покупатели, сколько воска того

или иного сорта требуется в разное время года в разных местах. Я бы сказал, что вот так же Лотар фон Хакльгебер разбирается в деньгах.

— Вы имеете в виду золото? Серебро?

— Что угодно. Металл в чушках, слитках, чеканную монету, ценные бумаги, расчётные деньги, такие как экю с солнцем. Для меня деньги воистину загадочны, для него — просты, как воск. Подобно сотам в кипятке, они сплавляются и смешиваются в одно.

— Тогда мы отправимся к его здешнему представителю, — сказала Элиза.

— Хорошо, — подхватил Самуил де ла Вега, — но я вам скажу: будь у них здесь простые монеты, мы бы провернули всё дело за час. Не стану отрицать, система работает, но этот ваш Депозит напомнил мне альпийские деревушки, где все из поколения в поколение женятся на близких родственницах.

— На следующий день, — продолжала Элиза, — я встретилась с Герхардом Манном, представителем Хакльгеберов в Лионе.

Она выпустила мошонку Бонавантюра Россиньоля. В последние полчаса ей лишь таким способом удавалось поддерживать его внимание по ходу рассказа про экю с солнцем, Депозит и тому подобное. Однако при имени «Хакльгебер»

Бонбон встрепенулся.

— Лотар фон Хакльгебер не из тех, кто потерпит, чтобы его служащие шлялись днём по кофейням, — сказала Элиза.

— Это точно!

— Он устроил так, чтобы у Манна работы было выше головы. Бедняга разрывается на части. Целыми днями носится по городу верхом. Кареты для него слишком медленны. Условиться о встрече с ним почти невозможно. Мы обменялись полудюжиной записок. В конце концов я выбрала самое простое: осталась дома и стала ждать, когда он сам ко мне заглянет. Естественно, он прискакал, когда я как раз начинала кормить Жан-Жака. Вместо того чтобы отослать Манна, я пригласила его в дом, и он сидел напротив, пока Жан-Жак висел на моей титьке.

— Возмутительно!

— Я его испытывала. Проверяла, возмутится ли он.

— И что?

— Он делал вид, будто ничего не замечает, хотя это было трудно.

Россиньоля передёрнуло.

— О чём вы говорили?

— Мы говорили о Лотаре фон Хакльгебере.

— Вы встречались в Лейпциге с *Самим*? — переспросил Манн.

— Разговор шёл о добыче серебра в Гарце, — сказала Элиза, — в которой он со свойственной ему проницательностью решил не участвовать.

Элиза объяснила, чего они хотят. Манн на несколько мгновений задумался. На лице его проступила озабоченность, даже испуг. Элиза подумала, что он не хочет браться за их дело, но и отказать не смеет: боится, как бы она не пожаловалась *самому*. Представитель Хакльгеберов в Лионе был молод — необходимое условие, чтобы долго работать в таком бешеном темпе. Его явно отправили сюда в качестве проверки: справится или нет и можно ли поручать ему что-нибудь более ответственное. У Герхарда Манна были голубые, близко посаженные глаза и высокий лоб, такой выразительный, что в его складках Элиза могла читать чувства собеседника, словно в сонетах на бумаге. Умом молодого немца Бог не обидел, но не наделил решительностью. Элиза догадывалась, что рано или поздно его обойдёт человек с более сильным характером, и Герхард Манн будет до скончания дней сидеть за конторкой на верхнем этаже в лейпцигском Доме Золотого Меркурия, наблюдая за гостиным

двором в зеркало на палке.

Поразмыслив, Манн успокоился и принялся подбирать слова на разных языках.

— Это будет… — начал он и перешёл на немецкий; Элиза разобрала корень «зондер», который у немцев означает «специальный», «особенный», «чрезвычайный». С его помощью Манн вежливо давал понять, что такая сумма не стоит его времени.

— Однако нам рекомендуют заключать подобные сделки. Порою это первая струйка, сочащаяся через трещинку в плотине; важна не сама вода, а русло, которое она пробивает и в которое может хлынуть значительный поток.

Тирада означала, что он знает о связях Элизы с французским правительством и хотел бы участвовать в её делах, особенно теперь, когда в связи с войной государственные траты возросли.

— Ваше сравнение не понравилось бы голландцам, — сказала Элиза, имея в виду своих компаньонов де ла Вега.

— Если бы вы заботились о благе голландцев, то не взялись бы за эту сделку, — напомнил Герхард Манн.

— Итак, Герхард Манн изыскал способ повернуть дело так, чтобы не оставить поводов для

неудовольствия ни мне, ни *самому,* — сказала Элиза.

Устав сидеть на Россиньоле, она отодвинулась назад и устроилась по-турецки между его раздвинутыми коленями.

— Я сообщила де ла Вега, что мы сумеем получить прибыль чистоганом, — продолжала она. — За несколько часов они обошли всех крупных торговцев лесом и заключили две сделки: одну на поставку партии дубовых брёвен из Центрального массива, сложенных на берегу Соны ми́лей выше по течению, другую — на партию альпийской сосны, ожидающей на слиянии Роны и Соны. Если хочешь, Бонбон, я посвящу час-другой описанию торга между нами, двумя лесопромышленниками, мсье Кастаном, различными членами Депозита, Герхардом Манном и некоторыми страховщиками и перевозчиками.

Россиньоль что-то пробормотал про *belle dame sans merci* [13].

— Отлично, — продолжала Элиза, — тогда довольно будет сказать, что в неких книгах появились некие записи. Быстрый экипаж отправился в Женеву, до которой семьдесят пять миль

---

[13] Примечания: 13
Прекрасная дама, лишённая милосердия (*фр.*).

по прямой, но куда больше по дороге, которой ездят кареты. Авраам получил свой переводной вексель, хотя прибыль едва покрывала издержки и потраченное братьями время. Лес был наш.

Тогда — в середине ноября — мы полагали, будто дело сделано. Мы получили лес и условились о доставке. Амстердамец считал бы, что сделка осуществилась. Для этих людей нет ничего привычнее, чем отправить любое количество товара в Нагасаки, Нью-Йорк или Батавию одним росчерком пера.

Нам, как и брёвнам, предстоял путь на север: Якобу Голду — в Париж, остальным — в Дюнкерк, откуда де ла Вега должны были отплыть в Амстердам.

Мне быстрее всего было бы сесть в карету, одолженную маркизом д'Озуаром, и ехать по дороге. Однако де ла Вега в ней бы не поместились. Холодало. Мы никуда особенно не спешили. Поэтому я отослала лошадей и кареты в Орлеан, поручив кучерам нанять там экипаж для де ла Вега.

Сами же мы собирались добраться дотуда по

реке[14]. План предполагал, что в Роанне мы отыщем речное судно, на котором доберёмся до Орлеана с куда бóльшими удобствами, чем по дороге, а уже из Орлеана экипажами в Париж и затем в Дюнкерк.

Луара, как ты знаешь, течёт мимо Орлеана в Нант, поэтому брёвна предстояло сплавлять так же. Описанный план имел ещё одно преимущество: по дороге мы могли приглядывать за королевским лесом и улаживать любые маловероятные затруднения, буде такие возникнут.

— По вашим словам, мадемуазель, это было почти месяц назад, — вставил Россиньоль. — Что вы делали оставшееся время?

— Полный рассказ занял бы ещё месяц. Ты знаешь, что каждая французская провинция контролирует свой отрезок реки или дороги и вправе взимать сборы, пошлины и тому подобное. Точно так же ты знаешь, что население — лоскутное одеяло гильдий, приходов и корпораций, и все они обладают своими особыми привилегиями.

---

[14] Примечания: 14

В той части Франции, о которой говорила Элиза, Сона и Луара текут параллельно на расстоянии примерно пятьдесят миль, но в разных направлениях. Сона — на юг до слияния с Роной и далее к Марселю. Луара — на север к Орлеану, далее на запад к Атлантическому океану. В нескольких милях севернее Лиона между реками расположен волок — дорога, вернее, целое сплетение дорог, ведущих через перевал к Роанну, лежащему в верховьях Луары.

— Которые дарует король, — вставил Россиньоль, тревожась, что сейчас Элиза скажет нечто крамольное.

Именно это она и собиралась сделать, но здесь, в королевстве тайн, не боялась говорить открыто.

— Король дарует привилегии, чтобы люди вступали в гильдии и корпорации! И получает дополнительную власть, обещая расширить или угрожая сузить эти привилегии!

— И что с того? — фыркнул Россиньоль.

— Через несколько дней Авраам пошутил, что в такое путешествие нельзя пускаться без сопровождения целой когорты юристов. Однако и этого мало! У каждой провинции свои собственные законы и традиции, ни один юрист не понимает их все, так что по-настоящему надо бы останавливаться каждые несколько миль и нанимать нового. Однако до сих пор я говорила о *законных* способах препятствовать сплаву брёвен. Они составляли лишь половину наших трудностей. На реке есть люди, которые раньше были пиратами, а теперь занимаются вымогательством. Мы откупались звонкой монетой, пока она не кончилась, после чего пришлось платить брёвнами. Каждую ночь другие, менее организованные поселяне выходили на поживу. Мы подозревали, что так

будет, однако нанятые нами ночные сторожа мало отличались от воров. Единственным надёжным дозорным оказался Жан-Жак. По ночам он будил меня каждые два часа, и я, кормя его, смотрела в окно каюты, как местные жители таскают наши брёвна.

— Не может быть, чтобы во Франции творились такие безобразия! — воскликнул Россиньоль.

— Да, существуют механизмы поддержания порядка на дорогах и водных путях: различные древние суды, прево и бальи, подчинённые местным сеньорам. У них якобы есть вооружённые отряды, но когда они нужны, их не сыскать. Если бы я каждую неделю сплавляла лес по реке, мне волей-неволей пришлось бы договариваться со всеми владетельными господами. Не знаю, было бы это дешевле или накладнее, чем прямой грабёж. Наш сплав по Луаре застал врасплох многих, кто украл бы больше, двигайся мы по чёткому расписанию.

Луара, особенно в верхнем течении, изобилует песчаными мелями, и каждую следует преодолевать по-своему: иногда найти и нанять местного лоцмана, иногда заплатить мельнику, чтобы тот спустил запруду и вода пронесла брёвна через мель.

Я могла бы продолжать в том же духе весь день, но воздержусь. Довольно сказать, что, добравшись до Орлеана на десять дней позже намеченного, мы с Якобом Голдом рванули в Париж и разменяли вексель по цене много ниже номинала. Якоб вернулся в Орлеан с деньгами, которыми покрыл возникшие по дороге непредвиденные расходы. Я приехала сюда. Скоро я увижу этого ублюдка маркиза д'Озуара, втравившего меня в бессмысленную аферу, и объясню, что половина брёвен улетучилась вместе со всей прибылью и шестью неделями нашей жизни.

Дюнкеркская резиденция д’Озуаров
13 декабря 1689

Если Бонавантюр Россиньоль, слушая рассказ про лес, колебался между скукой и недоверием, то маркиз д’Озуар веселился от души. Поначалу Элиза была просто в бешенстве, когда же маркиз начал посмеиваться, поняла, что сейчас кого-нибудь убьёт, поэтому вышла из комнаты и некоторое время занималась Жан-Жаком. Малыш радовался невесть чему, хватал себя за ножки и пускал пузыри. У Элизы полегчало на сердце. Жан-Жак не думал ни о чём за пределами комнаты, ни в прошлом, ни в будущем. Когда Элиза вернулась в гостиную, она уже полностью восстановила самообладание и даже начала видеть комическую сторону в безумной истории с брёвнами.

— Зачем вы втравили меня в эту аферу, мсье? Вам же наверняка было известно, чем всё кончится?

— Все, кто с этим связан, знают — по крайней мере, по их словам, — что невозможно доставить французский лес на французскую верфь. А по-

скольку все знают, никто и не пытается. А коли никто не пытается, как проверить, по-прежнему ли это невозможно? Поэтому каждые несколько лет я прошу предприимчивого человека, не знающего, что это бесполезно, закупить лес. Я не в обиде, что вы на меня сердитесь. Однако если бы вы преуспели, то сделали бы великое дело. А в ходе неудачной попытки вы узнали многое из того, что потребуется на следующем этапе нашего проекта — уверяю вас, отнюдь не безнадёжного.

Маркиз встал и подошёл к окну, движением плеча предлагая Элизе последовать за ним. Давно минула пора, когда отсюда можно было увидеть синее небо над Англией; сегодня они еле-еле различали дамбу в заливе. Дождь стучал по подоконнику, как дробь.

— Признаюсь, сейчас это место выглядит для меня несколько иначе, и не только из-за погоды, — сказала Элиза. — Внимание привлекает многое из того, что я не замечала прежде. Лес на верфи — как он сюда попал? Новые укрепления — как король за них заплатил? Рабочим надо платить звонкой монетой, они не возьмут переводной вексель.

Маркиз нетерпеливо прищёлкнул пальцами, досадуя, что Элиза отвлеклась на разговор об

укреплениях.

— Ничего сложного. Как вам прекрасно известно, у знати накоплено много драгоценного металла. Король вызывает знатного господина в Версаль и проводит с ним небольшую беседу: «Почему ваше побережье недостаточно укреплено? Вы пренебрегаете своими обязанностями». Тому ничего не остаётся, кроме как потратить часть своего металла и выстроить форт. В обмен он получает благодарность короля, приглашение на обед или право подать его величеству рубашку за утренним туалетом.

— И *всё?*

Маркиз улыбнулся.

— И расписку генерального контролёра финансов, что французская казна должна такому-то потраченную сумму.

— Вот, значит, как! Знать меняет чистоган на ценные бумаги — долговые обязательства французского казначейства.

— Технически, наверное, да. Такой обмен означает потерю власти и независимости. Золото можно потратить где угодно на что угодно. Бумага имеет некую номинальную ценность, однако полезность её определяется сотней факторов, бóльшую часть которых можно понять, только

живя в Версале. Однако всё это чепуха.

— Как чепуха?

— Эти долги ничего не стоят. Их никогда не вернут.

– Никогда?!

— Возможно, я преувеличиваю. Давайте сформулирую так: вельможа, построивший новые укрепления в заливе, знает, что может не получить свои деньги назад. Однако он не печалится, потому что это были всего лишь золотые блюда в его подвалах. Теперь блюд нет, зато в Версале он получил валюту иного рода, которую ценит выше.

— Хотела бы я разделить ваш скепсис, ибо не желаю казаться глупой, — медленно проговорила Элиза, — но если долг обеспечен документом с печатью генерального контролёра финансов, мне кажется, он должен иметь хоть какую-то ценность.

— Я не хочу говорить об укреплениях, — сказал маркиз. — Их построил граф д'***, — Он назвал фамилию, которую Элиза ни разу не слышала. — Если вам интересно, расспросите его. А нам с вами не следует отвлекаться от насущного дела: леса для верфей его величества.

— Отлично. Я вижу его здесь. Откуда он?

— Из Балтики, — отвечал маркиз. — Доставлен голландским судном весной нынешнего года, до объявления войны.

— Дюнкеркская верфь не могла бы существовать, если бы её не снабжали по морю, — заметила Элиза. — Смею предположить, до войны так обыкновенно и делалось?

— Далеко не всегда. Когда я вернулся из восточных странствий, около тысяча шестьсот семидесятого, отец отправил меня в «Компани дю Норд», в Ла-Рошель. Компания эта была детищем Кольбера. Он пытался строить флот из французского леса и наткнулся на те же препятствия, что и вы. Поэтому целью «Компани дю Норд» было закупать лес в Балтике. По необходимости его доставляли на голландских судах.

— Почему именно Ла-Рошель? Почему не ближе к северу — Дюнкерк или Гавр?

— Потому что в Ла-Рошели были гугеноты, — отвечал маркиз, — которые и организовали поставки.

— А что делали *вы,* позвольте полюбопытствовать?

— Путешествовал на север. Смотрел. Учился. Рассказывал об узнанном отцу. Его положение на флоте по большей части декоративное. Однако

то, что отец узнавал от меня, помогало ему делать вложения, до которых бы он сам не додумался.

Элиза, видимо, несколько опешила.

— Я незаконнорождённый, — напомнил маркиз.

— Я знала, что ваш отец богат, но полагала, что состояние его получено по наследству, — сказала Элиза.

— Всё, что он унаследовал, неумолимо перешло в расписки способом, который мы только обсудили. Таким образом он со временем потерял независимость и оказался на содержании у французского правительства — чего и добивался король. Чтобы сохранить хоть какие-то независимые средства, отец должен был делать вложения. Вы об этом не знаете, поскольку инвестиции эти по большей части в Средиземноморье — на Леванте и в Северной Африке, а вас интересуют север и запад. — Маркиз крепко взял Элизу за руку и заглянул ей в глаза. — *Что меня в высшей степени устраивает*. Так что займёмся балтийским лесом.

— Хорошо, — сказала Элиза. — Вы сказали, что в начале семидесятых его доставляли гугеноты на голландских судах. Потом началась долгая война с Голландией, верно?

— Да. Нам пришлось поменять голландцев на англичан и шведов.

— Полагаю, всё шло гладко, пока четыре года назад король не изгнал бóльшую часть гугенотов и не отправил остальных на галеры?

— Да. С тех самых пор я верчусь, как белка в колесе, пытаюсь делать то, что раньше делала целая контора гугенотов. Мне удалось сохранить мизерные поставки леса из Балтики — довольно, чтобы чинить старые корабли и время от времени строить новые.

— А теперь мы воюем с двумя величайшими морскими державами мира, — сказала Элиза. — Спрос на корабельный лес вырастет неимоверно. А как мы с де ла Вегой только что подтвердили, во Франции его заполучить невозможно. Так что вы хотите с моей помощью восстановить «Компани дю Норд» здесь, в Дюнкерке.

— Почёл бы за честь.

— Я согласна, — объявила Элиза, — но сперва ответьте мне на один вопрос.

— Непременно.

— Как давно вы вынашиваете этот замысел? И обсуждали ли вы его с братом?

Жан-Жак, с удивительным в полугодовалом младенце чутьём на происходящее, заплакал в

соседней комнате. Д'Озуар задумался.

— Моему брату Этьенну вы нужны по другой причине.

— Знаю — я могу рожать здоровых детей.

— Нет, мадемуазель. Очень глупо с вашей стороны так думать. Есть множество смазливых дворяночек, способных рожать здоровых младенцев, и хлопот с ними куда меньше, чем с вами.

— Так почему ж я ему нужна?

— Помимо вашей красоты? Ответ: Кольбер.

— Кольбер умер.

— Однако жив сын Кольбера — маркиз де Сеньеле, министр флота и, как его отец, начальник моего отца. Можете хоть в малой степени вообразить, каково герцогу, наследнику древнего рода, кузену самого короля, смотреть, как вчерашний простолюдин окружён почётом, словно пэр Франции? Склоняться перед сыном лавочника?

— Да, нелегко, наверное, — сказала Элиза без особого сочувствия.

— Герцогу д'Аркашону легче, чем другим. Мой отец не так заносчив, как некоторые. Он угодлив, гибок, умеет приспосабливаться…

— Настолько, — завершила его мысль Элиза, видя, что маркизу не хватает на это духа, — что хочет женить Этьенна на женщине, которая

больше всего напоминает ему Кольбера.

— Простой род, талант к деньгам, уважение короля, — сказал маркиз. — А если она к тому же красива и рожает здоровых детей — тем лучше. Возможно, вам кажется, мадемуазель, что вы в Версале чужая. Однако Версалю всего семь лет. У него нет древних традиций. Его создал Кольбер, простолюдин. Да, там полно людей знатных, однако не обманывайте себя, воображая, будто им там уютно. О нет, мадемуазель, это вы — идеальная версальская придворная, это вам все остальные будут завидовать, когда вы там утвердитесь. Мой отец видит, как скользит вниз, как семья его утрачивает богатство и влияние. Он бросает верёвку вверх, надеясь, что кто-то, стоящий на более высоком и крепком основании, сумеет его вытащить. И этот кто-то — вы, мадемуазель.

— Нелёгкая задача для женщины, которая, не имея гроша за душой, пытается воспитывать ребёнка, — сказала Элиза. — Надеюсь только, что ваш отец не доведён ещё до столь отчаянного положения, которое рисуется по вашим словам.

— Пока — нет. Однако, лёжа по ночам без сна, он думает, как ему и его потомкам избежать такого отчаянного положения в будущем.

— Коли так, мне предстоит много работы, —

сказала Элиза, отходя от окна и разглаживая руками юбку.

— С чего вы думаете начать, мадемуазель?

— Наверное, с письма в Англию, мсье.

— В Англию! Но мы с ней воюем! — притворно возмутился маркиз.

— Я имею в виду натурфилософскую переписку, — сказала Элиза, — а наука не знает границ.

— А, вы хотите написать кому-то из своих друзей в Королевском обществе?

— Я имела в виду доктора Уотерхауза, — сказала Элиза. — Ему недавно удалили камень.

На лице маркиза проступило то испуганно-зачарованное выражение, с которым люди узнают о литотомии.

— Насколько мне известно, он благополучно пережил операцию и теперь идёт на поправку, — продолжила Элиза. — Может быть, у него найдётся время удовлетворить праздное любопытство французской графини.

— Возможно, — сказал маркиз, — но я не понимаю, почему вашим первым шагом должно стать письмо старому больному натурфилософу в Лондон?

— Не только первым, но и единственным, — отвечала Элиза. — Это то, что я легко могу сделать,

не покидая Дюнкерка. Для начала я бы завела разговор, с ним или с кем-нибудь другим, о деньгах — бумажных и металлических.

— Почему не с испанцем? Они чеканят деньги, которые признаёт весь мир.

— Именно потому, что английская монета так плоха, я предпочитаю вести дела с англичанином, — сказала Элиза. — Не поверите, какие чёрные бесформенные уродцы ходят у англичан в качестве денег. Однако английская торговля процветает, а сама страна живёт не беднее других. Мне она представляется огромным Лионом, где мало звонкой монеты, но нет недостатка в кредите, способствующем торговле.

— Что ничего не даст во время войны, — заметил маркиз. — Воюющий король посылает своё войско в другую страну, где бумаги не принимают. Значит, он должен отправлять туда металлические деньги на закупку фуража и прочие нужды. Как в таком случае Англии воевать с Францией?

— Тот же вопрос можно задать применительно к Франции! Уж не обессудьте, мсье, но французская валюта далеко не так надёжна, как вам, возможно, представляется.

— Вы рассчитываете, что ваш доктор Уотерхауз

ответит на такие вопросы?

— Нет, хотя надеюсь, что он вступит со мною в беседу, по ходу которой могут отыскаться ответы.

— Я считаю, что ответ: коммерция, — проговорил маркиз. — Сам Кольбер сказал: «Коммерция — источник финансов, а финансы — мускулы войны». То, за что страна не может расплатиться металлом, она способна получить в обмен на товар.

— Верно, мсье, однако не забывайте, что товар — не только нечто осязаемое, как воск господина Вахсманна, но и самые деньги: то, чем ворочает Лотар фон Хакльгебер, а это уже дело тёмное и загадочное — как раз для членов Королевского общества.

— Я думал, они изучают бабочек.

— Некоторые из них, мсье, изучают также банки и деньги. Боюсь, они намного опередили наших французских энтомологов.

Мыс Гри-Не, Франция
15 декабря 1689

Голландец, вздумай он написать этот пейзаж, не потратил бы много красок — пятно чаячьего помёта на скамье вполне заменило бы ему палитру. Небо было белое, земля — тоже, ветки деревьев — чёрные, кроме тех мест, где их облепило снегом. Фахверковый дворец являл взгляду белые стены с паутиной почерневшего от сырости дерева. Красную черепичную крышу по большей части скрывал снег, лишь местами протаявший над печками. Нынешнее время знало дворцы и повеличественней: этот состоял из большого прямоугольного двора, открытого к Ла-Маншу, конюшен с одного боку, флигеля для слуг — с другого и господского дома посередине. Береговой обрыв почти полностью заслонял море, оставляя лишь узкую серую полоску, сливавшуюся с белым небом где-то у Дуврских скал.

Во дворе стояли карета четвернёй и запряжённый двумя лошадками багажный фургон. Кучера и лакеи в сырых шерстяных плащах переходили от лошади к лошади, снимая пустые торбы из-под

овса и поправляя упряжь. Из флигеля показалась крупная, закутанная шерстяным платком женщина — её лицо едва угадывалось в глубоком туннеле чепца. Женщина поставила ногу на подножку кареты и забралась внутрь, от чего весь экипаж задрожал и закачался. Из конюшни, попыхивая глиняными трубками, вышли двое мужчин. Они натянули толстые перчатки и сели в сёдла; при этом дорожные плащи разошлись, и стало видно, что оба, подобно боевым кораблям, оснащены разнообразным огнестрельным оружием, кинжалами и абордажными саблями.

Дверь господского дома распахнулась, выплеснув разнообразие красок: зелёное шёлковое платье, украшенное разноцветными лентами и оборками, розовое лицо, синие глаза, белокурые волосы, удерживаемые драгоценными шпильками и лентами. Дама обернулась, прощаясь с кем-то в доме, и вышла во двор. Взгляд её сразу остановился на единственном человеке, который ещё не сел в седло и не забрался в экипаж. Массивный и приземистый, как мортира, он был одет в длинный камзол и чёрные от сырости сапоги. Шляпа его — отделанная золотым галуном и страусовыми перьями треуголка — свалилась с головы и лежала на снегу, словно выброшенный

на мель флагманский корабль. Судя по следам на снегу, а также бороздам, оставленным полами камзола и ножнами, господин расхаживал по двору уже довольно долго. Внимание его было приковано к небольшому свёртку, стремительно набиравшему высоту.

Молодая дама в зелёном платье нагнулась, подняла забытую шляпу и стряхнула с перьев снег.

Свёрток достиг апогея, завис на мгновение в нескольких футах над непокрытой головой низкорослого господина, и полетел вниз. Господин немного выждал, затем подхватил свёрток и аккуратно замедлил его падение. Свёрток замер в ладони от земли, господин склонился над ним, словно могильщик. Из одеяла раздался крик, так что дама стремительно выпрямилась. Однако крик оказался лишь прелюдией к долгому, захлёбывающемуся смеху. Дама с облегчением выдохнула и тут же застыла снова, потому что господин, заливисто ухнув, вновь подбросил свёрток высоко в воздух.

Наконец ей удалось привлечь внимание господина так, чтобы тот не уронил младенца, и обменять малыша на шляпу. После этого молодая дама забралась в карету, предварительно вручив ребёнка маленькой женщине, сидевшей

напротив крупной. Господин, несмотря на свой дворянский наряд, влез на запятки, где обычно помещались двое лакеев, но хватало места только для одного человека его комплекции. Вереница экипажей и всадников выкатилась на замёрзшую дорогу и двинулась вдоль берегового обрыва так, чтобы Англия и Ла-Манш были по правую руку, Франция — по левую.

Через несколько сотен ярдов они остановились, чтобы дама в зелёном могла осмотреть в окно кареты недавно возведённое здесь укрепление: земляной вал для двух мортир. Затем двинулись дальше — мелькание ног и постромок, чёрных на белом снегу, который приглушал звуки, не оставляя художнику ничего, кроме пустого холста, писателю — кроме чистой страницы.

— Помимо всего прочего, в Версале есть врачи, — раздался голос из решётки в задней стенке кареты.

— О, сударыня, этой братии у нас и на кораблях предостаточно.

— У вас есть *цирюльники*. Вы пользуетесь их услугами несколько месяцев и до сих пор не можете сидеть.

— И впрямь, цирюльникам привычнее иметь дело с тем местом, через которое еда входит, —

сказал господин на запятках. — Впрочем, природа предлагает свои лекарства. Я натолкал в панталоны снега. Сперва было нестерпимо холодно…

Ему пришлось переждать несколько мгновений.

— Вот вы смеётесь, сударыня, — продолжал он, — но не представляете, какое облегчение приносит мне холод, снимая не только боль и вздутие сзади, но и сходные, хоть и не столь неприятные симптомы спереди, которые неизбежно испытывает всякий мужчина, сопровождающий вас в пути…

Две женщины рассмеялись, но третья резко его одёрнула:

— Путь не так и долог для тех, кто может сидеть. Мы направляемся в место, где ценится остроумие утончённое и не оскорбляющее таких, как мадам де Ментенон. Ваши солёные моряцкие шуточки будут там крайне неуместны и могут лишь повредить самой цели вашего пребывания.

— А что это за цель, сударыня? Вы меня вызвали, и я немедленно прибыл. Я думал, что моя роль — развлекать крестника, однако теперь вижу, что вы не одобряете мои методы. Через несколько лет, когда Жан-Жак научится говорить, он наверняка возьмёт мою сторону и потребует, чтобы

его подбрасывали, покуда же я тащусь с вами без всякого прока.

Господин с любопытством взглянул на море, но карета свернула от берега, и то, что он хотел разглядеть, быстро исчезло в белой дали.

— Вы вечно хлопочете о ваших кораблях, лейтенант Бар, хотите, чтобы их стало больше, а сами они — лучше.

— Тем больше оснований для меня, сударыня, спрыгнуть с этой жёрдочки и во весь опор скакать в Дюнкерк.

— И что? Лепить там корабли из снега? Жан Бар нужен не в Дюнкерке. Жан Бар нужен в Версале.

— На что я там сгожусь, сударыня? Водить прогулочную лодочку по увеселительному пруду?

— Вам нужны средства, и вы в этом не одиноки. Ваш главный соперник — армия. Знаете, почему все средства уходят ей, лейтенант Бар?

— А что, это и впрямь так? Не верю своим ушам.

— Не верите потому, что вы её не видели, а если бы видели, то возмутились бы, сколько денег она получает по сравнению с флотом. Мало того, весь цвет дворянства идёт в армию. Взять хоть Этьенна де Лавардака.

— Сына герцога д'Аркашона?

— Не разыгрывайте простачка. Вы знаете, кто он, и что это он меня обрюхатил. Можете назвать молодого дворянина, теснее связанного с флотом? А знаете, что он сделал, когда началась война?

— Понятия не имею.

— Собрал кавалерийский полк и поскакал сражаться на Рейн.

— Неблагодарный щенок! Я отшлёпаю его саблей плашмя.

— Да, а когда покончите с этим, можете отправиться в Рим и ткнуть палкой в глаз папе! — предложила более субтильная из спутниц графини.

— Прекрасная мысль, Николь, ради тебя я так и поступлю! — отвечал Бар.

— Знаете, почему Этьенн выбрал армию? — спросила графиня, не поддаваясь общему веселью.

— Насколько я вижу, потому что никто не научил его хорошим манерам.

— Напротив. По общему мнению, он — учтивейший человек во Франции.

— По крайней мере один раз он про свои манеры забыл, — сказал Жан Бар, прижимаясь лицом к решётке и глядя на Жан-Жака, который спал, уткнувшись матери в левую грудь.

— Нет, он даже обрюхатил меня весьма учти-

во, — сказала мать. — Именно из-за представлений о чести и приличиях он, как и другие знатные молодые люди, избрал армию, а не флот.

— Гм!

— В кои-то веки мне удалось лишить вас дара речи, лейтенант Бар, так что воспользуюсь этой редкой возможностью и продолжу. Каждый придворный клянётся в верности королю — собственно, ничем больше не занимается, как твердит о ней дни напролёт. В мирное время королю это приятно. Однако начинается война, и каждый должен продемонстрировать свою верность на деле. На поле битвы кавалер может выехать в роскошном боевом облачении, на великолепном коне, и схватиться с врагом один на один. Более того, это происходит на глазах у множества ему подобных, и те, кто уцелеет, могут собраться в палатке и сговориться, что же именно произошло. В море всё иначе — наш расфранчённый хлыщ оказывается на одном корабле с кучей других людей, по большей части простых матросов, и не может схватиться с врагом без их помощи. Приказать: «Заряжайте пушку, ребята, и палите в общем направлении вон той точки на горизонте» — совсем не то, что на всём скаку срубить голову голландцу.

— Мы не палим по точкам на горизонте, — пробормотал Жан Бар. — Впрочем, увы, я отлично вас понял.

— Вы, благодаря своим недавним подвигам — яркое исключение из правила. Если мы отыщем в Версале врача, который подлатает ваш зад, чтобы вы могли сидеть за обедом и потчевать придворных дам героическими рассказами — желательно без сальностей и божбы — это непременно выльется в дополнительные деньги для флота.

— И у меня на палубе появится больше светских хлыщей?

— Это прилагается к деньгам, Жан Бар. Таковы правила игры. — Тут дама забарабанила по крыше кареты: — Гаэтан! Придержи коней! Я, кажется, вижу новый пороховой погреб и хотела бы его осмотреть.

— Если сударыня желает осмотреть все новые прибрежные укрепления, — заметил Жан Бар, — это легче было бы сделать с палубы корабля.

— Тогда я не могла бы побеседовать с местными интендантами и выслушать сплетни.

— Этим вы и занимались?

— Да.

— И что выяснили?

— Что цепь мортирных позиций, позволя-

ющая вести перекрёстный огонь, выстроена на низкопроцентный заём, предоставленный французскому казначейству графом д'Этаплем, который для этого переплавил золотую чашу двенадцатого века. Одновременно тот же граф починил дорогу из Фруж в Фокемберж, дабы телеги с боеприпасами могли ездить и по весенней распутице. В благодарность король позаботился, чтобы старая тяжба против графа д'Этапля отложилась на веки вечные, и даровал тому право постоять со свечой на одном из своих утренних туалетов.

— Любопытно, какую же историю таит в себе этот пороховой погреб? Может быть, местный сеньор обратил в деньги украшенные рубинами прапрадедушкины щипчики для ногтей! — воскликнул Жан Бар, чем вызвал приглушённые смешки Николь и её крупной соседки.

— Посмотрим, станете ли вы смеяться надо мной на следующий год, когда на дюнкеркской верфи будут лежать штабеля балтийского леса в три ваших роста, — проговорила та из трёх женщин, у которой шутка не вызвала и тени улыбки.

— Простите, мадемуазель, но звуков, которые вы издаёте: «Йу-ху! Йу-ху!», я никогда не слышал в

конюшнях его величества, да и во всей Франции. Людям, живущим здесь, как я и мой господин, они ничего не говорят, а лошадей приводят в сильный испуг. Молю вас перейти на французский язык, пока не началась общая паника.

— Это обычное приветствие на йглмском, мсье.

— А! — Говорящий резко замер на месте.

Версальские конюшни в декабре не блистают иллюминацией, но по шелесту атласа и хрусту накрахмаленного белья Элиза поняла, что её собеседник склонился в поклоне. Сама она произвела звуки, сопровождающие реверанс. В темноте напротив зашуршал поправляемый парик. Элиза прочистила горло. Невидимый человек потребовал свечу и получил целый серебряный канделябр: облако трепетных светлячков в густом воздухе, наполненном конским дыханием, перегнойным газом и пудрой для париков.

— Я имел честь быть представленным вам год назад, на берегах Мёза, — сказал человек, — когда мой господин…

— Я прекрасно помню ваши доброту и любезность, мсье де Мейе, — отвечала Элиза (её собеседник снова отвесил быстрый поклон), — а также расторопность, с который вы тогда прово-

дили меня к мсье де Лавардаку…

— Он примет вас немедленно, мадемуазель! — воскликнул де Мейе, подождав, впрочем, пока второй канделябр совершит путешествие в стойло, расположенное дальше от входа. — Пожалуйте сюда, в обход навозной кучи…

— Воистину, мсье, никто не сравнится с вами в благочестии, даже сам отец Эдуард де Жекс. В предрождественские дни, когда все ходят на мессу и слушают проповеди о Том, Кто провёл Свои первые дни в яслях, лишь Этьенн де Лавардак д'Аркашон перебрался в вертеп и спит на соломе.

— Не притязаю на благочестие, мадемуазель, хоть и стремлюсь порою к меньшей добродетели — учтивости.

Элизе принесли стул, и она села потому лишь, что знала: в противном случае Этьенн от ужаса не сможет произнести и слова. Сам он опустился на скамеечку для кузнеца. Пол в конюшне был посыпан свежей соломой — насколько она может быть свежей в декабре.

— Так и объяснила мне герцогиня д'Аркашон, когда, прибыв нынче вечером в Ла-Дюнетт, я обнаружила, что вы со всею свитой оставили не только дом, но и поместье!

— Благодарение Богу, мы получили известие о вашем приезде.

— Однако я послала его не с тем, чтобы выгнать вас на конюшню его величества.

— Поверьте, мадемуазель, я переселился сюда с великой охотой, понуждаемый желанием предоставить Ла-Дюнетт в ваше распоряжение без ущерба для *вашей* репутации.

— Я так и поняла, мсье, и чрезвычайно признательна. Однако я буду жить в дальнем флигеле, которого из главного дома не видно и к которому ведёт отдельная дорога, и ваша матушка считает, что если вы останетесь в Ла-Дюнетт, ни один самый строгий судья не сможет вас упрекнуть. И я полностью с ней согласна.

— Ах, мадемуазель, но…

— Ваша матушка настолько крепка в своём убеждении, что оскорбится, если вы не вернётесь домой немедленно! А я приехала передать её слова самолично, дабы недвусмысленно выразить своё полное согласие с вашей матушкой.

— Что ж, покоряюсь. — Этьенн вздохнул. — Коли нет сомнений, что меня вынуждает перебраться отсюда не то, что *некоторые* считают неудобствами, — тут он сделал паузу, чтобы сурово взглянуть на своё ближайшее окруже-

ние, благоразумно прятавшееся во тьме, — а единственно боязнь вызвать неудовольствие маменьки.

Слова эти были восприняты как прямой приказ; немедленно кучи соломы разлетелись, и ливрейные слуги, прятавшиеся в них для тепла, развили бурную деятельность. Ворота распахнули, впустив ужасающие фанфары голубого снежного света. Взглядам предстали золочёный экипаж и несколько багажных фургонов в соседних стойлах.

Этьенн д'Аркашон заслонил рукой глаза.

— Не от света — мне он ничто, — но от вашей красоты, на кою смертному почти невозможно взирать.

— Спасибо, мсье, — отвечала Элиза, заводя глаза к потолку, чего Этьенн не увидел, поскольку она тоже прикрыла их ладонью.

— Позвольте спросить, где тот сиротка, которого вы, по слухам, вырвали из когтей пфальцских еретиков?

— В Ла-Дюнетт, — сказала Элиза, — выбирает себе кормилицу.

Перо медленно, но неумолимо скользило по бумаге — три шага вперёд, два назад — и наконец остановилось в крохотной лужице собственных

чернил. Луи Фелипо, первый граф де Поншартрен, оторвал его от листа; перо застыло на миг, будто собираясь с силами, и двинулось назад вдоль строки, вставая на цыпочки над «i», с разбегу перечёркивая «t», едва не запнувшись на треме, закладывая крутые виражи на аксантах эгю и грав, совершая пируэты на седилях и взмывая на циркумфлексах — так величайший фехтовальщик мира в серии безостановочных манёвров разделывается с двадцатью противниками сразу. Поншартрен осторожно поднял руку, дабы не испачкать чернилами кружево; манжет на миг раскрылся, словно хватая воздух, и тут же опустился на пальцы, давая им возможность согреться.

Поншартрен начал перечитывать документ; из крупных ноздрей вырвались две одинаковые струйки морозного пара. Элиза поймала себя на том, что перестала дышать, и тоже выпустила облачко пара. На выдохе платье ослабило хватку вокруг горла, но стиснуло грудь. Молоко потекло, но Элиза перед выходом из дома предусмотрительно обмоталась полотенцем. Весьма необычно, чтобы у девственницы, взявшей на воспитание сироту, приходило молоко. От неё разило, как от молочной фермы. Впрочем, в по-

мещении стоял такой холод, что унюхать можно было лишь морозную пыль.

— Сударыня, соблаговолите проверить сумму. — Поншартрен извлёк левую руку из тёплого убежища между коленями и развернул лист на сто восемьдесят градусов.

Элиза шагнула к столу, пытаясь не толкать перед собой облако молочного запаха, взялась за мраморную столешницу и тут же отдёрнула мгновенно закоченевшие пальцы. Руки ныли от усталости. Всю дорогу по коридорам дворца приходилось держать на весу тяжёлые зимние юбки, чтобы не проволочь их по человеческим экскрементам на мраморном полу. Какашки были по большей части замёрзшие, но попадались и свежие, а пар над ними в полутёмной галерее вовремя заметить не удавалось.

Эти коридоры и теснившиеся в них комнатушки, разделённые пополам, а потом ещё и ещё пополам, являли собой Версаль *как он есть*. Крыло, в котором расположился кабинет графа де Поншартрена, генерального контролёра финансов, — Версаль, *каким он задумывался*: комнаты просторные, окна повсюду, полы не загажены. Поншартрен сидел спиной к большому сводчатому окну с видом на сад. Худые икры, защищённые

только шёлковыми чулками, скрестились под столом, как две палки, которые трут одна о другую. Солнце светило ему в спину. Огромный парик отбрасывал альпийских размеров тень на стол и документ. Количество денег, которые корсары Жана Бара отняли у Элизы и которые она теперь ссужала казначейству, было проставлено не числами, а словами, и так велика оказалась эта сумма, записанная до последней значащей цифры, что растянулась на три строчки; Поншартрену, чтобы вывести её на бумаге, пришлось дважды обмакивать перо в чернильницу. Она была, как глава из Библии; пока Элиза читала, в голову нахлынули воспоминания о сделках и бессонных ночах, которых стоил ей этот капитал. Воспоминания, ненужные и непрошеные, лились рекой. У неё текло молоко, она чувствовала приближение месячных, страдала расстройством желудка, хотела пи́сать и, если бы продолжала обо всём этом думать, залилась бы слезами. Ей пришла нелепая фантазия вытащить Жана Бара из салона, где тот потчует придворных дам корсарскими росказнями, свести с корсетным мастером, и пусть изобретут какой-нибудь наряд, какую-нибудь систему проконопаченной обвязки, оплётки и стяжки, чтобы заключить голову

и тело в непроницаемый чехол, из которого не просочатся ни лишние воспоминая, ни лишние жидкости.

Однако сейчас такого чехла не было. Элиза почувствовала на лице солнечное тепло — а может, то был взгляд генерального контролёра финансов.

— Сумма указана верно, — сказала она и, усталыми замёрзшими руками приподняв сзади юбки, попятилась в тень.

— Хорошо, — отвечал Поншартрен ласковым голосом доброго врача и обратил крупные карие глаза к секретарю, который последние несколько минут бочком-бочком отступал к камину в дальнем конце комнаты.

Поншартрен обмакнул перо и, двигая рукой от самого плеча, совершил длинную серию эволюций. Огромное замысловатое ПОНШАРТРЕН появилось в основании страницы. Секретарь наклонился и поставил рядом свой росчерк.

Поншартрен встал.

— Надеюсь, сударыня не откажется разделить со мной скромное угощение, пока… — Он взглянул на секретаря, который, заняв место графа за столом, возился с воском, лентами, печатями и тому подобным.

— Что угодно, хоть камни грызть, лишь бы рядом с камином.

Граф подал графине руку, и они вместе заскользили к той языческой композиции, которая здесь носила имя «камин». Перед ним стояли два кресла, оба большие, с подлокотниками, ибо гостья и хозяин носили одинаковый титул. Поншартрен усадил Элизу в одно, потом собственными руками взял полено и подбросил в огонь. Не вполне обычное для графов поведение, наверное, должно было показать Элизе, что они здесь без чинов. Поншартрен отряхнул ладони и, сев, тщательно вытер их кружевным платком. Пришаркала горничная на замёрзших негнущихся ногах, вытащила руки из рукавов и разлила кофе по чашкам, поднимая клубы пара.

— Вам часто приходится подписывать такие бумаги? — спросила Элиза, глядя в сторону стола, где процесс запечатывания вошёл в начальную стадию.

— Редко на такие большие суммы и никогда — столь очаровательному кредитору. Впрочем, да, многие знатные люди последовали примеру короля и передали лежавшие без дела авуары в казначейство, которое заставит эти средства работать.

— Вам будет приятно узнать, что средства эти сполна работают вдоль Ла-Манша, — сказала Элиза. — Со всего побережья грозят английским судам новые орудия за новыми валами, связанные с новыми пороховыми погребами превосходными дорогами, которые пролегли там, где до присоединения этих земель к Франции вились только коровьи тропы!

— Чрезвычайно рад слышать! — воскликнул граф, подаваясь вперёд.

Элиза с изумлением увидела, что он вполне искренен, потом удивилась своему изумлению.

Не увидев отклика на лице Элизы, граф сник.

— Простите, если я… немного неразговорчива, — сказала Элиза, — просто я долгое время пробыла в пути, а теперь столько всего предстоит сделать!

— Вскоре вы завершите дела и сможете веселиться вместе со всеми! Вам необходимо отдохнуть. Приём, который герцогиня д'Аркашон даёт завтра вечером…

— Да, мне и впрямь следует копить силы, чтобы не заснуть в первый же час.

— Надеюсь, сударыня, когда вы отдохнёте с дороги, нам вновь представится возможность побеседовать. Как вы знаете, я совсем недавно

вступил в должность. Конечно, я принял её с радостью… но теперь, спустя первые месяцы, нахожу куда более интересной, чем мог предполагать.

— Все воображают, будто она интересна в *финансовом* смысле, — заметила Элиза.

— Разумеется, — отвечал Поншартрен, разделяя иронию своей собеседницы, — однако я говорил о другом.

— Ну конечно, мсье, ибо вы человек умный и бескорыстный — потому-то король вас и выбрал! Вступив в новую должность, вы нашли её увлекательной *для ума*.

— Истинная правда, сударыня. Хотя мало кто в Версале это понимает. Вы — редкое исключение.

— Отсюда ваше желание продолжить беседу.

Поншартрен опустил веки и легонько кивнул. Потом снова открыл глаза — большие и очень приятные — и улыбнулся.

— Вы знакомы с Бонавантюром Россиньолем? — спросила Элиза.

Улыбка померкла.

— Я, разумеется, про него слышал…

— Это ещё одна белая ворона.

— Он ведь даже живёт не здесь?

— В Жювизи. Но будет завтра в Ла-Дюнетт. Как и вы, надеюсь?

— Герцогиня оказала нам честь, прислав приглашение. Мы будем счастливы им воспользоваться.

— Разыщите меня там, мсье. Я сведу вас с Бонавантюром Россиньолем, и мы учредим новый салон — только для тех, кому числа любезней денег.

— Вот наконец и наша дуэнья!

— Кто?!

— Как вы не понимаете, мсье Россиньоль? С нами поедет герцогиня д'Аркашон. Иначе не миновать пересудов! И надо же, с нею граф де Поншартрен! Я хотела вас познакомить.

При звуке этого имени Россиньоль повернул голову — вернее, попытался. Поскольку парик ниспадал на плечи, поверх которых был обмотан тяжёлый шерстяной плед, поворачивать голову следовало вместе с туловищем. Россиньоль привстал, низвергая лавины снега — они с Элизой столько просидели в открытых санях, что на коленях намело сугробы. Россиньоль, неуклюже переступая по кругу, повернулся к садовому крыльцу Ла-Дюнетт, напомнив Элизе булаву, которой жонглёр балансирует на ладони. Внешне он во многом напоминал Поншартрена, только если у графа глаза были карие и тёплые,

то у Россиньоля — чёрные и жгучие. И жгучие не в смысле «страстные», если не считать страсти к работе.

Слуга открыл двери. Из них вырвалось арпеджио на флейте — обрывок менуэта. Следом показался Поншартрен. Он поднял лицо, заморгал от падающего снега и совершил пируэт в сторону хозяйки, которая задержалась в дверях и в нарушение придворного регламента побуждала его идти первым. Алый шёлковый шарф полыхнул зарницей и лёг на парик. Толстыми, замёрзшими, ревматическими пальцами герцогиня завязала его на подбородке и, взяв Поншартрена под локоть, ступила на гравийную дорожку с куда большей опаской, чем та заслуживала. Снег слуги убрали, а до саней было шагов сто. Гости хлынули к дверям и запотевшим окнам, чтобы попрощаться с герцогиней, как будто она отбывает на Суринам, а не на получасовую прогулку по собственным владениям.

Россиньоль прежним манером повернулся к Элизе. Садиться смысла не было, иначе пришлось бы вставать снова, как только подойдут госпожа герцогиня и господин граф.

— Мсье Россиньоль, — сказала Элиза. — Любой ребёнок знает, что лимонным соком или разве-

дённым молоком можно написать невидимое послание, которое проступит, если нагреть его над огнём. Вы смотрите на меня так, будто на моём лице что-то написано молоком и проявится под жаром вашего взора. Позвольте напомнить: частенько это кончается тем, что вспыхивает сама бумага.

— Я не могу изменить свою природу.

— Верю, но молю вас смилостивиться. Граф д'Аво и отец де Жекс за последние дни столько жгли меня подобными взглядами, что у меня всё лицо должно быть в волдырях. В ваших глазах я предпочла бы видеть *теплоту*.

— Очевидно, вы со мною кокетничаете.

— Кокетству положено быть более или менее явным, однако это не повод на него указывать.

— Вы приглашаете меня прокатиться в санях, намекая на свидание: «…такой холод, Бонбон, одна я под одеялом замёрзну», потом мы ждём, ждём, ждём, а теперь выясняется, что с нами под одеялом будут граф и почтенная вдовица. Вы решили меня помучить — я частенько вижу такое в чужих любовных письмах. Однако вы напрасно рассчитываете при помощи женских уловок подчинить меня своей власти.

Элиза рассмеялась.

— И в мыслях не держала!

Она вскочила, повернулась и плюхнулась рядом с Россиньолем. Тот ошарашенно посмотрел на неё сверху вниз.

— А что тут дурного? — сказала Элиза. — Ведь мы будем под присмотром почтенной дамы.

— Играть с вами в игру, которая ни к чему не ведёт, конечно, приятнее, чем ничего не делать, — упрямо продолжал Россиньоль, — но после нашего приключения вы предпочитаете меня не замечать. Думаю, это потому, что вы попали в передрягу, из которой не смогли выбраться самостоятельно, и оказались у меня в долгу, оттого и ведёте себя так, будто вас гладят против шерсти.

— О том, как кого гладить, мы поговорим позже, — сказала Элиза, взмахивая заснеженными ресницами. Она похлопала по скамье рядом с собой.

— Я должен поздороваться с графом и… — начал он, но тут Элиза резко дёрнула его за панталоны.

Она всего лишь хотела усадить Россиньоля рядом с собой, но, к своему ужасу, сдёрнула с него штаны. Он остался бы стоять полуголый, если бы не сел с размаху. Элиза, взмахнув одеялом, словно матадор — плащом, едва успела закрыть его

от графа и герцогини, которые, заметив резкое движение, посмотрели в сторону саней.

— Вам стоит нарастить немного мяса на бока, иначе что толку носить пояс! — прошептала Элиза.

— Мадемуазель! Я должен встать, чтобы поприветствовать графа и…

— Вы назвали её вдовицей? Никакая она не вдовица, её супруг жив, здоров и занимается королевскими делами на юге. Не тревожьтесь, я всё улажу.

Она опустила голову Россиньолю на плечо и возвысила голос:

— Госпожа герцогиня, господин граф. Мсье Россиньоль в замешательстве, ибо хотел бы приветствовать вас стоя, а я его не пускаю. Только потому, что он греет, как печка, я ещё не умерла на этом морозе.

— Сидите, сидите! — сказала герцогиня д'Аркашон. — Мсье Россиньоль, вы, как и мой сын, страдаете от излишней учтивости.

Она подошла к саням. Три конюха, подбежав, помогли графу её усадить. Дама она была полная и, когда опустилась на скамью напротив Россиньоля с Элизой, полозья заскользили по снегу и сани отъехали на несколько дюймов. Все

вскрикнули: герцогиня от испуга, Элиза — потому что ей стало смешно, а Бонавантюр Россиньоль — потому что Элиза под одеялом залезла ему в исподнее и холодной рукой ухватилась за его мужскую стать, как за спасательный трос. Тем временем граф опустился рядом с герцогиней. Лошади — два одинаковых альбиноса — едва не рванули, так застоялись они на холоде. Кучер закричал, но они уже перешли на рысь. Четверо пассажиров замахали гостям, которые носовыми платками тёрли запотевшие окна. Элиза махала только одной рукой. То, что сжимала другая, в первый миг съёжилось от холода, а потом встало так быстро, что она испугалась за здоровье Россиньоля. Он ёрзал и страшно сверкал глазами, затем понял, что положение совершенно безвыходное, и остался сидеть очень тихо, слушая герцогиню — или притворяясь, будто слушает.

Она была почтенна, благопристойна и всеми любима: живое воплощение исконных лавардаковских добродетелей, прямой и бесхитростной верности монарху и церкви (в такой последовательности). Короче, герцогиня воплощала в себе тип родовой аристократии, что было королю и выгодно, и невыгодно. Подчиняясь ему слепо и всегда поступая правильно, она сделала своё

семейство опорой королевской власти. Однако, являя собой идеал родовой аристократии, она на собственном примере демонстрировала преимущества наследственной знати; рядом с ней выходцы из третьего сословия, такие как Элиза, казались хитрыми интересантами. Сидя в герцогининых санях и массируя королевскому криптоаналитику причинное место, Элиза не могла не признать убедительность такого взгляда — но только *про себя*. Она по-прежнему имела за душой лишь несколько монет и должна была обходиться тем, что у неё есть в руках — а сейчас у неё в руке была лишь пригоршня Россиньоля.

Сани резво скользили по дороге, расчищенной к приезду гостей. Очень скоро регулярный парк остался позади и показались строения, невидимые из Ла-Дюнетт благодаря стараниям ландшафтного архитектора. Запах навоза от охотничьих конюшен Луи-Франсуа де Лавардака д'Аркашона прогнали облака напитанного лавандой пара из открытого сарая. В глубине сарая горел огонь, и служанка что-то помешивала в котле.

— Вы сами варите мыло? — спросила Элиза. — Такой аромат чудесный!

— Ну конечно, сами! — сказала герцогиня,

дивясь, что Элиза сочла такой факт достойным упоминания. Тут что-то пришло ей в голову. — Обязательно берите наше мыло.

— Сударыня, я и без того злоупотребляю вашим гостеприимством. В Париже множество парфюмеров и мыловаров. Мне несложно съездить туда и…

— Нет, нет! — воскликнула герцогиня. — Никогда не покупайте мыло в Париже — у незнакомых людей! Не забывайте, что на вас лежит забота о сиротке!

— Как вы знаете, сударыня, маленький Жан-Жак теперь на попечении отцов-иезуитов. Наверное, они сами варят мыло…

— Да уж кому, как не им, об этом заботиться! — сказала герцогиня. — Однако вы иногда забираете его одежду. Пусть её моют здесь, моим мылом.

Элизе было всё равно; она охотно согласилась бы, раз уж герцогиня д'Аркашон так настаивает, и если замялась на миг, то лишь от недоумения.

— Вам следует брать мыло у герцогини, — твёрдо сказал Поншартрен.

— Да-да! — вставил Россиньоль, которому, судя по всему, ещё некоторое время предстояло говорить короткими словами.

— С благодарностью соглашаюсь, мадам, — сказала Элиза.

— Мои прачки стирают без перчаток! — проговорила герцогиня с какой-то даже обидой.

Разговор на время затух. Сани проехали мимо служебных построек, обогнули огороженный выгул для герцогских лошадей и оказались в охотничьем парке, голом и неприютном в вечерних сумерках. Поншартрен открыл створки двух фонарей, висящих над скамьями у бортов, и теперь сани скользили по лесу в ореоле жёлтого света. Вскоре показалась каменная стена. Открытые ворота в ней стерегли (во всяком случае, номинально) человек пять мушкетёров — все они стояли у костра и грелись. Стена тянулась на двадцать шесть миль, и таких ворот в ней было двадцать три. За ними начинался Гран-парк, охотничьи угодья короля.

Герцогиня, видимо, успела пожалеть о разговоре про мыло и, набравшись благодушия, заговорила с большим чувством:

— Госпожа графиня де ля Зёр сказала, что собирается учредить в Ла-Дюнетт салон! Я объяснила, что не знаю, как это делается! Я всего лишь старая наседка, где мне вести умные разговоры! Однако графиня заверила меня, что довольно будет

пригласить нескольких людей, таких умных, как мсье Россиньоль и господин граф де Поншартрен, — и всё получится само собой!

Поншартрен улыбнулся:

— Госпожа герцогиня, вы пытаетесь уверить меня и мсье Россиньоля, будто таким милым дамам не о чем поговорить наедине, кроме как о нас!

Герцогиня на миг опешила, затем ахнула:

— Мсье, вы надо мной подтруниваете!

Элиза покрепче стиснула Россиньоля, и тот неловко заёрзал.

— Покуда ничего само собой не получается, потому что мсье Россиньоль так неразговорчив! — заметила герцогиня с необычной для себя бестактностью; ей следовало знать, что указывать молчащему человеку на его молчание — худший способ втянуть того в разговор.

— До того, как вы присоединились к нам, сударыня, мсье Россиньоль рассказывал мне, что пытается взломать очень сложный шифр, посредством которого герцог Савойский переписывается со своими сообщниками на севере. Мсье Россиньоль витает мыслями в другом мире.

— Напротив, — отвечал Россиньоль, — я вполне могу говорить, если только меня не просят извле-

кать в уме квадратные корни или что-нибудь в таком роде.

— Я не знаю, что это такое, но, наверное, что-то ужасно сложное! — воскликнула герцогиня.

— Я не стану просить вас ни о чём таком, мсье, — сказал Поншартрен, — но когда-нибудь, когда вы будете менее сосредоточены — например, у графини в салоне, — я хотел бы поговорить с вами о том, чем занимаюсь сам. Возможно, вам известно, что Кольбер в своё время заказал немецкому учёному Лейбницу арифметическую машину для управления королевскими финансами. Лейбниц машину сделал, но сейчас он увлёкся другим и к тому же служит Ганноверскому двору, то есть стал врагом Франции. Хотя самая попытка поставить математический гений на службу финансам заслуживает внимания в качестве прецедента.

— И впрямь очень занятно, — проговорил Россиньоль, — хотя обязанности королевского криптоаналитика и не оставляют мне свободного времени.

— Какого рода задачи вы имеет в виду, мсье? — спросила Элиза.

— То, что я сейчас скажу, — тайна, которая не должна выйти за пределы этих саней, — начал Поншартрен.

— Не тревожьтесь, мсье. Нелепостью было бы предположить, что между нами затесался иностранный шпион, — сказал Россиньоль и тут же почувствовал, как четыре острых коготка сомкнулись на его мошонке.

— О, в данном случае меня тревожат не иностранные шпионы, а французские спекулянты, — промолвил граф.

— В таком случае у вас ещё меньше поводов для опасений — мне нечем спекулировать, — отвечала Элиза.

— Я хочу изъять из обращения всю золотую и серебряную монету, — сказал Поншартрен.

— Всю?! По всей стране?! — вскричала герцогиня.

— Да, сударыня. Мы отчеканим новые золотые луидоры и серебряные экю в обмен на старые.

— О небо! Зачем это надо?

— Новые будут стоить дороже.

— Вы хотите сказать, что в них будет больше золота или серебра? — спросила Элиза.

Поншартрен терпеливо улыбнулся.

— Нет, мадемуазель. В них будет ровно столько же золота или серебра, сколько в нынешних, — *но стоить они будут больше:* скажем, за девять новых луидоров надо будет отдать казначейству

десять старых.

— Как можно сказать, что та же монета стоит больше?

— Как можно сказать, что она стоит столько, сколько сейчас? — Поншартрен вскинул руки, словно желая поймать снежинку. — У монет есть номинал, установленный королевским указом. Новый указ, новый номинал.

— Понимаю. Только это, сдаётся мне, способ сделать что-то из ничего — вечный двигатель. Где-то как-то должны возникнуть непредвиденные последствия.

— Очень возможно, — отвечал Поншартрен, — но я не могу сообразить, где и какие именно. Поймите, король поручил мне удвоить доходы, чтобы оплачивать войну. Удвоить! Все обычные налоги и сборы уже исчерпаны. Надо придумать что-нибудь новое.

— Теперь я уразумела, почему вы хотите обратиться за советом к величайшим учёным Франции, — сказала герцогиня.

Все взоры устремились на Россиньоля. Однако тот внезапно упёрся ногами в дно саней и запрокинул голову. Несколько мгновений он из-под полуприкрытых век смотрел в тёмно-синее небо и не дышал, потом выдохнул и набрал полную

грудь холодного воздуха.

— Я убеждён, что мсье Россиньоль пережил внезапное математическое озарение, — приглушённым голосом выговорил Поншартрен. — Говорят, мсье Декарту идеи приходили в своего рода религиозных наитиях. До сей минуты я в это не верил, ибо самая мысль представлялась мне кощунственной. Однако лицо мсье Россиньоля, когда он разгадал шифр, было подобно лику святого, просветлённого Святым Духом!

— Мы часто будем видеть такое в салоне? — спросила герцогиня, глядя на Россиньоля с очень большим сомнением.

— Лишь изредка, — заверила её Элиза. — Впрочем, полагаю, нам следует сменить тему и дать мсье Россиньолю возможность собраться с мыслями. Давайте поговорим… о лошадях!

— О каких?

— Об этих. — Элиза кивнула на лошадей, запряжённых в сани.

Они с Россиньолем сидели лицом вперёд. Герцогине и графу пришлось повернулся, чтобы увидеть, на что Элиза показывает. Та воспользовалась моментом, чтобы вытереть руку о Россиньолево исподнее и вытащить её наружу. Россиньоль неверными пальцами натянул пан-

талоны.

— Вам они нравятся? — спросила герцогиня. — Луи-Франсуа невероятно гордится своими лошадьми.

— До сих пор я видела их лишь издали и думала, что они просто белые. Они ведь альбиносы, да?

— Я не знаю, в чём разница, — призналась герцогиня, — но так их называет Луи-Франсуа. Вот подождите — он вернётся с юга и охотно вам всё расскажет!

— Они распространены? У многих есть? — спросила Элиза, но тут — надо же такому случиться! — их прервало появление всадника на коне-альбиносе. Этьенн де Лавардак д'Аркашон прискакал из замка.

— Безмерно сожалею, что вынужден нарушить вашу прогулку, — сказал он, поприветствовав каждого в строгом соответствии с регламентом (сперва герцогиню, затем графа, Элизу, лошадей, математика и кучера). — Однако в ваше отсутствие, маменька, я вынужден играть роль хозяина и всемерно угождать гостям, в числе которых случилось оказаться его величеству королю Франции.

— О-о! Когда его величество прибыл?

— Сразу после вашего отъезда, маменька.

— Какая незадача! Что угодно его величеству и другим гостям?

— Смотреть представление. Оно готово начаться.

Один конец большой бальной залы Ла-Дюнетт превратили в Ла-Манш. Волны из папье-маше с гипсовой пеной установили на эксцентриках, чтобы вздымались и опадали более или менее правдоподобно, и расположили независимо движущимися рядами. Ряды шли ступенями, чем дальше, тем выше, так что зрители видели весь «Ла-Манш» от «Дюнкерка» (зубчатый силуэт на переднем плане) до «Дувра» (белые обрывы и зелёные поля в глубине сцены). Слева за загородкой пиликал на скрипках оркестр. Справа в монаршей ложе восседал на золотом кресле король Людовик XIV, по правую руку от него расположилась маркиза де Ментенон, одетая скорее на похороны, чем на рождественский праздник. За их спинами теснилась свита. Ближе всех к мадам де Ментенон — настолько, что при желании мог бы положить руку ей на плечо, — стоял отец Эдуард де Жекс. Сие означало, что спектаклю лучше быть пристойным. Не то чтобы герцогиня д'Аркашон могла дать у себя дома фривольное представление, однако она пригласила коме-

диантов, а от этой публики никогда не знаешь, чего ждать.

Пьеса называлась «Метаморфоза». Главным исполнителем и почётным гостем был лейтенант Жан Бар, смысливший в актёрском деле примерно столько же, сколько рядовой комедиант — в морском. Впрочем, написанный специально для него сценарий всё это учитывал. Первый акт происходил на побережье у Дюнкерка. Жан Бар и его матросы (актёры, наряженные корсарами) прослушали мессу прямо на берегу. Священник ушёл. Жан Бар повёл своих людей к фрегату (не больше лодочки, но оснащённому мачтами, реями и знамёнами с королевскими лилиями). Фрегат по волнам направился к Англии. Одинокая русалка справа исполнила арию о своём безутешном горе: она влюбилась в красавчика-лейтенанта. (В первой версии сценария мессы не было: Жан Бар в дезабилье возлежал на прибрежных камнях, а русалки угощали его виноградом — однако герцогиня поговорила с комедиантами, и сцену исправили.)

Нептун восстал из волн и спел дуэт с русалкой, своей дочерью. Он хотел знать, почему она скорбит. Услышав ответ, владыка морей разгневался и поклялся в обычной для богов манере отомстить

Жану Бару — превратить его во что-то ужасное.

В следующей сцене фрегат Жана Бара схватился с превосходящим его английским. Сам Жан Бар весьма живописно фехтовал и раскачивался на канатах. Когда победа была уже близка, появился Нептун, взмахнул трезубцем и под грохот барабанов превратил Бара в кота (покуда все смотрели на морского бога, лейтенант натянул маску). Поскольку коты не могут отдавать приказаний и боятся воды, команда пришла в замешательство и англичане взяли её в плен.

Следующий акт происходил в глубине сцены, на английском берегу. Пленные французские моряки смотрели через зарешеченное окно на Ла-Манш и продолжительное время тосковали по милой Франции. Это была самая скучная часть спектакля, и многие графини успели припудрить нос; однако в конце концов русалка, тронутая стенаниями отважных корсаров, умолила отца избавить Жана Бара от незаслуженной кары. Впрочем, прежде тот, в обличье кота, пролез через прутья решётки на берег. Вновь став человеком, лейтенант вскочил в шлюпку, оттолкнулся от берега и взял курс на Францию.

В жизни подвиг занял пятьдесят два часа, на сцене — пятнадцать минут. Два дня, две ночи

и четыре часа были изображены так: Аполлон в золотой колеснице, подвешенной на блоках, появился низко на востоке (слева), проплыл над сценой по дуге, распевая арию, и опустился на западе (справа), как раз когда слева показалась его сестра Диана на колеснице серебряной. Когда она опустилась справа, Аполлон вновь появился слева (колесницу отцепили и пронесли по коридору) и воспел второй день героического плавания. Затем Диана воспела вторую ночь. В первые день и ночь Аполлон и Диана соответственно насмехались над жалкой фигуркой внизу, не веря, что кому-нибудь хватит глупости или дерзости преодолеть на вёслах Ла-Манш. На вторые сутки, изумлённые тем, что Жан Бар до сих пор жив и гребёт, они стали превозносить его и подбадривать.

На исходе второй ночи, когда Диана опустилась справа, Аполлон появился слева, Жан Бар посередине всё ещё силился преодолеть последнюю милю, отделявшую его от свободы. Аполлон и Диана исполнили дуэт, призывая смельчака не сдаваться. Наконец Нептун (возможно, уставший от их воя) поднялся над волнами, спел ещё куплет о том, какой Жан Бар молодец, и, взмахнув трезубцем, повелел морским валам доставить лодку

к берегу, что те и сделали в обличье четырёх покрашенных синей краской танцоров с пенными шапочками на голове.

Даже здешние зрители — едва ли не самые прожжённые циники на земле — с трудом сдерживали слёзы, когда Жан Бар, шатаясь, под гром патриотической музыки выбрался на родной берег. Однако лишь только грянули овации, ещё один бог спустился через люк в потолке: в золотом одеянии, увенчанный лаврами, с молнией в руке. То был сам Юпитер, слегка офранцуженный, чтобы создать гибрид владыки Олимпа и Короля-Солнце, вернее, подчеркнуть, что они — одно. Аполлон, Диана и Нептун простёрлись ниц; бестрепетный Жан Бар отвесил громовержцу придворный поклон. Юпитер провозгласил свой вердикт: Жан Бар и впрямь достоин превращения, но отнюдь не в кота. Он протянул свёрток в золотой бумаге, увенчанный лавровым венком, Меркурию, который, исполнив сольный танцевальный номер, вручил дары отважному лейтенанту, а лавровый венок возложил ему на голову. Лейтенант раскрыл свёрток, и оттуда сверкнуло алым. Лейтенант развернул то, что было внутри, — длинный красный камзол и панталоны капитана французского военного флота.

Тросы, удерживающие на небосводе различных богов и богинь, заскрипели, унося олимпийцев прочь, дабы Жан Бар в одиночестве принял рукоплескания зрителей. Он прижал мундир к груди и, повернувшись вправо, склонился перед королём в низком поклоне. Лавровый венок упал. Жан Бар успел подхватить его в воздухе, и все в зале ойкнули. Тут ему пришла новая мысль: выпрямившись, он бросил венок Людовику XIV, который ловко его поймал. Все в зале ахнули. Король как ни в чём не бывало поднёс венок к губам и поцеловал. Придворные разразились восхищёнными криками. Всё во Франции было как нельзя лучше.

Праздник двигался своим чередом, однако Элизу не покидало чувство, будто всё вокруг — лишь послесловие к спектаклю. Капитан Жан Бар без промедлений облачился в красный мундир и протанцевал весь вечер, с каждой из присутствующих дам. Элиза впервые в жизни растерялась от обилия соперниц. Чтобы потанцевать с Баром, надо было получить его приглашение, то есть увидеть его или хотя бы услышать, а после каждого танца вокруг человека в красном мундире возникал бастион атласных и шёлковых платьев. Все молодые дамы и девицы — многие выше Бара

— мечтали поймать его взгляд. У субтильной Элизы не оставалось никаких надежд. Кроме того, она была связана обязанностями хозяйки. Герцогиня позволила ей включить в список гостей несколько имён. Элиза пригласила четырёх малоизвестных придворных с супругами. Всё это были дворяне с севера, одолжившие деньги казначейству и выстроившие укрепления вдоль Ла-Манша в надежде именно на такую милость. Они получили искомое, но теперь ждали от Элизы, что она представит их высокопоставленным гостям и тому подобное. Каждый недавно виделся с Поншартреном и получил расписку, как у Элизы, хоть и на меньшую сумму. Каждый считал, что на этом основании может ходить за генеральным контролёром по пятам и участвовать во всех его разговорах. Чтобы сохранить расположение графа, Элиза должна была под разными предлогами отлавливать и уводить прочь своих протеже, когда те становились уж чересчур назойливыми. Одного этого занятия хватило бы на целый вечер. Кроме того, как номинальная пассия Этьенна она должна была потанцевать с ним хотя бы дважды, а после случившегося в санях по меньшей мере один танец следовало оставить Россиньолю.

Россиньоль танцевал, как криптоаналитик:

безукоризненно, но холодно.

— Вы не поняли разговор про мыло, — сказал он Элизе.

— Там было что-то очевидное? Пожалуйста, объясните.

— Где, по-вашему, десять лет назад, во времена отравлений, придворные добывали мышьяк? Не собственным трудом, очевидно, ибо ничего не умеют. Не у алхимиков, которые выставляют себя святыми. У кого ещё, кроме алхимиков, есть ступки и пестики, чаны и реторты, а также доступ к редким ингредиентам?

— У мыловаров! — Элиза почувствовала, как наливается краской.

— В те времена некоторые прачки носили перчатки, — сказал Россиньоль, — потому что хозяйки отправляли их в Париж за мылом, в которое добавлен мышьяк. Этим мылом стирали мужу одежду, и яд проникал сквозь кожу. То, что герцогиня варит мыло у себя в поместье, не дань глупой традиции, а разумная забота о близких. Предлагая вам своё мыло и услуги своих прачек, она подразумевала, что, во-первых, испытывает к вам тёплые чувства, во-вторых, боится, что у вас есть недоброжелатели.

Элиза, не в силах ответить, через плечо Росси-

ньоля оглядывала толпу. Не высмотрев д'Аво, она вынудила партнёра повернуться, чтобы обвести взглядом другую половину залы.

— Простите, сударыня, кто из нас ведёт? — спросил Россиньоль. — Кого вы ищете? Вспомнили недоброжелателя? Не торопитесь с исходной гипотезой — это частая ошибка в криптоанализе.

— Как по-вашему, кто?..

— Если бы я знал, то сказал бы сразу, хотя бы потому, что надеюсь ещё когда-нибудь покататься с вами в санях. Увы, мадемуазель, мне неведомо, кого подозревает герцогиня.

— Простите, нельзя ли вас прервать? — раздался за спиной Элизы мужской голос.

— Я ангажирована! — огрызнулась Элиза, ибо мужчины осаждали её весь вечер.

Однако Россиньоль перестал танцевать, отступил на шаг и низко поклонился.

Элиза обернулась и увидела, как Людовик XIV отвечает на поклон ласковой улыбкой. Он любил своего криптоаналитика.

— Ну разумеется, мадемуазель, — сказал король Франции. — Когда двое самых умных моих подданных беседуют между собой, я нимало не сомневаюсь в их ангажированности. Однако рождественскому приёму не пристала такая

серьёзность!

Он как-то завладел Элизиной рукой и увлёк её в танец. Элиза не могла выговорить и слова.

— Мне за многое следует вас поблагодарить, — начал Людовик XIV.

— О нет, ваше величество, я…

— Вам никогда не говорили, что королю не перечат?

— Умоляю меня простить, ваше величество.

— Мсье Россиньоль сказал мне, что прошлой осенью вы оказали любезность супруге моего брата, — сказал король. — А, возможно, принцу Оранскому — тут нет полной ясности.

Элизу постигло нечто, случавшееся с ней лишь несколько раз в жизни. Она потеряла сознание. Или почти потеряла. Что-то похожее произошло, когда берберийские корсары тащили их с матерью в шлюпку, и повторилось несколько лет спустя, когда её вывели на пристань в Алжире и продали константинопольскому султану за белого жеребца — оторвали от матери, не дав даже попрощаться. Третий раз она испытала такое под императорским дворцом в Вене, когда вместе с другими одалисками ждала смерти. Во всех этих случаях она устояла на ногах. Устояла и сейчас. Хотя могла бы и упасть, если бы Людовик XIV,

человек сильный и преисполненный мужской грации, не поддерживал её за талию.

— Вернитесь ко мне, — говорил он (как догадалась Элиза, не в первый раз). — Ну вот, вы снова здесь. Вижу по вашему лицу. Что вас так сильно напугало? Вам кто-то угрожал? Так назовите мне этого человека.

— Никто конкретно, ваше величество. Принц Оранский…

— Да? Что он вам сделал?

— Я не могу сказать, что он сделал, но он пообещал отправить меня тихоходным кораблём в Нагасаки на забаву матросам, если я откажусь для него шпионить.

— Вам следовало немедленно сказать мне.

— То, что я не была вполне с вами искренна, и есть причина моего испуга, ваше величество, ибо я не без вины.

— Знаю. Что заставляет вас принимать такие решения? Чего вы *хотите?*

— Отыскать и убить человека, причинившего мне зло.

По правде сказать, Элиза не думала об этом так долго, что самые слова её удивили, однако произнесены они были с чувством и звучали убедительно.

— Некоторые ваши начинания весьма мне угодили. «Падение Батавии». Передача средств в казну. То, что вы привезли в Версаль Жана Бара. Ваша деятельность в «Компани дю Норд». Другие, как например, шпионаж, вызвали моё неудовольствие. Впрочем, теперь я лучше вас понимаю. Рад, что мы побеседовали.

Элиза заморгала, оглянулась и поняла, что танец кончился и все на них смотрят.

— Благодарю вас, мадемуазель, — сказал король с поклоном.

Элиза сделала реверанс.

— Ваше величество… — начала она, но вокруг короля уже сомкнулся двор — рыбий косяк затянутых талий и взбитых париков.

Элиза отошла в уголок выпить кофе и собраться с мыслями. За ней следовал её собственный двор из мелких дворян и ухажёров. Она их не столько игнорировала, сколько на самом деле не замечала.

Что произошло? Ей нужен был личный стенограф, чтобы прочитать заново весь разговор.

Она нечаянно ввела короля в заблуждение!

— Вам нравится вечер, сударыня?

Это был отец Эдуард де Жекс.

— Да, святой отец. Хотя, признаюсь, я скучаю

по сиротке — за прошедшие недели он успел похитить моё сердце.

— Коли так, вы можете получить частичку своего сердца обратно в любой день, когда пожелаете его навестить. Господин граф д'Аво приложил все усилия, чтобы определить мальчика в лучшее заведение страны. Он предсказывает, что вы будете часто навещать бывшего питомца.

— Я у графа в долгу.

— Как и мы все, — сказал де Жекс. — Маленький Жан-Жак очарователен. Я заглядываю к нему всякий раз, как выдаётся свободная минута, и надеюсь довершить то, что начали вы и продолжил д'Аво.

— Что именно?

— Вы спасли его от смерти телесной — войны — и духовной — учения еретиков. Д'Аво определил его в лучший сиротский приют Франции, находящийся под патронажем Общества Иисуса. Мне кажется, логическим завершением будет воспитать из него иезуита.

— Да, конечно, — отрешённо проговорила Элиза, — чтобы побочный отпрыск де Лавардаков не наградил семью лишним потомством.

— Что-что, мадемуазель?

— Простите, я сама не понимаю, что говорю.

— Да уж! — Де Жекс налился краской, что, как ни странно, оказалось ему к лицу.

Смуглый, с резко очерченными скулами и носом, он был бы даже красивым, если бы не бледность — след долгих часов, проведённых в тёмных исповедальнях за выслушиванием тайных грехов двора. Сейчас, с порозовевшими щеками, он был почти привлекательным.

— Простите, — повторила Элиза. — Я всё ещё не могу опомниться после танца с королём.

— Разумеется, сударыня. Однако, когда вы придёте в себя и вспомните свои манеры, моя кузина хотела бы возобновить знакомство. — Он устремил горящий взор в угол, где герцогиня д'Уайонна улыбалась в глаза несчастному молодому виконту, ещё не осознавшему, в какую паутину он угодил.

Де Жекс отошёл.

Она сказала королю правду. В тот день, когда её обменяли на жеребца-альбиноса и отправили на галере в Константинополь, она поклялась себе найти и убить человека, обратившего их с матерью в рабство. Она не открывала этого никому, кроме Джека Шафто, а сейчас нечаянно сказала королю. Сказала с подлинным убеждением, ибо говорила правду, и король, видя её лицо, поверил

каждому слову.

— Благодаря вам, мадемуазель, у меня завтра будет много работы.

Поншартрен вновь смотрел на неё с ласковой улыбкой.

— Каким образом, мсье?

— Король так тронут рассказом о подвигах Жана Бара, что поручил мне выделить средства флоту и «Компани дю Норд». Завтра я буду присутствовать на церемонии утреннего туалета, чтобы обсудить детали.

— Тогда не смею вас более задерживать, мсье.

— Доброй ночи, мадемуазель.

Король подумал, что она говорит о Вильгельме Оранском. Она упомянула Вильгельма — эх, сейчас бы стенографическую запись! — а через мгновение поменяла тему и сказала, что хотела бы разыскать и убить человека, который причинил ей зло. Король соединил две правды и получил ложь: теперь его величество считает, что цель Элизиной жизни — убить Вильгельма! Что она шпионила для принца Оранского с единственной целью — подобраться к нему поближе.

Она развернулась в надежде отыскать короля, привлечь его внимание, и оказалась лицом к лицу с человеком, одетым во всё красное. Жан

Бар пустил в ход корсарскую сноровку, чтобы пробиться к Элизе через толпу обожательниц.

— Мадемуазель, — начал он. — Госпожа герцогиня объявила, что это последний танец. Не окажете ли мне честь?

Элиза уронила руку, и Жан Бар ловко её подхватил.

— Разумеется, при естественном ходе событий мне следовало бы уступить эту привилегию Этьенну д'Аркашону, — сообщил Бар, желая развеять Элизино недоумение (и совершенно напрасно, поскольку она ни о чём таком не думала). — Однако он, разумеется, провожает короля.

— Король уезжает?

— Уже в карете, мадемуазель.

— Ой, я надеялась с ним поговорить.

— Как и вся остальная Франция! — Они уже кружились в танце. Жан Бар, очевидно, нашёл реплику Элизы забавной. — Вы сегодня танцевали с его величеством. Мадемуазель, в этом зале есть дамы, убивавшие младенцев на чёрной мессе ради того, чтобы заполучить одно слово, один взгляд короля. Вам грех жаловаться…

— Не желаю про такое слышать, — возмутилась Элиза. — Не смейте и говорить о подобных ужасах. Вы пьяны, капитан Бар.

— Вы правы, и я готов искупить вину. Я увижу короля через несколько часов — меня пригласили на церемонию утреннего туалета! Будем обсуждать флотские финансы. Передать что-нибудь его величеству?

Что можно было ответить? «Я не собираюсь убивать принца Оранского» — явно не те слова, которыми следует огорошивать короля за утренним туалетом. «Я не знаю, кого именно собираюсь убить» — тоже.

— Благодарю за любезное предложение и прощаю вас. Интересно, много ли король говорит на церемонии одевания?

— Откуда мне знать? Спросите завтра. А что?

— Сплетничает ли он? Мне любопытно. Я только что сболтнула одну вещь, которая, если станет известна, очень повредит мне в Англии.

Жан Бар фыркнул и закатил глаза, не желая даже обсуждать тему Англии.

— Я всё-таки попрошу вас узнать у короля одну вещь.

— Говорите, мадемуазель.

— Имя врача, искусного *в этой* области.

Элиза опустила руку на несколько дюймов и похлопала Жана Бара — со всей осторожностью, однако тот вскрикнул и подскочил. Лицо его

перекосилось от боли. Элиза ахнула и отпрянула в ужасе, однако капитан, расплывшись в улыбке, вновь ухватил её за талию и привлёк к себе. Это была шутка.

— Я уже побывал у такого врача.

— Замечательно, — всё ещё смеясь, выговорила Элиза. — Надеюсь увидеть вас сидящим ещё до отъезда.

— Пятьдесят два часа гребли сказались, это верно, но здешний врач пользует мою задницу примочками и разными неудобосказуемыми процедурами, так что я быстро иду на поправку. А вот — лучшая перевязка! — Он поправил новенький эполет на алом мундире.

— Ах, если бы новое платье исцеляло любые раны!

— Разве не все женщины так думают?

— Порою они ведут себя так, будто и впрямь в этом убеждены. Может, я просто ещё не нашла такого платья.

— Тогда вам следует завтра же прогуляться по модным лавкам!

— Чудесная мысль, капитан, но прежде мне надо раздобыть денег. А поскольку во Франции их нет, вам придётся выйти в море и награбить для меня золота.

— Всенепременно! Я ваш должник.

— Постарайтесь не забыть об этом завтра, Жан Бар.

Письмо Даниеля Уотерхауза Элизе
Январь-февраль 1690

Мадемуазель де ля Зёр!

Спасибо Вам за письмо от декабря прошлого года. Оно довольно долго перебиралось через Ла-Манш, и вряд ли моё доберётся до Вас быстрее. Я был тронут Вашей заботой о моём здоровье и позабавился историей с лесом. До сих пор я не подозревал, сколь счастлива в этом отношении Англия: если нам в Лондоне требуется лес, нам довольно вырубить ту часть Шотландии или Ирландии, в которой ещё сохранилось несколько деревьев.

Я помог бы Вам в Вашей задаче уразуметь деньги хотя бы для того, чтобы разобраться в них самому. Однако тут от меня никакого проку. Сколько себя помню, наши деньги были из рук вон плохи; когда всё так скверно, трудно заметить, что стало ещё хуже. И всё же именно это, кажется, произошло. Несколько месяцев после операции я был прикован к постели и не выходил за покупками, когда же наконец вышел, то обнаружил разительную перемену к худшему.

А может, за те месяцы, что мне не приходилось торговаться с лавочниками из-за каждой мелочи, мои глаза раскрылись, и нелепость происходящего предстала им со всей очевидностью.

У меня есть счёт в нескольких кофейнях, пабах и питейных заведениях на моей улице, чтобы не возиться каждый раз с монетами. Многие пошли дальше: объединились в общества, называемые клубами и облегчающие покупку еды, вина, табака и тому подобного в кредит. Когда какимнибудь чудом у человека оказываются несколько монет, достойных своего имени, он торопится оплатить самые важные счета. Система худо-бедно работает. Другой не придумали.

У нас есть виги и тори. По сути это круглоголовые и кавалеры в новом обличье и менее тяжело вооружённые. Тори живут на доходы от своих земель. Если очень сильно упростить, то Франция состоит из одних тори — все деньги исключительно от земли. Виги у вас тоже были бы, если бы вы не изгнали гугенотов. А по слухам, в ваших атлантических портах есть некое подобие вигов. Впрочем, как я уже сказал, я крайне упрощаю, чтобы выразить суть: если Вы понимаете, как деньги работают во Франции, то знаете всё про тори. А если понимаете, как они работают в Ам-

стердаме, то знаете всё про вигов.

Королевское общество дышит на ладан и может не протянуть до конца века. Оно уже не взыскано монаршими милостями, как при Карле II. Тогда оно было силой *революционной* в новом значении слова, но настолько преуспело, что стало обыденностью. Люди, которые, не имея иного приложения своим талантам, посвятили бы ему жизнь, родись они одновременно со мной, теперь преуспевают в Сити, в колониях, в заморских делах. Нас, Королевское общество, обычно считают вигами. Наш председатель, маркиз Равенскарский, — влиятельный виг и без устали выискивает, как бы применить дарования наших собратьев к вещам практическим, в том числе к деньгам, доходам, банкам, акциям и другим занимающим Вас материям. Однако, вынужден признаться, я совершенно от них отстал.

Исаака Ньютона год назад избрали в парламент. Кембридж ещё помнил, как он дал отпор прежнему королю, желавшему протащить в университет иезуитов. Весь прошлый год Ньютон провёл в Лондоне, к большому огорчению тех из нас, кто предпочёл бы видеть его трудящимся над чем-нибудь в духе «Математических начал». Они с Вашим знакомцем Фатио неразлучны и живут

в одном доме.

P.S. — февраль 1690-го.

После того, как я написал письмо, но прежде, нежели я успел его отправить, король Вильгельм и королева Мария распустили парламент. На новых выборах победили тори. Исаак Ньютон больше не член парламента. Он делит время между Кембриджем, где предаётся алхимическим штудиям, и Лондоном, где они с Фатио изучают «Трактат о свете» нашего общего друга и сотрапезника Гюйгенса. Все это к тому, что сейчас я ещё бесполезнее для Вас, нежели месяц назад; я принадлежу к умирающему Обществу, связанному с партией, которая утратила власть, и не имеющему денег, поскольку их нет в стране. Самый блистательный наш собрат занят совершенно другим. Самонадеянностью было бы ждать ответа на столь бессодержательное письмо, негожеством — оставить без ответа Ваше, ибо я был и остаюсь Ваш смиренный и преданный слуга

Даниель Уотерхауз

Письмо Элизы Даниелю
Апрель 1690

Ньютон хочет нас уверить, что время отмеряется тиканьем Божьих карманных часов — постоянное и неизменное, оно служит абсолютным мерилом любых движений. ЛЕЙБНИЦ склоняется к взгляду, согласно которому время — смена отношений между предметами, и движения, которые мы наблюдаем, позволяют нам воспринимать время, а не наоборот. НЬЮТОН изложил свою систему к удовлетворению, нет, к восторгу всего мира, и я не могу найти в ней изъяна; и всё же система ЛЕЙБНИЦА, хоть и не записанная, куда точнее описывает моё субъективное восприятие времени. Осенью прошлого года, когда и я, и всё вокруг меня пребывало в постоянном движении, мне казалось, что прошло много времени. Когда же я добралась до Версаля, обосновалась в поместье Ла-Дюнетт на холме Сатори и наладила домашнюю жизнь, четыре месяца пронеслись стремительной чередой.

Дело, за которым меня отправили в Версаль, удалось в основном завершить ещё до Рожде-

ства, а дальше я только улаживала частности. Вероятно, теперь мне следовало бы вернуться в Дюнкерк, где от меня больше пользы. Однако здесь меня удерживают различные узы, которые со временем лишь крепчают. Каждое утро я еду через лесок к южной оконечности пруда Швейцарцев, отделяющего земли де Лавардаков от королевских владений. Здесь, за стенами дворца, лежит старая деревушка Версаль, ныне весьма разросшаяся. С тех пор как восемь лет назад король перенёс сюда двор, в деревне выросло множество церквей и монашеских обителей, в том числе монастырь Святой Женевьевы, где обрёл приют мой «сиротка». Если погода позволяет, я катаю его в коляске по королевскому огороду — вдающейся в деревню оконечности Версальского парка. Имея назначением снабжать дворцовую кухню овощами, огород этот уступает великолепием знаменитым партерам. Однако здесь куда больше интересного для детских глазёнок и ручонок, особенно теперь, с наступлением весны. Садовники чинят шпалеры в ожидании, что через несколько месяцев их завьют горох и бобы; судя по тому, как жадно смотрит Жан-Жак на «лесенки», он научится взбираться на них раньше, чем ходить. Иногда мы заходим чуть

дальше, в оранжерею — огромную сводчатую галерею, расположенную по трём сторонам прямоугольного двора и обращённую к югу, чтобы стены нагревались на зимнем солнце и сохраняли тепло. Внутри в деревянных кадках растут апельсиновые деревца, дожидаясь лета, когда садовники смогут вынести их наружу. Маленький Жан-Жак зачарованно разглядывает зелёные шарики, спрятанные в тёмной листве.

К положенному часу я привожу его в монастырь Святой Женевьевы и оставляю кормилице. Вы можете подумать, что после этого я скачу прямиком в Версаль и окунаюсь в придворную жизнь. Отнюдь нет — чаще всего я поворачиваю и еду через лес Сатори в Ла-Дюнетт, где занимаюсь различными делами. Поначалу они были больше финансового свойства, теперь — по преимуществу светские. Впрочем, учтите, что Ла-Дюнетт отстоит от главного дворца не дальше, чем Трианон или другие павильоны, посему воспринимается не как отдельное поместье, а скорее как часть королевского. Эта иллюзия усиливается архитектурой: Ла-Дюнетт возводил тот же человек, что и сам Версаль.

Поместье Ла-Дюнетт раскинулось на возвышенности Сатори, которая начинается от склона,

обращённого к пруду Швейцарцев и южному крылу королевского дворца. От взглядов дофина, дофины и прочих августейших обитателей этого крыла его скрывают деревья, но стоит миновать лесок, как попадаешь в уменьшенное подобие королевского парка. В частности, владенья де Лавардаков разделяют внушительные каменные стены с массивными чугунными решётками, через которые можно попасть из одного дворца в другой. Стены оканчиваются кирпичными домиками, призванными, по-видимому, символизировать кордегардии. Никакого практического смысла я в них усмотреть не смогла — видимо, они поставлены для красоты, как шишечки на балюстраде. Таких домиков в Ла-Дюнетт четыре. Два не отделаны внутри, у третьего меняют крышу, в четвёртом живу я. Он такой маленький, что мои немногочисленные домочадцы еле в нём поместились. Стоит он в лесу Сатори, так что я в любое время дня могу выскользнуть через заднее крыльцо и поехать в Версаль, минуя гравийные дорожки, радиально расходящиеся от главной усадьбы Ла-Дюнетт. Так я частенько и поступаю, отправляясь на обед или на церемонию вечернего туалета к какой-нибудь герцогине или принцессе. Таким образом, моя

здешняя жизнь практически не зависит от де Лавардаков. Впрочем, по меньшей мере раз в неделю я должна обедать с Этьенном под присмотром герцогини д'Аркашон.

С герцогом д'Аркашоном я пока не знакома. Прежде, служа в Версале гувернанткой, я несколько раз видела его издали, в окружении других сановников, но по незначительности своего положения не могла быть ему представлена. Затем моё положение изменилось, однако герцог занимался какими-то делами на юге. Бóльшую часть 1689 года он прожил в Версале, как раз в моё отсутствие, и отбыл на юг за несколько недель до моего приезда в декабре. Его ждали к Рождеству, но герцога вновь задержали дела. Несколько раз в неделю он пишет герцогине из Марселя, где приглядывает за галерами Средиземноморского флота, или из Лиона, где встречается с королевскими банкирами, закупает провиант, порох и тому подобное, или из Аркашона, где печётся о семейных делах де Лавардаков, или из Бреста, где надзирает за отправкой войск и припасов в Ирландию. Госпожа герцогиня всегда отвечает в тот же день, надеясь, что письмо застанет его до отъезда в какой-нибудь очередной порт. Таким образом герцог узнал кое-что обо мне и моих

действиях либо отсутствии оных, и в последнее время начал писать мне лично. По всему сдаётся, что я могу быть полезна семейству не только в качестве потенциальной пары для Этьенна. Герцог собирается участвовать в какой-то крупной денежной операции на юге, в результате которой рассчитывает к концу лета получить крупную сумму в звонком металле. Деталей он из осторожности не сообщает, но если я правильно поняла, он просит меня заняться переводом крупной партии слитков через Лион.

Так что мне будет наконец чем себя занять, и время вновь замедлится, поскольку я начну стремительно двигаться и менять взаимоотношения со всем вокруг.

Элиза, графиня де ля Зёр

Ла-Дюнетт
Середина июля 1690

«Ла-Дюнетт» означает «ют» — высокая надстройка на корме корабля, с которой капитан видит всё. Название пришло в голову Луи-Франсуа де Лавардаку, герцогу д'Аркашону, примерно двенадцать лет назад, когда тот стоял на взлобье холма, глядя между двумя облетелыми деревьями на замёрзшее болото — будущий пруд Швейцарцев, и южный фланг огромного строительного участка, коему вскоре предстояло стать дворцом Людовика XIV.

Король всё возводил быстрее всех, отчасти потому, что мог использовать армию, отчасти потому, что забрал себе лучших строителей. Ла-Дюнетт ещё была голым пустырём с красивым названием, когда его величество уже пригласил своего кузена герцога д'Аркашона осмотреть новый дворец. Дольше всего они пробыли в апартаментах королевы — анфиладе спален и приёмных, протянувшейся от салона Мира до караульни на верхнем этаже южного крыла. Король и герцог прошли по ней раз, другой, третий, останавлива-

ясь у каждого окна и обозревая Южный партер, оранжерею и лес Сатори. В конце концов герцог уяснил то, что король старался ему внушить, а именно: любое здание, воздвигнутое на вершине холма, испортит королеве вид из окна и создаст впечатление, будто де Лавардаки заглядывают в её опочивальню. В итоге больша́я кипа дорогостоящих чертежей пошла на растопку каминов в парижском особняке д'Аркашонов, а герцог пригласил самого Ардуэн-Мансара и поручил тому спроектировать дворец хоть и великолепный, но невидимый из королевиных окон. Мансар поставил здание за вершиной холма. Таким образом, вид из окон самого дворца получился ограниченный. Зато Мансар заложил променад, ведущий вокруг сада в бельведер, скромно прилепившийся на склоне и замаскированный виноградом. Отсюда вид был великолепен.

Перед обедом герцог и герцогиня д'Аркашон пригласили гостей (общим числом двадцать шесть) прогуляться в бельведер, освежиться на ветерке (день стоял жаркий) и полюбоваться Версалем, его садами и водоёмами. С такого расстояния невозможно было различить отдельных людей и разобрать голоса, но отчётливо угадывались скопления народа. В городе, за плацдармом,

францисканцы развели перед монастырём костёр и плясали у огня; временами порыв ветра доносил обрывки их пения. Праздновали и вдоль Большого канала, протянувшегося на милю по центральной оси королевских садов. Здесь преобладали парики. Даже конюхи на плацдарме разожгли костёр, к которому стянулись сотни простолюдинов — горожан, слуг из Версаля и близлежащих вилл, а также селян, которые, завидев дым и заслышав колокольный звон, сбежались посмотреть, что происходит. Многие, вероятно, представления не имели, кто такой Вильгельм Оранский и почему надо радоваться его смерти, что, впрочем, не мешало им присоединиться к веселью.

Этьенн д'Аркашон поднял бокал, призывая собравшихся у бельведера к молчанию.

— Учтивость не позволяет провозгласить тост за гибель принца Оранского[15], хотя тот был безбожным узурпатором и врагом Франции, — начал он. Слова эти повергли гостей, которые стояли на цыпочках, ожидая тоста, в полнейшее замешательство, но прежде, чем они опомнились, Этьенн сумел выбраться из риторической

---

[15] Примечания: 15
Французы не признавали Вильгельма королём Англии.

западни: — Посему предлагаю поднять бокалы за победу французского оружия и освобождение Британских островов в битве на Бойне.

Так все и сделали.

— Единственное, — продолжал Этьенн, — что могло бы наполнить сегодняшний день ещё бóльшим ликованием, это весть о победе на море, и Господь ответил на наши молитвы. Французский флот, коего верховным адмиралом имеет честью быть мой батюшка, выбил англичан и голландцев с Бичи-Хед и сейчас грозит устью самой Темзы. Франция побеждает повсюду: в Ирландии, во Фландрии и в Савойе. За Францию!

Вот это уже был тост! Все выпили. Затем последовало «За короля!», потом «За короля Англии!» (подразумевался Яков Стюарт) и «За господина герцога!». Последний тост герцогу пришлось пропустить, так как не полагается пить за своё здоровье. После этого он поднял бокал: «За герцогиню де ля Зёр, столько сделавшую для укрепления нашего флота». На что Элиза вынуждена была сказать: «За капитана Жана Бара, который, как говорят, вновь отличился у Бичи-Хед на своём корабле “Альциона”!»

Госпожа герцогиня, смотревшая на Версаль в оптический прибор, внесла в разговор нотку про-

тиворечия, а именно: «Поглядите, Луи-Франсуа, там у канала празднуют не смерть принца Оранского, там чествуют вас!» — и вручила супругу золотой кадуцей (символ Меркурия, подателя информации) с линзами, искусно вставленными в глаза двух серебряных змей, обвивших центральный стержень. Герцог поднёс его к лицу опасливо, словно боялся, что змеи вопьются жалами в его щёки, и заморгал в линзы. Однако всякий, обладающий хорошим зрением, мог и невооружённым глазом видеть, что на Большой канал спустили несколько золочёных барок, и теперь там разыгрывается битва у Бичи-Хед. Гребцы вздымали фонтаны брызг, похожие издали на пороховой дым. То и дело эхо от хлопка золочёным веслом по воде раскатывалось ружейным эхом. Пьяная абордажная команда, быть может, всё ещё разгорячённая воспоминаниями о декабрьском представлении Жана Бара, прыгала с барки на барку, раскачиваясь на шёлковых тросах, роняя самшитовые опоры и камчатные навесы, круша бархатную мебель. Такое могли позволить себе только принцы крови или незаконные дети королевских особ. Барка поменьше перевернулась; гости у бельведера испуганно замолчали, но смех и остроты вспыхнули с новой силой, как только

незадачливых корсаров принялись втаскивать в подоспевшую лодку и кончиками шпаг выуживать из воды их парики.

— Великий день! — объявил герцог, похожий в парадном адмиральском мундире на отрастивший ноги галеон. Он обращался к супруге, потом, что-то вспомнив, добавил: — И, надеюсь, впереди новые славные перемены и для нас, и для Франции!

Глаза его, повернувшись в глазницах, остановились на Элизе. Поскольку огромный парик венчала сдвинутая набок адмиральская шляпа, герцог старался без необходимости не двигать головой; манёвр этот требовал не меньшего расчёта, чем смена галса при управлении трёхмачтовым кораблём.

Элиза, осознав его затруднения, шагнула в поле зрения герцога.

— Не могу понять, господин герцог, почему, говоря это, вы смотрите на меня, — сказала она.

— Вскоре, если я сумею настоять, вы услышите от Этьенна некое предложение, и тогда всё разъяснится.

— Предложение вроде того, о котором вы упоминали в письмах?

Герцог сразу занервничал, глаза его забегали,

проверяя, не слышал ли кто, и вновь остановились на Элизе, которая улыбкой заверяла его в своей осторожности. Герцог сделал несколько шагов к ней — раскоряченной походкой африканской матроны, несущей на голове корзину с бананами.

— Не скромничайте, предложение Этьенна будет *совершенно другого рода*. Хотя я и впрямь хотел бы, чтобы оба предложения прозвучали в один день, осенью. Скажем, в октябре. На мой день рождения. Что вы на это скажете?

Элиза пожала плечами:

— Я не смогу ответить, пока не выслушаю предложений.

— Это мы устроим! Мальчик всё ещё во многих отношениях очень юн — не вышел из того возраста, когда полезно принять отеческий совет, особенно в том, что касается дел сердечных. Я слишком долго отсутствовал. Теперь я вернулся — по крайней мере на время — и буду его направлять.

— Я рада, что вы вернулись, пусть и ненадолго, — сказала Элиза. — У меня странное чувство, будто мы встречались — наверное, оттого, что ваши бюсты и портреты повсюду, а ваши пригожие черты отразились в лице Этьенна.

Герцог подошёл почти вплотную. Он недавно надушился туалетной водой, чем-то левантийским, но даже сильный аромат цитруса не мог заглушить какой-то другой запах. Видимо, птица или мышь несколько дней назад испустила дух под беседкой, а теперь на жаре начала вонять.

— Скоро обед, — сказал герцог. — Я пробуду здесь неделю. Встреча с королём и советом. Потом на берег Ла-Манша — встречать победоносный флот. Затем на юг. Я уже велел приготовить мою яхту. Нам с вами надо поговорить. После обеда, наверное. Встретимся в библиотеке, пока гости будут гулять по саду.

— Буду с нетерпением ждать, что вы разъясните свои загадки, — сказала Элиза.

— Ах, всё я не разъясню! — объявил герцог, явно довольный собой. — Только самое необходимое.

Элиза резко повернула голову и устремила взгляд на нескольких гостей, вышедших из беседки покурить. Невежливо было так обрывать разговор с герцогом, но Элиза сделала это непроизвольно. Повернуть голову её заставило слово, произнесённое одним из мужчин. Слово это было *une esclave* — рабыня. Обронил его Луи Англси, граф Апнорский. Формально он был англичанином, но часть жизни провёл во Франции и ни

платьем, ни речью, ни манерами не отличался от французских дворян. Апнор бежал из Англии вместе с Яковом Стюартом и стал заметной фигурой при дворе короля-изгнанника в Сен-Жермен-ан-Ле. Не в первый раз Элиза встречалась с ним на приёме.

Слово *esclave* в подобном обществе звучало довольно часто: многие в Версале получали доходы от невольничьего промысла. Однако обычно оно употреблялось в мужском роде, единственном числе и обозначало полный корабль невольников, идущий к плантации на Карибских островах. В женском роде единственного числа оно произносилось столь редко, что заставило Элизу повернуть голову.

Краем глаза она приметила белый овал женского лица и поймала устремлённый на себя взгляд. Элиза встрепенулась так резко, что, в свою очередь, привлекла чьё-то внимание. Надо лучше держать себя в руках. Хотелось бы знать, кто эта женщина, но обернуться и посмотреть значило бы себя выдать. Вместо этого Элиза попыталась сохранить в памяти образ смотревшей на неё женщины, высокой, в розовом шёлковом платье.

Она вновь повернулась к герцогу, собираясь извиниться за то, что отвлеклась. Однако тот,

торопясь закончить разговор и подойти к кому-то другому, учтиво откланялся и заспешил прочь. Элиза несколько мгновений провожала герцога взглядом. Когда он проходил мимо дамы в розовом, Элиза на мгновение подняла глаза и узнала герцогиню д'Уайонна.

Разрешив загадку, она вновь перевела внимание на Апнора и его клевретов.

Французские советники Якова Стюарта решили, что, отвоевав Ирландию, надо будет захватить Йглм и использовать его как своего рода люнет для атаки на Северную Англию. Отчасти этим объяснялась популярность Элизы при обоих дворах: французском в Версале и английском в Сен-Жермене. Соответственно за последние полгода она столько раз видела и слышала Апнора, что могла бы повторить наизусть начало его истории о бегстве из Англии.

Он отправил своих челядинцев в замок Апнор готовиться к отплытию во Францию, сам же задержался в Лондоне (по его словам, с риском для жизни), дабы проследить за чем-то неимоверно важным. Дело было настолько глубокого и мистического свойства, что Апнор отказывался говорить о нём прилюдно. Следовало понимать, что оно имело какое-то отношение к алхимии

или, по крайней мере, что Апнор пытается уверить в этом как можно больше народа. «Я не мог позволить, чтобы некоторые сведения попали в руки узурпатора либо его приспешников, что тщатся показать себя сведущими в материях, им на самом деле недоступных».

Так или иначе, завершив лондонские дела, Апнор вскочил на коня (он был большой ценитель лошадей, так что эта часть рассказа всегда сопровождалась подробной родословной скакуна, куда более выдающейся, нежели у большинства людей) и поскакал в замок. Его сопровождали два пажа с несколькими запасными лошадьми. Всё утро они мчались по южному берегу Темзы. Здесь дорога время от времени пересекает притоки Темзы, и там всегда есть мост или брод.

На одном из таких мостов Апнор приметил одинокого всадника, судя по платью — простолюдина, однако вооружённого. Тот явно кого-то подстерегал.

Слушателям хватило этой подробности, чтобы классифицировать историю, как член Королевского общества классифицировал бы незнакомое растение. Она принадлежала к жанру «Рассказы о том, как на знатного человека напали в дороге негодяи» — самому популярному за француз-

скими обедами. Просторы Франции кишели разбойниками и бродягами, а дворянам, живущим в Версале, приходилось время от времени навещать свои поместья. Дорожные тяготы и опасности входили в число их немногих общих переживаний, а следовательно, служили излюбленной темой для разговоров. Звучали они настолько часто, что всем порядком надоели; тем более ценились новые вариации. Рассказ Апнора отличался двумя достоинствами: действие его происходило в Англии и разыгрывалось на фоне революции.

— Я хорошо знаю этот отрезок пути, — говорил Апнор, — посему отправил одного из пажей, Фенли, по боковой дороге, ведущей к броду в полутора милях выше по реке.

Он концом трости начертил на дорожке грубую схему.

— Мы со вторым спутником осторожно двинулись по главной дороге, высматривая, не притаились ли в кустах сообщники негодяя. Однако их не было — всадник ждал на мосту один!

Слушатели зачарованно внимали — история принимала неожиданный оборот. Обычно в кустах пряталось мужичьё с дубинами.

— Всадник, видимо, заметил, куда мы глядим,

и крикнул: «Не тратьте время, милорд, это не засада! Я — один. Вы — нет. Соответственно я вызываю вас на дуэль. Без секундантов». И он вытащил палаш — прямую саблю, двулезую к концу, какую только и могли изобрести простолюдины, которым неосторожно разрешили носить оружие.

Апнор, разумеется, говорил на французском, передавая речь негодяя с самым вульгарным простонародным акцентом. Минуты две он расписывал клячонку противника, полудохлую и вдобавок едва не падающую от усталости.

Граф считался одним из лучших фехтовальщиков двух стран. В молодости он отправил на тот свет немало соперников, но в последние годы почти не дрался, поскольку его манера требовала проворства и остроты зрения. Тем не менее одна мысль, что какой-то шельмец вызвал Апнора на дуэль, рассмешила французов почти до колик.

Апнору хватило ума излагать свою историю в наивно-ироничном ключе.

— Я был скорее… озадачен, чем встревожен. Я ответил: «У тебя передо мною преимущество, любезный. Скажи хотя бы, как тебя зовут и за что ты хочешь меня убить».

«Я Боб Шафто», — отвечал он.

На этом месте слушатели всякий раз замирали — замерли и сейчас.

«Не родственник ли Жаку?» — спросил я. (Ибо такой же вопрос задавали себе те, кто обступил Апнора.)

Он ответил: «Брат». На это я сказал: «Едем со мной во Францию, Боб Шафто, и я отправлю тебя на галеры в солнечное Средиземное море — может, встретишься там с братом!»

Слушатели Апнора пришли в восторг. Все слышали про Жака Шафто, или Эммердёра, как называли его в этих краях. Имя его звучало в разговорах не так часто, как пару лет назад, ибо вести об Эммердёре не приходили с дебоша в особняке Аркашонов. О том, что именно тогда произошло, упоминали редко, во всяком случае — в присутствии де Лавардаков. Элизе оставалось догадываться, что приключился некий конфуз. Поскольку общественное мнение связывало её теперь с семейством де Лавардаков, при ней об этом случае тоже не разговаривали. Она уже не чаяла когда-нибудь выяснить подробности. Джек Шафто, от имени которого французских придворных когда-то бросало в дрожь, превратился в мифического персонажа и быстро забывался. Время от времени его выводили в очередном

плутовском романе.

Тем не менее произнести имя Шафто в доме д'Аркашона было не просто дерзостью — это попахивало афронтом. Вероятно, потому-то герцог резко оборвал разговор с Элизой и удалился в противоположном направлении. Такие вещи кончаются дуэлями. Некоторые слушатели заметно нервничали. Однако Апнор ловко повернул рассказ, намекнув, что Джек Шафто жив и гребёт на одной из галер герцога д'Аркашона. Теперь Элиза рискнула обернуться на хозяина дома. Тот стоял багровый, но улыбался; потом удостоил Апнора лёгким намёком на кивок (более сильное движение грозило бы благополучию адмиральской шляпы). Апнор отвечал низким поклоном. Слушатели, поняв, что поединка удалось избежать, засмеялись ещё громче.

Апнор продолжил рассказ:

— Этот Роберт Шафто сказал: «Мы с Джеком давно разошлись, и дело моё никак с ним не связано».

Я спросил: «Так почему ты не даёшь мне проехать?»

Он ответил: «Я утверждаю, что вы хотите вывезти из Англии нечто, вами незаконно присвоенное».

Я удивился: «Ты обвиняешь меня в краже, любезный?!»

Он сказал: «Хуже. Я говорю, что вы лживо заявляете права на английскую девушку Абигайль Фромм».

Я возразил: «Вовсе не лживо, Боб Шафто. Я владею ею так же безраздельно, как ты — своими драными башмаками, что подтверждает документ, подписанный милордом Джеффрисом».

Он сказал: «Джеффрис в Тауэре. Ваш король в бегах. А вы, если не отдадите мне Абигайль, будете в могиле».

Апнор полностью завладел вниманием слушателей — не потому, что хорошо рассказывал, а потому что сумел связать подзабытое, но по-прежнему громкое имя Джека Шафто с бурными событиями в Англии. Разумеется, французскую знать завораживала привычка англичан казнить или вышвыривать из страны собственных королей. Мысль, что Вильгельм Оранский и его английские союзники состоят в тайном сговоре с всемирной сетью бродяг, придавала делу особую пикантность.

Обед уже объявили, и граф видел, что время поджимает. Он быстро свёл повествование к концу, после чего все направились к усадьбе. В этой

истории Апнор прочёл Бобу Шафто проповедь, указал тому на место и разъяснил преимущества сословной системы, а тем временем Фенли, переехавший реку вброд, подскакал сзади с намерением заколоть Боба ударом в спину. Боб в последний миг услышал приближающегося противника и взмахнул палашом, чтобы отбить удар. Шпага Фенли вонзилась в круп Бобовой клячонки, и та встала на дыбы. Боб не совладал с лошадью, поскольку отбивался от второго удара (и поскольку людям его звания вообще не след ездить верхом). Тем не менее Боб всё же отрубил Фенли правую руку выше локтя, но в итоге выпал из седла. (Можно вообразить себе веселье слушателей — великолепных наездников.) Он упал «как куль с овсом» на каменный парапет моста. Апнор со спутником поскакали к нему, держа наготове пистолеты. Шафто от страха потерял равновесие и свалился в реку. Здесь история стала подозрительно расплывчатой, поскольку гости вошли в дом и принялись рассредоточиваться вдоль длинного обеденного стола. То ли Шафто утонул, то ли погиб от пули Апнора, который стоял на мосту и упражнялся в стрельбе по увлекаемому течением противнику. «И что есть река, как не озеро, которое вырвалось из

указанных ему пределов и теперь беспомощно низвергается в бездну?»

Обед был как обед: мертвечина, приготовленная и приправленная соусами так, чтобы непонятно было, как долго она пролежала мёртвой. Немного ранних овощей; впрочем, зима выдалась долгая, весна запоздала, и на огороде ещё почти ничего не поспело. Очень плотные и сладкие лакомства, выписанные герцогом из Египта.

Элиза сидела напротив герцогини д'Уайонна и старалась не встречаться с ней взглядом. Герцогиня была дама не первой молодости, крупная, но не рыхлая, и носила много драгоценностей, что смотрелось несколько вызывающе. (Их следовало либо заложить, а средства пожертвовать на войну, либо спрятать.) Впрочем, герцогиня носила их хорошо; выручала и внушительность фигуры. Элизу раздражало и само её присутствие, и богатство, и то, что она сделала, а главное — уверенная манера держаться. Другие женщины завидовали Элизиной уверенности в себе; сейчас она поймала себя на сходном чувстве к герцогине д'Уайонна.

— Как ваш маленький сиротка? — спросила герцогиня Элизу в середине обеда.

Вопрос был либо наивный, либо бестактный. Несколько гостей повернули голову в их сторону — словно кошки, заметившие какое-то движение в комнате.

— О, я считаю его не своим, а Божьим, — ответила Элиза, — и он совсем не такой маленький. Ему год — во всяком случае, мы так думаем, поскольку не знаем точной даты его рождения. Уже ходит, чем доставляет уйму хлопот нянькам.

Те, у кого были маленькие дети, рассмеялись. Элиза тонко просчитала ответ, чтобы заранее отбить атаки герцогини по всем возможным направлениям, однако та лишь взглянула как-то непонятно и больше ни о чём не спросила.

Вошёл с депешей молодой офицер, в котором Элиза узнала герцогского адъютанта Пьера де Жонзака. Герцог, прискучивший разговором, с жаром схватил конверт. Гости донимали его шутками о том, что он ничего не ест, однако герцог объяснил, что должен соблюдать диету «из-за пищеварения» и уже поел в одиночестве. Он вскрыл депешу, просмотрел, грохнул ладонью о стол и некоторое время трясся от беззвучного смеха, одновременно мотая головой в знак того, что известие отнюдь не комическое.

— Что случилось? — спросила герцогиня д'Ар-

кашон.

— Донесение было ошибочным, — объявил её супруг. — Францисканцам придётся потушить костёр. Вильгельм Оранский жив.

— Однако нам достоверно известно, что его сбило с коня пушечным ядром, — вмешался граф Апнорский. Как приближённый Якова Стюарта он получал самые свежие известия из действующей армии.

— Да, сбило. Однако он жив.

— Как такое возможно?

Гул за столом не утихал минут двадцать. Элиза поймала себя на том, что думает о Бобе Шафто, который должен был участвовать в сражении на Бойне, если не умер зимой от чумы или других болезней. Когда она случайно посмотрела через стол, то вновь заметила на себе пристальный взгляд герцогини д'Уайонна.

— Теперь об операции, — сказал герцог, раскурив трубку.

Аромат табака заглушил трупный запах, который Элиза впервые почувствовала в беседке — по какой-то причине он преследовал её даже в гостиной. Хотелось встать и распахнуть дверь, чтобы впустить благоухающий розами воздух сада, но это нарушило бы их уединение.

— Она будет включать перевозку большого количества серебра. Я просил бы вас поехать в Лион и обо всём условиться.

— Серебро и впрямь поедет через Лион, или только…

— Да, да. Вы его увидите. Это не просто перевод через Депозит.

— Тогда почему Лион? Есть более удобные места.

— Видите ли, серебро сгрузят с моей яхты в Марселе. Оттуда его проще всего доставить в Лион — по Роне, разумеется.

— Что ж, понимаю. Это самый безопасный путь. Скажите, речь идёт о монетах?

— Нет, мадемуазель.

— А. Мне представлялись пиастры.

— Нет, это чушки. Хороший металл, не перечеканенный на монеты.

— Теперь я лучше понимаю ситуацию. Чушки и впрямь не стоит возить далеко. Вам нужен переводной вексель на банк в Париже.

— Да, совершенно верно.

— Замечательно. В Лионе этим занимаются несколько торговых домов.

— Да. И при обычных обстоятельствах мне было бы всё равно, к какому из них обратиться. Однако

в данном случае я попрошу вас не прибегать к услугам Хакльгебера. У меня есть подозрение, что по завершении операции старый бес Лотар будет очень на меня зол. — И герцог рассмеялся.

— Могу ли я заключить, что дело как-то связано с пиратством?

Герцог, очевидно, нашёл вопрос глупым, однако благовоспитанность взяла верх.

— Без сомнения, именно этот ярлык навесит на него Лотар, дабы оправдать любые… встречные меры. Однако на войне такого рода действия вполне законны. Я уверен, что вы не видите в них ничего предосудительного, мадемуазель, учитывая вашу дружбу с Жаном Баром и то, что вы совместно с маркизом д'Озуаром прямо ему покровительствуете.

Он от души рассмеялся, обдав Элизу своим дыханием. На неё повеяло смертью. И ещё неким воспоминанием.

— Что с вами, мадемуазель? Вам нехорошо?

— Здесь очень душно.

— Так идёмте в сад! Мне больше нечего добавить, кроме того, что поездку в Лион вам следует планировать не позже, чем на конец августа.

— Мы с вами там увидимся?

— Неизвестно. Есть ещё один аспект операции,

не имеющий касательства к деньгам, но тесно связанный с честью моей семьи. Здесь замешаны личные счёты, которые ни в коей мере не должны вас занимать. Разумеется, эту часть дела я должен выполнить сам — в том-то весь и смысл. Не знаю, где и когда именно. Тем не менее можете рассчитывать, что к своему дню рождения, четырнадцатого октября, я буду в Париже, в особняке Аркашонов. Ожидается великолепное празднество, я уже составляю планы. Будет король, мадемуазель. Тогда мы и увидимся, а если Этьенн выполнит свой сыновний долг, то, думаю, сможем и объявить о счастливом событии!

Он повернулся и подал Элизе руку, и та сдержалась, чтобы не отшатнуться от его запаха.

— Не сомневаюсь, что всё будет, как вы решили, мсье, — сказала она. — Но коли мы выходим в сад, я хотела бы, с вашего позволения, сменить тему и поговорить о лошадях.

— С превеликим удовольствием! Я их большой ценитель.

— Вижу, ибо свидетельства вашей к ним страсти окружают меня с самого приезда. Ещё тогда я заметила, что в вашей конюшне есть альбиносы.

— О да!

— Увидев их, я подумала, что они популярны

среди французской знати, и рассчитывала увидеть других таких у короля и благородных господ по соседству. Однако за всё время не встретила ни одного.

— Уж надеюсь! Вся их ценность в том, что они редки и потому заметны. Турецкая кровь.

— Можно ли спросить, у кого вы их купили? Некий французский заводчик вывозит их с Леванта?

— Да, мадемуазель, — отвечал герцог, — и он сейчас имеет честь держать вас под руку. Это я несколько лет назад вывез Пашу́ во Францию из Константинополя через Алжир, путём невероятно сложного обмена.

— Пашу́?

— Производителя, мадемуазель, жеребца-альбиноса, родоначальника всех остальных!

— Наверное, он был великолепен.

— Он и сейчас великолепен, мадемуазель, ибо жив до сих пор!

— Неужели?

— Он стар, и его редко выводят из конюшни, но в тихие вечера вроде сегодняшнего вы можете видеть, как он разминает в загоне дряхлые косточки!

— И когда же вы привезли Пашу́?

— Когда… Дайте-ка вспомнить… лет десять назад.

— Точно?

— О нет, что я говорю! Время летит так быстро! Этим летом будет одиннадцать.

— Спасибо, что удовлетворили моё любопытство и проводили меня в ваш чудесный сад, мсье, — сказала Элиза, наклоняясь к кусту, чтобы понюхать розу — и спрятать от герцога лицо. — А теперь я погуляю одна, чтобы проветрить голову. Возможно, дойду до загона и засвидетельствую своё почтение Пашé.

Как многие другие люди, Элиза за всю жизнь никогда не оказывалась дальше, чем на бросок камня от открытого огня. Всюду что-нибудь горело: печь, костёр, свеча, трубка с табаком или гашишем, кадило, фонарь, факел. То было ручное пламя. Все знают, что огонь может вырваться на свободу. Элиза видела следы пожаров в Константинополе, в Венгрии, где турецкое войско сжигало целые деревни, в Богемии, где на каждом шагу попадались старые крепости, спалённые во время Тридцатилетней войны. Однако ей не доводилось наблюдать, как безобидная искра превращается в бушующее пламя, пока два года назад патриотически настроенная толпа не

спалила до основания дом господина Слёйса, уличённого в предательстве республики. Тогда сторонники Вильгельма Оранского кидали в окна факелы. Господин Слёйс и его домочадцы сбежали, не успев заколотить дом. Несколько минут ничего не происходило. Волнение толпы нарастало: свет факелов, медленно догоравших в тёмных брошенных комнатах, доводил её до неистовства. И вдруг в верхнем окне занялось жёлтое зарево — вспыхнула гардина. Вероятно, это спасло жизнь тем нападавшим, которые уже готовы были лезть в выбитые окна и крушить дом голыми руками. Пламя медленно разгоралось, охватывая одну комнату за другой. Зрелище было занятное, но не особо впечатляющее, толпа уже начала скучать. И вдруг в какое-то мгновение пламя переступило невидимый порог и просто взорвалось, охватив весь дом, словно плохо пригнанная одежда. Оно ревело, втягивая воздух, срывая с толпы парики и шляпы. Горящие головни летели, как метеоры. Вихри белого пламени возникали, сталкивались и поглощали друг друга. Земля гудела. Реки расплавленного свинца — ибо в доме хранился свинец — выплеснулись на улицу и растеклись между камнями мостовой светящейся сеткой, остывавшей от жёлтого к оранжевому и красно-

му. В какой-то миг чудилось, будто ещё минута — и пламя охватит весь Амстердам, а за ним всю Голландскую республику, однако его сдержали кирпичные противопожарные стены по обе стороны дома. Стеснённый ими пожар казался ещё страшнее, чем если бы вырвался на свободу — вся ярость сосредоточилась между этими стенами вместо того, чтобы расплескаться и сойти на нет.

Слёзы — субстанция жидкая; педанты могут возразить, что они по своей природе противоположны огню и не имеют с этой стихией ничего общего. И всё же, как Элиза никогда не оказывалась далеко от огня, так поблизости от неё кто-нибудь всегда проливал слёзы. Дети были повсюду, они постоянно плакали. Взрослые — реже, но с ними это тоже случалось, особенно с женщинами. В алжирских баньёлах, в гареме Топкапы, при дворах европейских владык Элиза проводила бóльшую часть времени в обществе женщин разного возраста и положения, и редкий день проходил без того, что бы хоть у одной глаза не наполнились слезами от боли, гнева, радости или горя. Сама она частенько позволяла себе всплакнуть в одиночестве, особенно после рождения Жан-Жака. Однако те слёзы напоминали пламя свечи или кухонного очага — часть домашней

жизни, управляемая, непримечательная.

Порою Элиза видела рыдания другого рода — дикие, до судорог, с вырыванием волос, раздиранием одежды и заламыванием рук. Сама она такого не испытывала до сего вечера, пока не вошла в загон за конюшнями герцога д'Аркашона, на возвышенности Сатори, и не оказалась нос к носу с Пашой — арабским жеребцом-альбиносом, которого видела на пристани в Алжире одиннадцать лет назад. Их с матерью похитили на берегу Внешнего Йглма берберийские корсары, подчинявшиеся, как выяснилось, европейцу. Весь путь до Алжира обеих растлевал в тёмной каюте необрезанный человек с белой кожей, любитель протухшей рыбы. В Алжире они попали в баньёл и стали достоянием некоего торгового предприятия, о котором было известно очень мало, лишь то, что оно импортирует из христианского мира некоторые товары, в том числе рабов, и экспортирует шёлк, духи, оружие, лакомства, приправы и другую восточную роскошь. Как только Элиза немного подросла, её продали в Константинополь в обмен на этого коня. Впрочем, если верить герцогу, обмен был куда сложнее, что усугубляло обиду, ибо означало, что одна Элиза не стоила этой лошади. Тогда она поклялась найти и убить

смердящего тухлой рыбой человека из тёмной каюты. Памятуя обширность христианского мира — в одной Франции двадцать миллионов душ! — она полагала, что поиски затянутся надолго.

Это её и подвело. Она прожила в Европе всего семь лет! А первого де Лавардака встретила всего через два, самого же герцога д'Аркашона увидела, пусть издали, через четыре. Будь она чуть внимательнее, его можно было давным-давно узнать и убить.

И чем она вместо этого занималась? Дружила с натурфилософами. Что-то из себя корчила. Зарабатывала деньги, которых всё равно лишилась.

Слёзы, брызнувшие из Элизиных глаз, когда она вошла в загон и увидела Пашу́, соотносились с обычными будничными слезами, как пожар в доме Слёйса с огоньком свечи. Казалось, они выплеснутся из оков тела, примнут траву, зальют луг солёной росой, бросят Пашу́ на распухшие от старости колени, сорвут ограду, заставят деревья гнуться и стонать, как в пургу. Возможно, тогда Элизе полегчало бы, однако вихрь горя, ярости и унижения не вырвался за пределы грудной клетки, поэтому тяжелее всего пришлось рёбрам. И корсет на что-то сгодился — иначе она бы сломала себе хребет. Подобно вспыхнувшему дому

Слёйса, она гудела и трещала, а слёзы, бежавшие по щекам, жгли, как расплавленный свинец. На Элизино счастье, гости собрались вдалеке и ничего не слышали за взрывами собственного смеха. Единственным свидетелем был Паша́. Коня помоложе напугало бы превращение графини де ля Зёр в Медею, в фурию. Паша́ только повернулся боком, чтобы удобнее было за ней наблюдать, и продолжил щипать травку.

— Представления не имею, что на вас нашло, мадемуазель, — произнёс рядом женский голос. — Впервые вижу, чтобы на кого-то так подействовала лошадь.

Герцогиня д'Уайонна точно подгадала время. Минутой раньше Элиза не смогла бы остановиться, даже если бы её обступили все гости. Однако рыдания понемногу перешли в медленные всхлипывания, которые Элиза сумела унять, как только поняла, что на неё смотрят.

Она выпрямилась, сделала глубокий вдох и икнула, ничуть не сомневаясь, что выглядит зарёванной и смешной, будто не повзрослела и на день ни душою, ни телом с того времени, когда впервые увидела Пашу́. Эта мысль заставила её невольно втянуть голову в плечи: *в тот день* она навсегда потеряла мать, *сейчас* рядом стояла

более крупная, сильная, опытная и богатая женщина, материализовавшаяся так же внезапно, как исчезла матушка одиннадцать лет назад. Опасное сравнение.

— Молчите, — произнесла герцогиня д'Уайонна, — вы не в состоянии говорить, а мне безразлично, почему эта лошадь произвела на вас такое впечатление. Учитывая, кто её хозяин, могу лишь предположить, что речь идёт о чём-то невыразимо гнусном. Подробности, вероятно, скучны и мерзки, а главное, не важны. Всё, что меня интересовало, мадемуазель, я увидела на вашем лице во время и после обеда. Теперь я знаю, что вы странно воспринимаете рассказы о девушках, проданных в рабство. Что ваша участь довольно сходна: вы не любите Этьенна де Лавардака, но вскоре будете вынуждены выйти за него замуж. Что вы презираете его отца-герцога. Пожалуйста, не отпирайтесь, не то боюсь, как бы я не рассмеялась вам в лицо.

Она выдержала паузу, давая Элизе возможность возразить, но та промолчала.

Герцогиня продолжала:

— Я читаю подобные ситуации не хуже, чем мсье Бонавантюр Россиньоль читает шифры. Я думала, что мне одной выпала такая участь,

пока не попала в Версаль! Довольно скоро я поняла, что человек не должен так несправедливо страдать. Есть много способов исправить дело. Никто не живёт вечно, а многим не следовало бы доживать и до их нынешних лет.

— Я знаю, о чём вы говорите, — сказала Элиза.

В первый миг собственный голос показался ей странным: он принадлежал совершенно другой Элизе, которая только что с криком родилась из прежней. Она прочистила саднящее горло и мучительно сглотнула. Взгляд невольно устремился к мыловарне герцогини д'Аркашон.

— Вижу, — заметила её собеседница.

— Вы бессильны повлиять на мои намерения.

— Разумеется, о, моя гордая девочка!

— Мои цели определены годы назад. Что до средств, возможно, мне бы пригодился ваш совет. Мне безразлично, что будет со мной, но если я стану добиваться своей цели явными средствами, может пострадать дитя в сиротском приюте.

— Так знайте, что вы принадлежите к самому рафинированному обществу, какое видел свет, — сказала герцогиня. — Ему ведомы изящные способы осуществить всё, что только возможно пожелать. Столь знатной даме, как вы, не пристало действовать открыто и грубо.

— Учтите, что речь не о наследстве. Речь о чести.

— Нимало не удивляюсь. Вы меня презираете. Я видела это по вашим взглядам. Презираете, поскольку думаете, будто я стремилась завладеть деньгами покойного мужа. Теперь вы нуждаетесь в моем совете, но прежде даёте понять, что вы лучше меня, ваши мотивы чище. А теперь послушайте меня. В мире очень мало людей, готовых убивать ради денег. Глупо верить, будто французский двор кишит этими редкими индивидуумами. Прежде здесь довольно многие участвовали в чёрных мессах. Вы и впрямь думаете, будто все эти люди просыпались однажды утром с мыслью: «Сегодня я поклонюсь Князю Тьмы»? Разумеется, нет. Просто какая-то девица в отчаянном желании заполучить мужа, чтобы её не отправили до конца дней в монастырь, узнаёт, что такой-то и такой-то готовит приворотное зелье. Она копит деньги, едет в Париж и покупает колдовское снадобье у шарлатана. Ясное дело, оно не действует, но она убеждает себя, будто немного подействовало. Теперь она мечтает о чём-нибудь более сильном, например о магическом заклятии. Шажок за шажком, и вот она уже крадёт в церкви освящённую гостию и

отправляется в погреб, где над её обнажённым телом отслужат чёрную мессу. Опрометчивая глупость, рождающая зло. Однако стремилась ли девушка ко злу? Разумеется, нет.

— С юными сердцами, движимыми любовью, мы разобрались, — сказала Элиза. — А как насчёт замужних женщин, чьи мужья умирали внезапной смертью? Они тоже действовали из любви?

— Собираетесь ли действовать из любви вы, мадемуазель? Я не слышала, чтобы ваши хорошенькие губки произнесли слово «любовь». Я слышала слово «честь» и полагаю, что у нас с вами больше общего, нежели вы готовы признать. Вы не первая женщина в мире, готовая мстить за поруганную честь. Всем известно, что Этьенн де Лавардак вас соблазнил…

Элиза фыркнула.

— Вы думаете, дело в этом? Мне плевать.

— Признаюсь, мадемуазель, мне безразлично, почему вы хотите, чтобы ваш брак был кратким, а вдовство — долгим.

— О нет. Этого заслужил не Этьенн.

— Значит, герцог д'Аркашон? Прекрасно. О вкусах не спорят. Однако вы должны понять, что изящные методы не терпят спешки. Если хотите убить герцога сейчас, заколите его. Если хотите

некоторое время радоваться его смерти и вырастить своего малютку, запаситесь терпением.

— Я готова терпеть, — сказала Элиза, — до четырнадцатого октября.

Книга 4
Бонанца

Кадисский залив
5 августа 1690

Испанцы, при всей лени и при всём богатстве и обширности своих колоний, способных удовлетворить самую ненасытную алчность, не останавливались, доколе оставались новые неизведанные земли или по крайней мере неоткрытые золотые и серебряные копи.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

Одним глазом Джек смотрел в вёсельный порт сквозь неподвижный пласт жара, лежащий на воде, как жидкое стекло на расплавленном олове в чане стеклодува. На низком песчаном берегу скакали белые призраки, огромные и бесформенные. Никто не понимал, что это такое, пока галиот не подполз к берегу, словно таракан по ручке ковша. Тогда выяснилось, что вдоль всего берега тянутся бассейны, в которых на солнце выпаривается соль. Невидимые с моря работники лопатами сгребали её в конусы, холмы и пирамиды. Когда галерники это поняли, то едва не

умерли от жажды. Они работали вёслами почти без остановки несколько дней кряду.

Кадис вдаётся в залив, словно каменный нож. Белые здания выросли на нём, как щётка кристаллов. Галера подошла к причалу, выступающему в море, и взяла на борт запас воды; корсары, чтобы держать участников предприятия на коротком поводке, снабжали их водой в очень ограниченном количестве. Однако начальник порта не позволил им задержаться надолго, поскольку (как они увидели, обогнув мыс) в лагуне стояло на якоре множество кораблей, поразивших бы Джека, не бывай он в Амстердаме. По большей части они были крутобокие, с высокой кормой, испещрённые пушечными портами. Джек впервые созерцал испанские галеоны в полной красе — до сих пор ему доводилось видеть лишь обломки на рифе возле Ямайки. Тем не менее узнать их не составило труда.

— Мы не слишком рано, — сказал он. — Теперь остаётся один вопрос: не слишком ли мы поздно?

Они с Мойше де ла Крусом, Врежем Исфахняном и Габриелем Гото переглянулись и разом вопросительно посмотрели на Отто ван Крюйка.

— Пахнет хлопком-сырцом, — сказал тот, по-

том встал и посмотрел поверх планширя на город. — Грузчики таскают тюки в генуэзские склады. Хлопок как самый объёмистый выгружают первым, значит, галеоны бросили якорь не так давно.

— И всё же, сдаётся, мы опоздали — наверняка бриг вице-короля направился прямиком к Бонанце, — проговорил *раис,* то есть капитан, Наср аль-Гураб.

— Не обязательно, — возразил ван Крюйк. — Бóльшая часть кораблей ещё не приступила к разгрузке, значит, не кончился таможенный досмотр. Что там с бакборта, кабальеро?

Иеронимо смотрел через вёсельный порт со своей стороны.

— Рядом с одним из больших кораблей стоит барка под славным стягом его величества, безмозглого от рождения изморыша. — Он пробормотал короткую молитву и перекрестился. Такие или ещё менее лестные выражения частенько срывались с его губ при попытке выговорить «король Карл Второй Испанский». — Скорее всего, это шлюпка кровососов.

— Ты хочешь сказать, таможенников? — уточнил Мойше.

— Да, христоубивец ты краснорожий, дикарь

пархатый, именно это я и хотел сказать, прошу извинить мою неточность, — учтиво ответил Иеронимо.

— Однако бригу вице-короля не обязательно проходить таможенный досмотр в Кадисе — можно сделать это в Санлукар-де-Баррамеда, не дожидаясь очереди, — заметил Мойше.

— Вице-король наверняка разместил часть неправедного добра в том числе и на галеонах. У него есть все причины дождаться окончания досмотра, — ответил Иеронимо.

— Ха! Отсюда я вижу Кальe-Нуэва! — воскликнул ван Крюйк. — Сегодня она пестрит шелками и страусовыми перьями.

— Это что, улица портных? — спросил Джек.

— Нет, биржа. Половина европейских негоциантов собралась здесь, и все разряжены по французской моде. Год назад они отправили товары в Америку, теперь приехали за выручкой.

— Я вижу его, — проговорил Иеронимо с ледяным спокойствием, от которого Джеку стало немного не по себе. — Он скрыт галеоном, но я вижу на мачте штандарт вице-короля.

— Бриг?! — спросили разом несколько голосов.

— Он самый, — отвечал Иеронимо. — Провидение, что столько лет дрючило нас в жопу, привело

наше судно сюда в самое удобное время.

— Так, значит, гром, прокатившийся вчера над заливом, был не грозой, а пушками, приветствующими галеоны, — произнёс Мойше. — Давайте попьём воды, проведём сиесту и направимся к Бонанце.

— Хорошо бы кому-нибудь из нас пойти в город и поболтаться рядом с Домом Золотого Меркурия, — заметил ван Крюйк.

Слова эти сказали бы Джеку не больше птичьего щебета, если бы не внезапное воспоминание.

— В Лейпциге есть торговый дом с таким же названием — он принадлежит Хакльгеберам.

Ван Крюйк продолжил:

— Как лососи сходятся с океанских просторов в устья быстрых рек, так Хакльгеберы стремятся туда, где движутся большие потоки золота и серебра.

— Почему нас должны заботить их кадисские дела?

— Потому что им есть дело до наших.

— Пустой разговор. Ни одного человека с этого галиота не впустят в город, — отрезал Мойше.

— Думаешь, в Санлукар-де-Баррамеда будет иначе? — фыркнул ван Крюйк.

— О, в город я нас провести сумею, капитан, —

заверил Джек.

После того как спал дневной жар, они двинулись на вёслах к северу, держась правым бортом к соляным промыслам. Судно их представляло собой полугалеру, или галиот, приводимый в движение двумя латинскими парусами (от которых сейчас, при слабом переменчивом ветре, почти не было проку) и шестнадцатью парами вёсел. Каждым из тридцати двух вёсел гребли двое, так что полный комплект гребцов составляли шестьдесят четыре раба. Как и весь план, вопрос этот был продуман самым тщательным образом. Огромная боевая галера с двумя дюжинами скамей, пятью-шестью гребцами на каждое весло и сотней вооружённых корсаров на борту была бы немедленно атакована испанским флотом. Самой маленькой галере — бригантине — требовалось втрое меньше гребцов, нежели галиоту. Однако на таком крохотном судёнышке было невозможно или, во всяком случае, непрактично держать невольников, так что гребли свободные; подойдя к купеческому кораблю, они выхватывали сабли и превращались в корсаров. Посему бригантина вызвала бы больше подозрений, нежели значительно более крупный галиот; она вмещала до трёх десятков корсаров, в то время как команда

галиота (не считая скованных невольников) была куда меньше. В данном случае она состояла всего из восьми корсаров, притворявшихся мирными торговцами.

Галиот имел форму совка для пороха. Под босыми ногами гребцов располагались доски, закрывавшие неглубокий трюм, но больше палуб не было, кроме шканцев на корме, приподнятых, как у всех галер этого типа, высоко над водой. Таким образом, галиот был открыт взглядам почти на всю длину; всякий, заглянув внутрь, видел несколько десятков скованных невольников и распиханный повсюду товар — свёрнутые ковры, кожи и ткани, бочонки с финиками и оливковым маслом. Тощие фальконеты на носу и на корме, куда было не подобраться из-за товара, только увеличивали иллюзию беспомощности. Лишь очень дотошный наблюдатель заметил бы, что гребцы как на подбор исключительно сильные и здоровые — лучшие, какие нашлись на невольничьих базарах Алжира. Десятеро сообщников сидели ближе к бортам, чтобы удобнее было смотреть в вёсельные порты.

— В такой штиль вице-королевского брига придётся дожидаться ночь или две, — заметил Джек.

— Всё зависит от приливов и отливов, — отве-

чал ван Крюйк. — Нам нужен ночной отлив. И штиль, чтобы уйти от любых преследователей под покровом мрака. На рассвете поднимется ветер, и тогда нас сможет догнать любой, кто увидит…

Он сбился на бормотание, раздумывая о прочих возможных помехах, которые на стадии разработки плана казались несущественными, а теперь, словно тени на закате, выросли до угрожающих размеров.

Медный вечерний свет уже бил в вёсельные порты правого борта, когда галиот чуть ниже осел в воде и затрепетал от встречного течения. Поначалу они ничего не заметили — это была первая крупная река после Гибралтара, да и, если на то пошло, с самого Алжира. Джек руками и спиной чувствовал, почему древние гребцы-мавры назвали её Вади-аль-Кабир — Великой рекой. Когда Иеронимо ощутил веслом её ток, он встал и через порт подставил ладонь гребню волны. Проглотив пригоршню воды, он закашлялся, потом лицо его приняло блаженное выражение. «Пресная вода, вода Гвадалквивира, бегущего с гор, обители моих предков», — объявил он и ещё долго вещал в том же роде. Во время церемонии его весло бездействовало, а следовательно, не

могли двигаться все вёсла левого борта.

— Что до меня, — громко произнёс Джек, — я больше знаком с помойными канавами, нежели с горными ручьями, и не могу поверить, что мы проделали такой путь ради удовольствия покружить в сточных водах Севильи и Кордовы!

Иеронимо выпятил грудь и приготовился вызвать Джека на дуэль, однако надсмотрщик вытянул его «бычьим хером» по спине, напомнив всем, что они по-прежнему невольники. Джек задумался, что будет, когда Иеронимо дадут шпагу.

Следующие несколько часов стали сплошным напоминанием об их рабской доле. Гребли вверх по течению, вечернее солнце било в глаза. Ван Крюйк сыпал ругательствами почти без остановки — Джек подумал, что для офицера нет ничего унизительнее, чем смотреть назад, не видя, куда движешься. Постепенно им начали попадаться на глаза верхушки мачт, а слуха коснулся дивный скрежет скользящих в клюзы якорных канатов. Теперь можно было склониться над вёслами и дать роздых усталым спинам.

Наср аль-Гураб, раис, был сыном янычара и алжирки. Он неплохо говорил и на испанском, и на сабире, на котором и сказал сейчас: «Выведите сменных гребцов». Доски приподняли, четверо

мокрых невольников вылезли на палубу из трюма и быстро сменили Джека, Иеронимо, Мойше и ван Крюйка. Всё это происходило под парусом, который расстелили якобы для починки, чтобы любопытные матросы с реев или марсов соседних кораблей не приметили странного преображения галерников в свободных. Тем временем — на случай, если кто-нибудь считает головы — четверо корсаров удалились подремать в тень высоких шканцев. Вытащили мешок старой одежды, награбленной у пленных, томящихся сейчас в Алжире, и четвёрка сообщников начала перебирать тряпьё, словно дети, затеявшие игру в переодевание.

— На палубе предпочтительны тюрбаны, — объявил Джек, — потому что у меня волосы соломенные, у ван Крюйка — рыжие, а что до Мойше…

Все довольно долго смотрели на Мойше, пока тот не сказал:

— Дайте кинжал, я отрежу пейсы. Такая уж наша криптоиудейская доля.

— Да отрастут они такими пышными и длинными, чтобы тебе пришлось заправлять их в голенища, — произнёс Джек.

Последний час до заката они провели на высо-

ких шканцах в тюрбанах и длинных алжирских бурнусах. Санлукар-де-Баррамеда вставал над ними с южного берега, где река впадает в залив. Он походил на неумелую уменьшенную копию Алжира — его окружала стена, под ней на песчаном берегу рыбаки разбирали сети. Ван Крюйк мельком взглянул на город, потом вырвал у раиса подзорную трубу, забрался на мачту и долго смотрел на воду, изучая течение и запоминая, где расположен пресловутый подводный вал. Мойше разглядывал предместье выше по течению от города, сразу за крепостной стеной: Бонанцу. Казалось, она состоит исключительно из вилл, каждая за собственной стеной. Через некоторое время ретивый Иеронимо различил над одной из них флаг с гербом вице-короля — во всяком случае, так можно было заключить по хлынувшему из него потоку ругательств.

Джек, со своей стороны, высматривал место, куда с наступлением темноты можно будет подойти на лодке. Между стенами вилл росли, как грибы, бродяжьи лачуги, а вглядевшись, можно было различить и глинистое месиво на участке берега, куда бездомные спускались за водой. Джек запомнил направление по компасу, не зная, впрочем, какой от этого будет толк в темноте,

когда их начнёт сносить течением.

— Глупо было идти в город при свете дня, — сказал Иеронимо, — а с наступлением ночи глупо не идти. Ибо сейчас Санлукар-де-Барраме да посещают только контрабандисты. Если мы не попытаемся сделать что-нибудь незаконное в первую же ночь, то вызовем подозрение властей!

— На случай, если кто-нибудь спросит… какой незаконный предлог мы назовём? — спросил Джек.

— Скажем, что должны встретиться с неким испанским господином, не назвавшим нам своего настоящего имени.

— Испанские господа, как правило, чрезвычайно гордятся своими именами — кто из них отказался бы себя назвать?

— Тот, кто встречается по ночам с еретическим отребьем, — отвечал Иеронимо. — И, на твоё счастье, в этом городе таких хоть отбавляй.

— На вон той шхуне что-то многовато высокопоставленных англичан и голландцев, — заметил ван Крюйк, кося синим глазом на корабль, стоящий ярдах в ста ниже по реке.

— Шпионы, — объяснил Иеронимо.

— Чего они тут высматривают? — спросил

Джек.

— Если испанцы спрячут под замóк серебро, доставленное галеонами, рухнет вся заграничная торговля христианского мира, — объяснил Мойше. — За год обанкротится половина лондонских и амстердамских компаний. Вильгельм Оранский такого не допустит — скорее уж объявит войну Испании. У него лазутчики и здесь, и наверняка в Кадисе, они там, чтобы сообщить, придётся ли объявлять войну в этом году.

— Чего ради испанцам прятать серебро?

— Португальцы открыли в Бразилии новые золотые россыпи и — Даппа тебе скажет — нагнали туда толпы рабов. Через десять лет количество золота в мире вырастет неимоверно, и цена его в серебряном выражении неминуемо упадёт.

— То есть серебро подорожает, — сообразил Джек.

— Поэтому у испанцев есть все основания его придержать.

Покуда они разговаривали, на Испанию спустилась ночь. Погасли огни в окнах Санлукар-де-Баррамеда и на виллах Бонанцы, где закончили готовить обед. Иеронимо рассказал товарищам о привычке испанцев обедать на ночь глядя, и это обстоятельство уже включили в план. Ритм волн,

лениво накатывающих на берег, изменился — по крайней мере, так объявил ван Крюйк. Он произнёс несколько голландских слов, означавших «начался отлив», и слез по верёвочной лестнице в заблаговременно спущенный на воду ялик. Здесь он взял анкерок, небольшой (на три ведра) бочонок, оторвал верхнее донце, внутрь положил камней для балласта и установил свечи. Когда их зажгли, он отпустил анкерок в Гвадалквивир и почти час наблюдал, как светящийся буй медленно уплывает в море. Джек тем временем пытался не потерять из виду облюбованное место для высадки, которое постепенно превратилось в чёрное пятно на фоне далёких фонарей.

Они сменили тюрбаны и бурнусы на европейскую одежду, которой в мешке было предостаточно, сели в ялик и двинулись на вёслах поперёк течения. Джек указывал направление к месту высадки. Дважды ван Крюйк приказывал табанить и бросал лот. Иеронимо полдороги прибинтовывал нижнюю челюсть к голове; процесс отнюдь не ускорялся его привычкой размышлять вслух. Размышлять для Иеронимо значило вгонять окружающих в ступор пышными аллюзиями на классическую поэзию. В данном случае он был Одиссеем, горы Эстремадуры — скалами сирен, а

длинная полоска ткани — верёвками, которыми Одиссей привязал себя к мачте.

— Если план так же дурён, как это сравнение, мы, считай, покойники, — заметил Джек, когда Иеронимо окончательно примотал себе челюсть.

Прибытие всех четверых в становище бродяг вызвало бы переполох — во всяком случае, так уверил товарищей Джек. Посему он в одиночестве прошёл несколько ярдов по воде и выбрался на берег, где, сочтя, что никто его не увидит (а следовательно, не поднимет на смех), плюхнулся на колени и, как конкистадор, поцеловал землю.

Сейчас ему следовало исчезнуть. Он никогда здесь не бывал, однако про становище слышал. Оно считалось маленьким, но богатым — перевалочным пунктом для бродяжьей аристократии. В нескольких днях ходьбы вдоль побережья, под стенами Лиссабона, раскинулся целый бродяжий город, а дальше путь на север уже хорошо известен. Если поднажать, к зиме можно поспеть в Амстердам, оттуда же добраться до Лондона всегда было несложно, а уж тем более теперь, когда Голландия и Англия — почти что одна страна.

Таков был секретный план, который Джек с самого начала тщательно прорабатывал в голове, не особо вникая в то, как Мойше шлифует и

совершенствует свой. Довольно было юркнуть в ближайшие кусты и дальше идти, не останавливаясь. Возможно, это погубит план Мойше, но (как заключил Джек из того немногого, что не пропустил мимо ушей) у них бы всё равно ничего не вышло. Затея, в которой участвует столько народа, изначально обречена на провал.

И всё же ноги Джека отказывались исполнять его волю. Постояв немного, он осторожно двинулся вдоль берега, замирая и прислушиваясь через каждые два шага, однако в кусты так и не метнулся. Что-то — сердце или какой-то другой орган — блокировало команды, которые мозг посылал ногам. Может, потому, что сообщники, в отличие от Элизы, явили ему доброту, верность и снисхождение. Может, потому, что вонь бродяжьего становища и жалкий вид первых увиденных людей явственно напомнили, как беден и грязен христианский мир на большем своём протяжении. К тому же Джек любопытствовал, чем всё кончится — как зритель, что идёт на медвежью травлю посмотреть, медведь разорвёт собак в кровавые клочья или наоборот.

Но что на самом деле сбивало его с пути — или направляло на верный путь, уж как посмотреть, — так это причастность ко всей истории

герцога д'Аркашона. За девять месяцев, прошедших с аудиенции у паши, роль герцога вырисовалась гораздо отчётливее — скрывая, что знает турецкий, Даппа сумел многое разузнать.

У Джека не было особых причин забивать голову мыслями о своём недруге — богатом негодяе, каких много. Однако, ошалев от Элизиных чар, он как-то вызвался убить д'Аркашона. Это хоть отчасти напоминало какую-то цель в жизни (поддерживать сыновей всё равно и скучно, и невозможно). Да и сам герцог подлил масла в огонь решимостью достать бродягу из-под земли. Такое обоюдное внимание льстило Джековой гордости. Он видел здесь то, что его парижский приятель Сен-Жорж назвал бы хорошим тоном. Удрать сейчас и до конца дней хорониться от герцога в лондонских трущобах — определённо дурной тон.

Когда Джек и его брат Боб фехтовали на потеху зрителям в Дорсете, их награждали за отвагу и артистизм; если солдаты швыряют мальчишкам мясо за проявления хорошего тона, может быть, мир за то же самое осыплет Джека серебром?

И всё же окончательное решение Джек принял только четверть часа спустя. Он крался по окраине бродяжьего становища, куда не достигал свет

костров, считая людей, пытаясь определить их настроение, ловя обрывки разговоров на жаргоне. Внезапно между ним и костром, не больше чем в пяти футах, возник высокий силуэт с замотанной головой и натянутым арбалетом в руке. Очевидно, в соответствии с планом, Иеронимо отправили следить за Джеком и уложить его выстрелом, если попытается улизнуть.

И тут Джек понял, что не сбежит. Не из страха — от Иеронимо он бы ускользнул без труда, — а из дешёвой сентиментальности самого низкого пошиба. Иеронимо всеми фибрами души стремился в Эстремадуру, до которой было рукой подать, и тем не менее намеревался повернуться спиной к ней, лицом почти к неминуемой смерти. Ничего пронзительней Джек за пределами театра не видел. Глаза его наполнились слезами, и он решил остаться с товарищами до конца.

Оторвавшись от Иеронимо, Джек вышел к костру и (немного успокоив бродяг) представился ирландцем, насильно завербованным в Ливерпуле вместе с другими папистами (объяснение до скучного правдоподобное). Далее он сообщил, что они с друзьями хотят до отправки в Америку поклониться чтимому у моряков образу святой Марии Попутных Ветров (согласно Иеро-

нимо, это тоже должно было прозвучать очень правдоподобно) и готовы заплатить несколько реалов тому, кто проведёт их в город. Желающие нашлись сразу, так что через час Джек, Мойше, ван Крюйк и Иеронимо (без арбалета) были в Санлукар-де-Баррамеда.

Иеронимо с ван Крюйком направились в дымные и шумные портовые улицы, а Джек с Мойше — в богатый район на холме. Мойше не знал, куда идти, поэтому они некоторое время бродили, заглядывая в окна, пока не оказались перед домом, украшенным золочёной статуей Меркурия. Памятуя Лейпциг, Джек машинально посмотрел вверх. Хотя зеркал на палке здесь не обнаружилось, он различил огонёк раскуриваемой сигары, быстро померкший в облачке выпущенного дыма, — на крыше дежурил наблюдатель. Мойше тоже его приметил и за руку потащил Джека вперёд. Когда они проходили мимо окна, Джек повернул голову и узрел полустёртое воспоминание из подточенной сифилисом памяти: лысую одутловатую голову над столом, за которым ели и разговаривали несколько человек, по большей части светловолосых.

Когда дом остался позади, Джек сказал:

— Я видел Лотара фон Хакльгебера. А может,

его портрет во главе стола — хотя нет, я видел, как шевелятся губы. Ни один художник не смог бы так запечатлеть этот лоб, что пушечное ядро, и злобные глаза.

— Я тебе верю, — произнёс Мойше. — Значит, ван Крюйк был прав. Идём к остальным.

— Зачем была нужна эта разведка?

— Прежде чем наживать смертельных врагов, желательно выяснить, кто они, — проговорил Мойше. — Мы выяснили.

— Лотар фон Хакльгебер?

Мойше кивнул.

— Мне казалось, наш враг — вице-король, — заметил Джек.

— За пределами Испании вице-король бессилен — чего не скажешь о Лотаре.

— Какое отношение ко всей этой истории имеет Дом Хакльгебера?

Мойше сказал:

— Представь, что ты живёшь в парижском особняке. Водонос приходит раз в день. Как правило, но не всегда. Иногда вёдра у него полные, иногда полупустые. А дом у тебя большой, и вода нужна постоянно.

— Вот почему в таких домах устраивают цистерны для воды, — отвечал Джек.

— Испания — большой дом. Ей постоянно нужно серебро, чтобы закупать товары в других странах, например ртуть из рудников Истрии или зерно на севере. Однако деньги поступают раз в год, когда галеоны бросают якорь в Кадисе или раньше бросали здесь. Галеоны — водонос. Банки Генуи и Австрии сотни лет служат…

— Денежными цистернами, — закончил Джек.

— Да.

— Однако Лотар фон Хакльгебер, насколько я понимаю, не генуэзец.

— Лет шестьдесят назад Испания временно обанкротилась, генуэзские банкиры не получили, что им причиталось, и оказались в затруднительном положении. В итоге произошли различные слияния и браки по расчёту. Центр банковского дела переместился к северу. Вот каким образом у Хакльгеберов появился роскошный дом в Санлукар-де-Баррамеда и, надо полагать, ещё более роскошный в Кадисе.

— Но если Лотар здесь, то?..

— То он, наверное, собирается принять серебряные чушки, которые мы намерены завтра украсть, и расплатиться с вице-королём чем-нибудь ещё, например, золотом, которое удобнее тратить.

В портовом районе, уворачиваясь от нетвёрдых на ногах пьянчуг и вежливо отказывая потаскухам, они отыскали ван Крюйка и Иеронимо, изображавших, соответственно, голландского коммерсанта, желающего контрабандой вывезти в Америку партию тканей, и его компаньона-испанца, которому недавно по какой-то причине отрезали язык. Оба сидели в таверне и беседовали с сильно помятым испанским господином, который, как ни странно, неплохо говорил по-голландски. То был *cargador metedoro*, маклер, посредничающий между контрабандистами-католиками и их протестантскими коллегами. Джек и Мойше прошли мимо стола, показывая, что они здесь, потом встали у выходов на случай непредвиденного столкновения — скорее для порядка, чем из соображений практических, поскольку были по-прежнему безоружны. Некоторое время они ждали, когда ван Крюйк закончит беседу с *каргадором*. Разговор шёл урывками, поскольку испанец параллельно участвовал в двух карточных играх и в обеих проигрывал. Он явно был из тех, кто в игре начисто теряет голову, и Джек почувствовал сильное искушение ободрать его как липку, однако решил, что сейчас это будет неуместно.

Не то чтобы в прошлом Джек часто руководствовался соображениями уместности. Однако он только сейчас полностью осознал, что упустил единственную возможность бежать, а значит, поставил свою жизнь на карту, точнее, на успех плана, над которым мысленно потешался всего час назад. Плана невероятно сложного и рассчитанного на то, что разные люди проявят в нужное время столь редкие качества, как отвага и сообразительность. Короче, такого, к которому можно примкнуть, только когда другого выхода нет. До сих пор Джек делал вид, будто он со всеми, лишь потому, что рассчитывал вовремя дать дёру.

Однако остальные сообщники были не такие, как Джон Коул[16]. Мойше, ван Крюйк и прочие больше походили на Джона Черчилля[17].

Соответственно, Джек играть не сел, а удовольствовался кружкой пива (первым хмельным напитком за последние лет пять) и платоническим созерцанием шлюшек, первых женщин, на которых мог поглазеть (алжирские тёмные

[16] Примечания: 16

Лондонский жох, который украл якорь ценой жизни Дика Шафто, и тут же напился мертвецки пьяным, так что его разоблачили на следующий день.

[17] Примечания: 17

Человек, не слишком приятный в общении, но умеющий доводить дело до конца.

промельки — не в счёт) с тех пор, как расстался с Элизой. Но тогда чёткость картины нарушил летящий гарпун.

Ван Крюйк резко поднялся из-за стола, однако он улыбался. Через несколько минут все четверо бежали вдоль крепостной стены, выглядевшей так, будто матросы на протяжении столетий пытались подмыть её основание струями мочи.

— Мы обо всём условились, — сказал ван Крюйк. — Он думает, будто мой груз прибудет завтра или послезавтра на яхте, которая постарается как можно быстрее миновать подводный вал. Говорит, это обычное дело, и обещает подкупить солдат, чтобы ночью ей подали сигнал из пушек.

Они прошли под статуей Санта-Мария-делос-Буэнос-Айрес, которая не произвела на них впечатления — каменная фитюлька в не слишком большой нише, — и покинули город так же, как в него попали, путём небольших взяток. Через час они были уже в Бонанце, отмечали дорогу от бродяжьего становища к вилле вице-короля зарубками на деревьях. Звёзды над Испанией только-только начали меркнуть, когда вся четвёрка вернулась на галиот. Корсары и остальные сообщники сперва возликовали, что план всё-таки начал осуществляться, затем помрачнели

и сникли. Все попытались уснуть, но мало кому это удалось.

Утром дым из ван Крюйковой трубки потянулся, клубясь в лучах горячего солнца, вверх по течению, свидетельствуя, что ветерок есть, пусть и совсем слабый — кожей Джек его не чувствовал. Все обрадовались (это значило, что бриг сможет выйти из Кадиса сегодня), за исключением ван Крюйка, усмотревшего в ветерке признак меняющейся погоды. Голландец до конца дня расхаживал взад и вперёд между скамьями, словно надсмотрщик, только бичом не хлопал, а возился с трубкой и мрачно поглядывал на небо. Джек не мог взять в толк, чего ради так изводиться из-за погоды, которая даже и не меняется вовсе, пока, протискиваясь мимо ван Крюйка между скамьями, не расслышал его бормотания и не понял, в чём дело. Голландец не проклинал стихии, а молился, причём не за успех плана, а за свою бессмертную душу. Ван Крюйк попал гребцом на галеры, поскольку не захотел стать корсаром. В долгих спорах на крыше баньёла сообщники убедили его, что речь не идёт о пиратстве, поскольку серебряные чушки вице-короля — изначально контрабандные, а сам вице-король ничем не лучше флибустьера. В конце концов ван Крюйк

всё же сдался, но сейчас его терзал страх перед геенной огненной.

Тем временем под шканцами и на той части палубы, которую скрывал расстеленный парус, шли приготовления. Обычным невольникам дали поесть, выпить воды и отдохнуть. Сообщники распаковывали и раскладывали всевозможные странные приспособления. Корсары украшали реи и снасти пёстрыми флажками и вымпелами.

Работа прервалась только раз, во второй половине дня, когда появился бриг вице-короля, тоже под множеством ярких вымпелов и флагов. Поначалу Мойше и другие соучастники испугались, что он доберётся до виллы задолго до темноты и серебро разгрузят сегодня же у них на глазах. Однако бриг, обменявшись пушечными выстрелами с крепостью, остановился перед пресловутым валом. Капитан выслал шлюпку промерить глубину, потом часа два дожидался прилива, прежде чем вновь поднять паруса и войти в реку. Ван Крюйк лежал на палубе, выставив подзорную трубу в вёсельный порт, и смотрел с нервной сосредоточенностью охотящейся кошки.

По реке бриг двигался не быстрее. Стоило ему войти в устье, как паруса обвисли. Их убрали,

и в порты нижней палубы просунули длинные вёсла. Бриг медленно пополз к Бонанце.

За это время раис, Наср аль-Гураб, успел поднять якоря. Дело это было долгое — восемь невольников выхаживали шпиль, восемь свободных работали с кабалярингом. Галиот стронулся с места вскоре после того, как бриг его миновал, и быстро догнал более медлительное и крупное судно, после чего начал к нему приближаться. Как только они оказались на расстоянии окрика, на шканцы поднялся мистер Фут в огненном шёлковом кафтане, поднёс к губам начищенный медный рупор и принялся толкать речь. Никто бы не догадался, что он репетировал её месяц. Испанский его был настолько чудовищен, что Иеронимо (голый и прикованный к скамье) корчился от омерзения. В той мере, в какой слова мистера Фута несли хоть какой-то смысл, они должны были убедить испанцев на борту вице-королевского брига, что тех непременно заинтересуют великолепные товары, привезённые мистером Футом, владельцем и капитаном галеры, с Востока. Мистер Фут даже приказал поднять ковёр на гик словно парус.

На палубе брига произошёл раскол между тружениками и руководством. Матросы (по крайней

мере те, что сейчас не гребли) были не прочь поразвлечься; они принялись грубо подначивать мистера Фута, прохаживаясь по поводу нелепого убранства галиота и бессвязной речи «капитана». Однако офицерам по должности веселиться не полагалось: они кричали мистеру Футу, чтобы держался подальше. Тот лишь приложил ладонь к уху, как будто не понимает, и приказал развесить ещё более аляповатые ковры на всём возможном рангоуте. Для этого рейса они скупили самый завалящий товар в самых дрянных алжирских лавчонках.

Когда между вёслами брига и галиота оставалось всего несколько саженей, испанский капитан резко взмахнул саблей. По этому сигналу артиллеристы на баке дали выстрел поперёк курса галеры, так что гребцов на передних скамьях освежило фонтаном брызг. Мистер Фут изобразил полнейшую растерянность (что не составило ему никакого труда), досчитал до пяти, обернулся к рулевому и замахал руками как сумасшедший. В алом, пламенеющем под закатным солнцем кафтане он выглядел точь-в-точь как попугай с подрезанными крыльями, которого гоняет по корзине змея. Галиот отстал под смех и улюлюканье команды брига.

Со своей скамьи Джек видел, как скрытый шканцами ван Крюйк набрасывает на бумаге такелаж брига. Наброски должны были пригодиться Джеку, который о таких делах знал больше понаслышке, чем по собственному опыту. Пока они держались близко к бригу, он успел разглядеть двух испанских офицеров, которые забрались на грот-марс и в подзорные трубы усердно изучали галиот. Даже если бы сообщники не знали, что бриг нагружен серебром, они бы догадались об этом по такому проявлению бдительности. За свои труды испанцы были вознаграждены зрелищем нескольких десятков скованных невольников и весьма скромного числа свободных при полном отсутствии вооружения. Что важнее, они основательно рассмотрели галиот и при следующей встрече должны были с ходу его узнать.

Некоторое время на галере царила полная суматоха — достаточно долго, чтобы капитан-испанец поверил, будто купчишки со страха потеряли голову, — затем забил барабан и гребцы налегли на вёсла. Галиот устремился вверх по течению, оставив бриг позади. Примерно через полчаса барабан смолк, и галиот вновь бросил якоря — на сей раз выше Бонанцы, меж зловонных

заболоченных берегов. Джека тут же освободили от цепи, и он забрался до середины грот-мачты, откуда смог наблюдать последние четверть часа многомесячного путешествия брига из Веракруса в Бонанцу. На закате испанцы наконец бросили якорь у виллы вице-короля. Над рекой прокатились крики «ура!» и пушечный салют. От причала отошла шлюпка — забрать на берег вице-короля с супругой.

Позже Даппа, смотревший в подзорную трубу, сообщил, что на пристани выставили десяток мушкетёров и фальконет, чтоб палить по чему ни попадя. Но до заката с брига не перевезли ничего, кроме каких-то тюков и сундуков, явно с вещами, а значит, разгрузка откладывалась до рассвета.

— Есть что-нибудь ниже по реке? — выразительно спросил ван Крюйк.

— Паруса, пламенеющие, как уголь, движутся к Санлукару… небольшой корабль[18] под голландским флагом, — объявил Даппа.

— Завтра он поднимет французский, — сказал ван Крюйк, — ибо это должен быть «Метеор» — яхта Инвестора.

С наступлением темноты десятерым сообщни-

[18] Примечания: 18

«Корабль» в таком контексте означает любое трёхмачтовое судно с прямой парусной оснасткой.

кам стало можно передвигаться по палубе, не таясь. Остальных невольников равномерно распределили по вёслам. Аль-Гураб вручил Джеку длинный предмет, завёрнутый в чёрную ткань, и Джек с удивлением узнал свою янычарскую саблю. Она была в новых ножнах, наточенная и начищенная до блеска, однако Джек узнал выщербину от столкновения с Бурой Бесс под Веной. Видимо, сабля всё это время сберегалась у какого-то корсара. Больше всего Джеку хотелось нацепить её на пояс, однако ему предстояло плыть, и сабля утянула бы его на дно. Так что пока он для практики перерубил ею якорные канаты. Теперь они не могли бы остановить галеру, даже если бы захотели, но после того, что планировалось совершить в ближайшие часы, останавливаться в пределах христианского мира было бы самоубийством. А на возню с кабаляринг-гом не оставалось времени. Покончив с канатами, Джек отдал саблю Евгению, собиравшему некий мешок.

В период зимних штормов (когда позволяла погода) галиот с нынешним составом гребцов каждый день совершал двухчасовые прогулки по алжирской гавани ради того, чтобы научиться грести слаженно без барабанного боя. Сейчас он

заскользил совершенно беззвучно — во всяком случае, так убеждал себя Джек. Он сидел на носу рядом с Даппой, натираясь смесью сажи и жира. Галиот двигался стремительно, подгоняемый начавшимся отливом. На жёрдочке, заменявшей галере «воронье гнездо», дежурил Вреж Исфахнян. Он уверял, будто видит поток огней в лесу между Бонанцей и Санлукар-де-Баррамеда: сотни (как они надеялись) бродяг с факелами пробирались по меткам, оставленным вчера сообщниками. Отправили их туда слухи, будто в ночь возвращения из Нового Света вице-король будет раздавать милостыню.

— Видно ли «Метеор»? — крикнул ван Крюйк.

— Может, фонарь-другой в море за мелью, но сказать трудно.

— Вообще-то это не важно, главное, что он здесь и начальник порта заметил его до темноты, — заметил Мойше. — Если «сеньор Каргадор» не напился в лёжку, то ходит сейчас по крепостной стене, изводится тревогой за груз на яхте и пристаёт к бомбардирам.

— Не пора ли начинать? — спросил Джек. — От меня разит так, словно я — свиное рёбрышко, которое моя дражайшая матушка позабыла вынуть из печки. Не худо бы искупаться.

— Думаю, пора, — отвечал ван Крюйк.

— Не пойми меня неправильно, — проговорил мистер Фут, — но я вновь говорю: «С Богом!» Вам обоим, тебе и Даппе.

— На этот раз я принимаю твоё напутствие с благодарностью, как и любые другие добрые пожелания, — сказал Джек.

— Увидимся на борту брига или никогда, — сказал Даппа, и они с Джеком прыгнули в воду.

Будь Джек в здравом уме и знай он, что когда-нибудь влипнет в такой план, — ни в жисть бы не разболтал другим гребцам, что вырос в трущобах на берегу Темзы и частенько плавал в тёмной реке между стоящими на якоре кораблями, сжимая в зубах нож. Но сказанного не воротишь! В последние месяцы, пока другие сообщники отрабатывали свои роли, Джек восстанавливал прежние умения и наставлял в них Даппу. Африканец не умел хорошо плавать по той простой причине, что у него на родине реки кишат крокодилами и бегемотами. Однако жизнь научила его приспосабливаться, или, как сформулировал сам Даппа, «есть вещи пострашнее, чем вымокнуть, так что — давай».

Теперь они с Джеком плыли по Гвадалквивиру, толкая перед собой огромную, почти в

человеческий рост, бочку, вымазанную смолой и нагруженную тяжёлой цепью, так что край торчал над водой не больше, чем на ладонь. Сверху, как на барабан, натянули кожу, чтобы бочка не черпнула воды и не утонула. Тем временем гребцы, табаня, развернули галиот носом против течения, но Джек с Даппой этого уже не видели.

Они плыли по-собачьи, часто проверяя бочку, которую течение увлекало вместе с ними к морю. Если бы она набрала воды и начала тонуть, узнать об этом стоило как можно раньше, поскольку оба были привязаны к ней обмотанной вокруг запястья верёвкой. Ориентироваться можно было только по огням Бонанцы, где разбогатевшие в Новом Свете испанцы садились сейчас обедать. Джек хорошо запомнил окна вице-королевской виллы. Сейчас там в честь возвращения хозяина пылали все свечи. Однако Джек, к своей радости, видел и небольшую бродяжью армию под стеной.

Они едва не промахнулись мимо брига и в последние минуты вынуждены были изо всех сил плыть поперёк течения. Мощь реки и прилива несла их куда быстрее, чем они предполагали. Джек и Даппа врезались в якорный канат левого борта с такой силой, что он полоснул обоих по

коже, оставив длинные ссадины. Бочка проплыла ещё несколько ярдов и застопорилась, чуть не стукнувшись о форштевень брига. Рывок едва не сдёрнул Джека и Даппу с каната, за который те цеплялись, как две улитки.

Некоторое время Джек обнимал тугой канат и просто дышал, закрыв глаза, пока Даппа, потеряв терпение, не ткнул его в бок. Тогда Джек выпустил канат и со всей силы поплыл против течения, преодолевая по нескольку дюймов за гребок, пока не добрался до другого якорного каната, уходящего в воду примерно в трёх саженях от того, к которому Даппа уже привязался закреплённой на груди верёвкой. Джек сделал то же самое, чтобы освободить руки. Он не видел ни зги, но по времени Даппа уже должен был вынуть из бочки всё нужное. И впрямь, когда Джек потянул за верёвку, бочка двинулась к нему. Впрочем, свой конец Даппа не отпустил, и теперь бочка была между ними, как на растяжках, подальше от форштевня. Скоро Джек притянул её к себе и на ощупь отыскал среди холодных звеньев верёвку, потянул её на себя и закрепил на мокром якорном канате морским узлом, который мог завязать с закрытыми глазами. То же самое должен был сделать Даппа со своей стороны. Теперь оба якор-

ных каната соединил свободно провисший трос. В середину его была вплеснёвана петля, называемая кренгельсом. За кренгельс крепилась цепь, превышающая длиной глубину реки в этом месте (которую они знали по сделанным ван Крюйком промерам) и весящая несколько сотен футов.

Поверх цепи лежали различные инструменты, в частности, два топорика, замотанные паклей, чтобы не брякали и, по выражению ван Крюйка, «не будили уток». Джек вытащил их один за другим и перебросил через плечо на плетёных холщовых ремешках. Когда внутри осталась только цепь, он наклонил бочку, чтобы речная вода залилась внутрь. Через несколько минут вес цепи притопил бочку, и трос, который Джек привязал к якорному канату, натянулся. Однако узел держал и не скользил.

Джек боялся, что теперь придётся долго ждать, но то ли они с Даппой провозились дольше, чем предусматривал план, то ли галиот двигался слишком быстро — во всяком случае, почти сразу до них донеслись крики, по большей части на турецком, но некоторые на сабире, чтобы поняла команда испанского брига: «Мы дрейфуем!», «Проснитесь!», «Якоря не держат!», «Гребцов по местам!».

Дозорные на бриге тоже услышали вопли, ударили в колокол и что-то заорали на флотском испанском. Джек набрал в грудь воздуха и нырнул. Перехватывая руки, он спустился по якорному канату, пока уши не заболели невыносимо, то есть сажени на две — глубже, чем осадка галиота, — и принялся резать канат. Работал он вслепую, двигая одну руку поверх другой, чтобы ненароком не оттяпать себе палец. Бесчисленные каболки с верещанием расходились под лезвием.

Одна из трёх стренг лопнула и начала распускаться — Джек почувствовал это щекой, поскольку зажимал канат между головой и плечом, — а две другие напряглись и застонали. Что происходило двенадцатью футами выше, Джек не знал. Если галера и приближалась, то совершенно беззвучно. И тут Джек скорее ощутил, чем услышал приглушённый удар. Он сжался, думая, что корабли столкнулись; из носа пузырями вырвался воздух. Глаза были по-прежнему плотно закрыты, но им предстало видение: бедного Дика Шафто за щиколотку выволакивают из Темзы. Не то же ли самое пережил Дик в последние мгновения? Джек прогнал несвоевременную мысль и вызвал в памяти образ ван Крюйка на крыше

баньёла несколько недель назад, когда тот говорил: «В десяти футах от брига я прикажу ударить в барабан один раз, перед самым столкновением — два. Услышите вы, а если повезёт, то и бродяги на берегу, в таком случае они поднимут гвалт».

Джек яростно пилил трос. Он почувствовал, как вторая стренга распустилась веером, словно солнечные лучи, и почти одновременно — что галиот прямо над ним. Внезапно накатила паника, что путь к воздуху преграждает дощатый корпус. Дважды ударил барабан. Джек перерезал последнюю прядь, и канат взорвался у него в руке, как мушкет. Хлопок утонул в куда более мощном звуке — скрежещущем грохоте, будто исполины перекусывают деревья. Обрезанный конец взвился, хлестнув Джека по плечу, но вокруг шеи, как случалось во многих кошмарах на протяжении последних нескольких месяцев, не обвился.

Что-то жёсткое упиралось Джеку в спину — дно галиота! Доски обшивки находили одна на другую, как черепицы; ощупав их, он сразу понял, с какой стороны киль, а с какой — ватерлиния, и поплыл вверх. Вода силилась вытолкнуть его и прижать к галиоту, но он наконец вырвался на поверхность и с лающим звуком втянул воздух.

Над водой неслись крики, но никто не стрелял.

Значит, всё шло по плану: испанцы узнали вчерашних незадачливых торговцев и не подумали, что на бриг напали. Перед самым столкновением корсары зажгли фонари по всей длине галиота, так что спросонок выбежавшим на палубу испанцам предстали скованные гребцы и охваченные паникой безоружные хозяева.

Галиот несло прочь от Джека, вернее, сносило его самого. Он развернулся в воде и увидел надвигающийся корпус брига — а может, течение затягивало Джека под него. Корпус у форштевня загибался вверх, чтобы скользить по волнам — точно так же он проедется по пловцу. Нос брига уже заслонил звёзды. Если за что-нибудь не уцепиться — затянет под корпус и протащит под килем. Он вынырнет или не вынырнет несколько минут спустя, живой или мёртвый, освежёванный тёркой моллюсков, наросших на бриг за долгое путешествие по Атлантике.

У Джека было средство спастись: два абордажных топора с длинными рукоятями, маленькими лезвиями и клювом на обухе. Джек развернул один клювом вперёд и ударил в корпус, однако вес руки и топора вдавил его под воду с головой. Течение ударило лицом и грудью о корпус, распластало всем телом по доскам, ракушки впились

в кожу, словно рыболовные крючки. Клюв вошёл в доску, но не удержался. Джека потащило дальше, ракушки драли ноги, живот, грудь и лицо.

Происходило то самое, чего он боялся — его протаскивало под килем. Внезапно топорик дёрнулся, пытаясь вырваться из руки, — зацепился за ракушку или застрял в проконопаченном стыке досок. Джек подтянулся; топор сперва держался, затем начал поддаваться — клюв сидел недостаточно крепко, чтобы Джек мог высунуть голову из воды. Однако у него оставался второй топорик. Поскольку Джеку всё равно нечем было себя занять, пока его топят и свежуют, он нащупал в воде второй топор, отвёл руку, превозмогая клятое течение, и со всей дури всадил клюв в корпус. За хрустом раковин последовал дивный звук входящей в древесину стали. Джек подтянулся на обеих руках, отвёл первый топор, вбил в корпус и из последних сил приподнял лицо над водой. Он вдохнул воздух пополам с водой, но хватило и этого. Ещё два удара, и над водой удалось поднять голову и плечи. Джек обмотал ремни топориков вокруг запястий и повис на минуту-другую, просто дыша.

Некоторое время казалось, что в мире нет ничего приятнее и важнее, чем дышать, но как

только прошла первая новизна, Джек очнулся и попытался понять, что происходит.

Береговых огней было не видать, значит, их, как и планировалось, снесло вниз по реке. Вероятно, они по-прежнему были где-то между Бонанцей и Санлукар-де-Баррамеда. Однако бриг по-прежнему указывал носом вверх по течению, а якорные канаты оставались натянуты благодаря тяжёлой цепи, волочившейся по речному дну. В сумятице после столкновения с торговой галерой испанцы могли ещё не заметить, что бриг дрейфует.

На палубах — то есть для Джека всё равно что на другом континенте — происходил темпераментный обмен мнениями между мистером Футом и каким-то испанцем (судя по всему, старшим офицером). Последний, видимо, считал, что унижает мистера Фута перед всей командой, излагая тому азы постановки судна на якорь в речном устье. Мистер Фут всячески затягивал разговор, притворяясь, будто недопонимает практически каждую фразу. Его способность выворачивать наизнанку самые простые утверждения годами доводила товарищей до бешенства — теперь и ей сыскалось практическое применение.

Тем временем галерники старательно изображали крайнюю нерадивость — они *очень*

медленно взялись за вёсла и приготовились грести. Да вот беда — различные декоративные элементы высокой кормы галиота зацепились за в высшей степени функциональные детали испанского бушприта, а именно за мартин-гик (рангоутное дерево, отходящее вертикально вниз от эзельгофта бушприта) и проведённые через него штаги. Отцепляли их долго и с большим шумом, что было весьма кстати, поскольку в нескольких ярдах ниже кипела работа, от которой в других обстоятельствах проснулись бы мертвецы.

У брига было нечто вроде слепого пятна рядом с форштевнем. Сам форштевень представлял собой просто переднюю часть киля, выступающую над водой и поддерживающую носовую фигуру, бушприт и ограждение носа. Эта часть корабля рассекает волны и потому лишена портов, чреватых протечкой. Более того, с палубы увидеть её нельзя, разве что пойти в гальюн и просунуть голову в очко (что создателям плана представлялось маловероятным) либо вылезти на бушприт для постановки блиндов. Их сейчас никто ставить не собирался, но опасность оставалась, поскольку несколько матросов выбрались сюда, чтобы отцепить галиот.

С этим Джек ничего поделать не мог, поэтому сосредоточил внимание на более насущных обстоятельствах. Здесь собралась целая толпа! Евгений, Ниязи и Габриель спрыгнули с галиота перед самым столкновением и, очевидно, сумели зацепиться абордажными топорами лучше, чем Джек, — возможно, оттого, что их предварительно не притопили. Они собрались на форштевне — толстом деревянном брусе — вытащили из привязанных к лодыжкам мешков разнообразные инструменты, при помощи обмотанных тряпьём молотков вбили в него железные костыли, а на костыли навесили верёвки, на которых можно было стоять. Джек выпустил один из своих топоров и уцепился за верёвку. Евгений, тоже вымазанный смесью сажи и жира, едва угадывался выше, на другой верёвке. Он протянул руку и вытащил Джека из воды. Теперь оба распластались по корпусу сбоку от форштевня. Евгений пять раз хлопнул Джека по плечу, что означало «нас пятеро». Значит, по другую сторону форштевня закрепились Ниязи с Габриелем, и Даппа тоже сумел избежать килевания.

Следующий час прошёл в состоянии, близком к скуке. Сама по себе обстановка, разумеется, скуку не навевала, но у Джека не было других

дел, кроме как висеть здесь и ждать избавления или смерти. Евгений сунул ему в руки мешок, где оказались штаны, пояс и янычарская сабля. Галиот отцепился и двинулся прочь, подгоняемый свежим ветром ругательств со стороны крайне раздражённых испанцев, которые почти сразу увидели, что их снесло отливом более чем на милю. Проверили якорные канаты и обнаружили, что они натянуты, но слабовато. Попытались выбрать якоря, которые оказались «нечисты», то есть запутались в верёвке, привязанной Джеком и Даппой. Изнутри корабля глухо донеслись крики и топот ног — это матросов погнали к вёслам.

Однако только те начали грести, как галиот — который всё это время крался следом — вылетел из темноты со скоростью, какая не снилась пузатому, обросшему ракушками бригу. Они едва не столкнулись носами, но галиот в последний миг повернул вправо (к облегчению Джека и остальных, которых иначе расплющило бы в лепёшку). Галерники подняли вёсла вертикально, и край галиота снёс все вёсла по левому борту брига, превратив его в птицу с отстреленным крылом.

Это была явная атака, первое непреложное свидетельство, что на бриг напали пираты. Капитан-испанец повёл себя так, как и предска-

зывал ван Крюйк: приказал выкатить пушку и выстрелом подать сигнал гарнизону в Санлукар-де-Баррамеда.

Однако единственный выстрел в ночи трудно истолковать однозначно, особенно когда стреляющий пытается сообщить нечто совершенно невероятное, например, что корсарская галера атаковала бриг вице-короля в одной из главных испанских гаваней. К тому же не успел бриг подать сигнал тревоги, как с другого корабля, дальше в море, прозвучали *несколько* выстрелов. То был «Метеор», французская яхта, пришедшая на закате под голландским флагом. Тут же с городских стен ему ответила нестройная пальба. Об этом договорился *cargador metedoro,* убеждённый, что на яхте для него товар, и не желающий утром обнаружить, что она в темноте села на мель.

Вскоре вице-королевский бриг, беспомощно крутящийся на воде, вынесло через мель в Кадисский залив, а никто в городе так и не понял, что же произошло.

Той ночью светила ущербная луна, и Джек смотрел, как она спускается вслед закатившемуся солнцу — раскалённый над кузнечным горном серебряный шар. Рваные клочья облаков лучились в её свете — с океана некстати шла новая

погода, означавшая, что завтра преследователям будет помогать ветер.

Да и сегодня свежий бриз со стороны Атлантики оказался на руку жертве. Матросы уже бежали по местам. Джек чувствовал, что испанцы вздохнули свободнее: опасное устье с мелями и стоящими на якоре кораблями осталось позади, теперь у них было довольно воды под килем и какой-никакой ветер. Через несколько минут они бы подняли паруса и отошли подальше от города, чтобы дожидаться рассвета без риска налететь на мель.

Испанцам было невдомёк, что галиот, снеся им вёсла, вышел в залив и преобразился в совершенно другое судно. В проходе между скамьями лежал неимоверно большой ковёр, свёрнутый в рулон длиной ярдов десять. Сейчас этот ковёр (если всё шло по плану) уже плыл, развёрнутый, где-то в Кадисском заливе. Его прежнее содержимое — прямой еловый ствол со склона Атласских гор, оструганный, заточенный, как игла, окованный железными обручами и снабжённый острым железным наконечником, — установили на носу галеры наподобие бушприта, но ниже, чтобы не путался в штагах и мартин-гиках. Железный наконечник должен был сейчас скользить над

водой со скоростью десять узлов, имея пятидесятитонный галиот позади и один испанский бриг с сокровищами прямо по курсу.

План предполагал ударить бриг в раковину, то есть ближе к корме, где меньше больших пушек. Единственный минус состоял в том, что пятеро сообщников на форштевне не могли видеть приближающийся галиот (даже настолько, насколько вообще можно что-нибудь различить в млечном свете садящейся луны). Однако внезапные крики с другого конца брига стали для них сигналом к действию. Они выждали минуту, слушая удаляющийся топот ног, и забросили абордажный крюк на ограждение носа. Каждый потянул верёвку, убеждаясь, что крюк зацепился (за что и насколько прочно, судить не приходилось), дёрнул несколько раз для верности и повис над водой, болтаясь, как маятник.

Руки Джека, занемевшие на холодном океанском ветру, едва не разжались; он немного проехался по верёвке, прежде чем сумел уцепиться за неё ногами. Дальше оставалось только взобраться по ней, а поскольку занятие это было привычное, Джек, к собственному изумлению, первым перевалился через ограждение и почувствовал стосковавшимися ступнями прочные

доски.

Он стоял в той части корабля, которая называется гальюн. Луна висела низко; мачты, такелаж и редкие человеческие фигуры представали серебряными столбами, палуба же, словной чёрный пруд, была совершенно невидима. На корме происходила сумятица. Разом грянули несколько пистолетных выстрелов, заставив Джека вздрогнуть. В тот же миг раздался звук мощного газоизвержения; Джек обернулся и увидел испанца, сидящего на скамье со спущенными штанами. Испанец ошалело смотрел на Джека, потом начал было вставать, но Джек навалился сверху, вдавливая плечо в живот противнику, чтобы не закричал. В конце концов он втиснул испанца задницей в очко, так что голые сверкающие коленки оказались устремлены в небо. Тот выбросил одну руку, словно абордажную кошку, к сложенному на скамье камзолу, на котором лежал заряженный пистоль, однако Джек мигом приставил ему к животу остриё янычарской сабли.

— Это я забираю, сеньор, — сказал он, беря свободной рукой пистоль.

Остальные как раз перебрались через ограждение, и вовремя, потому что в этот самый миг

с кормы донёсся оглушительный треск. Джек не без пользы провёл несколько лет гребцом у берберийских корсаров, во всяком случае, он сразу узнал звук, с каким железный наконечник тарана входит в корпус европейского судна. Через мгновение палуба вздрогнула так, что все пятеро запрыгали, силясь удержать равновесие.

Ниязи вылез на палубу ближе всех к корме, и к нему тут же бесшумно метнулся со спины испанец с ножом в руке. Однако удар пришёлся по воздуху — Ниязи затылком почувствовал опасность и отскочил в сторону. В следующий миг он уложил противника ударом сабли наотмашь.

Даппа, Габриель, Евгений и Джек начали действовать, не сговариваясь. У плана были сложные части, но только не эта. На середине обеих мачт брига имелись платформы, называемые марсами, куда вели ванты. Сейчас фока-марс был свободен. Джек кинул пистолет Даппе; тот сунул оружие за пояс и полез вверх. Евгений заряжал пистоли, которые захватил с собой (не имело смысла брать их заряженными, порох бы всё равно промок). Джек и Габриель двинулись к корме вдоль левого и правого борта соответственно. Джек орудовал саблей, Габриель — двуручным изогнутым мечом японского производства, который одолжил ему

из коллекции трофеев некий капитан-корсар. Они рубили не головы, а фалы — тросы, пропущенные параллельными рядами через блоки и служащие для подъёма и спуска реев, на которых держатся паруса.

Покончив с этим, Джек и Габриель забрались по вантам на грот-марс, где трое испанских матросов запоздало увидели, что осаждены с двух сторон. Один выхватил пистолет и навёл на Джека, но Даппа с фока-марса прострелил ему руку. Через мгновение с палубы выстрелил Евгений, но промахнулся, если вообще куда-нибудь целил. Два невредимых испанца совершенно опешили, поняв, что их обстреливают с бака собственного корабля через мгновение после того, как протаранили с кормы — разумнее было оставить их растерянными и нерешительными, чем раненными и злыми. Джек и Габриель вылезли на марс одновременно, под угрозой сабель разоружили двух невредимых матросов и настоятельно посоветовали обоим спуститься на палубу. Евгений забросил наверх два мушкета, всё ещё не заряженных.

Впрочем, это не имело значения. Ибо Иеронимо, стоящий на шканцах галиота, увидел подвиги Джека и Габриеля. Поднеся к губам тот самый

рупор, в который всего несколько часов назад мистер Фут предлагал вице-королю ковры, он произнёс цветистую речь на безупречном испанском. Джек не настолько хорошо знал язык, но уловил упоминание о Нептуне (в чьих владениях они сейчас находились) и Улиссе (собирательный образ сообщников), который проник в некую пещеру (устье Гвадалквивира), обитель циклопа (вице-короля или его брига), и спасся оттуда, поразив циклопа в глаз заострённой палкой (уже без всяких метафор; они буквально так и сделали). Речь, гремящая из рупора, была бы великолепна, если бы не перемежалась божбою, от которой матросы пятились и осеняли себя крестом.

Завершив первую порцию риторических фигур, Иеронимо представился восставшим из преисподней Десампарадо (как будто могли ещё оставаться сомнения). Он напомнил испанскому капитану, что бриг полностью выведен из строя и дрейфует в Кадисском заливе, на марсах стоят вооружённые мушкетами захватчики, и (на случай, если кто-нибудь недостаточно испугался) соврал, будто пустотелый таран, находящийся сейчас внутри брига неподалёку от крюйт-камеры, начинён десятью фунтами пороха, которые взорвутся по одному его, Десампарадо, слову.

Джек имел удовольствие наблюдать весь спектакль из приватной ложи. Он слышал, как при первых же словах Десампарадо у испанцев вырвался общий вздох. Сражение окончилось в тот же миг. При упоминании пороха пистоли и сабли со звоном полетели на палубу. Капитан и один, может, два офицера готовы были драться, но это уже было не важно. Матросы, вымотанные переходом через Атлантику, не желали отдавать жизнь за то, чтобы вице-король стал чуточку богаче, когда всего в паре миль зазывно светились окна кабаков и борделей Санлукар-де-Баррамеда.

Шесть берберийских корсаров — в тюрбанах и с ятаганами — поднялись на борт брига вместе с остальными сообщниками. Двое корсаров при бичах и мушкетах остались на галиоте напоминать гребцам, что те по-прежнему под властью Алжира. Матросов разоружили, согнали на ют и направили на них фальконеты, заряженные картечью, возле которых поставили корсаров или соучастников с горящими факелами. Офицеров заковали в кандалы и закрыли в каюте, возле которой встал на страже корсар. Мистер Фут остался с пленными и сварил им шоколад: общий вердикт гласил, что наилучший способ не дать испанским офицерам выйти из ступора

— это позволить мистеру Футу развлекать их лёгкой беседой.

Иеронимо повёл аль-Гураба, Мойше, Джека и Даппу в трюм, к ящику для ядер, сбил исполинский замок и откинул крышку. Джек, приученный жизнью везде ждать разочарования и подвоха, приготовился увидеть чугунные ядра или вообще ничего, кроме крысиного дерьма. Однако содержимое ящика блестело, как драгоценный металл — и блестело жёлтым.

Джеку вспомнилось, как он нашёл Элизу в подкопе под Веной.

— Золото! — воскликнул Даппа.

— Нет, так только кажется из-за света, — возразил Иеронимо, двигая факелом туда-сюда, — это серебряные чушки.

— Для чушек они слишком правильной формы, — заметил Джек. — Это слитки очищенного металла.

— И всё равно они серебряные — золото в Новой Испании не добывают, — упорствовал Десампарадо.

Сейчас Джек кое-что понял насчёт превосходительнейшего дона Иеронимо Алехандро Пеньяско де Альконес Квинто: у того в голове сложилась легенда вроде тех, что записаны в

ветхих книгах его предков. Легенда эта для него — единственный смысл жизни. Она заканчивается тем, что здесь и сейчас он найдёт груз серебряных чушек. Обнаружить нечто другое — злая насмешка судьбы; найти золото так же плохо, как не найти ничего.

Мысли Джека и возражения кабальеро прервал резкий звук. Раис вытащил из кошеля на поясе монету и бросил на слиток. Она зазвенела и улеглась — серебристо-белая на жёлтом бруске.

— Это пиастр, на случай, если вы забыли цвет серебра, — сказал Наср аль-Гураб. — Под ним — золото.

Мойше прочистил горло.

— Думаю, в еврейском языке нет подходящего слова, — промолвил он, — поскольку мы не рассчитываем на подобное счастье. Однако, если не ошибаюсь, христиане называют это благодатью.

— Я бы назвал это «цена крови», — сказал Даппа.

— Оно *всегда* было ценой крови, — заметил Иеронимо.

— Ты как-то рассказывал, что на серебряных рудниках Гуанахуато трудятся свободные, — напомнил ему Даппа. — Золото должно быть из Бразилии, где работают вывезенные из Африки

рабы.

— Менее получаса назад ты на моих глазах выстрелил в испанского матроса — где тогда были твои принципы? — спросил Джек.

Даппа сверкнул глазами.

— Их пересилило нежелание увидеть, как моему товарищу выпалят в лицо.

Иеронимо сказал:

— План не предусматривал, что мы найдём золото вместо серебра. Теперь у нас в тринадцать раз больше денег, чем мы рассчитывали. Скорее всего, дело кончится тем, что мы друг друга перебьём — возможно, сегодня же ночью.

— Твоими устами глаголет твой демон, — изрёк аль-Гураб.

— Мой демон всегда глаголет истину.

— Мы будем продолжать по плану, как если бы это было серебро, — объявил Мойше.

Иеронимо возмутился:

— Вы все или грязные лжецы, или недоумки! Очевидно, нам нет никакого резона отправляться в Каир!

— Резон есть, и самый что ни на есть основательный — там будет ждать Инвестор, чтобы забрать свою долю.

– *Сам* Инвестор?! Или ты хочешь сказать, *пред-*

ставители Инвестора? — встрепенулся Джек.

Мойше ответил: «Это ничего не меняет», но встревоженно переглянулся с Даппой.

— Я слышал, как один из чиновников паши шутил, будто Инвестор отправляется в Каир — ловить там Али Зайбака! — Раис хотел разрядить обстановку, однако, к собственному изумлению, добился прямо противоположного результата.

Мойше покачнулся, как будто у него потемнело в глазах.

— Зачем тратить время на болтовню о каком-то французишке? — спросил Иеронимо. — Пусть сучий выблядок ловит свои химеры хоть на краю света, нам-то какая печаль?

— Ответ прост: он приставил нам нож к горлу, — отвечал аль-Гураб.

— Это как?! — воскликнул Джек.

— Яхта здесь не только для того, чтобы отвлекать гарнизон, — объяснил корсар. — Для этой цели сгодилась бы любая старая посудина.

— Турок говорит дело, — сказал Даппа Джеку по-английски. — «Яхта» означает «преследователь», и это самый быстроходный корабль, какой я когда-либо видел. Она может кружить вокруг нас, паля из пушек при каждом заходе.

— Так «Метеор» должен уничтожить нас, если

мы рыпнемся, — проговорил Джек. — Но как французы узнают, что пора с нами кончать?

— Прежде чем двинуться отсюда, мы должны подать горном определённый сигнал. Если не подадим или подадим неправильный, яхта накинется на галиот, как львица на корзину с цыплятами, — сказал турок. — Подобным же образом мы должны подавать сигналы турецким галерам, которые будут сопровождать нас вдоль берберийского побережья, и французским кораблям, которые сменят их в Средиземном море.

— И ты, разумеется, единственный, кто знает эти сигналы? — со смехом полюбопытствовал Даппа, по обыкновению находя забавным то, что совсем не должно было развлекать.

— Хм… куда катится мир, если французский герцог не готов поверить на слово ватаге развесёлых удальцов вроде нас? — проворчал Джек.

— Интересно, знал ли Инвестор с самого начала, что на бриге золото? — произнёс Даппа.

— Интереснее, узнает ли он об этом завтра? — сказал Джек, глядя в глаза раису.

Аль-Гураб ухмыльнулся:

— На сей счёт сигнала не предусмотрено.

Мойше хлопнул в ладоши и провозгласил:

— Думаю, капитан старается выразить более

общую мысль: даже если *кто-нибудь*... — взгляд в сторону Иеронимо, — склонен обратить неожиданную удачу в предлог для интриг и двурушничества, мы не получим возможности обмануть, предать или убить друг друга, если сейчас же не перетащим золото на галиот и не двинемся дальше.

— Это только оттягивание развязки, — вздохнул Иеронимо. Видно было, что хорошее настроение вернётся к нему не скоро. — Всё равно конечным итогом станут раздоры и кровавая баня.

Он нагнулся и двумя руками с сопением оторвал слиток от штабеля.

— Раз, — сказал Наср аль-Гураб.

Мойше шагнул вперёд и взялся за слиток, присел, поднатужился и поднял его из ящика.

— Не тяжелее деревянного весла, — объявил он.

— Два, — сказал раис.

Даппа, поколебавшись, взялся за слиток, словно золото было раскалено докрасна.

— Белые облыжно называют нас людоедами, — проговорил он, — и теперь я им становлюсь.

— Три.

— Веселее, Даппа, — подбодрил Джек, — вспомни, что вчера ночью я мог убежать, но послушался

беса противоречия.

— И что с того? — бросил через плечо Даппа.

— Четыре, — сказал аль-Гураб, глядя, как Джек берёт слиток.

Джек двинулся по трапу вслед за чернокожим.

— У меня одного был выбор. И — что бы ни говорили кальвинисты — никто по-настоящему не погиб, пока сам себя не сгубил. Вы все — просто звери, которые отгрызают себе ноги, чтобы выбраться из капкана.

Когда, преследуемые Врагом
Ожесточённым, падали в провал
Стремглав под сокрушительной грозой
Разящих молний, жалостно моля
Спасения у бездны и в Аду
Ища убежища; когда в цепях,
На серном озере, стенали мы,
Не хуже ль было?

Мильтон, «Потерянный рай» [19]

Таран оставили у брига в заднице и двинулись на вёслах прочь примерно за час до рассвета. Один из корсаров играл на горне басурманский

---

[19] Примечания: 19

Здесь и далее перев. Арк. Штейнберга.

мотив. Почти весь прежний товар и балласт отправили за борт, пока золотые бруски передавали по цепочке через палубу брига в галиот. К восходу солнца бриз превратился в устойчивый западный ветер. Первые лучи явили взглядам колоссальную гряду облаков, начинавшуюся на западном горизонте и закрывшую половину неба. От такого зрелища любые моряки заспешили бы в безопасную гавань, даже если они не на беспалубной, лишённой якорей скорлупке, бегущей людского беззакония и Божьего гнева.

От Гибралтара их отделяло семьдесят или восемьдесят миль. В безветренную погоду на такой путь потребовалось бы более суток; сейчас они имели шанс добраться засветло.

Ван Крюйк смотрел не на облака, которые пока были в будущем, а на волны, которые с рассветом запенились белыми барашками.

— Они смогут делать узлов шесть, — сказал он, имея в виду преследователей-испанцев. — Этот красавчик — восемь, — кивая на «Метеор», как раз показавшийся вдалеке.

Джек знал, что галиот, недавно очищенный от ракушек и покрытый восковой мастикой, под парусами и на вёслах тоже сможет развить восемь узлов.

Другими словами, сегодня они, возможно, могли бы уйти от яхты и обрести свободу, но прежде надо было бы одолеть корсаров на борту. А под конец дня им предстояло положиться на других корсаров для защиты от испанцев. Оставалось следовать плану.

Первые несколько миль от Санлукар-де-Баррамеда до Кадиса напоминали утреннюю прогулку в духе тренировочных рейсов вокруг Алжира. Однако «Метеор» — теперь под французским флагом — поднял все паруса и начал обходить их с запада. Возможно, французы просто проявляли бдительность, а может, готовились взять галиот на абордаж, отнять добычу и отправить их всех назад в рабство или на корм рыбам. Потому на подходе к Кадису галерники уже гребли изо всех сил. Два испанских фрегата вышли из гавани и дали по предупредительному выстрелу — очевидно, ночью из Бонанцы прискакали конные гонцы с известиями.

День превратился в одуряющий страшный сон, медленное нескончаемое умирание. Джек грёб, и его стегали бичом, потом роли менялись, и сам он стегал гребцов. Он стоял над дорогими ему людьми и видел только рабочий скот, бил их в кровь, чтобы гребли на йоту быстрее, а потом так

же били его. Раис грёб, и собственные невольники рвали об него бичи. Галиот превратился в открытый ковш крови, волос и кожи, единое живое тело: скамьи — рёбра, вёсла — пальцы, барабан — сердце, бичи — оголённые нервы, пульсирующие в кишках корпуса. Таким был первый час, таким был последний; очень скоро всё стало невыразимо ужасно и оставалось таким беспрерывно, бесконечно, хотя и длилось всего день — так в недолгий кошмарный сон укладывается целое столетие. Другими словами, они выпали из времени, из истории, потому и летописать тут нечего.

Они начали возвращаться в человеческий облик только после заката, понятия не имея где. На галере было явно меньше людей, чем на восходе, когда вёсла коснулись воды и пропел горн. Никто точно не знал, почему. Джек смутно помнил, как множество рук перекидывали окровавленные тела через планширь и как его самого пытались выбросить за борт, но остановились, когда он задёргался. Джек думал, что мистер Фут не пережил этого дня, пока не услышал хриплое дыхание из темноты и не обнаружил бывшего владельца «Ядра и картечи» под куском парусины. Остальные сообщники тоже уцелели, во всяком случае,

были на галиоте. Кто выжил, а кто нет в такой день, определить трудно. Ясно было одно: им уже никогда не стать прежними. Джек сказал про зверя, отгрызающего себе ногу, чтобы уменьшить моральные терзания Даппы, но сегодня метафора стала явью; даже если Мойше, Иеронимо и прочие ещё дышали и по-прежнему были на борту, какая-то их часть осталась позади, отгрызенная. В ту ночь Джеку не пришло в голову, что по крайней мере для части из них перемена могла быть к лучшему.

Из темноты закапал дождь. Они лежали животом на скамьях, давая воде промывать раны. Волны нахлёстывали на галиот с разных сторон. Некоторые боялись, что галиот налетит на мель у берегов Испании. Однако ван Крюйк — когда обрёл дар речи и закончил молиться о прощении своих грехов — сообщил, что видел Тарифу с левого борта, озарённую алым закатным светом. Итак, ветер вынес их в Средиземное море, справа были корсарские страны, и все они отныне принадлежали славному прошлому Испании.

Мальта и далее
Конец августа 1690

— Со времён Пророка моё племя разводит верблюдов в зелёных предгорьях Дар-Нуба, в Кордофане, над Белым Нилом, — рассказывал Ниязи, покуда галиот неспешно скользил в проливе между Мальтой и Сицилией. — Вырастив, мы гоним их в Омдуман, что на слиянии Белого и Голубого Нила, а дальше ведомыми только нам тропами, когда вдоль Нила, когда через пустыню, в каирский Хан-эль-Халили. Это величайший базар верблюдов, и не только верблюдов, во всём мире. Также случается нам подниматься по Голубому Нилу и переваливать через горы в Аддис-Абебу, либо далее, порою доходя до портов, откуда гружённые слоновой костью суда берут путь на Мокку.

В отличие от моего товарища Иеронимо, я не горазд красиво излагать мысли и расскажу лишь, что в одном из таких походов многие мои сородичи заболели и умерли. Все в нашем племени — великие воины. Однако в том переходе мы так ослабли, что на горном перевале не смогли

отбиться от дикарей, никогда не слышавших слов Пророка. А может, они слышали эти слова, но не вняли им, что ещё хуже. Короче, у них есть обычай, по которому юноша не считается взрослым и не может жениться, пока не оскопит врага и не принесёт верховному жрецу орхидеи его мужественности. Итак, мужчин моего племени, не умерших от болезни, выхолостили — всех, кроме меня. Я ехал позади каравана, чтобы предупредить, если на нас нападут сзади. Подо мной был великолепный скакун. Заслышав звуки сражения, я поскакал вперёд, моля Аллаха даровать мне смерть в бою. Однако, приблизившись, я услышал крики: вопили те, кого холостили, но я различил, как мой брат, уже кастрированный, зовёт меня по имени. «Ниязи! — кричал он. — Скачи прочь! Встретимся в караван-сарае Абу Гашима! Ибо отныне ты будешь мужем наших жён, отцом наших детей, Ибрагимом нашего рода!»

Из девяти слушателей восемь замерли в уважительном молчании, Джек же выставил ладони, словно чаши весов, покачал ими и опустил одну.

— Похлеще, чем дать язычникам отрезать себе муде.

Ниязи впал в ярость (что удавалось ему очень хорошо) и кинулся на Джека более или менее как

леопард. Джек плюхнулся на зад и упал на спину, что было больно, поскольку она по-прежнему представляла собой один сплошной струп. Он изловчился коленями упереться Ниязи в рёбра и оттолкнуть того со всей силой. Ниязи рухнул навзничь, завопил, как перед тем Джек, и тут же его прижали к палубе Евгений и Габриель Гото. Прошло несколько минут, прежде чем он снова успокоился.

— Приношу извинения, — сказал египтянин со всей серьёзностью. — Я забыл, что ты претерпел ещё худшее увечье.

— Худшее? С какой это стати? — спросил Джек, всё ещё придумывая, как бы встать, не разодрав спину окончательно.

Ниязи повторил жест Джека с ладонями-весами.

— Мои сородичи по-прежнему могут, но не хотят, а ты хочешь, но не можешь.

— Удар засчитан, — пробормотал Джек.

— Поэтому теперь я вижу, что ты не обвиняешь меня в трусости, а значит, тебя можно не убивать.

— Воистину ты князь меж торговцев верблюдами, Ниязи, и как никто достоин стать Ибрагимом своего рода.

— Увы! — вздохнул Ниязи. — Я ещё не сумел оплодотворить ни одну из сорока своих жён.

— Сорока! — воскликнули разом несколько голосов.

— Считая нескольких, которые у меня уже были, тех, что мы купили в дороге и отправили домой другим путём, и тех, чьи мужья стали евнухами по вине дикарей, выходит около сорока. И все ждут меня в предгорьях Дар-Нуба.

Взгляд его затуманился, а внизу под рубашкой обрисовалась внушительная выпуклость.

— Я соблюдал себя, — объявил Ниязи, — воздерживаясь от греха Онана, даже когда ифриты и суккубы искушали меня в ночные часы. Ибо, изливая семя, я умерил бы свою ярость и ослабил решимость.

— Ты не добрался до караван-сарая Абу Гашима?

— Напротив. Я приехал туда и стал дожидаться сородичей, понимая, что ожидание будет долгим: люди, претерпевшие такое увечье, не смогут подолгу ехать на верблюдах. Через две ночи с верховьев Белого Нила пришёл караван, нагруженный слоновой костью. Арабы-караванщики увидели моё искусство в обращении с верблюдами и предложили мне пойти с ними погонщиком

до Омдумана, лежащего в трёх днях пути к северу. Я согласился и наказал Абу Гашиму передать моим братьям, что вернусь меньше чем через неделю.

Однако в первую же ночь арабы скрутили меня и надели мне ошейник. Полагаю, они хотели оставить меня при себе в качестве погонщика и мальчика для утех. Однако, не доходя до Омдумана, они остановились в некоем оазисе неподалёку от турецкого каравана. Начался обычный торг: арабы сложили в кучу товары, которые хотели обменять (по большей части слоновую кость), между двумя лагерями и удалились. Турки осмотрели добро, оставили свой товар (табак, ткани, железо в слитках) и удалились. Так продолжалось долго. Наконец меня добавили к груде арабского товара. Турки вышли и забрали меня со всем арабским добром, а клятые арабы забрали турецкое добро, после чего оба каравана пошли своей дорогой. Турецкий добрался до Каира, и там я попытался бежать, зная, что мои сородичи в определённое время года (а именно в августе) будут в Хан-эль-Халили. Увы, меня выдал другой невольник. Позже я оторвал ножку от табуретки и забил его до смерти. Турки поняли, что в Каире со мной сладу не будет, и продали меня

алжирскому корсару, зашедшему в порт с грузом белокурых кармелиток.

Джек вздохнул.

— Есть в невольничьих историях некое однообразие, некий бесконечный повтор, так что я (кстати о белокурых невольницах) временами готов согласиться с милой Элизой, не одобрявшей эту практику в целом.

— Насколько я понял из твоих рассказов, тоже не лишённых повторов, — заметил Даппа, — она осуждала рабство по причинам моральным, а не потому, что невольников скучно слушать.

— Я бы тоже выдумал какие-нибудь разэдакие резоны, если бы коротал время за вышивкой и купаниями.

— Я не знал, что ворочать деревянным веслом — столь большая нагрузка для твоего интеллекта, — сказал Даппа.

— Пока английская лихорадка не прогнала французскую хворь, никакого интеллекта у меня не было. Когда я буду богат и свободен, то выдумаю сто и один довод против рабства.

— Достанет и одного, — процедил Даппа.

Джек почувствовал, что надо сменить тему, и повернулся к Врежу Исфахняну, который сидел на корточках, курил турецкий табак и наблюдал

за беседой.

— О, по сравнению с прочими моя история тривиальна, — сказал Вреж. — Как ты, вероятно, помнишь, мой брат Артан разослал в разные места письма с вопросами касательно рынка страусовых перьев. Ответы убедили его, что бедственное положение нашей семьи можно поправить, если наладить оборот товаров через Северную Африку. С этой целью меня отправили в Марсель. Оттуда, на каботажных судах, я попытался добраться вдоль Балеарского побережья Испании до Гибралтара, где предполагал начать переговоры с торговцами. Однако я не предусмотрел, что прибрежные воды южнее Валенсии кишат пиратами-маврами, чьи предки некогда владели Андалусией. Они знают укромные бухточки и мели, как…

— Ладно, ладно, ты убедил меня, что это и впрямь рядовая история галерника, — сказал Джек, подходя к борту и (очень осторожно) потягиваясь. Он взял бурдюк и выжал в рот струйку затхлой воды, потом встал на скамью, чтобы осмотреть скользящую вдоль борта Мальту. Он только сейчас осознал, что остров маленький и надо разглядеть его, пока можно. — Я, собственно, о другом: как ты оказался на моей скамье?

— Неумолимое течение невольничьего рынка прибило меня к Алжиру. Хозяин узнал, что я умею не только грести, и посадил меня счетоводом на базаре, где корсары продают и обменивают награбленное. Позапрошлой зимой я познакомился с Мойше, когда тот расспрашивал о рынке фьючерсов на выкуп невольников. Мы много беседовали, и передо мной начали вырисовываться очертания его плана…

— Он рассказал тебе про Иеронимо и вице-короля?

— Нет, о них я узнал в ту же ночь, что и ты.

— Так как же ты говоришь, что начал понимать его план?

— Я понял основной принцип: что кучка невольников, поодиночке имеющих минимальную рыночную цену, может заметно подорожать при разумном объединении в коллектив… — Вреж покачался на пятках и скривился, щурясь от солнца. — На вашем ублюдочном сабире трудно подобрать слова, но план Мойше состоял в том, чтобы синергетически организовать добавленную стоимость различных конкурентоспособных характеристик в виртуальную общность, чьё целое больше суммы составных частей…

Джек непонимающе таращил глаза.

— По-армянски выходило куда лучше, — вздохнул Вреж.

— Как же ты оказался на самом дне невольничьего рынка? — спросил Джек. — Знаю, что твоя семья не самая богатая, но мне казалось, она заплатит сколько угодно, чтобы выкупить тебя из Алжира.

Лицо Врежа застыло, как будто он узрел Медузу Горгону на высоком берегу Мальты. Джек понял, что по армянским меркам вопрос бестактный.

— Ладно, — сказал он. — Ты прав, не важно, почему родные не могут или не хотят тебя выкупить. — И, поскольку Вреж всё равно молчал, добавил: — Больше не буду спрашивать.

— Спасибо. — Вреж выдавил это слово, как будто горло ему стискивала гаррота.

— И всё равно удивительно, что мы оказались за одним веслом, — продолжал Джек.

— Зимой Алжир кишит несчастными галерниками, мечтающими измыслить путь к свободе. — Голос Врежа по-прежнему звучал сдавленно, однако бешенство, или горе, или что там на него накатило, постепенно шло на убыль. — Поначалу я счёл Мойше одним из таких прожектёров. Однако по мере наших бесед я понял, что он человек умный, и решил связать с ним свою судьбу. Когда

же я узнал, что у Мойше есть сосед по скамье, Джек Шафто, то увидел в этом знак Божий. Ведь я твой должник, Джек.

— Ты?!

— С тех самых пор, как ты бежал из Парижа. В ту ночь все мы в моей семье стали твоими должниками. Если надо, мы отправимся на край света и продадим душу, чтобы расплатиться.

— Не может быть, чтобы ты говорил про те треклятые перья!

— Ты доверил их нам, Джек, и назначил нас своими комиссионерами.

— Да они не стоили ломаного гроша. Пожалуйста, не думай, будто ты мне чем-то обязан.

— Это вопрос принципа, — упорствовал Вреж. — Посему я составил собственный план, не менее сложный, чем план Мойше, пусть и не столь занимательный. Не буду утомлять тебя подробностями, скажу лишь, что меня продали на твою галеру, Джек, и сковали с тобою одной цепью — хотя стальные узы ничто в сравнении с узами долга и обязательств, связавшими нас в Париже в тысяча шестьсот восемьдесят пятом году.

— Очень любезно с твоей стороны, — отвечал Джек. — А теперь слушай. Я не люблю оставаться в долгу, но знать, что кто-то считает себя моим

должником, — ещё хуже. Так что как доберёмся до Каира, я соглашусь принять несколько лишних фунтов кофе, или чего ещё, в качестве платы за страусовые перья, и мы сможем идти каждый своей дорогой.

Пройдя со штормовым ветром Гибралтарский пролив, они несколько дней пережидали непогоду в Альборанском море, предбаннике Средиземного. Когда буря утихла, двинулись к юго-востоку, держа курс на вершины Атласских гор, пока не вышли к берберийскому побережью возле корсарского порта Мостаганем. Там не остановились — отчасти потому, что не было якорей, отчасти, видимо, потому, что Наср аль-Гураб получил строгий наказ не общаться с внешним миром, пока они не достигнут цели. Однако в нескольких милях от Мостаганема, где в море впадает река, бегущая с северных склонов Атласских гор, аль-Гураб велел поднять на мачте некий флаг. Довольно скоро из укромной бухточки выскользнула бригантина и подошла к галиоту, держась, правда, на расстоянии выстрела из лука. Некоторое время капитаны перекликались по-турецки, потом два корсара и Даппа сели в ялик и забрали с бригантины пресную воду и другие припасы. После этого бригантина

сопровождала их до самого Алжира. Двигались медленно, поскольку за вёсла почти не брались — никто не хотел, большинство и не могло, а раис не настаивал.

В Алжире почти всех обычных гребцов перевезли в Пеньон, испанскую крепость на острове, и заперли там, чтобы не разболтали об увиденном. Из крепости доставили деревянные ящики, куда сообщники упаковали слитки, переложив их соломой, чтобы не звякали. Лишь после того, как ящики надёжно заколотили, на борт впустили свежих — и ничего не ведающих — гребцов.

Ещё им привезли новый барабан. В день после избавления от испанцев и шторма Джек Шафто торжественно выбросил старый за борт. Это был большой полубочонок, обтянутый сверху коровьей шкурой, с шерстью, кроме тех мест, где она вытерлась от ударов. Пегая буро-белая, она напоминала неподписанную карту. Барабан упорно плыл рядом с галиотом, пока Джек не оттолкнул его веслом. Тем временем Иеронимо ознаменовал победу по-своему: оглядев полумёртвых гребцов и залитые кровью скамьи, он провозгласил: «Мы все отныне кровные братья». Джек, со своей стороны, видел кучу серьёзных изъянов в идее породниться с Иеронимо, однако

оставил свои соображения при себе, чтобы не портить праздник. Иеронимо включил в число новообретённых братьев всех галерников, а не только десятерых заединщиков, и пообещал выкупить их за счёт своей доли. Те, кто понимал, о чём речь, только закатывали глаза. День ото дня посулы Иеронимо росли, как грибы после дождя. В конце концов он договорился до того, что надо построить или купить трёхмачтовый корабль и с командой освобождённых рабов отправиться на поиски неоткрытых земель. Правда, по мере приближения к Алжиру кабальеро всё больше впадал в тоску и вскоре вновь начал предрекать кровавую баню в Египте или даже у Мальты.

В сопровождении ещё одного, более тяжело вооружённого галиота они покинули Алжир с надеждой никогда больше его не увидеть. Гребли на восток, минуя один корсарский порт за другим, пока не оставили позади Тунисский залив и не достигли мыса Эт-Тиб, острого каменистого ятагана, нацеленного на Сицилию в сотне миль к северо-востоку. Здесь отправили на берег почти всех гребцов, за исключением десяти-двенадцати, и под парусом вышли в открытое море. Впервые с бегства от Бонанцы они не видели берега. Раис немедля приказал спустить турецкий флаг и

поднять французский.

Замаскировавшись таким образом — если смену флага можно назвать маскировкой, — они проплывали теперь под пушками различных средневековых крепостей, выстроенных всевозможными эзотерическими орденами на утёсах с северной стороны пролива. Пушки молчали, и через несколько часов, когда галиот обогнул мыс, стало ясно, почему: в заливе под белыми террасами и увитыми зеленью стенами Ла-Валетты стоял на якорях целый французский флот. Не только купеческие суда — хотя их тоже было не меньше десятка, — но и боевые. Два многопушечных фрегата и рой быстроходных галер.

И — как первым заметил ван Крюйк — здесь же был «Метеор». Очевидно, он из Гибралтарского пролива направился прямиком к Мальте, чтобы встретить галиот вместе с остальным флотом. Джек одолжил подзорную трубу и увидел на бизань-мачте «Метеора» флаг с гербом, о который — в виде барельефа — едва не размозжил голову в парижском особняке д'Аркашонов.

— Королевские лилии и негритянские головы, — объявил он. — Инвестор здесь собственной персоной.

— Наверное, прибыл через Марсель, — заметил

ван Крюйк.

— То-то мне почудилось, что приванивает тухлой рыбой, — сказал Джек.

Галиот тоже сразу увидели и узнали. Через несколько минут от «Метеора» подошла лодка с французским офицером и полудюжиной гребцов. Офицер поднялся на галиот и провёл быструю инспекцию — убедился, что команда подчиняется капитану и судно готово к дальнейшему плаванию. Он вручил раису несколько запечатанных писем и отбыл.

— Интересно, почему он просто не захватил нас вместе с грузом? — пробормотал Евгений, держась за ванты и глядя на военные корабли.

— Потому же, почему этого не сделал паша в Алжире, — отвечал Мойше.

— У герцога множество общих дел с корсарами, — добавил Джек. — Он не смеет ссориться с пашой, нарушая условия плана.

— Я ждал более пристального осмотра, — сказал мистер Фут, обнимая себя руками, как от холода, и беспокойно косясь на ящики с золотом.

— Он знает, что мы что-то забрали с вице-королевского брига. Что-то ценное, раз мы рисковали жизнью, оставаясь перед Санлукар-де-Баррамеда несколько часов и перетаскивая это к себе. Если

бы мы не нашли ничего, то сразу рванули бы прочь, — объяснил Джек. — Тут ничего и осматривать не надо.

— Но знает ли он, *что* это? — спросил мистер Фут. Сейчас их могли слышать другие гребцы, поэтому он говорил обиняком.

— Ему неоткуда знать, — сказал Джек. — С галиотом он общался посредством горна, о сигналах договаривались заранее, и вряд ли был сигнал для *тринадцати*.

Слово «тринадцать» означало у них «в двенадцать или тринадцать раз больше денег, чем мы рассчитывали».

— И всё же мы знаем, что алжирский паша отрядил вперёд быстроходное судно с приказом не пускать нас во все левантийские порты.

— Во все, за исключением одного, — поправил Евгений.

— Разве он не мог сообщить на Мальту о *тринадцати?*

Подошёл Даппа.

— Вы забываете задать очень любопытный вопрос, а именно: знает ли паша?

У мистера Фута лицо стало скандализованное, у Евгения — задумчивое.

— Ещё бы ему не знать! — вскричал мистер

Фут.

Даппа спросил:

— Ты не заметил, что всякий раз, как раис говорит с кем-то, не знающим о тринадцати, он старается, чтобы рядом оказался я?

— Единственный из нас, кто понимает турецкий, — заметил Евгений.

Джек:

— Думаешь, аль-Гураб хранит тринадцать в тайне?

Евгений:

— Или хочет нас в том уверить.

Даппа:

— По-моему, просто даёт нам это понять.

Мистер Фут:

— С какой целью?

Даппа:

— Когда Иеронимо произносил речь о кровных братьях, а вы все закатывали глаза, я случайно взглянул на Наср аль-Гураба и увидел, как он сморгнул слезу.

Мистер Фут:

— Ну и ну! Поразительно!

Джек:

— Кабальеро, аристократу до мозга костей, трудно было признать то, что мы все давно чуяли

нутром, а именно, что здесь, среди обездоленного отребья, мы нашли своё естественное место в мире. Может, раиса тронул суровый пафос этой сцены.

Даппа:

— Раис — берберийский корсар. Такие, как он, обращают в рабство испанских грандов *забавы ради*. Я думаю, он встал на нашу сторону.

Мистер Фут:

— Тогда почему он не скажет этого прямо?

Даппа:

— Может быть, он и говорил, а мы не слушали.

Евгений:

— Если таков его план, то всё решится на Мальте. Быть может, он просто не торопится раскрывать карты.

Джек:

— Тогда всё определит письмо, которое доставил француз. И, к слову, сдаётся, мы задерживаем церемонию.

Наср аль-Гураб удалился в тень шканцев вместе с остальными сообщниками, и теперь все нетерпеливо поглядывали в сторону четвёрки. Когда Джек, Даппа, Евгений и мистер Фут подошли, раис пустил письмо по кругу, чтобы все разглядели красную восковую печать. Джек увидел,

что она не сломана. Он почти ожидал, что на ней будет оттиснут герб д'Аркашонов, но это оказался какой-то флотский символ.

— Я не умею читать, — сказал Джек.

Когда письмо вернулось к раису, тот сломал печать и развернул бумагу.

— Латинские буквы, — посетовал турок и отдал письмо Мойше, который сказал: «Оно на французском».

Вреж Исфахнян, когда послание добралось до него, объявил, что оно не на французском, а на латыни, и передал бумагу Габриелю Гото, который и перевёл письмо, хотя Иеронимо и заглядывал ему через плечо, морщась или кивая в зависимости от качества перевода.

— Оно начинается с описания очень большого недовольства в домах вице-короля и Хакльгебера в день после нашего приключения, — начал иезуит на сабире со своим чудны́м акцентом, но его слова едва не утонули в хохоте Иеронимо, потешавшегося над чем-то, что Габриель выпустил. Тот подождал, когда Иеронимо уймётся, и продолжил: — Он пишет, что его дружба с нами крепка, и советует не бояться того, что каждый порт в христианском мире кишит сейчас лазутчиками и наёмными убийцами, жаждущими получить

награду за наши головы, которую объявил Лотар фон Хакльгебер.

Несколько слушателей обеспокоенно поглядели на Ла-Валетту, проверяя, можно ли достать их оттуда из ружья или даже из пушки.

— Он хочет нас застращать, — фыркнул Евгений.

— Простая формальность, — вставил Джек. — Как это зовётся?..

— Вступление, — подсказал Мойше.

Габриель продолжал:

— Он пишет, что получил с быстроходным судном известия от паши и знает, что всё прошло в точности по плану.

— В точности?! — с лёгкой тревогой переспросил Мойше, изучая лицо аль-Гураба.

Раис спокойно выдержал его взгляд и пожал плечами:

— Соответственно, он не видит причин отступать от плана. Как условлено, он одолжит нам четыре дюжины гребцов, чтобы мы не отстали от флота по пути в Александрию. Припасы доставят через несколько часов. Тем временем с яхты пришлют шлюпку за раисом и старшим янычаром, дабы те выбрали гребцов.

Тут все заговорили разом, и прошло некоторое

время, прежде чем отдельные разговоры удалось соединить в один. Мойше добился этого, ударив в барабан. Все смолкли — звук, которому каждый из них привык подчиняться, напомнил, что они по-прежнему числятся невольниками в конторских книгах алжирского казначейства.

Мойше:

— Если Инвестор не узнает про тринадцать до Каира, то потребует объяснить, почему мы не сказали сразу! (Укоризненно глядя на раиса.) Он поймёт, что мы собирались его надуть, а потом струхнули.

Ван Крюйк:

— Какая нам печаль, что этот паскудник будет о нас думать? Мы не собираемся впредь вести с ним дела.

Вреж:

— Это недальновидно. Власть Франции в Египте — и особенно в Александрии — очень сильна. Он может крупно нам навредить.

Джек:

— Кто сказал, что он вообще узнает про тринадцать?

Иеронимо злорадно рассмеялся:

— Началось!

Мойше:

— Джек, он рассчитывает получить свою долю серебряными чушками. У нас их нет!

Джек:

— А зачем отдавать ему хоть что-нибудь?

Ван Крюйк, с мрачным весельем:

— Продолжая скрывать то, что раис скрывал до сих пор, мы сговариваемся нагреть Инвестора на двенадцать тринадцатых его законной доли. Так чего щепетильничать из-за оставшейся тринадцатой части?

Мойше:

— Согласен, что Инвестора надо дурить во всём либо ни в чём. Однако я за открытость. Если просто следовать плану и отдать Инвестору сколько причитается, мы будем свободны и при деньгах.

Иеронимо:

— Если он не решит нагреть *нас*.

Мойше:

— Но сегодня это не более вероятно, чем было прежде!

Джек:

— По-моему, это всегда было очень вероятно.

Евгений:

— Мы не можем рассказать Инвестору про тринадцать здесь и сейчас. Он объявит, что прежде мы молчали с целью его надуть, и под этим пред-

логом захватит галиот.

Ван Крюйк:

— Евгений зрит в корень.

Джек:

— Евгений видит Инвестора насквозь.

Мойше обхватил голову руками и принялся тереть голые места там, где прежде росли пейсы. У Врежа Исфахняна было такое лицо, будто его укачало. Иеронимо вернулся к мрачным предсказаниям, которые никто не слушал. Наконец Даппа сказал:

— Нигде в мире мы не будем так уязвимы, как здесь и сейчас. Самое неудачное время открывать тайну.

Все молча с ним согласились.

— Ладно, — постановил Мойше. — Скажем ему в Египте и будем надеяться, что он на радостях от нечаянно привалившего богатства простит нам прежний обман. — Он помолчал и вздохнул. — Ещё вопрос: зачем ему раис и старший янычар, чтобы забрать гребцов?

— Так принято, — отвечал раис. — Странно было бы, если бы он поступил иначе[20].

— Помните, что мы имеем дело с французским

---

[20] Примечания: 20

По уставу турецкого флота раис распоряжался судном и гребцами, ага янычар — воинами.

герцогом, а он будет во всём держаться правил, — добавил Вреж.

— Только один из нас может сойти за янычара, — сказал Джек. — Дайте мне тюрбан и остальное.

— Даже если герцог посмотрит мне прямо в лицо, он вряд ли меня узнает, — сказал Джек. — В его доме моё лицо было почти всё время закрыто — иначе бы он не принял меня за короля Луя. Я убрал шарф от лица в последнее мгновение…

— Но если в твоём рассказе есть хоть капля правды, — возразил Даппа, — таких драматических мгновений не видывали в театре…

— К чему ты клонишь?

— За этот миг твоё лицо навсегда запечатлелось в памяти герцога.

— Надеюсь, что да!

— Джек, Джек, — мягко возразил Мойше, — ты должен надеяться, что нет.

Только Мойше, Даппа и Вреж знали, что Инвестор последние несколько лет прочёсывает все бухточки и рифы Средиземного моря в поисках человека, которого мусульмане называют Али Зайбак. Мойше и Даппа отправились вслед за Джеком к мешку с одеждой, изводясь и ломая руки. Вреж был совершенно спокоен.

— Тогда Джек был длинноволосый, заросший щетиной и куда плотнее. Теперь его лицо и голова выбриты, а сам он исхудал и загорел дочерна. Думаю, его вряд ли узнают — если он не станет снимать штаны, — сказал Вреж.

— За каким дьяволом мне их снимать? — огрызнулся Джек.

Подошла шлюпка. Джек и раис спустились в неё. Даппа отправился с ними в качестве переводчика — все решили, что Джеку не стоит обнаруживать знание языка французских бродяг. Шлюпка доставила их вовсе не на «Метеор», а в ту часть гавани, где у длинного каменного пирса стояло не менее десятка французских боевых галер. Два босоногих французских моряка привязали шлюпку к концу пирса. Шёл отлив, так что аль-Гурабу, Джеку и Даппе пришлось выбираться на раскалённый пирс по верёвочной лестнице. Здесь их встретил тот же молодой офицер, что утром доставил письмо, — горбоносый, с неправильным прикусом. Он небрежно поклонился. Адъютант представил их офицеру и назвал его имя: Пьер де Жонзак.

— Передай мсье де Жонзаку, что у него невероятно маленькие ноздри, — сказал Джек на самом вульгарном сабире, какой только мог

изобразить. — Должно быть, это помогает ему в общении с господином.

— Ага янычар приветствует тебя как воин воина, — неопределённо перевёл Даппа.

— Вырази ему мою радость по поводу того, что он самолично взял на себя ответственность за доставку нас и нашего груза в Каир, — сказал раис.

Даппа перевёл. Лицо Пьера де Жонзака напряглось. Зрачки расширились, а ноздри в то же время сузились, как если бы их связывала верёвочка.

— Он слабо понимает и сильно злится, — уголком рта проговорил Даппа.

— Если мы не выберем хороших гребцов, то отстанем от конвоя. Голландским или калабрийским пиратам достанется груз… — начал турок.

— …о природе которого мы знать не знаем, — подхватил Джек.

— …но которым герцог почему-то очень дорожит, — закончил Даппа, догадываясь, к чему клонит раис.

Когда он перевёл это на французский, Пьер де Жонзак сморгнул. На мгновение лицо у него стало такое, как будто сейчас он прикажет их выпороть.

Тем не менее офицер повернулся на каблуках и повёл их вдоль пирса. Корпуса французских

галер — низкие, как шлёпанцы, и узкие, как ножи — были не видны с пирса, но на каждой, помимо двух мачт, имелись высокие бак и ют, чтобы поднять пушки и вооружённую команду как можно выше над неприятелем. Надстройки эти, украшенные, позолоченные и расписанные в лучшем барочном духе, словно висели в воздухе, покачиваясь на волнах. Зрелище казалось на удивление мирным, пока все не подошли вместе с де Жонзаком к краю пирса и не заглянули в одну из галер: зловонную канаву, заполненную сотней голых людей, скованных по пятеро за щиколотки и запястья. Многие дремали, но как только наверху показались лица, неспящие принялись выкрикивать оскорбления и разбудили остальных. Теперь кричали все:

— Эй, чурек! Спускайся и садись на моё место!

— У тебя классная задница, черномазый! Нагнись-ка и покажи её нам как следует!

— Куда изволите сегодня грести?

— Возьмите меня! Мои соседи храпят!

— Возьмите его! Он слишком много молится!

И так далее. *Все* орали, звенели цепями и топали ногами, так что корпус галеры гудел, словно барабан.

– *Je vous en prie!* [21] — сказал Пьер де Жонзак, указывая рукой.

Очевидно, предполагалось, что они возьмут по несколько гребцов с каждой галеры. Вскоре определился и ритуал: они перебирались по сходням с пирса на ют и вступали в переговоры с капитаном, который любезно предлагал заранее отобранных каторжников — всякий раз последних чахоточных доходяг. Наср аль-Гураб тыкал их в грудь, осматривал зубы, щупал колени и презрительно фыркал, после чего начинался торг. Используя Даппу в качестве переводчика, аль-Гураб вынужден был отвергать каторжников по одному, начиная с самых жалких, и те оправлялись в орущую бучу прикованных к скамьям бродяг, контрабандистов, карманников, дезертиров, душителей, военнопленных и гугенотов. Дальше требовалось подобрать замену, что влекло за собой новый торг, а также ненавидящие взгляды, словесные оскорбления, блеф и всевозможные проволочки со стороны унтер-офицеров, не говоря уж о бесконечном снятии и надевании цепей. Шлюпка могла доставить на галиот не больше десяти каторжников зараз, следователь-

---

[21] Примечания: 21
Прошу (*фр.*).

но, предстояло сделать пять рейсов.

Аль-Гураб надеялся вымотать французов своей неторопливостью, но вскоре стало ясно, что время на стороне капитанов, которые прохлаждались в каютах, и Пьера де Жонзака, попивавшего шампанское под огромным зонтом от солнца, покуда Джек, Даппа и аль-Гураб вдыхали вонь и слушали нескончаемую брань галерников. Они набрали примерно две шлюпки относительно хороших гребцов, после чего вконец одурели и теперь мечтали об одном: покончить с этим делом, сохранив хоть какую-то видимость достоинства. Много каторжников провёл в тот день Джек между скамьями. Иных приходилось тащить через всё стопятидесятифутовое судно. Каждый остающийся считал своим долгом что-нибудь крикнуть уводимому:

— Надеюсь, басурмане будут дрючить тебя так же часто, как ты ныл про жену и детей в Тулузе!

— Черкни из Алжира письмецо, говорят, там погода хорошая!

— Прощай, Жан-Батист, да пребудет с тобой Бог!

— Не позволяй корсарам нас таранить, я против них ничего не имею!

Оставалось набрать последний десяток греб-

цов, когда Джека, стоявшего в проходе галеры (раис тем временем пререкался с унтер-офицерами), на мгновение ослепила яркая вспышка света. Он сморгнул. Вспышка погасла и тут же снова ударила ему в глаза — яркая, как от солнца, но бьющая откуда-то из галеры. На третий раз он загородился ладонью, сощурился и увидел, что свет бьёт с середины скамьи правого борта, ближе к носу. Джек двинулся туда под гомон каторжников, которые увидели солнечный зайчик на его лице и теперь, хохоча, молотили кулаками по скамьям.

Добравшись до носовой части вёсельной палубы, Джек уже не мог вспомнить, откуда била вспышка, но тут она вновь ударила ему в глаза, потускнела и стала многоугольником серого стекла в руке одного из каторжников. Джек и раньше догадался, что это зеркальце — одно из немногих сокровищ, которые дозволялось иметь гребцам. Выставив его в вёсельный порт или подняв над головой, можно было заметно увеличить обзор. А вот пускать зайчики в глаза свободному не следовало — тот мог, разозлившись, конфисковать либо разбить зеркальце.

Джек посмотрел в лицо нахалу, вздумавшему шутить с ним шутки, и узнал мсье Арланка,

которого последний раз видел в куче навоза на французском постоялом дворе.

Джек раскрыл рот; мсье Арланк приложил палец к губам, едва заметно мотнул головой и указал глазами в общем направлении Сицилии. Внимание Джека каталось по гавани, как пушечное ядро по палубе, пока не попало в ямку и не остановилось. Он ясно увидел магометанского вида полугалеру, то и дело исчезавшую во вспышке вроде той, что пускал зеркальцем мсье Арланк.

Это был их галиот.

В первый миг Джек подумал, что новые гребцы подняли мятеж и его товарищи сигналят, прося помощи. Но нет: вспышка била не со шканцев, где те бы оборонялись в случае мятежа, а откуда-то ниже и ближе к середине — из вёсельного порта. Кто-то из новых гребцов, вероятно, уже прикованный к скамье, подавал сигналы — кому?

Джек повернулся к пирсу, на который уже легла тень высоких замков и скал Мальты. Держа ладонь козырьком, он различил ползущее по камню пятнышко голубоватого света. Зеркальце держала нетвёрдая рука на качающемся судне, поэтому зайчик то взмывал в небо, то нырял в волны, но всякий раз возвращался и полз по пирсу к определённой точке. Проследив за ним взглядом, Джек

увидел Пьера де Жонзака. Тот сидел за складным столом, держа в руке перо, и глядел на море. Всякий раз, как призрачная вспышка озаряла его лицо, он смотрел вниз (парик двигался) и что-то записывал (перо подрагивало).

— Полагаю, ты считаешь, что так было предопределено, — сказал Джек, — но я думаю, что ты тоже в этом поучаствовал и потому заслуживаешь моей благодарности.

— Некогда болтать, — отвечал Арланк. — Знай, что люди, которых вам отправили, очень опасны: убийцы, подстрекатели, фанатики, грабители пекарен, насильники и сбившиеся с пути истинного замочные мастера.

— Я бы охотней взял парочку гугенотов, — задумчиво проговорил Джек, оглядывая соседей мсье Арланка.

Старшой, сидевший ближе всех к проходу, был турком.

— Спасибо, Джек, но этому не предопределено случиться. Они никогда не согласятся — их план иной.

— А как насчёт Господа? У него есть план?

— Я верю только, что Господь хранил меня до сей минуты, дабы я показал тебе то, что показал, — проговорил Арланк, глядя на озарённого

новой бледной вспышкой де Жонзака, — и таким образом оплатил твою щедрость на постоялом дворе. Кстати, что вы такое затеяли?

— Долго рассказывать. — Джек отступил на шаг, поскольку аль-Гураб выбрал наконец последнего гребца и теперь махал рукой. — Всё объясню в Египте.

Мсье Арланк улыбнулся, как святой на раскалённой жаровне, и мотнул головой.

— Эта галера не дойдёт до Египта, а моё смертное тело, как видишь, едино с ней. — Он похлопал по цепи.

— Ты что, шутишь? Глянь, какая армада! Всё будет отлично!

Арланк, продолжая улыбаться, закрыл глаза.

— Если увидите голландский флаг, или английский, или, не дай бог, тот и другой вместе — гребите к Африке и не останавливайтесь, пока не налетите на берег.

— И что тогда? Топать пёхом через Сахару?

— Это будет легче, чем тот путь, в который мы пустимся завтра. Да хранит Господь тебя и твоих сыновей.

— Тебя и твоих тоже. Увидимся под сфинксом.

Джек побежал между скамьями. Галерники уже не кричали и не улюлюкали ему вслед. Они

притихли и помрачнели, как будто догадались, о чём говорил Джеку мсье Арланк.

Путь из Мальты в Александрию представлял собой локсодрому в тысячу миль длиной. Голландцы атаковали их посередине, южнее Крита, на шестой день. Будь Джек божеством, наблюдающим за битвой с небес, он мог бы хоть что-то понять: атака голландских кораблей, чинные манёвры французских, стремительные зигзаги галер складывались бы в упорядоченную картину и меньше напоминали бы бесконечную череду роковых случайностей. Однако Джек был всего лишь пылинкой на галиоте, который из-за малости никто не счёл нужным атаковать или защищать. Теперь стало ясно, почему хитрый Инвестор не приказал перетащить груз с галиота на фрегат: наверняка он подозревал, что половина его кораблей окончит путь на дне Средиземного моря.

Всякий раз, как голландский корабль давал бортовой залп по французскому фрегату, облако крутящихся досок, падающего рангоута и прочих дельных вещей разлеталось ярдов на сто. После того, как это происходило несколько раз, фрегат переставал двигаться, и галеры буксировали его с места боя, как слуги, выносящие из бальной залы

напившегося в стельку толстяка-маркиза.

Галиот тыркался бесцельно, как ягнёнок, потерявший матку в стаде, на которое напали волки. Ван Крюйк провёл весь день на грот-мачте, восхищаясь успехами голландцев и время от времени криками объясняя товарищам, что происходит (правда, на языке столь узкопрофессиональном, что никто ничего не понял). В самом начале сражения сообщники обсудили, не сдаться ли им голландцам. Однако у плана сразу обнаружилось множество изъянов. Пришлось бы как минимум отдать всё золото, да и вообще многие не разделяли естественную любовь ван Крюйка к голландской стороне.

Галера, к которой был прикован мсье Арланк, на протяжении большей части боя почти не пострадала. Потом (согласно ван Крюйку) её капитан получил указание протаранить некий голландский корабль. По пути она попала под обстрел, и, очевидно, на юте взорвалась граната. Вспыхнул огонь, и через несколько минут взрывом порохового погреба разворотило корму. Очень скоро нос неудержимо пополз вверх, словно стрелка часов. Галерники в носовой части — включая, надо полагать, мсье Арланка — выпустили из рук вёсла и уцепились за скамьи. Те, кто

не удержался, висели теперь, как связки форели перед рыбной лавкой.

— Давайте подойдём к ним, — предложил Джек. — Это не опаснее, чем просто болтаться, и будет хорошим тоном.

Остальные сообщники выразили полнейшее несогласие. Вреж Исфахнян открыл было рот, чтобы возразить, но тут ярдах в двух над их головами пролетело пушечное ядро, подтвердив правоту Джека и положив конец спорам. Наср аль-Гураб повернул румпель, и они устремились к тонущей галере. Тем временем Джек спустился к гребцам, по пути крикнув Евгению, чтобы тот принёс молот и наковальню.

В ночь перед отплытием с Мальты, когда почти все свободные французские матросы пьянствовали и/или причащались в городе, а французские офицеры сидели на званых обедах, сообщники вооружились мушкетонами и прошли между скамьями, расковывая гребцов (по паре зараз) и тщательно их обыскивая. Тюрбаны, платки и набедренные повязки вытряхивали и прощупывали, челюсти и ягодицы разводили, волосы прочёсывали либо обрезали. Иеронимо высмеивал эти предосторожности, особенно когда узнал, что весь сыр-бор разгорелся из-за слов «ерети-

ка-французишки». Однако он заткнулся, когда у него на глазах у немолодого тощего галерника по имени Жерар извлекли из ануса целый набор отмычек, и молчал, пока всё более невероятные скобяные изделия доставали, словно по волшебству, из различных телесных отверстий и предметов одежды. «Я уже не удивлюсь, если у кого-нибудь из ноздри вынут гранату», — сказал он наконец. Нашли и зеркальце, а потом второе, подтвердив Джеков рассказ. Ниязи впал в нехарактерную для него задумчивость, потом объявил: «Честь требует, чтобы мы отправили Инвестора в ад вместе с теми из его пособников, до которых достанут наши кинжалы». Десампарадо взъярился и почти час вышагивал между скамьями, вещая и охаживая новых гребцов «бычьим хером».

Однако галерников битьё впечатлило не больше, чем классические аллюзии*. Взбешённый Иеронимо был не хуже и не лучше любого французского унтер-офицера. Сильнее подействовали странные замечания, которые он обронил, исчерпав свой гнев — тут уж все поняли, что он безумен, и напугались.

Так или иначе, французские замки бросили в трюм, а цепи, надетые на рабов, разогрели на

переносной жаровне и заклепали намертво, памятуя, что кто-то мог утаить отмычки при обыске.

Пока галиот под облаками картечи двигался через остатки флотилии, Джек вытащил из трюма один французский замок. Потом Евгений несколькими ударами разбил цепь на Жераре. Джек подобрал к замку ключ в оставленной французами связке. Затем Джек, Евгений, Жерар и Габриель Гото сели в ялик и на вёслах преодолели последние ярды до медленно тонущей галеры.

Сотни скованных людей уже ушли под воду, десятка два оставалось наверху. Скамья, к которой общей цепью были прикованы Арланк и четыре его товарища и за которую они цеплялись последнюю четверть часа, была уже в считаных ярдах над водой, и волны прокатывались по их ногам. Джек выбрался на эту скамью, держа конец надетой на Жерара цепи, обмотал её вокруг Арланковой и скрепил замком. Ключ он для надёжности выкинул, а замок расплющил молотом, чтобы нельзя было вскрыть отмычкой.

Взгляд Жерара мгновенно устремился на цепь, удерживающую Арланка и его товарищей. Она заканчивалась на краю скамьи, где огромный замок крепил её к железной скобе.

Джек прыгнул назад в ялик, отдал Жерару отмычки и швырнул того за борт со словами: «Искупи свой грех!»

Разумеется, всё было не так просто, и, пересказывая этот эпизод, Джеку пришлось дать более полный отчёт со множеством живописных подробностей, как то: истерическое бормотанье одних галерников, молитвы других, руки, цеплявшиеся за борт ялика (их Габриель обрубал мечом). От французских офицеров и солдат, которые вылезли на бак и теперь жаждали деньгами или силой добыть место на галиоте, отбивались Иеронимо, Ниязи, ван Крюйк и остальные. Рваные облака порохового дыма над головой, еле различимые тела утопленников внизу — в связках по пять, словно нитки жемчуга.

Однако тогда Джек почти не замечал этих частностей. Замок и цепь занимали его почти так же безраздельно, как Жерара. В какой-то миг, когда того затянуло под воду, Джек уже решил, что затея провалилась. Турок, который был ближе других к краю скамьи, скрылся в волнах с криком: «Аллах акбар!»; сосед Арланка ушёл под воду, твердя: «В руки Твои, Отче, предаю дух мой». На поверхности оставалось только лицо мсье Арланка. Но тут возник Жерар, за ним турок; они

лезли по уходящей в воду галере, как по лестнице. Жерар выбрался на временно безопасное место, повернулся и швырнул замок Джеку в голову. Джек увернулся и захохотал.

— Вот твоё искупление, англичанин! — прокричал Жерар, рыдая от ярости.

Теперь они шли прямиком к устью Нила, днём под парусом, ночью на вёслах. Каждые несколько часов им попадался корабль из рассеянной на много миль французской эскадры. Раза три видели «Метеор», переживший сражение ценой ампутации бизань-мачты. С него сигналили зеркалами.

— Две вспышки, потом три, — сказал Наср аль-Гураб.

— По плану это означает, что мы должны сократить маршрут и идти вместо Абу-Кира к Александрии, — объяснил Мойше.

Аль-Гураб закатил глаза.

— С тем же успехом можно отправляться прямиком в Марсель. В Эль-Искандарии французы так же сильны, как турки.

— Если Инвестор хочет нас отыметь, не стоит самим подставлять ему задницу, — фыркнул Иеронимо.

— Тогда в Каир, чтобы хоть немного осложнить

ему задачу, — предложил раис.

— Каир улыбается мне больше Александрии, — заметил Джек, — но всё равно это тупик — конец маршрута.

— Не обязательно — мы можем подняться по Нилу до Эфиопии, — рассмеялся Даппа.

Ниязи, расценивший шутку как неверие в своё гостеприимство, объявил, что готов до скончания дней ночевать на голой земле, лишь бы друзья спали в постелях, — при условии, что они доберутся до подножия гор Дар-Нуба.

— Каир выбрали потому, что он — самая восточная точка, до которой мы можем добраться морем, — напомнил Мойше, — и выгоднее всего продать наш товар на хвалёном базаре Ханэль-Халили, в самом сердце древнего города, именуемого Матерью Мира. И всё это по-прежнему верно.

— Но попав туда, мы не сможем выбраться обратно. Инвестору довольно будет поставить два корабля в двух устьях Нила, у Розетты и у Дамиетты, и мы в западне, — напомнил ван Крюйк.

— И всё же эта часть Средиземноморья по-прежнему принадлежит туркам. Им подвластны все порты, — сказал раис. — И судами много быстроходнее нашего в них доставлен приказ:

при появлении такого-то галиота с командой по большей части из неверных груз немедля конфисковать, а команду заковать в кандалы. Отправиться в Каир и обменять тринадцать на всевозможные товары Хан-эль-Халили — не худшая участь в сравнении с прочими вариантами…

— Первый: Инвестор отымеет нас в Александрии, — сказал Иеронимо.

— Второй: мы окажемся в яме в каком-нибудь холерном левантийском порту, — подхватил Даппа.

— Третий: мы выбросим галиот на берег и побредём через Сахару, таща на горбу груз, — добавил Вреж.

— Эфиопия с каждой минутой нравится мне всё больше и больше, — заключил Даппа.

— Я поровну разделю своих жён между теми, кому есть, чем с ними жить, — объявил Ниязи, — а тебе, Джек, отдам моего лучшего верблюда!

— Джек, не бойся, — вмешался мсье Арланк, отводя его в сторонку. — У меня в Большом Каире есть пара знакомых торговцев. Через них я помогу тебе превратить твою долю в переводной вексель на амстердамский банкирский дом.

Джек вздохнул:

— Не обещаю, что хоть кто-нибудь из нас в Каире будет спать спокойно.

Поэтому они не отвечали на сигналы с яхты Инвестора и, пользуясь тем, что были теперь быстроходнее, держались от неё подальше. Не делали они и попыток ускользнуть под покровом тьмы, чтобы не злить Инвестора.

С правого борта всё чаще проглядывал плоский, окутанный пылью берег. Вода побурела, затем на её поверхности стали появляться трава и палки — аль-Гураб сказал, что их выносит Нил и что арабы называют плавучий растительный мусор *седд*. Река, добавил он, сейчас, в августе, самая полноводная.

И вот как-то в полдень они приметили на берегу холм с единственной римской колонной наверху и городом у подножья. «Сдаётся, тут недавно было землетрясение», — сказал Джек, но раис объяснил, что Александрия всегда так выглядит, и в доказательство указал рукой на укрепления. И впрямь, сразу за широкой дамбой вставала приземистая крепость без каких-либо признаков разрушений. Два французских корабля уже бросили якоря под защитой её пушек. Одолжив подзорную трубу, Джек увидел, что между кораблями и берегом снуют на шлюпках

люди в париках. Они вели переговоры с таможенниками, которые здесь, как и в Алжире, были сплошь одетые в чёрное евреи.

— Французские купцы платят три процента, все прочие — двадцать, возможно благодаря усилиям вашего Инвестора и других влиятельных французов, — заметил мсье Арланк.

После спасения с тонущей галеры он стал у десятерых кем-то вроде советника.

— Как только турки увидят, как голландцы отделали французов на море, они изменят свою политику, — сказал ван Крюйк.

— Не изменят, если герцог д'Аркашон преподнесёт им в качестве взятки полный галиот золота, — вставил Джек.

Почти весь французский флот, включая «Метеор», направился прямиком в александрийскую гавань. Наср аль-Гураб, в отличие от французов, повёл галиот вдоль берега. Он приказал поднять все паруса и грести. На скорости девять узлов в час галиот подошёл к мысу Абу-Кир. Отсюда сообщники сквозь пыльный, дрожащий от жары воздух по-прежнему различали Александрию; очевидно, то же самое было справедливо в отношении противной стороны, и какой-нибудь офицер-француз наблюдал в подзорную трубу за

каждым движением их вёсел.

Города на Абу-Кире не было, только несколько рыбачьих лачуг, вокруг которых вялилась на верёвках рыба. Впрочем, имелся основательный турецкий форт со множеством пушек и таможня с собственным причалом. Покуда раис и остальные подводили галиот к пристани, Мойше и Даппа отправились вперёд на ялике. Некоторое время спустя из здания таможни вышел пожилой еврей в сопровождении Мойше, Даппы и двух евреев помоложе, приходившихся ему сыновьями. Они несли палочки красного воска, склянки с чернилами и прочие необходимые принадлежности. Еврей разговаривал с Мойше на каком-то странном испанском. Он провёл в трюме часа два, ставя на ящики таможенные печати, но не досматривая их и не взимая никаких пошлин — очевидно, об этом через своих людей в Египте договорился паша. Таким образом, Абу-Кир был единственным местом во всей Оттоманской империи, да и во всём мире, где они могли пройти таможенные процедуры.

Инспектор ясно дал понять всем вокруг, что это ужасно и неправильно, но сделал своё дело и ушёл, не чиня никаких препон и не требуя никакого бакшиша сверх полученного от раиса

кошелька с пиастрами.

Таможенник оказался человеком радушным и пригласил Мойше к себе поужинать, полагая, что галиот останется у пристани на ночь. И впрямь, заночевать у берега было бы легче всего. Однако из Александрии вышел французский шлюп и был уже на полпути к Абу-Киру — закатное солнце окрасило треугольный парус в нежные абрикосовые тона. Вид шлюпа никому не понравился. Более того, еврей-таможенник рассказал, что Абу-Кир с Александрией соединяет так называя Канопская дорога, и на хорошем коне это расстояние можно покрыть за пару часов. Не имея особого желания оказаться между французским шлюпом и гипотетическим эскадроном французских драгун, Наср аль-Гураб за час до заката приказал вывести галиот в море. При других обстоятельствах это было бы крайне неразумно. Однако нильское течение гнало их прочь от берега, а барометр, который ван Крюйк соорудил из стеклянной трубки и склянки со ртутью, обещал ясную погоду в течение по меньшей мере следующего дня. Поэтому они отдались на милость волн и всю ночь бросали и вынимали лот, бросали и вынимали, раз за разом, снова и снова, чтобы не сесть на мель в изменчивой дельте Нила.

Когда солнце взошло над одной усталой и злой шайкой сообщников, те поняли, что находятся посреди большого залива между мысом Абу-Кир на юго-западе и песчаной косой милях в двадцати северо-восточнее. Берега как такового не было, только череда отмелей, тянущаяся на много миль, прежде чем превратиться в нечто, пригодное для деревьев, полей и строений. Вскоре стало ясно, что галиот медленно дрейфует по орбите, создаваемой завихрениями нильского течения. По словам раиса, косу на северо-востоке намыла по песчинке река — где-то поблизости раскрывалось в море её розеттское устье. Когда же солнце выплыло из-за горизонта и алый диск озарил мучнистое марево сахарской пыли, в нём проступили очертания мечетей и минаретов далеко за отмелями — сама Розетта.

Спокойствие утра нарушили рыдания, несущиеся с носа галиота. Джек отправился туда и нашёл Врежа Исфахняна на толстом брусе, к которому прежде крепился таран. Армянин, стоя на коленях, бился головой о брус и до крови царапал руками голову. Слов он явно не слышал, поэтому Джек подождал немного и, убедившись, что Вреж не надумал топиться, вернулся на шканцы для обсуждения тактики.

Как только окончательно рассвело, они развернули галиот к северу и на вёслах вышли из залива. Розетта (или Рашид, как называл её аль-Гураб) была так близко, что рассветный ветер донёс до слуха завывания муэдзинов. Однако раис объяснил, что отсюда к городу не подобраться — надо пройти несколько миль на север вдоль косы, отыскать вход в устье и ещё час-два подниматься против течения.

Вскорости они увидели шлюп: ночью он отошёл от берега и теперь патрулировал розеттское устье. По счастью, ветер дул с юго-запада. Галиот под парусом резво устремился на восток, словно намереваясь войти в Нил у Дамиетты, ста милями дальше. Французскому капитану оставалось лишь заглотить наживку и с попутным ветром ринуться в погоню. Когда шлюп поравнялся с галиотом и начал сближаться, аль-Гураб убрал все паруса и велел грести против ветра. Шлюп тоже повернул, но без вёсел вынужден был идти бейдевинд галсами, что не оставляло ему шансов нагнать галиот. Разрыв всё увеличивался, а хаос отмелей у входа в устье всё приближался.

Манёвры заняли полдня, и за это время Вреж Исфахнян успокоился. Когда он снова обрёл вменяемый вид, Джек принёс ему бурдюк с вином и

кружку, а сам сел рядом на носу галиота — сейчас, когда они шли против ветра, галерная вонь чувствовалась здесь меньше всего.

— Прости мою слабость, — хрипло проговорил Вреж. — Розетта заставила меня вспомнить отцовский рассказ о том, как он проходил здесь с грузом кофе на борту. Отец провёл своё судёнышко несметными узкими проливами, каналами и реками, а когда миновал розеттскую таможню и вышел в устье, Средиземное море предстало ему во всей своей безмерной огромности — для кого-то символ страха и предвестье яростных бурь, для него — дорога к безграничным возможностям. Отсюда он двинулся прямиком в Марсель и…

— Да, знаю, и научил французов пить кофе, — перебил Джек, который знал продолжение по меньшей мере не хуже товарища. — Прости, что сворачиваю с общего курса твоего рассказа, но в той версии, которую излагал твой брат, ваш отец закупил кофе в Мокке.

Вреж опешил.

— Да. Мокка — то место, где сходятся вместе эфиопский кофе, индийский перец и испанское серебро.

— Я видел карты, — с нажимом проговорил Джек. — Карты всего мира, в ганноверской биб-

лиотеке. И, насколько мне помнится, Мокка — на Красном море.

— Да. Как расскажет тебе Ниязи, она расположена в Счастливой Аравии, через Красное море от Эфиопии.

— Более того, у меня осталось впечатление, что Красное море соединяется с океаном, омывающим Индию.

Вреж не ответил.

— Если правда, что Каир — конец маршрута, и ни одно судно не может пройти дальше на восток, — то как твой отец попал сюда из Мокки на Красном море?

Вреж сидел, зажмурясь, и еле слышно ругался.

— Должен быть путь! — Джек вскочил, чтобы выкрикнуть своё открытие.

В этот самый миг он уголком глаза заметил, как дёрнулась рука Врежа. Движение было почти неуловимым, и всё же многие заметили бы его и отскочили в сторону, потому что Вреж, вне всякого сомнения, потянулся к кинжалу за поясом. Рука сдвинулась от силы на полдюйма и тут же вернулась на место. Однако Джек заметил это и, вздрогнув, поглядел в распухшее от слёз лицо Врежа Исфахняна. Он увидел горечь (само собой), но не различил смертоубийственного порыва,

только некую обречённость.

— Молодцом, Вреж! — сказал Джек, от души хлопая того по плечу, затем отправился на ют — собирать совет.

В ту ночь покой розеттской улицы парикмахеров нарушил стук пистолетной рукояти в старую деревянную дверь. Наверху растворились ставни и высунулся сердитый человек, который стал чуть менее сердитым, когда увидел, что двое или трое из ночных посетителей — турки (во всяком случае, одеты, как турки), а один — янычар. Звон пиастров в потряхиваемом кошельке ещё улучшил настроение хозяина. Щеколды отодвинули, гостей впустили.

Дом был опрятный и ухоженный, но пах так, будто все обрезки волос с полов всех цирюлен Османской империи смели в здешнюю кладовку и оставили преть. Заварили чай, принесли табак. После получасовой вежливой беседы гости предложили хозяину сделку. Тот, как только оправился от изумления, согласился. Быстроногого мальчишку отрядили на улицу брадобреев. Пока его ждали, парикмахер зажёг светильник и показал готовый товар. Огромные парики на болванках, изготовленные на экспорт, удивили гостей-европейцев не меньше, чем любого араба

— за то время, что они гребли на галерах, мода переменилась. Парики теперь были не плоские и широкие, а высокие и узкие.

В чулане хранилось сырьё, из него и предстояло выбирать. Даже самый тонкий конский волос был слишком груб, а шелковистые человеческие волосы из Китая не подходили по цвету и высветлять их было некогда.

Явился заспанный турок-брадобрей, принялся греть воду и править бритвы. Посетители остановили выбор на желтоватом козьем волосе, не самом дорогом, но и не самом дешёвом.

Турок выбрил янычару голову и щёки, затем с помощью смоченных в спирте ватных тампонов эффектно, но безболезненно подпалил пушок на скулах и, получив деньги, отправился восвояси. Теперь за работу принялся парикмахер. Он наносил на щёки янычара мазки сосновой камеди и приклеивал на них козий волос. Через час янычар вонял сосной и козлом, а выглядел так, будто не брился и не стригся лет десять. Осталось лишь раздеть его до пояса, явив исполосованную шрамами спину, чтобы всякий признал в нём не янычара, а галерного раба.

Пьер де Жонзак вернулся на берег Нила через час после рассвета, как обещался или грозил, и

привёл с собой весь эскадрон гусар. Вчера они галопом вылетели на пристань и остановились перед самыми сходнями — взмокшие и пыльные после того, как сутки скакали туда-сюда по Канопской дороге в попытке угнаться за манёврами галиота.

Используя мсье Арланка в качестве переводчика, Наср аль-Гураб для начала поздравил де Жонзака с тем, как великолепно выглядит его отряд — очевидно, слуги во французском консульстве ночь напролёт скребли, чистили, крахмалили и наводили глянец. Затем раис извинился за неприглядный вид судна и отсутствие некоторых членов команды. Часть из них «пребывает в сени лоз» — это поэтическое выражение означало, что они закупают провиант на базаре (который и впрямь был завит виноградом). Другие «пьют мокко в доме паши». В последних словах де Жонзак усмотрел (и совершенно справедливо) грубый намёк на то, что некоторые сообщники сейчас рассовывают бакшиш чиновникам в турецком форте над рекой. Форт стоял совсем рядом, и на стенах можно было без труда различить янычар, с холодным профессионализмом разглядывающих французских драгун. Короче, раис давал понять: здесь вам не Александрия. Да, в Розетте у францу-

зов есть консульство и войска, однако проку от них, как от берберийского жеребца кумыса.

Утверждение было вполне резонное, но до сих пор аль-Гураб не сказал и слова правды. На самом деле половина сообщников отсутствовала, потому что четверо (Даппа, Иеронимо, Ниязи и Вреж) скакали во весь опор в сторону Каира, надеясь за двое суток покрыть пятьдесят миль. А один был прикован к скамье.

— Исключительно человеколюбиво с вашей стороны было отпустить вчера на свободу треть гребцов, — заметил де Жонзак, — но поскольку мой господин — их совладелец, мы попросили наших многочисленных *высокопоставленных* турецких друзей в этом форте задержать их и отправить в Александрию.

— Надеюсь, в вашей эскадре на них на всех хватит скамей! — крикнул ван Крюйк.

Де Жонзак побагровел, но продолжил, не обращая внимания на оскорбительную реплику.

— Некоторые из них выразили желание поговорить ещё до того, как руки им зажали в тиски. Посему мы знаем, что вы утаили от нас некоторые сведения металлургического характера.

Вчера ночью, чтобы расплатиться с парикмахером и брадобреем, сообщники вскрыли ящик и

вытащили золотой слиток на глазах у гребцов, которых позже освободили. Делалось это нарочно, чтобы те рассказали об увиденном де Жонзаку.

Раис пожал плечами:

— Что с того?

Де Жонзак сказал:

— Я отправил в Александрию гонца известить моего господина, что некоторые упомянутые в плане суммы придётся умножить на тринадцать.

— Увы! Будь всё так просто, ваш господин мог бы отдыхать на своей александрийской вилле, а вас отправить в Каир подбивать счета. На самом деле наш друг из Бонанцы диверсифицировал портфель куда более сложным образом и не ограничился одними лишь драгметаллами. Потребуется долгая и тщательная оценка.

— Это обычная практика. Вы забываете, что мой господин хорошо знаком с обычаями корсарского промысла, — сказал де Жонзак. — У него есть доверенные оценщики, которых он может отправить сюда…

— Пусть отправит их в Каир, — возразил раис, — где живут *наши* доверенные оценщики. И пусть едет с ними сам. Ибо есть одно сокровище, которое сможет оценить только он.

Де Жонзак изобразил улыбку.

— Мой господин — человек практичный. Он предоставит оценку знатокам, разве что речь пойдёт о берберийских жеребцах.

— Как насчёт английского мерина? — спросил раис и кивнул Евгению и Габриелю Гото.

Внизу на скамье Джек принялся звенеть цепями и вопить по-английски:

— Негодяи, мерзавцы! Неужто вы продадите меня клятому французишке? Вшивое собачье отродье! Да падёт на ваши головы Божья кара!

Не слушая брани, Евгений заломил Джеку руки за спину и приподнял его со скамьи, чтобы показать де Жонзаку. Тем временем Габриель схватил Джековы штаны и сдёрнул их до колен.

Де Жонзак долго молча смотрел. По рядам драгун пробежал шепоток.

— Может, Али Зайбак, может, другой англичанин, которому случилось неосторожно встать близко к огню, — сухо проговорил раис. — Узнаете ли *вы* Джека Шафто?

— Нет, — признал де Жонзак.

— А узнав, сможете ли назначить цену за его голову?

— Это может сделать только мой господин.

— Коли так, увидимся с ним в Каире через три

дня, — сказал Наср аль-Гураб.

— Срок слишком короткий!

— Мы провели в рабстве долгие годы, — вставил Мойше, который на протяжении всего разговора стоял молча, скрестив руки на груди, — и для нас даже лишние три дня — срок слишком долгий.

В тот же день галиот двинулся вверх по Нилу, по большей части под парусом. Основное русло имело несколько морских саженей в глубину и примерно четверть мили в ширину — то есть они ни разу не отдалялись от французских драгун больше чем на восьмую часть мили. Ибо де Жонзак отправил следить за ними две пары драгун, каждую по своему берегу.

Как только галиот оставил позади Розетту — россыпь по большей части бедных жилищ, не отделённую никакой стеной, — Джека стащили со скамьи и, надев на него всевозможные ошейники, оковы и кандалы, отволокли под шканцы, где Евгений следующую четверть часа стучал молотком по наковальне, гремел цепями и производил другие звуки, призванные убедить слушателей, что Джека надёжно заковали. Тем временем сам Джек, любитель театральных эффектов, орал благим матом, как будто Евгений гнёт раскалённое железо непосредственно на его запястьях.

На самом деле орал он из-за того, что отдирал с головы и щёк пучки козьего волоса. Корку засохшей смолы пришлось оттирать скипидаром и ламповым маслом вместе с несколькими слоями кожи. Наконец Джек замотал пылающую голову тюрбаном, оделся, нацепил саблю и вышел наверх янычар янычаром; в последний миг он остановился и что-то прокричал на сабире воображаемому бродяге внизу.

Во время представления Джек не решался смотреть на зрителей, но ван Крюйк через вёсельный порт наблюдал за драгунами в подзорную трубу и сказал, что они видели практически всё. Правда, глазеть им было особо некогда. Река разлилась, затопив часть прибрежной местности, так что галиоту не приходилось огибать мели. Течение было слабым, и галиот легко делал семь миль в час. Джек ожидал увидеть пустыню и не сомневался в её близости, потому что на всём тотчас оседала жёлтая пыль. Тем не менее отсюда Египет представлялся таким же влажным и плодородным, как Голландия. И так же густо населённым. С любого места они видели дома, деревни проплывали каждые два-три часа, города — несколько раз на день. Сколько хватал глаз, по обе стороны реки тянулись золотистые

пшеничные и рисовые поля в извилинах тёмно-зелёных прожилков — многочисленных рукавов нильской дельты, заросших тростником в рост человека. Вдоль воды росли пальмы, города окружали сады смоковниц, цитрусовых и кассий.

Все это радовало взоры сообщников и мешало драгунам продвигаться вперёд. Те отставали от галиота, объезжая излучины и затопленные поля, потом нагоняли, спрямляя путь на меандрах. Они прихватили из Розетты много сменных лошадей, и на их удачу Египет, как почти вся Османская империя, был обжитым законопослушным краем. Дороги хоть и уступали английским, значительно превосходили французские, и драгуны могли не сбавлять темпа весь день. Это внушало Мойше, Джеку и остальным уверенность, что высланная вперёд четвёрка во главе с Ниязи добралась до Каира вовремя.

Ночью ветер стих. Вместо того чтобы идти на вёслах с риском сесть на мель или заплутать в старицах, раис привязал галиот к прибрежной пальме и поставил сообщников поочерёдно нести дозор. Драгуны, остановившиеся на ночлег поодаль, служили дополнительной охраной — им тоже не хотелось, чтобы галиот с грузом стал добычей какого-нибудь местного Али-Бабы и его

сорока разбойников.

В середине второго дня наступил полный штиль, и раис отправил десяток гребцов тянуть галиот бечевой — ради этого-то они и не отпустили всех невольников в Розетте. Таким манером к вечеру добрались до места, где Нил расходится на два больших рукава — тот, по которому они пришли, и дамиеттский. Здесь с наступлением ночи галиот снова привязали и распределили, кому когда стоять на часах. Джек отстоял первую утреннюю вахту, потом лёг в гамак на шканцах и заснул под открытым небом.

Когда он проснулся, солнце уже вставало, судно скользило по реке, а на западе различались странные треугольные горы. Сев, чтобы получше их рассмотреть, он узнал пирамиды. Когда Джек на них надивился — что заняло порядочно времени, — он повернулся к рассвету и увидел Матерь Мира.

Это было как в один миг постичь всю жизнь муравейника, прочесть все слова в книге или объять умом величие собора. Мозг не справлялся с задачей, поэтому Джек долго рассматривал ближайшие частности, словно мальчик через полую дудку. Благо частностей хватало — Нил тут был по меньшей мере так же широк, как

Дунай под Веной, и запружен судами с зерном из Верхнего Египта. Капитаны этих судёнышек неделями преодолевали пороги и отбивались от крокодилов; сейчас они не испытывали ни малейшего желания пропускать галиот. Много врагов успел нажить раис, прежде чем подошёл к берегу и пришвартовался у причала.

Почти немедля их обступили верблюды, что малоприятно, особенно когда на верблюдах сидят свирепого вида вооружённые люди. Джек подумал было, что галиот подвергся нападению диких кочевников, но тут увидел, что все они похожи на Ниязи и многие улыбаются. Внезапно голос Иеронимо загремел по-испански:

— Если бы я получал по медяку за каждую муху на тебе, скот, я бы купил Испанскую империю! Ты смердишь хуже, чем Веракрус по весне, и на тебе висит больше дерьма, чем другие животные успевают насрать за год. Воистину ты самозародился в навозной куче, как мухи и римские папы, да простит Господь мою душу грешную! Джек Шафто лыбится на нас и думает, что мы с тобой два сапога — пара. Отдам-ка я его тебе в жёны, забирай его к себе в пустыню и делай там с ним, что пожелаешь.

Даппа и Вреж отсутствовали, но вскорости

Джек увидел Ниязи. Тот обрёл наконец своих соплеменников. Джек порадовался, что не присутствовал при воссоединении рода.

Наср аль-Гураб немедля приказал расковать всех рабов и предложил им выбор: идти в Каир и не возвращаться или остаться с сообщниками и уж тогда не покидать их до конца. Через несколько минут все, за исключением четверых, испарились. Не ушли евнух-нубиец, индус, турок — бывший старшой на весле мсье Арланка, и ирландец по имени Патрик Таллоу. Первые трое как-то прикинули, что вернее будет остаться с сообщниками, а Патрик (как подозревал Джек) просто любопытствовал, чем всё кончится. Мсье Арланку предложили тот же выбор, что и остальным. К радости Джека, он решил разделить судьбу компаньонов.

Меньше чем за полчаса ящики с золотом вытащили и навьючили на животных. Раис вместе с ван Крюйком, Иеронимо (который явно пресытился обществом верблюдов), турком, нубийцем и несколькими соплеменниками Ниязи (желавшими посмотреть, как это — плавать по реке) отдали швартовы и повели галиот вниз по течению к острову, где шла торговля судами. Караван тем временем выстроился и приготовился от-

быть.

Некоторые из отпущенных невольников, размышляя над выбором, задавали вопросы о плане. Чаще всего они спрашивали: «Почему бы просто не смыться с золотом? Зачем дожидаться Инвестора, который явно хочет вас обмануть?» Джек разделял этот подход, но в конце концов вынужден был согласиться с Мойше и аль-Гурабом, когда те вместо ответа указали на другой берег. Там стоял турецкий город Эль-Гиза с мечетями, садами, банями и злачными местами. Были в нём и темницы, и высокая стена с железными крюками, и плацдарм, где маршировали тысячи янычар с мушкетами и пиками. А заодно судьи, которые наверняка примут сторону французского герцога против шайки рабов.

Пока шла разгрузка, прискакали на полуживых конях измученные драгуны. Они предупредили турок, так что когда караван двинулся через две тысячи четыреста кварталов и околотков Каира, за ним следовали янычары, не говоря уже о нищих, бродягах, разносчиках, уличных девках и любопытных мальчишках.

Каир по-своему участвовал во всём происходящем. Он, переживший целые расы, народы и религии, был достаточно велик, чтобы вместить

армию, и достаточно мудр, чтобы понять любой план. Посему ничто здесь не могло произойти без ведома и одобрения города. Караван Ниязи — тридцать пять нагруженных золотом лошадей и верблюдов в сопровождении вооружённых погонщиков — был каплей в каирском море. Вереницу людей и вьючных животных то и дело разрезали пополам, натрое или на более мелкие доли ещё более странные процессии: женщины в масках, голосящие на бегу, бьющие в барабаны дервиши в высоких конических шапках, похоронные процессии со спелёнатыми покойниками на носилках, отряды янычар в зелёном и красном. То и дело они натыкались на усатого чавуша в изумрудно-зелёном одеянии до щиколоток, красных туфлях и белой феске. Тогда каждый верблюд в караване должен был встать на колени, каждый человек — спешиться; и пока они почтительно дожидались, чтобы чавуш прошёл, бродяги брызгали их розовой водой и требовали за это денег.

Даже если бы Джек не знал, сходя с галиота, что Египет — древняя страна, он бы понял это через час медленного продвижения по узким улочкам. Возраст города был написан на лицах жителей, являвших собой смешение всех рас, о каких Джек слышал, и ещё нескольких, о которых

ему слышать не доводилось. Такими же были и дома, выстроенные частью из камня, частью из дерева, старого, суковатого и по виду окаменелого, а больше из саманного кирпича, хранящего, возможно, отпечатки рук Моисея. Одни дома разбирали, другие возводили, что не удивляло: раз строить больше негде, остаётся лишь переносить строительные материалы с места на место, подобно тому как Нил намывает и размывает отмели. Даже пирамиды выглядели изъеденными по краям, как будто местные жители добывают из них камень.

Через час добрались до Хан-эль-Халили, беспорядочно разбросанного базара, который сам по себе превосходил размерами почти любой европейский город. Ниязи велел Джеку снять башмаки и провёл его в древнюю мечеть, а оттуда вверх по крутой винтовой лестнице, тёмной и прохладной, как естественная пещера. Наконец они выбрались на кровлю, и Джек взглянул на город. Реки отсюда видно не было, взгляду представали миллионы пыльных кровель, заставленных тюками, бочками и домашним мусором. Каждый дом был своей высоты; самые низкие, казалось, вот-вот уйдут в землю.

Каир походил на дно огромной ямы, из которой

жители на протяжении тысячелетий отчаянно пытаются вылезти. Они добывают глину и камень, разбирают пустые дома и беззащитные памятники, чтоб громоздить стены всё выше и выше. Отстающие не поспевают не только за соседями, но и за пылью, методично покрывающей всё недвижное. Рано или поздно она хоронит их под собой. Джеку представилось, что можно войти в любое каирское здание, спуститься в подвал и найти там целый засыпанный дом, а под ним ещё и ещё, на мили вглубь. Никогда ещё любимая строчка проповедников: «Приидет судити живым и мёртвым» не казалась такой понятной: здесь, в Библейской земле, существовали лишь живые и мёртвые: покуда ты жив, ты движешься, стоит замедлиться, и ты обречён уйти в землю. Воистину Страшный суд.

Посему он утешился тем, что находится в Ханэль-Халили, самом живом месте Каира. Караваны со всевозможным добром, от рабов и масла до живых кобр, проходили торговыми улочками до пятачка в самом центре города. То был двор, а может — улица: длинный прямоугольник в полмили длиной и не более пяти ярдов шириной, зажатый четырёх– и пятиэтажными строениями. Натянутый между парапетами домов тонкий

навес пропускал свет, но защищал и от палящего солнца, и от любопытных глаз. Окружающие здания были не по-каирски тихи и пахли сеном. Сюда из верховьев Нила лодками доставляли корм для размещённых внутри постоялого двора лошадей и верблюдов.

— Отсюда всё началось, — заметил Ниязи. — Здесь упало зерно.

— О чём ты? — спросил Джек.

— Сто поколений назад люди вроде меня встали здесь, — топая по земле сандалией, — на ночлег. Со временем лагерь пустил корни и стал караван-сараем. Вокруг него вырос базар Хан-эль-Халили, а вокруг базара — Каир. Караван-сарай, как ты видишь, остался, и мы всё так же приходим сюда продавать верблюдов.

— Хорошее место для встречи с Инвестором, — проговорил Мойше. — Всё задумано правильно. Если верить рассказу Ниязи, от начала времён не было дня, чтобы золото и серебро не переходило тут из рук в руки. Это место возникло не по воле царя и не по слову пророка; оно выросло само, и ему дела нет до султана в Константинополе или Короля-Солнце в Париже.

Дружество есть добродетель, наблюдаемая чаще промеж разбойниками, нежели средь остальных людей, ибо те более других прилагают усилий для спасения попавших в беду товарищей.

Мемуары Достонегоднейшего Джона Холла

Первый этаж караван-сарая был так высок, что туда можно было въехать на верблюде, не пригибаясь и не снимая тюрбана, что и сделали родичи Ниязи. Аль-Гураб вернулся вместе со всеми спутниками, а также с Врежем и Даппой, которых они последний раз видели в Розетте.

— Воистину рукава и ветвления Нила не уступают в запутанности каирским улочкам, — сказал Даппа, изумлённо моргая, — однако в нескольких шагах отсюда Вреж отыскал армянина, торговца кофе, знающего, как добраться до Мокки. Надо спуститься до того места, где Нил расходится надвое, войти в дамиеттское русло и через несколько миль на правом берегу будет деревня. Там начинается водоток, связанный с Красным морем.

— Представляю, какое там движение! — воскликнул Мойше.

— Его ревниво оберегают чиновники-турки и староста деревни, — согласился Даппа.

— По этой-то причине, — подхватил Вреж, — жители соседних деревень кирками и лопатами прорыли обходные каналы, минующие крупные деревни и мыты. Если они и видны, то кажутся старицами либо заросшими сточными канавами. И уж будьте уверены, местные жители стерегут их не менее ревниво, чем чиновники — основной путь. Посему, чтобы попасть в Красное море, придётся давать на лапу бесчисленным крестьянам — боюсь, итог набежит умопомрачительный.

— Но у нас есть целый галиот золота, — напомнил Евгений.

— И своя шкура дороже денег, — поддержал его Джек.

— К тому же крестьяне не меньше нашего будут заинтересованы в том, чтобы турки ничего не узнали, — предрёк Иеронимо.

— Не совсем плохо, но всё-таки плоховато, — упорствовал Мойше.

В разговор вступил Сурендранат, галерник-индус, решивший остаться с сообщниками:

— Вы очень мудро поступили, определив *лапуд*.

— Молчать! — прикрикнул Иеронимо. — Мы

все здесь люди Книги, и нам ни к чему твоя языческая лабуда.

— Погодите, кабальеро, — вмешался Джек. — По опыту знаю, что в индийских книгах содержится много ценного. Что ты расскажешь нам про *лапуд,* Сурендранат?

— Я слышал это слово от английских торговцев в Сурате, — растерянно проговорил Сурендранат. — Оно значит «лучшая альтернатива первоначальным условиям договора».

Заминка, пока фразу переводили на разные языки.

Мойше заговорил:

— Индийское слово или английское, оно заключает в себе мудрую мысль. Наш друг, баньян по рождению и воспитанию, понимает, что чесать через камыши к Красному морю — *альтернативный* план, запасный выход, и не более того. — Говоря, Мойше поочерёдно заглядывал в глаза тем из сообщников, которых считал наиболее безрассудными. Однако начал он с Джека, им и закончил. — Определить *лапуд* хорошо и мудро, как сказал Сурендранат. Однако первоначальные условия договора предпочтительней лучшей альтернативы.

— Мойше, ты сидел со мной рядом годы, слы-

шал все мои бредни и знаешь, что во всём мире я люблю одно, невзирая на это. — Джек закатал свободный рукав рубахи и показал шрам от гарпуна. — Мне куда больше улыбается плыть завтра в Европу, чем драпать к Красному морю подобно древним евреям. Однако, как и те евреи, я больше не буду рабом.

— Тут мы все согласны, — вставил Даппа.

— Тогда, коли уж меня выбрали общим представителем на завтрашних переговорах с Инвестором, я должен попросить вас об одном. Я бродяга, а потому не люблю цветистых клятв и болтовни про честь. Однако это не бродяжье начинание. Так пусть каждый из вас поклянётся самым святым, что завтра будет со мною. То есть, что бы ни случилось на встрече с герцогом — поведу я себя умно или сваляю дурака, останусь собранным, или вспылю, или наложу со страха в штаны, посетит меня бес противоречия или нет, — вы примете моё решение и погибнете либо останетесь жить вместе со мной.

Джек ждал долгой, неловкой паузы, даже смеха. Однако не успело эхо его слов отзвучать в узком дворе, как Габриель Гото выхватил меч. Новички втянули голову в плечи. Одним быстрым движением Габриель развернул меч рукоятью к Джеку,

и клинок сверкнул в свете костра, как быстрый ручей под встающим солнцем.

— Я самурай, — просто сказал Габриель.

Патрик, верзила-ирландец, шагнул вперёд и плюнул в костёр.

— У нас есть присловье, — обратился он к Джеку по-английски. — «Это свои дерутся или другим тоже можно?» Я с вами, и этого должно быть довольно. Но коли ты хочешь клятв, я клянусь могилой матушки за морями в Килмахтомасе, и чтоб тебе сдохнуть, ежели на твой взгляд это хуже, чем быть самураем.

Мойше снял с шеи индейскую плетёнку, поцеловал её и бросил Джеку.

— Кинь её в огонь, если я тебя предам, — проговорил он, — и пусть она смешается с пылью Хан-эль-Халили.

Вреж сказал:

— Я дошёл за тобою досюда, Джек, ради семейного долга. Клянусь моими близкими отплатить тебе сполна.

Мсье Арланк сказал:

— Убеждения не позволяют мне клясться. Но я верю, что мне предопределено дойти в этом деле до конца.

Ван Крюйк сказал:

— Клянусь правой рукой, что больше не сдамся пиратам. А твой Инвестор — пират в очах Божьих.

— Но, капитан, ты левша! — воскликнул Джек, пытаясь разрядить обстановку, которая становилась угнетающей.

— Чтоб исполнить клятву, я должен буду левой рукой отсечь себе правую, — сказал ван Крюйк, начисто не поняв юмора.

Более того, шутка привела голландца в состояние, в каком никто из рабов его ещё не видел. Он выхватил абордажную саблю, положил руку на скамью и с размаху опустил клинок. Последняя фаланга мизинца отлетела в пыль. Ван Крюйк сунул саблю в ножны, встал, поднял отрубленный сустав и поднёс к огню.

— Вот тебе клятва! — прорычал он и швырнул палец в костёр.

Потом осел на колени и без чувств рухнул на землю.

Наступила пауза — остальные гадали, не придётся ли им что-нибудь от себя отсекать. Однако Ниязи извлёк из складок одежды красный Коран, после чего он сам, Наср аль-Гураб и турок с арланковой галеры произнесли святые слова на арабском, а заодно поклялись, если останутся

живы, совершить хадж. Евгений, Сурендранат и нубиец поклялись каждый своим богом. Мистер Фут, жавшийся подальше от костра с видом слегка обиженным, объявил, что не видит причины клясться; поскольку «всё предприятие» было его затеей (очевидно, подразумевая злополучный прожект с каури), и в любом случае «не пристало» ему подводить товарищей, так что «нелепо», «возмутительно», «негоже» и «немыслимо» Джеку даже предполагать иное.

— Клянусь своей страной, страной свободных людей, — сказал Даппа, — у которой сейчас всего шестнадцать граждан и никакой территории. Однако другой у меня нет, и посему я клянусь ею.

Иеронимо шагнул вперёд, молитвенно сложил руки и что-то забормотал на латыни, однако его демон взял верх, и всё закончилось выкриком:

— Етить вашу, я и в Бога-то не верю! Но я клянусь вами всеми — бродягами, чурками, еретиками, жидами и черномазыми — потому что вы единственные друзья, каких я знал в жизни!

Герцог д'аркашон сошёл с собственной золочёной барки и подъехал к Хан-эль-Халили на белом коне в сопровождении адъютантов, турецких чиновников и сборного полка из одолженных янычар и лучших французских драгун. Позади

громыхали несколько фургонов, в каких обычно возят камни для строительства. Об этом сообщники узнали за полчаса от мальчишек-гонцов, сквозивших по улицам Каира подобно сирокко.

Герцог д'Аркашон нанял всех крупных каирских ювелиров, а остальных деньгами убедил не помогать другой стороне, и теперь они сошлись у определённых ворот Хан-эль-Халили. Об этом знали все евреи в городе, включая Мойше.

Плоскодонное речное судёнышко ждало у пристани на канале, что вился через весь город и соединялся с Нилом. Пристань находилась в миле от караван-сарая на некой улочке. Тамошние жители занесли в дома стулья и кальяны, загнали кур и закрыли двери и ставни, поскольку накануне кое о чём прослышали.

Было сильно за полдень, когда лязг и грохот инвесторовых телег достиг двора, в котором стоял Джек. Тот потянул носом воздух. Пахло сеном, пылью и верблюжьим навозом. Сквозь навес сочился мерцающий свет. Джеку следовало бояться или по крайней мере испытывать волнение, однако на сердце царил покой. Этот двор — лоно Матери Мира, откуда всё началось. Ярмарка в Линце, Дом Золотого Меркурия в Лейпциге, амстердамская площадь Дам — лишь юные

горячие отпрыски. Словно глаз бури, двор был совершенно тих, однако вокруг него бушевал всемирный мальстрём звонкой монеты. Здесь не существовало ни герцогов, ни бродяг, все были одинаковы, как за миг до рождения.

Окрик часовых и ответ подъехавших донеслись сквозь сено приглушённо — Джек даже не разобрал, на каком языке говорят. Потом зацокали, приближаясь, копыта.

Джек положил руку на эфес сабли и мысленно продекламировал стихи, которые услышал давным-давно, на берегу ручья в Богемии:

Булат струйчатый – мир его называет.

Напоённый ядом, врагов в смятенье повергает,

Стремительно разит, кровь всюду проливает.

И в мраморных чертогах лалы и яхонты сбирает.

— Это он?! — спросил кто-то по-французски.

Джек осознал, что стоит с закрытыми глазами, и, открыв их, увидел господина на белом красноглазом коне. Поверх великолепного парика сидела адмиральская шляпа, к набелённому лицу

были приклеены четыре чёрные мушки.

Господин смотрел с некоторой тревогой и даже едва не потянулся к одному из пистолей, но тут едущий слева офицер наклонился в седле и произнёс:

— Да, ваша светлость, это ага янычар.

Джек узнал во всаднике Пьера де Жонзака.

— Наверное, балканец, — решил герцог, очевидно, имея в виду европейскую внешность Джека.

Француз справа от герцога выразительно кашлянул, видимо, предупреждая, что рядом есть человек, понимающий по-французски, поскольку из конюшни вышел мсье Арланк. Он встал слева от Джека. Мойше тоже вышел и встал справа. Теперь их было трое на трое.

Французы, стремясь занять господствующую позицию, продолжали ехать вперёд и были уже на середине двора. Джек, не желая уступать, пошёл прямо на герцога. Тот наконец натянул поводья и поднял руку, делая спутникам знак остановиться. Де Жонзак и второй всадник придержали коней на полкорпуса от него. Однако Джек продолжал идти, пока де Жонзак не потянул из седельной кобуры пистолет, а второй всадник не пришпорил лошадь, чтобы выехать наперерез.

Было слышно, как французские солдаты и янычары входят в караван-сарай, и вскоре в окнах верхнего этажа за спиной у герцога и его спутников блеснули мушкетные дула. Тем временем родичи Ниязи заняли позицию по обеим сторонам двора в тылу у Джека; фитили их ружей горели в тёмных арках, словно глаза демонов. Джек остановился примерно в восьми футах от морды коня-альбиноса, но так, чтобы выехавший наперерез всадник загораживал его от герцога. Тот что-то произнёс, и адъютант вернулся на прежнюю позицию справа от адмирала.

— Я понимаю ваш план, — начал герцог, даже не поздоровавшись, что, надо думать, должно было прозвучать оскорбительно. — И нахожу его самоубийственным.

Джек притворялся, будто не понимает, пока мсье Арланк не перевёл эти слова на сабир.

— Мы должны были *представить* его таким, — отвечал Джек, — иначе вы бы побоялись приехать.

Герцог улыбнулся, словно услышал застольную остроту.

— Что ж, отлично — наши переговоры, как дуэль или танец, начинаются с предварительных па. Я пытаюсь вас запугать, вы — произвести на

меня впечатление. Можно переходить к сути. Покажите мне Эммердёра.

— Он очень близко, — отвечал Джек. — Прежде надо уладить более важное дело — касательно золота.

— Я человек чести, не раб, и золото ставлю ни во что. Но коли оно вас так сильно заботит, послушаем ваши условия.

— Во-первых, отошлите ювелиров. Здесь нет ни серебра, ни драгоценных камней. Только золото.

— Хорошо.

— Как вы видите, караван-сарай огромен и наполнен сеном, под которым и спрятаны слитки. Мы знаем, где они, вы — нет. Как только мы получим вольные и свою долю — в виде пиастров, мы скажем, где золото.

— Не может быть, чтобы в этом состоял весь ваш план, — сказал герцог. — Сена не так много, чтобы мы не могли вас арестовать и спокойно переворошить стога.

— Пряча золото, мы пролили на пол довольно много лампового масла и для верности закопали в сено несколько бочонков с порохом, — сообщил Джек.

Пьер де Жонзак что-то крикнул младшему офицеру в здании.

— Так вы угрожаете взорвать караван-сарай, — проговорил герцог, как будто каждое слово Джека надо переводить на детский язык.

— Золото расплавится и растечётся. Часть вы сможете собрать, но всё равно потеряете больше, чем если просто отпустите нас вместе с нашей долей.

Подбежал пеший офицер и что-то зашептал де Жонзаку, который передал услышанное герцогу.

— Отлично, — сказал тот.

— Простите?

— Мои люди нашли лужи лампового масла, твой рассказ, судя по всему, не лжив, ваше предложение принято. — Герцог повернулся к адъютанту справа, и тот начал вынимать из седельной сумки одинаковые свитки, обвязанные и запечатанные на турецкий бюрократический манер.

Джек обернулся и поманил рукой аль-Гураба. Раис вышел, положил на землю оружие и приблизился к адъютанту, который позволил ему взглянуть на один из документов.

— Это вольная, — объявил раис. — В ней стоит имя Иеронимо.

— Читай остальные, — распорядился Джек.

— Теперь к вышепомянутому *важному* де-

лу, — вмешался герцог, — единственному, ради которого я ехал из Александрии.

— Даппа, — прочёл раис в следующем свитке. — Ниязи.

Из французских рядов выехала телега. Джек вздрогнул, однако на ней стоял всего лишь окованный сундук.

— Ваши пиастры, — объяснил герцог, забавляясь Джековым испугом.

— Евгений… Габриель Гото… — читал раис.

— Допустим, что бродяга, которого вы показывали в Александрии, и впрямь Эммердёр. Так сколько вы за него хотите?

— Как мы теперь вроде бы тоже люди свободные, мы хотим поступить по чести и отдать его даром — либо не отдавать вовсе.

— Вольная ван Крюйка, — сказал раис, — и моя отпускная.

Герцог снова снисходительно улыбнулся:

— Настоятельно советую отдать его мне. Без Эммердёра сделки не будет.

— Вреж Исфахнян… Патрик Таллоу… мистер Фут…

— И сколько бы вы ни храбрились, — продолжал герцог, — вы окружены моими драгунами, мушкетёрами и янычарами. Золото моё, как если

бы лежало в моём парижском подвале.

— Осталась одна, с пропуском для имени, — сказал Наср аль-Гураб, поднимая последний документ.

— Это потому, что вы не назвали его имени, — объяснил Пьер де Жонзак, указывая на Джека.

— В твоём парижском подвале, — повторил Джек на лучшем французском, какой только мог изобразить. — Сдаётся, это под анфиладой спален в западном крыле, где стоит зелёный мраморный Луй, ряженный Нептуном.

Молчание, почти такое же долгое, как тогда в бальном зале особняка Аркашонов. Тем не менее, учитывая обстановку, герцог очухался довольно быстро — то ли он всё знал заранее, то ли был сообразительнее, чем казалось на первый взгляд. Де Жонзак и второй адъютант совершенно опешили. Герцог выехал на два шага вперёд, чтобы заглянуть Джеку в лицо. Джек тоже шагнул ближе, так что ощутил на щеках конское дыхание, и сорвал с головы тюрбан.

— Это не меняет условий сделки, Джек, — произнёс герцог. — Одно твоё слово, и твои друзья будут богаты и свободны.

Джек стоял и думал — без всякого притворства — минуту-две. Лошади фыркали, в тёмных ар-

ках караван-сарая тлели фитили. Сейчас он мог бы, как Христос, положить жизнь за други своя. Раньше самая мысль показалась бы ему нелепой, сейчас представлялась до странного соблазнительной.

По крайней мере, на минуту-другую.

— Увы, ты опоздал на день, — сказал он наконец. — Вчера вечером товарищи дали мне кучу страшных клятв, от которых я не намерен их освобождать, — это было бы дурным тоном.

Одним движением он выхватил янычарскую саблю и по рукоять вонзил её в шею герцогского коня, целя в сердце. Когда остриё достигло цели, могучая мышца сжалась, словно кулак, и обмякла, разрубленная пополам струйчатым булатом.

Джек выдернул саблю, и в него брызнула струя крови в руку толщиной. Лошадь вскинулась, герцогские драгоценные шпоры взметнулись в воздух. Джек отступил в сторону, свободной рукой выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил в голову адъютанту, доставившему вольные. Герцог сумел не вылететь из седла, но тут лошадь грохнулась на бок, придавив и (как отчётливо было слышно) переломив ему обе ноги.

Джек поднял глаза и увидел, что Пьер де Жонзак навёл на него пистолет. Их разделяло менее

двух ярдов. Мойше высунул язык и сделал быстрое движение рукой. Летящий топорик вонзился де Жонзаку в плечо, заставив его выронить оружие. Миг — и выстрел в голову уложил под ним лошадь. Де Жонзак рухнул практически к ногам Джека. Тот схватил упавший пистолет, прицелился французу в лоб, потом отвёл дуло чуть в сторону и выстрелил в землю.

— Теперь мои люди думают, что ты убит, и не станут тратить на тебя пули, — сказал Джек. — Вообще-то я оставил тебе жизнь с единственной целью — чтобы ты отправился в Париж и сказал там следующее: то, что сейчас будет, свершилось во имя женщины, чьего имени я не назову, потому что она сама всё поймёт; и свершил это Джек «Куцый Хер» Шафто, Эммердёр, король бродяг, Али Зайбак — Ртуть!

С этими словами он шагнул к герцогу д'Аркашону, который выполз из-под лошади и лежал, без шляпы и парика, опершись на локоть, а из окровавленных шёлковых чулок торчали раздробленные кости.

— Сейчас я должен подробно перечислить твои грехи и объяснить, почему ты заслуживаешь смерти, — сказал Джек, — да времени нет. Знай только, что я вспоминаю мать и дочь, которых ты

похитил, обесчестил и продал в рабство.

Герцог на мгновение задумался, потом спросил озадаченно:

— Каких именно?

И тут Джек обрушил сверкающий янычарский клинок, как молнию. Голова Луи-Франсуа де Лавардака, герцога д'Аркашона, запрыгала и покатилась по земле Хан-эль-Халили в сердце Матери Мира, и сахарская пыль начала заметать его зрачки.

Тут Джеку показалось, будто пошёл дождь, потому что вокруг взметнулись фонтанчики пыли. Французы или янычары, видя, что адмирал и оба адъютанта убиты, открыли огонь. Мсье Арланка и аль-Гураба рядом уже не было. Джек вбежал в конюшню и застал там бой. Люди Ниязи и сообщники проигрывали неприятелю в числе. Однако они загодя укрылись за стогами сена, а между столбами натянули проволоку, так что могли бы удерживать позицию хоть до конца дня, если бы в караван-сарае не вспыхнул пожар — скорее от ружейного выстрела, чем по чьему-либо умыслу. Джек прыгнул в конскую поилку, намочил себя и одежду и ринулся сквозь беспорядочный град пуль туда, где Евгений, Патрик, Иеронимо, Габриель Гото, евнух-нубиец и несколько сородичей

Ниязи лихорадочно разрывали сено и укладывали золотые слитки на телеги. Лошадям, чтобы не видели огня, накинули на головы мешки, но эта детская уловка не очень-то работала. На взгляд Джек определил, что примерно половина золота уже в телегах.

Мойше, Вреж и Сурендранат с их купеческой смёткой точно помнили, где лежит каждый слиток, и следили, чтобы ни один не остался в сене. Такое дело требовало спокойствия. Поскольку люди умнее лошадей — их не успокоишь мешком на голову, — нужно было немедля обеспечить какую-то реальную защиту от огня, дыма, янычар, драгун… кого там ещё упоминал герцог?

— Французских мушкетёров видели? — спросил Джек у Ниязи, когда того разыскал.

Здесь, в стенах караван-сарая, Ниязи был их генералом.

Говорить стало чуть легче, чем несколько минут назад. Стрелять в таком дыму бесполезно, а находиться вблизи огня с пороховницей на поясе — опасно. Ружейные хлопки смолкли, сменившись звоном клинков и криками людей, тщащихся переложить бремя своего страха на неприятеля.

— Кто такие мушкетёры?

— Герцог сказал, что они у него есть. — Это не было ответом на вопрос, но времени объяснять разницу между драгунами и мушкетёрами у Джека не осталось.

В дальнем конце караван-сарая зазвучал горн — сигнал, что золото погружено и можно трогаться. Ниязи позвал сородичей, распределённых в дымной конюшне известным лишь ему способом, и те начали пробираться к телегам. Джек знал, что даже вышколенному регулярному войску трудно отступать упорядоченно. Не менее хаотичным было наступление янычар, которые прорвали оборону Ниязи и теперь, задыхаясь от дыма, спотыкаясь о грабли и налетая на столбы, бежали на звук горна — не столько потому, что там противник и золото, сколько потому, что нельзя подуть в горн, не набрав в грудь воздуха, а значит, где-то там, впереди, есть воздух.

Джек выбрался на место, где дым пореже, и его тут же едва не пропорол багинетом, целя в почку, выскочивший сбоку француз. Джек крутанулся на месте — штык разорвал мясо на спине, но не задел органы, — и в том же движении с размаху рубанул француза по голове. Таким образом, стычка окончилась раньше, чем Джек осознал, что она началась. Однако она немедля перешла

в настоящий бой с французским офицером. Тот был вооружён рапирой и умел фехтовать. Джек знал, что должен победить быстро, иначе француз просто исколет его до смерти, пользуясь тем, что рапира длиннее, легче и манёвренней янычарской сабли.

Первый раз Джек не дотянулся до француза, во второй тот ловко парировал удар, но споткнулся о лежащие позади вилы и плюхнулся на задницу. Джек поднял вилы и швырнул их в противника, как трезубец. Тот поймал вилы и отшвырнул в сторону, но при этом раскрылся. Джек взмахнул саблей. Француз парировал удар серединой рапиры, однако клинок, предназначенный для изящных движений пальцами и балетных выпадов, не устоял перед дамасской сталью. Ятаган выбил рапиру из хватки француза и аккуратно рассёк того пополам.

Справа звучали голоса, звенели клинки и ржали лошади. Джеку отчаянно хотелось туда, ибо он подозревал, что остался один в окружении врагов.

И тут рванул первый пороховой бочонок. По крайней мере, такое объяснение напрашивалось, поскольку раздался оглушительный грохот, в дыму пронёсся горизонтальный шквал железных

обручей, гвоздей, подков, камешков и клочьев мяса, деревянные опоры загудели и затрещали, а пол начал местами проседать. Джек временно оглох на оба уха, но поскольку его голова была прижата к каменному полу, то через череп непосредственно в мозг поступали разные звуки: звон подков, скрежет окованных железом колёс и — как ни прискорбно — звон золотых слитков, которые упали с телеги, опрокинутой на повороте понёсшими со страха лошадьми.

Лёжа на спине, Джек обнаружил полезный факт, а именно, что внизу воздух чище, чем наверху. Сорвав мокрую рубашку, он обвязал лицо и пополз на брюхе через лабиринт стогов и тел к свету в огромной каменной арке. Через неё Джек выбрался на свежий воздух — в гущу сражения.

Мсье Арланк привлёк внимание Джека, запулив ему в голову камешком, и поманил к себе в укрытие. Джек заполз за перевёрнутую телегу и некоторое время лежал среди золотых слитков и просто дышал. Тем временем мсье Арланк ползал на животе, сооружая бруствер из золотых брусков. Иногда редкие пули ударяли в заграждение, но чаще они пролетали выше.

Перекатившись на живот и выглянув в бойницу, которую предусмотрительный гугенот

оставил между слитками, Джек различил характерные шляпы французских мушкетёров. Они стояли в несколько рядов, полностью перегородив улицу, ведущую к каналу. Мушкетёры в каждом ряду поочерёдно становились на одно колено, заряжали, вскакивали, прицеливались и стреляли — под таким огнём нельзя было не только прорваться вперёд, но даже встать. От живого барьера сообщников отделяло ярдов сорок открытого пространства, однако недостаток ружей, пороха и пуль не позволял вести ответный огонь.

Тем временем караван-сарай позади продолжал гореть и время от времени взрываться. Всё просто не могло быть так плохо, как казалось Джеку, — иначе ему, да и всем остальным, давно бы пришёл конец. В промежутках между залпами слышалось ржание лошадей и рёв верблюдов. Джек повернулся влево и увидел двор, где люди Ниязи заставили своих верблюдов встать на колени, а лошадей лечь на бок. Так что запасная тягловая сила имелась, да что от неё проку, пока в сорока ярдах впереди стоит рота мушкетёров!

— Надо обойти их с фланга! — крикнул Джек. Мысль была очевидная, и другие наверняка до неё додумались — вероятно, поэтому он и не

видел рядом половины товарищей.

Слева путь преграждала каменная стена — по виду, часть доисторических каирских укреплений, а ныне каменоломня. Поначалу Джек пополз вправо вдоль золотого бруствера и обездвиженных телег к улочке, ведущей в лабиринт Хан-эль-Халили. В самом её начале обнаружился мёртвый янычар, пришпиленный к деревянной двери восьмифутовой пикой. Джек расценил это как свидетельство, что тут недавно прошёл Евгений. Кальян извергал бурые струи из множественных огнестрельных ранений. Оказавшись в улочке, Джек вскочил и налёг плечом на зелёную деревянную дверь. Однако она оказалась прочнее, чем выглядела на первый взгляд, и накрепко заперта изнутри. То же самое повторилось со всеми остальными дверями и окнами — оставалось только продвигаться вперёд.

Он свернул за угол и оказался на маленькой площади, на которой в Париже стояла бы статуя Луя, ведущего полки через Рейн, или что-нибудь в таком роде. Здесь роль монумента исполнял Евгений. Широко расставив ноги, он орудовал короткой пикой, очевидно, вырванной у врага. Держа древко за середину, Евгений вращал его с такой скоростью, что сам он и пика походили

на исполинского колибри. Три янычара стояли на почтительном отдалении, ещё два истекали кровью на земле.

Один янычар упал на колени, чтоб поднырнуть под древко, но Евгений, который медленно поворачивался, крутя пику, наклонил плоскость её вращения так, что остриё сбило с янычара шапку и сняло бы с того скальп, приподнимись он на дюйм выше. Янычар упал ничком и пополз ногами вперёд, что невозможно делать быстро.

Всё это Джек увидел, едва выйдя на площадь. Первой его мыслью было, что Евгений уязвим для всякого, у кого есть огнестрельное оружие. Не успел он это подумать, как один из двух стоящих янычар отступил в дверную нишу, вытащил из-за пояса пистолет и начал заряжать. Джек поднял камень размером с кулак и запустил в него. Евгений перестал вращать пику и вонзил её в ползущего противника. Третий янычар, решив, что улучил подходящий момент, изготовился к прыжку. Джек заорал. Янычар обернулся и взмахнул саблей, чтобы отразить воображаемую атаку. Евгений тем временем метнул пику в заряжавшего, который, получив камнем в живот, выронил пистолет (реакция естественная и простительная) и теперь плюхнулся на колени, чтобы его

поднять (роковая ошибка, превратившая его в неподвижную мишень).

Противник Джека яростно размахивал саблей из стороны в сторону. Не лучшая тактика боя, но Джек на мгновение опешил, что дало янычару время развернуться и дать стрекача. Евгений бросился за ним.

На площади сходились три улочки. По одной Джек только что пришёл. Струхнувший янычар и Евгений скрылись в той, что слева. Она вела вниз от караван-сарая к каналу — её-то и предстояло обследовать, чтобы проверить, можно ли обойти мушкетёров с фланга. Справа от Джека располагалось, так сказать, игольное ушко — очень узкая арка, сквозь которую человек мог пройти, а верблюд — нет. Заглянув туда, Джек увидел двор и, ярдах в десяти, боковой вход в горящий караван-сарай, куда со свистом затягивало воздух. Восемь-десять французских солдат только что выбрались из дыма. Мушкеты и пороховницы они предусмотрительно выбросили, но в остальном выглядели хоть куда — вероятно, сумели обойти огонь стороной.

Тут их заслонила от Джека фигура в чёрном одеянии до пят. Габриель Гото выступил из дверного проёма и загородил собой игольное ушко. Японец

казался безоружным, и тем не менее французы остановились, когда он поднял правую руку и произнёс на латыни несколько торжественных слов. Джек не был католиком, однако повидал довольно сражений и богаделен, поэтому узнал последнее таинство, которое совершают над умирающими.

С противоположной стороны — там, где скрылся Евгений — послышалась стрельба. Джек обернулся и увидел более широкую улицу, уходящую в сторону мушкетёров. Ярдов через десять-двенадцать она поворачивала: на углу навзничь лежал убитый.

Джек снова повернулся к Габриелю Гото, который стоял в молитвенной позе с ближней стороны игольного ушка. Французы бежали на него. Дождавшись, когда расстояние сократится до двух ярдов, самурай сунул руку в складки одежды. Двуручный меч выпрыгнул, как змея из травы, и начертил в воздухе сложную диаграмму. Когда он опустился, Джек заметил, что у одного из французов отсутствуют голова, шея и правая рука, срезанные одним косым взмахом.

Рассудив, что Габриель Гото справится без него, Джек отправился в другую сторону. На углу он замедлил шаг, чтобы взглянуть на убитого. Это был

турок с галеры мсье Арланка. Ему прострелили голову — мягкий способ сказать, что свинцовая пуля диаметром в три четверти дюйма вошла промеж глаз на скорости несколько миль в секунду и превратила значительную часть черепа в дымящийся кратер. Это подсказало Джеку удачную мысль посмотреть вверх. И вовремя: на крыше стоял мушкетёр и целил прямо в него. С полки поднимался дымок. Джек метнулся в сторону. Пуля ударила в стену над его головой, обдав лицо каменной крошкой, но не причинив серьёзного вреда. Джек отпрыгнул назад и увидел, что по крыше к мушкетёру подбирается Наср аль-Гураб с кинжалом в руке. Казалось, раис возьмёт верх, но тут янычар с противоположной крыши выстрелил ему в ногу. Аль-Гураб упал, с изумлённым ужасом глядя на стрелявшего, и что-то прокричал по-турецки.

Джек на бегу обогнул угол и оказался перед развилкой. Левая улочка выводила на главную прямо перед мушкетёрами — всякого, кто туда сунется, мгновенно разнесло бы в клочки. Переулок слева как по заказу соединялся с главной улицей позади мушкетёров, но французы перегородили его опрокинутым фургоном и поставили на баррикаде стрелков. Два мушкета разом выстрелили

в Джека, и тот, не раздумывая, плюхнулся в сточную канаву посередине мостовой. Она оказалась почти сухой — только жиденькая струйка нечистот на дне — и защищала от пуль.

Он перевернулся на спину и увидел, как Ниязи перерезает глотку янычару, подстрелившему аль-Гураба. В следующий миг египтянин вынужден был залечь, чтобы не попасть под обстрел с противоположной крыши. Джек хоть и не знал ни турецкого, ни арабского, различал языки на слух и понимал, что наверху есть ещё несколько арабов — вероятно, сородичей Ниязи. Итак, на кровлях погонщики верблюдов сражались с янычарами.

Джек приподнялся на локтях и поглядел вперёд. Евгений, Патрик и нубиец отступали в подворотни. Там они временно были в безопасности, но и к баррикаде пробиться не могли.

Извиваясь, как угорь, он отполз назад, выбрался из канавы и побежал туда, где остались телеги. За ними во дворе Иеронимо, явно что-то задумав, седлал арабского жеребца.

В телеге с припасами Джек нашёл бочонок с порохом и глиняный горшок с ламповым маслом. Прихватив и то и другое, он отправился назад — сперва ползком, толкая бочонок и горшок пе-

ред собой, потом бегом, прижимая их к животу. Габриель Гото по-прежнему стоял в игольном ушке, а руки и головы французов всё с той периодичностью в несколько секунд шмякались на землю. Меч выписывал в воздухе барочные росчерки, словно перо придворного каллиграфа.

Рядом с мёртвым турком Джек остановился и вытащил из горшка залитую воском пробку. Половину масла он вылил на бочонок — медленно, чтобы оно пропитало сухую древесину. Затем припустил бегом и сразу за поворотом снова юркнул в канаву. В сечении она представляла собой букву U, и окованные железными обручами края бочонка легко катились по нижней, пологой части бортов, а верх его оставался почти вровень с улицей.

Катя перед собой бочонок, Джек добрался до места ярдах в десяти от баррикады. Мушкетёры немедля открыли огонь. Джек что есть силы толкнул бочонок, а сам пополз назад с намерением выплеснуть остаток масла, чтобы получился своего рода жидкий запальный шнур. Но события его опередили. Евгений придумал свой способ поджечь баррикаду — соорудил нечто вроде факела из пики и промасленной тряпки. Покуда Джек смотрел из канавы, Евгений выстрелом из

пистолета поджёг тряпку, выбежал на улицу и тут же получил пулю в рёбра. Он остановился на миг, и другая пуля пробила ему бедро. Впрочем, очевидно, русским такие раны замечать не положено. Евгений, всё так же стоя в полный рост, поднял горящий гарпун, прикинул расстояние и, подпрыгнув на одной ноге, метнул пику в бочонок. Ещё одна пуля ударила его в левое запястье. Евгений крутанулся и рухнул, как подрубленный дуб. В тот же миг Джек выскочил из канавы и оказался в развилке спиной к баррикаде.

Полыхнул свет, отбросив длинную тень за Габриелем Гото, который шёл по проулку, чертя подолом одеяния кровавый след на камнях. Сам он, судя по всему, не получил ни одной царапины.

Джек обернулся. Доски разлетались на весь квартал, оторванные тележные колёса прыгали по булыжной мостовой. На месте баррикады клубился дым. На крыше аль-Гураб, несмотря на развороченное бедро, встал и перекинул здоровую ногу через парапет. С криком «Аллах акбар!» он выхватил саблю и свалился в дымный ад прямо на двух мушкетёров — первого придавил, а второго рассёк пополам.

В левом проулке — том самом, который вёл

на улицу перед мушкетёрами, — происходило какое-то движение. Превосходительнейший дон Иеронимо Алехандро Пеньяско де Альконес Квинто на арабском жеребце в одиночку атаковал противника. Испанец точно выбрал время, пока ни один из мушкетёров не приготовился к следующему залпу, и успел добраться до вражеских рядов почти невредимым, но когда он с криком «Эстремадура!» во весь опор преодолевал последние несколько ярдов, из спины фонтаном брызнула кровь — видимо, офицер выстрелил из пистолета. Лошадь, тоже сражённая пулей, рухнула на колени. Любой другой человек вылетел бы из седла, но Иеронимо и тут не сплоховал: толкнулся обеими ногами, подобрал голову, приземлился на плечо, совершил полный кувырок и вскочил как ни в чём не бывало. Одним движением он выхватил шпагу и пропорол насквозь стрелявшего в него француза. «Как тебе, а? Эль Торбелино учил меня падать с лошади, пока я не начал ссать кровью, а потом ещё, пока я не научился приземляться правильно!» Он вытащил шпагу из убитого и полоснул по горлу соседнего француза. «Сейчас вы увидите, что эстремадурец, даже истекая кровью, дерётся лучше самого здорового французишки! Думаю, мне осталось

жить секунд шестьдесят… — вонзая рапиру в шею мушкетёра, — …вдоволь времени… — чтобы уложить десятерых ваших… пока четыре… — Он левой рукой вонзил кинжал в спину бегущему противнику. — …Пять!»

Тут несколько мушкетёров окружили Десампарадо и всадили в его тело штыки.

— Евгений! — крикнул Джек русскому, который лежал в нескольких футах от него, закрыв глаза, и как будто спал. — Мы через минуту вернёмся за тобой с телегой!

Джек, Патрик, нубиец и Габриель Гото шеренгой двинулись на баррикаду и без труда пробились через то, что от неё осталось. Патрик задержался, чтобы вразумить последних мушкетёров эспонтоном и собрать с убитых оружие посущественней. Несколько сообщников Ниязи преследовали по крышам бегущих янычар.

Джек с нубийцем и Габриелем Гото зашли в тыл мушкетёрам, перегородившим улицу. С первого взгляда нельзя было сказать, уложил ли Десампарадо намеченный десяток французов, но одно сомнений не вызывало — больше он никого не убьёт. Уцелевшие мушкетёры толпились в беспорядке, смешав ряды, так что Джек и его товарищи сперва разрядили в них всё заряженное оружие,

а потом ринулись вперёд с саблями наголо. Те, кто остался после этого жив, бежали, спотыкаясь о Десампарадо и тела его жертв, в левый проулок, где попали под камни и пули сородичей Ниязи.

Теперь наконец соплеменники Ниязи смогли вывести лошадей из двора и запрячь их в телеги с золотом, хотя различные драгуны, мушкетёры и янычары продолжали всячески им мешать. Появились и каирские воры. Целыми стаями собирались они в подворотнях и на углах под покровом удлинившихся вечерних теней, откуда время от времени совершали вылазки в надежде разжиться слитком-другим. Тем не менее через четверть часа сообщники всё-таки отъехали от караван-сарая, в котором бушевал огненный циклон, с четырьмя из шести приготовленных телег.

Джек и Габриель ехали на последней, замыкая арьергард, однако оба помнили, что у них есть и другая задача. Как только телега поравнялась со второй боковой улочкой, они остановили лошадь, спрыгнули и пошли забирать Евгения. За дымящимися обломками баррикады ничего было не разобрать, а когда они добрались до места, где упал их товарищ, то увидели лишь алые потёки на мостовой. От Евгения осталась отстреленная левая рука и несколько букв, накорябанных кро-

вью на булыжниках. Неровная цепочка кровавых следов вилась к караван-сараю и пропадала в дыму и пыли.

— Ты можешь это прочесть? — спросил Джек.

— Здесь сказано: «В обход», — ответил Габриель.

— И как это, чёрт побери, надо понимать?

— Конкретно? Не знаю. В общем? Очевидно, он отправился какой-то другой дорогой.

— Слышу иезуита.

— Он пошёл туда, — Габриель махнул в сторону караван-сарая, — а нам надо сюда, — указывая на телегу.

— Кстати, мы там нужны. — Джек припустил бегом, поскольку на телегу уже покушалась толпа воров, бродяг, янычар и французских солдат.

При появлении Джека и Габриеля с окровавленными саблями наголо часть нападавших бросилась врассыпную, однако самые решительные и хорошо вооружённые грабители продолжали следовать за телегой, правда, на почтительном отдалении.

Там, где улочка подходила к каналу, ждали мистер Фут, Вреж, Сурендранат и ван Крюйк, которым, судя по виду, досталась сегодня своя доля приключений. Они перекинули с пристани

на судёнышко широкую деревянную платформу, и три другие телеги уже громыхали по ней, рассыпая на палубу содержимое.

На краю улочки стоял запряжённый верблюдом воз с сеном. Когда последняя телега — та, на которой сидели Джек и Габриель — проехала мимо, щёлкнул бич и воз выкатился на середину улицы. Сейчас ничто не мешало телеге заехать на платформу, поэтому Джек спрыгнул с неё и повернулся к возу, ожидая нападения. Тут воз остановился посреди улицы, прямо на дороге у преследователей. Кучер (Ниязи!) и другой человек (Мойше!) соскочили на мостовую и подложили под колёса камни, а ворох сена ожил и рассыпался. Под ним оказался чёрный цилиндрический предмет (пушка!), а рядом вставал на ноги чернокожий (Даппа!).

С одной стороны, это было не так уж неожиданно, поскольку входило в план — они убили на покупку пушки весь вчерашний день. С другой стороны, Джек всё-таки удивился, поскольку пушка должна была стоять на причале, заряженная и наведённая. Однако вместо того, чтобы поднести горящий фитиль к запальному отверстию, Даппа принялся с лязгом перебирать сложенные у его ног металлические принадлежности, время от

времени поглядывая вдоль улицы, чтобы оценить число бегущих к нему вооружённых людей.

— Раньше я этого не делал, — объявил он, поднимая и осматривая ржавый протравник, — но выспросил всё у знающих людей.

— Которые проиграли морское сражение и угодили на галеры, — добавил Джек.

Даппа отбросил сено с казённой части пушки и сунул протравник в запальное отверстие.

— Помогайте грузить судно! — крикнул Джек Мойше и Ниязи, а Даппе посоветовал:

— Христа ради, не чисти ты это треклятое отверстие!

Даппа отвечал:

— Не будешь ли ты так любезен вынуть дульную пробку?

Джек обошёл телегу, повернулся спиной к противнику — что было вообще-то не в его характере — и вытащил из дула деревянную затычку, которую тут же выбила у него из рук пуля.

Даппе стрела попала в рукав, но, судя по всему, не в руку. Он поднял совок на длинной ручке.

— Коли мы уж сегодня так спешим, то и ствол прочищать не будем, — сказал чернокожий.

С этими словами он запустил совок в невидимую Джеку ёмкость с чем-то хрустящим и

вытащил кучку чёрного пороха. Держа в левой руке медную лопатку, он сровнял горку и очень осторожно, чтобы ничего не просыпать, ввёл совок в дуло — сперва медленно, потом всё быстрее и быстрее, пока длинная ручка не ушла в жерло целиком. Тут Даппа перевернул совок и начал осторожно его вытаскивать.

До сей минуты Джек разрывался между желанием проследить, чтобы Даппа всё сделал правильно, и естественным интересом к происходящему за спиной. Назвать передовых атакующих «нерегулярной армией» значило бы непомерно высоко оценить их дисциплину, мотивы, вооружение и внешний вид. То были воры, алчные прохожие, микроэтнические группы и несколько янычар, смешавших ряды при виде золотых слитков. Почти все они, заметив пушку, притормозили. Однако теперь по проулку распространялась весть, что орудие только заряжают. Тем временем французские солдаты выстроились повзводно и двинулись вниз по улочке, примерно как банник двинулся бы по каналу пушки, не пренебреги Даппа этой процедурой. Осмелевшие мародёры, выступившие из укрытий, смешались с более робкими, которых выдавливал вперёд поршень французского строя, образуя…

— Лавину, как говорили мне галерники-монтаньяры, может вызвать даже пушечный выстрел. — Даппа сорвал с себя рубашку, смял её, затолкал в жерло и добавил две пригоршни картечи, затем отправил туда же тюрбан и взял длинный прибойник. — А мы проверим, можно ли им лавину *остановить*.

Длинные чёрные косички, уже не удерживаемые тюрбаном, упали Даппе на лицо, когда тот наклонился, чтобы вставить прибойник в дуло.

— Можешь не вынимать — на таком расстоянии он сработает как копьё, — бросил Джек и, повернувшись спиной к Даппе, побежал навстречу орде грабителей, поскольку двое быстроногих янычар с ятаганами вырвались вперёд и могли помешать последнему этапу священнодействa.

— Куда делся рожок с затравкой? — проговорил Даппа.

Джек вильнул вправо, чтобы гашишин слева подумал, будто путь к Даппе свободен, а когда тот рванулся вперёд, подставил ему подножку. Сбоку вылетел Мойше с абордажным топориком, высунул язык и прицелился в упавшего янычара. За спиной Мойше возникли Ниязи и Габриель Гото. Все трое с интересом наблюдали за развитием событий, а сейчас решили, что нужнее здесь, чем

на погрузке.

Гашишин слева взмахнул ятаганом. Джек саблей отвёл удар. Судя по звукам, раздающимся сзади, Даппа нашёл-таки рожок и теперь заправлял порохом запальное отверстие.

— Огоньку ни у кого не найдётся? — спросил Даппа.

Джек эфесом двинул противника в челюсть, вырвал у него из-за пояса разряженный пистолет, обернулся и с расстояния пять-шесть футов бросил пистолет Даппе. Он мог бы поплатиться жизнью за то, что показал врагу тыл, если бы тот, видя, к чему идёт дело, не бросился ничком на мостовую.

Так же поступил и Джек. Повернув голову, он увидел, что почти все последовали их примеру. Лишь трое-четверо совсем уж буйнопомешанных по-прежнему неслись вниз. Джек вскочил и, убедившись, что он не на линии огня, отбежал к возу. Ниязи, Мойше и Габриель Гото были уже здесь.

Наступила патовая ситуация: никто, кроме гашишинов, не смел двинуться, пока Даппа целит в них из пушки, однако было ясно, что сразу после выстрела все хлынут вперёд. Из подворотен начали постреливать. Даппа присел на корточки, но от пушки не отступил.

Так или иначе, несколько бесценных мгновений они выгадали. «Все на борт!» — крикнул ван Крюйк с некоторым даже опозданием, потому что швартовы уже отцепили, и судёнышко начало отходить от причала. «Бегите!» — заорал Даппа. Джек, Ниязи, Габриель Гото и Мойше рванули к судну. Даппа остался позади. Французские солдаты вскочили и побежали к нему.

Даппа взвёл курок, поднёс кремень пистолета к ямке вокруг запального отверстия и нажал на спуск. Искры брызнули и, как звёзды в тумане, скрылись в дыму. Яркое пламя в две сажени длиной вырвалось из жерла, увлекая вперёд прибойник, картечь и половину Дапповой одежды. Судя по тому, какая толпа устремилась вслед затем к возу, выстрел был малорезультативным. Впрочем, к тому времени, когда вопящая орава достигла пушки, Даппа уже мчался по пристани. Он прыгнул, поскользнулся на планшире и свалился в Нил, однако не успел даже толком вымокнуть, как ему протянули несколько вёсел. Даппу вытащили, и все залегли, потому что французские мушкетёры дали по судёнышку залп. Через мгновение беглецы были далеко, недосягаемые для пуль.

— Что стряслось? — спросил ван Крюйк.

— Нам преградила дорогу рота французских мушкетёров, — ответил Джек.

— Ясно, — пробормотал ван Крюйк.

— Иеронимо и оба наших турка убиты.

— Раис?

— Я сказал — он убит, и теперь ты наш капитан, — сказал Джек.

— Евгений?

— Уполз куда-то умирать. Видимо, не захотел быть нам обузой.

— Дурные новости. — Ван Крюйк стиснул перевязанную руку.

— Примечательно, что погибли оба турка, — вставил Вреж Исфахнян, слышавший бóльшую часть разговора. — Скорее всего один из них нас и предал: возможно, алжирский паша всё так и задумывал с самого начала, чтобы не делиться с Инвестором.

— Раис очень удивился, когда в него выстрелил янычар, — согласился Джек.

— Должно быть, это входило в турецкий план, — произнёс Вреж. — Убить предателя первым, чтобы он ничего не рассказал.

От Гизы вдогонку им отошли турецкие галеры, однако беглецов не настигли, ибо Нил, даже в это время года неширокий, был запружен медли-

тельными баржами с зерном.

С наступлением ночи подошли к месту, где Нил разделяется на два рукава, и, чтобы сбить с толку сухопутных преследователей, направились к Розетте, а потом каналами через дельту и при помощи шестов через затопленные поля к дамиеттскому руслу. К тому времени, как снова взошло солнце, они убрали мачты и всё, что поднималось больше чем на шесть футов над ватерлинией, и двинулись дальше среди высоких камышей.

Под вечер второго дня в условленном месте встретились с караваном сородичей Ниязи и перегрузили на верблюдов часть золота. Ниязи и нубиец, распрощавшись с сообщниками, двинулись на юг — Ниязи, заметно возбуждённый мыслью о встрече с сорока жёнами, нубиец в надежде при помощи золота вернуться туда, откуда его похитили.

Путь на восток продолжили Джек, мистер Фут, Даппа, мсье Арланк, Патрик Таллоу, Вреж Исфахнян, Сурендранат и Габриель Гото; ван Крюйк был их капитаном, Мойше — пророком. Роль эта его смущала, пока однажды, после долгих блужданий и незначительных приключений, они не увидели за камышами широкий водный

простор.

Тут Мойше встал на носу лодки, озарённый встающим солнцем, и произнёс несколько слов на полузабытом языке, побудив Джека сказать:

— Прежде чем разделить море, вспомни, что мы в лодке и ничего не выгадаем, если воды расступятся и пучина сделается сушей.

Под руководством ван Крюйка они поставили мачты, подняли паруса и взяли курс на восток — наконец-то свободные.

Книга 5
Альянс

Элиза – Лейбницу
Конец сентября 1690

Доктор!

Я провела несколько дней в Жювизи, городке на левом берегу Сены к югу от Парижа, во дворце мсье Россиньоля. Это естественный перевалочный пункт на пути с юга. Перед тем я почти месяц прожила в Лионе и теперь возвращалась в Иль-де-Франс. Жювизи стоит на распутье — отсюда можно ехать вдоль реки в Париж или на запад к Версалю. Мсье Россиньоль предоставил в моё распоряжение свои конюшни и челядь, так что мои лошади и домочадцы могли отдохнуть, пока я не приму решение. Жан-Жак в Версале, и я не видела его с отъезда в Лион, потому сердце влекло меня в ту сторону, однако рассудок понуждал ехать в Париж, где скопилось много неотложных дел. Я выбрала Париж.

Когда я проснулась сегодня утром, в поместье стояла необычная тишина. Я набросила на плечи одеяло, подошла к окну, и взорам моим предстало гротескное зрелище: за ночь весь сад украсился охапками соломы. Садовники, встревоженные

резким похолоданием, допоздна укрывали маленькие и нежные растения, словно няньки, подтыкающие одеяльца малышам. К утру всё посеребрил иней. Высокие розовые кусты промёрзли насквозь. Озерца у фонтанов сковал лёд, изморозь на статуях подчёркивала рельефность мышц и летящих одежд. Царила кладбищенская тишь, потому что садовники, полночи возводившие укрепления против холода, ещё спали.

Было очень красиво, особенно когда солнце поднялось над холмами за Сеной и порозовило иней. Но, конечно, такой заморозок в сентябре — пугающий феномен, вроде кометы или двухголового младенца. Весна в этом году запоздала, и все надежды на урожай связывались с долгой и тёплой осенью. Как ни хороши были замёрзшие розы, я не могла не думать, что то же самое произошло с зерном, яблоками, виноградом и овощами по всей Франции. Я послала служанку предупредить моих спутников о скором отъезде, а сама поспешила в спальню мсье Россиньоля ровно на столько, чтобы прощанье не скоро изгладилось из его памяти.

Сейчас — как Вы можете заключить по моему почерку — мы в карете, едем по Левому берегу в Париже.

Несколько лет назад я бы места себе не находила от волнения, потому что ранний заморозок неизбежно всколыхнёт рынок, и я торопилась бы отослать указания в Амстердам. Сейчас мои заботы более сложны, хотя ничуть не менее спешны. Деньги курсируют по этой стране самыми немыслимыми путями. Думаю, можно выстроить натужную аналогию: Париж — сердце, Лион — лёгкие. Однако система не работает и деньги не текут, если люди не *заставляют* её работать, и мне выпало стать одним из этих людей. Сперва я имела дело преимущественно с «Компани дю Норд», поставляющей балтийский лес в Дюнкерк, и много больше, чем хотелось бы, узнала о том, как его величество финансирует войну. Позже я включилась в некую операцию герцога д'Аркашона, подробности которой до сих пор представляю весьма смутно.

Она-то и привела меня в Лион, куда я приехала на исходе августа в обществе самого герцога. Он поселил меня в своей лионской резиденции и отправился в Марсель, откуда собирался на яхте продолжить путь к югу.

Мы уже проезжаем университет. Карета движется непривычно быстро. Улицы пусты, как будто весь город оплакивает погибший урожай.

Всё застыло, кроме нас, мчащихся, чтобы не заледенеть. Скоро мы окажемся за рекой перед особняком д'Аркашонов, а я так и не перешла к сути письма.

Итак, вкратце.

1. Что слышно от Софии о Лизелотте, или, как её здесь называют, Мадам? Два года назад на протяжении нескольких недель мы были очень близки. Я даже готовилась запрыгнуть к ней в постель по первому знаку, тем не менее, вопреки множеству пикантных слухов, до этого дело не дошло — я нужна была ей в качестве лазутчицы, а не для альковных утех. После моего возвращения в Версаль мы не встречались и не переписывались.

Ей сейчас очень одиноко. Её супруг, брат короля, любит мужчин, она — женщин. Казалось бы, всё замечательно, но если Мсье может открыто держать при себе сколько угодно фаворитов, Мадам вынуждена таиться. Мсье, хоть и не испытывает влечения к супруге, ревнив и всячески преследует её избранниц.

Если в придворных сплетнях есть хоть капля истины, Мадам в последнее время сблизилась с дофиной. Это не значит, что между ними возникла связь, ибо дофина спала со своей камеристкой,

уроженкой Пьемонта, и, по слухам, хранила ей верность. Однако по сходству пристрастий Мадам, дофина, камеристка и ещё несколько дам образовали кружок, который собирался в личном кабинете дофины рядом с её скудной библиотекой на первом этаже южного крыла.

Обо всём этом я услышала два года назад, хотя сама там не бывала. Тогда я служила гувернанткой у племянницы герцогини д'Уайонна. Герцогиня, фрейлина дофины, никоим образом не входила в сапфический кружок, ибо явно предпочитает мальчиков, однако, разумеется, обо всём знала, так как присутствовала на утренних и вечерних туалетах этих дам, их ассамблеях в кабинете и тому подобном.

Вам наверняка известно, что несколько месяцев назад дофина скончалась. Как всегда в случае скоропостижной смерти, особенно если покойная тесно общалась с герцогиней д'Уайонна, подозревают самое нехорошее. Всё лето ждали, что дофин женится на герцогине д'Уайонна, однако он тайно обвенчался с бывшей фавориткой — фрейлиной единокровного брата. Какой мезальянс!

Итак, всё по-прежнему неясно. Те, кто по-прежнему убеждён, что дофину отравила д'Уайонна, строят всё более фантастические гипотезы: якобы

она действовала по указке дофина, обещавшего выдать её за принца крови, и так далее, и тому подобное.

Нимало не обольщаясь насчёт герцогини, я всё же не верю, что она отравила дофину — и потому, что эта особа никогда не сделала бы ничего столь очевидного, и потому, что смерть госпожи лишила её завидного места фрейлины при будущей государыне. Однако я поневоле гадаю, каково сейчас бедной Лизелотте, утратившей общество единомышленниц при дворе. Полагаю, д'Уайонна приложила все усилия, чтобы заполнить пустоту в её душе. Интересно, пишет ли Мадам об этом Софии? Я могла бы просто спросить мсье Россиньоля, который читает все письма, но не хочу злоупотреблять положением его любовницы — по крайней мере, сейчас!

2. Кстати, о мсье Россиньоле.

Хотя заморозки вынудили меня спешно оставить Жювизи, я успела заметить в библиотеке несколько книг, написанных странным алфавитом, смутно знакомым мне по Константинополю, хоть я и не могла вспомнить, чей он. На мой вопрос мсье Россиньоль ответил, что это армянский. Меня его слова насмешили — мол, мало ему забот с французскими, испанскими, латинскими,

немецкими и прочими шифрами, чтобы лезть ещё и в такие дебри!

Он объяснил, что перед отбытием в Марсель герцог д'Аркашон обратился к Чёрному кабинету со странным поручением: особенно внимательно читать письма, которые будут приходить из испанского города Санлукар-де-Баррамеда в первые недели августа. Кабинет охотно согласился, зная, что письма оттуда — как правило, безграмотные каракули тоскующих по дому моряков, — приходят редко.

Как ни странно, пятого августа на стол мсье Россиньолю легло письмо со штемпелем Санлукар-де-Баррамеда, написанное непонятными письменами, составленное и запечатанное в каком-то магометанском порту и попавшее в Санлукар морем, судя по тому, что бумага местами подмокла. Оно было на армянском и адресовалось армянской семье в Париже. В качестве места жительства указывалась Бастилия.

Я бы, наверное, забыла чудной эпизод, если бы не стало известно, что шестого августа в Санлукар-де-Баррамеда произошло дерзкое ограбление: шайка берберийских корсаров, проникших туда под видом галерных рабов, взяла на абордаж корабль, только что вернувшийся из Новой Ис-

пании, и захватила груз серебра. Я уверена, что герцог д'Аркашон как-то с этим связан.

[написано позже более разборчивым почерком]

Я добралась до парижского дома д'Аркашонов и теперь, как видите, пишу за столом.

Итак, об армянском письме. Знаю, доктор, что Вы интересуетесь всевозможными системами письменности и распоряжаетесь огромной библиотекой. Если у Вас есть что-нибудь об армянском языке, я прошу Вас написать мсье Россиньолю. Он очень заинтересовался письмом, но пока мало что может сделать. По его поручению писарь всё аккуратно скопировал, запечатал как было и теперь пытается разыскать кого-нибудь из адресатов, ежели они живы, с тем чтобы вручить им послание. Коли они найдутся и напишут ответ, то мсье Россиньоль его изучит и, возможно, подберёт ключ к шифру.

3. Кстати, о письмах, это надо будет отправить сегодня, посему позвольте ещё вопрос. Он касается банкира Софии, Лотара фон Хакльгебера.

Я виделась с ним в Лионе, как ни старалась избежать этой встречи. Нас обоих пригласили на обед к одному видному члену Депозита. По разным причинам я не могла отказаться; полагаю,

Лотар нарочно так всё подстроил.

Чтобы сократить рассказ, сразу напишу то, что узнала позже. Поскольку мои лакеи и кучер должны были несколько часов дожидаться в конюшне с лакеями и кучером Лотара, я поручила им выяснить всё, что удастся. Было ясно, что Лотар всеми путями наводит справки обо мне, и я решила отплатить ему той же монетой. Разумеется, слуги Лотара не в курсе его дел, но знают хотя бы, когда и куда он ездил.

Таким образом я вызнала, что в июле Лотар выехал из Лейпцига с большим обозом и наёмной охраной в Кадис, где заключил некую сделку, а оттуда в Санлукар-де-Баррамеда, где рассчитывал в первую неделю августа провернуть другую. Однако что-то разладилось. Лотар пришёл в дикую ярость и разослал гонцов и шпионов во все стороны. Через несколько дней он отправил обоз в Аркашон трудным и долгим сухопутным путём, сам же отбыл туда в наёмной барке. Едва обоз добрался до Аркашона, Лотар, прибывший туда раньше, велел поворачивать в Марсель. Путешествие стоило жизни одному человеку и нескольким лошадям, тем не менее в Марсель они опоздали — к чему именно, слуги не знают, — и двинулись вдоль Роны в Лион, где Лотар

чувствует себя больше в своей стихии. Разумеется, я была уже в Лионе, где герцог д'Аркашон оставил меня неделей раньше, — из чего могу заключить, что именно герцога Лотар надеялся застать в Марселе и теперь дожидается в Лионе. Я едва не написала «как паук в паутине», но сообразила, как это смехотворно, ведь Лотар — простой барон, а герцог — пэр Франции, один из главных людей королевства. Я остановила перо, сочтя нелепым сравнивать немецкого барона с пауком, а герцога д'Аркашона — с мухой. Тем не менее *внешне* Лотар куда страшнее. В доме Гюйгенса я видела паука под лупой, и Лотар с его круглым брюшком и следами оспы на лице похож на эту тварь больше, чем кто-либо иной. По-паучьи восседал он за обедом: казалось, будто все опутаны клейкими нитями, тянущимися к его запачканной чернилами перчатке, и, желая получить от кого-нибудь ответ, он просто дёргает паутину. С той же настойчивостью Лотар пытался выпытать у меня, когда господин герцог возвращается во Францию. Стоило мне отбить одну вылазку, он отступал и заходил с другого фланга. Воистину это походило на поединок с восьминогим чудищем. Мне потребовалась вся моя сообразительность, чтобы ничего не выболтать и не

угодить ни в одну из словесных ловушек. Я была утомлена, поскольку весь день провела с одним из конкурентов Лотара, пытаясь договориться о весьма сложной операции. В своей наивности я ожидала весёлой светской болтовни, а никак не форменного допроса. Этот неумолимый человек подобно инквизитору мгновенно чувствовал любую уклончивость, любое противоречие в моих ответах. Хорошо, что я пришла одна, не то моему спутнику, кто бы он ни был, пришлось бы вызвать Лотара на дуэль. Наш хозяин чуть сам этого не сделал, так возмутило его поведение гостя. Однако я думаю, Лотар и здесь поступал сознательно: таким образом он хотел через меня передать герцогу, что очень зол за происшедшее в Санлукар-де-Баррамеда и считает себя в состоянии войны, когда отбрасываются все правила приличия.

Вы, наверное, испугались, что я хочу истребовать от Лотара формальных извинений и выбрала Вас на неблагодарную роль посредника. Отнюдь нет, ибо, как я писала, Лотар явно не намерен извиняться. Он недвусмысленно показал это своим поведением за обедом, о чём, не сомневаюсь, стало известно всем членам Депозита. Банкиры, с которыми я вела переговоры, внезапно струсили

и пошли на попятный, за исключением одного генуэзца, известного выжиги, который заломил немыслимый процент «на покрытие чрезвычайных мер безопасности» и потребовал внести в соглашение странный пункт, а именно, что он примет *серебро*, но не *золото*.

Боюсь, что под конец обеда я дала слабину. «Сколько мадемуазель пробудет в Лионе?» У меня нет чёткого плана, майн герр. «Но разве на четырнадцатое октября не назначен приём в особняке Аркашонов?» Кто вам это сказал, майн герр? «Кто сказал, вас не касается, мадемуазель, но ведь дата назначена? И, соответственно, вы кривите душой, утверждая, будто у вас нет чёткого плана?» И так далее. Лотар явно знал больше, чем следует — очевидно, у него есть шпионы в Версале и Париже, — и каждая его реплика была как удар в живот. Я не выдерживала натиска. К концу обеда он должен был понять, что герцог проедет через Лион в первую или вторую неделю октября. Уверена, сейчас он там, ждёт. По каким только можно каналам я известила военно-морское командование в Марселе, что герцогу по возвращении следует быть крайне осторожным.

Таким образом, герцог предупреждён и ему ничто не грозит — ибо какой властью располагает

один немецкий барон в Лионе? И всё же странная уверенность Лотара меня тревожит.

Совсем недавно, на последнем этапе переговоров с генуэзцем, я, кажется, начала понимать, что движет Лотаром и откуда он столько знает. После долгого спора о золоте и серебре банкир возвёл очи к потолку и обронил какое-то неуважительное замечание касательно алхимиков.

Так вот, за тем злосчастным обедом Лотар не раз уничижительно отзывался о господине герцоге, мол, тот «сам не понимает, во что ввязался». На этом шатком основании я выстроила гипотезу — очень приблизительную, — что корабль, ограбленный в Санлукар-де-Баррамеда, вёз нечто важное для алхимиков, к которым я теперь причисляю и Лотара. Сдаётся, герцог д'Аркашон и его турецкие друзья похитили груз, не ведая, что это такое, и теперь все алхимики против них ополчились. Тогда понятно, откуда Лотар так осведомлен о происходящем в Париже и Версале — и там, и там много членов эзотерического братства. Возможно, они посылают ему депеши.

Я видела Вас, доктор, рядом с Лотаром на балконе Дома Золотого Меркурия в Лейпциге. Всем известно, что он — банкир Эрнста-Августа и Софии, Ваших покровителей. Что Вы можете

рассказать об этом человеке и его устремлениях? Ибо большинство алхимиков — шарлатаны или дилетанты, но, если мои догадки верны, он воспринимает алхимию всерьёз.

Пока всё. Челядинцы герцога толпятся в дверях, ожидая моих решений касательно устройства приёма, назначенного на четырнадцатое число. До тех пор я буду в беспрестанных хлопотах. Следующий раз напишу уже после приёма, а тогда всё будет совсем иначе: ибо на этом вечере ожидаются крупные перемены. О подробностях пока умолчу. Когда прочтёте это письмо, пожелайте мне удачи.

Элиза

Лейбниц – Элизе
Начало октября 1690

Мадемуазель!

Примите мои извинения от имени всех немецких баронов.

Я уже рассказывал Вам, как пяти лет от роду по смерти батюшки начал постигать науки по его книгам, чем встревожил моих учителей в Николаишуле, и те убедили матушку запереть от меня библиотеку. Местный дворянин, прослышав об этом, нанёс матушке визит и в самой учтивой манере, однако весьма твёрдо объяснил, что учителя — глупцы. Она открыла библиотеку.

Дворянина звали Эгон фон Хакльгебер, а происходило дело в 1651-м или 1652-м — память подводит. Я помню его седовласым господином, этаким воротившимся с чужбины дядюшкой; он почти всю жизнь прожил в Богемии, а в Лейпциг вернулся году в 1630-м, спасаясь от превратностей того, что ныне зовётся Тридцатилетней войной, а тогда представлялось бесконечной и бессмысленной чередой зверств.

Вскоре после того, как матушка по его настоя-

нию открыла мне библиотеку, Эгон отправился на запад с намерением посетить Англию, но погиб в Гарце от рук разбойников. К тому времени, как останки нашли, это был обклёванный воронами скелет, который узнали по плащу.

Лотар родился в 1630 году и был третьим сыном в семье. Никто из мальчиков не ходил в школу, их обучали на дому нанятые учителя либо родственники. Эгон, человек исключительно образованный и много путешествовавший, каждый день уделял час-другой наставлению трёх юных Хакльгеберов. Лотар был лучшим его учеником, ибо ему, младшему, приходилось больше всех трудиться, чтобы догнать братьев.

Если Вы сделали подсчёты, то поняли, что Лотару было двадцать с небольшим, когда его дядюшка Эгон отбыл в роковое путешествие. Перед этим семью постигла беда. Оспа, свирепствовавшая в Лейпциге, унесла жизнь двух старших братьев и изуродовала Лотара, теперь единственного наследника. Смерть дядюшки Эгона довершила его несчастья.

Много позже — вернее, лишь совсем недавно — я узнал, что Лотар весьма необычно толкует эти события. Он считает, будто Эгон занимался алхимией и достиг в ней небывалых успехов

— якобы он умел лечить тяжелейшие болезни и даже воскрешать мёртвых. Однако он не смог или не захотел спасти старших братьев Лотара, которых любил, как собственных сыновей. Эгон покинул Лейпциг в ужасном горе с намерением больше туда не возвращаться. Его смерть в Гарце могла быть самоубийством, либо — и здесь я опять-таки повторяю домыслы Хакльгебера — он инсценировал гибель, дабы скрыть своё невероятное долголетие.

Думаю, Лотар просто немного повредился в уме из-за смерти братьев и насочинял небылиц. Впрочем, так или иначе, он верит в алхимию и воображает, будто Эгон, задержись тот в Лейпциге, раскрыл бы ему тайны бытия. В следующие тридцать с лишним лет он, Лотар, продолжал собственными методами доискиваться этих тайн.

Теперь касательно герцогини д'Уайонна, чья недобрая слава…

— Я велела меня не беспокоить.

— Прошу прощения, мадемуазель, — сказала рослая голландка на сносном французском, — но герцогиня д'Уайонна во что бы то ни стало желает немедленно вас видеть.

— Что ж, Бригитта, тогда я тебя прощаю. С этой особой не поспоришь. Я приму её сейчас, а пись-

мо дочитаю позже.

— С вашего позволения, мадемуазель, вам придётся дочитывать его завтра, потому что скоро начнут приезжать гости, а мы ещё не начинали укладывать вам волосы.

— Что ж, хорошо. Завтра так завтра.

— Куда прикажете пригласить герцогиню?

— В малый салон. Если только…

— Госпожа герцогиня д'Аркашон принимает там свою кузину.

— Тогда в библиотеку.

— Мсье Россиньоль трудится там над какими-то чудны́ми документами, мадемуазель.

Элиза набрала в грудь воздуха и медленно выдохнула.

— Тогда скажи мне, Бригитта, есть ли в особняке Аркашонов место, где ещё не толпятся приехавшие загодя гости?

— Не могли бы вы принять её… в часовне?

— Отлично! Дай мне минутку. И, Бригитта?

— Да, сударыня?

— Что-нибудь слышно о господине герцоге?

— Ничего нового с тех пор, как вы последний раз спрашивали.

— Яхту герцога заметили из Марселя шестого октября. С неё сигнальными флажками передали

приказ немедля готовить карету и быстрых лошадей. Это мы знаем от гонца, которого отрядили к нам, как только с марсельской колокольни увидели в подзорную трубу всё, что я вам сейчас изложила, — сказала Элиза. — Гонец прискакал утром. Можно предполагать, что герцог отстал от него не более чем на несколько часов и будет с минуты на минуту, но сверх того никто в доме ничего не знает.

— Граф де Поншартрен будет разочарован, — огорчённо проговорила герцогиня.

Она кивнула пажу, который тут же попятился к дверям, повернулся и стремглав помчался прочь. Элиза, графиня де ля Зёр, и Мария-Аделаида де Крепи, герцогиня д'Уайонна, остались в домовой церкви де Лавардаков с глазу на глаз. Впрочем, герцогиня со свойственной ей осмотрительностью на всякий случай приоткрыла дверь в исповедальню и убедилась, что там никого нет.

Часовня располагалась в углу здания. Алтарь и одна боковая стена были обращены к улице. В стене имелось несколько высоких и узких витражных окон, через которые в помещение проникал свет. В основании каждого окна располагалась небольшая фрамуга. Обычно они были закрыты, чтобы не впускать в часовню уличные

шумы и вонь; две из них д'Уайонна распахнула. Внутрь ворвался холодный воздух, что не смутило дам, упакованных в несколько слоёв тёплой одежды. Ворвался и гул улицы. Элиза решила, что это дополнительная предосторожность на случай, если кто-нибудь вздумает приложить ухо к двери. Однако в целом часовня должна была прийтись герцогине по душе. Здесь не было мебели — никаких скамей, только грубый каменный пол, и она уже удостоверилась, что никто не прячется за алтарём. Часовню — готическую, мрачную, на сотни лет старше самого особняка — давно бы снесли и выстроили на её месте что-нибудь барочное, в современном вкусе, если бы не витражи, алтарь (считавшийся бесценным сокровищем) и левая четвёртая плюсневая кость Людовика Святого, заключённая в золотую раку и вмурованная в стену.

— За сегодняшнее утро Поншартрен не менее четырёх раз справлялся через посыльных о последних новостях, — сказала Элиза, — но я не знала, что генеральный контролёр финансов подрядил к себе на службу и вас, сударыня.

— Его нетерпение отражает нетерпение короля.

— Неудивительно, что король желает знать, где

его верховный адмирал. Однако не правильнее было бы спрашивать об этом через министра флота?

Герцогиня д'Уайонна помедлила у открытой фрамуги и притворила её так, чтобы осталась лишь узкая горизонтальная щель, через которую можно было смотреть на улицу. Однако сейчас гостья отвернулась от окна и некоторое время пристально разглядывала Элизу, прежде чем ответить:

— Простите, я думала, вы знаете. У маркиза де Сеньеле рак. Он при смерти и не может более исполнять обязанности министра.

— Тогда понятно, почему король в таком нетерпении. Говорят, герцог Мальборо высадился с войском на юге Ирландии.

— Ваши сведения устарели. Мальборо уже взял Корк. Кинсейл падёт со дня на день. Тем временем де Сеньеле прикован к постели, а герцог д'Аркашон занят какими-то своими делами на юге.

Из двора за дверью часовни донёсся приглушённый взрыв женского смеха: герцогиня д'Аркашон беседовала с приятельницами. Как странно: в нескольких шагах отсюда высшая знать, надушенная и украшенная лентами, обменивается сплетнями в предвкушении торжеств

по случаю дня рождения герцога. А за стенами особняка Франция готовится к голодной зиме. В морозной Ирландии французские гарнизоны сдаются под натиском Мальборо; министр флота лежит на смертном одре. Элизе подумалось, что тёмная и пустая часовня, уставленная мрачными изваяниями увенчанного терновым венцом Спасителя, — не худшее место для встречи с герцогиней. Здесь д'Уайонна явно чувствовала себя куда естественней, чем в раззолоченной гостиной. Она сказала:

— Не знаю, стоит ли вам убивать господина герцога. Король может сделать это за вас.

— Пожалуйста, не говорите так! — резко произнесла Элиза.

— Я всего лишь поделилась житейским наблюдением.

— Когда герцог затевал сегодняшний приём, стояло лето и всё казалось превосходным. Я знаю, он думал: «Королю нужны деньги на войну, и я их добуду!»

— Вы как будто его оправдываете.

— Полезно знать мысли врага.

— Знает ли герцог *ваши* мысли, мадемуазель?

— Очевидно, нет. Он не считает меня врагом.

— А кто считает?

— Простите?

— Кто-то хочет знать ваши мысли, поскольку за вами следят.

— Мне это хорошо известно. Мсье Россиньоль…

— А, королевский Аргус! Он знает *всё*.

— Он заметил, что моё имя последнее время часто упоминают в переписке те из придворных, что причисляют себя к алхимикам.

— Чего ради им за вами следить?

— Я полагаю, это связано с тем, чем занят на юге герцог д'Аркашон, — сказала Элиза. — Если, конечно, вы не нарушили молчания.

Герцогиня рассмеялась.

— Мы имеем дело с совершенно разными кругами. Даже если бы я нарушила молчание — чего, разумеется, не было, — трудно вообразить, что аптекарь, варящий яды в парижском подвале, связан с такими благородными алхимиками, как Апнор или де Жекс.

— Я и не подозревала, что отец Эдуард — алхимик!

— Разумеется. Мой благочестивый кузен прекрасно иллюстрирует то, о чём я сказала. Вы можете вообразить, что такой человек общается с сатанистами?

— Я и про себя такое вообразить не могла.

— Вы с ними и не общаетесь.

— А кто тогда вы, позвольте спросить?

Д'Уайонна странно девичьим жестом прикрыла рукою рот, пряча смешок.

— Вы по-прежнему ничего не понимаете. Версаль подобен этому окну. — Она указала на витраж. — Прекрасному, но тонкому и хрупкому.

Открыв фрамугу, герцогиня махнула в сторону улицы. Дикарского вида водонос бросил вёдра и ввязался в драку с молодым бродягой, оскорбившимся, что тот толкнул его шлюшку. Нищий, слепой от оспы, присел на корточки у стены — его несло кровью.

— За прекрасным стеклом — море страданий. Когда человек отчаялся, и молитвы не помогают, он пробует другие пути. Прославленные сатанисты, которых так ненавидит маркиза де Ментенон, не узнали бы Князя Тьмы, попади они в ад держать свечку на церемонии его утреннего туалета! Эти некроманты — те же шарлатаны с Нового моста. Шарлатан не проживёт стрижкой ногтей, потому что клиентура недостаточно отчаялась. А вот вырыванием зубов прожить можно. У вас когда-нибудь болели зубы?

— Я знаю, что это больно.

— При дворе есть люди, страдающие от сердечной боли, которая ничуть не лучше зубной. Те, кто за ними охотится, ничем не отличаются от зубодёров. Дьявольские символы — те же щипцы зубодёра, зримый знак, что у этих людей есть средства облегчить невыносимую боль.

— Какой мрачный взгляд! Вы хоть во что-нибудь верите?

Д'Уайонна закрыла фрамугу. Неприятные картины исчезли.

— Я верю в красоту, — сказала она. — Верю в красоту Версаля и в короля, который её создал. Верю в вашу красоту, мадемуазель, и в свою. Тьма может пробиться снаружи, как эти люди могут бросить камень в окно. Но гляньте — витражи простояли столетия. Никто не бросил в них камень.

— Почему?

— Потому что существует баланс сил, который заметен лишь очень внимательному глазу и сохраняется благодаря…

— Постоянным ухищрениям таких, как вы, — закончила Элиза и по выражению зелёных глаз герцогини поняла, что не ошиблась. — Потому вы и включились в мою вендетту с герцогом?

— Ну, разумеется, не из приязни к вам! И не из

сочувствия. Я не знаю и не хочу знать, за что вы его так ненавидите, хотя угадать несложно. Будь герцог национальным героем, как Жан Бар, я скорее отравила бы вас, чем позволила его убить. Однако господин герцог — болван, отсутствующий месяцами, когда он нужнее всего. Король поступил мудро, поставив над ним маркиза де Сеньеле. Но теперь де Сеньеле умирает, и д'Аркашон попытается вернуть себе былое влияние, что было бы губительно для флота и Франции.

— Так вы считаете, что служите королю?

— Я служу его целям.

Герцогиня д'Уайонна вынула из-за корсажа бледно-зелёный цилиндрик чуть больше детского мизинца и протянула его на обтянутой перчаткой ладони. Элиза, стоявшая в нескольких ярдах от собеседницы, шагнула вперёд, хотя по коже волной кипящего масла пробежали мурашки. Руки она прижала к животу, отчасти для тепла, отчасти — чтобы они были ближе к спрятанному в поясе стилету. Мысль странная, но Элиза ждала от герцогини чего угодно — вдруг та что-нибудь бросит ей в лицо или попытается ткнуть отравленной иголкой.

— Вы никогда не осознаете, насколько это будет просто в сравнении с рядовым отравлением, —

проговорила д'Уайонна, словно пытаясь унять Элизины страхи.

Та подошла уже настолько близко, что хорошо видела зелёный предмет: нефритовый флакончик, как для духов, окованный серебром и снабжённый серебряной пробочкой на тонкой цепочке.

— Не вздумайте этим душиться, — сказала герцогиня.

— Он действует через кожу?

— Нет. Дурно пахнет.

— Тогда герцог почувствует его в питье.

— В питье — да. В еде — нет. Вы знаете про его необычные вкусы?

— Лучше, чем хотела бы.

— Вот что я имела в виду, говоря, что вам легко будет осуществить задуманное. Обычно яд, подмешиваемый в пищу, должен быть без вкуса и запаха, а такие, как правило, неэффективны. Этот на вкус не менее гадок, чем на запах, но будет незаметен в сочетании с тухлой рыбой. Вам надо лишь проникнуть в тайную кухню герцога, когда там готовят гнусную стряпню, что не просто. Однако большинству людей приходится идти на куда бóльшие ухищрения.

— Большинству отравителей, вы хотели ска-

зать.

Д'Уайонна не ответила — возможно, даже не поняла уточнения.

— Либо берите, либо не берите, — сказала она. — Я не буду стоять так вечность.

Элиза потянулась за ядом. В тот же миг д'Уайонна схватила её руку и накрыла сверху второй ладонью, так что Элизин кулак, сжавший флакончик, оказался в герцогининой хватке. Элиза смотрела на руки герцогини, не желая видеть её лица, потом с некоторым усилием подняла глаза. Лишь мгновение выдержала она взгляд герцогини, но той, по-видимому, хватило и этого. Что́ отравительница хотела прочесть в её глазах, Элиза так и не поняла. Однако д'Уайонна в последний раз стиснула её пальцы, мягко, но настойчиво придвинула их к Элизиному поясу и выпустила.

— Итак, — сказала она, — вы осуществите это сегодня?

— Уже поздно. Я должна подготовиться.

— В таком случае поторопитесь.

— Я сама хочу осуществить это как можно скорее.

— Когда всё случится, пойдут разговоры, — заметила герцогиня. — Не обращайте внимания. Не важно, есть ли у обличителя улики; важно

только, дозволяет ли его сан высказывать вам подобные обвинения.

Следующие несколько часов прошли, как в угаре. Граф де Поншартрен и сам король беспрестанно осведомлялись, где герцог. Почему-то все их посланцы желали непременно видеть Элизу, как будто та знает больше, чем герцогиня д'Аркашон. Это отнюдь не облегчало приготовления к празднеству. Элиза должна была вместе с одеванием и причёсыванием сдерживать напор всё более высокопоставленных вопрошателей. Уже смеркалось, когда во двор с грохотом въехала карета. Элиза воскликнула: «Аллилуйя!» Она не могла подбежать к окну, поскольку две мастерицы вплетали в её локоны шиньон, но одна из служанок подбежала и огорчила всех известием, что это всего лишь Этьенн д'Аркашон.

— Сгодится и он, — сказала Элиза. — По крайней мере теперь осаждать будут его, а не меня.

Тут просочились известия, что Этьенн буквально бросил в бой кавалерию — отрядил солдат своего собственного полка на самых резвых конях скакать на юг по дорогам, по которым может ехать его отец, и, завидев белую герцогскую карету, во весь опор мчаться назад. Таким образом о приезде герцога станет известно чуть загодя,

что было крайне важно Этьенну, учтивейшему кавалеру Франции. Не мог же он допустить, чтобы король прибыл на день рождения герцога раньше виновника торжества! А так король мог оставаться в Лувре и двинуться к особняку Аркашонов (расположенному в Марэ, недалеко от Аркольского моста, в нескольких минутах езды от Лувра), когда станет известно, что герцог приближается.

Итак, посланцы Элизе больше не досаждали, но теперь Этьенн д'Аркашон усиленно домогался личной аудиенции. И граф д'Аво тоже. И отец Эдуард де Жекс. Она велела мастерицам работать быстрее и забыть про последний этаж зиккурата кос, вознёсшегося к небесам над её теменем.

— Мадемуазель, дозвольте мне первым сегодня восхититься вашей красотой…

— Лучше бы вас обуревало желание убраться с дороги, чем осыпать меня лестью, господин граф, — сказала Элиза, пытаясь разминуться с д'Аво. — Я иду в часовню поговорить с Этьенном д'Аркашоном.

— Я вас сопровожу, — объявил граф.

Элиза двигалась так стремительно, что её подол захлестнул ноги и шпагу графа, и тот едва не полетел вверх тормашками. Однако д'Аво стоял

на ногах крепче, чем десять любых других французских дипломатов, поэтому ухватил Элизу под локоть с невозмутимостью набальзамированного покойника.

Они спешили по галерее. Слуги с подносами и вазами при виде почти бегущих графа и графини укрывались за колоннами или отступали в ниши.

— Упущением с моей стороны, мадемуазель, было бы не выразить озабоченность вашим кругом знакомств.

— Что?! Кто?! Семейство де Лавардаков? Понтшартрен? Мсье Россиньоль?

— Именно потому, что вы часто бываете в обществе этих достойных особ, вам следует одуматься и прекратить всякую связь с такими, как герцогиня д'Уайонна.

Элиза невольно ухватилась за пояс, потому что вдруг испугалась, что зелёный флакончик сейчас выпадет, разобьётся и наполнит коридор зловонием, гнусным, как её замыслы. Жест был настолько очевиден, что не ускользнул бы от внимания д'Аво, смотри тот на Элизу; однако взгляд графа был устремлён вперёд.

— Хотите вы того или нет, мсье, она — часть придворной обстановки, и я не могу делать вид,

будто её нет.

— Да, но встречаться с такой дамой наедине, что вы делали трижды за последние два месяца…

— Кто считал?

– *Все*, мадемуазель. К чему я и клоню. Даже будь вы чисты, как снег…

— Ваш сарказм груб.

— Весь этот разговор груб, ибо тороплив. Как я сказал, вы можете быть безупречнее самой де Ментенон. Однако когда герцог д'Аркашон умрёт…

— Как вы можете так говорить в день его рождения?

— Ещё один рубеж на пути к смерти. И даже если он сломает шею, упав с лошади, или пойдёт ко дну вместе с кораблём, люди скажут, что вы как-то это подстроили, коли встречались в укромных местах с герцогиней д'Уайонна.

— Каждый может бросаться обвинениями. Не у каждого такой сан, чтобы с его словами считались.

— Это вам д'Уайонна сказала?

Элиза на миг опешила, и д'Аво продолжал:

— Я родился при дворе, вас графиней сделали; я один из немногих, кому сан позволяет вас обличать.

— Вы и без того невыносимы.

— Я обличал вас прежде, когда вы шпионили для принца Оранского. Вы сумели выйти сухой из воды, поскольку действовали по наущению Мадам и потому что откупились. Сейчас вы одна, и у вас нет денег. Я не знаю, кого вы собираетесь отравить: возможно, герцога д'Аркашона, возможно, Этьенна, возможно, сперва одного, потом другого. Я чувствую сильное искушение дождаться осуществления ваших преступных замыслов, а затем рассказать всё — ибо ничего так не хочу, как увидеть вас прикованной к стене в Бастилии. Однако я не могу из прихоти допустить, чтобы пэр Франции стал жертвой убийцы. Посему, мадемуазель…

— Убейте меня! — раздался голос впереди.

Д'Аво и Элиза, по-прежнему под руку, достигли старой двустворчатой двери и вошли в часовню. Она настолько преобразилась, что Элиза едва не подумала, будто ошиблась дверью. Солнце зашло, окна были темны, но в десятках серебряных шандалов горели свечи. Их отблески играли на спинках множества золочёных стульев, расставленных на каменном полу — нет, на персидском ковре, скрывшем голые плиты. Алтарь покрывал белый шёлк, хотя это трудно было разглядеть

— полчасовни превратилось в благоуханные джунгли белых цветов. У Элизы пронеслась мысль: «И откуда они взялись в это время года?», но ответ напрашивался сам собой: из чьей-то оранжереи.

Этьенн де Лавардак д'Аркашон в парадном мундире полковника кавалерии возлежал у алтаря в позе натурщика. Рядом с ним поблёскивали два небольших предмета: кинжал со змеевидным лезвием и золотое кольцо.

Д'Аво остановился так резко, что у Элизы почти мелькнула надежда, что его хватил удар. Однако в следующий миг граф выпустил её локоть и попятился.

Этьенн такого допустить не мог; он вскочил на ноги.

— Останьтесь, господин граф! Умоляю! Ваше присутствие для меня спасительно. Мне не пристало встречаться с госпожой графиней без свидетелей, и пока я лежал здесь в ожидании её прихода, мысль эта терзала меня несказанно.

— Я к вашем услугам, монсеньор, — сказал д'Аво, глядя из-под нахмуренных бровей, как молодой д'Аркашон снова укладывается на пол.

— Убейте меня, мадемуазель!

— Простите, мсье?

— Мучения мои невыносимы. Положите им конец — вонзите сей кинжал в мою грудь!

— Я не хочу вас убивать, господин де Лавардак, — сказала Элиза и злобно покосилась на графа, который был настолько ошеломлён происходящим, что не заметил её взгляда.

— Есть ещё один способ избавить меня от мук, но я не смею надеяться.

И Этьенн устремил взгляд на золотое кольцо.

— Речи ваши полны изящества, однако чересчур туманны, — заметила Элиза, опасливо приближаясь к Этьенну.

Д'Аво остался у двери.

— Я высказался бы прямее, однако низкому бродяге неучтиво обращать такие слова к столь прекрасному и возвышенному существу.

— Позвольте заметить. Во-первых, вы чрезмерно меня превозносите, но я вас прощаю. Во-вторых, я видела бродяг, и вы к ним не относитесь. В-третьих, если вашу мысль нельзя выразить, не нарушая учтивости, прошу вас, нарушьте её. Ибо, принимая во внимание, что вы, по всей видимости, просите…

Дверь часовни распахнулась, и вбежал офицер в мундире того же полка, что и Этьенн, но не таком пышном. Он остановился, побелел, как

свежесрезанная орхидея, и онемел.

Однако все и так знали, что он скажет. Элиза очнулась первой.

— Мсье, у вас новости о господине герцоге?

— Простите меня, мадемуазель… да… с вашего позволения… его карета приближается с большой скоростью… он будет здесь через час.

— Отправили гонца в Лувр? — спросил Этьенн.

— Как вы приказывали, мсье.

— Отлично. Вы свободны.

Офицер, явно обрадованный, что может идти, последний раз стеклянным взглядом обвёл часовню, поклонился и попятился к выходу. Проходя задом в дверь, он столкнулся с кем-то, кто как раз собирался войти. В полутьме произошёл обмен извинениями, затем на свет выступила фигура в плаще с капюшоном — ни дать ни взять Смерть без косы. Вошедший откинул капюшон, явив бледное лицо, чёрные глаза и аккуратно подстриженную бородку отца Эдуарда де Жекса. Судя по выражению лица, он был удивлён, если не сказать встревожен, не меньше остальных.

— Это что, всё подстроено? — вопросила Элиза.

— Мне поступила анонимная просьба быть готовым к свершению таинства брака по первому требованию, — сказал де Жекс, — но…

— Лучше готовьтесь к отпеванию, если молодой д'Аркашон не выскажется напрямик и не спрячет кинжал! — ответила Элиза. — Что до первого требования… даме требуется чуть больше времени! — И она выбежала из часовни.

— Сударыня! — несколько раз выкрикнул де Жекс, преследуя её по галерее, но Элиза не останавливалась, пока не оказалась в более людной части дома. К тому времени де Жекс её нагнал. — Сударыня!

— Я туда не вернусь.

— Я не собирался вас уговаривать. Именно вашего общества я искал. Когда мы с мсье Россиньолем спросили, нам сказали, что вы в часовне. Я не имел намерения мешать…

— Вы ничему не помешали. А почему вы были с мсье Россиньолем?

— Он получил новое письмо от Исфахнянов.

— От кого?

— От армян. Идёмте. Прошу вас. Умоляю. Это очень важно.

Отец Эдуард де Жекс вёл Элизу в библиотеку так быстро, как мог идти сам, то есть постоянно вырываясь вперёд. Кратчайший путь лежал через бальную залу. Здесь де Жекс внезапно отстал. Элиза обернулась. Иезуит смотрел на

потолок. Ничего удивительного: де Лавардаки пригласили знаменитого художника Лебрёна, и тот лишь недавно закончил роспись. В центре исполинской фрески лучезарный Аполлон (символизирующий, как всегда, Людовика XIV) собрал в своём сиянии Добродетели и прогонял Пороки в тёмные углы. Добродетелей на всё пространство не хватило, поэтому Лебрён добавил Муз, которые пением, стихами и тому подобным славили Добродетели. По краям композиции располагались смертные (придворные с одной стороны, далее селяне, воины и, наконец, клирики). Они восхищённо внимали славословящим Музам, обратив спины либо презрительные взгляды к Порокам. Впрочем, художник не забыл и о занимательности: приглядевшись внимательнее, можно было отыскать воина, поддающегося Малодушию, священника — Чревоугодию, придворного — Похоти и селянина — Лени.

Соответственно, *все* входящие смотрели на потолок, только выражение лица у де Жекса было какое-то необычное. Он не восторгался красотой фрески, а смотрел так, будто ждал, что штукатурка обрушится ему на голову.

Иезуит наконец обратил взгляд на Элизу:

— Вы знаете, что здесь было?

— Крайне дорогостоящие отделочные работы, которые заняли вечность и только недавно закончились.

— Я не о том. Вы знаете, почему пришлось заново расписывать потолок?

— Судя по тому, как это выглядит, думаю, из-за госпожи де Ментенон.

— Де Ментенон?! — По реакции де Жекса Элиза поняла, что сморозила глупость.

— Ну… она появилась в тысяча шестьсот восемьдесят пятом, ведь так? Тогда же и начались работы. А сюжет явно в её вкусе.

— Совпадение не есть причинность, — сказал де Жекс. — Потолок пришлось чинить из-за ужасного случая, имевшего место в тот год.

Тут иезуит как будто вспомнил, что они торопятся, и вновь заспешил к библиотеке. Элиза еле поспевала за ним.

— Вы знаете, что́ здесь произошло? — спросил де Жекс, оглядываясь.

— Нечто крайне неприятное — настолько, что мне никто об этом не говорит.

— А. Тогда в библиотеку.

Они вышли из большого зала и оказались в коридоре.

— Что вы говорили раньше о просьбе обвенчать

по первому требованию?

— Я получил записку. Думаю, от вашего воздыхателя. Впрочем, не важно; видимо, он обольщался.

— Немного грустно, — сказала Элиза, вспомнив расставленные в часовне стулья, на которые никто не сядет, цветы, которых никто не увидит и не понюхает, прежде чем их бросят в перегнойную кучу. — Возможно, он задумал нечто вроде похищения, но по своей учтивости намеревался получить благословение семьи и церкви.

— Это ваше с ним дело, — немного холодно отвечал де Жекс, распахивая перед Элизой дверь библиотеки. — Прошу вас, мадемуазель.

— Я предполагал, что вам будет любопытно, — сказал Бонавантюр Россиньоль.

Он сидел спиной к сводчатому библиотечному окну, за которым виднелся освещённый факелами двор особняка Аркашонов. Элиза с удивлением увидела падающий снег — зима была холодна и сурова, как в Стокгольме.

На столе перед собой Россиньоль разложил множество книг, бумаг и заметок. Многие из них были на армянском.

— Я уже упоминал, что Чёрный кабинет перехватил занятное письмо, отправленное в первую

неделю августа из Санлукар-де-Баррамеда и адресованное семье Исфахнянов в Бастилию.

— Вы не назвали мне их фамилию, — сказала Элиза, — но это и не важно, поскольку она почти наверняка вымышленная.

— Почему? — спросил де Жекс.

— Исфахнян значит просто «уроженец Исфахана» — города, в котором проживает много армян, — ответила Элиза. — Как если бы вы жили среди турок и вас называли просто Эдуард Франк.

Россиньоль кивнул.

— Согласен, это может быть не настоящая фамилия, но я буду пользоваться ею за неимением другой. Так или иначе, я навёл справки и выяснил, что некие армяне были брошены в Бастилию весной тысяча шестьсот восемьдесят пятого и пробыли там около года: мать и множество сыновей. Один из них умер в заточении. Выпустили сперва мать, потом братьев. Некоторые из них попали в долговую тюрьму.

Мне потребовалось некоторое время, дабы всех разыскать, ибо за прошедшие годы многие умерли, и выяснить, что старший из братьев, некий Артан Исфахнян, живёт на чердаке неподалёку отсюда. Я устроил так, чтобы письмо попало к

нему.

Через несколько дней Артан написал некоему Врежу Исфахняну в *Каир*. Я снял с письма копию и переправил её дальше. Тогда я не знал, кто такой Вреж Исфахнян — подобно вам, мадемуазель, я подозревал, что фамилия Исфахнян — либо прикрытие, либо некий намёк, и Вреж Артану даже не родственник.

Больше ничего не происходило до вчерашнего дня, когда к нам попало письмо, адресованное Артану и отправленное из Розетты в устье Нила. Написано оно *тем же почерком, что послание из Санлукар-де-Баррамеда.* И вот это уже примечательно, ибо я перевёл письмо из Санлукар на французский, и там нет *ни слова* о Египте, только вопросы о здоровье родственников. Тот, кто его написал — как я полагаю, Вреж Исфахнян — очень давно не видел Артана. В письме он не сообщает, что делает в Санлукар-де-Баррамеда и куда собирается дальше. Артан, получив это послание, каким-то образом понимает, что ответ надо оправлять в *Каир*. Вскорости Вреж объявляется в Розетте — на пути к Каиру — и отсылает оттуда ещё одно письмо с пустыми расспросами о семейных делах.

— И вы сразу поняли, что это шифровки, — под-

хватила Элиза, которая много времени провела с натурфилософами и видела, когда один из них начинает развивать гипотезу. — Я восхищаюсь вашей проницательностью. Однако зачем вы рассказываете всё это мне?

Россиньоль вместо ответа посмотрел на де Жекса, из чего Элиза заключила, что дело щепетильное. Де Жексу, любимцу госпожи де Ментенон, дозволялось говорить с грубой прямотой, необычной в обществе, где за оскорбления обычно вызывают на дуэль.

— Все мы, кто любит и чтит семейство де Лавардаков, — сказал иезуит, — чрезвычайно встревожены, что герцог д'Аркашон, действуя из благородных побуждений и проявляя при этом редкое упорство и силу духа, допустил ошибку. Мы хотим ему помочь. Лучше исправить её, пока последствия не распространились дальше. Мы сочли, что вернее будет обратиться к вам, мадемуазель, нежели к герцогине д'Аркашон или к Этьенну.

— Хорошо. Ошибка как-то связана с алхимией?

Кратчайшая пауза.

— Да, мадемуазель. Господин герцог участвовал в пиратском нападении, что, как вы знаете, на войне допустимо и почётно. Тем не менее

вынужден с горечью сообщить, что его ввели в заблуждение люди либо злонамеренные, либо невежественные. Господин герцог полагал, что груз будет состоять из серебряных чушек. На самом деле это золото. Причём обладающее чудесными — даже божественными — свойствами.

— Ясно, — сказала Элиза. — И нет надобности добавлять, что эзотерическое братство питает к нему собственнический интерес?

— Я предпочёл бы слово «охранительный». Этим золотом дозволено владеть не каждому. В дурных руках оно может послужить дьяволу.

— Хм. И у Лотара фон Хакльгебера оно будет в дурных руках?

— Нет, мадемуазель. Лотар — человек непростой, но известно, где он живёт, и с ним можно вести переговоры. Кучка бродяг в Средиземном море — вот это дурные руки.

— Что ж, не тревожьтесь понапрасну, отец Эдуард. Золото, которое вам нужно, господин герцог должен был привезти с собой. В таком случае оно сейчас в Лионе, у некоего банкира, видящего в нём только металл. Я охотно назову вам имя. Он не интересуется сверхъестественными материями и с радостью обменяет чудесное золото на земное того же или большего веса.

— Мы будем у вас в долгу.

— Можете считать долг погашенным, если скажете мне одну вещь.

— Говорите, мадемуазель.

— В Бастилию отправляют государственных преступников. Почему туда бросили Исфахнянов?

— Поскольку их считали соучастниками того, что случилось здесь в тысяча шестьсот восемьдесят пятом году.

— И — поскольку я единственная во Франции не знаю — что всё-таки случилось здесь в тысяча шестьсот восемьдесят пятом году?

— Вы могли слышать от слуг или других лиц низкого звания о человеке, которого называют Эммердёр. Прошу прощения, мадемуазель! Само слово так вульгарно, что его едва ли можно произносить вслух.

— Я о нём слышала, — проговорила Элиза, хотя в ушах собственный голос почти заглушило тук-тук-тук сердца. — И даже о том, что однажды он без приглашения заявился на пышный приём и учинил кровавый дебош.

— Это было здесь.

— *Здесь?!*

— Да. Он отсёк Этьенну руку и разгромил баль-

ную залу.

— Как может один бродяга в окружении множества вооружённых дворян разгромить герцогскую бальную залу?

— Не важно. Что ещё хуже, всё произошло на глазах у короля. Ужасная неловкость.

— Могу себе представить.

— Так называемый король бродяг сбежал. Однако начальник королевской полиции установил, что он проживал неподалёку отсюда, на чердаке над квартирой Исфахнянов, и у них были какие-то общие дела. А поскольку главный виновник безобразий исчез, возмездие пало на Исфахнянов. Их бросили в Бастилию. Они разорились, многие утратили здоровье. Те, что выжили, нищенствуют.

За окном раздался цокот множества копыт и скрежет железных ободьев по булыжной мостовой. Все повернулись к окну и увидели, что во двор въезжает карета герцога д'Аркашона — огромная белая раковина, рождающаяся из пены прилива. Её волокла шестёрка измученных разномастных лошадей. Карета прогрохотала под окном и остановилась у входа в большую залу.

Однако шум не затих, а стал вдвое, вчетверо громче, когда в открытые ворота въехала сперва

швейцарская стража, затем эскадрон офицеров и, наконец, золочёный экипаж Людовика XIV, озаривший двор подобно колеснице Аполлона.

Этьенн, где бы он ни был (надо полагать, у дверей в большую залу), мог наконец вздохнуть с облегчением. Все одолевавшие его заботы разом отошли в прошлое. Отец вернулся. Не будет больше неприятных расспросов, где верховный адмирал пропадает в трудное для страны время. Что почти так же важно, виновник торжества явился, и гости пришли не зря. А главное, король прибыл, и к тому же не раньше хозяина.

На Элизу, напротив, свалилось разом столько волнений, что недолго было бы потерять им счёт. Проталкиваясь через толпу слуг и придворных, она оставила Россиньоля и де Жекса далеко позади.

Проклятый флакончик! Дура! Дура! После того, что сказал д'Аво, ядом даже нельзя воспользоваться! Он хуже, чем бесполезен. Только сейчас Элиза поняла, что должна будет постоянно носить его под одеждой. Нельзя спрятать улику в ящике комода, где её случайно или нарочно найдут. Флакончик лежал в поясе всего несколько часов, а Элиза бы уже охотно променяла его на горящую головню. Он жёг кожу, и у неё появи-

лась нервная привычка поминутно охлопывать рукою пояс. И за эту обузу она предала себя во власть герцогини д'Уайонна!

Однако беспокойство из-за яда не шло сравнение с тревогой, в которую повергли Элизу слова де Жекса о подвигах Джека Шафто в этом доме — да что там, в этом самом помещении (ибо она уже вошла в бальную залу) несколько лет назад.

Когда мгновение назад кареты герцога и короля въехали во двор, Элиза выскочила из библиотеки, не дожидаясь, когда де Жекс или Россиньоль предложат ей руку. Сделала она это потому, что хотела подумать — вспомнить, что случилось после их встречи с Джеком под Веной в 1683 году, и спросить себя: кто может знать о её былой связи с Эммердёром?

Лейбниц знает, но он не проболтается. То же самое можно сказать о Енохе Рооте. В Лейпциге Элизу и Джека видели несколько человек, но не из тех, к кому станет прислушиваться высший французский свет. Самый из них значительный — и при этой мысли жар ударил Элизе в лицо, словно облако пара из приоткрытой кастрюли — Лотар фон Хакльгебер, смотревший с балкона Дома Золотого Меркурия. Джек стоял тогда рядом с ней под видом слуги. Вряд ли Лотар свяжет его

с Эммердёром.

Из Лейпцига они отправились в Амстердам. Сколько-то голландцев видели их вместе. Однако у тех людей нет никаких оснований думать, что сомнительный персонаж, который несколько раз появлялся с Элизой, — знаменитый король бродяг. Вскорости Джек отправился в Париж. Только там он по-настоящему прославился, въехав на коне в эту самую залу. Потом Джек бежал из Парижа в Амстердам, где и нашёл Элизу в её любимой кофейне. Там он провёл час, закончившийся очень неприятной сценой, которую Элизе не хотелось вспоминать, у Селёдочной башни перед самым отплытием Джека в роковую экспедицию за невольниками. Сейчас, разумеется, его давным-давно нет в живых. Однако вопрос в другом: видел ли кто-нибудь Джека с Элизой в этот последний час?

Ответ: разумеется, да, ибо, как стало известно позже, за ней следили люди д'Аво! Который в этот самый миг смотрел с другого конца бальной залы, словно мог читать Элизины мысли не хуже, чем мсье Россиньоль — шифрованные послания. Обоих соглядатаев Вильгельм Оранский убил собственной рукой. Однако д'Аво жив, *и он знает.*

Всё это время герцогский экипаж находился во

дворе, как яйцо в каменном саркофаге. Дверца была открыта. Один из лакеев всунулся внутрь и зажёг несколько свечей. Плечи его двигались, как будто он встряхивает заснувшего в дороге пассажира. Гости — несколько сотен представителей высшей французской знати — были даже рады промедлению, поскольку оно дало им время выстроиться в длинную очередь встречающих. Слуги расстелили перед дверями ковёр, чтобы герцогу, а затем и королю не пришлось выходить на снег. По обеим сторонам алой дорожки застыл почётный караул — с одной стороны кавалеристы Этьенна, с другой — моряки. Этьенн под руку с матерью встал у самых дверей.

Наконец что-то произошло. Кавалеристы и моряки вытащили сабли и подняли их, образовав над ковром стальной коридор. Этьенн кивнул двум слугам, и те распахнули двери, впустив в зал порыв снежного ветра; Этьенн скривился, его мать наклонила голову и свободной рукой ухватилась за шёлковый шарфик, чтобы его не сдуло с причёски. Снаружи забрызганный грязью лакей задом выбирался из кареты, помогая кому-то очень ослабшему.

Элиза видела эту сцену всё лучше и лучше, поскольку её мягко выталкивало в начало очереди

своего рода светской перистальтикой. Герцоги и герцогини уступали ей право стоять впереди как почётному члену семейства де Лавардаков. Никто не пускал её в очередь, все настаивали, чтобы она продвигалась дальше. Посему она шаг за шагом приближалась к открытой двери и отчётливо видела, кто показался из кареты.

Это был не герцог. Первым приходило на ум слово «инвалид», потому что человек этот еле держался на ногах, а парик если и носил, то потерял или оставил в карете. Редкие короткие волосы прилипли к голове от пота и грязи, лицо было таким бледным, что казалось зелёным. Он не мог стоять или идти без поддержки, однако ни под каким видом не желал отпускать окованный сундук с ручками по бокам. Один из лакеев поддерживал инвалида справа, а тот левой рукой сжимал ручку сундука. Другой лакей ухватился за вторую ручку, когда сундук уже готов был вывалиться из кареты. Так они и двинулись шеренгой — лакей, инвалид, лакей — по красному ковру.

Элиза стояла так близко, что услышала, как Этьенн обратился к матери: «Неужели это Пьер де Жонзак?» В тот же миг она узнала инвалида. Его грязная изорванная одежда была когда-то офицерским мундиром. Когда Элиза мысленно

расправила инвалиду спину, починила ему платье и добавила тридцать фунтов веса, несколько пинт крови и парик, получилось и впрямь нечто похожее на мсье де Жонзака.

Элиза начала выстраивать в голове теорию — совершенно ложную, но очень сходную с тем, что думали остальные. Она вообразила, будто герцог д'Аркашон по-прежнему в карете, поправляет платье, чтобы выйти к гостям, адъютанта же отправил вперёд с сундуком, полным сокровищ, отважно и честно добытых в жестоком морском бою, каковой трофей намерен вручить королю Франции. Элизе даже подумалось, что герцог, неожиданно заполучивший чуточку заколдованного золота вместо целой кучи обычного серебра, прискакал из Лиона без остановки, чтобы доставить его сюда. Фантастическая дерзость. Элиза почти восхищалась этим человеком. Она повернулась к де Жексу, который, очевидно, проделал те же умозаключения, поскольку неотрывно смотрел на сундук. Придворный, стоявший рядом с де Жексом, глядел на Элизу; она подняла глаза и встретила непроницаемый взгляд Луи Англси, графа Апнорского.

Де Жонзак, сундук и лакеи преодолели две трети расстояния до дверей. Чем ближе они под-

ходили, тем заметнее становилось их жалкое состояние. Лакеи неделю простояли на запятках кареты, их лица и ливреи были заляпаны грязью, кожа побагровела от холода. Де Жонзак был равномерно серый. Губы слились с лицом и беспрерывно двигались. Однако если с них и слетали какие-нибудь слова, Элиза ничего не могла расслышать. Этьенн приветствовал де Жонзака, но ответа не получил. Они с герцогиней посторонились, чтобы странная процессия вошла в дверь. Элиза уже понимала, что дело неладно, однако все прочие оставались в плену ошибочной теории, в том числе бедный Этьенн, пригвождённый к месту этикетом. Он повернулся к белой карете, чтобы приветствовать отца, который должен был появиться следующим; однако в экипаже за распахнутой дверцей никого не было. Конюх захлопнул её, пристукнув для верности кулаком; кучер взмахнул бичом, и полумёртвые лошади двинулись в сторону каретного сарая.

— Отец Эдуард! — Элиза повысила голос, чтобы перекричать недоумённый ропот гостей. — Пожалуйста, помогите мсье де Жонзаку, он тяжело ранен.

Это подтверждало и её обоняние; адъютант и лакеи как раз прошли мимо, оставив по себе вонь

гниющего мяса. У де Жонзака была гангрена. Обезумевшие от усталости лакеи просто искали место, где бы уложить его на пол, а оказались на придворном балу. Они совершенно растерялись.

Де Жекс тоже сообразил, что происходит. Он шагнул вперёд и встал перед лакеями.

— Кладите его на пол. Не бойтесь. Аккуратнее. (Мажордому.) Мсье, принесите одеяло и кушетку либо что-нибудь вроде носилок. Велите немедленно позвать врача. (Де Жонзаку, который теперь лежал на паркете, головой на руке де Жекса.) Что вы говорите? Я не слышу, мсье. Прошу вас, поберегите силы, скажете потом.

Элиза, видя, что де Жекс взял дело в свои руки, решила подойти к Этьенну (который не видел иезуита и де Жонзака за толпой любопытствующих придворных) и объяснить ему, что творится. Выяснилось, что тот полностью парализован неразрешимой проблемой этикета: едва отъехал белый экипаж герцога, на его место вкатился золочёный королевский, и дверцу уже распахнули. Никто из королевской свиты не знал, что события приняли непредвиденный оборот, и предупреждать их было поздно: Людовик XIV уже вступил на ковёр, ведя под руку маркизу де Ментенон.

Элиза обернулась к залу и крикнула: «Король!»

Толпа вокруг де Жекса и де Жонзака мигом рассеялась. Придворные вновь выстроились вдоль прохода, оставив посередине лежащего человека, де Жекса, который опустился на колени, силясь расслышать, что говорит раненый, и графа Апнорского. Граф отпирал на сундуке щеколду за щеколдой, всякий раз обнаруживая, что осталась ещё одна.

Всё это открылось королю, едва толпа растаяла, словно снежинки в солнечном луче. Сейчас он один мог повести себя естественно. Все остальные в присутствии монарха не смели обратить взгляд ни на кого другого. Сам же король смотрел только на де Жонзака. Он на полшага опередил де Ментенон, потом обернулся и крайне учтиво попросил её подождать. Бросив на ходу приветственные слова Этьенну и герцогине, Людовик быстро вошёл в залу, сорвал с себя плащ и одним движением набросил его на трясущегося в ознобе Пьера де Жонзака. Затем король отступил на шаг, принял величественную позу — спина очень прямая, одна нога выставлена вперёд, носок оттянут и слегка развернут наружу, голова наклонена к раненому подданному — и спросил де Жекса:

— Что он говорит?

— Извольте, сир, — сказал де Жекс.

Он уже некоторое время держал руку в воздухе, требуя тишины. Теперь, с появлением короля, все голоса разом умолкли. Де Жекс наклонился так, что губы де Жонзака почти касались его уха, и начал повторять, что слышит:

— То… что сейчас будет… свершилось во имя женщины… чьего имени… я не назову… потому что она… сама всё поймёт… и свершил это… Джек Куцый Хер Шафто, Эммердёр, король бродяг, Али Зайбак — Ртуть!

— Что он несёт? — вопросил король. — Что сейчас будет?

Чудо, что он вообще хоть что-то сказал; остальные и вовсе онемели от ужаса, услышав запретное имя, и где — в этом самом доме!

Апнор тем временем продолжал возиться с запорами — не вполне учтиво, но что взять с англичанина? Наконец крышка с грохотом откинулась, и граф, торопясь увидеть сокровище, сунулся носом в сундук. В следующий миг он отпрянул, как если бы оттуда выпрыгнула кобра, и даже издал долгий бессвязный вопль. Те, кто стоял близко, вскрикнули и отвели глаза.

— Дамам и слабонервным лучше отвернуться, — сказал король, отступая на несколько шагов.

Этьенн де Лавардак, герцогиня д'Аркашон, герцогиня д'Уайонна, граф д'Аво и ещё несколько человек придвинулись к сундуку, дабы узнать, что там. Де Жекс, стоявший ближе всех, нагнулся, осенил содержимое знаком креста и пробормотал несколько слов на латыни. Потом выпрямился, держа в руке отрубленную человеческую голову.

— Луи-Франсуа де Лавардак, герцог д'Аркашон, вернулся домой, — объявил иезуит. — Да покоится он с миром.

Нельзя сказать, что Элиза сохранила душевное равновесие, однако она была сейчас хладнокровнее всех в зале за исключением, возможно, покойного герцога. Хотя ей по-прежнему грозила опасность — и даже бóльшая, чем три минуты назад, — две вещи Элиза знала наверняка. Во-первых, что герцог д'Аркашон мёртв. Её жизненная миссия выполнена. Во-вторых, что Джек Шафто жив, искупил свои проступки и по-прежнему её любит. А главное — любит издали, что гораздо менее обременительно. Покуда все вокруг ещё охали, вскрикивали и падали в обморок, Элиза двинулась к герцогине д'Уайонна, которая лишь самую малость уступала ей в спокойствии духа и разве что не улыбалась. Элиза подошла сбоку и левой рукой потянула к себе руку герцогини,

ладонью кверху, а правой вложила в неё зелёный флакончик. Пальцы герцогини непроизвольно сжались, а когда та поняла, что у неё в кулаке, Элизы рядом уже не было.

Внимание её — как почти всех в зале — обратилось к д'Аво, который стоял перед королём и уже получил дозволение говорить. Странно, что он вообще спросил дозволения, поскольку от гнева только что не брызгал слюной. Граф постоянно оглядывался на Элизу, и та подумала, что стоит подойти и послушать.

— Ваше величество! — вскричал граф. — С позволения вашего величества я скажу, что хотя исполнитель этого преступления — далеко, его причина и вдохновительница — близко, настолько, что ваше величество может извлечь шпагу и совершить правосудие, не сходя с места. Ибо та, во имя которой Эммердёр содеял убийство, — не кто иная, как…

И он поднял руку, выставив указательный палец вверх, словно дуэльный пистолет перед тем, как прицелиться во врага. Взгляд графа жёг Элизу, палец начал опускаться, чтобы прицелиться ей в сердце. Однако Элиза успела схватить указующий перст, пока тот был устремлён в потолок, и согнуть так, что д'Аво ойкнул, то есть не смог

завершить фразу. «*Merci beaucoup, monsieur*», — сказала Элиза, совершила полный пируэт и оказалась лицом к лицу с королём, оттеснив графа на задний план. Кулак её, сжимавший палец д'Аво, был теперь за спиной, и наблюдатели, ещё не оправившиеся от зрелища отрубленной головы именинника, могли подумать, будто граф учтиво предложил Элизе руку, на которую та и оперлась.

— С вашего позволения, сир, я слышала, что правила этикета велят господам пропускать дам вперёд. Или я обманываюсь?

— Ничуть, мадемуазель, — отвечал король.

— Я говорю вам, это… — снова начал д'Аво, однако король взглядом заставил его умолкнуть, а Элиза для верности сильнее повернула палец.

— Более того, говорят, что по небесному закону любовь главнее мести, а мир — войны. Так ли это?

– *Pourquoi non, mademoiselle*?

— Тогда как дама, стоящая перед вами по долгу любви, я прошу даровать мне первенство перед этим господином, моим дражайшим другом и наставником графом д'Аво, чьё багровое и гневное лицо позволяет предположить, что им движет жажда некоего возмездия.

— Сегодняшние вести столь гнетущи, что мне будет если не радостно, то по крайней мере отрадно ненадолго отвлечься от неприятного и выслушать вас прежде мсье д'Аво, если, конечно, его дело не безотлагательное.

— Отнюдь нет, ваше величество, всё, что я собираюсь сказать, за несколько минут не утратит своей значимости. Пусть графиня де ля Зёр говорит первой. — Д'Аво наконец высвободил палец и отступил на шаг.

— Ваше величество, — проговорили Элиза, — я скорблю о герцоге и верю, что на том свете Господь вознаградит его по заслугам. Молюсь, чтобы Эммердёр тоже получил достойное воздаяние. Но я не могу, не хочу позволить, чтобы так называемый король бродяг злорадствовал ещё и потому, что нарушил мирную жизнь вашего дома — то есть Франции. И посему я, несмотря на всю свою скорбь, молю ваше величество: дозвольте принять предложение руки и сердца, которое сделал мне сегодня Этьенн де Лавардак — ныне герцог д'Аркашон.

— Так выходите за него замуж с благословения короля, — отвечал Людовик.

И тут Элиза вздрогнула, потому что со всех сторон послышались неожиданные звуки. В другой

обстановке она узнала бы их сразу, но сейчас, после всего, что произошло, ей пришлось обвести взглядом залу и собственными глазами убедиться: гости аплодировали. То не были, разумеется, бурные овации. Половина собравшихся плакали. Многие дамы выбежали из зала. Герцогиню д'Аркашон унесли без чувств, а растерянный жених остался лишь потому, что кто-то должен был приветствовать маркизу де Ментенон. Тем не менее остальные гости рукоплескали. Не то чтобы они забыли про отрубленную герцогскую голову — такое попробуй забудь! — однако их восхитило превращение ужасной сцены в полную свою противоположность. Когда до Элизы это дошло, она сделала скромный реверанс. Кто-то объяснил Этьенну, что происходит, и тот, подойдя, взял её за руку. Хлопки раздались снова и тут же сменились более приличествующими звуками рыданий и молитв. Элиза заметила движение во дворе: всадник с невероятным мастерством развернул коня и во весь опор поскакал к Парижу. Это был граф Апнорский.

Она повернулась к королю, который говорил:

— Отец Эдуард, мы сошлись здесь для скромного торжества. Однако единственное, что приличествует справить сейчас, это месса.

— Да, сир.

— Мы прослушаем заупокойную мессу по герцогу д'Аркашону. Затем обвенчаем нового герцога с графиней де ля Зёр.

— Да, сир, — отвечал де Жекс. — С позволения вашего величества, часовня приготовлена к венчанию; можем ли мы совершить отпевание здесь, где больше места, а затем перейти туда?

Людовик XIV кивнул и повернулся к д'Аво.

— Господин граф, — сказал король, — вы хотели назвать имя женщины, повинной в гнусном убийстве моего кузена.

— С позволения вашего величества, — произнёс д'Аво, — если понимать слова Эммердёра буквально, то смысл их весьма банален. Вероятно, он хотел заслужить одобрение некой *шлюшки*, с которой ненадолго сошёлся в Париже. — Граф невольно стрельнул глазами в Элизу, но тут же вновь устремил взгляд на короля. — Я же хотел высказать более общее суждение обо всех врагах Франции и том, что ими движет.

Он отступил на шаг и обвёл рукой угол потолка, где Пандора открывала свой ящик (что, если подумать, странным образом напоминало сегодняшнюю сцену с открытием сундука). Оттуда вылетали инфернального вида Пороки. Самой

Пандоре Лебрён придал сходство с Марией, супругой и соправительницей узурпатора Вильгельма Оранского. Первой из Пороков была Зависть с лицом Софии Ганноверской. На неё-то и указал д'Аво.

— Вот, сир, возлюбленная не только Эммердёра, но и всех голландцев и англичан. Зависть вдохновляет их «рыцарственные» поступки.

— Ваша наблюдательность, как всегда, достойна восхищения, — сказал король, — и я как никогда рад числить вас среди своих подданных.

Д'Аво склонился в низком поклоне. Элиза невольно подумала, что комплимент короля более чем искупает все унижения, которые претерпел в эти минуты д'Аво. *Неужто король всё знает?*

Людовик продолжал:

— Господин граф д'Аво, как всегда, высказал мудрую мысль. Посему, дабы посрамить приверженцев Зависти, нам следует почтить всё, что есть в королевстве великого: реквиемом — ушедшее величие, свадебным торжеством — величие будущее. Да будет так.

Всё вышло по слову короля.

Бóльшая часть гостей разошлась после отпевания, но немало и осталось, так что часовня была

полна. Сразу после венчания отслужили вторую заупокойную мессу; герцогиня д'Аркашон не оправилась после того, как из сундука вытащили голову её мужа. То, что поначалу сочли обмороком, оказалось ударом. Полтела отнялось, пока герцогиню несли в спальню, за несколько часов паралич распространился на вторую половину, затем остановилось сердце. Таким образом, к тому времени, как около полуночи новобрачные вышли из особняка Аркашонов и сели в наёмный экипаж (карета-раковина требовала мытья и починки), оба родителя Этьенна отошли в мир иной. Их останки предстояло везти в Ла-Дюнетт, чтобы там предать освящённой земле. Этьенн стал герцогом, Элиза — герцогиней д'Аркашон.

Новые герцог и герцогиня провели первую брачную ночь под множеством одеял в карете по пути к Версалю. К Ла-Дюнетт молодожёны подъехали в самый холодный и мрачный предутренний час и по свежим следам копыт на снегу поняли, что они сегодня тут не первые визитёры. Слуги уже поднялись; у многих были заплаканные глаза. Старшая горничная отвела Элизу в сторонку и велела ей немедленно ехать в монастырь Святой Женевьевы, ибо стряслась беда. Элиза, не желая ждать приготовлений, вскочи-

ла на первую же попавшуюся лошадь — белую кобылу — и без седла доскакала до монастыря, где слышались молитвы и плач монахинь. Она вбежала в комнату Жан-Жака, уже зная, что там застанет, ибо, как всякая мать, видела это в кошмарных снах: разбитое окно, сорванные занавески, отпечатки грязных подошв на подоконнике, пустая колыбель. Одеяльце забрали, и это хоть как-то утешало, ибо значило, что маленький Жан-Жак по крайней мере не умирает от холода. В кроватке лежала записка, адресованная графине де ля Зёр: похититель ещё не знал о переменах в её жизни. Записка гласила:

Фрейлен!

Вы и Ваш бродяга забрали кое-что моё. Я — кое-что Ваше.

Л.

Замок Вольфенбюттель, Нижняя Саксония
Декабрь 1690

Нам представляется, что сия мраморная глыба, привезённая из Генуи, была бы точно такой же, останься она на месте, ибо чувства заставляют нас судить поверхностно; однако в более глубоком смысле из-за взаимосвязанности всего сущего Мироздание со всеми своими частями было бы совершенно иным и имело бы от начала иную форму, если бы хоть одна малость в нём произошла иначе, чем на самом деле.

Лейбниц

ЦЕРЕМОНИЯ ЗНАКОМСТВА ПРОИСХОДИЛА на фоне камина столь огромного, что в нём можно было бы спалить деревню. В течение примерно получаса Николя Фатио де Дюилье и Готфрид Вильгельм Лейбниц медленно сближались, как если бы растянутая пружина влекла их друг к другу через целый зал баронов и баронесс. Когда они наконец оказались на расстоянии окрика, то

перешли на французский и затеяли лёгкий разговор об эволютах и эвольвентах. Затем Лейбниц принялся объяснять новое понятие, которым забавлялся в свободные часы, — параллельные кривые. Для иллюстрации он носком башмака чертил на полу перед камином невидимые линии. Нижнесаксонских баронов, вступавших на отведённый для чертежей участок, просили отойти, чтоб и Фатио смог добавить от себя несколько невидимых кривых. Наконец тот исхитрился в одном грамматически связном предложении упомянуть Аполлония Пергского, лист Декарта и улитку Паскаля.

Стены зала украшали исключительно жизнерадостные картины, на которых сеятели, жнецы и сборщики колосьев трудились на залитых солнцем полях. На них бросало слабые отблески пламя, пылающее в бронзовых корзинах на головах у голых, чрезвычайно мускулистых бронзовых арапов по углам помещения.

Фатио выразительно взглянул на часы.

— Солнце взошло… э… два часа назад? И на этой широте у нас осталось… э… два часа светлого времени?

— Чуть больше, с вашего позволения. — Лейбниц подмигнул, а может, ему попала в глаз

крошка золы.

Однако ничего больше было не нужно. Оба повернулись спиной к огню, чтобы запасти хоть немного тепла, и сквозь тьму и чад двинулись к выходу.

Их ослепил яркий голубой свет. Дворцовые галереи, служившие не только переходами, но и своего рода оборонительными рубежами против холода, — опоясывали все внешние стены и были снабжены большим количеством окон. Свет низкого зимнего солнца, рикошетя от сугробов, спрятавших мёртвый сад, наполнял коридоры морозным сиянием. Возмущённые слуги закрыли двери, чтобы не выпускать тепло. Лейбниц и Фатио только что не бегом припустили по коридору. Чулки на морозе как будто растворились, и надо было, чтобы икры и колени работали постоянно.

— Есть семейства, о которых все знают лишь понаслышке, — заметил Фатио.

— Они прорастают в щёлочках между другими семьями, — признал Лейбниц. — Ганноверцы показались бы вам интереснее.

— Во всяком случае, они невероятно плодовиты, — сказал Фатио. — Зимняя королева метала детей, как икру, а София родила почти всех, кто может прийти на ум.

— София вышла за одного из этих, — произнёс Лейбниц, оборачиваясь.

— И так вы стали её библиотекарем?

— Тайным советником, — уточнил Лейбниц.

— Сударь! Примите мои извинения и поздравления!

Фатио замедлил шаг и потянулся к шляпе, чтобы отвесить поклон, однако Лейбниц ухватил его за локоть и повлёк дальше.

— Пустяки, это случилось совсем недавно. Если коротко, владетель этого замка за время Тридцатилетней войны наделал уйму детей, возможно потому, что, будучи осаждён датчанами, шведами и ещё бог весть кем, не имел другого занятия. За восемь лет родились четыре брата! Все выжили!

— Беда!

— Вот именно. В пятидесятых годах братцы устроили большой тарарам при европейских дворах, силясь уменьшить неестественный избыток девственниц, скопившийся за время Тридцатилетней войны. Все претендовали на Софию. Один был очень толст и в любом случае католик. Один — пьяница-импотент. Про одного все знали, что он сифилитик. Младший, Эрнст-Август, как в сказке, оказался хорош всем. София вышла за него.

— Но, мой дорогой доктор, как случилось, что

младший получил самую большую долю?

Они обогнули угол замка и заспешили по другой бесконечной галерее.

— В тысяча шестьсот пятьдесят пятом пьяница умер. Эрнст-Август и Георг-Вильгельм — сифилитик — предавались грехам молодости за границей. Иоганн-Фредерик…

— Методом исключения — жирный католик?

— Да. Он присвоил себе герцогство и собрал армию, чтобы его оборонять. К тому времени, как весть о перевороте достигла венецианского борделя, в котором обосновались Эрнст-Август и Георг-Вильгельм, это был уже свершившийся факт. Иоганн-Фредерик стал герцогом Ганноверским. Георг-Вильгельм получил герцогство Целльское. Эрнст-Август — даром что протестант — остался епископом Оснабрюкским. Всевозможных бедных родственников сгрузили в Вольфенбюттель — вы их только что видели. Эрнст-Август и София задумали утвердить свои владения на Парнасе, в царстве Разума.

— И, естественно, пригласили вас.

— Вообще-то нет, потому что таких, как они, было о ту пору много. Иоганн-Фредерик решил учредить то же самое в Ганновере.

— Хорошее, верно, было время для учёных!

— Да, можно было диктовать свои цены. Иоганн-Фредерик располагал бóльшим количеством денег и обширной библиотекой.

— Начинаю припоминать. Гюйгенс говорил, что когда он научил вас всему, что знал сам, то есть примерно в начале тысяча шестьсот семидесятых, вам пришлось оставить Париж и устраиваться на службу в каком-то холодном и мрачном месте. — Фатио выразительно взглянул на окно.

— На самом деле то был Ганновер — разница несущественна, поскольку он очень похож на Вольфенбюттель.

Лейбниц провёл Фатио в вестибюль с пугающе огромной каменной лестницей.

Фатио растерянно проговорил:

— Сколько же людей должно было умереть, чтобы Эрнст-Август стал герцогом Ганноверским?

— Иоганн-Фредерик скончался в семьдесят девятом. Георг-Вильгельм жив. Однако герцогом Ганноверским стал Эрнст-Август по какому-то подпункту договора, заключённого между ним и братьями. Не стану утомлять вас подробностями.

— И София объединила свой Парнас с Парнасом Иоганна-Вильгельма, чьим главным сокровищем были вы.

— Сударь, вы мне льстите.

— Но почему мне пришлось ехать к вам сюда? Я рассчитывал найти вас в Ганновере.

— Библиотека! — воскликнул Лейбниц и, опередив более молодого спутника, бросился всем телом на дверь.

Захрустел намёрзший на петлях лёд, затем она отворилась, и Фатио предстали несколько сотен ярдов заснеженного двора, за которым вырисовывалась начатая постройка.

— Не смею сравнивать её с той, что Рен возводит в Тринити-колледже, — бодро объявил Лейбниц. — Его библиотека будет украшением… не то чтобы я хотел этим её умалить, моя — скорее орудием, машиной познания.

— Машиной? — Фатио в своих дорогих башмаках запрыгал по снегу за Лейбницем, который, не жалея обуви, утóпал вперёд.

— Мы используем знания тем успешнее, чем более высокого уровня абстракции достигаем, развивая культуру и приближаясь к Божьему мышлению, — бросил Лейбниц небрежно, как будто говорил о погоде. — Адам дал имена животным, то есть перешёл от частных наблюдений за отдельными особями к отвлечённому представлению о видах, а затем придумал для них

абстрактные названия — если хотите, своего рода код. Без этого задача Ноя была бы неосуществимой. Затем создали письменность — изустное слово свели к абстрактным значкам. Она легла в основание Закона — так Бог явил Свою волю Человеку. Была написана Библия. Затем — другие книги. В Александрии книги собрали в первую библиотеку. Ближе к нашему времени появилось изобретение Гутенберга — рог изобилия, изливающий книги на специализированные рынки Франкфурта и Лейпцига. Тамошние торговцы совершенно глухи к моим убеждениям! Книг в мире так много, что их не объять умом. Что делает Человек, Фатио, когда сталкивается с задачей, превосходящей его физические возможности?

— Использует животных или делает орудия. Животные библиотеке не подмога, следовательно…

— …нам нужно орудие. Смотрите! — Лейбниц вытащил руки из карманов и указал на постройку. — Вы, разумеется, видите, что недавно здесь были конюшни*. Скромное начало для библиотеки, и вы наверняка сможете вызвать смех Королевского общества и версальских салонов, его описывая.

— Напротив, доктор! Распрощавшись с вами,

я отправлюсь прямиком в Гаагу, чтобы возобновить совместные штудии с господином Гюйгенсом. Пройдёт не меньше года, прежде чем я смогу выступить перед Королевским обществом. Тем временем строительство библиотеки Рена остановлено на середине из-за нехватки средств.

— Хорошо, — пробормотал Лейбниц и повёл Фатио через временную дощатую дверь в бывшую конюшню.

Она не топилась, но стены защищали лицо от ветра, а ноги — от снега. Фундамент и первый этаж были выстроены из камня, всё остальное — из дерева. Покамест леса выглядели основательнее самой постройки, состоящей из нескольких балок и столбов. Взгляд Фатио остановился на нескольких грубых столах в центре главного помещения.

— Когда-нибудь мы вынесем эти верстаки и заменим их полированными столами, за которыми учёные будут трудиться в свете солнца, проникающем через прекрасный высокий купол. — Лейбниц задрал голову так, что парик сполз назад, и поднял палец в облачке морозного пара, которым сопровождались его слова.

— Купол — замечательное новшество, доктор. Во всех библиотеках не хватает света. Порою я

чувствую искушение поджечь страницу, чтобы осветить следующую.

— Это лишь частный случай общего принципа.

— Какого?

— Я сказал вам, что строю орудие, машину. — Лейбниц выдохнул большое облако пара.

Каждый стол являл собой застывший натюрморт. Половину их занимали вещи, связанные с возведением библиотеки (чертежи, придавленные камнями и обрезками дерева, замёрзшие чернильницы с торчащими из них перьями, исписанные до середины гроссбухи, привинченные струбцинами деревяшки в окружении горы стружек), половину — то, что интересовало сейчас доктора. Фатио замер перед столом, на котором лежали камни. На каждом отпечатался скелет листа, насекомого, рыбы или животного — в том числе совершенно незнакомых.

— Что?..

— Я пока отложил «Динамику» и пытаюсь закончить «Протогею» — тема ясна из названия. Однако не будем отвлекаться. — Лейбниц осторожно зашагал через загромождённое помещение и остановился перед странного вида шкафом.

— Как видите, не я первый придумал выстроить машину познания.

Фатио закрыл глаза — это был единственный способ оторваться от диковинных отпечатков, — попятился от стола и оказался рядом с Лейбницем.

— Извольте видеть! *Bücherrad!** — провозгласил доктор.

С торца бюхеррад был шестиугольным и высотой почти в рост Фатио. Обойдя конструкцию, тот увидел, что она состоит из шести больших полок, примерно по две сажени длиной, которые упираются концами в деревянные шестиугольники, закреплённые на оси так, что всё устройство можно было вращать. При этом каждая из полок свободно вращалась на собственной оси. Когда бюхеррад крутился, каждая полка поворачивалась в противоположном направлении, оставаясь параллельной полу, так что книги с неё не падали.

Фатио зашёл с другого торца и увидел механизм: систему шестерён, вырезанных из твёрдого дерева и описывающих птолемеевские эпициклы вокруг центральной оси.

Затем Фатио перенёс внимание на сами книги: странного вида латинские манускрипты ин-фо-

лио, написанные одной и той же рукой.

— Их составил собственноручно герцог Август, предшественник тех, кого вы сегодня видели в замке. Он дожил до глубокой старости и умер лет двадцать пять назад. Это он собрал бóльшую часть библиотеки, — объяснил Лейбниц.

Фатио нагнулся разглядеть страницу. Она состояла из череды абзацев; каждый начинался названием и длинной цепочкой римских цифр.

— Это *описание* книги, — заметил он.

— Процесс абстракции продолжается, — сказал Лейбниц. — Герцог Август не мог удержать в голове всё содержимое библиотеки и потому создал каталоги. Когда каталогов накопилось столько, что ими неудобно стало пользоваться, он велел столярам изготовить бюхеррад — машину, облегчающую работу с каталогами.

— Очень умно.

— Да — и устройству, которое вы видите, шестьдесят лет, — ответил Лейбниц. — Если вы повторите мои подсчёты, то легко убедитесь: для каталогов, в которых описывались бы все книги мира, потребуется столько бюхеррадов, что придётся строить бюхеррад-рады, дабы их вращать, и бюхеррад-рад-рад, дабы всё это вместить.

— Немецкий язык очень удобен для таких це-

лей, — дипломатично заметил Фатио.

— И так без конца! В мире не хватит столяров, чтобы вырезать столько шестерён. Нужны совершенно новые машины познания.

— Признаюсь, я не поспеваю за вашими мыслями, доктор.

— Смотрите — каждой книге присвоено число. Числа произвольны, бессмысленны — своего рода код вроде имён, которыми Адам называл животных. Герцог Август принадлежал к старой школе и пользовался римскими цифрами, что ещё добавляет им таинственности.

Лейбниц повёл Фатио к неровной стене, у которой громоздились высокие, укрытые холстом штабеля, и приподнял ткань. Фатио предстали книги — тысячи книг. Все были в одинаковых переплётах из свиной кожи (как многие знатные библиофилы, герцог Август покупал несброшюрованные оттиски и отдавал их в собственную переплётную мастерскую). Самые новые переплёты (скажем, моложе пятидесяти лет) сохранили изначальную белизну, более старые приобрели кремовый, бежевый, светло-коричневый или тёмно-бурый оттенок. Многие несли шрамы от давно забытых конфликтов между свиньями и свинопасами. Названия и длинные цепочки рим-

ских цифр были написаны уже знакомым Фатио почерком герцога Августа.

— Сейчас они в куче, потом будут на полках — в любом случае как вы будете искать нужную? — спросил Лейбниц.

— Полагаю, вы вопрошаете меня в сократическом духе.

— А вы можете отвечать в любом, господин Фатио, если, конечно, у вас есть ответ.

— Вероятно, надо смотреть по номерам. Если, конечно, книги расставлены по порядку.

— Предположим. Номера отражают лишь то, в каком порядке герцог приобретал или, во всяком случае, заносил книги в каталог. Они ничего не говорят о содержании.

— В таком случае книги надо перенумеровать.

— По какому принципу? По фамилии автора?

— Наверное, лучше воспользоваться чем-то вроде философского языка Уилкинса. Присвоить каждой мыслимой теме отдельный номер. Написать номера на корешках книг и расставить их по порядку. Тогда можно будет сразу идти в нужную часть библиотеки, где книги на конкретную тему будут стоять вместе.

— Однако предположим, что я изучаю Аристотеля. Моя тема — Аристотель. Должны ли все его

книги стоять вместе? Или его труды по геометрии — в одном разделе, а по физике — в другом?

— Если так рассуждать, то задача чрезвычайно сложна.

Лейбниц подошёл к пустому шкафу и провёл пальцем по всей длине полки.

— Полка подобна декартовой числовой прямой. Положение книги на ней определяется числом. Но только одним числом! Подобно числовой прямой, полка одномерна. В аналитической геометрии мы можем пересечь числовые прямые и получить многомерное пространство. С полками иначе. Беда библиотекаря в том, что книги, многомерные по темам, надо ставить на одномерные полки.

— Теперь я понимаю вашу мысль, доктор, — сказал Фатио, — и чувствую себя Симпличо из галилеева диалога. Позвольте же мне доиграть роль до конца и спросить, как вы намерены разрешить эту проблему.

— Прекрасно сыграно, сударь! Рассмотрите такую возможность. Предположим, мы присваиваем Аристотелю число три, черепахам — четыре. Теперь нам надо решить, куда ставить книгу Аристотеля о черепахах. Мы перемножаем три и четыре, получаем двенадцать, и ставим книгу на

двенадцатое место.

— Превосходно! Простым умножением вы превратили несколько чисел в одно; сжали многомерное пространство до числовой прямой.

— Рад, что вы одобрили моё предложение, Фатио, но теперь рассмотрите следующее: предположим, мы присвоили число два Платону, число шесть — деревьям. И мы приобрели книгу Платона о деревьях — куда её ставить?

— Дважды шесть — двенадцать. После книги Аристотеля о черепахах.

— Да. И учёный, ищущий вторую книгу, найдёт вместо неё первую — явный изъян каталожной системы.

— Тогда позвольте мне вновь взять на себя роль Симпличо и спросить, удалось ли вам преодолеть *эту* загвоздку.

— Предположим, что мы используем вот такую систему. — Доктор вытащил из-за шкафа грифельную доску, на которой была начерчена следующая табличка (фактически признаваясь, что разговор до сих пор развивался по заранее продуманному *сценарию*):

2 Платон
3 Аристотель
5 Деревья

7 Черепахи
2×5=10 Платон о деревьях
3×7=21 Аристотель о черепахах
2×7=14 Платон о черепахах
3×5=15 Аристотель о деревьях
[и т. д.]

— Два, три, пять, семь — всё простые числа, — заметил Фатио, быстро оглядев доску. — Номера книг — составные, произведения простых сомножителей. Превосходно, доктор! Путём небольшого усовершенствования — введения простых чисел — вы устранили загвоздку. Место любой книги на полке находится перемножением чисел, присвоенных темам, — и результат всегда будет уникальным.

— Приятно объяснять это тому, кто сразу понимает принцип, — сказал Лейбниц. — И Гюйгенс, и оба Бернулли очень хорошо о вас отзывались; теперь я вижу, что они не кривили душой.

— Быть упомянутым в одной фразе с этими великими мужами — непомерная для меня честь, — отвечал Фатио, — но коли уж вы так ко мне добры, не соблаговолите ли удовлетворить моё любопытство?

— С превеликим удовольствием.

— Ваш метод идеален для *создания* библиотеки.

Чтобы поставить книгу на место, достаточно перемножить простые числа, соответствующие её темам. Это будет несложно, даже когда числа станут многозначными; всем известно, что вы изобрели машину для умножения, которая, как я теперь вижу, является составной частью вашей будущей машины познания.

— Да, всё это взаимосвязано и может считаться аспектами моего труда «Об искусстве комбинаторики». Так в чём состоит ваш вопрос?

— Боюсь, что вашу библиотеку, однажды созданную, трудно будет *понять*. Вы ведь ищете поддержки императора в Вене?

— Для такого начинания необходимы материальные возможности крупного государства, — уклончиво отвечал Лейбниц.

— Хорошо, возможно, вы обратились к другому великому правителю. Так или иначе, вы хотите построить колоссальную машину.

— Поиск средств всегда сопряжён со значительными трудностями, — всё так же осторожно заметил доктор.

— Я предсказываю, что вы преуспеете, доктор, и однажды в Берлине, Вене или даже в Москве будет воздвигнута исполинская машина познания. Полки протянутся на бесчисленные лиги,

и книги будут стоять на них по предложенному вами правилу. Однако я боюсь, что затерялся бы в недрах вашей библиотеки. Глядя на книгу, я увижу число, восьми– или девятизначное. Мне будет известно, что это произведение двух простых. Но разложение составного числа на простые сомножители — задача, знаменитая своей трудоёмкостью. В вашем подходе есть некая асимметрия. Другими словами, для своего творца библиотека будет ясна и прозрачна, как стекло, но одинокий посетитель окажется в тёмном лабиринте непостижимых чисел.

— Вы правы, — без колебаний отвечал Лейбниц. — Однако я вижу здесь некую красоту, отражающую структуру Вселенной. Описанное вами положение одинокого посетителя хорошо мне знакомо.

— Удивительно! Мне думалось, вы — всеведущий творец, держащий руку на бюхерраде.

— Так знайте. Мой отец был человек образованный, владелец одной из лучших библиотек в Лейпциге. Он умер, когда я едва вышел из младенческого возраста. Я знал его детским восприятием — между нами были *чувства*, но не было интеллектуальной общности; в какой-то мере это подобно моим или вашим отношениям с Богом.

И он рассказал, как ему сперва запретили, затем разрешили вход в отцовскую библиотеку.

— И я вошёл в помещение, которое стояло запертым со смерти отца и ещё хранило его запах. Может быть, смешно говорить о запахе, но то была единственная связь, какую я по малолетству мог ощутить. Ибо все книги были на латыни и греческом, которых я не знал, посвящены темам, совершенно мне непонятным, а на полках стояли по принципу, возможно, ясному для моего отца, но для меня непостижному. Я не смог бы в нём разобраться, даже если бы рядом был кто-нибудь, способный дать мне разъяснения. В конце концов, господин Фатио, я освоил отцовскую библиотеку, но прежде должен был выучить латынь и греческий, а следом — прочесть книги. Лишь затем смог я перейти к самой сложной задаче — понять организующий принцип, по которому мой отец расставлял их на полках.

Фатио сказал:

— Итак, вас не заботит участь моего гипотетического учёного, затерявшегося в вашей машине познания. Однако, доктор Лейбниц, многие ли, оказавшись среди книг на неведомых языках, повторили бы ваш подвиг?

— Вопрос более чем просто риторический. Си-

туация более чем просто умозрительная. Всякий человек, родившийся в мир, подобен дитяти, получившему ключ от бескрайнего хранилища книг, написанных знаками более или менее вразумительными. Поначалу мы ничего не знаем об этой библиотеке, кроме того, что в ней есть неведомая нам упорядоченность. Мы ощущаем некое благоухание, некий дух, напоминающий, что всё вокруг — творение нашего Отца. Чувство это помогает в одном — когда мы отчаиваемся, напоминает, что внутренняя логика *есть* и понятое однажды может быть понято вновь.

— Что, если понять эту логику может лишь разум, равный Божьему? Если получить искомое мы можем, лишь разложив на сомножители двадцатизначные числа?

— Давайте постигать, что можем, расширять свои возможности при помощи машин и довольствоваться тем, что получили, — отвечал Лейбниц. — Это даст нам занятие на какое-то время. Мы не можем выполнить *все* нужные вычисления, не обратив каждый атом Вселенной в винтик арифметической машины, а тогда это был бы Бог…

— Сдаётся, вы приближаетесь к речам, за которые вас впору сжечь на костре, я же тем временем

превращаюсь в ледышку. Есть ли здесь место, где можно отыскать среднее между этими двумя крайностями?

По поручению доктора к конюшне пристроили сарайчик, где он держал самые нужные книги и документы. В одном углу стояла печь, размерами и формой напоминающая вавилонскую башню. Когда они вошли, она едва теплилась, но Лейбниц открыл какие-то дверцы, затолкал внутрь полтонны дров и снова их закрыл. В следующий миг у обоих учёных заложило уши, поскольку чугунная башня начала высасывать из помещения воздух. Она зловеще сипела и рокотала, а Лейбниц и Фатио до конца разговора отступали прочь, силясь отыскать расстояние, на котором (перефразируя Фатио) опасность сгореть заживо не превышала бы опасность замёрзнуть до смерти. Зона эта оказалась на удивление узкой. Покуда Лейбниц возился с печкой, перешедшей от рёва к потусторонним завываниям, Фатио отступил на шаг и скользнул взглядом по листу бумаги — верхнему в стопке, заложенной в книгу. Сверху видны были несколько строк, написанных печатными буквами почерком Лейбница.

ДОКТОР

ПОСЛЕДНИЕ
СОБЫТИЯ В ОСОБНЯКЕ АРКАШОНОВ БЫЛИ НАСТОЛЬКО
ДРАМАТИЧНЫ ЧТО ВЫ НАВЕРНЯКА СЛЫШАЛИ О НИХ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МОЯ ВЕРСИЯ ТАКОВА…

Остальной текст скрывала закрытая книга в дорогом красном переплёте с тиснёнными золотом латинскими буквами и китайскими иероглифами.

— Как насчёт чая? — спросил Фатио, приметивший чайник на одной из ступенек раскалённого зиккурата.

Лейбниц, загораживаясь локтем, подобрался ближе, схватил кочергу, сделал фехтовальный выпад и подцепил чайник, чтобы проверить, есть ли внутри вода. Фатио тем временем отогнул верхний лист и увидел письмо, написанное на другой бумаге другим почерком — Элизиным!

Г. В. Лейбницу от Элизы, невесты
Доктор!

Вам, разумеется, хочется знать всё о моём подвенечном платье. Корсаж был из турецкого муара, расшитого тысячами мелких жемчужин из Бандар-Конго, что на берегу Персидского залива…

Лейбниц порылся в ящике стола и достал чёрный брусок размером примерно с фолиант. Сверху был оттиснут большой китайский иероглиф. Доктор отломил от бруска уголок и объяснил:

— Это караванный чай. В отличие от голландского и английского, который везут россыпью на кораблях, его доставляют сушей через Россию. Он состоит из миллионов спрессованных сухих листьев.

Слова не произвели на Фатио ожидаемого впечатления, и Лейбниц решил зайти с другой стороны.

— Гюйгенс в недавнем письме упоминал о вашем приезде из Лондона.

— Мы с мистером Ньютоном весь март читали «Трактат о свете» Гюйгенса и так увлеклись, что решили в этом году разделить силы: я отправился к Гюйгенсу…

— А Ньютон остался заниматься своей алхимией.

— Алхимией, теологией, философией — называйте, как хотите, — холодно ответил Фатио. — Он близок к достижению, перед которым померкнут «Начала».

— Полагаю, это никак не связано с золотом? — спросил Лейбниц.

Фатио, обычно отзывавшийся по-птичьему быстро, ответил после короткой заминки:

— Ваш вопрос довольно расплывчат. Золото важно для алхимиков, как кометы — для астрономов. Однако недалёкие люди полагают, будто алхимики интересуются им в том же смысле, что и банкиры.

— Верно. Хотя в наших краях живёт один банкир, который ценит золото и в денежном, и в алхимическом смысле.

Лейбниц, до сего момента являвший собой воплощённое благодушие, внезапно сник, как будто вспомнил о чём-то грустном, и покосился на книгу в красном кожаном переплёте. Тема разговора подействовала на него как пригоршня земли на огонь. И снова Фатио ответил не сразу — он внимательно изучал Лейбница.

— Кажется, я знаю, о ком вы говорите, — сказал Фатио наконец.

— Поразительно! — заметил Лейбниц. — Возможно, вы слышали те же истории, что и я. Весь конфликт, как мне представляется, происходит из убеждения, будто существует некий образчик золота — где именно, никто не знает, — обладающего некими свойствами, ставящими его для алхимиков много выше обычного. Меня удивля-

ет, что банкир верит в такую нелепицу.

— Не повторяйте распространённую ошибку, утверждая, будто всё золото одинаково.

— Мне казалось, уж *это* натурфилософия доказала!

— Многие возразят, что она доказала как раз обратное!

— Возможно, вы прочли в Лондоне или Париже что-то, чего я ещё не видел.

— Вообще-то, доктор, я имел в виду Исааковы «Начала».

— Я их читал, — сухо заметил Лейбниц, — и не припомню, чтобы там было про золото.

— И всё же вполне ясно, что две планеты одного размера и состава будут описывать *разные* небесные траектории в зависимости от расстояния до Солнца.

— Конечно — по закону обратных квадратов.

— Поскольку *сами* планеты во всём одинаковы, различие траекторий не объяснить, не включив в число наблюдаемых признаков их положение относительно Солнца.

— Господин Фатио, краеугольный камень моей философии — тождество неотличимого. Если А ничем не отличается от Б, значит, А и Б — один и тот же предмет. В описанном вами случае две

планеты неразличимы, а следовательно, должны быть идентичны. Поскольку они очевидно не идентичны, так как имеют разные траектории, следовательно, должны иметь какое-то отличие. Ньютон различает их, приписывая им различное положение в пространстве и затем предполагая, что пространство пронизано некоей таинственной сущностью, ответственной за обратноквадратичную силу. Таким образом он различает их, апеллируя к неким загадочным внешним свойствам пространства…

— Вы говорите как Гюйгенс! — с внезапной досадой воскликнул Фатио. — С тем же успехом я мог бы не покидать Гаагу.

— Простите, если наша с Гюйгенсом привычка соглашаться вас огорчает.

— Можете соглашаться друг с другом, сколько угодно. Но почему вы не соглашаетесь с Исааком? Неужто вы не видите величия его свершений?

— Всякий разумный человек может их увидеть, — отвечал Лейбниц. — *Почти все* так ими ослеплены, что не замечают изъянов. Лишь немногие из нас на это способны.

— Придираться очень легко.

— Вообще-то довольно трудно, поскольку ведёт к таким вот спорам.

— Если только вы не предложите теорию, которая исправит якобы найденные изъяны, вам следует умерить свои нападки.

— Я всё ещё развиваю мою теорию, господин Фатио, и может пройти долгое время, прежде чем её удастся проверить на опыте.

— Какая мыслимая теория сумеет объяснить различие между двумя планетами безотносительно их положения в абсолютном пространстве?

Разговор привёл к инциденту на снегу. Доктор Лейбниц под опасливым взглядом Фатио слепил руками снежок.

— Не бойтесь, господин Фатио, я не собираюсь его в вас бросать. Было бы очень любезно с вашей стороны сделать ещё два, размером примерно с дыню, как можно более одинаковых.

Фатио с неохотой присел на корточки и начал катать два одинаковых снежных кома, останавливаясь через каждые два шага, чтобы их подровнять.

— Они настолько неразличимы, насколько их можно было сделать в таких условиях — то есть замёрзшими руками и в сумерках, — крикнул он Лейбницу, который на бросок камня от него боролся со снежным комом больше своего веса. Не получив ответа, Фатио пробормотал: — Если не

возражаете, я пошёл бы согреть руки — пальцы совсем не гнутся.

Однако к тому времени, как Николя Фатио де Дюилье вошёл в кабинет Лейбница, его пальцы гнулись вполне достаточно, чтобы вытащить листки, заложенные в китайскую книгу. Письмо от Элизы было необычно длинным и на первый взгляд состояло исключительно из легковесных описаний своих и чужих нарядов. Тем не менее сверху лежал ещё один документ, адресованный доктору, однако написанный его рукой. Загадка. Может быть, ключ в книге? Она называлась «И-Цзин». Фатио видел такую же в библиотеке Грешем-колледжа, когда Даниель Уотерхауз заснул на раскрытой странице. Листы были заложены на главе под названием: «54. Гуй Мэй: Невеста». Сама глава состояла из какой-то мистической белиберды.

Фатио положил листы на место и подошёл к крохотному оконцу. Лейбниц упёрся спиной в исполинский снежный ком и, толкаясь ногами, силился его опрокинуть. Фатио ещё раз обошёл комнату и порылся во всех больших стопках. Их было несколько: письма от Гюйгенса, от Арнольда, от Бернулли, от покойного Спинозы, от Даниеля Уотерхауза и от всех в христианском ми-

ре, в ком теплилась искра разума. Одну большую стопку целиком составляли письма от Элизы. Фатио выдернул из середины десяток листов, сложил их и затолкал в нагрудный карман. Затем вышел наружу.

— Погрели руки, господин Фатио?

— Ещё как, доктор Лейбниц.

Доктор расположил три снежных кома — один огромный и два маленьких неразличимых — на поле между конюшней, дворцом и арсеналом. Треугольник, образуемый комьями, был ничем не примечательный — ни равносторонний, ни равнобедренный.

— Не так ли умер сэр Фрэнсис Бэкон?

— И Декарт тоже — замёрз в Швеции, — бодро отвечал доктор. — И если Лейбниц и Фатио войдут в анналы вслед за Бэконом и Декартом, наша жизнь будет завершена достойно. А сейчас сделайте милость, встаньте рядом вон с тем комом и опишите ваши впечатления. — Он указал на маленький комок в нескольких шагах от Фатио.

— Я вижу поле, дворец, арсенал и будущую библиотеку. Вижу вас, доктор, возле большого снежного кома, а справа другой ком, поменьше.

— Теперь соблаговолите сделать то же самое от второго кома, который вы слепили.

Через несколько мгновений Фатио отозвался:

— То же самое!

— В точности?

— Ну, разумеется, есть небольшие отличия. Теперь вы, доктор, и большой ком — справа от меня, а маленький — слева.

Лейбниц, бросив свой пост, зашагал к Фатио.

— Ньютон сказал бы, что это поле обладает собственной реальностью, которая управляет комьями и определяет их различия. Однако я скажу, что поле не нужно! Забудьте о нём, думайте только о перцепциях комьев.

— Перцепциях?!

— Вы сами сказали, что когда стояли там, то воспринимали большой ком слева, далеко, а маленький — справа. Отсюда вы воспринимаете большой справа, близко, а маленький слева. Так что даже если комья неразличимы, а посему тождественны, в терминах *внешних* свойств — размера, формы, веса, когда мы принимаем в рассмотрение их *внутренние* свойства — то, как один воспринимает другой, — мы видим их отличие. А значит, они различимы! И более того, их можно различить без каких-нибудь отсылок к фиксированному абсолютному пространству.

Оба, не сговариваясь, уже шли к дворцу, кото-

рый в сгущающихся сумерках казался обманчиво тёплым и гостеприимным.

— Сдаётся, вы наделяете каждый предмет во Вселенной способностью к восприятию.

— Если вы будете делить предметы на всё меньшие и меньшие части, то рано или поздно вынуждены будете остановиться и объявить: «Вот фундаментальная единица реальности, и вот её свойства, которыми определяются все прочие природные феномены», — сказал доктор. — Некоторые полагают, что эти единицы подобны бильярдным шарам, которые взаимодействуют через соударение.

— Я как раз собирался сказать: что может быть проще? Крохотные твёрдые кусочки невидимой материи. Это самая разумная гипотеза о сущности атомов.

— Не согласен! Материя сложна. Столкновения между частицами материи — ещё сложнее. Задумайтесь: если атомы бесконечно малы, не будет ли вероятность их соударения практически нулевой?

— В ваших словах есть резон, — сказал Фатио, — но мне не кажется, что проще наделить атомы способностью воспринимать и думать.

— Перцепция и мысль — свойства души.

Считать, что фундаментальные кирпичики вселенной — души, не хуже, чем объявить их крохотными твёрдыми кусочками, которые движутся в пустом пространстве, пронизанном таинственными полями.

— В таком случае восприятие планетой Солнца и других планет заставляет её вести себя в точности так же, как если бы существовало «таинственное поле».

— Знаю, поверить трудно, господин Фатио, но в конечном счёте эта теория будет работать лучше.

— Физика в таком случае превращается в бесконечное летописание. Любой предмет во Вселенной отличается от любого другого предмета во Вселенной исключительностью своих перцепций всех остальных предметов.

— Если вы хорошенько задумаетесь, то поймёте, что это единственный способ их различить.

— Выходит, каждый атом или частица…

— Я зову их монадами.

— Монада в таком случае внутри себя — своего рода машина познания, бюхеррад-рад-рад-рад…

Лейбниц изобразил слабую улыбку.

— Её шестерни вращаются, как в вашей арифметической машине, и она сама решает, что

делать. Вы ведь знали Спинозу?

Лейбниц предостерегающе поднял руку:

— Да. Но умоляю меня с ним не смешивать.

— Если позволите, вернусь к тому, с чего начался разговор. На мой взгляд, ваша теория допускает ту самую возможность, которую вы высмеиваете: а именно, что два золотых слитка могут отличаться один от другого.

— Любые два слитка отличны, но лишь потому, что, будучи в разных местах, обладают разными перцепциями. Я боюсь, что вы хотите приписать одному слитку загадочные свойства, которых нет у другого.

— Почему боитесь?

— Потому что следующим шагом вы захотите его расплавить, чтобы извлечь загадку и поместить её в колбу.

Фатио вздохнул:

— По правде сказать, все такие теории небезупречны.

— Согласен.

— Так почему это не признать? Почему упрямо отрицать систему Ньютона, если ваша так же чревата противоречиями?

Лейбниц остановился перед дворцом, как будто предпочёл бы замёрзнуть, но не продолжать

разговор там, где его могут подслушать.

— Ваш вопрос рядится в одежды разума, чтобы предстать невинным. Возможно, он и впрямь невинный. Возможно — нет.

— Даже если вы не верите в мою невинность, поверьте хотя бы в искренность моего недоумения.

— Мы с Исааком говорили об этом много лет назад, в молодости, когда дела обстояли иначе.

— Как странно. Вы единственный, за исключением Даниеля Уотерхауза, кто называет его по имени.

Сомнение на лице Лейбница сменилось открытым недоверием:

— Как называете его вы, когда остаётесь с ним наедине в лондонском доме?

— Поправка принята, доктор. Лишь мы трое с ним настолько близки.

— Вы сейчас сказали исключительно хитрую фразу! — вскричал Лейбниц тоном искреннего восхищения. — Она подобна шёлковому шнуру, что сам собой завязался в петлю. Хвалю за ум, но меня в такой силок не уловить. И я попросил бы Даниеля Уотерхауза тоже сюда не впутывать.

Фатио побагровел:

— Я хотел уловить одно: что было между Иса-

аком и вами.

— Вы хотите знать, есть ли у вас соперник.

Фатио молчал.

— Отвечаю: нет.

— Отрадно.

— У вас, Фатио, соперника нет. У Исаака Ньютона — есть.

Ирландия
1690–1691

Вильгельм не слишком жаловал человека, создавшего Собственный королевский Блекторрентский гвардейский полк (Джона Черчилля), в наказание за что и сослал его (полк, а не Черчилля) в Ирландию. За два года Боб Шафто многое узнал об острове. Например, что он делится на четыре провинции, которые могут называться королевствами, герцогствами, республиками или графствами в зависимости от того, каких взглядов на историю Ирландии придерживается ваш собеседник. Зовутся они Коннахт, Ольстер, Ленстер и Манстер. Про Коннахт Боб услышал раньше, чем про другие провинции, увидел его последним, тем не менее кое-что о нём знал — наслушался за последние тринадцать лет от своей ирландской шатии-братии, родичей Марии-Долорес, из которых бóльшая часть носила фамилию Партри.

До недавнего времени клан Партри, их свиньи, коровы, разного рода домашняя птица и одна бестолковая овца ютились в лачуге в Ротерхите, через Темзу от Уоппинга, примерно на милю вниз

по течению от Тауэра. Тиг Партри, один из трёх членов клана, в разное время завербовавшихся в Блекторрентский полк, часто вызывался нести дозор на башне Девлина, юго-восточном выступе цитадели, хотя другие солдаты не любили её из-за зябкой речной сырости. Промозглый ветер, уверял Тиг, напоминает ему о Коннахте, а с высокой башни ему удобно наблюдать за своим четвероногим хозяйством в Ротерхите. Тиг беспрестанно расхваливал Коннахт, да так убедительно, что половина полка готова была туда переселиться. Боб не очень-то верил, поскольку знал, что Тиг в жизни не удалялся от Лондонского моста больше чем на пять миль. Из этого Боб довольно рано вывел заключение, которое стоило бы усвоить всем Партри, а именно, что Ирландия — не место, а образ мыслей.

После Революции Партри забили скотину, дезертировали из полка, собрали какие могли деньги и сбежали в Ирландию. Через несколько месяцев Боб вместе с остальным полком отбыл в Белфаст под командованием полковника-голландца. Вильгельм и в Лондоне-то не слишком Черчиллю доверял, тем более не хотел поручать ему (или другому англичанину) элитный полк в Ирландии, в нескольких дневных переходах от

Якова Стюарта, которому Мальборо ещё недавно служил. Так что блекторрентцы отправились в Белфаст под началом полковника де Зволле и под его же началом просидели на острове две зимы. Когда Боб в следующий раз увиделся с Черчиллем, то смог заверить бывшего командира, что тот ничего не потерял.

От места высадки полк несколько дней шёл маршем на юг, потом встал лагерем в Дандолке, на границе Ольстера с Манстером. Из восьмисот шести солдат за последующее время убыль составила тридцать один человек мёртвыми, тридцать два списанными по утере здоровья; несколько сотен переболели и вернулись в строй. Потери были вызваны по большей части болезнями и голодом, очень немногие — несчастными случаями и поножовщиной. Ни один человек не погиб в бою, поскольку боёв не было. В сравнении с другими блекторрентцы отделались исключительно легко.

Они стояли рядом с голландским полком, которым командовал старый приятель де Зволле по пирушкам и охотничьим забавам. Голландские солдаты почти не болели, хотя мёрзли и голодали не меньше других. В лагере у них царила такая чистота, что товарищи Боба, небольшие

поклонники гигиены, прозвали его «детской». Однако когда смертность среди английских солдат достигла нескольких человек в день, Блекторрентский гвардейский полк начал обращать внимание на докучные придирки де Зволле и кое-что перенял у соседей-голландцев. Случайно или нет, но эпидемия скоро пошла на спад. Когда весной сверили списки, то оказалось, что из английских полков они потеряли меньше всего людей.

В июне 1690 года Вильгельм Оранский прибыл в Ольстер, как подобает королю: с тремя сотнями кораблей, пятнадцатью тысячами солдат, сотнями тысяч фунтов стерлингов, бóльшим количеством принцев, герцогов, офицеров и коней, чем вместили бы пятьдесят возов игральных колод и шахматных досок, и кучей голландских пушек. Он двинулся на юг, задержался в Дандолке ровно настолько, чтобы забрать перезимовавшие там полки, и во главе тридцатишеститысячной армии вторгся в Ленстер. Он шёл прямо на Дублин, где Яков Стюарт собрал мятежный парламент. У короля Вильгельма был деревянный домик, который придумал некий Кристофер Рен — тот самый, что строил новый собор Святого Павла в Лондоне. Домик можно было за несколь-

ко минут разобрать, погрузить на телегу и так же быстро собрать в любом месте, где король решит устроить свою ставку. Обычно Вильгельм останавливался посреди общего бивуака, что не очень-то характерно для королей и производило хорошее впечатление на солдат.

Яков Стюарт рвался в бой полтора года. Он вышел из Дублина во главе двадцатипятитысячного войска и после некоторых предварительных манёвров занял позицию на южном берегу реки Бойн.

На следующее утро Вильгельм лично проводил рекогносцировку северного берега, ища брод, когда ядро из якобитской пушки, угодив в плечо, сбило его с лошади. Якобиты на южном берегу это видели. Видели они и то, как взволнованные протестанты в спешке уносили прочь нечто королеподобное.

Чего они не могли различить через реку, так это того, что ядро, рикошетом отскочив от берега, на излёте задело Вильгельма по плечу, не причинив ему большого вреда. Вполне естественно было заключить, что узурпатор убит, и доложить радостную весть по начальству.

На следующий день Вильгельм провёл отвлекающую атаку через Бойн неподалёку от того места,

где его сбило ядро, и, выждав, когда Яков стянет туда основные силы, перешёл реку в другом месте. Первым шёл его любимый полк — Синяя голландская гвардия. Однако сразу за голландцами выступали несколько рот Королевского Блекторрентского гвардейского полка — привилегия, которой бы те никогда не сподобились под командованием Мальборо. Де Зволле всю зиму поил начальство бренди и слал письма в Лондон, чтобы теперь Боб и его товарищи получили столь блестящую возможность сложить голову в болоте. Так или иначе, они перешли реку вброд, закрепились на южном берегу и отбили несколько конных атак со стороны якобитов. Это было непросто и происходило на глазах у короля Вильгельма, который специально поднялся на холм, чтобы с другого берега наблюдать за любимыми Синими гвардейцами.

Капитана Бобовой роты убили в самом начале сражения, и Бобу пришлось до конца дня командовать шестью десятками человек. Это ничего особо не изменило. Задачей Боба — что с капитаном, что без — было убедить солдат, что безопаснее стоять в строю, чем бросить мушкеты и нырнуть в реку. Меньше всего он думал о своей или полка репутации при дворе.

Если б думал, может быть, посоветовал бы ребятам смешать ряды и бежать во все лопатки.

Ночью король приехал сказать им, какие они молодцы. Ирландская армия попросту рассеялась, от неё остались лишь тысячи мушкетов и пик, брошенных, чтобы быстрее бежать. Войско короля Вильгельма выбралось из речной долины на вытоптанные луга между деревеньками Доноре и Дулик, о которых ирландцы, как о феях, говорили так, будто они и впрямь существуют, хотя воочию их никто никогда не видел. По пути солдаты собрали брошенное оружие в охапки и сгрузили на выбранном для лагеря месте.

Обоз не успел переправиться через реку, так что ночевать пришлось под открытым небом, и за отсутствием вокруг леса на дрова пустили собранное оружие. Ни на что иное оно не годилось, потому-то ирландцы его и бросили, а вовсе не из трусости, как полагали некоторые. Боб нашёл кремнёвые ружья без кремней, мушкеты с треснутыми стволами, пики, которые переламывались о колено.

Так или иначе, через несколько часов после заката их посетил король. На переправе с ним случился приступ астмы, и он до сих пор дышал тяжело, с присвистом, что из-за ушиба, причи-

нённого ядром, доставляло мучительную боль. Король говорил короткими фразами и еле сидел на измученной лошади. Он по-голландски обратился к де Зволле, потом по-английски к ротным и Бобу. Ни на кого из них Вильгельм не смотрел, поскольку засыпал в седле и не мог отвести взгляд от горящих мушкетов и пик.

Сказал же он, что с таким полком, как его Собственный Блекторрентский гвардейский, сможет отбить не только Ирландию, но и Фландрию, а там и дойти до самого Парижа.

Боб ещё долго сидел, глядя в костёр, который медленно угасал, превращаясь в груду раскалённых докрасна ружейных дул. Он размышлял о дальних последствиях королевских слов. В целом они скорее пугали. С другой стороны, вторжение во Францию сулило шанс разыскать мисс Абигайль Фромм.

На следующий день они оставили поле, усеянное грудами чёрной искорёженной стали, и двинулись на юг к Дублину. Яков Стюарт сбежал во Францию. Озверевшие протестанты громили католические дома. Боб отправился в некий квартал, где протестанты вели себя более смирно (если вообще там были). Он нашёл Тига Партри на крылечке, курящим глиняную трубочку и

созерцающим формы идущих мимо молочниц, словно ничего не произошло. Правда, половина лица у него была красная и в свежих глубоких ссадинах, расходящихся из общего центра.

Тиг угостил Боба пивом (была его очередь) и объяснил, что заморская кавалерия Якова запаниковала первой и, спасаясь бегством, открыла огонь по ирландской пехоте, преграждавшей ей путь. Он заверил, что ирландцы дерутся куда лучше, когда их не убивают французские союзники и когда им дают ружья, которые стреляют, а не взрываются в руках. Боб полностью согласился.

Позже основная часть армии Вильгельма двинулась на запад и дальше в южную провинцию Манстер, где осадили Лимерик — один из немногих ирландских городов с настоящими укреплениями, где можно дать сражение по всем правилам воинского искусства. На беду, ирландцы не слишком почитали правила воинского искусства. Голландские пушки пробили брешь в городской стене; Боб ринулся туда во главе своей роты и схлопотал по голове бутылкой, которую сбросила на него старая толстуха в чёрном апостольнике, что-то вопящая на гэльском. Боб ничего не знал ни о своём отце, ни о деде с материнской стороны, поэтому давно мучился

подозрением, что в его жилах течёт ирландская кровь; пока он лежал без сознания на обломках лимерикской городской стены, ему привиделся странный сон, в котором монахиня с бутылкой была его двоюродной бабкой и распекала блудного отпрыска за все былые провинности.

Череп ему насквозь не пробило, а вот кожу с волосами сняло целиком. Полковой цирюльник, пришивавший её назад, посоветовал Бобу как можно скорее отрастить волосы. «А главное, женись, пока не облысел, не то женщины и дети будут разбегаться от тебя с криком». Цирюльник хотел всего лишь подбодрить Боба, но тот в ответ прорычал, что уже нашёл свою суженую и шрамы на голове заботят его меньше всего.

Король наконец отпустил графа Мальборо в Манстер. Тот взял Корк и Кинсейл, правда, без помощи Блекторрентского гвардейского полка. Затем вернулся, чтобы с комфортом перезимовать в Лондоне, а Боб и его товарищи встали лагерем под Лимериком, где отбивались не столько от вылазок ирландской кавалерии, сколько от местных крестьян, называвших себя «ратниками».

У «ратников» были вполне стреляющие ружья, которые они умели разбирать в мгновение ока.

Замок прятали в карман, дуло затыкали и кидали в болото или в ручей, приклад совали в поленницу или другое место, где деревяшку сразу не разглядишь. Так что кучка полуголых работников, копающих торф, или толпа идущих к обедне прихожан по слову или по мановению руки рассеивалась, чтобы через полчаса собраться уже как отряд тяжело вооружённых головорезов.

Из-за «ратников» в Ирландии было очень немного мест, где англичане, а тем более английский пехотный полк, могли чувствовать себя в безопасности. Одно из таких мест располагалось на реке Шаннон чуть ниже Лимерика. Когда холода начали спадать, а волосы на голове у Боба снова отросли, он завёл привычку приходить сюда в одиночестве, сидеть под дубом у реки, курить трубку и размышлять. Книг он читать не мог, бабами не интересовался. Истории, шутки и песни товарищей слышал по столько раз, что больше не мог выносить. От выпивки болела башка, в карточной игре он смысла не видел. Другими словами, Бобу решительно нечем было убить время.

Поэтому он сидел под философическим дубом и смотрел на реку Шаннон. Как у всех рек на Британских островах, у неё был широкий эстуа-

рий, или губа, ведущая от моря к порту (в данном случае — Лимерику), выстроенному там, где река сужается настолько, чтобы через неё можно было перекинуть мост. По Шаннону проходит граница между Манстером и Коннахтом, так что Боб видел легендарную землю, о которой столько трезвонили Партри. С виду Коннахт ничем не отличался от остальной Ирландии, но кто знает?

Когда Вильгельм прибыл в Ирландию перед битвой на Бойне, он привёз с собой свежих рекрутов взамен выбывших за зиму, но среди них было мало таких, каких предпочитал Боб. Тем не менее он сумел завербовать полдюжины английских протестантов, никогда в Англии не бывавших. Они выросли на ирландских фермах, которые их отцы или деды, служившие в армии Кромвеля, отняли у ирландских католиков. Бурные события последующих десятилетий превратили их в бродяг самой суровой закалки, которые кочевали по Эрин, ища, чем бы поживиться. Боб умел разговаривать с людьми этого сорта, о чём вскорости стало известно, и они продолжали стекаться в Собственный королевский Блекторрентский полк.

После битвы на Бойне некий протестантский торговец шерстью из Дублина (разбогатевший

потому, что ирландцам запрещали продавать шерсть кроме как через посредников-англичан) на собственные средства закупил этим новобранцам оружие и обмундирование, так что они составили отдельную роту. Теперь в полку было не тринадцать рот, а четырнадцать, и численность его составила восемьсот шестьдесят восемь человек.

Однажды Боб пришёл к своему одинокому дубу и, обернувшись, увидел, что за ним увязались Том Олгрив и Оливер Гуд. Оба были из числа фанатиков, завербованных зимой в Дублине. Они следовали за ним на расстоянии примерно в четверть мили и то и дело менялись местами, словно понукая друг друга идти вперёд. У каждого на поясе болталось холодное оружие из разнообразного арсенала, которым снабдил 14-ю роту торговец шерстью.

Опасно доверять мальчишкам длинные острые клинки. По счастью, те сами это поняли, когда попытались рубиться якобы в шутку. Когда Том и Оливер подошли на расстояние окрика, Боб уже догадался, чего они хотят: учиться фехтованию. Обычно это считалось забавой пресыщенной знати, глупой и бесполезной. Однако среди простых людей, особенно тех, кто ещё помнил Кромвеля,

по-прежнему жило искусство боя на палашах. Видимо, Том и Оливер прослышали, что Боб в этом деле смыслит. Парни были неисправимыми пуританами и всю зиму маялись бездельем, поскольку пьянство, девки и картёж исключались по религиозным мотивам. Весь день не промолишься. Упражняться в стрельбе тоже не получалось, не хватало пуль и пороха. Так что Боб не знал, решили они учиться фехтованию потому, что и впрямь хотят, или за отсутствием иных развлечений.

Впрочем, это было не важно, потому как и Боб устал ничего не делать. Когда Том и Оливер подошли ближе, он выбил трубку, встал и вынул из ножен палаш. Пуритане пришли в восторг. «Встаньте боком — так вы будете представлять собой более узкую мишень, а ваша правая рука будет куда ближе к противнику. — Боб поднял палаш, так что гарда почти коснулась его губ, а остриё указало в небо. — Это вроде как салют, и упаси вас бог считать его придворной дурью, потому что он говорит стоящему перед вами человеку: “Я собираюсь с тобой сразиться, так что не стой, как пень, а либо защищайся, либо беги”».

Том и Оливер чуть не убили себя, пока вынимали оружие из ножен, а потом ещё раз, когда

пытались отсалютовать. «Оливер, у тебя в руке рапира, а я управляюсь с ней хуже, чем с палашом, — сказал Боб, — но как-нибудь приноровимся».

Так Боб открыл новую фехтовальную академию на южном берегу реки Шаннон. Она быстро завоевала популярность, потом число учеников сократилось до полудюжины тех, кто и впрямь хотел чему-то учиться. Через месяц к ним присоединился мсье Ламотт, французский кавалерийский капитан из гугенотов, приметивший их во время верховой прогулки. Он прекрасно владел кавалерийской саблей, которая во многом сходна с палашом, но умел фехтовать и рапирой, так что смог дать Оливеру кое-какие полезные наставления. Обычно кавалерийские офицеры (в основном дворяне) сторонились простых пехотинцев, но гугеноты вообще были чудны́е. По большей части они происходили из простых французских семей, разбогатевших на торговле и вынужденных бежать от религиозных гонений. Теперь, в Ирландии, они находили мстительное удовольствие в том, чтобы учить фехтовальным приёмам французской знати диких англо-ирландских пуритан.

Дед Оливера Гуда десятки лет жил на ферме

между Атлоном и Талламором, то есть в Ленстере, но недалеко от границы с Коннахтом, которую протестанты считали последним рубежом цивилизованного мира. Землю он получил, прогнав прежних католических владельцев, Фербейнов, которые ушли со своим скотом за Шаннон и канули в безвестность. Гуд считал, что вправе так поступить, поскольку Фербейны участвовали в восстании 1641 года и расширили свои владения за счёт соседей-протестантов, переселившихся сюда ещё в елизаветинские времена. Впрочем, ему пришлось забыть этот довод после того, как несколько голодранцев заявились к нему и назвались потомками тех самых елизаветинских протестантов! С тех пор, если кто-нибудь оспаривал у Гуда землю, он ссылался на право завоевателя и на то, что у него есть соответствующая бумага.

Он и его дети вкалывали на ирландской земле, как могут вкалывать лишь пуритане, и ввели множество новшеств, которые должны были сказаться в отдалённом будущем. Гуды носили оружие и разъезжали по округе, преследуя «неорганизованные элементы». Голодранцев-протестантов они больше не видели и начисто их забыли. Осталась лишь фамилия на старом

надгробном камне: «Кракингтон».

Потом Карл II восстановил монархию, и выяснилось, что Кракингтоны как-то добрались до Англии, где (подобно тысячам других англо-ирландских помещиков, согнанных с земли солдатами Кромвеля) принялись одолевать прошедших в парламент родственников требованиями выставить фанатиков из Ирландии. Поскольку одним из первых своих указов Карл повелел выкопать Кромвеля из могилы и насадить его голову на палку, складывалось впечатление, что они своего добьются. Под конец они получили лишь часть желаемого. Некоторых кромвелевских солдат согнали с земли, некоторых — нет. Гуды сохранили ферму, но лишь по случайности.

Впрочем, они больше не могли свободно исповедовать свою веру, поэтому половина Гудов перебралась в Массачусетс. Кракингтоны вернулись и захватили ферму со всеми нововведениями. Дела их быстро пошли в гору. Они даже восстановили на свои средства англиканскую церковь, в которой Гуды хранили зерно. Всё это произошло вскорости после рождения Оливера, поэтому он сохранил лишь смутные детские воспоминания о ферме, которую собирался в один прекрасный день себе вернуть.

Когда Яков II взошёл на престол, он вновь стал насаждать в Ирландии католичество. Однажды утром Кракингтоны проснулись и обнаружили, что ограда повалена и дикие коннахтские коровы пасутся на их лугах под охраной не понимающих по-английски рыжеволосых людей с французскими мушкетами в руках. Убедить их возвратиться восвояси не удалось, поскольку новые католические власти в Дублине изъяли у англичан оружие. В скором времени Кракингтоны сочли за лучшее съехать, пока суд не разрешит тяжбу касательно земли — вернее, земель, поскольку ферма состояла из нескольких участков, каждый из которых имел собственную, равно запутанную историю. Как выяснилось, Фербейны на протяжении пяти столетий вели кровавую пограничную распрю с соседями — захватчиками, вытесненными в эти края викингами.

Итак, Кракингтоны сложили пожитки, погрузились на тех лошадей, которых ещё не угнали Фербейны, и отправились в свой дублинский особняк. По пути на них напали «ратники». Когда Кракингтоны думали, что им конец, другой отряд ополченцев, уже протестантских, спугнул головорезов-католиков. Старейший Кракингтон без устали благодарил спасителей и пообещал

вознаградить их золотыми гинеями, если они пришлют кого-нибудь в его дублинский особняк. «Моя фамилия Кракингтон, — объявил отец семейства, — и любой в Дублине (под «любым» разумелся любой английский джентльмен-англиканин) укажет, как к нам пройти».

— Вы сказали «Кракингтон»? — спросил один из ополченцев. — Моя фамилия Гуд. Слышали про таких?

После этого с Кракингтонами произошли какие-то неприятные вещи, о которых Оливер Гуд не распространялся, так что неизвестно, попал ли кто-нибудь из них в Дублин — а если и попал, то в любом случае застал дом разграбленным и захваченным католиками. Но к тому времени весь Ольстер, Манстер и Ленстер были как та ферма между Атлоном и Талламором.

Англия делилась на участки земли, чьи владельцы были точно известны. Она походила на кирпичную стену, где каждый кирпич — монолит, отделённый чёткой цементной границей. Ирландия напоминала глинобитную стену. Каждое новое поколение наносило следующий слой глины, который тут же застывал и шёл трещинами. Земля была не просто спорной — она погрязла в спорах.

Считалось, что в Коннахте всё обстоит иначе, поскольку там не было англичан. Однако там бушевали свои страсти, потому что ирландцы, не желавшие покоряться завоевателям, в трудные времена бежали в Коннахт и захватывали земли ирландцев, живших там искони.

Фехтовальная практика заняла больше времени, чем кому-либо хотелось. Весной 1691 года война не торопилась возобновляться. Войсками короля Вильгельма в Ирландии командовал теперь барон Годар де Гинкел, тоже голландец. Он стремился захватить Коннахт, но путь туда преграждали Шаннон и укреплённые города Лимерик, Атлон и Слайго. Ирландские землекопы под руководством французских сапёров всю зиму вели фортификационные работы. Гинкелу требовались лодки и понтоны, чтобы форсировать реку, пушки, чтобы разрушить укрепления. Парламент не торопился давать денег королю-голландцу, которого все успели возненавидеть. До конца мая никаких изменений не предвиделось. Боб и его товарищ укреплялись в мысли, что их забыли в Ирландии, так что они обречены стать следующими игроками в ряду Фербейн-Кракингтон-Гуд.

Со своей стороны, Людовик XIV ничего не пред-

принимал, чтобы избавить воюющие стороны от ощущения, будто их смахнули с карты Европы. Битва на Бойне и впрямь была сражением за Ирландию, по крайней мере, так думали все в христианском мире, о чём Элиза написала Бобу в письме. Думали не потому, что бой так много значил в военном смысле, а потому, что на обоих берегах реки было по королю, и один перешёл её вброд, а другой повернулся спиной и бежал без оглядки до самой Франции.

Во время битвы, в честь которой Блекторрентский полк получил своё имя, Февершем спал. Даже в бодрственном состоянии он плохо соображал из-за черепно-мозговой травмы. По-настоящему командовал Джон Черчилль, а сражались Боб и другие пехотинцы. Однако слава досталась Февершему. Почему? Потому что он сумел хорошо о себе рассказать. Боб предполагал, что люди способны понять сложные вещи только через услышанную историю. Война в Ирландии перестала быть занимательной историей, когда короли покинули сцену.

Итак, весь апрель Боб пребывал в скверном расположении духа. Девятого мая в устье Шаннона показались паруса. Урок фехтования приостановился. Ученики Боба, собравшись под одиноким

дубом, молча смотрели, как французская эскадра поднимается по реке к городу. Французов приветствовали кучки людей, собравшихся на коннахтском берегу, и пушки Лимерика. Все вокруг Боба приметили, что с кораблей отвечали выстрелом на выстрел (пороха было вдоволь), но не криками на крики (доставили припасы, но не солдат).

Мсье Ламотт вытащил из седельной сумы подзорную трубу, взобрался на развилку дерева и стал рассказывать: «Вижу фельдмаршальский флаг. На большом корабле — третьем от начала — прибыл французский командующий». Тут воздух вышел из него, как из порванной волынки. Минуты две гугенот молчал — не потому, что сказать было нечего. Просто он был из тех, кто не говорит, пока не совладает со своими чувствами. «Это палач Савойи», — сказал он по-французски другому гугеноту, стоявшему под деревом.

— Де Катина?

— Нет, другой.

— Де Жекс?

— Это фельдмаршал, а не поп.

— А… — Второй гугенот вскочил на коня и поскакал прочь.

По-английски Ламотт сказал:

— Я узнал герб нового французского главнокомандующего. Его фамилия Сен-Рю, и он — ничтожество. Считайте, что мы победили.

Гул голосов возобновился, послышались смешки. Ламотт спустился с таким видом, будто его мать только что протащили под килем французского флагмана. Он отдал подзорную трубу Бобу и без единого слова ускакал прочь.

Боб обрадовался, что заполучил трубу, потому что обводы одного из кораблей дальше в строю показались ему знакомыми. Невооружённым глазом он не мог рассмотреть флаг на бизань-мачте. Теперь, укрепив трубу на сучке и наведя на резкость, Боб разглядел интересующий его герб. Сен-Рю прихватил с собою парочку генерал-лейтенантов, и один из них носил титул графа Апнорского.

Той весной Боб сидел и наблюдал чудеса: бабочка выбиралась из кокона, из липкой зелёной почки проклюнулся цветок яблони. Одно немного походило на другое и на то, что происходило в душе у Боба в последующие часы. Поведение гугенотов стало образцом и источником вдохновения. Не совсем по собственной воле Боб за эти годы съёжился в жёсткой сухой оболочке, защищавшей его и в то же время ограничиваю-

щей свободу. То же было и с остальными. Однако весть, что Сен-Рю здесь, пробежала по лагерю гугенотов словно озноб и пробудила их к жизни. Боб не знал, кто такой Сен-Рю и что он сделал в Савойе, но гугеноты внезапно почувствовали себя в гуще истории. История была не про королей и могла не войти в анналы, но им представлялась вполне стоящей.

Годы назад Боб оглох на одно ухо, и думал, будто это из-за того, что он стоял близко к пушкам. Потом однажды цирюльник залез ему в ухо крючком и вытащил комок бурой серы, твёрдой, словно застывшая смола. После этого Боб вновь стал слышать — да так чётко, что весь следующий день с трудом сохранял равновесие. Девятого мая 1691 года чувства Боба Шафто вот так же ожили, а лёгкие наполнились воздухом впервые с того дня, когда он переходил через Бойн и якобитские пули отрывали куски от его шляпы.

Две недели спустя они свернули лагерь и двинулись к Маллингару в центре острова, где собралась вся армия короля Вильгельма. Через несколько дней со стороны Дублина потянулись в клубах пыли обозы, нагруженные пушками и мортирами, присланными из лондонского Тауэра.

Восьмого июня выдвинулись на запад к Баллимору и, легко им овладев, взяли в плен один из лучших ирландских полков, непонятно зачем оставленный практически в чистом поле.

Девятнадцатого июня дошли до Атлона на реке Шаннон. Город состоял из английской части на ленстерском берегу (которую якобиты почти сразу оставили) и ирландской на коннахтском (куда они отступили). Её они обороняли две недели с пугающим остервенением. На другой берег Шаннона отправили лазутчиков. Те немногие, что возвратились, сообщили новости: генерал Сен-Рю собрал всю армию к западу от ирландского города, там, куда не достреливали голландские пушки Гинкела.

Битва при Атлоне была кровавой и незатейливой: бомбардиры Гинкела выпускали по ирландскому городу по ядру каждую минуту в течение десяти дней и полностью сровняли его землёй. Тем временем пехотинцы раз за разом пытались пробиться по каменному мосту, соединяющему английский город с ирландским. Все знали, что это единственный способ попасть в Коннахт. Ирландцы взорвали один пролёт. Через него надо было перекинуть брёвна. Каждую ночь под прикрытием адского артиллерийского огня

солдаты Гинкела пытались навести временный мост, в то время как ирландские снайперы с атлонской стороны решетили их пулями. Затем ирландцы с тем же мужеством подбирались к мосту, поджигали брёвна или сбрасывали их в реку.

Ирландцы выиграли сражение за мост, но проиграли битву при Атлоне, когда тридцатого июня две тысячи солдат Гинкела перешли Шаннон вброд ниже по течению и пробились к ирландскому городу.

Таким образом Сен-Рю потерял Атлон, и всё его войско оказалось заперто в городских стенах. Правила осадной войны никто не отменял: если город сдаётся, жители могут ждать пощады, сопротивление карается резнёй. Боб сильнее всего боялся, что получит прямой приказ отправиться в Атлон и кого-нибудь там вырезать. Хуже могло быть только одно: если бы жертвы оказались из роты мистера Маккарти пехотного полка барона Йола. Мистер Маккарти, дублинский свечник, потратил всё своё состояние, чтобы собрать и обмундировать роту, а сам стал её капитаном. По ходу дела он завербовал Тига Партри, а тот, в свою очередь, ещё кого-то из ирландской шатии-братии Боба. Сыновья Джека Шафто, племянники

Боба, жили теперь при полке, как Джек и Боб в их возрасте. Вполне возможно, что им уже дали мушкеты. Так что не исключалось, что в Атлоне Бобу придётся зарубить собственных племянников. От такой перспективы недолго и занервничать. Однако Боб (по обыкновению) вообразил худшее и заранее придумал, что делать, если до такого дойдёт. Он объявит себя ирландцем (что несложно, поскольку это не национальность, а образ мышления), осенит крестом затянутую красным мундиром грудь и сбежит в Коннахт вместе с Партри. Даже объяснение придумалось: Боб скажет, будто узнал двоюродную бабку в старухе, засветившей ему бутылкой по голове. План имел и то преимущество, что позволял ближе подобраться к Апнору. После того, как якобиты проиграют войну, Боб запишется в ирландские наёмники и отправится воевать в Европу. Если вовремя дезертировать, можно будет пешком добраться до Абигайль.

С каждой новой фантастической подробностью план нравился Бобу всё больше. К тому времени, как они перешли по полуразрушенному мосту на бывшую ирландскую сторону Атлона, он уже почти мечтал разыскать уцелевших солдат Маккарти, чтобы им сдаться.

Чего он *не* хотел, так это найти Партри мёртвыми или смотреть, как их гонят по улицам датские кавалеристы, озверевшие до состояния викингов. Так что его самые чаемые надежды и худшие страхи разделяло неизмеримо малое расстояние.

Однако в Атлоне обнаружились лишь мёртвые и умирающие ирландцы под оседающими развалинами домов. По счастью, значительная часть мирного населения бежала в Коннахт. Малочисленный ирландский гарнизон с большим энтузиазмом перебила датская кавалерия. Армия Сен-Рю оставалась в лагере и боя не видела. Гинкелу потребовалось несколько дней, чтобы провести по мосту всё войско, и у Сен-Рю было вдоволь времени, чтобы упорядоченно отойти в глубь Коннахта хоть до самого Голуэя.

Итак, Боб вступил на легендарную землю Коннахта. Нет, неправильно: это место соединялось мостом с Ленстером и всем прочим треклятым островом, оно было вростком дурной, порченной Ирландии в хорошую. По счастью, его окружала стена, не дающая болезни распространяться. Ирландский Атлон был просто бубоном, удерживающим в себе чумную заразу.

Вот когда поступит приказ выступить из западных ворот, тут-то они и попадут в истинный

Коннахт, который Тиг Партри воспевал в долгие зябкие часы на башне Девлина.

— Сегодня воскресенье, двенадцатое июля лета Господня тысяча шестьсот девяностого первого, — подсказал капитан Барнс, тряся Боба за плечо. — Обоз прибыл, впереди у нас долгий переход.

Слабый розовый свет блестел на покрытых плёнкой росы камнях. Боб собрал всю волю, чтобы не закрыть глаза и не заснуть снова.

Они были по-прежнему в Атлоне и спали в полуразрушенном складе шерсти у дороги, ведущей от моста вверх. Сейчас по булыжнику скрипели колеса и убаюкивающе выстукивали сотни лошадиных копыт.

Армия Гинкела выступила сутки назад, а полк Боба оставили ждать обоз из Дублина, чтобы обеспечить его безопасную переправу. Сегодня предстояло нагнать основное войско и, если оно на марше, совершить второй дневной переход.

Когда кто-нибудь пытался убить его людей (что на самом деле случалось не так и часто), главной профессиональной обязанностью Боба было об этом подумать. Всё прочее время он думал о еде. Осторожно пробираясь между спящими солдатами, Боб пошёл к стене. Через пролом от

ядра он мог видеть, как во дворе алое пламя гладит попочку Чёрной Бетти, трофейного ротного котла. Внутри варилась какая-то похлёбка, куски мяса то и дело выпрыгивали наверх, сверху булькал дюймовый слой жира. В другую погоду над Чёрной Бетти вился бы дымок, но сегодня её сплошь окутали влажные испарения, которые ползли с запада, словно привлечённые проблесками розового света над Ленстером. Если Чёрная Бетти и курилась, это было всё равно что пукать в ураган.

К тому времени как Боб на ощупь отыскал кофейник и обжёг руки и губы оловянной кружкой лучшего мокко, мгла окончательно заглушила всякие розовые проблески. Когда же он начал будить солдат, те были уверены, что сейчас полночь, а вовсе не рассвет, как уверяет сержант.

Итак, Коннахт не спешил раскрывать им свои тайны. Покуда догоняли остальной полк, идя на привычно-осатанелое гарканье сержантов, марево вокруг замерцало серой голубизной, светом без тепла и даже без красок, заставляющих о нём вспомнить. Они то и дело натыкались на другие роты, подолгу останавливались без всякой видимой причины, а когда справа и слева материализовались столбы ворот, стало ясно, что

полк протискивается в бутылочное горлышко. Последние солдаты вышли из Атлона, оставив непогребённых мертвецов мухам — ибо только мухи могли добраться до тех, кто лежал в подвалах разрушенных зданий.

Тут же дорога принялась раздваиваться, приглашая свернуть в Роскоммон, Туам, Атлиг или Килмор. Боб с вожделением смотрел на каждую развилку. Однако там дежурили верховые офицеры, поставленные следить, чтобы полк и обоз не заблудились в тумане.

Вышли на большак к Голуэю. Всё обещало долгую передислокацию, которая вряд ли завершится сражением. Однако поздно утром — по крайней мере так заключил Боб по цвету тумана, отливавшего медью наподобие фальшивой гинеи, — далеко впереди послышались ружейные выстрелы.

Это никак не мог быть его полк. Стреляли какие-то другие батальоны основной армии Гинкела. Значит, Гинкел далеко не ушёл. А звуки перестрелки объясняли, почему: Сен-Рю отступил от Атлона всего на несколько миль.

Догнали другую колонну, прошагали милю и перешли вброд реку у деревеньки Баллинсло. Немедленно тугой канат людей и лошадей рас-

пустился на пряди, каждая из которых вилась в свою сторону. Сомнений быть не могло: они наткнулись на армию Сен-Рю и теперь рассредоточиваются вдоль фронта.

Справа налево и слева направо носились всадники в мундирах Бранденбургского, Датского, Гугенотского и Голландского кавалерийских полков; все они были заняты очень важной задачей — отыскать фланги. Крупные подразделения продолжали двигаться вперёд, иногда — мешая друг другу, но чаще — параллельными курсами. Слева туман мерцал ярче, из чего можно было заключить, что они перемещаются к западу. Левое колено у Боба болело сильнее правого — они спускались не прямо вниз, а наискосок, то есть местность справа, у дороги на Баллинсло, была выше.

На то, что тут прошла ирландская армия, указывали лишь повешенные на деревьях ирландцы — надо думать, за дезертирство. Однако дальше по дороге рота наткнулась на ещё тёплый труп лошади из ирландского кавалерийского полка Патрика Сарсфилда. Это произошло на поле, вернее, на взрытой земле. Каждый клочок ирландской почвы был перекопан голодными солдатами, которые руками переворачивали

землю в надежде отыскать картофелину, пропущенную менее голодными собратьями. Лошадь сломала ногу, наступив в ямку, в которой какой-то счастливец нашёл своё сокровище. Всадник пристрелил её и ушёл прочь в добротных французского фасона сапогах. Боб шёл по следам, а его люди — за ним, пока из тумана не сгустился голландский офицер — адъютант де Зволле — и не велел им строиться в линию. Оно было и к лучшему, потому что земля под ногами становилась всё более клёклой — ещё немного, и они бы увязли в болоте.

Теперь, когда улёгся гул перехода, Боб обнаружил, что слышит на большое расстояние. Он даже решил, будто они по ошибке встали на бросок камня от неприятеля. Однако звуки возникали и пропадали вместе с беспорядочными завихрениями тумана, убеждая Боба, что всё это иллюзия и происки злокозненных коннахтских фей.

Посему он прогнал наваждение и выкурил три трубки подряд, напряжённо вслушиваясь и мысленно благодаря цирюльника, вытащившего пробку из уха. В итоге сложилась следующая картина.

Впереди полоса тумана — гораздо шире, чем он полагал вначале, быть может, в полмили. Под

туманом стоячая, не текучая вода. Там враги, но немного: это не позиция, которую стоит занять, а преграда, призванная замедлить натиск протестантских легионов. Дальше местность снова идёт вверх, образуя командные высоты. Бóльшая часть якобитов там. Они кирками и лопатами ковыряют относительно сухую землю (слышны глухие удары, не чавканье болотной жижи). Когда наконец поднялся ветер, стало слышно, как хлопают полотнища. Якобиты ещё не снимались с бивуака — они не намерены отступать. С севера и с юга — то есть с флангов — располагалась кавалерия. Методом исключения можно было прийти к выводу, что пехота — посередине.

У ирландских пехотинцев не было ни длинных пик, ни выучки, чтобы выстроиться в каре для отражения кавалерийских атак. Значит, Сен-Рю должен был поставить пехоту там, где конница не пройдёт. Болото и впрямь непролазное, коли Сен-Рю заключил, что оно защитит от лобовой атаки. Палач Савойи, как называли его гугеноты, расположил кавалерию по бокам, чтобы пехоту не обошли с флангов, — следовательно, там через болото пробраться легче.

На этом отрезке якобитской линии — обращённом к правому или северному крылу армии

Гинкела — всё было тихо. С южного фланга, расположенного в каких-нибудь двух милях левее, войско никак не могло выстроиться в боевой порядок, вероятно, из-за бравых и самонадеянных кавалеристов Сарсфилда, затевавших мелкие стычки с неприятелем. Слышалось перханье ружей, переходящее в отрывистый кашель, но до настоящего боя так и не дошло.

Поскольку было воскресенье, в ирландских и французских полках служили мессу. Боб слышал, как два или три священника продвигаются вдоль якобитской линии, останавливаясь, чтобы прочесть воинственную проповедь и совершить урезанный чин причащения. Он знал лишь самую малость французского и чуточку гэльского, но, несколько раз выслушав проповедь и дружные «Ура!» прихожан, вроде бы составил общее представление о том, что там говорится.

Боб прогулялся налево и поболтал с Гриром, сержантом 14-й роты. Потом сходил направо, где обнаружил английский кавалерийский полк и обменялся впечатлениями с тамошним сержантом. Теперь можно было понять, где стоит Блекторрентский полк. Гинкел, как и Сен-Рю, расположил пехоту посередине, кавалерию — с флангов. Полк Боба стоял правее всех прочих пе-

хотинцев, а его рота — правее остального полка; от дороги с севера их отделяла только конница.

Туман рассеялся настолько, что можно стало различить полковое знамя, примерно на выстрел от того места, где стоял Боб, и чуть выше по склону от боевой линии. Он сходил туда и застал самый конец совещания. Полковник де Зволле угостил ротных бренди и отдал им последние указания. Боб повернулся кругом и пошёл рядом с капитаном Барнсом, который возвращался к роте.

– *Ne pas faire le quartier* [22], — сказал Боб, — вот что говорят священники в тумане.

Капитан Барнс был оксфордский выпускник.

— После того, что произошло в Атлоне, такого следовало ожидать, — заметил он.

— К нам это тоже относится? Никого не щадить?

— Сержант, ваше нежелание убивать ирландцев известно всему полку. Прошу вас, не превращайтесь в чудо милосердия.

Капитан Барнс был пятым сыном умеренно именитого бристольского семейства и с детства отличался живым умом. Все думали, что он станет викарием, и его решение пойти в пехотные

---

[22] Примечания: 22
Пленных брать (*фр.*).

офицеры явилось для семьи неожиданностью. В свои без малого двадцать пять лет Барнс по-прежнему выглядел начинающим богословом. Он любил командовать солдатами в бою и делал это на удивление толково, пока речь шла о традиционных боевых действиях против регулярной армии неприятеля. Такая похвала может показаться скрытой издёвкой, но на самом деле очень мало кто это умеет. Он терялся и начинал принимать ошибочные решения, когда получал приказ совершить нечто, не прописанное чётко в правилах ведения войны. В таких случаях поневоле приходится руководствоваться иными правилами, а Барнса тянуло следовать тем, каким учат в церкви. И ему хватало ума понять, что на войне это смешно.

— Вам нужен сержант-зверюга, который учинит бойню, пока вы будете заламывать руки и открещиваться от его неблаговидных поступков, — сказал Боб. — Советую поискать таких сержантов в других полках. Наш создан Черчиллем…

— Для вас он граф Мальборо!

— Вообще-то для меня Джон. Но, как ни называй, в выборе сержантов он руководствовался собственными странными вкусами, и хотя его

заменили на де Зволле, вам придётся терпеть меня — если не захотите произвести в сержанты кого-нибудь из рядовых.

— Сгодитесь и вы, сержант Шафто.

Наконец туман растаял настолько, что можно было различить всё, что захочется, хотя дальние предметы и окружал колючий мерцающий ореол. Всё было более или менее так, как Боб определил на слух. За болотом поднимался холм. Ближайший склон был изрыт траншеями; их занимали ирландские мушкетёры в серых мундирах. Мушкеты у них должны были быть справные, не тот мусор, что пошёл на дрова после битвы на Бойне. С юга якобитская линия изгибалась вдоль подножия холма и скрывалась за леском. Впереди и впрямь лежала самая непроходимая часть болота, через которую вились наполненные водой колеи. В нескольких сотнях шагов вправо дорога из Атлона в Голуэй взбиралась сперва на мост, затем на длинную дамбу, ведущую через заболоченную местность.

Английская и гугенотская кавалерия расположилась у дороги. Боб увидел разом несколько полковых знамён и заключил, что это дивизия. В таком случае ею должен командовать генерал-майор — скорее всего гугенот Анри де Массю,

который по-прежнему носил титул изгнавшей его родины: маркиз де Рювиньи. Маркиза и ещё двух генералов Вильгельм привёз в Ирландию весной взамен прежних, выводивших его из терпения своей медлительностью. Второй — шотландец Хью Маккей — командовал пехотной дивизией, стоявшей перед болотом, то есть дивизией Боба.

До моста и дамбы было совсем близко, так что возникал вопрос, почему кавалерия ещё не там. Ответ лежал в полумиле дальше по дороге, где к западу от дамбы высился старый замок, вернее, его развалины: четыре замшелые стены с курганами на месте башен. Однако стены ощетинились мушкетными дулами, а деревеньку под ними окружили земляные валы. От селенья расходились несколько дорог, и на них стояли якобитские полки, готовые дать отпор неприятелю, пробившемуся на дамбу.

Боб много дольше, чем следовало, вглядывался в штандарты ирландских полков, силясь отыскать знамя барона Йола и понять, где стоит свечник Маккарти с ротой Партри. Однако бóльшая часть ирландской пехоты заняла позиции дальше к югу, за болотом, более чем в двух милях от Боба, а знамёна у них были не особо большие и не особо яркие, так что разглядеть

ничего не удалось.

— Превосходная позиция, — одобрительно заметил Боб. — Лучше и быть не может — для ирландцев.

Капитан Барнс сурово взглянул на Боба, но смягчился, поняв, что тот лишь констатирует факт из своего рода джентльменского уважения к неприятелю.

— Сегодня мы будем драгунами, пока не поступит другой приказ.

— Где же наши лошади, капитан?

— Мы можем их вообразить.

— Воображаемые лошади не отличаются резвостью.

— Нам не придётся на них садиться. Драгуны до места скачут верхом, а бьются в пешем строю, — напомнил Барнс. — Да, мы пришли сюда ногами, но это в прошлом. Теперь всё в точности так же, как если бы мы только что спешились.

— Так вот зачем нас здесь поставили, — чтобы поддержать кавалерию, — предположил Боб, глядя Барнсу в глаза, и по их выражению понял, что не ошибся.

Он перенёс внимание с участка, перед которым расположилась дивизия Маккея — болота в центре — на дорогу и деревушку перед дивизией

генерала де Рювиньи. С первого взгляда задача блекторрентцев представлялась более сложной, но Боб почувствовал неописуемое облегчение при мысли, что не придётся сражаться с кучей ирландцев в лабиринте рвов.

— Как я понял, нам надо будет продвигаться по дороге, — продолжал Боб.

Он перевёл взгляд на дорогу и попытался сосчитать знамёна на стенах и в окружающей деревушке.

— Лучше, чем форсировать болото, — заметил капитан Барнс.

— Что угодно лучше, чем форсировать болото, капитан, — отвечал Боб. — Когда меня подстрелят, я хочу смотреть на солнце, а не захлёбываться тиной.

Боб, который обычно оказывался в самой гуще боя, получил редкую возможность сидеть и наблюдать за ходом баталии, словно твой генерал. Так получилось, потому что кавалерия, которой они были приданы, в первые несколько часов не получала приказа выступать. Ни один вменяемый генерал не бросил бы своих людей на дамбу против такой обороны противника. Более того, в самом начале боя конницу де Рювиньи перебросили на левый фланг, оставив полк-два

для защиты дороги. Будь блекторрентцы настоящими драгунами (с лошадьми), их бы, наверное, отправили туда же. А так они застряли в той части поля сражения, где ничего не происходило.

Однако весь остальной строй двинулся в атаку. Боб видел только пехоту в центре, но по дальнему рокоту копыт и передвижению конного резерва в ирландском тылу мог заключить, что на другом фланге происходит мощная кавалерийская атака.

Все первые несколько часов пехота Маккея терпела поражение от ирландцев. Правильнее было бы сказать, что Гинкел потерпел поражение в ту минуту, когда приказал форсировать болото. Якобиты прорыли параллельные траншеи, соединённые переходами. Все рвы были устроены так, что защищали от обстрела с востока, но прекрасно простреливались с запада. Как только люди Маккея пробились через трясину в первый окоп, они обнаружили, что неприятель исчез, словно болотные огоньки, и материализовался в следующем окопе, выше по склону, откуда может всласть палить по нападающим. Сколько-то англичан всё-таки преодолели все траншеи и заграждения, но к тому времени они больше напоминали беженцев, чем солдат, а выбравшись

на открытое место у основания холма, оказались перед ирландской линией, выстроенной, как на параде. Ирландцы ринулись вперёд с рёвом, который Боб услышал через секунду после того, как увидел начало атаки. Англичан отбросили туда, откуда они двинулись час назад. Прежде чем солдаты Маккея успели перегруппироваться, якобиты вернулись на позиции, которые занимали до того, как растаял туман. Поле выглядело в точности как прежде, если не считать усеявших его мёртвых английских солдат. Дальше к югу всё было так же, только там лежали голландцы, датчане, гессенцы и гугеноты.

Уважая ирландцев поодиночке, Боб всегда рассматривал их полки преимущественно как повод вволю нахохотаться. Сейчас он заворожённо смотрел, как они гонят гессенцев по болоту. Впервые на памяти Боба патриотизму и свирепости ирландцев сопутствовало воинское мастерство. В то же время он (из-за Партри) беспокоился, что будет дальше, поскольку кавалерийское сражение на южном флаге было (судя по долетавшим оттуда звукам) крайне ожесточённым. Не верилось, что ирландцы и французы устоят перед таким натиском. Однако ничего не происходило: протестантская конница так и не прорвала обо-

рону якобитов. На поле боя сложилась патовая ситуация.

Боб наблюдал ещё две атаки через болото. Обе захлебнулись в точности как первая: ирландцы не только отбили англичан, но и отбросили их назад, и не только отбросили назад, но и захватили часть английских позиций и несколько орудий. Капитан Барнс: «Это хуже, чем пиррова победа. Это пиррово поражение».

Генерал Маккей был мокрый, замёрзший и злой, как кот в бочке для дождевой воды. Он лично вёл провалившиеся атаки. Ближе к вечеру он прошёл на северный край линии. Ясно было, что посередине болото не форсировать, оставалось пробиваться у дамбы. Соответственно, для четвёртой атаки генерал получил у Гинкела разрешение бросить Блекторрентских гвардейцев в наступление вдоль дороги.

Атака разделила судьбу трёх предыдущих. Боб и его солдаты учли ошибки предшественников и понесли меньшие потери, тем не менее вынуждены были отступить, отчасти из-за траншей, отчасти из-за мушкетного огня со стен крепости. Жутко видеть, как огромное сооружение вроде Огримского замка скрывается в облаках дыма, когда сотни мушкетов выстреливают разом.

Однако все подозревали, что могли бы прорваться, будь их больше. Боб сообщил капитану Барнсу, что перед началом боя приметил в тумане у дамбы, перед самой деревенькой, два полковых штандарта; во время одной из первых атак они переместились ближе к центру, туда, где сражение было самым ожесточённым, и назад не возвратились. Это наводило на мысль, что оборона деревни ослаблена. Барнс передал наблюдение Боба полковнику де Зволле, а тот — генералу Маккею.

Генерал проехал вдоль фронта, оглядел блекторрентцев и объявил, что они и вполовину не такие мокрые, грязные и усталые, как те, что атаковали в центре. Он сделал вывод, что здесь болото не такое топкое и по нему пройдёт кавалерия. За ним тянулся разношёрстный хвост европейских и английских дворян-кавалеристов, ещё не участвовавших в сражении и потому чистеньких и наэлектризованных. Между ними и Маккеем завязался короткий спор, которому генерал положил конец, молча развернув коня и поскакав к Огримскому замку, просто чтобы показать, что это возможно. Лошадь скакнула через ограждение и приземлилась в грязи по другую сторону. Маккей вылетел из седла и на позицию

вернулся ещё более злой, грязный и вымокший, чем прежде. Бóльшая часть кавалеристов поверила, что по болоту и впрямь можно проехать, остальные были так пристыжены, что не смели возражать.

Блекторрентские гвардейцы получили приказ наступать к замку, потом залечь в болото и палить по любой ирландской голове, которая покажется над парапетом. Это должно было сократить убыль в немногочисленных эскадронах кавалерии де Рювиньи, когда те поскачут по дамбе и вдоль неё. Все прочие пути наступления были перекрыты; конница де Рювиньи оставалась последним свежим подразделением, а атака вдоль дамбы — последним способом избежать полного разгрома.

Блекторрентский полк бросили в болото первым, чтобы отвлечь огонь от кавалерии, но ирландцы, разгадав уловку, берегли заряды для конницы, устремившейся по дамбе несколько минут спустя.

Первый эскадрон, вылетевший на дамбы, был встречен редким огнём. Он почти без потерь занял деревушку, которая, как и предполагал Боб, почти не оборонялась.

Боб встал на одно колено, чтобы выстрелить в

голову над парапетом, нарисовавшуюся на фоне вечернего неба, и тут что-то со странным жужжанием ударило его в грудь. Он выронил мушкет и упал навзничь.

Когда он очнулся, двое его солдат уже разорвали на нём мундир и осматривали рану в очень нехорошем месте — там, где ключица соединяется с грудиной. Тем не менее Боб был жив и кровью не харкал. Да и вообще неплохо себя чувствовал.

Осматривал его некий Гамильтон, ражий верзила, знаменитый на весь полк своей грубостью. Гамильтон коленом прижал Бобу плечо, чтобы не дёргался, и с любопытством ощупывал засевший в мясе твёрдый предмет. Бобу это не нравилось, о чём он прямо и сказал несколько раз подряд. «А, к чёрту!» — постановил Гамильтон потом, нагнувшись, припал губами к Бобовой ране и что-то там прикусил. Через некоторое время он выпрямился и выплюнул себе на ладонь жёлтый кругляшок.

— Отличная латунная пуговица, — заметил Гамильтон. — Малость помята шомполом, но вполне сгодится пришить на место тех, что мы вам сейчас оторвали.

— А ещё можно пальнуть ею назад в хозяина, — добавил некий Робертс, который всегда делал то же, что Гамильтон, только не так хорошо. Он

упирался коленом в другое плечо Боба. — Я хочу сказать, если у нас тоже кончатся боеприпасы.

Боб не пролежал на спине и десяти минут, но за это время бой стал совершенно иным. Все кавалеристы де Рювиньи преодолели мост, вслед за ними с противоположного фланга скакали новые эскадроны. Ворота Огримского замка были распахнуты, крики и торопливые молитвы слышались из-за стен, где злополучный гарнизон предавали смерти согласно правилам осадной войны. Кавалеристы, не принимающие участия в бойне, выстраивались по периметру деревушки, готовясь отражать контратаку со стороны расположенных неподалёку ирландских и французских батальонов. Однако она так и не последовала. То ли Сен-Рю не доложили о захвате замка и он не отдал приказа перейти в контрнаступление, то ли приказ был отдан, но не добрался до позиций, а генералы не решились действовать на свой страх и риск.

Боб завернулся в мундир, чтобы прикрыть рану, из которой кровь текла, но не била толчками, и, пройдя немного по склону, поднялся на земляной вал, возведённый якобитами вокруг деревни Огрим.

Он видел, как ирландские драгуны отступают

вправо. В данной ситуации это было невероятно глупой, а возможно, даже роковой ошибкой, чего они, разумеется, знать не могли.

— Сержант!

Боб повернулся и взглянул в лицо капитана Барнса, на котором выражение крайней тревоги сменялось радостным облегчением, что придавало ему ещё более ошарашенный вид.

— Мне доложили, что вы тяжело ранены!

— Мне прострелили грудь, — осторожно сообщил Боб. — Один из мушкетёров попал мне вот сюда примерно с пятидесяти ярдов.

Он обернулся и указал на угол замка, откуда вылетела пуговица. Дворяне-кавалеристы как раз срывали французский штандарт.

— Тогда вам следует лежать! Нам приказано расположиться в замке, — сказал Барнс.

— Приготовлена ли моя опочивальня?

— Там нет спальных покоев, только подвалы без крыш, — в тон ему отвечал Барнс. — Можем соорудить вам постель из ящиков с боеприпасами.

— Я думал, у них нет боеприпасов.

— Там тысячи ящиков с пулями, — отвечал Барнс.

— Так почему они не стреляли?

— Потому что пули для английских стволов, а те чуть шире французских.

Гамильтон, который как раз подошёл и успел расслышать последнюю фразу, гоготнул: «Ха! Я всегда знал, что у нас, англичан, стволы больше, чем у французов!» Все рядовые сочли шутку уморительной. Однако капитан и сержанты, отвечавшие за снабжение войска боеприпасами, могли только поморщиться от такой истории, пусть даже она приключилась с неприятелем.

Боб пошёл на юг и увидел, как несколько английских и гугенотских эскадронов словно нож врезаются в зазор между ирландской пехотой и кавалерией в её тылу. Они разворачивались за спинами пехотинцев, чтобы обратить их в панику и скосить, как траву.

— Капитан Барнс, — произнёс Боб, — вы сами сказали, что я тяжело ранен и выбыл из боя. Мои обязанности следует передать другому сержанту. По счастью, они будут нетрудными. Никто не станет атаковать этот замок нынче вечером. — Он повернулся спиной к Барнсу и зашагал вниз по склону, бормоча себе под нос: — В этом месяце, году или столетии.

Пока датчане и гугеноты прочёсывали поле, точно стайка скворцов, красный мундир не мог

бы защитить Боба: по эту сторону болота каждый пехотинец был приговорён к смерти. Поскольку ирландцы и французы считали себя войском законного короля (Якова II), многие из них носили такие же красные мундиры, и отличить их можно было только по кокардам на шляпах: зелёным веткам у солдат Вильгельма, белым бумажкам у сторонников Якова Стюарта. Их и при свете нелегко было разглядеть, тем более что шляпа Боба осталась в болоте.

По счастью, сражение закончилось, и только лошади без всадников бродили по полю, инстинктивно сбиваясь в кучки и выискивая место, где можно спокойно пощипать травку. За ними охотились специально высланные солдаты. Боб выбрался на ничейную землю между деревушкой и отступающими от неё ирландскими батальонами, делая вид, будто тоже отправился ловить лошадей по приказу начальства. Его конкурентами были два молодых и куда более проворных солдата, однако, будучи старше, опытнее и (сегодня) удачливее, он преспокойно дождался за бруствером, пока те выгонят осёдланную кобылу прямо на него. Тут Боб вскочил на бруствер, запрыгнул ей на спину и схватил поводья раньше, чем она успела что-нибудь сообразить. Судя по

всему, её седока — кавалериста из дивизии де Рювиньи — подстрелили в самом начале боя, и лошадь отправилась вдогонку эскадрону просто за компанию. Так или иначе, кобылка была хорошая и свежая. Боб развернул её мордой на юг и плашмя легонько ударил по крупу эспадроном.

Его вынесло в гущу сражения, пока оно ещё заслуживало своего названия и не успело перейти в бойню. Кавалерия де Рювиньи смяла ирландский фланг и неслась на юг через холм. Слева и внизу остались рвы, наполненные ирландскими пехотинцами в серых мундирах. Справа и выше белели палатки якобитского бивуака. Впереди — ничего, кроме хрупкого барьера конницы: не более трёх эскадронов английского кавалерийского полка.

Боб сначала скакал в хвосте атакующих, затем оказался в самой их гуще. Теперь он видел впереди лица английских папистов, сплошь аристократов, ждущих приближения неприятеля. Некоторые были готовы умереть за свою веру и смотрели вперёд со спокойной яростью, вызывавшей у Боба восхищение. Другие оставались на месте не из храбрости, а от ужаса, как кролики, когда над ними парит ястреб. Третьи развернули коней и обратились в бегство. Однако три

всадника, располагавшиеся ближе к арьергарду, поскакали прочь явно с определённой целью.

Боб видел, что они делают. Во-первых, спасают полковое знамя (один из троих был знаменосцем). Стяг потом можно будет поставить на высоте, чтобы рассеянные эскадроны и отдельные всадники собрались и перегруппировались. Без этого полотнища они будут ничем не лучше заплутавших бродяг. Во-вторых, эти трое направлялись к другому крылу, где под началом Сарсфилда стояла основная часть якобитской конницы, — через несколько минут они бы возвратились с несколькими полками.

Боб обогнал кавалерию де Рювиньи, когда она врезалась в католические эскадроны и в дело пошли сабли и пистолеты. Французские протестанты, сражающиеся за короля Англии, скрестили клинки с английскими католиками, бьющимися за короля Франции. Боб, не заинтересованный лично в их разногласиях, пронёсся через оба строя, как пушечное ядро через клубы дыма, и устремился за тремя всадниками.

Знаменосец скакал медленнее других и постепенно отстал. В какой-то миг он обернулся и, увидев преследователя совсем близко от себя, с криком пришпорил лошадь. Два офицера, ото-

рвавшиеся от него примерно на восемь корпусов, тоже оглянулись и поняли, что их знаменосец в беде — он не может обороняться, не бросив стяг. Только сейчас Боб увидел их лица и внезапно осознал, что один из двоих — Апнор.

Обменявшись несколькими словами с другим офицером, граф дёрнул уздечку, чтобы повоpотить коня, а его спутник поскакал вперёд — отвезти донесение Сарсфилду. Боб — которому приходилось следить сразу за всем — услышал резкий щелчок, очевидно — пистолетный выстрел. Знаменосец, на четыре корпуса впереди него, придержал коня. Боб поглядел на Апнора, но тот исчез! Расстояние до знаменосца стремительно сокращалось. У Боба не было иного выхода, кроме как вытащить палаш. Клинок ударил во что-то твёрдое и вырвался из руки, а самого Боба едва не перебросило через лошадиный круп. Спасло его то, что прямо впереди тёк в овражке ручей. Обе лошади увидели его и, за отсутствием иных указаний, остановились.

Боб еле-еле восстановил равновесие и несколько раз взмахнул рукой. Ощущение было такое, будто её ужалила оса. Он вытащил пистолет, о котором до сей минуты не думал, потому что бессмысленно стрелять на полном скаку. Теперь

он остановился, а до знаменосца было не более четырёх ярдов.

Полотнище свешивалось с длинного древка — такого, что, поставленное стоймя, оно возвышалось на три человеческих роста и было видно издали. На скаку знаменосец держал его горизонтально, как турнирное копьё, в левой руке, а правой сжимал поводья. Боб подскакал слева, и знаменосец машинально загородился древком. Палаш врубился в древесину и застрял примерно на трети длины от наконечника.

Теперь знаменосец поднял древко вертикально и упёр в землю, так что Бобу было не дотянуться до палаша. Обняв для равновесия шест, всадник тоже вытащил пистолет. Это был красивый белокурый англичанин лет восемнадцати, и Боб выстрелил ему в лицо. Грудь защищала кираса, так что целить можно было лишь в голову.

Туман снова сгущался. Пошёл мелкий дождик, солнце погасло, словно задули свечу, наступили серые сумерки. Боб услышал шум и заглянул в овражек. Лошадь Апнора металась — у неё была сломана нога. В следующий миг сам граф вылез из оврага целый и невредимый. Щелчок, который услышал Боб, был не пистолетным выстрелом, а хрустом кости, когда лошадь попыталась круто

развернуться на неудачном месте.

Боб разрядил единственный пистолет, и времени заряжать его не было. Знаменосец, падая, непроизвольно спустил курок и выстрелил в воздух. Боб спешился, доковылял на затёкших ногах до убитого и повалил древко. Апнор стоял на краю оврага над лошадью и держал в каждой руке по пистолету. Он прицелился лошади в голову и нажал на спуск. Кремень высек искру, но пистолет не выстрелил: порох на полке отсырел.

Апнор оценивающе взглянул на Боба. Тот наступил на древко в том месте, где застрял клинок, потянул рукой так, что дерево хрустнуло, и вынул палаш. Апнор ещё раз взглянул на него и без колебаний выстрелил лошади в голову. Потом бросил оба пистолета, повернулся к Бобу и вытащил рапиру. Будучи своего рода консерватором, он так и не сменил её на более модную шпагу.

— Сержант Шафто, — сказал Апнор, — с нашей последней встречи твой брат покрыл себя ещё более громким бесславием. Теперь битва при Огриме проиграна. Вряд ли я вновь увижу солнце. Однако я благодарен Провидению, предавшему тебя в мою власть, чтобы я напоследок отправил Эммердёрова брата в ад.

— Мне казалось, это вы в моей власти, — за-

метил Боб.

Апнор сбросил плащ, явив сверкающую кирасу поверх кольчуги.

— Не очень-то рыцарственно, — заметил Боб.

— Напротив, нет ничего рыцарственнее, чем, облачившись в доспехи, истреблять мятежный сброд — как демонстрирует сейчас ваша кавалерия!

Он кивнул туда, где ниже по склону кавалеристы де Рювиньи преследовали ирландцев, торопясь до темноты перебить как можно больше вражеских солдат. Апнор, как человек утончённый, видел иронию ситуации и предлагал Бобу позабавиться вместе с ним.

— Довольно разговоров, — сказал Боб, поднося эфес к лицу. — Я здесь не для того, чтобы дружески с вами беседовать.

Он резко отвёл клинок вниз и вбок, завершая салют. Апнор сделал шаг вперёд и принял боевую стойку, потом якобы вспомнил про манеры и изобразил некое слабое подобие салюта. Он настолько виртуозно владел рапирой, что мог выразить некоторые чувства, например сарказм, нюансами её движений. Боб шагнул к Апнору, надеясь оттеснить того к ручью, а самому занять более выгодную позицию.

— Ах, это же всё из-за девушки, не так ли? Из-за моей прелестной рабыни Абигайль! — воскликнул Апнор. — Я и запамятовал.

— Неправда.

— Скажи, ты и впрямь веришь, будто получишь её обратно, если меня убьёшь?

— Не совсем. Она перейдёт к вашим наследникам, и я убью их.

Ответ пришёлся Апнору не по вкусу.

— Так это месть, — заметил он. Затем, повернувшись на одном каблуке, пробежал несколько шагов, набирая разбег, и перепрыгнул на другой берег. — В таком случае я имею право выбирать место для поединка. Перебирайся на мою сторону, сержант!

Боб отступил на несколько шагов, чтобы разбежаться, но когда он уже изготовился к прыжку, Апнор выставил шпагу.

— Ты промешкал во второй раз! Тебе надо было зарубить меня до того, как я прыгнул! — укоризненно произнёс Апнор.

Боб, не снисходя до ответа, боком двинулся вдоль ручья. Апнор повторял его движения, пока Боб не остановился. Тут граф повернул голову и жестом дурного актёра поднёс ладонь к уху. — Чу! Приближается кавалерия Патрика Сарсфилда!

— А по-моему, это стучат датские копыта.

Апнор крайне неубедительно изобразил смешок.

— Что это вы заделались вестовым, милорд? Почему Сен-Рю не исполняет свои обязанности?

— Потому что ему снесло голову ядром. — Апнор поднял руку ко рту, словно подавляя зевок. — Скучноватый выходит поединок, — посетовал он.

— Дайте мне перебраться на ту сторону, и дело сразу пойдёт повеселее.

— Нет, это тебе недостаёт огня! Француз бы уже перепрыгнул на мою сторону. Может, тебя подзадорит, если я скажу, что переспал с твоей ненаглядной Абигайль?

— Я так и думал, — спокойно отвечал Боб.

— А ты… нет?

— Не ваше дело.

— Ещё как моё, ведь она моя собственность, и я сломал её девственность *этим* клинком, как сломаю твою вот этим! Так что не мнись, сержант, я знаю, что ты не спал с Абигайль. Может быть, ещё переспишь. Только прихвати баранью кишку. Боюсь, я или кто-нибудь из моих друзей наградили Абигайль дурной болезнью.

Боб прыгнул через ручей. Апнор отступил на

шаг и дал ему благополучно приземлиться, но тут же ринулся вперёд, поводя кончиком рапиры (которую держал в правой руке), а левой вытаскивая кинжал.

— Не смотри на кинжал, дурачок, — поддразнил он. — Ты должен смотреть на противника — как смотрит на меня Абигайль Фромм, когда я её ублажаю.

Боб, решив, что этого довольно, отвёл руку, чтобы рубануть наотмашь. Отчасти он хотел убедить Апнора, что и впрямь рассвирепел от его предсказуемых издёвок, поэтому с рёвом кинулся на графа, размахнувшись палашом, как косарь — косой.

Что-то похожее он целый месяц отрабатывал с Ламоттом. Лёгкий клинок Апнора не выдержал бы удара тяжёлым палашом, поэтому граф поневоле должен был попятиться и опустить рапиру. Однако Боб, атакуя, становился досягаем для удара кинжалом. Поэтому Апнор убрал правую ногу назад, на левой развернулся боком к противнику, чтобы тот в движении оказался напротив него, и занёс кинжал.

Всё шло по плану до последнего мгновения. Вместо того чтобы поравняться с Апнором, Боб упёрся ногами и нырнул вперёд, под кинжал. Ру-

бящий замах раскрутил его слева-направо, лицо было теперь на уровне ног противника. Боб выставил вперёд левое плечо, чтобы смягчить удар о дёрн, следом двигались голова, правая рука и направленный вдоль тела палаш. Едва левое плечо коснулось земли, он свободной рукой схватил Апнора за правую ногу и прижал её к себе.

Граф, отступая, должен был бы перенести вес на эту ногу. Он рухнул в тот самый миг, когда Боб подобрал колени под себя. Падение на живот означало бы верную смерть, поэтому Апнор извернулся, приземлился на зад и, задрав ноги, опрокинулся на спину. Происходи дело в парижской фехтовальной школе, он мог бы завершить кувырок назад и вскочить, как ни в чём не бывало, но в кирасе такое невозможно. Итак, ноги и зад Апнора достигли апогея, потом опустились. Он упёрся правым локтем, чтобы оттолкнуться от земли, одновременно загораживаясь кинжалом, зажатым в левой руке. Боб уже встал на одно колено. Он размахнулся, намереваясь отрубить Апнору левое запястье, однако то ли плохо прицелился, то ли граф оказался невероятно проворен, но удар пришёлся по рукояти кинжала, сразу за гардой. Выбитый из графской руки кинжал отлетел в туман.

Апнор откатился вбок и вскочил на ноги.

— Ты бесчувственный мерзавец! — в злобе заорал он. — Ты вовсе не любишь Абигайль!

— Люблю, потому и хочу победить.

— Глянь-ка, ты брал уроки фехтования, — проговорил Апнор. — А вот это твой учитель тебе показывал?

Боб любил сидеть на лугу и крошить птицам хлеб. Как-то он кормил стаю из примерно сотни голубей, которые, разобравшись, в чём дело, окружили его и терпеливо дожидались следующего куска. Однако внезапно появился воробей и начал подбирать все крошки, которые бросал Боб, хотя и был один против сотни. Напрасно Боб отманивал воробья в одну сторону и бросал хлеб в другую; тот перелетал, словно солнечный зайчик от сигнального зеркальца, опускался среди ковыляющих голубей и выхватывал крошку из-под их клювов.

Сейчас Боб понял, что он — голубь, Апнор — воробей. В какой-то миг ему показалось, что сейчас палаш перерубит Апнору ногу в колене; в следующее мгновение граф был в другом месте, а рапира метила Бобу в сердце. Боб ударил её левой рукой, так что остриё вонзилось под рёбра слева и вышло из спины. В падении левая рука задела эфес

рапиры, и пальцы сомкнулись на блестящих дужках, так что граф не смог вытащить её и нанести череду смертельных ударов. Боб приземлился на спину, остриё, пропоровшее его насквозь, вошло в землю. Он был пригвождён, как Христос. Апнор сверху смотрел ему в лицо.

— Лёгкое? — предположил граф.

— Печень, — отвечал Боб, — иначе я не смог бы сделать вот это. — Он вдохнул и харкнул в Апнора, но плевок не достиг цели.

— Значит, тебя ждёт смерть от медленно гниющей раны, — сказал Апнор. — Я охотно положу конец твоим мучениям, если ты любезно вернёшь мне оружие. — Он поднял глаза, отвлечённый топотом несущейся конницы. — Сарсфилд. Давай заканчивать, мне надо к ним.

Боб повернул голову, просто чтобы не видеть Апнора, и различил на фоне темнеющего неба над холмом странный силуэт: человека в сером мундире, насаженного на шест. Нет, он не был насажен на шест — он прыгал с шестом через ручей; спутанный хвост из волос развевался на затылке, словно наградные ленты на полковом знамени. Ирландский пехотинец пришёл на помощь Апнору, своему английскому повелителю. У него наверняка найдётся нож или что-нибудь в

таком роде, чтобы прикончить Боба.

— Когда попадёшь на тот свет, — сказал Апнор, — передай ангелам и демонам, что мы знаем про ваш гнусный комплот и завладеем золотом Соломона!

— Что за чушь ты несёшь? — воскликнул Боб.

Апнор, прежде чем ответить, отлепил его пальцы от эфеса, начиная с мизинца. Потом ногой встал Бобу на живот, упёрся и вытащил рапиру.

— Ты отлично знаешь, о чём я говорю! — негодующе произнёс граф. — А теперь вперёд и делай, что сказано!

Он прицелился в сердце. Боб выставил руку, чтобы отвести удар. Тут что-то большое просвистело по воздуху и обрушилось на эфес рапиры, так что она, крутясь, отлетела прочь.

Апнор, шатаясь, отступил назад, придерживая ушибленную руку. Боб поднял глаза и увидел плечистого малого в изодранном мундире. Малый держал в руках восьмифутовую палку — ту самую, которую Боб отломил от полкового знамени.

Боб приподнялся на локте, сел и поймал на себе спокойный взгляд Тига Партри. У Тига была голова как вытесанный из известняка куб и тёмно-русые волосы, туго стянутые на затылке, хотя за день многие пряди выбились и теперь держа-

лись только за счёт грязи. Близко посаженные серо-голубоватые глаза смотрели с пристальной укоризной.

— Ты кем себя вообразил, Боб? Героем из дрянной книжонки? Не видишь, что джентльмен в доспехе и фехтует так, как тебе ни в жисть не научиться?

— Теперь я всё это отлично вижу, Тиг.

Покуда Тиг распекал Боба, Апнор поднял рапиру и теперь, держа её в левой руке, боком придвигался к ирландцу.

— Эй, Тиг, левой он орудует не хуже, чем правой!

— Боб! Ты разом и переоцениваешь его и недооцениваешь! Фехтовальщик он умелый, знамо дело, но по большому счёту всё равно дрочила, тычущий в потёмках кочергой.

К этому времени Апнор подошёл футов на восемь. Тиг подбросил древко, поймал его двумя руками за конец, со стоном размахнулся и ударом вбок повалил Апнора на землю. Тот попытался было ухватиться за шест, нависший над его лицом, но стальная кираса, теперь сильно погнутая на боку, сковывала движения. Тиг отвёл древко, перехватил его посередине и нанёс серию быстрых ударов комлем, время от времени перемежая

тычки могучим замахом. Слышались металлический лязг и крики Апнора.

В промежутках Тиг обращал к Бобу следующие мысли и житейские наблюдения:

— Пора бы уже остепениться, Боб. Чего учудил! Так оконфузиться перед мальчишками! Нельзя играть с господами по ихним господским правилам — непременно проиграешь! Неча с таким дуэли разводить. Берёшь хорошую палку и дубасишь его, покуда не околеет. Вот так. Видите, ребята?

— Да, дядя Тиг! — ответили разом два голоса.

Боб поглядел на другую сторону ручья и увидел двух белобрысых мальчишек, державших под уздцы по лошади. Один (кажется, Джимми) держал ту, на которой приехал Боб, другой (методом исключения, Дэнни) — лошадь знаменосца.

— Ну вот, — сказал Тиг. — Давай через ручей и отправляйся с ребятами.

— У меня пропорота печёнка.

— Тем более неча балабонить. Если не истечёшь кровью до смерти, через несколько недель будешь на ногах. Печёнка чудесно заживает, если остальное тело живое. Поверь ирландцу.

Боб опустился на четвереньки, затем подобрал под себя колени. Он слышал, как кровь капает на

землю. Однако она всего лишь капала, а не лилась струёй и тем более не била толчками. Увидь он солдата с такой раной, подумал бы, что тот, скорее всего, выживет, если только рану чем-нибудь заткнуть, чтобы остановить кровотечение. Апнор сказал правду: если Боб и умрёт, то лишь от того, что рана воспалится.

— Я не прошу тебя идти. Поедешь на одной лошади, ребята вместе на другой.

— А ты?

— Мне, Боб, дорога по ручью в болото. Заберу мушкет с одного из англичан, кого сегодня убил, и подамся в леса. — Глаза у Тига увлажнились, он запрокинул голову и шмыгнул носом. — Иди-иди, у нас обоих нет лишнего времени.

— Я поставлю в Лондоне памятник, — пообещал Боб и медленно поднялся на ноги. Сознание он не потерял.

— Мне? Не позволят!

— Апнору. — Боб, пошатываясь, прошёл мимо измочаленного графа и ногой столкнул рапиру в ручей. — Прекрасную статую, на которой он будет в точности, как сейчас, с табличкой: «Луи Англси, графу Апнорскому, лучшему фехтовальщику Англии, которого ирландец до смерти забил палкой».

Тиг некоторое время раздумывал, потом кивнул.

— В Коннахте, — добавил он.

— В Коннахте, — согласился Боб и поглядел на ручей, который казался не у́же Шаннона.

Однако по другую сторону ждали мальчишки — Джековы, а теперь и Бобовы, поскольку по всему выходило, что своих детей у него не будет. Тиг хорошенько двинул его под зад, и Боб, перелетев через воду, больно ударился о землю. К тому времени, как он встал и обернулся, чтобы поблагодарить Тига Партри, того уже рядом не было.

Стог сена, Сен-Мало, Франция
9 апреля 1692

…Ум в себе
Обрёл своё пространство, и создать
В себе из Рая – Ад и Рай из Ада
Он может.

Мильтон, «Потерянный рай»

— Вот так, наверное, и распространяется сифилис — малые вроде меня, сегодня они здесь, завтра — там.

— Ну, Боб! Ещё никто не говорил мне ничего столь романтичного!

— Не знаю, что вы думали услышать, трахая на сене старого сержанта.

— Зашнуруй меня обратно.

— Не уберёте ли волосы? Вот, так лучше.

— …

— …скучное занятие, правда?

— Хватит ворчать.

— Я не ворчу. Но его можно было и не снимать.

— Да. И чулки. А ты мог остаться в штанах и башмаках и заниматься этим стоя. Но мне, что-

бы получить удовольствие, нужна некоторая раскрепощённость, которую я ощущаю, только сбросив одежду.

— Достаточно туго?

— Вполне… по той же причине, Боб, я прекрасно обошлась бы без рассуждений о сифилисе и о том, как он распространяется.

— У меня его нет. Я долгие годы ни с кем не спал.

— И у меня нет. Я тоже долгие годы ни с кем не спала.

— Это как? Вы сказали, что у вас полугодовалый младенец.

— В прошлую встречу. Сейчас ему уже семь месяцев.

— Ладно, пусть семь, но как же вы говорите, будто долгие годы ни с кем не спали?

— Сожительство с мужем я полностью исключаю из рассмотрения.

— Я бы сказал, что это значительная поправка.

— Не сказал бы, если бы когда-нибудь сношался с Этьенном де Лавардаком, герцогом д'Аркашоном.

— Как-то не доводилось, мадам.

— Или доводилось, а ты забыл. Так или иначе, в последнее время он снова со мной это проде-

лывает.

— В последнее время… Вы хотите сказать, что был перерыв после номера второго, а сейчас он нацелился на третьего?

— Для него это номера первый и второй соответственно. Первый, незаконный — ноль, то есть не существует.

— Незаконный — это тот, который был грудным, когда меня отправили в Дандолк, а вас притащили в Дюнкерк?

— Да. А что?

— Просто пытаюсь освежить память, сударыня. Нет надобности так напрягать спину. Ну вот, теперь стало слишком свободно, придётся перешнуровывать заново.

— Не надо. Просто начни застёгивать корсет.

— Боюсь, он немного порвался.

— Я велю зашить. Ну же, быстрей. Я боюсь, что нас обнаружат.

— Не беспокойтесь, я же голый.

— Чем это лучше?

— Если я буду молчать, то сойду за французского дворянина. Все в страхе разбегутся.

— Особенно когда увидят твои шрамы. Они весьма живописны.

— Вы бы так не говорили, если бы представляли

себе, как они достаются: всю эту боль, беспомощность, когда месяцами исходишь гноем и не знаешь, будешь ли через минуту жить или умрёшь.

— Ты забываешь, что я дважды рожала.

— Пардон. Таким образом вы вернули меня к прежней теме.

— Какой теме?

— Вы никогда не говорите о незаконном.

— Из чего ты мог бы сделать вывод, что я не хочу о нём разговаривать.

— Я просто задаю вежливые вопросы, принятые между родителями.

— Как поживают Джековы сыновья?

— Джимми и Дэнни растут в полку, как их отец и дядя. Если они, что маловероятно, не шкодят и не отлынивают от дела, то сейчас чистят картошку в нашем лагере под Шербуром.

— Они догадываются, что ты шпионишь для Мальборо?

— Какой невежливый вопрос, госпожа герцогиня! Я вовсе не уверен, что шпионю. Ещё не решил, как быть. Никаких донесений ему пока не переправлял.

— Ну, когда решишься, можешь передать их через меня.

– *Если* решусь.

— Решишься обязательно. Ведь намечается вторжение в Англию, верно?

— Когда ирландские и французские полки весной передислоцируются в самую восточную часть страны и встают лагерем, начинаешь предполагать нечто подобное.

— Ты не сможешь этого допустить. Ты известишь Мальборо.

— Он в опале. Он и его жена с её бесконечными кознями не угодили Вильгельму и Марии. Ему пришлось продать все свои офицерские патенты. Теперь он никто.

— Да, и об этом говорят во всех версальских салонах. Но если французы высадятся в Англии, ему немедленно дадут полк, и ты в этот полк запишешься.

— Раз вы сами всё так хорошо знаете, мадам, буду считать, что ответил на ваши вопросы и попробую задать встречный: догадывается ли герцог д'Аркашон, что вы — шпионка?

— Ты ошибаешься. Когда-то я шпионила для Англии, теперь — для себя.

— А. Ясно. То есть, если мы пересечём Ла-Манш, вы хотели бы знать об этом для своих целей.

— Ты сказал «для своих целей» так, будто у меня

одной в целом свете есть свои цели.

— Ладно, ладно. Чёртова уйма пуговиц, а?

— Ты не жаловался, когда расстёгивал их десять минут назад.

— Двадцать минут назад, мадам, если вы не хотите, чтобы я окончательно упал в собственных глазах! Десять минут, скажете тоже! Неужто я так торопился?

— Может быть, торопилась я.

— Хм… считается, что *он* бывает тороплив и нечуток, а *она* хотела бы растянуть.

— Ну, я и растянула его, сержант, когда осматривала на предмет французской болезни. И, надо сказать, далеко пришлось растягивать.

— Вы пытаетесь сменить тему и сбить меня с толку лестью. Однако это методичное исследование моего ствола лишний раз подтверждает деловой характер нашей встречи, не так ли?

— Ну, хорошо. Я надеюсь, что номер третий, как считаешь ты, или второй, как считает Этьенн, будет не наполовину Лавардак, а наполовину Шафто, соответственно много красивее, умнее и здоровее номера второго-первого, храни его Господь, бедняжку.

— Я… я… я в ужасе!

— Почему? Ты воевал, видел и сам делал худ-

шее, на что человек способен!

— Может, это не так ужасно в сравнении с тем, на что способны женщины?

— Ты преувеличиваешь. В мире и впрямь есть ужасные женщины, но я не из их числа.

— Ну знаешь… использовать мужчину таким образом… чтобы я даже не знал о собственных детях?

— Почему ты не задавал умных вопросов до того, как валиться со мной на сено, сержант Шафто? Ты до сих пор не знал, что от этого бывают дети?

— Ладно… ладно… я в ужасе от другого.

— От чего же?

— Разумеется, я знал, что ты на самом деле меня не любишь. Так что на этот счёт я не обольщался.

— Разумеется. Как я знаю, что ты не любишь меня.

— Ну да. Хотя вообще-то ты аппетитная.

— Да и ты очень даже ничего, Боб.

— Но я всегда полагал, что ты спишь со мной, потому что разлучена с Джеком.

— Как ты со мной, потому что разлучён с Абигайль?

— Ну да, мадам. Мне и в голову не приходило, что я нужен в качестве производителя… что не

так с номером вторым-первым?

— Люсьен, как бы сказать, убогонький. Среди Лавардаков это обычное дело. Кроме того, он вялый и плохо растёт.

— А что номер первый-нулевой?

— Прекраснейшее дитя на свете. Весёлый, крепкий, умничка…

— Как его зовут?

— Его *крестили* Жан-Жаком.

— Кажется, я догадываюсь, в честь кого «Жак».

— Да, а «Жан» в честь Жана Бара.

— Вы назвали своего первенца в честь пирата и бродяги?

— Не понимаю возмущения. В конце концов, один из них — твой брат.

— А почему такая фраза: «Его крестили»?

— Он отзывается на имя «Иоганн».

— Как-как?

— Иоганн. Иоганн фон Хакльгебер.

— Странное имя для незаконного ребёнка французской герцогини.

— Он… *отправился* в Лейпциг почти полтора года назад. Ему тогда не исполнилось и полутора лет. Друзья, живущие в Германии, сообщают мне, что там его называют Иоганн фон Хакльгебер.

— «Фон» — это же что-то дворянское, вроде как

«де» здесь?

— Да. Он живёт в доме немецкого барона.

— Я мало знаю об обычаях европейских дворян, но вся история представляется мне очень необычной.

— Ты ничего не понимаешь.

— Может, и не понимаю, мадам, но вижу, что лицо ваше раскраснелось, а глаза горят, как от любовных восторгов, но иначе.

— Это просто иная форма страстного желания.

— Вы хотите вернуть мальчика себе. Вас не устраивает то, где он… о Господи!

— Ну же, говори.

— У вас его *отняли?!*

— Да.

— Господи. *Почему?!*

— Неважно. Моя цель добраться до того, кто похитил моего сына и…

— Вернуть себе ребёнка, полагаю?

— …

— Н-да, судя по выражению вашего лица, мне не следовало торопиться с догадками.

— Давай я объясню, чем ужасно то, как со мной поступили полтора года назад.

— Я слушаю.

— Ты, вероятно, вообразил какие-то параллели

между тем, что сделали с твоей Абигайль и с моим Жан-Жаком. Выбрось это из головы. Абигайль — рабыня, удерживаемая против воли, пленница, с которой дурно обращаются. У моего Жан-Жака всё иначе. Ему много лучше жить Иоганном в Лейпциге, чем Жан-Жаком в Версале. Хозяева Абигайль — уроды и недоумки. Да, её муки доставляют тебе боль, но твой путь ясен. Это путь справедливого гнева, мести, воздаяния, спасения, так хорошо знакомый из мифов и легенд. Лотар фон Хакльгебер совершил нечто куда более жестокое. Он сделал моего ребёнка *счастливым*. Если бы я сумела проникнуть в Лейпциг и выкрасть сына, малыш бы испугался. И, наверное, справедливо, потому что, вернувшись сюда, я вынуждена была бы отдать его в церковный приют на попечение монахинь, где из него бы вырастили иезуитского священника.

— Ужас. Я рад, мадам, что не был рядом с вами, когда вы впервые это осознали.

— …

— Почему вы так на меня смотрите? Я начинаю думать, что мне стоит одеться, а может, и вооружиться…

— …

— Вы что, только сейчас это поняли?!

— Когда мысль настолько ужасна, разум отказывается заглотить её в один присест, но много раз отрыгивает и пережёвывает, как коровью жвачку, прежде чем сможет принять в себя. Это всё я пережёвывала больше года. После того, как Жан-Жака похитили, мне потребовалось несколько недель, чтобы узнать, где он. К тому времени, как удалось составить хоть какой-то план, чтобы его вызволить, я забеременела Люсьеном. Только сейчас, когда Люсьен родился, а я оправилась после родов, стало возможным предпринять новые шаги в отношении Жан-Жака. А теперь поздно. Всё. Кончено. Я проглотила эту мысль.

— Хорошо. Я видел, что к этому идёт. Положите голову мне на грудь, мадам. Я вас обниму, и вы не упадёте. Плачьте, сколько хотите, я здесь, никто не смотрит, мы никуда не торопимся.

— …

— …

— …

— Конечно, если подумать, то, что мою любимую купил и обесчестил вельможный сифилитик, — сущий пустяк в сравнении с вашей бедой.

— Я не понимаю, когда ты ехидничаешь.

— Я тоже, мадам. Честное слово. Но скажите мне: если вы не можете вернуть сына, не повре-

див ему, что вы намерены делать?

— Размышляя над этим самым вопросом, я теряюсь в сомнениях, а сомнения могут только повредить делу. Скоро я начну действовать.

— И какой же цели вы добиваетесь?

— Я хочу, в некотором смысле, наступить Лотару на горло и увидеть его беспомощный взгляд.

— Отлично. Отлично! Последним, кто так поступил *со мной,* был граф Апнорский, и…

— Я куда предусмотрительнее покойного Апнора, и устрою так, чтобы меня не забили до смерти палкой.

— Отрадно слышать.

— Расскажи мне обо всём, что готовится в Шербуре, вне зависимости от того, хочешь ли ты передать это Мальборо.

— Хорошо. Но поможет ли это вашим интригам… ладно, ладно. Вы опять готовы убить меня взглядом.

— Ты таким тоном сказал про мои интриги, словно я комическая героиня из итальянской оперы, которая ничем, кроме интриг, не занимается… на самом деле перед тобой усталая мать, которая переехала с мужем из Версаля в Сен-Мало, кормит младенца, устраивает приёмы и раз или два в год отдаётся криптологу в карете или

сержанту на сене.

— Каким образом это позволит вам наступить Лотару на горло? Ладно, ладно, я всё равно ничего не пойму.

— Тут ты не одинок. Если я всё сделаю правильно, то сам Лотар тоже ничего не поймёт.

Дворец д'Аркашонов, Сен-Мало, Франция
11 апреля 1692

— Англичане придумали исключительно хитрый способ оборонять свой остров, а именно — *безденежье*, — заметил господин граф де Понтшартрен, генеральный контролёр финансов и (ныне) министр флота.

Парадокс адресовался Элизе, ибо, говоря, Понтшартрен смотрел ей прямо в глаза. Однако слышали его и другие участники разговора. Все пятеро играли в бассет за ломберным столом в Малом салоне: кроме Элизы и Понтшартрена, присутствовали Этьенн д'Аркашон, который метал талию, и два других понтёра: мадам де Борсуль, очень юная дама, чей супруг командовал фрегатом, и шевалье д'Эрки, только что прибывший морем из Парижа. Эти двое были, разумеется, неповторимые личности, бесценные в очах Божьих и наделённые множеством собственных странностей, добродетелей, пороков и тому подобного, однако Элиза с трудом отличала их от прочих гостей, сидящих за ломберными столами

в её Малом салоне, играющих в бильярд и трик-трак в её Большом салоне, бродящих снаружи по её мокрым газонам или терзающих её клавесин.

Дело происходило в Сен-Мало весной 1692-го. Подготовка к вторжению в Англию шла полным ходом. Войска собирались перебрасывать из Шербура, который в два раза ближе к Англии, чем Сен-Мало. Однако Шербур не мог вместить такое количество кораблей и полков на те несколько недель, которые требовались, чтобы собрать их все. Полки — десять тысяч французских солдат и столько же ирландцев, эвакуированных из Лимерика, — первыми затребовали себе права на территорию, провиант, шлюх и прочие армейские потребности в окрестностях Шербура. Методом исключения корабли Ла-Маншского флота и галеры Средиземноморского, пришедшие Гибралтарским проливом, разместились в ближайших крупных портах, преимущественно в Гавре и Сен-Мало. Гавр в два раза ближе к столице, и добраться туда — по Сене — в сто раз проще. Поэтому самые пышные приёмы давались там, во дворцах местной знати. Сен-Мало, напротив, практически отрезан от остальной Франции. Выносливый человек вроде Боба Шафто, разумеется, мог дошагать туда по дорогам, но все остальные

прибывали в Сен-Мало морем. У семейства де Лавардаков там был дворец, выходящий окнами на залив, с большим собственным хозяйством. Когда дела семейства пошли в гору, дворец стал самым богатым в Сен-Мало; прежний герцог д'Аркашон любил приезжать сюда и расхаживать по террасе, устремив золочёную подзорную трубу на собственный каперский флот. Элиза, которая почти весь первый год своего замужества провела брюхатая в Ла-Дюнетт, увидела его только месяц назад, но сразу полюбила, и ей захотелось жить тут круглый год.

Неожиданное появление Боба Шафто (он вместе с полком ирландских наёмников маршировал в Шербур с зимних квартир под Брестом) оживило первые недели Элизиного пребывания в Сен-Мало. Когда на прошлой неделе Боб появился снова, ей пришлось вспомнить всю свою былую изобретательность, поскольку для французской герцогини и кормящей матери не существовало принятого, санкционированного обществом способа общаться с английским сержантом, вероятным шпионом и, по совпадению, братом самого одиозного негодяя Европы.

Элиза, герцог и маленький Люсьен, а также их слуги и окружение, приехали в Сен-Мало за две

недели до Средиземноморского флота. Вскоре после этого начали прибывать другие линейные корабли из Бреста, Лорьяна и Сен-Назара. На каждой галере и каждом корабле были офицеры, по большей части из числа титулованной знати. Соответственно на герцога и герцогиню д'Аркашон легли непомерные светские обязанности. Другая герцогиня восприняла бы их с готовностью, как полководец — войну или архитектор — заказ на строительство собора. Элиза переложила все хлопоты на тех, кому они и впрямь нравились (от прежней герцогини к ней перешёл большой штат приближённых). Старую гвардию — Бригитту, Николь и несколько отставных матросов Жана Бара — она оставила при себе. Интересанткам, слетевшимся к ней после замужества, поручила организовывать приёмы, что давало им занятие и если не счастье, то чувство, которое они готовы были за него принимать.

Таким образом, от Элизы требовалось лишь наряжаться, выходить к гостям, не забывать их имена и поддерживать беседу. Когда становилось невыносимо скучно, она всегда могла притвориться, будто услышала детский плач, и ускользнуть в противоположное крыло, где располагались её личные покои.

Так что в нынешней ситуации — сидении за ломберным столиком в обществе богатых бездельников, покуда её муж мечет талию — было лишь одно новшество: а именно, что человек, сидящий напротив Элизы, обладал неимоверным влиянием. На всех остальных приёмах, которые д'Аркашоны давали за последние несколько недель, её визави был бы капитан линейного корабля, смущённый и угодливый в присутствии верховного адмирала Франции (должность перешла к Этьенну по наследству). Сегодня на этом месте восседал Поншартрен. Формально он занимал более высокую ступень, нежели Этьенн, однако тот не должен был заискивать перед графом — высота положения делала их почти ровней. Поншартрен неожиданно объявился утром, прибыв на яхте из Шербура. За обедом он постоянно ловил Элизин взгляд, но не потому, что пытался с ней флиртовать. Позже она пригласила его составить им с Этьенном партию в бассет. Затем, чтобы господа не скрестили клинки, а дамы не отравили друг дружку за два оставшихся места у ломберного стола, Элиза выбрала мадам де Борсуль и мсье д'Эрки именно потому, что оба занимают самое ничтожное положение в обществе и не будут очень мешать разговору. По

крайней мере так она воображала. Разумеется, оба оказались (как уже замечено) совершенно автономными личностями, наделёнными разумом, свободной волей и всем прилагающимся. Д'Эрки услышал от кого-то, что Элиза скупает казначейские обязательства у таких, как он, мелкопоместных дворян, имевших глупость одолжить деньги своей стране. Де Борсуль искала себе покровительства среди могущественных придворных. Для Поншартрена, который каждый день встречался с королём Франции, оба были всё равно что муравьи или вши. После примерно пяти раундов бассета он устремил взгляд на Элизу и отпустил загадочное замечание касательно безденежья англичан.

Бассет — простая игра, потому-то Элиза его и выбрала. Каждый понтёр получает тринадцать карт, кладёт их картинкой вверх и ставит деньги на одну, на несколько или на все. Банкомёт снимает карты снизу и сверху колоды попеременно; все карты такого достоинства проигрывают или выигрывают соответственно. Понтёр может не брать выигрыш, а загнуть угол карты, увеличивая таким образом ставку в следующем раунде вплоть до шестидесятикратной. Банкомёт занят постоянно; Этьенну пришлось надеть специаль-

ный карточный протез с загнутыми пальцами на пружинах, чтобы держать колоду. Понтёр может быть занят или не очень, в зависимости от того, на сколько карт он поставил. Элиза и Поншартрен ставили понемногу, показывая тем, что разговор занимает их больше игры. Д'Эрки и де Борсуль играли по-крупному, и их вскрики, стоны, приглушённые ругательства или смех служили постоянным фоном для разговора.

— Мои английские друзья жалуются на недостаток звонкой монеты уже давно, и особенно с началом войны, — заметила Элиза, — но лишь вам, мсье, хватило проницательности разгадать здесь оборонительную стратегию.

— В том-то и беда, что я разгадал её совсем недавно, — сказал Поншартрен. — Когда планируешь вторжение, разумеется, думаешь о жаловании солдатам. Оно так же важно, как снабжение оружием, провиантом и расквартирование, даже важнее, поскольку солдаты, получив жалование, могут сами позаботиться об оружии, провианте и квартирах. Однако платить им надо в местных деньгах — то есть в монете страны, на территории которой идут военные действия. В Испанских Нидерландах всё просто…

— Поскольку они Испанские, — подхватила

Элиза, — и солдатам можно платить пиастрами…

— …которые можно раздобыть где угодно, — закончил Поншартрен. — Однако английские пенни можно взять только в Англии. *Считается*, что их чеканят…

— …в лондонском Тауэре, знаю, — сказала Элиза. — Но почему «считается»?

Поншартрен развёл руками:

— Никто их не видит. Они выходят с Монетного двора и исчезают.

— Но мне думалось, что каждый может привезти серебро в Тауэр и перечеканить на пенни, разве нет?

Поншартрен на миг опешил, затем расхохотался и хлопнул ладонью по столу, так что монеты на картах запрыгали и зазвенели. Выходка для сановника такого уровня была столь неожиданной, что игра замерла.

— Мсье, для нас огромная честь — доставить вам недолгое развлечение от забот! — воскликнул Этьенн, но генеральный контролёр финансов лишь снова хохотнул.

— Ваша супруга, мсье, говорит как раз о том, что меня заботит, — сказал Поншартрен, — и, я уверен, предложит сейчас что-нибудь дерзкое.

Лицо Этьенна порозовело:

— Надеюсь, не настолько дерзкое, чтобы смутить наших гостей…

— Напротив, мсье, это должно посеять смуту среди англичан.

— О, тогда всё замечательно.

— Прошу вас, мадам, продолжайте!

— Охотно, мсье, — сказала Элиза, — но прежде дозвольте высказать предположение.

— Сколько вам будет угодно.

— Яхта, на которой вы прибыли, исключительно хорошо охраняется. Я предполагаю, что она нагружена серебром, которое отправится вместе с войском через Ла-Манш для выплаты жалованья ирландским и французским солдатам в ходе кампании.

Поншартрен слабо улыбнулся и покачал головой:

— Вот и пытайся после этого сохранить тайну! О некоторых людях говорят, что у них нюх на деньги; я убеждён, мадам, что вы можете учуять серебро за милю.

— Не говорите глупостей, мсье, это, как вы сами заметили, очевидная военная надобность.

Элиза мельком взглянула на д'Эрки и тут же об этом пожалела. Бедняга слушал с таким внимани-

ем, что она еле-еле сдержала смех. Незадачливый шевалье переплавил фамильное серебро и отдал королю в надежде получить приглашение на несколько версальских приёмов. Проценты сперва выплачивались с задержкой, затем и вовсе перестали поступать. Тот, кто мог их выплатить, сидел ближе, чем на расстоянии вытянутой руки — и теперь он объявляет, что прибыл в Сен-Мало с целой кучей серебра, которое находится на яхте в нескольких сотнях ярдов отсюда. Одно слово Поншартрена, один росчерк пера — и д'Эрки получил бы свои деньги или хотя бы проценты по ним, причём не в виде расписки, а звонкой монетой. Ни о чём другом шевалье думать не мог, однако не смел раскрыть рот. Этикет сковывал его, как железный ошейник — раба. Ему оставалось только смотреть и слушать.

— Итак, вас тревожит не отсутствие серебра, — продолжала Элиза. — Прекрасно. Вам надо переправить его через Ла-Манш, что связано с огромным риском. В анналах военной истории не счесть рассказов о кампаниях, проигранных из-за того, что обоз с деньгами угодил в руки неприятеля.

— Мы с вами читали одни и те же книги, — заметил Поншартрен. — Тем не менее боюсь, что

в ходе подготовки к войне я был в большей мере министром флота, чем генеральным контролёром, — уделял больше внимания вопросам чисто военным, нежели финансовым. Лишь позавчера, добравшись до Шербура, я осознал, как трудно будет переправить серебро в Англию. Отправлять его прямиком через пролив — безумие. Я подумывал разделить его на части и поручить доставку тем, кто контрабандой возит вино и соль в отдалённые порты Корнуолла.

— Это раздробит риск, но умножит трудности, — сказала Элиза. — И даже если план увенчается успехом, он не разрешит главного затруднения: ежели деньги не будут приниматься на местном — то есть английском — рынке, солдаты не будут считать, что им заплатили.

— Естественно, мы предпочли бы платить им английскими пенни, — отвечал Поншартрен, — но, учитывая ситуацию, вынуждены будем обходиться французской монетой.

— Что возвращает нас к разговору в санях, состоявшемуся два года и один месяц назад, — проговорила Элиза и по ответному взгляду Поншартрена поняла, что не ошиблась.

Мадам де Борсуль растерянно посмотрела на учтивейшего человека Франции, и тот вмешал-

ся.

— Ради наших гостей, не присутствовавших при разговоре в санях, — сказал Этьенн, — я молю вас прерваться на разъяснение…

— Я говорю о перечеканке, когда старую монету отозвали и заменили на новую, — отвечала Элиза. — По королевскому декрету новая имеет тот же номинал, что старая, и для нас, живущих во Франции, ничего не изменилось. Однако в новой монете меньше золота или серебра.

— Госпожа герцогиня, в то время ещё мадемуазель графиня, указала мне, что это будет иметь труднопредсказуемые последствия, — добавил Поншартрен.

— Пока господин граф не начал себя корить, — сказала Элиза, — я возьму на себя честь первой выступить в его защиту. *Благоприятные* последствия реформы огромны: она дала средства на войну.

— Однако госпожа герцогиня оказалась истинной Кассандрой, — продолжал Поншартрен, — ибо реформа имела множество последствий, которых я не предвидел. И одно из них таково: французскую монету вряд ли примут в Англии по полной цене.

— Мсье, вы не думали отчеканить специаль-

ную монету для вторжения в Англию? — спросил д'Эрки.

— Думал, как и о том, чтобы использовать пиастры. Однако прежде чем прибегнуть к таким мерам, я хотел бы послушать, что наша хозяйка скажет по поводу английского Монетного двора.

— Я просто хочу указать, мсье, — отвечала Элиза, — что существует механизм, позволяющий без риска для Франции ввезти в Англию серебро, перечеканить на монеты и передать доверенным французским агентам.

— Что за механизм, мадам? — спросил д'Эрки, подозревая, что она их разыгрывает.

— Главная связь Франции с международным денежным рынком осуществляется не через Сен-Мало и даже не через Париж, а через Лион. Королевский банкир — это, разумеется, мсье Самюэль Бернар, и он действует сообща с мсье Кастаном. Я знаю Кастана; он — главная фигура Депозита. Он может передать деньги любому из банкирских домов, имеющих лионские представительства, и получить переводные векселя на французских агентов, которые доставят их в Лондон перед вторжением. Векселя эти надо будет заранее предъявить лондонским банкирам, и те, приняв их к оплате, озаботятся, чтобы к

сроку иметь на руках требуемую сумму. То есть им придётся ввозить серебро из Амстердама или Антверпена и в Тауэре чеканить из него монету. Однако это уже не наша забота и не наш риск. Французские агенты получат деньги и доставят их на фронт для выплаты жалованья войскам.

В начале беседы мадам де Борсуль открыла рот, как будто мудрёные слова и понятия легче усваивать им, нежели ушами; по мере того, как Элиза говорила, то же самое происходило с другими слушателями, в том числе за соседними столами. Когда же она дошла до слов «жалованья войскам», все принялись переглядываться, ища друг у друга поддержки в своей растерянности. Элиза вскочила с жаром, не свойственным её роли светской хозяйки (вынудив Этьенна, Поншартрена и д'Эрки встать), и принялась организовывать новую салонную игру.

— Мы представим небольшую комедию, — объявила она, — а вы все сидите, сидите, сидите!

И она велела слуге принести перья, бумагу и чернила.

— Но, Элиза, как могут господа сидеть, если дама стоит? — спросил Этьенн.

— Ответ прост: в комедии я не дама, а бог: Меркурий, вестник Олимпа, покровитель ком-

мерции. Можете вообразить крылышки у меня на щиколотках.

При одном упоминании её щиколоток Этьенн тихонько ойкнул, и несколько гостей с тревогой обернулись в его сторону. Однако Элиза продолжала:

— Вы, мсье де Поншартрен, должны сидеть. Вы податель вышних благ, генеральный контролёр финансов.

— Для меня это будет несложная роль, Меркурий. — И генеральный контролёр финансов, легонько поклонившись Элизе, опустился на место.

Теперь, когда самый высокопоставленный гость включился в игру, остальные охотно последовали его примеру.

— Для начала разыграем простой перевод векселем, — сказала Элиза, — для которого нужны всего четверо участников плюс Меркурий. Позже мы найдём роли всем остальным, — добавила она, поскольку к ним начали подтягиваться любопытствующие. — Этот стол — Лион.

— Однако, Меркурий, ваша пьеса уже вышла за рамки правдоподобного, ибо генеральный контролёр не ездит в Лион, — сказал Поншартрен.

— Через несколько минут мы это исправим, но

пока вы в Лионе. Напротив вас сядет Этьенн. Он будет банкиром Лотаром.

— Обязательно ли мне зваться столь нелепым именем? — спросил Этьенн.

— У банкиров оно в чести. Лотар — *Ditta di Borsa* в Лионе, Брюгге и многих других местах.

— Это значит, что его репутация безупречна, — пояснил Поншартрен.

— Ну что ж, коли о нём идёт такая добрая слава, я могу принять его роль, — сказал Этьенн, садясь напротив Поншартрена.

— У вас есть деньги. — Элиза горстью сгребла все монеты со стола на сторону Поншартрена. — И вы хотите переправить их — вон туда! — Она прошла через двустворчатую дверь в Большой салон, где гости, бросив игру в триктрак, внимательно наблюдали за происходящим.

— Мадам де Борсуль, вы — лондонский банкир, а этот стол — Лондон.

Мадам де Борсуль залилась краской и, ломая руки, пролепетала: «Ах, мадам, я ничего в этом не смыслю!» — так что Элизе захотелось влепить ей пощёчину.

— Ну, разумеется, вы же дворянка, но как короли изображают в маскараде бродяг, так и вы теперь банкир по имени синьор Полишинель.

Вот, синьор Полишинель, ваш сундук с деньгами.

Элиза захлопнула ящик для триктрака вместе с шашками и вручила мадам де Борсуль, когда та, закончив оправлять волосы и юбки, уселась за «лондонский» стол. Шевалье д'Эрки подержал ей стул.

— Мсье, вы — Пьер Дюбуа, француз в Лондоне.

— О жалкая участь! Нельзя ли её избежать? — посетовал д'Эрки.

Гости засмеялись.

— Нельзя. Однако садиться вам не обязательно, вы ещё не знакомы с синьором Полишинелем. Вы бродите по городу в поисках достойного пропитания. Ну! Все по местам! — И она вернулась в Малый салон, где на «лионский» стол уже принесли бумагу, перья и чернильницу.

— Господин генеральный контролёр, передайте ваше — то есть французское — серебро банкиру Лотару.

— Извольте, мсье, — сказал Поншартрен, передвигая груду монет через стол.

— Благодарю покорно, мсье, — неуверенно отвечал Этьенн.

— Вежливых слов мало! Напишите сумму, слово «Лондон» и время, скажем, пять минут спустя.

Этьенн взял перо и тщательно исполнил требуемое. Часы в углу показывали двадцать пять минут четвёртого, поэтому он написал «три тридцать».

— Отдайте это генеральному контролёру, — сказала Элиза. — А вы, генеральный контролёр, напишите на обороте адрес, вот такой: «Мсье Пьеру Дюбуа, Лондон». Тем временем вы, Лотар, должны написать авизо синьору Полишинелю в Лондон, с теми же сведениями, что в векселе.

— В векселе?

— Документ, который вы вручили генеральному контролёру, называется переводной вексель.

Поншартрен закончил писать на обороте векселя, поэтому Элиза-Меркурий выхватила листок у него и отнесла «Пьеру Дюбуа», который, посмеиваясь, наблюдал за процессом из дверей. Затем она вернулась в «Лион», где Лотар писал авизо в выражениях куда более длинных и учтивых, чем требовалось. Меркурий нетерпеливо выдернул листок из-под пера.

— О небо! Я ещё не закончил извинений!

— Вам следует лучше вжиться в роль Лотара. Он был бы не так велеречив. — И Меркурий понёс авизо «синьору Полишинелю».

— По правде, должно быть два или даже три

экземпляра векселя, и авизо тоже, отправленные с разными гонцами, — сказал Меркурий, — но чтобы пьеса не затянулась, мы обойдёмся одним. Синьор Полишинель! Вы сказали, что не знаете, как играть роль. Я объясню: довольно, чтобы вы умели читать и могли узнать почерк Лотара. Вам это по силам? (Правильный ответ: «Да, Меркурий».)

— Да, Меркурий.

— Мсье Дюбуа, полагаю, вы догадываетесь, что делать.

И впрямь, «Пьер Дюбуа» уселся напротив «синьора Полишинеля» и протянул вексель.

— Итак, синьор, — обратилась Элиза к мадам де Борсуль, — вы должны сравнить вексель мсье Дюбуа с авизо.

— Там написано одно и то же, — отвечал «Полишинель».

— Одним и тем же почерком?

— Да, Меркурий.

— Который час?

— По этим часам — двадцать восемь минут четвёртого.

— Тогда берите перо, пишите поперёк векселя «Принято к оплате» и ваше имя.

Мадам де Борсуль исполнила требуемое, затем,

проникшись духом игры, открыла ящик для триктрака и начала отсчитывать шашки.

— Погодите! — сказал Меркурий. — То есть, конечно, вы можете их пересчитать и убедиться в своей платёжеспособности. Но вы как хороший банкир не отдадите деньги мсье Дюбуа, пока не придёт время оплаты векселя.

Однако ждать пришлось всего несколько секунд. Часы пробили половину, и мадам де Борсуль придвинула шашки «Пьеру Дюбуа».

— Вуаля! — объявил Меркурий зрителям, которых к этому времени собралось свыше двадцати. — Первый акт комедии счастливо завершился. Господин генеральный контролёр перевёл серебро из Лиона в Лондон без всякого риска, попутно превратив его в английские пенни! И всё благодаря божественной помощи Меркурия.

Элиза сделала реверанс и некоторое время с улыбкой внимала аплодисментам.

Антракт

— Я — генеральный контролёр финансов, мадам, и знаю, что такое переводной вексель. — Поншартрен увлёк её в нишу и говорил вполголоса с несвойственной ему резкостью.

— А я знаю, кто вы и какой властью обладаете,

мсье, — отвечала Элиза.

— Тогда, если вам есть что ещё сказать о Монетном дворе, я охотно выслушаю…

— В своё время, мсье.

Тем временем мадам де Борсуль разыгрывала в «Лондоне» небольшую сцену. Капризная раздражительность удавалась ей очень хорошо.

— Я отдала свои монеты мсье Дюбуа — в обмен на что?!

— Векселя, выписанные рукою банкира *Ditta di Borsa,* ничуть не хуже денег.

— Но это не деньги!

— Однако, синьор Полишинель, вы можете обратить векселя в деньги или во что-нибудь ценное, отнеся их в представительство Лотарова торгового дома.

— Однако он в Лионе, а я в Лондоне!

— Вообще-то он в Лейпциге, но не важно — в Лондоне у него есть представительство. После того, как узурпатор захватил трон, множество банкиров перебрались туда из Амстердама и…

— Погодите! Сперва Лотар в Лионе… затем в Лейпциге… в Амстердаме… а теперь в Лондоне?

— Все они — одно, ибо Меркурий осеняет их все. — Элиза, запустив руку в кучку хмельных юнцов, вытащила юного кузена де Лавардаков,

которого и усадила за стол напротив мадам де Борсуль. — Это Лотаров представитель в Лондоне. — Она ухватила второго юнца, скалившегося над первым, и поставила в короткой галерее между салонами, которую назвала Амстердамом.

— Я возражаю! (Простите мою прямоту, но я пытаюсь войти в роль грубого саксонского банкира), — сказал Элизин муж.

— У вас превосходно получается, дорогой, — отвечала Элиза. — Что вас не устраивает?

— Если только мои представители в Лондоне и Амстердаме — не титулованные дворяне, а, как я понимаю, это не так…

— Ну разумеется, Этьенн.

— То есть если они не обладают независимыми средствами, то получается, что… — тут Этьенн снова слегка покраснел, — …простите, но должен ли я… — Он надолго замолчал, пока Элиза и Поншартрен улыбками и кивками не убедили его продолжить, — им *платить*. — Он наполовину проглотил ужасное слово. — Ну, не знаю, чтобы они *покупали* себе еду и тому подобное? Вряд ли они питаются с собственного хозяйства, если живут в городе.

— Вы должны им платить! — громко и чётко объявила Элиза.

Этьенн поморщился.

— Не понимаю, чего ради мне содержать агентов, возить серебро в Лондон, слать векселя в одно место, авизо в другое, чтобы в конце концов вручить деньги синьору Полишинелю.

Он неуверенно обвёл взглядом лица гостей, словно спрашивая их мнения. Все согласно закивали, как будто герцог д'Аркашон высказал невероятно умную мысль, и повернулись к Элизе за разъяснениями.

— Вы оставите себе часть денег, — объявила та.

Все ахнули, как будто она сдёрнула покрывало с золотой статуи.

— О, это совершенно меняет дело! — воскликнул Этьенн.

— Пьер Дюбуа в Лондоне получит не всю ту сумму, которую я отдал вам, — сказал Поншартрен и повернулся к Элизе. — Однако, мадам, я живу в Париже.

Элиза прошла на другой конец Малого салона и похлопала по золочёному клавесину. Поншартрен покинул «Лион» и сел за инструмент. Затем, для забавы и для музыкального сопровождения второго акта комедии, начал подбирать мелодию Рамо.

Элиза поманила к себе пожилого графа в мундире капитана галеры. До сего момента тот играл с другом на бильярде.

— Вы мсье Самюэль Бернар, королевский банкир.

— Я буду изображать *еврея?!* — в ужасе проговорил граф.

Музыка смолкла.

— Он достойнейший господин, король прекрасно о нём отзывается, — заметил Поншартрен и заиграл снова.

— Но теперь в Лионе никого не осталось! — воскликнул Этьенн.

— Напротив, здесь мсье Кастан, старый собрат мсье Бернара, — сказала Элиза и потащила графского партнёра по бильярду к стулу, на котором до этого сидел Поншартрен.

В комнате стало гораздо оживлённее, поскольку капитан, изображающий Самюэля Бернара, ссутулился и принялся закатывать глаза, ухмыляться дамам и поглаживать подбородок. Тем временем «амстердамцы» и «лондонцы», прискучившие бездельем, пустились в разного рода несанкционированные транзакции.

— Принеси мне миску теста, — сказала Элиза горничной.

— Теста, мадам?

— Миску теста из кухни! И ещё одну пустую, поменьше. Быстрее!

Служанка вылетела из комнаты, а Элиза продолжила:

— Все по местам! Начинается второй акт! Господин граф де Поншартрен, прошу вас, продолжайте играть, ваша чудесная музыка как нельзя лучше подходит к действию.

(Некоторые гости, не получившие ролей, начали танцевать, так что «Париж» и впрямь превратился в центр всего возвышенного и утончённого.)

— Я ваш слуга, мадам, — отозвался Поншартрен.

— Нет, я Меркурий. И я говорю, что у вас есть тесто.

— Тесто, Меркурий? — Поншартрен с любопытством огляделся, но играть не перестал.

— Разумеется, вы редко его видите и никогда к нему не прикасаетесь. Ещё бы, ведь вы член Верховного совета и доверенный приближённый Короля-Солнце. Но вы знаете, что у вас есть тесто!

— Откуда я это знаю, Меркурий?

— Потому что я нашёптываю вам на ухо. У вас

есть тысячи кухонь, на которых его готовят. Теперь призовите к себе мсье Бернара и сообщите ему, что у вас есть тесто.

Мсье Бернара звать не пришлось. Опираясь на кий, как на трость, он шаркающей еврейской походкой подошёл к Поншартрену и склонился над ним, потирая руки.

— Мсье Бернар! У меня есть тесто.

— Я верю вам, монсеньор.

— Я хотел бы быстро и безопасно перевести… э… сто кусков мсье Дюбуа в Лондон.

— Погодите! — воскликнул Меркурий. — Вы ещё не знаете имени получателя в Лондоне.

— Отлично! Пусть это будет вексель на одного из моих агентов, имя которого я укажу позже.

— Будет исполнено, сударь! — И «Бернар» с ухмылкой обернулся к Элизе, ожидая подсказки.

— Идите и передайте это вашему другу, — велела Элиза.

— А на руки я ничего не получу?

— Мсье! Вы получили слово генерального контролёра финансов! Чего вам ещё надо?

— Я просто спросил, — произнёс «Бернар» с лёгкой обидой и проковылял в другой конец Малого салона, где ждал его партнёр по бильярду. — Бонжур, старина. У господина графа де Поншартрена

есть тесто, и он хочет переправить сто кусков в Лондон.

— Прекрасно, — отвечал «Кастан» после того, как Меркурий шепнул ему на ухо подсказку. — Лотар, если вы вручите сто кусков нашему человеку в Лондоне, я дам вам сто десять кусков здесь!

— О небо! Где же тесто? — вопросил Этьенн слегка ошарашенно, поскольку на генеральной репетиции ему давали настоящее серебро.

— У меня его нет, — отвечал «Кастан», соображавший чуть быстрее Этьенна, — но мой друг мсье Бернар слышал от господина графа де Поншартрена, а тот — от самого Меркурия, что теста очень много, посему перед лицом всех этих добрых лионцев…

— Мы зовём их Депозитом, — вставила Элиза, обводя рукой любопытных зрителей, которые собрались возле карточного стола.

— …я обещаю заплатить вам сто десять кусков по первому требованию.

— Хорошо, — отвечал «Лотар», предварительно взглянув на Элизу.

Некоторое время ушло на составление нужных бумаг. Тем временем Элиза запустила руки в тёплый ком теста и разорвала его на два, большой и маленький. Маленький она положила в пустую

миску, которую отнесла в соседнюю комнату и грохнула на буфет рядом со столиком для трик-трака к большому изумлению мадам де Борсуль.

— Разорвите его пополам и рвите дальше, пока не получите тридцать два куска, — повелел «Меркурий» и унёсся прочь прежде, чем мадам де Борсуль успела надуть губки.

Затем Элиза взяла большую миску с основной порцией теста и вручила её юному банкиру в «Амстердаме». Три гостя помоложе, от восьми до двенадцати лет, уже сбежались к буфету, перевернули миску и рвали тесто на куски.

— Отлично, вы — английский Монетный двор, а это — Тауэр, — сообщила Элиза, затем, приметив их рвение, добавила: — Помните, мне нужно кусков тридцать, не больше.

— Мы думали, сто! — сказал старший из детей.

— Да, но в Англии нет столько теста.

Тем временем в «Лионе» покончили с писаниной. В этот раз добавили одну тонкость: «Лотар» выдал вексель не «Дюбуа», а «Кастану», сидевшему напротив. «Кастан» перевернул листок и написал на обратной стороне, что переводит вексель на мсье Дюбуа и что вексель этот подлежит оплате в течение пятнадцати минут. «Дюбуа» получил листок на окраине «Лиона» в 16:12,

прогулялся за рюмочкой коньяка и, прибыв в «Лондон» в 16:14, вручил вексель «Полишинелю». Та сверилась с авизо, взглянула на часы и собралась писать «Принято к оплате», когда бдительный Меркурий остановил её руку.

— Стойте! Подумайте. Ваша платёжеспособность под угрозой. Сколько у вас кусков?

«Полишинель» устремила взгляд на «Тауэр», где тридцать два комочка теста лежали восемью рядами по четыре.

— Они вам не принадлежат. — Элиза-Меркурий сгребла куски в миску и вручила молодому де Лавардаку — «представителю Лотара» в «Лондоне».

До мадам де Борсуль наконец дошло.

— Мне они понадобятся… у меня расписка от вашего дяди, в которой сказано, что вы должны мне сто кусков.

— У меня нет ста! — пожаловался юный банкир.

— Меркурий, как всегда, приходит на выручку! — объявила Элиза. — У кого-нибудь в Лондоне есть тесто?

— У меня целая миска! — отозвался звонкий голос из другой комнаты.

— Ты не в Лондоне! — последовал ответ «Меркурия».

Элиза повернулась к «лондонскому» племяннику и устремила на него испытующий взгляд.

— Кузен! Поспеши ко мне с фамильным тестом! — крикнул юноша.

Мальчик понёс миску в «Лондон». Тем временем Элиза кивнула двум шестилеткам с деревянными мечами. Они выпрыгнули на середину комнаты и принялись лупить тестоносца по ногам. «А-а!» — закричал он.

— Пиратское нападение в Северном море! — объявила Элиза.

Тестоносцу сильно мешало то, что миска загораживала от него маленьких буканьеров. Тем не менее, обежав несколько раз всю «Британию», он достиг цели в двадцать минут пятого, сильно кренясь на правый борт, и вывалил тесто в Лондонский Тауэр.

— Быстрее! — сказала Элиза. — Срок векселя истекает через пять минут!

С помощью Элизы монетчики к 16:23 восстановили платёжный баланс лондонского представительства Лотара. Миску с торжеством водрузили перед «синьором Полишинелем», который брезгливо придвинул её «Пьеру Дюбуа». Было ровно 16:27. Актёры, зрители и слуги разразились аплодисментами, думая, что пред-

ставление закончено. Не хлопал только шевалье д'Эрки. Он остался с миской теста, и шестилетние близнецы-пираты, не успевшие наиграться по ходу пьесы, принялись со всей силы рубить ему ахилловы сухожилия.

— Со всей серьёзностью, Меркурий, — пожаловался д'Эрки, — как доставить монеты из Лондона на фронт? Ибо если верна хотя бы половина того, что говорят про Англию, она кишит бродягами и разбойниками всех мастей?

— Не тревожьтесь, — сказала Элиза. — Если выждать несколько дней, фронт сам придёт к вам. Ирландские и французские солдаты стройными колоннами явятся к вам на Стрэнд за жалованьем!

Грянули патриотические возгласы и аплодисменты. На «сцену» из «зала» вылетели несколько бутоньерок.

— Если мне позволено ещё раз изобразить неотёсанного банкира, — вмешался Этьенн, который оставил свой пост в «Лионе», чтобы наблюдать за развязкой, — чего ради английский Монетный двор станет чеканить деньги для финансирования иноземного вторжения в Англию?

Все ахнули. Этьенн смутился и принялся формулировать очень долгие и пространные

извинения, но Элиза не дала ему договорить.

— Вы не знаете Англию! — воскликнула она. — А я знаю, ибо я — Меркурий. В Англии есть партии. Сейчас у власти тори. Не секрет, что они ненавидят узурпатора и хотели бы его свергнуть. Наши военные планы во многом основаны на допущении, что английский военный флот пропустит французские корабли через Ла-Манш, а простой народ и бóльшая часть армии охотно сбросят голландское иго и с распростёртыми объятиями встретят наших солдат. Если принять все эти допущения, нетрудно поверить, что тори, заправляющие на Монетном дворе, отчеканят немного денег для дома Хакльгебера…

— Или для того банкирского дома, к которому мы решим обратиться.

— …не задавая лишних вопросов о том, кому эти деньги предназначаются.

— Да. Теперь я вижу всё ясно, как на картине, — проговорил Этьенн.

Гости в подавляющем большинстве приняли отрешённый вид, словно созерцают ту же картину, что предстала мысленным очам герцога д'Аркашона.

За двумя исключениями: «Самюэль Бернар», не желая расставаться с ролью прижимистого еврея,

снискавшей ему такой успех, носился по Малому салону между «Парижем» и «Лионом», потрясая кием и вопрошая, когда же он получит тесто, о котором столь убедительно говорил господин граф де Поншартрен; а «Кастан», его партнёр по бильярду, финансам, а теперь ещё и выпивке (ибо они завладели графином с чем-то бурым), громко высказывался в том же ключе.

— Из-за чего они так? — полюбопытствовал Этьенн.

— Не волнуйтесь, «банкир Лотар», — сказала Элиза, — вы своё получите.

Этьенн нахмурился:

— Верно… я и забыл! Я не видел никакого теста! Из-за этого они так взволнованы?

Поншартрен переглянулся с Элизой и вставил:

— Они только что узнали о риске потери ликвидности.

— Какое ужасное слово!

— Не тревожьтесь, господин герцог. Это фантом. У нас во Франции такого не бывает.

— Как замечательно, — сказал герцог д'Аркашон. — Мне, на них глядя, стало как-то не по себе — а я ведь даже не банкир.

Элиза – Лотару фон Хакльгеберу
12 апреля 1692

Майн герр!

ГОРДЫНЯ — порок, которому женщины подвержены не менее мужчин, а я, возможно, более других женщин. Подобно другим порокам, она стремится занять в человеческой груди как можно больше места, потеснив оттуда добродетели.

Когда полтора года назад я вбежала в спальню маленького Иоганна и увидела его колыбельку пустой, в моей душе разгорелась война. С одной стороны добродетель любви — естественной любви матери к своему дитяти, с другой — порок уязвлённой гордости. Меня не просто растоптали, но растоптали в то время, когда я развлекалась на светском рауте вместо того, чтобы исполнять материнский долг. Таким образом, гордость подогревалась стыдом; их совместные легионы пронеслись по полю боя, сметая силы любви. Всё, что я с тех пор предпринимала в отношении сына, было продиктовано гордыней. Увещевания любви, если и долетали до моих ушей, пропадали втуне.

Однако душевная жизнь так же подвержена приливам и отливам. Теперь у меня новый младенец. Гордыня, как я убедилась, лучше умеет захватывать территории, нежели их удерживать. Любовь мало-помалу отвоёвывает утраченное и распространяется далее. Письмо это можно считать капитуляцией гордыни и победой любви. Осталось лишь согласовать условия.

Разумеется, Вы уже их поставили, изложили с достойной восхищения ясностью в записке, оставленной в Иоганновой колыбели. Вы хотите вернуть золото, захваченное неподалёку от Бонанцы в августе 1690 г. шайкой пиратов под предводительством негодяя Джека Шафто. Вы вообразили, будто я как-то с этим связана и знаю, где найти Джека.

На самом деле я не причастна к похищению и не знаю, где он. Однако это ответ, продиктованный гордыней; он не поможет мне снова увидеть сына. Любовь требует дать Вам, сударь, всё, что Вы хотите, утишить Ваш гнев, уврачевать Ваши раны, как бы ни унизительно это было для Вашей смиренной слуги.

Итак, хотя я не могу вернуть Вам золото и не знаю, где Джек, я не стану больше протестовать, но сделаю всё, что в моих силах, дабы возместить

Вашу потерю.

Что до местопребывания Джека Шафто, оно никому не известно, однако отец Эдуард де Жекс и мсье Бонавантюр Россиньоль придумали, как его выследить. Один из членов пиратской шайки время от времени пишет родным во Францию. Письма эти перехватывает и читает мсье Россиньоль, который, впрочем, пока не сумел извлечь из них весь смысл, поскольку они написаны неведомым шифром. Сняв с писем копию, он пересылает их адресату.

Это семейство торговцев кофе, до недавних пор влачивших нищенское существование. Их отыскала герцогиня д'Уайонна, которая, как Вы, возможно, знаете, доводится кузиной отцу де Жексу. Она начала подавать в своём салоне исключительно их кофе. Непродолжительное время спустя де Ментенон на церемонии утреннего туалета велела подать себе кофе той же марки. Очень скоро семейство открыло кофейню в деревушке Версаль; они обслуживают приходящих посетителей и поставляют кофейные зёрна во дворец и близлежащие поместья.

За всем этим, очевидно, стоит де Жекс, ибо совсем недавно семейство было рассеяно по тюрьмам и богадельням Парижа, теперь же все

собраны под одной крышей, где Чёрному кабинету легко за ними следить. Как я упоминала, письма, отправляемые во Францию сообщником Джека Шафто, передаются адресатам в надежде, что те напишут ответ, из которого мсье Россиньоль что-нибудь выудит. Покуда они не пишут, вероятно, потому что не знают, куда писать. Судёнышко Эммердёра и его шайки где-то в Красном море или Персидском заливе; догнать его письмом — всё равно что попасть в мошку из осадной мортиры. Тем не менее план мсье Россиньоля и отца де Жекса рано или поздно увенчается успехом, о чём я непременно узнаю и тут же Вам отпишу.

Что до утраченного Вами золота, я бессильна его вернуть, но всемерно постараюсь возместить Вашу утрату иными способами. Мне хорошо известно, что золото, захваченное у Бонанцы, обладает особыми свойствами и его не заменит никакое количество земного золота и серебра. И всё же покуда похитителей ищут, я постараюсь компенсировать ущерб единственным доступным мне способом. Своё состояние я потеряла вскоре после рождения Иоганна, потому не располагаю деньгами, чтобы послать их Вам. Собственностью моей новой семьи, де Лавардаков, я

не распоряжаюсь. Я живу в родовых особняках, но не могу их продать; ем с фамильного серебра, но не могу отдать его в переплавку. Тем не менее моё положение при дворе позволяет наблюдать за финансовой деятельностью французского правительства. Таким образом я узнаю́ о возможностях, которыми человек в Вашем положении может воспользоваться с большой выгодой и почти без усилий и риска. В качестве первой выплаты или, если хотите, процентов по утраченному золоту Бонанцы (которое я намереваюсь в будущем возвратить Вам полностью), я предоставляю Вам такую возможность в надежде, что за этим последует долгое и выгодное сотрудничество.

Ваш агент в Лионе, Герхард Манн, сможет сообщить Вам больше подробностей, я же изложу суть: французскому правительству необходимо переправить в Англию серебро для выплат ирландским и французским солдатам, которые высадятся там в конце мая. Металл предполагалось везти напрямик, но я недавно убедила тех, кто будет этим заниматься, воспользоваться существующими коммерческими каналами, то есть выписать векселя в Лионе под гарантии мсье Кастана, естественно, обеспеченные правительством Франции и подлежащие оплате серебром

в Лондоне. Векселя надо будет выписать в начале мая со сроком оплаты в конце мая — начале июня, с возможностью перевода на другое лицо, поскольку фамилии французских получателей в Лондоне, по очевидным соображениям, должны пока оставаться в секрете.

Поскольку всё организуется в последний миг, в военное время, Вы можете, как принято в таких случаях, запросить очень высокий процент.

Более того, операция будет представлять для Вас весьма незначительный риск. Вы можете посмеяться утверждению, будто перевозить серебро во время войны — занятие малорискованное, но дело в том, что *вторжение, скорее всего, не состоится*. А если и состоится, то закончится поражением. Весь план строится на уверенности, что английский народ с ликованием примет ирландские и французские войска, вторгшиеся, чтобы возвратить на трон католика. Бóльшую нелепицу невозможно вообразить — Вы легко проверите это по своим источникам. Посему наиболее вероятно, что выписанные Вами в Лионе векселя не достигнут Лондона и не будут предъявлены к оплате; транзакцию отзовут, а Вам останутся проценты от сумм, переведённых в Лион. В худшем случае векселя всё же предъ-

явят к оплате, что для Дома Хакльгебера будет рутинной, хоть и крупной операцией.

Я всячески склоняю господина графа де Поншартрена, мсье Бернара и мсье Кастана к выбору Дома Хакльгебера в качестве банка для этой транзакции. Сейчас они настроены вполне положительно, однако, как Вы знаете, конкуренция в Лионе весьма высока, и я не могу принудить их к сотрудничеству с Вами. Постараюсь и дальше незаметно действовать в Вашу пользу, если только Вы не дадите мне указаний противоположного свойства.

Взамен я ничего не прошу, лишь выражаю надежду, что Вы будете ко мне благосклоннее и, возможно, позволите в будущем, если я придумаю способ выбраться в Лейпциг, нанести короткий визит Иоганну (в Вашем присутствии, коли пожелаете).

Остаюсь Ваша, майн герр, нижайшая и покорнейшая слуга

Элиза, герцогиня д'Аркашон, графиня де ля Зёр.

Элиза – королю Вильгельму III Английскому
12 апреля 1692

Ваше Величество!

К настоящему времени Вы наверняка слышали из сотни разных источников, что готовится вторжение в Ваше королевство с полуострова Котантен. Вероятно, Вам известно даже, что корабли должны отплыть из Шербура в третью или четвёртую неделю мая. Посему не буду тратить Ваше время, излагая эти факты. Я обращаюсь к Вам не как английская шпионка, а как радетельница за благо Франции. Вторжения нельзя допустить. Это гибельное безрассудство. Его поражение не укрепит безопасность Англии (ибо затея обречена с самого начала) и не принесёт ей славы. Французы убедили себя в обратном. Почему-то они уверились, что вся Англия против Вашего Величества, а Ваши армия и флот кишат тайными якобитами, которые по первому сигналу перейдут на сторону Якова Стюарта; что Британский флот пропустит французские корабли через Ла-Манш, английские полки рассеются, едва французы

высадятся в Уэссексе, а весь английский народ с ликованием примет ирландских и французских захватчиков. Возможно, так оно и есть, но, на мой взгляд, трудно вообразить бóльшую нелепость. Я подозреваю, что Ваши эмиссары во Франции, прикидываясь недругами Вашего Величества, нашёптывают французам всякого рода льстивую и соблазнительную чушь о готовности Англии к якобитскому мятежу. Коли так, обман удался чересчур хорошо, и французы, преисполнившись ложной самонадеянности, принялись изобретать стратагемы, которые представляются Вашей покорной слуге чистейшим безумием.

Умоляю Вас написать письмо или отправить посла к Людовику XIV, объявить, что Вы знаете о планах вторжения, и убедить короля в гибельности его планов. Если французским солдатам и морякам суждено пасть на поле брани, пусть они погибнут в честном бою, а не пойдут на дно морское в погоне за химерой.

Элиза, герцогиня Йглмская, герцогиня д'Аркашон

P.S. Я отправила три копии письма на трёх разных контрабандистских судах. Если получите лишние экземпляры, то примите, пожалуйста, мои извинения в назойливости; однако то, что в

них написано, очень для меня важно.

Элиза – шевалье д'Эрки
13 апреля 1692

Мсье!

Спасибо, что помогаете переправить эти письма в Англию. Я бы никогда не нашла нужных людей без Вас, бретонца по рождению и воспитанию, знающего все укромные бухточки залива Сен-Мало. Умоляю простить, что меня насмешило выражение Вашего лица. Исключительно разумно с Вашей стороны было вскрыть письма, прежде чем отправлять их через Ла-Манш, ибо кто знает, что могло бы содержаться внутри. Не раз случалось, что коварный интриган убеждал женщину благонамеренную, но неумную, взяться за доставку писем, содержащих губительные сведения. Я не только не рассердилась, но и считаю себя Вашей должницей за то, что Вы предусмотрительно вскрыли письма, прежде чем отдать их контрабандистам. В свою очередь, умоляю простить мой смех, вызванный тем, что Вы, распечатав их, увидели страницу за страницей бессмысленной чепухи. Как Вы, наверное, уже догадались, я владею акциями, продаваемыми на

Лондонской и Амстердамской биржах. Из-за войны мне трудно связываться с моими брокерами по каналам, действующим в мирное время. Вот почему я обременила Вас просьбой переслать эти письма. В силу своей природы они состоят преимущественно из чисел и финансового жаргона, посему не удивляйтесь, что не смогли их понять.

Это возвращает нас к делу. Вам следует знать, что средства мои ограничены и по большей части не могут быть обращены в наличную форму. Впрочем, достояние де Лавардаков, в частности, земли, приносит ренту. Расходы семейства весьма велики, тем не менее дела ведутся так хорошо, что время от времени образуется небольшой излишек. Моя задача — вложить его во что-нибудь прибыльное. Возможности представляются каждый день; я стараюсь распределить капитал наиболее разумным способом.

Так что слухи, которые, очевидно, до Вас дошли, не лгут. Я несколько раз приобретала долговые обязательства у лиц, ссудивших деньги французскому казначейству и обнаруживших, что проценты по этим ссудам не покрывают насущных нужд.

Как всякая рыночная операция, наша сделка должна быть выгодна обеим сторонам. Для

исходного заимодавца (то есть для Вас) выгода состоит в том, что Вы получаете звонкую монету взамен подписанной генеральный контролёром бумаги с обещанием процентов. В чём выгода для меня, объяснить труднее. Это услуга, которую я оказываю королю. Довольно сказать, что, консолидируя множество мелких долгов в единый пакет, составляющий весомую часть государственного долга, я вношу ясность и простоту в весьма запутанное положение дел, способствуя тем самым финансовому здоровью Франции.

Всё это вступление необходимо, чтобы перейти к весьма неприятной теме условий. А именно, мы должны решить, с каким дисконтом вы уступаете свой заём, то есть сколько турских ливров вы получите за каждую сотню турских ливров переданного правительству капитала. Разумеется, людям благородного звания такие материи претят. По счастью, мы можем обратиться к беспристрастному судье: рынку. Если бы вы единственный во Франции пытались продать такую бумагу, нам пришлось бы действовать без оглядки на обычаи и прецеденты. Воспоследовали бы долгие споры, каждое слово которых ниже нашего достоинства как французских дворян. Однако таких прецедентов сотни. Я сама приобрела

не менее восьмидесяти шести займов. В данный момент Вы — один из семерых, предлагающих мне такую возможность. Когда участников много, цена возникает как по волшебству. Посему могу сообщить Вам, что сто турских ливров французского правительственного долга три года назад стоили восемьдесят один турский ливр. Два года назад цена составляла шестьдесят пять турских ливров, год назад держалась около сорока, а сейчас упала до двадцати одного. Это значит, что за каждую сотню турских ливров, переданную Вами правительству, я заплачу Вам сейчас двадцать один турский ливр. Завтра цена может снова вырасти, в таком случае Вам разумнее придержать заём, а может ещё упасть, в таком случае Вам стоит продать его сегодня. Увы, я ничего не могу Вам по этому поводу посоветовать.

Я известила моего поверенного в Версале, мсье Ладона, что Вы, возможно, к нему обратитесь. Он весьма сведущ в подобных сделках, ибо, как я писала, заключил их более восьми десятков. Если Вы решитесь на продажу, он проследит, чтобы все бумаги были оформлены надлежащим образом.

В заключение ещё раз благодарю за помощь с доставкой писем в Англию. Возможно, в ближайшем будущем мне потребуется отправить ещё

несколько, но теперь, когда Вы показали мне, куда идти, и свели меня с нужными людьми, мои слуги, среди которых есть старые моряки из Дюнкерка, справятся самостоятельно.

Элиза, герцогиня д'Аркашон

Кофейня Исфахнянов, рю де л’Оранжери
26 апреля 1692

— Вы ожидали увидеть кого-то совершенно иного? Ничего страшного, мадам. Я тоже.

Таким словесным залпом Самюэль Бернар представился Элизе, стремительно шагая через всю кофейню к её столику.

Договорившись о встрече в кофейне, а не в салоне и не во дворце, Элиза и так отсекла многодневные предварительные манёвры, связанные с обменом приглашениями и всем прочим. Теперь Бернар одним махом перескочил через полчаса светской болтовни, начав разговор с порога. Он надвигался с таким видом, будто собирается взять Элизу под арест. Сидящие за столиками повернулись к нему, застыли и тут же отвели глаза. Те, кому хотелось уставиться, обратили взор к окнам и уставились на его карету и эскадрон вооружённых телохранителей.

Бернар схватил Элизину руку, словно брошенную перчатку, выставил для равновесия правую ногу, низко поклонился, прижал к её пальцам

сухие губы и осиял всё вокруг своим блеском. Блестел он потому, что в тёмную ткань его камзола были вплетены золотые нити.

— Вы думали, я еврей, — сказал он и сел.

— А вы что обо мне думали, мсье?

— Полноте! Вы знаете ответ, просто не думаете. Почему вы вообразили, будто я еврей?

— Потому что все так говорят.

— Но *почему?*

— Потому что они обманываются.

— Когда обманываются люди, в остальном вполне сведущие, это значит, что они хотят обмануться, не так ли?

— Наверное, да.

— Так почему они хотят обманываться на мой — и на ваш — счёт?

— Мсье Бернар, я отвыкла от того, чтобы разговоры начинались столь стремительно! Позвольте мне перевести дух. Не желаете ли чего-нибудь заказать? Это я не к тому, что вам надо ещё взбодриться.

— Кофе! — крикнул Бернар одетому турчонком армянскому мальчику с пушком на верхней губе.

Тот робко подбирался к столику, страшась Бернара, но понуждаемый выразительными взгляда-

ми и чуть заметным пощёлкиванием пальцами со стороны хозяина кофейни Христофора Исфахняна. Услышав заказ, гарсон обрадованно юркнул в кухню. Бернар оглядел кофейню.

— Я почти готов поверить, что нахожусь в Амстердаме.

— Из уст финансиста это хвала, — сказала Элиза, — однако, полагаю, декоратор хотел убедить вас, что вы в Турции.

— Убедил ли он вас?

— Нет, но я бывала в амстердамских кофейнях и разделяю ваше мнение.

— Вы не сказали, что были в Турции.

— Об этом надо было упомянуть? Или это все про меня говорят?

Бернар улыбнулся:

— Вот мы и вернулись к своей теме! Обо мне говорят, что я еврей, о вас — что вы одалиска, засланная сюда турецким султаном в качестве лазутчицы…

— Что?!

— Именно так.

Бернар, надо отдать ему должное, умел, огорошив собеседника, тут же сменить тему. Элиза решила взять с него пример и не задерживаться на себе и турецком султане.

— Я вижу между нами лишь одно общее — призвание к финансам.

Бернар дал понять, что не вполне удовлетворён отгадкой. У него был длинный французский нос, близко посаженные глаза и рот, изогнутый в уголках наподобие лука. Лицо выражало то ли растерянность, то ли крайнюю сосредоточенность; возможно, и то, и другое. Он что-то силился ей втолковать.

— Почему я ношу парчу? Потому что я щёголь? Нет! Я хорошо одеваюсь, но я не щёголь. Нося парчу, я хочу о чём-то себе напомнить…

— Я думала, это должно напоминать *другим,* что вы…

— Богатейший человек Франции? Это вы хотели сказать?

— Нет, но это то, что я подумала.

— Ещё один слух — вроде того, что я — еврей. Нет, мадам, я ношу парчу, потому что таково моё ремесло.

— Вы сказали *ремесло?!*

— Мои родители были гугеноты. Меня крестили в протестантской церкви Шарантона — католики разрушили её несколько лет назад. Мой дед был придворный портретист, отец — гравёр. Однако мне бог не дал таланта к живописи, посему я

пошёл в подмастерья к торговцу тканями.

— И отслужили весь срок ученичества?

– *Porquoi non*, мадам? Тогда, как и сейчас, я исполнял всё, на что подрядился. Формальное моё звание — *maître mercier grossiste pour draps d'or, d'argent, et de soie de Paris* [23].

— Кажется, я наконец поняла, к чему вы клоните, мсье Бернар. Вы хотите сказать, что мы оба — белые вороны.

— Нас невозможно взять в толк! — Бернар вскинул обе руки и растерянно поднял брови, изображая придворного. — Для этих людей… (он указал через рю де л'Оранжери на Версаль) мы то же, что метеоры, кометы, солнечные пятна для астрономов — чудовищные аномалии, грозные знамения нежеланных перемен, доказательство разлада в системе, якобы созданной рукой Божьей.

— Я слышала нечто подобное из уст маркиза д'Озуара…

Бернар не стал дослушивать до конца столь глупую фразу; он втянул воздух и закатил глаза.

— Что он знает о *нас?* Он — яркий образчик тех, о ком я говорю — сын герцога. Да, незаконный, и

---

[23] Примечания: 23

Парижской гильдии оптовый торговец тканями золотыми, серебряными и глазетовыми (*фр.*).

по-своему предприимчивый, но всё равно типичный представитель существующего порядка.

Элиза сочла за лучшее промолчать. Бернар говорил очень странные вещи — словно подстрекал её, герцогиню, к вооружённому мятежу. Он, почувствовав смущение собеседницы, сбавил напор. Подошёл, шаркая туфлями, гарсон с ярким подносом, на котором стояла крохотная чашечка в узорчатой серебряной подставке. Элиза поглядела в окно, чтобы дать Бернару насладиться первыми глотками. Его телохранители давно выстроились в оборонительный периметр вокруг кофейни Исфахнянов. Однако, глядя дальше, наискосок через рю де л'Оранжери, Элиза могла видеть большой прямоугольный участок, огороженный с трёх сторон галереей, а с юга открытый слабым лучам весеннего солнца. Апельсиновые деревья в ящиках с землёй по-прежнему стояли в тёплой галерее, ибо последние ночи выдались холодными и ясными. Однако сегодня сад был полон пальмами; их-то колеблемые ветром листья, а вовсе не псевдотурецкое убранство кофейни, позволяли вообразить, что она сидит перед садом во дворце Топкапы.

Бернар немного успокоился.

— Не бойтесь, мадам, мы оба — я и отец — после

отмены Нантского эдикта перешли в католичество. Как вы сочетались браком с наследным герцогом.

— Не вижу, что тут общего.

— Это, если позволите, таинства, которые мы приняли, дабы выказать покорность существующему порядку. Порядку, который мы подрываем, следуя тому, что вы так метко назвали призванием к финансам.

— Не уверена, что готова с вами согласиться, мсье.

Бернар не желал слышать её слабых протестов.

— Рано или поздно король, возможно, сделает меня графом или кем-нибудь в таком роде, и все притворятся, будто забыли, что я когда-то был подмастерьем. Однако не обманывайтесь. Для них вы и я — такие же дворяне, французы и католики, как *он!* — Бернар выбросил руку, словно нанося удар кинжалом. Он указывал на потолочную роспись, изображавшую огромного полуголого гашишина в алом тюрбане и с ятаганом в руке. — Вот почему говорят, будто я еврей; другими словами — необъяснимое чудище.

— Поскольку здесь остались одни необъяснимые чудища, — сказала Элиза (и впрямь, бóльшая

часть посетителей в спешке покинула кофейню), — возможно, мы…

— Ну, разумеется. Давайте ещё раз посмотрим цифры. — Бернар сморгнул. — Численность войска — около двадцати тысяч. Солдат получает пять су в день; итак, нам нужно пять тысяч ливров в день. Сержантов примерно вдесятеро меньше, чем рядовых, но получают они вдвое больше — прибавляем ещё тысячу. Лейтенант получает ливр в день, капитан — два с половиной; так или иначе, если сложить всех, считая драгун, кавалерию и прочая, набежит примерно восемь тысяч в день.

— Я округлила до десяти, чтобы учесть остальные расходы, — сказала Элиза.

— Справедливо. Так почему вы просите полмиллиона ливров в Лондоне?

— Мсье, я согласна, что Англия не так велика, как Франция, однако она много больше тех полосок земли в Нидерландах, за которые сражаются месяцами. Годами.

— Местности, о которых вы говорите, укреплены. Англия — нет.

— Метко подмечено, однако расстояние между Девоном, где высадятся войска, и Лондоном очень значительно. Вильгельму Оранскому, когда он

вторгся в Англию, потребовалось полтора месяца, чтобы пройти этот путь.

— Ладно, соглашусь, что оплата армии в течение пятидесяти дней — то есть почти двух месяцев — составляет полмиллиона ливров. Однако зачем чеканить в Лондоне все деньги до последнего пенни? По ходу кампании можно будет переправить в Англию ещё серебро.

— Возможно да, мсье, а возможно и нет. Я знаю лишь эту одну возможность и стараюсь использовать её сполна. Вы всё усложняете. Меня попросили оценить, сколько денег нужно войскам. Мы с вами согласились, что полмиллиона ливров — прикидка щедрая, но вполне правдоподобная. Для нормальных коммерческих каналов сумма не чрезмерно велика. Я прошу столько, сколько, по моему мнению, понадобится. Если половину этого отчеканят в лондонском Тауэре, сделку можно будет считать успешной.

— Всё осложняется тем, что сделку придётся совершать через Лион, — сказал Бернар. — Депозиту трудно будет проглотить такой кусок. Если бы мы могли перевести деньги через открытый рынок, где есть настоящие банки…

— Мсье Бернар. Вы меня искушаете. Ибо для меня нет ничего приятнее, чем сидеть с вами всё

утро и весь день, пить кофе и обсуждать изъяны Лиона и Депозита. Однако по долгой традиции Лион — единственная связь Франции с мировой финансовой системой, посему деньги придётся отправлять через Лион. Да, он несколько чудноват, но, по счастью, в нём есть представительства торговых домов, например Дома Хакльгебера, имеющих доступ к открытым рынкам в других городах.

— Я понимаю, мадам, — сказал Бернар. — Однако возможности Депозита не безграничны. Франция воюет не на одном фронте. Средства из казны требуются на многое.

— Мсье Бернар, я видела серебро собственными глазами, в трюме яхты господина графа де Поншартрена у Сен-Мало. Просто нужен другой, более безопасный способ перевести его в Лондон.

— Нимало не сомневаюсь, мадам. Однако в военное время велико будет искушение пустить серебро на другое — потратить его дважды.

— Теперь я понимаю, почему вас сторонятся придворные щёголи, мсье. Чрезвычайно грубо с вашей стороны предположить, что господин граф де Поншартрен способен на такие махинации.

— Ах, мадам, но я ничего не говорил о сем достойном муже. И не он принимает решения в

рассматриваемом вопросе — ибо, насколько мне известно, господин граф де Поншартрен — не король Франции.

— Сейчас вы позволили себе ещё бóльшую дерзость!

— Ничуть. Ибо король есть король, он волен тратить свои деньги дважды или даже трижды, и ни я, ни один другой француз не вправе его осуждать! Для Депозита, однако, разница будет весьма существенна.

— Предположим, от Депозита потребовали приспособиться к новым условиям, он не справился, и в итоге Франция обзавелась современной банковской системой. Не было бы это лучше для Франции и для вас, мсье?

— Для меня, возможно, да и для вас тоже. Для Франции это будет серьёзная ломка.

— Моё дело маленькое. Я — та же хозяйка, идущая на рынок за репой. Если мой всегдашний продавец потребует слишком много за репу низкого качества, которой к тому же у него мало, я пойду к другому.

— Отлично, — сказал Бернар. — Сегодня я еду в Лион для встречи с мсье Кастаном. Я мог бы изложить ваши предложения Депозиту и выяснить, хватит ли у них репы.

— Мсье, что делают в вашей фразе слова «мог бы»? До сих пор я не замечала в вас склонности к кокетству.

— У вас есть дом в Сен-Мало.

— Вы правы, мсье.

— Говорят, вы очень его любите — больше, чем Ла-Дюнетт. — Бернар поглядел в общем направлении поместья, ибо Ла-Дюнетт располагалась не больше чем в двух выстрелах от рю де л'Оранжери, однако увидел лишь очередную аляповатую стену, расписанную сражающимися турками.

— Вам бы там тоже понравилось, ибо Сен-Мало — место, где правит коммерция.

— Понимаю. Ведь именно туда, если я не ошибаюсь, приходят корабли «Компани дез Инд»?

— Туда приходит много кораблей, мсье, но если вас интересует Индия, мы можем о ней потолковать.

— Как она может не интересовать *нас?* Вы представляете, какие прибыли делают в той части мира Голландская и Британская Ост-Индские компании?

— Ну конечно, мсье. Они вошли в пословицу. Как и постоянные крахи и возрождения «Компани дез Инд». Спросите господина маркиза д'Озуара…

— Прошлое и без того хорошо известно. Меня занимает будущее.

— Тогда вы определённо бессовестно кокетничаете, мсье Бернар, поскольку я не могу долее сдерживать любопытство. Что вы думаете?

— Ничего.

— Ерунда!

— Истинная правда. Просто я смотрю на «Компани дез Инд» — и ничего не вижу! Ничего не происходит. Что-то должно происходить. Я заинтригован.

— Вы чуете возможность.

— Как и вы, мадам.

— О… вы о серебре в Лондоне?

— Теперь вы со мной кокетничаете. Мадам, в моих силах осуществить то, о чём вы просите. Я принял католичество, но сохранил связи с гугенотами, бежавшими из Франции. Многие отправились в Лондон или другие места и процветают. Вам это известно, поскольку вы заполнили пустоту, оставшуюся после них в «Компани дю Норд». Вы покупаете у них лес в Швеции и Ростоке. Посему да. Я могу обеспечить перевод вашего серебра и обеспечу. Однако прибыли мне сделка не принесёт, а труда потребует много. Кредит мсье Кастана в Депозите будет на время превы-

шен. Мне придётся выкручивать ему руки. И я очень не люблю иметь дело с Лотаром.

— Прекрасно. Так чем я могу, мсье, выразить вам свою признательность за столь многочисленные хлопоты?

— Вы можете направить своё внимание на загадочную «Компани дез Инд» в далёком Сен-Мало. Вас ведь, как я понимаю, она не интересует?

— Ничуть, мсье; меня занимает лишь «Компани дю Норд».

— Прекрасно. Так вы поделитесь со мною мыслями и наблюдениями касательно первой?

— С превеликой охотой, мсье.

— Отлично. — Бернар встал. — Итак, я еду в Лион. О ревуар.

— Бон вояж.

И Самюэль Бернар вышел из кофейни Исфахянов так же стремительно, как туда вошёл.

Золочёный стул ещё не успел остыть, когда на него опустился Бонавантюр Россиньоль.

— Я видела, как короли путешествуют с меньшей охраной, — заметила Элиза.

И она, и Россиньоль некоторое время любовались, как от кофейни отъезжает карета Бернара в сопровождении экипажей поменьше, верховых телохранителей, конюхов, запасных лошадей и

тому подобного.

— Многие короли подвергаются меньшей опасности, — отвечал Россиньоль.

— О, я и не знала, что у мсье Бернара столько врагов.

— У него не такие враги, как у короля: конкретные люди, желающие ему зла и способные действовать сообразно с этим желанием. Просто время от времени французов охватывает слепая ярость, которая не утихает, пока они не вздёрнут или не сожгут парочку финансистов.

— Он пытался меня предупредить, — сказала Элиза, — однако эскадрон наёмников куда красноречивее слов.

— Занятно, — произнёс Россиньоль, переводя взгляд на Элизу. — Я знаю, что вы замужем за герцогом, делите его ложе, вынашиваете его детей, однако не чувствую и капли ревности. Но когда я вижу, как вы говорите с Самюэлем Бернаром…

— Выбрось это из головы, — отвечала Элиза. — Ты ничего не понимаешь.

— Как не понимаю? Пусть я математик, но всё же я знаю, что происходит между мужчиной и женщиной.

— Да, но ты не коммерсант и представить себе не можешь, что происходит между такими, как

я и Бернар. Не тревожься. Будь ты коммерсантом, меня бы к тебе не влекло, как не влечёт к Бернару.

— Вы определённо кокетничали.

— Естественно — но кокетство это ведёт к делам отнюдь не постельным.

— Я окончательно запутался. Вы меня дразните.

— Полно тебе, Бонбон! Давай разберёмся. Кого из всех немцев я выбрала себе в друзья?

— Лейбница.

— А кто он?

— Математик.

— В Голландии?

— Гюйгенса… математика.

— В Англии?

— Даниеля Уотерхауза. Натурфилософа.

— Во Франции?

— …

— Ну же! Когда я впервые попала в Версаль и вокруг меня увивалась куча любвеобильных герцогов, кому я отдала свои чувства?

— Вы отдали их… математику.

— Как звали математика? — Элиза поднесла ладонь к уху.

— Его звали Бонавантюр Россиньоль, — сказал

Бонавантюр Россиньоль и быстро огляделся, проверяя, не слышал ли его кто-нибудь.

— Когда я попала в беду под Сен-Дизье, кто первый об этом узнал?

— Тот, кто читает всю почту. Бонавантюр Россиньоль.

— И кто прискакал мне на выручку через пол-Франции, отправился со мной на север в Нимвеген и усадил меня на корабль?

— Бон…

— Довольно. Имя звучное и хорошо известное. Однако я предпочитаю называть его Бонбоном.

— Отлично. Это был Бонбон.

— Кто овладел мною на берегу Мёза?

— Этьенн де Лавардак.

— Кто ещё?

— Бонбон.

— Кто придумал, как мне выбраться из западни?

— Бонбон.

— Кто помог мне замести следы, подделал документы, солгал королю и д'Аво?

— Бонбон.

— А кто отец моего первенца?

— Понятия не имею.

— Это потому, что ты не хотел на него смотреть,

пока была такая возможность. Однако я скажу тебе, что Жан-Жак очень похож на Бонбона — в нём нет и следа порченой крови де Лавардаков. Ты его отец, Бонбон.

— К чему вы клоните?

— Я всего лишь говорю, что нелепо ревновать меня к Самюэлю Бернару. Мои и его дела — ничто в сравнении с нашим романом и общим сыном.

Взгляд Бонбона рассеянно остановился на знаменитой многоглавой мечети, украшающей стену за Элизиной спиной.

— Вы напомнили мне о том, что я предпочёл бы забыть. Я мог бы справиться получше.

— Ерунда!

— Я мог бы полностью избавить вас от обвинений в шпионаже.

— Возможно, да. Но я думаю, всё обернулось к лучшему.

— Что?! Вы вышли замуж за человека, которого не любите, а Жан-Жака похитил выживший из ума саксонский банкир?

— Это ещё не конец истории, Бонбон. Сегодня мы встретились, чтобы её продолжить.

— Да. И место выбрано занятное. — Россиньоль подался вперёд и понизил голос так, что Элизе, дабы расслышать, пришлось почти коснуться

лбом его лба. — Два года я читаю все письма этих людей, но никогда не видел их лиц и не пил их кофе.

— Он тебе нравится?

— Лучше обычного, — признал Россиньоль, — хотя сам по себе не настолько хорош, чтобы вы и герцогиня д'Уайонна неустанно пели ему хвалы.

— Вот видите! Чего только я не сделаю ради криптологии! — Элиза с улыбкой развела руками, приглашая Россиньоля восхититься великолепием кофейни Исфахнянов. — Что-нибудь за последнее время узнал?

— Здесь не время и не место об этом говорить! Впрочем, в любом случае нет. Я был слишком занят, читая *ваши* письма.

— Интересное чтение?

— Даже чересчур. Лотару вы пишете: «Вторжение в Англию наверняка отменят», финансисту в Лион: «Вторжение близко, нам надо будет платить войскам!»

— Ты не знаешь и половины.

— Я тревожусь, как бы вы вновь не угодили в беду и не вынудили меня скакать куда-то во весь опор, подделывать документы, лгать высокопоставленным лицам… что я сделаю с превеликой охотой, — торопливо добавил он, заметив, что

Элизины губки начали надуваться. — Но чудо, что вам простили прежний раунд обмана и шпионажа. Второй раз…

— Ты ровным счётом ничего не понял, — сказала Элиза. — Это было не прощение, а экономическая сделка. Я и не вышла сухой из воды, как тебе представляется, а заплатила чудовищную цену, которую ты не в силах вообразить. Ты, возможно, думаешь, что я вновь окунулась в море интриг после двух лет передышки — спокойных лет для тебя, Бонбон, но мне всё это время казалось, будто я под водой, и только сейчас всплыла настолько, что снова могу дышать. Я буду изо всех сил царапаться когтями, пока не выберусь окончательно.

— Вы никогда окончательно не выберетесь, — заметил Россиньоль, — но если ваша натура требует царапаться, то царапайтесь, сколько хотите. Кстати, спина моя с прошлого раза совсем зажила…

— Сегодня у меня ещё три светские встречи, но, может быть, я выкрою время для четвёртой. — Элиза положила на стол перед Россиньолем стопку писем. — Я собиралась их отправить, но подумала: почему бы просто не отдать напрямик Бонбону?

— Я расшифрую их в ожидании вашей четвёр-

той светской встречи, — сказал Россиньоль. — А вот то, что пришло вам. — И он вручил Элизе пакет.

— Спасибо, Бонбон. Что-нибудь интересное?

— В сравнении с тем, что мне по большей части приходится читать? Безусловно, мадам.

Даниель Уотерхауз – Элизе
19 апреля 1692

Получил Ваше недавнее письмо с настоятельной просьбой срочно рассказать о Монетном дворе и тех, кто им заведует. Ума не приложу, зачем Вам понадобились эти сведения в такой спешке. Уверяю Вас, Вы обратились не по адресу. Обращаться следовало к маркизу Равенскару. Я взял на себя смелость передать Ваши вопросы ему. Можете рассчитывать на его умение хранить тайны. Надеюсь, что у Вас всё хорошо.

Неизменно Ваш и прочая

Даниель Уотерхауз

Роджер Комсток, маркиз Равенскар – Элизе 20 апреля 1692

Эпистола

Её сиятельству ЭЛИЗЕ, герцогине Аркашонской и (хотя во Франции этого не признают) Йглмской

Мадам!

Смиреннейше повергаю к ногам Вашим сие послание и молю Всевышнего, дабы Вы сочли оное удовлетворительным ответом на вопросы, направленные Вами моему мудрому собрату, доктору Даниелю Уотерхаузу, члену Королевского общества.

АПОЛОГИЯ

Олимп красы подобной не вмещал,
Елены лик сон у богинь отъял.
По-нашему, не велика напасть,
Но в горних возрастает всяка страсть —
Флот пенит море, меж богов разлад,
Погибли храбрецы, в руинах град.

ЭЛИЗЫ слава мчит через пролив —
Французы, светоч под сосудом скрыв,
Держали про себя досель,
Но блеск, что светит в каждую щель
Всё ж не сумели утаить;
Богини стали слёзы лить
Мужчины смотрят в трепете и рады,
Что миновали веки Илиады.

СУДАРЫНЯ!

Вы, привычная к бесподобному Версалю, нашли бы Лондон недостойным Вашего взора, особливо же мой дом на Ред-Лайон-сквер, доселе являющий собой лишь груду камней и брёвен. Единственным украшением оного служит архитектор, доктор Даниель Уотерхауз, секретарь Королевского общества, каковой с прилежностью, ему свойственной, надзирает за работами, проводит измерения, составляет чертежи, и прочая, и прочая. Сегодня я встретился с доктором Уотерхаузом по поводу строительства и в ходе дружеских возлияний узнал, что его удостоила письмом несравненная герцогиня Аркашонская и Йглмская, весьма обсуждаемая в кругах английской знати, ибо иные утверждают, будто ум её

уступает лишь красоте, иные же ставят первое превыше второго. Не имею по сему поводу собственного мнения, понеже, ослеплённый блеском ума, коим сквозит послание доктору Уотерхаузу, смею лишь предположить, что, удостоившись личной встречи, был бы в равной мере ошеломлён сиянием красоты Вашей. Посему, отодвигая в сторону вопрос, на каковой не могу ответить за отсутствием данных (хотя, уверяю Вас, не по недостатку любопытства), обращусь к вопросам, заданным Вами доктору Уотерхаузу в недавнем послании, а именно, кто заведует Монетным двором в лондонском Тауэре и резонно ли допустить, что он — добрый тори?

Ответы, соответственно: сэр Томас Нил и, да, такое допущение резонно, хотя и ОШИБОЧНО. Резонно, ибо, как Вы наверняка слышали, в правительстве нашем с выборов 90-го года царит засилье тори. Ошибочно, поскольку должности и привилегии в нашем королевстве распределяются не сообразно РЕЗОНАМ, а ПОСКОЛЬКУ МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛИ. И сэр Томас Нил, смотритель Монетного двора, занимает свой пост не потому, что он тори (насколько у него вообще есть убеждения, убеждения эти виговские, а насколько есть друзья, они — виги), но потому, что

Яков II назначил его на эту должность сразу по восшествии на престол в феврале 1685 года. До тех пор сэр Томас был камерцалмейстером при дворе Карла II. Обязанности камерцалмейстера определены нечётко и не поддаются точному переводу на язык и обычаи Франции. Номинально он заведует убранством монарших покоев. Поскольку оное меняется редко, обязанности эти не отнимают много времени, соответственно значительную часть своего рвения камерцалмейстер направляет на предметы более мелкие и подверженные износу, как то: карты и кости. Каковы бы ни были личные изъяны сэра Томаса, даже самые суровые его критики охотно признают, что никогда ещё человек и место так не подходили друг другу, как сэр Томас Нил и пост хранителя королевских игральных костей.

Должность смотрителя Монетного двора по сути своей весьма отлична, и скептики могли бы возразить, что на неё следовало назначить человека совершенно иного склада. Однако никто не сказал этого Якову II, или сказали, а его величество не понял. Иные даже увидели в назначении сэра Томаса на должность смотрителя Монетного двора новое свидетельство (как будто требовались ещё свидетельства!) окончательной победы

некой хвори над разумом короля. Те из нас, кто более добр к ближним, разглядели в назначении определённую логику. В ослабевшем рассудке Якова сэр Томас оказался связан с костями и картами, каковые ассоциируются с деньгами, посему сэр Томас лучше всех в стране будет чеканить деньги, что и требовалось доказать.

Я хорошо знаком с сэром Томасом, поскольку сей, вообразив во мне доступный источник капитала, всемерно стремится поддержать нашу дружбу. Вы тоже, сударыня, можете устроить так, чтобы получать от него письма и даже по нескольку раз в неделю замечать его слоняющимся перед Вашим крыльцом — лишь дайте ему повод заподозрить, что располагаете лишним капиталом, который хотели бы пустить на какую-нибудь финансовую авантюру. Ибо если иные дельцы приходят в мир коммерции из мореплавания, а иные — из университета, то сэр Томас пришёл туда из азартных игр, и не таких, где ставят по маленькой, а королевского размаха. И если иной коммерсант представляет метафорой финансового предприятия дальнее плавание, то сэр Томас видит в своих прожектах бросок костей. Коммерсант морского склада старается повысить прибыль и снизить риск, тщательно оснащая

судно, набирая добрых матросов, посматривая на барометр и прочая, и прочая; для сэра Томаса самое удачное предприятие — то, в котором все кости со свинцом, карты помечены, а колода подтасована, и чем больше, тем лучше. Потому-то я не исключаю его из круга моих друзей; хоть я никогда не рискну капиталом ни в одном из коммерческих начинаний сэра Томаса, слушать, как он их объясняет, — истинное удовольствие, подобное чтению захватывающего плутовского романа.

Замечу мимоходом, что сопоставление Яковом II добывания денег с азартной игрой было не так безумно, как нам тогда представлялось. В период вынужденного бездействия после сокрушительных выборов 90 года я имел досуг взвесить различные планы по сбору средств для правительства, испытывающего острую нехватку денег на ведение войны. Мы подумываем об общенациональной лотерее. Рассказывать подробности значило бы понапрасну Вас утомлять; говорить, как сэр Томас отнёсся к этому проекту — оскорблять Вас неверием в Вашу догадливость. Время от времени мы встречаемся с математиками из Королевского общества, чтобы обсудить статистические тонкости.

В заключение скажу, что, ежели Вы хотите отчеканить здесь серебряные монеты в рамках некоего предприятия (подробности которого мне знать совершенно не обязательно), и ежели предприятие это выгодно тори (надеюсь, что не так; впрочем, не моё дело), и коли Вы вообразили, будто правительство тори имеет какую-то власть над Монетным двором, так что интересы Монетного двора совпадают с Вашими, то Вы заблуждаетесь. Вышесказанное не означает, что проект Ваш неосуществим. Если я правильно прочёл между строк Вашего послания, Вам всего лишь нужен друг, чтобы не сказать сообщник, на Монетном дворе, и Вы можете заручиться дружбою сэра Томаса, поразмыслив над характеристикой, изложенной в данном письме, и выработав соответствующий подход.

Искренне надеюсь, что сумел ответить на вопросы, заданные Вами доктору Уотерхаузу, к полному Вашему удовлетворению. Ежели это не так, или я (упаси бог) чем-то невольно Вас оскорбил, умоляю написать и дать мне возможность исправиться. Честь имею оставаться с глубочайшим восхищением и совершенною преданностию Ваш, сударыня, покорный слуга

РАВЕНСКАР

P. S. Если Вы намерены отчеканить из французского серебра английскую монету, чтобы платить жалованье ирландским и французским войскам, готовящимся к высадке из Шербура в третью неделю мая, то я восхищён Вашей находчивостью. Доставка денег из Тауэра на фронт будет представлять собой задачу определённой сложности, посему вот Вам моё предложение: если Королевский флот не потопит корабли адмирала Турвиля по пути через Ла-Манш, а папистские легионы, высадившись на английскую почву, не будут немедля уничтожены армией или разорваны в клочья разъярённою толпою английских селян, я лично перенесу все Ваши монеты в собственной заднице и сложу там, откуда их удобно будет забрать.

Лейбниц – Элизе
21 апреля 1692

Элиза!

Вы просили, и весьма настоятельно, сообщать Вам обо всех новостях из Лейпцига касательно Лотара фон Хакльгебера вообще и Жан-Жака или, как его называют, Иоганна, в частности. Дело осложнялось тем, что Лотар знает о моём с Вами знакомстве. Более того, я, признаюсь, разрывался между желанием исполнить Вашу просьбу и неохотой передавать сведения, могущие разбередить рану, нанесённую Лотаром полтора года назад.

Посему я избегал ездить в Лейпциг. Однако вчера Лейпциг явился ко мне сюда, в Ганновер. Как Вам наверняка известно, мои покровители, Эрнст-Август и София, до недавних пор герцог и герцогиня Ганноверские, давно домогались повышения своего статуса до курфюрста и курфюрстины. Франция противодействовала этому различными контрманёврами, подробности которых заполнили бы многие скучные томы. Опуская их, сообщу, что война, а в особенности

последние события на Савойском фронте, побудили императора действовать в пику Людовику XIV. Соответственно, две недели назад Эрнст-Август и София стали курфюрстом и курфюрстиной, то есть почти королём и королевой. Это вызвало целую череду юридических следствий и реорганизаций, которые придворные на Лейнештрассе будут мусолить ещё долгие годы. Некоторые перемены, разумеется, коснутся финансов, посему банкиры со всей Германии слетелись поздравить Софию и Эрнста-Августа, а заодно предложить им свои услуги. Меня эти люди занимают примерно как их — физика, за одним исключением: в числе приехавших оказался и Лотар фон Хакльгебер. София и Эрнст-Август пригласили его отобедать во дворце Герренхаузен под Ганновером. Гофмейстер, дополняя список гостей, включил и моё имя, поскольку я из Лейпцига и мою семью связывают с Хакльгеберами давние узы. О чём никто не мог знать, так это о моей дружбе с Вами и о возможной неловкости при упоминании Жан-Жака. София — столь просвещённая государыня и оказывает на Эрнста-Августа влияние столь благотворное, что им обоим не пришла бы и мысль заподозрить в одном из своих гостей жестокого похитителя младенцев. Без всякого умысла они пригласили

меня с Лотаром на один и тот же обед, да ещё усадили друг напротив друга!

Не могу описать, каково сидеть напротив такого человека в течение долгого обеда, не испортив Вам аппетит на ближайшие две недели. Ограничу свой отчёт беседой. Значительная её часть касалась войны и была более или менее интересна, но поскольку в Ваших краях, вероятно, ни о чём другом не говорят, сразу перейду к тому, что касается Вас лично.

Лотар, как я уже писал, приехал сюда с одной целью: поразить Эрнста-Августа и Софию своим умом, проницательностью и множеством связей в мире, посему в какой-то момент беседы, после некоего количества выпитого, взялся предсказать исход весенней кампании. Ибо что произведёт на правителя большее впечатление, чем успешное пророчество?

Франция, сообщил Лотар, потерпит на северо-западе фиаско — он употребил слово *«Fehlschlag»*, означающее неудачную попытку, срыв. Лотар явственно намекнул, что это произойдёт на английской почве или поблизости.

Разумеется, София не поддалась на такие театральные уловки. Она сказала: «Если вы так уверены в своём предсказании, барон фон Хакль-

гебер, что же вы разеваете рот, а не кошель? Рот-то у вас большой, да кошель, мы знаем, ещё больше». Все рассмеялись, даже Лотар. Когда смешки улеглись, он сказал, что именно так и поступит, то есть намерен вложить средства своего банка таким образом, чтобы получить прибыль в случае предсказанного *Fehlschlag*. Дабы придать своим словам вес, Лотар поклялся, что пожертвует некую сумму на любое доброе дело по выбору Софии и что в случае успеха деньги эти возьмутся из прибыли, а если он ошибётся в предсказании, то из его собственного кошелька.

На вопрос Софии, откуда такая уверенность, Лотар покосился на меня и сказал, что знает во Франции одну особу, довольно богатую и влиятельную, которая в прошлом держала себя заносчиво, а теперь получила урок и служит на задних лапках — он и впрямь употребил слово, применимое лишь к собакам. Вы понимаете, Элиза, насколько мне неприятно это передавать. Даже тех, кто не понял, о ком речь, покоробили слова Лотара.

Вот мои новости, как Вы и просили. Воистину я тоскую по тем дням, когда мои письма к Вам наполняла натурфилософия. Возможно, мы ещё вернёмся к этим беседам в более счастливое вре-

мя. До тех пор, честь имею, и прочая
Лейбниц

P. S. Вы спрашивали о новостях касательно Вашей приятельницы принцессы Элеоноры и её дочери. Я видел их Берлине; маленькая Каролина и впрямь так мила и сообразительна, как Вы её описывали. Элеонора обручилась с курфюрстом Саксонским, истинным чудовищем, чья любовница, по слухам, ещё хуже. Писать им следует, полагаю, ко двору курфюрста в Дрездене.

Элиза – Самуилу де ла Вега
5 мая 1692

Удивительное дело — во Франции называют евреями тех, кто не имеет к еврейству ни малейшего касательства. История долгая, и при встрече я смогу рассказать её в подробностях, сейчас же она напомнила мне про Амстердам, где евреи и впрямь евреи, что куда логичнее!

Впрочем, я пишу Вам и по другой причине. Некоторое время я не следила за амстердамским рынком, поскольку из далёкого Версаля невозможно делать это как следует. Однако в последние месяцы я занялась серебром. Подробности не важны, довольно сказать, что меня интересуют все колебания на рынке серебра в первой половине июня. Источники информации у меня не те, что прежде, и я низведена до положения маленькой девочки, прижавшейся носом к оконному стеклу; я вынуждена судить о тенденциях рынка по поведению более крупных и лучше осведомленных игроков.

Дом Хакльгебера пусть не самый крупный, но явно наиболее информированный концерн в

этой области. Соответственно, я решила ориентироваться на него. Если Хакльгеберы внезапно вывезут со своего амстердамского склада большую (несколько тонн) партию серебра, мне было бы желательно узнать об этом как можно раньше. Где склад, Вам известно. Если моя догадка верна, серебро отправится непосредственно на корабль в заливе Эйсселмер.

Не поручите ли кому-нибудь пронаблюдать за складом Хакльгеберов? Ближе к делу я сообщу уточнённую дату возможного начала операции. Мне надо знать следующее: название корабля и точное описание парусной оснастки, чтобы его можно было узнать издали, а также день и час его отплытия из Амстердама.

На следующей неделе я буду много переезжать с места на место, так что направьте все сведения моему доброму другу капитану Жану Бару в Дюнкерк. Капитан Бар абсолютно надёжен, так что не будет надобности (да и времени!) шифровать. Вы лучше меня знаете, как быстро переслать письмо, так что не стану давать советы, лишь предположу, что Вы, вероятно, захотите отправить его с верховым гонцом из Амстердама в Схевенинген и дальше быстроходным судном в Дюнкерк. Времени на подготовку более чем достаточно, но если

Вам нужна помощь с выбором судна, обратитесь к капитану Бару.

Думаю, что сообщила Вам довольно, чтобы Вы сумели сделать свои покупки на рынке серебра, каковые, надеюсь, принесут Вам выгоду, но если, паче чаяния, прибыль не покроет издержек, направьте Ваши жалобы мне в Сен-Мало, и они не останутся неуслышанными.

Элиза

Элиза – маркизу Равенскару
15 мая 1692

Вашей милости недавнее ко мне письмо сладкоречивостью своей затмевает все потуги французских льстецов. Должна, впрочем, сообщить, что по дороге оно попало в руки какого-то шкодливого мальчишки, приписавшего чрезвычайно грубый постскриптум.

Очень любезно с Вашей стороны было ответить на все мои глупые вопросы касательно Монетного двора. Как Вы, вероятно, догадались, я планирую принять участие в сделке, которая принесёт мне выгоду, только если цена серебра к концу мая вырастет. Надеюсь лишь, что к тому времени в Лондоне не скупят всё серебро! Сообщаю Вам по секрету, милорд, не желая, чтобы Вы, оказавши мне такую помощь, понесли убытки вследствие моих действий. Итак, знайте, что весьма неплохо будет располагать в Лондоне к концу мая большим количеством серебра. Только покупайте его незаметно, дабы не спровоцировать ажиотажный спрос и не взвинтить цену сверх разумных пределов. Ибо если люди увидят, что маркиз

Равенскар продаёт золото и покупает серебро, они решат, что Вы о чём-то проведали, и ринутся на Треднидл-стрит, чтобы последовать Вашему примеру. Хотя Вы, разумеется, выиграли бы на такой горячке, продав серебро на её пике (но никак не позднее середины июня), она принесла бы нынешнему правительству неисчислимые бедствия, коих Вы как добрый английский патриот наверняка предпочтёте избежать, пусть даже вы — виг, а в правительстве засели тори.

Элиза

Элиза – Самюэлю Бернару
18 мая 1692

Мсье Бернар!

Я следую из Сен-Мало в Шербур на яхте моего супруга. Из Шербура отошлю это письмо в Гавр; надеюсь, что оно скоро доберётся до Вас в Париже. Сама я пробуду в Шербуре до начала вторжения.

Сегодня утром в Сен-Мало я получила Вашу депешу от 12-го числа, в которой Вы сообщаете, что Вы получили переводные векселя и нуждаетесь лишь в указании, на кого их жирировать.

Это равнозначно просьбе сообщить Вам имена агентов, которые отправятся через Ла-Манш, дабы предъявить векселя к оплате. С сожалением должна уведомить, что имена их мне неизвестны (хоть я и предполагаю, кто это может быть). Даже зная имена, я поостереглась бы сообщать их письмом в военное время; вражеские шпионы повсюду, и рассудите сами, какая случится беда, если наших агентов разоблачат. По большей части это англичане, тайные приверженцы Якова Стюарта; если их схватят в Англии с векселями, то подвергнут казни за государственную измену,

то есть повешению не до полного удушения и четвертованию на Тайберне.

Надёжнее всего Вам будет жирировать векселя на доверенного посредника в Шербуре, который не покинет Францию до начала вторжения. Посредник сможет придержать векселя до последней минуты и жирировать на нескольких агентов непосредственно перед тем, как те соберутся пересечь Ла-Манш. Таким образом имена агентов останутся в тайне.

Что до личности посредника, на ум приходят несколько кандидатур, поскольку в Шербуре много достойных коммерсантов. Однако все они очень заняты. Мне тем временем решительно нечего делать, кроме как смотреть в окно каюты на корме мужниной яхты и наблюдать за приготовлениями. Как ни странно может показаться, векселя безопаснее всего доверить мне, ибо трудно вообразить, чтобы я пересекла Ла-Манш и попала в руки английских дознавателей; уже это одно должно заметно успокоить агентов, чьи имена я напишу на обороте векселей, прежде чем отправить их с опасной миссией. Посему, если у Вас нет серьёзных возражений, просто жирируйте векселя на меня и пришлите мне в Шербур.

Не знаю, как Лотар отправляет авизо в Лондон,

но, надо думать, его каналы быстрее наших, и его плательщики в Англии будут в полной готовности дожидаться наших получателей, когда те прибудут в Лондон.

Элиза

P. S. Мечтаю продолжить наш разговор о Сен-Мало. Торговцев из «Компани дез Инд», которые обычно расхаживали по городу как хозяева, потеснили и совершенно затмили капитаны и адмиралы военного флота. Соответственно коммерсанты отчаянно рвутся говорить с кем угодно о чём угодно, в том числе о состоянии нашей торговли с Индией. Голова моя распухла от сведений, и все они мне не нужны. После высадки войск нам надо будет встретиться в кофейне Исфахнянов, и я расскажу всё, что узнала.

Самюэль Бернар – Элизе
23 мая 1692

Госпожа графиня!

К сему прилагаю пять векселей, на сто тысяч турских ливров каждый, жирированных пока на Вас. Все они выписаны непосредственно под гарантии французского правительства в лице господина графа де Поншартрена. Если увидите его, то напомните, что цепочка кредита проходит через Вашего покорного слугу, моего друга мсье Кастана и различных членов лионского Депозита.

Хорошо, что я отправился в Лион, поскольку в конце концов мне пришлось самому вести переговоры с Лотаром. (Он, очевидно, был в Лионе, но мы ни разу не оказались в одной комнате — все обсуждения велись с его представителем Герхардом Манном.)

Мсье Кастан прилежен и аккуратен, однако, столкнувшись с чем-то экстраординарным, приходит в замешательство, а затем в раздражение. Так случилось в самом начале наших переговоров с Домом Хакльгебера. Я не сразу разгадал

причину: Лотар убеждён, что войска не высадятся в Англии, а если и высадятся, то сразу будут уничтожены. Соответственно переговоры по векселям получились странно двусмысленными. Официальная цель — обеспечить жалованьем войска в Англии, и условия надо было составить так, чтобы мы — то есть Франция — получили деньги в Англии, а Лотар — определённую прибыль. В этом смысле мы обрели искомое, сиречь законные векселя, которые Вы сейчас держите в руках. Однако, как я вскорости понял, Лотар рассчитывает сорвать большой куш при минимальном риске, выразив готовность перевести серебро для войны, которая на самом деле не состоится. По сути он страховал нас на случай, если срыв нашего вторжения сорвётся. Этого-то подтекста мсье Кастан не понимал и потому терялся от абсурдных, на его взгляд, требований Хакльгебера.

Вначале мы предлагали, чтобы сроки действия пяти векселей заканчивались с интервалом в неделю. Другими словами, мы рассчитывали, что вскоре после высадки войск наши агенты станут предъявлять по векселю в неделю в течение пяти недель, покуда армия будет продвигаться через южную Англию к Лондону. Мы полагали,

что для Лотара так будет предпочтительней, поскольку выплаты растягиваются на больший срок, что упрощает покупку либо доставку серебра и чеканку монеты. Тогда мы ещё наивно верили, будто Лотар рассматривает оплату векселей как благоприятный исход событий. Позже, как уже упоминалось, я понял, что для него осуществление сделки — риск, который нужно по возможности сократить. Соответственно ему не хотелось отодвигать сроки платежей, поскольку это означало бы растянуть риск (риск, что придётся выплатить серебро кому-то неизвестному в Лондоне) почти на два месяца. Срок действия первого векселя теоретически подходил бы через две недели после выписки его Лотаром в Лионе, то есть в середине мая. Срок последнего истекал бы в середине июля. В интересах Лотара было стеснить нашу свободу, ограничив срок действия векселей коротким промежутком времени вскорости после назначенной даты высадки. Тогда у нас оставалось бы совсем мало дней, чтобы предъявить векселя в Лондоне и получить всё серебро в один приём. Таким образом очень быстро решилось бы: всё или ничего. Лотар даже хотел выписать один вексель на полмиллиона ливров, а не дробить сумму на части. Я счёл это слишком

рискованным и настоял на своём. Посему теперь мы имеем пять отдельных векселей. В четырёх из них стоят одинаковые даты — они подлежат оплате по истечении сорока пяти дней, пятый — по истечении тридцати дней. Все выписаны самим Лотаром — только он вправе давать векселя на такие суммы. Он выписал их в Лионе 6 мая лета Господня 1692-го. Время на почтовую пересылку из Лиона в Лондон обычно принимается равным двум неделям. Соответственно предъявлять их к акцепту можно с 20 мая (по французскому календарю). Тридцатидневный вексель подлежит оплате 5 июня, четыре остальных — 20 июня.

Как правило, плательщику (представителю Лотара в Лондоне) выгодно, чтобы получатели (те, на кого Вы жирируете векселя), предъявляли их задолго до установленного срока выплаты; в таком случае плательщик успевает заранее подготовиться. Это особенно справедливо в данном случае, когда после принятия векселей к оплате Лотар, вероятно, должен будет приобретать серебро или доставлять его морем.

Нам нерезонно предъявлять векселя в Лондоне до того, как войска благополучно высадятся, что должно произойти не позже последнего дня мая. Тридцатидневный вексель подлежит оплате

почти сразу после этой даты. Следовательно, к указанному времени Лотару надо иметь в Лондоне серебра на 100 000 ливров. Тогда мы сможем выплатить войскам первую часть жалованья вскоре после их высадки в Англию. Оставшиеся четыре векселя, как я упоминал, подлежат оплате лишь 20 июня; очевидно, в наших интересах предъявить их одновременно с первым, и тогда у Лотара будет две-три недели, чтобы доставить в Тауэр серебра ещё на 400 000 ливров.

Это около 20 000 фунтов стерлингов в британской монете, то есть двухдневная продукция Монетного двора; соответственно представитель Лотара должен будет доставить примерно три тонны серебра в Тауэр не позднее 17 июня. Задача непростая даже для человека с его возможностями, посему Лотар настоял на включение в четыре сорокапятидневных векселя условия, по которому они должны быть предъявлены в Дом Золотого Меркурия на Чендж-аллее в Лондоне не позднее, чем за пятнадцать дней до истечения своего срока, то есть до полуночи 5 июня.

Напоминаю Вам, что англичане пользуются календарём, от которого весь цивилизованный мир давно отказался. Он отстаёт на десять дней и продолжает отставать с каждой секундой. Все

даты, упомянутые в письме, приведены по новому (французскому) стилю; чтобы получить числа по английскому календарю, надо вычитать десять дней.

Во всех остальных отношениях операция вполне обычна и не представит больших сложностей для Вас и Ваших агентов.

Для меня было большой честью и привилегией послужить в этом деле Франции. Надеюсь возобновить знакомство в кофейне Исфахнянов после того, как уляжется волнение, связанное с высадкой войск.

Ваш покорный и прочая

Самюэль Бернар

Каюта «Метеора», близ Шербура, Франция
2 июня 1692

Трое суток «Метеор» под действием приливов и отливов медленно поворачивался на якорном канате, словно тень на циферблате солнечных часов. Элиза жила в большой кормовой каюте, которую на военном или купеческом корабле занимал бы капитан. Одна из стен представляла собой сплошной полукруг окон во всю ширину кормы. Когда Элиза видела в них Шербур, это означало, что идёт прилив. Отлив разворачивал «Метеор» кормою от берега, и Элиза могла бы любоваться морем, если бы не туман, висевший последние три дня; плотная пелена, в которой таяли все её тщательно выстроенные планы. Изредка оттуда доносились глухие раскаты: канониры с невидимых кораблей палили по сгусткам тумана, издававшим подозрительные звуки. Однако по большей части слышалась какофония: матросы дули в трубы и свистки, били в барабаны, кричали на английском, голландском и французском, гремели цепями, выбирая или

отдавая якоря в зависимости от того, что считали менее рискованным: дрейфовать с отливом или оставаться на месте.

Два флота — сорок пять французских кораблей под командованием адмирала де Турвиля на западе, девяносто пять английских и голландских кораблей под командованием адмирала Рассела на востоке — сошлись на виду у всего Шербура 29-го числа. Турвиль врезался в самый центр английского строя, нимало не заботясь, что подставляет под удар свой слабый арьергард. Элиза наблюдала за битвой в подзорную трубу с грот-марса «Метеора», и ей казалось, будто она читает мысли де Турвиля. Он считал, что большими кораблями в центре линии командуют якобиты, которые сейчас спустят флаг Вильгельма и поднимут флаг Стюарта. Вместо этого они открыли огонь. Началось сражение.

По просьбе Жана Бара Элиза в последнее время проводила в версальских салонах кампанию, убеждая молодых аристократов, что флот не уступает армии блеском военной славы. Мало кто клюнул на эту наживку. Один блистательный час близ Шербура разыгрывалось такое сражение, что, если бы его видели из Версаля, армия осталась бы без молодых офицеров. Ни-

когда больше Элизе не пришлось бы описывать словами великолепие морского боя, ибо всё происходило на виду. Флагман адмирала де Турвиля, новёхонький стопушечный красавец «Солей Рояль», ничем не уступал неприятельским — в последние годы французские корабелы догнали и даже превзошли голландских. Флагман адмирала Рассела «Британия» тоже нёс на своих палубах сто пушек. Они сшиблись, как два бойцовых петуха. Никаких скучных манёвров и контрманёвров на безопасном удалении от противника. Адмиралы не наблюдали за боем издалека, препоручив сражение подчинённым. Словно два средневековых короля на турнире, «Солей Рояль» и «Британия» устремились друг другу навстречу. Очень скоро оба лишились части мачт. Только тут до адмирала де Турвиля дошло, что ни один из английских кораблей не перейдёт на его сторону, а значит, английская эскадра превосходит французскую более чем вдвое. Новые сигналы взметнулись над уцелевшими мачтами «Солей Рояль». Французы слаженно отступили. Они атаковали вдвое превосходящего противника, вывели из строя вражеский флагман и отошли, не потеряв ни одного корабля. Что было для Элизы ещё важнее, двадцать тысяч ирландских и фран-

цузских солдат, стоящих лагерем под Шербуром — по большей части вокруг селения Ла-Уг, милях в десяти-пятнадцати отсюда, — благополучно остались на суше. Яков Стюарт, по-прежнему воображающий себя королём Англии, прибыл от своего «двора» в Сен-Жермен, чтобы возглавить высадку; вероятно, он тоже наблюдал за сражением с какого-нибудь высокого места. Он только что пережил ещё одно горькое потрясение, каких и без того в жизни хлебнул с лихвой: ни один из британских кораблей — его кораблей! — не перешёл на сторону законного короля-католика. Теперь даже Яков должен был понять, что вторжение не состоится.

Совесть не позволила бы Элизе сказать, что день прошёл замечательно. На кораблях, рассеянных в море, были люди; каждое облако порохового дыма означало, что металлические шары, пролетев по воздуху, отрывают ноги и уносят жизни. Тем не менее ни один корабль не утонул, вторжение сорвалось, и Элизин план тикал, как часы.

Потом ветер улёгся, и дымка, висевшая над морем весь день, сгустилась в туман. Он спустился, словно бархатный занавес после первого акта оперы, что само по себе было даже неплохо; только занавес застрял, и второго, третьего, чет-

вёртого и пятого актов не последовало — лишь бесконечный спорадический шум, с которым два флота дрейфовали, паля по призракам. До конца 29-го числа туман, 30-го — туман, 31-го — туман, 1 июня — туман! Время от времени отчаянные смельчаки добирались до Шербура на шлюпках и сообщали новости. Так, например, стало известно, что на исходе второго дня несколько английских кораблей, дрейфуя в тумане, случайно сцепились с несколькими французскими (на якорях); сражение продолжалось, пока их не разделило отливом. Но по большей части ничего не происходило. В первый день Элиза жалела, что весь Версаль не наблюдает за схваткой флагманов; теперь она ежечасно благодарила Провидение, что никого из придворных не случилось рядом, чтобы видеть — и даже хуже, *не видеть* — этого позорного фарса. Она не завидовала Этьенну и Поншартрену, которым вскорости вновь предстояло просить у короля денег на флот. Она не знала, что́ скажет неизменно учтивый король, но догадывалась, что́ он подумает: «Зачем мне скрести по сусекам казначейства — чтобы ещё больше деревянных корыт сталкивалось между собой в тумане?»

Элиза почти отчаялась осуществить свой план,

когда вчера вечером сквозь туман проглянуло солнце.

— Если завтра я снова его увижу, — сказала она, — то надежда есть; если не увижу, значит, двухмесячные труды пошли прахом и придётся всё начинать заново.

С первым светом она уже вглядывалась в горизонт, почти надеясь увидеть лишь плотное марево: если бы план окончательно рухнул, всё значительно упростилось бы. Однако увидела она солнечный диск, чёткий и почти такой же яркий, как медная монета в золе.

Элиза закрыла глаза, призвала дьявола и Отца Небесного в одной фразе на случай, если кто-нибудь из них слушает, и закрыла ставни на трёх окнах каюты, оставив все прочие открытыми. Шёл прилив, золочёная корма «Метеора» была обращена к городу. Наблюдатели должны были увидеть сигнал.

Элиза начала складывать в сумку вещи: прежде всего пять переводных векселей в кожаном водонепроницаемом бумажнике. Одеяло. Платки. Гребень, шпильки, заколки и ленты, чтобы убирать волосы. Серебряные монеты, по большей части разбитые на осьмушки пиастры, которые явно произведут впечатление на англичан.

Крыши Шербура горели, словно и не от солнца, а от внутреннего жара, как вынутое из горна железо. Вдалеке громыхнуло раз, другой, потом рассыпалось мелкой дробью.

В каюту постучали, и Элиза едва не выпрыгнула из кожи: ей подумалось, что в «Метеор» угодила шальная картечь. Она бросила сумку на пол и ногой затолкала её под койку, потом подошла к двери и отодвинула щеколду. За дверью стояла Бригитта, Элизина камеристка.

— К вам мсье д'Аскот, сударыня.

— Немного рановато.

— Тем не менее он здесь.

— Пусть подождёт несколько минут, пока я приведу себя в порядок.

— Вам помочь?

— Нет, поскольку на самом деле я не собираюсь приводить себя в порядок. Я заставлю его ждать, потому что могу, потому что это уместно, и потому что он заслужил наказания чересчур ранним приходом.

— Простите, мадам, что тревожу вас сегодня утром, — сказал Уильям, виконт Аскот, по-французски с такими интонациями, будто репетировал фразу всё время ожидания. Элиза предложила бы ему перейти на английский, но подумала, что

он оскорбится. — Мне поручили сообщать вам обо всех новостях касательно высадки.

Это означало несколько вещей. Во-первых, несмотря на приезд Якова Стюарта, всем по-прежнему командует какой-то толковый офицер, который следит, чтобы сведения передавались вовремя. Во-вторых, этот Аскот, вероятно, один из агентов, которых предполагалось отправить с векселями в Англию. В-третьих, никто никуда не отправится: если бы Аскот и другие четыре агента должны были отплыть сегодня, они бы явились на рассвете и сейчас уже преодолевали бы Ла-Манш на разных кораблях, каждый со своим векселем в нагрудном кармане.

— Время поджимает, мсье, — заметила Элиза. — Векселя следует предъявить в Лондоне через три дня. Их надо отправить сегодня утром, иначе я с тем же успехом могу их порвать.

— Да, мадам, — сказал Аскот, — король и совет в курсе.

Он имел в виду Якова Стюарта и его камарилью. Чтобы подчеркнуть свою мысль, маркиз поглядел в окно на Шербур. Где-то в городе на высокой колокольне должны были стоять сигнальщики, готовые поднять флажки, как только прибудут вести из ставки в Ла-Уг.

— Туман рассеивается! — воскликнул он. — Сейчас, прогуливаясь по палубе, я мог видеть на две мили в Ла-Манш.

— И что же вы увидели, мсье?

— Приближаются шлюпки, мадам.

— Под парусом или…

— Нет, мадам, ветра ещё не было. Это баркасы, и моряки изо всех сил налегают на вёсла. Часть шлюпок буксирует повреждённый корабль — большой.

— Как по-вашему, это «Солей Рояль»?

— Возможно, мадам. Либо… — Аскот улыбнулся, — то, что осталось от «Британии».

Элиза почувствовала резкую неприязнь к Аскоту. Типичный англичанин, несмотря ни на что — говорит то, что ей, по его мнению, приятно будет услышать. Целую минуту она молчала от отчаяния, так что Аскот успел сказать:

— Шлюпки доставят новости — новости, которые потребуются королю Англии, чтобы принять решение.

Элиза кивнула, будто соглашаясь, а про себя подумала, сперва: «Как даже сифилитик может ещё верить, что высадка всё-таки состоится?», затем: «Если он не отменит её в ближайший час, у меня будут серьёзные затруднения». Она невольно

взглянула на закрытые ставни. Их было видно из Шербура по крайней мере последние полчаса. Механизм запущен, ничего изменить нельзя.

Минуту или две были слышны крики на верхней палубе — вещь на корабле вполне обычная, особенно когда из Ла-Манша приближаются шлюпки с новостями. Элиза не обращала внимания, но теперь до их ушей долетел громкий всплеск. Кто-то или что-то упало за борт.

— Мадам, дозвольте мне выяснить… — начал Аскот.

— Быстрей, быстрей! — крикнула Элиза по-английски; маркиз от неожиданности тоже перешёл на родной язык.

— Что за чёрт! Ума не приложу… — проговорил он, распахивая дверь каюты.

Элиза выбежала за ним в тёмное и тесное пространство под палубой, однако через несколько шагов оба оказались на опердеке, с которого открывался вид на залив и часть Ла-Манша. Оттуда, как и сказал Аскот, приближались шлюпки. Слишком много, на подозрительный взгляд Элизы, потому что сколько шлюпок надо, чтобы доставить известия? В тумане над проливом то и дело вспыхивали яркие пятнышки освещённых солнцем парусов.

Упомянутый Аскотом корабль был куда ближе. Его не столько тянули шлюпки, сколько гнал прилив. Корабль освещали яркие лучи солнца, пробившиеся сквозь туман, — по крайней мере так Элизе показалось с первого взгляда. Вглядевшись, она поняла, что корабль источает собственный свет. Он горел. И это был «Солей Рояль» — вернее, то, что от него осталось.

Элиза услышала новый всплеск, потом ещё один. Не было сомнений, что кто-то прыгает с корабля.

Нескольких матросов на палубе она явно видела впервые, да и озирались они как чужаки.

Прямо впереди человек перемахнул через фальшборт *на* палубу. Так не бывает. С тем же успехом незнакомец может запрыгнуть в окно третьего этажа.

— Позвольте! — воскликнул Аскот, по-прежнему на английском. — Позвольте!

Пришелец повернулся к нему и ответил так: «Чтоб тебе, якобитский предатель!» Говоря, он поднимал руку, и на месте восклицательного знака превратил лицо Аскота в алый фонтан. В руке у него был мушкетон.

Элиза метнулась в темноту под кормовую надстройку и начала рывком открывать двери

в каюты, где находились Бригитта, Николь и горничная.

— В мою каюту, сейчас же, и не задавайте вопросов!

Элиза собрала всех троих у себя. Бригитта хотела забаррикадироваться мебелью, но это оказалось не так легко, как на суше — вся тяжёлая мебель была привинчена к полу. Чемоданы, стул и матрас — вот всё, что удалось привалить к двери. Элиза торопила женщин со строительством баррикады, хотя и понимала, что это бессмысленно. Одного взгляда в окно хватило, чтобы понять — «Метеор» движется. Англичане обрубили якорный канат, прицепили яхту к шлюпкам и теперь буксировали её в Ла-Манш. Лучше пусть женщины двигают мебель, чем думают, что им это сулит.

От звуков, несущихся с разных сторон, у Элизы сводило живот. Она обернулась к окну и увидела, как одну из шербурских батарей скрыло облако дыма. Канониры открыли огонь, стремясь потопить «Солей Рояль», пока он не взорвался и не поджёг остальные корабли. Всё это Элиза объяснила своим спутницам. По счастью, ни одна из них не сообразила спросить, как скоро те же самые батареи начнут палить по «Метеору».

До сих пор их не трогали — целью англичан было захватить весь корабль, а не пассажиров. Теперь, когда яхта, пусть и медленно, двинулась, английские моряки замолотили в дверь. В ход пошли вытащенные из ящиков молотки и ломы. От стены полетели щепки — чем тратить силы на забаррикадированную дверь, англичане просто решили сломать переборку.

За грохотом Элиза едва не пропустила внезапное появление в каюте однорукого великана. *Едва*, потому что он вошёл через окно, раскачнувшись на верёвке, и осколок стекла угодил ей в глаз. Горничная, видимо, заметила, как он разбивает окно, потому что её визг раздался за миг до вторжения незнакомца и продолжался ещё несколько секунд. В эти секунды великан успел единственной рукой сгрести её поперёк живота, оторвать от пола и выбросить в окошко. Визг прекратился лишь от соприкосновения с водой. Через миг он зазвучал снова, уже несколько захлёбывающийся. У великана были большие голубые глаза и слегка растерянный вид: столько всего надо оценить с одного взгляда, столько всего сделать. Он оглядел каюту и оценил число ещё не выброшенных за борт женщин (три). Потом обернулся к разбитому окну. Обломки переплё-

та и куски стекла отчасти затруднили процесс выбрасывания горничной. Человек передёрнул плечами, и одна его рука удлинилась втрое. Она была ампутирована ниже локтя и заменена на хлыст, состоящий из трёх тёмных, тяжёлых с виду деревяшек, окованных с конца железом и соединённых отрезками цепи. Человек повернулся к окну, прикинул расстояние и проделал плечом серию странных движений, передававшихся на всю длину хлыста, так что дальняя деревяшка смела остатки переплёта, словно выпущенные из пушки цепные ядра. Получилось аккуратное прямоугольное отверстие, в которое великан немедля вышвырнул орущую Николь.

Прежде чем он продолжил швыряться девками, его отвлекла грубо влезшая в каюту мужская рука. Англичане проделали дыру в переборке, и один из них пытался что-нибудь через неё нащупать. Первым в списке стоял бронзовый дверной засов.

Суставчатая рука-плеть жихнула через всю каюту разворачивающейся чередой грозных последствий и с треском обрушилась на локоть захватчика. Тот убрался, и великан метнул в дыру невесть откуда взявшийся нож. «Стреляй в него!» — крикнул кто-то с другой стороны пе-

реборки; однако Бригитта, не растерявшись, передвинула к дыре Элизин матрас. Англичане толкали его, но он всякий раз падал обратно; будь у Элизы больше времени на размышления, она бы вывела мораль, что мягкость и податливость порою защищают лучше неколебимой твёрдости.

Элиза подбежала к выбитому окну. Внизу покачивался двухвесёльный ялик. Верёвка тянулась от него к абордажному крюку, зацепленному за снасти бизань-мачты «Метеора»; по ней-то однорукий и взобрался на борт, хотя ему явно должна была потребоваться какая-то система блоков и талей, слишком сложная, чтобы Элизе сейчас в этом разбираться.

Выброшенные в окошко женщины плавали, как кувшинки, ибо юбки их раздулись в полёте. Постепенно они бы набрякли водой и пошли ко дну, однако обе — и Николь, и горничная — благополучно держались за борта ялика. От своей прислуги Элиза меньшего и не ждала. Она даже придумала вопрос для будущих кандидаток: «Вы на яхте госпожи, готовитесь к церемонии малого утреннего туалета, когда яхту захватывают англичане и под огнём с берега буксируют в Ла-Манш. Вы забаррикадировались в каюте и ждёте

участи, которая хуже смерти, но тут вас хватает и выбрасывает в окно загадочный однорукий великан, вошедший на верёвке через окно. Как вы поступите: а) станете бессмысленно барахтаться, пока не пойдёте ко дну; б) приметесь вопить, пока кто-нибудь вас не спасёт; в) подгребёте к ближайшему плавучему предмету и будете спокойно дожидаться, когда ваша госпожа уладит затруднение?»

Элиза почти сразу заподозрила, что однорукий великан — посланный Небесами избавитель, и теперь окончательно в этом уверилась. Она подобрала юбки, сунула ногу под кровать и носком туфли выудила оттуда сумку. Потом подошла к окну, выждала мгновение, примериваясь к движению волн, и бросила сумку точно в середину ялика. Покончив с этим, она обернулась. Хлысторукий смотрел на Бригитту, точно говоря: «Теперь я собираюсь вышвырнуть вас, мадемуазель», а та явно намеревалась отклонить услугу. Тогда он попытался ухватить Бригитту за талию (искусственное сужение фигуры, образованное шнуровкой и китовым усом). Мало кому из мужчин хватало роста, силы и отваги, чтобы облапить Бригитту, когда ей того не хочется. До утраты руки великану достало бы и того, и друго-

го, и третьего, а так их силы были почти равны. Правда, великан мог бы изменить баланс в свою сторону, если бы для начала до бесчувствия избил барышню хлыстом, чего он делать не собирался, несмотря на сильное искушение. Элизе показалось, что она видит нежность в его глазах. Посему в каюте продолжалась безобразная потасовка, губительная для мебели и достоинства обоих участников.

Элиза выбрала момент, когда однорукий споткнулся о хлыст и теперь медленно вставал.

— Бригитта! — крикнула она.

Голландка оторвала гневный взор от пришельца и увидела Элизу в окне.

— Можешь оставаться здесь и лапаться с ним сколько захочешь, можешь даже затащить его в койку, мне всё равно! Однако я отбываю и буду ждать тебя внизу.

И она исчезла в окне.

Ей всё-таки не удалось сдержать вскрик за мгновение до того, как ноги вошли в воду. Затем от холода перехватило дыхание, но через несколько секунд Элиза уже плыла к лодочке: отчасти потому, что помнила вопрос, который собиралась задавать кандидаткам, отчасти из страха, что Бригитта и мсье Хлысторук вывалятся

прямо на неё. Тяжёлые всплески за спиной подтвердили правильность её мыслей.

Втащить четырёх вымокших до нитки женщин в такую маленькую лодку оказалось задачей непростой. Хлысторукий, едва оказавшись в воде, извлёк непонятно откуда очередной острый предмет и перерезал верёвку, соединявшую ялик с «Метеором». Расстояние между ними сразу начало увеличиваться. Элиза лишь раз подняла взгляд на свою бывшую яхту. Она увидела английских моряков у ограждения юта и английских моряков в своём окне (они наконец-то пробились через выстроенную Бригиттой баррикаду). Один из них очень невежливо прицелился в Хлысторукого. Однако тут неподалёку грохнуло, что-то пролетело у них над головами и отбило от фальшборта два фунта дубовых щепок. Англичане отпрыгнули, некоторые бросились ничком на палубу. Элиза проследила изумлённый взгляд Хлысторукого и увидела несущийся на всех парусах корабль.

Она не любила мужских разговоров о кораблях и никогда в них не участвовала, тем не менее с первого взгляда на судно определила, что оно восемнадцати футов в длину, двухмачтовое, без надстроек, с острой кормой и люгерным парус-

ным вооружением. В Голландии его называли бы галиотом. Так или иначе, это было каботажное судно, способное пересечь Ла-Манш и несущее на палубе по меньшей мере один фальконет. Выстрел по англичанам был произведён по большей части для эффекта. Такому контрабандистскому судёнышку бессмысленно было бы тягаться с «Метеором», будь «Метеор» под всеми парусами и с полной командой; тем не менее фальконеты отбили у англичан желание стоять на виду и палить по людям за бортом. Элиза надеялась, что это судно, которое она наняла; развитие событий пока подтверждало догадку. «Арбалет» — такое название было намалёвано на борту — не стал преследовать «Метеор», но, зайдя между ним и шлюпкой, лёг в дрейф. Команда вела себя со смесью радушия и враждебности: одни матросы бросали дамам верёвки, которые те ловили в воздухе либо выуживали из воды, другие держали наготове заряженные мушкеты. Договорённость предусматривала, что они заберут анонимного пассажира в окрестностях «Метеора» — только это одно и происходило по плану. Всё остальное — атака английских баркасов, явление пылающего «Солей Рояль» и Хлысторукий в своём ялике — было полной неожиданностью. Элиза

уже думала с ужасом, что сейчас должна будет заново торговаться с капитаном «Арбалета». То, что он вообще сунулся так далеко в гущу событий, следовало приписать влиянию человека, стоящего на палубе с заряженным мушкетом в руках: Боба Шафто.

— Всё отлично, сержант Боб. Нет. Я не знаю, кто он. Кажется, он немой. Но настроен вроде бы дружески. Единственное, что могу сказать о нём дурного: он более прямолинеен в своих методах, нежели принято в Версале.

— Я приметил его на пристани, он шпионил за «Метеором».

— Теперь я тоже припоминаю, что видела его, — сказала Элиза, — но, не обладая вашей проницательностью, сэр, не могла решить, шпионит он или просто глазеет.

— Быть может, очаровательные герцогини больше битых-перебитых сержантов привыкли, чтобы на них глазели часами, — сказал Боб. — По мне, так он шпионил.

— Может быть, сержант Боб, но сегодня он спас целую шлюпку женщин.

— Забирать вас одну или всю шлюпку? — осведомился мсье Риго, капитан «Арбалета», всё ещё не слишком веря своим глазам.

До сего момента он был поглощён зрелищем дрейфующего «Солей Рояль», из всех ста пушечных портов которого вырывалось пламя. Наконец Риго убедил себя, что англичане, прежде чем поджечь корабль, забрали с него порох — то есть они хотели, чтобы «Солей Рояль» горел долго на глазах у всего Шербура и, возможно, поджёг другие корабли, а не взорвался в один миг. Если так, то для «Арбалета» опасность миновала, ибо приливное течение пронесло горящий корабль мимо. Теперь Риго мог уделить внимание почти такой же страшной угрозе — внезапному натиску пассажирок.

— Только меня, — сказала Элиза и запустила в Риго сумкой.

Для остальных женщин это явилось новостью. Послышались охи и ахи. Элиза подумала было объясниться. («Мамочке надо сгонять в Лондон, украсть три тонны серебра».) Однако вместо этого она подняла руки и позволила Бобу схватить себя за одну, французскому моряку — за другую. Её втащили на «Арбалет», как тюк с шёлком.

— Милая Бригитта! — крикнула Элиза через борт. — Надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня, что сейчас я обрекаю тебя на участь галерной рабыни. Но вам надо добраться до берега, пока не

стало хуже, а этот человек, я боюсь…

— Будет грести по кругу. Мне тоже так подумалось. — Бригитта схватила вёсла.

— Мы будем держать фальконеты заряженными и смотреть, чтобы вы добрались до берега, — пообещал мсье Риго.

Теперь, когда шлюпка, полная женщин, двигалась *от* «Арбалета», он стал куда любезнее.

— Отправь депешу капитану Бару в Дюнкерк! — крикнула Элиза.

— И что сообщить, мадам?

— Что это всё-таки произойдёт.

— Ампутация — дело рискованное, — заметил Боб Шафто несколько часов спустя. Всё это время у него было такое лицо, будто он о чём-то размышляет и, как только ему придёт охота заговорить, выдаст что-нибудь мрачное. — Главное, любой ценой сохранить локоть или колено, потому что лишний сустав в культе — степень её свободы. Когда ампутируют ниже локтя, человек теряет кисть с её способностью чувствовать, хватать, ласкать. Но всё же остаются локоть и мышцы. Превратить руку в хлыст, бесчувственный, но способный действовать… да, приставить к культяшке плётку — очень дельная мысль.

— Напомни мне при случае поинтересоваться

твоими мыслями о ранениях в живот, — проговорила Элиза и тут же пожалела о сказанном.

Ей и без того было муторно. Они вышли в Ла-Манш, ветер усилился, она сидела, с ног до головы закутанная в одеяла, словно обитательница пустыни — очень холодной пустыни.

Боб сощурился:

— За сегодня я много чего передумал по этому поводу, но вам не сказал.

Он имел в виду сцены, которые все они наблюдали, покуда «Арбалет» шёл на восток-северо-восток вдоль Котантена — обрубленной культяшки, которую Франция тянула к Англии. Первые часполтора они видели Шербур и море к северу, постепенно открывающееся по мере того, как таяли последние остатки четырёхдневного тумана. Здесь находилась бóльшая часть англо-голландского флота. Сожжение «Солей Рояль» и атака баркасов в Шербурском заливе были элементом более обширного плана, представавшего тем чётче, чем дальше «Арбалет» отходил от берега. Англичане и голландцы отрезали от французского флота часть кораблей и теперь долго и нудно их уничтожали, стараясь всадить в противника столько ядер, чтобы потопить его или вывести из строя, пока он не укрылся под защитой береговых

батарей. К тому времени, как Шербур растаял за кормой, сомнений уже не оставалось: эта часть флота, если и доберётся до порта, никогда больше не поднимет паруса. Вскоре «Арбалет» миновал мыс Барфлёр, и впереди открылся вид на большой залив, пятнадцать миль в ширину и пять в длину, впечатанный, как оттиск большого пальца, в восточный берег Котантена. Здесь-то, под защитой полуострова, и собрались транспорты, которые должны были забрать войска из лагеря под Ла-Угом. И здесь же укрылся адмирал де Турвиль с двумя десятками кораблей. Англо-голландский флот занял позицию напротив Ла-Уг, чтобы добить де Турвиля. Поскольку якорную стоянку защищали береговые батареи, в дело снова предстояло пойти баркасам. Другими словами, флот де Турвиля ждала судьба «Метеора». Элиза, как ни мало разбиралась во флотской тактике, видела её логику, словно расписанную на странице Лейбницем. Англичане не могут подойти к берегу из-за батарей. Де Турвиль не может вывести остатки флота из залива, поскольку неприятель в три или в четыре раза превосходит его численно. Очень скоро спущенные со всех англо-голландских кораблей баркасы устремятся к французской эскадре, словно воинство серых

крыс. Не способным маневрировать или даже выбрать якоря на тесной стоянке французам остаётся лишь стоять на палубах в ожидании абордажного боя.

Никто не обращал внимания на безобидное контрабандистское судёнышко. «Арбалет» взял курс на север, миновал два отставших английских корабля и устремился к Портсмуту. Прежде чем залив перед Ла-Уг исчез за кормой, они увидели искорку огня, мчащуюся вдогонку шлейфу собственного дыма. Сожжение французского флота началось. Те, кто стоял на палубе «Арбалета», по крайней мере могли обратиться к этому зрелищу спиной и продолжить путь. Хуже пришлось Якову Стюарту в королевской походной палатке на холме у Ла-Уг. Он должен был наблюдать всю сцену до конца. При всём презрении к нему как человеку и королю Элиза почувствовала невольную жалость. Бежать из Англии в женском платье при Кромвеле, затем снова, с разбитым носом, во время Славной революции; проиграть битву при Бойне и с позором унести ноги из Ирландии, а теперь вот это. Покуда Элиза размышляла на вышеперечисленные темы, Боб Шафто неожиданно отпустил замечание касательно ампутации, из чего стало ясно, какой дух царил на палубах «Ар-

балета» по пути в Англию.

— Я очень много людей перевидал за свой век, живя среди бродяг и в полку. Поэтому память может шутить со мной шутки. И всё-таки мне кажется, где-то я этого малого видел, — сказал Боб.

— Хлысторукого? Ты говорил, что видел его в Шербуре, когда он шпионил или глазел.

— Да, но когда я его там увидел, то подумал, что где-то он мне попадался.

— Возможно, он шпионил за мной в Сен-Мало, а ты видел его в один из прежних визитов.

Элиза тут же пожалела, что упомянула о визитах Боба в Сен-Мало; её беспрестанно мутило, и она проводила в гальюне больше времени, чем вся остальная команда, вместе взятая. Боб подозрительным образом воздерживался от замечаний по поводу её нездоровья, только смотрел понимающе. Был ранний вечер. Солнце клонилось к западу, превращая Англию в нагромождение бесформенных глыб и бросая золотистый свет на лицо Боба.

— Я поначалу думал вернуться.

— Ты хочешь сказать, завтра в Нормандию? А разве ты не в самовольной отлучке из ирландского полка? Тебя не выпорют или что там за это положено?

— Я придумал предлог, и меня отпустили. Ещё не поздно.

— Однако ты передумал.

— Чем ближе мы к Англии, тем больше она мне по душе. Я отправился во Францию по разным соображениям, и все они оказались неправильными.

— Ты рассчитывал быть ближе к Абигайль.

— Да. А вместо этого застрял в Бресте на полгода, потом в Шербуре на три месяца. С тем же успехом можно было не покидать Лондон. И неизвестно, куда нас пошлют теперь.

— Если то, что я слышала, верно, — сказала Элиза, — то этим летом основные боевые действия будут в Испанских Нидерландах. Покуда мы разговариваем, французы, наверное, окружают Намюр. Там скорее всего и граф Ширнесс…

— И Абигайль наверняка тоже, — предположил Боб. — Если он собрался в те края до конца лета, то наверняка взял всю прислугу. Для меня самый быстрый способ туда попасть — вернуться в Блекторрентский полк и отплыть в Испанские Нидерланды на денежки короля Вильгельма.

— Думаешь, твоя девятимесячная отлучка прошла незамеченной? Какая порка полагается за *такое?*

— Я шпионил во вражеском лагере для графа Мальборо, — объявил Боб, хотя, судя по тону и выражению лица, мысль эта посетила его только сейчас.

— Граф Мальборо смещён со всех постов, лишён всех воинских званий. Его место полковника в Блекторрентском полку наверняка продано какому-нибудь тори.

— Но когда девять месяцев назад я отбывал с разведывательной миссией, всё было иначе.

— Мне твоя затея кажется рискованной, — сказала Элиза, торопясь свернуть разговор, поскольку её снова сильно мутило.

— Тогда я провентилирую её с Мальборо, прежде чем возвращаться в полк, — отвечал Боб. — Вам всё равно в Лондон. Вы не откажетесь передать ему от меня записку?

— Поскольку ты не учён грамоте, то и писать её придётся мне?

Элиза отвернулась от Боба, высматривая подходящий шпигат. Она чувствовала, что не добежит до гальюна, тем более что там уже засел французский матрос и с пением обстоятельно справлял в Ла-Манш большую нужду.

— Благодарю за любезное предложение, — отвечал Боб. — А поскольку где уж мне сочинить

правильное письмо графу, может, вы его и составите?

— Я просто поговорю с ним, — сказала Элиза, опускаясь на четвереньки.

То, что вслед за этим вырвалось из её рта, совершенно невозможно было бы представить графскому вниманию; однако данное обстоятельство Боб предпочёл не комментировать.

Лондон
4 июня по ст. стилю (25 мая по нов. стилю) 1692

А где люди строят на неправильных основаниях, там, чем больше они построят, тем сильнее развал.

Гоббс, Левиафан

Элиза нервничала, что опаздывает, и ругала себя за несобранность, пока не выглянула в окно кареты и не увидела внизу реку, заполненную большими и малыми судами. В первый миг она не поверила своим глазам, потом сообразила, что улица, должно быть, Лондонский мост, а карета едет мимо промежутка между домами, в который видно Темзу. Зрелище это странным образом изменило Элизино настроение. Был полдень дня, который французы вместе с большей частью христианского мира считали четвёртым июня, англичане же — двадцать пятым мая. По какому календарю ни считай, срок предъявления векселей истекал в конце *завтрашнего* дня. Таким образом, она поспела в Лондон с запасом более чем в двадцать четыре часа. И это несмотря

на то, что всю последнюю неделю — с того дня, как де Турвиль атаковал Рассела в Ла-Манше и спустился туман, — была уверена, что опоздает и вся затея обречена. До сего мига Лондон казался бесконечно далёким и недостижимым. Теперь, добравшись до него, она не могла понять, из-за чего так изводилась. В конце концов, Лондон — большой город, и люди всё время туда ездят, чему свидетельство — лес мачт в гавани. Может быть Элизе он казался таким далёким из-за того, что в него так трудно было сбежать три года назад, когда её корабль захватил Жан Бар.

Так или иначе, она пересекла мост и оказалась в Сити раньше, чем добралась до конца своих рассуждений. Лошади, повинуясь раздражённому хлопанью бича, раздражённо тащили карету на Фиш-стрит-Хилл. Элиза вспомнила, что велела кучеру ехать в Лондон, но не сказала куда. У неё не было на примете определённого места. Тем не менее кучер явно знал, куда ехать. Он свернул влево, в щель между новыми (кирпичными, с плоскими фасадами, выстроенными после Пожара) зданиями. Щель разошлась и превратилась в чередование расширений и перехватов, наподобие коровьего желудка. Всё это тянулось вдоль стены большого сооружения, похожего и вместе с

тем не похожего на церковь. Элиза устало вспомнила, что попала в страну, где церковь не одна. Она решила, что это молельный дом квакеров или каких-нибудь других сектантов. Так или иначе, после долгих кружений и протискиваний они подъехали к арке, над которой была закреплена вывеска: бурая, унылого вида лошадиная голова. Из арки вылетел привратник и едва не подрался с лакеем за честь распахнуть дверцу кареты. И неудивительно, ведь на ней красовался герб маркиза Равенскара, как догадывалась Элиза — чтимого завсегдатая «Бурой лошади», или «Старого мерина», или как там зовётся эта таверна…

— Добро пожаловать в «Голову клячи», сударыня, — сказал Роджер Комсток, маркиз Равенскар, выходя из дверей и кланяясь так низко, как человек его лет и достоинства может поклониться, не порвав подколенное сухожилие и не уронив в канаву парик.

Элиза высунула в открытую дверцу голову и плечи (практически всё, что она хотела показать, поскольку с гардеробом своим рассталась несколько дней назад). Ей следовало уделить нераздельное внимание Равенскару, однако она не удержалась и оглядела трактир.

— Нет, мадам, чувства вас не обманывают,

здесь и впрямь так убого, грязно и тесно, как вам кажется. Никакие извинения не искупят того, что я посмел назначить вам встречу в таком месте. Однако здесь мне удобно было ждать, и — смотрите! — мы в двух шагах от Биржи.

Элиза проследила взгляд Равенскара. На бросок камня от трактира проулок расширялся в улицу, заполненную спешащей толпой хорошо одетых людей. Элиза в мгновение ока поняла, что это такое. Будь она набелена и нарумянена по версальской моде, грим бы спал с неё, как лёд с подтаявшей крыши. Ибо она сделала то, чего никогда не позволяла себе в Версале, — улыбнулась во весь рот. Улыбка была адресована Равенскару, который чуть не грохнулся в обморок.

— Напротив, милорд, никуда в Лондоне я так не стремлюсь, как на Биржу, а в нынешнем моём виде мне самое место в тёмной подворотне у входа в трактир «Голова клячи».

Равенскар пришёл в ужас и торопливо шагнул к барочной лесенке, которую лакеи поставили перед каретой. Если бы Элиза настояла, он бы помог ей выйти, однако на самом деле маркиз своим телом загораживал ей путь.

— Я и мысли не допускал пригласить *герцогиню* в такой хлев! Я надеялся, что сударыня дозволит

мне присоединиться к ней в карете и вместе отправиться в какое-нибудь более достойное место.

— Это *ваша* карета, сударь…

— О нет, сударыня, покуда вы здесь, она ваша, а я — ваш слуга.

— Тогда забирайтесь в эту чёртову карету. И опустите шторы, а то на меня нельзя смотреть на свету.

Равенскар исполнил всё требуемое. Карета двинулась.

— Очевидно, мой кучер сумел разыскать вас в Портсмуте?

— Это мы его разыскали. Наш шкипер не хотел заходить в Портсмут или в другой портовый город, только в известные ему укромные бухты. Оттуда мы наняли фургон.

Равенскар с любопытством огляделся.

— Мы?

— Я была с англичанином.

— Человеком знатным?

— Человеком полезным. Но несколько упёртым. Он решил во что бы то ни стало разыскать своего прежнего командира. Как только мы добрались до Портсмута, он начал наводить справки об этом командире, чья фамилия Черчилль.

Равенскар скривился.

— Графа Мальборо бросили в Тауэр!

— О чём я тогда знать не могла. Иначе бы предупредила своего спутника, чтобы он не произносил этого имени.

— Его заковали в кандалы?

— Да. Ибо, насколько я понимаю, Мальборо обвиняют в том, что он — якобитский шпион?

— Обвинение настолько нелепое, что мне стыдно его повторять. Однако подавляющая часть англичан склонна тем больше верить подозрению, чем оно абсурднее, и те, кто схватил вашего спутника в Портсмуте…

— Принадлежали к той же категории. Увидев человека, который прибыл из Шербура и спрашивает о Мальборо, они решили, что он шпион.

— Его ещё не повесили?

— Нет, и в ближайшее время не повесят, ибо на счастье подвернулся ваш экипаж. Я для них была просто девкой в мокром платье, но когда на сцену выехала роскошная карета с вашим гербом, а кучер начал обращаться ко мне «госпожа герцогиня Такая» и «госпожа герцогиня Сякая»…

— Всё переменилось.

— Всё переменилось, и я дала ретивым молодчикам понять, что не в их интересах вешать

моего спутника. Однако теперь, когда я здесь, я бы хотела посетить Мальборо.

— Многие бы хотели, сударыня. Перед Тауэром стоит очередь экипажей. Вы знатнее почти всех в этой очереди, так что сможете занять место в начале. Но прежде, если позволите…

— Да?

Они ехали по периметру треугольника Корнхилл-Треднидл-Бишопсгейт, на двадцати акрах которого находилось больше денег, чем на остальных Британских островах. Примечательно, что они столько проговорили, прежде чем перейти к меркантильной теме.

— Понимаю, что крайне неучтиво с моей стороны об этом заговаривать, — сказал Равенскар, — но я на данный момент владею значительным количеством серебра. Весьма значительным. Мне сказали, что сейчас оно стоит много больше, чем три недели назад, когда я его покупал, но если, скажем, из Портсмута придёт весть, что французское вторжение сорвалось…

— Ваше серебро будет стоить намного меньше. Да, знаю. Так вот, вторжение сорвалось.

Равенскар и впрямь подпрыгнул, как будто кто-то всадил ему в почку кинжал. Голос его обрёл визгливые нотки.

— В таком случае давайте нанесём визит некоему джентльмену, пока вы не распространили новость о…

— Я не имею ни малейшего намерения ускорять события, ибо новость очень быстро распространится сама, — сказала Элиза, чем нимало не успокоила Равенскара. — Однако пока *вы* не распространили эту новость, продав своё серебро, я хотела бы совершить небольшую операцию в Доме Хакльгебера — вы знаете, где он?

— О, это жалкая дыра! Если вам нужны в Лондоне карманные деньги, я отвезу вас в банк самого сэра Ричарда Апторпа, который охотно откроет вам кредит…

— Благодарю за любезное предложение, — отвечала Элиза, роясь в своей жалкой сумке и вытаскивая склизкий бумажник, — но я предпочитаю брать деньги на карманные расходы у своего банкира, то есть в Доме Хакльгебера.

— Прекрасно, — сказал маркиз Равенскар и застучал в крышу набалдашником трости. — В Дом Золотого Меркурия на Чендж-аллее!

— Признаюсь, что смотрел в окно, хотя исключительно из опасений за вашу безопасность, — сказал маркиз Равенскар, — и то лишь после того, как прошло полчаса, ибо операция показалась

мне довольно долгой.

Элиза только что вернулась в карету и ещё не закончила расправлять юбки. Она отсутствовала час двенадцать минут. Через десять минут Равенскар был на грани нервного срыва, через двадцать — близок к апоплексическому удару. За семьдесят две минуты он пережил все состояния духа, ведомые смертным, и ещё несколько, обычно зарезервированных для ангелов и демонов. Теперь он совершенно выдохся и чувствовал только усталость — ну, и, возможно, некоторый страх, что Элиза захочет отправиться ещё по какому-нибудь делу.

— Да, милорд?

— У этого малого был… ну, как бы сказать… несколько ошарашенный вид. А может, мне померещилось.

— Берегите ноги! — Предупреждение прозвучало сразу из уст Элизы, и из уст одного из лакеев самого Равенскара, который нёс за Элизой большой ящик и сейчас убирал его в карету, но не выдержал и уронил на пол, так что весь экипаж закачался на рессорах. Одна из лошадей недовольно заржала.

— Куда ставить остальные, мадам? — спросил лакей.

— Там будут *ещё?!* — воскликнул Равенскар.

— Да, ещё десять.

— И что мы… простите, что вы будете делать с таким количеством… Десять, я не ослышался? Умоляю, скажите, что это медь.

Элиза носком туфли приподняла крышку. Давно маркиз Равенскар не видел сразу столько свежеотчеканенных пенни в одном месте. Он отвечал единственно возможным образом: абсолютным молчанием. Тем временем кучер ответил за него.

— Сюда нельзя, рессоры не выдержат! — крикнул возница.

Он пытался успокоить усталых лошадей, почувствовавших, что карета становится тяжелее. Заскрипели запятки, и карета просела назад; следом, зловеще хрустя, начал прогибаться потолок.

— Позови извозчика! — крикнул маркиз и вновь перевёл взгляд на Элизу, умоляя ответить на заданный вопрос.

— Что я буду с ним делать?

— Да.

— Наверное, продам, тогда же, когда вы — своё. Это чуть больше, чем нужно мне на карманные расходы. Хоть я не прочь посетить модные лавки в Вест-Энде. Деньги, разумеется, принадлежат

французскому королю, но я уверена, что он со свойственной ему учтивостью не отказался бы ссудить мне несколько фунтов стерлингов на новое платье.

— Как я, мадам, если потребуется, — сказал Равенскар. — Однако я, безусловно, уступаю первенство королю. — Он сглотнул. — Удивительное совпадение!

Сзади снова раздались грохот и звон: подъехал извозчик, и лакей грузил на него новые сундуки с деньгами. Звуки отвлекали Равенскара, мешая ему выстраивать предложение.

— По пути к модным лавкам Вест-Энда мы проедем мимо банка Апторпа, где…

— Понимаю. Вы хотите продать серебро. Ещё рано.

— Рано?!

— Представьте себе капитана, идущего в бой. Все его пушки заряжены и готовы к бортовому залпу. Если он не выдержит и выстрелит слишком рано, ядра упадут в воду, не долетев до цели. Хуже того, у него не будет времени перезарядить пушки. Так и сейчас.

Судя по лицу Равенскара, слова Элизы его не убедили.

— После нашего с вами эпистолярного флирта,

доставившего мне столько приятных минут, — сказала Элиза, — я бы не хотела обнаружить, что вы страдаете ранним семяизвержением.

— Мадам! Я не знаю, как выражаются дамы во Франции, но в Англии…

— Полноте. Это фигура речи, ничего более.

— И не слишком точная, ибо я рискую куда большим, чем вам думается…

— Я знаю, чем вы рискуете.

Элизу отвлёк шум за дверцей кареты. Из Дома Хакльгебера выбежал человек, одетый по-дорожному, и замахал извозчику. Их вокруг было в избытке — судя по всему, уже прошёл слух, что здесь с неба сыплются монеты. Через некоторое время человек в дорожном платье отъехал.

— Это один из тех немцев, чьи крики доносились из дома? — спросил Равенскар.

Элиза посмотрела ему в глаза.

— Вы слышали их здесь?

— Мадам, я услышал бы их в Уэльсе. Из-за чего они так?

Элиза поманила кого-то пальцем, потом закивала, словно говоря: «Да, да, я тебе». В окошке появилось лицо извозчика — шляпу он держал в руках.

— Езжай за тем немцем, пока он не взойдёт на

борт судна. Смотри за судном, пока оно не исчезнет из виду. Потом отправляйся в… как зовётся ваш разбойничий вертеп, милорд?

— «Голова клячи».

— Отправляйся в «Голову клячи» и передай для маркиза, что его корабль прибыл. Там кто-нибудь будет ждать — он добавит тебе ещё. — Элиза, не глядя, вытащила из сундука горсть монет и бросила извозчику в шляпу.

— Всенепременно, миледи!

— Вероятно, это будет грейвзендский паром, но, может быть, тебе придётся доехать до Ипсвича или дальше, — добавила Элиза, отчасти чтобы объяснить свою щедрость — по тому, как поперхнулся Равенскар, она поняла, что переплатила.

Извозчик умчался, будто им выстрелили из мортиры. Элиза обернулась к Равенскару:

— Вы спросили, из-за чего немцы подняли крик?

— Да. Я боялся, что вынужден буду отправиться в дом и кого-нибудь там проткнуть.

Он похлопал по ножнам шпаги.

— Все они задавали дерзкие вопросы, что я намерена делать с серебром.

— А вы ответили…

— Я с видом равнодушного высокомерия при-

творилась, будто не понимаю никаких языков, кроме того, на котором говорят в Версале.

— Ясно. Так они поверили, что вторжение началось!

— Я не могла читать их мысли, милорд, а если б и могла, то не захотела бы.

— И они отрядили гонца на Континент. Вы упомянули Ипсвич — то есть он направляется в Голландию. И зачем?

Элиза пожала плечами:

— За остальными, полагаю.

— За остальными *немцами?!*

— За остальными четырьмя пятыми причитающейся мне суммы.

Всякий, стоящий снаружи, заметил бы, что карета качнулась. Всё тело маркиза Равенскара свела нервная судорога. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы обрести дар речи, и заговорил он из распростёрто-полулежачего положения.

— И что, прах меня побери, вы будете делать с таким количеством серебра?

— Скорее всего, обменяю его на переводные векселя, которые можно отвезти во Францию.

— Откуда деньги изначально и посылали. Зачем столько хлопот?

— Теперь вы задаёте дерзкие вопросы, — сказала Элиза. — Вас должно заботить одно: Хакльгеберы убеждены, что высадка началась. Сейчас они, вероятно, пытаются купить серебро в Лондоне. В итоге все будут думать, что вторжение началось, пока не придёт прямое опровержение. Ваше серебро только начало расти в цене.

— На самом деле меня заботит ещё одно обстоятельство, — заметил Равенскар. — Мы сидим посреди улицы с несметным количеством серебра. Нельзя ли отвезти его куда-нибудь под защиту стен, замкóв и пушек?

— В любое место, которые вы сочтёте надёжным, сударь.

— В Тауэр! — приказал Равенскар, и карета тронулась, позвякивая серебром.

— Прекрасно, — сказала Элиза. — Полагаю, стен и пушек там предостаточно, а я смогу навестить заодно милорда Мальборо.

— Рад служить, мадам.

Грешем-колледж
10 (20) июня 1692

Даже Соломон нуждался в золоте для украшения Храма, если не получал его чудом.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

— Моя радость от встречи с мсье Фатио уступает лишь изумлению при виде его прославленного спутника! — всё, что Элиза смогла выговорить, когда Фатио появился с человеком, в котором она по длинным седым волосам узнала Исаака Ньютона.

Встреча вышла очень неловкой даже по меркам учёного мира. Элиза была в Лондоне уже две недели. Первые дни ушли на покупку платьев, поиски жилья, сон и тошноту — она, очевидно, была беременна. Затем Элиза разослала записки немногочисленным лондонским знакомым. Почти все ответили в тот же день. Письмо от Фатио принесли только сегодня — просунули под дверь, пока она стояла на коленях перед ночной посудиной. Учитывая, сколько времени прошло,

естественно было ожидать, что послание будет безупречным, составленным после множества черновых вариантов, — но нет, в короткой записке на вырванном из тетради листке Фатио звал Элизу немедленно приехать в Грешем-колледж. Так она и поступила, отложив все дела, а в итоге прождала в библиотеке час. Наконец Фатио явился, взмыленный, раскрасневшийся, словно прискакал на поле боя. И проволок с собой беловласого джентльмена.

Некоторое время он стоял между ними, потом вспомнил свои манеры, поклонился Элизе и сказал по-французски:

— Сударыня. Я каждый день вспоминаю наши приключения в Схевенингене, так что моя радость при встрече с вами понятна.

Слова были явно отрепетированы заранее и произнесены слишком быстро, чтобы счесть их искренними. Прежде, чем Элиза успела ответить, Фатио отступил в сторону и указал на спутника.

— Позвольте представить вам Исаака Ньютона, — объявил он и перешёл на английский. — Исаак, честь имею представить вам Элизу де Лавардак, герцогиню Аркашонскую и Йглмскую.

Пока Элиза и Ньютон делали реверанс и кланялись соответственно, Фатио не сводил глаз с

Элизиного лица.

Фатио нравился Элизе, но она помнила, что в его присутствии ей всегда было немного не по себе. Николя Фатио де Дюилье был вечным актёром итальянской оперы, разыгрывавшейся исключительно в его голове. Сегодняшнюю встречу в библиотеке Грешем-колледжа он срежиссировал до последней мелочи. Герцогиню спешно вызывают в библиотеку Грешем-колледжа загадочным письмом. Та час томится в неизвестности — драматическое напряжение растёт, — и тут вбегает Фатио, весь красный от сверхъестественных усилий, ведя самого Великого Человека. Положение спасено! Получилось и впрямь драматично, но какие бы чувства Элиза ни испытывала, она предпочла держать их при себе, поскольку Фатио изучал её пристально, как голодный — закрытую устрицу.

Ньютона притащили сюда силком — это было очевидно. Однако когда он увидел Элизу во плоти и она обрела для него конкретность, всякое недовольство исчезло. Ему оставалось лишь вспомнить, зачем его сюда привели.

Они уселись вокруг стола в одинаковые кресла без различия в званиях. Ньютон рассматривал подпалину на столешнице и минуту-две собирал-

ся с мыслями. Элиза и Фатио заполняли молчание светской болтовнёй. Наконец Ньютон взглянул на ближайшее окно, и лицо его приняло такое выражение, будто он готов что-то сказать. Фатио оборвал фразу на полуслове и полуобернулся к Ньютону.

— Я буду говорить так, будто всё, сказанное Николя о вашем уме и образованности, верно, — начал Ньютон, — не уклоняясь в полуправду и не возвращаясь вспять для скучных разъяснений, как в беседе с какой-нибудь другой герцогиней.

— Я постараюсь быть достойной комплиментов Фатио и вашего уважения, — проговорила Элиза.

По-видимому, именно такой ответ Ньютон надеялся услышать; он кивнул и даже почти улыбнулся, прежде чем продолжить:

— Я прямиком обращусь к алхимии и к тому, почему её чту. Иначе вы возомните меня безумцем; возомните потому, что все алхимики, которых вы встречали, суть шарлатаны либо обманутые ими глупцы. По ним вы судите об алхимии и её приверженцах.

Вы дружны с Даниелем Уотерхаузом, который не любит алхимию и считает время, проведённое мною в лаборатории, потерянным для натурфилософии. Он даже поджёг мою лабораторию в

тысяча шестьсот семьдесят седьмом году. Я его простил, он же так и не простил мне мои продолжающиеся занятия алхимией. Возможно он словами или жестами внушил вам, сударыня, свои взгляды.

Вы также дружны с Лейбницем. Некоторые хотят убедить меня, будто Лейбниц — мой враг. Я так не думаю.

Говоря это, Ньютон посмотрел прямо на Фатио. Тот побагровел и отвёл взгляд.

— Я говорю, что сохраняется произведение массы и скорости; Лейбниц говорит, что сохраняется произведение массы и *квадрата* скорости. Сдаётся, что оба мы правы и, объединив два этих принципа, сможем создать науку динамику — пользуясь термином Лейбница, — которая будет больше, нежели сумма своих составляющих. Так что Лейбниц не убавил от моих трудов, а прибавил к ним.

Равным образом он не убавить домогается от «Математических начал», но прибавить то, чего им явно недостаёт — объяснения причин и оснований силы. В этом мы с Лейбницем соратники. Я, подобно ему, тщусь раскрыть загадку силы, действующей на расстоянии, как та, что связует тяготеющие тела, или внутри и вокруг тел, как

при соударении. Или как эта.

Ньютон протянул руку ладонью вверх. Элиза подумала было, что он приглашает её взглянуть на окно в стене над столом. Однако Ньютон повёл рукой, словно ловя комара, и остановил её. На бледной, словно пергаментной ладони лежала маленькая радуга от какой-то неровности в стекле. Полоска света была неколебима, как гироскоп, хотя рука Ньютона дрожала. Такую оптическую иллюзию не создал бы ни один версальский живописец, сколько угодно поднаторевший в причудливых ложных перспективах и прочих обманах зрения. Элиза безотчётно протянула руки и поддержала дрожащую ладонь Ньютона.

— Я вижу, вы нездоровы, сударь, — сказала она. — Это не дрожь от чрезмерного употребления кофе, а лихорадочный озноб…

Однако рука Ньютона была холодна.

— Мы все нездоровы, если на то пошло, — отвечал он. — И если некое поветрие выкосит нас всех, эти маленькие спектры будут перемещаться по комнате до скончания веков, не зная и не заботясь, ловят ли их живые человеческие руки. Наша плоть останавливает свет. Да, плоть немощна, но дух бодр, и размышляя над тем, что наблюдают наши плотские органы чувств, мы

совершенствуем разум и возвышаем душу, пусть плоть наша стареет и увядает. Нет, у меня не лихорадка, сударыня.

Он убрал руку и вцепился в подлокотник, чтобы унять дрожь. Радуга теперь лежала у Элизы в горсти.

— Однако я смертен и тщусь в отпущенные мне годы постичь тайну силы. Теперь помыслите о свете, который поймали в ладонь. Он промчался чрез сотни миллионов миль небесного эфира и не изменился ни на йоту. Земная атмосфера исказила его лишь самую малость. И вот, пройдя четверть дюйма оконного стекла, он отклоняется от курса и разлагается на цвета. Мы не замечаем этого за обыденностью, но задумайтесь, какого чуда мы свидетели! На всём своём долгом пути от Солнца свет не подвержен влиянию солнечного тяготения, столь мощного, что ему покорствует могучий Юпитер на куда большем удалении. А разве не воздействует на него притяжение Земли, Луны и других планет? Однако он совершенно к ним нечувствителен. Тем не менее в куске стекла заключена сила, которая отклоняет его и разлагает на цвета. Как если бы ядро, выброшенное с бесконечной скоростью из сверхпушки, прошло чрез крепостные валы и

бастионы, словно через их тень, но отклонилось и разбилось вдребезги от пёрышка в руке дитяти. Что, заключённое в заурядном оконном стекле, обладает такой силой, но не воздействует на меня и на вас? Или размыслите о кислотах, кои в считаные мгновения растворяют камни, от сотворения мира побеждавшие натиск стихий? Что властно уничтожить камень, созданный Богом, камень, способный удерживать вес пирамиды, останавливать огонь, отражать пули? Значит, в кислотах дремлет великая сила, способная сокрушить такую мощь. Вправе ли мы помыслить, что сила эта родственна или тождественна той, что отклоняет проходящий через стекло свет? И разве не должны задаваться подобными вопросами те, что величают себя натурфилософами?

— Ах, если бы все приверженцы алхимии ставили вопросы столь же чётко и с такой же ясностью излагали! — воскликнула Элиза.

— Традиции алхимического искусства древни и необычны. Алхимики если и говорят, то загадочными иносказаниями. Не мне исправлять заведённый обычай; я могу лишь завершить делание и таким образом пролить свет на сокрытое дотоле во мгле. И в связи с этим деланием я имею сказать вам нечто насчёт золота, похищенного

Джеком Шафто в Бонанце.

Поворот был столь неожиданным, что Элиза обмякла в кресле, словно брошенная в коробку тряпичная кукла. Фатио устремил на неё пристально-испытующий взор. Даже Ньютона как будто позабавило её смятение.

— Не знаю, сударыня, каким образом вы замешаны в эту историю, и не имею ни власти, ни желания выпытывать у вас правду. Довольно и того, что, по убеждению многих членов эзотерического братства, вы располагаете некими нужными нам сведениями, а коли так, в ваших интересах знать, почему алхимики так пекутся об этом золоте. Знаете ли вы это, сударыня?

— Я знаю или подозреваю лишь то, что смогла вывести из слов и поступков людей, стремящихся им завладеть. Люди эти считают, что оно, в отличие от обычного золота, наделено некими сверхъестественными качествами.

Ньютон удивился.

— Я искренне не знаю, что значит слово «сверхъестественный», — сказал он. — Однако вы не сильно заблуждаетесь.

— Я не хочу заблуждаться *нисколько*. Поправьте меня, сэр.

— Предтечей алхимиков был мудрый царь

Соломон, строитель Храма, — начал Ньютон. — Страшась по младости лет не справиться с бременем царской власти, он вознёс Господу тысячу всесожжений, и Тот, явившись Соломону во сне ночью, сказал: «Проси, что дать тебе». И Соломон попросил дать ему не богатство и не могущество, а сердце разумное. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и дал Он ему «сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Третья книга Царств, глава третья, стих двенадцатый. Так имя Соломона стало означать мудрость — Софию. Как именуем мы любящих мудрость? Философами. Я философ, и пусть мне никогда не достичь премудрости Соломона, ибо в процитированном стихе сказано прямо, что никто из потомков с ним не сравнится, я стремлюсь раскрыть часть того, что когда-то было явлено в воздвигнутом им Храме Премудрости.

Сказано также, что Господь дал Соломону богатства, хоть тот о них не просил. Соломон обладал золотом и, более того, обладал сердцем разумным; тайны вещества, подобные тем, что я указал вам в стекле и кислотах, вряд ли остались сокрыты от его взора. Все усилия алхимиков, в

том числе и мои — не более чем жалкие потуги повторить Великое делание царя Соломона в Храме. Тысячелетиями алхимики тщились вернуть утраченное после того, как Соломон окончил свои дни в Иерусалиме. По большей части они ничего не добились, хотя несколько великих — Гермес Трисмегист, Сендзивой, Чёрный Монах, Дидье, Артефий — пришли к сходным, если не сказать идентичным заключениям касательно последовательности шагов, надобных для Великого делания. Сейчас я очень близок… — Впервые с начала своей речи Ньютон запнулся. Он перевёл взгляд с Элизы на Фатио, кивком и легчайшим подобием улыбки включая того в разговор. — Мы очень близки к тому, чтобы достичь искомого. Мне говорили, сударыня, что некоторые довольно высоко ставят мои «Математические начала», но я скажу: они станут не более чем предисловием к моему следующему труду, если я сдвину Великое делание хотя бы на йоту. Дело бы значительно облегчилось, будь у нас хоть кусочек золота, дарованного Господом Соломону.

— Наконец-то я поняла, — сказала Элиза. — Вы и другие алхимики верите, что золото, похищенное Джеком Шафто и его пиратами в Бонанце, и есть золото царя Соломона, каким-то чудом

сохранившееся на протяжении столетий. Оно чем-то отличается от того, что невольники португальцев добывают в Бразилии.

— Теория о том, в чём состоит это отличие, разработана очень подробно, но едва ли будет вам интересна, тем более, если вы считаете алхимию пустым делом, — вставил Фатио. — Она касается того, как частицы — атомы — золота соединены между собой, образуя сплетения, сплетения сплетений и так далее, и так далее, и что́ может заполнять полости либо проходить через ячеи этих структур. Довольно сказать, что Соломоново золото, не отличаясь от обычного внешне, имеет несколько больший удельный вес. И даже полный профан отличит его, если взвесит образец и рассчитает плотность. Крупная партия такого золота была обнаружена в Мексике несколько лет назад и доставлена в Испанию вице-королём, который намеревался продать его Лотару фон Хакльгеберу, но…

— Дальнейшее мне известно. Но как, по-вашему, золото царя Соломона оказалось в Новой Испании?

— Есть мнение, что Соломон не умер, а отправился на Восток, — сказал Ньютон. — Можете верить или не верить, но бесспорно, что вице-

король владел золотом, имеющим необычно высокий удельный вес.

— И вы в этом уверены, потому что…

— Лотар фон Хакльгебер отправил в Новую Испанию трёх пробирщиков. Их измерения не оставляют места для сомнений.

— Хм. Неудивительно, что он так взбеленился, когда Джек увёл золото прямо у него из-под носа!

— Позвольте спросить, сударыня, получали ли вы в последнее время известия от упомянутого Джека Шафто?

— Полтора года назад он прислал мне подарок, который, правда, по дороге испортился и завонял, так что его сразу зарыли в землю. Мистер Ньютон, будьте покойны: я и несколько моих французских знакомых употребляем все старания, чтобы выяснить, где Джек. Пока это едва ли возможно, ибо его мотает по всем торговым портам Аравии. Однако как только я узнаю что-нибудь определённое…

Элиза не закончила фразу. Не потому, что её перебили — оба собеседника хранили молчание, — а из-за ужаса, который появился на их лицах, особенно на лице Ньютона, и взгляда, которым они обменялись.

Фатио, сообразив, что пауза неприлично затя-

гивается, объяснил:

— Хуже всего будет, если пираты, не ведая, что попало им в руки, перечеканят Соломоново золото и пустят его на ветер. Ибо тогда оно рассеется по всему миру, смешается и сплавится с обычным металлом, так что его уже не удастся найти.

Фатио взглянул на Ньютона и, переменившись в лице, опустился на одно колено рядом с креслом учёного. Ньютон прикрыл дрожащей рукой глаза и безостановочно ёрзал в кресле, почти извивался ужом. Пот выступил у него на лбу, жилка на виске билась вдвое-втрое чаще, чем Элизин пульс. Казалось, Ньютон напрягает каждую унцию воли, чтобы удержать тело от состояния животного аффекта. Пока перевес был на стороне воли, но столь незначительный, что Ньютон, захваченный внутренним поединком духа и плоти, не видел и не слышал ничего вокруг.

Элиза встала.

— Позвать врача?

— Я его врач, — последовал ответ Фатио. Довольно странный из уст математика. Впрочем, возможно, он читал медицинские трактаты.

Дабы пациенту и врачу не пришлось вставать и церемонно раскланиваться, Элиза быстро сделала реверанс и вышла из комнаты.

Через полчаса она была в Доме Золотого Меркурия, где вместо составленных штабелями тяжёлых сундуков узрела необычное скопление английских юристов. Их было даже больше, чем клиентов — четырёх (надо полагать, немецких) банкиров. Трёх Элиза видела раньше, когда приезжала с маркизом Равенскаром, чтобы предъявить векселя к оплате. Четвёртый, самый старший, был ей не знаком. Элиза решила, что он приехал из Амстердама.

— Это торговый дом или картинная галерея? — осведомилась Элиза, отчасти чтобы нарушить молчание, которым её встретили. — Я ожидала увидеть стопки серебряных пенни до потолка, а созерцаю живописную группу, достойную кисти старых мастеров.

Никто не улыбнулся. Однако сцена и впрямь напоминала групповой портрет. Помещение было бы слишком тесным даже для булочной. Обстановку составляли две тяжёлые конторки, или *bancas*, и полки с амбарными книгами и свитками. Имелся и окованный железом сундук для незначительных выплат, однако операции с крупными партиями монет проводились обычно через большие златокузнечные лавки или банк Апторпа. Узкая дверь в задней стене вела на лест-

ницу, которая почти сразу круто поворачивала, так что второй пролёт занимал почти четверть помещения. На этой-то лестнице две недели назад и стояли сундуки с деньгами. Однако сегодня никаких сундуков не было. На лестнице расположился старший банкир; отсюда он, как с помоста, мог видеть всё лондонское представительство Дома Хакльгебера. Дородный немец занимал всю ширину лестницы за дверью; выглядело это так, будто его затолкали в поставленный на попа гроб с открытой крышкой. Одутловатые щёки выпирали, образуя глубокие вертикальные расселины по сторонам верхней губы, высокой, отвесной и белой, как скалы Дувра.

Даже если бы Элиза не видела лондонского представителя и двух его помощников раньше, она тут же узнала бы их по напряжённым позам. Все они вынуждены были стоять спиной к старому банкиру навытяжку, как будто его голубые глаза буравят им позвоночник.

Юристов было пятеро. По возрасту, качеству париков и осанистости Элиза заключила, что двое — мэтры, остальные трое — мелкие служащие. Мэтры стояли плечом к плечу с клиентами, служащие, как пакля, были запихнуты в щели между конторками и под лестницей, так что формой

менее всего напоминали человеческие существа. Хорошо, что утренняя тошнота прошла, не то запахом кофе, табака, гнилых зубов и немытых человеческих тел Элизу бы вынесло на Чендж-аллею, где с ней бы случился припадок похлеще, чем с Ньютоном. А так у неё просто были все стимулы закончить разговор как можно быстрее.

— Здесь столько людей, что нет места для серебра, — сказала она. — Могу ли я заключить, что всё оно отправлено на Монетный двор для чеканки денег?

— Сударыня, — начал лондонский представитель, буквально читая по писаному, то есть по заготовленной бумажке. — Две недели, истекшие с тех пор, как вы представили векселя к оплате, были насыщены событиями. Дозвольте мне вкратце их изложить. Вы прибыли в тот день, когда с минуты на минуту ожидалась весть о французском вторжении. Цена на серебро была высока. Вы предъявили пять векселей. Один подлежал немедленной оплате, и мы по нему рассчитались. Четыре других подлежали оплате четвёртого июня по английскому календарю, то есть сегодня. Поскольку в Лондоне серебра было не добыть, мы отрядили курьера в наше амстердамское представительство. Менее чем

через двенадцать часов после прибытия гонца из порта вышло судно, нагруженное серебром в количестве, достаточном для оплаты всех ваших четырёх векселей. При нормальном ходе событий оно вскоре достигло бы Лондона, и серебро перечеканили бы на монеты задолго до истечения срока действия векселей. Однако по пути его атаковали и захватили военные корабли, несущие французский флаг. Серебро и судно доставили в Дюнкерк, *где они находятся и посейчас*. Поскольку разбой вершился под французским флагом, наши голландские страховщики объявили, что ущерб причинён в результате военных действий и согласно условиям договора не подлежит возмещению.

— Вы не пытались купить серебро в Лондоне? — спросила Элиза. — После того, как французское вторжение отменилось, местный рынок наверняка им перенасыщен. Я даже слышала, что маркиз Равенскар две недели назад продал всё серебро, сколько у него было.

— Весть о пиратстве достигла моих клиентов только вчера, — вступил в разговор поверенный — маленький, росточком чуть больше Элизы, с лисьей повадкой. — Нет надобности говорить, что мой клиент тут же употребил все старания, что-

бы приобрести местное серебро; но способность моего клиента к такого рода приобретениям зависит от репутации его торгового дома, каковая, заметьте, определяется не реальным состоянием его дел, а мнением прочих банкиров Сити… — Тут он невольно покосился на окно, под которым уже начали собираться вышеупомянутые банкиры или их посыльные.

— А она пострадала из-за пиратов, или страховщиков, или кого там ещё, — проговорила Элиза голосом, полным такого детского изумления, будто эта мысль только что пришла ей в голову.

— Мой клиент не станет комментировать ваши домыслы, — сказал поверенный. — Однако я должен поправить вас в части словоупотребления. Вы сказали «пираты». Пират не подчиняется ни одному государю. В данном случае правильнее говорить «капер». Вам известно, чем капер отличается от пирата, сударыня?

— Ну разумеется. Капер действует под флагом той или иной страны и, по сути, принадлежит к её военному флоту.

— Такая осведомлённость, возможно, объясняется вашим статусом супруги верховного адмирала Франции, под чьим началом служит капитан Жан Бар, похитивший серебро моего

клиента.

— Этот негодяй неисправим! Всего три года назад он конфисковал всё моё состояние до последнего пенни! Рада слышать, что Дом Хакльгебера отделался куда меньшим ущербом.

— Это ещё как посмотреть, — сказал поверенный. — Богатство дамы заключено в её шкатулке с драгоценностями, но богатство банкирского дома в значительной мере зиждется на его репутации. Прямые убытки, такие, как потеря корабля с серебром, можно списать или даже возместить. Когда же знатная особа составляет изощрённый комплот, чтобы погубить доброе имя банкирского дома…

— Ужасно, я не могу больше соглашаться! — воскликнула Элиза. Все замолчали — к такому ответу они были не готовы. — Впрочем, позвольте сказать, что вы не правы, утверждая, будто богатство дамы заключено в шкатулке с драгоценностями. Как и у банкирского дома, её главное достояние — репутация. Богатство, отнятое три года назад Жаном Баром, для меня ничто. Куда больший ущерб моей репутации будет нанесён, если кто-то по злому умыслу или просто по неведению начнёт распространять слух, будто я преднамеренно обманула честный немецкий

банк! Ваш клиент так не думает, сэр?

— Э… мой клиент не так хорошо владеет английским, как мы с вами. Прежде, чем я смогу вам сказать, согласен он или нет с вашими утверждениями, я должен буду встретиться с ним приватно и позаботиться, чтобы ему перевели ваши слова. Будьте любезны, сударыня, продолжайте, но прежде учтите, что никакие прежние высказывания моего клиента не могут и не должны толковаться как прямое или косвенное обвинение вас в мошенничестве.

— Вы очень меня успокоили. Так или иначе, именно с целью предотвратить такой урон моей репутации я и примчалась сюда нынче утром.

— Неужто?

— Ну разумеется! Мне сообщили, что для Дома Хакльгебера наступили трудные времена. Лотар фон Хакльгебер, по слухам, человек мстительный и беспринципный. Первой моей мыслью было, что он попытается спасти свою репутацию, замарав мою, что было бы крайне несправедливо, учитывая, что он вступил в сделку по своей воле, на собственных условиях, прекрасно осознавая риск. Как бы то ни было, суть в том, что я здесь, в Лондоне, одна, беззащитная, не имеющая другого достояния, кроме титула герцогини Йглмской,

дарованного мне королём Вильгельмом.

— Мы прекрасно знаем ваши титулы, сударыня, — и английский, и французский, — а равно и то, за что вы их получили.

— И я здесь, чтобы предложить решение.

— И что же вы предлагаете?

— Причина, по которой требовалось серебро, отпала. Однако векселя предъявлены, приняты и для сохранения репутации Дома Хакльгебера должны быть оплачены в Лондоне до исхода сегодняшнего дня. Я предлагаю изменить условия оплаты. Франция больше не нуждается в этом серебре, но ей постоянно нужен лес — сейчас более чем когда-либо, поскольку немалая часть её флота сожжена у Шербура и Ла-Уг. Она закупает лес через «Компани дю Норд», ведущей дела через торговцев-гугенотов на севере. Эти торговые дома имеют представительства в нескольких шагах отсюда. По дороге к вам я случайно встретила мсье Дюрана, здешнего агента одной из таких фирм. Я прихватила его с собой.

Элиза помахала рукою в окно. Тут же дверь отворилась, и всё оставшееся место в Доме Золотого Меркурия занял носатый седой господин без парика.

— Позвольте представить мсье Дюрана из фир-

мы «Дюран и сыновья», действующей в Лондоне, Стокгольме, Ростоке и Риге, — сказала Элиза. — Я поведала ему о случившемся — хотя бóльшую часть он, как и все на Чендж-аллее, уже знал. Мсье Дюран весьма красноречиво меня уверил, что питает к Дому Хакльгебера глубочайшее уважение, которое не поколеблет один несчастливый случай пиратства. Посему он готов организовать поставку леса «Компани дю Норд» при условии, что ему передадут четыре оставшихся векселя. Другими словами, он готов принять гарантии вашего торгового дома взамен наличного серебра. Обязательства Дома Хакльгебера будут исполнены до конца дня, и ничья репутация не пострадает — завтра, как и вчера, Лотар фон Хакльгебер будет *Ditta di Borsa,* а краткий миг сомнений в его надёжности, потребовавший пригласить столько уважаемых юриспрудентов, если и останется в памяти, то лишь как очередной пример необъяснимой паники, которой так подвержены рынки по всему миру.

Теперь всё это предстояло объяснить тучному немцу в дальнем конце комнаты. По его возрасту, манере держаться и заискивающему отношению остальных Элиза предполагала, что он подотчётен лично Лотару фон Хакльгеберу.

Старший банкир явно почти не знал английского, что до сей минуты было ему скорее на руку: он оценивал общее настроение присутствующих, борьбу воль и баланс сил. Он увидел, как Элиза вошла в помещение, где царил дух осаждённого бастиона. Однако она изумила противников, когда не воспользовалась своим преимуществом и предложила мировую. Изумление сменилось облегчением, когда появился мсье Дюран. Всё это старый банкир наблюдал, не понимая частностей; чем больше его подчинённые успокаивались, тем подозрительнее становился он сам. Теперь он выслушивал на немецком условия мировой, и условия эти явно ему не нравились.

— Должны ли мы понимать, — перевёл его ответ лондонский представитель, — что Франция получит — вдобавок к уже вам вручённым ста тысячам ливров и четырёмстам тысячам ливров, находящимся сейчас в Дюнкерке, — ещё на четыреста ливров балтийского леса, и всё это в обмен на пятьсот тысяч ливров во французских правительственных обязательствах?

— Я посоветовала бы вам так не кричать, — сказала Элиза. — Голоса слышны на улице, а на Чендж-аллее собрались люди из Сити, до которых дошли слухи о несостоятельности Дома Хакль-

гебера. Как только я переступлю этот порог, меня начнут допрашивать с пристрастием, как узника инквизиции, сумели ли Хакльгеберы выполнить свои обязательства. Благодаря любезному предложению мсье Дюрана я могла бы ответить положительно. — Она полуобернулась к двери и положила руку на задвижку. В помещении сразу стало темнее — дельцы на улице, заметив Элизино движение, придвинулись ближе к окнам, заслоняя свет. — Мне непонятны ваши слова о четырёхстах тысячах ливров там и тут; я всего лишь женщина и ничего не смыслю в цифрах.

Задвижка под её рукой щёлкнула, как взводимый курок. Сзади оглушительно взревели по-немецки. Элиза не разобрала слов, но в следующий миг к ней подскочил поверенный:

— Мой клиент готов рассмотреть предложение и охотно его примет, буде удастся согласовать взаимоприемлемые условия.

— Тогда, пожалуйста, согласуйте их с мсье Дюраном, — сказала Элиза, — а я выйду подышать воздухом.

— И?..

— И объявить лондонскому Сити, что Дом Хакльгебера по-прежнему *Ditta di Borsa,* — добавила Элиза.

— Что вы там кричали через плечо, когда выходили в дверь? — спросил Боб Шафто. — Я не разобрал вашего французского.

— Да ничего особенного, просто вежливо распрощалась, — сказала Элиза. — Поздравила старичка с тем, как ловко он всё уладил, и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

— А что он на это ответил?

— Ничего, просто устремил на меня полный благодарности взгляд.

— Вы говорили раньше, в Сен-Мало, когда мы… — начал Боб и тут же сбился с мысли, посмотрев на Элизин живот. — Когда мы были вместе.

— Да, и вы сказали, что хотите наступить Лотару на горло. И вроде своего добились. Но вы его отпустили?

— Ну уж нет! — воскликнула Элиза. — Каждая сделка — палка о двух концах, и это только один.

— Отлично. Запомню. Но я всё равно ничего не понял.

— Лотар тоже.

— Вы вернётесь во Францию?

— В Дюнкерк, — отвечала Элиза. — Навестить капитана Бара и сказать маркизу д'Озуару, что он получит свой лес. А ты, сержант Боб?

— Останусь пока здесь. Я раза два навещал мистера Черчилля в Тауэре, и, попомните мои слова, скоро он оттуда выйдет.

— Судебное преследование против него выродилось в фарс, который, конечно, импонирует английскому чувству юмора, но всем уже изрядно надоел.

— А тем временем Людовик осадил Намюр, не так ли? И люди спрашивают, почему Вильгельм под смехотворным предлогом держит лучшего своего военачальника за решёткой, когда по другую сторону Ла-Манша идёт война. Нет, сударыня, если я вернусь в Нормандию, мне придётся давать какие-то объяснения. Меня могут даже повесить за дезертирство. Мой ирландский полк заслали бог весть куда — насколько я знаю, они на юге, на Савойском фронте, в миллионе миль от места, куда я стремился попасть. Но вскоре армию возглавит Черчилль, и я вместе с ним отправлюсь во Фландрию. Мы сойдёмся с французами на каком-нибудь узком клочке земли. Я буду рассматривать вражеские знамёна, пока не увижу штандарт графа Ширнесского…

— И что тогда?

— Ну, найду какой-нибудь способ наступить ему башмаком на горло. А после мы поговорим

про Абигайль.

— Ты уже пытался проделать это с его братом — прежним владельцем Абигайль. Он чуть тебя не убил; Абигайль всё ещё в неволе.

— Я не говорю, что план хорош, но это какой-никакой план.

— Почему бы мне просто не выкупить её у Ширнесса?

— Возникнут вопросы. Что вам до какой-то английской рабыни?

— Это моё дело.

— А вызволить Абигайль — моё.

— Согласилась бы Абигайль с тобой? Или предпочла бы план, который наверняка принесёт ей свободу?

Боб почернел лицом. Некоторое время он перебарывал досаду, потому усмехнулся:

— Да что толку молоть языком, если вы всё равно поступите, как вам заблагорассудится? Что ж, отправляйтесь в Дюнкерк. Но если вам есть дело до моего мнения, то позаботьтесь о себе, а не обо мне. Вы, как я понимаю, сейчас в деликатном положении. Вот и всё.

— Я постоянно в деликатном положении, — отвечала Элиза, — но мужчины замечают это, когда им самим удобно.

Боб снова усмехнулся. Элизу это вывело из себя.

— Давай поговорим начистоту, — сказала она, — поскольку дальше нам в разные стороны: тебе в Тауэр навещать командира, мне — в порт договариваться об отъезде в Дюнкерк.

Они как раз подошли к перекрёстку, где Грейт-Чёрч-стрит меняет название на Фиш-стрит и устремляется вниз к Лондонскому мосту. Справа начинался Большой Истчип; дальше он под именем Малого Истчипа тянулся до самого Тауэра. Чуть ниже высилась огромная одинокая колонна, отбрасывавшая вдоль улицы длинную тень. Они вышли аккурат к тому месту, где четверть столетия назад начался Великий Пожар. Колонну Гук с Реном возвели в память о нём.

— Когда вы предлагаете поговорить начистоту, я знаю, что надо на что-нибудь опереться, — сказал Боб и, кроме шуток, прислонился спиной к каменной стене.

— Ты видел, как меня рвёт, и решил, будто я беременна. Мысль эта крепко засела у тебя в голове, поскольку ты знаешь, что Абигайль заразилась от Апнора сифилисом и вряд ли родит тебе детей, даже если ты вырвешь её у графа Ширнесского. Я стала для тебя не «Элиза, баба, с

которой я время от времени долблюсь», а «Элиза, будущая мать моего единственного ребёнка». Это затуманило твоё сознание, и ты стал выдумывать прожекты, которые вряд ли принесут Абигайль свободу. Так знай, что позавчера у меня случился выкидыш. Плод, который мог быть от тебя, от моего мужа или от нескольких других мужчин, теперь с ангелами. Я ещё рожу мужу здорового наследника, но для этого должна понести сразу по возвращении во Францию. Может, я соблазню Жана Бара, может, маркиза д'Озуара, может, какого-нибудь моряка, который глянется мне на улице. В любом случае, не надейся получить отпрысков отсюда, — Элиза положила руку на корсет, — потому что мне надоело быть третьей в жизни Боба Шафто и Абигайль Фромм. Надоело быть опиумным эликсиром, утишающим твою боль и рождающим в твоём мозгу фантастические стратагемы, от которых не будет проку ни тебе, ни ей. Абигайль, возможно, тебя ждёт. Я — нет. Поступай как знаешь.

Она скрылась с Бобовых глаз раньше, чем слова её проникли в его сердце, потому как была женщина маленькая, проворная и растворилась в толпе на Фиш-стрит, словно крупинка сахара в струе кипятка. Боб не двигался, но стоял, при-

слонясь к стене, пока хозяин дома — страховщик — не выглянул в окно и не посмотрел на него так, как смотрят джентльмены на бродяг, когда тем пора проваливать. Боб, старый солдат, умел переставлять ноги и против воли. Он отлепился от стены, свернул за угол и двинулся через Малый Истчип к Тауэру, где ждал его командир.

Книга 4
Бонанца

Ахмадабад, Могольская империя
Сентябрь 1693

Когда люди бегут от опасности, им свойственно убегать дальше, чем нужно.

«Беды, которых можно справедливо ожидать от правительства вигов», приписывается Бернарду Мандевилю (1714)

Каждое утро толпа разъярённых индусов сходилась перед лазаретом в надежде потолковать с Джеком, когда тот будет входить, поэтому он всякий раз приходил чуточку раньше и украдкой проскакивал в заднюю дверь, через которую выносили говно и вносили корм. Собственно, Джек подпадал под одну из упомянутых категорий и потому с полным основанием проникал в лечебницу с чёрного хода. Он шёл через внутренний двор, держа руку перед лицом, как забрало, чтобы пробиться сквозь тучу оводов. По крайней мере хотелось верить, что это оводы.

Его появление примечали и обсуждали между собой мучимые бессонницей лошади и верблюды в стойлах. Одни из них стояли на перевязанных

ногах, другие были подвешены к станкам. Здесь же содержалась и тигрица, страдающая от флюса, но в клетке и в отдельном строении, чтобы её запах и почти беззвучные зевки не сеяли панику среди копытных. Лошадь, стоящая на передних ногах и брыкающая задними, опасна; лошадь, подвешенная за брюхо и брыкающаяся всеми четырьмя конечностями, опасна, как телега афганцев.

В помещении насекомых было не меньше. Отчасти потому, что в этой части света различия между улицей и помещением не слишком строги. Да, пространство разделено стенами и перегородками. Однако они сплошь в дырьях (искусно выточенных лучшими резчиками по камню, но всё равно дырьях), чтобы впускать снаружи воздух и свет, а также (думал Джек в минуты особого раздражения) чтобы здание не лопнуло, когда его жильцы пердят. Они все жрали бобы или, во всяком случае, кучу чего-то бобового, будто голодные. Впрочем, если подумать, они и были голодные.

Так или иначе, тёмная галерея, куда вступил Джек, гудела от мух; словно картечь на излёте, они вгрызались в его бритую голову, отчего кожа немедленно вспухала волдырями. Мухи слета-

лись сюда со всей Индии на запах больных и раненых животных, их корма и экскрементов; лазарет с его лёгким каменным кружевом вместо стен, подобно огромному кадилу, благоухал на весь Ахмадабад.

Мимо мангуста с гноящимся глазом, мимо чесоточного шакала, мимо полупарализованной королевской кобры, мимо страдающей раком костей циветты в облаке мускусного аромата, мимо раненного копьём карликового оленька, и вот уже Джек в комнате, где в клетках из гнутого бамбука проходят лечение от переломов разнообразные пернатые твари. Павлин, у которого шея была насквозь проткнута стрелой, расхаживал по комнате, натыкаясь на предметы, цепляясь за клетки и возмущённо вскрикивая. Джек обошёл его подальше, чтобы не получить столбняк от наконечника стрелы, если павлину вздумается круто повернуть рядом с его коленями.

Через хлипкую дверь в помещение, от пола до потолка заполненное совсем уж маленькими клетками с больными и ранеными мышами и крысами. Судя по звукам, часть из них страдала бешенством. Чем меньше здесь находиться, тем лучше. Джек скользнул в следующую дверь и спустился по каменной лесенке.

Его обдало запредельным смрадом — не от зверей, и даже не от рептилий, а от совершенно иного разряда живых существ. По пути сюда Джек дышал носом, сейчас закрыл лицо рукой и принялся дышать через сгиб локтя. Ибо воздух в этой самой внутренней части лазарета примерно наполовину (по его оценкам) состоял из насекомых — сплошного облака, гудевшего так, словно Джек взбирается по органной трубе. Если бы хоть одна букашка залетела ему в ноздрю и повредила лапку, выбираясь из носовой щетины, смотрители бы это заметили, и Джек лишился бы работы. По той же самой причине он теперь не ступал, а шаркал босыми ногами, раздвигая позёмку насекомых на полу и надеясь, что сейчас в ней нет скорпионов.

— Джек Шафто для несения службы прибыл! — заорал он.

Главный врачеватель насекомых, а также его подчинённые всех уровней иерархий и субъиерархий, спали под москитными сетками, притулившимися по углам больничного покоя, словно остроглавые привидения. Сетки закачались и задрожали, выпуская из себя сонных индусов. Джек разделся до кожаного мешочка на шнурке, которым защищал остатки своего

мужского достоинства, и бросил кому-то одежду (кому именно, его не заботило — в Индии столько людей, что, если протянуть вещь и оглядеться выжидательно, кто-нибудь непременно её подхватит).

Мальчик принёс обычное снадобье и держал кокосовую скорлупу у Джековых губ, пока другие полоской ткани связывали тому руки за спиной. Джек привычно сдвинул ноги, чтобы связали и щиколотки. Потом прикончил питьё (считалось, что оно питает и восстанавливает кровь) и упал головой вперёд. Множество маленьких тёплых рук подхватили его и бережно опустили на пол (с которого перед тем не менее бережно смели всех насекомых). Связанные щиколотки подняли к кистям и скрутили вместе над голыми ягодицами. Голову тем временем обмотали кисеёй, закрыв рот, глаза и нос.

Сверху, судя по скрипу, поворачивался деревянный брус, который моряки назвали бы реем. Через блок на конце бруса перекинули прочную верёвку, привязали её к путам, соединяющим руки Джека со щиколотками, потом два раза обмотали вокруг живота.

Послышались более низкие звуки: блок заскрипел, верёвка натянулась, рей защёлкал

и застонал. Джек взмыл в воздух. Теперь рей поворачивался, Джек скользил на ладонь от пола. Хихикающие мальчишки, шаркая, двигались за ним. В следующий миг они отстали; пол кончился, и Джек повис над ямой, каменным резервуаром ярда четыре в поперечнике и чуть меньше четырёх ярдов глубиной. Индусы ловко придержали Джека шестами, чтобы не вращался, и начали опускать. Для этой главной части операции зажгли множество факелов. Повязка на глазах приглушала их свет и мешала видеть ясно, что было и к лучшему. Индусы травили верёвку с величайшей осторожностью, следя, чтобы под Джеком не оказалось ни одной козявки. Впрочем, они занимались этим несколько раз на дню, из поколения в поколение от начала времён, и достигли в своём деле совершенства. Джек опустился на песчаный пол, никого не раздавив.

Тогда из щелей, ямок, канавок и лужиц, из гнилушек и прелых плодов, из гнёзд и песчаных кучек поползли, запрыгали и полетели исполинские многоножки, полчища блох, личинки и крылатые насекомые — короче, всевозможные кровососущие твари. Джек почувствовал, как на загривок к нему спикировала летучая мышь, и расслабил мускулы.

— Этот блестящий жук, пирующий на твоей левой ягодице, с виду ничуточки не больной! — с мелодичным акцентом произнёс по-английски странно знакомый голос. — По-моему, Джек, его надо гнать в шею.

— Я нимало не удивлён. Вся страна кишит лодырями и тунеядцами — вроде того сброда у ворот.

— Те, кого ты назвал сбродом, — неприкасаемые из джати свапак, — сказал Сурендранат (Джек наконец-то его узнал).

— Они постоянно мне это твердят — и что?

— Пойми, свапаки — очень древняя джати. Они принадлежат к шудрам ахирам, пастухам из племени винхала, шестнадцатой ветви седьмого клана агникул.

— И?..

— Они делятся на две большие группы: чистых и нечистых; первая включает тридцать семь разрядов, вторая — девяносто три. Шудры ахиры входили в число тридцати семи, пока в конце третьей юги не переселились из Анхалвары и не смешались с жалким племенем мульграшей.

— И что с того?

— Джек, пойми, просто чтобы представить себе общую картину, что даже презираемые ими

вирды считают этих людей дхангами самого низкого разбора (хотя несравненно выше дхомов)! А дханги, да будет тебе известно, вступали в браки с кальпасальхами из Калапура, которых чурались даже обезьянолюди хари — теперь ты видишь, насколько они ничтожны?

— И в чём суть?

— Суть в том, что шудры ахиры были пастухами с зарождения золотого яйца, а свапаки с тех же времён…

— …кормили кровососущих насекомых в звериных лечебницах, которые содержат представители какой-то другой касты… да, да, знаю, мне это долго и скучно растолковывали. — Джек дёрнулся: какая-то личинка прогрызла ему ногу с внутренней стороны бедра и присосалась к артерии. — Но за столько тысячелетий они совершенно обнаглели, стали выкобениваться, требовали от здешних браминов непомерной оплаты, день-деньской слонялись по улицам и выпрашивали у прохожих подаяние…

— Ты говоришь, как богатый франк о бродягах.

— Если бы тыща паразитов не пила сейчас мою кровь, я бы обиделся, а так твои издёвки нисколько меня не ранят.

Сурендранат рассмеялся.

— Прости. Когда я узнал, что ты устроился сюда, я подумал, будто ты дошёл до последней черты отчаяния. Теперь я вижу, что ты гордишься своей работой.

— Мы с Патриком — ой! — готовы трудиться за более умеренную плату, чем эти бездельники у входа, и считаем себя профессионалами.

— Можете считать себя покойниками, если не уберётесь из Ахмадабада, — сказал Сурендранат.

Сверху донеслись приказ на гуджарати и долгожданный скрип блока. Верёвка натянулась и оторвала Джека от пола. Он заизвивался, по возможности стряхивая насекомых.

— Брось! Они мушку боятся раздавить, что они сделают двум людям?

— Ой, Джек, им совсем не сложно сговориться, какая каста специализируется на резне.

Джека подняли над ямой и повернули — теперь под ним снова был пол. Набежали индусы с метёлками и принялись бережно смахивать раздувшихся клещей и пиявок. Затем его опустили на каменные плиты и начали развязывать. Как только руки оказались свободны, Джек сдёрнул повязку. Теперь он мог как следует разглядеть Сурендраната.

Когда они расставались на выходе из суратской

таможни, более года назад, Сурендранат, как и Джек, был трясущимся скелетом и так же передвигался враскоряку после тщательного обыска, которому подвергают всех вступающих в Могольскую империю, дабы убедиться, что они не прячут в заднем проходе персидские жемчужины.

Сейчас Джек выглядел не лучше тогдашнего, да к тому же был искусан и лежал на животе. Однако перед его носом расположились две превосходные кожаные туфли, украшенные алой бархатной парчой, и шёлковые шаровары в оранжевую и жёлтую полосу, на которые спускалась превосходная льняная рубаха. Наряд венчала голова Сурендраната. Он отрастил усы, но в остальном был чисто выбрит (зайти к цирюльнику с утра пораньше — удовольствие не из дешёвых). В носу красовалось внушительных размеров золотое кольцо, а снежно-белый тюрбан перевивала алая шёлковая лента с золотой каймой.

— Не моя вина, что я застрял в этой вонючей стране без гроша в кармане, — сказал Джек. — Чёртовы пираты!

Сурендранат фыркнул.

— Джек, когда я лишаюсь одной рупии, я не сплю ночь, ругаю себя и того, кто её у меня отнял. Можешь не распалять мою ненависть к пиратам,

похитившим наше золото!

— Ну и отлично.

— Однако значит ли это, что другие индусы, принадлежащие к другой касте, говорящие на другом языке, живущие в другой части страны, должны из-за них страдать?

— Мне жрать надо.

— В Индии для европейца есть и другие способы прокормиться.

— Я каждый день вижу на улицах богатых голландцев. Флаг им в руки! Но я не могу заняться торговлей, не имея ни гроша за душой. К тому же вы, баньяны, такие прожжённые плуты — в сравнении с вами евреи и армяне что дети малые.

— Спасибо, — скромно поблагодарил Сурендранат.

— И не забудь, что в Сурате и других открытых портах за мою голову назначена астрономическая награда.

— Да уж, после того, как ты обошёлся с вице-королём, Домом Хакльгебера и герцогом д'Аркашоном, вся Испания, Германия и Франция желают тебя убить, — признал Сурендранат, помогая Джеку подняться на ноги.

— Ты забыл Османскую империю.

— Но Индия — совершенно особый мир! Ты

видел лишь узкую полоску побережья. В глубине полуострова таятся неисчислимые возможности…

— О, я уверен, что одна яма с насекомыми ничем не лучше других.

— …для европейца, который умеет управляться с саблей и мушкетом.

— Я весь внимание, — сказал Джек. — Чёртов гнус! — И, увлечённый разговором, он прихлопнул москита у себя на шее.

Заметили это лишь Сурендранат, рыгнувший от неожиданности, и мальчишка, который стоял рядом с Джеком, держа аккуратно сложенную одежду. Джек на мгновение встретился с мальчишкой глазами, потом оба покосились на Джекову ладонь, где в лужице его — или чьей-то ещё — крови лежал раздавленный москит.

— Малец считает, что я убил его бабушку, — сказал Джек. — Ты не попросишь его придержать язык?

Поздно. Мальчишка уже что-то высказывал ошеломлённым — но тем не менее звонким и пронзительным — голосом. С криком подбежал старший врачеватель насекомых. *Все* лекари надвигались на Джека не менее решительно и кровожадно, чем их пациенты. Он вырвал у

мальчишки одежду.

Сурендранат, не вступая в пререкания, схватил Джека за руку и покинул комнату быстрым шагом, скоро перешедшим в бег. Ибо весть об убийстве быстрее мысли распространилась по гулким галереям лечебницы и через ажурные дырья на улицу. Судя по звукам, сотня с лишним безработных свапаков восприняла её как сигнал, чтобы ворваться внутрь и разделаться с конкурентом.

Обезьяны, птицы, звери и пресмыкающиеся расшумелись, почувствовав неладное. Сурендранату и Джеку это было на руку. Баньян почти сразу заплутал в тёмной палате кишечных паразитов, но Джек, старожил, легко отыскал дорогу к выходу. Беглецы организованно отступили через комнату обезьян, распахивая по пути дверцы клеток. Получилось даже лучше, чем они думали, поскольку обезьяны тоже умеют открывать клетки; выбравшись на волю, они рассеялись по лечебнице и принялись выпускать менее разумных пациентов.

Тем временем Джек и Сурендранат пробирались мимо клетки, в которой сидела тигрица. Джек ненадолго задержался, чтобы подобрать пару кусков тигриного помёта.

Они выбрались на главную улицу Ахмадабада. В ширину она была больше, чем многие европейские — в длину. От потери крови у Джека на открытом пространстве голова пошла кругом: он в городе или в какой-то затерянной пустыне? Сезон дождей закончился, и эта часть полуострова втягивала в себя иссушенный воздух со всей Средней Азии. Сегодняшняя порция ветра по пути из Тибета посетила живописную пустыню Тар, прихватив бесплатной сувенирной пыли и прогревшись от верблюжьего дыхания и раскалённых тандыров до соответствующих температур. Теперь всё вышеперечисленное неслось по главной улице Ахмадабада, как стадо обезумевших яков, не оставляя сомнений, почему Шах-Джахан назвал это место Гуердабадом, Обителью Праха.

Завоеватели-моголы, пришедшие сюда с Шах-Джаханом, были магометане. Их не заботило, что Джек убил москита. Иное дело — разбой среди бела дня. И если поведение свапаков не тянуло на открытое бесчинство, то десятки обезьян, высыпавших на улицу — кто с забинтованными руками, кто на костылях, — явно нарушали общественный порядок, особенно когда все разом, почуяв ближайший базар, устремились за

поживой. Среди них преобладали священные мартышки — длиннорукие, длиннохвостые эктоморфы, которые вели себя так, будто они в городе хозяева (впрочем, по мнению индусов, так оно и было). Однако попадались и другие приматы (в частности, орангутанг, госпитализированный с воспалением лёгких). Они не желали оказывать мартышкам должного уважения и с боем прорывались к базару — кто по улице (на двух, на трёх, на четырёх, в зависимости от видовой принадлежности и состояния здоровья), кто перепрыгивая с ветки на ветку, кто по крышам, швыряясь кокосовыми орехами и замахиваясь друг на друга палками, как Джуди и Панч. Арьергард замыкали четырёхрогая антилопа, родившаяся с шестью рогами, детёныш панцирного носорога и балу, медведь-губач, слепой и глухой, но унюхавший запах восточных сладостей на базаре.

Два могольских *совара* — верховых воина — в тюрбанах, при кривых саблях и утыканных бляшками щитах, выехали посмотреть, из-за чего шум. Их тут же окружили разъярённые свапаки, требуя вызвать *котвала* с его архангелами, чтобы служители порядка отлупили Джека по пяткам, если не хуже. Проку от их требований бы-

ло немного, потому что свапаки говорили только на гуджарати, а *совары* понимали только персидский. Однако моголы, как всякие захватчики, умели погреть руки на местных разногласиях; глядя туда, куда указывали свапаки, они внимательно изучали виновную сторону. Сурендранат был явный баньян, то есть человек, по рождению обречённый богами всю жизнь грести деньги лопатой; Джек — голожопый европеец с едва прикрытым срамом и, судя по бесчисленным шрамам на спине, закоренелый правонарушитель. *Совары* определили баньяна как возможный источник бакшиша и жестами велели ему оставаться пока на месте, а Джеку — подойти.

Джек нехотя оторвал взгляд от всё более захватывающей драмы на улице. Предприимчивые мартышки открыли птичьи клетки. Вся палата фламинго высыпала разом, как будто на ступени лечебницы выплеснули бочонок ядовито-розовой краски. Почти у всех были сломаны крылья, так что они могли лишь ошалело сновать туда-сюда, пока один не провозгласил себя вожаком и не повёл остальных в бесцельную миграцию по Обители Праха. Фламинго не то преследовали, не то сопровождали две агамы. Больница недавно приняла на лечение небольшую колонию

бородачей-ягнятников, страдающих от птичьей холеры. Теперь они заняли крышу и, выставив щетинистые подбородки, расправляли крылья, хлопавшие, словно вытрясаемые коврики. Птицы с утра хорошо заправились тухлой кашицей из умерших естественной смертью пациентов и, взлетая, роняли длинные струи мясного поноса на бегущую живность: богомола размером с арбалетную стрелу, пятнистого оленя-аксиса, чьи рога обвивал удав, и антилопу нильгау, за которой гнался прославленный на весь мир двуногий больничный пёс, не только не утративший способность бегать, но и обгонявший, бывало, многих трёхногих собратьев.

Джек подошёл к *соварам* с подветренной стороны. Свапаки расступились, пропуская его, хотя некоторые не упустили случая плюнуть в ненавистного конкурента. Другие, уже позабыв про Джека, бежали к животным. Он встал между двумя лошадьми и принялся по-английски клясться в своей невиновности, незаметно разминая в руках тигриный навоз. Лошади, почуяв запах, занервничали. «Ну же, милые, успокойтесь», — сказал им Джек и погладил каждую по морде, оставив длинную полосу тигриного помёта от лба до трепещущих ноздрей.

Ему пришлось отступить на шаг, чтобы остаться в живых. Обе лошади взвились на дыбы и забили в воздухе копытами. *Совары*, думая только о том, как бы не вылететь из седла, с криками умчались в разные стороны. Один врезался в толпу мартышек, которые тащили с разграбленного базара охапки кокосовых орехов, инжира, манго, папай, жёлтых груш, зелёных билимби, красных кешью и колючих плодов хлебного дерева. За мартышками гнались торговцы, которых, в свою очередь, преследовал беззубый гепард. Огромный — выше Джека в холке — индийский буйвол — проломил хлипкую стену и, толкая перед собой груду поломанных столов, вывалился на улицу. На одном из его острых, как ятаганы, рогов был насажен дуриан.

Из-за буйвола показалась четвёрка людей и бегом направилась к Джеку и Сурендранату. Джек пересилил порыв броситься от них наутёк. Каждая пара бегущих держала за концы бамбуковые шесты толщиной с мачту и длиной по четыре сажени. На шестах покачивалось нечто вроде переносного балкончика — лакированная площадка, ограждённая позолоченной балюстрадой и убранная вышитыми подушками. У конструкции были четыре ножки эбенового

дерева, болтавшиеся на локоть от мостовой. Приблизившись, носильщики сбавили шаг и начали переговариваться между собой.

— Что это за язык? — спросил Джек.

— Маратхский.

— Твой паланкин несут *мятежники?*

— Представь себе, что это купеческий корабль. В той части Индии, куда мы направляемся, они будут моим страховым полисом.

Носильщики, маневрируя бамбучинами, подвели паланкин к Сурендранату и опустили на эбеновые ножки так близко к хозяину, что тому осталось лишь повернуться на румб и опустить зад. Несколько минут баньян поправлял расшитые цветами дорогие подушки у полированной спинки, потом откинулся на них.

— Если они — страховой полис, то кто я?

— Ты и любой другой европеец, которого тебе удастся завербовать, будете морской пехотой на шканцах.

— Морской пехоте платят по фиксированным ставкам — если вообще платят, — заметил Джек. — В последнем нашем общем предприятии каждый был дольщиком.

— И дорого стоит теперь твоя доля?

Джек, хоть и не был по натуре вздыхатель, сей-

час мог только вздохнуть.

— Подумай, есть ли у тебя ЛАПУД, — посоветовал Сурендранат, оглядывая голого, искусанного Джека, — и через час приходи ко мне в караван-сарай.

Затем он что-то сказал по-маратхски. Четверо носильщиков подлезли под бамбучины, подняли паланкин, развернули его и затрусили прочь.

Джек почесал укус, потом соседний, и тут же остановился, пока не стало хуже.

Дымчатый леопард выскользнул из лазарета, бесшумный, как туман, и свернулся посреди улицы, задумчиво мигая на прохожих; огромные острые клыки двойной звездой засияли на небосводе кружащей пыли.

Бородачи грабили лавку мясника. Один из них поднялся в воздух с изяществом грузчика, втаскивающего по лестнице половину коровьей туши.

Джек двинулся к Тройным воротам — трёхарочному проходу в конце улицы. Сзади что-то зашумело, но прежде, чем он успел обернуться, его обогнали три длинноногие чёрно-белые дрофы, дерущиеся из-за какой-то добычи. Птицы чем-то напоминали страуса под Веной. К собственным изумлению и досаде, Джек почувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы.

Хлопнув себя по щеке, он обогнул трюхающего вразвалку дикобраза и быстро зашагал к Тин Дарваза, как звались здешние Тройные ворота.

За Тин Дарваза начиналась главная площадь «Дома ада» (как Джахангир, отец Шах-Джахана, нежно называл Ахмадабад). Площадь эта — Майдан-шах — тянулась ещё примерно на четверть мили и завершалась башенками, балкончиками, колоннами, арками и потешными укреплениями: дворцом местного правителя, который именовался Ужас Идолопоклонников. Сама площадь оставалась свободной; здесь *совары* упражнялись в верховой езде и стрельбе из лука, а также устраивали парады для увеселения Ужаса Идолопоклонников и его жён. Были здесь и непримечательного вида здания, в которых *котвалы* вершили правосудие, то есть били по пяткам тех, кто не удовлетворял их стандартам поведения. Эти здания Джек обходил стороной.

Некогда Майдан-шах украшали несколько индуистских пагод. Строения сохранились, но теперь в них были мечети. Джек знал о местной истории лишь то, что слышал от голландских, английских и французских торговцев. Они рассказывали, что Шах-Джахан произвёл на свет сына по имени Аурангзеб, которого настолько

презирал, что назначил правителем Гуджарата, то есть отправил гнить в «Приюте хворобы» (ещё одно ласковое прозвище Ахмадабада из Джахангирова лексикона) и постоянно сражаться с маратхами. Позже сынок отплатил папаше, свергнув того с престола и заточив в крепость Агра. Но прежде ему пришлось много лет коптеть в «Приюте хворобы», растравляя свою изначальную ненависть ко всему индусскому. Поэтому он осквернил главное индуистское святилище убийством коровы, а потом прошёлся с молотком и отбил носы почти всем идолам. Теперь здесь была мечеть. Джек, проходя мимо, заглянул внутрь и увидел обычную толпу факиров. Сотни две их сидели на мраморном полу, скрестив руки за головой. Многие из них пребывали в этой позе так долго, что уже при всём желании не смогли бы разогнуться. Миски для подаяния перед ними никогда не пустовали. Время от времени факиры помладше приносили им еду и питьё.

Попадались и факиры-индусы. Поскольку их храм был осквернён, они ютились на площади, под деревьями или у стен, где истязали себя более или менее впечатляющими способами. Всех факиров объединяла одна цель — выманить у людей деньги. И в этом смысле Джек с Патриком

тоже были факирами.

Довольно скоро Джек отыскал своего компаньона между двумя рядами деревьев на краю площади. По совпадению, Патрик устроился под балкончиками караван-сарая — одного из красивейших зданий в городе. Сюда, как на амстердамскую площадь Дам, стекались богатые люди, прибывающие в Ахмадабад по делам. Джека и Патрика сейчас не заботили ни красота, ни богатство этого места. Однако здесь они видели караваны из Лахора, Кабула, Кандагара, Агры и ещё более диковинных краёв: китайцев, доставлявших шёлк из Кашгара через Кашмир, мореплавателей-армян из далёкого Исфахана, узбеков из Бухары, казавшихся бедными и низкорослыми родственниками турецких хозяев Алжира. Другими словами, караван-сарай напоминал им, что существует возможность (хотя бы теоретическая) покинуть Ложе Шипов (как Джахангир называл Ахмадабад в своих воспоминаниях).

Патрик сидел по-турецки на коврике (вернее, на грубой дерюге, в которую заворачивают ковры). Он держал пойманную мышь, камень и миску. Завидев приближающегося брахмана, он прижимал мышь к земле и заносил камень, как

будто хочет её убить. Разумеется, Патрик никогда не убивал мышь, и Джек, когда сидел на его месте, тоже. Если бы они убили мышь, то не получили бы денег от брахмана и потратили уйму времени, чтобы поймать новую. Однако, весь день упорно делая вид, будто хотят убить мышь, они могли заработать несколько монеток в качестве выкупа за её жизнь.

— Если я верно толкую знамения, нам представился случай сложить голову за деньги, — объявил Джек.

Окровавленный говяжий мосол упал на мостовую и разбился на куски. Два бородача спланировали на него и передрались из-за костного мозга.

— Здесь или где-то ещё? — спросил Патрик, бесстрастно наблюдая за птицами.

— Где-то ещё.

Патрик отпустил мышь.

Караван-сарай с его ажурными каменными решётками на бесконечных альковах и балкончиках занимал всю южную сторону Майдан-шах, но входить в него надо было через восьмиугольную, увенчанную куполом беседку. Четыре стороны беседки смотрели на площадь, четыре образовывали арки, ведущие в здание, вернее, во двор, где навьючивали и развьючивали, вы-

страивали и разводили по стойлам лошадей и верблюдов. Здесь-то во дворе компаньоны и нашли паланкин Сурендраната. Баньян рядился с одноглазым барышником-пустуном из-за двух лошадей; увидев Джека и Патрика, он решил заодно прикупить им одежду — длинные рубахи, шаровары и тюрбаны на голову.

— Теперь, когда с кормлением насекомых покончено, надо будет снова отрастить волосы, — задумчиво проговорил Джек, когда они выезжали из города на Катхияварскую дорогу. Это значило, что путь их лежит на юго-запад.

— Я без труда раздобыл бы вам европейскую одежду, но не хотел задерживаться в Обители Самума! — крикнул Сурендранат, цепляясь за поручни носилок, кренящихся от шквалистого суховея.

Листья экзотических растений, скрученные и шипастые, словно раковины морских моллюсков, летели над головой и катились кубарем по дороге. Джек и Патрик верхами ехали по бокам паланкина; сзади три приказчика вели в поводу двух навьюченных ишаков.

— Когда повернёшься спиной к ветру, здесь не так и плохо, — сказал Патрик, но лишь потому, что гордился умением во всём находить хорошую

сторону.

И впрямь улица, ведущая к воротам, была бы вполне живописна, если бы песок не забивал глаза. По обе её стороны тянулись сады богатых баньянов и моголов, мечети, пагоды и колодцы.

— Когда повернёшься спиной к Ахмадабаду, будет ещё лучше, — заметил Сурендранат. — Катхиявар — относительно спокойный край, там хватит и обычного проводника-*гадхви*. Дальше на северо-запад вам надо будет переодеться в европейское платье, чтобы отпугивать маратхов.

— На северо-запад… так мы в Шахджаханабад? — спросил Джек.

— Он предпочёл бы услышать «Дели», — сказал Патрик, когда Сурендранат не ответил.

— Ну разумеется, ведь он индус, а Шахджаханабад — могольское название, — заметил Джек. — Ирландцу ли не знать!

— Англичане переименовали чуть ли не все наши города, — процедил Патрик.

— В этом году за сезон муссонов с Запада доставили много дорогих товаров, и все они мёртвым грузом лежат на суратских складах, — объяснил Сурендранат. — Из-за Шамбхаджи и его мятежников дорога в Дели очень опасна. Так вот, я слышал от моряков, заплывавших далеко на юг,

что там живут на льдинах диковинные птицы. Проголодавшись, они собираются у края льдины, глядя на рыб, но страшась притаившихся хищников. Птицы не знают, есть ли рядом хищник; они ждут, пока одна из них, самая смелая, не прыгнет в воду. Если она вернётся с набитым брюхом, все прыгают разом. Если не вернётся, ждут дальше.

— Сравнение понятно, — сказал Джек. — Суратские торговцы — птицы на льдине, ждущие, кому хватит отваги или глупости первым отправиться в Дели.

— Этот торговец получит гораздо больше прибыли, чем все остальные, — подбодрил Сурендранат.

— Если, конечно, его караван доберётся до Дели, — уточнил Патрик.

Вскоре после этого они проехали в ворота и двинулись на юго-запад к Катхиявару, полуострову, выдающемуся в Аравийское море между устьем Инда на западе и Индостаном на востоке. Ахмадабад стоит на реке Сабармати, которая течёт по восточной границе Катхиявара и впадает в длинный и узкий Камбейский залив.

Ветер утих, как только они выбрались из долины Сабармати в холмистое редколесье на пути в Катхиявар. Заночевали в придорожном лаге-

ре, какие возникают по всей Индии, как только тени начинают удлиняться, а животы у путников — урчать. Он напомнил Джеку цыганские становища в Европе. Люди и впрямь походили на цыган и говорили на сходном языке, только в Европе они были презренные бродяги, а здесь — хозяева. Гуляя по лагерю, Джек видел не только нищих и факиров, но и богатых баньянов, а также чиновников-моголов.

И те, и другие, заметив Джека, подзывали его жестами. Он почувствовал себя неуютно, как в Амстердаме или Ливерпуле, где, стоит зазеваться, угодишь в лапы к вербовщикам. Опыт подсказал, что сейчас лучше всего побыстрее вернуться в маленький лагерь Сурендраната.

— Сдаётся, тут много таких, кто не прочь устроить нам проверку на сообразительность, — сказал Джек Патрику.

Ирландец кивнул. Однако их разговор подслушал Сурендранат. Он сидел в паланкине, задёрнув алые занавески, и о его присутствии легко было забыть.

— Что такое проверка на сообразительность? — спросил он, раздвигая полог.

— Это у нас шутка такая, — раздражённо ответил Патрик.

Джек счёл за лучшее объяснить:

— Вспомни время, когда фортуна забросила нас в Сурат.

— Я вспоминаю его каждый день, — отвечал баньян.

— Ты остался заняться торговлей. Мы бежали в глубь страны от искавших нас наёмных убийц и довольно скоро добрались до могольской заставы. Индусов и магометан пропускали за небольшой бакшиш, но нас, поняв, что мы — европейцы, отделили и загнали в палатку. Оттуда нас по одному выводили на ближайшее поле. Каждому давали в руки незаряженный мушкет, пороховницу и подсумок с пулями.

— И как ты поступил? — спросил Сурендранат.

— Вылупился на них, словно деревенщина.

— И я тоже, — добавил Патрик.

— Вы не прошли проверку на сообразительность.

— Я бы сказал, что мы её прошли. Ван Крюйк поступил так же. Мистер Фут попытался зарядить мушкет, но в обратном порядке — сперва пулю, затем порох. А вот Вреж Исфахнян и мсье Арланк зарядили мушкеты и сделали по выстрелу в индусского идола, которого моголы использовали в качестве мишени.

— И их забрили, — догадался Сурендранат.

— Насколько нам известно, сейчас они служат в войске местного князя, — сказал Джек.

— Это произошло к северу от Сурата?

— Нет. Неподалёку от Обители Праха.

— Так они в войске Ужаса Идолопоклонников?

— Нет. Застава была пограничная. Моголы, устроившие нам проверку на сообразительность, служили в войске…

— Губителя Недругов! — воскликнул Сурендранат.

— Его самого, — сказал Джек.

— Нам необычайно повезло, — заметил баньян. — Ибо, как вы знаете, земли Губителя недругов лежат на пути к Дели.

— Это значит, что Губитель Недругов не очень-то справляется с маратхами, — сказал Джек.

— Это значит, что если мы разыщем Врежа Исфахняна и мсье Арланка, то узнаем от них много ценного!

Джек решил, что сейчас самое время расставить ловушку.

— И впрямь, сдаётся, что наша команда, даже в нынешнем жалком состоянии, может быть очень полезна тебе или другому купцу, который наймёт нас и первым доберётся до Дели.

Резкий шуршащий звук, с которым Сурендранат задёрнул полог носилок. И тишина, в которой Джек различил странное бульканье — как будто баньян силится подавить мучительный смех.

На следующий день они спозаранку тронулись в путь и преодолели несколько миль до границы с владениями Сокрушителя Миров.

— Сокрушитель Миров истребил местных маратхов, но повсюду орудуют разбойничьи шайки, — сообщил Сурендранат.

— Напоминает мне Францию, — пробормотал Джек.

— Удачное сравнение, — ответил Сурендранат. — И, кстати, даже не сравнение. Сокрушитель Миров — француз.

— Всюду чёртовы лягушатники! — воскликнул Джек. — А есть на службе у Великих моголов другие эмиры-европейцы?

— Кажется, Сеятель Громов — неаполитанский артиллерист. Он владеет частью Раджастана.

— Так нам раздобыть европейскую одежду? Чтобы отпугивать разбойников? — спросил Патрик.

— Нет надобности — в Катхияваре ещё чтят древние обычаи. — Сурендранат вылез из паланкина и вступил в переговоры с некими индусами,

сидящими на корточках у дороги. Через некоторое время один из них встал и занял позицию во главе каравана.

Из солончака торчала палка. Ярдом дальше — другая. Третья палка была привязана к верхушкам первых двух, четвёртая — у самой земли. Между верхней и нижней палкой протянулись мили алых нитей. Женщина в оранжевом сари, сидя на корточках перед конструкцией из жердин, орудовала палкой поменьше, протаскивая нитку через вертикальную основу. Двумя ярдами дальше наблюдалось то же самое, только палки, цвета и женщина были другие. Вторая женщина болтала с третьей, которая тоже сумела раздобыть четыре палки и нить.

Всё это повторялось до самого горизонта по обе стороны дороги. Некоторые ткачихи работали с грубыми некрашеными нитями, но большей частью ткань была ярких, горящих на солнце цветов. Синие, зелёные, красные полосы протянулись там, где женщины выполняли большой заказ. На других участках каждая ткала из нитей своего колёра, и на акре-двух цвет ткани на станке ни разу не повторялся. Перемещались только мальчишки-водоносы, тощие, согнутые под своей ношей подносчики ниток да запряжённые

буйволами арбы, на которые складывали готовую ткань. Разъезженная дорога тянулась между рядами ткачих к Диу, португальскому анклаву на южной оконечности Катхиявара. Был третий день пути из Ахмадабада. *Гадхви* по-прежнему шагал впереди, напевно бормоча себе под нос и временами съедая пригоршню чего-то из перекинутой через плечо сумки.

Из тысяч кусков ситца, выставленных на всеобщее обозрение, один бросился Джеку в глаза, словно знакомое лицо в толпе — голубой, как Элизино платье. Он решил, что лучше будет завести разговор.

— Твой рассказ напомнил мне о вопросе, который я собирался задать первому же индусу, который сможет меня понять, — сказал он.

В паланкине Сурендранат вздрогнул и проснулся.

Патрик выпрямился в седле и заморгал:

— Слушай, Джек, за последние два часа никто не сказал ни слова.

Сурендранат не заставил себя упрашивать.

— Многое в Индостане, на взгляд европейца, нуждается в объяснениях, — отвечал он.

— Пока нас не выбросило на берег возле Сурата, я думал, будто знаю, что такое «стан», — начал

Джек. — В Туркестане живут турки, в Белуджистане — белуджи, в Таджикистане — таджики. Разумеется, они не сидят постоянно в своих станах, а всяко досаждают ближним и дальним, но в целом принцип ясен. И вот мы в Индостане. Как я понимаю, он скоро кончится, коль скоро мы едем туда. — Он махнул правой рукой, соответственно на запад, поскольку двигались они на юг. — Но… (обводя левой рукой восемь румбов с юга до востока) в этом направлении он тянется практически *бесконечно*. И каждый человек в нём говорит на своём языке, имеет свой цвет кожи и поклоняется своему истукану. Разнообразие почти как здесь. (Указывая на многоцветье ткацких станков.) Отсюда вопрос: в чём ваше станство? Если вы объединены в один стан, у вас должно быть хоть что-то общее.

Сурендранат подался вперёд с таким видом, будто сейчас ответит, затем вновь откинулся на подушки. Губы под чёрными спиралями усов сложились в лёгкую усмешку.

— Загадка Востока, — важно объявил он.

— Вам, чёрт возьми, надо организоваться, — сказал Джек. — У вас даже правительства общего нет. Здесь моголы, дальше на юг, как ты говоришь, маратхи, а ещё дальше — те демоны в

человечьем обличье, к которым угодили Мойша, Даппа и остальные…

— Твои воспоминания о том дне полиняли друг на друга, как дешёвая набивная ткань под тропическим ливнем, — сказал Сурендранат.

— Прости, тогда я думал только о том, как бы не утонуть.

— Я тоже.

— Если это были не демоны в человеческом обличье, с какой стати ты прыгнул за борт? — спросил Патрик.

— Потому что хотел попасть в Сурат, а пираты, уж кто там они были, увезли бы нас в противоположную сторону, — ответил Сурендранат.

— А мы, по-твоему, почему выпрыгнули?

— Вы испугались, что это пираты-белуджи, — сказал Сурендранат.

Патрик:

— Те, что перерезают пленникам ахиллесовы сухожилия, чтобы не сбежали?

Сурендранат:

— Да.

Джек:

— Но погоди! Если они белуджи, то, значит, из Белуджистана? Если, конечно, они сидят на месте, так сказать.

Сурендранат:

— Да.

Джек:

— А Белуджистан — та адская сковородка по правому борту, что три недели кряду плевалась в нас раскалённой пылью.

Сурендранат:

— Описание суровое, но справедливое.

Джек:

— Вот уж край, просто созданный для магометан.

Сурендранат:

— Белуджи — магометане.

Патрик:

— Ага, припоминаю. Сперва мы подумали, что это белуджи, потому что они приблизились к нам на белуджийского вида судне. Что, сказать по правде, было бы неплохо для всех нас, кроме тебя и Даппы. Мы, христиане и евреи, люди Книги. Нашим ахиллесовым сухожилиям ничего бы не грозило.

Сурендранат:

— Ты забыл про ван Крюйка.

Джек:

— Это просто потому, что в Каире он сдуру поклялся отрубить себе руку, если снова попадёт в

плен к пиратам. Соответственно ты, он и Даппа приготовились спрыгнуть за борт.

Патрик:

— А мне помнится, что ван Крюйк собирался драться до конца.

Джек:

— Ирландец говорит правду. Капитан провёл нас между двумя островами в Камбейский залив, где мы подверглись атаке второго пиратского судна, явно действующего сообща с первым.

Патрик:

— Только оно было гораздо ближе, и команду его составляли… как ты их назвал…

Сурендранат:

— Санджаны. Индусы, которые творят разбой, но не обращают в рабство, не увечат и не пытают пленных, если только это не требуется непосредственно для разбоя.

Джек:

— И которые, очевидно, отняли судно у каких-то несчастных белуджей, отчего мы и приняли его сначала за белуджийский.

Сурендранат:

— Насколько я помню, до сего момента всё было именно так, как ты рассказываешь.

Патрик:

— Ну да, а в следующий момент ты выпрыгнул за борт!

Сурендранат:

— Я видел, что наше золото достанется санджанским пиратам. А ван Крюйк приготовился биться до последнего вздоха.

Джек:

— Я, наверное, не слышал всплеска, потому что моё внимание было занято другим. Ван Крюйк правил в середину залива, возможно и впрямь с намерением драться до последнего. Однако, не пройдя и мили, мы напоролись на разбойничью флотилию, так что все — и мы, и преследователи — стали добычей пиратов.

Патрик:

— Темнокожих, но не африканцев.

Джек:

— Индусов, но не индостанцев, если говорить точно.

Патрик:

— Единственных пиратов в мире, у которых капитаны — женщины.

Джек:

— Говорят, что такие есть ещё в Карибском море. Но, так или иначе, чудной народ.

Сурендранат:

— В таком случае вы описываете малабарских пиратов.

Джек:

— Я же сказал — демоны в человечьем обличье!

Сурендранат:

— На Малабаре особые порядки.

Патрик:

— Так или иначе, даже ван Крюйк понял, что дело швах, и, дабы не отрезать себе руку, выпрыгнул за борт.

Сурендранат:

— А ты, Патрик, отчего прыгнул?

Патрик:

— Я из Ирландии-то бежал, чтобы вырваться из-под женского гнёта. А ты, Джек?

Джек:

— Ходят слухи, что малабарские пираты ещё более жестоки к христианам, чем белуджийские — к индусам.

Сурендранат:

— Чепуха! Тебя ввели в заблуждение. Малабарские пираты-магометане такие, это да. Но если капитаны были женского пола, значит, вам встретились малабарские пираты-индусы.

Патрик:

— А теперь они богатые малабарские пираты-индусы женского пола.

Джек:

— Мистер Фут бросился на нос корабля — то ли в гальюн, как всегда в таких случаях, то ли с намерением помахать белым флагом, — но оступился на оброненном золотом слитке и полетел за борт. Я, зная, что он не умеет плавать, прыгнул за ним следом. Воды оказалось от силы сажени две — я так ударился о дно, что чуть ногу не сломал. Тут-то наше судно и село на мель. Остальное в тумане.

Патрик:

— Не в таком и тумане. Мы с тобой, мсье Арланк, мистер Фут и Вреж день или два где вброд, где вплавь перебирались через бесконечные мели. На каком-то этапе мы встретили Сурендраната. Позднее нас вынесло волнами на берег. Вскоре после этого армянин и француз не прошли проверку на сообразительность и попали в войско Губителя Недругов.

Сурендранат:

— Кстати, об этих двоих. Я отправил письмо двоюродному брату в Удайпур. Он наведёт справки.

Они въехали на пологий холм и увидели совершенно иную местность. Милях в двух впереди

дорога пересекала реку, бегущую справа налево в Камбейский залив — едва различимую серую полоску на горизонте. У брода стоял саманный форт, а вокруг раскинулся за невысокой стеной городишко. Джек уже знал, что они там найдут: пристань для приходящих из залива судов и базар, на котором баньяны и европейские купцы закупают ситец.

Джек сказал:

— Хорошо будет снова увидеть Арланка и Врежа, если они живы. Охотно послушаю их воинские байки, хотя и без того знаю всё, что они расскажут.

Патрик и Сурендранат удивились, поэтому Джек объяснил:

— Есть свои преимущества у старости, иначе зачем бы она нам давалась?

— Ты не старый, — сказал Патрик. — Тебе и сорока нет.

— Брось. Я прожил больше, чем многие старики. Грамоте я не выучился, счёту тоже, поэтому не могу писать книги, водить корабль или рассчитать правильный угол для стрельбы из пушки. Но людей я знаю хорошо — лучше, чем хотелось бы, поэтому ясно вижу, что происходит в Индостане. Вижу, когда ты, Сурендранат, говоришь о

моголах, а ты, Патрик, об англичанах.

— Поделишься ли ты с нами своей мудростью, о, Джек? — спросил Патрик.

— Будь здесь Вреж Исфахнян и мсье Арланк, они бы рассказали, что маратхи свирепы, плохо организованы и не боятся смерти, а моголы жестоки и своекорыстны. Что правителям Империи на войне живётся лучше, чем индусам в мирное время. Другими словами, они объявят, что мятеж — дело серьёзное и что мы не проведём Сурендранатов караван из Сурата в Дели ни лестью, ни подкупом.

— По твоим словам выходит, что это невозможно, — сказал Сурендранат. — Так, может, нам стоит возвратиться в Обитель Праха?

— Сурендранат, ты кем предпочитаешь быть: первой птицей, спрыгнувшей с льдины, или первой, вернувшейся с набитым брюхом?

— Вопрос заключает в себе ответ, — проговорил Сурендранат.

— Послушай моего совета и будешь той, какой надо.

— Ты считаешь, что другие караваны выйдут из Сурата раньше и угодят в руки к мятежникам, — перевёл Сурендранат.

— Я считаю, что всякий караван, вышедший из

Сурата, рано или поздно столкнётся с армией маратхов, — сказал Джек. — Тот караван, который обратит их в бегство, первым достигнет цели.

— Я не могу нанять войско, — возразил Сурендранат.

— Я не говорю, чтобы ты нанял войско. Я сказал, что маратхов надо обратить в бегство.

— Ты говоришь, как факир, — мрачно заметил Сурендранат.

На майдане катхияварского городишки присутствовал более или менее обычный набор факиров — и магометан, и индусов. Некоторые без всяких выкрутасов сидели, сплетя руки за головой. Один индус глотал огонь, дервиш в красной юбке кружился на месте, ещё один индус стоял на голове, весь в красной пыли. И всё же по большей части их миски для подаяния были пусты. Все зеваки, босоногие мальчишки, прохожие, разносчики и торговцы собрались в конце площади, где происходило какое-то захватывающее зрелище.

Они толпились так плотно, что, не будь Джек в седле, он бы не разглядел центр всеобщего внимания: седоволосого европейца в одежде, которая на родине Джека вышла из моды ещё до его рождения. В чёрном длиннополом кафтане, чёрной же, голландского фасона широкополой

шляпе и ветхой рубашке он походил на странствующего пуританского проповедника. Имелась у него и старая, поеденная червями Библия — она украшала низкий столик, вернее — доску, установленную на примитивных козлах и накрытую грязной рваной тряпицей. Рядом с Библией примостился сборник гимнов, а за сборником — столовый прибор: фарфоровая тарелка, по бокам от которой лежали ржавые нож и вилка.

Джек, судя по всему, подъехал во время паузы, которая закончилась, когда с расположенного неподалёку базара прибежал, неся в ладонях что-то мокрое, взволнованный молодой индус. Толпа расступилась. Индус опустил на тарелку факира свою ношу: истекающий кровью и прозрачной жидкостью металлически-серый потрох. В следующий миг юноша отскочил, словно обжёгшись, и бросился вытирать руки о траву.

Факир несколько мгновений торжественно созерцал почку, ожидая, когда уляжется гул. Лишь когда на площади воцарилась гробовая тишина, взялся он за нож и вилку и на несколько томительных мгновений задержал их в воздухе. По толпе пробежало что-то вроде судороги: все подались вперёд, чтобы лучше видеть.

Факир, судя по всему, спасовал. Он положил

нож и вилку. По толпе пронёсся вздох то ли облегчения, то ли разочарования. Кто-то бросил на стол мелкую монетку. Факир молитвенно сложил руки и некоторое время беззвучно бормотал, потом открыл Библию и прочёл стих-другой, запинаясь там, где черви проели целое слово. Впрочем, это было что-то из Ветхого Завета со множеством «родил», потому вряд ли имело значение.

Он снова взял нож с вилкой и минуты три набирался храбрости, потом снова их отложил. Возбуждение толпы нарастало. На доску полетели ещё монетки, покрупнее. Факир взял сборник гимнов, встал и пропел несколько стихов любимого пуританского:

Когда умру и скажешь Ты:
«Ступай! Гори в аду!»
Как камень в бездну с высоты
Покорно я паду.

Пусть был напрасен долгий труд
В Твоих очах, Судья,
Не мне оспаривать Твой суд:
Вина во всём моя.

…и так далее в том же духе, пока *огнеглотатель* и дервиш не заорали, чтобы он заткнулся.

Делая вид, будто не слышит их криков, христианский факир закрыл книгу, в третий раз взял вилку с ножом и — набравшись духовной силы для предстоящего — вонзил их в почку. Струя мочи ударила в воздух и едва не забрызгала малолетнего зрителя, который тут же с визгом отскочил назад. Факир довольно долго пилил почку. Толпа снова напирала — не потому, что кто-нибудь и впрямь хотел подойти ближе, а потому, что все мешали друг другу смотреть. Факир поднял кусок почки на вилке, чтобы видела галёрка. Потом одним быстрым движением засунул её в рот и начал жевать.

Часть зрителей с воем кинулась прочь. Монеты летели на столик со всех сторон. Кадык факира некоторое время двигался вверх-вниз. Когда же он наконец открыл рот и свернул язык, показывая, что внутри ничего нет, на него посыпался целый град мелких монеток и даже рупий.

— Волнующее представление, мистер Фут, — сказал Джек получасом позже, когда они вместе ехали из города. — Я столько месяцев ночей не сплю, волнуюсь, как вы там, и всё, оказывается, безосновательно.

— В таком случае очень любезно с твоей стороны было заявиться *непрошено,* чтобы разделить

со мною свою бедность, — пробурчал мистер Фут.

Джек уволок его с майдана внезапно и не слишком вежливо, даже не дав доесть половину почки.

— Жалко, что я пропустил спектакль, — сказал Патрик.

— Ничего такого, чего бы ты не видел в сотне трактиров, — успокоил Джек.

— Всё равно, — возразил Патрик, — это было бы лучше, чем то, чем я занимался последний час — лазил по задворкам, украдкой заглядывая в языческие ночные горшки.

— И что ты выяснил?

— То же, что в предыдущей деревне. Все ходят на горшки. Неприкасаемые выносят их раз в день, — отвечал Патрик.

— А моча и кал смешиваются или…

— Сперва поедание почек, теперь ночная посуда! — крикнул из паланкина Сурендранат. — Откуда такой интерес ко всему, что связано с мочой?

— Может быть, в Диу нам повезёт больше, — загадочно проговорил Джек.

За бродом начался медленный подъём к тёмным холмам на юге. Сурендранат сказал, что их

можно объехать по побережью, но Джек потребовал ехать напрямик. По пути он завёл спутников в чащу и долго топтался в подлеске, ломая о колено ветки, чтобы проверить их сухость. Это был единственный опасный этап путешествия, потому что: а) Джек спугнул кобру, б) полдюжины разбойников вышли из леса, потрясая грубым, но вполне внушительным оружием. Нанятый Сурендранатом индус наконец сделал что-то полезное, а именно: вытащил из пояса миниатюрный кинжал, не больше фруктового ножичка, и приставил к шее, угрожая перерезать себе глотку.

На разбойников это подействовало так, как если бы он вызвал артиллерийский полк и навёл на них заряженные пушки. Они бросили оружие и, умоляюще протягивая руки, заговорили на гуджаратском. После долгих переговоров, которые несколько раз оказывались под угрозой срыва, *гадхви* согласился не причинять себе вреда, разбойники убежали, и отряд продолжил путь.

Через час перевалили последний из Гирских холмов и оказались на возвышенности, с которой открывался вид на южную оконечность Катхиявара. Прямо на юг текла река; в её устье белело маленькое пятнышко, дальше расстилалось бес-

крайнее Аравийское море.

Весь следующий день они спускались по речной долине. Белое пятнышко постепенно приобрело очертания и превратилось в город с европейским фортом посередине. В бухте под защитой форта стояли корабли Ост-Индской компании и судёнышки поменьше. Ближе к Диу дорога стала шире. По ней шли караваны с тюками тканей и пряностей. Навстречу стали попадаться португальские торговцы, едущие в глубь страны.

Остановились перед городской стеной, не пытаясь проехать в ворота мимо часовых-португальцев. *Гадхви* распрощался и сел у дороги дожидаться каравана на север, которому могут потребоваться его услуги. Джек, Патрик, мистер Фут, Сурендранат и его слуги отправились бродить по предместью, пугая павлинов, обходя священных коров и часто останавливаясь, чтобы спросить дорогу. Наконец Джек уловил запах солода и дрожжей. Дальше можно было ориентироваться по нюху.

Наконец въехали во дворик, заваленный вязанками хвороста и заставленный корзинами с зерном. Над огнём висел огромный котёл, в который смотрел низкорослый человек с рыжими волосами. Он разглядывал своё отражение не из

нарциссизма, а потому, что так пивовары определяют температуру сусла. За его спиной двое индусов с натугой грузили на арбу бочку с пивом, без сомнения, для португальского гарнизона в городе.

— Во всём чистота и порядок, насколько такое возможно в Индии, — объявил Джек, медленно выезжая на середину двора. — Кусочек Амстердама в заднице Катхиявара.

Рыжеволосый чуть скосил голубые глаза и посмотрел на Джека через клубящееся облако над котлом.

— Но это временное, — продолжал Джек, — как ты знаешь не хуже меня, Отто ван Крюйк.

— Не более временное, чем всё остальное на земле.

— Когда ты везёшь своё пиво в порт, ты наверняка смотришь на красавцы-корабли.

— Так говори о кораблях или проваливай, — сказал ван Крюйк.

— Налей нам бочонок и опростай котёл — он понадобится для *алхимических* нужд, — отвечал Джек. — Я только что с Гирских холмов, и леса там вдоволь. А покуда ты поставляешь свой товар добрым жителям Диу, в сырье у нас недостатка не будет.

Дорога Сурат-Бхаруч, Индия
Месяцем позже (октябрь 1693)

Ибо чудеса, которые творили египетские волхвы, хотя и не были так велики, как чудеса, творившиеся Моисеем, однако были большими чудесами.

Гоббс, «Левиафан»

— Прости, Господи, — сказал Джек, — я думаю, как алхимик.

Он переломил лист алоэ и прижал сочной раной к чёрному струпу на руке. Сообщники отдыхали в тени диковинного дерева на морском берегу к северу от Сурата. Рядом вдоль дороги расположился караван из верблюдов и буйволов.

— Пол-Диу тебя таким и считает, — заметил Отто ван Крюйк, щурясь на расплавленное серебро Камбейского залива, за которым на безопасном отдалении лежал Диу.

Ван Крюйк осторожно сматывал с правой руки длинный вонючий бинт, но слова причинили обожжённым связкам такую боль, что он вынужден был прерваться на кашель и сморкание.

— Задержись мы там ещё, нас бы замела ин-

квизиция, — так же хрипло проговорил мсье Арланк.

— Да, хотя бы из-за вони, — вставил Вреж Исфахнян.

Он единственный из всех соблюдал осторожность, например натягивал кожаные рукавицы, которые можно было сбросить, когда руки охватит пламя, потому и выглядел значительно лучше других.

— Хорошо, что с нами был мистер Фут, — включился в разговор Сурендранат, — способный убедить инквизицию, что мы преследуем какую-то священную цель!

Баньян общался с христианами куда меньше своих товарищей, которым такое легкомыслие показалось не вполне уместным.

— Здесь есть и моя заслуга, — произнёс Патрик Таллоу. Он потерял доминантный глаз и половину волос на голове. — Это я снабдил мистера Фута всякой церковной мурой, он только повторял слова, что я написал.

— Никто не отрицает твоей роли, — отвечал Сурендранат, — но даже ты должен признать, что неиссякаемым кладезем и пенистым ключом ахинеи, вздора и лжи был Али Зайбак!

— Охотно признаю его первенство, — сказал

Патрик, и оба посмотрели на Джека — клюнет ли тот на подначку.

Однако Джека отвлёк смрад, невыносимый даже для его обожжённых и загрубелых ноздрей. Ван Крюйк размотал бинт с правой руки. Указательный, средний и безымянный палец распухли и сочились гноем.

— Я тебе говорил, что надо пользоваться этим. — Джек указал на алоэ, вернее, на его пенёк, от которого сам же недавно оторвал последний лист. Алоэ росло в горшке с влажной землёй, который, как в паланкине, носили на доске двое мальчишек. — Португальцы вывезли его из Африки.

— Ты и вправду рассуждаешь, как алхимик, — пробормотал ван Крюйк, сурово глядя на гноящиеся пальцы. — Все знают, что от ожогов помогает только сливочное масло. Ты глубоко погряз в иноземщине, если вместо него лечишься каким-то африканским снадобьем!

— Когда думаешь ампутировать? — спросил Джек.

— Сегодня вечером, — отвечал ван Крюйк. — Тогда у меня будут сутки, чтобы оправиться перед сражением.

— Если мы хотим перейти Нармаду днём, то

можем выйти пораньше и успеть к броду засветло, — сказал Сурендранат. — Если же истинная наша цель — «замешкаться», чтобы ночь застигла нас у реки, то спешить незачем. На сегодняшнем ночлеге вполне можно провести небольшую ампутацию. Я попытаюсь раздобыть тебе макового настоя.

— Опять *химия!* — скривился ван Крюйк и погрузил руку в горшок с топлёным маслом из молока буйволицы, однако предложение не отверг. — Я мог бы быть пивоваром, — задумчиво проговорил он. — И даже им был!

Месяц назад Ван Крюйк отдал Джеку свои пивоваренные котлы и пошёл в порт договариваться с хозяином джонки или чего-нибудь в таком роде. Джек на деньги Сурендраната поручил городским медникам превратить котлы в сосуды совершенно иной формы, которую набросал по воспоминаниям о странных занятиях Еноха Роота в Гарце. Сурендранат отправил гонцов на север, в земли Губителя Недругов, с деньгами, чтобы вызволить Врежа Исфахняна и мсье Арланка, после чего, переступив через себя, заделался крупным оптовым скупщиком мочи.

С кастой уборщиков ночной посуды и нуждарей заключили сделку, и по утрам в пивоваренный

двор ван Крюйка начали прибывать горшки, бочонки и бочки. Почти все они были закрыты, чтобы не распространять вонь, но Джек распорядился, чтобы крышки сняли и моче дали постоять на солнце. Жалобы соседей — по большей части из брахманских каст — не замедлили воспоследовать. Тут-то и выпустили мистера Фута. Свой пуританский наряд он перешил в подобие колдовского балахона. Речь его состояла наполовину из алхимической зауми, которую надиктовал Джек, наполовину из папистской, которую Патрик мог оттарабанить (да частенько и бормотал) во сне.

Нужных слов Джек набрался от шарлатанов, продающих на Новом мосту кусочки философского камня, от Еноха Роота и от Ниязи; последний, правда, ничего не смыслил в алхимии, зато был несравненным знатоком верблюдов.

«Амон, или Амон-Ра был верховным божеством древнего народа страны Аль-Кем*, и как Аль-Кем дал название алхимии, так имя Амона вошло в наименование чудодейственного вещества, хорошо известного адептам этой науки. Ибо когда римляне покорили Аль-Кем и включили его в состав своей империи, они отождествили Амона с Юпитером и стали почитать под именем Юпи-

тера-Амона. Ему воздвигали идолов в обличье царей с бараньими рогами на голове. Римляне построили ему великий храм в оазисе Сива, что в пустыне далеко к западу от Александрии. Со времён фараонов оазис славился не только караван-сараем, но и оракулом Амона, источавшим чудесные силы и эманации; на его-то месте римляне и возвели храм Юпитера-Амона. Другими словами, здесь зародилась алхимия и здесь впервые начали получать сильно пахнущую соль, которую добывали из навоза тысяч проходящих мимо верблюдов. Секрет её изготовления ведом немногим, однако соль Амона, или аммониевая соль, иначе именуемая нашатырь, доставлялась караванами в Александрию и другие города Северной Африки, откуда бесконечно разнообразными торговыми путями распространялась по всему свету. Так мир узнал о её удивительных, некоторые сказали бы даже, магических свойствах. И если невежественные язычники смогли произвести такое буквально из груды дерьма, размыслите, сколь большего сумеют достичь христиане, знающие Библию, имеющие доступ к писаниям Парацельса и многому другому! Присутствующее в верблюжьем навозе можно найти в человеческой урине, ибо Аристотель сказал бы,

что обе субстанции имеют одну вещественную природу. Однако Платон заметил бы, что вторая настолько же чище и ближе к идеалу, насколько люди выше верблюдов…»

Короче, они давали соседям понять, что Джек со товарищи устроит у них под боком вонищу, какую человек, никогда не стоявший рядом с грудой верблюжьего дерьма, бессилен даже вообразить; однако мистер Фут излагал страшную новость так длинно и монотонно, с таким количеством богословских подробностей, что слушатели теряли волю к сопротивлению задолго до того, как начинали прозревать смысл.

Как всегда, когда нужно перековать что-нибудь одно в что-нибудь другое, превращение котлов заняло больше времени, чем ожидалось. Джеку нужен был один сосуд с круглым дном, широким устьем и ручками, чтобы подвешиваться над «во таким огроменным кострищем». Это не составило особого труда. Но для следующего, главного этапа требовалось закрыть чан своего рода колпаком, из которого пар по трубке попадал бы в другой сосуд, поменьше, и пробулькивал через воду. Сосуд из соображений самых что ни на есть практических следовало делать из стекла, что, учитывая размеры, оказалось сложно, и решили

обойтись медным. На этом-то (буквально) и погорел Патрик, когда при изготовлении пробной партии, вопреки всем наставлениям Джека, решил заглянуть под крышку, и в лицо ему ударил столб белого пламени.

Тем временем прибыло мозговое подкрепление в лице мсье Арланка и Врежа Исфахняна. Арланк указал, что трудно будет нанять хороших работников и сохранить репутацию выдающихся алхимиков, если постоянно жечь себе разные части тела и орать благим матом на весь Катхияварский полуостров. Вреж добавил, что коль вскорости всё равно придётся раздобывать множество стеклянных сосудов, то сейчас самое время исследовать местный рынок на предмет указанного товара.

Результаты не слишком обнадёжили. В Диу, в отличие от Лондона, не было Благочестивой компании стеклодувов. Более того, по всему выходило, что стекловарение — одно из немногих искусств, в которых христиане преуспели больше остальных. По словам Врежа, Дамаск триста лет назад славился стеклодувами, но с тех пор, как Тамерлан угнал всех мастеров в Самарканд, о них не было ни слуху ни духу. Времени отправлять гонцов в Самарканд и наводить справки не оста-

валось. Пришлось обойтись стеклом, добытым у португальцев в Диу. Для сосуда, в котором пар будет пробулькивать через воду, Вреж нашёл целое оконное стёклышко размером с ладонь. Джек поручил медникам проделать в сосуде отверстие, а ван Крюйк, пользуясь морской сноровкой, закрепил в нём стёклышко так, чтобы по краям не текло. Всё это заняло немало времени. Но всё равно каждому ведру мочи надо было не меньше двух недель доходить до нужной кондиции, так что особой спешки не наблюдалось. Тем временем в холмах на севере мсье Арланк занимался углём; дрова рубили и пережигали в тандырах местные жители. Капитал таял с каждым днём. Из Сурата морем приходили известия или по крайней мере слухи, что тот или иной купец собирает караван с вооружённой охраной, чтобы прорвать блокаду маратхов на реке Нармада. Всякий раз, услышав такое, Сурендранат впадал в ярость. Он бегал по двору (лавируя между ёмкостями с мочой), швырял на землю тюрбан, подбирал его, чтобы швырнуть снова, и громко вопрошал богов, зачем он связался с безумными франками. Некоторое время казалось, что они так и останутся с перебродившей мочой, медными сосудами причудливой формы и несколькими

крупицами порошка, в которых сумерки замешкивались после того, как вся Индия погружалась в ночной мрак.

Наконец с севера прибыли арбы, гружённые углём и дровами, а Вреж Исфахнян затарился целым ящиком стеклянных бутылей — бурых, неровных, с пузырьками, но всё-таки прозрачных. Теперь можно было приступать. Джек объяснил, а Патрик на своём примере убедительно продемонстрировал, что аппарат по окончании использования сгорает белым огнём; другими словами, у них был один и только один шанс.

И вот как-то утром Джек и ван Крюйк вместе с местными неприкасаемыми замотали лица тряпками и принялись сливать двухнедельную мочу из бочек и горшков в чан, под которым тем временем развели жаркий-прежаркий костёр. Остывшая за ночь моча нагрелась не сразу, а когда нагрелась, многие бежали со двора, и многие — из окрестных кварталов. Они улепётывали бы с криком, если бы могли раскрыть рот. К запаху застарелой мочи все успели принюхаться, однако то, что вырывалось сейчас из чана, было явлением совершенно иного порядка. Котёл словно превратился в зев самого Юпитера-Амона, губящего смертных не громáми с небес, но

огненными испарениями преисподней. Воздух дрожал, птицы складывали крылышки и камнем падали на землю. Люди, закрыв локтем глаза и натыкаясь друг на друга, отбегали туда, где можно было дышать, потом оборачивались и смотрели на котёл сквозь жгучую пелену слёз. Время от времени кто-нибудь, набрав в грудь воздуха, подскакивал к адскому зеву и бросал в огонь новую порцию дров.

Но вот удушливый смрад рассеялся, и над котлом начал подниматься пар; когда же моча забурлила ключом, к котлу можно стало подойти. Дыхание Аммона иссякло, но ненадолго. Не вся собранная моча поместилась в чан; по мере того как она выпаривалась, доливали ещё, и всякий раз чан извергал из себя преисподний дух. Так продолжалось почти весь день, но вот последний горшок опорожнили и выбросили на улицу. Вскоре запах аммиака рассеялся навсегда. Несколько часов чан просто кипел; пар валил столбом и таял в небе над Диу. Джек заглянул в чан и увидел, что моча упарилась до малой доли своего объёма; под кипящей пеной ворочалась густая желтовато-бурая масса. Её Джек время от времени помешивал деревянной лопаткой, проверяя густоту, как делал Енох Роот. Когда ворочать лопаткой стало

трудно, он велел всыпать в чан истолчённый уголь. Джек мешал, покуда масса не стала равномерно серой, а лопатка не начала увязать. Влага по-прежнему оседала каплями на лбу, но Джек видел, что она выпарилась почти вся и действовать надо быстро. Остальные, видевшие, что приключилось с Патриковым глазом, знали это не хуже Джека. Не дожидаясь приказа, они при помощи тросов и палок подняли перевёрнутую воронку того же диаметра, что и чан, и опустили на него так, что воронка с чаном слились в поцелуе, а место соединения законопатили паклей и смолой. Теперь всё, что выделялось из серой массы, поступало в медный колпак, из которого был только один выход: в коленчатую медную трубу, завершавшуюся U-образным перегибом и вставленную в сосуд со стеклянным окошком. Заглянув в окошко, можно было убедиться, что сосуд заполнен водой. Он стоял в двенадцати футах над землёй на бамбуковом помосте.

Когда колпак надёжно приконопатили, Джек поднялся на помост, являвший собой гибрид аптекарской и скобяной лавок: здесь были приготовлены черпаки, воронки, бутыли и глиняные сосуды с гвоздичным маслом. Он с удовольствием увидел, что вода в сосуде приподнялась и

выбулькнула пар, пробившийся через воду в U-образной трубке. Это происходило ещё несколько раз, пока из осадка в чане выпаривалась последняя влага. Затем наступила долгая неловкая пауза; она явно затягивалась, но Джек убеждал товарищей поддерживать огонь и надеяться. Он следил за уровнем воды по пузырьку в стеклянном окошке. Некоторое время всё оставалось без изменений. Наконец вода отчётливо приподнялась и выбросила слабенькую отрыжку газа.

— Началось! — объявил Джек.

Вопреки всему, в чём убеждал мистер Фут добрых жителей Диу, Джек не повелевал движением небесных сфер, и солнце закатилось несколько минут спустя по чистому совпадению. Стёклышко горело в его последних лучах, как всякий блестящий предмет, но после того, как солнце зашло, отсвет в стекле остался, более того, он делался всё ярче по мере того, как сгущалась тьма. Не будь окошко прозрачным, его можно было бы принять за полную луну. Если бы Джек смотрел на него неотрывно, то вскорости потерял бы способность видеть что-либо ещё. Он велел мсье Арланку следить за уровнем воды и доливать её, чтобы не выпарилась совсем — ошибка, которая дорого обошлась Патрику, — а сам повернулся

спиной к окошку, давая отдых глазам. Ему, словно актёру на сцене, предстало озеро изумлённых лиц, залитых зеленоватым светом *kaltes Feuer*, холодного огня, или фосфора, светоносного. Разумеется, все они были на улице, а холодный огонь — в медном сосуде, но чудилось, будто всё наоборот: люди столпились в тёмном подземелье, куда через единственное квадратное оконце высоко в стене проникает свет из иного мира.

— К рассвету тут будут дымящиеся развалины, — объявил Джек. — Посему давайте соберём *kaltes Feuer,* дабы уберечь его от воздуха, а себя — от жестокой смерти!

Действовали двумя способами. Во-первых, кто-нибудь время от времени черпаком доставал из сосуда порцию воды, в которой хлопья холодного огня вились, как искры над костром, и через воронку сливал её в заготовленные бутыли. Светящиеся бутыли передавали вниз, где кто-нибудь другой затыкал их тряпьём и ставил в таз с еле-еле кипящей на углях водой. Жидкость из бутылей постепенно испарялась через затычки, но количество света в них не убывало; фосфор оседал на стенки, так что каждая бутыль приобрела светящуюся ажурную оторочку. Когда бутыли почти высыхали, их вытаскивали и об-

макивали горлышками в смолу, чтобы воздух не проникал внутрь.

Во-вторых, черпаки светящейся воды выливали в глиняные горшки с гвоздичным маслом на дне. Вода проходила через масло, оставляя в нём часть фосфора. Эти горшки тоже нагревали на водяной бане, чтобы влага вышла через масло струйками пара. Когда над горшками переставал подниматься пар, а бульканье прекращалось, в них оставалась лишь фосфорно-масляная взвесь. Масло обволакивало частички фосфора, защищая его от воздуха, а следовательно, от возгорания.

Так, во всяком случае, задумывалось, и по большей части всё шло согласно плану, но время от времени для разнообразия случались накладки. Каждая пролитая порция смеси превращалась в лужицу, струйку или брызги холодного огня. Джек плеснул себе на руку и не заметил этого, пока не простоял несколько минут рядом с водяной баней. От жара рука подсохла, и тонкий слой фосфора вспыхнул неугасимым пламенем. И такое происходило сплошь и рядом. Каждый, кому возбуждённые зрители указывали, что он светится, начинал лихорадочно срывать с себя одежду, и вскоре почти все остались в чём мать родила. Черпаки дрожали в обожжённых руках,

смесь лилась на помост. Мсье Арланк со сверхчеловеческой отвагой нёс свою вахту, требуя, чтобы фосфор смывали водой, пока он не высох. По краям окошка начали проступать капли холодного огня, затем полились струйки. Их собирали в бутыли и горшки с маслом, но холодный огонь неумолимо растекался по помосту, по земле, по людям. Наконец Джек приказал мсье Арланку покинуть гибнущий корабль. Гугенот спустился вниз с проворством, неожиданным в человеке его лет, срывая по пути одежду; тут же подбежали с вёдрами и принялись обливать его морской водой, пока он не престал светиться. В следующий миг все бросились врассыпную, потому что течь вокруг окошка открылась, и холодный огонь хлынул ослепительным водопадом. Вся вода вытекла. Воздух проник из сосуда в трубу, забитую осаждённым фосфором. Из неё вырвался белый огонь. Взошло солнце, если не сразу тысяча. Светящиеся лужицы на черном бархате под ногами оказались сырыми пятнами на буроватой земле. Сосуд оторвался, взлетел и опустился на крышу монастыря полумилей дальше. Труба и колпак пронеслись в небе, словно Небесный Ковш, черпнувший солнечного огня. Упали они где-то в море. В окрестностях помоста ещё несколько часов

что-то вспыхивало и рвалось без предупреждения. По счастью, им хватило ума расположить водяные бани и ящики с горшками на почтительном расстоянии. Поэтому все отступили с середины двора и до самого восхода продолжали работу. Она тоже была сопряжена с некоторой опасностью. Иногда бутыль трескалась от жара, и тогда какой-нибудь смельчак должен был вытаскивать её клещами и отбрасывать прочь, чтобы от взрыва не раскололись остальные. В итоге сгорел дом, в котором они все жили. При других обстоятельствах можно было бы горевать об утраченном крове, но сейчас они знали, что их так и так погонят взашей. На рассвете явились португальские пикинёры. На пепелище того, что ещё недавно было вполне респектабельной пивоварней, Джек и его товарищи грузили бутылки (тщательно упакованные в солому) на уцелевшие арбы и запрягали животных, не разбежавшихся и не околевших со страху за ночь. Пикинёры сопровождали, если не сказать преследовали их до самой пристани, где сообщники погрузили фосфор и немногочисленные пожитки в нанятую заранее джонку. Ветер им благоприятствовал, пираты, видевшие странные явления в ночном небе над Диу, держались в стороне; через полтора

дня честна́я компания прибыла в Сурат и заняла позицию во главе огромного вооружённого каравана, который немедля тронулся на северо-восток к Шахджаханабаду.

— Ты будешь смеяться, но там, откуда я родом, клинки прямые, — сказал Джек. — Бывают широкие, их называют палашами, есть потоньше, рапиры, а в последнее время в моде совсем тонюсенькие, шпаги. Да, бывают и малость изогнутые, они зовутся саблями. Однако в сравнении с вашими они прямые, как струнка; так же прямолинейна и тактика боя. А тут…

Он указал на толпу набранных в Сурате воинов. Среди них были мусульмане, выходцы из западных краёв, из Афганистана, Белуджистана и разнообразных ханств. Часть войска составляли индусы из различных воинских каст, по той или иной причине избравшие могольскую сторону. Но даже в малейшем различимом подподподплемени у каждого человека было оружие — или по крайней мере опасного вида приспособление — совсем не такое, как у его соседа.

Среди вещей Доктора были книги, заполненные не буквами, а изображениями кривых. Джек иногда листал их от нечего делать, ибо, хотя грамоты не знал, кривые мог разглядывать не

хуже кого другого. Элиза сидела рядом и читала названия: улитка Паскаля, кампила Евдокса, конхоида де Слюза, квадратрисса Гиппия, эпитрохоида, трактрисса, овалы Кассини. Сперва Джек дивился, как геометры выдумали столько кривых, потом понял, что кривые бесконечны; чудо, что поэты, или писатели, или кто там сочиняет новые названия, успевали вслед за геометрами обзывать все завитушки в докторовой книге. Теперь до него дошло, что геометры и словоплёты — лишь чахлые побеги южно-азиатского оружейного древа. Во всей Индии не было ни одного прямого лезвия. У некоторых рукоять продолжалась клинком; они попадали в категорию сабель. У других смертоносная часть была насажена на длинную рукоять; их Джек классифицировал как копья или топоры, в зависимости от того, нужно было ими тыкать или рубить (по крайней мере, судя по виду). Те, что с тетивой, видимо, следовало называть луками. Однако все сабли были кривые: некоторые изгибались в одну сторону, затем, передумав, сворачивали в другую; некоторые вились, как змеи; некоторые имели рубящую кромку разной формы и то сужались, то расширялись; некоторые раздваивались или заканчивались крюками, клювами, шипами, ло-

пастями, жалами и даже спиралями. Попадались лезвия в форме подков, перьев, козьих рогов, заливов, фаллосов, рыболовных крючков, бровей, гребней, знаков Зодиака, полумесяцев, ольховых листьев, персидских туфель, весёлок для теста, пеликаньих клювов, собачьих лап и коринфских колонн. И это не считая поистине чудны́х приспособлений из двух-трёх таких клинков, нагретых на огне и скованных вместе кузнечным молотом. Ударное оружие на длинной рукояти (топоры, секиры, молоты, алебарды и военизированные сельскохозяйственные орудия: боевые серпы, ратные цепы, бранные мотыги и тактические тёсла) отличалось не меньшим разнообразием. Джека почему-то особенно смущали луки: не добрые старые полумесяцы из английского тиса, а какие-то исполинские паучьи лапы: чёрные, блестящие, жилистые, изгибающиеся в обе стороны, иногда длиннее с одного конца, чем с другого, — не поймёшь, где верх, где низ, что тут рукоять и какой стороной это надо разворачивать к противнику. И для каждого из видов оружия существовало отдельное шеститысячелетнее боевое искусство со своими ритуалами, терминологией, упражнениями и секретами, постичь которые можно лишь за целую жизнь

самоотверженного ученичества.

— Я думал, ты скажешь, что всё это убожество в сравнении с оружием неприятеля, — проговорил Джек.

— Ты стал такой желчный, что в последние несколько часов я избегал затрагивать тему неприятеля, да и все остальные тоже, — ответил Сурендранат.

Баньян ехал в паланкине, Джек — на лошади. Возможно, этим и объяснялась желчность, ибо один возлежал под пологом, а другого защищал от солнца только тюрбан.

— Воистину это царство самого Гордия, — сказал Джек.

— Кто такой Гордий?

— Один малый, у которого был узел такой сложный, что его удалось распутать, только разрубив пополам. У франков эта история вошла в пословицу. Мы собираемся сделать то же самое. Чем позволить им скрестить с маратхами ятаганы, китары, кханды, ханджары, джамдары и так далее, мы разрубим гордиев узел.

— Может, для вас эта история очень важна, но мне она ничего не говорит, — заметил Сурендранат. — Я предпочёл бы получить какой-никакой план сражения до встречи с врагом, которая,

вероятно, произойдёт сегодня же ночью.

Сурендранат всего лишь высказал вслух то, что мучило самого Джека. Они так долго добывали фосфор и так долго после этого отходили, что не успели подумать, как будут его использовать. Потому призвали Врежа, Патрика, мсье Арланка и мистера Фута. Все они ехали верхом. Ван Крюйк накануне вечером оттяпал себе кончики пальцев и ещё не вполне оправился от шока и опия. Его тоже несли в паланкине.

— Край, по которому мы едем, — начал баньян, — не блещет живописными красотами, поражающими ум и воображение, но это самая опасная и беспокойная часть Индии.

Они выехали из Сурата, стоящего в устье реки Тапти, и с тех пор двигались на север по караванному тракту вдоль побережья в нескольких милях от моря. Время от времени он пересекал очередную реку, которая, как и Тапти, вилась на запад к Камбейскому заливу, лежащему от них по левую руку. Все знали, что самая большая из них зовётся Нармада и сегодня они до неё доберутся, но вокруг не было ни одного пригорка, чтобы посмотреть, далеко ли ещё до реки. Прибрежная равнина напомнила Джеку нильскую дельту: такая же влажная, так же изобилующая селениями

и предстающая путнику чередованием болот, полей и рощ деревьев, которые растят (или по крайней мере не вырубают) за то, что они дают плоды, масло или волокно. «Дальше на север мы увидим более диковинные края, — пообещал Сурендранат, — но тогда мы будем вне опасности».

— Если представить Индостан как огромный алмаз, — продолжал он, — то Нармада, куда мы сегодня выйдем, будет трещинкой в самом его центре. Индия спокон веков делилась на множество княжеств. Названия их менялись, как и границы, за единственным исключением — Нармада всегда оставалась естественным рубежом севера и юга. К северу от неё захватчики сменяют друг друга, власть над городами и крепостями переходит от одной династии к другой. На юге всё иначе. Вам его отсюда не видно, но весь Индостан с запада на восток пересекает горный хребет Сатпура. Нармада берёт исток на его северных склонах и на протяжении многих дней пути бежит в глубоком ущелье. Западная оконечность хребта зовётся Раджпиплскими холмами, и, если бы не дымка на горизонте, вы бы увидели их справа. В дне пути отсюда Раджпиплские холмы отступают от Нармады, и она, не стеснённая более отвесными берегами, петляет и вьётся по рав-

нине, пока не впадает в залив, образуя широкое устье наподобие того, что мы оставили позади.

Моголы не многим отличаются от других воинственных народов, владевших севером в прошлые тысячелетия; оружие и тактика, несокрушимые в пустынях и на равнинах, не помогли им пробиться через горы Сатпура. Но в отличие от тех, кто довольствуется завоёванным, моголы жаждали превратить весь Индостан в часть Дар аль-Ислама, поэтому двинулись на юг единственно возможным путём — тем, по которому мы сейчас едем. Прибрежные города, такие, как Бхаруч на Нармаде и Сурат на Тапти, они легко захватили и с трудом удержали. Однако к югу от Сурата внутреннюю часть Индостана отделяют от моря высокие Балагхатские горы, куда непокорные индусы — маратхи — всегда могут отступить, если не хотят сойтись с моголами в открытом бою на равнине. Подобным образом и Сатпура, и даже Раджпиплские холмы остаются оплотом маратхов. Время от времени моголы теснят их из холмов, потому что маратхи — как нож у горла могольской коммерции. Как вы знаете, вся торговля с Западом осуществляется через Даман, Сурат и Бхаруч, а предводители маратхов отлично знают, что могут отрезать связь этих портов

с севером, спустившись с Раджпиплских холмов по ущельям Дхароли на Бхаручскую равнину — там, где мы сейчас, — и напав на караваны перед бродом через Нармаду. Сурат кишит их тайными сторонниками и соглядатаями; можете не сомневаться, что маратхам известен каждый наш шаг.

— Можем ли мы быть уверены, что они нападут ночью? — спросил Джек.

— Только если нам хватит безрассудства выйти на южный берег Нармады в сумерках и двинуться вброд под покровом тьмы.

— Да будет так, — сказал Джек. — Умные стратагемы не по моей части, но если дело за безрассудством, то этого добра у меня хоть отбавляй.

Джек выехал вперёд осмотреть поле боя при свете дня и расставить наёмников. При помощи местного проводника он нашёл участок реки, где можно инсценировать переправу. В нескольких милях выше того места, где Нармада расширяется, образуя эстуарий, она описывает букву Z, поворачивает, описывает букву S и продолжает путь на запад. В середине SZ между разнонаправленными отрезками реки образовался песчано-галечный полуостров в форме гриба на ножке. Как всегда на поворотах, течение подмыло берега; они возвышались над водой не более чем в рост человека,

но были обрывистые и поросли кустарником. Всякий, подходящий к реке с юга, оказывался на четвертьмильном перешейке, который затем расширялся и полого спускался к излучине. Здесь, на вогнутой стороне петли, река была широкой и мелкой, однако всякий, знакомый с реками, заподозрил бы, что противоположный берег — обрывистый и крутой. Джек, глядя на ту сторону, догадывался, что так оно и есть, хотя ничего не видел за тростниками. Проводник заверил, что верблюды, лошади и буйволы выберутся на северный берег, но лишь в определённых местах, которые он готов показать за отдельную плату. В противном случае вьючные животные будут долго брести через тростники и в конце концов упрутся в крутой обрыв.

— Я заплачу тебе, сколько ты просишь, — пообещал Джек, — и вдвое больше за удовольствие несколько раз вытянуть тебя хлыстом.

Последние слова пришлось переводить долго и с трудом; но в итоге каждый мог видеть, как франк на лошади гонит несчастного проводника от самой излучины, охаживая того кнутом и костеря за жадность. Покончив с этим, он вернулся к броду и стал показывать наёмникам, где те должны встать.

Рекогносцировка имела одно неожиданное, но крайней удачное последствие: наёмники разделились. Ибо они присматривались к Джеку и тому, что считали его планом. Сделав выводы, они сбились в кучки, чтобы обсудить положение дел, после чего целые отряды повернулись спиной ко всей затее и припустили вниз по течению к Бхаручу или Анклешвару. Джек для виду бушевал, однако на самом деле остался очень доволен. Бегство стольких наёмников должно было представить караван ещё более уязвимым в глазах маратхов, которые, он знал, наблюдают за каждым их шагом; а на тех, кто не дезертировал, вероятно, можно было положиться.

Заговорщики сбились с ног, выискивая людей, владеющих древним и простым оружием — пращой. Таких набралось человек сорок. Почти никто из них не сбежал — они принадлежали к самой низкооплачиваемой и презираемой категории воинов. Джек разделил их на два взвода и отправил один в западную часть полуострова, другой — в восточную.

Из оставшихся наёмников некоторые были с саблями — им Джек велел окопаться в самой узкой части перешейка. Однако он предусмотрел для них возможность отступления, для чего по-

ручил свободным пращникам вырыть несколько канав. Остальные наёмники были лучниками: их Джек поставил так, чтобы они могли стрелять поверх голов тех, кто будет защищать перемычку.

Прибыл авангард каравана с большим турецким шатром, его центральным колом, растяжками, колышками и тому подобным, а также упакованным в солому грузом. Шатёр поставили в центре полуострова, груз занесли внутрь и распаковали. Часть его раздали воинам с пращами. С наступлением сумерек они пробрались на позиции, которые занимали весь вечер, и спустились в воду, после чего по двое, по трое двинулись на юг к перешейку, где спрятались у подмытых берегов, укрытые растительностью и темнотой от чужих глаз. И вовремя: как раз подоспел весь караван. Лошади, верблюды, буйволы и даже два слона вступали на узкий перешеек, разделялись перед шатром и скапливались перед излучиной. Джек определил, где на противоположный берег труднее всего будет выбраться, и отправил туда животных, которым это с наименьшей вероятностью удастся, — буйволов, запряжённых в повозки.

Даже с неидеального наблюдательного пункта, а именно из шатра, где он в это время натирал-

ся странно пахнущим маслом, Джек легко мог вообразить всё, что происходит не так, по рёву буйволов, бесполезному щёлканью бичей, разноязыкой брани и треску ломающихся спиц.

Однако ничто не могло заглушить шум маратхского наступления. Возможно, с гор мятежники и впрямь спускались тихо и незаметно, но в бою шумели, как любое другое войско, если не громче, поскольку питали любовь к барабанам, кимвалам и прочим средствам наведения ужаса на врага. Джек выглянул через дырку в шатре. Он сотни раз слышал, что маратхи используют в бою слонов, но только смеялся над подобными россказнями. Сколько бы диковинных стран ни повидал Джек, в нём по-прежнему жил лондонский жох, не способный поверить, что такое бывает на самом деле. И вот они надвигались: ходячие бастионы, озарённые факелами, сверкающие металлом, сплошь одетые в броню, и бивни их щетинились изогнутыми клинками дамасской стали. По пять в шеренгу вступили они на перешеек, а у их ног колыхался живой ковёр пехоты, кривые лезвия сверкали в свете луны преисподним уроком геометрии. Воздух гудел от стрел; стреляли и оборонявшиеся, но больше — маратхи. Несколько стрел пробили полог шатра.

— Пли! — скомандовал Джек, и через мгновение Вреж выстрелил из мушкета, подавая сигнал.

План был исключительно прост, и по одному сигналу произошло сразу многое. На северной стороне излучины местные проводники зажгли костры — маяки, указывающие, где на тот берег легче всего выбраться. Погонщики, зажатые между рекой и наступающими маратхами, не дожидаясь уговоров, устремились к огням. Вскоре по реке уже двигались четыре вереницы вьючных животных.

Наёмники с саблями начали отступать, ибо от слонов их отделяло лишь несколько ярдов. Как только грянул выстрел, все они выскочили из ям и распределились по двум траншеям, которые пращники выкопали по флангам предстоящего маратхского наступления. Лучники выпустили по последней стреле. Всё это плюс верёвки, натянутые между канавами, а также скученность людей и животных на узком перешейке, замедлило продвижение маратхов. Редкие смельчаки пробивались за череду ям или даже перепрыгивали препятствия на лошади, однако они оказывались лёгкой мишенью для лучников и немногочисленных мушкетёров.

До сих пор бой, несмотря на своё ожесточение

и запоминающуюся яркость, оставался в рамках того, что обычно происходит на поле брани. Ночные битвы — редкость, а битвы с участием слонов — диковинка (по крайней мере, для европейцев), но всё равно это была просто битва. По крайней мере, пока сотни светящихся бутылей с фосфором не взмыли из зарослей по обе стороны перешейка. Они падали, как метеоры, и разбивались среди атакующих. Залпов было несколько, и когда закончился последний, почти вся земля перед авангардом маратхов светилась, а кое-где и вспыхивала огнём.

Один из слонов выразил намерение повернуть вспять. Джек издалека не мог разглядеть, согласен ли с ним погонщик, но это не имело значения, так как слон уходил. Возможно, он был вожаком, поскольку идея распространилась со скоростью фосфорного огня. Когда несколько слонов с острыми, как бритва, клинками на бивнях решают совершить пируэт посреди скученной толпы, неизбежна сумятица. Произошла она и сейчас; Джек почти ничего не видел за фосфорным светом, но отчётливо слышал звуки: маратхи голосили так, будто все когда-либо написанные итальянские оперы исполнялись одновременно.

По мере того как фосфор на земле высыхал, он

вспыхивал. Однако это происходило спорадически и медленнее, чем следовало бы. Джек и его товарищи у излучины ничего не могли сделать, потому что ничего не видели. За их спинами караван полз через брод, как струи патоки по холодной тарелке. Переправа могла занять часы. И Джека предупреждали, что опасно недооценивать маратхов. Одно дело — напугать животных, другое дело — сломить волю людей, и не крестьян с дубинками, а закалённых бойцов из каст махар и манг, посвятивших всю жизнь воинской службе. Джек не сразу воспринял предупреждения всерьёз, потому что в Англии нет ничего похожего, но Сурендранат убедил его, проведя грубую параллель между этими кастами и янычарами. Соответственно Джек велел пращникам сберечь часть бутылок про запас и, когда фосфорный огонь догорел, приказал наёмникам выдвинуться на прежние позиции. Лучников он отправил к пращникам, чтобы стреляли из укрытия зарослей. Все эти меры вскорости подверглись испытанию новой атакой махаров и мангов, и Джек, как ни мало ему хотелось, вынужден был выехать из шатра с мистером Футом по одну руку и мсье Арланком по другую, промчаться по перешейку и гнать несгибаемых маратхов до

самых ущелий Дхароли. Ибо Джек, Фут, Арланк и их лошади светились в темноте. Никто даже не осмелился выпустить в них стрелу.

— Мистер Фут! — крикнул Джек огненному пятну, преследующему деморализованного врага. — Поворачивайте-ка к реке. Ничто, кроме пыли и песка, не отделяет нас больше от дворца Великого Могола в Шахджаханабаде, и лучше бы ему сразу расщедриться, не вынуждая нас упаривать мочу в *его* городе.

Книга 5
Альянс

Кофейня миссис Блай, Лондон
Сентябрь 1693

— Теперь вы великий человек, Роджер, и богаче Великого Могола.

— Мне говорили, Даниель, но ничего, я не прочь выслушать это ещё раз.

— И вы человек в какой-то мере образованный.

— Я предпочёл бы услышать «умный», но продолжайте свою лесть, столь для вас несвойственную.

— Так вот. Какое метафизическое значение вы придаёте тому, что не можете заплатить за чашку кофе?

— Позвольте, Даниель, я только что заплатил, и не за одну, а за две, если то, что перед вами — не мираж.

— Но вы не платили, милорд. Кофе принесли и записали на ваш счёт в конторской книге миссис Блай.

— Вы сомневаетесь в моей платёжеспособности?

— Я сомневаюсь в платёжеспособности всей

страны! Выверните-ка ваш кошель. Прямо на стол. Давайте глянем.

— Не паясничайте, Даниель.

— Ах, теперь я паясничаю.

— С тех пор, как вам вырезали камень, в вас появилась какая-то странная ребячливость.

— Держу пари на всё содержимое *моего* кошелька, что всего содержимого *вашего* не хватит на ведро тресковых голов.

— Будь в вашем кошельке хоть столько, вы бы уже плыли в Массачусетс. Это все знают.

— Вот видите? Вы боитесь принять пари.

— С какой стати вам вздумалось поговорить о том, что в Англии нет денег?

— Вы сейчас важная птица, слухи носятся вокруг вас, как чайки вокруг рыбачьей лодчонки, вот я и хочу, чтобы вы каким-то образом отправили меня в Америку… ну вот. Ладно, ладно, я подожду, пока вы отсмеётесь. Когда снова будете меня слышать, махните рукой. А, отлично. Так вот, хорошо вам, Роджеру Комстоку, иметь неограниченный кредит и получать кофе и дома по первому слову. Многие другие влиятельные особы пользуются той же привилегией, включая нашего короля, который финансирует нынешнюю войну посредством каких-то *алхимических*

манипуляций. Однако от нас, простых смертных, ждут платы за покупки, а платить-то нам нечем. Говорят, Америка купается в пиастрах, и хотел бы я на это поглядеть, да только шкипера не верят в долг, по крайней мере натурфилософам… О да, милорд, смейтесь, смейтесь. Я здесь, в кофейне миссис Блай, исключительно в качестве придворного шута, и прошу лишь по серебряной монете за каждый ваш смешок и по золотой — за взрыв хохота. Ещё изволите? Как, денег нет? Ваша мошна болтается, как мошонка мерина? Обычное дело, Роджер, и напоминает мне о другом вопросе, который я коротко изложу, покуда вы сморкаетесь и утираете слёзы: что будет, если все долги, личные и государственные, стребуют разом? Что, если миссис Блай выйдет из своего уголка, неся конторскую книгу на обширной груди, как Библию на аналое, и скажет: Роджер Комсток, вы должны мне свой вес рубинами, расплатитесь немедленно!

— Но, Даниель, такого не случается. Если миссис Блай нужны кофейные зёрна, она может пойти в порт, показать шкиперам свою конторскую книгу или, на худой конец, свой аналой, и сказать: «Вот, самый влиятельный человек в Лондоне — мой должник, я могу представить залог, одолжите

мне тонну мокко — и не пожалеете!»

— Роджер, что такое конторская книга миссис Блай, разрази её гром — приношу извинения, миссис Блай! — как не чернильные закорючки? У меня есть чернила, целый бочонок, я могу надёргать из гуся перьев и рисовать закорючки сколько влезет. Но это просто значки на бумаге, видимость. И, значит, наша коммерция зиждется на видимости, в то время как испанская зиждется на серебре.

— Некоторые сказали бы, что это свидетельствует о нашей высокоразвитости.

— Я не из тех мракобесов, что считают кредит изобретением дьявола, и нечего меня с ними верстать. Я говорю лишь, что чернила, высыхая на бумаге, становятся хрупкими, и финансовая система, выстроенная на чернилах, тоже будет хрупкой — настолько, что может рассыпаться в любой миг. В то время как золото и серебро ковки, податливы…

— По мнению некоторых, это оттого, что их атомы, или частицы, обволакивает подвижная ртуть…

— Увольте.

— Минуту назад вы сами требовали от меня метафизики.

— Вы меня дразните, Роджер. Ладно, ладно, забавляйтесь, я не в претензии.

— Даниель, вы правда хотите отправиться в Массачусетс и оставить всё это позади?

– *Всё это* куда забавнее, чтобы не сказать прибыльнее, для вас, чем для меня. Я хочу отрешиться от мелочных забот, уехать в глушь и работать.

— Что, в вигваме? Или вы уже присмотрели пещеру?

— Там осталось достаточно деревьев.

— Вы намереваетесь жить на дереве?

— Нет! Срубить их, выстроить дом.

— Боюсь, Даниель, вы непривычны к такой работе.

— Но я *умею учиться*.

— Куда надёжнее рассчитывать на какой-либо общественный институт. Вы могли бы стать викарием в пуританской церкви.

— В пуританских церквях нет викариев.

— Ах, да… ну что ж, вас могут взять в Гарвард.

— Могут взять, а могут не взять.

— Вот, Даниель, метафизическое истолкование ваших обстоятельств.

— Я весь обратился в слух.

— Вы ещё нужны Англии!

— Боже милостивый! Чего ещё ей от меня

нужно?

— Сейчас я к этому перейду. Но прежде я предлагаю сделку.

— Подразумевается ли оплата серебром? Или чернильными закорючками?

— Подразумевается синекура для Даниеля Уотерхауза. В Колонии Массачусетского залива.

— А я, чёрт побери, здесь, по другую сторону океана!

— Синекура включает в себя некоторые привилегии, такие, как билет в один конец.

— Вы хотите сказать, Англия ждёт от меня чего-то столь ужасного, что после этого мне нельзя будет в ней показываться?

— Вы придумываете невесть что. Вы сами всё это время твердили, что стремитесь в Массачусетс.

— Тогда зачем было подчёркивать, что билет в один конец?

— Вы сможете вернуться, как только сочтёте, что это в ваших интересах, — невинно проговорил Роджер. — До тех пор, покуда алианс у власти, вы без покровительства не останетесь.

— У вас есть досадное обыкновение глотать слова, как раз когда вы собираетесь сказать что-то важное. Вы это нарочно?

— Алианс… алианс… АЛИАНС!

— Это что ещё за напасть? Род ишиаса?

— Можно произносить на французский манер — альянс.

— Вы о супружестве?

— Скорее о содружестве.

— Тогда почему просто не назваться партией?

— Потому что тогда решат, будто мы собираем партию в бостóн.

— Не всё ли равно, в Бостон или в Массачусетс?

— Мы собираемся не бежать от власти, а брать её.

— Но разве вы не стремитесь к таинственности?

— Тогда мы просто назвались бы кликой.

— Ладно. Так вы входите в альянс?

— Я вхожу в альянс.

— И будете в этом альянсе…

— Канцлером казначейства… Даниель, ну что за мальчишество — фыркать кофием через ноздри. Вы знаете кого-то более достойного?

— А что Апторп?

— Сэр Ричард, как называют его *вежливые* люди, будет руководить банком.

— Вы не думаете, что он с радостью оставит

свои обязанности в банке, чтобы стать канцлером казначейства?

— Нет, нет, нет, я не о банке Апторпа. Я об Английском банке.

— Такого учреждения не существует.

— Как в Колонии Массачусетского залива нет учреждения, которое дало бы вам крышу над головой и синекуру. Однако учреждения можно создавать. Они потому и зовутся учреждениями, что их *учреждают*.

— А.

— Вы и впрямь схватываете всё на лету!

— Английский банк… Английский банк… звучит… э… солидно.

— В том-то весь и смысл.

— Он будет привлекать капитал и давать деньги в долг.

— Как все банки со своего появления.

— Я вижу лишь два изъяна в этом воистину превосходном плане, милорд.

— Позвольте угадать. У нас нет капитала и нет денег.

— Именно так, милорд.

— Не восхитительно ли, как всё поначалу просто? Как я люблю всё простое!

— Дайте мне подумать… что будет капиталом?

— Англия.

— Я должен был догадаться по названию. А как насчёт денег?

— Банк выпустит какие-нибудь бумаги. Но вы правы, нам потребуется чеканить монету. Более того, нам потребуется *перечеканка*.

В уютном уголке кофейни воцарилась тишина. Роджер Комсток провёл много человеко-лет, ораторствуя в парламенте, и знал, когда сделать эффектную паузу. А Даниель на какое-то время погрузился в задумчивость. Слово «перечеканка» навеяло на него странную грусть, и теперь он силился понять почему. Оно означало, что все старые монеты, посуду, подсвечники, слитки расплавят в огромных тиглях на Монетном дворе в Тауэре. Жар очистит металл от неблагородных примесей, но он же сплавит всё воедино, уничтожит различия.

У Даниеля в кошельке хранился фунт с портретом Елизаветы. Такие монеты были сейчас реже алмазов, и он сберёг её на случай, если придётся выкупать свою жизнь. Некогда Золотые Комстоки — предки Роджера — ввезли металл из Испании, и Томас Грешем приказал начеканить из них монет такого-то и такого-то веса, а на часть своего приварка основал Грешем-колледж.

Монета переходила из рук в руки и из кошелька в кошелёк более сотни лет и, наверное, могла бы рассказать больше, чем целый корабль ирландских моряков. Однако то была лишь пылинка в груде английских денег. Собрать все пылинки и бросить их в тигель представлялось чем-то чудовищным — всё равно что сжечь библиотеку.

Однако можно вообразить иную картину: сияющие реки хлынут из тиглей, в которых всё порченое серебро очистится, расплавится и сольётся воедино, а все старые истории уйдут в дым, и ветер унесёт их прочь. В каждом кошельке заблестят новенькие монеты, миссис Блай вычеркнет из конторской книги все долги, блестящие гинеи хлынут в её сундук, а оттуда, переливаясь через край, ручьями потекут по улице к торговцам кофе и дальше по Темзе в мир.

— У нас нет выбора, — догадался Даниель.

— У нас нет выбора. Папа владеет всем золотом, всем серебром, всеми людьми и странами, над которыми светит солнце. Мы не выстоим долго против Испании, Франции, Священной Римской империи и католической церкви. Не выстоим, покуда власть подобна весам: на одной чаше наше богатство, на другой — богатство наших врагов. Что нам делать, Даниель? Вы знаете, я не верю в

алхимию. И всё же есть что-то в самой идее алхимии, в представлении, что золото можно создать неким искусным действием, неким усилием вот этого. — Он приложил палец ко лбу. — У нас нет рудников, нет Эльдорадо. Мы не можем ждать, что нам доставят серебро и золото из Америки. Однако если мы будем торговать и создадим Английский банк, золото и серебро появятся в наших сундуках как по волшебству — или как в реторте алхимика, если такое сравнение вам больше по вкусу.

Пауза, чтобы отхлебнуть кофе. Потом Даниель заметил:

— Вы хотите взять пример с Грешема. «Дурная монета вытесняет хорошую». Если новая монета будет хорошей, она вытеснит дурную не только с этого острова, но и отовсюду. Все будут стремиться заполучить английские гинеи, как сейчас стремятся заполучить пиастры. В итоге золото и серебро потечёт к нашим берегам на перечеканку, как вы и предсказываете.

Роджер терпеливо кивал, как будто бы альянс давно предусмотрел описанный ход событий. Даниель не мог проверить, так это или нет, но, странным образом успокоенный, продолжил:

— С риском показаться рьяным приверженцем

Королевского общества…

— Пустое! Половина альянса — члены Королевского общества. И все чему-либо привержены.

— Прекрасно. В таком случае скажу, что на Монетном дворе вам нужен натурфилософ, а не обычный временщик, пьяница и мздоимец.

Джентльмен, стоявший неподалёку от Роджера и беседовавший, либо делавший вид, что беседует с другим господином, вскинул голову. Даниель понял, что говорил слишком громко.

Джентльмен яростно смотрел на Даниеля из-под рыжего парика, новомодного, узкого, с длинными локонами на спине. Парик говорил, что его обладатель богат, влиятелен, но не любит французов. Это означало Высокую церковь, старые деньги, осторожную поддержку монархии — то, что теперь называлось «тори». Странно, что он проводит время здесь — у миссис Блай собирались виги. Посему-то Даниель и счёл маловероятным, что джентльмен вызовет его на дуэль.

Роджер приметил, как Даниель всё это примечает, и не обернулся, но мельком поднял взгляд на оконное стекло у Даниеля над головой и секунду-другую с интересом изучал отражение, что, впрочем, не мешало ему в то же время говорить:

— Да, любой посетитель этой кофейни, за одним или двумя исключениями, будет предпочтительнее нынешних хозяев Монетного двора, этих *хапуг*.

Даниель смотрел на Роджера, но видел, как джентльмен отвернулся, поставил чашку на буфет и, положив руку на эфес шпаги, принялся, по всей видимости, обозревать веселящихся вигов.

— И, следовательно, любой член Королевского общества справится отлично. Однако просто «отлично» для нас недостаточно хорошо. Обычно мне требуются часы, чтобы это объяснить. Вы, слава богу, поняли сразу. Судьба Британии и всего христианского мира зависит от способности новой английской монеты вытеснить дурную — смести всех противников и привлечь к нашим берегам золото и серебро со всех концов земли. Качество монеты лишь отчасти определяется чистотой металла, которую в силах обеспечить любой натурфилософ. Это ещё и вопрос доверия, *престижа*.

Даниель, поняв наконец, к чему клонит его собеседник, осел на стуле и закрыл лицо руками.

— Чтобы залучить его, вам нужен не я. Он давно меня не слушает. Вам нужен Фатио, Фатио, Фатио!

— Всем известна его *фатио*альная страсть. Однако страсти преходящи. Вы знаете его дольше, чем кто-либо, Даниель. Вы нужны Англии! Массачусетская синекура ждёт!

Даниель развёл пальцы и глядел в щёлочки между ними. Не в силах смотреть Роджеру в лицо, он изучал дальний конец помещения. Эндрю Эллис — субтильный молодой человек с завязанными в хвост белокурыми волосами, безобидный и приятный в общении депутат парламента — шёл к ним, держа в каждой руке по бокалу кларета и явно намереваясь разделить с Роджером приятство своего общения. Если у Даниеля оставался шанс выкрутиться, его надо было использовать сейчас. Для Роджера Комстока молчание означало не просто согласие, но священную клятву.

— Вы не знаете, что предлагаете, собираясь ввести его в Тауэр, доверить ему свои деньги. У него странные воззрения, тёмные тайны.

— Про непотребство я всё знаю.

— Нет, я не об этом.

— Алхимия — ещё более распространённый порок.

— И не об этом тоже. Роджер, он — еретик.

— Кто бы говорил!

— Я хочу сказать, он даже в Троицу не верит!

У Роджера глаза стали стеклянные, как всегда, когда при нём разговор пытались свернуть на абстрактно-богословские темы. В отличие от обычного человека, чьи глаза стекленеют постепенно, Роджер умел делать это враз, будто перед ним с большой высоты опустили оконную раму. Даниель сильнее развёл пальцы, чтобы не пропустить столь занимательный феномен, однако внимание его отвлекло нечто ещё более странное: дорогой рыжий парик, повисший в воздухе за Роджеровым стулом. Владелец выскользнул из-под него, словно атакующая кобра, а парик просто оставил позади. Разумеется, парик всё-таки упал на пол, но владелец, у которого оказались тоже рыжие, коротко подстриженные волосы, уже нашёптывал что-то Эндрю Эллису. Вероятно, что-то крайне шокирующее, судя по гримасе изумления — нет, ужаса — на обычно сияющем лице юноши.

Даниель привстал, чтобы лучше видеть, и узрел следующую картину: рыжий джентльмен отступал от Эллиса, но тот двигался вместе с ним, как приклеенный. Эллис тихонько вскрикнул.

Даниель не верил своим глазам.

— Роджер, я почти готов поклясться, что мисте-

ру Эллису откусывают ухо.

Роджер встал, обернулся и быстро убедился, что так оно есть. До сих пор затянувшееся откусывание уха оставалось почти незамеченным, потому что жертва от изумления утратила дар речи, а обидчик тоже не мог говорить членораздельно, только очень тихим скрипучим голосом бормотал: «Значит, вы хотели шепнуть что-то на ушко Роджеру Комстоку? Так пожалуйте мне ваше ушко».

Как ни странно, Роджер, встав, привлёк общее внимание к этой сцене. До собравшихся начало доходить, что происходит.

— Ради бога, сэр! — выкрикнул Эллис и начал оседать на обшитую деревянными панелями стену.

Рыжеволосый джентльмен, бульдожьей хваткой вцепившийся в его ухо, продолжал мерно двигать челюстями, перегрызая хрящ, поэтому вынужден был упереться руками в стену по обе стороны Эллисовой головы, чтобы не упасть вместе с ним. Несколько вигов вскочили с мест, чтобы вмешаться, но недавний собеседник рыжеволосого джентльмена развернулся к ним и до половины вытащил шпагу из ножен. Они отпрянули, как от хлопушки.

Роджер шагнул к кусающему и кусаемому и поднял руку, которая была ближе к стене, так что распахнувшаяся пелерина закрыла от Даниеля всю сцену — тот видел лишь, что Роджер вроде бы хлопнул кусателя по упёртой в стену руке.

— Мистер Уайт, — произнёс он снисходительным тоном, — когда закончите, не забудьте вытереть губы.

Затем Роджер обогнул обоих и вышел из кофейни. Эндрю Эллис с криком сполз на пол и схватился обеими руками за одну сторону головы. Мистер Уайт торжествующе тряхнул головой, словно деревенский мальчишка, поймавший зубами яблоко на верёвочке. В улыбке его застряло что-то вроде кураги. Он одной рукой вытащил добычу изо рта, чтобы полюбоваться. Эндрю Эллис упирался ему в колени, и мистер Уайт по-прежнему вынужден был одной рукой держаться за стену, чтобы не упасть. Тем не менее он спрятал ухо Эллиса в карман и кроваво ухмыльнулся Даниелю.

— Добро пожаловать в политику, мистер Уотерхауз, — объявил он. — Вот мир, который вы создали. Радуйтесь и веселитесь — ибо уйти вам не дадут

— Мне легче уйти, чем вам, мистер Уайт, —

сказал Даниель на пути к дверям, кивая на руку, которой мистер Уайт упирался в стену.

Мистер Уайт, по-видимому, только сейчас заметил, что ладонь его насквозь пробита кинжалом, который прошёл между пястными костями и глубоко вонзился в дерево. На рукояти кинжала, как на визитной карточке, серебряными буквами значилось «*Р. К.*».

Выбравшись на улицу, Даниель поймал себя на том, что засунул руку в карман, нашёл *многоценную жемчужину* и сжимает её так давно и так сильно, что пальцы успели занеметь. Камень имел форму дьяволовой головы с двумя рожками, которые когда-то вросли в его мочеточники. У Даниеля вошло в привычку сжимать его так, что рожки торчали между пальцами — в кулак камень вписывался почти так же хорошо, как в мочевой пузырь.

На следующий день, проезжая через Хертфордшир в карете, он снова обнаружил, что сжимает камень, проигрывая вчерашнюю сцену в театре своего воображения. Даниель размышлял о трусости. Он знал много трусов и видел трусость повсюду, но как наблюдениям мистера Флемстида над звёздами частенько мешали облака, так и Даниелевым наблюдениями над трусостью

— смягчающие обстоятельства, например, когда человек объяснял своё малодушие необходимостью содержать семью либо, в отсутствие оной, тем, что несправедливо в столь юные годы жертвовать жизнью или здоровьем. Однако у Даниеля не было ни жены, ни детей, а брат Стерлинг прекрасно справлялся с содержанием всего большого семейства. К тому же Даниель мало что достиг старости (сорок семь лет), но и должен был умереть раньше, а жил лишь благодаря безжалостному скальпелю мистера Гука. Посему на примере Даниеля Уотерхауза наблюдатель мог видеть трусость в чистой форме и, может быть, что-то узнать о её природе.

Записка от Роджера Комстока лежала рядом на скамье; она ждала в экипаже сегодня утром. «*Дорогой Даниель*», — гласила записка.

Простите, что так стремительно ушёл вчера из кофейни миссис Блай. Как Вы уже поняли, всё это было спектаклем, пустяком. Не дозволяйте кривляньям мистера Уайта влиять на Ваши суждения.

Вашего кучера зовут мистер Джон Хэммонд, и я поручил ему везти Вас куда скажете, до завершения дела; но я дал ему понять, что Ваши перемещения будут ограничены треугольником

Лондон — Кембридж — загородный дом мистера Апторпа. Если сочтёте нужным отравиться в Корнуолл или на север Шотландии, предупредите его об этом со всей мягкостью.

Ваш со всей твёрдостью

(подпись с росчерками два дюйма высотой)

Равенскар

P.S. Я, кажется, потерял кинжал — Вы его не видели?

Роджер начисто лишён всяких следов трусости. Он может испугаться, но струсить? Никогда. *Пустяк*. Роджер написал это слово вполне искренне.

Снаружи лил дождь, читать в полутёмной тряской карете было невозможно, разговаривать — не с кем, так что долгую дорогу в Кембридж оставалось коротать сном и размышлениями. Сравнивая свой страх перед мистером Уайтом (очень похожий на тот, что он испытывал перед Джеффрисом) и своё отношение к камню, лежащему теперь в кармане, Даниель составил новую гипотезу касательно трусости. Камень заставлял его горевать, бояться смерти, тревожиться, но страх перед ним не шёл ни в какое сравнение с тем, что внушал Даниелю Джеффрис, а сейчас Уайт. Однако эти люди всего лишь угрожали ему

на словах. Даже животный страх, сковавший Даниеля, когда Гук тянулся скальпелем к его промежности, не мог сравниться с ужасом перед мистером Уайтом, не дававшим ему заснуть всю прошлую ночь.

В голову приходило только одно различие: Гук любил Даниеля, Уайт — ненавидит. Может быть, его трусость заключена в том, что он не может выносить чужого презрения?

Странная форма трусости, однако гипотеза удовлетворительно объясняла всё, пережитое Даниелем до сего дня. То была его биография в одной фразе. Более того, возможно, дело в том, что некоторые люди, такие, как Джеффрис и Уайт, распознают этот конкретный тип страха, культивируют его и обращают против своих врагов. У мистера Джона Хэммонда, кучера, был длинный бич, который он частенько пускал в ход, но никогда на самом деле не стегал лошадей. Он щёлкал бичом в воздухе над упряжкой и подгонял лошадей их собственным страхом.

Когда Даниель отправил Джеффриса в Тауэр и на эшафот, он думал, что сразил дракона и покончил с этой частью своей жизни. И вот теперь откуда ни возьмись является мистер Уайт! Пугающий тип! Однако куда больше пугает вывод, а

именно, что в мире не один дракон — мир ими кишит, — и человек, боящийся драконов, обречён дрожать до конца дней.

Мысль была отнюдь не праздная, поскольку Даниель знал: отыскав завтра Исаака, он не сможет осуществить требуемое, если не победит свой страх.

В Кембридже случая превозмочь страх не представилось. Даниель прибыл в Тринити-колледж довольно рано, так что успел помыться и вздремнуть в комнате для гостей. Наконец пробил колокол. Даниель надел мантию, пошёл в трапезную и занял место за почётным столом. Довольно близко к главе стола. Апоплексия и оспа месяц за месяцем неуклонно расчищали ему место среди старейших членов колледжа. К нему обращались уважительно и даже приязненно. Теперь он понял, почему люди, страдающие его конкретной разновидностью малодушия, тяготеют к таким заведениям, несмотря на то, что колледж переживал трудные времена и кормили здесь не лучше, чем в богадельне.

Когда он спросил про Ньютона и Фатио, все повернулись к молодому человеку, сидевшему в конце стола — слишком далеко от Даниеля, чтобы разговаривать. К нему обращались «Доминик Мэ-

шем». Это многое подсказало Даниелю, знавшему, что Мэшемы — близкие друзья и покровители Джона Локка. Локк жил в их поместье в Оутсе с самого возвращения из Голландии во время Славной революции. Даниель предполагал, что Локк устроил там что-то вроде алхимической лаборатории, потому что Ньютон и Фатио часто надолго приезжали в Оутс, как и Роберт Бойль до своей кончины два года назад. У Мэшемов было много детей; Даниель решил, что Доминик — один из них и Ньютон ему покровительствует.

Ему объяснили, что Ньютон, Фатио и Локк до недавних пор жили в Ньютоновых (а прежде их общих с Уотерхаузом) комнатах, а вчера утром уехали, оставив Мэшема доделывать какие-то мелочи. Ньютон и Фатио вместе отправились в Оутс. Локк двинулся по Бартонской дороге, то есть на юго-восток, но куда именно, не сказал.

— Я проехал как раз мимо них, — заметил Даниель. (Поместье Мэшемов лежало неподалёку от дороги из Лондона в Кембридж, милях в двадцати к северу от столицы.) — Что они там затевают?

Все трое занимались ещё и теологическими изысканиями. Вопрос явно поверг присутствующих в смущение.

— Я хочу спросить, какого рода увлекательные

беседы я пропустил в своё долгое отсутствие за этим столом? Уж наверняка трое достойных мужей не сидели за трапезой в безмолвии?

Все погрузились в безмолвие на несколько минут, но тут, по счастью, обед закончился. Они встали, пропели латинскую молитву и начали расходиться. Даниель увидел Доминика Мэшема в главном дворе и нагнал его у ворот, когда тот открывал калитку в личный садик Ньютона. Вид у Мэшема был рассеянный и торопливый, что устраивало Даниеля как нельзя лучше. Он фонарём посветил юноше в лицо.

— Скоро возвращаетесь домой, мистер Мэшем?

— Завтра, доктор Уотерхауз, как только соберу некоторые…

Даниель выждал, пока пауза станет неловкой, потом сказал тихо:

— Вы оскорбляете меня своей напускной робостью. Я не барышня, чтобы со мной кокетничать.

На юношу эти слова подействовали, как щелчок бича на лошадей. Он застыл и начал выдумывать приличествующие извинения, но Даниель не дал ему опомниться.

— Вам поручили собрать необходимое для продолжения Великого делания, которым господа Ньютон, Локк и Фатио занимаются в Оутсе. Кни-

ги, химикалии или реторты, мне не важно. Для меня главное, что вы едете в Оутс утром и можете передать мистеру Ньютону пакет, прибывший ко мне в Лондон третьего дня. Это Ньютону от Лейбница.

При имени «Лейбниц» большие зелёные глаза Мэшема стали ещё больше.

— Здесь письмо и книга. Письмо существует в единственном экземпляре и более важно. Книга, как вы можете видеть, первое издание Лейбницевой «Протогеи». Советую почитать её в дороге — узнаете много такого, о чём никогда не думали.

— А письмо?

— Считайте его увертюрой, попыткой загладить то, что случилось здесь в тысяча шестьсот семьдесят седьмом.

– *Сэр!* Вы знаете, что случилось здесь в тысяча шестьсот семьдесят седьмом?! — Зависть в голосе Мэшема подразумевала, что сам он пребывает в неведении.

— Я при этом присутствовал.

— Хорошо, доктор Уотерхауз, я не спущу с письма глаз, пока не передам его мистеру Ньютону.

— От письма, которое вы держите в руках, зависит будущее натурфилософии, — сказал

Даниель. — Пожалуйста, сообщите этим трём джентльменам, что буду у них через два дня.

— Прошу прощения, сэр, но сейчас их там только двое. Мистер Локк уехал в… другое место.

— И вновь вы со мной лукавите. Я прекрасно знаю, что мистер Локк уехал в Апторп-хауз.

— Сэр!

Загородная резиденция сэра Ричарда Апторпа располагалась на полпути между Лондоном и Кембриджем, неподалёку от тракта, ведущего из столицы на северо-запад в Бирмингем. Ближайший городок звался Блетчли; здесь Даниелю пришлось остановиться и узнать дорогу, поскольку сэр Ричард явно не стремился сделать свой дом заметным. Унылая местность определённо располагала к тому, чтобы прятать секреты на виду. Так или иначе, Даниелю не пришлось сказать ни слова; не успел он открыть окошко, как трое младших конюхов вскочили и наперегонки бросились показывать дорогу к Апторп-хаузу. Тем временем конюх постарше завязал весёлый разговор с мистером Джоном Хэммондом. Он сообщил, что стойла Апторп-хауза давно переполнены, и сэр Ричард временно арендовал его конюшенный двор — сразу за углом — для лошадей приезжающих.

И впрямь, аллея, вьющаяся меж невысоких холмов к Апторп-хаузу, была сплошь укатана конским навозом, а когда Хэммонд остановил упряжку перед усадьбой — очередной барочной неоклассической постройкой, сплошь в мраморных языческих божествах, — Даниелю предстал лучший флот карет, какой он когда-либо видел иначе как у королевского подъезда. Гербы рассказали ему, кто в доме. Граф Мальборо, Стерлинг Уотерхауз, Роджер Комсток, Апторп, Пепис, Локк и Кристофер Рен были близкие знакомцы Даниеля. Дальше шли те, кого он про себя называл «такие, как Стерлинг», — сыновья и внуки великих торговцев-контрабандистов-бунтарей Кромвелевой эры, в том числе несколько очень богатых квакеров, владеющих обширными землями в Америке. Присутствовали люди с французскими и испанскими фамилиями: соответственно гугеноты и амстердамские евреи, осевшие в Англии за последнее десятилетие. Присутствовали несколько знатных особ, в частности, принц Датский, супруг принцессы Анны. Однако аристократы явно уступали в численности толстосумам. Среди них преобладали те, кого Даниель называл «такие, как Бойль», — сыновья лордов, которых не интересовало величие в древнем феодальном

смысле этого слова; следуя духу нового времени, они отирались в Королевском обществе либо отправлялись за моря на поиски богатства или открытий.

«Вот мир, который вы создали», — сказал Даниелю мистер Уайт, возлагая на него вину за Славную революцию. Однако Даниель думал иначе. Нынешний мир создал Дрейк — мир, в котором власть приобретается рачением, умом и предприимчивостью, а не даётся по праву рождения и уж тем более по Божественному праву. Таков мир вигов, и хотя Дрейк гневно осудил бы этих людей, он не мог бы не признать, что в какой-то мере вызвал их альянс к жизни.

Ни у кого из них не было времени по-настоящему разговаривать с Даниелем, поэтому каждый чувствовал себя застигнутым врасплох, однако они радовались встрече и уважали его мнение, что для человека, страдающего Даниелевой формой трусости, было как бальзам на душу.

— Милорд Мальборо, не позволите ли проводить вас по галерее…

— Рад видеть, что здоровье вам это позволяет.

— Спасибо, милорд. В ночь, когда бежал Яков Второй, вы говорили со мной на дамбе Тауэра и выразили тревогу касательно алхимиков.

— Можете не напоминать мне, мистер Уотерхауз, я не из тех, кто забывает.

— Скажите, что вы сейчас о них думаете?

— Признаюсь, если раньше они представлялись мне таинственными и пугающими, то ныне кажутся чудны́ми и нелепыми. Однако лорд Равенскар настойчиво уверяет, что Монетный двор следует поручить одному из членов эзотерического братства. Мне не хотелось бы доверять свои деньги новому банку и связывать свою судьбу с альянсом, если наши монеты будет перечеканивать учёный, чьи идеи темны, а мотивы ставят меня в тупик.

— Так оно и будет, милорд. Однако если удастся найти компромисс между целями упомянутого алхимика и вашими, чтобы вы сошлись в средствах, пусть даже и расходясь в целях — удовлетворит ли вас такое решение?

— Подобные компромиссы постоянны на войне и в политике. Какое-то время они служат. Однако в конечном счёте неизбежны раскол и катастрофа.

— Высказывание ваше подобно Янусу, и сейчас я предпочту видеть его смеющееся лицо.

— Милорд Равенскар, завтра утром я отбываю в Оутс, чтобы изложить ваши предложения мисте-

ру Ньютону, если вы не скажете мне сейчас, что изменили решение.

— С какой стати мне менять решение?

— Возможно, вы предпочтёте в качестве главы Монетного двора человека, который, в силу понятности своих мотивов, будет более управляемым.

— Право, я понятия не имею, о чём вы, Даниель.

— Право, вы лжёте, как сивый мерин. Временщика, хапугу понять легко. Он будет заведовать Монетным двором за жалованье, казённое жильё, власть и престиж. Однако усвойте накрепко, Роджер, Ньютону ничего этого не нужно. Да, постоянный доход ему не помешает. Однако, если я заинтересую его должностью, то не обещанием житейских благ. В нём живёт суровый дух линкольнширского пуританина, который я понимаю очень хорошо, и обычные побудительные причины для него — ничто. Если он согласится, то согласится во имя идеалов и целей, которых вам, возможно, никогда не постичь. И поскольку вы не будете понимать его целей, вы не сможете им управлять и даже влиять на его поступки.

— Прекрасно, Даниель, я всегда смогу написать вам в Бостон и спросить, что он такое задумал.

— Разрешите пособить, мистер Галлей? Давайте я возьму у вас часть томов.

— Даниель! Какая неожиданная и приятная встреча! Спасибо, я управлюсь сам, но вы поможете мне, если скажете, в какой из этих комнат обретается мистер Пепис.

— Идите за мной. Он встречается с какой-то кликой в противоположном крыле.

— Подождите, я только дам отдых рукам.

— Это книги для его библиотеки?

— Это *деньги*.

— На страницах я вижу числа. Ходили слухи, мистер Галлей, будто вы подрядили всех счётчиков острова для какой-то огромной работы. Теперь я вижу, что молва меня не обманула.

— Перед вами лишь малая часть сделанного, которую я собираюсь продемонстрировать по просьбе мистера Пеписа.

— Почему вы сказали «деньги»? По мне, это с тем же успехом могут быть синусы и косинусы.

— Это актуарные таблицы, своего рода выжимка из записей рождений и смертей по всем английским приходам. С их помощью казначейство сможет собрать капитал, продавая населению ренты; если продать их достаточно много, то по закону больших чисел неизбежно

останешься в прибыли!

— Как? Делая ставку на то, что клиенты *умрут?!*

— Ставка беспроигрышна, доктор Уотерхауз.

— Добрый путь, мистер Локк, я догоню вас завтра в Оутсе.

— Вы можете ожидать самой радушной встречи со стороны Мэшемов. Со стороны же Ньютона…

— Вы забыли, что я знаю его тридцать лет.

— Ах, разумеется.

— …

— Я могу лишь догадываться, что за интриги вы плетёте, мистер Уотерхауз. Однако признаю, что буду рад вашему приезду. Он снимет с моих плеч огромное бремя.

— Что за бремя давит на ваши плечи, мистер Локк?

— Ньютон болен.

— Сердечная рана?

— Это наименьший из его недугов.

— Я поспешу к нему с тем скромным лекарством, какое могу предложить.

— Мистер Уотерхауз, в моём расписании не предусмотрено ни малейшего перерыва. Кроме как на малую нужду. Соблаговолите присоеди-

ниться?

— Как едва ли нужно объяснять вам, мистер Пепис, ничто не доставляет мне большего блаженства, чем отправление этой естественной надобности, но отправлять её вместе с вами, сэр, будет не только удовольствием, но и честью.

— Тогда оставим тех, кому не понять её значимости, и помочимся в обществе друг друга.

— Если вы соизволите свернуть направо вот сюда, мистер Пепис, то увидите садовую стену, которую я как раз недавно изучал на предмет…

— Ни слова более, мистер Уотерхауз, это великолепная стена, архитектурно безупречная, уединённая, словно созданная для наших целей.

— …

— Ба, мистер Уотерхауз, вы что, покупаете штаны у турок?

— Мне скоро пятьдесят, сэр, что даёт право на некоторые чудачества. Процесс этот доставляет мне такое наслаждение, что я не терплю помех с одеждой — я ловко извлеку свой инструмент и закончу дело, покуда вы ещё будете возиться с пуговицами и пряжками.

— Ошибаетесь, сэр, я отстал от вас на считаные мгновения.

— …

— Не хочется спеть гимн, а?

— Я иногда пою.

— До меня дошёл слух, что вы завтра навещаете Ньютона. Интересно, готов ли у него ответ на мой вопрос касательно лотереи?

— Ещё один способ собрать деньги?

— Скорее способ обычным людям обогатиться за счёт (весьма ничтожных) расходов большого числа других обычных людей. Разумеется, казначейство получит какой-никакой приварок.

— Когда мы создавали Королевское общество, я помыслить не мог, что вы найдёте ему столь разнообразные практические приложения.

— В том-то и дело. Лотерея — игра случая, и потерпит крах, если просчитаться математически. Я пригласил Ньютона в качестве консультанта.

— Разумно обратиться к лучшему специалисту.

— Однако он, сдаётся, чересчур занят, а когда находит время ответить на мои письма, то не пишет о вероятности, но обличает меня в сношении с иезуитами или поджоге его лаборатории.

— Довольно. Все, говорившие со мной о Ньютоне в последние несколько дней, прибегали к эвфемизмам и экивокам, подразумевающим, что он повредился в уме.

— Я всегда считал Гука нашим записным сумасшедшим, но Ньютон в последнее время…

— Молчите, сэр. Я постараюсь докопаться до истины.

— Прекрасно. А теперь на колени, мистер Уотерхауз.

— Простите?!

— Не бойтесь, я сейчас к вам присоединюсь… колени мои с годами гнутся всё хуже… кхе… ох… уф. Ну вот. Теперь помолимся.

— Вы всегда молитесь после мочеиспускания?

— Только после особо знатного, в компании собрата по несчастью, как сейчас. Владыка Вселенной, Твои смиренные рабы Самюэль Пепис и Даниель Уотерхауз молят Тебя об упокоении души покойного епископа Честерского, Джона Уилкинса, который, не стремясь к дальнейшему очищению в Почке Мира, отошёл к Тебе двадцать лет назад. Благодарим Тебя, наделившего нас разумом, благодаря которому изобрели литотомию, что позволило нам, недостойным, задержаться в мире, мочась свободно по мере надобности. Пусть же струи нашей мочи, что, играя на солнце, устремляются на восток сверкающими параболами, будут зримым знаком Твоей милости, как камни в наших карманах вечно напоминают, что

мы бренны и мы грешники. Хотите что-нибудь добавить, мистер Уотерхауз?

— Только «аминь».

— Аминь! Прах меня побери, я опаздываю на свой следующий заговор! Бог в помощь, Даниель.

Ибо пламя страстей никогда не просветляет разума, а, наоборот, помрачает его.

Гоббс, «Левиафан»

Первым душевным движением Уотерхауза, как ни странно, было сочувствие к юному Доминику Мэшему. Даниеля бы тоже ошеломило то, что Джон Локк, Николя Фатио де Дюилье и Исаак Ньютон сделали в Оутсе, не видь он Эпсом в Чумной год. А так лаборатория, которую три одиноких еретика устроили в поместье Мэшемов, представлялась лишь бледным подобием того, что Уилкинс и Гук сотворили в гостях у Джона Комстока.

Впрочем, Даниель вынужден был признать, что всё здесь куда культурнее. Во флигелях имения миссис Мэшем не вспарывали животы собакам. Эпсом (в воспоминаниях) самозародился из почвы, политой кровью и удобренной порохом, — в нём преобладали стихии земли

и воды. Оутс, словно привезённая из Франции тепличная лилия, состоял из воздуха и огня. И всё здесь было направлено на поиск пятой стихии — квинтэссенции, звёздного вещества, Божьего присутствия в мире. Солнце сверкало на белых барочных зданиях, поздние осенние розы ещё цвели, сквозь открытые окна в гостиные и галереи лился свежий воздух, и Даниель, идя с Мэшемом по имению, без труда понимал, как молодой и несведущий в науках человек попался на удочку алхимии: поверил, что квинтэссенция пронизывает всё, но это место в особенности, и столь выдающимся мужам непременно удастся её вычленить.

Они наткнулись на Фатио в библиотеке. Вокруг громоздились Библии, написанные и напечатанные на всевозможных языках самыми разными алфавитами. «Протогея» как зачумлённая лежала на отдельном столе в углу. Фатио представил целый спектакль: старательно сделал вид, будто погружён в раздумья и не заметил вошедших. Даниелю следовало обнаружить своё присутствие, чтобы Фатио смог разыграть ещё одну сцену: великодушно уверить, что он не в претензии. У Даниеля не было сил на эту комедию, и он, молча поманив Мэшема рукой, вышел из

комнаты. Фатио окружал странный, тревожный ореол хрупкости, словно фарфоровую статуэтку, неосторожно забытую на краю.

Мэшем провёл Даниеля в кабинет, который, очевидно, занимал Локк. Четыре года назад тот напечатал «Опыт о человеческом разумении». Судя по груде писем на столе, буря гневных откликов ещё не утихла, и Локк сочинял что-то вроде апологии ко второму изданию: «…Поиски разумом истины представляют род соколиной или псовой охоты, в которой сама погоня за дичью составляет значительную часть наслаждения» [24].

Стеклянные двери вели из кабинета в розарий. Поднявшийся ветер распахнул одну из них, впустив холодный воздух и разметав бумаги. Сразу запахло осенней сыростью. Мэшем бросился ловить разлетевшиеся листы, что выглядело забавно, поскольку они изначально были в полнейшем беспорядке. Даниель, чтобы не мешать и чтобы спрятать улыбку, шагнул в открытую дверь. Ветер стих. Из сада долетал голос Локка, говоривший что-то пространное, умное, умиротворяющее. Его то и дело прерывали резкие возражения Исаака Ньютона.

---

[24] Примечания: 24

«Опыт о человеческом разумении», Письмо к читателям. *Пер. А. Н. Савина.*

Не успел Даниель выйти в сад, как налетел новый порыв. Ветер срывал побуревшие лепестки с тысяч отцветших роз, свисавших, словно побитые яблоки, с беседок и шпалер, бросал их на землю и кружил по саду.

Исаак Ньютон заметил Даниеля сразу. Учёный сидел, вытянув ноги, в садовом кресле, весь закутанный одеялами, и тем не менее постоянно дрожал, хотя день только начал холодать. Он выглядел как покойник: лицо осунулось сильнее обычного и было так бледно, словно всю кровь высосали из жил и заменили ртутью.

— Даниель, хорошо, что наш общий друг мистер Джон Локк предупредил меня о вашем приезде, не то я бы неверно истолковал ваше появление.

— Как так?

— Последнее время я пребываю в странном состоянии духа. Покуда я сижу в саду при свете дня, мир представляется вполне безобидным. Однако, едва наступает ночь, а она с каждым днём приходит всё раньше и раньше, тьма окутывает мой разум, и мне чудятся длинные тени за всем и вся, виденным в дневные часы. Тени эти сплетены интригами, заговорами и кликами.

— Все, кроме безумцев в Бедламе, интригуют. Каждый участвует в заговоре-другом. И что такое

Королевское общество, если не клика? Я не буду клясться в своей чистоте. Однако комплот, который я представляю, желает вам лишь добра.

— Об этом мне судить! Откуда вам знать, что для меня благо?

— Если бы вы видели себя моими глазами, то вмиг согласились бы, что я знаю это куда лучше вашего. Когда вы последний раз спали?

— Пять дней я сидел у огня, следя за работой.

— Великим деланием?

— Вы знаете меня почти столько же, сколько я сам, Даниель, так зачем спрашиваете? Вам известно, что я не отвечу прямо. И ответ вам ведом. Ваш вопрос суетен дважды.

— Пять ночей… Коли так, случай привёл меня сюда именно сегодня, ибо есть шанс, что недельное бдение, притупив ваши умственные способности, приблизило вас ко мне.

— Коим образом вы чаете со мной сблизиться?

Позади Мэшем что-то начал говорить и резко замолк. Даниель полуобернулся и увидел, что Фатио шёл за ним и сейчас стоит в кабинете Локка. Увидев, что его заметили, тот как-то бочком, словно напуганный пёс, вышел в сад и отвесил Даниелю лёгкий поклон.

— Коим образом? Не тем, что Фатио — это ре-

шилось между нами в Троицын день тысяча шестьсот шестьдесят второго, если я не сильно ошибаюсь.

Ньютон на мгновение прикрыл красные от бессонных ночей глаза, давая понять, что Даниель не ошибается. Тот продолжал:

— И не тем, коего желает Лейбниц.

Фатио скривился:

— Мы прочли письмо господина Лейбница; всё оно — не более чем грубые нападки на мою теорию тяготения.

— Если Лейбниц разбил вашу теорию тяготения, господин Фатио, значит, ему достало смелости и прямоты изложить на бумаге то, что Гюйгенс, Галлей, Гук и Рен говорили между собой с тех самых пор, как вы представили её Королевскому обществу. И я сейчас последую Лейбницу. Не корчите возмущённую мину, Фатио, ради всего святого. Я вижу в этом саду троих: Фатио атакован и готов обороняться со всем пылом; Ньютон держит себя двойственно, как будто втайне со мной согласен; Локк, вероятно, жалеет, что я явился нарушить ваше единомыслие. Однако я его нарушил и нарушу ещё сильнее. Ибо, оглядывая пройденный путь, я думаю, что добился бы большего, если бы меньше помыш-

лял о мнении окружающих. Натурфилософия не может развиваться, не сокрушая старые теории и не сметая с пути новые, неверные, что неизбежно ранит чувства их защитников. Я был плохим натурфилософом не по скудости ума, а из своего рода трусости. Сегодня я потщусь быть смелым, дабы стать лучшим натурфилософом, и, возможно, заслужу вашу ненависть. Тогда я отправлюсь в Бостон следующим же кораблём. Посему, Фатио, не отстаивайте свою теорию и не обрушивайтесь на теорию Лейбница, но, заклинаю, молчите и ненавидьте меня. Исаак, вот что я имел в виду, говоря, что хотел бы к вам приблизиться. Если к моему уходу вы меня возненавидите, я сочту, что преуспел.

— Суровый метод, — проговорил Ньютон, дрожа всё сильнее. — Однако не буду отрицать, что на моей памяти научные диспуты всегда сопровождались сильнейшей личной враждой. И я сегодня не настроен умягчать и взывать к миру. Продолжайте. В роли врага вы будете мне понятнее, нежели в роли друга.

— Увидев вас сегодня в вихре мёртвых лепестков, я вспомнил весну тысяча шестьсот шестьдесят шестого года, когда приехал в Вулсторп и застал вас в кружении яблоневого цвета.

Припоминаете тот день?

— Разумеется.

— Я приехал из Эпсома, где мы с Уилкинсом и Гуком проводили дни в таких же учёных беседах. Основную их тему можно было бы сформулировать так: «Что есть и что несть жизнь». Теперь я приезжаю сюда и застаю вас за рассуждениями, суть которых можно свести к следующему: «Что есть и что несть божество». Верно ли я говорю?

— Такого рода высказывания удобопревратны, — пробормотал Локк.

— Молчите, Джон, — приказал Ньютон. — Даниель всё понимает правильно.

— Спасибо, Исаак, — сказал Даниель. — Если слова ваши справедливы, то лишь потому, что я все эти годы следовал мучительным зигзагам вашего пути. Задача была нелёгкой. Ваши философические изыскания всегда переплетались с экзегезой, и я не мог взять в толк, почему в ваших комнатах звёздные атласы пребывают в свальном грехе с писаниями на древнееврейском, а оккультные трактаты о философской ртути — с чертежами новых телескопов и тому подобного. Однако я наконец понял, что чересчур усложнял. Для вас это было вовсе не смешение разнородного; для вас Апокалипсис, умствования Гермеса

Трисмегиста и «Математические начала» суть оттиски, вырванные из единой великой Книги.

— Коли вы видите всё с такой ясностью, Даниель, почему вы к нам не примкнёте? По мне, это как если бы друг Галилея заглянул в его телескоп, узрел движение лун Юпитера, но не поверил своим глазам, а остался в плену мёртвых папистских воззрений.

— Исаак, последние шестнадцать лет я только и делаю, что задаю себе этот вопрос.

— Вы о том, что случилось в тысяча шестьсот семьдесят седьмом году.

— Так что же случилось в тысяча шестьсот семьдесят седьмом году? — спросил Фатио. — Все хотят знать.

— Лейбниц вторично посетил Англию. Он инкогнито отправился в Кембридж, чтобы поговорить с Исааком. Пока они катались в лодке по Кему и беседовали, я нашёл в наших комнатах бумаги, доказывающие, что Исаак впал в арианскую ересь. Я сжёг эти бумаги, а с ними и многие алхимические записи и книги Исаака — для меня они были одно. В каковом преступлении я ныне добровольно винюсь и умоляю меня простить.

— Вы говорите так, будто мы видимся в последний раз! — вскричал Ньютон со слезами на

глазах. — Я видел ваши терзания, читал в вашем сердце и простил вас давным-давно.

— Знаю.

— То, что вы сожгли, было по большей части пустым вздором. Здесь вы ничего такого не найдёте. И всё же теперь я бесконечно ближе к Великому магистерию.

— Знаю, что вы разрушили алхимию до основания, выстроили заново и изложили в книге под названием «Практика», которая станет для алхимии тем же, что «Математические начала» — для физики. И, возможно, вместе с новой экзегезой Фатио, новой философией Локка и новым христианством арианского толка ваших рассеянных по всех Англии последователей она должна составить некую новую совокупность, своего рода научный апокалипсис, в котором вся вселенная и вся история предстанут чистыми, как дистиллированная вода.

— Вы насмехаетесь над нами, рисуя всё так просто.

— Ах, значит, всё не так просто? Всё не произойдёт враз, одним махом?

— Не нам загадывать, как это произойдёт.

— Однако вы не спите пять ночей, приглядывая за работой, которую не решились доверить

помощникам. Вы явно страдаете от ртутного отравления. Вы не признаёте, что это Великое делание, однако что ещё это может быть? Я не могу читать ваши мысли, Исаак, и не вправе требовать, чтобы вы раскрыли свои секреты, но я вижу, что вас постигла неудача. А если всё предполагалось объединить с теорией тяготения Фатио, то ошибочна и она.

— Прежде чем насмехаться над нашей работой, скажите, сэр, в чём победа Лейбница, — потребовал Фатио.

— Отличие Лейбница в том, что он не стремится к победе, а лишь к тому, чтобы избежать неудач. И я полагаю, что это более здравый подход к науке, нежели ваш, требующий всего или ничего. С годами я вижу, как новые люди приходят в Королевское общество, и думаю, что хотя натурфилософия началась с нашим поколением, она с ним не закончится. Не я один так рассуждаю. — Даниель поднёс к глазам лист, поднятый в кабинете Локка, и прочёл: — «Для моряка весьма полезно знать длину линя своего лота, хотя он не может измерить им всех глубин океана. Довольно с него и того знания, что линь достаточно длинен, чтобы достигнуть дна в таких местах, которые необходимы для определения направления и для

предохранения от пагубных мелей» [25].

— Какой болван написал эту чушь? — вопросил Фатио.

— Мистер Джон Локк. И чернила на бумаге ещё не высохли, — отвечал Даниель.

— Уверен, он не собирался прилагать эти слова к Исааку Ньютону, — отвечал Фатио, быстро оправляясь от смущения.

— Полагаю, вы подразумевали «к Ньютону и Фатио», — сказал Даниель.

Ньютон и Фатио переглянулись. Даниель наблюдал за ними. Фатио смотрел с вкрадчивой нежностью, и Даниелю подумалось, что тот привык видеть во взгляде Ньютона ответную ласку. Однако сейчас его ожидания обманулись. Ньютон смотрел на Фатио не с любовью, а с каким-то пристальным любопытством, словно увидел нечто, доселе ускользавшее от его внимания. Даниелю, при всей неприязни к Фатио, стало настолько не по себе, что отвага начала его покидать.

— Я хочу рассказать вам историю о Роберте Гуке, — объявил он.

Это имя было в числе немногих, которые могли оторвать Исаака от скрупулёзного изучения

---

[25] Примечания: 25

«Опыт о человеческом разумении», Введение. *Пер. А. Н. Савина.*

Николя Фатио де Дюилье. Он перевёл взгляд на Даниеля, и тот продолжил:

— До того, как приехать в Вулсторп, Исаак, я помогал ему ставить опыт. Мы расположили весы над колодцем и взвесили один и тот же предмет на поверхности, а затем тремястами футами ниже, чтобы проверить, будет ли разница. Как вы понимаете, Гук нащупывал закон обратных квадратов.

Исаак что-то быстро просчитал в уме и сказал:

— Наблюдаемой разницы не обнаружилось.

— Именно так. Гук был расстроен, но по пути домой придумал новый, более тонкий эксперимент, который так и не осуществил. Однако я о том, что мы тогда преуспели во многом, но потерпели крах в самом смелом из наших начинаний. Закончилась ли на этом натурфилософия? Отнюдь нет. Карьера Гука, Уилкинса или моя? Ни в коей мере. Напротив, это привело к их взлёту. Посему я не верю в апокалиптические предсказания касательно науки или общества. Хотя я тоже не сразу усвоил урок. Например, я ждал, что Славная революция всё преобразит, теперь же вижу, что кавалеров и круглоголовых сменили тори и виги, а война продолжается.

— И вы намерены провести некую параллель

между неудачами Гука и перспективами нашего совместного труда? — с натужной весёлостью проговорил Фатио. — Полагаю, вы приспешничаете Лейбницу. Вот по крайней мере достойный оппонент! Он придумал анализ бесконечно малых позже нас с Исааком, но он хотя бы знает, что это такое! А ваш Гук — не более чем грязный эмпирик!

— Я приспешничаю Исааку Ньютону, моему другу на протяжении тридцати лет. Я страшусь за него, ибо вижу, что идеи его касательно натурфилософии и себя самого ошибочны. Он настолько выше нас всех, что уверился, будто несёт на плечах некое судьбоносное бремя и должен во что бы то ни стало привести натурфилософию к некой конечной точке омега. Его поддерживают в этом заблуждении некие льстивые прихлебатели.

— Вы хотите его вернуть! Вы хотите, чтобы Исаак отказался от решения, принятого в Троицын день тысяча шестьсот шестьдесят второго!

— Нет. Я хочу, чтобы он повторил то же решение относительно вас, Фатио. Он отстранился от меня в шестьдесят втором. От Лейбница — в семьдесят седьмом. Теперь девяносто третий, и решается ваша участь.

— Я знаю всё, что произошло в шестьдесят вто-

ром и семьдесят седьмом. Исаак мне рассказал. Однако у нас всё иначе. Это настоящая, долгая, взаимная симпатия.

— Здесь вы правы, Николя, — сказал Исаак. — Однако вы не поняли. Даниель подводит разговор к совершенно иному.

— Что интересного может сказать мистер Уотерхауз? Он — писарь, секретарь.

— Довольно оскорблять Даниеля, — остановил его Исаак. — Он оказал нам любезность, подумав о нашем будущем, о котором мы сами не размышляли, будучи уверены в успехе. Однако Даниель прав. Мы потерпели неудачу. Наш линь недостаточно длинен, чтобы измерить глубины, на которые мы вышли. Надо остановиться и начать всё с начала. Нам потребуются время и деньги.

— Исаак, — сказал Даниель, — два или три года назад, прежде чем приступить к Великому деланию, которое только что завершилось, вы наводили справки у Пеписа, Роджера Комстока и других касательно места в Лондоне. С тех пор Тринити-колледж обеднел ещё больше и явно не способен давать надёжный доход. Я предлагаю вам Монетный двор.

Все в молитвенном молчании ждали, пока Исаак обдумает предложение.

— В обычных обстоятельствах должность эта не представляла бы интереса, — сказал он. — Однако Комсток в письмах туманно намекает на Великую перечеканку.

— Она станет вашим Великим деланием. И я не шучу. Ибо, возможно, это единственный способ извлечь философскую ртуть.

— Почему вы так говорите?

— Гук не нашёл закон обратных квадратов в колодце, потому что тот был недостаточно глубок для его целей и для его оборудования. Возможно, вы по той же причине не можете выделить философскую ртуть из золота.

— Вы предполагаете, что мои методы верны, но в моём образце её слишком мало. Я опровергну вашу гипотезу, напомнив, что следую методам древних, которые, я убеждён, достигли искомого.

— Числите ли вы среди них царя Соломона?

— Вы не хуже моего знаете, что он почитается отцом алхимии.

— Если у Соломона был Великий магистерий, он наверняка им воспользовался. Богатство Соломона вошло в пословицу. Возможно, он собрал великое множество золота со всего мира и извлёк из него философскую ртуть.

— Многие адепты полагают, что так оно и

было.

— Коли так, обычное золото, с которым вы работаете, обеднено квинтэссенцией, Соломоново же, напротив, обогащено.

— И это тоже общее место.

— Ходит слух, что золото царя Соломона нашёл вице-король Мексики, а король бродяг похитил, увёз в Индию и расточил, смешав с обычным, ходящим по свету в качестве денег.

— Так говорят.

— То, что король бродяг профукал, не собрать, не завоевав весь Восток и не изъяв силой его богатств — разве что вы неким магическим заклятием стянете всё золото земли в Лондон и пропустите через плавильные котлы Тауэра.

Фатио выступил вперёд, почти загородив Исаака от Даниеля.

— Теперь, перейдя к делу, вы предлагаете вещи в высшей степени разумные и привлекательные, — объявил он. — Будьте добры объяснить, к чему был весь предыдущий разговор.

— Я объясню, Николя, — вмешался Исаак. — Даниель сказал всё, что по справедливости можно было от него требовать. Он имеет в виду, хоть и не хочет говорить прямо, что ваша теория тяготения — чушь и ослабила мою позицию относительно

Лейбница. Возможно, он подразумевает и ваши претензии на соавторство в создании анализа бесконечно малых, каковые, вынужден вас огорчить, совершенно беспочвенны. А равно и то, что вы выдаёте себя за врача и утверждаете, будто вылечили тысячи людей своим новым патентованным средством, а также ваши произвольные толкования Библии и те странные пророчества, которые вы из них вывели.

— Но он ничего этого не знает!

— Зато знаю я, Фатио.

— О чём вы? Признаюсь, Библию легче толковать, чем вас, Исаак.

— Напротив. Я чувствую, что чересчур прозрачен для Даниеля и ещё бог весть для какого числа людей, видящих меня насквозь.

— Для очень небольшого числа — *пока,* — тихо проговорил Даниель.

— Суть такова: я позволил своим чувствам к вам затуманить мои суждения, — сказал Исаак. — Я оценивал ваши труды, Николя, гораздо выше, чем они того заслуживают, а в итоге зашёл в тупик, растратил годы и подорвал здоровье. Спасибо, Даниель, что сказали мне это напрямик. Мистер Локк, вы деликатно готовили моё нынешнее прозрение. Примите извинения, что дурно

о вас думал и считал, будто вы плетёте против меня козни. Николя, поезжайте со мной в Лондон, живите в моём доме и будьте моим помощником, когда я продолжу Великое делание.

— Я согласен быть только равноправным соратником.

— Но вы не можете им быть. Один Лейбниц…

— Так и любитесь с Лейбницем! — крикнул Фатио.

Мгновение он стоял, словно не веря, что впрямь это выговорил, и, по всей видимости, ожидая, что Ньютон возьмёт свои слова назад. Однако Ньютон уже миновал точку возврата. Фатио оставалось одно — убежать.

Когда он скрылся из виду, Даниель различил далёкий не то стон, не то плач и подумал, что Фатио рыдает от горя. Однако плач становился громче. Даниель на миг испугался, что Фатио возвращается с обнажённой шпагой в руке.

— Даниель! — резко позвал Локк.

Он стоял над Ньютоном, закрывая того от Даниеля. Локк в молодости был врачом и сейчас, по-видимому, вспомнил былые навыки. Одной рукой он сдёрнул груду одеял, укрывавших Ньютона, а другой потянулся к его шее, чтобы сосчитать пульс. Даниель бросился к ним, стра-

шась, что Исаака хватил удар. Однако Ньютон с криком «Убили, убили!» оттолкнул руку Локка от своей шеи.

Локк попятился. Даниель подбежал к Ньютону и увидел, что тот барахтается, как утопающий. Сила движений была настолько велика, что в какой-то миг приподняла его над креслом. Ньютон упал на каменные плиты, вскрикнул и остался лежать, дрожа, точно натянутый канат. Даниель опустился рядом на колени и тронул его худое плечо. То немногое, что было между костями и кожей, пульсировало от напряжения. Ньютон вздрогнул, как если бы Даниель коснулся его калёным железом, и, ничего не видя, откатился к ножке кресла, которая пришлась ему как раз на уровне живота. В мгновение ока он свернулся, словно зародыш, и всем телом обвил ножку кресла, как годовалый младенец, обнимающий мать за ногу, чтобы та не ушла. «Убили, убили», — повторял он уже тише, будто во сне. Впрочем, слов было уже не разобрать; возможно, он и впрямь звал матушку.

Локк, не отнимая ладоней от лица, проговорил:

— Величайший ум человечества… помрачился. О Господи.

Даниель сел по-турецки рядом с Исааком.

— Мистер Локк, если вы любезно попросите слугу принести мне чашечку кофе, я займусь тем, чем не занимался уже тридцать лет: буду сидеть ночь напролёт, тревожась из-за Исаака Ньютона.

— То, что вы сказали, было необходимо, и я никоим образом вас не виню, — произнёс Локк. — Однако я сильно опасаюсь, что он никогда не будет прежним.

— Вы правы. Он будет всего лишь величайшим натурфилософом в истории. И это лучше, чем лжемессия. Ему потребуются годы, чтобы приспособиться к своему новому месту в мире. К тому времени, как он вновь станет собой, я буду вне его досягаемости в Бостоне, Массачусетс.

Бонавантюр Россиньоль – Элизе
Март 1694

Сударыня!

Пишу в надежде, что письмо застанет Вас в Гамбурге, но опасаюсь, что Вы ускользнёте оттуда раньше. Я смертный, земной человек, а силюсь отправить послание богине, мчащей в крылатой колеснице.

Последнее время я задаюсь вопросом: известно ли Вам бедственное состояние нашей коммерции? Вы можете усмехнуться, ибо ничем, кроме коммерции, не занимаетесь. Однако на взгляд нас, земнородных, Вы парите в ореоле процветания, как святой в нимбе. И круг Ваших знакомств лишь усиливает эту иллюзию. Кроме Вас во Франции от голода и нищеты не страдают лишь Ваши друзья Жан Бар и Самюэль Бернар. Бернар потому, что захватил Сен-Мало, разогнал остатки «Компани дез Инд» и снарядил собственную торговую эскадру. Бар — потому что военный флот за отсутствием средств продан в частные руки. Что лучше говорит о положении нашей коммерции, нежели это: французам выгоднее всего

вкладывать деньги в пиратский флот, грабящий торговые суда *других* государств!

Я нимало не сомневаюсь, что капитан Бар безопасно и даже со всеми удобствами доставил Вас в Гамбург, ибо кто в христианском мире может угрожать армаде, столь обильно снабжаемой балтийским лесом и находящейся под командованием столь блистательного флотоводца? (Впрочем, я надеюсь, он поспешит назад, ибо британский флот бомбардирует Дьепп.) Однако я беспокоюсь, что письмо застрянет между Парижем и Гамбургом. Ибо повсюду разорение. Весенний ветер напоён не ароматами полевых цветов и вскопанной пашни, но трупным смрадом — то разлагаются тела погибших в стужу животных. Рис — рис! — везут в Марсель из Александрии, но никто не может его купить, ибо все источники нашей монеты иссякли. Военные слоняются по Версалю, горюя, что не догадались пойти на флот — за неимением звонкой монеты или хотя бы кредита, они в этом году не смогут вести кампанию, а вынуждены будут отсиживаться в крепостях, вымирая от болезней и отбиваясь от англичан, при условии, что Англии удастся наскрести хоть два пенса на войну.

Так или иначе, сударыня, известите меня,

дошло ли письмо и каков Ваш дальнейший маршрут. Я знаю, что Вас интересует переписка Врежа Исфахняна с родными. Мне придётся долго шифровать этот отчёт. Если верить собранию карт моего покойного батюшки, Вас отделяет от цели три сотни миль извилистой Эльбы, так что времени на расшифровку будет вдоволь. Постараюсь устроить так, чтобы письмо нагнало Вас в Хицакере, Шнакенбурге, Фишбеке или другой деревушке с не менее сладкозвучным названием, коим, согласно батюшкиным картам, предстоит вскорости лицезреть несравненную красу герцогини д'Аркашон и её новорождённой дочери Аделаиды.

Бон. Росс.

Элиза – Россиньолю
Март 1694

Бонбон!

Письмо застало меня в Гамбурге, где мы договариваемся с владельцами речных судов и закупаем провизию в дорогу. Что за хандра двигала Вашим пером, когда оно выводило это нелепое послание! Несколько замечаний:

— Аделаида не новорождённая, ей четырнадцать месяцев, и она бегает по палубе в сопровождении эскадрона согнутых в три погибели нянек, страшащихся, что она выпадет за борт.

— Хицакер, по слухам, очаровательная деревенька; жаль, что Вам не угодило её название.

— Тяжёлое состояние торговли мне, разумеется, известно; кто, по-вашему, договорился о поставках риса из Египта? Вас и впрямь огорчает, что в этом году не будет великих битв? И Вы позабыли, что прошлой зимой захворал и умер мой сын Люсьен? Где был золотой ореол благополучия, когда ангел Смерти явился забрать моё дитя? Воистину Вы забываетесь.

Однако я Вас прощаю. Мрачный тон Вашего

послания сообщил мне много полезного о настроениях версальской и парижской знати. Если Вас это утешит, знайте, что беды, на которые Вы сетуете, суть предсмертные муки ветхой системы — когда сердце уже остановилось, а руки и ноги ещё дёргаются. Англичане, будучи нацией малочисленной и пребывающей в состоянии разброда, поняли это раньше французов. А может быть, я их переоцениваю, и они не поняли, а почувствовали. Прилив ртути, сопровождавший Великий Пожар и Чуму, вызвал к жизни поколение людей, необыкновенно острых умом. Иные — такие, как Ньютон — даже чересчур восприимчивы для нашего грубого мира. Люди эти одно время были у власти, но не знали, как ею распорядиться, и потеряли её. Они создали альянс, который победил на последних выборах, и сформировали правительство. То, что альянс делает в нынешнем году — Английский банк, Великая перечеканка и др., — начало того нового, что сменит умершее или умирающее. В составе Франции меньше ртути и больше свинца; не имея своего альянса, она отстаёт, но процессы в ней идут те же.

Взгляните на Лион. Когда в апреле 1692 года Лотар фон Хакльгебер отправился туда и принял

от мсье Кастана французских государственных обязательств на полмиллиона турских ливров в обмен на поставку серебра в Лондон, никто не ждал ничего дурного. Сделка была, разумеется, крупная, но вполне обыденная. Если бы Вы подошли к нему или к другому немецкому либо швейцарскому банкиру в Лионе и сказали: «Это последний такого рода заём, сделанный в Лионе, и его никогда не оплатят», Вас бы сочли безумцем.

Однако весь 1692 год Кастан тянул время, обещал заплатить проценты, искал альтернативы. Неурожай снял всякий вопрос об оплате, а вереницы галерников — по большей части обычных парижан, пойманных на разграблении пекарен, — тянущиеся через Лион по дороге в Марсель, составляли фон, на котором «страдания» Лотара выглядели поистине ничтожными. Грандиозная кампания прошлого года съела все деньги казначейства. Победы, одержанные Францией в Гейдельберге, на море, в Ландене и в Пьемонте, хоть и обошлись дорого, внушали Лотару надежду снова увидеть свои деньги. Коли так, надежда эта умерла прошлой зимой вместе со многим другим. Лионские банкиры теперь смотрят на заём Лотара как на переломный мо-

мент, с которого всё пошло прахом, конец эпохи. Мои тамошние корреспонденты пишут, что дома в городе сейчас продаются за бесценок: немецкие и швейцарские банкиры пакуют сундуки и уезжают. Когда-нибудь у Франции будет свой аналог Английского банка, и, вероятно, не в Лионе, а в Париже, но случится это не скоро, а до тех пор её финансы останутся в полнейшем беспорядке.

По всем перечисленным причинам я и решила отправиться сейчас в Лейпциг. Однако, чтобы наилучшим образом расставить фигуры на доске в предстоящей партии с Лотаром, я должна знать последние новости об Исфахнянах и происках отца Эдуарда де Жекса. Ибо, полагаю, и дня не проходит, чтобы он не подступал к Вам с расспросами о новостях касательно Врежа и его странствий по Индии.

Мы до сих пор выбираем судно. В каждой стране они многообразны, как породы собак. В Богемии, в лесах у истоков Влтавы, строят дубовые баржи и сплавляют их для окончательной доделки в Прагу. Дальше они везут силезский уголь в Магдебург и Гамбург, где местные жители покупают их и приспосабливают к своим нуждам. Даже если в Богемии, где Эльба начинается с капелек дождя, стекающих по сосновым иголкам, баржи

были одинаковыми, здесь, в Гамбурге, где Эльба разливается на милю, они так же неповторимы, как их хозяева. Самая мысль, что надо везти герцогиню, её дочь и прислугу три сотни миль по Эльбе, для шкиперов весьма необычна; они редко отправляются вверх по реке дальше, чем на два дня пути. Однако те, что попредприимчивей, готовы согласиться; полагаю, довольно скоро мы с кем-нибудь из них сговоримся и отправимся дальше. Из-за паводка воды под днищем нашей *цилле* (как зовутся здесь баржи) будет предостаточно, и мы сможем не тревожиться о мелях; по той же причине течение очень быстрое, и под парусом можно идти только в сильный ветер. Нам предстоит двигаться со скоростью волов, которые будут тянуть наше судёнышко. Примите за среднее десять миль в день и, обратясь к картам Вашего батюшки, при помощи своих математических способностей отгадайте, куда отправлять следующее письмо. Думаю, в Магдебург; если будете писать очень медленно, то в Виттенберг.

Элиза

Элиза – Поншартрену
Март 1694

Мсье!

Человек Вашей образованности, не только дворянин, но и учёный, должен знать, что должности генерального контролёра финансов сопутствуют некоторые привилегии. Если Вы не спешили ими воспользоваться, то не по неведению, но потому, что помышляли лишь о службе Его Христианнейшему Величеству. Я давно это заметила, но не считала нужным упоминать в разговоре, видя, что Вы, очевидно, нимало не печалитесь об упущенном. Однако последние письма от моих знакомцев во Франции исполнены мрачного уныния, и я задумалась, не лежите ли Вы без сна по ночам, сожалея, что не позаботились о своих интересах в те годы, когда благосостоянию Франции завидовал весь мир, а её обязательства ценились наравне с золотом.

Недосмотром с моей стороны было не сообщать Вам о некой возможности. Как Вам известно, Франция с древних времён занимала деньги у различных кредиторов. В обязанности генерального

контролёра финансов, помимо прочего, входило следить, чтобы обязательства эти погашались из источников государственного дохода. Например, если Франция была должна столько-то ливров синьору Флорентино, генеральный контролёр мог сказать какому-нибудь французскому графу: «В этом году, собрав налоги с ваших земель, направьте их, пожалуйста, синьору Флорентино, ибо мы его должники». В итоге не все обязательства французского правительства оказывались равноценными: если граф в приведённом примере был честен, а земли его богаты, синьор Флорентино получал долг быстро и сполна, другой же кредитор, получавший выплаты из другого источника, оставался на мели. Эта-то неравноценность и делала должность генерального контролёра финансов столь интересной. А также прибыльной: ни обычай, ни закон не препятствует ему приобретать безнадёжные долги и назначать им новый источник погашения, повышая таким образом их стоимость. Это привилегия должности, и никто не удивится, если Вы ею воспользуетесь.

Так случилось, что в последние годы я покупала неоплаченные долговые обязательства у различных французских дворян, оказавших финансовые услуги королю при начале нынешней

войны. Сейчас у меня скопилось несколько сотен таких бумаг на общую сумму более полумиллиона ливров. Я приобрела их менее чем за четверть стоимости. Сейчас я готова уступить их Вам, мсье, за столько, за сколько приобрела, плюс мизерные пять процентов. Если, как я подозреваю, у Вас нет наличных средств для такой сделки, я удовольствуюсь Вашим словом дворянина и не буду думать об оплате, пока вы не найдёте время назначить указанным обязательствам надёжные источники погашения. Осуществив это, Вы сможете получить по каждому из них сполна, то есть, теоретически, вчетверо против того, что будете должны мне.

Я не жду и не желаю Вашей благодарности; единственная моя цель, как всегда, быть Вам полезной.

Элиза, герцогиня д'Аркашон

Россиньоль – Элизе
Апрель 1694

Сударыня!

Надеюсь, письмо застанет Вас на чистенькой *цилле* в среднем течении Эльбы. Прошу извинить за несдержанность моего прошлого послания. Повсюду и с крайней внезапностью происходят события столь необычные и тревожные, что я не знаю, как их понимать. Половина Лондона — лучшая половина — по слухам, опустела. Из-за отсутствия в стране серебра знать лишилась способов переводить доходы от земель в столицу, посему вынуждена заколачивать городские дома и переезжать в имения, где можно жить натуральным обменом. Представляется, что виги пришли к власти и назначили маркиза Равенскара канцлером казначейства в самое неудачное время; впрочем, возможно, он, как и Вы, различает некие возможности в том, что остальным представляется смешением, и рассчитал, когда нанести удар.

Теперь к делу. Вы спрашивали про Исфахнянов. Изложу Вам, что знаю.

Вы вспомните, что после того, как отрубленную голову Вашего свёкра извлекли из сундука на приёме в честь дня его рождения вечером 14 октября 1690 года, мы много лет не получали из указанного источника сколько-нибудь полезных сведений. Вреж Исфахнян отправил письмо из Египта незадолго до гибели герцога д'Аркашона, а несколько месяцев спустя прислал из Мокки короткую весточку, в которой просил родных не отвечать, поскольку не знал, куда дальше забросит его судьба.

Я тем временем не бездействовал. Мне было ясно, что Исфахняны пользуются в переписке неким стеганографическим методом, но я не мог докопаться, каким именно. Семейство было о ту пору разбросано по нескольким ночлежкам, чердакам и тюрьмам Парижа. Я нанял воров перебрать их вещи и заполучил ряд писем, отправленных Врежем из Испании и Берберии с 1685 года. На полях и между строк я увидел текст, написанный красными буквами. Мне стало ясно, что это какие-то симпатические чернила, которые Исфахняны проявили ведомым им способом, а, прочтя письма, я узнал историю Врежа.

В начале 1685 года семья отправила его в Испанию налаживать торговые связи. Однако он

попал в плен к берберийским пиратам. Хозяин вскоре понял, что Вреж умеет не только грести, и приставил его к работе в некоем городе неподалёку от Мокки, откуда тот мог переписываться с родными. От них он узнал о бедствиях парижских Исфахнянов, имевших неосторожность приютить у себя на чердаке Джека Шафто. К тому времени их выпустили из Бастилии, но один из братьев умер в заточении, а семейное торговое дело, разумеется, погибло, так что в последующие годы многие не раз оказывались в долговой тюрьме.

В 1688 году Врежа продали в Алжир. Там он сошёлся с другим грамотным невольником, весьма мозговитым евреем, от которого и узнал, что Джек Шафто жив и находится в городе среди других галерников. Зимой 1688–1689 гг. Вреж писал об этом в Париж, предлагая разыскать Джека и перерезать ему глотку либо организовать его убийство чужими руками в качестве мести за постигшие семью беды. Разумеется, у меня нет писем, написанных ему, но из ответов Врежа несложно заключить, что старшие оказались рассудительнее. Они считали Джека Шафто безумцем, одержимым (что Вреж пытался оспаривать, полагая того хитрым обманщиком) и не

видели для семьи никаких выгод, материальных или духовных, в его убийстве. Врежу советовали оставить мысли о мщении и постараться извлечь пользу из знакомства с евреем.

Как Вы догадываетесь, сударыня, еврей, армянин и Джек, а также несколько других невольников составили шайку пиратов, причинившую с тех пор столько неприятностей.

Всё вышесказанное стало известно мне и отцу Эдуарду де Жексу к концу лета Господня 1690-го. Как Вы знаете, де Жекс питает к этому делу самый пристальный интерес. Он перерыл алхимические трактаты в поисках сведений о симпатических чернилах: как их готовят и какими парами либо раствором обрабатывают, чтобы текст сделался видимым. При посредстве своей кузины, герцогини д'Уайонна, он обеспечил Исфахнянам успех среди версальских обожателей кофе и выстроил им кофейню на рю л'Оранжери, где мы с Вами провели столько приятных часов. В итоге де Жекс достиг желаемого: собрал всех Исфахнянов в одном доме, где за ними легко было следить. Когда им приходило письмо, например, из Мокки, мы с де Жексом узнавали об этом первыми; когда кто-нибудь из Исфахнянов шёл к аптекарю за покупками, аптекарь оказывался членом

эзотерического братства, знакомцем де Жекса. К середине 1692 года мы узнали про красные чернила всё: как их составляют и как делают видимыми. Узнали мы всё и о скитаниях Врежа по Красному морю и Персидскому заливу. Единственный, кто оставался в полном неведении, так это сам Вреж; маршрут его был столь непредсказуем, что близкие не смогли отправить ему ни одной весточки с 1689 года, когда семья ещё бедствовала в Париже.

Наконец в сентябре 1692 года пираты, спасаясь от преследователей, высланных им вдогонку Лотаром фон Хакльгебером и другими пострадавшими сторонами, достигли Сурата в Индии. Здесь их судно захватили малабарские морские разбойники. Несколько членов шайки, включая самого Врежа, добрались до берега и там рассеялись. Врежа насильно завербовали в войско местного князя, находящегося в вассальном подчинении у Великого Могола и прозванного Губителем Недругов. Можно подумать, что участь его была не лучше рабской, однако по всему выходит, что христиане занимают в могольском войске особое положение, даже когда воюют не по своей воле. И впрямь впервые с начала своих скитаний он смог сообщить обратный адрес. Его письмо достигло

Франции в ноябре 1692 года. Мы с де Жексом подержали бумагу над химическими парами, и на ней проступили алые буквы. Таким образом мы узнали то, что я Вам сейчас изложил. Затем я поручил мои писцам изготовить точную копию послания, включая написанное симпатическими чернилами. Её-то и доставили в кофейню Исфахнянов. Те немедля написали ответ. На первый взгляд оно, как и следовало ожидать, состояло из приторных рассусоливаний, но когда мы с де Жексом подержали его над паром, то обнаружили куда более деловой текст. Аккуратные красные буквы извещали Врежа, что дела его близких выправились.

Я полагал, что вновь прикажу писцам изготовить точную копию послания, но де Жекс затеял более тонкую игру. Тяжёлым ударом для него было после стольких лет терпеливого ожидания узнать, что Соломоново золото досталось малабарским пиратам. Он решил взять быка за рога, то есть самолично отправиться в Индию. Для этого он хочет сделать Врежа своим информантом и, если удастся, сообщником. Однако для остальных членов шайки это должно оставаться тайной. Переписка невидимыми чернилами как нельзя лучше отвечала его целям. Соответ-

ственно, письмо, изготовленное моими писцами, разительно отличалось от оригинала. Оно было написано на худшей бумаге, какую мы сумели отыскать, чернилами самого отвратительного качества. Открытый текст по большей части остался прежним. Однако невидимое послание стало совершенно иным. В нём Врежу сообщали, что бедственное положение его близких ещё ухудшилось, другие два брата сгинули в долговой тюрьме и так далее. Тем временем слава Джека Шафто (согласно посланию, которое сочинил де Жекс) всё множится: о нём рассказывают как о великом мошеннике, водящем за нос всех, включая своих соратников, ибо в похищенных сокровищах сокрыто нечто невероятно ценное, о чём знали только Джек и еврей и что они скрыли от товарищей.

В конце поддельное письмо убеждало Врежа не беспокоиться о близких в Париже, поскольку, благодарение Богу, они нашли защитника и благодетеля в лице некоего отца Эдуарда де Жекса, человека ангельской души, который, прознав о причинённых им неправедных обидах, поклялся восстановить справедливость.

Подделку отправили Врежу в декабре 1692 года. В апреле 1693-го — год назад — пришёл ответ.

Алые буквы казались написанными смесью огня и крови, так горели в них ярость и жажда мщения. «Господь предал его в мои руки», — сказал де Жекс, прочитав послание. Думаю, он имел в виду не столько Врежа, сколько Джека Шафто. Так или иначе, мы изготовили поддельную версию совершенно иного содержания. В ней Вреж поздравлял семью с обретённым благополучием, выражал желание больше узнать о кофейне Исфахнянов и всё такое прочее.

С тех пор Вреж и братья обменялись ещё несколькими письмами. Разумеется, каждое слово прошло через руки и мысли отца де Жекса, исказившего их настолько, что у Врежа и братьев сложились совершенно разные картины происходящего.

Если бы Вы взяли на себя труд поинтересоваться раньше, Вы бы узнали всё это ещё до отъезда в Германию. С тех пор от Врежа пришло только одно письмо. Оно было написано во дворце Великого Могола в Шахджаханабаде, где (насколько можно догадываться) Вреж возлежал на шёлковых подушках, вкушая виноград из рук убранных самоцветами дев. Вместе с оставшимися членами шайки он разбил в бою мятежных маратхов, открыв таким образом торговый путь из Сурата в

Дели. Вреж описал эту историю довольно подробно. Весть о ней различными путями уже достигла европейских дворов, посему не буду её излагать в надежде, что Вы слышали или читали подробные отчёты. Более же всего Вреж упирал на то, что не радуется щедротам, которыми осыпал его Великий Могол, поскольку думает лишь о бедствиях родных в Париже, и немедля отправился бы к ним, если бы заботу о них не взял на себя добрейший благодетель отец Эдуард де Жекс. Вместо этого Вреж предложил остаться в Индии, чтобы доискаться истины в истории, о которой я писал раньше, а именно, что в сокровищах Бонанцы сокрыто нечто невероятно ценное. Казалось бы, оно утрачено безвозвратно; однако Вреж сообщил, что некоторые члены шайки попали в плен к малабарским пиратам. Остаётся некоторая надежда, что их не убили сразу, не замучили до смерти и не свели пытками с ума, то есть они по-прежнему живы и что-нибудь знают о месте нахождения сокровищ.

За оказанные услуги Великий Могол назначил Джека Шафто царьком одной из провинций в Северной Индии сроком на три года. Как ни странно это звучит, таков его обычай вознаграждать военачальников. Вскорости Джек и оставши-

еся с ним члены шайки отбывают в его новые владения. Вреж отправится с ним и обещался писать, как только будут новости и возможность их отправить.

Пока всё. Отец Эдуард, надеявшийся на более определённые сведения, вне себя и делит время между следующими тремя занятиями: во-первых, изрыгает проклятия, неуместные в устах священнослужителя. Во-вторых, клокочет и силится удержать себя от новых проклятий. В-третьих, несёт епитимьи в различных церквях за то, что изрекал проклятия. Занятия эти малопродуктивны, но во Франции, охваченной голодом и безденежьем, редко кому удаётся сделать что-либо дельное, так что он далеко не одинок.

Бонавантюр Россиньоль

Прецш, Саксония
Апрель 1694

С их последней встречи летом 1689 года принцесса Вильгельмина Каролина Бранденбург-Ансбахская писала Элизе почти каждую неделю. Тогда ей было шесть лет, теперь — почти одиннадцать. Почерк и содержание писем изменились соответственно. Тем не менее Элиза, стоя на палубе *цилле* — узкой стофутовой баржи, которую она наняла в Гамбурге, — и оглядывая зелёные берега Эльбы, выискивала глазами молодую мать и маленькую девочку, с которыми рассталась в Гааге пять лет назад. Для детей неспособность взрослых понять, что люди растут, граничит со слабоумием. Удивительно глупыми выглядят дедушка или тётя, при каждой встрече восклицающие: «Как ты выросла!» Элиза знала это не хуже любого другого, кто когда-либо был ребёнком. И всё же две женщины на пристани застали её врасплох. Они махали руками, а она обращала на них не больше внимания, чем на коров, пасущихся на холмистых лугах вдоль реки.

Оправдывали Элизу — если здесь нужны оправ-

дания — усталость от долгой дороги и тяжесть в голове, которую она чувствовала с утра. Даже не будь всего этого, она могла бы не взглянуть второй раз на такой жалкий причал. Они плыли по Эльбе уже месяц, и Элиза видела пристани, пирсы, мосты и броды без счёта. Некоторые из них представляли собой оживлённые пакгаузы — маленькие Амстердамы. Другие, в баронских поместьях, щетинились камнем и чугуном на страх и на зависть прочим баронам. Однако пристань у Прецша была замечательна лишь тем, что две женщины отважились на неё встать. Сто лет назад она бы выдержала телегу с упряжкой, двести лет назад — дом. Сейчас её покосившиеся чёрные сваи почти ушли в тину, половина досок сгнила, вторая половина заросла травой и кустами. Машущие женщины проявили незаурядное мужество, вступив на столь шаткий настил. Та, что потоньше, отчаянно испытывала судьбу, подпрыгивая на месте. По крайней мере им хватило благоразумия оставить фургон на твёрдой земле — он стоял на грунтовой дороге, вьющейся с холма от рощи, за которой, возможно, прятался дом. По обеим сторонам фургона торчали два каменных столба, словно два пальца, пробующих ветер. Рядом валялась груда кирпича, камней и

останки арки, рухнувшей при неведомых обстоятельствах. Летом всё это скрывала бы зелень кустов и сорных деревьев, пустивших корни в развалины, но нынешняя зима в Германии выдалась даже длиннее и суровее, чем во Франции, и растения всё никак не могли решить, выпускать им листья из последних сил или просто зачахнуть и высохнуть.

В целом запустение было не больше и не меньше того, что скользило перед равнодушным взглядом Элизы последний месяц. Тем не менее она, безусловно, не стала бы высматривать здесь принцессу и курфюрстину.

Элеонора Эрдмута Луиза, принцесса по рождению, дочь герцога Саксен-Эйзенахского, вышла замуж за маркграфа Ансбахского, Иоганна-Фридриха. После его смерти Элеонору и маленькую Каролину выставили из дома и обрекли на скитания по дворам различных европейских князьков. Центром притяжения, вокруг которого они кружили и к которому часто возвращались, был двор курфюрста и курфюрстины Бранденбург-Прусских в Берлине. И было ради чего, ибо София-Шарлотта покровительствовала учёным (в том числе Лейбницу), литераторам, художникам и музыкантам, а их с супругом дворец являл

собой средоточие всего прекрасного и удивительного. София-Шарлотта и её доблестная матушка София Ганноверская пригрели у себя Элеонору с Каролиной и проявили к ним всяческое участие.

Однако особы королевской крови — семья, а в семье всякая женщина, дожившая до сознательных лет, обязана понимать, что, выйдя из материнской утробы, она заключила пакт, который нельзя нарушить или даже поставить под сомнение: её окружат заботой и преданностью, за которые придётся неукоснительно платить тем же. И если в крестьянской семье преданность требует обихаживать свиней, то в королевской она порой требует выходить за них замуж.

Бранденбург хотел заключить союз с Саксонией на юге и вырвать её из цепких объятий Австрии. Союз следовало скрепить телесным единением Иоганна-Георга IV, курфюрста Саксонского, и вакантной принцессы из Бранденбургского дома. Вдовая Элеонора была вакантна и под рукой. И она сочеталась браком с Иоганном-Георгом в Лейпциге в 1692 году, став таким образом курфюрстиной, то есть поднявшись на одну ступень с Софией, Софией-Шарлоттой и шестью другими курфюрстинами Священной Римской империи. Молодые переехали в Дрезден (который распо-

лагался примерно в шестидесяти милях выше по реке от того места, где находилась сейчас Элиза). Оттуда Элиза получила целую кучу Каролининых писем и одно Элеонорино. Через несколько месяцев Каролинины письма начали приходить из Прецша, а Элеонорины перестали приходить вовсе. Даже на картах покойного Россиньоля-отца не было никакого Прецша, и Элизе пришлось справляться у Лейбница, где это. «В нескольких часах езды от Виттенберга», — ответил тот и больше ничего не добавил, что само по себе должно было навести Элизу на какие-нибудь мысли.

Каролина писала о деревьях, на которые она залезла, о белках, почтивших её своим доверием, о противных мальчишках, о шахматных играх, которые она вела с Лейбницем по переписке, ужасных книжках, по которым она учится, чудесных книжках, которые она читает, погоде, логарифмах и бесконечных конфликтах между домашними животными. В письмах не было ни слова об Иоганне-Георге IV, о Дрездене, о том, почему они переехали в Прецш и как поживает Элеонора. Элиза решила, что Прецш — загородная резиденция саксонского двора, как Марли во Франции, и Элеонора почему-то предпочитает его столице. Поэтому, едва башни Виттенберга

растаяли за кормой баржи, Элиза начала высматривать новёхонький барочный дворец, сады, каменную набережную, толпу встречающих придворных, возможно, оркестр, молодую мать под руку с красавцем-курфюрстом и маленькую девочку. Вместо этого она увидела несколько покосившихся башенок над просевшими крышами за деревьями и разъезженную дорогу к ветхой пристани, на которой две женщины отчаянно размахивали руками. Всё так не походило на Элизины ожидания, что она практически не восприняла увиденное.

Положение спасла Аделаида, которая ещё не научилась говорить, но очень любила махать и смотреть, как машут. Явление на пустынном берегу Эльбы двух ярко одетых женщин, машущих и машущих, как заведённые, не могло её не привлечь; вскоре она уже не только махала в ответ обеими пухлыми ручонками, но и с такой прытью устремилась вперёд, что её пришлось ловить и насильно спасать от неминуемой смерти за бортом. Таким образом неразумный младенец открыл простую истину, ускользнувшую от матери: что путь окончен и их встречают друзья. Элиза сказала несколько слов шкиперу, и тот подвёл *цилле* к останкам причала. Тогда она оторвала

себя от кресла, из которого наблюдала проплывавшую мимо Германию, вытерла испарину со лба и решила проверить, выдержит ли пристань ещё одного человека.

Элеонора раздалась, обрюзгла, потеряла часть зубов и перестала прятать оспины под чёрными мушками. Она прекрасно знала, что подурнела, и отводила глаза, не в силах встретиться с Элизой взглядом. Не понимала она того, что радость на её лице искупает всё остальное и что Элиза, чувствующая себя такой же развалиной, какой Элеонора выглядела, сейчас не в настроении её судить. Элеонора отступила на полшага, пропуская вперёд дочь, чудо. В Версале она бы не блистала, но всё же была милее девяти принцесс из десяти. В девочке чувствовалась та искорка, которая позволила бы ей затмевать красавиц, даже будь она дурнушкой, и то внутреннее достоинство, которое невольно приковывает взгляд; из всех, кого Элиза встречала за последнее время, подобным свойством обладал только Исаак Ньютон.

Элеонора припала к Элизе и задержала её в объятиях на целую минуту; за то же время Каролина поздоровалась со всеми на *цилле*, задала шкиперу три корабельных вопроса, сунула Аделаиде букет полевых цветов, сгребла её на руки, велела

малютке не есть цветы, вприпрыжку сбежала с качающейся палубы на причал и с причала на берег, научила Аделаиду говорить «река» по-немецки, второй раз сказала ей не есть цветы, вырвала букет из пухлого детского кулачка, поссорилась с крохой, помирилась и насмешила её до истерики. Теперь она была готова отправляться домой, чтобы сыграть с тётей Элизой в шахматы, — что ж остальные мешкают?

Поншартрен – Элизе
Апрель 1694

Сударыня!

Вы настрого запретили Вас благодарить, и я не смею ослушаться. Однако Вы не можете требовать, чтобы я подавил в себе желание творить добро. Из прибыли от сделки, которую Вы так умно замыслили и которую мои поверенные только что заключили с Вашими, я намерен (после того, как выплачу Вам пять процентов) четвёртую часть направить на дела милосердия. Увы, столько времени прошло с тех пор, как у меня были средства на благотворительность, что я решительно не знаю подходящих богоугодных заведений. Не поможете ли мне советом?

Ваш неблагодарный

Поншартрен

Элиза – Поншартрену
Май 1694

Мой неблагодарный (но скорый на милосердие) граф!

Ваше письмо вызвало у меня улыбку. Перспектива обсудить с Вами благотворительность даёт мне ещё один повод устремиться в Версаль сразу по завершении дел в Лейпциге. Однако не забывайте, что приобретённые Вами долговые обязательства не стоят ничего, покуда генеральный контролёр финансов не назначит им надёжные источники погашения. Поскольку денег нет ни во Франции, ни даже в Англии, наличные средства следует искать где-то ещё. Корабли перевозят по морю ощутимые ценности, а закон дозволяет захватывать их в качестве военной добычи. Покуда вся Франция погружена в отчаяние, Жан Бар в Дюнкерке переживает золотой век и нередко приводит туда призы, дохода от продажи которых с лихвой хватит на погашение всех указанных обязательств, буде генеральный контролёр финансов пожелает отдать такое распоряжение. Могут пройти недели,

прежде чем я возвращусь во Францию, посему советую Вам обратиться непосредственно к Жану Бару. В случае успеха мы с Вами сможем мечтать о прогулке по королевским садам, во время которой и обсудим, на какое благое дело направить Ваши пожертвования.

Элиза

Вдовий дом в Прецше
Апрель и май 1694

В страданьях и деяньях нам дана
Одна и та же мера; прав закон,
Сие установивший.

Мильтон, «Потерянный рай»

Историю Элеоноры пришлось вытягивать из неё дюйм за дюймом, как подкожного тропического паразита. Рассказ растянулся на неделю и состоял из десятка фрагментов, каждый из которых начинался с утомительных манёвров Элизы и заканчивался тем, что Элеонора меняла тему или разражалась слезами. Однако усталость, которую Элиза почувствовала на барже, перешла в инфлюэнцу с ломотой и ознобами. Гостья могла только лежать в постели, и время работало на неё.

Рассказ начался, когда Элиза, разбитая, одуревшая от запаха плесени и раздражённая тем, что на постель ей с потолка всё время сыплется мокрая штукатурка, спросила: «Во вдовий дом женщина переселяется после смерти супруга. Однако ваш

муж жив. Почему вы во вдовьем доме?»

Ответ, если собрать разрозненные отрывки и выпустить предисловия и отступления, был таков: курфюрст Иоганн-Георг IV принадлежал к братству, члены коего встречаются во всех странах мира и во всех слоях общества, то есть был человеком, которого в детстве ударили по голове чем-то тяжёлым. Для ЧКДУГЧТа Иоганн-Георг был красавцем. Ущерб, нанесённый мозгу, не выразился в телесных изъянах: Иоганн-Георг не усох, не скрючивал пальцы, не дёргал щекой и не пускал слюни. В свои почти тридцать лет курфюрст Саксонский без труда сыскал бы в Версале место жиголо у дам или у господ, а может, у тех и у других разом, ибо он был высокий ражий красавец, настоящий жеребец, и никто не знал границ его физических возможностей.

Однако все знали ограниченность его ума. Элеоноре не следовало выходить за него замуж, но она хотела послужить Бранденбургу и найти дом для Каролины. Курфюрст был богат и пригож, и хотя все знали, что он ЧКДУГЧТ, сведущие люди (например, министры саксонского двора, которые, как Элеонора поняла задним числом, оказались не самыми надёжными советчиками) уверяли, что ушиблен он не так уж и сильно. В

доказательство приводили его телесное совершенство. К тому же (как тоже стало понятно задним числом) ей представляли его в такой обстановке, в которой свойства характера, обусловленные ударом по голове, были не слишком очевидны. Свадьбу назначили на такое-то число в Лейпциге, до которого легко было добраться из обеих столиц (Берлина и Дрездена) и который мог вместить два курфюрстших двора и многочисленных гостей из всей протестантской Европы. Элеонора отправилась туда с бранденбургским свадебным кортежем и нанесла визит жениху. Курфюрст Саксонский принял наречённую в обществе ослепительно красивой, богато разодетой дамы, которую представили как Магдалину-Сибиллу фон Рохлиц.

Элеонора слышала это имя раньше, всегда в связи с какими-нибудь неприличными сплетнями. Фрейлейн фон Рохлиц уже несколько лет была фавориткой Иоганна-Георга. Все утверждали, что они идеально друг другу подходят; хотя не сохранилось свидетельств, внешних или изустных, что Магдалину-Сибиллу в детстве ударили по голове чем-то тяжёлым, всё остальное на это указывало. Несмотря на время и средства, потраченные благородным семейством на её образование,

она так и не научилась читать и писать, однако являла собой такой же превосходный образчик женской красоты, как Иоганн-Георг — мужской. Союз был в некотором роде не лишён смысла. В нём ощущался явственный недостаток ума, но (а) саксонские врачи в один голос уверяли, что идиотизм курфюрста и фрейлейн фон Рохлиц не наследственный, то есть их отпрыски могут вырасти вполне здоровыми умственно, если, разумеется, их в детстве не ударят по голове чем-нибудь тяжёлым, и (б) мать фрейлейн была, по слухам, очень умна. И даже слишком: она состояла на жалованье у австрийского двора и всеми силами стремилась подчинить Саксонию южному соседу. Фон Рохлиц на протяжении долгих лет была женой Иоганна-Георга IV во всём, кроме названия; она получила от него богатство, замок и двор, к замку прилагающийся. Однако ей недоставало родовитости, чтобы выйти за него замуж, — по крайней мере, так утверждали мудрые сановники саксонского двора, все, как один, антиавстрияки и пробранденбуржцы. В Берлине до Элеоноры доходили лишь слабые отблески титанической борьбы, которая уже несколько лет шла в Дрездене между пробранденбуржскими министрами саксонского двора и проавстрий-

ской кликой фон Рохлиц. То, что Иоганн-Георг отправился в Бранденбург свататься к Элеоноре, означало лишь, что министры на несколько месяцев взяли верх. То, что жених принял её, выхваляясь любовницей, которая выхвалялась драгоценностями, которыми уже никогда не выхваляться супруге, свидетельствовало, что перевес сейчас на австрийской стороне. Другой князь в подобных обстоятельствах спрятал бы фаворитку в её замке. Ничто бы не изменилось, но всё выглядело бы куда приличнее. Однако Иоганн-Георг был ЧКДУГЧТ и ничего не делал по-людски. На глазах у ошеломлённого курфюрста Фридриха и к нескрываемому удовольствию фон Рохлиц он открыто унизил Элеонору. Однако он приехал в Лейпциг с явным намерением жениться.

Фридриху пришлось выступать в трёх ролях сразу: посажённого отца, главы государства, заключающего союз с соседним государством, и врача, вразумляющего сельского дурачка. Бранденбуржцы ушли; почти все они настолько опешили, что не успели даже разозлиться.

Она вышла за него замуж. Элеонора Эрдмута Луиза вышла за Иоганна-Георга IV, курфюрста Саксонского, хоть и на несколько дней позже

намеченного, поскольку всё пришлось переутрясать в последнюю минуту. Они переехали в Дрезден. Курфюрст возвёл Магдалину-Сибиллу фон Рохлиц в сан графини и оставил её при себе. По улицам Дрездена начали гулять памфлеты, в которых доказывалось, что двоежёнство не так и плохо. Многие библейские цари были двоежёнцами — не стоит ли восстановить эту практику в Саксонии? Тем временем курфюрст прилюдно пообещал жениться на графине фон Рохлиц — *будучи уже супругом Элеоноры*. Добрые саксонские лютеране возмутились, и даже в затуманенном рассудке Иоганна-Георга забрезжило, что он не сможет при живой жене вступить во второй брак.

Вскорости начались попытки отравить Элеонору. При другом дворе — то есть при таком, где у неё было бы больше врагов, а враги эти не страдали бы слабоумием, — дни несчастной оказались бы сочтены. Однако отравление — дело сложное даже для тех, кого в детстве не били по голове чем-нибудь тяжёлым; все попытки Иоганна-Георга и Магдалины-Сибиллы фон Рохлиц подмешать яд в еду были очевидны и потому безуспешны. Прихватив столько платьев, сколько смогла уложить в спешке, и столько слуг (трёх),

сколько выделил ей муж, Элеонора сбежала, не дожидаясь следующей трапезы. Так они с Каролиной очутились во вдовьем доме в Прецше. Её пребывание здесь переросло в ссылку или заточение, а поскольку своих денег у Элеоноры не было, разница между тем и другим представлялась чисто умозрительной. Они с Каролиной спали в одной комнате и баррикадировались на ночь — Элеонора боялась, что Иоганн-Георг подошлёт к ней убийц. Каролина, при всей своей незаурядной смышлёности в отношении белок и логарифмов, ничего странного не заподозрила.

К концу рассказа Элеонора, хоть и заплаканная, выглядела куда лучше. Теперь она больше походила на упорную молодую принцессу, какой Элиза знала её в Гааге пять лет назад.

Однако то подобие душевного мира, которое Элеонора обрела, поделившись своим горем, улетучилось в мгновение ока, когда она, на восьмой день Элизиного визита, вскрыла и прочитала красивый документ, доставленный верховым гонцом. «Что стряслось?» — спросила Элиза, недоумевая, какая новость в Элеонорином положении может считаться дурной; казалось, любые изменения могут быть только к лучшему.

— Это от курфюрста, — проговорила Элеонора.

— Курфюрста чего?
— Саксонии.
— Вашего супруга?
— Да.
— Что он пишет?
— Ему стало известно, что у меня гостит дама, чью красоту обсуждают все европейские дворы. Он счастлив, что его владения посетила столь выдающаяся особа. Завтра они с графиней прибудут засвидетельствовать своё почтение и останутся на несколько дней.

Элиза собрала все силы, чтобы пересесть в кресло у единственного окошка спальни. Полуразрушенный вдовий дом в Прецше окружали широкие поля и деревья, на которые так удобно карабкаться. Последние дни Элиза от слабости не могла даже читать и подолгу занималась тем же, что и сейчас, — смотрела, как Каролина играет с Аделаидой. Её изумляло, что они могут играть столько часов напролёт — особенно сейчас, когда она сама чувствовала себя столетней развалиной. Для Элизы это был единственный способ полюбоваться на девочек, поскольку все согласились, что ей лучше не общаться с ними, пока не выздоровеет.

Элиза, закутанная в одеяло, как приготовленная

к отправке статуя, потёрла ладонью о ладонь.

— Болел ли курфюрст оспой? — спросила она.

— Отметин у него нет, во всяком случае, на лице. Однако наш брак не осуществился, так что целиком я его не видела. А что?

— Мы проделали большой путь, — сказала Элиза, — и побывали в стольких городах на Эльбе, что всех и не упомнить. Учитывая это, а также число моих слуг, не исключено, что кто-нибудь из нас заразился какой-нибудь опасной болезнью. Вот почему приезжих часто помещают в карантин. Я много слышала о курфюрсте Саксонском и графине фон Рохлиц и всей душой желаю свести с ними знакомство. Однако будет большим несчастьем, если кто-нибудь из них заразится болезнью, которую мы подцепили на Эльбе. Вы предупредите курфюрста?

— Я попытаюсь через кого-нибудь на это намекнуть, — сказала Элеонора, — но не знаю, станет ли он меня слушать.

— Однако ничто в Турции не отличается такой изощрённостью, как институт многожёнства, — сказала Элиза.

Курфюрст Саксонский, более всего похожий на гипертрофированный член, весь багровый, в пульсирующих жилах, увенчанный огромным

чёрным париком, чуть выпрямился в кресле. Сперва один его глаз, потом другой повернулся в сторону фон Рохлиц. Вот кто полностью соответствовал образу, сложившемуся у Элизы по рассказам Элеоноры! Если бы затолкать графиню в мешок и вывезти в Турцию, то на невольничьем рынке в Константинополе за неё отдали бы целую конюшню арабских скакунов. Впрочем, ждать от этой особы участия в разговоре не приходилось: проще было бы потребовать от собаки, чтобы та сама сварила себе обед. Элиза говорила до хрипоты, лишь бы не сидеть и не слушать жалкие потуги курфюрста и графини поддержать беседу. Подобно галёрке в театре, те были готовы внимать сколько угодно, широко раскрыв глаза, а по большей части и рот.

— Надо же, — выдавил курфюрст после некоторой паузы. — И как им… это… удаётся?

Элиза, выждав мгновение-другое, испустила смешок. В целом она была не мастерица хихикать, и этот конкретный смешок позаимствовала у одной герцогини, с которой как-то сидела в Версале за обедом. Воспроизвела она его не очень точно, но для вдовьего дома в Прецше большего и не требовалось.

— Ах, мсье, — продолжила она, — двусмыс-

ленность вашего вопроса едва не сбила меня с толку.

— Простите?

— Сперва я подумала, будто вы спрашиваете: «Как они установили практику многожёнства». Теперь я вижу, что на самом деле вы имели в виду: «Как султан может предаваться любви с несколькими женщинами одновременно?» Я охотно раскрыла бы вам секрет, но боюсь, что некоторые, страдающие излишней стыдливостью, возмутятся. — Она под столом пнула Элеонору и кивком указала на дверь, на которую та давно поглядывала, словно узник на окошко темницы.

— Я очень устала, — подала голос Элеонора.

— Оно по вам и видно, — вставила графиня. — А может, сказывается ваш возраст.

— Возраст или усталость — кто знает? Пусть это останется моей маленькой тайной, — спокойно отвечала Элеонора. — Жаль покидать общество, когда разговор принимает такой интересный оборот.

— Или, — сказала Элиза, ловя взгляд Иоганна-Георга, — перетекает во что-то другое.

— Прошу вас, не вставайте, — обратилась Элеонора к мужу, который не выказывал ни

малейшего намерения встать. — Я ухожу в свою спальню и увижу вас, когда вы выберетесь из ваших. Ещё раз приношу извинения за скудость обстановки. — Последние слова адресовались мужу, который не понял скрытого упрёка.

— Ну вот, — сказала Элиза, когда ступеньки и половицы на втором этаже перестали скрипеть под Элеонориными шагами. Теперь она безраздельно владела вниманием курфюрста и его любовницы. Смахнув с волос мокрую штукатурку, она продолжила: — О чём мы говорили? Ах да, о колеснице.

— О колеснице?

— Простите. Так называется метод, посредством которого — у просвещённых народов, сохраняющих древнюю библейскую практику полигамии, — султан управляется с численным превосходством своих жён. Попробую объяснить словами. Картинка была бы лучше, но я не сумела бы ничего нарисовать даже под угрозой смерти. Проще показать. Ну да конечно, так будет гораздо лучше. Не соблаговолите ли, мой милый, дорогой курфюрст, перевернуть этот стол? В соседней комнате стоит оттоман…

— Кто? — рявкнул Иоганн-Георг, хватаясь за шпагу.

— Оттоманка, диванчик. Нужно чем-то заменить вожжи. Моя дорогая графиня, если бы вы согласились снять ваш шёлковый пояс…

— Но на нём держится моя…

— …

— …ах, я поняла, мадам.

— Я знала, что вы поймёте, фрейлейн.

— Мне нужно с кем-то спать, — пробормотала Элиза из-под краешка одеяла. — Наверное, вы считаете меня потаскухой. Но мой сын — я о законном — умер. Аделаида сокровище, но имела смелость родиться девочкой. Моему мужу нужен законный сын.

— Но… почему с *ним?*

— Вы сами сказали, что его слабоумие не наследственное.

— А как вы объясните срок?

— Объяснить можно что угодно, если только Этьенн решит подыграть и воздержится от ненужных вопросов. А я думаю, так оно и было бы. Впрочем, всё это, скорее всего, не важно.

— О чём вы?

Вместо ответа Элиза, которая лежала, укрывшись одеялом до глаз, протянула руку.

Элеонора вскрикнула.

— Ш-ш-ш, услышат, — сказала Элиза.

— Они… они уже уехали, — ответила Элеонора из дальнего угла, куда отскочила, как птичка.

— А. Тогда кричите сколько угодно.

— Когда появилась сыпь?

— Вчера мне показалось, что вроде вылезает первый прыщик. Я и не думала, что они распространятся так быстро.

Элиза откинула с лица одеяло. Незадолго перед тем она нашла на ощупь двадцать пупырышков, потом утратила интерес. Элеонора лишь раз взглянула на неё и тут же отвернулась в угол, как наказанная школьница.

— Так вот почему вы велели отправить Каролину с Аделаидой в Лейпциг?

— Вы несправедливы к больной. Вы сами сказали, что курфюрст не сводит глаз с Каролины. Раз пять повторили, хотя никто вас не просил. Она только больше расцвела с последнего раза, когда он сношал её взглядом. Одной этой причины было вполне довольно, чтобы её отослать.

— Знает ли курфюрст?

— Что у меня оспа? Ещё нет.

— Как он мог не заметить?

— Во-первых, меня по-настоящему обсыпало лишь несколько часов назад. Во-вторых, мы занимались этим в темноте. В-третьих, многие люди,

даже те, кого в детстве не били по голове, плохо знают разницу между большой оспой и малой, то есть сифилисом. Учитывая, с какой публикой водит компанию Иоганн-Георг, полагаю, сифилис он видел куда чаще!

— Как вы могли! Это же ужасно! — Элеонора повернулась к Элизе, но, увидев её лицо, вновь отвела глаза.

— Мне случалось терпеть и худшее.

— Нет, я о том, что вы решили их заразить.

— Вы ещё вчера могли заметить, что у меня оспа. Вы могли их предупредить, но не сочли нужным. Так что ваш гнев по меньшей мере неуместен.

Элеонора не нашлась с ответом.

— Я не знаю в Версале никого, кто за свою жизнь не убил, прямо или косвенно, хотя бы одного человека. Убивают постоянно и по малейшему поводу. Я бы не сделала того, что сделала вчера, если бы вы не сказали, что курфюрст вожделеет к Каролине. Зная это, и его власть над вами, и то, чем всё скорее всего закончилось бы, я совершила то, что совершила. И не будем к этому возвращаться. Я и впрямь очень устала. Вчера ночью я потратила слишком много сил, когда их надо было беречь, и теперь расплачиваюсь. Я

составила инструкции — на случай моей смерти. Они под подушкой. Я засыпаю. Спокойной ночи.

Жан Бар – Элизе
Май 1694

Сударыня!

Осмеливаюсь писать сразу набело, но потому лишь, что англичане приближаются к нашим берегам с целью их бомбардировать, каковое досадное обыкновение они завели в последнее время. Разумеется, они предпочли бы уничтожать корабли нашего флота (кои по справедливости должны все зваться «Элиза», зане всецело обязаны Вам своим существованием), но так как те являют собою подвижные мишени, британские же корабли недостаточно ходки, а британские канониры недостаточно метки, чтобы их поразить, сии последние обстреливают здания. На ум приходит какой-нибудь старый барон, почитающий себя изрядным охотником, но подслеповатый, с трясущимися руками и впавший в детство, что палит у себя в саду по расставленным слугами чучелам.

Однако жизнь, как и эта эпистола, слишком коротка, чтобы тратить её на англичан, так что перейду прямо к делу в надежде, что Вы простите

мне мою прямоту.

Мои услуги в последнее время потребны весьма многим, поелику коммерция замерла из-за некоего смешения в царстве денег. Я ровным счётом ничего в этом не понимаю, Вы, убеждён, понимаете всё. Меж моим совершенным неведением и Вашим совершенным ведением пребывает остальное человечество — люди большего или меньшего общественного достоинства, возомнившие себя сведущими. Так или иначе, людям этим известно, что Ваш покорный слуга капитан Жан Бар единственный сейчас во Франции богатеет (иные узколобые педанты добавили бы, что это лишь потому, что я силой отнимаю богатство у законных владельцев; впрочем, в таких тонких отличиях пусть разбираются иезуиты, с тем, чтобы я на смертном одре от кого-нибудь из них узнал, попаду в рай или в ад). Так или иначе, я доставляю во Францию деньги и львиную долю их передаю в казну согласно неким установленным правилам моего ремесла, то есть каперства. Соответственно, ко мне обращается великое множество лиц, как иностранцев, так и французов, в разное время ссудивших деньги нашему государству. Они пишут мне письма, одолевают меня на приёмах, тянут за рукав на церемониях утренне-

го и вечернего королевского туалета, слоняются перед моим домом, нагоняют меня в море, подстерегают на улицах и садовых дорожках, шлют мне вино, подкладывают в постель самых соблазнительных шлюх, шепчут на ухо в исповедальне и грозятся меня убить — всё в надежде, что по их указке я приведу следующий трофейный корабль в тот или иной порт, дабы тот или иной местный чиновник направил вырученные средства на погашение того или иного долга.

Вы припомните, что два года назад я захватил немалое количество серебра, принадлежащего Лотару фон Хакльгеберу, каковой был весьма недоволен и засыпал меня письмами, в коих уверял, будто деньги предназначались на оплату неких векселей согласно сделке, заключённой им в Лионе с правительством Франции. Я отвечал его представителям, что Лион очень далеко от Дюнкерка — даже предлагал нарисовать карту, — и разводил руками, показывая, что ничего не знаю и не желаю знать о лионских затеях. Со временем фон Хакльгебер остыл, но после непродолжительной передышки вновь принялся бомбардировать меня письмами, сетуя, что, мол, генеральный контролёр финансов так и не оплатил ему тот лионский долг. Как я заключаю,

он сам или его агенты навели справки по всей стране и пришли к выводу, что деньги он сможет получить только через Дьепп. Здесь ему удалось достичь взаимопонимания с неким чиновником, и если в Дьепп случится попасть каким-нибудь королевским доходам, часть их будет передана Дому Хакльгебера в погашение долга.

Я оставил его письма без внимания, но саму историю не забыл, памятуя, что Лотар фон Хакльгебер причинил Вам некую обиду, хоть Вы и не пожелали сообщить мне подробности, а в его письмах, составленных, надо сказать, в весьма своеобразных выражениях, то и дело поминалось Ваше имя.

В последнее время ко мне стали поступать обращения сходного толка не от кого иного, как от самого генерального контролёра финансов, господина графа де Поншартрена, выражающего желание, чтобы я завёл себе привычку приводить трофейные корабли в Гавр. Насколько я понял, господин граф распорядился, чтобы доходы королевской казны, поступающие через названный порт, направлялись на некую угодную ему цель. Он также упоминает Ваше имя, ибо знает о моих страстных, совершенно неподобающих, скандальных и (доселе) неудовлетворённых чувствах

к Вам.

Сейчас практически никакие деньги не проходят через Дьепп и Гавр, бомбардируемые, атакуемые и сжигаемые британцами, как я описал выше. Сии прискорбные обстоятельства не мешают мне продолжать мой промысел, посему я за некоторое время скопил изрядно сокровищ, каковые охотно бы разгрузил, но вынужден держать пока в трюмах кораблей — подвижных мишеней, неуязвимых для британского флота. Только в трюме моего собственного корабля «Альциона», с коего я пишу эти строки, хранится на три четверти миллиона турских ливров золота и серебра. При всей своей любви к родному городу я не стану разгружать их в Дюнкерке, ибо дороги, соединяющие его с остальной Францией, дурны и кишат разбойниками. Дьепп и Гавр расположены ближе к столице и потому предпочтительнее — однако который из них избрать?

Менее всего я желаю навлечь на себя неудовольствие господина графа де Поншартрена, посему мог бы направиться в Гавр, однако несколько недель назад Вы оказали мне честь, дозволив сопроводить Вас в Гамбург, откуда Вы собирались проследовать с неким делом к казакам, татарам или немцам (я, как моряк, плохо вижу разницу,

возможно, наблюдаемую географами между этими сухопутными племенами). Слухи гласят, что Вы приближаетесь к Лейпцигу, вотчине Лотара фон Хакльгебера. Посему представляется, что судьба золота и серебра, находящихся сейчас в моих трюмах, может иметь какие-то последствия для Вашего начинания. Однако я, хоть убейте, не могу вообразить этих последствий и выбрать верную линию.

Сводя итог, меня окружают люди, которые требуют от меня слишком многого, ничего не предлагая взамен. Сколько же отличны от них Вы, сударыня, сделавшая для меня более кого-нибудь из живущих единственно по причине пламенного чувства к моей скромной особе (не трудитесь отпираться!) Однако Вы никогда ни о чём меня не просили! В рассуждение сказанного я обращаюсь за советом к Вам, и ни к кому иному. Надеюсь, что письмо застанет Вас в добром здравии в Крыму, Туркестане, Внутренней Монголии или куда там Вы отправились. Знайте, что я жду от Вас указаний, заходить мне в Дьепп, Гавр или в какой-нибудь иной порт.

Ваш припухлый невольник любви
(кап.) Жан Бар

Лейпциг
Май 1694

В таком случае отчего мы брезгуем коммерцией и презираем торговлю, почитая их средствами низменными, ежели они порождают богатство мира?

Даниель Дефо, «План английской торговли»

Принцесса Каролина-Вильгельмина Бранденбург-Ансбахская сморщила носик и отбросила косу обратно через плечо.

— «Припухлый невольник любви» — это какое-то французское выражение? Я никак не пойму, что оно значит.

— Пустое! Это глупость, которую капитан Жан Бар присовокупил в конце, поскольку должен был как-то закончить письмо, но не знал, как, и оттого смешался. Слава Богу, в сражениях он более хладнокровен. Не обращайте внимания, сударыня.

— Почему вы так ко мне обращаетесь! Перестаньте!

— Потому что вы принцесса по рождению и,

скорее всего, когда-нибудь станете королевой. Меня же герцогиней сделали.

— Но для меня вы тётя Элиза!

— А ты для меня мой бельчонок. Однако факт остаётся фактом: вы обречены быть принцессой вне зависимости от ваших желаний и должны будете когда-нибудь выйти замуж.

— Как мама, — сказала Каролина, вдруг посерьёзнев.

— Не забывайте, пожалуйста, что это происходило дважды. Во второй раз ей пришлось выйти за человека совершенно неподходящего. А вот первый её брак — с вашим отцом — был счастливым, и благодаря ему на свет появилась совершенно замечательная принцесса.

Каролина вспыхнула румянцем и потупилась. Снаружи щёлкнул бич, карета тронулась с места. Перед этим они некоторое время стояли у северных ворот Лейпцига. Каролина подняла глаза, и в них отразился свет от окна. Элиза продолжила:

— Почему ваша матушка так неудачно вышла замуж во второй раз? Потому что обстоятельства сложились против неё — обстоятельства, которые она была бессильна изменить, — и в конце концов не оставили ей выбора. Теперь, как вы думаете, зачем я дала вам читать свою личную

переписку с капитаном Баром? Чтобы скоротать дорогу до Лейпцига? В таком случае мы могли бы просто сыграть в карты. Нет, я показала письмо, потому что хочу чему-то вас научить.

— Чему именно?

Вопрос застал Элизу врасплох. Некоторое время в карете слышались только звуки, долетавшие снаружи: стук подков, шебуршание ободьев по дороге, хрюканье рессор. На них упала тень, и тут же вновь стало светло: карета миновала ворота и въехала в Лейпциг.

— Будьте внимательны, вот и всё, — сказала Элиза. — Примечайте и складывайте увиденное в картину. Думайте, как её можно изменить, и делайте так, чтобы она менялась. Какие-то ваши поступки окажутся глупыми, другие принесут неожиданный результат; а тем временем уже то, что вы действуете, а не бездействуете, будет для вас в некотором смысле бронёй…

— Дядя Готфрид говорит: «Активное неуничтожимо».

— Доктор говорит это в довольно узком метафизическом смысле. Однако его слова — не худший девиз, который вы могли бы избрать.

И тут Элиза десятый раз за последние десять минут потрогала лицо. К нему были приклее-

ны полдюжины чёрных фетровых кружочков, скрывающих маленькие рытвины, которые оспа выкопала на её лице и не удосужилась сровнять перед отступлением.

Почти всё, что Элиза знала о течении болезни, она услышала задним числом от Элеоноры и врача. Сама она провалилась в какой-то сумеречный полусон. Глаза оставались открытыми, впечатления проникали в мозг, но время, проведённое в этом трансе — около недели, — казалось очень долгим и вместе с тем очень коротким. Коротким, потому что она мало что помнила — всё спрессовалось во фразу «когда я болела оспой». Очень долгим, потому что в эту неделю она слышала каждое тиканье часов, медленное и мучительное набухание под кожей, вспыхивавшее искоркой боли всякий раз, как сливались соседние пузырьки. Кое-где — особенно на пояснице — искорки разгорались в настоящий костёр. Неведомо для Элизы в те часы решалась её судьба: если бы огонь распространился дальше и разгорелся сильнее, кожа сошла бы совсем, и она бы не выжила.

В такие моменты врач выходит к заламывающим руки близким и говорит, что положение очень серьёзное. Если некоторое время спустя он добавляет, что «надежды на выздоровление

нет», все догадываются, что болезнь достигла стадии свежевания. В Элизином случае этого не произошло. Судьба бросила монетку, и выпал орёл. Оспа едва не сняла всю кожу с поясницы и кое-где на руках и ногах. Внутренние органы тоже пострадали. Однако болезнь пощадила зрение и оставила на лице лишь десятка четыре отметин, из которых бóльшая часть была видна только на ярком солнце. Из примерно десяти видимых при свечах некоторые можно было спрятать под волосами и высоким воротником, остальные она заклеила мушками. Элиза не собиралась до конца жизни каждый день клеить на лицо эту гадость, но сегодня был особенный случай. Она ехала в Лейпциг — большой город по здешним меркам — и собиралась встретиться с некоторыми людьми.

Из шести недель во вдовьем доме первые прошли (как понимала теперь Элиза) в начальной стадии болезни и завершились приездом курфюрста и его любовницы, накануне которого Каролину с Аделаидой отослали в Лейпциг. Потом почти две недели оспенной сыпи. Элиза по-настоящему очнулась и начала складывать впечатления в осмысленную картину лишь на двадцать четвёртые сутки; в тот же самый день далёкие колокола Торгау и Виттенберга зазво-

нили по курфюрсту Саксонии и его любовнице. Элеонора овдовела вторично и стала вдовствующей курфюрстиной Саксонской. Это означало, что она наконец-то на своём месте, во вдовьем доме, как ей и положено по рангу. Новым курфюрстом стал брат Иоганна-Георга Август. Август Сильный. Он уже зачал сотню незаконных отпрысков и, по слухам, неусыпно трудился над второй сотней; его страсть к единоборству с дикими зверями никак не могла упрочить репутацию Саксонии при французском дворе, однако его не били в детстве по голове, он не желал зла Элеоноре и не покушался на Каролину, так что в целом всё вроде бы обернулось к лучшему.

Элеонору вызвали в Дрезден на похороны супруга, а после того, как матрас и простыни больной сожгли на берегу Эльбы, и корки сошли, явив взглядам её новое лицо, Каролина и Аделаида вернулись из Лейпцига вместе с большей частью Элизиной свиты. Вот и все события четвёртой недели. В пятую и шестую Элиза набиралась сил. Оспа, судя по ощущениям, сотворила с её внутренностями то же, что с поясницей, и это затрудняло еду, переваривание и облегчение. Даже если бы она выскочила из болезни, как резиновый мячик, всё равно пришлось бы ждать, когда сошьют

новые платья, поуже, на исхудавшую фигуру, со стоячими воротниками и длинными манжетами, чтобы скрыть изуродованные участки кожи. Однако позавчера она вдруг поймала себя на том, что тяготится бездельем. Вчерашний день был посвящён составлению планов. Сегодня утром Элиза выехала из вдовьего дома с небольшим кортежем наёмных экипажей. В последний миг она решила прихватить с собой Каролину (чтобы развязать руки Элеоноре, целиком занятой обустройством вдовьего быта) и Аделаиду (которая в отсутствии Каролины становилась невыносимо капризной).

— О каком вашем начинании пишет капитан Бар? — спросила Каролина.

— Долго объяснять! — сказала Элиза. — Да и не нужно, вы и без того поймёте суть, а именно, что капитан Бар, обычно самый решительный, самый безжалостный человек на земле, не может выбрать, отправиться ему в Дьепп или Гавр, и считает нужным написать мне в Гамбург. Если бы я сидела дома за вязанием или картами, он, поверьте, не чувствовал бы за собой такого обязательства; однако я в пути, я неизвестная величина в уравнении…

— Которое ему потому труднее распутать! —

воскликнула Каролина. — Дядя Готфрид учил меня решать такие задачки при помощи своего изобретения, которое он назвал матрицами.

— Тогда вы знаете больше, чем я, — проговорила Элиза, не в первый раз чувствуя лёгкую зависть к девочке. — А теперь вы сможете показать свои умения вашему наставнику.

— Дядя Готфрид здесь?

Карета остановилась. Элиза сама открыла дверцу и при помощи лакея выбралась наружу. Каролина выпрыгнула следом, коса и юбка еле поспевали за нею.

Они стояли на площади перед открытой церковной дверью, откуда доносились звуки органа. Неподалёку была главная площадь с высокой ратушей и расходящимися звездой торговыми улицами. Элиза несколько раз медленно обернулась вокруг своей оси, но лицо её выражало не удивление, а растерянность, как будто она заметила какой-то подвох.

— Он такой маленький! — воскликнула Элиза.

— Живи вы в Прецше, он бы показался вам преогромным!

— Ой, но когда мы были здесь первый раз — десять лет назад, почти день в день, — мы пришли сюда из лачуги в горах, и он показался мне неве-

роятно большим!

— Кто «мы»?

— Не важно… однако забавно, как работает мысль. Я воображала Лейпциг огромным городом с богатыми торговыми домами, но как поглядишь… многие амстердамские и лондонские купцы могли бы купить весь Лейпциг и спрятать себе в карман!

— Может, вам стоит его купить! — пошутила Каролина.

— Может, я его уже и купила. — Элиза помедлила, сморгнула и выдохнула, словно избавляясь от старых воспоминаний и непомерно раздутых фантазий, затем пристально огляделась. — Мне надо отправиться по делам и оставить вас на несколько часов. Идёмте.

Она провела Каролину в пустую церковь. На органе кто-то просто упражнялся — не очень умело, потому что то и дело допускал ошибки, останавливался и пытался снова поймать ритм.

Церковь — Николаикирхе — была не мрачная и не угрюмая. Полукруглый свод поддерживали высокие ребристые колонны, но не дорического, ионического, коринфского или какого-нибудь ещё архитектурного ордера. Их капители изображали огромные торчащие снопы пальмовых

листьев. Свод, расчерченный полосами света из высоких окон, стремительно низвергался к пукам светло-зелёных ваий, из которых гроздьями выглядывали плоды. Алтарная загородка изгибалась широким разомкнутым полукругом, словно две руки, тянущиеся обнять молящихся. Купель походила на золотой кубок. За нею широкие ступени вели к алтарю, над которым висел серебряный Христос. За окнами отделанного серым и малиновым мрамором алтарного пространства вздрагивали на ветру цветущие липы. Рисунок мрамора наводил на мысль о стремительных завихрениях — речных порогах или молниях в смятении грозовых туч, — застывших и усмирённых. Как во взгляде, согласно которому, узнав положение и скорость каждой частицы во Вселенной на какой-либо момент времени, вы бы узнали всё — стали Богом. Балкончик над входом занимал орган — серебристые трубы в белом романском корпусе, обильно украшенном резными лилиями и пальмовыми ветвями. За консолью сгорбился человек в огромном парике и камзоле, расшитом сотнями крошечных цветочков. Старик в университетской мантии стоял рядом, с любопытством поглядывая сверху вниз на Элизу, Каролину и небольшую толпу, образо-

вавшуюся в проходе между скамьями. Аделаида, проснувшись от того, что карета остановилась, побежала за матерью, а за Аделаидой бросились няньки и Элизины телохранители, которым было приказано на враждебной лейпцигской территории и на мгновение не спускать с девочки глаз. Органист заметил всё это, оторвал руки от мануала, и гортанное пение труб смолкло, оставив в неподвижном воздухе церкви лишь слабое шипение клапанов да пыхтение двух пухлощёких школьников, поставленных качать мехи. Элиза зааплодировала; Каролина, узнав органиста, последовала её примеру.

— Сударыня. Сударыня, — сказал Готфрид Вильгельм фон Лейбниц Каролине и Элизе соответственно, потом Аделаиде: — Сударыня. — Затем снова Элизе: — Простите, что ваше прибытие в Николаикирхе, которое должно было стать мигом чистой красоты и величия, омрачили мои неумелые экзерсисы.

— Напротив, доктор, город так тих, а ваша музыка вдохнула в него жизнь. Это какая-то новая пассакалья герра Букстехуде?

— Да, сударыня. Запись привёз с собой любекский купец, который хочет отпечатать её и продать через две недели на ярмарке; я раздобыл

оттиски и выпросил у моего старого учителя — герра Шмидта, — старик в мантии поклонился, — разрешение сыграть её в ожидании вашего прихода.

Лейбниц спустился по лесенке, и началась долгая череда поклонов, реверансов, прикладываний к руке и восхищения дитятей. Доктор задержал взгляд на Элизином лице, но не настолько, чтобы внимание показалось невежливым. Он, естественно, любопытствовал, как оспа обошлась с Элизой. Что ж, пусть смотрит. Скоро Лейбниц вернётся в Ганновер и Берлин, а оттуда по всем европейским дворам распространится весть, что герцогиня Аркашонская и Йглмская почти не пострадала от оспы, не ослепла и сохранила разум.

— Мне вспомнился мой первый визит в этот город и моя первая встреча с вами, доктор, десять лет назад, — сказала Элиза.

— И мне, сударыня. Однако, разумеется, с тех пор многое изменилось. Вы упомянули, что город тих. Я тоже приметил это, когда приехал сюда несколько недель назад. С тех пор я узнал, что тишина вызвана особыми обстоятельствами. Торговля замерла…

— …из-за непонятного отсутствия денег, — подхватила Элиза, — которое является вместе

причиной и следствием, ибо всякий, прослышавший о нём, как по волшебству, превращается в скрягу и прячет свои монеты под замок.

— Вижу, вам знаком этот недуг, — сухо проговорил Лейбниц. — И нашему общему другу доктору Уотерхаузу тоже — он пишет, что Лондон поражён той же болезнью.

— Некоторые говорят, что она пошла *отсюда*, — заметила Элиза.

— А иные — что из Лиона.

Доктор чуть пристальнее вгляделся в Элизино лицо.

— Вы ждёте, что я клюну? — проговорила Элиза.

Лейбниц на мгновение опешил, потом рассмеялся.

— Что значит «клюну»? Тоже идиома? — спросила Каролина.

— Доктор закидывает удочку и проверяет, схвачу ли я наживку, ибо у нескольких здешних торговых домов давние связи с лионским Депозитом, и если Лион обанкротился, последствия отзовутся и здесь. Так ваши лейпцигские друзья жаждут новостей, доктор?

— Я не стал бы их так называть. Мне они больше не друзья.

— Так вот, у меня в этом городе враги. Враги и мальчик, не видевший мать три года и семь месяцев. Я должна подготовиться к встрече с ними. Если вы любезно согласитесь занять принцессу на несколько часов…

— Нет.

— Что?

— Вы ошибаетесь. Идёмте со мной. — И Лейбниц, грубо повернувшись к Элизе спиной, вышел из Николаикирхе.

Ей оставалось лишь двинуться за ним. Каролина побежала за Элизой, остальная свита потянулась следом. Элиза, обернувшись, взглядом велела нянькам затолкать Аделаиду обратно в экипаж; та подняла такой ор, что несколько торговцев-турок, потягивающих кальяны в полумиле от церкви, удивлённо подняли головы.

— Вы очень невежливы. Что это значит?

— Жизнь коротка. — Лейбниц оглядел Элизу с ног до головы, недвусмысленно намекая на оспу. — Я могу два часа стоять в Николаикирхе, пытаясь убедить вас словами, а в конце концов вы скажете: «Я должна увидеть сама». А могу совершить с вами пятиминутную прогулку и всё уладить.

— Куда мы идём?.. Каролина…

— Пусть идёт с нами.

Они прошли через главную площадь, которая, когда Элиза была здесь последний раз, состояла из узких проходов и щелей между разнообразно пахнущими тюками и бочками. Сейчас ветер гонял пыль по опустевшей мостовой. Там и тут хорошо одетые люди по двое, по трое курили и разговаривали — не бойкими голосами рядящихся купцов, а скорее как старики, бредущие в воскресенье из церкви. Углубившись вслед за доктором в улицу с противоположной стороны площади, Элиза увидела, что торговля всё же идёт, но лишь в кофейнях под открытым небом, да и приобретения были некрупные — третья чашечка кофе, второй кусок пирога. По сторонам улицы тянулись сводчатые арки, за которыми, как знала Элиза, располагались дворы торговых домов. Однако половина стояла закрытыми, в других Элиза видела не толпу орущих коммерсантов, а праздные кучки покуривающих или потягивающих пиво людей. Тем не менее зрелище не удручало. Казалось, разом объявили христианское воскресенье, иудейскую субботу и мусульманскую пятницу, и люди рады неожиданному, навязанному им отдыху. Лейпциг выглядел умиротворённо, как будто ртуть, отравлявшая

кровь торговцев, ушла из их жил. Когда все они сходятся в таком месте, как Лейпциг, то впадают в некое коллективное безумие и преображаются в нового рода организм наподобие рыбьего косяка. Одно такое стремительное, наэлектризованное, нервное существо, появись оно на ратушной площади средневекового городишки, вызвало бы испуг и недоумение. Однако тысяча их составляла работающую машину и порождала чудеса, о которых средневековые горожане не могли и помыслить. Сегодня чары рассеялись, и вернулась деревенская тишь.

Золотой Меркурий выпрыгнул из-под замкового камня особенно большой арки посреди улицы. Ворота были закрыты, но не заперты. Доктор толкнул створку и движением руки пропустил Элизу вперёд. Та замешкалась и огляделась. В Версале переступить порог в чьём-либо обществе — значит сделать ход в шахматной игре, который непременно заметят, обсудят и на который последуют ответные ходы; человек порою тратит часы на создание выгодной диспозиции, например, устраивая так, чтобы нужные люди увидели и само событие, и кто кого пропустил вперёд. Здесь всё это было бы нелепо, но привычка — вторая натура. Элиза огляделась и выяснила,

что её вступление в Дом Золотого Меркурия наблюдают человек пять: бродяга в подворотне, лютеранский пастор, вдова, метущая крыльцо, еврей в меховой шапке и очень высокий бородач с болтающимся рукавом и длинным посохом в единственной руке.

Последнего Элиза узнала. Во время долгого путешествия по Эльбе она нет-нет да замечала шагающую по берегу высокую фигуру; иногда однорукий аистом-переростком брёл по мелководью, тыча в воду острогой. Здесь он почти не выглядел инородным телом. В Лейпциге, на перекрёстке дорог Венеция — Любек и Кёльн — Киев, собираются всевозможные странники, ходячие курьёзы, люди, не знающие, куда повернуть. Элиза отметила его лишь потому, что видела раньше. В иных обстоятельствах она бы до конца недели гадала, что ему здесь нужно, однако сейчас множество других мыслей начисто вытеснило Хлысторукого из её сознания. Элиза вступила в Дом Золотого Меркурия с видом хозяйки.

Двор напоминал кладбище, только место склепов и надгробий занимали товары: тюки тканей, бочки с маслом, ящики с посудой. Они совершенно загораживали обзор; лишь вытянув шею, Элиза увидела на высоте пятого этажа, на фрон-

тоне, главные двери склада. Они были открыты и мотались на ветру. Чердак над ними зиял пустотой. Все товары вытащили во двор, как будто Лотар решил подчистую распродать остатки. Однако покупателей не было.

Что-то шлёпнулось на землю позади Элизы. Та развернулась и едва не налетела на крошечного дикаря — пигмея с томагавком. Он выслеживал её от самого входа, прячась за штабелями товара, а сейчас спрыгнул с ящика выше своего роста, намереваясь испугать посетительницу, но неожиданно для себя оказался между Элизой и Каролиной. Он обернулся к девочке, и Элиза увидела белобрысые вихры, которые не мешало бы вымыть, неровный пробор, который не мешало бы расчесать, маленькое, едва переросшее младенческую пухлость тельце, которое не мешало бы оттереть с мылом. Мальчик был в индейской набедренной повязке и мокасинах, с томагавком из черепка, который кто-то взрослый старательно примотал к палке.

Каролина оправилась от неожиданности и теперь решала, разозлиться ей или вступить в игру. «Гав!» — крикнула она. Маленький белобрысый индеец кинулся было наутёк, но с опозданием вспомнил, что дорогу ему преграждает Элиза. Вз-

гляды их на мгновение встретились, и она узнала собственные глаза. Мальчик бросил томагавк и мигом вскарабкался по ящику с сахарными головами. Раньше, чем Элиза успела выкрикнуть его имя, он исчез в дебрях воображаемого Массачусетса.

Каролина смеялась, пока не увидела Элизино лицо и не поняла всё.

Двор окружала крытая галерея, где в прошлое Элизино посещение приказчики сидели за конторками, писали в амбарных книгах, пересчитывали и складывали в сундуки иноземные монеты. Сейчас Элиза видела только верхние части арок, но через несколько мгновений до неё донёсся детский голосок, что-то рассказывающий «папе», затем смех и какие-то терпеливые объяснения.

При звуке этого голоса Элиза машинально подняла глаза к балкону третьего этажа, сплошь украшенному золотыми Меркуриями и прочими барочными эмблемами торговли. Когда-то Лотар с доктором смотрели оттуда на неё и Джека, однако сейчас Элизиному взгляду предстало лишь полное запустение: пыльные стёкла, выцветшие занавески, замшелый камень.

Мужской голос начал что-то говорить нарас-

пев. Элиза, плохо знавшая немецкий, взглянула на Каролину.

— Он читает сказку, — объяснила та.

Элиза двинулась на голос между штабелями товара и остановилась в крытой галерее. Почти все конторки оттуда вынесли. В нескольких шагах от неё сидел на чёрном сундуке грузный мужчина. Сундук был сплошь окован железом, но не заперт ни на одну из многочисленных щеколд, и это наводило на мысль, что он пуст. На одном колене у мужчины лежала большая книга с картинками, на другом, припав головкой к его груди и посасывая край набедренной повязки, сидел верхом белокурый индеец. Худенькие ноги в мокасинах мерно покачивались, веки были полузакрыты. Когда Элиза вступила в поле зрения мальчика, глаза на миг раскрылись и тут же снова смежились. Приход незнакомой женщины отвлёк мальчика, но лишь на мгновение, и даже чуть-чуть встревожил, но лишь пока «папа» не сказал, что всё будет хорошо. «Папа», то есть Лотар фон Хакльгебер, продолжал читать, явно не из демонстративного желания не замечать Элизу, а потому что ни один родитель не прервёт сказку, когда ребёнок сложил крылышки и пристроился подремать. На изрытом оспой носу Лотара сидели

очки в золотой оправе; дойдя до конца страницы, он послюнявил палец, перевернул её и с тихим любопытством взглянул на Элизу. Веки мальчика опускались всё ниже и ниже, губы чмокали, посасывая уголок набедренной повязки, — и от этого зрелища грудь у Элизы заныла, словно наполняясь молоком. Лотар закрыл сказки и огляделся, куда бы их положить. Каролина, не задумываясь, подбежала и взяла книгу. Лотар откинулся назад, превращая себя в мягкий диван, и каким-то образом встал с сундука. Он повернулся спиной к гостям, босиком прошлёпал в соседнее помещение и уложил мальчика в самодельный индейский гамак, натянутый поперёк заброшенной конторы. Накрыв ребёнка одеялом, Лотар выпрямился, вышел в галерею и притворил за собой дверь — неплотно, чтобы, как знала Элиза-мать, услышать, если малыш заплачет.

— Мне сообщили, что курфюрст и его полюбовница околели, — тихо проговорил Лотар, — и я гадал, не уготован ли и мне визит ангела Смерти.

На скамье в углу двора было разбросано в беспорядке самое разное оружие, как если бы хозяин с мальчиком упражнялись в фехтовании. Лотар взял кинжал в ножнах и бросил Элизе.

— Стилет гашишина, который вы прячете в поясе, слишком мал, чтобы с пристойной скоростью убить человека моих объёмов; прошу вас, воспользуйтесь этим. — На Лотаре была несвежая льняная рубаха; сейчас он разодрал её, обнажив левый сосок. — Бейте вот сюда. Вы можете прежде отослать принцессу Бранденбург-Ансбахскую, чтобы уберечь её нежный взор от столь непривлекательного зрелища; если же стремитесь воспитать её такой же, как вы сами, то конечно, пусть смотрит и учится.

— До сего дня я полагала, что искусство мелодрамы процветает исключительно при дворе Короля-Солнце, — сказала Элиза тихо, чтобы не разбудить мальчика. — Однако теперь вижу, что вы преуспели в нём не меньше других. Кем надо быть, чтобы разыграть фарс, который я сейчас видела?

— Кем надо быть, — отвечал Лотар, — чтобы вторгнуться в чужую семейную жизнь и назвать её фарсом? Здесь вам не Версаль, мадам, мы не настолько утончённы.

Элиза бросила кинжал на пол.

— Человек, укравший ребёнка, не вправе читать катехизис его матери.

— Когда сироту из приюта забирают в любя-

щую семью, разве это зовётся кражей? Скорее напротив. Если вы объявляете себя его матерью, я склонен поверить, ибо сходство налицо, но вы впервые делаете такое признание.

— Вам прекрасно известно, что признать его было бы для меня гибельно.

Лотар повернулся лицом во двор и воздел обе руки.

— Смотрите!

— На что?

— Вы говорите о гибели, как об абстракции, вычитанной из книг, о призраке, что терзает вас бессонными ночами. Здесь, мадам, вы видите не призрак и не абстракцию, а истинную гибель и разорение. Так любуйтесь же делом ваших рук! Вы разорили меня. Однако со мной мальчик, который зовёт меня «папа». Если бы вы признали его своим и погубили себя, как бы вам сейчас было? Лучше или хуже?

Элиза вспыхнула — не только лицом, но с головы до пят. Казалась, горячая кровь впервые с выздоровления прихлынула к дальним уголкам тела, источенным бледной немочью. Она бы смешалась и, возможно, даже сдалась, если бы годами не готовила себя к этой встрече. Ибо в словах Лотара было много правды. Однако Элиза

всегда знала, что ей предстоит схватка с очень сильным противником.

— Вы не разорены, — сказала она. — Одно моё слово, и вам вернут долг вместе с процентами.

— Умоляю, не продолжайте. Вы думаете, моя голова так же пуста? — Лотар пнул сундук, и тот загудел, как барабан. — Я знал, что вы не приедете в Лейпциг, покуда не сможете предложить мне выбор между гибелью и избавлением. Полагаю, вы придумали некую весьма хитроумную комбинацию. В ваши лета я такие обожал. Однако я не в ваших летах.

— Конечно, я знаю, что вы перешли от денег к алхимии…

— Вы так уверены? И, полагаю, у вас есть некая приманка, чтобы поболтать ею у меня перед носом, что-то, связанное с Соломоновым золотом?

То, что Лотар предвосхитил её слова, смутило Элизу, тем не менее она продолжила:

— Я знаю, где оно и у кого. Если вы стремитесь к нему…

— Я стремился победить смерть, несправедливо унёсшую моих братьев, — сказал Лотар фон Хакльгебер. — Это общее стремление. Большинство людей рано или поздно смиряется с мыслью о смерти. Если я долго не мог её принять,

то лишь из-за пакта, заключённого моей семьёй с Енохом Роотом. Чтобы жить среди людей, он должен был носить личины и менять их, прежде чем окружающие заметят его живучесть. Отец мой знал про Еноха — в малой степени понимал, кто он, — и заключил с ним соглашение. Отец объявил Еноха давно пропавшим родственником по имени Эгон фон Хакльгебер и разрешил тому прожить в нашем доме несколько десятилетий, а за это «Эгон» взялся обучать его трёх сыновей. Я был самым сообразительным и понял, что Енох не такой, как мы. Я думал, что он открыл некий алхимический рецепт, дающий вечную жизнь. Догадка резонная, но ошибочная. Так или иначе, она до последнего времени разжигала мой интерес к алхимии.

— И что же потушило пламя?

— Я усыновил ребёнка.

— Ой!

— Знаю, это банально. Победить смерть или уверить себя, что победил её, заведя ребёнка. Однако раньше я такого не мог. Оспа, сгубившая моих братьев, лишила меня возможности оплодотворить женщину. Я не буду говорить, что двигало мной, когда я увозил мальчика из приюта под Версалем, куда вы его поместили. То были,

как вы догадались, низкие побуждения. Я не собирался к нему привязываться. Я не собирался даже оставлять его в доме. Однако случилось и то, и другое; сначала я оставил его у себя, потом полюбил. Со временем ум мой стал реже и реже обращаться к алхимии и к утраченному золоту Соломона. Я не думал о нём полгода, пока вы сейчас не напомнили.

— Что ж, тогда при всех наших расхождениях мы одинаково считаем алхимию глупостью.

— О, я отнюдь не считаю её глупостью. — Лотар поднял изъеденные оспой дуги, из которых когда-то торчали брови. — Я лишь сказал, что больше о ней не думаю. Я готов умереть. И мне почти всё равно, умру я в богатстве или в бедности. Однако вы всерьёз обманываетесь, если полагаете, что сможете забрать у меня Иоганна. Вот уж воистину будет кража — вы разобьёте его сердце, а вместе и своё.

— Я не обманываюсь. Я знаю это, знаю с тех пор, как услышала от доктора, что мальчик живёт у вас на положении сына.

Элиза обернулась к Лейбницу за подтверждением, но доктор, видимо, несколько минут назад тихонько увёл Каролину в другой конец двора, чтобы Элиза и Лотар поговорили без помех.

— Сына и *единственного наследника,* — поправил Лотар, — хотя вследствие ваших махинаций я не смогу оставить ему ничего, кроме долгов.

— Дело поправимое.

— Так почему вы его не поправите? Чего вы хотите? Зачем вы здесь?

— Чтобы увидеть его. Взять на руки.

— Сколько угодно! Никаких возражений! Да хоть переселяйтесь ко мне навсегда. Но вы не можете его забрать.

— Не вам диктовать мне условия.

— Глупая девчонка! Это не мои условия, а законы мира. Вы не можете признать перед миром, что родили внебрачное дитя. Вы даже мальчику признаться не сможете, по крайней мере, пока он не дорастёт до такого разговора. Заберите его и отдайте иезуитам, чтобы он стал священником и осуждал мать за грехи. Или оставьте на моём попечении и навещайте, когда захотите. Через год-два он достаточно подрастёт, чтобы гостить у вас во Франции инкогнито, если вы того пожелаете. Он будет бароном и банкиром, человеком благородного звания, протестантом и образованнейшим юношей Лейпцига; но он никогда не будет вашим.

— Знаю. Знаю всё — уже много лет.

Изуродованное лицо Лотара всегда было нелегко читать; сейчас он был то ли вне себя, то ли изумлён.

— Надо же; менее всего я ожидал увидеть вас в таком смешении мыслей.

— Не ожидали? Как нелогично с вашей стороны. Смешение мыслей, говорите… однако *вы* забрали мальчика — не из любви к нему, а из ненависти ко мне и тяги к алхимическому золоту — только чтобы полностью перемениться!

Лотар пожал плечами:

— Может быть, это и есть настоящая алхимия.

— Если бы та же алхимия наполнила меня тем же удовлетворением, что наполняет вас!

— Извольте, — сказал Лотар. — Похищение золота Бонанцы наполнило меня мстительным гневом, долгое время не дававшим мне покоя ни днём, ни ночью. Я хотел, чтобы вы пострадали так же, как я, ощутили всю меру моего озлобления. Тогда вы принялись уничтожать меня, умно и планомерно, на протяжении лет. Вы обратили против меня мою алчность. И если я кажусь вам удовлетворённым, ладно, одна из причин в том, что у меня есть сын. Однако вторая причина в вас, Элиза, в вашем барочном гневе, бушевавшем так долго и проявившем себя столь барочно. Вы

показали, обнаружили то, что я некогда испытывал; из чего я заключаю, что попал в цель и между нами возникла искра.

— Хорошо, довольно об этом. Есть ли у вас, Лотар, свободная конторка, за которой я могу написать письмо?

Лотар развёл руками, словно вручая Элизе весь дом.

— Выбирайте, сударыня.

Элиза не заметила бы хлысторукого, если бы не жест Лотара, до того бесшумно рослый калека прокрался во двор. Однако так вышло, что она повернулась на каблуках, обозревая окрестности, и краем глаза увидела, что к свалке товаров прибавилось нечто новое: высокий бородач, который в этот самый миг выступил из-за ящика. Он по-прежнему сжимал длинную палку, но теперь на её конце белел отточенный наконечник. Руку с гарпуном пришлец занёс над плечом и целил остриём Лотару в сердце.

Сейчас Элиза, всего два часа назад учившая Каролину примечать и увязывать события, наконец-то последовала своему совету. Неизвестно, сколько времени потребовалось бы ей, чтобы узнать в Хлысторуком Евгения-раскольника, не появись тот с гарпуном, чтобы убить Лотара. Она

вспомнила, что видела его с Джеком в Амстердаме и даже позаимствовала его гарпун, чтобы сгоряча метнуть в Джека. Евгений мог стать членом Джековой шайки. Возможно, он откололся от остальных и зачем-то прибыл в Европу. Следя за Элизой, Евгений оказался в Лейпциге у ворот человека, которого считал худшим Джековым врагом. И сейчас был в нескольких мгновениях от того, что совершил бы на его месте любой стоящий пират.

Потрясание гарпуном оказалось лишь первым этапом некой сложной комбинации, требовавшей пробежать несколько шагов к жертве. При этом Евгений выставил вперёд культю, снабжённую чем-то вроде ядра на палке — противовесом, чтобы усилить бросок. Элиза боком двинулась к Лотару, надеясь встать между ним и гарпуном, чтобы остановить Евгения. Взгляд раскольника переместился с Лотара на неё.

И тут из темноты галереи вылетел кто-то маленький. Он с разбегу заскочил на сундук рядом с Лотаром и оттуда на балюстраду. На его крошечный лук уже была наложена стрела; пока Евгений крался через двор, Иоганн следил за ним, прикидывая, откуда выстрелить. Элиза, увидев его проносящимся мимо, сменила курс и протя-

нула обе руки, но мальчик со скоростью щелчка пальцами натянул и спустил тетиву. Тупая стрела угодила Евгению в глаз, когда тот уже выгнулся для броска. Противовес рухнул молотом Тора. Тело судорожно дёрнулось вперёд. Рука щёлкнула, как кнут. Гарпун вылетел, просвистел мимо Лотарова плеча и вонзился в конторку у него за спиной. Лотар с размаху сел на сундук. Элиза, не успев затормозить, налетела на Иоганна и сбила его с балюстрады; он свалился на пыльную брусчатку и превратился в одну сплошную ссадину. Евгений рухнул на колени. Элиза, врезавшись в перила животом, рыбкой перелетела во двор и еле успела подставить руки.

Она, Евгений и Иоганн образовали правильный треугольник со стороной фута два. Лотар остолбенело взирал со своего трона. Иоганн часто дышал, собираясь удариться в рёв. Элиза, только что избежавшая смерти от оспы, оправилась быстрее других и первой вскочила на ноги. Она шагнула к Евгению. Русского она не знала и сомневалась, что Евгений понимает французский. Однако если он был галерником в Алжире, то должен знать сабир. Поэтому Элиза выскребла из давно не посещаемых уголков памяти остатки этого языка и сказала — так тихо, что не слышал

никто, кроме Евгения:

— Если ты верен Джеку, то знай, что этот человек вам больше не враг. Отправляйся в Версаль и метни гарпун в отца Эдуарда де Жекса.

Евгений кивнул, встал и поднялся на галерею, чтобы вытащить орудие своего труда из орудия труда Лотара. Зубья застряли так крепко, что извлечь гарпун можно было, лишь разнеся полконторки — задача, не составившая труда для Евгения с его силищей и ядром вместо руки. Хруст и треск, которых хватило бы на целую армию мародёров, уложились в исключительно малый промежуток времени. Наконец Евгений выпрямился, держа в одной руке наконечник, а под мышкой другой — древко. Затем повернулся к Лотару, отвесил учтивый полупоклон и вышел из Дома Золотого Меркурия, лишь раз подняв голову, чтобы сориентироваться по солнцу.

— Кто это был?! — воскликнул Лейбниц, подходя. Они с Каролиной пропустили атаку, но услышали, как Евгений крушит конторку.

Элиза держала Иоганна на руках; он проорался и теперь испуганно молчал.

— Мой дорогой доктор, — отвечала она. — Если я буду объяснять каждую мелочь, то надоем вам, и вы перестанете писать мне такие очарователь-

ные письма.

— Я просто хотел бы знать из соображений практических, преследуют ли вас другие великаны-гарпунщики.

— Насколько я знаю, он такой один. Его зовут Евгений-раскольник.

— Что такое «раскольник»?

— Как я уже сказала, если всё объяснять…

— Хорошо, хорошо, не надо.

> Часто не спит наше сердце, когда мы спим, и Господь может говорить с ним, словами ли, притчами ли, знаками или иносказаниями, как и в бодрственном состоянии.
>
> ***Джон Беньян, «Путь паломника»***

Элиза отыскала дряхлую конторку, выброшенную на двор умирать. От дождей доски потрескались и покоробились, ящики выдвигались с трудом. Однако здесь светило солнце, по которому Элизина кожа успела стосковаться. Из другой конторки Элиза вытащила лист бумаги, а в недрах этой добыла чернильницу. Пробка присохла так, что пришлось стилетом счищать засохшие чернила, а потом уже её выковыривать. Чернила внутри загустели. Элиза разбавила их

слюной и набрала немного на кончик пера.

Лейбниц и Каролина сидели на ящиках и выводили мораль.

— Тактика, — сказал доктор, — это то, что выстраивала герцогиня Аркашонская; барон фон Хакльгебер принёс тактику в жертву стратегии.

— Кто выиграл? — спросила Каролина.

— Ни тот, ни другая, — отвечал Лейбниц, — ибо и чистая стратегия, и чистая тактика недостаточно мудры для принца или принцессы. Возможно, в выигрыше окажется маленький Иоганн Жан-Жак фон Хакльгебер.

— Дай-то Бог, — сказала Каролина, — а то бедняжке досталось самое уродливое имя, какое мне доводилось слышать.

Элиза – Жану Бару
4 май 1694

Капитан Бар!

Мой дражайший друг господин граф де Понтшартрен как *генеральный контролёр* финансов обладает и будет обладать бесчисленными возможностями направить королевские доходы угодным ему способом, так что, думаю, я не нанесу ему большого ущерба, если посоветую Вам прибыть с сокровищами в Дьепп, чтобы королевский долг Дому фон Хакльгебера был наконец погашен. Франции трудно защищать свои интересы за рубежом, покуда её репутация в глазах иностранцев нехороша; возвращение даже одного долга в значительной степени улучшит обстановку. Немецкие и швейцарские банкиры по большей части уже покинули Лион, но это не мешает совершить платёж по более современным каналам, быть может, через Париж. Дело, возможно, ускорится, если Вы намекнёте чиновнику в Дьеппе на такую возможность.

Благодарю Вас, что Вы посоветовались со мной в этом вопросе. Знайте же, что одним из бене-

фициаров будет Ваш исчезнувший крестник, который сейчас подкрадывается ко мне сзади с луком и стрелами, словно маленький чумазый Купидон.

Элиза

— Что вы делаете, мадам?

— Заканчиваю письмо. — Она посыпала лист песком, чтобы убрать излишек чернил.

— Кому?

— Самому прославленному и отчаянному пирату в мире, — отвечала Элиза будничным тоном. Она ссыпала песок на землю, сложила письмо и начала рыться в ящиках, ища воск.

— А вы его знаете?

Орудуя бумагой, как совком, Элиза нагребла со дна ящика несколько комочков воска.

— Да. И он тебя знает. Он держал тебя на крестинах!

Иоганн фон Хакльгебер, естественно, захотел узнать больше, чего и добивалась Элиза. Он шёл за ней, как индеец-следопыт, по пустым комнатам Дома Хакльгебера, осыпая не стрелами, а вопросами, покуда она искала ложку, свечу, огонь. В ложку Элиза ссыпала крошки воска, добытые в ящике: по большей части красные, но несколько чёрных и естественного воскового

цвета. Кусочки внизу расплавились быстро, те, что наверху, упорно сохраняли форму — сходство с оспенными пузырьками было Элизе очевидно.

— Когда воск, или золото, или серебро растекаются от огня, мы говорим, что они плавятся, — сказала она сыну, — а когда они сливаются, называем это смешеньем.

— Папа иногда говорит, что я смешался.

— Со всеми нами так бывает, — отвечала Элиза. — Смешенье — род наваждения, когда то, что мы якобы понимаем, утрачивает очертания и перетекает во что-то иное, имеющее, возможно, другую внешнюю форму, но ту же внутреннюю природу.

Она встряхнула ложку, и куски, плававшие наверху — те, что превратились в мешочки жидкого воска, удерживаемые поверхностным натяжением, — лопнули, выпустив лёгкий аромат давно увядших цветов, с которых пчёлы некогда собирали свою дань. Он был куда слаще характерного оспенного душка, который Элиза надеялась больше никогда не услышать, хотя и улавливала время от времени, пока шла по городу.

Прежде чем красное и чёрное окончательно смешались, она вылила ложку на бумагу и оттиснула кольцо. Печать получилась красная с

чёрными и светлыми прожилками, очень красивая. Элизе подумалось, что, может быть, она только что создала новую придворную моду.

Лотар нашёл человека, который согласился отвезти письмо в Йену и передать там другим гонцам, которые доставят его дальше. Посыльный ждал перед воротами с одной осёдланной лошадью и одной сменной. Элиза вручила ему письмо и пожелала счастливого пути. Посыльный вскочил в седло и без лишних слов рысью двинулся по улице. На главной площади он развернул лошадь к западным воротам и галопом скрылся из глаз. Множество любопытных провожали его взглядами из окон торговых домов. Начали открываться двери; из одной, натягивая парик, вышел какой-то господин. Он зашагал к Дому Золотого Меркурия, надеясь получить от Лотара какие-нибудь разъяснения, и не успел добраться до ворот, как его нагнали ещё двое. Все три господина вежливо приветствовали Элизу. Она ответила каждому реверансом, но в дом не пошла, а осталась смотреть, как распространяется новость, и слушать нарастающий гул, с которым Лейпциг возвращается к жизни.

Книга 4
Бонанца

Южные окраины Могольской империи
Конец 1696

О некоторых народах мы говорим, что они ленивы, однако довольно сказать, что они бедны. Бедность есть основа всякого рода праздности.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

Озеро жёлтой пыли колыхалось у основания неких кишащих змеями гор далеко на западе. На восток оно простиралось до горизонта; если бы вы отправились в ту сторону и не сгинули в прибрежных болотах, то достигли бы Бенгальского залива. На севере лежала местность, которую отличала от этой одна малость: там находились богатейшие алмазные копи мира. Ею повелевал любимый племянник Аурангзеба — Властитель Праведной Резни. К югу высились холмы и горы, неподвластные сейчас никому, даже маратхам, засевшим в немногочисленных крепостях. Дальше, на самой оконечности Индостана, раскинулся Малабар.

Две бамбуковых треноги поддерживали брус,

перекинутый через крохотную ранку в пыльной земле. Брус был отполирован верёвкой, скользившей по нему дни напролёт. На конце верёвки, уходящем в колодец, болталась бадья, другой конец был привязан к ярму на тощей холке буйвола. За буйволом располагался тощий человек с палкой. Буйвол трусил вокруг колодца. Время от времени он нагло останавливался и тыкался мордой в пыль, делая вид, будто отыскал там что-то съедобное. Человек заводил с ним разговор. Сначала тон был обычный, затем плаксивый, затем молящий, затем раздражённый и, наконец, гневный. Тут человек пускал в ход палку, и буйвол проходил несколько шагов.

Когда верёвка кончалась, это значило, что бадья вытащена. Человек с палкой что-то кричал двум юношам, прохлаждавшимся в тени бурого вала, который окружал колодец, придавая ему сходство с исполинским коричневым соском. Юноши неторопливо вставали, перелезали через вал, брались за бадью, наклоняли её и выплёскивали на землю несколько галлонов воды. Вода отправлялась на безнадёжные поиски ближайшего океана. Буйвол поворачивал и шёл в обратную сторону.

Все эти люди называли себя словом, которое

на их языке означало «народ». Опрокидыватели бадьи принадлежали к одной касте, погонщик — к другой, но все трое могли проследить свою родословную на сто поколений назад, к общему первопредку. Даже если бы Меч Божественного Огня ничего не слышал о Народе, он бы всё узнал, следуя за водой. За тысячи лет ежечасного опрокидывания бадьи вода прорыла в пыли извилистую канаву. Она змеилась в восточном направлении к растресканному солончаку, посреди которого располагалась знаменитая на всю округу Большая яма и прочие чудеса цивилизации. На значительном протяжении канавы взрослый легко её перешагивал. Кое-где приходилось прыгать, а в одном месте прыжок требовал разбега. Короче, у местных детишек никогда не было недостатка в забавах.

По обеим берегам земля была зелёной примерно на расстояние вытянутой руки, а дальше пустыня снова брала своё. С высоты вала у колодца это выглядело так, будто некое индуистское божество макнуло перо в зелёные чернила и бездумно провело им по чистому пергаменту — приблизительно так и верил Народ. Человек, правивший этими людьми последние два года и двести сорок восемь дней, смеялся над их верой,

но поскольку она поддерживала Народ в разнообразных сложных обстоятельствах последние примерно две тысячи лет, вынужден был признать, что она не хуже любой другой религии.

Ещё Народ верил, что то же божество разделило канаву (длиной примерно две тысячи шагов) между пятью дочерями первопредка, а также повелело, что на каком отрезке выращивать. Пять областей продолжали дробиться по мере того, как пять каст, вышедших из лона пяти дочерей, делились на роды, которые возвышались либо опускались в результате браков с группами, почитавшимися соответственно более высокими или более низкими, а некоторые и вовсе деградировали из-за отсутствия свежей крови. Так что теперь каждый из двух тысяч шагов по обе стороны канавы кому-нибудь да принадлежал.

Почти все эти кто-то, в цветастых нарядах, сидели на корточках плечом к плечу у своих крохотных наделов, образуя две сплошные цепочки от колодца до Большой ямы. Меч Божественного Огня явился с ежемесячной инспекцией.

Меч Божественного огня восседал на осле. Его адъютанты, телохранители и слуги шли пешком, за исключением двух верховых *соваров* и *заминдара* в паланкине.

— Прекрасно, — сказал Меч Божественного Огня. — То есть всё точно как в прошлый и позапрошлый раз.

Человек в паланкине перевёл его слова на маратхский и спросил:

— Так, может, осмотрим Большую яму и домой?

— Большая яма подождёт. Прежде мы осмотрим нашу картошку, — сказал Меч Божественного Огня.

Заявление, едва его перевели на маратхский, вызвало очень подозрительные перешёптывания среди помощников, придворных, прихлебателей и *худ-кашт,* то есть старейшин различных сегментов Канавы. Меч Божественного Огня несколько раз ударил осла пятками по бокам и двинулся вдоль Четвёртой излучины Третьей части Канавы. *Заминдар* вскорости его нагнал; пыль под ногами носильщиков взметалась клубами, распускалась, как цветы, и медленно оседала в неподвижном воздухе.

— Картошка вашего величества вряд ли сильно изменилась с последнего посещения. С другой стороны, из весьма надёжных источников мне стало известно, что Большая яма за это время стала не только глубже, но ещё и шире.

— Мы осмотрим нашу картошку, — упрямо отвечал правитель.

Они явно приближались к искомой грядке: у крестьянских парней, трудившихся тут, были длинные носы и вытянутые головы, отличавшие племя Четвёртой излучины от других, менее чтимых каст левого берега Третьей части. Только на прошлой неделе один из них стал неприкасаемым за то, что «перепрыгнул через канаву», то есть переспал с правобережной девкой.

— Чем одна картофелина отличается от другой? — философски вопросил *заминдар*.

— По сути, ничем, — но в нашем *джагире* другой нет!

— И всё же — если, допустим, в определённый день у вас на тарелке материализуется некая картофелина, так ли важна её предыстория?

— Ты сборщик податей, а не философ. Помни своё место.

— Простите, ваше величество, но мы *философствовали*, когда прадед Аристотеля бил камнем о камень.

— И куда это вас завело?

Впереди показался Плоский бурый камень, который, вместе с Маленьким серым валуном, отстоящим от него примерно на сто ярдов, со-

ставлял практически весь здешний рельеф. Четвёртая излучина как раз его огибала. Жители излучины Плоского бурого камня считались лучшими огородниками Народа; холодными ночами они сидели на капусте, как курицы на яйцах, согревая кочаны собственным теплом. В обычных условиях они бы повернули голову, чтобы с гордостью улыбнуться монарху. Однако сейчас они сидели на корточках, ссутулясь, спиной к нему, и прятали глаза. Меч Божественного Огня не мог понять причину, пока не увидел зазор в человеческой цепочке. Как ни плотно сидели люди, они потеснились, образовав просвет фута в два, и продолжали отодвигаться дальше. Посредине разрыва худая женщина в ветхом платье склонилась над мёртвым растением.

Меч Божественного Огня отреагировал коротко и непечатно. Женщина сжалась, как будто он ударил её плетью. Следом прозвучал вопрос:

— Что сталось с нашей картошкой?

— Государь, я провёл расследование, как только мне доложили о случившемся. *Худ-кашта* Четвёртой излучины понёс суровое наказание. Я окольными путями обратился к Владыке Праведной Резни и к Шамбхаджи, дабы выяснить, нельзя ли купить у них новую картофелину…

— Выбрось из головы! Откуда возьмутся деньги? Нам буйвола кормить нечем.

— Если отложить приобретение новой верёвки…

— Старую связывали столько раз, что она превратилась в один сплошной узел! И вообще! Прах меня побери! Шамбхаджи! Меня отправили сюда, чтобы с ним воевать!

— Но вы уже который год не ведёте против него боевых действий.

— Как не веду?! Я взял в осаду его крепость!

— Вы зовёте это осадой, другие назвали бы затянувшимся пикником.

— Так или иначе, Шамбхаджи — наш враг.

— В Индии нет ничего невозможного.

— Тогда где моя картошка?!

Молчание. Женщина простёрлась ниц и принялась молить о пощаде.

— Час от часу не легче. Теперь она, наверное, устроит самосожжение или что-нибудь в таком роде, — пробормотал монарх. — Что показало расследование?

— Возможно, имела место диверсия.

— Со стороны правобережных, полагаю?

— Месть за многочисленные перепрыгивания канавы.

— Ладно, я не хочу затевать войну, — задумчиво произнёс Меч Божественного Огня. — Не то следующей станет моя брюква.

— С правобережных станется, они немногим лучше обезьян.

— Скажи, что я сам виноват.

— Простите, государь?

— Карма. Я косо посмотрел на корову или вроде того. Сочини какую-нибудь ахинею. Ты ведь хорошо это умеешь.

— Воистину, вы — мудрейший из всех, кто правил этой землёй.

— Да, жаль, что мой срок истекает через четыре месяца.

Через полчаса Меч Божественного Огня слез с ослика, а его *заминдар* вышел из паланкина. Оба встали над Большой ямой, куда стекала вся вода, добравшаяся от колодца. Местные члены касты *коли* привозили на арбах сухую чёрную грязь из копей в других частях *джагира* и высыпали в яму. Затем жижу месили палками, воду сверху собирали и заливали в горшки. Их кипятили на костре из дров, добытых в горах членами местной касты дровосеков. Когда содержимое упаривалось, его выливали на глиняные лотки и оставляли на солнце. Через некоторое время на

лотках оставался белый порошок…

— Кто это такой в балахоне и почему он ест мою селитру? — вопросил Меч Божественного Огня, глядя из-под руки на лотки.

Все повернулись и увидели, что некто в длинном серовато-белом одеянии — не то монашеской рясе, не то арабской джеллабе — пробует на язык пригоршню селитряной рапы, зачерпнутой с одного из лотков. Лицо неизвестного скрывал капюшон, натянутый от солнца.

Два *совара* и три пеших лучника — примерно половина монаршей гвардии — затрусили к нему, на ходу вытаскивая оружие. Однако у человека в балахоне тоже имелись телохранители — двое всадников, — которые выехали и встали с флангов. У обоих были мушкеты.

— Государь, это представляется покушением, спланированным лучше обычного, — сказал *заминдар,* спрыгивая с паланкина и доставая собственный мушкет. — Не соблаговолите ли спрятаться в Большую яму?

Правитель здешних мест достал из одежды пистоль и проверил, есть ли на полке порох.

— Сие не отождествляется мною с покушением, — заметил он. — Может быть, это бродячие торговцы картошкой.

Меч Божественного Огня дал ослику шенкелей и проехал между своими телохранителями, замершими при виде мушкетов.

Он удивился — хотя и не очень сильно — увидев рыжую бороду. Гость отбросил капюшон, явив взглядам водопад седых волос, потом сплюнул селитру на землю и облизнул губы с видом знатока вин.

— Боюсь, здесь слишком много того, что годится в качестве балласта для корабля, но никак не для пороха.

— Занятно, Енох, что ты упомянул балласт. Возможно, он мне скоро понадобится.

— Знаю, — отвечал Енох Роот. — К несчастью, многие другие в христианском мире тоже это знают, Джек.

— Досадно. Я потратил большие средства на писца, который умеет шифровать.

— Шифр взломан.

— Как Элиза?

— Герцогиня в двух странах.

— Известно ей, что я монарх в одной?

— Она знает всё, что я знал перед отъездом. А именно, что ходят слухи о некоем христианском колдуне, который несколько лет назад направлялся с караваном в Дели. Караван атаковали

маратхи на слонах. Они брали верх, пока не стемнело, и слонов не обратил в панику холодный огонь, что окутывал, но не сжигал коней и всадников каравана. Торговцы благополучно достигли Дели, и Великий Могол Аурангзеб, по обычаю, возвёл победителя в ранг эмира и наградил *джагиром* на три года.

— Поэтому ты решил приехать и посмотреть, кто так злоупотребляет твоими алхимическими познаниями?

— Я приехал по многим причинам, Джек, но этой в их числе не было… я знал, кто колдун.

— Ты привёз то, о чём я просил?

— Об этом мы поговорим позже, — осторожно произнёс Енох. — Зато я привёз два предмета, которые ты забыл попросить, хотя следовало бы.

— Хм, дай-ка подумать… я люблю загадки… новую елду и бочонок доброго пива?

— Я тоже люблю загадки, Джек, но ненавижу игру в отгадки. Можем ли мы отыскать место, которое не было бы таким… — тут Енох Роот обвёл взглядом стомильное пространство между горами и прибрежными болотами, — …открытым?

Джек рассмеялся:

— Если ты хочешь уединения, ты выбрал неправильную часть света.

— Так ты говоришь… и всё же здесь есть больше, чем видится на первый взгляд, — сказал Енох Роот, пристально глядя на Джека.

Джек подъехал к *заминдару*.

— Этот господин — покупатель селитры из Амстердама.

— Вы никого лучше не нашли?! — изумился Сурендранат.

— Пока сойдёт и такой. Я покажу ему копи. *Худ-каштам* скажи, чтобы расходились с миром. Картофельницу пусть не наказывают. Встретимся вечером в моём дворце, если крышу снова не сдует. Если сдует, то под деревом.

— Государь, копи расположены в дикой и опасной *пергане*, кишащей душителями. Вы точно не хотите, чтобы я отправил с вами *соваров?*

Джек взглянул на двух всадников, приехавших с Енохом Роотом.

— Что ты о них думаешь?

— Наёмники. Судя по цвету кожи — пуштуны.

— Я тоже так думал, пока не пригляделся. Скорее это загорелые христиане. Им не больше двадцати, но они выглядят закалёнными воинами и бестрепетно выдержали мой взгляд.

— Мушкеты держат умело, — признал *заминдар*.

— Они добрались сюда из самого христианского мира…

— Но, может быть, это остатки целого полка.

— Уверен, с ними мне ничто не грозит, — сказал Джек.

— ЭТО ЗА МАМКУ! — крикнул один.

— Она и *моя* мамка, так что двинь ему ещё!

Большой окровавленный кулак стремительно заполнил Джеково поле зрения. Посыпались искры, шея отчётливо хрустнула.

— Слабовато, Джимми, ты можешь лучше! — крикнул второй, отодвигая первого плечом. — Дай-ка я! Вот! И вот! За покойницу-матушку!

Внезапно оба выросли футов на шесть — или Джек оказался на земле. Тот, которого называли Джимми, изготовился для пинка.

— Это за то, что заставил нас тащиться к чёрту на кулички, чтобы навалять тебе по сусалам!

Енох нервно маячил на заднем плане, убеждая их остановиться или хотя бы сбавить темп, но они не слышали.

— Это тебе за дурость!

— Нельзя ли поконкретнее? — спросил Джек (знавший по опыту, что в таких обстоятельствах шутка порой творит чудеса). Однако получилось невнятное бормотание, поскольку губы склеива-

лись, стоило им оказаться рядом, и так раздулись, что оказывались рядом постоянно. Впрочем, тот, которого называли Джимми, как-то понял. Брови у него поползли вверх.

— Поконкретнее? Дэнни, он хочет, чтобы мы были поконкретнее!

Джек встал на четвереньки, потом на ноги. Пока он лежит, его будут пинать — уж пусть лучше бьют в морду, меньше покалечат.

— Это *конкретно* за то, что спутался с другой, когда матушка ещё не остыла в могиле!

— Это *конкретно* за то, что сменял французские брякушки на чёртову прорву хлама!

Джек рухнул спиной в заросли бамбука, а Джимми и Дэнни — возможно, опасаясь кобр — за ним не последовали. Они стояли, переводя дух. В первый раз с тех пор, как Джимми выбил его из седла, Джек вспомнил, что вооружён янычарской саблей, которой неплохо умеет орудовать; однако кто же станет рубить свою плоть и кровь? Вместо этого он тихонько вытащил саблю из ножен и легко срезал бамбуковый стебель толщиной в свою руку. Потом, волоча его за собой, выступил из зарослей.

— Силы тьмы! — воскликнул Джек, вглядываясь правым (не заплывшим) глазом куда-то

вдаль. — Не пойму, это слон наяривает верблюда в задницу или наоборот?

Джимми и Дэнни обернулись посмотреть. Джек выставил бамбучину, как пику, и ткнул Джимми в левую почку, так что тот рухнул, схватившись обеими руками за поясницу. Дэнни повернулся взглянуть, чего это Джимми вопит. Джек поддел его бамбучиной под колено, и тот полетел вверх тормашками; как раз когда ноги Дэнни растопырились в воздухе, Джек аккуратно опустил палку. Промахнуться было невозможно.

Воцарилась тишина, нарушаемая лишь пением экзотических птиц и стонами обоих молодчиков.

— Енох, если ты любезно приглядишь за змеями, душителями и вражескими полчищами, я скажу мальчикам пару слов.

— Охотно, только, пожалуйста, будь краток.

— Итак, Джимми и Дэнни. Спасибо, что проделали такой путь, чтобы повидаться с папенькой. Вероятно, вы думаете, будто я сержусь, что вы наваляли мне по сусалам. Но, по правде сказать, невелика печаль. И я не в претензии, что вы получились ирландцами. Меня рядом не было, чтобы англичанами вас вырастить. Ладно, это дело поправимое. Но мне не понравились ваши

слова… как там?.. «чёртова прорва хлама». Вы меня недооцениваете, ребята. Согласен, на то есть причины: вы отца первый раз видите, а родня Марии-Долорес валила на меня как на покойника. Поймите, когда я отправлялся в торговую экспедицию — десять или пятнадцать лет назад, — я думал о вашем благе. И сейчас думаю, просто я ещё не закончил. Мне пришлось похищать всякие сокровища, убивать всяких герцогов, сбегать от всяких пиратов. Однако плаванье не завершено, покуда корабль не бросит якорь в Лондоне или Амстердаме, а вы должны признать, что мы чертовски далеко оттуда!

Дэнни первым встал на ноги. По-прежнему согнувшись пополам, он отыскал в зарослях руку Джимми и попытался того поднять.

— Ну, Шеймус, мы своё дело сделали, можно двигать назад к Уайтчепелу.

— Как хотите, — заметил Джек, — но если вы немного потерпите, я обеспечу вас средством передвижения.

— Шахджаханабад — гнездо аспидов, — заметил Джек на следующий день, когда они ехали через лесистые холмы в юго-восточную область его владений. — Почти все эмиры отправляются туда и увязают в кознях других эмиров, не говоря

уже о различных придворных, наложницах, евнухах, баньянах, брахманах, факирах различных индуистских сект, шпионах диких азиатских стран на северо-западе, агентах Французской, Голландской и Английской Ост-Индских компаний и вообще всех, кто случился рядом. У Аурангзеба великолепный дворец, который он отнял у папаши и братцев. Так что, как видите, ребята, не вы первые в Индии нарушили четвёртую заповедь.

— «Помни день субботний»? — изумлённо процитировал Джимми.

— Простите, я имел в виду седьмую.

— «Не прелюбы сотвори»? — хором переспросили Джимми и Дэнни.

— Его величество хотел сказать «пятую»: «Чти отца и мать»! — крикнул Енох Роот, который вместе с Сурендранатом отставал всё дальше и дальше, но по-прежнему слышал весь разговор.

Дэнни прочистил горло:

— Для того-то мы сюда и добирались — чтобы мать почтить. Просто для этого надо было поквитаться с отцом.

— Ну всё, поквитались, — сказал Джек, указывая на своё распухшее лицо, — и молчите. Я пытаюсь вас образовать. Пока мы не углубились в *богословский* спор, я рассказывал о дворце Вели-

кого Могола в Шахджаханабаде на окраине Дели. Он стоит в пойме реки, и на этой пойме Великий Могол устраивает потешные бои между армиями из сотен слонов и не меньшего количества коней и верблюдов. Расходы на один только корм для слонов чудовищны.

— Едем туда! Я должен на это посмотреть! — воскликнул Джимми, сияя глазами.

— Вот дурья башка! — сказал Дэнни. — Не видишь, что он рисует картину восточных излишеств?

— Вижу не хуже, чем харю твою уродскую! Но я не для того сюда тащился, чтобы вздуть батьку и домой! Я бы охотно глянул одним глазком на восточные излишества, если твоё святейшество не возражает.

— Вы увидите восточные излишества и много чего ещё, если немного помолчите — но не увидите их в *моей* стране. Потому как я вот к чему веду. Среди эмиров есть несколько христианских артиллеристов — дезертиров из армий короля Луя или императора Священной Римской империи. Аурангзебу они нужны, потому что знают аль-джебру — это такое математическое колдовство, которое нам хватило ума спереть у арабов. При помощи аль-джебры они могут предсказать,

где упадёт ядро, а это в сражении дело полезное. Соответственно, Аурангзебу без них никак.

— А ты-то, папань, тут при чём? Ты ж не отличишь аль-джебру от абракадабры! — спросил Дэнни.

— В безумных фантазиях Великого Могола я просто ещё один франкский чародей. И, значит, сейчас я мог бы возлежать в Шахджаханабаде на шёлковых подушках, пока какая-нибудь индусская краля нежила бы мои чакры. А вместо этого я здесь! — Тут Джек порадовался, что его то и дело перебивали, поскольку всё получилось, как в хорошем спектакле: он выехал на голую вершину холма и описал рукой широкую дугу. — Теперь внимательно глядите на эти владения, сыны мои, ибо однажды они *не* будут вашими!

— Хрен ли тогда смотреть, мы их и так видели, — сказал Джимми. — В какой стороне Шахджаханабад?

— Как вы можете видеть, *джагир* похож на те лотки, в которых мы выпариваем селитру. Это спёкшаяся солёная глина, и всё, что на ней вырастает, немедленно съедается. Борта — холмы, окружающие его со всех сторон за исключением одного места, которое соответствует носику лотка. Там — болото, змеиный рай, ведущий к

Бенгальскому заливу.

— Прости, отец, но *раян* твоего величества продлится ещё… четыре месяца?

— Сто шестнадцать дней, считая от сегодняшнего.

— Так какой нам с Дэнни хрен?..

— Если вы помолчите десять минут кряду, я до этого доберусь, — сказал Джек, высматривая с высоты Сурендраната и Еноха, вообразивших, что они отправились в эту поездку с целью всё время останавливаться и на всё пялиться.

Едва отъехав от дворца в Бхалупуре (летней столице Джека в холмах), баньян с алхимиком углубились в беседу и вскоре утратили всякий интерес к бесконечным пререканиям трёх Шафто. Свита из сменных носильщиков, телохранителей, помощников и прочих *валлахов* растянулась между Джеком с сыновьями и Енохом с Сурендранатом; Джек едва различал ближайшего и мог лишь надеяться, что тот видит следующего. Опасность заключалась не в том, что спутники потеряются (Сурендранат знал дорогу лучше, чем Джек), и не в диких зверях (Джимми и Дэнни заверили, что Енох может за себя постоять), но в душителях из секты *тхаги*, бандитах из разбойничьей касты *дакоитов* и маратхских отрядах.

Сегодняшнее путешествие привело их на самый край метафорического лотка; от любого места здесь было не больше нескольких миль до какой-нибудь маратхской крепости.

Джек не без лёгкого удивления осознал, что Джимми с Дэнни и впрямь его слушают.

— Именно потому, что Великий Могол жалует *джагир* на строго ограниченный срок в три года, каждый эмир с первого дня правления направляет все силы на подготовку к тому времени, когда его власть кончится. Я мог бы расписывать подробности часов двенадцать, и тем из вас, кого завораживают рассказы о восточных излишествах, было бы чему подивиться. Вкратце так: есть два пути. Первый — остаться в Шахджаханабаде и плести интриги против всех и каждого в надежде через три года получить новый *джагир*.

— Второй попробую угадать, — сказал Дэнни. — Беги Шахджаханабада как чумы. Живи в своём *джагире* и дои его изо всех сил, чтобы к концу срока набрать чёртову прорву денег…

— Как английский лорд в Ирландии, — подхватил Джимми.

Джек вздохнул, шмыгнул носом и утёр слезу.

— Сыны мои, я вами горжусь.

— Так этот-то путь ты и выбрал?

— Не совсем. Доить мой *джагир* — всё равно что выжимать кровь из вяленого мяса. Мои досточтимые предшественники доили его без остановки тысячу лет. Собственно, для этого есть *заминдар*, главный сборщик податей, он и доит для того, кто сейчас у власти.

— Тот чучмек в паланкине, да?

— Сурендранат — мой *заминдар*. Его люди следят за базарами в Бхалупуре, где мы сегодня ночевали, и в Даликоте на побережье, куда мы сейчас едем. Там всё, что дают земля и море, меняют на серебро. А поскольку подать Великому Моголу я плачу серебром, больше её нигде не собрать. Подать установлена раз и навсегда. *Джагир* приносит некий скромный доход, который не увеличить никакими силами.

— Так что же ты делал все эти годы? — спросил Джимми.

— Для начала проиграл — или по крайней мере не выиграл — несколько битв с маратхами.

— Почему? Ты умеешь делать фосфор. Мог бы застращать маратхов до смерти и загнать в море.

— То были тактические поражения, Дэнни. Другие эмиры — я про интриганов в Шахджаханабаде — слышали про фосфор и считали меня опасным конкурентом. Начни я выигрывать сра-

жения, ко мне стали бы подсылать убийц. А мне хватает тех, что подсылают французы, испанцы, немцы и турки.

— А разыгрывая дурачка, ты себя обезопасил, — заключил Джимми.

— Моголы и маратхи равно хотят, чтобы я прожил ещё хотя бы сто шестнадцать дней. Не то, пока вы бы добрались сюда, чтобы меня вздуть, вашего отца уже не было бы на свете.

— Так чем ты занимался? Кроме того, что проигрывал битвы и отнимал у бедняков последние крохи?

— Тс-с! Слушайте! — сказал Джек.

Они прислушались и поначалу различили только бурчание собственных желудков и шелест ветра в кронах. Однако постепенно до их слуха донеслось: тюк-тюк-тюк.

— Лесорубы? — догадался Джимми.

— Не просто «лесо» и не просто «рубы», — сказал Джек, направляя ослика вниз по склону на стук. — Гляньте на эти деревья… нет-нет, на большие справа. Это тик.

— Что-что?

— Тик. Тик. Он растёт по всей Индии.

— И чем же он хорош?

— Я сказал: *он растёт по всей Индии*. Вдумай-

тесь, что это значит.

— Так что? Не тяни жилы. Отгадчики из нас неважные, — сказал Джимми.

Дэнни обиделся:

— За себя говори, дубина стоеросовая. Он хочет сказать, что эти деревья никто не жрёт.

— Джимми прав, — отвечал Джек. — Никакие черви, муравьи, мошки, жуки и личинки, которые рано или поздно съедают здесь *всё*, не справятся с тиковым деревом.

На поляне лежало несколько поваленных тиковых стволов, и всё равно Дэнни и Джимми четверть часа оглядывались, прежде чем поняли, где находятся. В христианском мире двое работников по щиколотку в опилках играли бы в перетягивание каната двуручной пилой на станке размером с хорошую кровать, разделывая стволы на брусья, и мечтали, как вечером отправятся домой в близлежащую деревушку. Здесь вокруг поваленных деревьев возник целый городок. На поляне, ненадолго отвоёванной у непролазной чащи, обитали сотни людей. Значительная их часть собирала хворост, готовила еду и нянчила детей. Десятка два взрослых мужчин и впрямь обрабатывали дерево, и самый большой инструмент у них в руках был чем-то вроде тес-

ла. Им орудовал внушительного вида индус лет сорока, за которым придирчиво наблюдали двое старейшин, громко комментировавших каждое движение бесценного инструмента.

Короче, селяне обрабатывали дерево, как каменотёс — глыбу, когда тот зубилом медленно отбивает от неё по кусочку. На другом конце деревни их товарищи скребли почти готовые брусья черепками и осколками камня. Впрочем, здесь были не только брусья, но разнообразно изогнутые балки.

— Видать, будет кница, — сказал Дэнни, глядя на пятисотфунтовый угол из цельного тика.

— А ты посмотри, как волокно повторяет её изгиб, — сказал Джек.

— Как будто Господь это дерево нарочно для неё создал! — воскликнул Джимми, осеняя себя крестом.

— Ага, а потом дьявол посадил его среди мильона других.

— Может, таков и был Божий замысел, — возразил Дэнни. — Чтобы испытать верных.

— Я, кажись, давно показал, что не гожусь для таких испытаний, — отвечал Джек, — но здешние *коли* — особь статья. Они будут неделями бродить в поисках подходящего дерева. Когда

какое-нибудь им глянется, заставят ребёнка залезть наверх и осмотреть место, где от ствола отходит большая ветка, потому что там волокно изгибается нужным образом и вообще древесина самая прочная и плотная. Найдут правильное дерево — срубят! А потом вся деревня перебирается к поваленному стволу на время, пока его обработают.

— А я и не думал, что индусы выходят в море, — сказал Джимми, — разве что на рыбачьих лодках.

— Эти *коли* в большинстве своём лягут в могилу, точнее, на погребальный костёр, так ни разу и не увидев солёной воды. Они всю жизнь бродят по холмам, добывая дерево для строений, паланкинов и всяких разностей. Когда я стал здешним королём, они потянулись сюда со всей Индии.

— Видать, ты хорошо платишь. А говорил, место не хлебное.

— Это из другого кармана. Я плачу им не из податей.

— Откуда ж тогда денежки? — спросил Джимми.

— Из разных источников. Узнаете всё в своё время.

— Они с тем баньяном, должно быть, огребли

чёртову прорву денег, когда провели караван в Шахджаханабад, — заметил Дэнни.

— Не только мы с баньяном, но и все наши сообщники, вернее, все те, что не попал в лапы Коттаккал, королевы малабарских пиратов.

— Ха! Вот тебе восточные излишества! — крикнул Дэнни, обращаясь к брату, который на мгновение утратил дар речи.

— Что бы вы понимали, — пробормотал Джек.

Почти два часа потребовалось, чтобы отыскать Еноха и Сурендраната на территории между владениями Джека и крепостями маратхов. Через эту неподвластную никому местность текла маленькая речка в большой долине, которую вода пробивала в чёрной земле так же медленно и терпеливо, как *коли* обтёсывают дерево.

— Надо было сразу догадаться, что мы найдём Еноха в Чёрной долине Вханатья, — сказал Джек, когда наконец заприметил алхимика внизу.

— Кто этот малый в тюрбане? — спросил Джимми, заглядывая через край обрыва.

Десятью саженями ниже Енох, стоя по колено в воде, беседовал с индусом, сидящим на корточках там, где речка была помельче.

— Я видел таких раз или два, — сказал Джек. — Он — *карнайя,* что, как я понимаю, ничего вам

не говорит.

— Очевидно, он добывает золото, — проговорил Дэнни.

Карнайя держал в руках миску и покачивал её так, что вода уносила пенную муть, оставляя чёрный речной песок.

— В христианском мире, где всё очевидно, он бы добывал золото, — отвечал Джек. — Однако здесь нет золота, и в этих краях ничто не просто.

— Значит, он моет агаты, — сказал Джимми.

— Превосходная догадка. Однако агатов тут нет. — Джек сложил ладони рупором и закричал: — Енох! До Даликота ещё ехать и ехать, а нам надо добраться засветло!

Енох на миг поднял голову и снова повернулся к *карнайе*. Джимми и Дэнни съехали с обрыва, увлекая за собой лавины земли. Вода сразу стала мутной, к большому недовольству человека с миской. Енох что-то спросил, видимо, заканчивая разговор. *Карнайя* куда-то махнул рукой. Джимми с Дэнни тем временем таращились на миску и на тяжёлые мешки, куда старатель складывал намытое.

Наконец весь караван собрался на обрыве и приготовился к марш-броску.

— Не забудьте посмотреть на компас, — посове-

товал Енох, прежде чем они тронулись.

— Я знаю, где мы, — отвечал Джек.

Однако Енох настаивал. Джек вытащил компас и открыл крышку. Прибор состоял из покрытой воском намагниченной иглы, которая плавала в плоской чашке; чтобы снять отсчёт, её надо было установить на что-нибудь твёрдое и выждать минуты две. Джек поставил компас на камень у обрыва Чёрной долины Вханатья и выждал две минуты. Потом пять. Стрелка явно указывала не на север. Джек перенёс компас на соседний камень. Стрелка повернулась в другом направлении, но снова не на север!

— Если ты хотел меня напугать, поздравляю с успехом. Давайте уносить отсюда ноги, — сказал Джек.

Джимми и Дэнни всё не могли прийти в себя после осмотра миски и мешков; одному чудилась какая-то загадка, другому какой-то подвох.

— Тёмное, тусклое и грубое, грубее некуда, — сообщил Джимми.

— Некоторые драгоценные камни до обработки так и выглядят, — сказал Джек.

— Да там один песок, не больше булавочной головки, — возразил Дэнни. — Но, Господи Исусе! Мешки тяжеленные!

Енох был почти взволнован — Джек ни разу не видел его таким.

— Ладно, Енох, — сказал Джек. — Я здесь король. Давай, выкладывай.

— Ты не король *там*. — Енох кивнул на Чёрную долину Вханатья. — И в тех краях, куда мы отправимся завтра.

Джимми и Дэнни хором фыркнули и закатили глаза. Они уже полгода путешествовали в обществе Еноха.

Джек стоял на песке, тёплый прибой накатывал на его стёртые ноги. Он смотрел, как двое индусов лучковым сверлом, как на токарном станке, вытачивают круглый колышек из малиновой древесины какого-то экзотического дерева.

— Точильщики колышков и строгальщики досок составляют две разные касты, которым настрого запрещено жениться между собой, хотя в определённый день года они едят вместе, — заметил он.

Никто не ответил, поскольку никто не слушал.

Енох, Джимми, Дэнни и Сурендранат стояли на берегу в нескольких футах от Джека, спиной к нему. С одной стороны их озарял алый свет солнца, которое (поскольку дело происходило очень близко к экватору) стремительно падало

за холмы, откуда они только что спустились. Все четверо застыли, словно фигуры на витраже. Неподвижностью сходство не ограничивалось, поскольку головы у них были запрокинуты, рты приоткрыты, глаза распахнуты, как у пастухов в холмах над Вифлеемом или у жён-мироносиц перед пустым гробом. Море разбивалось у ног и доплескивало до колен, а они не шевелились.

Они созерцали исполинскую красавицу, возлежащую на берегу. Она была цвета тиковой древесины и светилась в закатных лучах, словно железо в горне. Размерами она многократно превосходила самое высокое дерево, а значит, была составлена из множества отдельных деталей, таких, как колышек, который вытачивали рядом с Джеком, или доска, которую чуть дальше вытёсывали из исполинского бревна. Год назад они бы увидели торчащие рёбра шпангоутов и ещё не обрезанную по длине обшивку — тогда не осталось бы сомнений, что красавица собрана из частей. Однако сейчас мнилось, будто она так и выросла на берегу. Иллюзия усиливалась тем, что рисунок древесины в точности повторял каждый изгиб.

— Да, — сказал Джек, выдержав приличествующую паузу. — Порою мне кажется, её обводы

слишком прекрасны, чтобы их мог выдумать человек.

— Человек не выдумал их, а только открыл, — произнёс Енох и отважился сделать шаг вперёд. Потом снова замолк.

Джек пошёл осматривать работы дальше по берегу. По большей части там изготавливали колышки и доски. В одном месте была поставлена хижина из циновок, крытая пальмовыми листьями. Внутри трудился резчик по дереву, принадлежащий к более высокой касте; стружки устилали песчаный пол и разлетались по пляжу. Джек, прихватив Сурендраната в качестве переводчика, вошёл внутрь.

— Господи! Гляньте на неё! Нет, вы только поглядите!

Небольшая пауза, пока Джек силился отдышаться, Сурендранат переводил его слова на маратхский, двумя октавами ниже, а резчик что-то бормотал в ответ.

— Да, я вижу, что ты убрал хобот, и теперь у дамы нос как нос, за что я тебе бесконечно признателен! — воскликнул Джек, исходя сарказмом. — И уж раз я повышаю твоё самоуважение, дозволь поблагодарить за то, что ты соскоблил синюю краску. Но! Ради! Всего! Святого! Ты умеешь

считать, любезный? Ах, умеешь?! Превосходно. Тогда сделай милость, сосчитай, сколько у неё рук. Я терпеливо подожду рядом… их все враз не сочтёшь… о, замечательно! Вот и у меня столько же получилось. А теперь, любезный, будь добр, скажи, сколько рук ты видишь у меня? Поразительно! Мы снова сошлись! А как насчёт Сурендраната — сколько рук у него? Надо же, опять вышло то же число. А ты, любезный, когда ваяешь своих идолов и держишь в одной руке молоток, в другой — долото, — сколько всего выходит? Невероятно! Мы снова получили одинаковую цифру! Тогда не потрудишься ли ты объяснить, с какой стати Эта! Дама! получилась такой, какой получилась? Откуда расхождение в счёте? Должен ли я выписать из Европы доктора аль-джебры, чтобы объяснить такой результат?

Джек вылетел из хижины. Сурендранат бежал за ним, оправдывая резчика.

— Ты велел бедняге изобразить *богиню.* Чего ты ждал?

— Я выражался поэтически.

Джимми с Дэнни давно забрались на палубу и теперь бегали с носа на корму и обратно, вопя, как школьники. Енох двигался в обход красавицы, прочерчивая на песке короткие дуги, и сейчас

стоял в малиновом свете по колено в воде.

— Сперва, глядя на её килеватость*, я подумал, что такую не мог выстроить голландец, поскольку она будет быстроходна, но не сможет зайти почти ни в один голландский порт.

— Ты мог заметить, что поблизости нет голландских портов, — отвечал Джек.

— Штевень выгнутый скорее как у яхты, чем как у типичного ост-индийца. Сдаётся, два или три особо величественных тика срубили, чтобы изготовить этот изгиб. В Европе таких деревьев давно нет, штевни делают сборными и не настолько изогнутыми. Где вы их добыли?

— В этой стране, как ты видел, есть целая субцивилизация лесорубов, которые знают в лицо каждое дерево от Крыши Мира на севере до острова Серендип на юге, — сказал Джек. — Мы крали эти деревья в других *джагирах.* Вся история заняла полгода и была полна приключениями.

— И всё же при таком изгибе штевня киль не укорочен. И здесь тоже строитель жертвовал всем ради быстроходности. При такой длине и таком изгибе штевня корпус должен быть узким — теряется довольно большой объём. А сколько тика пошло на укрепление корпуса! Столько же, сколько на весь корабль! Рассчитываете на

много пушек?

— Если, конечно, ты не подвёл.

— Этот корабль проживёт лет тридцать-сорок, — продолжал Енох.

— Дольше, чем большинство из нас, — отвечал Джек, — не считая, конечно, присутствующих, коли правда то, что о тебе говорят.

— Всякий с первого взгляда увидит, что корабль везёт ценный груз, — сказал Енох. — Если кораблестроение — искусство компромиссов, то ваш мастер всякий раз выбирал быстроходность и прочность в ущерб вместимости. Такой корабль окупится, только если возить на нём что-нибудь малообъёмное и очень ценное. Это приманка для пиратов.

— В своих странствиях мы узнали одно: всякое судно в море, даже такая посудина, как «Раны Господни», — приманка для пиратов, — отвечал Джек. — Значит, надо строить грозу пиратов. Вот почему у голландцев купеческие корабли почти не отличаются от военных. Какого рожна тратиться на корабль из тика, если через полгода после спуска на воду он достанется буканьерам?

Енох кивнул. Джек понемногу начинал злиться.

— Выкладывай свою догадку, Енох. Ты сказал,

что его строил не голландец. Так кто же?

— Голландец, разумеется! Только они так свободно используют новые идеи — лишь им хватает на это уверенности. Все остальные — подражатели.

Джек немного помолчал.

— Ты и прав, и не прав, — сказал он наконец и, повернувшись, побрёл вдоль берега к костру, который развели несколько минут назад, как только село солнце и зажглись звёзды. — Наш мастер — Ян Вроом из Роттердама. Его пригласил ван Крюйк.

— Имя известное. Как его занесло *сюда?*

— В то время, когда Вроом был подмастерьем, адмиралтейство и Голландская Ост-Индская компания чтили корабельных мастеров и не лезли в их дела. Каждый корабль строился немного иным, по усмотрению — иные сказали бы, по произволу — мастера. Но теперь эти, в Ост-Индской компании, вообразили, будто знают всё о строительстве кораблей, и принялись указывать размеры с точностью до четверти дюйма. Если мастер отважится проявить самобытность, позовут его конкурента, тот сделает промеры и напишет рапорт о нарушении правил; короче, мастеру придётся туго. В итоге Ян Вроом считал,

что его не ценят. Когда он получил источенное червями и размокшее от солёной воды письмо своего старого знакомца Отто ван Крюйка, то бросил все дела и первым же кораблём отбыл из Роттердама.

— Как я погляжу, не только он, — заметил Енох.

Они уже хорошо видели голландцев, которые сидели полукругом у костра, прикуривали от веточек глиняные трубки и тихонько переговаривались. В середине восседал высокий рыжеволосый человек с проседью в светлой бороде — очевидно, сам Вроом. Четверо голландцев помоложе слушали и кивали.

— Пока мы не нарушили беседу этих господ, давай посекретничаем в одиночестве, — сказал Енох.

— Я весь внимание.

— Вместе с корабельными мастерами ты выписал писца, искусного — по крайней мере так тебе сказали — в тайнописи. Ты поручил ему написать мне шифрованное письмо следующего содержания: «Уважаемый Енох Роот, мне нужны большие корабельные пушки, желательно лучшие, новейшего образца, в количестве сорок четыре штуки. Жду». Несколько месяцев спустя

я расшифровал и прочёл это послание в Лондоне — впрочем, уже после того, как какой-то шпион перехватил его и снял копию. Так или иначе, я читал и смеялся. Надеюсь, ты тоже смеялся, когда диктовал письмо.

— Возможно, лёгкая улыбка коснулась моих губ.

— Хорошо, коли так, поскольку требование твоё абсурдно. Если тебе не хватило ума это понять, значит, ты превратился в безмозглого восточного деспота.

— Енох. Так ты привёз или не привёз мне большие металлические предметы?

— Предметы, о которых ты говоришь, не бесплатны. Чтобы их заполучить, надо взять на себя некие обязательства.

— Ты хочешь сказать, что нашёл нам инвестора? Годится. Каковы его условия?

— Спроси лучше: «Каковы *её* условия?»

Джек воспарил. Енох хлопнул его по плечу и заглянул в глаза. Алхимик стоял лицом к огню, и отсветы огня жутковато поблёскивали в его расширенных зрачках: две красные луны в тёмной ночи.

— Джек, *это не она*. Да, её дела неплохи, но не настолько, чтобы она могла отправить арсенал

через половину земного шара в ответ на письмо бродяги.

— Кто же из женщин такое может?

— Ты видел её однажды с колокольни в Ганновере.

— Чтоб мне провалиться!

— Теперь, надеюсь, ты понимаешь, насколько дело серьёзное.

— Я бы не стал писать Еноху Рооту, не будь я настроен на серьёзное дело. Каковы её условия?

Алые луны ненадолго затмились. Енох вздохнул. Его дыхание на Джековом лице было горячим, как малабарский бриз, и отдавало — или так Джеку показалось — каким-то странным минеральным запахом.

— Инвесторов, которые диктуют условия — пруд пруди, — сказал Енох. — Здесь дело совсем иное. Ты не занимаешь капитал у инвестора на определённых условиях. Ты вступаешь в *отношения* с *женщиной*. Чего-то от тебя просто ждут. Я решительно не представляю, чего. Если ты и твои компаньоны поступите не по-рыцарски, вы обидите даму. Так достаточно конкретно? Все понятно?

— Да нисколечко.

— Прекрасно! Значит, разговор прошёл с успе-

хом, — сказал Енох. — Осталось передать те же томительные недомолвки твоим товарищам. Покончив с этим, я должен буду проявить должную осмотрительность и…

— Это в каком ещё смысле?

— Кое-чего тут не хватает, например, мачт и парусов. Такелажа. Команды. Я не могу передать пушки, пока всего этого не увижу. И ещё — здесь, на берегу, корабль очень уязвим.

— Мы скоро спустим его на воду, там будем заканчивать, как всегда делается. Если на палубе будет несколько пушек, то с берега его не захватят.

— Согласен. Решили ли вы, куда будет первый рейс?

— Мы думаем отвезти селитру в Батавию, загрузить там пряности и вернуться в Индию, которая потребляет их больше, чем вся Европа, и в которой есть серебро, чтобы за них платить.

— Недурной план. Однако завтра, Джек, у тебя, возможно, появится новый.

Следующий вечер застал их на опасной территории к югу от Чёрной долины Вханатья. *Карнайя* нарочно указал дорогу, которая завела бы их прямо в маратхскую западню. Однако Енох это предвидел и прошёл по следам старателя через

холмы, как охотник, выслеживающий дичь.

Несколько часов они шли по гористой местности, заросшей колючими кустами. Все деревья, по-видимому, были давно вырублены, а новые не выросли. Когда Джек окончательно решил, что они безнадёжно заблудились в самой забытой Богом части мира, внезапно запахло верблюдами, а вскоре взглядам предстал бредущий в ту же сторону персидский караван. Это было примерно как встретить клан шотландцев в килтах посреди сахарских песков.

Дорога стала широкой и утоптанной. Еноху больше не приходилось читать следы. Наконец исчез даже колючий кустарник. Как камешки в миску, путники скатились в каменистую котловину, наполненную едким древесным дымом.

— При всей извращённости твоих вкусов им нельзя отказать в постоянстве, — пробормотал Джек. — Каким образом ты всегда оказываешься в таких вот местах?

— Идя за такими, как *карнайя*, — отвечал Енох шёпотом, словно католик в базилике. — Теперь тебе ясно, почему я не хотел никого с собой брать? Явись мы с отрядом *соваров,* представляешь, какая бы поднялась кутерьма?

— По-моему, её и без того предостаточно, — за-

метил Джек. — Что здесь происходит? И зачем тут *персы?* И, скажи, меня глаза из-за дыма подводят или вон там и впрямь стоят торговцы-армяне?

Енох отвечал только: «Смотри». Поэтому Джек пошёл за Енохом и стал смотреть, как тот смотрит.

Поначалу Джек решил, что здесь изготавливают все европейские чайные сервизы. На каждом шагу индусы, сидя на корточках, лепили что-то размером с чайные чашки. Потом их относили к печам для сушки и обжига. Впрочем, если это были чашки, то очень странные: толстые, грубые, без ручек или орнамента, каждая — с выпуклой крышкой. Рядом велись другие, не менее загадочные приготовления: бамбуковые палки и обрезки тикового дерева заталкивали в дымные печи и пережигали на уголь. Джек узнал отходы собственного корабельного строительства и сперва обиделся, затем мысленно посмеялся, сообразив, что его *коли* извлекают дополнительную выгоду на стороне.

Впрочем, в эту каменистую долину доставляли не только бамбук и тик. Тощие жители холмов сгибались под вязанками зелёных веток больше своего роста, за которые получали плату серебром от важного вида особ. Джек не знал, какого дерева

эти ветки, но по цене, какую за них платили, и по тому, как почтительно с ними обращались, заключил, что это какое-то священное для индусов растение.

Указанные ингредиенты стекались в центр котловины к огромному глиняному горну, раскалённому термитнику размером с небольшую церковь, с виду вдвое более древнему, чем всё, что Джек видел в Египте. Жреческого вида старец сидел на пятках перед пирамидой грубых чашек. Он горстью зачерпывал из мешка чёрный песок вроде того, что *карнайя* мыл на берегу реки, и через морщинистые пальцы просеивал в тигель, ощупывая каждое зёрнышко и отбрасывая негодные. Потом он брал несколько кусков угля и раскладывал поверх чёрного песка, разминая, если надо, на кусочки поменьше, а затем добавлял несколько листиков и цветов от магических веток, распределяя их тщательно, словно французский шеф-повар, украшающий мясо зеленью. Дальше рука вновь ныряла в мешок с чёрным песком, и всё повторялось слой за слоем, пока тигель не наполнится. После этого старик закрывал его крышкой и бережно передавал помощнику, а тот примазывал её сырой глиной.

Наполненные тигли, похожие на чуть при-

плющенные комки грязи, были наподобие ядер составлены в пирамиды у исполинского горна. Тем временем внутри нагревались другие: Джек видел их в пламени, похожие на гроздь спелых плодов.

— Лопни мои глаза, — сказал Енох Роот. — Их доводят до красного, а не до жёлтого каления. Значит, железо на самом деле не плавится. Оно вбирает в себя уголь, оставаясь твёрдым.

— Почему уголь не сгорает?

— Воздух не попадает в закрытые тигли, — раздражённо бросил Енох. — Уголь сплавляется с железом, и получается сталь.

— Мы сюда тащились, чтобы поглядеть, как кучка индусов варит сталь?

— Не абы какую сталь. — Енох погладил бороду. — Спекание идёт очень медленно. Посмотри, как тщательно они следят за огнём — железо должно оставаться красным несколько дней. Ты не представляешь, как это сложно, — вон тот малый с кочергой знает про огонь не меньше, чем Вроом — про корабли.

Алхимик продолжал смотреть в огонь, и Джек испугался, что они будут стоять здесь столько дней, сколько займёт спекание. Однако Енох Роот наконец оторвал взгляд от пламени.

— В конструкции горна есть секреты, не попавшие на страницы «Химического театра», — заметил он. — Скорее всего секреты утрачены, не то здешние жители настроили бы ещё таких.

Они подошли к тиглям, вынутым из горна и поставленным остывать. Мальчик брал их один за другим, перебрасывая из руки в руку, потому что они были ещё горячие, и разбивал о камень. Среди дымящихся черепков оставалось полушарие губчатого серого металла.

— Яйцо! — воскликнул Енох.

Кузнец брал каждое яйцо, клал на наковальню, ударял молотом и тщательно осматривал. Яйца, на которых образовывалась вмятина, отправлялись в мусорную кучу. Некоторые были такие твёрдые, что молот не оставлял на них следа, — их складывали в деревянное корыто и несли к яме, в которой мальчишки-индусы месили ногами какую-то совершенно иную глину. Старейшины, наблюдавшие за работой, время от времени подсыпали в яму пригоршни загадочного порошка. Металлические яйца обмазывали глиной и укладывали сушиться. Глина для тиглей была красной до обжига и жёлтой после, эта — серая, словно металлизированная.

Как только глина на яйцах высыхала, их несли

к другому горну, где нагревали до слабого красного каления. Разница стала особенно видна, когда село солнце, и Джек, стоя между горнами, смог сравнить оттенки. Здесь тоже нагрев продолжался долго, затем яйца медленно — в течение дней — остывали. Потом их вновь испытывали на наковальне, но с другим результатом. Каким-то образом второй нагрев делал металл вязким. Впрочем, некоторые приходилось снова обмазывать глиной и вторично отправлять в горн. Тем не менее несколько яиц из каждой партии вели себя под молотом в точности как требовалось. Эти откладывали в сторону, правда, ненадолго — персидские и армянские купцы практически выхватывали их прямо с наковальни.

Енох подошёл и взял в руки одно яйцо.

— Это называется *вуц,* — сказал он. — Слово персидское. Персы тысячелетиями приезжают сюда за ним.

— Почему они не делают свой? Они вроде давно здесь хозяйничают. За столько времени можно было давно выведать все секреты.

— Персы со времён Дария тщетно пытаются изготовить *вуц.* Они выплавляют похожую сталь — мы с твоими сыновьями заглядывали в одну из их кузниц, — но *такое* им не по силам.

Енох взял яйцо *вуца* и повернул к огню, чтобы показать рисунок поверхности. Поначалу у Джека мелькнула мысль, что оно похоже на луну — форма и цвет были такие же, а поверхность испещряли мелкие кратеры, как от пузырьков. Однако, всмотревшись, он понял, что кратеры малочисленны и расположены редко. Почти всю поверхность яйца покрывала как бы грубая циновка — казалось, проволочная сетка вплавлена в металл и стремится вылезти наружу. Однако Джек своими глазами видел, как готовят тигли: туда клали лишь чёрный песок, угли и волшебные листья. Он пальцем потрогал ребристую сетку: она была твёрдой, как камень, и острой, как лезвие.

— Эти нити растут в тиглях, как трава из семян. И они не только на поверхности, но пронизывают всё яйцо, сплетаясь между собой, что придаёт стали её невиданную прочность.

— Если этот *вуц* такой замечательный, почему я впервые о нём слышу?

— Потому что франки называют его иначе.

Енох поднял голову, привлечённый далёким звоном: кузнец что-то ковал. Однако то не были глухие звуки удара молотом по железу. Ковали не подкову и не кочергу. Мелодичный благовест

напомнил Джеку звон рапиры, с которым Иеронимо разил врагов на базаре Хан-эль-Халили.

До кузни было минут пять ходу. Джек и Енох оказались в толпе оттоманских турок и других путешественников, собравшихся посмотреть на индусского оружейника. Тот клещами держал ятаган за хвостовик и, поворачивая его на наковальне то так, то этак, изредка ударял молотом. Клинок тускло светился красным.

— Так он не будет коваться, — пробормотал Джек. — Его надо раскалить по крайней мере до жёлто-красного цвета.

— Если раскалить его до жёлто-красного цвета, прожилки растают, как сахар в кофе, а металл станет хрупким и негодным — как обнаружили франки во время Крестовых походов, когда мы под Дамаском захватили обломки таких клинков и, привезя их в Европу, попытались раскрыть секрет в собственных кузницах. Мы ничего не выяснили, кроме глубины собственного невежества, но с тех пор зовём эту сталь дамасской.

— Дамасскую сталь делают здесь?! — изумился Джек, проталкиваясь ближе к наковальне.

— Да. Прожилки, которые ты видел в яйце, после долгой ковки при низкой температуре образуют муаровый узор, который мы называем…

— Струйчатым булатом! — воскликнул Джек.

Сейчас он был настолько близко, что различал вихристый рисунок на лезвии. Не задумываясь, он потянул из ножен янычарскую саблю, чтобы сравнить клинки. Однако Енох удержал его руку. Внезапно вся кузня наполнилась звоном, бряцаньем и скрежетом. Перед Джеком зажглось плотное созвездие обнажённых клинков: змеистых кинжалов узорчатого дамаска, муравчатых ятаганов, булатных тальваров, бебутов и коротких ножей-китаров. Сверкала золотая насечка: стихи из Корана на мусульманских клинках, изображения богинь на индусских.

— Этот господин с клещами и молотом весьма чтим у ценителей холодного оружия по всему миру, — сказал Енох. — Они бы очень огорчились, если бы с ним случилось что-нибудь худое.

— Ладно, ладно, я всё понял, — сказал Джек, когда при помощи Еноховой дипломатии им удалось выбраться из кузни целыми и невредимыми. — Если нам нужен ценный груз для первого плавания, нет надобности отправляться в Батавию за пряностями.

— Слитки вуца можно очень дорого продать в любом порту Персидского залива, — со знающим видом отвечал Енох. — Вы можете обменять их

на жемчуг или шёлк и отправиться в любой европейский порт.

— Где нас немедля предадут мучительной казни. Отличный план, Енох.

— Не предадут, если вашим портом назначения будет Лондон или Амстердам.

— Вообще-то я думал отправиться в другую сторону.

— Да, в Маниле или Макао за вуц тоже дадут неплохую цену, — сказал Енох после минутного раздумья. — Однако в любой магометанской стране вы получите за него больше.

— Давай завтра двинемся на юго-запад в Малабар.

— Разве путь туда лежит не через земли маратхов?

— Нет, маратхи живут в высокогорных крепостях. Мы проедем через владения князей, данников Великого Могола. У меня с ними хорошие деловые отношения. Оттуда и попадём в Малабар.

— Мне казалось, малабарцы похитили ваше золото и обратили в рабство половину твоих спутников.

— Это лишь один способ смотреть на вещи.

— Каков же другой?

— Сурендранат, мсье Арланк, Вреж Исфахнян и Мойше де ла Крус — наиболее просвещённые члены нашей компании — предпочитают считать Малабар большой, расположенной на краю света, крайне воинственной *златокузнечной лавкой,* в которую мы поневоле *сделали вклад*.

— Теперь мы зовём такие учреждения банками.

— Прости, я не был в Англии почти двадцать лет.

— Продолжай, Джек, я весь внимание.

— Наше золото там. Вернуть его невозможно. Однако и малабарцам от него мало проку. Коттаккал, королева малабарских пиратов, может лишь *потратить* какую-то часть на починку дворца и переоснащение кораблей. Если она хочет получить от нашего золота прибыль, то должна пустить его в дело.

— И что, пустила?

— Ей принадлежат двадцать пять процентов корабля.

Енох расхохотался — явление довольно редкое. Он чаще других насмешливо кривил губы, фыркал, с каменной миной отпускал ехидные замечания, но почти никогда не смеялся в голос.

— Я пытаюсь представить, как буду объяснять

курфюрстине Ганноверской, наследнице английского трона, что теперь она компаньонка Коттаккал, королевы малабарских пиратов.

— Лучше представь, как будешь объяснять то же самое Коттаккал, — посоветовал Джек. — Потому что это случится раньше.

Малабар
Конец 1696 – начало 1697

Теперь они путешествовали как состоятельные индусы. У Джека и Еноха было по арбе, запряжённой парой буйволов. В каждой поместились бы двое пассажиров при условии, что они близкие друзья, но из-за разнообразного оружия, тюков, винных бутылей и прочего место осталось только для одного. Это как нельзя лучше устраивало Джимми и Дэнни, которые смотрели на арбы так, будто за время своих странствий не видели ничего нелепее, и не знали, дивиться им или возмущаться. Впрочем, они поумерили свой пыл, когда обнаружили, что во время долгих ночных переходов их лошади еле-еле поспевают за неспешными буйволами. Вооружённый эскорт — восемь мушкетёров и восемь лучников, позаимствованных с бесконечной осадной войны, которую Меч Божественного Огня якобы вёл против маратхов, — вынуждены были всю дорогу бежать рысцой.

Под палящим дневным солнцем такой темп убил бы их в первые же часы. Поэтому просыпа-

лись на закате, выжидали, пока жар впитается в землю, трогались около полуночи и ехали до рассвета. Джек совершал это путешествие не в первый раз и знал, как разбить его на ночные переходы, каждый из которых заканчивался бы в роще кокосов или манго у стен какого-нибудь города. На утренней заре разбивали лагерь, после чего нескольких посыльных (подростков из *джагира,* получавших за свои труды вполне приличное вознаграждение) отряжали в город. Те ждали, когда откроют ворота, шли на базар и закупали снедь, пока остальные спали в тени деревьев. Еду раздавали после заката, когда отряд готовился к новому переходу.

Двигались быстро и целеустремлённо. Джимми и Дэнни, привыкшим в путешествии с Енохом Роотом сворачивать в стороны и глазеть на разнообразные диковинки сколько душе угодно, пришлось свыкаться с совершенно иной жизнью. Время оставалось лишь на переходы и подготовку к переходам. Даже разговаривать было некогда.

Как только Джеков скудный *джагир* остался позади, местность стала более приятной, хоть и несколько однообразной: орошаемые поля чередовались с рощами плодовых деревьев; лощины, холмы и прочие непригодные для земледелия

участки заросли́ джунглями. Их проезжали с величайшей осторожностью. Ночью за́росли обступали путников, словно стремясь их поглотить, с каждой ветки мог спрыгнуть душитель, за любым кустом мог притаиться тигр. Несколько раз переходили вброд кишащие крокодилами реки. На одной из переправ Дэнни заметил, как две огромные бурые ноздри приближаются к отставшему от спутников мальчишке, и разрядил в ту сторону пистолет. Крокодил, надо думать, не пострадал, но мальчишка с перепугу догнал товарищей. На другой переправе огромный крокодил утащил осла.

На следующий день — точнее, на следующий вечер, — они проснулись и увидели вокруг чёрную землю, населённую чёрными людьми. После долгого ночного перехода тело по-прежнему хотело спать, но мозг уже окончательно пробудился. Лёжа на кошме, они слышали похожий на сердцебиение гул, потому что этот чёрный край был куда богаче селитрой, чем Джеков *джагир,* и в ямах вокруг города люди дни напролёт долбили землю деревянными инструментами.

Если земля полнилась гулом, то воздух полнился странными возгласами — каждый работник на поле примерно раз в минуту выкрикивал:

«Попо!» Джек, Енох, Джимми, Дэнни сидели под деревом, ели манго, буквально падавшие им на голову, и наблюдали за жизнью чернокожих индусов. Западный ветерок нёс прохладу и запах моря — они пересекли Индостан с востока на запад и приближались к Аравийскому морю.

— Все эти батраки принадлежат к касте черуманов — настолько низкой, что черуман оскверняет найяра на расстоянии шестьдесят четыре фута, — объяснил Джек. — В таком случае найяр обязан его убить, а затем пройти бесконечные очистительные обряды. Чтобы сберечь себе жизнь, а найярам — время, черуманы постоянно кричат: «Попо!», чтобы никто к ним нечаянно не приблизился.

— Ну ты и загнёшь, — сказал Дэнни с равной долей презрения и нежности.

Из-за поворота дороги раздался другой крик: «Кикуйя! Кикуйя!» Заслышав его, черуманы похватали мотыги и отбежали от дороги, оставив безлюдными полосы по шестьдесят четыре фута с каждой стороны дороги. Вскоре показался небольшой отряд. Впереди ехала на белом коне чернокожая, голая по пояс женщина в золотых украшениях, за ней бежали несколько слуг.

— Если найяры такие, то едем к ним! — вос-

кликнул Джимми.

— А чем, по-твоему, мы занимаемся последнюю неделю?

— Там, куда мы едем, ещё такие будут?

— Да, они там заправляют. Это воинская каста. Представь, что ты отправился в Сент-Джеймский дворец поглазеть на знать — красивых дам и господ, которые носят шпаги и чуть тронь, пускают их в ход.

Когда зашло солнце, Джек отправил эскорт назад — продолжать необременительную осаду. Остальные до утра продремали в лагере. На рассвете их разбудила перекличка между черуманом, стоящим за камнем в шестидесяти-четырёхфутовой черте от города, и баньяном на городской стене. Черуман высыпал на камень мешок наличности: персидского горького миндаля и каури, среди которых затесалось несколько чёрных медяков, — затем удалился. Через минуту вышел баньян, положил на камень свёрток с товаром, отсчитал несколько раковин, миндалин и монет, после чего возвратился в город. Черуман вернулся и забрал покупку вместе со сдачей.

— Страшно неудобная система, — сказал Дэнни, ошалело тараща глаза.

— Напротив, весьма практичная, — заметил

Енох Роот. — Если бы я принадлежал к малочисленной воинской элите, то больше всего боялся бы крестьянского бунта — засад на дорогах и тому подобного. Если я бы я имел право убивать каждого крестьянина, подошедшего ко мне на расстояние выстрела из лука…

— То жил бы без печали, — закончил Джимми.

Закупив в городе провизии, они двинулись на юг вдоль побережья. Время от времени им попадались преступники, посаженные у дороги на кол. Это лишний раз доказывало, что они в стране, где царит закон, а значит, правильно поступили, когда отправили домой вооружённый эскорт. Солнце палило нещадно, но чем дальше они ехали, тем сильнее чувствовалось прохладное дыхание Лаккадивского моря. Огромные листья растущих у дороги пальмировых пальм отбрасывали живительную тень.

Путники поняли, что приближаются ко двору королевы Коттаккал, когда вдоль дороги начали попадаться рамы, на которых сушились листья тех же самых пальм. Писцы королевы использовали их вместо бумаги.

Впереди послышались какие-то крики.

— Чего они все орут? — полюбопытствовал Дэнни.

— Может, вернулись их корабли, доверху наполненные добычей, — сказал Джек, — а может, по городской площади бегает крокодил.

Дорога перешла в главную улицу портового города. Дома здесь были всё больше из тростниковых циновок, хотя встречались и деревянные — их число и размеры увеличивались к реке, которая величаво струилась в глубоком русле. Четвертью милями дальше она расширялась, образуя залив Лаккадивского моря. Город, без сомнения, стоял тут спокон веков, однако казалось, будто его только вчера возвели посреди захваченной джунглями древней крепости. Исполинские деревья — тики, манго, махуа, сандалы, кокосовые пальмы и несколько баньянов размером с хороший европейский собор — росли между домами, сплетаясь кронами и образуя вторую крышу высоко над пальмовыми кровлями жилищ.

Молодые найяры бегали от дома к дому и от дерева к дереву, вопя как оглашенные. Путники не успели выехать к реке, как ватага найярских мальчишек выбежала из здания и, не обращая внимания на незнакомцев, промчалась мимо. Через мгновение вслед им полетели стрелы. Они со свистом проносились в воздухе и зарывались

в мягкую землю вокруг Шафто.

— Эти черти могут в нас попасть! — заорал Джимми, вытаскивая пистолет и взводя затвор.

— Не просто могут, Джимми, — отвечал Джек пугающе тихим голосом.

Все обернулись и увидели, что он распростёрся в арбе и обеими руками держится за живот, из которого торчит стрела.

— Обидно-то как, — прошептал Джек. — Столько проехать, чтобы погибнуть здесь и сейчас…

Джимми, словно на дыбе, разрывался между желанием убить кого-нибудь из туземцев и строгим велением пятой заповеди.

— Отец! — воскликнул юноша, спрыгивая с лошади и в два прыжка оказываясь рядом с арбой.

Он коснулся Джековой щеки, словно желая её погладить, но тут же взял отца за подбородок и повернул его голову туда-сюда, оглядывая.

— На тебе всё ещё синяки от наших побоев — только подумать, что ты унесёшь их в могилу!

— Для меня они как поцелуи, которых я от вас не дождался — да и поделом.

— Ах, отец! — взвыл Джимми и припал к отцовским губам.

По счастью для Джека, поцелуй длился недолго — через секунду Джимми засопел, укусил отца за

губы и отпрянул, стискивая руками бок.

Дэнни холодно наблюдал за ними с лошади. В руке у него был лук, и тетива ещё подрагивала.

— Когда закончите, скажите, чтобы я мог отъехать в сторонку и проблеваться. Потом будет время задать трёпку этим найярам или как там ты их зовёшь.

Джимми медленно нагнулся и поднял стрелу, которую Дэнни только что запустил ему в бок. Она была тупая.

— Возьми две — они тебе понадобятся, — сказал Джек, протягивая стрелу, которая оставила синяк на его животе.

Один найяр догнал другого на улице, и между ними завязался устрашающий поединок на бамбуковых мечах.

— Мне тут нравится! — воскликнул Джимми. — Из пистолетов стрелять можно?

— Вряд ли это по правилам, — заметил Джек, когда Дэнни выпустил стрелу в грудь рослому найяру, только что показавшемуся из дверей.

Штук десять стрел разом вылетели из окон того же дома и сбили Дэнни с лошади.

— Гады! — заорал Джимми и ринулся к дверям, пока лучники не успели вновь положить стрелы на тетиву.

— Побегайте по городу, позабавьтесь, — сказал Джек сыновьям, впрочем, уже без всякой надобности.

Они с Енохом тряхнули вожжами и двинулись дальше. Вскоре улочка превратилась в широкую набережную, вырубленную посреди мангровых зарослей. Лодки и каботажные судёнышки у причала чем-то напомнили Джеку Темзу. Чуть ниже по течению располагалась бухта — главная и единственная гавань королевы Коттаккал. Здесь покачивались на якорях с десяток больших кораблей. Енох усмехнулся.

— Нигде я не видел такой разношёрстной пиратской флотилии — ни в Дюнкерке, ни даже в Порт-Ройяле на Ямайке. Турецкие галиоты, арабские дхоу, фламандские корветы — неужто они гребут всё без разбора?

— Им довольно, чтобы судно было быстроходным и могло нести пушки, — отвечал Джек. — Второй слева дхоу — бывший наш.

При этих словах оба невольно посмотрели на юго-восток через реку. Подмытый течением каменистый обрыв слегка нависал над водой. Высота его составляла футов шестьдесят — немного, но вполне довольно, чтобы из восьмидесятифунтовых пушек и мортир, которыми щетинились

амбразуры по углам королевского дворца, простреливалась вся бухта. Трудно было сказать, где кончается обрыв и начинается стена, поскольку они скрывались за сплошным ковром лиан, иные из которых могли поспорить толщиной с деревьями. В этих висячих джунглях обитало целое племя предприимчивых длиннохвостых обезьян. Лианы, обвившие крепость, принадлежали к разным видам, но все цвели. То были не розы и не гвоздики, но сочные выросты размером с капустные кочаны, геометрических форм, которые и не снились Евклиду, напитанные светом, собранные в грозди, соцветия и иерархии. Сейчас все они были обращены к солнцу, так что от пестроты рябило в глазах. Казалось, некий сказочно богатый пиратский народ осадил дворец и обстрелял его огромными рубинами, цитринами, жемчужинами, опалами, агатами, кусками коралла, и те, застряв в обрыве, остались здесь навсегда. Всё гудело энергией миллиона пчёл и тысяч колибри, слетавшихся со всего Тихоокеанского побережья Азии на водопады наркотических запахов. В сравнении с лианами замшелые купола дворца и тупые жерла пушек казались блеклыми, как старая краска.

Попытка проникнуть туда без приглашения

оказалась бы авантюрой трагической и короткой. Однако Джека с Енохом ждали, поэтому они переправились через реку, не попав в пасть крокодилам, и вступили в крепость, не провалившись в люк-западню и не угодив под град отравленных дротиков. Подъём состоял из нескольких лестниц, частью вьющихся по внешней стороне обрыва среди лиан, частью вырубленных внутри скалы. Наконец вышли во дворик, окружённый стеной со множеством бойниц, — каменную ловушку для врагов. Однако ворота были открыты, и Джек с Енохом вступили во дворец.

Он состоял из садов, террас, храмовых двориков и площадей, разделённых крытыми галереями. Там и тут в зелени были разбросаны невысокие здания.

— Обычно здесь кишмя кишат найяры, — заметил Джек, — особенно когда в гавани столько пиратских кораблей. Однако сейчас все заняты потешным сражением.

Он провёл Еноха по галерее и через садик к большому каменному строению со множеством окон и балкончиков. К дверному косяку была прислонена сабля в ножнах. Увидев её, Джек замер и знаками не давал Еноху заговорить, пока они не отошли шагов на сто.

— Сабля недурная, — заметил Енох. — Персидский шамшер, если судить по изгибу и узкому клинку. Однако мне сдаётся, ты оказываешь ему чрезмерное почтение…

— У малабарских женщин любовников — что у Карла Второго было любовниц, — объяснил Джек. — В здешних краях мужчина не знает, какие дети его. Если сказать по-другому, каждый знает свою мать, но понятия не имеет об отце. Соответственно, всё имущество передаётся по женской линии.

— Включая корону?

— Включая корону. При этом возникает одно мелкое неудобство: мужчина, идя к даме сердца, рискует застать в её постели кого-нибудь другого. Чтобы избежать неловкости, кавалер, входя, оставляет у дверного косяка саблю — знак, что дама сейчас занята.

— Так королева проводит время с персом? Странно.

— Сабля и впрямь персидская. Даппа, наш полиглот, купил её в Мокке три года назад. Из нас только он хоть как-то выучил малабарский язык.

— И неплохо пользуется своими познаниями!

— Лучше всего он воспользовался ими, когда убедил королеву, что вместе с товарищами годит-

ся на большее, чем просто прозябать в рабстве.

С этими словами Джек открыл дверь в здание поменьше и провёл Еноха на террасу, с которой открывался вид на гавань. Здесь стояли европейские столы и стулья. Два человека склонились над пальмовыми листьями, покрытыми буквами, цифрами, картами и чертежами — мсье Арланк и Мойше де ла Крус.

Те лишь слегка удивились при виде Джека. Появление Еноха Роота потребовалось объяснить, но когда Джек дал понять, что гость каким-то образом связан с пушками, его приняли как родного. Мойше, Джек и мсье Арланк тут же углубились в подробный разговор о корабле. Они говорили на сабире, который Енох понимал плохо. Он повернулся к Лаккадивскому морю и тут заметил развешанные на стене рисунки тушью.

— Это японская живопись? — резко спросил он.

— Да. По крайней мере рисовал японец, — отвечал Джек. — Мы как раз о нём говорили. Идём, я познакомлю тебя с отцом Габриелем Гото, членом Общества Иисуса.

> Меня потянуло прочь из родных краёв, ибо в ушах у меня постоянно звучали ужасные слова, а именно, что меня ждёт неминуемая гибель, если я там останусь.
>
> ***Джон Беньян, «Путь паломника»***

Габриель Гото вежливо отказался трудиться пиратом, поэтому королева Коттаккал приставила его к работе садовника. Некоторые считали, что в этой должности он не слишком себя утруждает; по сравнению с остальным дворцом, который растительность постоянно грозила захватить и подмять под себя, сад Габриеля Гото являл собой пустыню. Ему отвели участок на противоположной от реки стороне дворца, постоянно затеняемый высокими деревьями и сторожевою башней, однако продуваемый штормовыми ветрами и заболоченный. Не один садовник уже проиграл битву с этой землёй. Однако Гото разрешил все затруднения: в его саду рос только мох и несколько стеблей бамбука. Остальной «сад» состоял из камней, разглаженного граблями гравия и прудика, в котором плавали два жирных пятнистых карпа. Время от времени иезуит проводил граблями по гравию или кормил рыб, но бóльшая часть работы происходила в его голове

и требовала предварительно очистить сознание. Очищение заключалось в том, что Гото часами сидел по-турецки в дощатом внутреннем дворике, макал кисточку в тушь и водил ею по пальмовому листу. Так или иначе, этот уголок дворца перестал быть рассадником москитов и ядовитых жаб, поэтому королева Гото не трогала.

Творения иезуита были сложены в аккуратные стопки, доходившие почти до потолка в его комнатке за внутренним двориком. Свежие рисунки сушились на бельевых верёвках.

— Везде один и тот же морской пейзаж, — заметил Енох Роот, проходя вдоль вывешенных на просушку пальмовых листьев. Все они изображали мрачные скалы над морем, испещрённым странного вида лодочками.

— Серия называется «Сто семь видов побережья на пути к городу Ниигата», — подсказал Мойше де ла Крус.

— А вот моё любимое: «Прибой на рифах у Кацумото», — вставил мсье Арланк, радуясь, что может поговорить с кем-то на парадном французском. — Столько всего выражено минимумом средств — немой упрёк нашему барочному стилю.

— Тоска зелёная! Мне больше по вкусу «Атака

пиратов в Цусимском проливе»! — встрял Джек.

— Ты, конечно, можешь предпочитать вульгарную рубку на мечах, но мне больше нравится серия про кораблекрушения, особенно «Китайская джонка на зыбучих песках» и «Остов рыбачьей лодки на ветвях дерева».

— Все его рисунки посвящены опасностям навигации? — удивился Енох Роот.

— А ты видел морские картины про что-нибудь другое? — спросил Джек.

— Вон там висит триптих «Избиение христиан в замке Хара», — сказал Мойше.

— Идёмте отыщем самурая, — предложил Джек.

Они поднялись на несколько ступенек в крошечный домишко, который Гото соорудил себе из жердей и бумаги (точнее, пальмовых листьев). Его мечи (длинный двуручный и короткий изогнутый) стояли один над другим на деревянной подставке. Джек нагнулся и оглядел тот, что подлиннее. Меч был из коллекции алжирского корсара, но, по словам Габриеля Гото, безусловно выкован в Японии по меньшей мере сто лет назад. И впрямь форма клинка, тип рукояти, очертания гарды — всё было совершенно непривычным и подтверждало гипотезу, что оружие это изгото-

вили в самой загадочной стране мира. Однако сталь (как Джек заметил и о чём не преминул сказать ещё в Каире годы назад) покрывал тот же струистый рисунок, что и все другие клинки узорчатого булата, будь то выкованный в Дамаске ятаган, шамшер из кузницы Тамерлана в Самарканде или китар из долины вуца.

Убедившись в правильности своих воспоминаний, Джек выпрямился и едва не столкнулся лбом с Енохом Роотом, только что повторившим его каирское открытие. К превеликому своему удовольствию, он увидел в глазах алхимика удивление, сменившееся на миг чем-то вроде благоговейного ужаса, — Енох осознал, что́ это значит.

— Давайте послушаем, что скажет сам художник, — предложил Джек и отодвинул полупрозрачную ширму. Взгляду его спутников предстал каменистый садик и Габриель Гото, который сидел к ним спиной, держа в руке кисть с капелькой туши на остром кончике.

ИСТОРИЯ ГАБРИЕЛЯ ГОТО
(РАССКАЗАННАЯ ИМ ЕНОХУ РООТУ
НА ЦЕРКОВНОЙ ЛАТЫНИ)

Я никогда не был в Японии, поэтому знаю её лишь по рисункам отца. То, что висит в доме

— моя жалкая попытка их повторить.

От других ты слышал рассказы, сложные, как барочный собор или османская мечеть. Мы, японцы, любим простоту, как в этом садике, и я попытаюсь изобразить мою историю несколькими взмахами кисти. И всё равно она будет недостаточно лаконична.

Те, кто правил Японией, будь то монахи, императоры или сёгуны, издревле опирались на феодалов, каждый из которых отвечал за какую-то территорию: следил, чтобы земли приносили урожай, а народ жил в порядке и довольстве. Феодалы эти звались самураями и, подобно европейским рыцарям, должны были по призыву своего владыки являться к нему с оружием. Мои предки были самураями, сколько мы себя помним. Наши земли располагались в холодной гористой местности, и мы никогда не пользовались особым почётом.

Предание повествует, что наш предок разделил владения между двумя сыновьями; старший получил пахотные земли, младший — камни. От этих сыновей пошли две ветви семьи: богатая жила в низовьях и покрыла себя боевой славой, вторая обитала в горах и не отличалась ни верностью правителям, ни воинской доблестью.

История двух кланов охватывает столетия и не менее сложна, чем история самой Японии, — когда-нибудь в долгом морском путешествии я расскажу её подробнее. Существенно, что в горах нашли серебро и медь. Было это примерно двести лет назад, когда сёгун устранился от государственных дел, и Япония надолго стала раздробленной, как нынешняя Германия. Власть ушла из Киото в провинции, к даймё — это что-то вроде немецких баронов. Даймё постоянно сталкивались и бились между собой, как галька на морском берегу. Более успешные возводили замки. Под стенами замков возникали рынки и города. Рынкам требовались деньги, и каждый даймё начал чеканить свою монету.

То было опасное время для воинов, но благодатное — для владельцев копей. Как сказали бы мои предки-буддисты, два клана находились на разных сторонах колеса жизни, и колесо повернулось. Воины из низин примкнули к даймё, не стоившему их доверия, и два поколения их мужчин пали в боях. Мои предки — горцы — перебрались в замок другого даймё, неподалёку от Осакского залива и Сакаи, который в то время был вольным торговым городом вроде Генуи или Венеции. Это произошло лет сто пятьдесят назад,

примерно тогда же, когда в Японию начали заходить португальские корабли.

Португальцы завезли христианство и огнестрельное оружие. Мои предки приняли и то и другое. Тогдашним жителям Сакаи выбор должен был казаться разумным. В гавани теснились европейские корабли с пушками на бортах и христианскими стягами на каждой мачте. К тому же иезуиты учреждали миссии в бедных районах, а земли моих предков, несмотря на серебряные рудники, оставались бедными. Когда по приглашению моего прапрадеда там открыли миссию, крестьяне и рудокопы без колебаний перешли в христианство. Проповедь обращалась к нищим и смиренным, а тамошние жители такими и были.

Тогда же мой прапрадед научился ружейному делу и научил ему местных ремесленников. Люди, чьи отцы ковали кирки и лопаты, теперь делали ружейные замки, стоившие в сотни раз больше.

Тем временем наши низинные родичи теряли власть над своими крестьянами. Многие землепашцы приняли ненавистное нашим родичам христианство, другие не желали повиноваться господам, утратившим небесный мандат. В те времена часто проводились *катана-гари,* то есть

«охоты за мечами», когда самураи обыскивали крестьянские дома и изымали оружие. Они начали находить не только мечи, но и ружья.

Наши родичи пошли на службу к могущественным людям, стремившимся объединить Японию. Эта история охватывает три поколения и столько же сёгунов — из них первые два были Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Изгибов и поворотов у неё не меньше, чем у горной дороги. Если рассказывать коротко, то они примкнули к Токугава Иэясу, который сто лет назад выиграл битву при Сэкигахара отчасти потому, что вооружил свою пехоту ружьями. В той битве мои низинные родичи покрыли себя славой. Позже они вновь отличились при штурме и разрушении замка Осака. Это случилось в лето Господне тысяча шестьсот пятнадцатое. Моему отцу было тогда восемнадцать лет. Он вместе с другими воинами защищал замок и семью Тоётоми, последние представители которой были перебиты в тот день.

Колесо вновь повернулось. Сёгунат Токугава объявил государственную монополию на чеканку монеты — моё семейство утратило главный источник дохода. Ружья были запрещены — ещё один источник дохода исчез. Торговлю с ино-

странцами ограничили — Сакаи стал островом, отрезанным от остальной Японии. Но что было для моей семьи хуже всего — христианство объявили вне закона. Мой отец был не единственным христианином на службе у семьи Тоётоми, а Токугава Иэясу считал, что лишь иезуиты и приверженцы Тоётоми, объединившись, способны его победить. И тех, и других истребили.

К рождению моего отца в Японии было четверть миллиона христиан, ко времени его смерти не осталось ни одного. Произошло это не сразу, а постепенно. Началось с казни нескольких миссионеров-иезуитов в лето Господне тысяча пятьсот девяносто седьмое, а закончилось массовыми избиениями сорок лет спустя. Мой отец практически до самого конца не понимал, что происходит. Его брат вернулся на земли предков, чтобы присматривать за рудниками и тайно исповедовать христианство. Отец остался в Сакаи и некоторое время пытался жить заморской торговлей. Однако сёгун сперва взял её под свой контроль, потом и вовсе задушил. Португальцам запретили въезд в Японию, поскольку они провозили священников под видом моряков. Сакаи и Киото закрыли для иноземной торговли. Открытым остался только Нагасаки и только для

голландцев — эти еретики не стремились спасти японцев от геенского пламени, им нужны были лишь наши деньги.

Так мой отец стал бродячим самураем — ронином, одним из множества ронинов-христиан, оставшихся без покровительства во время описанных событий. Он перебрался на другой берег Хонсю — тот, что обращён к Корее и Китаю — и стал контрабандистом. Отец доставлял в Японию шёлк, перец и другие товары и вывозил беглых христиан в Манилу. До той поры у нашей семьи не было никаких связей с Манилой, поскольку мы экспортировали серебро. Если азиатскую торговлю уподобить огню, то серебро будет воздухом, поддерживающим горение, а Манила — мехами. Ибо в Манилу каждый год прибывают галеоны с серебром из рудников Новой Испании. Наши копи не могли с ними соперничать, и на протяжении поколений мы предпочитали торговать с Макао и другими портами на побережье Китая — огромной страны, которая постоянно нуждается в серебре.

Но корабли из Макао перестали пускать в Японию, даже в Нагасаки, ибо оттуда проникали монахи-португальцы, стремящиеся стяжать мученический венец. Те люди в Макао, с которыми

вёл дела отец, разорились или переехали в Манилу. К тому же о ту пору он уже не торговал серебром. Поэтому он начал совершать рейсы между Манилой и некой контрабандистской бухточкой на севере Хонсю, возле города Ниигата. Слава его достигла Рима, и иезуиты стали прибывать в Манилу из Гоа на западе и Акапулько на востоке и спрашивать его по имени. Отец вёз их в Ниигату; там японские христиане встречали миссионеров и тайными тропами вели в горы, где те проповедовали Слово Божье и служили мессу. А на обратном пути отец вёз японских христиан, спасавшихся от гонений. Он доставлял их в Манилу, где к тому времени уже сложилась большая община наших соотечественников-единоверцев.

Так продолжалось некоторое время. Однако в лето Господне тысяча шестьсот тридцать пятое сёгун объявил, что отныне ни один японец не может под страхом смерти покинуть остров, а все японцы за его пределами должны в трёхлетний срок вернуться на родину. Ослушников ждала казнь. Через два года христианские ронины подняли мятеж на Кюсю и полгода сражались с войсками сёгуна, но в конце концов были уничтожены. Вскоре оставшихся христиан перебили после взятия замка Хара. Мой отец уцелел

благодаря чудесам, явленным различными святыми-заступниками; о них я рассказывать не стану, ибо знаю, что ты еретик и не веришь в помощь святых. Он совершил последний рейс в Манилу и женился там на молоденькой японке.

Я родился в Маниле через три года после того, как Япония закрылась от внешнего мира. Мальчиком я умолял отца показать мне родные края, но к тому времени он был стариком, его судно — изъеденной червями развалиной. Он утешался тем, что рисовал берега, вдоль которых когда-то ходил из Манилы в контрабандистскую бухточку на Хонсю. Моя жалкая мазня, «Сто семь видов побережья на пути к городу Ниигата», лишь убогое повторение его работ.

В сравнении с отцовской моя жизнь бедна событиями. Я вырос в Маниле, среди японских католиков и нескольких священников-испанцев. Отцы-иезуиты научили меня читать и писать, христианский ронин — боевым искусствам. Со временем я принял сан и отправился в Гоа, где прожил некоторое время и немного выучил малабарский. Затем меня отправили в Рим. Я увидел собор Святого Петра и поцеловал перстень святейшего отца. Я думал, что папа отправит меня в Японию пострадать за Христа, но он ничего мне

не сказал. Я был раздавлен и по слабости и гордыне некоторое время колебался в вере. Наконец я вызвался поехать миссионером в Китай, чтобы, возможно, принять мученический венец там. Я сел на корабль, отправлявшийся в Александрию, однако по пути на нас напали берберийские корсары. Я перебил множество врагов, но один из членов нашей команды, желая снискать расположение турок — будущих своих хозяев, — сзади ударил меня кофель-нагелем по голове. Турки доставили нас в Алжир и казнили предателя на крюке. Мне предложили стать янычаром на корсарской галере, но я отказался, и меня приковали к скамье вместе с другими гребцами.

Бумажная дверь отодвинулась. Из темноты за ней показались две эбеновые груди и живот, а следом в комнату вступила их обладательница, Коттаккал, королева малабарских пиратов. За нею шёл Даппа, тоже голый по пояс, но с турецкой саблей. Стало понятно, что за бормотание слышалось последние четверть часа из-за бумажной стены: Даппа переводил королеве рассказ Гото.

Она была женщина крупная, почти со среднего европейца. Широкие бёдра обеспечивали исключительную устойчивость, когда королева стояла босиком на кренящейся палубе, и плодовитость

— она родила пять дочерей и двух сыновей. Великолепный круглый живот обтягивала гладкая лилово-чёрная кожа. Джеку всегда казалось, будто он проваливается в эту чёрную огромность; по косвенным признакам можно было предположить, что у других возникает такое же чувство. Груди, выкормившие семерых, слегка обвисли, но лицо было прекрасно: круглое и гладкое, если не считать шрама на левой скуле. Затейливо вырезанные губы постоянно складывались в мудрую улыбку, даже усмешку; ресницы были густые и чёрные, как щетинная кисть. Голова постоянно словно возлежала на блюде, вернее, на целой стопке блюд, ибо, кроме бесчисленных колец и браслетов, королева носила множество дисков узорчатого булата, надевавшихся через голову на шею и составлявших что-то вроде блестящего тяжёлого воротника.

Теперь королева говорила, а Даппа переводил её слова на сабир:

— Когда мы захватили корабль с отцом Габриелем, Даппой и Мойше, ибо *Джекшафто* и остальные, не обладая мужеством этих троих, струсили и прыгнули за борт, подобно перепуганным крысам…

Джек низко поклонился и пробормотал: «Как

всегда, искренне рад видеть ваше величество», однако королева, не обращая на него внимания, продолжала:

— Так или иначе, мои люди хотели предать их смерти, желая мне этим угодить. Однако отец Габриель обратился ко мне с речью, которая угодила мне ещё больше, и я сохранила им жизнь.

— Что он сказал? — спросил Енох Роот.

— Он сказал: «Вы вправе отрубить мне голову, но тогда вы не узнаете, как бродяга по имени Ртуть отомстил франкскому герцогу в Каире и похитил целый корабль мексиканского золота». Посему я велела ему перед смертью поведать эту историю. Он поведал, но на самом деле он говорил о том, что вместе со своими товарищами будет полезнее мне в качестве рабов, нежели в качестве обезглавленных трупов в водах Камбейского залива.

— Ваше величество сделали мудрый выбор, — сказал Енох Роот.

— Я часто в этом сомневалась, — отвечала королева-пиратка. — Даппа — полиглот, что, как он объяснил, означает человека, хорошо владеющего языком, и нашёл не один способ угождать мне при помощи языка. Габриель Гото устроил хороший, пусть и странный сад. Мойше только

даром ел мой хлеб. Много раз мои советники предлагали продать их поодиночке за полцены. Несколько раз я была близка к этому, ибо в Гоа и Малакке есть превосходные невольничьи рынки. Однако, когда Джекшафто получил от Великого Могола *джагир,* всё переменилось, и началось строительство корабля. Вскоре даже самые недоверчивые мои капитаны спорили за честь добыть для него мачты.

— Я как раз гадал, откуда они возьмутся.

— Идём со мной, о податель вооружений, — проговорила королева Коттаккал и зашагала через бумажный домик Габриеля Гото.

Она двигалась так стремительно, что поднятый ею ветер срывал сухие пальмовые листы со стопок законченных работ; мрачные картины кораблекрушений кружились и медленно опускались в тяжёлом воздухе. Среди них Джек заметил письма, написанные, как он догадывался, японскими иероглифами; они были на рисовой бумаге и выглядели изрядно потрёпанными, как если бы проделали долгий путь.

— Какие вести от твоих собратьев по кисти в Японии и Маниле?

Лицо Габриеля Гото не выразило никаких чувств. Он лишь слегка повернулся к Джеку.

— Обычно я не жду от тебя живого интереса к событиям в Японии или жизни христианских ронинов в Маниле, — резко отвечал он.

— Однако теперь я вроде как король и должен расширять круг своих интересов, так что уж сделай милость.

— Сёгун по-прежнему копит серебро для внутренних нужд — то есть голландцев в Нагасаки заставляли брать за товары золотыми монетами. Однако в последнее время он установил такой низкий курс золота к серебру, что голландцы вынуждены принимать оплату огромным количеством меди.

Габриель сделал паузу и посмотрел на Джека, словно ожидая увидеть на его лице непонимание или скуку. Они шли за остальными через двор, где индуистские божки утопали в цветущей зелени, а от мелодично звенящих фонтанов струились прозрачные ручейки.

— Не томи душу, рассказывай!

— Всё, связанное с деньгами, контролирует семья Мицуи — они основали то, что вы назвали бы банкирским домом.

— Я так понимаю, ты связался со своими родичами — владельцами рудников.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, если золото обесценилось, то это очень важно для тех, кто владеет медными копями.

Габриель Гото, явно потрясённый тем, что его раскусили, промолчал. Они вошли в покои Коттаккал и теперь шли за ней по крытой галерее. Королева беседовала с Енохом Роотом, но у Джека сложилось впечатление, что в паузах, покуда Даппа переводит, Енох прислушивается к их разговору с Гото.

Иезуит продолжал:

— Раз у тебя пробудился столь неожиданный и необъяснимый интерес к колебаниям японской валюты, то я предупреждаю, что всё очень сложно. Сёгун провёл на самом деле несколько девальваций, стремясь извлечь больше металла из земли, что, по его мнению, вызовет такой же рост производства. По крайней мере так видится с точки зрения горняка — единственной для меня доступной.

Они поднимались по каменной лестнице, навстречу току прохладного, пахнущего солью воздуха.

— Объясни, в чём ещё сложности, — сказал Джек.

— Ты, вероятно, воображаешь, будто мои родичи по-прежнему добывают руду на землях,

полученных столетия назад. Однако мы утратили их в ходе пертурбаций, о которых я рассказывал. Мои уцелевшие родственники бежали на север, ближе к контрабандистским портам и дальше от Эдо. В Эдо сейчас миллион жителей.

— Город не может быть таким большим.

— Это величайший город мира и не место для христиан.

Они выбрались наверх и оказались в комнате с балконом. Отсюда — с самой высокой точки дворца — можно было видеть обвитый лианами утёс и гавань, где покачивался на якорях почти весь пиратский флот королевы. Корабли словно висели в воздухе, так прозрачна была вода; под килями стайки рыб проносились средь коралловых построек.

— Смотрите! — воскликнула королева, простирая унизанную браслетами руку. Вообще-то она сказала что-то по-малабарски, но, очевидно, это значило: «Смотрите!», и Даппа даже не потрудился перевести.

Внизу происходила какая-то странная операция. Четыре лодки были попарно соединены довольно длинными брусьями, так что получились два катамарана. Они следовали на некотором удалении один от другого, а на брусьях между

ними покоился исполинский ствол, гладко оструганный и выкрашенный в ржаво-красный цвет.

Джек услышал, как Даппа по-английски обратился к Еноху Рооту:

— В обычных обстоятельствах я не посмел бы лезть к вам с советами касательно чего бы то ни было, а тем паче по поводу этикета, однако настоятельно рекомендую вам, сэр, не спрашивать королеву, где она добыла мачту.

— С благодарностью принимаю совет, — отвечал Енох Роот.

Очевидно, мачту доставил один из кораблей королевы — европейской постройки фрегат. Он был самым большим в гавани, но значительно меньше того, что строился на берегу в Даликоте, и гораздо короче мачты. Очевидно, она выдавалась и с носа, и с кормы, пока её не перегрузили на катамараны.

Половина гребцов налегала на вёсла, половина орудовала черпаками; струи воды летели во все стороны, чтобы со следующей волной вновь перехлестнуть через планширь. Джек гадал, уж не стали ли они свидетелями бедствия, пока не услышал, что люди в лодках и на берегу смеются.

Он вновь повернулся к Габриелю Гото:

— Но если твои родичи превратились в бродяг,

откуда они столько знают о девальвации и почему пишут на рисовой бумаге?

— Коротко можно ответить так: они прикованы всё к тому же колесу бытия, и оно повернулось.

— Сёгун хочет извлечь металл из земли, поэтому Дому Мицуи нужны твои двоюродные братья и племянники.

— Сёгуна заботит и другое. Далеко на севере русские наступают. Раньше это были авантюристы и скупщики пушнины с Камчатки, Курильских и Алеутских островов. Однако теперь в России новый царь по имени Пётр, и о нём идёт грозная слава. Он даже отправился в Голландию учиться кораблестроению.

— Я про этого Петра слышал, — перебил Джек. — Ян Вроом работал с ним бок о бок. Пётр звал его в Россию строить корабли, но Вроом предпочёл более выгодный контракт и более тёплый климат.

— Так или иначе, — продолжал Габриель Гото, — слава Петра достигла ушей сёгуна. Очевидно, рано или поздно Россия начнёт угрожать Японии. Когда этот день наступит, Япония будет беззащитна против выстроенных по голландскому образцу кораблей Петра и обученных аль-джебре пушкарей, если только мы не закрепимся на севере Хонсю и на обширном острове

ещё дальше к северу — в диком краю, населённом голубоглазыми дикарями и называемом Эдзо или Хоккайдо.

— Итак, твоя семья дважды нужна сёгуну. Вы умеете добывать медь и готовы переселиться на север.

Габриель Гото промолчал, что, по мнению Джека, означало «да».

— Скажи, если сёгун так обеспокоен военной угрозой, не смягчил ли он запрет на огнестрельное оружие?

— Он выписывает из-за границы книги *рангаку,* то есть «голландских наук», чтобы узнавать обо всех новшествах в артиллерии и фортификации. Однако запрет на ружья не будет снят *никогда,* — твёрдо сказал Габриель. — Меч — символ благородства, главное отличие самурая.

— Сколько самураев сейчас в Японии?

— В отношении к остальному населению между одним к десяти и одним к двадцати.

— И только в Эдо живёт миллион душ?

— Так мне говорили.

— Значит, от пятидесяти до ста тысяч самураев в одном только городе — и у каждого есть меч?

— Два — длинный и короткий. Разумеется, у некоторых не по одной паре.

— Ясно. И дамасская сталь ценится так же, как и везде?

— Мы закрыты от мира, но не невежественны.

— И где японские оружейники добывают такую сталь?

Габриель Гото резко вздохнул, как будто Джек впёрся в его садик и наследил грязными ногами на белом гравии.

— Это великая тайна, и с ней связано множество легенд, — сказал он. — Ты знаешь, что большинство японцев — буддисты.

— Конечно, — отвечал Джек, который сейчас впервые об этом услышал.

— Буддизм привезли из Индии. Как и многие другие древнейшие наши традиции — например, чай.

— И сталь, — подхватил Джек, — которую лучшие оружейники Японии столетиями получали оттуда в виде маленьких яйцевидных слитков с отчётливым сетчатым рисунком.

Впервые на памяти Джека Габриель Гото не смог скрыть изумления.

— Откуда ты знаешь?!

Узкий конец исполинской мачты въехал на берег. Вымокшие гребцы выпрыгнули из первой пары лодок. Команда второго катамарана лихо-

радочно орудовала вёслами, пытаясь развернуть мачту так, чтобы её можно было вкатить на берег. На первый взгляд казалось, будто она не двигается. И всё же она поворачивалась, медленно, как минутная стрелка, и неотвратимо, как загадочное колесо, о котором говорил Габриель Гото.

— Ты хочешь вернуться на родину, которой никогда не видел, — сказал Джек. — Это ясно как день.

Габриель Гото закрыл глаза и повернулся к Лаккадивскому морю. Ветер трепал его длинные волосы и раздувал кимоно, словно цветной парус.

— Когда я мальчиком смотрел, как отец рисует побережье у Ниигаты, он вновь и вновь повторял, что в Японию нам теперь путь заказан и места эти мне суждено увидеть лишь на бумаге. И бóльшую часть жизни я верил, что так оно и есть. Однако позволь рассказать, как я стоял в соборе Святого Петра, дожидаясь очереди поцеловать перстень его святейшества. Я смотрел на потолок, великолепно расписанный художником по имени Микеланджело. Ни в латыни, ни в английском, ни в японском нет слов, чтобы описать величие этих фресок. Потому-то они и там, что порою живопись говорит больше слов.

В одном месте Небесный Отец тянется пальцем к Адаму, чья рука простёрта вверх вот так. Между пальцами Отца и Сына есть промежуток. И что-то промелькнуло в нём, что-то неуловимое, что-то такое, чего не в силах изобразить даже Микеланджело. Оно передалось от Отца к Сыну, и Сын пробудился, исполнился сознания и цели. Когда я увидел это в соборе Святого Петра, озарение настигло меня, преодолев разделяющий нас с отцом промежуток в годы и мили. Впервые я понял, что хотя *словами* он запрещал мне возвращаться в Японию, *рисунками* он говорил, что я *должен* вернуться — и теми же рисунками давал мне средство в неё попасть.

— Ты хочешь сказать, что «Сто семь видов побережья на пути к городу Ниигата» — своего рода лоции, чтобы ты смог вернуться.

— Это лучше, чем лоция, — произнёс отец Габриель Гото, член Общества Иисуса. — Это — живая память.

Полгорода бросило потешное сражение, чтобы вкатить мачту на берег. Вскоре привели и трёх слонов. В подзорную трубу (которая до того, как попасть к королеве пиратов, наверняка принадлежала какому-нибудь португальскому капитану) Джек видел, как его сыновья — полуго-

лые и покрытые синяками — вместе с молодыми найярами вытаскивают мачту на берег. Затем её, увитую гирляндами цветов и утыканную ароматическими свечами, торжественно пронесли по городу и уложили на центральной площади, где немедленно начался праздник. В прежние времена Джек был бы в центре веселья, а сейчас, предоставив сыновьям развлекаться за него, весь вечер проговорил о делах с Енохом и другими сообщниками.

На следующее утро весь город спал, за исключением сторожей и уборщиков-неприкасаемых. Джек думал, что сыновья завалились где-нибудь под пальмой, но, сколько ни ходил, не смог их найти. Начался отлив, с кораблей окликали его по имени. Джек поднялся в крепость, намереваясь разбудить мсье Арланка и попросить, чтобы тот попозже отыскал Джимми с Дэнни. Однако по пути к комнате гугенота он уловил вулканические эманации из королевиной спальни и, движимый любопытством, свернул в ту сторону. У косяка стояли не один, а два комплекта оружия: европейские мушкеты и абордажные сабли. Глухие стоны и бормотания из-за двери убедили Джека, что ребята отыскали-таки пресловутые восточные излишества, хотя чем они отличаются

от западных, сказать было трудно. Ну что ж, пусть живут своей жизнью, а Джека звала своя.

Два судна королевы Коттаккал покинули с отливом гавань и сразу повернули в разные стороны. То, на котором был Джек, держало путь на юг, к мысу Коморин на кончике Индостана, чтобы оттуда двинуться на север, через какой-нибудь из проходов в Адамовом мосту — цепочке рифов и островков между материком и островом Серендип. Дальше было уже рукой подать до того места, где на побережье у Даликота строился корабль сообщников. Вообще-то капитан собирался грабить торговые корабли у голландских поселений Тегнапатам и Негапатам, а также у английских Транкебара и Форт-Сент-Дэвида, но согласился высадить Джека чуть севернее, в его *джагире.* Енох Роот тем временем плыл на другом судне в Сурат, где ждал его торговец-датчанин, доставивший пушки в качестве балласта и теперь торопившийся загрузить вместо них селитру и ткань.

Через три месяца Джек из монарха вновь превратился в бродягу на харчах у королевы малабарских пиратов. Они с ван Крюйком, Яном Вроомом, Сурендранатом, Патриком Таллоу и несколькими голландскими мастерами прибыли

в гавань королевы Коттаккал на чём-то, более или менее напоминающем корабль. Корпус был покрашен, палубы — на месте, в трюме лежал балласт, на носу стояла временная фок-мачта, позволявшая медленно ползти вдоль берега с попутным ветром. Орудийные порты были задраены наглухо. В пути вокруг мыса Коморин беззащитный корабль сопровождали, а порой и буксировали четыре пиратских судна из флота королевы. Он ещё не получил имени — церемонию отложили до того дня, когда мачты и пушки установят, а сообщники соберутся вместе.

Пушки уже прибыли и лежали на брёвнах недалеко от берега. Джек, по дурной привычке смотреть на всё глазами подневольного работяги, тотчас подумал, что перетаскивание их из корабельного трюма на теперешнее место, сразу за первым рядом пальм, потребовало неимоверных затрат человеческого труда — может, не таких, как строительство пирамид, но всё же достойных того, чтобы остановиться и уважительно присвистнуть.

Напротив, ван Крюйк прошёл мимо пушек, не удостоив их взглядом, и ни разу не сбавил шагу, чтобы раскурить трубочку, пока не добрался до мачт, сложенных бок о бок в центре города за

храмом Кали. Он внимательно посмотрел, как они уложены и не соприкасаются ли с землёй, затем оглядел с узких концов, проверяя, нет ли изгиба, и простучал по всей длине рукоятью пистолета, слушая, как отдаются удары в древесине. Голландец сурово хмурил брови над трещинами, словно ожидая, что они сожмутся под его яростным взглядом, задумчиво трогал следы от трения канатов, столкновения с реями и вмятины от пуль. Сперва он был близок к панике, так боялся, что мачты окажутся негодными, но постепенно страх отпустил, сменившись будничной озабоченностью и лёгкой досадой — постоянными спутницами каждого капитана.

Наконец ван Крюйк остановился у шпора гротмачты и некоторое время его разглядывал. Ни с какого места мачта не представала с такой очевидностью тем, чем была на самом деле: исполинским стволом, скорее всего из девственных лесов Америки. С боков её природу отчасти скрывали труды плотников и железные обручи, выкованные в какой-то далёкой кузнице и ещё горячими насаженные на ствол, как кольца на палец, чтобы, остыв и сжавшись, они врезались в древесину, стали её частью. Здесь же, на исполинском спиле, высотою почти в рост ван Крюйка,

годичные кольца были видны даже под слоями смолы и краски. Капитан дважды осмотрел его, пока обходил мачты, и не заметил ничего недолжного. Однако в третий раз он подошёл ближе и принялся стучать по комлю рукоятью пистолета. Послышались глухие «тук, тук», потом звонкое «дзинь!» и, мгновение спустя, яростный вскрик голландца.

— Что стряслось? Палец зашиб? — осведомился Джек.

Тем временем Ян Вроом уже бежал из-за деревьев, по-голландски спрашивая ван Крюйка, уж не гниль ли тот нашёл в сердцевине мачты.

Ван Крюйк смотрел на проблеск жёлтого металла в основании могучего ствола и, казалось, не верил своим глазам.

У моряков есть давний обычай при установке мачты закладывать под неё монету — наверное, чтобы задобрить морских богов или оплатить дорогу в будущую жизнь, когда корабль со всем экипажем погрузится в пучину волн. Обычно вес мачты вдавливает монету в дерево; у мачт, которые ставили по нескольку раз, в основании столько же монеток. У этой конкретной их было три, но все закрашены. Ван Крюйк рукоятью пистолета только что сбил с одной аккуратный

кругляшок краски, и теперь на задворках храма Кали в Малабаре Джек Шафто, Отто ван Крюйк, Ян Вроом и быстро растущая толпа любопытных найярских мальчишек таращились на золотой профиль короля Людовика XIV Французского.

— Воистину монетный мастер был беспардонный льстец, — сказал Джек. — Живьём он и вполовину не так хорош.

Ван Крюйк бросил пистолет, выхватил из-за пояса кинжал и набросился на монету. Джек видел, что он хочет выковырять её из дерева, но руки от ярости дрожали так, что остриё никак не попадало в нужное место. Подбежавший Ян Вроом, который был на две головы выше ван Крюйка, заломил ему руки за спину с криком: «Не трожь! Дурная примета». Настолько Джек голландский разбирал, а вот ответ ван Крюйка не понял: наверное, это была некая интегральная формула удачи, по которой святотатственное извлечение монетки сулило меньше бед, чем золотая образина Луя, навеки вмурованная в самое сердце честного протестантского судна.

Джек внимательно посмотрел направо, налево и за спину, не подползает ли к нему кобра или крокодил — обычная предосторожность в этих краях, — потом с опаской обошёл сцепившихся

голландцев, вытащил пистолет и ударил рукоятью по второй монетке. Краска отскочила. Перед Джеком была английская гинея с профилем Вильгельма Оранского. Ещё удар — и на солнце сверкнул испанский дублон с королём Карлосом II.

— Господи, он ещё жив?! — изумился Джек. — Двадцать лет назад все ждали, что он не сегодня-завтра утопнет в собственных слюнях.

Ван Крюйк немного успокоился, и Вроом ослабил хватку, хотя руки его всё же не отпустил.

— Если я не слишком ошибаюсь, испанцы изготовили эту мачту в Америке для манильского галеона. Английские приватиры захватили корабль с сокровищами или подобрали его обломки после урагана. Позднее они имели несчастье встретить в море французский флот — поклон моему старому приятелю герцогу д'Аркашону. — Говоря, Джек поочерёдно указывал дулом на монеты. — Французы отправились на Восток сопровождать торговые суда «Компани дез Инд». Что уж с ними стряслось, бог ведает. Так или иначе, колесо вновь повернулось — подробнее о колесе можете расспросить нашего нового лоцмана отца Габриеля Гото — и мачта теперь наша. Так что давайте, на хрен, подложим под

неё рупию, и в путь!

— И всё равно мне это не нравится, — пробормотал ван Крюйк и выпустил по золотому луидору залп слюны. Он метил высоко, но бурый от табака плевок скатился по монете, словно клуб дыма, помрачивший солнечный лик.

Сперва погрузили пушки, что потребовало немереного труда, но позволило скоротать время, покуда мсье Арланк, Вреж Исфахнян и Мойше де ла Крус путешествовали в долину вуца и обратно. Торг оказался делом тонким и кропотливым, требующим не меньше сноровки, чем превращение речного песка в узорчатый булат. Перевезти золото на север, а стальные яйца на юг через частью враждебные территории было ничуть не проще. Потребовались многочисленные взятки и эскорт вооружённых найяров; Джимми и Дэнни вернулись из поездки, обогатившись бесчисленными байками о стычках и перестрелках в джунглях и в горах.

Однако наступил день, когда корабль достаточно осел под весом пушек, ядер, слитков вуца и других тяжёлых предметов. Теперь можно было ставить мачты без риска, что он перевернётся. Все сочли, что это самый подходящий день для крещения. Джек приготовил бутылку пенистого

вина из провинции Шампань, купленную за баснословные деньги у французского торговца в Сурате. Сообщники встретились у реки, где все три мачты, связанные вместе, были уложены на плот из более лёгких брёвен. Река тащила их к морю, и плот натягивал верёвку, привязанную к дереву в нескольких футах выше по течению. Два молоденьких крокодила, ярда по два длиной, выбрались на мачты и грелись под утренним солнышком. Стоя на причале над упомянутыми рептилиями, Джек видел дальше по течению украшенную цветами барку, мангровые заросли вдоль реки и гавань, где покачивался на якорях их корабль. Он был ещё без мачт, но из каждого орудийного порта выглядывало по пушке — артиллеристы приготовились дать салют.

Остальные сообщники, одетые по-праздничному, уже сидели в королевской барке. Джек — нет; королева сказала, что «по нашим традициям» он должен подняться на борт последним, после неё. А она по-прежнему беседовала на пристани со своей свитой. Время от времени найяры из её окружения с любопытством поглядывали на Джека. Даже сама королева разок покосилась в его сторону. Во время своего первого государственного визита в Малабар три года назад он

приглянулся королеве так же, как она ему; через день-два жаркого флирта Джек прислонил янычарскую саблю у дверей монаршей опочивальни. Он исходил из (как выяснилось впоследствии, опрометчивого) допущения, будто королева знает, за что его зовут Куцым Хером, но знакома с определённого сорта индийскими книгами; другими словами, что при её опытности его изъян — не помеха.

Если коротко пересказать длинную историю (которую Джек сильнее всего желал бы забыть), то свидание обернулось куда большими неприятностями, чем он мог ожидать. Выяснилось, что с индийскими книгами всё не так просто. Что существуют ещё более мудрёные книги, о которых Элиза не знала или по крайней мере не сочла нужным упомянуть. Что книги эти различают, помимо мужского и женского, множество полов, в том числе различные категории гермафродитов. Что каждая из категорий — не просто самостоятельный пол, но и отдельная каста, обязанная, как прочие касты, соблюдать некие строгие предписания. Что, согласно переводу этих древних писаний на малабарский, Джек принадлежит к такой-то андрогинной касте, посему должен был носить платье определённого

цвета и покроя, чтобы все и каждый знали, кто он, и обходились с ним лучше или хуже в зависимости от собственной касты. Королева Коттаккал относилась к высокой касте, члены которой (очень мягко выражаясь) не имели обыкновения ублажать в постели гермафродитов.

Англо-малабарские отношения были отброшены на столетия назад. Мойше и прочие сообщники, остававшиеся в рабстве у королевы, потратили добрую часть года на извинения. Джек прятал от королевы глаза, а она за всё время не сказала ему и десяти слов — он стал своего рода парией, неприкасаемым в постельном и общественном смысле.

Джек размышлял на эту самую тему, наблюдая, как третий крокодил, постарше, выбирается на бизань-мачту, когда внезапно осознал, что королева обратила к нему (хоть и через Даппу) целое связное предложение. Она взошла на барку и теперь стояла лицом к Джеку. Остальные сообщники в европейских костюмах, париках, халатах и кимоно сидели за её спиной и слушали с явным любопытством.

— Золото моё, бродяга, а не твоё — смел ли ты помыслить иначе? — перевёл Даппа. Потом добавил от себя: — Она употребила гораздо более

уничижительное выражение, но…

— Понимаю, ты щадишь мои чувства. Скажи королеве, что она отняла у нас золото честно-благородно, в точности как мы у вице-короля, и я никогда по-другому не считал. Даппа, как ты думаешь, у неё женские дела или что?

Королева отвечала:

— Тогда почему ты вознамерился меня обмануть и уплыть за горизонт на корабле, в который я столько вложила?

— Даппа, ты не ознакомил её величество с основными принципами судовладения? Должен ли я объяснять ей систему паёв? Должен ли напоминать, что почти вся команда будет из малабарцев? Что с нами отправляются оба её сына? И вообще, какая муха её укусила?

— Скорее всего у неё и впрямь женские дела, — отвечал Даппа, — и ещё она немного не в духе, потому что отпускает мальчиков от своей юбки.

Королева двумя руками осторожно сняла с шеи металлическое украшение: диск узорчатого булата, похожий на блюдо с дыркой посередине. Она подвела его к животу и, развернувшись к Джеку боком, выбросила руку вперёд. Стальное кольцо просвистело в воздухе, едва не задев Джека, и пугающе глубоко вонзилось в ствол дерева.

— Хватит говорить друг с другом, говорите со мной! — потребовала королева, снимая второй диск.

Все в радиусе ста ярдов вздрогнули. Однако Коттаккал метила ближе: в трос, которым была привязана её барка. Булатное кольцо рассекло трос без всяких усилий, словно прошло через солнечный луч, и булькнуло под воду. Лодка медленно поплыла от пристани. Джек краем глаза заметил какое-то движение и повернулся к мачтам. Они тоже плыли: королева первым броском перебила верёвку, крепившую их к дереву.

Третий диск, крутясь, вонзился в грот-мачту рядом с бухтой троса, к концу которого был привязан груз.

— Смотри на трос, — приказала королева. — Если бросишь его своим друзьям в мою барку, ваши мачты спасены. Если нет, их вынесет в море, и все вы останетесь моими рабами до скончания дней.

— Ты уверен, что перевёл правильно? — спросил Джек.

— Я перевёл слово в слово, — отвечал Даппа, нервно глядя на уплывающие мачты.

— Если я верно улавливаю основной смысл, она хочет, чтобы я проплыл через кишащую крокодилами реку?

— Судопроизводство здесь не очень развито, — объяснил Даппа. — Существует лишь одна его форма: суд Божий.

— Меня *судят?* За что?

— За провинности, которые ты *можешь* совершить в будущем. То есть проверяется твоя честность. Иногда обвиняемый должен пройти через огонь. Иногда — проплыть через кишащую крокодилами реку. Говорят, зрелище незабываемое — возможно, поэтому обычай настолько живуч. Я смогу рассказать тебе множество красочных подробностей, когда ты выберешься живым…

– *Если* я выберусь живым!

— А сейчас, пожалуйста, *сделай что-нибудь!*

Едва королева начала швыряться смертоносными украшениями, человек шесть найяров запрыгнули в барку и навели на сообщников мушкетоны. Тем оставалось лишь сидеть смирно, как прихожанам в церкви, и смотреть на Джека. Тот не в первый раз удивился, что после Каира все ждут решительных действий именно от него. В другой жизни и в иных обстоятельствах они могли совершать поступки и вести людей за собой. Однако собери их вместе, поставь в трудное положение, и они разом поворачиваются к Дже-

ку: мол, давай вперёд, а мы за тобой.

Это-то (если подумать) и приметила королева Коттаккал, столь сведущая во всём, что касается людей на боевых кораблях, столь отсталая в вопросах судопроизводства. Вероятно, потому именно Джеку, а не ван Крюйку или Мойше, выпало испытание судом Божьим.

Его признали вожаком после Каира. Однако в Каире Джек действовал так потому, что бес противоречия разыскал его в Хан-эль-Халили и убедил не соглашаться на разумные условия другой стороны, а убить герцога, и потом расхлёбывать последствия.

Всё, что произошло после, выросло из тех мгновений. Это Джек понимал. Одна беда: упомянутый бес не последовал за ним в Малабар или последовал, но угодил в плен к пиратам и теперь (надо думать) в какой-нибудь пыльной восточной стране подстрекает азиатов к опрометчивым выходкам. Так или иначе, бес отсутствовал. А Джек — который в прежние годы, не задумываясь, прыгнул бы в реку — врос в землю, словно старое баньяновое дерево, ушедшее в неё миллионами корней. Слишком много было аргументов за то, чтобы не прыгать в реку, кишащую крокодилами.

Товарищи смотрели на него с королевской барки. Некоторых из них Джек любил, как никого на свете, исключая Элизу. Однако войны, увечье, рабство и бродяжничество ожесточили его сердце. Он отлично знал: на любой галере в Средиземном море многие невольники заслуживают свободы ничуть не меньше ван Крюйка, Мойше и остальных, однако никогда её не получат. Так стоит ли рисковать жизнью ради этой кучки людей?

В барке были его сыновья. Джимми и Дэнни даже не смотрели на отца, а сидели с делано скучающими лицами, уверенные, что он, как всегда, их подведёт.

Енох тоже был в барке. Рано или поздно Енох выберется с Малабара. Возможно, через сто лет, но Енох вернётся в Европу и расскажет, как Джек струсил и в итоге прожил остаток дней храмовым наложником-гермафродитом.

Джек словно со стороны увидел, что бежит по берегу.

Мачты уже успели отплыть на заметное расстояние. Путь Джеку преграждали мангровые заросли, образующие на краю деревни что-то вроде естественного волнолома. Однако сквозь них была проложена тропинка, где местные жители

по выступающим корням над затхлыми бочажинами пробирались к реке добывать рыбу сетями или острогами. Пробегая через двор тростникового домишки, Джек сгрёб за шею двух кур. Ещё ему на глаза попалась бамбучина. По слухам, такой можно разжать крокодилу пасть, так что Джек подхватил её тоже и сунул себе под мышку.

Потом — так быстро, как только можно прыгать по скользким корням, сжимая в каждой руке по курице, — он выбрался на берег. Мачты как раз проплывали мимо. Они достигли того места, где река разливалась и становилась мельче. Здесь течением намыло подводную илистую отмель. Джек молился, чтобы мачты на ней застряли. Но, разумеется, этого не произошло — приспешники королевы Коттаккал сделали плот из самых лёгких брёвен.

Мачты были в десяти футах от него и двигались со скоростью неспешно идущего человека. Мутную гладь реки нарушали лишь глаза и ноздри, отстоящие на пугающе большое расстояние от глаз. Джек прикинул, что крокодилов восемь-двенадцать. Они тоже заметили его и теперь медленно приближались.

Всё шло примерно так, как задумала королева. Через несколько минут плот вынесло бы с отме-

ли, а на быстрине Джек бы его не нагнал. Мачты следовало остановить здесь, на мелководье, где как раз и обитали крокодилы.

Джек на пробу бросил им первую курицу. Она не упала и не полетела, но некоторое время шла по воздуху, потом черпнула крылом и затормозилась о воду. Клюв на миг вскинулся, выпустив резкий квохт. Тут из воды появилась верхняя челюсть размером с трактирную скамью. Джек увидел её лишь мельком. Курица пропала, как пламя свечи, когда её окунут в воду.

Подобно французам, крокодилы следовали своей природе, не видя надобности в притворстве или оправданиях, и потому держались с величавым сознанием собственного достоинства, которым Джек отчасти даже восхищался. Он лишь предпочёл бы более теплокровных врагов. Впрочем, если подумать, королева Коттаккал принадлежала к теплокровным и даже — кто бы усомнился! — к млекопитающим; это было так же верно и очевидно, как то, что она ему враг. Выходило, что разница несущественна.

Джек не мог придумать ничего лучше, чем кинуть вторую курицу в другую сторону, чтобы на время отвлечь крокодилов и рвануть к мачтам. Для этого надо было переложить её в правую руку,

а бамбучину — в левую. Только сейчас он заметил на конце палки металлический наконечник с загнутым зубцом. Это был гарпун. К другому концу была привязана верёвка — Джек, сам того не замечая, тащил её за собой. Теперь он хорошенько дёрнул. Узел на конце верёвки, завязанный, чтобы она не выскальзывала из рук, подпрыгнул на коряге, и Джек поймал его в воздухе. Через десять секунд курица уже болталась на хвосте гарпуна, схваченная удавкой за шею. Джек зашвырнул её в воду на середину промежутка между собой и мачтами, где крокодилов пока не было. Те, естественно, устремились к добыче; бугорчатые хребты скользили под водой, не нарушая тёмную гладь. Джек, не теряя времени, забежал в воду и, зайдя по пояс, перебросил острогу через мачты. Она плюхнулась в воду по другую сторону плота — во всяком случае, так Джек рассудил по звуку. Следить за её траекторией он не мог, потому что два крокодила уже карабкались друг на друга, торопясь до него добраться. Джек отбежал в заросли и, прежде чем вновь обернуться к реке, выхватил ятаган.

Вторую курицу уже заглотил, не жуя, огромный старый крокодилище. Верёвка теперь тянулась от его пасти через плот к бамбуковому древку.

Мачты продолжали плыть; острогу заволокло на них, так что она в конце концов зацепилась наконечником за трос, которым были связаны брёвна. Что чувствовал крокодил, когда верёвка натянулась и потащила курицу обратно, Джек мог только догадываться; вопрос о том, что думала курица (которая в каком-то смысле могла ещё оставаться живой), следовало предоставить метафизикам. Внешние следствия были таковы: мачты перестали двигаться, а крокодил разозлился. Джек предполагал, что очень большой и очень старый крокодил гордится своей работой: тем, что глотает и переваривает без разбора, — и должен был расценить попытку выдернуть еду у него из желудка как тяжкое оскорбление. В общем, крокодил возмущённо забил хвостом. И тут случилось то, на что Джек не рассчитывал, но что оказалось ему в высшей степени на руку: остальные крокодилы услышали плеск и ринулись к нему со своей возможной (и, надо сказать, пугающей) быстротой.

Джек, зная, что второго шанса не будет, вбежал в воду. Половину расстояния он преодолел по дну, потом оно ушло из-под ног. В башмаках и с саблей плыть было невозможно. Джек стянул один башмак и уже собирался выпустить из рук,

когда что-то заставило его обернуться. К нему приближался крокодил. Джек бросил в него башмаком, который исчез так же быстро, как курица. Через несколько мгновений второй башмак отправился вслед за первым. Джек тем временем стаскивал с себя пояс, на котором висели ножны. Пояс полетел в крокодила и пропал в его пасти. Саблю Джек метнул в плот, и она, на удачу, воткнулась в мачту. Он взмахнул ножнами, словно собираясь бросить из вслед поясу и башмакам. Крокодил, устремив на него щелевидные зрачки, распахнул пасть, чтобы схватить добычу, и Джек, не выпуская ножен из рук, втолкнул их между огромными челюстями, как распорку.

Напрасно он рассчитывал, что противник так и останется с открытой пастью: ножны доставили тому лишь несколько неприятных мгновений, однако, как Джек уже не раз убеждался на примере других противников, порою большего и не требуется. Пока крокодил избавлялся от досадной помехи во рту, Джек разоблачился. Пока другой крокодил заглатывал его одежду — доплыл до мачт. Пока два крокодила спорили за право первым его схватить — выбрался на плот и выдернул из мачты саблю. К плоту стремительно — так, словно его тянули на буксире за парусным ко-

раблём, — приближался молодой крокодил. Он с разгона преодолел половину фок-мачты, и Джек аккуратно снёс ему голову. Туловище рухнуло в воду и стало пищей другим крокодилам. Второй взмах сабли перерубил верёвку гарпуна, и мачты вновь двинулись по течению. Вскоре они миновали подводную отмель и вплыли в гавань, медленно вращаясь в невидимом водовороте.

Здесь же была и королевская барка. Со второй попытки Джек добросил верёвку до товарищей, и те, сматывая её, подтащили мачты вместе с ним, как рыбину.

Джек успел обгореть, однако экваториальное солнце казалось целительным бальзамом в сравнении со взглядом королевы Коттаккал.

— Я оценил мудрость вашей традиции, о, королева, — сказал Джек, когда его плот приблизился к барке. — И один на тысячу не вышел бы живым из этого испытания. А насколько я могу судить, один на тысячу — нормальная пропорция честных людей в любом сообществе.

Однако здесь его речь грубо прервал вопль почти всех сидящих в лодке. Джек обернулся и увидел исполинского крокодила, добрых двадцать футов с походцем, который не столько *взбирался* на мачты, сколько *вдавливал их в воду*

своим весом. Рептилия надвигалась, скользя брюхом по притопленной древесине, но тут с неба дождём посыпались Шафто: Джимми и Дэнни запрыгнули на плот между Джеком и крокодилом. Ребята замахали вёслами перед пастью крокодила, который продолжал вползать на мачты, будто вёсла — французские батоны. Он наверняка позавтракал бы младшими Шафто и закусил Джеком, но тут найяры в барке открыли огонь из мушкетонов.

Через мгновение малабарские небеса разорвала долгая раскатистая череда громов. Джек повернулся и увидел, что новый корабль скрыт дымной пеленою, из которой во все стороны бьёт свет. Канониры, не поняв, что происходит, салютовали королеве и командному составу своего корабля. Плот под ногами скакнул вверх, всплывая из воды. Джек, повернувшись туда, где только что лежал крокодил, увидел лишь брызги крови.

Пушки крепости тоже палили. Королева встала, чтобы принять адресованные ей почести. Неожиданный поворот событий застал её врасплох, но, как хорошая монархиня, она умела принимать странные вердикты Фортуны и крокодилов.

Джек в одолженной у найяров набедренной повязке поднял бутылку шампанского и пригото-

вился разбить её о бушприт.

— Во имя всего, что считается святым в этой адской дыре, крещу тебя Эли…

На полпути к цели бутылка уткнулась в ладонь Еноха Роота.

— Не называй корабль в её честь, — сказал тот.

— А что? Я с самого начала так собирался.

— Неужели ты думаешь, что это пройдёт незамеченным? Дама в щекотливом положении… даже носовая фигура до опасного похожа на неё.

— Ты правда думаешь, что это имеет значение?

— Корабль не останется здесь до скончания веков. Рано или поздно он придёт в какой-нибудь христианский порт — а христианских портов, в дела которых Элиза не была бы так или иначе втянута, поискать.

— И как мне, чёрт возьми, прикажешь назвать корабль? «Курфюрстина София»? «Королева Коттаккал»?

— Иногда лучше избрать обходной путь… чтобы каждая из трёх дам считала, будто корабль назван в её честь.

— Неплохая мысль, Енох… но что у них общего?

— Ум и определённого рода сила — готовность

пустить свой ум в ход.

— Можешь не продолжать, — сказал Джек. — Я видел эту даму в театре. — Он снова повернулся к кораблю: — Крещу тебя «Минервой»!

Через мгновение французское вино пенилось на его обгоревшей коже, вокруг гремели залпы. Даппа закончил переводить последние слова. Королева Коттаккал взглянула Джеку в глаза и улыбнулась.

Книга 5
Альянс

Темза
Февраль 1696

— На дуврских скалах нашли большую кучу хвороста и дров, политую маслом, — сообщил Роджер Комсток, маркиз Равенскар и канцлер казначейства. — Костёр должен был известить французов об убийстве его величества.

Пользуясь своим привилегированным — лицом по ходу лодки — положением, он поднял голову и посмотрел вдоль Темзы, будто высматривая в небесах шифрованные дымовые сигналы.

— Похвально, что якобиты наконец-то отработали связь, — только и мог ответить Даниель. — Они сожгли половину годового запаса дров и выпили половину винных запасов Франции, отмечая *ложную* весть о смерти Вильгельма.

Роджер вздохнул:

— Вы, как всегда, сыплете крамольными остротами. Счастье, что мы беседуем в лодке, где единственный человек, способный нас подслушать, не знает ни слова по-английски.

Шпилька в адрес гребца-кокни. Даниеля за такое лодочник бы выбросил в реку, и любой суд

его бы оправдал. Роджер же умел так подмигнуть, что его шутки шли по разряду чаевых.

— Когда мы беседуем в кофейне, — продолжал Роджер, — я вздрагиваю всякий раз, как вы с такой вот миной открываете рот.

— Вскоре я отправлюсь за моря вслед за другим подстрекателем и пасквилянтом, Гомером Болструдом, и вам не придётся больше вздрагивать. — Даниель, сидевший лицом против хода лодки, устремил взгляд в сторону желанного Массачусетса.

— Да, так вы твердите уже лет десять…

— Ближе к семи. Однако вольное обращение с числами — привилегия, если не обязанность, человека в вашей должности.

Даниель повернул голову на несколько градусов влево и кивнул в направлении Вестминстерского дворца, ещё видимого за излучиной Темзы. Он имел в виду казначейство, лавину несуразных пристроек к указанному дворцу со стороны реки. Туда Даниель зашёл сегодня за Роджером, и оттуда они отбыли на лодке несколько минут назад.

Роджер обернулся и поглядел в ту сторону, но было уже поздно.

— Я смотрел на ваше присутственное место, — пояснил Даниель. — Его как раз скрыли огромные

штабеля гниющих брёвен, скопившиеся за последние годы на Ламбетской излучине из-за того, что денег нет и никто ничего не покупает.

Роджер на миг зажмурился, давая понять, что задет, но сегодня настроен благодушно и прощает обиду.

— Я был бы весьма признателен, — сказал он, — если бы вы со вниманием выслушали крайне важную новость, которую я пытаюсь донести до ваших ушей. Сорок человек — джентльменов и титулованных дворян — собрались вчера на Тёрнхем-Грин, чтобы убить короля, когда тот будет возвращаться с охоты.

— Кстати, об ушах…

— Да! И он в том числе.

Разговоры Даниеля и Роджера часто раздражали окружающих, поскольку эти двое знали друг друга неприлично долго, а потому могли общаться на кратком жаргоне общих аллюзий. «Уши» в данном случае означали Чарльза Уайта, тори-якобита, имевшего обыкновение откусывать вигам уши и (по крайней мере так гласил слух) у себя дома демонстрировать их единомышленникам в качестве трофеев.

— В Кале´, в Дюнкерке, — продолжал Роджер, — вы увидите военные транспорты, ждущие лишь

сигнального костра.

— Я вижу, что вы в бешенстве. И понимаю, отчего. Если я не бешусь, то лишь по одной причине: всё это настолько старó, что я с трудом верю своим ушам. Разве всего этого уже не было?

— Какая странная реакция.

— Неужто? Я мог бы сказать то же самое про деньги. Когда у нас будут деньги, Роджер?

— Некоторые сказали бы, что упомянутые вами прискорбные явления суть постоянные, или перманентные, или хронические угрозы нашей английской свободе, и посему им нужно противостоять с мужественным упорством. Мне странно, когда вы закатываете глаза и уничижительно бросаете: «Старó», будто смотрите спектакль.

— Вот почему мне хочется встать и выйти в фойе, где не так душно.

— Фойе в данном случае натужная метафора для Колонии Массачусетского залива?

— Да.

— С чего вы взяли, будто массачусетская жизнь будет менее однообразной? Судя по новостям, события там повторяются с малоприятной регулярностью: то индейцы нападут, то этот фанатик

Мэзер [26] разразится очередной речью.

— Там я смогу заниматься работой совершенно нового рода.

— О чём вы неустанно твердите Королевскому обществу — всем двадцати его членам.

— Правильное число ближе к ста, но я вас понял. Нас и впрямь всё меньше. Виною тому страсть к новизне. Я попытаюсь это исправить.

— Кстати, о новизне: когда увидите французскую военно-морскую базу в Дюнкерке…

— Вы уже второй раз говорите так, будто я собираюсь во Францию. Вы сбрендили? Откуда у вас такие фантазии?

— Сбрендил я или нет, но разве не я единственный попечитель Института технологических искусств Колонии Массачусетского залива?

— Сэр, я понятия не имел, что такое учреждение *учреждено*. Однако если бы знал, то заподозрил бы вас в первую очередь.

— Это значит «да»?

— Да.

---

[26] Примечания: 26

Коттон Мэзер (1663–1728) — американский проповедник и натурфилософ, первый американский член Королевского общества. Занимался скрещиванием растений, пропагандировал вакцинацию от оспы, написал книгу «Чудеса незримого мира», в которой доказывал постоянное действие потусторонних сил в человеческой жизни, во время Салемских процессов активно поддерживал преследование «ведьм».

— Следует ли отсюда, что я могу давать единственному служащему какие-то указания касательно его действий?

— Служащие получают жалованье. Деньгами. Которых нет.

— Вы поистине невыносимы. Как вы провели последние две недели?

— Вы отлично знаете, что я был в Кембридже, помогал Исааку освобождать комнаты.

Роджер притворно изумился:

— Речь, часом, не об Исааке Ньютоне? Учёном? С какой стати ему вздумалось покинуть Кембридж?

— Он едет сюда, чтобы возглавить Монетный двор, — отвечал Даниель. (Событие готовилось больше трёх лет — дело тормозили политические неурядицы и нервное расстройство Исаака.)

— Говорят — умнейший человек из всех, когда-либо ступавших по земле.

— Он бы отдал первенство Соломону, но я с вами согласен.

— О боже! Полагаете, он станет чеканить какие-то там монетки?

— Если политики не будут ему мешать.

— Даниель, вы меня обижаете. По сути вы сейчас сказали, что альянс политически неком-

петентен. Позвольте напомнить, что перечеканка одобрена обеими палатами. Так что этот мусор осталось терпеть недолго. — Канцлер казначейства вытащил из башмака пачку ассигнаций Английского банка, вложенную туда для тепла, и помахал ею в воздухе. Потом, оскорблённый самым её видом, бросил деньги через плечо в Темзу. Ни он, ни лодочник не обернулись.

— Глупое расточительство, — заметил Даниель. — Куда разумней было бы сжечь их в камине, чтобы согреться.

— Казначейские бирки [27] горят жарче, хозяин, — вставил лодочник, — да и отдают их за шестьдесят процентов.

— Исаак приступит к работе в начале мая, — сказал Роджер. — Сейчас февраль. Чем бы нам покамест себя занять? Вы ведь намерены продолжить труды Коменского — Уилкинса — Лейбница по созданию пансофистской арифметической машины, она же логическое устройство, она же вычислительный автомат, она же алгебра умозаключений, она же хранилище всех знаний?

---

[27] Примечания: 27

Бирка — оструганная палочка, на которую наносили зарубки по ширине, а затем расщепляли её пополам, так что обе стороны получали копию «документа»; после расчёта половинки складывались.

В 1834-м при сжигании бирок, составлявших финансовую документацию за шесть веков, сгорело здание британского парламента.

— Надо будет придумать более удачное название, — отозвался Даниель, — но вы отлично знаете, что ответ «да».

— Тогда прежде вам следовало бы поболтать с Лейбницем. Вы не согласны?

— Согласен, разумеется, — проговорил Даниель, — но даже будь в этой стране деньги, мне они не достанутся, так что я о такой поездке и не помышляю.

— Я нашёл в чулке несколько дореформенных луидоров и рад буду вам их передать в ожидании той поры, когда Исаак раскочегарит Монетный двор.

— И что, скажите на милость, мне делать с французскими деньгами?

— Купить на них что-нибудь, — отвечал Роджер. — Во Франции.

— Мы с нею воюем!

— Довольно вяло — одна серьёзная битва за последние два года.

— И всё же — зачем мне туда?

— Франция лежит на пути в Германию, где, если я не сильно ошибаюсь, живёт сейчас Лейбниц.

— Разумнее было бы её обогнуть.

— Куда удобнее отправиться прямиком — тем паче, что таким курсом следует ваша яхта.

— У меня и яхта теперь есть?

— Смотрите! — провозгласил маркиз Равенскар.

Даниелю пришлось повернуть голову и глянуть вниз по течению. Они как раз миновали Стилъярд и приближались к пристани у «Старого лебедя», сразу перед Лондонским мостом. После моста начиналась лондонская гавань, в которой стояла едва ли не тысяча кораблей.

— И что я должен был увидеть? Рыбный рынок? — возмутился Даниель. (Именно в ту сторону указывал сейчас Роджер.)

— Тысяча чертей! — воскликнул Роджер. — Она перед Тауэром, отсюда её не видно, так что давайте сходим и посмотрим.

Он спрыгнул с лодки на причал и зашагал к «Старому лебедю», не расплатившись с лодочником и даже не глянув в его сторону. Тот, впрочем, нимало не огорчился. По-видимому, у Роджера было полное взаимопонимание с ним, как и со всем Лондоном, за исключением нескольких якобитов.

От «Старого лебедя», куда они заглянули, чтобы согреться пивом, можно было пройти по Темз-стрит, а затем долго продираться через ворота, башни и дамбы Тауэра, обросшие человеческим

жильём, как поражённые сердечные клапаны — инфекционными бородавками. Однако Роджер хотел взглянуть на яхту с реки, поэтому они обошли мост и спустились к Львиному причалу под лабазоподобной церковью Святого мученика Магна, которую Рен отстроил заново, но ещё не успел снабдить башней или колокольней. Другой лодочник согласился отвезти их вниз по реке. Обогнув шумный рыбный рынок и Ки, они оказались в начале Тауэрской пристани — четвертьмильной стены, встающей прямо из реки. Впрочем, местами её украшали краны, пушки, крохотный зубчатый замок и прочие диковины. В стену уходили два причала и один сводчатый туннель; лодочник всё гадал, не к ним ли маркиз Равенскар направляется, однако Роджер гнал лодку дальше, до самого конца стены, где стояли два брига и трёхмачтовый корабль. Даниель машинально смотрел на судёнышки поменьше и поскромнее, пока не вспомнил, что он с Роджером, которому подавай всё самое лучшее. Взгляд маркиза был устремлён на трёхмачтовик. Носовая фигура изумляла — не тем, что была покрыта многими квадратными футами листового золота (дело вполне обычное), но своей диковинной формой. Золотой шар с глазами, носом и ртом,

казалось, нёсся вперёд, увлекая за собой огромный клубящийся хвост золотого, серебряного и медного пламени. Даниель понял, что перед ним — очеловеченная комета или огромный огненный…

— «Метеор»! — объявил Роджер. — Бывшая собственность господина герцога д'Аркашона. — Затем лодочнику: — Обойди корабль с обеих сторон, а когда доктор Уотерхауз закончит осмотр, мы поднимемся вверх вон по тому трапу. Даниель, надеюсь, вы не прочь полазить по трапам?

— Я бы по верёвке взобрался, чтобы такое увидеть.

— М-м… всякий *нормальный* человек, предложи ему на выбор лезть по верёвке или отправиться во Францию на герцогской яхте, предпочёл бы второе; посему я воспринимаю ваши слова как согласие быть в Дюнкерке через три дня, — сказал Роджер.

В прежние годы Даниель пересчитал бы пушки «Метеора», но сейчас смотрел только на декор. Искусные резчики увили всю яхту золотыми лавровыми гирляндами. Над ютом распростёрла крылья Победа: одной рукой она тянула гирлянды на себя, словно вожжи, другой держала

поднятый меч. Под крыльями шёл ряд окон.

— Ваша каюта, — объяснил Роджер, — где нам накрыли стол.

Они пообедали жареными перепёлками, приготовленными на камбузе «Метеора», «который полностью перестроили, — сообщил Роджер, — ибо смрад от кухни покойного герцога внушал омерзение даже французам». Синяя скатерть была расшита золотыми королевскими лилиями; Даниель заподозрил, что прежде она служила флагом.

— Так теперь эта яхта ваша, Роджер?

— Пожалуйста, не опускайтесь до пошлых рассуждений, что кому принадлежит. Всем известно, что яхту захватили у Шербура, когда французы *прошлый раз* собирались на нас напасть. Король намеревался подарить её королеве, так что её немного подлатали…

— Кого, королеву?

— Яхту. Но затем оспа похитила её из этого мира — королеву, а не яхту. «Метеор» превратился в бесполезную игрушку, не стоящую денег на своё содержание…

— Вы получили её задаром?!

— Чума на всех пуритан с их низкой одержимостью тем, что сколько стоит! — взревел Роджер,

потрясая перепелиной ножкой, словно палицей Геркулеса. — Существенно, что семье де Лавардаков яхта очень дорога. А в Дюнкерке сейчас находится сама Элиза де Лавардак. — Взгляд Роджера на мгновение стал рассеянным. — Надеюсь, то, что говорят про неё и про оспу, — неправда.

Даниель, чью единственную любовь оспа на его глазах разжевала и выплюнула, почувствовал сильнейшее желание сменить тему.

— Начинаю понимать. Виги считаются партией Банка и войны. Банк, по слухам, идёт ко дну, а война застопорилась.

— Учтите. — Роджер вновь назидательно потряс перепелиной ножкой. — Банк расцветёт, и французов мы победим, дайте срок. Однако сейчас нам желательно не проиграть выборы Гарлею и Болингброку.

(Имелись в виду тори.)

— И вы хотите предложить Франции мир, а в Элизе видите своего рода мост между Францией и Англией. Вы хотите подольститься к ней и её мужу, вернув им «Метеор». И меня выбрали в качестве посла?

— Накануне Революции вы ездили в Голландию, — сказал Роджер, — поскольку в вас меньше всего могли заподозрить дипломата.

— Чем чаще я буду ездить с такими поручениями, тем с большей вероятностью меня заподозрят, — отвечал Даниель. — Впрочем, я буду рад передать яхту Элизе, если вы этого от меня хотите. А потом отправлюсь в Ганновер.

— Какое совпадение! — воскликнул Роджер. — Мне надо передать нашей будущей королеве нечто, слишком щепетильное, чтобы доверить бумаге.

— Вы о Софии Ганноверской? Не понимаю. Наша следующая королева зовётся Анной и живёт в Англии.

— И больна сифилисом, как сестра и отец, — пробормотал Роджер, — посему вряд ли может произвести жизнеспособное потомство. София же в своё время была исключительно плодовита. Помните мои слова, нам осталось лишь немного потерпеть сифилитичных католиков Стюартов. Скоро трон займут Ганноверы, а Ганноверы — прирождённые виги.

— Из чего это следует?

— Ганноверы — прирождённые виги, — повторил Роджер. — Говорите это себе, Даниель, по сто раз на дню, пока не поверите, а потом передайте Софии Ганноверской самым убеждённым тоном.

— Не поднимайте голову, Роджер, но мне кажет-

ся, что некоторые прирождённые тори смотрят на нас из Тауэра. — Даниель глянул в боковое окошко каюты, из которой открывался вид на укрепления за причальной стеной.

— Неужто?!

— О да!

— Со стены?

— Не совсем. Учтите, что их сейчас в Тауэре чуть больше обычного.

— Не удивляюсь, — сказал Роджер. — Отлично, Даниель. Полагаю, у вас всё-таки есть будущее как у политического интригана.

— Вы забываете, что я много лет этим кормился. Простите, Роджер, но сильнейший позыв заставляет меня отправиться в гальюн.

— На самом деле?

— Нет, потому что у меня уже три дня запор. Это всего лишь уловка. Сыщется ли здесь подзорная труба?

— И очень неплохая. Вот здесь, в ящике… нет, в левом… ниже… ещё ниже. Да.

— Для довершения иллюзии мне нужно что-нибудь вместо говёшки.

— Смородинный пудинг! — тут же отозвался Роджер, глядя на бурое полено, лежащее перед ним на тарелке.

— Вообще-то я думал про сардельки, — сказал Даниель. — Впрочем, в английской кухне столько блюд подходящего размера, формы, цвета и консистенции, что с ходу и не выберешь.

— Во Франции вас ждёт куда большее разнообразие кушаний.

— Все так уверяют. — Даниель, сунув трубу в задний карман и прихватив смородинного пудинга, отправился в гальюн.

На другом корабле для этого пришлось бы идти через всю палубу и выставлять зад на обозрение Лондону, но здесь, на герцогской яхте, к лучшей каюте примыкал крохотный чуланчик со скамьёй и дыркой в трёх морских саженях от воды. Над скамьёй располагалось барочное окно, чтобы впускать свет и выпускать миазмы. Даниель уселся поудобнее, приоткрыл окно и положил трубу на подоконник, слегка замаскировав её занавеской.

Соляная башня на юго-западном углу цитадели, выстроенной Генрихом III четыре с лишним сотни лет назад вокруг того, что теперь называлось Внутренним двором, выглядела так, будто её слепили из обломков других, рухнувших или взорванных бастионов. Где-то она была угловатой, где-то округлой. Там и тут приткнулись

дымовые трубы или зубчатые парапеты; окна располагались без всякой чёткой системы, просто там, где каменщикам пришла фантазия оставить отверстие. Хотя, может быть, так лишь представлялось спустя пять столетий беспрестанных переустройств, а изначально каждый камень укладывался по какой-то безошибочной логике. Позже несколько королей, носивших имя Эдуард, обнесли Внутренний двор низкой стеной со своими собственными кунсткамерами башен и бастионов. Поверх пушек и зубцов этой-то стены Даниель и направил подзорную трубу. Он смотрел на плоскую крышу Соляной башни. Она, как и в некоторые другие башни Внутреннего двора, издавна служила тюрьмой для узников благородного звания. Иногда Даниелю казалось, что половина его знакомых на каком-то этапе жизни сидели в той или иной башне — включая самого Даниеля. То, что обычному заключённому Ньюгейта представилось бы свалкой строительного камня, было знакомо ему, как повару — его кухня. Он быстро навёл трубу. На том самом месте, где почти тридцать лет назад Даниель беседовал с опальным Ольденбургом, сейчас стояли двое в париках. Тогда узник и его гость наблюдали, как под покровом тьмы ввозят французское

золото, чтобы купить английскую внешнюю политику. Теперь всё перевернулось: двое арестантов смотрели на «Метеор», готовый отбыть во Францию с поручением совершенно иного толка. Один — в ярко-рыжем парике — вероятно, был Чарльзом Уайтом. Его спутника — усатого, в треуголке поверх тёмного парика — Даниель не узнавал. Оба, вероятно, попали в Тауэр после того, как заговор против короля разоблачили по доносу одного из участников. Впрочем, это всего лишь сужало круг возможных кандидатов до нескольких тысяч тори, желавших Вильгельму смерти. Человек в тёмном парике смотрел на всё вокруг с любопытством, казавшимся Даниелю несколько подозрительным. Уставляться и показывать пальцем — дурная манера, люди благородные так не делают, однако двое узников только этим и занимались. Чарльз Уайт пялился на «Метеор», и Даниель, чтобы дать ему пищу для глаз, бросил в дыру три куска пудинга. Второй человек таращился на Лондон и постоянно указывал пальцем, дёргая Уайта за рукав, чтобы задать очередной вопрос. По всей видимости, его особенно занимали новые причалы и склады по берегам Темзы, выросшие за Ротерхитом в последнее десятилетие. Чарльз Уайт вынужден

был отвечать, указывая на какие-то строения. Удовлетворив своё любопытство, темноволосый перевёл взгляд на старую часть Лондона. Теперь он меньше расспрашивал и больше говорил сам. Вопросы начал задавать Уайт. Темноволосый, очевидно, рассказывал забавные случаи — он то упирал руки в боки, изображая (надо думать) уличную девку, то брался рукой за подбородок, чтобы выдать последнюю фразу анекдота, за которой следовал взрыв хохота — *отталкивающего* хохота, ибо собеседники отклонялись назад и скалились, как две гадюки, готовые друг друга ужалить. Даже с такого расстояния было видно, что зубы у темноволосого — из лучшей африканской слоновой кости. Даниель, свободный человек, с заворожённым ужасом смотрел на двух узников, словно охотник из засидки.

Дюнкерк
Март 1696

С Ла-Манша дул холодный ветер, однако в небе не было ни облачка, и волнам оставалось отражать лишь ясную синь. Соответственно выдался тот редкий случай, когда море и впрямь синее. Золотые отблески солнца на геральдической лазури волн представлялись добрым знамением для Франции.

«Метеор» еле-еле проник в Дюнкеркскую гавань, и не потому, что его встретили враждебно. На середине Ла-Манша команда спустила флаг с крестом святого Георгия и подняла королевские лилии. Это удовлетворило французские власти, во всяком случае, яхту не разнесли в щепки артиллерийским огнём, а предоставили Даниелю возможность объясниться и отправить на берег шлюпку с письмом герцогине д'Аркашон. Загвоздка оказалась в другом: дюнкерская гавань была забита до отказа. 1. Небольшая эскадра дожидалась здесь убийства Вильгельма. Она не шла ни в какое сравнение с той, что стояла в 92-м у Шербура, тем не менее даже сейчас, через

неделю после отмены вторжения, оставшиеся корабли занимали почти всю якорную стоянку. 2. Жан Бар, хотя сам ел досыта и родной город не забывал, постоянно слышал, что во внутренних областях Франции люди пачками мрут от голода. Посему он отправился на север, атаковал направлявшийся в Амстердам конвой с русской и польской пшеницей из Балтики, разгромил голландский военно-морской эскорт и развернул все сто кораблей в Дюнкерк. Теперь их разгружали со всей быстротой, какую могли обеспечить портовые сооружения и рабочие. Тёмная вереница обозов тянулась по узкой дороге к городу и оттуда в голодающие области. 3. Как ни плохо обстояли дела во Франции, на севере они были ещё хуже; за прошедшую зиму умер с голоду каждый третий финн. Шотландия бедствовала почти так же. Шотландцы и финны, способные добраться до побережья и поднять парус, рванули туда, где рассчитывали найти еду. Многие оказались в Дюнкерке.

Ни один другой корабль не смог бы войти в порт, но когда капитану Бару доложили, что «Метеор» необъяснимым образом возвратился, тот велел расчистить для яхты место. После долгого ожидания её отбуксировали между балтийскими

грузовозами, военными транспортами, финскими, шотландскими и местными судёнышками на стоянку каперской флотилии Бара и поставили на почётное место рядом с его флагманом «Альциона». Первым на борт поднялся шестилетний мальчик с деревянным мечом, второй — женщина. Худоба и чёрные мушки не помешали Даниелю узнать в ней герцогиню Аркашонскую и (в Англии, а также в странах, признающих Вильгельма королём) Йглмскую. Пробыв в её обществе два часа, он поймал себя на мысли, что она по-прежнему красива, только иначе.

Однако её внутренний пламень потух. Сперва Даниель решил, что из-за оспы. Потом — что из-за возраста. Впрочем, ей не было и тридцати. По здравом размышлении он заключил, что она просто многого добилась и потому остыла. Она — дважды герцогиня и приобрела капиталов больше, чем потеряла. С нею шестилетний внебрачный сын, славный крепыш, по виду — из тех редких детей, о которых говорят «жилец», трёхлетняя дочь и грудной младенец, Луи де Лавардак, всего нескольких недель от роду. Наверняка в прошлом у неё столько же, если не больше, выкидышей, мертворождённых детей и опущенных в землю маленьких гробиков. Люди

приводят из-за моря яхты, чтобы заслужить её внимание. Так что, возможно, она притушила свой жар *сознательно*, чтобы дать детям и капиталам время вырасти, а планам — созреть.

Даниеля пригласили отобедать в кают-компании «Альционы» на второй день его пребывания в Дюнкерке — тот самый, когда небо сияло безоблачной синевой. После того, как они с Элизой, Жаном Баром, маркизом д'Озуаром и ещё несколькими гостями просидели какое-то время за столом, попивая кофе, беседуя и ожидая, когда еда уляжется в желудке, Бар встал и повёл Жан-Жака (или Иоганна, как называли его близкие) на «Метеор» осматривать такелаж. Даниель с Элизой вышли на палубу погреться и подышать свежим воздухом. Прогуливаясь, они смотрели, как Бар и его крестник скачут по палубам, вантам и салингам. Инспекция оказалась предлогом, урок фехтования — истинной целью. Бар был учителем старой школы, то есть не доверял ничему, кроме настоящих острых клинков, почитая всё остальное опасным для здоровья ученика. Он вооружил Иоганна длинным кинжалом, а сам (поскольку был экипирован для званого обеда, а не для пиратского рейда) вытащил сухопутную шпажонку. Урок по большей части состоял в том,

что крёстный сбивал Иоганна с ног всякий раз, как тот терял равновесие.

— В Лондоне знают про отца Эдуарда де Жекса и то, что с ним приключилось? — поинтересовалась Элиза.

— Замкнутый образ жизни не позволяет мне бывать на всех светских приёмах и узнавать все новости, — сказал Даниель. — Так что, возможно, вы спросили неправильного англичанина. Кажется, это ярый иезуит, близкий к маркизе де Ментенон, и я краем уха слышал, будто с ним приключилось нечто дурное.

— Совершенно верно, — отвечала Элиза. — В конце лета он гулял по версальскому саду. В отдалённой части парка есть место, которое зовётся боскет Энкелада: пруд с фонтаном в несколько струй посреди лужайки, окружённой ажурной изгородью наподобие открытой ротонды. Я когда-то ходила туда читать. Обходя изгородь, де Жекс понял, что кто-то за ним крадётся, — по крайней мере так он говорил позже. Отец Эдуард юркнул в арку и, дойдя до воды, резко обернулся, чтобы увидеть преследователя. За ажурной решёткой смутно угадывался человеческий силуэт. «Кто бы ты ни был, покажись!» — крикнул де Жекс. После минутного колебания на лужайку высту-

пил однорукий великан с длинной палкой, в которой де Жекс, присмотревшись, узнал гарпун. Их разделял фонтан. Де Жекса это устраивало, преследователь же хотел подобраться поближе, чтобы метнуть гарпун с более короткого расстояния и не через струи фонтана. Де Жекс позвал на помощь, но не понял, расслышал ли его кто-нибудь в уединённой части сада за плеском струй. Убийца приближался. Де Жекс не знал, что лучше: отступать вдоль пруда, держа противника на виду, или метнуться через арку в лес и бежать к людям. Долго ему думать не пришлось: кто-то всё же услышал крик и поспешил на помощь. Когда спаситель вбегал в ротонду, де Жекс на миг отвёл взгляд, а в следующее мгновение увидел летящий гарпун — убийца, поняв, что упускает свой шанс, метнул орудие через фонтан. Де Жекс попытался увернуться, но струя отклонила гарпун. Как всё произошло, не вполне ясно, но в итоге зазубренный наконечник извлекли у раненого из бедра. Остриё не задело артерию, однако повредило кость, рана воспалилась, и де Жекс с тех самых пор лежал между жизнью и смертью в версальском иезуитском монастыре.

— А что нападавший?

— Скрылся в королевском охотничьем парке.

Его искали, но не нашли. Сегодня мне сообщили, что де Жекс скончался. Похоронами занимается его двоюродная сестра госпожа герцогиня д'Уайонна — возможно, тело погребут в фамильном поместье.

— Удивительная история, — сказал Даниель. — Поскольку вы ничего не делаете просто так, полагаю, вы рассказали её с каким-то умыслом?

Элиза пожала плечами:

— При дворе считают, что убийцу подослали из Лондона или какой-нибудь иной протестантской столицы. Покушение на Вильгельма могло быть задумано в качестве встречной меры. Я подумала, что альянсу будет интересно об этом узнать.

— Я передам. Альянс будет у вас в долгу.

— А я — у вас.

— Напротив, услужить вам — для меня честь.

— Вы можете услужить мне ещё, доставив его домой, — сказала Элиза, кивая на Иоганна. — Если он переживёт урок фехтования.

Иоганну быстро надоело, что крёстный сбивает его с ног, и Бар перешёл к более весёлой и менее практичной части программы: фехтовать одной рукой, цепляясь другой за ванты и болтая ногами в воздухе.

— Я полагал, его дом здесь, — заметил Дани-

ель.

— Его дом в Лейпциге, — сказала Элиза. — История длинная — куда длиннее, чем про де Жекса и гарпун.

— Не знаю, стоит ли и мне в качестве встречной меры рассказать о кой-каких новостях с той стороны пролива.

— Мсье, я буду в восторге! — воскликнула Элиза, оживляясь. — Как не похоже на вас что-то рассказать по собственному почину!

Даниель покраснел, но продолжал:

— Мои университетские годы прошли в страхе перед графом Апнорским. Конечно, он давно погиб в битве при Огриме. Однако несколько дней назад мне почудился его призрак на одном из бастионов лондонского Тауэра. Затем я подумал, что это может быть брат Апнора, Филип, граф Ширнесский, не бывавший в Англии почти двадцать лет — он бежал во времена папистского заговора. Англия его забыла. Но, возможно, он не забыл Англию и вернулся, чтобы принять участие в покушении на жизнь короля.

— В таком случае Англия теперь уж точно его не забудет, — сказала Элиза. — Интересно, выпустят ли его из Тауэра живым.

— Будь я любителем заключить пари, я бы

поставил на то, что выпустят, и он ещё до лета вернётся на эту сторону Ла-Манша. Да, его некоторое время подержат под замком. Может быть, даже будут судить. Однако доказательств его участия в заговоре не найдут.

— К чему вы мне всё это рассказали?

— Так случилось, что я однажды тоже сидел в Тауэре. Ко мне в камеру подослали убийц. Однако их не пропустил старый сержант Блекторрентского гвардейского полка, некий Боб Шафто, которого, я полагаю, вы знаете.

— Да.

— Мы с ним заключили своего рода договорённость: он поможет мне разделаться с моим кошмаром — покойным Джеффрисом, а я ему — отыскать некую девушку…

— Я знаю эту историю.

— Отлично. В таком случае вам известно, что она рабыня и принадлежала графу Апнорскому, а после его гибели при Огриме перешла, вместе с другим имуществом, к Ширнессу. Полагаю, что она по сю сторону Ла-Манша, в доме графа.

— Да. И чего вы от меня хотите, доктор Уотерхауз?

— Блекторрентский полк уже несколько лет в Испанских Нидерландах, сражается всякий раз,

как альянсу удаётся наскрести денег на пули и порох. Я подумал, возможно, вы знаете способ передать сержанту Шафто весть, что владелец Абигайль в Тауэре и не может защищать свою *собственность* на Континенте. Поскольку в военных действиях сейчас затишье, может представиться возможность…

— Возможности уже были, но он не поспешил ими воспользоваться, — сказала Элиза, — поскольку опекал племянников и не находил способа выполнить столько обязательств сразу. Теперь племянники, наверно, уже выросли. Может быть, он готов.

— Вероятно, это очень мучило их дядю, — задумчиво проговорил Даниель.

— Да. Но в каком-то смысле упрощало ему жизнь, — ответила Элиза. — Считайте, что ваше поручение выполнено и ваш долг погашен.

— Спасибо, ваше сиятельство.

— Пожалуйста.

— …

— Что-нибудь ещё?

— Ничего такого, с чем я посмел бы обратиться к любой другой герцогине… и вообще к женщине. Однако вы интересуетесь деньгами — вот вам диковинка.

Даниель сунул руки сразу в оба кармана панталон, вытащил две пачки банковских билетов и протянул их Элизе, как на весах. Купюры были похожие, но не одинаковые. Очевидно, в последнее время лондонские гравёры без работы не сидели: билеты были оттиснуты с медных клише неимоверной сложности: многие мили линий вились в тесном пространстве плотно, как семенные канальцы в яичке. На бумажках в одной стопке красовалась богиня с трезубцем, восседающая на куче монет. «Даже по барочным стандартам — величайшая пошлость, какую я видела», — объявила Элиза. «АНГЛИЙСКИЙ БАНК» гласила надпись наверху, внизу цветисто и многословно утверждалось, что «сие» (т. е. данный кусок бумаги) — деньги. На купюрах в другой руке у Даниеля значилось «ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК» и заявлялось то же самое, только ещё более напыщенно.

— Виги, — сказал Даниель, потрясая билетами Английского банка, — и тори, — встряхивая второй пачкой.

— У вас даже деньги разные?!

— Английский банк, как вы знаете, был основан два года назад, когда альянс победил на выборах. Его обеспечивает — эти билеты обеспечивает — способность государства собирать деньги от

налогов, лотерей, рент и что там ещё измыслят умники из альянса. Чтобы не отставать, тори учредили свой собственный банк, обеспеченный…

— Землёй Англии? Как похоже на тори.

— Постоянство — главное их качество.

— Любопытно. Стоят ли эти бумажки хоть сколько-нибудь?

— Как всегда, вы смотрите в самую суть. За отсутствием других денег они и впрямь имеют хождение в Лондоне. Маркиз Равенскар вручил мне их с просьбой показать вам и… и…

— Обменять на звонкую монету? — Элиза рассмеялась. — Каков наглец! Так это эксперимент! Натурфилософский опыт. Он хочет, чтобы вы в поездке по Европе провели для него кое-какие исследования — выяснили, верит ли кто-нибудь за пределами Англии в то, что здесь написано.

— Примерно так. Я очень рад, что вам весело.

— Позвольте спросить вас, доктор, каков курс обмена между деньгами вигов и тори?

— Э… Сейчас на один такой… — Даниель поднял билет Земельного банка, — можно купить довольно много таких. (Указывая на билеты Английского банка.) Многие считают, что Английский банк рухнул, а Земельный укрепляется.

— То есть что альянс проиграет ближайшие выборы, а Гарлей приведёт тори к победе.

— Не смею опровергать — как ни хотел бы противоположного.

— Тогда я куплю несколько этих в обмен на переводной вексель в талерах, подлежащий оплате в лейпцигском Доме Золотого Меркурия, — сказала Элиза, указывая на билеты Земельного банка, — с тем, чтобы сразу поменять их на много таких. — Она облизала палец и начала пересчитывать билеты из другой стопки.

— Вы верите в вигов? Роджер был бы счастлив.

— Я верю в Исаака Ньютона, — сказала Элиза.

— Вы о его назначении в Монетный двор?

— Скорее о дифференциальном исчислении.

— Как так?

— На самом деле всё определяют производные, не так ли?

— Производные ценных бумаг?

— Нет, математические! Ибо для любой числовой величины — например, расстояния — существует производная, то есть скорость её изменения. Как мне представляется, английская земельная собственность — постоянная величина благосостояния. Коммерция — производная: подъём, прирост, скорость изменения богатства

страны. Когда торговля в упадке, скорость изменений мала, и деньги, ею обеспеченные, ничего не стоят. Отсюда перекошенный обменный курс, о котором вы говорите. Однако, когда торговля процветает, всё приходит в стремительное движение, производная устремляется вверх, и деньги, обеспеченные ею, мгновенно дорожают. С приходом Ньютона работа Монетного двора может только улучшиться. Коммерция, замершая из-за отсутствия денег, воспрянет хотя бы ненадолго. Обменный курс качнётся в другую сторону, и я успею получить прибыль.

— Это совершенно новый для меня взгляд, — сказал Даниель, — и он представляется мне здравым. Только если вам когда-нибудь представится случай изложить свою теорию Исааку, надеюсь, вы вместо «производной» будете говорить «флюксия».

— Что такое флюксия? Течение?

— В этом-то, — отвечал Даниель, — вся суть проблемы.

Заброшенная церковь во Франции
Март 1696

— Надеюсь, теперь вы возьмёте назад все те обидные вещи, которые прежде говорили о сатане. — Такими словами Анна-Мария де Креми, герцогиня д'Уайонна, приветствовала кузена, когда его веки, закрытые три дня назад иезуитским священником в Версале, дрогнули и приоткрылись.

Отец Эдуард де Жекс смотрел на чёрное небо из гроба. Для иезуита гроб был невероятно роскошен. Собратья по ордену сперва уложили отца Эдуарда в простой сосновый ящик. Однако госпожа герцогиня со свитой прибыла как раз вовремя, чтобы этому помешать.

— Подражание Христу хорошо при жизни, однако мой кузен теперь на небесах, и ничто не мешает мне воздать его бренным останкам должные почести; к тому же мне ехать с ним в родное поместье, и я хочу, чтобы крышка подходила плотно.

И она велела внести в больничный покой гроб столь тяжёлый, что его пришлось тащить чет-

верым слугам: дубовый, окованный свинцом, и более мягкий, чем постели иных версальских придворных. И так искусно он был сделан, что даже носильщики, ставившие гроб в усыпанный цветами экипаж, не заметили дырочек для воздуха по всему периметру крышки там, где она нависает над бортами.

Д'Уайонна теперь водила перед носом кузена флакончиком с нюхательными солями. Кузен попытался отмахнуться, но руки его ослабели и были зажаты с обеих сторон огромными подушками. Потом он сел — вернее, безуспешно попытался и тут же в этом раскаялся. Напряжение брюшных мышц отдалось аж до раненого бедра. Боль, видимо, была ужасная, поскольку привела его в чувство лучше любого нашатыря. Отец Эдуард кое-как опёрся на локоть, и д'Уайонна переложила подушки ему под спину. Он не видел этого из атласных глубин гроба, но некоторое время назад слуги герцогини втащили его в сгоревшую церковь и поставили поперёк алтаря — огромного гранитного цоколя, все украшения которого уничтожили пожар, время, древоточцы и воры. Каменные стены почти не пострадали от огня, хотя и закоптились до черноты. Потолочные балки обгорели и рухнули на пол, где и

лежали, словно скамьи, средь битой черепицы. Местами, особенно ближе к алтарю, были расстелены коврики, чтобы хорошо одетые люди могли пройти, не замарав одежду. Вокруг самого алтаря пол расчистили, и здесь чем-то, превратившимся со временем в бурую корку, была нарисована пентаграмма. Алтарь и де Жекс находились в её центре.

— Господи Иисусе, что я наделал… — выговорил де Жекс и вновь сделал попытку двинуться, однако боль в ноге едва не отправила его на тот свет. Он упал на подушки и перекрестился.

Д'Уайонна снисходительно рассмеялась и приложила руки к его щекам.

— Я гадала, что-то вы скажете.

— Я должен был сбежать из Версаля, — начал де Жекс. — До сих пор я был последним глупцом и лишь недавно осознал весь масштаб заговора. Главная в нём, конечно, госпожа герцогиня д'Аркашон, но она действует — и всегда действовала — заодно с Эммердёром. Барон фон Хакльгебер был её врагом, теперь он ей друг. С альянсом она орудует рука об руку. Ньютон, перечеканка в Англии — всё части одного заговора! Что мне оставалось делать? Д'Аво, заслужившего её немилость, отослали в Стокгольм! Счастье ещё, что не

отравили и не проткнули гарпуном, как меня!

— Надо понимать, эту речь вы заучили наизусть, прежде чем выпить моего сонного зелья, чтобы прочесть святому Петру, если не проснётесь. Я не святой Пётр, а здесь врата ада, не рая. Но если вам так угодно, продолжайте.

— Поймите, будь это всё, я не стал бы вас утруждать. У моего ордена есть кое-какие возможности, а совокупно со святой инквизицией для него практически нет преград и на небе, и на земле. Однако, как я с большим опозданием узнал, эта женщина соблазнила самого Бонавантюра Россиньоля!

— При всей моей к ней ненависти, кузен, могу лишь восхититься таким мастерским ходом. Подлая интриганка не сыскала бы себе сообщника влиятельнее, разве что самого короля.

— Вот именно! Узнав об этом, я почувствовал себя мухой в её паутине. Любой мой шаг видят сотни придворных, и все они сплетничают, а многие ещё и пишут письма. Россиньоль знает про меня всё и передаёт это госпоже герцогине д'Аркашон, когда они предаются разврату! Я понял, что буду беззащитен, пока не умру. Неудачное покушение — слава богу и Его неисповедимому промыслу! — дало мне предлог умереть молодым.

Отсюда просьба, которую я вам нашептал и которая наверняка показалась вам очень необычной.

— Воскреснув здесь, в этом самом месте, оглядитесь и скажите, что необычно.

— Наш Спаситель, умерев на кресте, сошёл в самую бездну ада, прежде чем вновь восстать к свету, — заметил де Жекс. — И всё же, кузина, я должен знать, прибегли ли вы к помощи падших духов — вызваны моя смерть и воскресение некромантией или…

— Некромантия утомительна и чревата непредвиденными последствиями, — сказала д'Уайонна, — в то время как маковый настой действует безотказно. Сложно лишь подобрать дозу, особенно для человека, ослабленного раной.

— Тогда почему меня принесли сюда, в эту церковь?

— Я собиралась, если ошибусь с дозой и, открыв гроб, найду не спящего, а покойника, воскресить вас при помощи некромантии.

Де Жексу потребовалось несколько мгновений, чтобы переварить услышанное.

— Кузина, я всегда считал ваш интерес к тёмным искусствам притворством, данью моде, которой вы следовали по молодости и неразумию.

— И сердились на меня, Эдуард. От неверия в сатану до неверия в Бога — один шаг, не так ли?

— Да, кузина, лучше быть истинной сатанисткой, чем притворной. Ибо если первые признают Божье величие и могут исправиться, вторые — безбожники и обречены адскому пламени.

— Тогда оглядитесь и сделайте собственные умозаключения.

— Я вижу следы чёрной мессы, перевёрнутый крест, свечи ещё горят. Посему заключаю, что для вас надежда есть. Однако не знаю, есть ли надежда для меня.

— О чём вы, Эдуард?

— Вы странным образом уходите от ответа на вопрос, был я жив или мёртв, когда с гроба подняли крышку, иначе говоря, ожил я от нюхательных солей или оттого, что вы воскресили моё мёртвое тело посредством некромантии.

— Может быть, когда-нибудь я вам скажу. — Д'Уайонна подняла с полу свёрток одежды и положила ему на колени. — Снимите иезуитские лохмотья и наденьте эти.

Затуманенный опием мозг де Жекса не мог вместить столько всего сразу.

— Не понимаю.

— Вы слишком много у меня просите. Может

быть, я не так сильно отличаюсь от Элизы, какой она вам видится. Она деловая женщина и ничего не делает даром. Вы, кузен, ввели меня в огромные расходы и хлопоты. Я обеспечила вам смерть, превосходный, сделанный на заказ гроб, воскрешение, бегство из Элизиных сетей, а теперь и новое лицо. — Она похлопала по свёртку: это была ряса, но светло-серая, а не чёрная иезуитская. — Теперь вы Эдмунд де Ад, бельгийский янсенист.

— Янсенист?!

— Что лучше скроет иезуита, чем обличье его злейшего врага? Переоденьтесь, сбрейте бороду, и метаморфоза закончена. Можете ехать на Восток новым человеком. Уверена, янсенисты в Макао, Маниле и Гоа примут вас как родного.

— Обличье подойдёт, — сказал де Жекс. — Спасибо вам. За него и за всё остальное.

— Разве я не много для вас сделала?

— Ну конечно, много, кузина.

— Тогда побрейтесь, смените платье, и разойдёмся каждый в свою сторону.

— Я только хочу знать, химический состав или силы тьмы вернули меня к жизни!

— Да. Вы уже выразили такое желание.

— И?..

— И я вполне ясно дала понять, Эдмунд де Ад, что не желаю сейчас отвечать на ваш вопрос.

— Однако вам это ничего не стоит! А для меня важнее всего!

Д'Уайонна с улыбкой мотнула головой:

— Вы себе противоречите — как похоже на янсениста! То, что важнее всего, не может ничего не стоить. Эдуард, вспомните вашу иезуитскую логику. Если я вернула вас к жизни посредством некромантии, значит, теперь вы принадлежите к легионам тьмы, а я — некромантка, следовательно, верю в реальность Бога и сатаны и могу надеяться на спасение, если перейду на другую сторону. Я права?

— О да, кузина, ваши рассуждения безупречны.

— С другой стороны, если я проделала всё с помощью аптекарского состава, ваша душа по-прежнему принадлежит Богу. То, что вы видите вокруг, — она указала на свечи и пентаграмму, — не более чем бутафория, фетиши псевдорелигии, которую я презираю и подготовила с единственной целью: запугать вас, как священники запугивают крестьян россказнями про адское пламя. В таком случае я — циничная атеистка. Всё правильно?

— Да, кузина.

— Значит, один из нас попадёт в рай, другой — в ад. Я знаю, кто чему обречён, вы — нет. Я могу сказать, но не скажу. Отправляйтесь на поиски Соломонова золота, как будете готовы, но вы не узнаете ответа на свой вопрос.

Де Жекс, от изумления ещё не осознавший всего ужаса своей доли, тряхнул головой.

— Говорят, некроманты обретают безраздельную власть над теми, кого воскресили к жизни, — сказал он, — но не думал, что это может произойти так.

— Мне больше нравится сравнение с властью священника над умами паствы, — отвечала д'Уайонна, — но дело в другом. Не упомню, сколько раз придворные уверяли меня, будто пленились моей красотой, умом или духа́ми и теперь навеки мои рабы. Разумеется, вскорости выяснялось, что это отнюдь не так. И всё же мне всегда было интересно, каково это — иметь кого-то в своей безраздельной власти. С самого детства вы столько стращали меня моей посмертной участью, что вполне заслужили такую месть. Знайте, что ваш пустой гроб со всеми церемониями похоронят в семейном склепе де Жексов. Куда со временем положат Эдмунда де Ада, никто не ведает, а куда

попадёт его душа — мой секрет.

Зимние квартиры Собственного его величества Блекторрентского гвардейского полка под Намюром
Март 1696

— Сержант Шафто по вашему приказанию прибыл, — раздался голос из темноты.

— У меня для вас письмо, Шафто, — отвечал из темноты другой голос — голос человека, окончившего университет. — В качестве учений предлагаю совершить вылазку на поиски источника света, чтобы я мог не только водить по бумаге пальцами.

— Рота капитана Дженкинса сегодня «на учениях» набрала хворосту, и мы жжём его вон там.

— То-то мне почудился дымок. Где, прах побери, они раздобыли топливо?

— На песчаном островке посреди Мааса, тремя милями выше по течению. Французы ещё туда не добрались — пловцов нет. А в роте капитана Дженкинса один солдат может держаться на воде, если припрёт. Сегодня припёрло. Он доплыл до островка и обломал там все кусты, пока французы с другого берега, дрожа от холода, бросали

в него камнями.

— Именно такой смётки я жду от Блекторрентских гвардейцев! — воскликнул полковник Барнс. — Она очень пригодится им в грядущие годы.

Разговор шёл через заплесневелое полотнище, поскольку капитан Барнс был внутри, а сержант Шафто снаружи палатки. Фразы Барнса перемежались стуком и звяканьем, покуда он надевал и пристёгивал перевязь со шпагой, башмак, деревянную ногу и плащ. Палатка призрачно серела под звёздами. Она выпятилась с одной стороны; Барнс раздвинул полог, вылез и стал совершенно невидим.

— Где вы?

— Здесь.

— Ни черта не вижу! — воскликнул Барнс. — Превосходные ученья!

— Вы могли бы жить в доме со свечами, — сказал Боб Шафто. И не в первый раз.

Бóльшую часть зимы Барнс провёл в доме чуть дальше по дороге от того места, где расположился зимним лагерем его полк, однако какая-то новость из Англии, недавно полученная и переваренная, заставила его перебраться в палатку и с этого дня называть учениями всё, чем бы ни

занимались солдаты. Перемену ещё как приметили, но понять не могли. Последний раз полк участвовал в боевых действиях полгода назад, когда Вильгельм осадил и взял Намюр. С тех пор они просто жили на подножном корму, как полевые мыши. А поскольку все деревья и кусты давно вырубили и сожгли, поля и огороды вытоптали, скот забили и съели, поиски подножного корма требовали немалой смекалки.

Костёр, как оба они знали, горел по другую сторону пригорка, за которым стояла рота капитана Дженкинса. Чтобы попасть туда, надо было пройти через лагерь роты капитана Флетчера, что при свете дня заняло бы тридцать секунд. С фонарём — минуту-две. Однако последняя свеча в полку исчезла несколько дней назад при самых унизительных обстоятельствах — была похищена крысой из кармана у полковника при посещении нужника, утащена в нору и съедена. Посему, чтобы миновать роту капитана Флетчера, надо было бесконечно медленными шагами пробираться в трёхмерном лабиринте растяжек и бельевых верёвок. Удобный случай поговорить на неприятную тему, поскольку в темноте легче прятать глаза.

— Э… вынужден рапортовать, — сказал Боб, —

что рядовые Джеймс и Даниель Шафто находятся в самовольной отлучке.

— Давно? — осведомился Барнс с интересом, но без удивления.

— Вопрос спорный. Три дня назад они сказали, что наткнулись на следы одичалой свиньи, и спросили разрешения отправиться на охоту. Получив его, они исчезли в направлении Германии.

— Отлично — превосходные учения.

— Они не вернулись ни в тот день, ни на следующий, однако их сержант отказывался плохо о них думать.

— Предвкушение свинины на завтрак затуманило его суждения. Что ж, прекрасно понимаю — у меня самого слюнки текут так, что мешают говорить.

— Поскольку Джимми и Дэнни не вернулись, я обязан допустить, что они дезертировали.

— Они слишком быстро усвоили урок, — задумчиво проговорил полковник Барнс. — Теперь, если они попадутся, участь их предрешена.

— Они не попадутся, — заверил Боб. — Не забывайте, что я учил их быть английскими солдатами, а Тиг Партри — ирландскими партизанами.

— Вы спрашиваете разрешения снарядить за ними погоню? Это было бы превосходное…

— Нет, сэр, — отвечал Боб. — И не объясните ли вы свою бесконечную шутку насчёт того, будто всё, что мы делаем — учения?

— У меня слабость к людям из моего полка — по крайней мере, к значительной их части, — сказал Барнс. — И я хочу, чтобы как можно больше их пережило то, что предстоит.

— Так что же предстоит? И каким образом собирание хвороста и охота на диких свиней к этому готовят?

— Война окончена, Боб. Тс-с! Не говорите солдатам. Однако вам можно знать, что в этом году сражений больше не будет. Мы останемся здесь в качестве фишки, которую дипломаты будут двигать по какому-нибудь полированному столу. Сражаться не будем.

— Так всегда уверяют, — сказал Боб, — пока не откроют новый фронт и не начнут кампанию.

— Так было в вашем детстве, — отвечал Барнс. — А теперь вам надо учиться мыслить иначе с учётом того, что денег больше нет. У Англии девяносто тысяч человек под ружьём. Она может содержать примерно девять тысяч, но не оставит и столько, особенно если тори победят альянс,

что весьма вероятно.

— Блекторрентский гвардейский — элитный полк…

— Слушайте меня, сержант Шафто, чёрт вас подери.

Голос Барнса слышался всё слабее.

— Я слушаю, сэр, — отвечал Боб, — только лучше бы вам не стоять и не говорить на одном месте, а то деревяшка увязнет.

— Молчать, Шафто! — крикнул Барнс, однако возобновившиеся чавкающие звуки доказывали, что совет Боба запоздал. Некоторое время из темноты доносилось натужное сопение, и наконец болото, громко икнув, выплюнуло из себя деревяшку.

— Есть, сэр.

— Всё рушится! Элитный полк, говорите? Значит, в Тауэре найдут холодный чулан, прибьют на дверь табличку «Собственный его величества Блекторрентский гвардейский полк», и если мне очень повезёт, и если лорд Мальборо за нас поборется, мне иногда позволят туда заходить и возюкать по бумаге пером. По очень важному государственному случаю мне велят собрать роту и нарядить в мундиры, чтобы пройти перед посольством или что-нибудь в таком роде. Однако

попомните мои слова, Боб, через год все наши, за исключением нескольких счастливчиков, будут бродягами. Если Дэнни и Джимми подались в бега, то лишь потому, что им хватило ума это понять.

— Меня часто удивляло, сколько времени вы проводите над письмами из Англии.

— Я видел это по вашим взглядам.

— С лета Господня тысяча шестьсот восемьдесят девятого, — сказал Боб, — я пробыл в Англии общим счётом три недели. Читать я не умею и о тамошних событиях знаю только по слухам. Мне не верится в ваши предсказания — если они верны, значит, Англия сошла с ума. Однако у меня нет доводов, чтобы противопоставить их вашим, а субординация не позволяет мне перечить, если вы, сэр, решили превратить зимний лагерь вашего полка в школу выживания бродяг.

— Мало того, Шафто. Ради этих людей я хочу, чтобы они пережили грядущие голодные годы. А ради Англии я хочу сохранить полк. Даже если нас распустят на несколько лет, придёт день, когда полк придётся формировать заново, и я хочу собирать Блекторрентский гвардейский из своих солдат, а не как обычно — из нищих, преступников и ирландцев.

— Вы хотите, чтобы они выжили — по возможности *честно,* — перевёл Боб, — и чтобы я знал, где их искать, когда будут надобность и деньги.

— Совершенно верно, — отвечал Барнс. — Само собой, им этого говорить нельзя.

— Разумеется, сэр. Они должны дойти своим умом.

— Как Джимми и Дэнни. А теперь пора читать ваше письмо. Принесите мне огонь, горящий внутри куста, и я возглашу вам, как Господь Моисею.

Такого рода шуточки Бобу Шафто приходилось выслушивать в качестве платы за то, что полковником у них — человек, учившийся богословию. Он сходил к костерку, который рота капитана Дженкинса разожгла посреди лагеря, реквизировал один вырванный с корнем кустик и поджёг от углей. Неся его, как канделябр, и время от времени потряхивая, чтобы огонь разгорелся, Боб поспешил назад. Обгорелые листья сыпались на письмо, на эполеты и треуголку Барнса; читая, тот сдувал их с листа.

— Это от вашей очаровательной герцогини, — сказал Барнс.

— Я так и догадался.

Барнс некоторое время скользил глазами по

листку, потом заморгал и вздохнул.

— Мне можно узнать, о чём там, сэр?

— Это о вашей девушке.

— Абигайль?

— Она меньше чем в тридцати милях отсюда… в доме, который давно не охраняется, поскольку его владелец сидит в лондонском Тауэре. Как удачно, сержант!

— Что удачно, сэр?

— Не прикидывайтесь дурачком. Как раз когда вам пришла пора строить планы на штатскую жизнь, ваша постоянная обуза — Джимми и Дэнни — улетучилась, а вам представился случай заполучить жену.

— Именно что заполучить, сэр, поскольку она — законная собственность графа Ширнесского.

— А нам-то что? Если Джимми и Дэнни могли отправиться за одичалой свиньёй, почему бы нам не украсть для вас жену?

— Что значит «нам», сэр?

— Я принял твёрдое решение! — объявил капитан Барнс, поджигая угол письма. — Обеспечить вам счастливую семейную жизнь на постоянном месте — вот лучший способ не растерять Блекторрентский полк! К тому же это будут превосходные учения!

Дорога в Прецш
Апрель 1696

Но Бог выбрал самый совершенный мир, то есть такой, который в одно и то же время проще всех по замыслу и богаче всех явлениями.

Лейбниц [28]

— Менее всего я воображал, что два старых бездетных холостяка займутся доставкой детей из города в город, — сказал Даниель.

Покуда карета моталась и подпрыгивала по хорошей большой дороге из Лейпцига в Виттенберг, а затем по очень, очень плохой в Прецш, доктор Уотерхауз оседал, словно груда песка, заталкивал подушки под самые костистые части тела и всё сильнее упирался ногами в основание скамьи, на которой сидел его спутник — Готфрид Вильгельм Лейбниц.

Если Даниель превратился в груду песка, то Лейбниц, куда более привычный к долгим поездкам, являл собой обелиск. Он сидел совершенно прямо, как будто изготовился окунуть перо в

---

[28] Примечания: 28

Перев. В. П. Преображенского.

чернильницу и начать трактат. Сейчас он поднял бровь и с любопытством взглянул на Даниеля, который уже практически полулежал, едва не упираясь коленом ему в пах.

Когда герцогиня Аркашонская и Йглмская попросила отвезти Иоганна в Лейпциг, Даниель сперва подумал, будто ослышался, однако просьбу выполнил и к собственному изумлению встретил в пункте назначения Лейбница, к которому собирался ехать в Ганновер. Ушей Софии и Софии-Шарлотты достигла весть, что вдовствующая курфюрстина Элеонора тяжело заболела и лежит при смерти. В случае её кончины кто-то должен был сопровождать безутешную принцессу Каролину в Берлин. И кому это поручили? Лейбницу.

Лейбниц на мгновение задумался, потом сказал:

— Кстати. Как здоровье младшего сына герцога Пармского? Прошла ли его сыпь?

— Вы ставите меня в тупик, сударь. Я не знаю даже, как зовут герцога Пармского, а уж тем более как поживает его сын.

— Ответ очевиден, — сказал Лейбниц, — поскольку у него нет сыновей. Только дочери.

— Я начинаю чувствовать себя тупым собе-

седником в сократическом диалоге. К чему вы клоните?

— Если бы вы спросили герцога Пармского о Лейбнице, тот, возможно, смутно припомнил бы фамилию. Однако он ничего не знает о натурфилософии и, разумеется, никогда бы не поручил вам или мне сопровождать в дороге его дочь. Почти все именитые люди — такие же, как герцог Пармский. Они о нас не знают и знать не хотят, как и мы — о них.

— Вы хотите сказать, что у меня систематическая ошибка наблюдений?

— Да. Именитый человек на выстрел не подпустит к себе таких, как вы или я. Исключение — несколько крайне эксцентричных особ (дай им Бог здоровья!), питающих интерес к натурфилософии. Раньше их было больше, сейчас я могу пересчитать всех по пальцам одной руки: Элиза, София, София-Шарлотта. Только с ними нам и случается беседовать. Они хотят приобщить своих детей к натурфилософии. Выбирая между таким, как вы и я, или свободным (чтобы не сказать — праздным) дядюшкою, слугою, придворным или священником, склонным по дороге оставить дитя без присмотра, растлить, охмурить или подчинить своему влиянию, любая из трёх предпочтёт

натурфилософа — мы в худшем случае нагоним на ребёнка скуку.

— Боюсь, так и получилось у меня с маленьким Иоганном, — сказал Даниель. — Думаю, ему больше по душе был бы учебный курс, посвящённый исключительно оружию. В отсутствие оружия он предпочитает рукопашный бой. Кажется, я узнал от него больше захватов и подножек, нежели он от меня — научных фактов.

— Они пригодятся вам в Массачусетсе, — серьёзно проговорил Лейбниц. — Говорят, индейцы сильны в рукопашном бою.

— После фехтовальных уроков, которые давал ему Жан Бар на палубе флагмана, весьма горькая участь — пробыть несколько дней в карете с таким, как я.

— Бросьте! Медленная и мучительная смерть от столбняка — вот горькая участь тех, кто слишком много играет с острым оружием, — сказал Лейбниц. — Элиза это знает. Вы сослужили ей добрую службу, даже если Иоганн по малости лет этого не оценил. Скажите, неужто он и впрямь не проявил ни малейшего любопытства?

— Глупый мальчишка бесконечными разговорами о пушках и мортирах навёл меня на одну мысль, — признал Даниель. — Мы стали говорить

о параболах. Я остановил карету на поле между Мюнстером и Оснабрюком, где мы распугали местных крестьян опытами сперва с луком, а затем с огнестрельным оружием.

— Видите? Он этого не забудет. Всякий раз, когда Иоганн посмотрит на метательное орудие — что в нашем скорбном мире случается каждые пять минут, — он будет знать, что оно бесполезно без математики.

— Далеко ли ещё до Прецша?

— Вас ввели в заблуждение скромные размеры дворца, — отвечал Лейбниц. — Смотрите, мы уже в Прецше. — Он открыл окно и, придерживая парик, чтобы тот не свалился под колёса, высунул голову из кареты. — Вдовий дом прямо перед нами.

— О чём вы будете беседовать с сироткой, если она не разделяет Иоганновой страсти к оружию? — спросил Даниель.

— О чём ей захочется, — отвечал Лейбниц. — Она как-никак принцесса и почти наверняка когда-нибудь станет королевой.

Он скептически оглядел Даниеля.

— Хорошо, — отвечал тот, вползая обратно на скамью. — Я сяду прямее.

Процессия состояла из трёх экипажей, фурго-

на и нескольких драгун. Драгуны — пруссаки и бранденбуржцы из Берлина — прибыли через час после того, как Даниель, доставив Иоганна в Дом Золотого Меркурия и разменяв вексель, отыскал Лейбница. Капитан драгун, бранденбуржец, не допускающим возражений тоном объявил, что они должны засветло перебраться через Эльбу в Бранденбург, дабы не искушать саксонцев. Даниеля опасения позабавили, однако Лейбниц счёл их оправданными. Нищая сирота Каролина, живущая в глухой дыре, оставалась принцессой, а принцесса на руках — это власть. И хотя Август Сильный, курфюрст Саксонии, выгодно отличался от своего покойного брата, интригам его не было конца. Ему вполне могло взбрести на ум украсть Каролину и насильно выдать за какого-нибудь русского царевича. Посему девочку и её единственный саквояж забрали из вдовьего дома с поспешностью, более обычной при похищениях и побегах. Это не облегчило осиротевшей принцессе прощание с родным домом; впрочем, растянись оно надолго, ей бы легче не стало. Она сама выбрала кофейного цвета экипаж, расписанный цветами — тот, в котором ехали Лейбниц и Даниель. Слёзы и улыбки чередовались на её лице, как дождь и солнце ветреным мартовским

днём. Ей было тринадцать.

Они переправились через Эльбу на ближайшем пароме и через несколько часов доехали до Бранденбурга, где и остановились в гостинице на дороге из Мейсена в Берлин. На следующее утро встали поздно. Примерно пятьдесят миль отделяло их от Шарлоттенбурга и гостеприимства той, чьё имя носил замок — курфюрстины Софии-Шарлотты.

— Располагайте мной, ваше высочество, — сказал Лейбниц. — Дорога длинная, и я сочту за честь, если хоть в малой мере помогу её скоротать. Можем продолжить уроки математики, оставленные на время болезни вашей покойной матушки. Можем побеседовать о богословии, ибо на него вам следует обратить внимание: при Бранденбург-Прусском дворе вы встретите не только лютеран, но и кальвинистов, иезуитов, янсенистов, даже православных; опасайтесь, как бы какой-нибудь ретивый златоуст не сбил вас с толку. Ещё я захватил блок-флейту и могу дать вам урок. Или…

— Я бы хотела послушать о работе, которую доктор Уотерхауз намерен вести в Мас-са-чу-сет-се, — сказала принцесса, старательно выговаривая трудное название. Что таковы планы

Даниеля, она вывела из нескольких оброненных вчера реплик.

— Тема подходящая, хотя, если приглядеться, очень широкая, — отвечал Лейбниц. — Доктор Уотерхауз?

— Институт технологических искусств Колонии Массачусетского залива, — начал Даниель, — основан и рано или поздно будет финансироваться маркизом Равенскаром, государственным мужем, пекущимся о деньгах его величества. Он виг, то есть принадлежит к партии, банк и деньги которой основаны на коммерции. Им противостоят тори, чьи деньги и банк основаны на земле.

— Земля представляется мне лучшим выбором, она постоянна и неизменна.

— Постоянство — не всегда преимущество. Представьте себе свинец и ртуть. Свинец хорош для балласта, кровель и труб, но неподатлив, в то время как ртуть подвижна и текуча…

— Вы алхимик? — спросила Каролина.

Даниель покраснел.

— Нет, ваше высочество. Однако я осмелюсь сказать, что алхимики мыслят метафорами, которые порой поучительны. — Он переглянулся с Лейбницем, и губы его сложились в улыбку. — А может быть, мы все рождаемся с подобным обра-

зом мыслей, и заблуждение алхимиков лишь в том, что они чрезмерно ему доверяются.

— Мистер Локк бы не согласился, — сказала Каролина. — Он говорит, что мы начинаем с *tabula rasa*.

— Вы, возможно, удивитесь, но я хорошо знаю мистера Локка, — отвечал Даниель, — и мы с ним частенько об этом спорим.

— Что он сейчас поделывает? — вмешался Лейбниц, не в силах сдержать любопытство. — Я начал писать ответ на его «Опыты о человеческом разумении»…

— Мистер Локк последнее время почти безвылазно сидел в Лондоне, участвовал в дебатах о перечеканке. Ньютон предлагает девальвировать фунт стерлингов, Локк бьётся за неизменность стандарта, установленного сэром Томасом Грешемом.

— Почему величайшие учёные Англии столько времени тратят на споры о деньгах? — спросила Каролина.

Даниель задумался.

— В старом мире, миреториев, в котором деньги служили лишь средством доставить ренту из поместья в Лондон, о них бы столько не думали. Но как Антверпен предположил, Амстердам

подтвердил, а Лондон сейчас доказывает, в коммерции заключено не меньше богатства, чем в земле. Как так, никто не понимает, но монеты движут коммерцией, а при дурном управлении вызывают её застой. Посему деньги достойны внимания учёных не меньше клеток, конических сечений и звёзд.

Лейбниц кашлянул.

— Путь в Берлин долог, — заметил он, — но не настолько.

Даниель сказал:

— Доктор пеняет мне за отступление от темы. Я говорил о новом институте в Бостоне.

— Да. Чем он будет заниматься?

Тут Даниель, как ни странно, смешался, плохо представляя, с чего начать. Однако доктор, знавший Каролину куда лучше, сказал: «Позвольте мне», и Даниель с облегчением уступил ему слово.

Лейбниц начал:

— Такие люди, как ваше высочество, склонные думать и копать вглубь, нередко бывают увлекаемы в некие лабиринты сознания — загадки о природе вещей, над которыми можно биться всю жизнь. Возможно, вы в них уже побывали. Первый лабиринт: вопрос свободы и предопреде-

ления. Второй: структура континуума.

— Структура *чего?!*

— Когда вы наблюдаете предметы вокруг себя, например, вон ту колокольню, и начинаете делить их на составные части, такие как кирпичи и цемент, а части на части, то на чём вы остановитесь?

— На атомах?

— Некоторые думают так, — с готовностью согласился Лейбниц. — Однако даже в «Математических началах» господина Ньютона нет попытки разрешить эти вопросы. Он старательно обходит оба лабиринта — мудрый выбор! Ибо господин Ньютон никоим образом не касается вопроса о свободе и предопределении, лишь ясно даёт понять, что верит в первое. И не затрагивает атомов. Мало того, он даже не хочет публиковать свои труды по анализу бесконечно малых! Но не обманывайтесь, будто такие материи его не занимают. Он бьётся над ними день и ночь. Как я, как доктор Уотерхауз будет биться над ними в Массачусетсе.

— Вы решаете эти задачи врозь или…

— Главнейший вопрос, который мне следовало предвосхитить! — хлопнул в ладоши Лейбниц. — И я, и Ньютон подозреваем, что задачи связаны.

Что это не два лабиринта, а один большой с двумя входами! Можно войти через любой, но разгадав один, вы разгадаете оба.

— Тогда позвольте сказать, как я поняла вас, доктор. Вы считаете, что постигнув структуру континуума, то есть атомы или как их…

Лейбниц пожал плечами:

— Или монады. Но продолжайте, пожалуйста.

— Постигнув их, вы разрешите дилемму свободной воли и предопределения.

— Коротко говоря, да, — отвечал доктор.

— Атомы мне понятнее, — начала Каролина.

— Вам только так кажется, — возразил Лейбниц.

— Что тут понимать? Это крохотные твёрдые частички вещества, которые сталкиваются…

— Насколько велики атомы?

— Бесконечно малы.

— Как они в таком случае соприкасаются?

— Не знаю.

— Положим, они каким-то чудом столкнулись. Что происходит тогда?

— Они отскакивают.

— Как бильярдные шары?

— Точно.

— Однако представляет ли ваше высочество,

сколь сложен должен быть бильярдный шар, чтобы отскакивать? Наивно полагать, что самая примитивная сущность, атом, обладает хотя бы одним из мириада свойств отполированного шара слоновой кости.

— Ладно, хорошо, но иногда они слипаются и образуют агрегаты, более или менее рыхлые…

— Как они слипаются? Даже бильярдные шары к этому не способны!

— Понятия не имею, доктор.

— Никто не имеет, так что не огорчайтесь. Даже Ньютон, сколько ни трудился, не понял, как действуют атомы.

— А господин Ньютон и над атомами трудится? — спросила Каролина. Вопрос был обращён к Даниелю.

— Постоянно, — отвечал тот, — однако его труд зовётся алхимией. Долгое время я не мог постичь столь упорного интереса, покуда не понял, что через алхимию Ньютон силится разрешить загадку двух лабиринтов.

— Так, значит, в своём массачусетском институте вы будете заниматься алхимией, доктор Уотерхауз?

— Нет, ваше высочество, мне более убедительными представляются не *атомы,* а *монады.* —

Даниель взглянул на Лейбница.

— Уф, этого-то я боялась! — воскликнула Каролина. — Потому что ничегошеньки в них не смыслю!

— Полагаю, мы установили, — мягко произнёс Лейбниц, — что вы ничегошеньки не смыслите в атомах — какие бы иллюзии ни питали на сей счёт. Надеюсь избавить ваше высочество от заблуждения, согласно которому в поисках фундаментальной частицы универсума атомы являются более простым и естественным выбором, нежели монады.

— Чем монада отличается от атома?

— Давайте прежде выясним, в чём их сходство, ибо у них много общего. И монады, и атомы бесконечно малы, однако всё из них состоит; чтобы разрешить парадокс, мы должны обратиться к взаимодействию между ними. В случае атомов это столкновения и слипания, в случае монад — взаимодействие более сложной природы, к которому я вскорости перейду. Однако в обоих случаях мы должны объяснить всё, что видим — скажем, эту колокольню, — исключительно в терминах взаимодействия фундаментальных частиц.

— Исключительно, доктор?

— Да, ваше высочество. Ибо если вселенная создана Богом по понятным и неизменным законам — а уж это-то Ньютон доказал, — то она должна быть единообразна во всём, снизу доверху. Если она состоит из атомов, то *она состоит из атомов* и должна объясняться в терминах атомов; зайдя в тупик, мы не можем всплеснуть руками и сказать: «А вот это чудо!» или «Здесь я ввожу совершенно новую сущность, которая зовётся силой и не имеет никакого отношения к атомам». Оттого-то мы с доктором Уотерхаузом и не любим атомарную теорию, что не видим, как такие явления, как свет, тяготение и магнетизм, можно объяснить ударами и слипанием твёрдых кусочков вещества.

— Значит ли это, что вы можете объяснить их в терминах монад, доктор?

— Пока нет. Мы не можем написать уравнение, которое предскажет рефракцию света или направление компасной иглы в терминах взаимодействия между монадами. Однако я твёрдо верю, что такая теория будет фундаментально более верна, чем атомарная.

— Госпожа герцогиня д'Аркашон говорила мне, что монады сродни маленьким душам.

Лейбниц помолчал, затем продолжил:

— Слово «душа» часто употребляют в контексте монадологии. Оно имеет много значений, по большей части древних, и сильно затрёпано богословами. В устах проповедников оно извращалось больше, чем любое другое. Так что, возможно, это не лучший термин для новой дисциплины — монадологии. Однако оно пристало.

— Они подобны человеческим душам?

— Ничуть. С дозволения вашего высочества попытаюсь объяснить, как в этом контексте появилось удобопревратное слово «душа». Когда философ отважно вступает в лабиринт и начинает дробить универсум на все меньшие и меньшие доли, он знает, что когда-нибудь должен будет остановиться и сказать: «Отсель деление невозможно, ибо я дошёл до мельчайшей, элементарной, неделимой единицы: фундаментального кирпичика мироздания». И дальше нельзя увиливать, а надо встать и провозгласить некие утверждения касательно этих кирпичиков: каковы их свойства и как они взаимодействуют между собой. Мне совершенно очевидно, что взаимодействия эти немыслимо многообразны, сложны, переменчивы и тонки; в качестве непреложного доказательства просто оглядитесь и подумайте, что́ может объяснить пауков, луны и глазные яб-

локи. В столь густой паутине зависимостей какие законы правят тем, как одна монада отзывается на все остальные монады во вселенной? И я не просто так сказал «все»: монады, составляющие меня или ваше высочество, ощущают притяжение Солнца, Юпитера, Титана и далёких звёзд, то есть чувствуют все и каждую из мириада монад, составляющих исполинские небесные тела, и на все и каждую откликаются. Как уследить за всем и решить, что делать? Я утверждаю, что любая теория, основанная на допущении, будто Титан испускает атомы, несущиеся через пространство и ударяющие в мои атомы, весьма сомнительна. Ясно, что мои монады в каком-то смысле *воспринимают* Титан, Юпитер, Солнце, доктора Уотерхауза, лошадей, везущих нас в Берлин, вон тот сарай и всё остальное.

— Что значит «воспринимают»? У монад есть глаза?

— Всё должно быть куда проще. Это логическая необходимость. Монада в моём ногте чувствует притяжение Титана, не так ли?

— Насколько я понимаю, так диктует закон всемирного тяготения.

— Я объясняю это перцепцией, восприятием. Монады воспринимают. Однако монады ещё и

действуют. Если бы мы могли перенестись ближе к Сатурну и попасть в сферу притяжения его луны, мой ноготь вместе со всем мной упал бы на Титан — это было бы коллективное действие всех моих монад в ответ на их восприятие спутника. Итак, ваше высочество, что мы знаем о монадах?

— Они бесконечно малы.

— Очко в вашу пользу.

— Всю вселенную можно объяснить в терминах их взаимодействия.

— Два очка.

— Они воспринимают все другие монады во вселенной.

— Три. И…

— И они действуют.

— Действуют, основываясь на чём?

— На том, что они воспринимают, доктор Лейбниц.

— Четыре из четырёх! Отличный счёт! Теперь скажите, какими должны быть монады, чтобы всё это стало исполнимым?

— Каким-то образом все перцепции стекаются в монаду, а она решает, как быть дальше.

— Это неукоснительно следует из всего предыдущего, верно? Итак, получается, что монада должна воспринимать, мыслить и действовать.

Отсюда и возникла идея, что монада — маленькая душа. Ибо восприятие, мышление и действие — свойства души в противоположность бильярдному шару. Означает ли это, что у монад есть души в том смысле, что у меня и у вашего высочества? Сомневаюсь.

— Тогда какие же у них души, доктор?

— Чтобы ответить, суммируем всё уже известное. Они воспринимают все другие монады, а затем думают, чтобы как-то поступить. Мышление — внутренний процесс каждой монады, он не осуществляется неким внешним мозгом. Значит, у каждой монады есть свой мозг. Я не имею в виду губчатую массу тканей, как у вашего высочества, но скорее нечто, способное изменять своё внутреннее состояние в зависимости от состояния остальной вселенной, которое каждая монада воспринимает и сохраняет в себе.

— Разве состояние вселенной не заняло бы бесчисленное множество книг?! Каким образом каждая монада хранит в себе столько знаний?

— Хранит, потому что должна, — сказал доктор. — Не думайте о книгах. Представьте лучше зеркальный шар, очень простой, но отражающий всю вселенную. «Мозг» монады в таком случае — механизм, выполняющий действия по некото-

рым заданным правилам, исходя из сохранённого в нём образа всей остальной вселенной. Можно провести очень грубую аналогию с книгой из тех, в какие постоянно смотрят картёжники, например «Беспроигрышной системой мсье Бельфора для игры в бассет». Книга, если выбросить словесные украшения, по сути являет собой сложное правило, указывающее, как игроку действовать при определённом раскладе карт и ставок на ломберном столе. Понтёр, руководствующийся книгой, не думает в высшем смысле этого слова, скорее воспринимает состояние игры — карт и ставок, — сохраняет эту информацию в мозге, а затем применяет к ней правило мсье Бельфора. Результат приложения правил — действие, скажем, ставка, — меняет состояние игры. Тем временем остальные игроки поступают так же — хотя могут читать разные книги и руководствоваться разными правилами. Игра, по сути, не так уж сложна, и беспроигрышная система мсье Бельфора тоже; но когда нехитрые правила применяются за карточным столом, результат получается куда сложнее и непредсказуемее, чем можно вообразить. Отсюда я осмеливаюсь вывести, что монадам и их внутренним правилам вовсе не обязательно быть сложными, чтобы

породить изумительное многообразие и дивные загадки тварного мира, которые мы видим вокруг себя.

— Так доктор Уотерхауз будет в Массачусетсе изучать монады? — спросила Каролина.

— Позвольте мне ещё раз провести аналогию с алхимией, — сказал Даниель. — Ньютон стремится познать атомы, ибо через них объясняет тяготение, свободную волю и всё остальное. Если вы посетите его лабораторию и пронаблюдаете за работой мистера Ньютона, увидите ли вы атомы?

— Вряд ли! Они слишком маленькие! — рассмеялась Каролина.

— Вот именно. Вы увидите, как он плавит вещества в тиглях или растворяет в кислотах. При чём тут атомы? Ответ прост. Ньютон, бессильный увидеть их даже в лучший микроскоп, сказал: «Если мои представления об атомах верны, то, бросив щепотку того-то в колбу с тем-то, я получу такой-то результат». Он проводит опыт и видит не тот результат, и не противоположный, а какой-то третий, неожиданный. Тогда он размышляет, перекраивает свои представления об атомах, придумывает новый проверочный опыт и так далее. Подобным же образом, если вы посе-

тите меня в Массачусетсе, то не увидите монад на лабораторных столах. Вы увидите, как я строю машины, которые для *мышления* — то же, что колбы, реторты и прочее для атомов. Машины, что, подобно монадам, применяют несложные правила к поступающей извне информации.

— Откуда вы узнаете, что машины работают как нужно? Часы можно проверить по движению небесных тел. А как должна поступить машина, приняв решение? И как вы убедитесь, что это правильно?

— Всё гораздо проще, чем вам кажется. Как указал доктор Лейбниц, правилам не обязательно быть сложными. Доктор написал систему для совершения логических операций путём действия с символами по некоторым правилам; для высказываний это то же, что алгебра для чисел.

— Он мне её показывал, — заметила Каролина, — но мне и в голову не приходило, что она имеет какое-то отношение к монадам.

— Эту систему логики можно без особого труда заложить в машину, — сказал Даниель. — Четверть столетия назад доктор Лейбниц, развивая идеи Паскаля, построил машину, которая может складывать, вычитать, умножать и делить. Я всего лишь хочу продолжить эту работу.

— И много вам потребуется времени?

— Годы и годы, — отвечал Даниель. — Больше, если я буду работать в лондонской суете. Посему, доставив вас в Берлин, я двинусь на запад и не остановлюсь, пока не достигну Массачусетса. Сколько займёт работа? Довольно сказать, что к тому времени, когда она даст первые результаты, вы уже вырастете и будете королевой какой-нибудь страны. Однако, возможно, в минуту досуга вы вспомните поездку в Берлин с двумя учёными чудаками, и даже спросите себя, что сталось с тем из них, кто уехал в Америку строить логическую машину.

— Доктор Уотерхауз! Я уверена, что буду обращаться к вам мыслями куда чаще!

— Трудно сказать, у вашего высочества будет много других занятий. Надеюсь, вы не расцените мои слова как дерзость, но я почёл бы за честь получить от вашего высочества письмо, если когда-нибудь вам придёт мысль поинтересоваться состоянием логической машины. И, к слову, если я вообще чем-нибудь смогу вам услужить.

— Обещаю, доктор Уотерхауз, в таком случае непременно вам написать.

Как ни сложно совершить такой манёвр в тряской карете, Даниель — сидевший всё это время

безупречно прямо — поклонился.

— А я обещаю вашему высочеству откликнуться — с радостью и без тени колебаний.

Дом над Маасом
Апрель 1696

Перед воротами усадьбы разговаривали два всадника: плотный одноногий англичанин в мундире неопределённого цвета, который всё равно никто бы не различил под грязью, и французский шевалье. Человек двести тощих оборванцев с лопатами, решительно не замечая беседующих, превращали регулярный парк в систему земляных укреплений.

Англичанин говорил по-французски в теории, но не слишком хорошо на практике.

— Где мы? — вопрошал он. — Понять не могу, это Франция, Испанские Нидерланды или герцогство Люксембургское, черти бы его драли.

— Ваши люди, кажется, воображают себя в Англии! — укоризненно произнёс шевалье.

— Их, должно быть, сбили с толку слухи, будто здесь живёт англичанин, — отвечал его собеседник, потом с тревогой взглянул на француза. — Это… это ведь не зимние квартиры графа Ширнесского?

— Господин граф Ширнесский устроил здесь

свою резиденцию. Между кампаниями он приезжает сюда поправлять здоровье, читать, охотиться, играть на клавесине…

— И тешиться с любовницей?

— Французы нередко проводят время с женщинами; мы не видим тут ничего примечательного. Иначе я добавил бы к перечню этот пункт.

— Я, собственно, вот к чему: есть ли в доме женский пол? Девицы в услужении или кто?

— Были, когда я выезжал утром на верховую прогулку. Остались ли сейчас, можно лишь гадать, мсье Барнс, ибо дом захвачен, и я не могу попасть внутрь!

— Сочувствую. Так скажите, мсье, мы на французской территории или нет?

— Как знамя на ветру, граница постоянно колеблется. Земля, на которой мы стоим, не объявлена французской, если только его величество не выпустил прокламацию, с которой я ещё не знаком.

— Вот и отлично! Значит, эти ребята не вторглись во Францию. А то могла бы выйти неловкость.

— Мсье! *Некоторые* командиры *некоторых* армий сочли бы неловкостью, что целых две роты из их полка дезертировали, забрели на тридцать

миль от лагеря и взяли в осаду загородный дом знатного лица!

— Полагаю, это мы с вами взяли их в осаду, — заметил Барнс, — поскольку они внутри, а мы — снаружи!

Шевалье даже не улыбнулся шутке.

— В военное время всегда есть дезертиры и грабители. Вот почему господин граф Ширнесский, отбывая в Лондон, приказал разместить в конюшнях мушкетёров, чтобы те день и ночь патрулировали границы поместья. В последние дни они докладывали, что в округе увеличилось число незнакомцев. Я отнёс услышанное на счёт оттепели, полагая, как всякий подумал бы на моём месте, что это французские дезертиры с намюрского фронта, расшатанного голодом и болезнями. Выезжая сегодня на прогулку, я намеревался по возвращении обратиться к командиру расквартированной неподалёку кавалерийской роты с просьбой поймать и повесить нескольких дезертиров. Мне в голову не приходило, что это англичане, пока, скача через луг, я не наткнулся на целую шайку и не услышал, как они лопочут на своём языке. Я примчался сюда и обнаружил, что в моё отсутствие более ста человек, пробравшись лесистыми лощинами от Мааса, захватили

поместье! Покуда я недоуменно озирался, число их удвоилось! Я намеревался скакать за помощью, но…

— Дорога оказалась перекрыта, — сказал Барнс. — И тут, на счастье, появляюсь я. Слава богу! Ещё есть время поправить дело, пока оно не перешло в досадный инцидент.

Брови шевалье подпрыгнули так, что едва не скрылись под париком.

— Сударь! Это уже инцидент! Ни при каких обстоятельствах законы войны такого не дозволяют!

— Совершенно согласен и как английский джентльмен приношу вам извинения. Однако выслушайте меня и подумайте, как поступил бы сам граф Ширнесский, будь он здесь. Граф — англичанин, живущий во Франции. Он командует полком, который, как вы прекрасно знаете, отважно сражается на стороне французов. Однако в версальских салонах придворные, не видевшие доблести графа на поле брани, наверняка шепчутся: «Можно ли доверять этому англосаксу? Не предаст ли он?» Нелепо, знаю, и несправедливо, — продолжал Барнс, взмахом руки успокаивая шевалье, у которого лицо стало такое, будто он сейчас вытянет дерзкого англичанина хлы-

стом. — Однако такова человеческая природа, особенно в наше смутное время. И вот шайка…

— Я бы сказал не шайка, а батальон!

— …английских дезертиров…

— Весьма дисциплинированных дезертиров, мсье…

— …ненароком забредя глубоко во вражеский тыл…

— Ненароком ли?

— По странной случайности разбила бивуак в поместье графа Ширнесского. И мне, и вам ясно, как день, что это *ничего* не значит, однако в Версале тут могут усмотреть больше чем совпадение! Граф Ширнесский заточён в лондонский Тауэр, не так ли?

— Полагаю, вы прекрасно знаете, где он.

— Кто-нибудь может заподозрить, что он не столько заточён, сколько по своей воле нанёс визит королю Вильгельму и собственному его величества Блекторрентскому гвардейскому полку, который квартируется в Тауэре.

Шевалье вскипел. Он мог бы убить Барнса на месте, но (в качестве эрзац-меры) всего лишь поворотил коня, проскакал несколько ярдов по дороге, снова развернулся и проскакал назад. Справившись с негодованием, он открыл было

рот, чтобы выдать какую-то язвительную реплику, однако Барнс (который незадолго перед тем слегка выдвинул саблю из ножен) теперь вытащил её совсем и указал клинком на чугунную решётку ворот. Внимание шевалье переключилось сперва на саблю, затем — на полдюжины солдат с мушкетами на изготовку сразу за воротами.

— Перед вами, — объявил Барнс, — собственные его величества Блекторрентские гвардейцы. Предлагаю вывести их отсюда как можно скорее во избежание прискорбных недоразумений.

— Как я и подозревал, — выговорил француз, — вы меня шантажируете. Чего вам надобно?

— Я прошу вас воспользоваться случаем молча подождать здесь, чтобы я вошёл внутрь, поговорил с зачинщиками и убедил их уйти немедленно, ничего тут не разграбив.

Шевалье оглядел сперва мушкетёров, затем дорогу, по которой приближался ещё один такой же отряд, и кивком дал понять, что принимает условия. Барнс направил клячу в ворота (мушкетёры тут же их распахнули), спешился и зашагал к усадьбе.

Через пять минут он вернулся.

— Мсье, они уйдут.

Слова эти были излишни, поскольку, едва полковник вошёл в дом, солдаты перестали копать и, собрав вещи, начали повзводно выстраиваться в саду.

— Есть одна сложность, — добавил Барнс.

Шевалье закатил глаза, вздохнул и сплюнул.

— Что за сложность, мсье?

— Один из моих людей наткнулся в доме на то, что, должен с прискорбием сообщить, по закону не принадлежит графу Ширнесскому. Мы забираем находку с собой.

— Так я и знал с самого начала, мсье. Вы — грабители. И что же вы украли? Столовое серебро? Ах нет, Тициана! Я подозревал, что вы ценитель искусства, мсье. Так это Тициан?

— Отнюдь, мсье. Это женщина. Англичанка.

— О нет, англичанка останется здесь!

— Нет, мсье. Она уезжает. Уезжает со своим мужем.

— С мужем?!

Боб Шафто не залезал в богатые дома по водосточным трубам уже лет тридцать. Однако женщины, как птички, повинуясь инстинкту, вспорхнули на чердак, и теперь из окошка под самой крышей выглядывали их напуганные личики. Чтобы не ломать дверь и не разносить дом,

Боб выбрался на крышу, прополз по черепице, выдавил окно, спрыгнул на пол и отбил стремительный выпад какой-то судомойки, которая, убегая с кухни, догадалась прихватить разделочный нож. Он завернул ей руку за спину, вырвал нож и огляделся, держа девушку перед собой, как щит, на случай если ещё у какой-нибудь служанки возникнут сходные намерения. От девушки пахло морковкой и чабрецом. Она что-то крикнула по-французски, наверное: «Убегайте!», но ни одна из её товарок не двинулась. Удары в чердачную дверь доказывали, что бежать им некуда.

Четыре женщины смотрели на Боба, свет из выбитого окна падал на их лица. Одна была старуха, две — гораздо старше и толще Абигайль. Четвёртая подходила по комплекции, возрасту и цвету волос. Сердце у Боба подпрыгнуло и упало. Это была не она.

— Чёрт! — воскликнул он. — Не бойтесь, я вас не трону. Я ищу мисс Абигайль Фромм.

Четыре женщины разом перевели взгляд с Боба на девушку, которую он держал.

Тут она всей тяжестью осела на него, и Боб вынужден был выпустить её запястье, чтобы подхватить падающую. За свою жизнь он узнал немало приёмов освобождения от захватов, но

такой видел впервые: лишиться чувств в руках у противника.

Она очнулась через три минуты, лёжа поперёк кровати этажом ниже. Боб то возникал в её поле зрения, то вновь исчез. Он подходил, чтобы сосчитать её веснушки, потом спохватывался, что обезображен годами военной службы, и, щадя нежные глаза Абигайль, отступал к окнам, за которыми солдаты рыли траншеи. Рыли не совсем правильно. Боб переборол порыв открыть раму и рявкнуть на них по-сержантски. Он оглядел дальние подступы к поместью — не скачет ли французская кавалерия. Когда Абигайль потянулась, чтобы почесать нос, Боб напружинился, опасаясь, что она припрятала в одежде ещё какие-нибудь режущие предметы. Однако тревожиться не стоило. Перед ним была не исступлённая убийца, а школьница из соммерсетского городка, тихая и мягкая, но несколько опрометчивая в делах житейских, что и послужило причиной их знакомства. Броситься очертя голову с ножом было не в характере Абигайль, просто так проявилась её бытовая несуразность, пленившая в своё время Боба, практичного до мозга костей. Тогда, одиннадцать лет назад, он увидел в ней то, чего не хватало ему, за три мгновения, в которые его

сердце едва не остановилось. И каким-то чудом — единственным чудом в прозаической жизни Боба — девушка тоже увидела в нём то, чего ей недоставало — в прямом и переносном смысле.

В те времена на кроватях было много подушек, поскольку спали практически полусидя. Боб уложил Абигайль плашмя; сейчас она приподнялась на подушки, чтобы видеть, как он расхаживает по комнате.

— Тысяча чертей! — были его первые нежные слова. — Времени нет! Ты меня помнишь, иначе не упала бы в обморок.

Абигайль всё ещё была очень бледна и старалась не двигаться без надобности, но тихая улыбка, озарившая лицо, придала ей сходство с Девой Марией на картинах.

— Даже если бы я могла тебя забыть, господа Апнор и Ширнесс мне бы не дали. Удивительно, до чего часто их тянуло рассказывать про вашу с Апнором встречу на мосту.

— Позорная история.

— Они рассказывали её, чтобы над тобой посмеяться, но для меня это была любовная история, которую я могла слушать бесконечно.

— И всё равно позор. Как и моя вторая встреча с Апнором, о которой ты, возможно, не слыша-

ла. Слава богу, рядом оказался Тиг с палкой! Но сейчас некогда рассказывать. Дьявольщина, вот и он!

— Кто?! — вскрикнула Абигайль.

— Простите, что напугал, мисс. Это не господин граф, а полковник Барнс. Идёт сюда. Слышишь, как деревяшка выстукивает по лестнице? Надо отсюда выбираться.

Боб шагнул к двери. Абигайль смотрела, наморщив лоб. Она не знала, собирается он бежать, баррикадироваться или встречать полковника. Но тут что-то остановило взгляд Боба. Он тронул (скорее даже погладил) верхнюю дверную петлю — две кованые железные полоски, привинченные одна к косяку, другая к двери. Их соединял шарнирный болт толщиной в мизинец.

— Скажу коротко: те несколько мгновений на таунтонской рыночной площади одиннадцать лет назад, когда ветер уронил ваше дурацкое знамя и я помогал тебе его поднять, помнишь? Они для меня — как шарнирный болт для двери. Вокруг него всё вращается, а он — всё держит. Так и моя жизнь. Вынь его… — И Боб, не доверяя своему красноречию, вытащил кинжал и поддел им головку болта. Потом, левой рукой придерживая дверь, выдернул штырь и убрал руки. Дверь

беспомощно повисла. — Как ни жаль, у нас осталась одна минута, ничуть не длиннее первой. Так как, Абигайль?

— Что именно?

Барнс вошёл в комнату, искоса поглядывая на висящую дверь. Он выразительно взглянул на Боба, потом, вспомнив про воспитание, молодцевато повернулся к Абигайль и отвесил поклон.

— Мисс Фромм! Сержант Шафто столько раз превозносил вашу красоту, что порядком мне прискучил; видя вас во плоти, я осознал свою ошибку, раскаялся и обещаю впредь не зевать и не стучать пальцами по столу, буде эта тема возникнет снова, но присоединить свой голос к хвалам сержанта Боба.

— Спаси… — начала Абигайль, однако Барнс уже перешёл к следующему вопросу.

— Вы уже просили её руки?

— Нет, — отвечала Абигайль вместо оторопевшего Боба.

— Быстро, — сказал Барнс, — просите.

Боб плюхнулся на колени.

— Со…

— Да.

— Абигайль Фромм, берёшь ли ты… — начал Барнс.

— Да.

— Роберт Ша…

— Да.

— …вляю вас мужем и женой. Можете поцеловать молодую — *позже*. Сейчас надо ко всем чертям уносить ноги! — воскликнул капитан Барнс, приметивший что-то за окном.

— Дай-ка мне этот шарнирный болт, муженёк, — сказала Абигайль, — вместо кольца.

Мушкетёры так и так строились перед усадьбой; посему они не задержали отъезд, когда вытянулись во фрунт вдоль дорожки и подняли штыки, образовав арку, чтобы мистер и миссис Шафто могли под ней пробежать. Полевых цветов ещё не было, но какой-то рядовой сообразил отломать расцветшую вишнёвую ветку и сунуть в руки Абигайль. На конюшне реквизировали белую лошадь и презентовали молодым в качестве свадебного подарка. Слуги, высунувшись из окон, кричали и махали полотенцами. Французские мушкетёры, которых разоружили и загнали в сухой фонтан, плакали и сморкались от умиления. Даже шевалье, доставивший Барнсу столько неприятных минут, лишь тряс головой и моргал, досадуя, что его выставили мелочным негодяем. Больше всего он хотел бы оправдаться, сказать

Барнсу, что, если бы ему всё объяснили, он бы, уж наверное, послужил Венере, а не Марсу.

Барнс и Шафто, распределённые по двум лошадям, дали войску последний смотр.

— Вы сегодня хорошо послужили вашему сержанту, — объявил Барнс, — и вернули небольшую часть долга за то, что он сберёг вас в стольких сражениях. Теперь снова к учениям! Сегодняшнее задание: слиться с местностью, и вы очень плохо его выполняете, стоя всем скопом на виду!

Рядовые смешали ряды и начали прыгать через ограду. Старший сержант подошёл к Барнсу, чтобы заявить протест:

— Здесь нет местности, чтоб с ней слиться! Мы одной ногой во Франции, на тридцать миль во вражеском тылу, все деревья вырублены к чертям собачьим…

— То-то и хорошо для ученья! В Шервудском лесу, прах побери, спрятаться не хитрость. Вот подсказка: будете держать рот на замке — вас примут за голодных дезертиров из *французской* армии. А теперь вперёд! Встретимся в лагере через несколько дней. Мне надо проводить мистера и миссис Шафто на корабль, чтобы они отправились в Лондон, зажили своим домом и ждали вас всех в гости!

Сияющее личико Абигайль на мгновение померкло, но тут же осветилось снова, когда все блекторрентские гвардейцы, ещё не слившиеся с местностью, грянули: «Ура!» Боб рысью объехал сад, выслушивая поочерёдные приветствия разбившихся на кучки солдат, горничных в окнах и французских мушкетёров в фонтане. Завершив круг, он выехал в ворота и пустил лошадь во весь опор вдогонку за Барнсом, проскакавшим уже полдороги до горизонта. Абигайль сидела сзади, припав щекой к ямке меж Бобовых лопаток и сцепив руки у него на поясе. Что-то твёрдое упиралось Бобу в живот. Он посмотрел вниз и увидел, что пальцы Абигайль крепко сжимают шарнирный болт.

Дворец Герренхаузен в Ганновере
Август 1697

— Французы освободят все земли, завоёванные с тысяча шестьсот семьдесят восьмого, за исключением Страсбурга, к которому Людовик особенно прикипел сердцем, при условии, что те останутся католическими, — сказал пятидесятиоднолетний учёный и отметил галочкой очередной пункт в списке, который лежал на украшенном гвельфскими гербами блюде дрезденского фарфора.

Он поднял глаза, ожидая увидеть над самой столешницей атласный подол своей шестидесятисемилетней государыни. Вместо этого юбка — мили собранного в складки шёлка, армированного сталью и китовым усом — хлопнула его по физиономии, сбив на пол очки: курфюрстина Ганноверская по-военному чётко повернулась кругом.

— Я целую неделю шлифовал линзы! — Готфрид Вильгельм Лейбниц наклонился вбок, чтобы поднять очки.

Голову ему приходилось держать прямо, чтобы

самый большой и роскошный парик не сполз с потной лысины. Шея похрустывала, зато он мог лицезреть плотные белые икры государыни, вышагивающей взад-вперёд по банкетному столу.

— Это *новости,* — произнесла она с неудовольствием, — которые я могу услышать от любого своего советника. От вас я жду лучшего: сплетен или философии.

Лейбниц встал, прихватив с собою часть стула: пустые ножны зацепились за барочную резьбу. Свист клинка заставил его пригнуться и втянуть голову в плечи.

— Почти достала! — с гордостью воскликнула София.

— Сплетни… попытаюсь что-нибудь вспомнить. Э… дворец вашей дочери в Берлине растёт и хорошеет. Все придворные в ажитации.

— В той же, что на прошлой неделе, или в другой?

— С каждым прошедшим днём, с каждой новой статуей и фреской в Шарлоттенбурге всё труднее отмахиваться от скандального, чудовищного, возмутительного факта, что Фридрих, курфюрст Бранденбургский и вероятный будущий король Прусский, любит вашу дочь.

— Почему это вызывает ажитацию?

— Потому что они *женаты*. Придворные считают любовь в браке непристойной, противоестественной.

— На самом деле причина в том, что придворные думают обо мне.

— Будто вы хитростью женили Фридриха на своей дочери, чтобы прибрать его к рукам?

— М-м…

— Вы и впрямь этого добивались?

— Если добивалась, то добилась, а придворным и досада, — неопределённо ответила София.

Она вновь стремительно повернулась, сбив грозным подолом несколько цветков с букета, и побежала по столу; атласные ленты боевыми стягами реяли за её спиной. Новый яростный выпад. Свечи вздрогнули и зашипели, захлёбываясь собственным воском.

— Я бы давно управилась, если б не мешал этот *verdammt* [29] светоч, — задумчиво проговорила София, указывая рапирой на подсвечник, склёпанный из нескольких тонн гарцского серебра не стеснёнными во времени умельцами.

Несколько слуг, до сей минуты старавшихся держаться по возможности дальше от курфюр-

---

[29] Примечания: 29
Треклятый (*нем.*).

стины, отлепились от стены и, воздев руки, на полусогнутых ногах бросились убирать впавший в немилость канделябр. София, не обращая на них внимания, поводила клинком туда-сюда в свете оставшихся свечей.

— Немудрено, что вы не могли вытащить её из ножен. Она местами приржавела.

— …

— Что, если бы я призвала вас защищать мои владения, доктор?

— Солдат можно сыскать и в другом месте. Я бы соорудил невиданную осадную машину или пригодился бы в чём-нибудь ещё.

— Так пригодитесь сейчас! Я не нуждаюсь в сплетнях из Берлина — дочь меня ими заваливает, а маленькая принцесса Каролина радует премилыми письмами — признавайтесь, ваших рук дело?

— Я принял определённое участие в образовании принцессы после безвременной смерти её матушки. Сейчас, когда София-Шарлотта практически восполнила ей потерю, я чувствую, что нужен всё меньше и меньше.

— Ах, теперь я могу двигаться, но ничего не вижу! — посетовала София, щурясь на фреску, покрытую многолетней копотью. — Не могу от-

личить, где нарисованные фурии, а где живая летучая мышь!

— Мне кажется, это гарпии, ваше княжеское высочество.

— Я вам покажу гарпию, если не приступите к своим обязанностям!

— Э… хорошо. У Людовика Четырнадцатого вскочил на шее нарывчик. Не совсем то, да? Э… тогда… м-м… Франция признала Вильгельма, а, следовательно, и все пожалованные им титулы. Так что Джон Черчилль теперь — граф Мальборо, а герцогиня д'Аркашон — ещё и герцогиня Йглмская.

— Аркашон-Йглмская… да, мы о ней слышали, — проговорила София, приняв какое-то решение.

— Она была бы счастлива узнать, что ваша княжеская светлость ведает о её существовании. Ибо никого из монархов она не чтит так, как вашу княжескую светлость.

— А как же её суверены, Людовик и Вильгельм? Их она не чтит? — осведомилась княжеская светлость.

— Этикет… м-м… не позволяет ей предпочесть одного другому… к тому же, на беду, оба они мужчины.

— Хм… я вижу, к чему вы клоните. У этой дважды герцогини есть имя?

— Элиза.

— Дети? Помимо… если я ничего не путаю… шустрого байстрючонка, которого мой банкир всюду таскает за собой.

— На данное время двое живых: Аделаида, четыре года, Луи, почти два. В последнем соединились Аркашонский и Йглмский дома. Если он переживёт отца, то будет носить двойной титул, как Оранский-Нассау или Бранденбург-Прусский.

— Аркашон-Йглм, боюсь, звучит не так громко. Чем она занимается?

— Натурфилософией, запутанными финансовыми махинациями и отменой рабства.

— Для белых или для всех?

— Полагаю, она решила начать с белых, чтобы, набрав достаточно прецедентов, добиваться его отмены для всех.

— Нам это не опасно, — пробормотала София. — У нас нет ни арапов, ни флота, чтобы их добыть. Однако такое увлечение попахивает донкихотством.

Лейбниц промолчал.

— Мы любим донкихотство, если оно не наго-

няет скуку, — проговорила София. — Она ведь не имеет обыкновения утомительно распространяться на эту тему?

— Если вы отведёте её в сторонку и проявите настойчивость, она может довольно долго говорить об ужасах рабства, — признал Лейбниц, — но в остальном весьма сдержанна и в светском обществе никогда не произносит о нём более двух слов.

— Где она сейчас?

— По большей части в Лондоне, где занимается бесконечно длинным и скучным судебным процессом по делу белой рабыни Абигайль Фромм, однако бывает в Сен-Мало, Версале, Лейпциге, Париже и, разумеется, в своём замке на Внешнем Йглме.

— Мы её примем. Мы благодарны, что она позаботилась о принцессе Каролине, когда бедное дитя было одиноко и всеми покинуто. Мы разделяем её страсть к натурфилософии. Нам, возможно, потребуются её финансовые таланты в том, что касается до нашего корабля «Минервы», дабы наша доля прибыли не утекала в сундуки нашей компаньонки, Коттаккал, королевы малабарских пиратов.

— Боюсь, я не поспеваю мыслью за вашей кня-

жеской светлостью.

— А лучше бы вы поспевали, доктор Лейбниц. Я вас наняла потому, что некоторые хвалили ваш ум.

— Буду всемерно стараться, ваша княжеская светлость… э… вы что-то говорили про корабль?

— Про корабль не важно! Главное, что эта Элиза привезёт нам первостатейные сплетни из Лондона, выслушивать которые — наш долг как будущей английской королевы. И если Элиза приедет сюда навестить своего приблудыша…

— Я озабочусь, чтобы она засвидетельствовала своё почтение вашей княжеской светлости.

— Решено. Что там у вас дальше?

— Уайтхолл сгорел.

— Весь? Мне говорили, он довольно… велик.

— Те немногие в Лондоне, кто ещё поддерживает со мной переписку, утверждают, что на его месте остались дымящиеся развалины.

— Ми долшни говорит английски, когда ми говорит про Англия! — потребовала курфюрстина. — Иначе ми не имей практик!

— Хорошо. Тогда по-английски: как только закончилась война, виги были низринуты…

— Альянс?

— Да, ваша светлость совершенно правы, аль-

янс был низринут в бездну, а тори вознеслись в горние.

— Какая удача для Вильгельма, — сухо заметила София. — Как раз когда ему надобен новый дворец, монархолюбивая партия получила возможность запустить руки в казну.

— Которая сейчас совершенно пуста. Впрочем, не переживайте за него, затруднение разрешается, за это взялись умные люди.

— Сейчас беседа станет невыносимо скучной, — задумчиво проговорила София. — Вы будете рассказывать про налоги и сборы, летучая мышь заснёт рядом с какой-нибудь наядой и проснётся аккурат посреди обеда.

— Если верно то, что рассказывают о царе, его не смутит летучая мышь. Да будь здесь волки и медведи, он бы бровью не повёл.

— Я не стремлюсь, чтобы Пётр почувствовал себя, как дома, — ледяным тоном отвечала София. — Я хочу показать, что где-то на полпути от Берлина сюда он въехал в *цивилизованный* мир. А одно из благ цивилизации — философы, способные вести занимательный разговор.

— Так, значит, мы покончили со сплетнями, и…

— …и перешли к новостям наук, естественных

или неестественных, как больше угодно. Выкладывайте всю подноготную, доктор Лейбниц! Что молчите? Не стойте с открытым ртом: летучая мышь залетит!

— Английские учёные погружены в дела практические: монетные дворы, банки, соборы, ренты. Французские если не совсем под пятой, то, во всяком случае, в тени инквизиции. В Испании не происходит ничего достойного внимания с тех пор, как оттуда изгнали евреев и мавров, то есть последние двести лет. Так что, спрашивая про науку, ваша княжеская светлость — не сочтите за похвальбу — спрашивает обо мне.

— Позволено мне осведомиться о моём друге?

— Разумеется, я просто… ну… не важно. Я состою в переписке с братьями Бернулли. Ничего особенно важного. Как известно вашей княжеской светлости, меня всегда занимали символы и знаки. Анализ бесконечно малых породил новые понятия, для которых понадобились новые символы. Дифференцирование я обозначаю маленькой *d*, интегрирование — вытянутой *S*. Бернулли пользуются теми же символами. Однако есть ещё один швейцарский математик, которого в своё время считали подающим надежды молодым учёным, — Николя Фатио де

Дюилье.

— Тот, что спас Вильгельма Оранского от покушения? — София упёрла рапиру в стол и принялась задумчиво её раскачивать.

— Он самый. Он тоже переписывается с Бернулли.

— Вы сказали явно с намёком, что его *считали* подающим надежды.

— Его работы последних лет смехотворны. Такое впечатление, что он повредился в рассудке.

— Прежде вы говорили, что в рассудке повредился Ньютон.

— К Ньютону я сейчас перейду. Он — то есть Фатио — вёл с Бернулли вялотекущий эпистолярный спор. Они ему — письмо с маленькими *d* и вытянутыми *S*, он им — ответ, в котором для производных точка, для первообразных — какие-то несуразные прямоугольники. Эти символы использует Ньютон. Так они грызлись несколько лет, а недавно всё взорвалось! Фатио напечатал статью, в которой весьма нелестно отозвался о вашем покорном слуге и приписал создание анализа бесконечно малых Ньютону. Тогда Бернулли состряпали задачу и начали рассылать её европейским математикам, проверяя, кто сумеет её решить. Никто не справился…

— Даже вы?!

— Конечно, я бы её решил, это обычная задача на интегрирование. Она имела одну цель: отделить мужей — тех, кто понимает исчисление бесконечно малых, — от мальчиков. Бернулли отправили треклятую задачку Ньютону, и он справился с ней за несколько часов.

— Так он не безумен?

— Даже если он совершенно спятил, ваша княжеская светлость, важно иное — в том, что касается математики, ему по-прежнему нет равных. А теперь из-за происков Бернулли он считает, будто я вместе с другими европейскими математиками строю против него козни!

— Я думала, вы будете пересказывать новости науки, а не сплетни.

Лейбниц набрал в грудь воздуха, намереваясь что-то ответить, но ограничился вздохом. Это повторилось ещё два раза, но тут, на счастье, летучая мышь выпорхнула из убежища. София мигом выдернула рапиру из стола и возобновила охоту. Пометавшись немного, летучая мышь (которая, по всей видимости, вообразила, будто дрожащее остриё — какое-то исключительно быстрое насекомое) принялась летать по периметру зала, срезая углы, то есть описывая грубо

эллиптическую траекторию. Стол стоял в конце зала, параллельно стене, так что летучая мышь в каждый облёт проносилась над ним дважды. София поджидала там, где, по её расчёту, должна была пролететь мышь, затем, промахнувшись, перебегала на другой конец стола и, когда та заходила на следующий круг, делала новый выпад.

— Положение вашей княжеской светлости относительно летучей мыши можно уподобить позиции земного астронома, когда земную орбиту — сегменту которой соответствует в данном случае стол — пересекает комета. Это происходит дважды — при её приближении к Солнцу, второй раз при удалении. — Лейбниц выразительно кивнул на канделябр, который слуги поставили между столом и стеной.

— Меньше сарказма, больше философии.

— Как вам известно, библиотеку перевозят сюда…

— Я подумала, какой мне прок в библиотеке, если она в Вольфенбюттеле? Мой супруг не большой книгочей, но теперь, когда он почти не встаёт с постели…

— Я не ропщу, ваша княжеская светлость. Напротив, полезно было на время отвлечься от повседневных забот куратора библиотеки и об-

ратиться к главной её цели.

— Сейчас я решительно вас не понимаю.

— Разум не может оперировать самими *предметами*. Я вижу летучую мышь, мой разум о ней знает, но не манипулирует ею *непосредственно*. Мой разум (как я думаю) совершает действия над символическим образом мыши, существующим в моей голове. Я могу проделывать над символом различные операции — например, вообразить летучую мышь мёртвой, — не влияя на реальную мышь.

— О том, что мысль — манипулирование символами в голове, я от вас уже слышала.

— Библиотека — своего рода опись или хранилище всего, о чём люди думают. Таким образом, каталогизируя библиотеку, я составляю более или менее упорядоченный и понятный перечень символов, коими мыслящие люди оперируют у себя в голове. Но вместо того, чтобы препарировать мозг и выискивать символы в сером веществе, вместо того чтобы использовать символические представления, подобные существующим в мозгу, я присваиваю каждому простое число. Числа предпочтительнее тем, что их можно обрабатывать с помощью машины.

— Снова вы о том своём прожекте. Что бы вам

не заниматься монадами? Монады — премилая тема для разговора, а для их обработки не надобно машин.

— Я занимаюсь монадами, ваша княжеская светлость. Я тружусь над монадологией каждый день, но не оставляю и другой свой прожект…

— Как-то вы его называли? «То, для чего мне нужно бесконечное количество денег», — рассеянно проговорила София и перебежала на другой конец стола.

Лейбниц ретировался на середину комнаты, где его геометрически невозможно было задеть рапирой.

— «Бесконечное количество», — с большим достоинством проговорил он, — означает лишь, что нужна *некоторая* сумма каждый год в течение *неограниченного* времени. Я пытался сделать доходными ваши серебряные рудники, но, увы, не преуспел из-за *саботажа* и того, что наши конкуренты в Мексике используют рабский труд. Тогда я отправился в Италию и сделал всё, чтобы вы стали следующей королевой Англии, буде за то проголосует парламент. Если верить ториям, учредившим Земельный банк, эта страна стоит шестьсот миллионов турских ливров. Они продают зерно и со страшной скоростью ввозят золото.

Другими словами, там есть деньги — не бесконечное количество, но довольно, чтобы выстроить несколько арифметических машин.

— Не только парламент должен проголосовать, но и множество людей умереть в правильной последовательности, чтобы я вступила на английский престол. Во-первых, Вильгельм, во-вторых, принцесса Анна, которая к тому времени станет королевой Анной, затем маленький герцог Глостерский и прочие дети, которых она может родить той порой. Мне шестьдесят семь лет. Вам надо искать поддержки у кого-нибудь другого… и-ах! Готово! Так-то вторгаться в мой обеденный зал! Доктор Лейбниц, полюбуйтесь на мою стряпню!

Рапира больше не двигалась. Лейбниц, не спуская глаз с напудренного лица Софии, отважился подойти ближе, затем взглядом прочертил линию от пухлого белого плеча, по рукаву, через унизанную браслетами и кольцами руку, вдоль ржавого клинка к дрезденскому блюду, на котором лежала убитая летучая мышь, расправив крылья так аккуратно, будто её сервировал на блюде искусный французский повар.

— Комета упала на Землю! — провозгласила София.

— Как вы поэтично выражаетесь, матушка, — раздался голос у Лейбница за спиной.

Тот обернулся. В дверях стоял крупный сорокалетний мужчина с лицом и манерами куда более молодого человека. Кронпринц Георг-Людвиг, кажется, только сейчас осознал, что его матушка стоит на столе. Он несколько раз по-лягушачьи моргнул и сказал:

— Комета приближается… э… к дереву.

— К дереву?! Кометы не приближаются к деревьям!

— Она попалась в силки, раскинутые соколом.

— Соколы не раскидывают силков, — не сдержался Лейбниц.

Ответный взгляд Георга-Людвига заставил доктора пожалеть, что он отдал Софии единственное орудие самозащиты.

— Георг, мой первенец, любовь моя, моя гордость, что ты нам хочешь сказать? — ласково спросила София.

— Царь приближается к Герренхаузену!

— Так царь — комета?

— Разумеется.

— Мы называли кометой эту летучую мышь.

Уголки губ у Георга пошли вниз, так что губы исчезли, а щель между ними приобрела сходство

с гарротой. Он наградил Лейбница убийственным взглядом, словно тот в чём-то перед ним провинился.

— А кто сокол, ваше высочество? — спросил Лейбниц.

— Ваша послушная ученица и *моя младшая сестра,* София-Шарлотта, курфюрстина Бранденбургская, доктор Лейбниц.

— Превосходно. Так метафора с силками означает, что её светлость пленила Петра своими ухищрениями и красотой.

— Он пронёсся через Берлин, подобно пушечному ядру, вынудив её, как лису, догонять его в Коппенбрюгге.

— Ты хочешь сказать, что София-Шарлотта с лисьей хитростью преследовала пушечное ядро? Или что царь уходил, как лисица от погони? — спросила София.

— Я хочу сказать, что они сейчас появятся.

— Иди к отцу. Отошли похоронную команду. (София имела в виду врачей.) Объясни, что может появиться некто очень высокий и чрезвычайно важный и что ему неплохо бы сказать пару любезных слов.

— Хорошо, матушка, — отвечал послушный сын.

Он поклонился матери, зло сощурился на Лейбница и вышел.

По всему выходило, что София или доктор должны сейчас что-нибудь сказать о Георге-Людвиге, однако государыня упорно молчала, и Лейбниц решил последовать её примеру. Поднялась кутерьма, покуда Софию спускали на пол (она угрожала спрыгнуть со стола и, возможно, спрыгнула бы). Тем временем сообщили, что царь всея Руси уже во дворце и София-Шарлотта практически волочёт его за ухо. Будь визит официальный, у всех было бы вдоволь времени подготовиться, но Пётр путешествовал инкогнито, и принимать его следовало так, будто деревенский родственник случайно заглянул на огонёк.

Звяканье шпор и голоса приближались, рассыпался птичьей трелью смех Софии-Шарлотты! Две фрейлины бросились к Софии подколоть выбившиеся пряди и одёрнуть корсет; та сосчитала до десяти и шуганула их прочь. Слуга с чинным достоинством вынес блюдо, на котором лежала убитая летучая мышь, другой водрузил на стол чистое. Остальные слуги лихорадочно прихорашивали букет и подсвечник. «Доктор! Ваша рапира!» — воскликнула София. Она схватила со стола окровавленный клинок и рассеянно

ткнула им в сторону Лейбница. Тот вежливо шагнул вбок, взял рапиру за рукоять и попытался убрать в ножны. Для этого надо было попасть в отверстие, которое он не видел, поскольку убрал очки в карман, а направить мокрое остриё левой рукой брезговал. Так что когда лейб-гвардейцы, составлявшие авангард царской свиты, вошли в зал, Лейбниц по-прежнему стоял перед входом, держа рапиру весьма двусмысленным образом. Гвардейцы, которым платили не за вдумчивость, вполне могли счесть, что он не убирает её, а вытаскивает.

Три сабли разом выскочили из ножен, три клинка сошлись треугольником у шеи Лейбница (блестящие и острые, в отличие от его ржавого). В тот же самый миг — возможно, потому что обмяк от испуга — он попал-таки в отверстие, и рапира скользнула до середины ножен, где и застряла из-за ржавчины. Руки Лейбница повисли, как мокрые тросы. Тяжёлый эфес раскачивался на гибком клинке. Двадцатипятилетний Пётр Романов вошёл в комнату под руку с двадцатидевятилетней Софией-Шарлоттой. Во всяком случае, Лейбниц (стоявший неподвижно, вытянув шею, чтобы не порезаться) заключил, что это царь, поскольку в жизни не видел такого высокого человека. При

всём своём непомерном росте царь был прекрасно сложён, а лицо его, чисто выбритое, если не считать усов, хранило мальчишескую свежесть. Когда он оторвал чёрные, навыкате, глаза от Софии-Шарлотты (что было нелегко, поскольку он никогда прежде не видел такой красивой и умной женщины) и узрел немую сцену перед собой, то замер на полушаге. Левый глаз закрылся, словно подмигивая, с трудом разлепился и тут же захлопнулся снова. И тут же всю левую щёку свело, словно её скомкала невидимая рука. Пётр освободился от Софии-Шарлотты, на мгновение закрыл ладонями лицо — то ли от смущения, то ли для того, чтобы скрыть тик, — потом резко отбросил их в стороны и шагнул вперёд. Он был так пугающе огромен, что, казалось, рухнул на гвардейцев сверху, словно исполинская летучая мышь, однако не упал, а схватил двух крайних за шкирку и сдвинул, так что они столкнулись со стоявшим посередине. Держа всех трёх мёртвой хваткой, царь заорал что-то на непонятном языке — московитском, надо полагать. Лейбниц попятился, пока не оказался сбоку и чуть позади от Софии, после чего упёрся обеими руками в эфес и несколькими толчками загнал рапиру на место. К тому времени Пётр перешёл на площадной

немецкий.

— Мне нужны три больших колеса!

— Зачем? — спросила София-Шарлотта, как будто она и все остальные в зале не догадались.

— Просто переломать им кости — слишком лёгкое наказание. А вот если привязать их к колёсам и медленно вращать, перебитые кости будут тереться одна о другую…

— У нас тоже существует такая экзекуция, — сказала София-Шарлотта. — Но, — добавила она дипломатично, — мы давно её не применяем, и наши колёса далеко убраны. Матушка, позвольте представить вам господина Романова. Господин Романов из Московии едет в Голландию осматривать корабельные верфи. Он очень-очень интересуется кораблями.

— Рада познакомиться, господин Романов, — сказала София, допуская царя к руке. — Моя дочь по дороге показала вам мои сады и оранжереи?

— Она о них говорила. Вы там гуляете.

— Да, гуляю, господин Романов, по многу часов каждый день, для здоровья, и очень боюсь, что не смогу получить удовольствие от моциона, если эти трое замечательных господ будут неподалёку кричать от боли на медленно вращающихся колёсах.

Пётр несколько опешил.

— Я только пытался…

— Знаю, что вы пытались, господин Романов, и ценю вашу любезность.

— Он опасается раскольников, — пришла на выручку София-Шарлотта.

— Ещё бы их не опасаться, — тут же подхватила София.

— Они считают меня антихристом, — сконфуженно проговорил Пётр.

— Уверена, доктор Лейбниц нисколько не обиделся, что его приняли за раскольника, ведь так, доктор?

— Я некоторым образом даже польщён, ваша светлость.

— Вот видите.

Однако Пётр, услышав фамилию «Лейбниц», вопросительно взглянул на Софию-Шарлотту и сказал что-то, чего никто, кроме неё, не разобрал. Лицо молодой курфюрстины озарилось радостным изумлением, от чего у всех мужчин в комнате сердце остановилось на несколько мгновений.

— Ну да, конечно, господин Романов, он самый! У вас превосходная память! — И она объяснила, обращаясь ко всем остальным: — Тот самый док-

тор Лейбниц, что подарил мне зуб.

Волна дурных переводов и домыслов прокатилась по толпе разнообразно наряженных пруссаков, московитов, татар, казаков, карликов, голландцев и православных священников за спиной у царя. София-Шарлотта хлопнула в ладоши.

— Принесите зуб левиафана! Или кто там он был.

— Полагаю, скорее некий исполинский слон, но в густой шерсти.

— Я видел таких зверей, вмёрзших в лёд, — сказал Пётр Романов. — Они больше слонов.

Георг-Людвиг вернулся, выполнив поручение, и теперь пытался протиснуться через толпу, не толкнув локтем никого из опасного вида казаков. Толпа раздвинулась, пропуская лакея, который вплыл, неся на подносе бархатную подушку. На подушке в разорванной бумаге возлежал камень. Он был розовато-бурый, размером с дыню, но формой наподобие Гибралтара, с угловатой жевательной поверхностью наверху и сложными корнями внизу. Георг-Людвиг пролез вслед за слугой и встал поодаль от матушки, всем своим видом говоря: «Я здесь, готов включиться в потеху с инкогнито», но все остальные — в особенности Пётр — смотрели только на камень. Ражие

волосатые степняки из царской свиты грубо пробивались вперёд, вообразив, по всей видимости, что «зуб левиафана» — цветистое название особо крупного алмаза. Тем временем София вытолкнула Лейбница вперёд. Она не считала нужным ломать приближённых на колесе, но при случае вполне могла двинуть их пониже поясницы крепким, унизанным кольцами кулачком. Лейбниц протиснулся к зубу и подхватил край подноса, который слуга еле-еле удерживал в руках. Лицо Софии-Шарлотты светилось ангельской улыбкой. Цепочка часов в кармане у царя была на уровне её головы. Лейбниц начал запрокидывать голову и не останавливался, пока не упёрся взглядом в основание царского подбородка. Парик начал сползать назад; София, поправив его лёгким подзатыльником, объявила:

— Доктор трудится над замечательным натурфилософским прожектом, которого мой сын не понимает, но который принёс бы поразительные результаты, если бы какой-нибудь мудрый монарх выделил на него бесконечное количество денег.

Тут Лейбниц, естественно, сморгнул, а Георг-Людвиг хихикнул. Однако царь Пётр задумался всерьёз, как будто бесконечное количество денег

— рядовая сумма, которую ему регулярно случается отписывать*.

— Будет ли это полезно в строительстве кораблей?

— Кораблей и многого другого, господин Романов.

Это решило дело. Пётр строго глянул на одного из советников, тот попятился, склоняясь в поклоне, и впился в Лейбница хищным взглядом. Царь, покончив с этим вопросом, шагнул мимо доктора к Георгу-Людвигу.

Книга 4
Бонанца

Япония
Май 1700

Даппа что-то спросил по-малабарски у трёх темнокожих матросов, вытащивших лот. Получив ответ, он повернулся к юту и кивнул ван Крюйку. Капитан махнул беспалой рукой. Двое матросов-филиппинцев деревянными молотами выбили стопоры, и нос корабля слегка вздёрнулся, освобождённый от веса якорей. Цепи загромыхали в клюзы со звуком, с каким левиафан мог бы прочищать горло. Привязанные к ним пеньковые тросы скользили по палубе всё быстрее, и уже казалось, будто лотовые неверно определили глубину. Внезапно жизнь словно покинула тросы. Они замерли, и филиппинцы бросились выбирать слабину. Все паруса были убраны, но ветер, прогнавший «Минерву» через Японское море, теперь дул в её корпус, толкая корабль к длинной тени увенчанной снежной шапкой горы и порождая странное впечатление, будто солнце садится на востоке.

Джек, Вреж Исфахнян и Патрик Таллоу возле фок-мачты убирали те немногие паруса, под кото-

рыми ван Крюйк провёл «Минерву» в бухту. Джек и Вреж стояли на вантах, Патрик, потерявший левую ногу в стычке с пиратами у острова Хайнань, выстукивал по палубе резным палисандровым протезом, мурлыча себе под нос и выбирая снасти по мере надобности. Все трое были дольщики и обычно не брались за матросскую работу. Однако сейчас почти вся команда собралась на гондеке. Джек, стоя на вантах, чувствовал сильную боковую качку, по которой мог, не глядя, сказать, что все пушки выдвинуты в орудийные люки, придавая «Минерве» сходство с ежом. Гарнизону японского форта не надо было лезть в книги *рангаку* — голландских знаний, — чтобы понять намёк.

Габриель Гото в ярком кимоно стоял на носу корабля. Глядя на него сверху, Джек видел ссутуленные плечи и склонённую голову. Ронин побрился, подстриг, смазал маслом и уложил седеющие волосы в сооружение столь диковинное, что в любом другом месте его бы за такое сожгли на костре или по меньшей мере избили до полусмерти. Однако здесь, по-видимому, такая причёска была как парик в Версале — без неё тебя и за человека считать не будут. Габриель, сойдя с корабля, мог уже не бояться, что покажется

нелепым на западный взгляд. Либо вся сделка — западня, и его распнут на месте (как обычно встречали португальских миссионеров), либо всё честно, и он вновь станет почтенным японцем — самураем, надзирающим за каким-то клочком рудоносной земли на севере и держащим свои религиозные убеждения (если они у него ещё остались) при себе.

— Его путь окончен, — заметил Енох Роот, когда Джек спустился на палубу. — Твой, я бы сказал, пройден наполовину.

— Хорошо бы так, — сказал Джек. — Ван Крюйк говорит, нам надо пройти ещё сорок градусов к востоку, прежде чем мы окажемся точно насупротив Лондона. За столько лет я не приблизился и к середине пути.

— Ну, это как посмотреть. — Енох, закончив расставлять в чёрном ящике какие-то приборы и вещества, выпрямился и устремил взгляд на берег. — Ты мог бы сказать, что нет места, куда из Лондона труднее попасть, чем сюда.

— Или что в Лондон отсюда попасть труднее, чем в любое другое место, — сказал Джек. — Я понял.

Они некоторое время стояли и смотрели на Японию. Джек не знал точно, чего ждать. Его

бы ничто не удивило: ни дворцы в воздухе, ни двухголовые воины с мечами, ни демоны, восседающие на вулканах. Они наконец добрались до мест, отмеченных на картах доктора в Ганновере неопределённой береговой линией, за которой — белое пятно. Если где-нибудь на земле существуют фантазмы, то, уж конечно, здесь. Однако Джек их не наблюдал. Сейчас уже можно было разобрать подробности, и он видел домá. Восточные, это да. Однако двухлетний путь к сегодняшней сделке лежал через разные страны Восточной Азии, и уж китайских крыш Джек навидался в Маниле, Макао, Шанхае, даже в Батавии. Здешние дома выглядели примерно так же. Дымок поднимался из труб, как везде в холодную погоду. На холмах торчали сторожевые башни, в море вдавались пирсы, на берегу сушились рыбачьи сети и лодки, в точности как у Санлукар-де-Баррамеда. Старухи-японки собирали в корзины водоросли, но то же самое делали японские христиане в Маниле. Не было ни демонов, ни фантазмов.

— Сказать честно? У меня такое чувство, будто я уже совершил кругосветное путешествие, — заметил Джек. — От Лондона меня отделяет только Мексика. Я видел её на карте — узенький пере-

шеек.

— Не забывай про Тихий и Атлантический океаны, — напомнил Енох, запирая щеколды и замки на сундучке.

— Это всего лишь вода, а у нас есть корабль, — фыркнул Джек. Все слышавшие его филиппинцы разом перекрестились. По их мнению, Джек практически напрашивался на то, чтобы Господь поразил смертью его и всех свидетелей кощунства. — Как раз об этом я думал перед отплытием с Квина-Кутты, когда мы сидели в новом трактире «Ядро и картечь» у подножия горы Элиза и пили за Иеронимо, Евгения, Наср аль-Гураба, Ниязи и всех остальных, кого с нами нет.

— Надо же! Мне не показалось, что ты был в состоянии думать.

— Не забывай, что туман в голове — для меня дело знаемое, а потому не помеха, — сказал Джек. — Так что мои излияния…

— Возлияния?

— Мои мысленные излияния устремились в такое русло: ты посоветовал не называть корабль в честь Элизы, дабы он, оказавшись случайно в одном порту с указанной дамой, не вызвал опасных кривотолков. Я согласился. Так вот, когда мы почти два года назад бросили якорь у

Квина-Кутты и Сурендранат, посетив местных мавров, сообщил, что те ищут нового султана, короче, когда мы поняли, что остров сам идёт нам в руки, — я посмотрел на прекрасную, увенчанную снежной шапкой гору и нарёк её Элизой. Ибо она тоже плодоносна и прекрасна собой, внешне же несколько холодна и неприступна, а её вулканическая природа сулит внезапные извержения…

— Да, ты несколько раз описал сходство во всех подробностях.

— Хорошо. Короче, я рассудил, что не страшно назвать в честь Элизы гору так далеко от христианского мира. Однако позже, когда мы поставили мистера Фута султаном, а Сурендраната — великим визирем, когда они выстроили новое «Ядро и картечь» и в Квина-Кутту стали заходить европейские корабли, то выяснилось, что многие старые капитаны знают мистера Фута ещё по Дюнкерку. Они возобновляли разговоры, прерванные кабацкой дракой тридцать лет назад в прежнем «Ядре». Тут до меня стало доходить, что Квина-Кутта не так уже далеко от Лондона. На корабле в Японии я ближе к нему, чем мальчишкой-жохом на берегу Темзы.

— Прежде, чем ты будешь фланировать по Стрэнду, нам предстоит выяснить несколько

вещей, — вмешался Даппа, смотревший на них с бака, на котором угнездился, словно ворон на ветке. — Например, выпустят ли нас из этой бухты живыми. Ты и не представляешь, насколько это против здешних законов.

— Очень даже представляю, — возразил Джек.

Однако Даппу было не остановить.

— Будь мы в Нагасаки, к нам бы уже подошла лодка, чтобы снять руль и отвезти на берег, а вооружённые самураи обшаривали бы каждую щель, ища спрятанных иезуитов.

— В Нагасакскую бухту мы бы не вошли без японского лоцмана, знающего подводные рифы, и даже с ним вынуждены были бы по пути бросать якорь и дожидаться прилива, — сказал Джек. — Точно так же мы не могли бы из неё выйти. Отсюда мы свалим в любую минуту, достаточно обрубить якоря.

— Нас несложно атаковать ночью, — не унимался Даппа.

— Мы сейчас в высоких широтах, лето в разгаре (хотя по погоде этого не скажешь), так что ночи коротки.

Джек перешёл на другое место, откуда мог лучше видеть солнце, встающее над японскими горами. Вода блестела так, что казалась листом

кованой меди. На ней отчётливо выделялась приближающаяся лодка.

— Чёрт, здешние японцы пунктуальны, не то что в Маниле!

— Китайских контрабандистов они пускают, хоть неохотно. Христианский корабль им как бельмо в глазу. Они спешат от нас избавиться.

Подошёл ван Крюйк.

— Я велел отцу Габриелю в последнем письме написать, что обмен будет продолжаться, пока солнце не окажется в четырёх пальцах над западным горизонтом, ни минутой позже.

Все, кто не стоял у пушек, сгрудились у борта и смотрели на лодку. Она приближалась, а солнце уже совсем взошло, так что можно было разобрать подробности. Гребли человек десять простолюдинов в бурой одёжке, а посреди лодки сидели на пятках трое в кимоно, с причёсками, как у Габриеля Гото, и двумя мечами каждый. Рядом помещались человек пять лучников в диковинных шлемах. Лодка шла прямо против ветра, поэтому парус не ставили, но на мачте развевалось огромное знамя: синее поле, а в середине белый знак, который в магометанском искусстве не сочли бы изображением чего бы то ни было конкретного, но который мог нарисовать

человек, раз в жизни видевший цветок.

Поднялся ветер, и, не сверяясь с глобусом, можно было сказать, что дует он из Сибири. Джек замёрз впервые с тех пор, как покинул Амстердам; вспомнив то время, он машинально потёр шрам на покрывшейся мурашками руке. Филиппинцы, малабарцы и малайцы, в жизни ничего подобного не испытывавшие, удивлённо переговаривались.

— Объясни им, что это не холод. Холод будет по пути через Тихий океан и вокруг мыса Горн, — сказал ван Крюйк Даппе. — Если кто-нибудь решит сбежать с корабля, в Маниле будет последняя возможность.

— Я и сам об этом подумываю, — отвечал Даппа, охлопывая и растирая плечи. Глаза его на мгновение скосились, с тревогой изучая облачко пара изо рта. — Я мог бы остаться трактирщиком в новом «Ядре и картечи» и холод чувствовать, только насыпая в ром пригоршню снега, доставленного мне с горы Элиза. Бр-р! Как они это терпят!

Он кивнул на японскую лодку, которую отделяло от корабля уже не более пятидесяти ярдов. Самураи сидели неподвижно, лицом к ветру, кимоно их раздувались и хлопали.

— Потом они будут париться в чанах, — со зна-

ющим видом сообщил Енох.

— Глядя на новое платье отца Габриеля, — сказал Джек, — я подумал, что оно сшито из лоскутьев, подобранных в папистских церквях и борделях — где ещё встретишь такие краски. Но только гляньте на этих угрюмых малых в лодке — по сравнению с ними Гото-сан одет как на похороны.

— Они затмевают французских кавалеров, — согласился Енох.

Через несколько минут лодка подошла к «Минерве» и ошвартовалась у подветренного борта. С палубы спустили верёвочный трап. Дальнейший протокол был расписан в таких деталях, что ван Крюйку пришлось свериться с бумажкой. Во-первых, сообщники собрались у грот-мачты, чтобы проститься с Габриелем Гото. Джек никогда не питал к нему особых дружеских чувств, но сейчас вспомнил, как ронин оборонял «игольное ушко» в Хан-эль-Халили. В носу защипало, глаза увлажнились. Габриель, вероятно, вспомнил о том же самом, ибо поклонился Джеку и сказал на сабире:

— Я всю жизнь был ронином, Джек, то есть самураем без хозяина — кроме того дня в Каире, когда присягнул тебе на верность. В тот день я

почувствовал, что такое иметь господина и быть частью войска. Сейчас я отправляюсь туда, где у меня будет другой господин и другое войско. Однако в душе я навсегда сохраню свою первую клятву.

Он снял с пояса два меча, катану и вакидзаси, и протянул их Джеку.

Даппа, ван Крюйк, мсье Арланк, Патрик и Вреж Исфахнян поочерёдно вышли вперёд и обменялись поклонами с самураем. Мойше, Сурендранат и младшие Шафто остались в Маниле; они простились с ним на берегу реки Пасиг. Наконец Габриель Гото подошёл к трапу, перекинул ногу через фальшборт и начал спускаться, ступенька за ступенькой, исчезая за тиковым горизонтом. Мгновение виднелась только его голова, лицо, сжатое, как кулак, выбившиеся на ветру пряди. Потом остался только пучок. Следом исчез и он.

Джек вздохнул.

— Теперь мы компаньоны, не соратники, — сказал Даппа.

— Не вижу разницы, — с лёгким раздражением отвечал Вреж Исфахнян. — Разве узы делового товарищества хуже тех, что связывают братьев по оружию? Для меня дело здесь не кончилось — только начинается.

Джек рассмеялся:

— Сдаётся, то, что для других — грандиозное приключение, для армянина — будничная история.

Другой пучок появился над фальшбортом, другой самурай поднялся на палубу и обменялся поклонами с ван Крюйком. По тому, как японец озирался, понятно было, что он впервые видит такой большой корабль, не говоря уже о моряках с рыжими волосами, голубыми глазами или чёрной кожей. Однако он с полным самообладанием выполнил следующий пункт протокола: принял от ван Крюйка яйцо вуца, старательно и со всем почётом упакованное сперва в бумагу, затем в ящичек древней старухой-японкой в Маниле. Самурай, так же со всем почётом, распаковал яйцо и передал одному из лучников, которому для этого пришлось взобраться по трапу.

Ван Крюйк провёл самурая по трюму «Минервы», где лежало ещё много яиц вуца и прочего товара. Тем временем Енох Роот велел погрузить чёрный сундучок в лодку и спустился сам. Через несколько минут самурай, закончив осмотр трюма, последовал за ним. Японцы отцепили швартовы, подняли парус, и лодка заскользила к пирсу, где пришвартовалась рядом с судёнышком

побольше, видимо, грузовой баржей, служащей для доставки грузов с корабля на берег. Несколько человек с «Минервы» в подзорные трубы наблюдали, как Еноха проводили в склад на берегу.

Через полчаса алхимик вышел на пирс и сел в лодку, которая тут же направилась к «Минерве». Одновременно несколько десятков японцев взбежали на баржу, отдали концы и, работая шестами и вёслами, отвели её от берега.

Енох Роот вскарабкался по верёвочному трапу с проворством юноши, однако лицо его, показавшееся над фальшбортом, было серьёзным. Ван Крюйку он сообщил:

— Я сделал все пробы, какие знаю. Больше, чем сделали бы в Новой Испании. Могу засвидетельствовать, что металл не менее чистый, чем с любого из европейских рудников.

Джеку сказал только:

— До чего же странная страна!

— До чего? — спросил Джек.

Енох покачал головой:

— До того, что я понял, насколько странен христианский мир.

И ушёл в каюту.

Матросы подняли на палубу сперва его чёрный сундучок с алхимическими принадлежностями,

затем ящичек, по-прежнему частично обёрнутый в яркую бумагу. Даппа велел поставить его на стол, принесённый из каюты ван Крюйка. В ящичке в гнезде из мятой бумаги стояло обожжённое глиняное яйцо: колба, заткнутая деревянной пробкой. Она была залита воском, но Енох сломал печать, когда проводил испытания. Даппа запустил руки в бумагу, вытащил яйцо и поднял в голубоватом свете холодного солнца. Ван Крюйк кинжалом выковырнул пробку. Когда Даппа наклонил глиняную колбу, содержимое колыхнулось с такой силой, что он едва устоял на ногах. Шар жидкого серебра вывалился на свет, молотом шмякнул о стол и рассыпался мириадами сверкающих бусин. Они разбежались по столу, водопадом хлынули через край, тяжело застучали по палубе «Минервы». Ртуть выискивала щели между досками, дождём сыпалась на матросов у пушек. По кораблю пробежал нарастающий гул — сперва изумления, затем — радости. Все чувствовали, что «Минерва» получила второе крещение — не шампанским, а ртутью — и освящена для новой миссии, нового предназначения.

Солнце успело подняться высоко, прежде чем баржа подошла к «Минерве» и начался обмен. Всё это было крайне неудобно, но японские власти

ни под каким видом не разрешили бы «Минерве» подойти к берегу. С крупногабаритным товаром вообще бы ничего не вышло. По счастью, с «Минервы» надо было перегружать вуц, пряности и шёлк, с баржи — ртуть в сосудах и тюки соломы для упаковки. Всё это можно было передавать или перебрасывать из рук в руки; как только цепочки наладились, погрузка пошла с невероятной быстротой. Сто человек, пыхтя и обливаясь пóтом, могут за минуту передать из трюма в трюм несколько тонн груза. Сталь, шёлк и пряности в трюме «Минервы» постепенно заменяла ртуть. Мсье Арланк и Вреж Исфахнян сидели на верхней палубе за столами лицом друг к другу, с запасом перьев каждый. Один считал сосуды с ртутью, другой — остальные товары. Время от времени они выкрикивали свои результаты, следя, чтобы исходящий и входящий потоки уравновешивались и осадка «Минервы» не изменилась.

Операция была на две трети закончена, когда на палубу, потирая сонные глаза, вышел Енох Роот. Он подмигнул Джеку, потом ван Крюйку, и вернулся в каюту.

Через двадцать секунд Джек и ван Крюйк были у него.

— Я пытался заснуть, но мешала лампа. — Енох

указал на масляную лампу, свисавшую на цепи с потолка. Она моталась из стороны в сторону, как в сильную качку, хотя корабль еле-еле переваливался с боку на бок.

— Почему ты её не снял? — спросил Джек.

— Потому что она что-то пытается мне сказать. — Енох перевёл взгляд на ван Крюйка. — Вы как-то рассказывали, что в каждой бухте свой характер волн. Что даже лёжа в каюте с задёрнутыми занавесками, можете отличить Батавию от Кавите по периодичности, с которой волны ударяют в борт.

— Верно, — отвечал ван Крюйк. — Любой капитан подтвердит, что корабль, доказавший свою надёжность, порою терпит крушение в незнакомой бухте, встретив волну с частотой, близкой к естественной частоте его корпуса.

— Каждый корабль, в зависимости от распределения балласта и груза, качается в определённом ритме, — объяснил Енох Джеку. — Если волны ударяют в борт с той же периодичностью, корабль может раскачаться так, что перевернётся.

— Как струна лютни, когда её дёргают, заставляет вибрировать другую струну, настроенную на ту же ноту, — добавил ван Крюйк. — Продолжайте, Енох.

— Когда сегодня утром мы вошли в бухту, лампа принялась раскачиваться так, что ударялась о потолок и расплёскивала масло, — сказал Енох. — Я укоротил цепь до длины, которую вы видите сейчас. — Он снял цепь с крюка и начал ощупывать её звено за звеном, пока не нашёл отполированное до гладкости. — Вот как было сегодня утром, — продолжал алхимик, вешая лампу на несколько дюймов ниже прежнего. Он отвёл её в сторону и отпустил. Лампа закачалась. — Отсюда следует, что наблюдаемая нами частота колебаний отвечает естественному периоду волн в бухте.

— При всём уважении к вам и вашим друзьям из Королевского общества, — сказал ван Крюйк, — нельзя ли отложить демонстрацию до тех пор, когда мы окажемся далеко в Японском море?

— Нельзя, — спокойно отвечал Енох, — поскольку мы не доберёмся до Японского моря. Это западня.

Ван Крюйк чуть не подпрыгнул, но Енох положил ему руку на плечо и глянул в окно каюты — не смотрят ли на них японцы.

— Спокойно, — сказал он. — Западня хитроумная, и выбираться из неё надо хитроумно. Джек, у меня на койке лежит колба.

Джек, которому рост не позволял распрямиться в каюте, сделал два шага вбок и нашёл на одеяле глиняный сосуд с ртутью.

— Держи на вытянутых руках, — велел Енох.

Джеку еле-еле хватило сил выполнить указание. Ртуть, всколыхнувшаяся, когда он взял сосуд, понемногу успокоилась. Теперь колбу можно было удерживать ровно. И тут жидкий металл стал плескать из стороны в сторону, так что руки у Джека заходили ходуном, вправо-влево, вправо-влево, как он этому ни противился.

— Смотрите на лампу, — сказал Енох.

Взгляды переместились с рвущейся из рук колбы на качающийся светильник.

Ван Крюйк увидел первым.

— Они движутся с одной частотой.

— Которая соответствует?.. — спросил Енох тоном учителя, подводящего учеников к новой теме.

— Естественному периоду волн у входа в бухту, — сказал Джек.

— Я проверил три сосуда, в каждом ртуть плещет с той же частотой, — продолжал Енох. — И вот вам моё мнение: они настроены, в точности как мастер настраивает органные трубы. Когда погрузка закончится и мы попытаемся выйти

из бухты…

— То попадём в сильную волну… десять тонн ртути начнут плескать в трюме… нас разнесёт на куски, — закончил ван Крюйк.

— Дело легко поправимо, — сказал Енох. — Надо только спуститься в трюм, откупорить сосуды и долить их доверху, чтобы ртуть не плескала. Но японцы не должны знать, что мы разгадали их план, не то они нападут сразу. В здании склада припахивало маслом. Думаю, в лесу прячутся лучники с зажигательными стрелами.

Погрузку закончили рано вечером — времени до темноты оставалось вдоволь. Самурай, распоряжавшийся на барже, отвесил прощальный поклон и отбыл вместе с экзотическими товарами. Ван Крюйк приказал готовиться к отплытию, но приготовления эти были сложнее обычных и заняли куда больше времени. По одному человеку от каждого орудийного расчёта отправили в трюм вскрывать глиняные колбы и поочерёдно доливать их доверху. На корабле всегда достаточно вара для смоления стыков между досками — им и запечатывали колбы. За полчаса до заката ван Крюйк приказал выбирать якоря. К сумеркам они были подняты.

Началась чёрная, лихорадочная работа. Полная

луна (день выбрали заранее с таким расчётом, чтобы из бухты не пришлось выходить в кромешной темноте) ярко светила в холодном небе. Все пайщики собрались у Еноха в каюте вокруг единственного сосуда с ртутью, который не стали доливать доверху. Когда на выходе из бухты ритмичные волны начали ударять в борт, колба внезапно ожила и забилась, будто из неё рвался на волю джинн.

Вот тут-то японцы и поняли, что их перехитрили: вдогонку кораблю устремились лодки, вспыхнули в темноте точки зажигательных стрел. Однако ван Крюйк был к этому готов. Едва на берегу загремели боевые барабаны, матросы наверху развернули все паруса по ветру; внизу, на гондеке, все пушки были заряжены картечью. Лодки не могли догнать «Минерву», идущую под парусами; те из них, что всё же вырывались вперёд, встречали пушечным огнём. С полдюжины горящих стрел вонзились в тиковую палубу, но их быстро загасили водой и песком. Луна ещё не села, когда «Минерва» оставила преследователей — и берег — далеко позади.

Когда на следующее утро солнце встало над Японией, задул ветер, называемый у матросов солдатским, то есть перпендикулярный к их

южному курсу, — подразумевается, что при таком ветре с парусами управились бы и солдаты. Тем не менее ван Крюйк сохранял небольшую скорость, опасаясь, что на морской волне переложенные соломой сосуды с ртутью начнут смещаться. Покуда «Минерва» встречала разные типы волн, ван Крюйк рыскал по палубам, чувствуя движения груза, как ясновидящий, и часто общаясь с духом Яна Вроома (умершего от малярии год назад). Вердикт, разумеется, был таков: груз уложен отвратительно и в Маниле его придётся перекладывать заново, но сейчас, памятуя про тайфуны и пиратов, деваться некуда, надо прибавить парусов. Так и сделали.

Таким образом, прибавили один-два узла и через три дня вошли в Цусимский пролив. Испытание это явно измыслил для ван Крюйка какой-то адский инженер с целью вымотать ему нервы, ибо корабль надо было почти без карт провести узким проливом между пиратскими Корейскими островами и землёй, на которой иностранца ждёт смерть (Японией), среди неведомых течений и рифов. Рисунки Гото-старшего не помогали; ронин водил судёнышко с куда меньшей осадкой, чем у «Минервы», поэтому держался ближе к берегу и проскальзывал между

островками там, где она пройти не могла.

Так или иначе, они миновали пролив и, оставив японские горы по левому борту, вышли в Восточно-Китайское море. Почти сразу вперёдсмотрящий заметил парус по левому траверзу: корабль вышел из щёлки между какими-то японскими островками и лёг на тот же галс, что и «Минерва». Довольно странно, поскольку в той стороне, с которой появился корабль, на карте были отмечены только японские владения, затем — сто градусов Тихого океана и гипотетические очертания Америки. Однако корабль явно был европейский. Более того, голландский, как объявил ван Крюйк, глядя в подзорную трубу. Это разрешило загадку. Корабль был из тех голландских, которым дозволялось заходить в Нагасакскую бухту и бросать якорь у Дедзимы — тщательно охраняемого, обнесённого забором островка, где горстке европейцев разрешали останавливаться на короткое время для переговоров с представителями сёгуна. Все грамотные на «Минерве» спешно писали письма за себя и за своих неграмотных товарищей. Ясно было, что голландский корабль направляется в Батавию, а оттуда на запад. Через несколько месяцев ему предстояло бросить якорь в Роттердаме.

Так они лишились своего алхимика.

Когда стало ясно, что Енох их оставляет, паника накатила на Джека, словно океанский вал, и едва не сбила его с ног. Он почувствовал себя покинутым дитятей, однако, памятуя про моральный дух команды, не разревелся, а сделал вид, будто давно этого ожидал. В какой-то мере так оно и было. Последние два года, пока медленно готовилась сделка с ртутью, Енох проявлял нечеловеческое терпение. Знакомство с жизнью японских и китайских районов Манилы, поездки на диковинные филиппинские островки, утверждение мистера Фута в роли белого султана Квина-Кутты поначалу не давали ему скучать. Однако алхимика давно тянуло в новые странствия.

Мысли его устремлялись к обширным территориям, отмеченным на голландских картах к югу и востоку от Филиппин: Новой Гвинее, предполагаемому Южному континенту, Земле ван Димена и цепочке островов, называемых Соломоновыми, в неизведанной части Тихого океана.

Енох стоял на верхней палубе, ожидая, когда его вещи погрузят в шлюпку. Как часто в минуты безделья, он вытащил из кармана дорожного плаща приспособление, похожее на катушку, хотя и довольно странную: торцы у неё были большие и

круглые, а место, куда наматывать бечёвку, — совсем короткое. Енох отмотал несколько дюймов бечёвки и продел палец в петлю на её конце, потом отпустил катушку. Под её весом бечёвка начала разматываться — сперва медленно, потом всё быстрее и быстрее — пока не размоталась совсем и катушка не остановилась над самой палубой. Тут Енох легонько дёрнул, и катушка начала взбираться обратно.

Джек взглянул на голландский корабль, который отделяли от них несколько морских саженей воды. Человек десять матросов глазели на чудо, изумлённо раскрыв рот.

— С такого расстояния они бечёвки не видят, — заметил Джек. — Им кажется, будто это какое-то колдовство.

— Любая достаточно развитая технология неотличима от йо-йо, — отвечал Енох.

— Таким и воробья не убьёшь, — сказал Джек. — Мне больше нравится исходный вариант, с вращающимися ножами.

— Он хорош для охоты в филиппинских джунглях, но в кармане его носить несподручно.

— И куда вы с йо-йо направляетесь? — спросил Джек.

— Говорят, аборигены Земли Арнема тоже

делают метательные орудия, которые возвращаются к бросавшему, но без бечёвки и вообще без какой-либо физической связки.

— Не может быть!

— Как я сказал: «Всякая достаточно развитая техно…»

— Я не глухой. Итак, Земля Арнема. А потом?

Енох глянул, как идёт погрузка, и, убедившись, что у него есть ещё минута-две, поведал следующее:

— Как ты знаешь, для успеха нынешнего предприятия нам требовалось подкупить некоторых испанских чиновников и капитанов — задача сама по себе вполне выполнимая. Однако вспомни, сколько часов мы потратили, угощая их, улещивая и выслушивая от них бесконечные морские байки. Впрочем, одна меня заинтересовала. Её поведал некий Альфонсо, первый помощник с галеона, отправившегося из Манилы в Акапулько несколько лет назад. Как обычно, они попытались подняться в более высокие широты, чтобы с пассатом добраться до Калифорнии, но налетевшая буря почти неделю гнала их к югу. Когда они наконец смогли взять высоту Солнца, то поняли, что пересекли экватор и находятся в нескольких градусах к югу от него. Вода смыла всю землю,

которой была обложена печь на камбузе, и они не могли развести огонь, не спалив корабль. По счастью, они увидели цепочку островов, населённых людьми, с виду напоминавшими африканцев. Бросив якорь у одного островка, моряки набрали пресной воды и песка, чтобы обложить печь, затем продолжили путь. Прибыв в Акапулько полгода спустя, они обнаружили под печкой золотые слитки — очевидно, песок был золотоносный, и от жара металл выплавился. Нет надобности говорить, что вице-король в Мехико…

— Тот самый?

Енох кивнул.

— Тот самый, у которого вы похитили золото. Выслушав доклад о чуде, он без промедления отправил эскадру под командованием адмирала Обрегона искать острова на этой широте.

— Уж не Соломоновы ли, часом?

— Как тебе известно, Джек, давно предполагалось, что Соломон — создатель Иерусалимского храма, первый алхимик и предмет фанатичных изысканий Исаака Ньютона на протяжении многих лет — перед смертью покинул Израиль, отправился на восток и основал государство на каких-то островах. Легенда гласит, что страна эта была сказочно богата.

— Забавно, что никто не сочиняет легенд о баснословно нищих странах.

— Не важно, верна ли легенда. Существенно, что некоторые в неё верят, — терпеливо отвечал Енох. Он снова начал играть в йо-йо, заставляя катушку летать вокруг кулака, как комета летает вокруг Солнца.

— Например, Ньютон? Это тот, что рассчитал орбиты планет?

— Ньютон убеждён, что Соломонов храм — геометрическая модель Солнечной системы. Огонь на центральном алтаре означает Солнце и так далее.

— То есть он был бы рад узнать, что Соломоновы острова найдены?..

— Разумеется.

— …и наверняка уже прочёл отчёты экспедиции, присланные нашим другом из Бонанцы.

Енох мотнул головой.

— Нет никаких отчётов.

— Экспедиция потерпела крушение?

— Крушения, болезни… бедствия были столь многочисленны, что свидетельства расходятся. В Манилу вернулся лишь один корабль. Все моряки заразились неведомой болезнью, половина умерла в дороге, половина — вскорости после

прибытия. Выжила только некая Елизавета де Обрегон — жена адмирала, командовавшего эскадрой.

— И что она рассказывает?

— Ничего. В обществе, где женщины не могут владеть собственностью, тайны для них — всё равно что золото и серебро для мужчин.

— Почему вице-король не снарядил новую экспедицию?

— Возможно, и снарядил.

— Ты темнишь, а время поджимает.

— Это не я темню, а ты ленишься думать. Если бы экспедиции были отправлены и ничего не нашли, что бы случилось?

— Ничего.

— А если хоть одна экспедиция преуспела, что бы мы имели в итоге?

— Секретный отчёт, хранящийся в Мехико или Севилье, и много золота… — Джек осёкся.

— Что вы рассчитывали найти на вице-королевском бриге?

— Серебро.

— А что нашли?

— Золото.

— Но в Мексике добывают только серебро.

— Да… мы так и не разрешили загадку, откуда

золото.

— Догадываешься ли ты, Джек, сколько алхимиков среди влиятельных людей христианского мира?

— Слыхал, что много.

— Если бы среди этих людей — королей, принцев, герцогов — прошёл слух, что Соломоновы острова открыты и с них привезли золото — не абы какое, заметь, а из плавилен самого царя Соломона, то есть, почитай, чистый философский камень или философическая ртуть, слух бы этот возбудил некоторый интерес, ты согласен?

— Если слухи просочились, то да…

— Они всегда просачиваются, — отрезал Енох. — Теперь понятно, почему столько значительных людей держат на тебя зло?

— Вот уж не думал, что это нуждается в объяснении. Но теперь, когда ты сказал…

— Отлично. Надеюсь, я объяснил также, почему должен сам отправиться на Соломоновы острова. Если легенда не лжёт, Ньютон захочет узнать всё, что можно. И даже если это всего лишь легенда, такие острова — самое место, чтобы удалиться от мира на несколько лет или столетий… так или иначе, туда я направляюсь.

Катушка запрыгнула Еноху в кулак и остано-

вилась.

В рейсе из Японии в Манилу, как в любом морском путешествии, тон задавала широта. Ван Крюйк, Даппа и ещё несколько членов команды умели определять её по солнцу. Солнце выглядывало по меньшей мере раз в день, так что они неплохо представляли, на какой параллели находятся. Однако не существовало способа определить долготу. Соответственно лоции ван Крюйка основывались преимущественно на широте. На некоторых параллелях тревожиться не стоило, поскольку в этой части мира (по крайней мере согласно документам) на них отсутствовали рифы и острова. На других опасности были отмечены; когда «Минерва» достигала такой параллели, вся жизнь корабля менялась: ставили дополнительных вперёдсмотрящих, убавляли паруса, часто бросали лот. Конкретный риф мог находиться в ста милях к западу или к востоку; не зная долготы, сказать это было невозможно. Путь из Японии в Манилу лежал с севера на юг; градус широты и градус напряжения менялся с каждой минутой.

Помимо рифов и островов, в число главных опасностей для навигации входили тайфуны и пираты, недавно отбившие у голландцев остров

Формоза и основавшие там собственное государство. Обе обрушились на «Минерву» в один день: пираты заметили её и двинулись наперерез, но тут погода начала меняться. Всё предвещало тайфун. Пираты бросили преследование и занялись спасением собственной шкуры. «Минерва» к тому времени благополучно пережила несколько штормов, и команда хорошо представляла, что её ждёт; ван Крюйк мог предсказать, как будет меняться ветер в ближайшие день-два в зависимости от расстояния до центра тайфуна. Поставив штормовые паруса и лично управляя румпелем, он добился, чтобы их вынесло не к Формозе, а на юго-восток, в Филиппинское море, глубоководное и лишённое рифов. Позже, когда небо расчистилось и показалось солнце, они отыскали определённую широту (19°45′N) и прошли по ней двести миль на запад до пролива Балинтанг, разделяющего две группы островов к северу от Лусона. Затем повернули на юг и с великой осторожностью продолжили путь, пока не завидели холмы Илокоса — северо-западной оконечности Лусона.

Отсюда началось совершенно другое плаванье — каботажное. Триста миль до мыса Маривелес у входа в Манильскую бухту «Минерва» ползла

вдоль берега со слабым и переменчивым ветром; команде приходилось часто бросать лот и вставать по ночам на якорь, чтобы не налететь в темноте на мель. Порою по несколько суток кряду не двигались из-за встречного ветра. Днём покупали свежие фрукты и мясо у туземцев, подходивших на длинных лодках с балансирами, ночами несли дозор, готовясь встретить ружейным огнём тех же туземцев, когда они полезут на борт с ножами в зубах.

Вечером одиннадцатого дня подошли к мысу Маривелес, перед которым кинжалами торчали из волн несколько острых скал. Гарнизон соседнего острова Коррехидор, заметив «Минерву» на закате, развёл костры. Ориентируясь по огням, удалось бросить якорь в бухте с южной стороны острова. На следующий день командир испанского гарнизона прибыл на шлюпке с часовым визитом. Это был старый знакомец, поскольку «Минерва» раз десять проходила Коррехидор, курсируя между Манилой, Макао и Квина-Куттой. Он передал последние манильские слухи и анекдоты, а взамен получил несколько пакетиков с пряностями и японские безделушки.

Затем подняли якорь и двинулись через Манильскую бухту. Первым показался испанский

замок на мысе Кавите, следом — шпили манильских колоколен и лес мачт в устье реки Пасиг. Команда надеялась, что они направятся прямиком туда, но как только «Минерва» обогнула Кавите и вошла в спокойные воды с подветренной стороны крепости, ван Крюйк приказал убрать почти все паруса. Навстречу им двинулась долблёнка, изготовленная из колоссального ствола и называемая на местном языке «банка»; когда она приблизилась, Джек различил Мойше и Сурендраната, оставленных улаживать кое-какие дела, а также Джимми и Дэнни, приданных им в качестве телохранителей. Один за другим все четверо взобрались по верёвочному трапу на палубу, где уже дожидались товарищи. Мойше и Сурендранат отправились в каюту к ван Крюйку, чтобы обсудить текущие дела с главными участниками предприятия. Джек мог бы пойти с ними, но по лицу Мойше и без того понял, что всё более или менее благополучно, а значит, их путь лежит дальше на восток.

Гавань являла собой подобие гамака, растянутого между двумя мысами, отстоящими один от другого на несколько миль. За полтора столетия своего владычества испанцы (руками покорённых тагалов) возвели на каждом мысу по

крепости. Ближайшая, сразу по правому борту, была традиционная, квадратная, с четырьмя бастионами по углам, выстроенная так, чтобы море служило рвом. Ещё один ров разрезал перешеек со стороны суши, чтобы в крепость можно было попасть только по подъёмному мосту. Он располагался на некотором отдалении от форта, а оставшееся пространство занимали строения: тростниковые хижины с редкими вкраплениями деревянных домов и три каменные церкви, воздвигнутые или воздвигаемые различными католическими орденами.

С противоположной стороны раскинулась сама Манила. Она лежала на полуострове, образованном с одной стороны заливом, с двух других — реками, Пасигом и его притоком, впадающим неподалёку от устья. Испанцы обнесли полуостров длинной стеной с люнетами и бастионами для защиты от голландцев, китайцев и туземных племён. В устье Пасига возвышался форт; из его пушек простреливались река, залив и неспокойные барангаи — территории этнических общин — за рекой.

Отсюда — как, впрочем, и отовсюду — Манила не выглядела сказочно богатым городом. Выстрой её испанцы в другом месте, церковные шпили и

сторожевые башни возносились бы к облакам. Однако здесь даже роскошные здания сиротливо жались к земле; по горькому опыту было известно, что всё выше двух этажей и сложенное из камня рухнет от землетрясения раньше, чем высохнет цемент. Так что Джеку, глядевшему с «Минервы», представало нечто низкое, тёмное и тяжёлое, затянутое дымкой. Лишь высокие кокосовые пальмы вдоль берега отчасти скрашивали вид.

Такая погода обычно заканчивалась бодрящим грозовым ливнем. Все на «Минерве» отлично об этом знали: Манила служила им портом базирования последние три года с первого рейса из Малабара; к тому же команда наполовину состояла из местных уроженцев. Знали они и то, что бухта не защищает от северных ветров; такой большой корабль, как «Минерва», застигнутый штормовым нордом между Манилой и Кавите, может налететь на мель, где тагалы на долблёнках и китайско-филиппинские метисы на джонках разграбят его без всяких помех. Посему вместо того, чтобы ликовать и горланить, что было бы естественно после невероятного путешествия в Японию и обратно, матросы хранили торжественную серьёзность, словно монахи

во время воскресного богослужения, и сердито шикали на тех, кто повышал голос. Малабарцы замерли на вантах, как пауки в паутине; полуприкрыв глаза и полуоткрыв рот, они напряжённо ловили каждое движение воздуха.

Небо и воздух лучились равномерной белизной; невозможно было даже примерно сказать, в какой стороне солнце. По склянкам, которыми на корабле отмеряли время, до заката оставался примерно час. Весь залив притих и замер, как команда «Минервы». Единственный шум доносился с верфи за мрачным арсеналом Кавите. Там пять сотен невольников-филиппинцев под бичами испанских надсмотрщиков строили величайший корабль, какой Джек видел в жизни. Учитывая, в скольких местах ему случилось побывать, это практически означало величайший корабль мира с тех пор, как Ноев ковчег выбросили на вершину горы Арарат и разобрали на дрова.

На берегу пирамидами громоздились очищенные от коры исполинские стволы, которые те же филиппинцы (или их товарищи по несчастью) срубили в кишащих нетопырями джунглях у Лагуны-де-Бай (большого озера к юго-востоку от Манилы) и сплавили по реке Пасиг. Некоторые рабочие разделывали их на брусья и доски. Од-

нако строительство близилось к завершению, и потребность в крупных деталях корабельного набора была уже не та, как несколько месяцев назад, когда киль и каркас застывшими пальцами торчали в небо. По большей части филиппинцы занимались более мелкой работой: плели тросы (как известно, манильская пенька — лучшая в мире), смолили швы и украшали резьбой каюты, в которых самым богатым купцам Южных морей предстояло прожить значительную часть года или утонуть неделю спустя, в зависимости от того, как повернётся удача.

— Если глаза меня не обманывают, ты наконец сменял свой басурманский тесак на стоящее оружие, — сказал Даниель Шафто, разглядывая катану и вакидзаси Габриеля Гото за поясом у отца.

— Пытаюсь к ним приноровиться, — отвечал Джек, — но пока никак. Я привык фехтовать одной рукой, и поздно мне переучиваться. Я ношу их из уважения к господину Гото, но когда снова окажусь в таком месте, где на меня могут напасть, со мною будет янычарская сабля.

— Дело не такое уж хитрое, — объявил Джимми, выходя вперёд. — К Акапулько ты у нас будешь рубиться катаной, как самурай.

Он похлопал по рукояти японского меча. Только сейчас Джек заметил такое же вооружение у Дэнни.

— Расширяли своё образование?

— Манила лучше любого университета, — заявил Дэнни, — если не попадаться треклятой испанской инквизиции.

— Судя по тому, что Мойше жив и при ногтях, в этом вы преуспели.

— Мы своё дело сделали, — с жаром отвечал Джимми. — Мы жили на краю барангая японских христиан, где всё чинно…

— Даже чересчур, — вставил Дэнни.

— …а сразу за плетнём — китайско-филиппинский посёлок, где царит постоянная смута. Всякий раз, когда появлялись инквизиторы, мы уходили туда и ждали, пока Мойше не уладит дело.

— Вот уж не думал, что Мойше имеет такое влияние на сынов Торквемады, — заметил Джек.

— Мойше намекнул нескольким испанцам, что́ мы затеваем, — сказал Дэнни, — и эти испанцы сразу стали нашими друзьями.

— Стоило Мойше сказать слово, как они брали псов-инквизиторов на короткий поводок, — весело сообщил Джимми.

— Интересно, во сколько встанет нам их друж-

ба, — проговорил Джек.

— В качестве врагов они обойдутся дороже, — отвечал Дэнни с уверенностью, какой Джек не испытывал ни по одному поводу уже лет двадцать.

Тиковая палуба, давно уже серая от непогоды, наливалась алым оттенком, словно из-под неё прорывается пламя. Джек повернулся к западу и увидел причину: солнце пробило дыру во влажном мареве над заливом. Клочья тумана, притаившиеся по бухточкам у основания арсенала, улетучивались от внезапного жара, как на сильном ветру. Воздух, тем не менее, был попрежнему неподвижен, однако далёкие раскаты заставили Джека повернуться к востоку. Теперь Манила вырисовывалась чётко, её стены и бастионы горели в закатном свете, словно вырезанные из янтаря и подсвеченные огнём. Горы за Манилой были видны, что случалось не часто. По сравнению с ними всё, воздвигнутое испанцами, выглядело плоским, как булыжная мостовая. Но и сами горы были карликами в сравнении с фантастическими нагромождениями туч, которые рождались в бескрайних небесах, словно героям и мифологическим животным созвездий прискучило оставаться россыпью бледных звёзд и они,

спустившись из космоса, облеклись в субстанцию бури. Однако они тут же заспорили, кому достанутся самые яркие и пышные облака, и спор грозил перейти в побоище. Ни одна молния ещё не ударила в землю, и потоки дождя из одной тучи поглощались другой, не успев пролиться на горы.

Джек перевёл взгляд на реи «Минервы», казавшиеся на фоне всего этого соломинками в сточной канаве. Вахтенные спокойно готовились к шторму. Внизу прежние сообщники выходили из каюты ван Крюйка. Некоторые — в частности, Даппа и мсье Арланк, — не поленились для торжественного случая надеть парадное платье — панталоны, чулки и кожаные башмаки. Вреж Исфахнян и ван Крюйк были в париках и треуголках.

Ван Крюйк встал перед грот-мачтой на краю шканцев, выдававшихся над верхней палубой, как балкон над площадью. Почти вся команда собралась здесь; те, кому не хватило места или роста видеть капитана, взобрались на бак. Матросы разбились на кучки по цвету кожи, чтобы слушать перевод; две самые большие группы составляли малабарцы и филиппинцы, однако были и малайцы, китайцы, африканцы

из Мозамбика, попавшие в Индию через Гоа, и несколько гуджаратцев. Часть корабельных офицеров составляли голландцы, приехавшие с Яном Вроомом. Чтобы управляться с пушками, среди наёмников, болтавшихся в Шахджаханабаде, нашли трёх артиллеристов — француза, баварца и венецианца. Наконец, оставались последние сообщники: ван Крюйк, Даппа, мсье Арланк, Патрик Таллоу, Джек Шафто, Мойше де ла Крус, Вреж Исфахнян и Сурендранат. Вместе с Джимми и Дэнни получалось сто пять человек. Ещё двадцать были на вантах, готовили корабль к шторму.

Джек поднялся на шканцы и встал за спиной у ван Крюйка, вместе с остальными пайщиками. Как раз когда он повернулся к верхней палубе, то есть в сторону Манилы, какой-то из греческих богов, досадуя, что ему достались лишь несколько клочьев иссиня-серой мглы, метнул молнию в живот сопернику, разодетому в коралловый и зелёный атлас. Расстояние между ними было миль двадцать. Будто трещина разверзлась на четверть небесного свода, впустив яркий свет из каких-то исключительно хорошо освещённых краёв за пределами ведомой вселенной. Хорошо, что команда смотрела в другую сторону. Те,

кто заметил встревоженные лица старши́х на шканцах, обернулись, но не увидели ничего, кроме стены дождя над чёрными джунглями за городом.

— Должно быть, это Евгений бросил небесный гарпун, желая напомнить ван Крюйку о пользе краткости, — сказал Джек, и все, знавшие Евгения, нервно хохотнули.

— Мы пережили ещё один рейс, — начал ван Крюйк. — На христианском корабле я бы снял шляпу и вознёс благодарственную молитву. Однако на этом корабле нет общей веры, посему я останусь в шляпе, пока не смогу помолиться в одиночестве. Ступайте вечером в Маниле по своим пагодам, капищам и церквям и сделайте то же самое.

Перевод этих слов встретили одобрительным гулом. На «Минерве» было три кока и столько же котлов. Не было своего только у христиан, которым не запрещена никакая пища.

— Никогда мы все не соберёмся снова в одном месте, — продолжал ван Крюйк. — Енох Роот уже простился с нами. Через неделю Сурендранат с частью малабарцев отправится к Квина-Кутте на бриге «Коттаккал», чтобы переправить королеве её долю прибыли. Со временем к ним присоеди-

нится Патрик. Он, Сурендранат и мистер Фут будут пытать счастье в Южных морях, мы же отправимся дальше. Все вы разбредётесь сегодня по Маниле. Кто-то вернётся через месяц, чтобы готовиться к великому плаванию. Кто-то — нет.

Тут ван Крюйк выхватил саблю и указал на исполинский корабль, достраиваемый перед арсеналом на Кавите.

— Смотрите! — воскликнул он.

Все повернулись к гигантскому галеону, но лишь на мгновение, потому что в следующий миг налетел ветер. Он дул с востока, но по всему собирался меняться на северный. Однако марсовые на гроте расправили парус и развернули его так, что «Минерва» легла на другой галс и устремилась к середине бухты, дальше от мелей.

— Великий корабль для великого плавания! — продолжал ван Крюйк, указывая на испанский колосс. — Это манильский галеон. Как только его загрузят индийскими пряностями и китайскими шелками, он выйдет из залива и начнёт семимесячное плавание через половину земного шара. Когда Филиппины останутся за кормой, якоря снимут и уберут в самую дальнюю часть трюма, поскольку в течение больше чем полугода с корабля не увидят ни клочка суши, и проку

от якорей будет, как от помпы на телеге. Галеон будет идти к северу, почти до Японии, пока не достигнет некой — ведомой лишь испанцам — широты, на которой пассаты дуют строго на восток и нет ни островов, ни подводных скал. Мореплаватели полетят с попутным ветром и будут молиться о дожде, без которого умрут от жажды, и тогда берегов Калифорнии достигнет корабль-призрак с иссохшими скелетами на борту. Порою пассат будет стихать, и они будут дрейфовать день, два, неделю, пока не налетит тайфун с юга или арктический ветер не скуёт их стужей, по сравнению с которой холод, от которого вы дрожали и ёжились у берегов Японии, показался бы ласковым дыханием возлюбленной на вашей щеке. Кончится провиант, и богатые эпикурейцы, доев свои башмаки и кожаные переплёты Библий, будут лихорадочно молить Бога вернуть им заплесневелые крошки, выброшенные в начале пути. Дёсны вспухнут, а выпавшие зубы будут сметать с палубы, как градины.

Сравнение, вероятно, пришло ван Крюйку под влиянием минуты, ибо из низкой клубящейся тучи только что посыпал град размером с горошину. Матросы смотрели на градины и честно воображали, что это зубы. Ветер пронёсся над

водой, срывая с волн белые гребни, и забрызгал им лица пеной. В тот же миг парус издал хлопок, подобный ружейному выстрелу; весь корабль накренился и застонал. Трос лопнул и забился на палубе, как живой, постепенно расплетаясь и затихая. Шквал улёгся. «Минерва» в крутой бейдевинд неслась на север по темнеющему заливу. Солнце, как метеор, падало в Восточно-Китайское море. Молнии над Манилой были куда ярче него; в их затяжном голубоватом свечении почти можно было бы читать.

— Однако, когда они давно уже отчаются, кто-то из этих несчастных — один из немногих, ещё способных держаться на ногах, — выбрасывая за борт тела товарищей, увидит на воде нечто: обрывок водоросли меньше моего пальца. Ни вы, ни я его бы не заметили, однако для команды галеона это будет чудо, подобное явлению ангела! На палубе будут долго звучать молитвы и гимны, однако радость обернётся жестоким разочарованием. Ни клочка водоросли не увидят они ни в тот день, ни на второй, ни на третий. Им останется лишь мчаться с попутным ветром, из последних сил сдерживая искушение пожирать трупы умерших. К тому времени самые набожные доминиканцы забудут свои молитвы и будет проклинать мате-

рей за то, что родили их на свет. Так пройдёт ещё неделя. Но наконец появятся водоросли — и не одна, а две, потом три. Команда поймёт, что они приблизились к берегу Калифорнии — острова, со всех сторон окружённого поясом морской травы.

Примерно на этом месте речи Джек заметил, что голубовато-зелёное свечение разгорается, как если бы какое-нибудь таинственное подводное солнце взошло из вод, излучая свет, но не тепло. Превозмогая безотчётное нежелание, он поднял голову и посмотрел на грот-мачту. Каждый рей, каждое волокно троса светились, как будто их окунули в фосфор. Зрелище было достойным того, чтобы уделить ему больше времени, однако Джек перевёл взгляд на толпу матросов. Он увидел озеро запрокинутых лиц, сверкающих глаз и зубов, колодец душ, охваченных изумлением.

— Сперва Евгений, теперь Енох Роот добавил свои два цента, — заметил Джек, но никто даже не хохотнул — слова утонули в грохоте волн.

Ван Крюйк повернулся и мгновение смотрел на Джека, потом вздёрнул плечи и продолжил свой жуткий рассказ. Зловещие огни святого Эльма соскользнули с мачты и завели пляску на полях его треуголки; даже в локонах парика завелись маленькие живые искорки. Каждый волосок

давно умершей козы, словно по вудуистскому заклятию, ожил и силился отделиться от остальных, для чего должен был расправиться и встать дыбом. На кончике каждого волоска дрожал маленький венчик.

Ван Крюйк не обращал внимания; если он и заметил своё свечение, то решил, что оно придаст веса его словам.

— Однако их испытания не закончатся, лишь примут иную форму. Теперь они будут терпеть муки Тантала, ибо эта земля, текущая молоком и мёдом, населена дикарями, от которых нечего ждать воды или провианта, только жестокой смерти. Мореходы будут долго идти вдоль побережья на юго-восток, время от времени совершая отчаянные вылазки на берег, чтобы добыть воды или настрелять дичи. И, наконец, они увидят башню на скале над морем. Последует обмен сигналами, и верховые гонцы помчат по королевскому тракту в Мехико с известием, что в этом году манильский галеон не разбился о скалы и не потонул в шторм, но чудом достиг Америки. Подойдут лодки с овощами и фруктами, которых команда не видела более полугода. Однако эти же лодки доставят известие, что французские и английские пираты обогнули мыс Горн и рыщут

вдоль побережья — много опасных миль должен будет преодолеть галеон, прежде чем бросить якорь в Акапулько.

Огни святого Эльма гасли; удивительное затишье, сквозь которое «Минерва» дрейфовала последние несколько минут, сменялось грозой. Мощный вал ударил в корпус, лица слушателей колыхнулись, словно колосья под ветром; каждый на палубе силился устоять на ногах.

— Как я сказал, мы отправляемся через несколько недель после галеона, и нам понадобятся матросы, — начал ван Крюйк.

— Э, прошу прощения, капитан, — вмешался Джек, — вы очень впечатляюще описали ужасы плавания. Ничуть не сомневаюсь, что все успели наложить в штаны. Но вы забыли добавить *антитезисов*. Возбудив *страх*, следует теперь распалить *корысть*, не то все сию минуту попрыгают за борт, чтобы вплавь достичь берега, и больше мы их не увидим.

Ван Крюйк одарил Джека взглядом, полным глубокого презрения, которое тот различил лишь благодаря тройной вспышке молнии.

— Вы сильно недооцениваете их умственные способности, сударь. Нет надобности говорить всё *прямым текстом*. В хорошо выстроенной

речи умолчания сообщают не меньше, чем произнесённые слова.

— Тогда, возможно, к ним следовало прибегнуть и в описании ужасов. Я кое-что смыслю в делах театральных, сударь, — упорствовал Джек. — Шканцы сейчас подобны сцене, а вот *они* — как бы высоко вы ни оценивали их умственные способности — более всего напоминают зрителей на галёрке, по колено в ореховой скорлупе и бутылках из-под джина, ждущих — *умоляющих,* — чтобы их шарахнули по башке ясной основной мыслью.

Над Манилой взорвалась бомба, начинённая молниями.

— Вот тебе основная мысль. — Ван Крюйк указал на Манилу. — Сегодня твоя галёрка отправится туда и будет впитывать эту мысль следующие два месяца. Ты сам там жил, Джек, — неужто основная мысль не достигла твоих ушей?

— Какой-то звон я слышал. …Нельзя ли поподробнее?

— Из всех предприятий, на которые человек может направить свои силы, — нехотя начал ван Крюйк, возвышая голос, — дальние торговые плавания приносят наибольшую выгоду. Вот к чему стремится каждый еврей, пуританин, голландец,

гугенот, армянин и баньян, вот что строит корабли, возводит дворцы в Европе, Шахджаханабаде и множестве других мест. Однако ничто — ни доставка рабов на Карибские острова, ни плавание в Европу с индийскими пряностями — не сравнится по прибыли с рейсом Манила — Акапулько. Самые богатые суратские баньяны и генуэзские банкиры, укладывая надушенные головы на шёлковые подушки, грезят о том, чтобы отправить несколько тюков товара с манильским галеоном. При всех опасностях, при всех грабительских пошлинах, что уйдут вице-королю, прибыль никогда не опускается ниже четырёхсот процентов. *Этот* город вырос из таких грёз, Джек. И сейчас мы туда отправимся.

Ван Крюйк наконец закончил спич и в наступившей тишине с изумлением осознал, что на палубе его всё это время добросовестно переводили на разные тарабарские наречия. Кто-то из переводчиков закончил раньше, кто-то позже, в зависимости от лапидарности либо многословия своего языка, а также от того, сколько счёл нужным выпустить или присочинить для красоты. Однако, когда последний из них умолк, послышался какой-то звук — Джек даже подумал сперва, будто снова пошёл град. Но нет, звук

нарастал, и стало ясно, что это оглушительные овации. Даппа сунул оба указательных пальца в рот и пронзительно свистнул. Ван Крюйк в первые мгновения не понял, что происходит, а когда понял, то развернулся к Джеку, снял шляпу и поклонился.

Книга 5
Альянс

Берлин
Январь 1700

По сути весь наш опыт убеждает нас лишь в двух вещах, а именно, что есть связь между явлениями, позволяющая нам успешно предсказывать будущие явления, и что связь эта должна иметь постоянную причину.

Лейбниц

Г. В. Лейбниц, президент
Берлинская академия,
Берлин, Пруссия
Г-ну Даниелю Уотерхаузу, ректору
Институт технологических искусств Колонии Массачусетского залива
Ньютаун, Колония Массачусетского залива

Дорогой Даниель!

Письмо Ваше, обнаруженное сегодня мною на пороге моей академии, осветило холодный берлинский день нежданною радостью, кою ещё подогрело известие, что у Вашего института есть крыша над головой, и особенно — что Вы по-прежнему желаете направить свои труды на общую со

мной цель. Признаюсь, два года не получая от Вас известий, я думал, что Вас убили индейцы или повесили за колдовство соплеменники!

Многое изменилось с тех пор, как мы с Вами последний раз обменивались письмами. Вы, вероятно, заметили, что у меня новый адрес (Берлин), более того, в новой стране (Пруссия). Монарх, которого вы знали под имением курфюрста Фридриха III Бранденбургского, теперь зовётся королём Фридрихом I Прусским. Это всё тот же человек, по-прежнему счастливо женатый на той же Софии-Шарлотте, живёт и правит в том же дворце, что выстроил для неё в Берлине. Однако посредством различных махинаций (коих перечисление лишь отвратило бы Вас от моего письма) он добился от императора Священной Римской империи (по-прежнему Леопольда II, на случай, если Вы не следите за европейской жизнью) права именоваться королём. Предки Фридриха (Гогенцоллерны) так давно были герцогами Прусскими и курфюрстами Бранденбургскими одновременно, что представлялось разумным объединить страны. То, что получилось, зовётся Пруссия, но управляется по-прежнему из Бранденбурга.

София, как всегда, неутомима в своих интригах.

Они с дочерью сочли неразумным демонстрировать чрезмерную близость, дабы враги и друзья не догадались, что София вертит огромным немецким государством, протянувшимся от Кенигсберга почти до Рейна. По многим причинам ей удобнее казаться милой старушкой, далёкой от дел вдовствующей курфюрстиной-матерью; она предоставляет своему сыну, Георгу-Людвигу, верить, будто он правит Ганновером, и в Берлин наезжает лишь изредка — пощипать за щёчки внучат и всячески продемонстрировать свою безобидность.

Я езжу из Ганновера в Берлин так часто, что самые злобные недоброжелатели из числа берлинских придворных начали поговаривать, будто София влияет на дочь через меня. На беду, я не мог указать официальную причину столь частых визитов в Берлин, в истинную же причину (что я езжу туда ради увлекательных бесед с Софией-Шарлоттой и блистательным кругом её друзей, а также ради уроков, которые даю принцессе Каролине) люди такого склада поверить не могли.

Отсюда Берлинская академия, коей первым президентом я имею честь быть. Королям пристало учреждать подобные заведения (начало,

разумеется, положил ваш Карл II созданием Королевского общества), так что, основав академию, Фридрих во многом оправдал свой новый титул. Я же как президент академии могу теперь ездить в Берлин сколько вздумается.

И хорошо, что мне есть теперь к чему принадлежать, помимо Королевского общества! Вероятно, до Вас уже добрались последние чудовищные публикации: третий том Уоллисовых трудов, где моя двадцатипятилетняя переписка с Ньютоном подана превратным образом, и «*Lineae brevissimi descensus*» [30] Фатио, в которой тот вновь яростно на меня нападает. Утверждается мысль, будто я и не думал об исчислении бесконечно малых, пока не украл его в готовом виде у Ньютона около 1677 года. Как будто годы моих парижских трудов под руководством Гюйгенса ничего не стоят!

Однако лучше мне не утомлять Вас моими гневными излияниями. Давайте лучше перейдём к некоторым из Ваших вопросов.

Да, я по-прежнему переписываюсь с Элизой, как же иначе? Однако, как многие с рождением детей, она перешла к более размеренной жизни и теперь пишет мне значительно реже. Три года назад,

---

[30] Примечания: 30
«Исследование линии кратчайшего спуска» (*лат.*).

когда подписали мир, французский двор признал её титул герцогини Йглмской; теперь она часто бывает в Англии, хотя никогда — с мужем. У неё особняк неподалёку от Сент-Джеймского дворца, и она даже несколько раз посетила Йглм, дабы восстановить связь с местом своего рождения. Раз или два в году она наезжает в наши палестины повидаться с сыном и нанести визит Софии. Муж её в силу интересов, связанных с флотом, полюбил Йглм больше, нежели она сама, и вообразил, будто тамошний огромный замок можно превратить в сельскую усадьбу — хотя трудно выбрать для загородного дома место более дикое и бесприютное! Он по нескольку месяцев в году проводит на Йглме, надзирая за восстановлением одного крыла развалин, которое решил сделать родовым гнездом герцогов Аркашон-Йглмских. В Лондоне раздаются недовольные голоса, будто он намерен превратить Йглм во французскую военно-морскую базу наподобие Дюнкерка, но я не верю, что Элиза такое допустит.

Дабы сделать себе имя в лондонском обществе, она уже несколько лет благотворительствует бездомным солдатам. Когда война окончилась и к власти пришли тори, английская армия резко сократилась в размерах, многие полки распусти-

ли, и голодным солдатам осталось промышлять нищенством и воровством. Своей заботой о них Элиза как бы укоряет тори; это укрепит её позиции, если виги вновь придут к власти.

С рабством она борется не столь открыто, хотя чувства её в этом отношении глубже. Она знает, что назойливо твердить о недопустимости рабства значит лишить себя доступа в высший свет, а следовательно, и возможности добиваться перемен. Однако юристы хорошо знают, сколько трудов она приложила в последние годы для освобождения нескольких таунтонских школьниц, обращённых в рабство Джеффрисом после восстания Монмута.

Хорошо, что она поддерживает добрые отношения с вигами. Если Вы получаете письма из Англии, то знаете, что виги близки к принцессе Анне, которая, вероятно, рано или поздно станет королевой Англии. Они составляют партию активной внешней политики или, если отбросить экивоки, — войны. Несчастный Карл II Испанский вот уже тридцать пять лет как при смерти — вряд ли он протянет ещё долго, а с его смертью неизбежно разразится война. Ибо у Людовика XIV глаза горят на Испанию, её заморские владения, копи и монетные дворы. Надо признать, что у

герцога Анжуйского оснований претендовать на испанский престол не меньше, чем у других. А если он по совпадению ещё и послушный внук Людовика XIV, то что с того!

Если Вы редко получаете почту, то можете воскликнуть: погодите! мне казалось, вопрос решён договором, и престол Испании наследует курпринц Баварский. Однако он умер внезапной и загадочной смертью. Империя назначила своего кандидата — эрцгерцога Карла, сына императора Леопольда. На словах говорят о разделе испанского наследства, но втайне готовятся к войне. А поскольку ставкой в ней будет сердце, гонящее золото и серебро по жилам мировой торговли, можно ожидать, что она будет ещё ожесточённее предыдущей.

Теперь к более интересным материям.

Вы пишете, что желали бы работать сообща. Попытаюсь Вас отговорить. Во-первых, Вы уже поняли, что, связав своё имя с моим, навеки запятнаете себя в глазах Королевского общества. Во-вторых, патроном нашим будет человек, имеющий обыкновение казнить неугодных служителей на колесе. Нет, я не о новом короле Пруссии, но о монархе более рослом, что живёт дальше на восток и владеет примерно половиной

земного шара.

Если я Вас ещё не отпугнул, то задумайтесь о предстоящей работе. В том, что я хочу сделать, очень мало красивого и элегантного математически. Оно должно состоять из двух частей: механической системы для выполнения математических и логических операций над числами и большого количества данных, которые будут в машину загружаться. Больше всего работы предстоит на этих двух направлениях. Первое сулит учёному больше радостей как занятие практическое, сродни часовому мастерству Гука; можно смотреть, как машина обретает форму на верстаке и с гордостью указывать на ту или иную шестерёнку. Однако, боюсь, не на неё следует нам направить свои усилия. Вспомните, насколько продвинулось часовое дело только на нашем веку, начиная с Гюйгенсова маятника. Экстраполируя процесс в будущее, Вы согласитесь, что арифметические машины будут только совершенствоваться. С другой стороны, при всём уважении к Вашей и Уилкинса работе над философским языком, мы лишь приступили к сбору данных и созданию логических правил, что будут управлять машиной.

Вы — протеже Уилкинса и единственный жи-

вой участник его проекта; на смертном одре он передал свою мантию Вам. Соответственно, Вы лучше любого другого сможете собрать и упорядочить данные, а также перевести их в форму, пригодную для чтения машиной. Для этого надо обозначить символы простыми числами и запечатлеть их в каком-то материале, возможно, в виде двоичных чисел. Материал должен быть надёжным, ибо могут пройти века, прежде чем появятся машины, способные выполнить эту работу. Лучше всего подошли бы тонкие золотые листы.

Со своей стороны признаюсь, что множество сиюминутных хлопот делает меня плохим соработником. Такому труду надо посвятить много времени кряду, каковым я, увы, не располагаю, оттого и думаю, что Вы в тиши массачусетской хижины имеете бóльшую возможность составлять огромные символьные таблицы.

Если исключить дела политические, спор о приоритете и трёх дам (Софию, Софию-Шарлотту и Каролину), беспрестанно расспрашивающих меня обо всём на свете, главным моим проектом на данное время остаётся монадология.

Короче, в ближайшие годы мне предстоит по большей части трястись в карете по пути из

Ганновера в Берлин (а порою, возможно, и в Санкт-Петербург!) и обдумывать красивый набор логических правил. Это вполне в русле второй части проекта арифметической машины, а именно — составления правил для обработки символов. К слову, я склонен предполагать, что две системы, из которых одна управляет монадами, другая — механическим разумом, окажутся тождественны. Посему эту часть работы я предлагаю взять на себя, ибо и так занимаюсь очень сходным делом.

Вот мои предложения, Даниель, и я надеюсь, что они Вам придутся по душе. Царь — человек страшный, не отрицаю, однако он далеко от Вас и погружён в дела: усмиряет раскольников и стрельцов, воюет со Швецией. Не думаю, что Вам стоит его бояться. Как ни трудно поверить, в мире нет монарха, столь же преданного тому, что вы называете технологическими искусствами. Уверен, если мы попросим у него тонну золота, объяснив, что оно нужно для хранения *данных,* то незамедлительно получим искомое. Однако прежде мы с Вами должны добыть сколько-нибудь данных, дабы таблички эти не остались чистыми, как *tabula rasa* господина Локка.

Искренне Ваш
Лейбниц

Книга 4
Бонанца

Тихий океан
Конец 1700 – начало 1701

Таковы болезни и ужасы долгих штилей, когда море гниёт от застоя и под палящим солнцем отравляет ядовитым смрадом несчастных мореходов, кои, источенные цингой, жаром и лихорадками, мрут в таком количестве, что выжившие не могут достичь цели, ибо их недостаточно для управления кораблём.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

Пятого сентября «Минерва» бросила якорь у огнедышащей горы Грига на Марианских островах. На следующее утро младшие Шафто с отрядом матросов-филиппинцев взяли штурмом вторичный конус на западном склоне горы. Здесь на месте, хорошо видном с «Минервы», они устроили наблюдательный пункт. Два дня над ним развевался один белый флаг, означавший: «Мы здесь и живы». На третий день флагов стало два, что значило: «Мы увидели парус, приближающийся с запада», а сутки спустя — три. Последний

сигнал говорил: «Это манильский галеон».

Ван Крюйк приказал готовиться к отплытию. Утром следующего дня Шафто собрали лагерь и спустились, по-прежнему кашляя и обливаясь слезами от едких вулканических газов, которыми день и ночь сочился шлаковый конус. Блаженно поплескавшись в бухточке, смыв пыль и пот, они в шлюпке вернулись на «Минерву» и сообщили, что манильский галеон на рассвете начал долгий путь к северу.

Два дня шли вдоль Марианских островов, тянущихся от тринадцатой параллели на юге до двадцатой на севере. Вулканические горы круто обрывались на глубину, другие острова были такие плоские, что (даже самые большие) возвышались над волнами не более чем на ярд-два. Их окружали мели, которые легко проглядеть в темноте или в дурную погоду. Поэтому в следующие несколько дней все силы были направлены на то, чтобы не распороть брюхо о коралловый риф. Манильского галеона не видели.

На некоторых островах обитали низкорослые дикари, сновавшие по морю на лодках с балансирами. На одном или двух были даже иезуитские миссии, выстроенные из глины наподобие осиных гнёзд. Именно из-за малолюдства эти острова

и выбрали в качестве точки рандеву. Если бы «Минерва» отошла от Кавите вслед за галеоном, все на Филиппинах разгадали бы их планы. Хуже того, путешествие «Минервы» удлинилось бы на несколько недель. Манильский галеон был такой огромной неповоротливой посудиной и так тяжело нагружен манильским чиновничеством, что сдвинуть его с места мог только шторм. Если другие корабли выходили из Манильской бухты за день, то ему на это потребовалась неделя. Затем, вместо того чтобы выйти в открытое море, испанцы повернули на юг, далее на восток и двинулись опасными проливами между Лусоном и островами на юге, часто вставая на якорь и временами делая остановки, чтобы отслужить мессу на месте гибели предшественников; ибо путь был отмечен не буями, но остовами манильских галеонов двух-, десяти-, пятидесяти– и столетней давности. Наконец бросили якорь в тихой бухте у острова Тикао и три недели куковали, глядя на двадцать миль воды между южной оконечностью Лусона и северным мысом острова Самар. Пролив носил имя Сан-Бернардино; за ним до самого Акапулько простирался Тихий океан. Однако Лусон с тем же успехом мог зваться Сциллой, а Самар — Харибдой, поскольку (как

свидетельствовал горький опыт многочисленных крушений) пройти между ними можно было лишь при определённом сочетании ветров и прилива. Дважды поднимали якоря и ставили паруса, но ветер немного менялся, и галеон поворачивал обратно.

С утра до вечера к нему подходили лодки с водой, фруктами, хлебом и живностью — всё это купцы и монахи на борту уничтожали с невероятной скоростью. Путь через пролив Сан-Бернардино для того и выбрали, чтобы приблизиться к Марианским островам на двести пятьдесят миль, не отдаляясь в то же время от Филиппин.

Когда галеон наконец двинулся дальше — десятого августа, то есть через полтора месяца после выхода из Манилы — его трюмы были полностью загружены провиантом. И, что почти так же важно, чиновники, военные и попы, собравшиеся для торжественных проводов у подножия вулканической горы Булусан, видели, что он отправился в плавание к Америке *один*.

«Минерва» вышла из Манильской бухты через две недели после галеона, неспешно обогнула Лусон с севера, после чего повернула к югу и укрылась в заливе Лагоной в шестидесяти милях к западу от Сан-Бернардино. Там, закупая еду у

местных жителей и совершая охотничьи вылазки в предгорья, команда «Минервы» пополняла запас провианта в ожидании, когда галеон выйдет в Тихий океан. В толпе зрителей у подножия горы Булусан был и Патрик Таллоу. Проводив галеон взглядом, он перекинул деревянную ногу через седло и поскакал на север. Там на высоком берегу залива Лагоной ирландец развёл дымовой костёр. «Минерва» отсалютовала ему двадцатью выстрелами и подняла паруса. Что дальше сталось с Патриком Таллоу, товарищи не знали. Если он остался верен своему характеру, то стоял, плача и распевая бессвязные матросские песни, пока грот-мачта «Минервы» не исчезла за горизонтом. Дальше по плану ему предстояло ехать горными тропами, от одной миссии к другой, в Манилу. Если он туда добрался, то сейчас они с Сурендранатом, последним сыном королевы Коттаккал (его брат не пережил двухлетнего плавания) и ещё несколькими малабарцами должны были идти вдоль побережья Палавана в Квина-Кутту.

«Минерва» тем временем прошла полторы тысячи миль до Марианских островов, обогнав по дороге манильский галеон.

Теперь шли вдоль них на север. Галеона ни разу не видели. Это было только на руку участникам

сговора — включая всех офицеров галеона. Иезуиты и солдаты-испанцы на островах видели галеон и «Минерву», но ни разу — оба корабля *вместе*.

Первые два дня после того, как Марианские острова остались за кормой, плохая видимость не позволяла определять широту или высматривать паруса галеона. Наконец выглянуло солнце. Марсели галеона увидели далеко на востоке пятнадцатого сентября, почти тогда же, когда пересекли тропик Рака. Ещё до того, как последний из огнедышащих Марианских островов исчез за горизонтом на юге, «Минерва» вышла на глубокую воду — то есть лот даже при вытравленном до конца лотлине болтался в милях от дна буквально непомерного океана. После того, как вперёдсмотрящие несколько дней кряду не видели земли, якоря втащили на борт и спрятали в трюм.

Пересекли тридцатую параллель, то есть достигли широты южной оконечности Японии. Тем не менее продолжали идти на север. Галеон часто надолго исчезал из вида, но «Минерве» и не было надобности постоянно следовать в его кильватере. Важно было выполнить лишь два условия. Во-первых, отыскать ведомую лишь испанцам волшебную широту, вдоль которой можно без-

опасно добраться до Калифорнии. Во-вторых, прибыть в Акапулько почти одновременно с галеоном, чтобы испанские офицеры помогли им договориться с местными властями. «Минерва» с её узким корпусом не могла нести столько провианта, сколько галеон, зато была куда более ходкой. Предполагалось, что она поспешит к Калифорнии, а там команда будет дожидаться испанцев, перебиваясь местной водой и дичью.

Однако нельзя было сворачивать к востоку, не достигнув некой определённой широты, поэтому ван Крюйк каждое утро ставил на фок-марс матросов, чтобы те высматривали на горизонте манильский галеон. Заметив его, брали курс на сближение и смотрели, как у испанцев развёрнуты паруса. Дул ровный зюйд-ост; всякий раз, как с «Минервы» видели галеон, он шёл в бакштаг, то есть ветер дул ему с кормы и немного с борта, в данном случае — правого. Другими словами, капитан галеона по-прежнему стремился достичь более высоких широт, словно не зная или не заботясь, что ему предстоит проделать ещё пять тысяч миль на восток, а каждый дополнительный градус северной широты означает лишний путь вдоль побережья Америки (Манила и Акапулько лежат примерно на одной параллели).

На тридцати двух градусах северной широты штилевали несколько дней, прежде чем смогли двинуться дальше. На тридцати шести градусах налетел штормовой ост. Ван Крюйк уже с тревогой думал, что будет, если их выбросит на берег Японии. (Они находились на широте Эдо — по уверениям Габриеля Гото, самого большого города в мире, — и не могли надеяться, что потерпевший крушение корабль останется незамеченным.) Однако ост сменился зюйд-вестом. Пришлось ставить штормовые паруса и мчать на фордевинд. Пугал не столько ветер, сколько волны, громоздившиеся, как горы.

Случается, что при резкой смене ветра или по оплошности рулевого, а то и по обеим причинам сразу резкий порыв ударяет корабль в лоб, прижимая паруса к стеньгам. Матросы падают с вант, судно теряет управление и дрейфует, как оглушённая рыба, пока его вновь не заставят слушаться руля. Моряки говорят, что его «облобачило»; такое бывает и с кораблём, и с человеком. Джек никогда не видел ван Крюйка облобаченным, пока голландец не вышел из каюты и не увидел катящий на них вал. Одного пенного гребня хватило бы, чтобы накрыть «Минерву» с мачтами.

Единственный способ уцелеть на такой воде — управлять рулём и штормовыми парусами, чтобы волны никогда не ударяли корабль в борт. В следующие сорок восемь часов все на «Минерве» только об этом и думали. Иногда их возносило на гребень, с которого открывался великолепный обзор, в следующий миг бросало вниз, где ничего не было видно, кроме двух казавшихся вертикальными водяных стен с носа и с кормы.

После тридцатичасового бодрствования Джек начал видеть то, чего нет. По большей части это было лучше, чем видеть то, что есть. Однако странное дело: при таком количестве естественных опасностей его преследовал один маниакальный страх — столкнуться с манильским галеоном. В начале шторма Джек краем глаза увидел несущийся на них исполинский вал и почему-то вообразил его кораблём. В тёмной волне ему померещился корпус манильского красного дерева, в пенном гребне — паруса. Разумеется, при таком ветре галеон не мог бы нести столько парусов, однако в видении он был кораблём-призраком, мчащим под всеми парусами. Само собой, всё оказалось просто очередным валом, и Джек мгновенно позабыл о своём видении.

Каждый новый вал был опаснее всего, чем

грозили им герцог д'Аркашон и королева Коттаккал, и каждый надо было встречать со свежей энергией и смекалкой. И за каждым преодолённым накатывал следующий. Позже, когда все на «Минерве» практически утратили рассудок и боролись за жизнь лишь по привычке бороться, призрачный галеон вернулся и преследовал Джека много часов. Каждый накатывающий вал был днищем галеона; обросший ракушками киль падал Джеку на голову, как топор.

Он очнулся на палубе в той же позе, в какой отключился часы назад, когда утих шторм. В глаза бил яркий свет, но Джек дрожал от лютого холода.

— Тридцать семь градусов… двенадцать минут, — прохрипел ван Крюйк, опуская квадрант, — если только я… не ошибся числом.

Он часто замолкал, чтобы тяжело перевести дух, как будто каждое слово требовало неимоверных усилий.

Джек, лежавший на животе, перекатился на спину. Руки он отлежал так, что совершенно их не чувствовал.

— А какое, по-твоему, сегодня число?

— Если шторм длился всего два дня, то мне стыдно, что я такой неженка. Двухдневный шторм не

должен выматывать капитана до полусмерти.

— До полусмерти? Да я мёртв по меньшей мере на три четверти!

— Есть и другие свидетельства, что шторм длился больше двух суток. С другой стороны, четырёх таких дней мы бы не пережили.

— Я не иезуит, чтобы спорить ради спора. Раз ты говоришь, три дня, пусть будет три.

— Тогда мы согласны, что сегодня первое октября.

— Галеона не видно?

Ван Крюйк, сощурясь, взглянул наверх.

— Ни у кого нет сил взобраться на мачту и посмотреть. Сомневаюсь, что галеон пережил шторм. Такой огромный, так перегруженный… теперь я понимаю, почему каждый год строят новый. Даже если он останется цел, то будет негоден для следующего рейса.

— И что нам в таком случае делать?

— Идти на север, — сказал ван Крюйк. — Говорят, если слишком рано повернуть на восток, мы пересечём почти весь Тихий океан, только чтобы заштилеть в конце пути и умереть от голода и жажды почти у берегов Америки.

Разговор произошёл на рассвете. Только к полудню удалось вновь поставить стеньги, и лишь

ближе к вечеру «Минерва» двинулась дальше курсом норд-ост-тень-норд. Все были заняты починкой судна; тех, кто не умел плотничать или плести верёвки, отправили в трюм собирать ртуть, вытекшую из разбитых сосудов.

Через два дня подошли к сорока градусам северной широты, то есть оказались на широте северной оконечности Японии. Ван Крюйк наконец решился повернуть к Америке. Он намеревался держаться сороковой параллели, которая (согласно обрывкам знаний, почерпнутым у пьяных испанских капитанов в Маниле) должна была в конце концов привести их к мысу Мендосино. Тем не менее довольно скоро обнаружилось, что сочетание ветров, течений и колебаний магнитной стрелки отбросило их почти на тридцать девять градусов северной широты. Ван Крюйк, взяв замер, расхохотался, а вечером в кают-компании, когда они пилили деревянное вяленое мясо и выковыривали червей из бобовой похлёбки, объяснил почему.

— По легенде, испанцы разведали некий секретный путь через Тихий океан. Легенда хороша тем, что отпугивает англичан, голландцев и прочих осмотрительных протестантов. Однако теперь я знаю истину: они просто идут наобум,

отклоняясь то к северу, то к югу, вручив свою жизнь и богатство бесчисленным святым. Так выпьем за тех святых, которые нас слышат!

Так двигались до конца октября. Шторм повредил фок-мачту, и теперь хлопот от неё было больше, чем пользы. Соответственно, «Минерва» потеряла в скорости узел-два. Иногда холодный северный ветер отбрасывал их к тридцать пятой параллели, за которую ван Крюйк твёрдо решил не выходить. Тогда приходилось брать круто к ветру. Холодные брызги осколками кремня били в лица малайцев и филиппинцев, и те роптали на капитана с его стремлением держаться севернее. Джек не ждал бунта, но легко мог представить обстоятельства, в которых до этого дойдёт. Разница в климате между тридцать пятой и сороковой параллелью была ощутимая, и зима не скрывала своих намерений.

Они представления не имели, где находятся. Сама идея конкретного местоположения утратила всякий смысл после того, как путешественники месяц не видели ни клочка суши. Окажись на борту член Королевского общества с новоизобретённым инструментом для определения долготы, координаты ничего бы им не сказали. Ван Крюйк делал прикидки, исходя из скорости, и как-то объ-

явил, что они, возможно, пересекли меридиан, разделяющий Восточное и Западное полушарие. Правда, когда Мойше припёр его к стенке, капитан сознался, что это могло произойти неделю назад, а, возможно, наоборот, до меридиана остаётся ещё неделя.

Джек не видел разницы между западной и восточной водой. Они находились в той части мира, которая, согласно картам доктора, либо не существовала вовсе (грех оставлять пустым такой кусок белого пергамента), либо была покрыта барочными картушами с пятимильными буквами в окружении дующих в раковины наяд. «Минерва» вползла под условные обозначения, розы ветров, зодиакальные круги и виньетки, нанесённые на все карты и глобусы, и пропала, перестала существовать. Джек воображал, как какая-нибудь юная принцесса в гостиной смотрит на карту и видит шевеление под картушем в виде истрёпанного свитка, на котором гравёр написал своё имя. Она думает, что это моль, потом, вглядевшись через увеличительное стекло, различает очертания корабля, гружённого ртутью.

Не его одного посещали странные видения. Однажды в начале ноября вперёдсмотрящий издал крик, заставивший всех с тревогой поднять

голову.

— Он говорит, что видит вдалеке корабль — но не из этого мира, — перевёл Даппа.

— Как это, чёрт возьми, понимать? — осведомился ван Крюйк.

— Корабль перевёрнут. Он скачет с места на место и меняет форму, словно капля ртути, зажатая между небом и землёй.

Джек восхитился поэтичностью образа, однако у ван Крюйка оказалось наготове скучное объяснение.

— Скажи ему, что он видит мираж. Это либо другой корабль за горизонтом, либо отражение нашего. Поскольку на две тысячи миль вокруг, скорее всего, нет ни единого корабля, более вероятно второе.

Тем не менее все, не занятые работой, взобрались на ванты, чтобы поглазеть на чудо. Джек полез раньше и оказался выше остальных. Как пайщик он спал в каюте, а не в кубрике, как англичанин держал окна открытыми почти в любую погоду, оттого избежал бесконечной череды простуд, ревматизмов и лихорадок, преследовавших команду. Дыхалка и мускулатура у него изначально были лучше, так что он вскарабкался на верхний салинг, откуда мог видеть

всю «Минерву» разом. К тому времени, как Джек выбрался наверх, мираж исчез, но ван Крюйк сказал, что для миражей это дело обычное и надо терпеливо ждать. Терпеливо ожидая на салинге, Джек смотрел, как матросы устраиваются на вантах, кашляя, отплёвываясь и почёсываясь, словно зрители в театре. Сравнение было не таким уж притянутым. С точки зрения принцессы в гостиной, «Минерва» исчезла под картушем с наядами. С точки зрения «Минервы», напротив, исчез мир, как исчезают актёры между действиями. Они уходят за кулисы вместе с париками, костюмами, мечами и бутафорией; некоторое время ничего не происходит; публика ёрзает, переговаривается, пускает ветры, щёлкает орехи, отхаркивает мокроту; в театрах поприличнее начинается пьеса-в-пьесе, интермедия.

— Смотрите! — крикнул кто-то по-испански, и Джек поднял глаза.

Корабль-призрак был от них не дальше, чем на пушечный выстрел. Порою он казался вполне чётким и материальным, потом вдруг делился на два симметричных корабля, обычный и перевёрнутый, или начинал зыбиться и скакать, словно капелька воды между двумя стёклами, если верхнее придавить пальцем.

Однако пока он оставался чётким и материальным, видно было, что это не «Минерва», а какой-то другой корабль. На нём была команда, и она развернула паруса по ветру, в точности как на «Минерве». Некоторые матросы взобрались на ванты и возбуждённо куда-то указывали.

— Пушки выдвинуты? — спросил ван Крюйк.

— Вряд ли кто-нибудь отправится в эти края, чтобы заниматься морским разбоем, — заметил Даппа.

Ван Крюйк только сердито хмыкнул.

— Они поднимают флаг, — сказал Мойше де ла Крус. — Значит, увидели нас, как и мы их!

Над миражом, пламенея, взвилось алое полотнище с золотым крестом и прочими геральдическими символами. Все разом испустили вздох.

— Манильский галеон! — объявил Джек.

При таком известии ван Крюйк наконец сдвинулся с места. Он взобрался на грот-марс и попытался навести на мираж подзорную трубу. Это было примерно как пригвоздить блоху ножичком. Послышалась череда голландских ругательств. Джек немало времени провёл с ван Крюйком и знал, отчего тот чертыхается: манильский галеон при всей своей неуклюжей конструкции не только пережил шторм, но и

выдержал испытание с меньшими потерями, во всяком случае, сохранив все мачты.

Затем двое суток шёл град. Кто-то из старых матросов поведал, что град бывает только вблизи суши. Ветер дул прямо в лоб, а поскольку какое-то неведомое течение увлекло их почти на тридцать пять градусов северной широты, пришлось целый день идти курсом норд-вест. Когда распогодилось, задул пассат, и «Минерве» удалось вновь повернуть к Калифорнии, кто-то приметил стайку тунцов. Все согласились, что тунцы никогда не уходят далеко от берегов — все, кроме ван Крюйка, который лишь закатил глаза.

На следующий день вновь видели мираж манильского галеона. Хотя корабль зыбился и скакал, удалось рассмотреть короткий выброс огня — вероятно, с галеона пытались холостым выстрелом подать им сигнал. Все зашикали друг на друга, но если какой-нибудь звук и достиг «Минервы», то утонул в шиканье. Ван Крюйк отказался стрелять в ответ. Галеон, заявил он, может быть в сотне миль отсюда, и незачем тратить порох.

В тот вечер один зоркий матрос якобы увидел на юго-востоке столб дыма и объявил, что там наверняка земля. Ван Крюйк ответил, что это ско-

рее всего водяной смерч. Тем не менее несколько матросов остались глазеть на дым (или смерч). Закаты на таких широтах, в ноябре, неспешные, так что странное явление в отблесках вечерней зари можно было наблюдать ещё долго.

Солнце село, но редкие облака высоко на востоке некоторое время ещё розовели отражённым светом.

Одно пятнышко не желало гаснуть, как будто от солнца отскочила искорка и застряла в небе — у самого горизонта, примерно там же, где прежде видели дым или смерч. Ван Крюйк придумал новое объяснение: это, скорее всего, не отмеченный на картах вулкан посреди Тихого океана. Возможно, всего лишь горячая скала. С другой стороны, там могут быть ручьи пресной воды и годные в пищу птицы. У всех на корабле разом потекли слюнки. Ван Крюйк приказал изменить курс и прибавить парусов, чтобы поспеть туда, пока погода не изменилась и нет риска в тумане налететь на остров.

Сперва он прикинул, что дотуда миль сто, если не больше. Однако пламя (до сих пор они видели только отблески на облаках) выпрыгнуло из-за горизонта почти сразу, и ван Крюйк сократил свою оценку вдвое. Когда дрожание пламени стало

видно отчётливо, ещё вдвое. Наконец он объявил, что это не вулкан, а нечто совершенно иное. И тут все поняли, что до этого неизвестно чего — считаные мили. Ван Крюйк приказал убавить парусов. Все высыпали на палубу и натыкались друг на друга, потому что ослепли от света.

Сейчас они подошли так близко, что видели исполинский костёр, каким-то чудом разожжённый посреди океана. Он трещал и ревел, то взмывая на сотни ярдов, то с шипением распластываясь по спокойной воде. Временами в нём возникали чёрные силуэты: могучие рёбра или окутанная пламенем мачта. То тут, то там вспыхивали красные, зелёные, синие язычки — горели экзотические минеральные красители.

Уже нельзя было отрицать, что из огня доносятся крики. «*Socorro! Socorro!*» Испанское «На помощь!» звучит скорее скорбно, чем призывно. Многие говорили, что надо подойти ближе, но ван Крюйк сказал только: «Дождёмся крюйт-камеры». На глазах у Джека раскалённая докрасна пушка вырвалась из сдерживающих её обугленных брусьев. Она тяжело рухнула в трюм. Оттуда вырвалось облако пара. Кто-то один громко выкрикивал: «*Socorro! Socorro!*» Затем крик о помощи сменился латинской молитвой.

Она ещё не отзвучала, когда весь порох на галеоне взорвался в единый миг. Пылающие доски летели во все стороны, воздух гудел от их жара, чёрные уголья шипели на воде. Несколько горящих обломков упали на «Минерву» и прожгли дыры в её парусах. Кое-где на палубе начался пожар, но ван Крюйк заранее велел приготовить вёдра с водой, и огонь быстро потушили.

Лишь на рассвете удалось приступить к поиску уцелевших. Баркас хранился в трюме, разобранный; в темноте потребовалось несколько часов, чтобы его вытащить, собрать и спустить на воду. Хотя никто не сказал этого вслух, все понимали, что провианта на «Минерве» и так в обрез; каждый спасённый только усугубит положение.

Когда рассвело, сели в баркас и на вёслах двинулись к останкам галеона. Он выгорел по ватерлинию и теперь был просто калошей, подмёткой, плывущей в Тихом океане до первой большой волны. Палочки корицы плавали вокруг, и каждая походила на миниатюрный сгоревший корабль. Китайские шелка, даже испорченные огнём и солёной водой, были ярче, чем всё, что команда «Минервы» видела с последнего визита в манильские публичные дома. Шёлк цеплялся за вёсла, тропические цветы и

птицы вспыхивали на солнце и навсегда пропадали в серой воде. На поверхности покачивалась карта. Краски расплывались, земли, параллели и меридианы таяли, так что под конец остался лишь безвидный белый квадрат. Джек выудил его багром и поднял над головой.

— Какая удача! — воскликнул он. — Я уверен, что здесь указано наше точное местоположение!

Однако никто не рассмеялся.

— Меня, — начал спасённый по-французски, — зовут Эдмунд де Ад. Спасибо, что пригласили к столу.

Прошло три дня с тех пор, как Джек вытащил его из воды в баркас; сегодня де Ад впервые вышел из каюты. Он надышался дымом и наглотался солёной воды, так что голос его звучал по-прежнему хрипло. Гость вместе с Джеком, Мойше, Врежем, Даппой, мсье Арланком и ван Крюйком сидел в кают-компании, самой большой на квартердеке и расположенной ближе всего к корме; за полукруглым рядом высоких окон пламенел великолепный закат. Зрелище, казалось, приковало внимание де Ада; он на несколько мгновений застыл у окна. Алый свет подчёркивал ввалившиеся щёки и запавшие глаза. Прибавь гость пару стоунов веса (что вполне

могло произойти, когда он доберётся до Новой Испании), он был бы даже красив. Сейчас кожа чрезмерно обтягивала череп, однако то же можно было сказать о каждом на корабле.

— Всё здесь убого до тошноты, включая вид, — сказал Джек. — Линия между небом и землёй, а посередине — оранжевый шар.

— Это сама Япония в своей простоте, — серьёзно отвечал Эдмунд де Ад, — однако вглядитесь пристальнее, и различите барочную орнаментальную сложность. Смотрите, как несутся перья облаков, как волны, встречаясь, приветствуют друг дружку реверансами… — И тут его занесло на такой высокопарный французский, что Джек перестал что-либо понимать.

В итоге мсье Арланк сказал: «Судя по акценту, вы бельгиец». Эдмунд де Ад 1) расценил это как средней грубости оскорбление, 2) проявил спокойствие и выдержку, то есть не подал виду, что обиделся всерьёз. С христианской кротостью он ответил чем-то вроде: «А вы, мсье, судя по вашим спутникам, из тех, кто променял сложность и противоречивость римской церкви на простоту бунтарской веры». То, что бельгийский монах не употребил слово «еретик», молча отметили про себя все присутствующие. Они с Арланком вновь

забурились во французские дебри. Однако ван Крюйк столько раз прочищал горло, что Джек сказал:

— Черви, жучки и плесень могут ведь и остыть!

Из провианта на корабле оставались вяленое мясо и рыба, бобы и сухари. Всё это неуклонно превращалось в червей, тараканов и жучков. Друзья давно перестали замечать разницу между тем и другим и ели всё вместе.

— Вера запрещает мне вкушать по пятницам *мясо*, — сказал Эдмунд де Ад, — посему я уступаю желающим мою порцию *бобов*.

Он оторопело смотрел на червей, плавающих в похлёбке. Ван Крюйк, поняв, что новый пассажир шутит насчёт еды, сделался багровым, однако, прежде чем голландец успел вскочить и вцепиться ему в глотку, Эдмунд де Ад возвёл очи к алеющему горизонту, не глядя, зачерпнул варёных бобов с червяками и занёс в рот.

— Это лучше всего, что мне доводилось есть за последний месяц, — объявил он. — Позвольте сделать комплимент вашей предусмотрительности, капитан ван Крюйк. Вместо того, чтобы уповать на святых, как испанцы, вы обратили богоданный разум на снабжение корабля.

Дипломатия де Ада только усилила подозрительность капитана.

— Что вы за католик, если смеётесь над собственной верой?

— Смеюсь? Нет, сударь. Мы, янсенисты, ищем примирения с частью реформатов, считая, что их вера ближе к истине, чем софистика иезуитов. Но я не стану утомлять вас долгими богословскими разговорами…

— Как насчёт иудеев? — серьёзно осведомился Мойше. — Нам здесь не помешал бы ещё один, если ваши принципы столь широки.

— Кстати, о широте принципов, — парировал де Ад, уходя от прямого ответа. — Скажите, что раввины говорят о червях? Кошерные они или трефные?

— Я подумываю написать на эту тему учёный трактат, — сказал Мойше, — но для этого мне нужно свериться с некими талмудическими трудами, которых ван Крюйк не держит, — только книги по морскому делу и плутовские романы.

Все рассмеялись — даже мсье Арланк, рукоятью кинжала разминавший на столе кусок варёного вяленого мяса. Последний зуб он потерял неделю назад и теперь еду должен был разжёвывать вручную.

Они столько лет провели вместе, что уже ничего не могли друг другу рассказать, и новичок — нравился он им или нет — приковывал общее внимание вне зависимости от того, что делал и говорил. Даже когда он отвечал на вопросы Врежа Исфахняна об отношении янсенистов к армяно-григорианской церкви, никто не мог оторвать от него взгляд.

После обеда принесли горячую подслащённую воду, и Даппа задал наконец вопрос, который занимал всех:

— Мсье де Ад, вы, сдаётся, невысокого мнения о покойном капитане галеона. Не в обиду тем, кого уже нет, хотелось бы знать, как произошло несчастье.

Эдмунд де Ад задумался. Солнце село, зажгли свечи; бледное лицо монаха как будто парило в темноте.

— Насколько этот корабль голландский, настолько тот был испанским, — начал он. — Все беспечно полагались на удачу, дисциплина хромала, пассажиры не слушались капитана. Главное различие в том, что ваш корабль — единое предприятие, галеон же принадлежал испанскому королю и был своего рода плавучим базаром, коммерческим ковчегом, вместившим

людей с разными, часто взаимоисключающими интересами. Как Ной, наверное, без устали следил, чтобы тигры не съели коз, так и капитан галеона бесконечно улаживал раздоры между богатыми пассажирами.

Вы помните недавний двухдневный град. У некоторых купцов, заплативших за каюты на галеоне, были слуги из тёплых краёв, где не ведают холода и града. Несчастные от страха попрятались в трюм и не соглашались выходить. Лишь когда погода наладилась, они выползли наверх и получили от хозяев хорошую трёпку. Примерно тогда же заметили, что из одного люка сочится дымок. Вероятно, кто-то из слуг, убегая от града, захватил с собой свечу. Может быть, они даже развели огонь, чтобы приготовить еду. Правды так и не узнали. Главное, было понятно, что где-то в трюме среди бесчисленных тюков тлеет огонь.

Ван Крюйк поднялся из-за стола, кивнул всем и вышел. С точки зрения капитана, история была окончена. Подробности его не интересовали. Остальные решили послушать дальше.

— Много проповедей можно написать о последовавшей за этим назидательной драме алчности и глупости. Правильнее всего было бы поставить матросов к помпам и залить всё в трюме морской

водой. Но тогда погибли бы шелка. Немыслимые убытки понесли бы не только купцы, но и корабельные офицеры, а также чиновники из Манилы и Акапулько, которым принадлежала часть груза. Поэтому капитан медлил, а огонь тлел. В трюм отправили матросов с вёдрами, чтобы найти и залить огонь. Некоторые вернулись и сообщили, что дым слишком густой. Другие не вернулись вовсе. Кто-то предлагал открыть люки и вытащить тюки; те, кто поопытнее, говорили, что едва воздух хлынет в трюм, пламя взметнётся и уничтожит галеон в считаные мгновения.

Мы увидели мираж вашего корабля и дали сигнал из пушки в надежде, что вы придёте на помощь. Даже тут не обошлось без спора, потому что некоторые сочли вас голландскими пиратами. Однако капитан сказал, что это торговый корабль с ртутью, и сознался, что вступил с вами в тайный сговор: пообещал за долю в прибыли указать вам путь через океан и помочь в переговорах с испанскими властями.

— Все возмутились?

— Никто и бровью не повёл. Тут же дали холостой выстрел. Ответа не последовало. Вокруг стояла полная тишь. И тут безумие охватило галеон, как чума. Произошло восстание — не просто

матросский бунт, а трёхсторонняя гражданская война. Возможно, когда-нибудь эту историю будут рассказывать с церковных кафедр в назидание пастве, но суть в том, что верх взяли сторонники разгрузки трюма. Люки открыли, дым вырвался наружу — наверное, вы видели его на горизонте, — и тут же, как предрекали опытные люди, наружу вырвалось пламя. Я видел, как горел самый воздух. Пламя надвигалось, прижимая меня к борту, и я, чтобы не сгореть заживо, спрыгнул в воду. Мне удалось выбраться на один из выброшенных тюков. Корабль медленно удалялся, и завершающие мгновения катастрофы я увидел с безопасного расстояния.

Эдмунд де Ад склонил голову, и пламя свечей блеснуло в дорожках слёз на его щеках.

— Господь да помилует души погибших: ста семидесяти четырёх мужчин и одной женщины.

— Женщину можете вычеркнуть, по крайней мере на время, — произнёс Джек. — Мы вытащили её из воды через пятнадцать минут после вас.

Наступила долгая пауза, потом Эдмунд де Ад спросил:

— Елизавета де Обрегон жива?

— Если можно так сказать, — отвечал Джек.

— Он сглотнул! — воскликнул мсье Арланк

на следующий день, подкараулив Джека в гальюне. — Я видел, как дёрнулся его кадык.

— Конечно, сглотнул, — он же ел обед.

— Обед уже кончился!

— Значит, он пил подслащённую воду.

— Он сглотнул не так, — упорствовал мсье Арланк. — Он чего-то испугался. Что-то тут нечисто.

— Ну, мсье Арланк, рассуди — чем могло испугать де Ада спасение несчастной дамы? Всё равно она не в себе.

— Люди, будучи не в себе, часто выбалтывают то, о чём в других обстоятельствах помалкивали бы.

— Ладно, допустим, у него с этой дамой был скандальный роман — потому-то он и не отходит от неё ни на шаг.

Джек сидел на очке, жопой над Тихим океаном, мсье Арланк стоял рядом. Вместе они некоторое время смотрели вдоль корабля. Различные подразделения матросов выполняли действия, которые любой из них мог бы повторить во сне: разворачивали паруса к надвигавшемуся с северо-запада шквалистому ветру. Многие страдали от бери-бери; руки и ноги отекли, движения были дёрганые, поскольку тело плохо слушалось мозга.

На верхней палубе человек десять малабарцев, обступив зашитого в парусину покойника, тянули языческую погребальную песнь. К ногам усопшего обрывком верёвки был привязан кувшин, наполненный черепками и песком, чтобы тело ушло на дно, а не досталось акулам, следующим в кильватере корабля.

— Мы подобрали с галеона двух лишних едоков и боялись, что из-за них будем голодать, — заметил Джек. — С тех пор умерли трое.

— Очевидно, у тебя есть причина говорить то, что я и без того знаю, — проговорил мсье Арланк, шамкая распухшими дёснами, — однако мне она непонятна.

— Если крепкие матросы отдают концы, много ли шансов у Елизаветы де Обрегон дожить до конца пути?

— Побольше, чем у меня. Она пережила плавание, какого не выдержал бы никто из нас.

— Ты хочешь сказать, что бывают плавания хуже этого?

— Она выжила одна из целой эскадры, отправленной несколько лет назад на поиски Соломоновых островов.

Джек порадовался, что сидит в гальюне — месте, вполне подходящем для долгих молчаливых

раздумий.

— Чтоб мне сдохнуть! — выговорил он наконец. — Енох говорил о той экспедиции и что выжила только одна женщина, но я одно с другим не свёл.

— Она видела чудеса и ужасы, ведомые лишь испанцам.

— Так или иначе, сейчас она совсем плоха, — сказал Джек. — Неудивительно, что Эдмунд де Ад сидит при ней неотлучно. Самое дело для священника.

— Или для мерзавца.

Джек вздохнул. Малабарцы выбросили тело за борт. Несколько филиппинцев, не прикреплённых к определённой вахте, спорили об утках. Утром видели стаю уток; многие утверждали, что эти птицы никогда не залетают дальше нескольких миль от берега.

— Людям в долгом плаванье свойственно грызться.

Мсье Арланк улыбнулся. Зрелище было пребезобразное: мясо на дёснах отстало от челюстей, обнажив почерневшую кость.

— В твоих словах есть поэтическая справедливость. Ты дразнишь меня моей верой, утверждая, будто мне предопределено не доверять Эдмунду

де Аду.

Мсье Арланк умер через неделю. Тело не выбрасывали за борт до последнего, поскольку почти одновременно со смертью гугенота увидели в волнах водоросль и надеялись предать товарища калифорнийской земле. Однако он начал разлагаться ещё при жизни, а смерть лишь ускорила процесс, так что пришлось хоронить в море. И хорошо, что не стали тянуть. Хотя обрывки водорослей попадались всё чаще, землю с «Минервы» увидели лишь на десятый день после похорон. Это произошло чуть ниже тридцати девяти градусов северной широты, то есть южнее мыса Мендосино — они промахнулись больше чем на градус. Согласно неточным картам, которые ван Крюйк захватил из Манилы, и смутным догадкам де Ада, это мог быть мыс Арена.

Матросы, которые не были приписаны к определённой вахте, то есть не ставили и не убирали паруса, теперь день и ночь готовили «Минерву» к каботажному плаванию. Якоря вытащили из трюма и повесили на носу корабля. Баркас собрали и поставили на верхней палубе, где он мешал вахтенным, однако те и не думали роптать. Пока приготовления не закончились, «Минерва» не могла подойти ближе к берегу, поэтому ещё два

дня шли на юг, выуживая из воды водоросли и пытаясь приспособить их в пищу. Надвигался шторм, но, по счастью, они как раз подошли к большому заливу. С первыми порывами западного ветра проскочили между двумя мысами, залитыми золотым светом из-под грозовых туч. Затем взяли курс на юг и, осторожно лавируя между скалистыми островками, вошли в широкую часть залива, окаймлённую соляными лагунами, как в Кадисе, хотя, разумеется, никто не добывал здесь соль. Якоря бросили в самом глубоком месте, какое смогли найти, и приготовились пережидать шторм.

Когда через три дня ветер стих, стало ясно, что их снесло при отданных якорях. Впрочем, опасность кораблю не грозила, поскольку залив, начинавшийся от Золотых Ворот, был огромен. Южная его часть уходила на юг, сколько хватал глаз; зелёные, в бурых осенних подпалинах холмы по берегам таяли на горизонте. Команда «Минервы» взялась за поедание Калифорнии. Начали с водорослей и двинулись по крабовым отмелям и устричным галькам, вгрызаясь в прибрежную полосу и уничтожая местных зверей и птиц. Провиантские экспедиции одна за другой отправлялись к берегу в баркасе. Половина участ-

ников стояла с мушкетами и саблями наготове, пока другая половина добывала еду. В зарослях обитали негостеприимные индейцы; где именно — пришлось выяснять методом проб и ошибок. Опаснее всего были первые пять минут после высадки, когда люди, четыре месяца не ступавшие на твёрдую землю, стояли в растерянности, оглушённые щебетом птиц, гудением насекомых, шумом листвы. Пользуясь сравнением Эдмунда де Ада, «как если бы несмысленный младенец только что из материнского лона внезапно оказался в фантастическом мире».

Елизавета де Обрегон вышла из каюты впервые с тех пор, как Джек её туда внёс, вымокшую и продрогшую, наутро после гибели галеона. Эдмунд де Ад вывел больную прогуляться по палубе. Джек, лежавший на койке прямо под ними, услышал обрывок разговора.

— Смотрите, впечатление такое, будто залив простирается бесконечно. Немудрено, что Калифорнию считали островом.

— Если не ошибаюсь, именно ваш супруг доказал ошибочность этих воззрений?

— Вы чересчур льстивы даже для иезуита, отец Эдмунд.

— Я, простите, сударыня, янсенист.

— Да, я хотела сказать, янсениста. Разум мой временами мутится, и я не всегда отличаю сон от яви.

— Мыс к югу от Ворот так и просится, чтобы на нём возвели город, — сказал Эдмунд де Ад. — Залив, охраняемый пушками, станет испанским озером, а по берегам его вырастут миссии, чтобы обратить в истинную веру всех здешних индейцев.

— Америка обширна, в ней много хороших мест, — возразила Елизавета де Обрегон.

— Знаю, но только взгляните на этот мыс! Он словно создан для города!

Голоса удалились, и больше Джек ничего не разобрал. Оно и к лучшему. От таких-то обходительных разговоров он был счастливо избавлен с тех самых пор, как покинул христианский мир, и сейчас один их звук пробудил в нём старое желание вскочить и выкинуть обоих собеседников за борт.

На калифорнийских фруктах и зелени Елизавета де Обрегон быстро набиралась сил. Она стала чаще выходить на палубу и даже иногда обедала со всеми в кают-компании.

Джек пересказал товарищам то, что о ней знал. Через два дня, за обедом, Мойше повернулся к

Елизавете де Обрегон и заметил:

— Залив расположен столь благоприятным образом, что, вероятно, привлечёт глупцов со всего мира… убеждён, в ближайшие годы русские выстроят здесь форт!

Эдмунд де Ад побагровел и начал жевать медленнее. Елизавета с улыбкой спросила Мойше:

— Не объясните ли, почему строить здесь форт — глупость?

— Ах, сударыня, не буду утомлять вас каббалистикой…

— Напротив, сударь, в моём роду было много маранов, и я люблю послушать талмудическую премудрость.

— Сударыня, мы почти на сорока градусах северной широты. Золотые лучи Солнца и серебряные — Луны падают здесь косо, а не отвесно. Мудрецам-каббалистам ещё со времён Первого Храма ведомо, что лучи планет, соединяясь со стихиями земли и воды, порождают в недрах различные металлы: золото, серебро, медь, меркурий и прочая. От солнечных лучей родится золото, от лунных — серебро и так далее, и так далее. Отсюда естественным образом вытекает, что золото и серебро в наибольшем изобилии можно сыскать именно на экваторе.

— Алхимики христианского мира либо позаимствовали это знание у каббалистов, либо открыли его заново, — сказала Елизавета.

— Как вам известно, великие столицы Андалусии, Кордова и Толедо, были плавильными тиглями, в которых учёные мужи христианского мира, Дар аль-Ислама и диаспоры сплавляли воедино свои познания…

— Мне казалось, назначение тигля — очищать, а не смешивать, — вставил Эдмунд де Ад и тут же сделал ангельское лицо.

— Не будем отвлекаться на алхимический спор, — сказал Мойше. — Наша собеседница говорит, что испанским мудрецам ведома природа астрологических эманаций. И даже недоумок, глядя на карту, сообразит, что светлейший испанский монарх знает свойства светил. Империя всегда мудро распространялась вдоль равноденственного круга, утверждая колонии в золотоносном поясе, где лучи Солнца и Луны падают почти отвесно. Оставьте Калифорнию и Аляску русским варварам, ибо там никогда не найдут золота!

— Сознаюсь, я ошеломлён, — сказал Эдмунд де Ад, — ибо до сей минуты не подозревал, что плыву на одном корабле с каббалистом.

— Не корите себя, мсье. Северная Пацифика не так уж густо населена евреями…

— Что побудило вас отправиться в столь дальнее плавание? — спросила Елизавета де Обрегон. Вид берега и свежая пища вернули её к жизни; сейчас, наблюдая за пикировкой иудея и янсениста, она словно помолодела на несколько лет.

— Сударыня, ваш вежливый интерес к моим учёным изысканиям — большая для меня честь. В благодарность буду предельно краток. Есть легенда, согласно которой Соломон, достроив Храм на Сионе…

— …отправился далеко на Восток и основал царство на одном из здешних островов, — закончила Елизавета де Обрегон.

— Истинная правда. Царство несказанно богатое, но что куда важнее — Олимп алхимической премудрости и каббалистики. Там впервые были явлены тайны философского камня и философической ртути; все усилия современных алхимиков — лишь попытки собрать крохи, оброненные Соломоном и его придворными магами. В юности, достигнув границы познаний, я пришёл к выводу, что узнаю больше, лишь добравшись до Соломоновых островов и прочесав их дюйм за дюймом.

Теперь пришёл черед Елизавете де Обрегон залиться румянцем.

— Многие погибли в попытке достичь этих островов, ребби. Если ваш рассказ правдив, вам очень повезло, что вы живы.

— Не более чем вам, сударыня.

Взгляды Елизаветы и Мойше встретились. Обмен таинственными лучами продолжался так долго, что Эдмунд де Ад не выдержал:

— Поделитесь ли вы своими открытиями, сударь, или итоги их сокрыты в каком-нибудь шифрованном талмуде?

– *Итоги* ещё *итожатся*, сударь, ибо они далеко не окончательны.

— Но вы вернулись с Соломоновых островов!

— Да. Это очевидно. Однако вы же не думаете, что я совершил такое плавание в одиночку? Из тех, кто отправился туда, сударь, я — наименьший, мальчик на побегушках. Остальные по-прежнему там, продолжают свои труды.

Морочить голову Эдмунду де Аду и Елизавете де Обрегон было занятной игрой, которая, если повести её тонко, могла даже сохранить Джеку, Мойше и остальным жизнь, когда они доберутся до Акапулько. Однако Джеку оставалось наблюдать за потехой со стороны, поскольку ни

монах, ни дама не стали бы с ним беседовать. Она, по долгу спасённой, выказывала ему вежливую признательность, с остальными держалась благодушно-снисходительно и только Эдмунда де Ада признавала за равного. Джека это уязвляло куда сильнее, чем следовало бы. За годы, прошедшие с княжения в Индии, можно было уже привыкнуть, что он снова никто. Однако в обществе испанской грандессы его охватывало желание вернуться в Шахджаханабад и снова поступить на службу к Великому Моголу. И это на борту собственного корабля!

— Единственное лекарство — стать торговым магнатом, — сказал Вреж Исфахнян, когда они ясным холодным утром выходили из Золотых Ворот. — И мы к этому движемся. Бери пример с армян. Мы не ценим титулы, у нас нет ни войска, ни крепостей. Пусть аристократы нас презирают — когда они падут в прах, мы скупим их шелка и драгоценные камни за горстку бобов.

— Все это хорошо, пока властители и пираты не отнимут у вас добытое долгим трудом, — сказал Джек.

— Нет, ты не понял. Измеряет ли крестьянин своё богатство вёдрами молока? Нет, вёдра проливаются, молоко киснет. Крестьянин меряет

своё богатство коровами. Есть корова — будет и молоко.

— Что в твоём сравнении корова? — спросил Мойше, подошедший послушать разговор.

— Корова — сеть или паутина связей, протянутых армянами по всему миру.

— Я не перестаю удивляться, как ты находишь армян в любом месте, где мы останавливаемся, — признал Джек.

— Везде, где мы пробыли больше двух-трёх дней — в Алжире, Каире, Мокке, Бандар-Аббасе, Сурате, Шахджаханабаде, Батавии, Макао, Маниле, — я вкладывал небольшую долю моей прибыли в предприятия других армян, — продолжал Вреж. — Порою сумма была совсем незначительна. Однако важно другое: теперь эти люди меня знают, они — узелки моей сети. Когда я вернусь в Париж — даже если мы лишимся «Минервы» и её груза — то буду богат не молоком, а коровами.

— Типун тебе на язык, — сказал Джек. — Я не суеверен, но лучше не говорить про «Минерву» таких слов.

Вреж пожал плечами:

— Иногда приходится смиряться с большой утратой.

Наступила неловкая пауза, которую только под-

чёркивали крики матросов, разворачивавших паруса; «Минерва» миновала Золотые Ворота и теперь поворачивала на юго-восток вдоль побережья. Этим курсом ей предстояло идти две тысячи миль до Акапулько.

Наконец Мойше сказал:

— Я так суеверен или, по крайней мере, религиозен, и всё думаю: когда закончится моё плавание?

— Когда ты бросишь якорь в Лондоне или Амстердаме и сойдёшь на берег с переводными векселями и привозным товаром, — сказал Джек.

— Я не могу есть векселя.

— Поменяй их на серебро и купи хлеба.

— У меня будет хлеб. И ради него надо было огибать земной шар?

— Хлеб можно добыть где угодно. — Джек взглянул на открытый океан по правому борту и поправил себя: — Кроме как здесь. Зачем плыть вокруг света? Для забавы, наверное. Мы плывём, куда нас гонит ветер, и редко имеем возможность выбирать. К чему ты клонишь?

— Думаю, моё путешествие окончилось, когда мы пересекли Чермное море и вышли из рабства египетского, — сказал Мойше. — С той поры ни-

что меня не радует.

— Опять-таки у тебя не было выбора.

— Каждый день, — возразил Мойше, — предлагал мне выбор, но я был слеп.

— Мне твоей каббалистики не понять, — сказал Джек. — Я англичанин и отправлюсь в Англию. Ясно? А теперь я задам вопрос, на который хотел бы получить такой же ясный ответ. Когда мы доберёмся до Акапулько, ты примкнёшь к морской партии или к сухопутной?

— К сухопутной, — отвечал Мойше. — Навеки и бесповоротно.

— Ладно, — проговорил Вреж после очередной неловкой паузы. — Раз мы лишились бедного Арланка, получается, что мне выпадает море. И я рад, что увижу Лиму, Рио-де-ла-Плата и Бразилию, а после того, что мы пережили, мыс Горн меня уже не страшит.

Мимо как раз проходил Даппа.

— Для человека без родины остаётся только корабль. На Карибских островах и в Бразилии полно чёрных невольников — я не смогу услышать и пересказать их истории, если сам там не побываю.

— А поскольку ван Крюйк, ясное дело, отправляется с кораблём, мне дорога на сушу, — сказал

Джек. — И мои ребята пойдут со мной.

Некоторое время все молча стояли на резком тихоокеанском ветру, потом, словно разом вспомнив, сколько приготовлений каждому предстоит, побрели в разные стороны.

— Лучшее время для переговоров — до начала переговоров, — сказал Мойше, когда они с Джеком смотрели на баркас, идущий к порту Навидад. На берегу дожидались алькальд Чамелы, монахи и несколько человек в полном конкистадорском облачении. — По крайней мере, так говорил Сурендранат, и я надеюсь, что и у нас получится.

Джек приметил, что Мойше, говоря, теребит индейские бусы — наследие предков-манхатто. Он всегда машинально их перебирал, когда опасался, что его хотят провести. Джек решил сделать вид, будто ничего не видит.

После двух недель плавания вдоль побережья они пересекли тропик Рака и в первый день 1701 года обогнули лысый мыс Сан-Лукас. Затем взяли курс на юго-восток, чтобы пересечь устье Калифорнийского залива. Путь занял несколько дней, поскольку *вирасон,* как называют в этих краях морской бриз, стих. Наконец увидели впереди острова Лас-Трес-Мариас, лежащие на продолжении костлявого локтя Новой Испании,

Кабо-Коррьентес, то есть мыса Течений. Следующие двое суток прошли в напряжении. Два мыса: Сан-Лукас и Коррьентес — ограничивали вход в водное пространство, которое те, кто считал Калифорнию островом, называли проливом, а те, кто не считал, — заливом. Три Марии располагались в устье залива-пролива, но на удалении от испанских властей в Акапулько. Соответственно, здесь обычно зимовали английские и французские пираты. К опасности, связанной с людьми, добавлялись природные опасности: Три Марии практически соединялись с мысом Коррьентес протяжёнными мелями. Даже если бы команда «Минервы» спасла с галеона новейшие испанские карты, пользы бы это не принесло: сильные течения постоянно сносили песок, и очертания мелей менялись от прилива к отливу. Уверенно провести корабль через здешние воды могли бы только вышеупомянутые пираты. Впрочем, даже окажись они англичанами, ещё неизвестно, сочли бы они себя естественными союзниками «Минервы», французы же безусловно были бы врагами.

Однако на берегах Марии-Мадре, Марии-Магдалены и Марии-Клеопас обнаружились лишь несколько заброшенных бивуаков, частью пу-

стых, частью населённых жалкими оборванцами, которые при виде «Минервы» начинали палить в воздух — видимо, надеялись, что корабль подойдёт ближе.

— Пираты нынешнего урожая, если кто из них вообще обогнул мыс Горн, зимуют на Галапагосах, — сказал ван Крюйк как-то вечером, ужиная мясом черепах, выловленных с баркаса.

— Единственные пираты здесь — мы, — заметил Даппа.

Это не понравилось ван Крюйку, зато произвело впечатление на Эдмунда де Ада и Елизавету де Обрегон. Они раньше всех встали из-за стола, отошли к гакаборту и в тысячный раз принялись что-то обсуждать. «Будут всю ночь переписывать свои треклятые письма», — пообещал Джек.

На следующий день Эдмунд и Елизавета вновь совещались и вновь переписывали письма. «Минерва» бросила якорь у Марии-Мадре (самого большого из трёх островов). Баркас, гружённый чем-то тяжёлым, совершил несколько рейсов между кораблём и берегом. Обоих пассажиров заперли на это время в каютах, а видеть из окон, что в баркасе, они не могли — груз закрывала парусина. В трюм их не пускали. Напрашивалось предположение, что ртуть закапывают на берегу,

а вместо неё везут на корабль балласт. Однако это могла быть игра в напёрстки, и в таком случае ртуть просто возили туда-обратно.

Спектакль повторился через два дня на мысе Коррьентес, и лишь после этого ван Крюйк отдал долгожданный приказ: идти с попутным *вирасоном* к Новой Галисии, самой северной части обжитого побережья. Вулканические горы этого края казались голыми и бесприютными, но когда зашло солнце, с «Минервы» увидели сигнальный огонь на вершине и поняли, что их заметили дозорные. Это значило, что сейчас гонец во весь опор мчит в Мехико, за пятьсот миль по опасной горной дороге, чтобы сообщить о появлении идущего с запада корабля. Елизавета де Обрегон сказала, что теперь всё население Мехико (почти целиком состоящее из монахов и монахинь, поскольку вся земля в городе принадлежит церкви) будет молиться дни и ночи напролёт, пока от дозорных, расставленных дальше на побережье, не придут письма с подтверждением, что это и впрямь манильский галеон.

Разумеется, в данном случае это был *не* галеон, и письмам предстояло сообщить что-то иное. И писать их должны были пассажиры, спасённые с галеона. Ван Крюйк тоже составил отчёт

для вице-короля. Многое зависело от того, как в письмах будет подана роль «Минервы». Всю дорогу от Золотых Ворот до мыса Сан-Лукас Елизавета и Эдмунд писали и переписывали свои послания; исправления вносились до той минуты, когда письма передали в баркас. Чамелская бухта, большая и хорошо защищённая от ветра, слишком мелка для крупных кораблей, поэтому «Минерва» прошла мимо и ещё несколько часов двигалась вдоль побережья к более глубокой бухте Навидад. За это время алькальд Чамелы, скакавший вдогонку на лошади, должен был сообразить, что перед ним не манильский галеон и произошло нечто непредвиденное. Однако лишь когда баркас подошёл к берегу на расстояние окрика, о трагедии в Тихом океане стало известно кому-либо, кроме её свидетелей. Как только скорбная новость преодолела зазор между шлюпкой и пристанью, раздались проклятия, молитвы, плач и (с некоторым запозданием) колокольный трезвон. Мойше скорчил мину и вновь повернулся к Джеку:

— Хотя Эд и Лиззи (так называл пассажиров Джек, а остальные у него подхватили) фактически наши пленники, они могли бы сказать: «Вы без провианта, корабль нуждается в починке,

ваша ртуть ничего не стоит, пока нет способа доставить её на рудники Перу или Новой Испании. Только в больших портах, Акапулько, Лиме или Панаме, вы сможете её продать и получить то, в чём отчаянно нуждаетесь. Если вас туда не пустят, вы останетесь куковать на каком-нибудь пиратском островке, потому что не сможете в таком состоянии обогнуть мыс Горн. От нескольких слов на пергаменте, написанных нами и скреплённых нашими печатями, зависит, примут вас как героев или будут преследовать как пиратов».

— Они могли бы так сказать, — согласился Джек, — но не сказали.

— Да. Поскольку это означало бы переговоры, которых они всячески избегали. Вот почему я начал заливать про каббалистику и уверил Эда с Лиззи, будто за моей спиной — маги и алхимики Соломоновых островов. Это, как и ртуть, которую мы то ли спрятали, то ли не спрятали на Марии-Мадре и мысе Коррьентес — наши фальшивые козыри.

— Даппа читал их письма, — заметил Джек. — Он признал, что латынь, на которой они написаны, для него чересчур витиевата и что-то может скрываться в нюансах, но вроде бы нас представили в благоприятном свете.

— По крайней мере нас не казнят без суда и следствия, — проговорил Мойше.

— Ты, как всегда, умеешь подбодрить.

Тем временем из порта Навидад отрядили шлюпку с провиантом. Единственное лекарство от цинги — сойти на сушу, однако с тех пор, как путешественники начали употреблять в пищу плоды земли, зубы уже не выпадали, а дёсны приобрели более здоровый оттенок. На том, что доставит шлюпка, им предстояло дотянуть до Акапулько. Как выяснилось, везла она не только провиант, но и новости из Мадрида: король Карл II, Страдалец, отдал-таки Богу душу.

Всем на «Минерве» было глубоко плевать, к тому же событие не стало неожиданностью — христианский мир ждал его тридцать лет. Однако, поскольку сейчас они были в Испанской империи, все постарались сделать серьёзные лица. Эдмунд де Ад перекрестился. Елизавета де Обрегон закрыла лицо руками и без единого слова ушла в каюту. Джек наивно думал, что она молится за упокой усопшего монарха, пока не ушёл в свою каюту вздремнуть и не услышал, как за переборкой Елизавета скрипит пером, строча очередные письма.

Ещё неделю шли вдоль берега, засаженного

плантациями какао и ванили. Двадцать восьмого мая впервые с отплытия из Манилы увидели город — россыпь лачуг, которую встающие позади зелёные горы грозили спихнуть в море. Судя по крутизне склонов, бухта была глубокая — и впрямь, большие корабли швартовались прямо к деревьям на берегу! Впрочем, вход в неё был извилист: тартана, вышедшая навстречу «Минерве», несколько раз поворачивала свои три латинских паруса, прежде чем оказалась в открытом море. Она несла две шестифунтовые пушки и несколько фальконетов, то есть по сравнению с «Минервой» была практически безоружна. Однако пёстрые резные украшения и неимоверной геральдической сложности штандарт указывали, что она принадлежит какой-то важной особе — по словам Елизаветы де Обрегон, кастеляну, высшему должностному лицу Акапулько. Тартана забрала спасённых с галеона пассажиров. «Минерва» получила указание не заходить в бухту, а пройти ещё несколько миль до Пуэрто-Маркеса.

Ван Крюйк о нём слышал. В Пуэрто-Маркес приходили из Перу корабли с серебряными чушками и другим контрабандным товаром, который не пристало разгружать под окнами замка в Ака-

пулько. Так что они без сожалений миновали город, состоящий исключительно из лачуг и монастырей, и через несколько часов бросили якорь в Пуэрто-Маркесе. Он выглядел ещё более жалко — не столько порт, сколько становище бродяг, чернокожих, мулатов и метисов.

Мойше отправился с первой шлюпкой, бросился ничком на берег и поцеловал песок.

— Господь свидетель, я больше никогда не ступлю ногой на корабль!

— Если ты это Богу, то почему на сабире? — крикнул Джек с юта «Минервы».

— Бог далеко, — объяснил Мойше, — и ловить меня на слове придётся людям.

Позже Даппа сошёл на берег и потолковал с тамошними неграми. Человек пять были с той же реки, что и он, и говорили на похожем языке. Всех их захватили и продали в Бони другие африканцы, а оттуда, заклеймив тавром Королевской Африканской компании, английским кораблём доставили на Ямайку.

Другими словами, все они были из той части Африки, уроженцы которой известны ленью и непокорным нравом, к тому же в дороге приобрели дополнительные изъяны: конъюнктивит, седину, дистрофию, нарывы или заразного вида

кожные воспаления. Плантаторы отказались брать порченый товар даже забесплатно. Капитан-англичанин не собирался везти чёрных невольников назад в Африку и бросил их в Кингстоне, надеясь, что сами подохнут. Место, надо сказать, он выбрал правильное, ибо Кингстон, наверное, самый грязный город на планете. По большей части невольники не заставили себя уговаривать и честно померли. Однако пятеро собеседников Даппы, каждый своим путём, выбрались из города и пристали к шайкам беглых рабов и туземцев, которые кочевали по Ямайке, воруя кур и бегая от облав.

Их компанию занесло на необжитой участок побережья в западной части острова, где, по слухам, можно было прокормиться рыбной ловлей. Примерно через год судьба свела их с английскими искателями приключений, прибывшими на бриге с запада, то есть со стороны Новой Испании. Англичане — судя по описанию, неудачливые буканьеры — отыскали проход в барьерном рифе, доселе закрывавшем доступ к некоему участку Москитового берега, в семистах милях к западу от Ямайки. Теперь они собирались в Кингстон за порохом, пулями, свиньями и тому подобным, чтобы вернуться и основать поселение.

Здесь рассказчик — лысый седобородый негр по имени Амбо — не входя в подробности, как и о чём они договорились с англичанами, сказал просто, что человек десять из их шайки решили присоединиться к буканьерам и основать деревушку в месте под названием Холовер-Крик неподалёку от устья реки Белиз. Однако местность была нездоровая, англичане пили по-чёрному и вели себя с каждым днём всё безобразнее. Те африканцы, которых болезни и ураганы не выкосили в первые же месяцы, двинулись в край заросших джунглями пирамид (здесь выпущено длинное и неправдоподобное эпическое повествование). В своих скитаниях они ненароком вышли через Тегуантепекский перешеек (по крайней мере, так заключил изучавший карты Джек) к Тихоокеанскому побережью и со временем осели в Пуэрто-Маркесе.

В Акапулько, объяснил Амбо, настолько жарко, тесно и голодно, что бóльшую часть года там мыкаются лишь солдаты гарнизона, отчаянные миссионеры и тому подобная публика — индейцы, метисы, забракованные рабы. Только к прибытию манильского галеона или морского каравана из Лимы белые люди спускаются с гор, выгоняют из своих домов поселившихся

там бродяг и превращают Акапулько в некое подобие города. Так произошло неделю назад, потому-то на пляже в Пуэрто-Маркесе ночует столько бездомных; однако уже стало известно, что пришедший корабль — не манильский галеон, и разочарованные купцы гуртом потянулись из города, бросив пустые дома, куда вскорости и переберутся бродяги.

Естественно, вся команда «Минервы» хотела сойти на берег, но ван Крюйк отпускал по одной вахте и ставил рядом с баркасом вооружённую охрану. Другими словами, он боялся, что испанцы под каким-нибудь предлогом попытаются захватить груз, и «Минерва» вынуждена будет искать убежища на Галапагосах или других пиратских островках. Джек был настроен оптимистичнее. Испанцы должны понимать, считал он, что при попытке захватить «Минерву», она либо затонет, либо уйдёт от погони; в любом случае рудники Новой Испании не получат её ртуть. А если испанские власти начнут финтить, она просто отправится в Лиму и ртуть попадёт в Потоси, на самые большие серебряные рудники мира.

В любом случае надо было ждать, пока письма Эдмунда де Ада и Елизаветы де Обрегон доставят в Мехико, пока важные люди их прочитают и

пришлют ответ. На всё про всё потребовалось шестнадцать дней. Ван Крюйк ни разу не сошёл на берег; он либо сидел в каюте и что-то подсчитывал, либо расхаживал по палубе, высматривая в подзорную трубу вражеские армады. Врежа Исфахняна снарядили в Акапулько за лесом для починки корабля. Он отсутствовал около полутора суток, и ван Крюйк уже собирался посылать на выручку вооружённый отряд, но тут из Акапулькской бухты вышла баржа со всем необходимым. Вреж, беззаботно стоя на новой фок-мачте, объяснил задержку тем, что Акапулько — единственный крупный торговый порт мира, где нет ни одного армянина, и поэтому ему пришлось вести дела со всякими тупицами.

Предстояло установить фок-мачту, закрепить рангоут и натянуть такелаж. В океане, где смотреть не на что, Джека, возможно, и заинтересовал бы этот процесс, сейчас же только напомнил лишний раз, как осточертела ему корабельная жизнь. Он проводил время на берегу, толкуя с бродягами и бездельниками и выясняя, кто из них идиот, а кто просто независимо мыслит. Амбо и его шайка явно принадлежали к последнему типу. Другие обитатели пляжа не могли поведать столь содержательных историй; их можно было

раскусить только во время хмельного веселья. Джек давно утратил вкус к разгулу как таковому, но помнил, как это делается, и вполне мог изображать беспечного собутыльника, оставаясь расчётливым и сосредоточенным. Помогали ему сыновья, отдававшиеся делу со всей душой.

Верховая езда считается аристократическим искусством. Коли так, среди сброда в Пуэрто-Маркесе половину составляли незаконные сыновья принцев и герцогов. Новая Испания плодила лошадей, как Лондон — блох; многие метисы и мулаты ездили верхом почище иных дворян, даже без седла. Джек, разумеется, последним в мире сказал бы, что умение ездить верхом — знак высокого рождения. Однако он знал, что дурной наездник наказывает сам себя и что норовистые лошади за милю чуют глупцов и фанфаронов. Некоторые обитатели Пуэрто-Маркеса для забавы ловили мустангов и во весь опор носились взад и вперёд по пляжу, заставляя лошадь на полном скаку забегать в пенные волны. Джек за выстрел видел белые зубы хохочущих наездников. Позже, когда те подкреплялись местной едой (плоскими маисовыми лепёшками, в которые заворачивали бобы с острой подливкой), он подсаживался к костру и пытался что-нибудь об

этих людях выведать; угощал их ромом, чтобы отсеять пьяниц. Больше всех Джеку понравился Томба, один из спутников Амбо. Он был не выбракованный невольник, а беглый с сахарной плантации на Ямайке. Шрамы на спине подтверждали часть рассказа, а именно, что он сбежал от надсмотрщика, который иначе засёк бы его до смерти. За время, проведённое на плантации и в английском поселении на Москитовом берегу, Томба немного освоил английский и вечерами просиживал с Джимми и Дэнни, рассуждая, какие англичане в большинстве своём сволочи.

Спустя три недели после того, как «Минерва» бросила якорь в Пуэрто-Маркесе, из Акапулько приехал Эдмунд де Ад с запечатанными письмами от вице-короля Мексики. Первое было адресовано ван Крюйку, второе — вице-королю Перу в Лиму. Ван Крюйк вскрыл своё в кают-компании «Минервы». Присутствовали де Ад, Джек, Даппа и Вреж.

Мойше клятва вынуждала оставаться на суше. Позже Джек в ялике отправился на берег и застал еврея жующим тако.

— Моим бродяжьим башмакам не стоится на месте, — объявил Джек. — Думаю, завтра сколотим отряд из *вакеро* и *десперадо* и начнём

снаряжать караван мулов.

Мойше дожевал кусок тако и старательно проглотил.

— Значит, новости хорошие.

— Мы гнусные еретики и барыги, нас надо бы гнать кнутами до самого Бостона, считает вице-король… но Эдмунд де Ад замолвил за нас словечко.

— Это версия Эда или…

— Так чёрным по белому написано в письме вице-короля, во всяком случае, если верить нашим грамотеям.

— Ладно, — с сомнением проговорил Мойше. — Не очень-то приятно зависеть от этого янсениста…

— Мы так и так от него зависим, — сказал Джек. — Помнишь малого, с которым мы договаривались в Санлукар-де-Баррамеда?

— Торгового агента? Смутно.

— Не обязательно помнить его самого, довольно помнить категорию, к которой он принадлежит.

— Испанских католиков, служащих ширмой для протестантских купцов…

— …потому что еретикам не дозволено торговать в Испании. Всё верно.

— Вице-королю нужна наша ртуть, — сказал

Мойше, — но пока в Мехико есть инквизиция, он не может позволить протестантам и еврею заключать сделки в его стране. Поэтому настаивает, чтобы мы нашли себе посредника из папистов.

— Верно, — отвечал Джек.

— И… можешь не говорить. Наш посредник Эдмунд де Ад. Неспокойно мне.

— Тебе всегда неспокойно, и, как правило, по делу, — сказал Джек. — Только бога ради, оглядись и задумайся. Нам нужен католик, от этого никуда не деться. Эд как бельгийский янсенист самый некатолический католик, какого нам удастся сыскать, к тому же мы хоть что-то про него знаем.

— Знаем ли? Сказать о нём что-нибудь могла бы только Елизавета де Обрегон, а она была под его влиянием с тех пор, как очнулась.

Джек вздохнул:

— Надо ли говорить, что ты в меньшинстве?

Мойше передёрнул плечами:

— Не надо было давать вам право голоса… мой план этого не предусматривал.

— Мы не собираемся назначать его главным, — сказал Джек. — Он будет всего лишь нашим посредником здесь и в Лиме. Отправится туда на «Минерве», продаст ртуть, которую мы не раз-

грузим здесь, и до свидания. «Минерва» оставит его в Лиме, обогнёт мыс Горн и будет ждать нас в Веракрусе или Гаване через год-два. Эдмунд де Ад может оставаться в Перу и обращать инков в экуменизм, а может вернуться в Мехико… нам-то что.

— Мне-то точно ничего, я своё отплавал, — отвечал Мойше. — Если Эдмунд де Ад что-нибудь выкинет, надену пончо и сомбреро, нагружу седельные сумы пиастрами и поеду на север.

— Отлично, — сказал Джек, — только прежде научись ездить верхом. Это потруднее, чем грести.

Книга 5
Альянс

Дворец Шарлоттенбург, Берлин
Июль 1701

— Ваше Высочество, когда я был мальчиком — гораздо меньше, чем вы сейчас, как ни трудно это представить, — от меня заперли библиотеку, и я очень огорчился, — сказал лысый господин, ведя по галерее юную девушку. — Умоляю понять, как больно мне было на прошлой неделе запирать от вас вашу…

— Но ведь она на самом деле не моя, а дяди Фрица и тёти Фике!

— Вы проводите там столько времени, что её можно считать вашей.

— Покуда она была закрыта, вы без промедления приносили мне все книги, какие я просила. На что мне обижаться?

— Верно, ваше высочество, моё желание извиниться перед вами совершенно иррационально, что и требовалось доказать.

— Это из разряда барочных апологий, с которых придворные начинают письма?

— Надеюсь, что нет. Апология может быть искренней, не будучи рациональной.

— В то время как апологии придворных, напротив, неискренни, но просчитанны, — заметила принцесса.

— Сказано хорошо, хотя и чересчур громко, — отвечал доктор. — В этих гулких галереях ваш голос разносится на милю; придворный, выхвативший из воздуха неосторожные слова, помчится с ними в салон, как щенок, стащивший куриную ножку.

— Тогда идёмте сюда, где мой голос будут заглушать книги и куда придворные никогда не заглядывают. — Каролина остановилась перед дверью библиотеки, ожидая, чтобы доктор её открыл.

— Сейчас вы увидите ваш подарок ко дню рождения. Надеюсь, вам понравится.

Доктор вынул из кармана ключ на голубой шёлковой ленте. С одного конца у него была богато украшенная головка, с другого — что-то вроде трёхмерного лабиринта в стальном кубе. Лейбниц вставил куб в квадратное замочное отверстие, пошевелил, совмещая с внутренним механизмом, и повернул. Прежде чем открыть дверь, он вытащил ключ из замка и повесил его принцессе на шею.

— Поскольку вы не сможете забрать подарок с

собой, надеюсь, вы будете носить ключ как залог. И пусть эта дверь остаётся для вас открытой!

— Спасибо, доктор. Когда я стану королевой какой-нибудь страны, я выстрою библиотеку больше Александрийской и вручу вам золотой ключ от её двери.

— Боюсь, к тому времени я состарюсь и ослепну, так что не смогу читать книги, но ключ с благодарностью унесу в могилу.

— Какой эгоизм с вашей стороны — тогда никто не сможет попасть в библиотеку! — закатила глаза Каролина. — Открывайте же, доктор, мне не терпится увидеть!

Лейбниц распахнул двойные створки и попятился в открытую дверь, не отрывая взгляда от принцессиного лица. В её голубых глазах отразился свет высоких окон и зажжённых бенгальских огней, воткнутых в вёдра с песком и придававших помещению сходство с деньрожденным тортом.

Библиотека занимала в высоту два этажа. По всему её периметру шёл балкончик, позволявший доставать книги с верхних полок, в стенах и расписном своде были проделаны многочисленные сводчатые окна, дабы «тётя Фике» (сокращённое от «Фикелотта», как называли королеву Софию-Шарлотту в семье) и её учёные друзья могли

читать вечерами, не зажигая свечей. Окна эти были приоткрыты, чтобы в помещение струился тёплый летний воздух, а дым от бенгальских огней выходил наружу. Роспись состояла из того же набора классических сцен, что украшал потолки в доме каждого богатого европейца, хотя богов и богинь изобразили белокурыми и голубоглазыми, и Юпитер с тем же успехом мог быть Вотаном. Плафоны были выполнены столь искусно, что казалось, будто вместо крыши — синее небо и божества спрыгивают с пенистых облаков. Дымки́ от бенгальских огней, завиваясь и распластываясь на лепнине, усиливали иллюзию.

Зазвучали приветствия и песенка со стороны гостей, пришедших пожелать Каролине счастья. День рождения принцессы отмечали в узком кругу, и присутствовали всё больше люди старшего возраста. Семидесятиоднолетняя София приехала из Ганновера в одной карете с Лейбницем и внуками: Георгом-Августом (на несколько месяцев младше Каролины) и Софией-Доротеей (ещё на четыре года моложе). София-Шарлотта (Фикелотта), королева Пруссии и хозяйка дворца, носящего её имя, была со своим сыном Фридрихом-Вильгельмом, неугомонным сорванцом тринадцати лет от роду. Список гостей дополняло

самое пёстрое собрание метафизиков, математиков, радикальных богословов, писателей, поэтов и музыкантов, когда-либо сходившееся на празднике в честь восемнадцатилетия принцессы.

У королевы Пруссии было две страсти: провоцировать гостей на жаркие застольные споры и ставить домашние оперы. И только в этом ей случалось жестоко тиранить подданных: когда она заставляла какого-нибудь несчастного учёного напяливать дурацкий колпак и разыгрывать роль, на которую тот был решительно не способен. Принцессу Каролину время от времени рекрутировали спеть партию ангела или нимфы. Ничто, за исключением, быть может, сражения бок о бок, не связывает в корне непохожих людей столь крепкими узами, как совместная игра на сцене, и Каролина близко сдружилась со всеми этими взрослыми, вынужденными, как и она, отбывать повинность на подмостках Шарлоттенбурга.

С бокалами и бенгальскими огнями в руках они собрались посреди библиотеки вокруг пьедестала из полированного вишнёвого дерева. На нём, нависая над головами гостей, стоял огромный, сферической формы предмет.

— Клетка! — воскликнула Каролина.

Черты Лейбница исказило отчаяние, которое быстро сменилось заинтригованным выражением, как будто принцесса затронула прелюбопытный вопрос. Он склонил голову, что могло означать и кивок, и поклон.

— Вы правы. Геометры заключили в параллели и меридианы шар, который, будучи покрыт извилистыми линиями берегов и рек, представляется грубым на взгляд тех, кто видит красоту в упорядоченности. Тем же, кто любит Природу в её многообразии, претит искусственность геометрических построений; птица, увиденная сквозь прутья клетки, не так хороша, как на воле. Однако я прошу ваше высочество смотреть на это скорее как на компендиум знаний. Перед вами карта земного шара, не расплющенного картографами, а как он есть.

Глобус был установлен под углом, соответствующим наклону земной оси. Неисследованная часть Тихого океана опиралась на пьедестал, Южный полюс располагался на высоте Каролининой головы. Конструкция и впрямь напоминала огромную клетку из медных параллелей и меридианов. Большая часть поверхности (океаны) зияла пустотой; медные пластины континентов были приклёпаны к прутьям изнутри, так что

координатная сетка располагалась сверху — по крайней мере, если смотреть снаружи. На Южном полюсе помещался причудливых очертаний полностью вымышленный материк, а в середине его был вырезан круглый люк, к которому с пола вела лесенка.

Доктор Крупа (богемский математик, проживавший в Шарлоттенбурге на правах постоянного гостя) сказал:

— Ваше высочество, некоторые считают, что на полюсах расположены отверстия, через которые возможно попасть внутрь Земли. Сейчас вы можете сами проверить эту гипотезу.

Принцесса словно позабыла, что в комнате ещё кто-то есть; она даже не поздоровалась с тётей Софией и тётей Фике. Девушка стояла перед ступеньками, округлившийся от изумления рот повторял в миниатюре контуры отверстия, куда она собиралась нырнуть. Даже Фридрих-Вильгельм ненадолго угомонился, чувствуя волнение взрослых, но не понимая его причины. Почти никто уже не помнил, что принцесса Каролина Ансбахская была когда-то нищей сироткой. Однако сейчас, когда она стояла под дырой в Антарктике, не видя и не слыша ничего вокруг, в ней было что-то от маленькой девочки, которая

пять лет назад вступила на порог Шарлоттенбурга, сопровождаемая двумя натурфилософами и сворой прусских драгун.

Она улыбнулась и пролезла в дыру. Взрослые перевели дух и зааплодировали. Фридрих-Вильгельм, пользуясь тем, что никто на него не смотрит, подкрался к Георгу-Августу и треснул его книжкой по голове. Лейбниц, не слишком привычный к детям, смотрел на них в полной растерянности. Тут он поймал на себе весёлый взгляд Софии.

— Началось, — шепнула она, — мальчики уже воюют за внимание Каролины.

— Это так следует понимать? — недоверчиво проговорил Лейбниц, глядя, как Георг-Август*, на пять лет старше и в два раза крупнее противника, шарахнул Фридриха-Вильгельма** о глобус поменьше, сдвинутый в угол, чтобы освободить место для нового.

Папье-маше проломилось, и глобус остался у Фридриха-Вильгельма на голове, придав ему сходство с неким антиподом-макроцефалом.

Все эти шалости старательно не замечал некий мсье Молино, литератор-гугенот, живший в Берлине с тех пор, как в Савойе вырезали его семью.

— Почему не считать мир клеткой, в которой

заключён наш дух? — глубокомысленно проговорил он.

— Потому что Бог — не тюремщик, — резко начал Лейбниц, но осёкся, когда София острым локотком двинула его в бок.

Принцесса Каролина села на вращающийся табурет в центре глобуса. Упираясь бальной туфелькой в пересечение двадцатого западного меридиана и сороковой южной параллели, так что атласный носок исполинским белым китом вынырнул из Южной Атлантики, она сильно оттолкнулась и закружилась.

— Я вращаюсь! Мир вращается вокруг меня!

— Солипсизм, — сухо заметил кто-то.

— Всё не так просто, — проговорил Лейбниц. — Это глубокий натурфилософский вопрос. И впрямь, как определить, неподвижны мы во вращающейся вселенной или кружимся в неподвижном космосе?

— Ух! Голова закружилась! — крикнула Каролина, объясняя, почему упёрлась ногами и остановила глобус.

— Вот и ответ, — сказал доктор Крупа.

— Отнюдь нет. Вы считаете, что головокружение есть внутренний симптом нашего вращения. Однако не может ли оно быть порождаемым

извне следствием того, что вселенная кружится вокруг нас?

— Нельзя мучить девушку метафизикой в день её восемнадцатилетия, — объявила София.

— Здесь темно, — сказала Каролина. — Я не вижу карт.

Владислав — польский тенор, певший ведущие партии почти во всех операх при дворе Софии-Шарлотты, — зажёг бенгальский огонь и протянул через центральную часть Тихого океана. Принцессу загораживала Бразилия, но Лейбниц видел, как сфера озарилась изнутри — отполированная медь, вбирая свет из воздуха и рассыпая его вокруг, словно занялась огнём. Мгновение казалось, будто клетка наполнена пламенем, и у Лейбница сердце заколотилось от страха, что на девушке вспыхнуло платье. Тут из глобуса донёсся её радостный голос, и доктор рассудил, что его страшит нечто большее, нежели беда, которая может приключиться с одной осиротевшей принцессой.

— Теперь я вижу все реки, выложенные бирюзой, и все озера, и все леса из зелёного черепахового панциря! Города — драгоценные камни, и через них сияет свет!

— Так выглядела бы Земля, будь она прозрач-

ной, если бы вы оказались внутри и смотрели из её центра, — произнёс отец фон Миксниц, иезуит из Вены, каким-то способом сумевший втереться на праздник.

— Знаю, — с досадой отвечала Каролина.

Повисла долгая, раздражённая тишина. Каролина оказалась самой отходчивой.

— Я вижу в Тихом океане два корабля. Один полон ртутью, другой — пламенем.

— Я их на чертежах не рисовал! — пошутил Лейбниц, пытаясь, согласно указаниям Софии, внести в разговор нотку веселья. — Надо будет сделать внушение мастерам!

— Подумайте, ваше королевское высочество, — продолжал отец фон Миксниц, — вы можете повернуться кругом, на все триста двадцать градусов…

— Триста *шестьдесят!*

— Да, ваше высочество, я хотел сказать, на триста *шестьдесят* градусов — и ни разу не потерять из виду Испанскую империю. Не удивительно ли, как богаты и обширны владения испанской короны?

— Тётушка София говорит, скоро они могут стать владениями французской короны, — отозвалась Каролина.

— И впрямь, сейчас на испанском троне сидит узурпатор-француз…

— Тётушка София говорит, всё решает женщина за троном.

— Верно, — отвечал иезуит, косясь на Софию. — Многие утверждают, что герцог Анжуйский, называющий себя королём Филиппом Пятым Испанским, не более чем пешка в руках принцессы дез Урсен, близкой приятельницы мадам де Ментенон. Однако герцогу Анжуйскому недолго сидеть на испанском троне, поскольку ему противостоят женщины куда более умные, влиятельные и красивые.

— Тётушка София говорит, что не любит льстецов, — донёсся голос изнутри медной планеты.

София, уже готовая раздавить иезуита, как таракана, повела себя несвойственным образом — замялась, не зная, досадовать ей на иезуита или умиляться на Каролину.

— Не лесть, ваше высочество, сказать, что ваша тётушка вместе с королём Вильгельмом или королевой Анной, которая может его сменить, сильнее Ментенон и дез Урсен. И позиции их ещё укрепятся, если *законный* наследник испанского трона, эрцгерцог Карл, женится на принцессе, вылепленной из того же теста, что София и Со-

фия-Шарлотта.

— Однако эрцгерцог Карл — католик, а тётушка София и тётушка Фике — протестантки… и я тоже, — отвечала Каролина, рассеянно отталкиваясь ногами от меридианов — вправо-влево, вправо-влево, — чтобы разглядеть Панамский перешеек с обеих сторон.

— Знатным особам случается менять религию, — сказал иезуит, — особенно если они способны внимать доводам разума. Я собираюсь поселиться в Берлине и рад буду обсудить с вами эти материи в грядущие годы, когда вы повзрослеете душою и телом.

— Можно не ждать, — объявила Каролина. — Я вам прямо сейчас объясню. Доктор Лейбниц мне всё про религию рассказал.

— Уже? — Отец фон Миксниц слегка опешил.

— Ну да. А теперь скажите, святой отец, вы из тех католиков, которые по-прежнему не верят, что Земля вращается вокруг Солнца?

Отец фон Миксниц проглотил язык и с трудом отрыгнул его обратно.

— Ваше высочество, я верю в то, что доктор Лейбниц сказал минуту назад: всё относительно.

— Я говорил совсем другое, — запротестовал Лейбниц.

— Вы верите в пресуществление хлеба и вина, святой отец? — продолжала Каролина.

— Я не был бы католиком, если бы не верил в него, ваше высочество.

— Мы в Польше справляем дни рождения не так, — заметил Владислав, подливая себе пунша.

— Ш-ш-ш! Мне очень весело, — отвечала София.

— Что, если вы проглотите их, а потом вас стошнит? Останутся ли они телом и кровью Христовыми? Или распресуществлятся и вновь станут хлебом и водой?

— Столь серьёзные вопросы — не для легкомысленного ума восемнадцатилетней девицы. — Отец фон Миксниц побагровел до корней волос и выплёвывал слова по одному, словно его язык — кузнечный молот, приводимый в движение мельничным колесом.

— За легкомыслие! — Королева София-Шарлотта с обворожительной улыбкой подняла бокал, однако взгляд, которым она провожала отца фон Миксница, когда тот, откланявшись, выходил в дверь, был взглядом сокола, устремлённым на хорька.

— Что ещё вы видите в пустоте, помимо кораблей с ртутью и пламенем? — спросил доктор

Крупа.

— Вижу первый корабль, входящий в выстроенный русским царём город Санкт-Петербург. Кажется, голландский. А в Атлантическом океане и в Карибском море голландские и английские корабли устремляются в бой с испанскими и французскими…

Тут её бенгальский огонь погас. По рядам зрителей прокатился сочувственный вздох.

— Я больше ничего не вижу! — посетовала Каролина.

— Будущее — загадка, — молвила София.

София-Шарлотта последние несколько минут улыбалась явно вымученно.

— По крайней мере, первые секунды подарок был для неё тем, чем задуман, — сказала она Лейбницу.

— О чём вы, ваше величество?

— Я хочу сказать, диковиной и радостью, а не пособием по выбору мужа.

— Про выбор мужа ей всё расскажет ваше величество, — отвечал Лейбниц.

Мгновение душевной теплоты между учёным и Софией-Шарлоттой прервал Фридрих-Вильгельм, подбежавший, чтобы спрятаться за материными юбками. Георг-Август вытащил из ведра большой

бенгальский огонь и выбрался на балкончик. Точно скопировав позу с росписи потолка, он целился в кузена, словно Юпитер, занесший молнию над смертным.

Лейбниц откланялся, чтобы София-Шарлотта могла отчитать сына. Проходя под глобусом, он увидел, что туфельки принцессы Каролины мелькают из стороны в сторону: она поворачивалась то к Георгу-Августу, то к Фридриху-Вильгельму, напевая детскую песенку, которой выучилась у наставницы-англичанки: «Энни-венни-менни-май… женишка за хвост поймай… Англия, Пруссия, выбирай… да смотри, не прогадай… энни-венни-менни-май!»

Книга 4
Бонанца

Мехико, Новая Испания
Суккот 1701

…Ты скипетр золотой
Презрел; теперь прими железный жезл,
Который поразит и сокрушит
Твою строптивость.

Мильтон, «Потерянный рай»

– *Каррамба!* — вскричал Диего де Фонсека. — *Кукарача* упал в *тортильи* моей жены!

Мойше увидел это раньше, чем де Фонсека, и вскочил ещё до того, как возглас «Каррамба!» эхом возвратился от дальней стены тюремного двора. Когда он навис над столом, его огромные чётки — грецкие орехи на кожаном шнурке — окунулись в миску с мёдом. Рукав задрался, обнажив лестницу рубцов — от старых до совсем свежих; плечевой сустав громыхнул, как бочка на булыжной мостовой. Почти каждый из сидящих за столом почувствовал отзвук боли в своих плечах и с шумом втянул воздух. Улыбка Мойше превратилась в жуткую гримасу, однако он всё же схватил тарелку сеньоры де Фонсека и

стряхнул тортильи на стол.

— Разрешите положить вам другие…

Диего де Фонсека покосился на жену, которая запрокинула голову, сократив число своих подбородков до трёх, и разглядывала лиственный полог, вибрирующий от шестиногой живности. Начальник тюрьмы, тоже человек солидной комплекции, повернулся к Мойше и сказал:

— Очень по-христиански с вашей стороны… но мы предпочитаем тортильи на свином сале и впервые видим, чтобы их готовили на оливковом масле…

— Я могу отправить индейца за…

— Не хлопочите, мы уже сыты. К тому же…

— Я как раз собирался это сказать! — встрял Джек. — К тому же вы с сеньорой сегодня отправитесь *домой!*

Начальник тюрьмы подвигал челюстью и глянул на Джека с тем же чувством, с каким его супруга минуту назад рассматривала таракана. По счастью, сейчас внимание сеньоры было занято другим.

— Вы здесь так печётесь о чистоте, — заметила она, поглядывая на соседнюю галерею, в которой несколько заключённых водили по каменным плитам пучками ивовых веток, — а садитесь есть

под навесом из лиан.

— Судя по тону, вы дивитесь нашей безалаберности, в то время как дама, в меньшей мере наделённая христианским милосердием, рассердилась бы на нашу грубость, — сказал Мойше.

— Вот-вот! Те малые с прутьями не столько подметают пол, сколько секут его!

— Это монахи-евреи, которых мы арестовали в доминиканском монастыре три года назад, — объяснил Диего.

В устах другого начальника инквизиционной тюрьмы фраза прозвучала бы осуждением, если не приговором. Однако тюрьма, которой заведовал Диего де Фонсека, слыла самой мягкой и попустительской во всей Испанской империи. Он просто сообщил факт, после чего затолкал в рот обмазанную мёдом лепёшку.

— Тогда всё понятно! — воскликнул Мойше. — Доминиканцы невероятно богаты, у каждого монаха по пять индейцев в услужении, где им было научиться домашнему хозяйству. — Он сложил ладони рупором: — Эй, брат Христофор! Брат Пётр! Брат Диас! Здесь *дамы!* Попробуйте *мести* двор, раз уж вы машете вениками!

Три монаха, выпрямившись, взглянули на Мойше, затем вновь нагнулись и принялись сгонять

пыль с каменных плит. Вулканический пепел заклубился у их колен.

— Что до жалкой кровли, прошу нас простить, сеньора, — продолжал Мойше. — Нам нравится отдыхать во дворе после допросов у инквизитора, вот мы и уговариваем лианы расти так, чтобы они заслоняли нас от полуденного солнца.

— Тогда вам следовало бы удобрять их навозом, а то я отчётливо вижу сквозь них звёзды…

Естественным ответом было бы: «Навозом?! Вот уж чего у нас вдоволь — священники льют его нам в уши целыми сутками, а мы радостно возвращаем инквизитору!» — однако прежде, чем Джек успел это выпалить, Мойше, взглядом приказывая ему молчать, произнёс:

— Когда они защищают нас от солнца, мы благодарим Господа Иисуса Христа, когда нет — вспоминаем, что всецело зависим от покровительства Отца Небесного.

Еда для праздника, принесённая родными заключённых, была сложена на столе в углу тюремного двора под шалашиком из бугенвиллей. По большей части это были плоды урожая, преимущественно тыквы, запечённые с карибским сахаром и манильской корицей, а также разнообразные бобы. Джек предпочитал мягкую пищу

с тех пор, как лишился большей части зубов по пути через Тихий океан. Правда, в Гуанахуато он заказал индейцу вставные из золота и резных кабаньих клыков, но они сгинули в недрах инквизиции вскоре после ареста. Возможно, какой-нибудь альгвасил или монах в эту самую минуту жевал свинину его зубами сразу за стеной, в дормитории верховного совета инквизиции.

— Я принимаю ваши извинения и закрываю глаза на вашу лесть, — сказала сеньора де Фонсека. — Дама, посещающая в тюрьме светский приём, организованный мужчинами — к тому же еретиками и нехристями! — должна быть готова к некоторым неудобствам. Потому-то все мужчины стремятся к браку, не так ли?

Наступила долгая пауза, неудобная для упомянутых еретиков и нехристей. С каждой минутой она становилась всё более опасной. Наконец Джек под столом пнул Соломона Руиса в ногу. Тот раскачивался взад-вперёд и что-то бормотал. Когда Джеков башмак коснулся его лодыжки, он открыл глаза и воскликнул:

— Ой, вэй!

Все ахнули, и он быстро исправился:

– *Oigo misa*! [31]

— Ты слышишь мессу? — оторопело переспросил Диего де Фонсека.

– *Misa de matrimonio* [32]. — Соломон наконец догадался развести молитвенно сложенные ладони и схватить за руку свою якобы невесту Изабеллу Мачадо, сидевшую справа от него. Девицу эту «жених» сегодня видел впервые, и Джек на мгновение испугался, что он схватит за руку не ту женщину. — Понимаете, мыслями я на мессе в день моего венчания.

— Тогда руки из-под стола убери от греха подальше! — заметил Джек.

Слова его не понравились сеньоре де Фонсека, но Мойше, торопясь сгладить неловкость, уже вскочил и поднял чашку с какао:

— За Изабеллу и Санчеса[33], чью помолвку мы сегодня справляем! Да проявит инквизитор снисхождение к Санчесу, да будет его аутодафе мягким, а брак — счастливым и долгим!

За первым тостом последовали другие. Какао

---

[31] Примечания: 31
Слышу мессу! (*исп.*).

[32] Примечания: 32
Венчальная месса (*исп.*).

[33] Примечания: 33
Соломон проходил под официальным именем Санчес.

лилось рекой, пока церковные колокола не зазвонили к вечерне. Тогда заключённые и гости, встав, нестройной гурьбой двинулись по периметру двора.

Джек слышал, как Мойше объясняет сеньоре де Фонсека:

— Обычай ходить после еды пришёл с севера.

— Из Нуэво-Леона? Но его основали евреи!

— Нет, благодарение Богу. Из областей, где недавно нашли серебро: Гуанахуато и Сакатекаса.

Сеньора поёжилась:

— Бр-р, но там обитают только бродяги и десперадо!

— Зато сплошь чистокровные христиане. После каждой еды они обходят городскую площадь семь раз.

— Почему семь?

— Пять — в честь пяти Ран Христовых, — встрял Джек, — три — в честь трёх Лиц Святой Троицы.

— Но три плюс пять — восемь, — заметил сеньор де Фонсека, включаясь в разговор.

Мойше плечом отодвинул Джека от начальника тюрьмы и его супруги.

— Я не хотел утомлять вас подробностями, но обычай сложился таким образом. Сперва про-

ходили восемь кругов, всякий раз поворачивая направо. Затем четыре раза в обратном направлении, в честь четырёх Евангелий. И, наконец, ещё три круга направо, в честь трёх крестов на Голгофе. Потом некий иезуит указал, что пять плюс три минус четыре плюс три равно семи, так почему не ограничиться семью кругами? Никто не принял его слов всерьёз, пока в городе не появился священник, который страдал подагрой и не любил много ходить. Отправили письмо в Ватикан. Через двадцать лет пришёл ответ: расчёты иезуита рассмотрели и нашли верными. К тому времени отец-подагрик скончался, но священник, присланный ему на смену, не посмел спорить с папой об арифметике, так что установилась новая традиция.

Мойше выдохнул и замолчал. Молчали и де Фонсека, которых его слова вогнали в глубокий ступор. Лишь через несколько кругов начальник тюрьмы вновь обрёл дар речи.

— Проклятье! — воскликнул он, обмахиваясь пухлой рукой. — Ну и пылища!

(Монахи, которые перед тем подметали двор, принялись вытрясать веники, наполняя воздух пеплом Попокатепетля.)

— Сегодня я слышал непривычные крики, — за-

метил Джек. — Судя по всему, кого-то вздёрнули на дыбу, но я не узнал голоса.

— Это священник-бельгиец, предположительно еретик. Его вчера доставили из Акапулько, — сообщил де Фонсека. — Кажется, он свидетель по *вашему* делу.

Отец Эдмунд де Ад сидел в своей камере, с тупым любопытством разглядывая собственные руки, лежащие перед ним на столе, как бараньи голяшки. Они по-прежнему отходили от плеч, но вздулись и посинели везде, кроме запястий, где верёвка разрезала их почти до кости. Двигались только глаза: они скосились к двери, когда в неё вошли Джек и Мойше.

— Знаете, был один испанский монах, которого бросили в тюрьму за мелкое преступление — лет сто или пятьдесят назад, — сказал де Ад. Говорил он тихо. Джек и Мойше знали почему: у человека, вздёрнутого на дыбу, рвутся мышцы на рёбрах и на спине, поэтому в следующие недели две он старается глубоко не вдыхать. Джек и Мойше сели по бокам от де Ада, так близко, чтоб тому довольно было шептать. — Проведя несколько дней в духоте и вони общего каземата, он позвал тюремщика и произнёс несколько богохульств. Ещё до захода солнца его перевели в инквизици-

онную тюрьму, где поместили в отдельную тихую камеру, хорошо проветриваемую, со стулом и… а-а-а… столом.

— Стол — это хорошо, — согласился Джек, — когда руки выдернуты из суставов и висят на нескольких сухожилиях.

— Вы правда еретик, святой отец? — спросил Мойше.

— Конечно, нет.

— Значит, вы верите, что надо подставлять другую щёку, что кроткие наследуют землю и всё такое?

– *Como no* [34], как говорят испанцы.

— Отлично. Ловим вас на слове.

Джек ногой упёрся де Аду в грудь, потом схватил его за одну руку, Мойше — за другую. Резким движением они опрокинули монаха вместе со стулом. Как раз когда де Ад должен был удариться затылком о пол, Джек и Мойше дёрнули его за руки на себя, как йо-йо Еноха Роота. В обоих плечах что-то громко щёлкнуло. Вопль Эдмунда де Ада, как звук легендарного Роландова рога, вероятно, можно было услышать за несколько горных хребтов. Разумеется, при этом он выпустил весь

---

[34] Примечания: 34
Конечно (*исп.*).

воздух и вынужден был глубоко вдохнуть, отчего завопил снова. Постепенно колебательный процесс затух, и де Ад остался в том же положении, что прежде, то есть выпрямившись на стуле и держа руки на столе. Однако теперь он на пробу осторожно сжимал и разжимал кулаки, и в свете принесённых Джеком и Мойше свечей видно было, что серая кожа немного порозовела.

— Минутку терпения — я подберу богословскую аналогию к тому, что вы сейчас со мной сделали, — выговорил он.

— И, полагаю, будете её развивать, пока *гальо фрито* в *посадерас* не клюнет, — заметил Мойше.

— Как мы теперь ревностные католики, проповедей мы ещё наслушаемся, — подхватил Джек. — А сейчас скажи только, что знаешь про обвинения против нас.

Эдмунд де Ад некоторое время молчал. В Мексике времени так же много, как серебра.

— Начальник тюрьмы говорит, что вы — свидетель, — произнёс Мойше, — но вас не стали бы пытать, если бы ни в чём не подозревали.

— Это очевидно, — согласился де Ад, — но вы прекрасно знаете, что инквизиция никогда не говорит узнику, кто и в чём его обвинил. Человека бросают в застенок и требуют сознаться, а в чём

— он должен угадать сам.

— Мне гадать не пришлось, — заметил Джек. — Я — англичанин с укороченной елдой, так что выбор был: протестант или еврей.

— Надеюсь, тебе хватило ума сказать, что ты некрещёный еврей.

— Хватило. Таким образом — если мне поверили — выходит, что я — неверный. А поскольку ваша церковь считает своим долгом обращать неверных, а не жечь их, у меня есть шанс отделаться выслушиванием проповедей.

— А что твои сыновья?

— Когда альгвасилы пришли за мной и Мойше, они были в отъезде — забирали с мыса Коррьентес спрятанную ртуть. Без сомнения, сейчас они пьют мескаль в салуне какого-нибудь рудничного посёлка.

— А ты, Мойше?

— Сразу видно, что я наполовину индеец, так что во мне определили метиса, потомка криптоиудеев, основавших Нуэво-Леон сто лет назад.

— Однако их уничтожили в аутодафе тысяча шестьсот семьдесят третьего года.

— Легче извести всех евреев в стране, чем вытравить подозрения из головы инквизитора, — отвечал Мойше. — Он убеждён, что каждый

индеец от Сан-Мигель-де-Альенде до Нью-Йорка прячет в одежде Тору.

— Он хочет доказать, что ты — еретик, — сказал де Ад.

— А еретиков жгут, — заключил Мойше.

— Только нераскаянных. — Взгляд де Ада остановился на чётках Мойше. — Значит, ты хочешь сойти за христианина и избежать костра. Как только ты получишь свободу и отойдёшь на достаточное расстояние, ты снова станешь иудеем. В этом и подозревает тебя инквизитор.

— Что дальше?

— Он спрашивал меня о тебе. Требовал подтвердить, что ты притворный христианин и нераскаянный иудей. Ему только этого и надо, чтобы сжечь тебя на жарком мескитовом огне. Или ты можешь принять Христа, когда тебя будут привязывать к столбу…

— …И в таком случае меня милосердно удавят, пока огонь не разгорелся. Либо я проживу на несколько минут дольше ревностным иудеем…

— Хотя и без особого удовольствия, — добавил Джек.

— Джек, ещё он требовал от меня сказать, что на «Минерве» вы вместе с Мойше молились на древнееврейском и отмечали Йом Кипур.

— Да ладно, это только подтверждает, что я нехристь.

— Однако теперь, когда ты прикинулся католиком, любая оплошность сделает из тебя еретика.

Джек начал терять терпение:

— К чему ты клонишь? Что можешь несколькими словами отправить нас с Мойше на костёр? Невелика новость.

— Тут должно быть что-то ещё, — проговорил Мойше. — Свидетеля пытать бы не стали. Кто-то обвиняет самого Эдмунда.

— В обычных обстоятельствах невозможно было бы угадать, кто, — сказал монах, — поскольку инквизиция хранит имена доносчиков в тайне. Однако мы в Новой Испании, где меня знают лишь те, кто сошёл с «Минервы» в Акапулько. Очевидно, вы на меня не доносили.

Де Ад поочерёдно заглянул Джеку и Мойше в глаза — не выдаст ли их смущение. На Джека так смотрели множество раз — сперва пуритане в бродяжьих становищах, затем католики, пытавшиеся вытянуть из него признания в различных колоритных грехах. Он прямо встретил взгляд Эдмунда де Ада. В печальных глазах Мойше тоже не было ни угрызений совести, ни боязни.

— Хорошо, — с виноватой улыбкой продолжал

де Ад. — Остаётся только…

— Елизавета де Обрегон! — воскликнул Мойше, если шёпот может быть восклицанием.

— Но она ваша преданная ученица! — сказал Джек.

— Иуда тоже был учеником, — тихо проговорил де Ад. — Ученики опасны, особенно когда они изначально не в своём уме. Когда Елизавета очнулась в каюте «Минервы», ей первым делом предстало моё лицо. Мне кажется, оно преследует её в кошмарах, которые она хотела бы выжечь огнём.

— Но мы думали…

— Знаю, вам казалось, будто я с коварным умыслом подчинил слабую женщину своей воле. На самом деле я лишь врачевал недужную. Со времени злосчастной экспедиции к Соломоновым островам она пребывала в состоянии лёгкого душевного расстройства и жила на попечении монахинь в Маниле. Наконец родные в Испании решили отправить её домой — так она оказалась на манильском галеоне. Выглядела она совершенно здравой, однако пожар на галеоне уничтожил последние крохи её рассудка. Покуда я давал несчастной настойку опия и не отходил практически ни на шаг, мне удавалось сдержи-

вать её безумие. Затем я поехал в Лиму по делам вашего предприятия. Елизавету тем временем отправили в Мехико. Боюсь, там она подпала под власть иезуитов или доминиканцев. Церковники фанатичного толка ненавидят таких, как я, поскольку мы готовы считать протестантов за людей. Возможно, под их влиянием несчастная безумица сказала обо мне нечто, достигшее ушей инквизиции. Теперь через меня хотят всех янсенистов обвинить в ереси. А заодно отправить вас на костёр.

Джек вздохнул.

— Я рад, что мы не пригласили тебя на праздник — умеешь ты испортить настроение.

Эдмунд де Ад пожал было плечами, но от боли все мускулы на его бритой голове вздулись, придав ей сходство с гравюрой из анатомического атласа, который Джек видел как-то пролетающим по воздуху в Лейпциге. Когда монах вновь обрёл способность говорить, то сказал:

— И хорошо. Вера не позволила бы мне участвовать в вашем Суккоте, который вы замаскировали под помолвку.

Мойше сцепил пальцы и вытянул руки. Все суставы заскрипели и защёлкали.

— Я иду спать, — объявил он. — Если инкви-

зитор ищет повода сжечь вас, Эдмунд, а вы этих поводов не даёте, то скоро нам с Джеком висеть на дыбе в окружении писцов, изготовившихся записывать признания. Нам надо копить силы.

— Если хоть один из нас сломается, на костёр пойдут все трое, — сказал де Ад. — Если будем держаться, думаю, нас отпустят.

— Рано или поздно кто-нибудь из нас сломается, — устало проговорил Джек. — Инквизиция неумолима, как смерть. Ничто её не остановит.

— Ничто, — отвечал де Ад, — кроме Просвещения.

— Это ещё что? — спросил Мойше.

— Похоже на поповские штучки: Благовещение, Преображение, теперь ещё и Просвещение, — заметил Джек.

— Ничего подобного, — отвечал де Ад. — Если бы я мог двигать руками, то прочёл бы вам часть писем. — Взгляд его обратился к придавленным Библией листам на столе. — Это от моих братьев в Европе. Здесь — пусть фрагментарно — рассказывается о перемене, которая прокатилась по христианскому миру во многом благодаря таким людям, как Ньютон, Лейбниц, Декарт. Перемена в мышлении, и она уничтожит инквизицию.

— Отлично! Нам надо потерпеть дыбу, пытку

водой и плети всего каких-нибудь лет двести, пока новое мышление доберётся до Мехико! — сказал Джек.

— Мехико управляется из Испании, а Просвещение уже взяло штурмом Мадрид, — возразил де Ад. — Новый король Испании — Бурбон, внук Людовика Четырнадцатого.

— Фу! — скривился Мойше.

— Бр-р, и тут он! — возмутился Джек. — Только не говори, что теперь вся моя надежда — на Луя!

— Многие англичане разделяют ваши чувства, потому и началась война, — отвечал Эдмунд де Ад. — Однако сейчас на троне Филипп. Вскоре после коронации его пригласили на аутодафе, и он вежливо отказался.

— Испанский король не пришёл на аутодафе?! — изумился Мойше.

— Святая официя потрясена. Инквизитор в Мехико сделает заход-другой, но не станет долго испытывать судьбу. Смейтесь над Просвещением, коли хотите. Оно здесь, в этой самой камере, и оно нас спасёт.

Тюрьма инквизиции стояла неподалёку от Монетного двора, где теоретически каждую унцию добытого в Мексике серебра превращали в пиастры. На практике, разумеется, от четверти

до половины добытого утекало контрабандными путями раньше, чем король успевал получить свою пятину, и всё равно оставалось столько, что в Мехико ежедневно чеканили шестнадцать тысяч серебряных монет. Такое огромное число практически ничего не говорило Джеку. Тысячи две в час — это уже можно было себе представить. Грохот нагруженных телег по булыжной мостовой за стенами тюрьмы позволял составить впечатление о суммарном весе серебра.

Как-то вечером Джек лежал во дворе, подставив солнцу свежие рубцы, багровыми лианами обвивавшие его тело. День был знойный и безветренный. Со всех сторон доносились звуки: хлопанье вытрясаемых половиков, грохот колёс по булыжнику, щёлканье бичей, базарная ругань, недовольное квохтанье и хрюканье, заунывное пение монахов. Короче, звуки были те же, что в любом городе христианского мира, только казалось, будто в разреженном воздухе горной долины они разносятся дальше, в особенности резкие. Были и другие, характерные только для этих краёв. В Новой Испании ели в основном маис, пили в основном какао, и то, и другое предварительно растирали на жерновах. Жизнь каждой группы людей, которая в данную

минуту не умирала с голоду, сопровождалась постоянным глухим скрежетом.

Джек повязал на глаза полоску ткани, чтобы солнце не светило в глаза, и расстелил соломенный матрас, чтобы было хоть немного мягче. Если исключить из рассмотрения пренебрежимо малые прослойки кожи, волос и соломы, череп его прилегал непосредственно к камням. Даже если бы он заткнул уши, преградив доступ голосам людей и животных, некоторые вибрации минеральной природы продолжали бы поступать в голову через кость, и даже если бы все телеги разом остановились, он бы всё равно ощущал вездесущее трение жерновов, тысяч гранитных зубов, перемалывающих маис и какао здешней земли. Шум этот можно было ошибочно принять за доминирующую басовую партию, настойчивое остинато той нескончаемой мессы, какую являл собой Мехико. Только была нота ещё более всепронизывающая. Джек не сразу её услышал, вернее, не сразу вычленил из других городских шумов. Однако пролежав некоторое время, он впал в полудрёму, и ему предстало видение. Будь он католиком, это, наверное, сочли бы чудом, а Джека записали в святые. Ему привиделось, что его тело состоит из света и оно воспаряет,

увеличиваясь в объёме, будто поднимающийся из тёмных глубин пузырь, но при этом связано ремнями тьмы, как фонарь предстаёт нам светом, подвешенным в клетке стальных прутьев. Так или иначе, сомлев на солнце и пребывая в том полунаркотическом оцепенении, которое всегда накатывало после пыток, Джек начал разделять кружево звуков на отдельные пряди, нитки, ворсинки и волоконца. Так он услышал Монетный двор.

Много лет назад он видел, как делают талеры в Рудных горах, и знал, что за всем парадным фасадом и толпами чиновников Монетный двор — люди с молотками, чеканящие по монете зараз. Чтобы выдавать шестнадцать тысяч пиастров в день, несколько монетчиков, каждый со своим молотом и чеканом, должны были работать одновременно. Каждый удар запечатлевал священный лик испанского короля на очередной монете в восемь реалов, после чего она отправлялась в мир. Иногда несколько рабочих ударяли молотками в быстрой последовательности, и Джек слышал нестройный перезвон, иногда наступала противоестественная пауза, и тогда, ему казалось, вся империя смолкала, затаив дыхание, в страхе, что кончилось серебро. Но по большей

части монетчики работали в одном ритме, молотки опускались мерно, приблизительно с частотой Джековых сердцебиений. Он приложил руку к груди, чтобы проверить. Иногда несколько ударов кряду сердце билось точно в такт перестуку молотов, и Джек подумал, что у тех, кто родился и вырос в Мехико, этот ритм должен быть в крови.

Подобно сердцебиению, звук, с которым рождались пиастры, был обычно не слышен, но если сидеть или лежать очень тихо, можно было различить, как монеты разбегаются по Мехико, словно кровь по жилам. Джек знал, что за тысячи миль отсюда, в Лондоне, Амстердаме и Шахджаханабаде, можно ощутить этот пульс, как у человека на запястье, далеко от бьющегося сердца.

Джек никогда не жаловал испанцев, считая их кем-то вроде выродившихся англичан, скисшим в уксус вином, подававшим надежды народом, который, зажатый, как в тисках, между Дар аль-Исламом и Францией, вконец соскочил с ума. Однако лёжа здесь, в инквизиционной тюрьме, слушая скрежет жерновов и стук Монетного двора, он вынужден был признать, что испанцы значительны и своеобразны, как египтяне.

Джек и в страшном сне не назвал бы себя ум-

ником, но гордился своей житейской смекалкой. Ум, или смекалка, или то и другое вместе подсказывали не доверять разглагольствованиям де Ада касательно Просвещения и сосредоточиться на вещах более практических. Криптоиудеи, сидевшие в этой тюрьме, были чудно́й публикой, однако неплохо знали обычаи мексиканской инквизиции — уж им ли не знать! В большинстве инквизиционных тюрем каждого узника держали в одиночке, иногда годами, добиваясь, чтобы он покаялся в грехах, которых инквизитор мало что не знал — вообразить не мог. По слухам, так выявлялись или выдумывались целые новые категории греха. Однако в тюрьме у Диего де Фонсека было лишь одно правило: заключённые не должны уходить, да и оно порою нарушалось на несколько ночных часов под клятвенное обещание вернуться к рассвету.

Соответственно Джек, отдыхая во дворе после пыток, слышал много историй о тёмной славе инквизиции. Другие заключённые могли с места в карьер пуститься в рассказ об аутодафе 1673-го и 1695-го, когда многих сожгли, а многих просто подвергли унижению. Даже делая скидку на обычные в таких случаях преувеличения, нельзя было не заключить, что аутодафе — исключи-

тельное событие, которое на жизни среднего человека случается раз или два; зрелище, ради которого пеоны совершают многодневные переходы.

Мысль эта не слишком утешала, пока — недели через две с прибытия Эдмунда де Ада — не стало известно, что аутодафе назначено перед Рождеством. До него оставалось два месяца. Очевидно, столь важное мероприятие, раз назначив, нельзя было перенести, и трём узникам с «Минервы» предстояло продержаться только до середины декабря, после чего их, вероятно, выпустят на свободу. Но за это время инквизитор намеревался их расколоть.

Один способный палач, не связанный бюрократическими проволочками, вероятно, смог бы за несколько минут вытянуть из Джека, Мойше и Эдмунда де Ада всё, что захочет. Однако пытки в инквизиции — дело обстоятельное и строго регулируемое. Должно присутствовать большое число врачей, писарей, приставов, юристов, нотариусов и церковных чиновников. Стольким важным людям нелегко одновременно выкроить свободное время. Пытки назначали за неделю и нередко отменяли в последнюю минуту, оттого что какой-то высокопоставленный участник слёг

с лихорадкой или даже умер.

Несмотря на все эти препоны, в ноябре Джеку через рот затолкали в желудок полосу кисеи, а потом лили на неё воду, так что живот раздулся, а чувство было такое, будто в животе горит порох, наполняя внутренности огнём и дымом. Эдмунда де Ада привязали к столу и стянули ремнями так, что лопалась кожа.

Тем не менее Мойше вошёл в пыточный каземат и вышел через полчаса как ни в чём не бывало — такой бодрый и свежий, что Джеку захотелось поделиться с ним своей болью.

— Я сознался! — объявил он.

— В ереси?!

— В том, что у меня есть деньги, — сказал Мойше.

— Не знал, что тебя в этом обвиняют.

— Святая официя никогда не говорит, в чём состоит обвинение. Ты должен сам путём безмолвных медитаций понять, чего от тебя ждут, и в этом покаяться. Я был тугодумом, однако на днях меня осенило…

— После безмолвных медитаций?

— Нет, боюсь, всё несколько прозаичнее. Диего де Фонсека попросил у меня в долг.

— Хм… я знал, что жалованье у него скромное,

но что он выпрашивает деньги у заключённых — для меня новость, — заметил де Ад, отдыхавший рядом с Джеком в тени лиан.

— Альгвасилы доставили тебя прямиком из Акапулько, и тебе не пришлось ничего покупать в Мехико, — сказал Джек. — Мы с Мойше раза два заезжали сюда, когда продавали ртуть хозяевам рудников. Еда тут дешёвая, поэтому в округе столько бродяг. Но других товаров мало, а серебра в избытке, поэтому содержать приличный дом весьма накладно.

Мойше кивнул.

— Я говорил со старыми евреями в Новом Амстердаме и на Кюрасао. Они говорят, что раньше инквизиторы жили на деньги, конфискованные у евреев. Но в Мехико чиновники Святой официи так усердствовали, что всех евреев извели, и теперь рады, если заберут осла у метиса, помянувшего имя Господне всуе. И тут настало моё личное маленькое Просвещение: я понял, чего на самом деле хочет инквизитор. Я сознался в том, что у меня много серебра, и предложил накануне аутодафе искупить свой грех. На этом мои — наши — испытания закончатся.

Мехико
Декабрь 1701

Не явиться на аутодафе в испанской империи, уж тем паче в Мехико, было бы в высшей степени неразумно. Каждый клочок земли в городе принадлежал церкви. Члены Святейшей римской коллегии землемеров (по крайней мере, так представлялось Джеку) водрузили преблагословенные нивелиры на землю, чудесным образом отвоёванную у озера Тескоко, опустили богоугодные отвесы из нетленных черепов святых угодников, протянули верёвки, сплетённые из ангельских волос, вбили распятия на стратегических высотах и разделили всю территорию на четырёхугольники, пригнанные так плотно, что ангелы, возможно, и могли просочиться в зазор, а индейцы и вагабонды — нет. Наделы передали монашеским орденам: кармелитам, иезуитам, доминиканцам, августинцам, бенедиктинцам и прочим, которые немедля возвели по границам своих владений высокие стены для защиты от происков и возможных ересей примыкающих орденов. Покончив с этим, они начали заполнять

пространство церквями, часовнями и братскими корпусами. Здания уходили в мягкую землю почти с той же скоростью, с какой строились, отчего город выглядел куда старше своих ста восьмидесяти лет. Так или иначе, в Мехико не было места, не поднадзорного тому или иному ордену, а следовательно, не было и способа пропустить аутодафе, не попав на заметку какому-нибудь лицу, склонному истолковать подобный поступок самым превратным образом.

Несмотря на то (а если подумать, так как раз из-за того), что их жизнь текла за высокими стенами, монахи и монахини ничего так не любили, как вырядиться в чудны́е одежды и ходить по улицам процессиями, неся перед собой изваяния святых или части их тел. Когда Джек жил в Мехико свободным человеком, процессии злили его донельзя, поскольку из-за них было ни пройти, ни проехать. Иногда две процессии сталкивались на углу, и монахи принимались ругаться, кто кому должен уступить. Часто доходило до драки.

Аутодафе было одним из тех редких событий, когда все монахини из двадцати двух женских и все монахи из двадцати девяти мужских обителей города двигались приблизительно в одну сторону.

Разумеется, бродяги как-то устраивались. В Мехико они по большей части жили вне городских стен, где, по мнению знати, им и следовало оставаться. Не более чем десять лет назад они собрались на центральной площади в таком количестве, что спалили дворец вице-короля. С тех пор граф Монтесума начинал нервничать всякий раз, как нищий сброд скапливался под его окнами. У заново отстроенного дворца были высокие стены с множеством бойниц, чтобы стрелять картечью по неугодным толпам. Бродяг, креолов, индейцев-пеонов с гор и десперадо с серебряных рудников впускали в город большими группами лишь по особым случаям, в число которых входило аутодафе. Разумеется, у них не было официального места в процессии процессий, которая вилась по улицам к главной площади, но они бодро встраивались среди монахов и монахинь, соборного духовенства, асессоров, фискалов, альгвасилов, чиновников Святой официи, а также различных монашествующих братьев и сестёр, попов, акцизных и аудиторов, оказавшихся в Мехико проездом из Акапулько в Лиму. Хотя все уже знали, что новый король Испании манкировал аутодафе в Мадриде, королевские представители в Мексике явились на торжество

в полном составе: вице-король с семьёй и свитой, государственные служащие всех чинов и званий, офицеры пешие и конные в шлемах со страусовыми перьями, а также все солдаты гарнизона, не охранявшие сейчас пять ворот и бесчисленные стены города.

Когда Джека и Мойше вместе с другими заключёнными вывели на главную площадь и поставили перед воздвигнутыми здесь трибунами, Джек довольно быстро узнал чиновников Монетного двора, о которых они наводили справки, ещё будучи на свободе. *Apartador*, начальник Монетного двора, был испанский граф; должность свою он купил у прежнего короля за сто тысяч пиастров и не прогадал. Он явился на аутодафе с женой и дочерью, разодетыми в наряды, подобных коим Джек не видел с последнего визита в Шахджаханабад. (В качестве короля он должен был являться на ежегодные церемонии, во время которых Великий Могол восседал на одной чаше исполинских весов, а на другую набобы, сатрапы, придворные и послы иноземных держав складывали золото и серебро, пока украшенное драгоценными каменьями коромысло не приходило в движение и Великий Могол, под аплодисменты и артиллерийский салют, не повисал

в воздухе, уравновешенный своим годовым доходом. Джек тогда взвалил на весы мешок монет, собранных Сурендранатом на жалких базарах в его владениях; по меньшей мере половину их составляли пиастры, отчеканенные десятилетия назад при ком-то из предшественников того самого графа, что смотрел сейчас на Джека с самой высокой трибуны.) Ниже сидели казначеи (по прикидкам Мойше, их годовой доход составлял от пятидесяти до шестидесяти тысяч пиастров) и пробирщики (примерно пятнадцать тысяч годовых), ещё ниже — писари, алькальды, стражники самого разного ранга и, наконец, дюжие молодые креолы, которые собственно и били по металлу, превращая серебро в пиастры — монетчики.

Рядом с чиновниками сидели трое коммерсантов, которые снабжали их сырьём. В теории каждый серебродобытчик, приехав в город, мог отдать металл в чеканку, но на практике они обычно продавали чушки немногочисленным посредникам, которые занимались тем, что угощали, обхаживали и подкупали служащих Монетного двора. Их трудно было отыскать среди многочисленных, пышно разряженных домочадцев, но наконец Джек увидел, что один из коммерсантов смотрит на него в подзорную

трубу. Тот как раз узнал Джека, опустил трубу и что-то сказал сидящему рядом юноше. Для церковников Мехико Джек, Мойше и Эдмунд де Ад были чужеземцы-еретики, но все, связанные с Монетным двором, видели в них торговцев ртутью, которые, уменьшая или увеличивая её поступление на рынок, могут влиять на поток пиастров.

Сейчас они ничуть не походили на ртутных воротил. На каждом был высокий шутовской колпак и жёлтый балахон с красными андреевскими крестами — санбенито. Будь санбенито разрисованы чертями, ангелами и языками пламени, это означало бы, что приговорённых сегодня вечером сожгут за городом на костре. Красный андреевский крест значил всего лишь, что осуждённый — раскаявшийся богохульник и следующие несколько лет обязан будет, выходя из дома, надевать позорное облачение. Джек всегда был равнодушен к одежде, но сейчас знал, что сегодняшний наряд важен не только для него самого, но и для всех, кто связан с Монетным двором, то есть для всех в Мехико, за исключением бедной инквизиции, которая управлялась из Рима и не могла запустить лапу в серебряную реку, разве что арестовать и потрясти таких, как

Мойше или он. То, что на них красные андреевские кресты, в этот самый миг как-то влияло на местный рынок серебра. Когда-нибудь новость достигнет Амстердама; следующие полчаса Джек пребывал в раздумьях о синеглазой женщине в кофейне на площади Дам, которая услышит о далёких событиях и свяжет их с бродягой, своим мимолётным знакомым в ушедшей молодости.

Он знал, что Джимми и Дэнни в городе, иначе его санбенито украшали бы языки пламени. На то, чтобы разыскать их в толпе, ушёл целый час — не такое уж долгое время, потому что аутодафе было рассчитано на весь день. По одной стороне площади тянулись трибуны (их сооружали два месяца), и все на этих трибунах — будь то архиепископ у центрального алтаря или жёны монетчиков в лучших платьях — блистали великолепием. Однако чем дальше от архиепископа, тем менее яркими становились наряды, так что переход к простолюдинам в некрашеной домотканой одежде был практически незаметен. Дальше цвета становились всё более тускло-бурыми и наконец сливались с грубыми каменными стенами домов. В одном из таких мест Джек различил трёх мужчин: двух загорелых и одного чёрного, держащих под уздцы осликов. Лица всех троих

скрывала тень от сомбреро, но Джек узнал бы их и по одним осликам, покрытым коркой жёлтой дорожной пыли. На осликах были маленькие седельные сумы из прочной кожи, исцарапанные кактусовыми иглами, — в таких возят с рудников серебро. Сейчас они не оттопыривались, а болтались. Их содержимое перешло в подвалы инквизиции и теперь лежало рядом с кипами документов, в которых перечислялись все ереси Нового Света, включая воображаемые.

Церемония шла на латыни. Не будь сейчас декабрь, половину присутствующих хватил бы солнечный удар. В начале пятого часа Джек заметил, что Мойше мурлычет себе под нос. Это было настолько неожиданно и ни с чем не сообразно, что Джек чуть не наклонился к Мойше, но вовремя сообразил, что на голове у него трёхфутовый шутовской колпак и движение будет столь же украдчивым, как исполнение тарантеллы на алтаре. Поэтому он остался стоять, как и все в Мехико. По другую сторону от него Эдмунд де Ад что-то бормотал на латыни, однако вместо того, что склонить голову и закрыть глаза, бельгиец, казалось, пожирал глазами богатых монахинь по левую руку от архиепископа. Джек ничего не понял, пока, разглядывая каждую монахиню

по отдельности, не увидел смотрящую прямо на него Елизавету де Обрегон.

Аутодафе закончилось вскоре после заката, и публика разделилась: монахи и монахини разноцветными процессиями двинулись прочь, а бедняки устроили хлебный бунт. Зрелище, вероятно, было занятное, но только не для Джека. Он, Мойше и Эдмунд де Ад, разыскав Джимми, Дэнни и Томбу, двинулись из города.

Когда наконец стало можно говорить, Джек повернулся к Мойше:

— Никогда ещё еврей не был так весел на аутодафе. Ты что, жевал перуанские листья, которые так любят испанцы?

— Нет, я смотрел на садящееся солнце и размышлял об *астрологии*. Во-первых, самый короткий день в Северном полушарии — самый длинный в Южном. И то, и другое нам на руку. Здесь ранний заход сократил церемонию на час-два, к тому же она прошла не на жаре. На Огненной же земле сейчас самое тёплое время года, а дни — невероятно длинные. Если ван Крюйк своё дело знает (в чём я нисколько не сомневаюсь), он примерно сейчас входит в Магелланов пролив. Что возвращает нас ко второму моему наблюдению, а именно: скоро Новый год. Второй

год восемнадцатого века. Ван Крюйк, с Божьей помощью, в честь праздника обогнёт мыс Горн, а я сменю треклятое санбенито на пончо, дурацкий колпак — на сомбреро и уеду на север, где инквизиция меня не достанет. Это век Просвещения, я чувствую!

— Ну точно ты жевал перуанские листья, — заключил Джек.

Остановились в гостинице, где башмаки и сёдла надо было подвешивать к потолку, чтобы их не унесли и не съели крысы, тем не менее ночлег стоил безбожно дорого. Выехали до рассвета и, миновав вонючие пригороды, населённые преимущественно бродягами, двинулись на север через долину. Эдмунду де Аду дорога была интереснее, чем остальным, не раз бывавшим в этих краях. Бельгиец молча трясся на осле, оглядывая болотистую равнину с остатками ирригационных сооружений и разноцветными минеральными источниками. Над плантациями какао и ванили поднимались кричаще-безвкусные церкви и монастыри, выстроенные сказочно разбогатевшими в этих краях испанцами. Некоторые были почти до основания разрушены ворами и бродягами, которых здесь было куда больше, чем в Европе.

Криптоиудеи ещё раньше распознали в Мойше прирождённого вожака, и теперь целою толпой в санбенито и колпаках следовали за ним. Путь лежал через необычные скопления негров и филиппинцев, по лужам застывшей лавы, меж исходящих дымом и паром сахарных заводов. На берегах рек заключали сложные сделки с полуголыми татуированными индейцами, и те переправляли их на плотах из досок, уложенных поверх наполненных воздухом калебасок, пока другие индейцы на спине переносили через брод ослов. Посёлки старались огибать или проезжали как можно быстрее; здесь почти всё население составляли креолы (родившиеся в Новой Испании полукровки), люто ненавидевшие белых. Креольские мальчишки швыряли бы в путников камнями, даже не будь на них санбенито.

Надо было поскорее выбираться из обжитых краёв, поэтому Джек, Мойше, Джимми, Дэнни и Томба не давали де Аду глазеть по сторонам, а гнали его вперёд. Останавливались только ради еды, когда замечали миниатюрного оленя на опушке или индюков на дереве. Тогда — звук выстрелов, дым, кровь и потроха на обочине.

— На ваш выкуп ушло целое состояние, — заметил Дэнни. — По счастью, у нас оно было не

одно.

— Вы заключали новые сделки или только совершали поставки по старым? — озабоченно спросил Мойше.

— Мы продали всю ртуть по шесть пенсов за тонну, а выручку потратили на виски и девок, — резко отвечал Джимми.

Мили две ехали в молчании. Затем Мойше терпеливо начал новый заход:

— Я по-прежнему владею частью ртути, поэтому имею право знать, сколько продано, сколько ждёт доставки и сколько осталось.

— До нашего появления люди испанского короля драли с владельцев рудников по триста пиастров за английский центнер ртути, — напомнил Дэнни. — Когда мы начали продавать за двести, они сбросили цену до ста, что ближе к нормальной рыночной. К тому времени как вас с отцом арестовала инквизиция, мы временно остановили продажи в надежде, что цена подрастёт.

Джимми продолжил:

— Когда мы вернулись с мыса Течений и узнали, что вы в тюрьме, цена была сто двадцать пять пиастров, поэтому мы только развозили ртуть тем, с кем договорился ты, Мойше, и закапывали

выручку в разных местах отсюда до Веракруса. Однако в последнее время нам нечего было делать, а цена поднялась до ста шестидесяти…

— В Сакатекасе ближе к двумстам, — вставил Томба.

— И мы заключили несколько новых сделок.

— Превосходно! — воскликнул Мойше. Три сомбреро повернулись в его сторону, полагая, что он съязвил, однако Мойше был совершенно серьёзен. — Я хочу без промедления обратить свою долю в металл!

— Поскольку речь о ртути, тебе надо было сказать «в звонкий металл», — заметил Джек.

— Отлично. Я хочу получить свою долю серебром, а лучше золотом, и отправиться на север с *ними*. — Мойше обернулся на толпу евреев в санбенито с красными андреевскими крестами. — Испанцы покорили земли за жалкой речушкой Рио-Гранде и назвали их Новой Мексикой. Хуже старой она всё равно не будет. Говорят, там размещён гарнизон в шестьсот кавалеристов, и каждому платят пятьсот пиастров в год, но почти все деньги оседают в сундуках у губернатора, который безбожно дерёт с солдат за еду и прочее. Я отправляюсь туда и буду снабжать их провиантом по честным ценам, а по пути обращать в

иудаизм каждого встреченного индейца!

— Хм… если хотя бы половина того, что говорят о команчах, правда, лучше не лезть к ним с разговорами о религии, — заметил Дэнни.

— И вообще с разговорами, — подхватил Томба.

— А по большому счёту лучше и вовсе не лезть, — добавил Джимми.

— Хватит! — отрезал Джек. — Мойше вынимает деньги из одного плана, чтобы вложить в другой, и, разумеется, новый замысел нуждается в доработке. Времени на это ещё предостаточно.

Через несколько дней въехали из долины в куда менее населённые горы. Если не считать индейцев, вытесненных из низин испанцами, здесь жили только рудокопы. Рудники были старые, глубокие и знаменитые, вокруг стояли саманные домишки и церкви. Работали всё больше невольники, по большей части индейцы. Местность очень походила на Гарц — кучи шлака и большие печи там, где серебро выплавляли из богатых руд, ряды земляных куч там, где его извлекали из бедных при помощи ртути. Джек не сказал бы, где тоскливее: в Гарце с его свинцовым небом и пронизывающим ветром или в этом выжженном солнцем краю, где не растёт ничего, кроме какту-

сов. Размышления Мойше были ещё мрачнее.

— Эту землю терзают почти двести лет, теперь все её кости и кишки — наружу. Напоминает изгнание евреев из Испании в тысяча четыреста девяносто втором году. Они перебирались в Португалию и видели у дороги тела тех, кто выехал раньше, — друзей и родственников, которым разбойники вспороли животы в надежде найти там проглоченные золото и алмазы. Испанцы поступают с землёй так же, а мучить её заставляют прежних хозяев — индейцев.

— Вижу, действие коки закончилось — тебе самое время всерьёз обдумать новые планы.

Ближе к Гуанахуато рудники были новее, кустарнее, здесь работали все больше свободные, часто сами хозяева. И всё же этот край уже успели обжить — выстроить посёлки, возвести церкви, перевезти семьи. В городишке, который ещё недавно отмечал собой северную границу цивилизации, путники остановились на день, чтобы подбить счета.

С той самой ночи в Кадисском заливе, когда они ограбили бриг бывшего вице-короля, Мойше вёл в голове приходо-расходную книгу. Порою, например, когда они попали в плен к королеве Коттаккал, целые страницы этой книги отправля-

лись на помойку. Некоторые сообщники погибли, другие вошли в дело позднее, третьи предпочли взять свою долю нематериальными активами, как Габриель Гото, хотевший только вернуться в Японию. Часть общего капитала составляла «Минерва», которая, с Божьей помощью, должна была и дальше приносить прибыль, часть — доставленная из-за океана ртуть. Её разделили на две партии — для Новой Испании и для Перу; первую уже практически реализовали, вторую, возможно, продали за бо́льшие или меньшие деньги, которые теперь могли лежать, а могли не лежать на дне Магелланова пролива. Часть неведомой общей прибыли принадлежала королеве Коттаккал, часть — курфюрстине Софии Ганноверской. Однако Мойше разрешил все затруднения, записал итог, чтобы Джек мог показать его ван Крюйку, и терпеливо объяснил все сложные места.

На это ушло три дня. Под конец Мойше вынужден был взять мешок сушёных бобов, разложить кучками на столе и, передвигая бобы от кучки к кучке, объяснить Джеку, куда ушли деньги. Немалая часть бобов оказалась на полу — это означало чистые убытки. Однако после всех перемещений на столе осталась солидная куча бобов,

а когда Джек узнал, что каждый соответствует ста пиастрам, то вынужден был признать, что план, придуманный Мойше в Алжире, был всё-таки неплох.

Джимми, Дэнни и Томба тем временем съездили в разные необитаемые места и откопали серебряные слитки, чтобы отдать Мойше его долю. За неимением банков активы приходилось тщательно зарывать в землю.

Пятого января 1702 года Мойше и два десятка его спутников надели санбенито и, сев на мулов, выехали из города в направлении Новой Мексики. Джек отправился их проводить. Когда церковная колокольня скрылась из вида, все, кроме Джека, сняли санбенито и колпаки, после чего сложили из них костёр. Джек каждому пожал руку, а Мойше обнял и, пока слёзы смывали пыль с его лица, сделал несколько нелепейших обещаний, например, что, купив себе в Англии графский титул, приедет в Новую Мексику погостить. Прощание длилось долго; самые горькие мгновения наступили, когда Мойше сел наконец на мула и развернул его к северу. Джек ещё долго стоял у костра, следя, чтобы санбенито сгорели полностью, и глядя, как пыль от каравана тает в голубом небе: пепел в пепел, прах в прах…

— Ртуть в серебро, — сказал он, поворачиваясь к городу. — Затем Джек в Лондон.

— Насколько я понимаю, осталось забрать последнюю ртуть с мыса Коррьентес, доставить её покупателям и привезти серебро в Веракрус, — сказал Эдмунд де Ад в тот вечер, когда они сидели в харчевне и пили пульке.

— Это куда сложнее, чем ты думаешь, — проворчал Дэнни.

— Напротив, я считаю, что это чересчур сложно для человека с моими слабыми способностями, — сказал де Ад. — Здесь я вам только помеха. В Веракрусе я мог бы подготовить почву к тому времени, когда, Бог даст, туда придёт «Минерва».

— Так отправляйся в Веракрус, — предложил Джек.

— Мне было бы интересно там побывать, — ответил де Ад. — По-настоящему он зовётся Новый Веракрус. Старый почти двадцать лет назад сжёг до основания безжалостный разбойник и негодяй по прозвищу Десампарадо…

— Эту историю я уже слышал, — сказал Джек.

Чтобы завершить все дела «Минервы» в Новой Испании, потребовалось несколько месяцев. Джек, Джимми, Дэнни и Томба перебрались в

пограничный городок Сакатекас, где никто не возмущался, что Джек ходит без санбенито, а если и возмущался, то помалкивал — в городе, где все всегда вооружены до зубов, опасно делать замечания. В Европе Джеку льстила и даже помогала репутация головореза, которую он снискал у лордов, леди и богатых негоциантов. Однако жизнь в обществе головорезов оказалась если не опасной, то утомительной. Поэтому он не стал задерживаться в пограничном городке, а собрал караван мулов и отправился через Сьерра-Мадре-Оксиденталь на мыс Коррьентес за остатками ртути и книгами ван Крюйка, спрятанными в горах, чтобы их не изъяла и не сожгла инквизиция в Акапулько или Лиме.

Обратный путь в Сакатекас оказался исключительно опасен, поскольку на перевалах путников подстерегали по меньшей мере три шайки десперадо. Однако Джимми и Дэнни, обогнув половину земного шара и повоевав бок о бок с членами малабарской воинской касты, стали специалистами по путешествиям через враждебные горы. А Томба, бежавший с сахарной плантации на Ямайке и с тех пор немало странствовавший в краях, недружественных к чернокожим бродягам, приобрёл хитрость, которую Джек назвал бы

восточной. Он ничему не мог бы научить этих трёх парней, только время от времени напоминал, что они не в Индии и каждому отпущено лишь по одной жизни на брата. Молодёжь весело пропускала его слова мимо ушей, а может, считала их доказательством, что Джек к сорока одному году превратился в докучного старика, беззубого в прямом и переносном смысле.

Дорога через горы была отмечена несколькими тщательно спланированными сражениями, когда разбойники, расставившие им западню, сами оказывались в западне, и многие головы отлетели, снесённые звенящей катаной. Вернувшись в Сакатекас, путешественники обнаружили, что окружены легендой, какую Джек не прочь был бы оставить по себе, но которая сейчас только мешала.

В салуне, где они обосновались, его ждало письмо. Хозяин сказал, что оно адресовано Джеку и Мойше и доставлено с юга гонцом. Мойше и Эдмунд де Ад давно уехали; во всем городишке читать умел только священник. Но священник, если ему назваться, выдал бы Джека инквизиции за то, что тот не носит санбенито и не ходит к мессе. Джек спрятал послание в сундук с книгами ван Крюйка и заново запечатал крышку.

Теперь у них была тонна ртути (которую предстояло доставить на рудники и обменять на серебряные чушки) и несколько тонн серебра в десятке тайников. Всё это предстояло переправить в Веракрус. Только безумец повёз бы такое богатство одним караваном, поэтому его перетаскивали челночным способом из тайника в тайник в общем направлении Веракруса. Для столь сложной задачи требовались способности Мойше или Врежа Исфахняна; Джека она вымотывала вконец. Не раз он просыпался среди ночи от мысли, что они забыли про какой-то тайник.

Одна или две простые заботы прежней Джековой жизни, как светлая и тёмная части вуца, ковались и сплющивались, складывались и снова ковались столько раз, что превратились в хитросплетение завитков, которые невозможно проследить или назвать рисунком. В мозгу остался расплывчатый образ, который можно было описать лишь каким-нибудь общим серым словом вроде «сложность». Однако если бы он сказал Джимми, Дэнни и Томбе, что дело сложное, они бы не поняли, о чем речь. Джеку оставалось надеяться, что сложность придаст ему силу и остроту дамасской стали. Когда-нибудь можно будет подумать, есть ли в ней ещё и красота.

Целый месяц казалось, что они просто бесконечно ездят туда-сюда, не приближаясь к цели, потом стало заметно, что они больше времени проводят на дорогах, меньше в горах. При перевозке серебра они *потратили* его часть, но нисколько не *потеряли*. Джек не мог взять этого в толк, пока не сообразил, как слабы их враги. Он и его спутники, обогнув половину земного шара, приобрели некую мудрость, серебро, которым они владели, делало их мишенью, но оно же давало возможность решить часть затруднений путём торга. По-настоящему Джек боялся только индейцев, контролировавших переправы; их отрешённые взгляды чем-то напоминали ему Габриеля Гото, когда тот размышлял о Японии. Индейцам нечего было терять — всё отняли испанцы, и попытки подкупа только растравляли их ненависть.

К концу апреля всё серебро было припрятано в восьми разных тайниках на расстоянии полдневного пути от Веракруса. Джек, Дэнни, Джимми и Томба поселились в доме, который снял для них Эдмунд де Ад, и стали ждать.

— Где мои книги, чёрт побери? — вопросил Отто ван Крюйк, перегибаясь через борт «Минервы» и заглядывая в барку.

— Упали в реку за несколько миль до Веракруса, — беспечно отвечал Джек, — и теперь, наверное, уже доплыли до Мексиканского залива. Вы их случаем не видели?

Лишь этими словами они и успели обменяться, прежде чем всё заглушили ликующие возгласы с «Минервы». Матросы столпились на палубе и сейчас разглядели, сколько участников «сухопутной» партии уцелели после полутора лет в Новой Испании. Они так искренне радовались и удивлялись, что Джек понял: никто из участников «морской» партии не рассчитывал снова увидеть живого Шафто. Сам он, одно за другим узнавая знакомые лица и видя совсем мало новых, чувствовал себя наседкой, пересчитывающей цыплят. «Минерва» выглядела как никогда справно. Очевидно, торговля в Перу прошла успешно, а все повреждения, причинённые штормами у мыса Горн, устранили в каком-нибудь карибском порту. Коли так, это доказывало дальновидность ван Крюйка, поскольку Веракрус был портом разом нищим и дорогим — самым неподходящим местом, чтобы снаряжать корабль для рейса через Атлантику.

— Давайте загружаться и валить из Новой Испании, — сказал Джек после того, как обнялся со

всеми. — Ещё, раз уж мы здесь, я хотел бы поддержать традицию Иеронимо…

— Что за традиция? — полюбопытствовал Вреж, одетый с ног до головы как преуспевающий купец.

— Сжигать Веракрус при всяком удобном случае.

— Мы будем несколько месяцев процеживать залив, пока не выудим капитанские книги, — сказал Даппа, когда все отсмеялись. Он единственный на борту не состарился на несколько лет, и зубов у него было больше, чем у любых четырёх моряков вместе взятых.

— Я пошутил. Мы привезли книги, а заодно письмо, — сказал Джек.

— От кого? — спросил Вреж.

— Не знаю, — отвечал Джек. — Эдмунд де Ад мог бы мне прочесть, но…

— Ты ему не доверяешь! И правильно, — сказал ван Крюйк.

— Напротив. В инквизиционной тюрьме я доверил ему свою жизнь, а он мне — свою. Он странный, но безобидный.

— Тогда почему не дал ему письмо?

— Потому что знал, ты бы ему не доверился.

— Он по-прежнему в Веракрусе? — спросил

Вреж.

— Как вы наверняка знаете, в Гаване собирается испанский флот, чтобы доставить в Кадис тридцать миллионов пиастров, — сказал Джек. — Четыре дня назад несколько галеонов вышло из Веракруса к Гаване. Эдмунд де Ад отправился на одном из них. Я уже выплатил ему комиссионные за посредничество.

— При всей твоей любви к этому человеку… — начал Даппа.

— Я не говорил о любви, — поправил Джек.

— Вот и отлично. Я рад, что он отправился на другом корабле.

— Нельзя терять время, — сказал ван Крюйк. — Если мы выйдем одновременно с испанским флотом, то избавим себя от многих хлопот. Все пираты в Карибском море будут охотиться за галеонами.

— Охотиться они будут, это да, — задумчиво произнёс Джек.

— И нас примут за голландского капера, — пообещал ван Крюйк.

— Или за тяжеловооруженное судно с грузом сахара, направляющееся в Амстердам или Лондон, — подхватил Даппа.

— Так или иначе, ни один нормальный бука-

ньер не станет тратить время на нас, когда через то же море держат путь тридцать миллионов пиастров.

Серебро выкопали и положили в трюм рядом с серебром из Перу и золотом из Бразилии. Разумеется, книги ван Крюйка отправились на борт первыми. Он ворчал, что Джек плохо приконопатил назад крышку, и грозился спустить с него шкуру, но когда сундук вновь водворился в каюте, голландец выглядел таким счастливым, каким Джек не видел его много лет.

Некогда было даже открывать сундук. На то, чтобы забрать и погрузить серебро, ушло четыре дня, показавшиеся Джеку длиннее, чем всё время, проведённое в Новой Испании. Он старался не сходить на берег, а когда сходил, всякий раз чувствовал мгновенный укол страха. Ему казалось, что «Минерва» отплывёт, оставив его в городе, где всё движущееся немедленно окружает туча москитов, а всё неподвижное так же быстро заносит песком.

Сундук вскрыли и письмо прочли только через месяц после отплытия, когда «Минерва» уже миновала Бермудские острова. Для начала Даппа передал его по кругу, чтобы Джек, Вреж и ван

Крюйк смогли рассмотреть печать. В красном воске был оттиснут герб настолько сложный, что и не разберёшь; Джек вроде бы нашёл французскую королевскую лилию в одном углу и чайку в другом. Однако все остальные за столом смотрели на него и ухмылялись.

— От кого это, чёрт возьми? — вопросил он.

— Здесь *утверждается,* что от герцогини Аркашон-Йглмской, — отвечал Даппа.

Известие шибануло Джека, как реем по голове; пока он ошалело молчал, Даппа распечатал письмо и расправил лист на столе.

— На английском, — сказал он и отхлебнул шоколада, готовясь к длинному чтению: — «Джеку Шафто, эсквайру. Напоминают мне, в то время как я вывожу эти строки, неуклонные приливы и отливы у бастионов замка, что иное, канувшее по видимости навеки в бездонное море, к ожидающим смиренно неизбежного поворота колеса судьбы может и возвратиться из влажной крепости Нептуна. Некий человек приходит мне на ум, обуреваемый, в пору нашей последней встречи, дурными порывами, способными стократ более стойких, при столь неотступном своём постоянстве, захлестнуть с головой, впавший в ничтожество худшее смерти; чьё тело пребывало

в растлении не менее духа, снедаемое французской болезнью, а также поражённое различными увечьями и ранами…»

— Из которых самую тяжёлую она сама и нанесла, — вставил Джек, смаргивая, — но про которую умалчивает — она же теперь леди.

— Пишет, во всяком случае, как леди, — неодобрительно заметил ван Крюйк.

Даппа раздражённо прочистил горло и продолжил:

— «Когда отзвуки слухов о сём человеке, заклеймённом кличкой вагабонда и смытого волной за пределы христианского мира, или о ком-то, отвечающем его описанию, доносились до нас, то значили не более, чем если бы над гладью тихого залива при низкой воде показался бушприт или верхушка мачты, следы случившегося некогда крушения. Однако внезапно разговоры об этом человеке зазвучали, едва Франции достигли известия о случившейся в переулках Большого Каира баталии, эхо которой долго ещё перекатывалось между седыми пирамидами и барочными скульптурами Версаля, подобно как раскат грома сотрясает воздух меж двух горных вершин. И не только по этому поводу, ибо в последующие годы приходили вести из Индии об одержанной

при помощи алхимических ухищрений победе и многих удачах и провалах, перечисление коих утомило бы их героя».

— Слава богу, а то я испугался, что она будет пересказывать всю историю от начала и до конца, — сказал Джек.

— «В последние же годы рассказы о ваших приключениях то и дело возбуждали восторг и зависть при европейских дворах. Моё пребывание в замке при чрезвычайной удалённости от великих столиц не препятствует частым сообщениям с несколькими обитающими в них избранными лицами, каковые незамедлительно передавали мне сведения, сплетни и домыслы касательно ваших азиатских похождений. Даже и самый Версаль уступает в этом моему ледяному замку, ибо некоторые из доставляемых сюда писем исходят из Ганновера, из-под пера некой Дамы, которую вы, сэр, и я созерцали там однажды с почтительного расстояния. Да не покажутся кому-либо унизительными для указанной Дамы слова, якобы притязающие на её особую близость ко мне, столь в сравнении с ней ничтожной, ибо, сэр, как идеал мудрости и красоты она и ныне так же недосягаема для меня, как в день, когда мы следили за ней с колокольни немецкой церкви».

От этих слов глаза у Джека съехали к носу, а ван Крюйк принялся растирать виски, но когда Даппа прочёл абзац во второй раз, Джек смог предложить такой перевод:

— Она на короткой ноге с Софией, которая прислала нам пушки и владеет частью нашего корабля, а София знает про нас больше, чем версальские сплетники.

— Мы писали Софии из Рио-де-Жанейро, — сказал ван Крюйк.

Даппа продолжал:

— «Сия несравненная Дама убедила меня, что вы можете оказаться в Новой Испании, где, уповаю, послание моё застанет вас в добром здравии и в обществе доверенного лица, которое могло бы его вам прочесть. Если намерение плыть в Европу с грузом металла по-прежнему в силе, желаю вам счастливого плавания и предлагаю подумать о гостеприимных пристанях Йглма, ибо грехи ваши давно прощены».

Последние слова Даппа зачитал медленно, и все разом заёрзали, поворачиваясь к ошарашенному Джеку. Даппа, видя, что его уже почти не слушают, скороговоркой прочёл последний кусок:

— «Льщусь мыслью, что сие предложение покажется вам заманчивым, сознавая притом, что

ваши партнёры не все оценят его так же. Им я сказала бы, что, если в один прекрасный день Британия окажется владением вышеупомянутой Дамы, первым в любви и преданности к ней клочком британской почвы станет Йглм, и тот же клочок почвы, на котором стоит замок, станет последним оплотом её знамени, если со всех сторон хлынут легионы папистов. Пусть мечется Лондон между вигами и тори, якобитами и ганноверцами, неколебимая скала Йглма не дрогнет в своей верности, и безопаснейшей гавани “Минерва” не обретёт во всём мире». Что она несёт?

Вреж сказал:

— Если верны последние новости, полученные нами из Лондона, королева Анна никогда не родит наследника, а значит, следующей королевой Англии будет наша совладелица, курфюрстина София Ганноверская, которая, надо понимать, покровительствует Джековой Элизе.

Ван Крюйк сказал:

— Гавань у подножия её замка, возможно, и безопасна. Путь туда — нет. Мы просто не сможем в неё попасть.

— Элиза… простите, герцогиня… пишет об этом в следующем абзаце, вот здесь, — отвечал Даппа. — Она советует нам зайти в Дерри, который

называет Лондондерри, на север Ирландии, и взять там лоцмана по имени Джеймс Хх. Он проведёт нас в гавань под Йглмским замком.

— Как капитан я не вижу причин отправляться туда, если есть безопасные и хорошо известные гавани в Лондоне и Амстердаме, — сказал ван Крюйк. — Однако как пайщик я обязан провести обсуждение.

— У Софии пай больше, чем у нас всех, и Элиза вроде бы пишет от её имени, — произнёс Джек.

— Однако она нигде не высказывает этого прямо. Мы не узнаем, чего хочет София, пока не получим письма с ганноверским гербом, — заметил Вреж.

— Ты голосуешь за Лондон? — спросил Даппа.

Вреж пожал плечами:

— Так мы окажемся у самого Монетного двора в Тауэре. Что может быть лучше? А за что голосуешь ты?

Взгляд Даппы на мгновение устремился к его кающе:

— Я голосую за Йглм.

— Ты голосуешь как пайщик или как хроникёр работорговли? — спросил ван Крюйк.

Пока «Минерва» двигалась вдоль побережья Бразилии, Даппа кропотливо собирал и запи-

сывал рассказы чёрных невольников. Он не скрывал, что намерен их опубликовать.

— Верно, я думаю, что Элиза — по словам Джека, сама бывшая рабыня и ярая ненавистница рабства — согласится стать патронессой книги и помочь с её изданием, — признал Даппа. — Но я вижу и другие доводы в пользу Йглма. Чтобы попасть в Лондон или Амстердам, придётся идти Ла-Маншем практически под пушками Сен-Мало, Дюнкерка и других французских каперских портов. Это было бы неразумно, даже если бы Франция не воевала сейчас с Англией.

— Мы можем обогнуть Британские острова с севера, — проговорил Вреж, — и пройти Северным морем, где безраздельно господствуют Англия и Голландия.

— Но если мы отправимся этим путём, то Йглм — ближе.

— Я склоняюсь к твоему мнению, — объявил Вреж после недолгого раздумья.

— Не нравится мне это, — сказал ван Крюйк.

Йглм
Август 1702

Мореходы возвращались с наживой, и не кораблями, а целыми флотами, гружёнными серебром; они уходили в плаванье нищими, а возвращались джентльменами. Более того, сокровища, привезённые ими на родину, обогащали не только их самих, но и всю нацию.

Даниель Дефо, «План английской торговли»

Через два месяца, когда «Минерва» затерялась в густом тумане у Внешнего Йглма, из её трюма донёсся грохот, и она перестала двигаться.

Ван Крюйк выхватил саблю и отправился искать лоцмана, который в конце концов обнаружился на носу корабля. Он стоял на бушприте.

— Добро пожаловать на Йглм, — объявил Джеймс Хх. — Вы сидите на подводной скале, которую мы зовём Молот Голландцев.

И спрыгнул за борт.

К ван Крюйку уже присоединились несколько человек с пистолетами; все они устремились на

нос, чтобы выстрелить в Хха. Однако в ледяной воде (которая так и так скоро бы его убила) они лоцмана не увидели. В тумане, словно бледный оттиск разведённой краской, угадывался силуэт уходящего на вёслах баркаса. С него подали сигнал выстрелом из фальконета; когда отзвучало эхо от Трёх Схр, команда «Минервы» различила далёкие крики людей на других кораблях — и даже целой эскадре. Все они говорили на французском, за исключением одного или двух, которые кричали в рупор: «Приветствуем на родине, Дже-е-ек!»

Экипаж «Минервы» застыл. Не то чтобы они пытались затаиться — куда уж теперь. То была церемониальная тишина, как на похоронах. В голове у каждого офицера события последних нескольких месяцев перетряхивались и складывались в новую картину тщательно продуманной французской западни.

Когда туман начал рассеиваться, вокруг проступили очертания французских фрегатов. Ван Крюйк тяжело поднялся на ют, старательно положил правую руку на поручень и рубанул по ней саблей дюймах в двух выше запястья. Клинок застрял в кости, и удар пришлось повторить несколько раз. Наконец кисть — и без того обез-

ображенная, почти беспалая — с плеском упала в воду. Ван Крюйк лёг на палубу и побледнел. Он бы, вероятно, умер, не происходи дело на корабле, где к ампутациям привыкли и умели перевязывать раны. По крайней мере, морякам было чем себя занять, покуда к ним приближались французские баркасы.

В какой-то момент взгляд у Даппы стал отрешённым. Он отошёл от ван Крюйка и быстрым шагом направился к Врежу Исфахняну. Вреж выхватил из-за пояса пистолет и навёл на Даппу. Вращающееся лезвие порхнуло к нему, как стальной колибри, и ужалило в руку — стоящий рядом филиппинец пустил в ход йо-йо.

Вреж бросил пистолет и прыгнул за борт. Алая пелерина раздулась в полёте и образовала пузырь на воде, шёлковый остров, который удерживал Врежа на плаву, пока французы со шлюпки не кинули ему верёвку.

— Командуй, отец, — сказал Джимми. Он стоял у заряженного фальконета, держа зажжённый факел рядом с запальным отверстием.

— Им нужен я, — произнёс Джек буднично, как будто французский флот берёт его в плен каждый день.

— А получат они нас, — объявил Дэнни, повора-

чивая другой фальконет к другому баркасу. — И скоро об этом пожалеют.

Джек мотнул головой:

— Второго Каира не будет.

Йглмский замок был выстроен в Тёмные века и явно не выполнил своего главного назначения. Бóльшая его часть не защищала даже от дождей и крыс. Только в подветренной части, там, где замок лепился к Схре, он ещё кое-как выдерживал борьбу с силой тяготения. Унылые зубцы частым гребнем высились над грудой щебня и гуано, в которую превратились остальные постройки.

Восстанавливать его было бы пустой тратой времени, а вот возвести на этом месте новёхонький барочный дворец, как и поступил герцог д'Аркашон несколько лет назад, значило сделать своего рода громкое заявление. На зримом языке архитекторов и живописцев дворец провозглашал все те принципы, которые персонифицировали полубоги на его фасаде и плафонах. В переводе на обычный язык это звучало: «Я богат и могуществен, а ты — нет».

Джек так всё и понял. Его поместили под домашний арест в огромную спальню с высоким барочным окном, через которое герцог и герцогиня, гостя в замке, могли наблюдать, как входят

в гавань корабли. Дальняя стена, напротив окна, была почти сплошь зеркальная — даже Джек знал, что это подражание Зеркальной галерее Версаля.

Он несколько дней пролежал на кровати, не находя сил взглянуть на себя в зеркало или посмотреть в окно на «Минерву». Иногда вставал и, прижимая к груди ядро на четырёхфутовой цепи, прикованной к его ошейнику, шёл в уборную, где располагалась деревянная скамья с дырой. Тщательно следя, чтобы ядро не провалилось в дыру — он ещё не принял окончательного решения покончить с собой, — Джек облегчался в жёлоб, выходящий на каменный обрыв внизу.

Много лет назад — прошлый раз, когда герцог Аркашон, тогда ещё другой, посадил Джека на цепь, — Джон Черчилль предупредил, что разгневанные французы рано или поздно доберутся до него с раскалёнными клещами. Были все основания полагать, что угроза никуда не делась, а в роскоши Джека держат в качестве изощрённого издевательства.

Через несколько дней его перевели в каменный каземат. Окна — арбалетные амбразуры — недавно заделали кусками литого стекла, но через них всё равно можно было разглядеть «Минерву»,

по-прежнему сидящую на рифе всем на посмешище. Золото и серебро вытаскивали из её трюма и заменяли балластом — камнями.

— Что с Врежем? Он жив? — таким был первый вопрос Джека, когда к нему вошёл Эдмунд де Ад, с порога объявивший, что на самом деле он Эдуард де Жекс, иезуит, ненавистник янсенистов и Просвещения.

Эдуард де Жекс удивился:

— А что? Не рассчитываешь же ты, что сможешь его убить?

— Нет, конечно. Я просто раздумывал, как оно в итоге обернулось.

— Что обернулось?

— История. Понимаете, я полагал, что это моя история. Оказалось — Врежа.

Эдуард де Жекс пожал плечами:

— Он жив. Немного простудился. Когда поправится, вероятно, придёт и все тебе объяснит.

— Весёлый будет разговорчик… а, скажите на милость, вы-то какого чёрта здесь?

— Я пришёл позаботиться о твоей бессмертной душе.

Де Жекс сменил прежнее платье на иезуитскую рясу и говорил теперь на другом языке: не на сабире, а на английском.

— Я намерен обратить всю Британию в истинную веру, — заметил он, — поэтому выучил ваш язык.

— И решили начать с меня? Мехико ничему вас не научило?

— Инквизиция разленилась. Ты объявил себя католиком, и тебе поверили на слово. Я предпочитаю более крутые меры. — Де Жекс вынул из рукава письмо. — Знакомо?

— С виду то, что Элиза прислала мне в Новую Испанию. — Джек заморгал и затряс головой. — То, что мы вскрыли и прочли на корабле… очевидно, оно было подделкой… но это даже не распечатано.

— Бедный Джек. Вот настоящее письмо, которое ты спрятал в сундук ван Крюйка. Однако оно не от Элизы, а от Елизаветы де Обрегон. Хитрая гадина сумела отправить его из монастыря в Мехико, где её заперли. Потом, в Веракрусе…

— Вы подменили письмо. То-то ван Крюйк сердился, что сундук плохо законопачен… я должен был заподозрить подлог.

— Подделывать письма я умею лучше, чем законопачивать ящики, — сказал де Жекс.

— Подделка сработала, — признал Джек.

— Мсье Исфахнян годами слушал твои рассказы

про Элизу и знал на память каждую мелочь… без его помощи я бы не составил то письмо.

Де Жекс сломал печать на послании Елизаветы де Обрегон.

— Меня бы мучили угрызения совести, если бы я не отдал тебе твою почту. Письмо на высокопарном испанском… я переведу на английский. Начинается с обычных приветствий… дальше она пишет о кошмарах, из-за которых не спит ночей с самого прибытия в Новую Испанию. В этих снах она на манильском галеоне посреди Тихого океана, затем попадает в руки инквизиции. Ни бунта, ни боёв… просто однажды капитан исчезает, как если бы он невидимо ни для кого упал за борт, офицеры в кандалах у себя в каютах и ещё об этом не ведают, потому что опоены сонным зельем. Монах в чёрной рясе захватил корабль… как у любого инквизитора, у него есть штат помощников, которые до поры притворялись слугами купцов. Они слушали и запоминали, как их хозяева богохульствуют и ведут еретические речи. А ещё у него приставы и альгвасилы — раньше они были переодеты простыми матросами, теперь у них в руках пистолеты, бичи и мушкетоны, которые они готовы обратить против всякого, кто не послушает чёрного монаха… Дальше,

Джек, она пересказывает свой кошмар (то, что называет кошмаром) со многими подробностями, но бóльшая часть тебе хорошо известна, ибо ты близко знаком с деятельностью инквизиции. Довольно сказать, что Святая официя потрудилась на совесть, и во многих купцах удалось разоблачить иудеев. Да что там, весь галеон оказался гнездом аспидов, вертепом смертного греха…

— Это она так пишет или вы так вольно переводите?

— Но даже когда реи украсились купцами, вздёрнутыми на дыбу, чтобы они смогли облегчить душу, рассказав о своих грехах, — даже тогда чёрный монах не забывал ставить на марсы вперёдсмотрящих с приказом высматривать «Минерву».

— Поэтому и дали сигнальный выстрел?

— Еретики взбунтовались. Они выстрелили в надежде получить помощь. Произошло сражение — чёрного монаха загнали в трюм…

— Где он устроил поджог — аутодафе для всего корабля.

— Когда Елизавета де Обрегон очнулась на «Минерве», первым, кого она увидела, был тот самый чёрный монах, смотревший ей прямо в лицо. Опий и хитрые речи убедили её, что пожар

на галеоне произошёл случайно, а теперь на «Минерве» они в плену у еретиков, которые убьют монаха, если узнают, что он иезуит, а потом надругаются над её честью. Поэтому она исполняла роль, которую указывал ей монах. Но в Мехико, страдая без опия, Елизавета вышла из-под влияния монаха, и начались кошмары. Она решила, что это не кошмары, а подлинные воспоминания, и что все действия чёрного монаха — часть единого плана, как-то связанного с золотом Соломона, похищенным у бывшего вице-короля.

— И написала письмо, чтобы нас предупредить? Очень благородно с её стороны, — задумчиво проговорил Джек. — Но я не представляю, какое ей до нас дело.

— Она была из семьи маранов, — отвечал де Жекс. — Еврейка.

— Я обратил внимание, что вы сказали «была».

— Она лежит в общей могиле на окраине Мехико. Тамошние инквизиторы, продажные ханжи, обошлись с ней чересчур мягко. Она умерла в тюрьме от какой-то заразы. Но я ещё сожгу её изображение на великом аутодафе в Сент-Джеймском парке. И ты там будешь, Джек — сам подожжёшь костёр и будешь молиться по чёткам, пока он горит.

— Если вы сумеете устроить аутодафе в Вестминстере, то буду, — пообещал Джек.

Поначалу Джек думал, что всех на «Минерве» перебьют или отправят на галеры. Однако шли дни, и становилось ясно, что здесь останутся только Джек и Вреж. «Минерва», её экипаж, ван Крюйк, Даппа, Джимми и Дэнни могли отправляться на все четыре стороны, хотя и без золота. Джеку хотелось видеть причину в своей добровольной сдаче, но позже он заподозрил, что дело в их пайщице — курфюрстине Софии Ганноверской. Какой-то высокопоставленный француз, затеявший всё это нападение — герцог д'Аркашон или сам Луй, — решил оказать ей профессиональную любезность.

После того как на корабле не осталось ни грана золота или серебра, команда дождалась прилива и начала выбрасывать за борт балласт, чтобы попробовать сняться с рифа. Джек наблюдал за операцией со стены замка, куда его иногда выпускали прогуляться (в обнимку с ядром и под охраной). Через некоторое время к нему подошёл де Жекс, сказав вместо приветствия:

— Напоминаю тебе, что самоубийство — смертный грех.

Реплика изумила Джека своей несвоевремен-

ностью, но тут он проследил взгляд де Жекса от замшелых зубцов на сотни футов внизу туда, где волны разбивались об отвесные скалы, и рассмеялся.

— Я полагаю, что какой-нибудь д'Аркашон явится сюда, чтобы предать меня медленной смерти. Неужели вы думаете, что я избавлю его от необходимости совершить столь приятное путешествие?

— Возможно, ты захочешь избежать пыток.

— О нет, Эдуард, я вдохновляюсь вашим примером.

— Ты про инквизицию в Мехико?

— Мне вот интересно: инквизитор знал, что вы тоже иезуит? Делал вам поблажки?

— Если бы он делал мне поблажки, вы с Мойше об этом догадались бы — не стали бы мне верить. Нет, я обманывал инквизитора так же, как и вас.

— Это самая чудна́я история, какую я слышал за всё кругосветное путешествие.

— Не такая она и странная, если знать больше, — отвечал де Жекс. — Вопреки тому, что ты думаешь, я не считаю себя святым. У меня есть тайны столь тёмные, что я сам их не ведаю! Я думал, может быть, инквизитор под пыткой вытянет из меня то, чего я не узнал молитвой и

размышлениями.

— Ещё чуднее. Мне больше по вкусу первая версия.

— На самом деле всё не так ужасно, как вечно твердят евреи. Есть много способов сделать пытки более мучительными. Когда в Лондоне будет восстановлена Святая официя, я введу некоторые усовершенствования — нам придётся быстро расправляться с множеством еретиков, и бессистемный мексиканский метод тут не годится.

— Я не думал о самоубийстве, когда выходил сюда, — задумчиво произнёс Джек, — но вы ловко подвели меня к этой мысли.

Он просунул голову между зубцами и перегнулся через стену, пытаясь определить, какими могут быть последние мгновения его жизни.

— Жаль, что сейчас прилив — я ударюсь о воду, а не о скалы.

— Жаль, что нам поручено передать тебя в целости и сохранности, — сказал де Жекс, глядя на Джека почти любовно. — Хотел бы я применить к тебе то, что узнал в Мехико, здесь и сейчас, дабы выяснить в точности, что вы сделали с Соломоновым золотом.

— А, вот чего вам надо! Мы привезли его в Сурат, потратив лишь немного на необходимые

расходы в Мокке и Бандаре, и там его отняла у нас королева Коттаккал. Если вам нужно именно это золото, отправляйтесь в Малабар!

Эдуард де Жекс погрозил Джеку пальцем.

— От мсье Исфахняна я знаю, что подлинная история куда сложнее. Он провёл несколько лет на севере Индии, сражаясь на стороне каких-то магометан…

— Только потому, что не выдержал проверку на сообразительность.

— …и к его возвращению еврей уже втёрся в доверие к королеве идолопоклонников. Существенная часть золота была вложена в строительство корабля. Куда оно пошло?

— Вы сами сказали, что его вложили в строительство корабля!

Говоря, Джек естественно повернулся к упомянутому кораблю. От «Минервы» их отделяло мили две, но в прозрачном арктическом воздухе она казалась куда ближе. Осадка её была чрезвычайно мала, что неудивительно — последние полчаса корпус скрывали облака брызг от камней, которые команда выкатывала в орудийные порты. Волны начали раскачивать корабль, мало-помалу сдвигая его с рифа. Наконец вдалеке грянуло «Ура!» и прозвучал пушечный салют.

Треугольники и трапеции парусов начали разворачиваться на мачтах.

— Гляньте, как ровно она идёт даже при такой осадке, — заметил Джек.

— Ты пытаешься уйти от вопроса, — сказал де Жекс.

— Ничуть, — отвечал Джек, но де Жекс продолжал настаивать.

— По словам Врежа, дерево и рабочие руки в Индии не стоят практически ничего. Он смотрел расходные книги и говорит, что большей части золота не хватает. Я могу что угодно думать о догматической стороне его веры, но нимало не сомневаюсь в его бухгалтерских способностях.

— Вреж почти восемь лет изводил нас этим самым вопросом, — отвечал Джек. — Когда давеча он спрыгнул за борт, первым моим чувством — ещё до того, как я понял, что он нас предал, — была радость. Радость, что мне никогда больше не говорить с ним на эту тему. И вот теперь вы подхватили эстафету.

— Вреж поделился со мною своими подозрениями. Он говорит, что вы всякий раз отделывались расплывчатыми фразами вроде: «Не подмажешь — не поедешь» или что-то в таком роде.

— Мы теперь все старые моряки и предпочита-

ем флотские термины, — сказал Джек. — Вместо того чтобы говорить о колёсах, которые надо смазать, мы думаем о корабельном корпусе, который обрастает ракушками, замедляющими ход судна, и о том, что он должен быть гладким.

— Так или иначе, я заключаю, что золото ушло на подкуп какого-нибудь могольского или маратхского князька?

— Можете заключать что угодно, всё равно золота вам не достать.

Джек смотрел, как «Минерва» устремилась вперёд с ветром на левом траверзе. Один за другим реи разворачивались, паруса переставали дрожать. Корабль накренился, набирая скорость. Однако де Жекс встал между Джеком и «Минервой».

— Твой корабль свободен, *да только ты не на нём*. Не забывай, ты в моей власти, — сказал иезуит, глядя ему прямо в лицо.

— Мне казалось, я во власти вашего короля, — возразил Джек и по лицу де Жекса понял, что его дерзкая догадка верна.

— Мой орден имеет некоторое влияние при дворе его величества, — сказал де Жекс. — В попытках отыскать золото, украденное евреем, Вреж Исфахнян мог только тебе докучать. Я могу

больше.

— Бросьте! Если бы мы хотели обделить Врежа, мы бы спрятали концы. Его просто поддразнивали. Мы не воры.

— Так где же Соломоново золото?

— Обернитесь, — сказал Джек.

Де Жекс наконец обернулся. В гавани под за́мком теснились французские корабли, по большей части на якорях; те немногие, что могли прямо сейчас выйти в море, лихорадочно ставили паруса. Матросы выбегали на палубу, как муравьи из разворошённого муравейника. Де Жекс не мог понять, почему, пока не увидел, что все подзорные трубы устремлены на «Минерву», которую отделяло от французской эскадры уже несколько миль. Ван Крюйк — отдававший приказы с койки, принайтовленной на юте, — взял курс, при котором лишённая балласта «Минерва» до опасного накренилась под ветром, но не перевернулась, а словно скользила по поверхности волн. Корабль, который не чистили с Веракруса, должен был бы обрасти ракушками, но «Минерва» скользила так, будто её только что отчистили и покрасили. Лишь когда она немного сменила курс и солнце блеснуло на корпусе, де Жекс угадал причину: весь корабль ниже ватерлинии от

носа до кормы был обшит листовым золотом.

Сейчас была видна лишь узкая полоска обшивки, но она сверкала на весь залив, как солнце в дверную щель. Все это видели, и несколько французских фрегатов устремились в безнадёжную погоню. Однако бóльшая часть эскадры осталась на якорях, и матросы, прильнув к бортам, с восхищением смотрели на удаляющуюся «Минерву». Джек знал, о чём они думают. Их не заботила стоимость золота и уж тем более не волновали бредни про сокровища Соломона. Они думали: «Будь я матросом на этом корабле, мне бы никогда не пришлось отскребать ракушки».

Джек удивлялся, что де Жекс так быстро отпустил «Минерву» после того, как десять лет выслеживал золото, совершил кругосветное путешествие, пережил гибель галеона, предал себя на пытки и всё прочее. На следующий день он понял, почему иезуит торопился избавиться от «Минервы» и большей части французской эскадры. На южном горизонте возникли паруса; корабль, аккуратно обогнув Молот Голландца, вошёл в гавань и бросил якорь под Йглмским замком. Джек узнал бы эту яхту за мили — он видел её в Александрии, продырявленную, без мачт. С тех пор её изрядно подновили корабельные

мастера, получающие — судя по работе — изрядные деньги.

Джека отвели в каземат задолго до того, как с яхты его смогли бы разглядеть в подзорную трубу, — ещё одна подсказка. Некоторое время спустя подозрение окончательно утвердили отголоски женского и детского смеха, различимые, если приложить ухо к щели под дверью. То была не военно-морская экспедиция, а увеселительная прогулка с заходом на Йглм в те волшебные две недели августа-сентября, когда буранов здесь почти не бывает. Холодное ядро, которое Джек таскал с собою последние полмесяца, словно вросло в грудь, заняв место вырванного сердца. Де Жекс почему-то оттягивал пытки, и Джек всё силился угадать, какие же изощрённые муки ему готовят. Однако он и не подозревал, что будет *так* плохо! Он уже видел, чем всё кончится: его приволокут, голого, в цепях, и поставят перед Элизой, а де Жекс расскажет уморительную историю о том, как Джек дважды владел всеми сокровищами мира и дважды их потерял.

Через несколько часов после прибытия «Метеора», когда ароматы французской готовки наполнили весь замок, в каземат вошли дюжие бретонцы и поволокли Джека в ту часть дворца,

которая, насколько он понимал, примыкала к спальне. Окон здесь не было: освещённый факелами коридор соединял помещения, до которых при последнем переустройстве так и не дошли руки. Комнаты и закутки выглядели почти такими же, какими оставили их боевые дружины викингов, сарацин или шотландцев. То там, то тут Джек видел заднюю сторону стены: дранку, алебастр, штукатурку. Кое-где были свалены бочонки и ящики. В одном месте коридор расширялся и к стене была прислонена чугунная решётка; выкованная кузнецами тысячу лет назад, выломанная и отброшенная во время каких-то бурных событий, она теперь бесполезно собирала пыль и паутину в пустом коридоре. Бретонцы распластали Джека на решётке и привязали верёвками. Тут-то и стало очевидно, что они моряки. Когда Джек открыл рот, чтобы отпустить какое-то замечание по этому поводу, ему быстренько затолкали туда кляп, примотали челюсть к голове, а голову — к решётке. Привязали даже пальцы, в чём Джек усмотрел некоторое излишество, разве что они боялись, как бы он не стал с кем-нибудь перестукиваться. Покончив с работой, бретонцы протащили Джека вместе с решёткой ещё несколько шагов по коридору за

сырую плесневелую портьеру, и он на мгновение ослеп от яркого света. Когда глаза привыкли, он сперва подумал, что попал в спальню, где провёл первую неделю. Потом стало ясно, что спальня видна через стекло — те самые зеркала в дальней стене. Отсюда Джек видел всё помещение: он стоял в изголовье увенчанной балдахином кровати, на расстоянии вытянутой руки от подушек, на которые хозяин или хозяйка опочивальни клали бы голову.

— Этот архитектурный стиль оказался как нельзя кстати, — произнёс кто-то по-французски.

Джек подпрыгнул бы, не будь он привязан, поскольку бретонцы ушли, а никого другого рядом вроде бы не было. Двигать можно было только глазами; скосив их изо всех сил, он различил движение в дальнем конце потайной комнаты.

На середину вышел человек в парике — белом, пудреном и до того нелепом, что это могла быть только последняя парижская мода. Что-то у него было не так с рукой, но в остальном посетитель выглядел превосходно и (насколько Джек мог различить за вонью грязного кляпа) весь благоухал.

— Боюсь, ты меня не узнаешь, — сказал тот из двух, кто мог говорить. — Я сам еле-еле узнал *тебя*. Последний раз мы виделись в Большой

бальной зале моей парижской резиденции — особняка Аркашонов. Тогда ты весьма поспешно и неучтиво расстался с *большей частью меня*, руку мою, впрочем, пронёс ещё несколько миль на узде своего великолепного скакуна. Её нашли на середине почтового тракта в Компьень, узнали по моему кольцу с печаткой и вернули. Однако на этом ты в расчленении де Лавардаков не остановился и несколько лет спустя любезно прислал мне голову моего отца.

Этьенн де Лавардак, герцог д'Аркашон, поднял руку. На месте отрубленной кисти ремешками крепился чёрный хлыст. Не будь у Джека во рту кляп, он бы объяснил, что в сравнении с испанской инквизицией Этьенн — дитя малое, однако герцог угадал его мысль.

— О, это не для тебя. Семнадцать лет я продумывал месть и приготовил кое-что поинтересней хлыста. Видишь ли, нужно время, чтобы выстроить такой тайник. У меня их несколько — ещё один в Сен-Мало и третий в Ла-Дюнетт. Я стоял в них и смотрел, как моя жена отдаётся сержантам и криптологам. Однако строил я их не для того, и лишь сегодня они служат своему истинному назначению. Вреж Исфахнян сейчас в таком же в Ла-Дюнетт, связан, как ты, и смотрит через зер-

кало в комнату, где его богато разодетые братья подают гостям дорогой кофе.

Мы уверили мсье Исфахняна, будто его братья, преданные тобою, Джек, умерли от тифа в долговой тюрьме. Радость от того, что они живы, отчасти уравновесится осознанием, что он напрасно ополчился против тебя и потерял свою долю золота и серебра в трюмах «Минервы». Отец Эдуард через несколько дней будет в Версале. Он сообщит мсье Исфахняну, что пропавшее золото всё это время было на корпусе корабля, и тем усугубит его муки. Такой пытке, думаю, позавидовала бы испанская инквизиция. Однако для тебя, Джек, припасена ещё более изощрённая!

Он вышел.

Открылась дверь, и в спальню вошла женщина. Джек узнал её не сразу лишь потому, что не хотел. Она изменилась, но не настолько. Он просто не находил в себе силы открыть глаза и на неё посмотреть.

Наср аль-Гураб рассказывал, что при захвате Константинополя турки нашли в темнице устройство, которым византийцы когда-то ослепляли знатных узников, — не заострённые железяки, а медная полусфера вроде чаши с чем-то вроде тисков. Её сперва раскаляли, чтобы она начала

светиться, а затем голову узника — в маске, оставлявшей открытыми только глаза — вставляли в тиски. Аппарат располагался так, что осуждённый смотрел в самый центр полусферы. Когда он открывал веки, глаза видели лишь небосвод ярого пламени и мгновенно слепли. Их чувствительная часть выгорала, и осуждённый оставался незрячим, хотя ничто не касалось его глаз, за исключением последнего страшного отблеска.

После Джек иногда на досуге размышлял, что творилось в голове узника. Сопротивлялся ли он? Тянули ему веки клещами, или несчастный каким-то образом сам открывал глаза?

Таким же было состояние Джека, когда он следил взглядом за Элизой, не смея прямо на неё взглянуть. Однако в конечном счёте он всё-таки открыл глаза, по собственной свободной воле, хоть и знал, что может ослепнуть.

Она вернулась с парадного обеда и теперь переодевала платье, умывалась, отклеивала мушки и распускала волосы. Камеристки входили и выходили. Девочка лет девяти, с лицом и глазами, изъеденными оспой, вошла в комнату и забралась Элизе на колени, чтобы её покачали и приголубили. Элиза почитала ей книжку, потом, отправляя девочку спать, поцеловала в

обезображенные щёчки и лоб. Гувернантка привела мальчика лет семи; он пока избежал оспы, но смотреть на него Джеку было ещё больней, поскольку детское лицо несло следы того же фамильного уродства, что у двух старших д'Аркашонов. Однако Элиза встретила его улыбкой и приласкала, а потом почитала ему вслух, как и рябой девочке. Гувернантка увела мальчика, и Элиза, оставшись одна, принялась разбирать почту. Она прочла кучу записок и написала два письма.

Этьенн вошёл, сорвал камзол и бросил шпагу на козетку под окном. Элиза поздоровалась с ним через плечо. Этьенн двинулся вдоль кровати, к Джеку, на ходу развязывая шейный платок и помахивая хлыстом. Перед зеркалом герцог остановился, делая вид, будто разглядывает своё отражение, а на самом деле глядя Джеку прямо в глаза.

— Сегодня я хочу прокатиться на кобылке, — объявил он громко, чтобы слышно было за зеркалом.

Элиза слегка удивилась, но быстро взяла себя в руки. Она спрятала мгновенное раздражение, дописала фразу, поставила перо в чернильницу, встала и потянула через голову платье. То, что

предстало немолодым глазам Джека через посеребрённое стекло, за семнадцать лет ничуть не утратило своей прелести. Он видел, что Элиза выдержала спор с оспой и вышла победительницей. Ну разумеется, она должна была победить!

Муж наотмашь ударил её по лицу, бросил лицом на кровать и несколько раз хлестнул по заду и бёдрам, поднимая иногда голову, чтобы ухмыльнуться зеркалу. Он велел Элизе встать на четвереньки, и та подчинилась. В продолжение всего совокупления Этьенн стоял на коленях, выпрямившись, и смотрел на Джека до последних секунд, пока не закрыл глаза.

В застенках инквизиции Джек испытал на себе то, о чём говорили многие заключённые: на каком-то этапе пыток тело теряет чувствительность и перестаёт ощущать столь сильную боль. Нечто подобное произошло и сейчас. Больно было *увидеть* Элизу — оказаться так близко к ней. Больнее всего, наверное — смотреть на её маленького Лавардака. «Катание на кобылке» при всей своей гнусности не доставило Джеку тех мук, на которые рассчитывал Этьенн. Если бы Элиза вскочила из-за стола, осыпала мужа поцелуями, затащила в постель и отдалась ему с бешеной страстью — вот *это* было бы больно.

Однако она пожала плечами и поставила на место перо. Ещё не высохли чернила на фразе, которую она писала, когда вошёл Этьенн, а Элиза уже шла к столу с выражением, означавшим: «На чём я остановилась, прежде чем этот, как бишь его, меня отвлёк?»

Позже Джека отвели обратно в каземат. На следующую ночь всё повторилось, почти как если бы Этьенн в глубине души знал, что в первый раз не достиг желаемого результата. Разница была в том, что когда Этьенн вошёл в комнату и объявил о своих намерениях, Элиза уже по-настоящему изумилась.

На третью ночь она явно не знала, что и думать, и засыпала Этьенна множеством осторожных вопросов, пытаясь выяснить, не опухоль ли у него в мозгу.

Джек, старый театрал, видел, как оно теперь будет. Этьенн объявил, что отныне его судьба — до скончания дней сидеть в каземате; раз в год, при благоприятной погоде, Этьенн будет приплывать сюда с Элизой и повторять процедуру несколько раз, прежде чем отплыть снова. Когда это говорилось, у Джека, естественно, во рту был кляп, поэтому ответить он не мог, но подумал, что пытка и впрямь изощрённая, но не

в том смысле, в каком видится Этьенну. Замысел был превосходен, этого не отнимешь, но дорога к драматургическому провалу вымощена превосходными замыслами. Беда в том, что спектакль поставили из рук вон плохо. Смотреть на это было едва ли не мучительней, чем если бы исполнение оказалось блестящим. Джеку предстояло прозябать в каземате триста шестьдесят с лишним дней в году, чтобы в оставшиеся несколько дней смотреть из-под палки дурной спектакль. И впрямь жалкая участь — *будь он французским аристократом*. Однако для бродяги, и без того прожившего втрое больше отпущенных вагабонду лет, всё было не так уж плохо; Джек даже радовался, видя, насколько Элиза *независима* от Этьенна. Больше всего ему досаждало чувство, хорошо ведомое пациентам, солдатам и посетителям цирюльни: что он в полной власти человека абсолютно некомпетентного.

После трёх ночей декорации разобрали. Джека заперли в каземате, а «Метеор» отплыл на юг.

Джек пообвыкся и начал заводить дружбу с тюремщиками. Те получили строгий приказ не разговаривать с ним, но не могли же они затыкать уши, когда он раскрывает рот! Джек видел, что его рассказы им нравятся.

Он пробыл на Йглме месяц. Потом за ним пришёл французский фрегат. Джеку дали одежду, мыло и бритву. Всю дорогу до Гавра его согревала мысль, что лишь один человек во Франции может отменить приказ Этьенна де Лавардака, герцога д'Аркашона.

Книга 5
Альянс

Особняк Аркашонов
Октябрь 1702

— Нам было грустно услышать о несчастье с вашим кораблём, — сказал король Людовик XIV. — Однако ваша удача, что вы не отправились с испанскими галеонами. Английский флот атаковал их в заливе Виго и отправил на дно морское несколько миллионов пиастров.

Французский король, казалось, ничуть не опечален новостью, скорее она его забавляла. Его величество сидел в самом большом кресле, какое создала западная цивилизация, посреди Большой бальной залы особняка Аркашонов в Париже. Джеку, на удивление, разрешили сесть рядом на табурет. Король Франции и король бродяг остались с глазу на глаз. Первый блистательно разыграл сцену, в которой попросил придворных удалиться, а те блистательно разыграли изумление. Теперь из галереи, где они курили трубки и состязались в остроумии, доносился гул голосов.

Однако Джек не мог разобрать ни слова. В огромной зале впору было устраивать скачки; всю мебель из неё вынесли, оставив лишь кресло

и табурет посередине. Король знал наверняка, что каждое его слово услышит Джек и никто больше.

— Знаете, — сказал Джек, — когда-то я был королём в Индии, и мои подданные чуть не рехнулись из-за куста картошки, которая для них была на вес золота. Сперва я хотел знать про тот куст всё, но к концу правления…

Здесь Джек закатил глаза, как частенько делают французы при встрече с англичанами. Король Луй, очевидно, прекрасно его понял.

— Так с любым королём.

— Картошка вырастает снова, — заметил Джек.

Людовик нашёл это изящным и в то же время глубоким афоризмом.

— О да, брат мой; подобным же образом будут новые пиастры, покуда бьётся металлическое сердце Мексики.

Джек сперва не понял, почему Людовик XIV называет его братом, потом догадался, что дело в этикете. Джек некогда был королём. Королём канавы в Индии, но это ничего не меняет.

— Есть много всего, что просто не стоит замечать, — начал Джек в надежде, что король согласится и применит этот принцип к его конкретному случаю.

— Королю не следует снисходить до мелочных

дрязг, — произнёс Луй. — Он — Аполлон, взирающий на мир с крылатой колесницы, как на свой двор.

— Я бы сам не выразился точнее, — признал Джек.

— Но даже у лучезарного Аполлона есть недруги: другие боги и мерзкие чудища, порождённые Землёй до начала времён. Легионы хаоса.

— Мне не приходилось сталкиваться с легионами хаоса, но, разумеется, братец, у вас всё куда серьёзнее.

— Ещё одно сердце бьётся в Лондоне.

С минуту Джек ломал голову над загадкой. Хотелось думать, что король говорил об Элизе и что она ждёт Джека на Лондонском мосту. Однако в свете последних событий это представлялось маловероятным; отношения Элизы и Джека явно относились к разряду мелочных дрязг, недостойных внимания королей. Думая о Лондонском мосте, Джек вспомнил сперва помпы, стучащие, как сердца великанов, потом Тауэр. Тут до него дошло.

— Монетный двор.

— Мехико источает божественный ихор, который циркулирует по католическим королевствам, наполняя их силой. Порою флот с

сокровищами тонет, и мы ощущаем слабость, порою он достигает Кадиса, и мы вновь обретаем мощь. Лондон источает гнусный гумор, питающий бесчисленные жадные лапы Зверя.

— Как я понимаю, Зверь — это порождение хаоса, недруг, достойный внимания Аполлона.

— Биение лондонского сердца порою слышно через Ла-Манш. Я предпочитаю тишину.

Лет двадцать назад Джек счёл бы эти слова странным, не относящимся к делу замечанием, сейчас воспринял их как более или менее прямой приказ отправляться в Лондон, разрушить Монетный двор и сровнять Тауэр с землёй. Здесь возникало больше вопросов, чем ответов, и в первую очередь: с какой стати Джеку исполнять прихоти французского короля, тем более опасные? По всему выходило, что Луй спас Джека от герцога д'Аркашона, который, в свою очередь, спас его от де Жекса; однако король, безусловно, слишком умён, чтобы ждать от Джека услуг только на этом основании.

— Я понял, о чём вы, и не могу выразить, как польщён, что вы считаете меня способным на такое дело.

— Сущий пустяк в сравнении с прежними вашими подвигами.

— Однако тогда у меня были помощники. И план.

— План благоприятствует успеху.

— Его выдумал не я. Мой специалист по планам сейчас где-то к северу от Рио-Гранде, и связаться с ним нелегко.

— Да, но план отца Эдуарда де Жекса в конечном счёте оказался умней, не так ли?

— Вы хотите сказать, что мне будет помогать *он?*

— Вы получите всё потребное для исполнения предписанного, — сказал Луй, — и к тому же будете избавлены от бремени прошлого, которое могло бы вам помешать.

Он взял понюшку и с громким щелчком захлопнул драгоценную табакерку. Вероятно, это был условленный сигнал, потому что двери в дальнем конце залы внезапно распахнулись и вошли трое: Вреж Исфахнян, Этьенн д'Аркашон и Элиза.

Они вошли стремительно, приветствовали короля поклоном или реверансом, а Джека словно и не заметили — в присутствии монарха не положено больше никого видеть. Джеку так было и лучше. Он не знал бы, что сказать каждому из этих людей, даже будь они по отдельности. Присутствие всех троих разом вызывало оторопь, а

значит, Джек более обычного рисковал поддаться бесу противоречия. Вреж и Этьенн краем глаза следили за Джеком, что было с их стороны вполне разумно. Элиза повернулась так, чтобы не видеть его за скулой. Джеку показалось, что глаза у неё красноваты.

— Мсье Исфахнян, — сказал король Франции, — мы слышали, что вас ввели в заблуждение, под влиянием коего вы поклялись отомстить мсье Шафто. Как мы только что объяснили, мы, как правило, не снисходим до мелочных дрязг, но в данном случае сделаем исключение, поскольку мсье Шафто намерен оказать нам услугу. Дело это может потребовать много лет. Для нас крайне нежелательно, чтобы ваша вендетта мешала его трудам. Мы слышали, что недоразумение разрешилось, из чего заключаем, что обиды прощены. Однако нам хотелось бы, чтобы господа Исфахнян и Шафто в нашем присутствии пожали друг другу руки и поклялись, что между ними больше нет вражды. Разрешаем вам поговорить между собой.

Вреж, судя по всему, вышел из каземата некоторое время назад — успел приодеться и набрать несколько фунтов веса, короче, подготовился к встрече.

— Мсье Шафто, вечером того дня в тысяча шестьсот восемьдесят пятом году, когда ты въехал на коне в бальную залу и отрубил руку вот ему, — кивок в сторону Этьенна, — начальник полиции явился в дом, в котором моя семья вас приютила…

— Сдала мне угол, чтобы быть точным, — сказал Джек. — Но ты продолжай.

— Моих близких забрали и бросили в тюрьму, из которой не все вышли живыми. Тогда я поклялся тебе отомстить. Годы спустя пламя моей страсти, которая наконец улеглась, обманом разожгли коварные люди, и я стал изыскивать способ погубить тебя, как, я думал, ты погубил моих близких. В Маниле я встретился с отцом Эдуардом де Жексом, которого считал благодетелем своей семьи, и вступил с ним в сговор против тебя и наших товарищей. Благодарение Богу, иных уже нет на свете, другие живут собственной жизнью в Японии, Нубии, Квина-Кутте и в Новой Мексике. Из тех, кто был на корабле, когда его посадили на риф, все обрели свободу, кроме тебя. Тебе я причинил тяжкий вред.

— Не больший, чем я тебе в тысяча шестьсот восемьдесят пятом.

— За то, что ты сделал в тысяча шестьсот во-

семьдесят пятом, я тебя простил. За то, что я о тебе думал, надеюсь, ты простишь меня. В знак этого вот тебе моя рука.

В продолжение разговора Вреж держал руки на груди, немного неловко, как будто правая ранена и её надо поддерживать левой. Сейчас он протянул её для рукопожатия, не разгибая локтя. Тем не менее Джек, проживший бок о бок с Врежем больше десяти лет, не сомневался в его искренности и без колебаний протянул руку.

Вреж посмотрел ему в глаза.

— За Мойше, Даппу, ван Крюйка, Габриеля, Ниязи, Евгения, Иеронимо и мистера Фута! — сказал он.

— За десятерых, — согласился Джек и сжал руку Врежа так сильно, что она разогнулась в локте.

Что-то тяжёлое выскочило у армянина из рукава и ободрало Джеку костяшки пальцев. Вреж успел левой рукой схватить предмет, пока тот не упал. Теперь Джек видел, что это двуствольный карманный пистолет.

Не зная, что Вреж задумал, Джек выпустил его руку и загородил собой Элизу. Раздался грохот, и Этьенн д'Аркашон рухнул на пол.

— Простите, ваше величество, — сказал Вреж.

Над пистолетом в его руке поднималась струй-

ка дыма.

Джек стоял между Элизой и Врежем, но она хотела видеть, что происходит, и двигалась вбок, вынуждая двигаться и его. Двери резко распахнулись, в них ворвалось облако перьев, кружев, стали — с десяток вооружённых дворян.

— Я мог бы бежать, возможно, даже спастись, — продолжал Вреж. — Но тогда подозрение пало бы на моих близких, которые, ваше величество, ни в чём не виновны.

— Мы понимаем, — сказал Людовик. — Мы всегда понимали.

Вреж развернул пистолет и выстрелил себе в рот.

— МСЬЕ ШАФТО, ВАС НЕ СЛЕДОВАЛО вновь приглашать в эту залу — вы с ней не ладите, — тоном лёгкого неудовольствия успел произнести король, прежде чем их окружили придворные со шпагами наголо.

Джек всегда недолюбливал Луя, однако сейчас невольно восхитился его выдержкой. Разумеется, произошла короткая заминка, но уже через несколько минут разговор возобновился. Джек, Элиза и король были в Малом салоне, поскольку Бальная зала требовала уборки.

Для начала король, согласно этикету, выразил

соболезнования вдове (пуля вошла Этьенну между глаз), затем вновь обратился к Джеку:

— Мсье Шафто, нам очень отрадно, что, увидев оружие в руке мсье Исфахняна, вы подумали лишь о том, чтобы защитить госпожу герцогиню д'Аркашон. Однако это напомнило нам о некоторых обременительных связях, которые могут помешать вашей работе в Англии, если их немедленно не разрубить. Коли правдива молва о вашей любви к этой женщине, бессмысленно просить вас, чтобы вы их разрубили. Мадам?

Джек, такой проворный, пока дело касалось Врежа, в случае Элизы не успел даже опомниться. Она подбежала, обняла его и, целуя в щеку, шепнула:

— Прости за гарпун и за то, что сейчас скажу, но иначе тебя бросят в Бастилию, а мне в кофе подсыплют яд.

Джек попытался тоже её обнять, но схватил лишь воздух — Элиза отскочила с проворством фехтовальщика-виртуоза.

— Клянусь перед Богом, что ты, Джек Шафто, не увидишь моего лица и не услышишь моего голоса до смертного дня.

Торопливо, пока не хлынули слёзы, Элиза повернулась к королю, и тот движением руки

позволил ей удалиться. Она присела, развернулась и вылетела прочь, как будто салон охвачен огнём.

— Предполагалась третья часть беседы, — сказал король, — в которой господин герцог д'Аркашон поклялся бы вас больше не преследовать. Однако это уладилось само. Мсье Шафто, мы дозволяем вам удалиться. Теперь мы вновь обратим наше внимание на войну, однако нам было бы отрадно узнать через год или два, что английские деньги обесценились и эта страна лишилась возможности воевать. Не торопитесь и выполните вашу работу как следует. Никаких полумер. И знайте, что, если фунт стерлингов падёт, вдовствующая герцогиня д'Аркашон и её дети будут жить и по-прежнему пользоваться всеми благами, какие может предложить им Франция.

Книга 4
Бонанца

Потрясения последних двадцати лет были невероятны: Англия, Испания и Голландия преображались быстрее театральных декораций. Следующие поколения, читаючи о наших временах, решат, что им подсунули роман, и не поверят ни единому слову.

Лизелотта в письме к Софии, 10 июня 1706

Париж – Лондон
Октябрь 1702

Король учтиво обошёл молчанием другую сторону дела: если Джек не справится, последствия падут на Элизу, однако тот успел разгадать намёк за время путешествия по Сене и через Ла-Манш. Ещё до конца дня он был на якобы датском корабле, якобы везущем в Англию контрабандное французское вино.

Последний раз Джек проходил Ла-Маншем семнадцать лет назад, распоротый гарпуном и в горячечном бреду от воспалившейся раны. Обратный путь он проделал в здравом теле, но не в здравом уме. Весь ужас происшедшего в последние несколько недель наконец дошёл до Джека и временно низвёл его до растительного состояния.

Способность корабля выдерживать бури зависит от голодных, мокрых, напуганных людей, выполняющих некие простые действия, когда мозг их давно отключился. Джек, совершив кругосветное путешествие, выработал в себе подобный инстинкт, что объясняет, как он провёл следую-

щие день-два. Когда он очнулся, то обнаружил, что миновали сутки; всё это время Джек ел, пил и справлял нужду. Вскоре он пожалел, что пришёл в сознание, настолько оно было мучительно.

И всё-таки слёзы полились по его лицу лишь в середине следующего дня, когда на горизонте проступили английские холмы, зелёные, безлесые и чужие, как всё, что Джек видел в своих странствиях. Такими же чужими были скалы Дувра. Бриг повернул к северу, затем, несколько дней спустя, — к западу и с приливом двинулся меж песчаными отмелями Темзы, на которых обломки кораблей скалились беззубой чернотой, словно клавесины, разорванные натяжением струн. Судёнышко ползло эстуарием весь день, мимо Грейвзенда и различных посёлков на Лонг-Рич, которые братьям Шафто, Джеку, Бобу и Дику, казались невероятно далёкими.

Скопление кораблей на реке растянулось много дальше того места, где оно начиналось в Джековом детстве, и Джек всё время думал, что они проходят над телом Дика, пока не узнал, что дотуда ещё идти и идти. Однако с наступлением темноты капитан раздал нескольким матросам мушкетоны и велел следить, чтобы на бриг не забрались жохи. Тут-то Джек и понял, что описал

полный круг. Странным образом ему полегчало. Родные края, даже такие жалкие, имеют силу врачевать раны. Он только что не выпрыгнул за борт, чтобы по воде добраться до какого-нибудь грязного лаймхаузовского кабака.

Однако Джек помнил про свою ответственность. Он теперь не жох, а деловой человек из Сити. Поэтому он велел капитану двигаться вперёд, к огням Лондонского моста.

Как только бриг обогнул излучину Уоппинга, свет ударил на милю от моста до них, высветив каждый рей и каждый трос стоящих на якоре кораблей. Джек помнил Лондонский мост плотиной света над Темзой, но сейчас едва различил его в сиянии города позади. Казалось, в Лондоне вновь вспыхнул пожар, как раз к Джекову возвращению.

Но ярче всего горели не мост и не Сити. На северном берегу реки, ниже моста, высился Тауэр. Джек помнил его мрачной громадой с редким огоньком в амбразуре. Однако сейчас, по крайней мере в эту ночь, Тауэр служил постаментом для колонны парящего в воздухе света, и корабли словно слетелись к нему, как мотыльки к фонарю. Вообще-то западная часть Тауэра была темна, как всегда, но в восточной пылало жаркое пламя.

Столбы дыма и пара скрывали звёзды, искры мелькали, как метеоры. Самого огня не было видно за стеной, но он подсвечивал дымные клубы, превращая их в занавес, бросающий на реку дрожащие отблески. «Ближе, ближе», — требовал Джек. Он уже понял, что капитану приказано слушаться его во всём. Матросов отправили к вёслам, и бриг исполинской многоножкой в тесной норе пополз между стоящими кораблями под брань и угрозы других капитанов, боящихся, что запутают их якорные канаты.

Джек уже различал грохот телег с углём внутри Тауэра и мерное рокотание какой-то великанской машины на Монетном дворе: падающий молот чеканил золотые гинеи. Когда бриг протиснулся в первый ряд кораблей, так что Джеку полностью открылся вид, он приказал бросить якорь прямо напротив того места, где темнели Ворота изменников. Судно развернулось носом по течению, и Джек совершил медленный пируэт, чтобы отблеск Монетного двора оставался на его лице.

Высоко, на одной из древних башен, он различил джентльмена, вышедшего прогуляться, подышать воздухом, возможно, проветрить голову после лихорадочной суеты Монетного двора. Джентльмен остановился у парапета, чтобы

взглянуть на реку. Его фигура чётко вырисовывалась на фоне закатных облаков. Ветер с моря развевал длинные волосы, как стяг, и Джек увидел, что они совершенно белы.

— Вот, значит, тот, кого поставили над Монетным двором, — проговорил Джек, ни к кому не обращаясь, затем немного возвысил голос: — Прохлаждайся-прохлаждайся, мистер Ньютон, недолго тебе там стоять. Джек-Монетчик идёт, с высоты тебя столкнёт. Игра началась, и пусть победит сильнейший.